



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

P 31a v 236.4



**HARVARD
COLLEGE
LIBRARY**

МАЙ.

4340-13
1884.

ДѢЛО

ГОДЪ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

№ 5.

СОДЕРЖАНІЕ.

1. ЛѢТО ВЪ ДЕРЕВНѢ. (Очерки) I—IV. . Н. Р.
2. ШКОЛА БОРЬБЫ ВЪ СОЦІОЛОГІИ.
(Окончаніе) Л. Мечникова.
3. САФО. Романъ Альфонса Додэ. Переводъ А. Мосвина.
4. ПОТОМОКЪ РОДА ВЕТРИЩЕВЫХЪ.
Романъ. (Часть первая). Гл. I—IV. . Ахшарумова.
5. ДОЛЯ. Разсказъ. (Съ польскаго). Севера.
6. ИЗЪ ПРЕКРАСНАГО ДАЛЕКА. (Путе-
выя замѣтки) Н. Ш.
7. РУФИНА КАЗДЮЕВА. Романъ въ 5-ти
частяхъ. Часть вторая. (Гл. IX—XV). . Е. Ардова.

(См. на оборотѣ.

8. ПЕССИМИСТЫ. I. Шопенгауеръ. А. Красносельскаго.
 9. I. Крестины.—II. Человѣкъ, кружку пива!—III. Сожалѣніе.—IV. Мой дядя
 Жюль. Новые рассказы Гюи де-Мопассана.

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

10. ЧТО ЧИТАЮТЪ НАРОДУ? Н.

Что читаетъ народу? Критическій указатель книгъ для народнаго и дѣтскаго чтенія. Составленъ учительницами харьковской частной женской и воскресной школы: Х. Д. Алчевскою, Е. Д. Гордѣевою, А. П. Грищенко, З. И. Дашкевичъ, Л. И. Дашкевичъ, Л. Е. Ефимовичъ, А. Д. Ивановой, М. А. Ивановой, А. М. Балмыковой, Н. П. Пенго, О. С. Рудневою и Е. И. Цвѣтковой. С.-Петербургъ, 1884.

11. УЧАСТІЕ ЗЕМСТВА ВЪ РАЗВИТІИ
 КРЕСТЬЯНСКИХЪ ПРОМЫСЛОВЪ. . Б. Л.

12. НОВЫЯ КНИГИ:

Очерки исторіи украинской литературы XIX столѣтія. *Н. И. Петрова*. Кіевъ 1884.—*Н. Ланская*. Лавры и терніи. Романъ изъ временъ русско-турецкой войны. Въ двухъ частяхъ, Спб. 1884.—Петербургская саранча. Романъ въ двухъ частяхъ. *А. И. Пальма*. Спб. 1884.—*М. Д. Снобелевъ*. Этюдъ по характеристикѣ нашего времени и его героевъ (съ тремя чертежами). *Г. К. Градовскаго*. Спб. 1884.—*Наброски карандашемъ. Александры Шабельской*. Спб. 1884.—*Михаилъ Хрущовъ*. Стихотворенія и поэмы. Томъ I. Спб. 1884.—*Маркъ Самойловъ*. У моря. Стихотворенія. Спб. 1884.

13. ЗА ГРАНИЦЕЮ. (Политическая и социальная хроника) Жинка.

14. ГОДОВЫЕ ИТОГИ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ В. Острогорскаго.

15. ИЗЪ ДОМАШНЕЙ ХРОНИКИ. Н. Ш.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Объ изданіи журнала «Дѣло».—Объ изданіяхъ Редакціи «Дѣло».—Объ изданіяхъ Н. А. Лебедева.—Объ изданіяхъ И. И. Билибина.—Объ изданіяхъ романовъ К. М. Станюковича.—Объ изданіяхъ М. Цебриковой.

ДЪЛО

ЖУРНАЛЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКІЙ

ГОДЪ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

№ 5.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Н. А. Лившица, Невскій просп., № 8.

1884.

△
PSlav 236.4 (1884, no. 5/6)
✓



Дозволено цензурою С.-Петербургъ, 30 Мая 1884 г.

ЛѢТО ВЪ ДЕРЕВНѢ.

Очерки.

І.

Весною, когда я обдумывала куда-бы отправиться на лѣто подклеить нервы, разбитые череджитою зимою, я получила неожиданно отъ стариннаго пріятеля приглашеніе прожить лѣто въ Соколовѣ, усадьбѣ, недавно доставшейся ему по-наслѣдству въ Приднѣпровской губерніи. «Климать, если не итальяскій, все-же лучше вашего гнилого питерскаго», писалъ пріятель: — «боюсь только, что полнѣйшее одиночество въ усадьбѣ испугаетъ васъ. Я былъ тамъ очень короткое время, не знаю никого изъ сосѣдей и не могу ни общать вамъ какого-бы-то ни было общества, ни дать какія-бы-то ни было указанія, что вы можете найти. Впрочемъ, послѣднія дастъ вамъ Федотычъ; вамъ придется только инья изъ подъ его угла зрѣнія переводить на васъ».

Перспектива прожить одной четыре мѣсяца въ глуши, — пріятель съ семьей жилъ въ другой губерніи, версть за тысячу, — несколько не испугала меня. Я ѣхала безъ безъ всякихъ особыхъ представленій о деревнѣ, я хорошо знала ее, и если-бы я и въ самомъ дѣлѣ страдала отъ темной воды, то она не помѣшала-бы мнѣ понимать такую аксіому, что кому менѣе дано, съ того и възыщется менѣе. Въ глуши хоть уши отдохнуть отъ трескотни фразъ о гражданской скорби, не станеть мозолить глаза назойливое влѣзанье на ходули всякихъ самозванныхъ учителей. Тамъ мертвая тишина; но за-то тамъ солнце, зелень, лѣсъ, — лоно природы.

Пріятель давалъ мнѣ разныя порученія. Надо было выбрать всякихъ учебниковъ и книгъ для чтенія въ три сосѣд-

нія школы, — книгъ для подростковъ, выходившихъ изъ школы, для того, чтобы не разучивались грамотѣ. Послѣ старой тетки, по смерти которой имѣніе перешло къ моему пріятелю, онъ нашелъ огромный запасъ холста, бѣлья и платья разнаго рода: тетка релігіозно хранила всѣ вещи бабушекъ, тетушекъ и матери. Онъ просилъ меня разобрать все и раздать наиболѣе бѣднымъ крестьянскимъ семьямъ.

Деревня, куда я ѣхала, находилась верстахъ въ пятидесяти отъ губернскаго города, и Ѳедотычъ долженъ былъ встрѣтить меня. Пока носильщикъ разыскивалъ чемоданъ, я послала сторожа узнать, есть-ли лошади изъ Соколова. Черезъ минуту-другую явился рослый, сѣдой какъ лунь, обстриженный подъ гребенку, бравый отставной солдатъ. Сохранившаяся, несмотря на шестьдесятъ-пять лѣтъ, образцовая солдатская выправка сороковыхъ годовъ не могла быть скрыта ни балахономъ бѣло-бураго домашняго сукна, ни картузомъ необычайной формы, представлявшимъ нѣчто среднее между гречневикомъ и чухонскимъ ушастымъ малахаемъ.

Онъ, на ходу снимая свой картузь, окинулъ меня бѣглымъ и любопытнымъ взглядомъ, не безъ примѣси затаенной и понятной тревоги. Безъ меня онъ прожилъ-бы лѣто панъ паномъ, а въ лицѣ моемъ являлся къ нему баринъ. Тотъ-же взглядъ отъ моей наружности перешелъ на мой багажъ.

— Здравствуйте, сударыня; съ счастливымъ пріѣздомъ... Это всѣ ваши вещи? спросилъ онъ и въ недоумѣніи указалъ на ручной дорожный мѣшокъ, четыре огромныя пачки книгъ, туго перетянутыя бичевками, и двѣ корзины, обернутыя бумагой.

— Вонъ чемоданъ несутъ.

— И все? спросилъ Ѳедотычъ, по размѣрамъ чемодана заключивъ, что содержаніе его представляло запасъ вещей очень недостаточный на четыре мѣсяца для барыни. Впрочемъ, это не произвело на него неприятнаго впечатлѣнія.

Понесли вещи въ небольшой открытый тарантаскѣ, сплошь залѣпленный сухою грязью до невозможности различить, изъ какого матеріала былъ сдѣланъ кузовъ, изъ дерева-ли, или, по мѣстному обычаю, изъ плетенаго тростника. Но пара сытыхъ лошадей, которыхъ Ѳедотычъ обозвалъ самыми вѣжными именами за то, что онѣ смирно простояли безъ него подъ наблюдениемъ стража общественнаго спокойствія, были вымыты

и вычищены такъ, что шерсть лоснилась какъ атласъ, а расчесанные хвосты и гривы отливали шелкомъ. Сбруя такъ-же блестяла безукоризненной чистотой.

Все было увязано; Ѳедотычъ сѣлъ на козлы и спросилъ не надо-ли куда заѣхать. Надо было завернуть на рынокъ, купить сѣвтные припасы, и на почту. Лошади тронулись, тарантасикъ поверотилъ въ ближнюю улицу.

Наконецъ, послѣ нестерпимой тряски по мостовой, мы выѣхали на большую дорогу. Пыль, слегка смоченная дождемъ, поднималась невысокими тяжелыми клубами около колесъ и ногъ лошадей.

— Ну, матушка, слава тебѣ Господи, что пріѣхали, заговорилъ Ѳедотычъ, чуть только мы сѣхали съ мостовой и можно было говорить, а не кричать.—Ужь мы съ Фишей ждали васъ, ждали. Баринъ писалъ—въ апрѣлѣ будете. Стадимъ вамъ ключи—и съ плечъ долой. Теперь не мы въ отвѣтъ. А то, всю зиму, нѣтъ-нѣтъ да и заскребеть на сердцѣ: думается все—ну долго-ли до грѣха. Много нонече художества этого пошло по деревнямъ, а ты въ отвѣтъ. Еще кабы я долгое время у барина жилъ, а всего годъ. И все у насъ давно готово къ башему пріѣзду; только какъ вамъ понравится: вы питерская, а у насъ по-просту, не-то что петергофскія или раніенбаумскія дачи.

— Понравится. Я человѣкъ неприхотливый.

Ѳедотычъ оглянулся, посмотрѣлъ на меня зорко и потомъ добродушно усмѣхнулся. Лицо Ѳедотыча, цвѣта, напоминающаго, по собственному его выраженію, голенище сапога, смотритъ суровымъ, когда онъ молчитъ; но суровость смягчаютъ глаза его, большіе, сѣрые, совсѣмъ молодые и съ сильнымъ блѣнкомъ мечтательности, полузакрытые толстыми вѣками, надъ которыми нависли густыя клокастыя, сѣдыя брови; крупныя, морщины, кажется, надавливаютъ ихъ на глубокія впадины глазницъ. Большой ротъ съ плотно сжатыми губами по-крытъ густою щетиною усомъ, ровно подстриженныхъ; Ѳедотычъ давалъ имъ волю расти только у угловъ губъ и въ складкѣ щекъ, и они спускались длинными, острыми концами, очавшими надъ волнистой и короткой бородой, придавая еще нѣколько суровости его лицу. Но стоило ему заговорить,—и добродушная улыбка поднимала углы губъ и брови, показывала полный комплектъ ровныхъ, слегка желтоватыхъ и крѣпкихъ

зубовъ; въ глазахъ свѣтился добродушный юморъ и «себѣ на умѣ», свидѣтельствующее, что Ѳедотычъ выдалъ виды на своемъ вѣку и умѣеть раскусить человѣка. Ѳедотычъ совмѣщаетъ въ лицѣ своемъ должности сторожа и даже управляющаго имѣньемъ, которое сдано на аренду, и кучера, и садовника, и пчеловода. Онъ-же, въ случаѣ надобности, плотникъ, столяръ, обойщикъ, шорникъ,—словомъ человѣкъ на всѣ руки. Все это онъ объяснилъ мнѣ, прибавивъ, что солдату, да особенно кавалерійскому, въ походахъ приходится всему научиться. Ѳедотычъ служилъ въ гвардіи, получилъ крестъ за кампанію противъ повстанцевъ и немало гордится этимъ отличіемъ. Онъ большую часть дороги занималъ меня рассказами о своихъ походахъ.

— Давно вы въ отставкѣ?

— Послѣ польскаго мятежа. Крестъ дали и отставку. Кабы не походъ, я-бы въ безсрочный ушелъ; сидѣлъ-бы я то дѣто на своемъ пчельникѣ. Смерть я пчелъ люблю, и нѣтъ насѣкомаго чудеснѣе и умнѣе пчелы, прочувствованнымъ тономъ говорилъ Ѳедотычъ.—Жаль было мнѣ пчельникъ дѣдовъ оставить, какъ въ солдаты брали. Пчельникъ, почитай, что мой былъ. У дѣда ноги отнялись за два года передъ тѣмъ, какъ меня брали; я все одинъ справлялъ, пчела знала меня. Хорошо на пчельникѣ, тихо; отъ цвѣтовъ духъ идетъ, солнышко грѣетъ, а пчелка такъ и жужжитъ, такъ и снуетъ, носить вѣзтку и меду, и воску. Сидишь себѣ, слушаешь, смотришь, а на душѣ такъ легко. Словно сила какая-то льется въ тебя изо всего, и такъ сладко на сердцѣ. Хорошо на пчельникѣ! одушевляясь повторилъ Ѳедотычъ:—Теперь горе-ли какое, обида переносная,—другой запѣть и поидеть чертить. А у меня такое поведеніе: обидать-ли, зло-ли накипить или тоска на душѣ—маршъ сейчасъ на пчельникъ. Посидишь, посмотришь, и такое умиротвореніе найдешь и все какъ рукой сниметъ. Вотъ увидите мой пчельникъ. Новый это у меня. Въ ту пору, какъ я изъ-за польскаго мятежа въ безсрочные не ушелъ, дѣдъ померъ, пчелы-то и перевелись. То рой проглядать—улетить; то съ болѣзни перемеруть пчелы, потому что никто не зналъ такого слова, только дѣдъ да я знали (Ѳедотычъ при этомъ таинственно понизилъ голосъ); то съ голоду перемеруть, потому безъ толку медъ вырѣзали. Пропалъ какъ есть пчельникъ. Отписали мнѣ тогда. И такое зло нашло на меня, какъ

я провѣдалъ, такое зло, что вѣкъ не забыть. Не бунтуй поляки, я бы принялъ своимъ порядкомъ пчельникъ отъ дѣда, и теперь у меня было-бы сотни три, а то и больше колодь, и былъ-бы я первымъ пчеловодомъ на весь уѣздъ. Ни за что провали пчелки...

— Чего лѣнишься? другіе, чтобы за тебя работали? Вотъ погоди, барствовать-то я тебѣ задамъ! прикрикнулъ Ѳедотычъ и раздраженіе, вызванное воспоминаніемъ о погибшихъ пчелахъ, слышалось въ его окрикѣ.

Объ лошади, привыкшія къ благодушному тону, повернули головы, насколько позволяла упряжь, и покосились на Ѳедотыча.

— Ну, голубчики, ничего, идите себѣ, родимыя, приласкаль онъ, мгновенно смягчившись.—Вотъ какъ голоса понижаютъ, похвасталъ онъ, оглядываясь на меня и ожидая дань похвалы, которую и получилъ.

Нѣсколько времени мы ѣхали молча. Ѳедотычъ досталъ трубку и попросилъ позволенія закурить. Дорога пошла скверная; мѣстами огромныя выбоины были кое-какъ заложены хворостомъ.

— Теперь я шагомъ пушу, и вы увидите, хоть я возжи брошу, а лошадушки ни въ одну колдобину не завернуть; учены у меня.

И онъ не даромъ хвасталъ лошадушками. Намотавъ концы возжей на руку, чтобы не болтались, онъ предоставилъ лошадямъ полную волю везти насъ по ихъ благоусмотрѣнію, а самъ, утѣвшись въ полъборота ко мнѣ, спиною къ вѣтру, принялся набивать трубку изъ кожанаго кисета, расшитаго шелкомъ и битью. Лошади вполне оправдали довѣріе Ѳедотыча и ловко лавировали между лужами и ямами, ни разу не поставивъ тарантасикъ въ критическое положеніе. Ѳедотычъ курить трубку, повременамъ любовно и самодовольно поглядывая на лошадей, называя ихъ родными, золотыми, голубчиками, и, казалось, каждое слово его придавало лошадямъ болѣе ловкости и сноровки. Пристяжная, все время очень осторожно ступавшая по хворосту, вѣроятно наколовшись на острый сукъ, дернула ногой и навалила на коренника, который сдалъ въ бокъ, въ глубокую лужу; тарантасикъ тряхнуло, и насъ обдали крупныя брызги жидкой грязи и грязной воды.

— Чего, нѣженка!.. Стыдно!.. Похвалили, и носъ задралъ!

Вотъ я тебѣ, барину, торцовъ да асфальту приготовлю. Стыдно, э-эхъ! укорялъ Ѳедотычъ.—Ну, ну, маршь, впередъ, ребята!

Присяжная оглянулась на упрекъ и потомъ, опустивъ голову, снова потянула по неумятымъ кучамъ сучьевъ, ступая съ удвоенною осторожностью и не смѣя болѣе напирать на коренную.

— Скотина, а понимаетъ, коли ты ее толкомъ понимать научишь. И вѣдь безъ кнута я обучалъ, а все словомъ. Кнутъ беру только отъ собакъ. Здѣсь, по деревнямъ, а пуще всего у арендаторовъ, злющіе псы,—разорвутъ, если безъ палки или кнута. Къ битью приучены. А ты возьми скотину съ измалолѣтства не порченую, да коли она безъ палки тебя слушать не будетъ—самъ ты виноватъ, не настоящій человекъ, значить. Ну, родные, золотые, голубчики, шагу прибавьте. Не сѣно везете.

Лошади, лѣниво шагавшія, пошли скорѣе, ровнымъ, дружнымъ шагомъ. Луки и кучи хвороста тянулись еще далеко впереди. По обѣимъ сторонамъ проселка обугленными горами чернѣли сожженные ляды, то есть выжженные подъ пашни молодые поросли. За лядами стоялъ низенькой сплошной стѣной лѣсокъ чахлахъ березъ, дотога частый, что съ дороги казалось, будто между жидкими стволами едва можно просунуть руку. Холодный весенній вѣтеръ пробиралъ дрожью и гонялъ высоко по тусклому, блѣдно-сѣроватому небу влочья сѣдыхъ тучъ съ золотистыми окраинами. Между ними скупо пробивались, не грѣя, лучи солнца. Молодая листва, казалось, ёжилась отъ холода, и ее едва можно было замѣтить на гнувшихся и качавшихся отъ вѣтра глухо шумѣвшихъ сучьяхъ.

Ѳедотычъ покуривалъ свою трубку, сидя въ полъ оборота, и бессознательно болтая свѣщенной по одну сторону козелъ ногой. Онъ согнулся, вытянулъ шею и безцѣльно смотрѣлъ впередъ.

— Вишь ты, проговорилъ онъ самъ себѣ:—Ни одной-то букашки, ни козявки, какъ есть ни одного насѣкомаго; всѣ попрятались въ норы свои. А сколько ихъ было какъ солнышкомъ пригрѣвало, и-и-и—жизнь! Теперь ни одна пчела не полетитъ за взяткой. Только часовые стоять у летка. Зябнуть, родимые, невесело! Смерть это я не любилъ въ походѣ часовымъ стоять. Всѣ спать, а ты стой. Ночь, кругомъ черно,

особливо въ лѣсу; тишина, и жутко, словно ты одинъ во всемъ мѣрѣ. И всякія думы тутъ и полѣзутъ тебѣ въ голову, и все что днемъ видѣлъ, мерещится.

Федотычъ задумался.

Спустя нѣсколько минутъ, онъ выколотилъ трубку, сунулъ ее въ карманъ, взялъ возжи въ руки и крикнулъ:

— Чево залѣнились, принцессы? Не видите, что-ли, дорога гладкая. Парбета вамъ, что-ли, надо? Такъ я и припасъ вамъ. Маршъ, впередъ!

Пара дружно подхватила тарантасикъ ровной рысцей. Федотычъ небрежно держалъ возжи, иногда легонько посвистывая; съ каждымъ свистомъ его пара прибавляла шагу, и, наконецъ, мы понеслись чуть-ли не съ фельдъегерской быстротой. Дорога незамѣтно поднималась въ гору. Въ этой полосѣ не было дождя, и все усиливавшійся вѣтеръ взметалъ пыль и столбами крутилъ ее по дорогѣ.

II.

Навстрѣчу намъ, перегнувшись подъ котомкой и еле волоча ноги, тащилась старуха. Сѣрый кафтанъ ея, стаченный изъ разныхъ лохмотьевъ и очевидно предназначавшійся для рослаго мужика, висѣлъ мѣшкомъ на тщедушной фигурѣ ея и съ каждымъ ея шагомъ путался около высохшихъ, какъ палки, ногъ, обернутыхъ тряпьемъ и обутыхъ въ лапти. Рядомъ съ старухой шелъ мальчикъ лѣтъ четырнадцати, босой, въ рубахѣ, поверхъ которой было накинуто что-то въ родѣ не то жилета, не то бабьей душегрѣйки. Еслибы онъ лежалъ при дорогѣ, то его можно-бы было принять за мертвеца,—до того лицо его поражало худобой и синеватой блѣдностью. Старуха низко поклонилась, поровнявшись съ телѣгой, и запнулась о полу кафтана.

— Скинь шапку, Васенька, пробормотала она, и мальчикъ вежотно повиновался.

Я приказала сдержать лошадей и, доставъ двугривенный, позвала мальчика. Онъ лѣниво подошелъ, но разгоряченныя лошади не стояли, и двугривенный вылетѣлъ изъ руки моей на дорогу. Мальчикъ поднялъ его и съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на меня.

— Отдай, Васенька, мы не нищѣ, подходя къ мальчику,

проговорила старуха, съ видимымъ сожалѣніемъ смотря на двугривенный.—Охъ, горькіе мы, видно, что насъ за нищихъ почитаютъ?

— Простите, пожалуйста, бормотала я, сконфузясь.

Мальчикъ бѣжалъ за телѣгой, протягивая мнѣ двугривенный.

— Пушай ему на пряники остается, замѣтилъ Ѳедотычъ.— Гдѣ-жь ему догнать? Лошадки бѣжать хотять.

— Отдайте тѣмъ, что въ кусочки ходять, закричала я старухѣ.

Въ вагонѣ сосѣди мои, крестьяне, разъяснили мнѣ значеніе мѣстнаго выраженія «ходить въ кусочки».

— Отдадимъ, барыня, отдадимъ! Будьте безъ сумлѣнія! дребезжащимъ голосомъ кричала мнѣ вслѣдъ старуха, бережно завязывая взятый у мальчика двугривенный въ конецъ холщеваго куска, которымъ была обвязана голова ея вмѣсто платка.

— Обидѣла я старуху. Она кланялась, я думала—просить.

— Какъ-же не кланяться? Видить, господа ѣдутъ. Здѣсь вѣжливость соблюдаютъ, особливо старые люди. Молодежь—ну, въ той ужъ того почтенія нѣтъ, потому время другое, философски замѣтилъ Ѳедотычъ.

Намъ встрѣтилось еще нѣсколько такъ-же нищенски одѣтыхъ, такихъ-же изморенныхъ бабъ, мужиковъ и дѣтей. У многихъ на спинѣ были взвалены мѣшки.

— Дебечинскіе. Къ мельнику, видно, ходили, мучкой раздобыться да себѣ петлю на шеѣ покрѣпче затануть, замѣтилъ Ѳедотычъ.—Теперь, вы думаете, они изъ этой муки хлѣбъ шпекутъ, какъ обыкновенно пекутъ,—ну, просятъ, отруби скотинѣ. Они не то что сѣять, еще старыхъ-то осѣвковъ прибавять? Хлѣбъ безъ хруста не ѣдятъ во сколько годовъ; чистый-то хлѣбъ замѣсто пряника имъ. Одно слово—бѣдота, голь. Эти-то еще направляютъ послѣ прошлаго голоднаго годѣ, не ходять въ кусочки.

Нѣсколько группъ нищихъ попались на дорогѣ.

— И на што это вы денегъ имъ бросили? Дѣло! Я-бы такихъ нищихъ забралъ-бы да цѣпями къ сохѣ приковаль. Дармошды! Чего слоны слоняете, Христово имя всеу призываете... пахать надо! наставительно прикрикнулъ Ѳедотычъ на двухъ малорослыхъ и тощихъ мужиковъ.

Угловато оттопыренный холстъ мѣшковъ свидѣтельствовалъ, что они были набиты кусочками.

— Земля не пахана у васъ! У всѣхъ добрыхъ людей, куда

ни глянъ, она теперь вспахана, что твой пухъ, а у васъ, не-
путевые!.. Суньте-ка вы только носы свои ко мнѣ за кусоч-
ками! Шатуны!

Федотычъ, привставъ на козлахъ и обернувшись на мужи-
ковъ, выкрикивалъ свое обличеніе. Мужики отвѣчали бранью,
которую Федотычъ принималъ съ спокойствіемъ философа.

— Ладно, ладно, ругайтесь! Какъ ни обзывайте, я все
тѣмъ-же останусь и слова мои неправой обидой не стануть,
проговорилъ онъ, садясь на мѣсто. — Правда-то глаза колетъ.
Увидите, матушка, верстъ черезъ восемь пойдутъ ихъ поля—
срамъ взглянуть. У мужика земля должна быть какъ пухъ
вспахана, а у нихъ скипѣвшіеся комья. Одинъ кострець родить.

Повторенное много разъ опредѣленіе «какъ пухъ» затро-
нуло мое любопытство, и я замѣтила Федотычу, что болѣе
тридцати-пяти верстъ пробѣжала, а такихъ полей не видѣла.
Дѣйствительно, почти вездѣ пахота была плохая.

— Да нешто это крестьянскія поля? Все, что вы видѣли,
это все барскія; крестьянамъ отрѣзали въ такихъ углахъ, что
пробѣзду нѣтъ. По дорогамъ-то все господскія или арендатор-
скія. По найму обрабатываются, съ кругомъ, или поденщиной,
или съ кулацкой петлей на шеѣ. Коли гдѣ получше, такъ
вѣрно изполу или изъ-за третьяго снопа. А вы посмотрите на
крестьянскія поля у настоящихъ-то мужиковъ. Какъ мужикъ
сохой или бороной пройдетъ—ни одного комочка. Земля здѣсь
мягкая, каждая кружиночка то у мужика перевернута—потому
безъ этого ему одно: съ голоду помирать. Навозу мало, такъ
чтобъ ни одна кроха земли не пропадала. Кабы жестокою
землю такимъ манеромъ пахать,—онъ такъ и сказалъ жесто-
кую,—надорвался-бы совсѣмъ мужикъ. Кабы на такую пахоту
да половину того навоза, что валять на барскія поля, на диво
хлѣбъ-бы родился. А теперь земля еле прокормитъ его съ семьей;
надо подати, надо земскіе сборы, ну и поидеть на заработки,
чугунку копать или на фабрики. Только это все гибель му-
жика. Много народу тамъ портится и пропадаетъ. Ужо, по-
расскажу вамъ.

Федотычъ сосредоточилъ все вниманіе на спускѣ съ горы, ко-
торый, дѣйствительно, былъ опасенъ. Глубоко наѣзженные колеи
извивались между еще болѣе глубокими промоинами, мѣстами
образовавшими ямы, въ которыхъ можно было исчезнуть не
только тарантасику, но и дорожной каретѣ четверней.

— Голубушки, умницы, покажите себя... вотъ такъ! Чего косишься на яму? Не попадешь! ободряль Ѳедотычъ осторожно ступавшихъ лошадокъ.

Тарантасикъ перекидывало изъ стороны въ сторону; съ каждымъ поворотомъ колесъ приходилось цѣпляться за края его, чтобы не скатиться по наклонной плоскости колеблющагося, какъ качели, сидѣнья. Наконецъ, мы очутились подъ горой на болотной тощи, и тарантасикъ, раскачиваясь, пошелъ припрыгивать по бревнамъ, которыми былъ высланъ проселокъ на порядочное разстояніе.

— Спасибо, родимые, произнесъ Ѳедотычъ, переводя духъ. — По правдѣ сказать, каждый разъ, какъ спустишься, такъ камень съ сердца. Вотъ ужъ должно икаться до смерти Васнецовской барынь!.. Вонъ усадьба, видите, на горѣ. Безсовѣстная, дорогу не починить, а люди тутъ телѣги ломаютъ и лошадей портятъ, а въ лихой часъ и жизни рѣшатся. Всякій ее не добромъ помянетъ здѣсь.

— Сама же она ѣздитъ; чтожь для себя не поправитъ?

— Сама она не ѣздитъ; другая дорога есть отъ усадьбы, версты двѣ въ объѣздъ. Ей и горюшка мало. Захотѣли вы отъ нея понятіевъ о совѣсти!

— Что, видно барыня кремень?

— Какая она барыня! Одно званіе; не вѣнчана она съ Васнецовымъ, и роду она какого—неизвѣстно. Васнецовъ привезъ ее изъ Питера лѣтъ пятнадцать тому назадъ, шестерыхъ дѣтей прижилъ. Она все его пилила: женись да женись, не то уйду. И дѣтей противъ него наущала; онъ любилъ ихъ крѣпко. Онъ ихъ ласкать, а они: «Пошелъ прочь, папка злой, не женишься на мамкѣ».

— Такъ отчего же онъ не женился? Нехорошо.

Ѳедотычъ оглянулся на меня съ снисходительной улыбкой.

— Чтожь смѣшного въ томъ, что я сказала, Ѳедотычъ?

— А то, что сколько вашего пола ни судять объ этомъ дѣлѣ, такъ всего два приговора разныхъ слышишь, а настоящаго и не слышишь. Барыни завзятыя и строгія говорятъ: «умно что не женился, честь не уронилъ: на женщинахъ, что себя не соблюдаютъ, позорно жениться».

Ѳедотычъ проговорилъ эти слова тоненькимъ голоскомъ, преславно передразнивая добродѣтельно негодующій тонъ барынь.

— А другія—вотъ, какъ вы, говорятъ: «жениться долженъ»;

а вѣдь того не разсудятъ, что это—по дѣлу и по человѣку. Коли обмануль дѣвушку и она всей душой къ тебѣ,—женись, не то подлецомъ будешь. А коли она сама продувная, нарвила на шею къ нему сѣсть за его богатство, и неповѣренная командиршей такой была, что бѣда?.. Что онъ подарковъ прислугѣ передарилъ, чтобы только терпѣла и жила. Повѣнчайся онъ съ ней, такъ она со свѣту-бы его сжила. Кормилица Васнецовскаго барина, кума мнѣ; та тоже ему говорила: «женись для дѣтей». Онъ говоритъ: «дѣтей усыновлю, а петли на шею не надѣну. Сама видишь,—какая». Померъ баринъ, дѣтей усыновивши, и опекуна назначилъ. Ей часть хорошую выделялъ, а все имѣніе—дѣтамъ. Опекунъ померъ, другого назначили. Она стакнулась съ тѣмъ—и теперь полная хозяйка. Въ имѣніи безтолочь, разореніе, дѣти растутъ безъ воспитанія. Она связалась съ дурнемъ, съ пьяницей, а тотъ дѣтей бьетъ и ее обираетъ. Да вы его видѣли у вокзала, какъ пріѣхали. Впереди насъ на тройкѣ укатилъ. Лихая тройка, тыщи двѣ, коли не три, стоила. Не кони—дьяволы. Пристяжная на цѣвяхъ. Она, полубарыня, и та у него по стрункѣ ходитъ. Онъ ее бьетъ, да нешто ей?..

Я припомнила юнаго, черноброваго Поздрева, еще безъ бакенбардъ, съ подковообразнымъ ирамомъ на низкомъ лбу и безграничнымъ нахальствомъ въ каждой чертѣ живоотно-красиваго лица, въ каждой позѣ геркулесовскаго тѣла, которому было такъ неловко въ модномъ, новомъ и уже засаленномъ до безобразія пальто въ обтяжку. Оттолкнувъ кучера, онъ вскочилъ на козлы, схватилъ возжи въ здоровенный кулакъ, лихо гикнулъ, и тройка—дѣйствительно дьяволовъ коней—съ мѣста взяла вскачь. Какой-то кузовокъ вылетѣлъ изъ тарантаса; юноша шутя потянулъ къ себѣ кулакъ, и тройка мгновенно остановилась. Несчастныя дѣти! Въ пьяную минуту такой кулакъ и не ребенка положить на мѣстѣ.

— Да, вотъ какое дѣло. По настоящему судить надо; а то ваптъ полъ какъ судить такія дѣла: либо женщину заплютъ, заклюютъ, и никакой жалости она не заслужитъ. либо ужъ—то ни дѣлай она—мужчина виноватъ. А вотъ чтобы разсудить все обстоятельно и по справедливости—такъ этого нѣтъ, разумлялъ меня Федотычъ.

За топью начинался подъемъ въ гору, который былъ нѣтъ не лучше спуска. Съ горы открывался живописный видъ

на рѣчку, которая вдали змѣвилась между невысокими, отлогими холмами, покрытыми молодою зеленью озимей. Кое-гдѣ были разбросаны усадьбы и небольшія деревеньки. Мезонины помѣщичьихъ домовъ, съ крышъ которыхъ наполовину былъ ободранъ тесъ, видѣлись между рядами березъ и липъ, разбитыми и заколоченными окнами своими напоминая объ оскудѣніи нѣкогда кишѣвшей здѣсь жизни. Въ деревняхъ низенькія избы, однѣ скривившіяся на бокъ, другія какъ-будто пришибленныя обрушившейся сверху страшною тяжестью и всѣ крытыя почернѣлой соломой, заражали тѣмъ тоскливымъ чувствомъ, которое такъ и проступаетъ въ каждой чертѣ бѣдной деревни. При вѣздѣ въ двѣ-три деревни, въ глаза кидалась стоящая особнякомъ большая изба съ грязной вывѣской «Питейный домъ», или казарменнаго вида флигель, а не то двухэтажный домъ съ такою-же вывѣскою. Черными линиями вырѣзался вдали четырехугольникъ зданія; около него—ни дерева, ни куста; возлѣ—нѣсколько грядокъ, обнесенныхъ жидкимъ плетнемъ, который качался съ каждымъ напоромъ вѣтра.

— Смотрите, плетень сейчасъ повалится, замѣтила я Ѳедотычу.—У крестьянъ крѣпко стоитъ.

Ѳедотычъ иронически усмѣхнулся.

— Вы думаете, это просто? У крестьянъ-то плетень такъ заплетутъ, чтобъ и курица чужая не пробралась, а у этихъ живодеровъ плетень нарочно такой, что попробуй скотина объ него почесаться, онъ и повалится. Ну, скотина въ огородъ, а живодеры въ судъ, за потраву. Вы думаете, огороды у нихъ вскопаны и засажены какъ у людей? Декорація одна, ровно какъ на тѣатрѣ. Для виду поковыряетъ землю, чтобъ было за что кровь сосать. Э-эхъ, вотъ поживете, наслышитесь и насмотритесь...

— Бѣдность какая кругомъ! сказала я.

— Теперь еще слава Богу, отвѣчалъ Ѳедотычъ,—а вотъ прошлый годъ, такъ и соломы не было на крышахъ; всю скотинѣ скормили. Наказаніе Божеское было.

Тоскливое чувство все росло. Небо хмурилось; высоко надъ головой сгущалась ровная, свинцово-сѣрая завѣса тучъ. Посѣяли мелкія иглы дождя, напоминавшаго сильно осеннюю изморозь. Я просила Ѳедотыча погнать лошадей. Онъ не особенно охотно исполнилъ мое желаніе. Погнавъ пошибче версты съ полторы, опять пустилъ ихъ трусить легкой рысцою и,

чтобы застраховать лошадей отъ повторенія моеѣ просьбы, продолжалъ занимать меня разговоромъ.

— Вонъ за этой деревней, на косогорѣ, другая: въ ясный день видно отсюда.—тамъ мой пчельникъ,—Федотычъ указалъ влѣво.—Я свезу васъ, покажу его. Увидите, какъ меня пчела знаетъ. И нѣтъ пчелы умнѣе изъ насѣкомыхъ, потому что она человѣка понимаетъ: у кого злая душа—водиться не будетъ, отворотить ее.

— Да вѣдь и всякая скотина и птица хорошо водится только если ухоть хорошій; у хорошаго человѣка хорошій ухоть, у дурного—дурной.

— Эхъ, все вы не то говорите, какъ послушаю! Федотычъ съ досады забылъ даже о вѣжливости тона, которую соблюдалъ и при педагогическихъ внушеніяхъ.—Ухоть-ухотомъ, и какъ бы ни будь человѣкъ, а если у него ума хватить свою выгоду понимать и средство есть, такъ у него скотина всегда будетъ имѣть хорошій ухоть, будетъ добрѣть и плодиться, а пчела—дѣло совсѣмъ особенное, разъяснял онъ, понизивъ тонъ.—У кого душа злая—роится не будетъ. Божья птаха пчела, воскъ ея Богу на свѣчу идетъ, оттого у ней и умъ есть. Посмотрѣли-бы вы какой у нея порядокъ въ улѣ, какъ все хитро прилажено, какъ все разумно въ жизни у ней расположено, такъ увидѣли-бы, что ее нельзя равнять ни съ какой скотиной или птицей по уму. Уходу за скотиной и птицей всякій можетъ выучиться, а за пчелой не всякій, а только тотъ, кому дано. Съ пчелой однимъ умомъ да наукой не много возьмешь,—и-нда! Тутъ надо таланъ имѣть и слово знать—вотъ что!

Федотычъ обернулся и пытливо и обидчиво заглянулъ мнѣ въ глаза, выслѣживая насмѣшку; не замѣтивъ и тѣни ея, онъ улынулся и юмористически заключилъ:

— Пчела самое умное «несѣкомое».

Очевидно, онъ нарочно коверкалъ это слово. Я спросила, отчего онъ такъ выговариваетъ, вмѣсто «насѣкомое».

— Я такъ выговаривалъ, не зная, еще когда мальчишкой былъ; барченокъ нашъ мнѣ растолковалъ, что по моему выходитъ не сѣкомое, то есть, что сѣчь нельзя. Я такъ и сталъ съ тѣхъ поръ звать пчелу и козявку всякую, потому правда вышла: ихъ не сѣкутъ. Теперь скотину всякую, птицу домашнюю сѣкутъ, а высѣки, поди-ко, пчелу или другую букаш-

ку—не высѣчешь, потому что неспособно. Самъ я въ ту пору былъ сѣкомымъ, ухъ, какимъ сѣкомымъ, такъ мнѣ очень и понравилось это слово,—такъ въ привычку и вошло. Теперь и я несѣкомое, какъ кавалеръ, и даже еслибы по закону годы не вышли, когда сѣчь нельзя, я все былъ-бы несѣкомымъ,—и Ѳедотычъ расхохотался громкимъ заразительнымъ смѣхомъ.

Остальную часть дороги Ѳедотычъ бесѣдовалъ о положеніи сѣкомыхъ и о розгѣ. На этотъ счетъ онъ выработалъ себѣ двойственную теорію. Въ семьѣ и школѣ онъ не допускалъ розги, потому «дѣти—Божьи души, завсегда можно добрымъ словомъ ихъ обучить».

— У меня пасынокъ съ падчерицей. Пасынокъ въ ученіи, а падчерицу увидите. Я ихъ никогда пальцемъ не тронулъ; дѣти—какъ дѣти, и ужь не хуже, коли не лучше, битыхъ. И они больше меня слушаютъ, чѣмъ Фишу, хоть та имъ родная мать и, не ровень часъ, и оттаскаетъ ихъ. Да какъ-же съ дѣтьми не обойтись безъ битья, когда, видѣли, скотина безсловесная безъ кнута слушается? подкрѣплялъ фактами Ѳедотычъ свою теорію.

Въ военной службѣ и для мужиковъ онъ безусловно признавалъ необходимость розги.

III.

Часамъ къ семи вечера мы пріѣхали въ усадьбу. На пригоркѣ, подъ которымъ бурлила быстрая и глубокая рѣчка, до половины скрытая рядами прибрежныхъ ракъ, стоялъ одноэтажный господскій домъ съ двумя крыльцами по концамъ. Усадьба была обнесена плетнемъ. Ворота, по здѣшнему «заноры», выбѣжала отворить жена Ѳедотыча, Афимья Егоровна, и, какъ я ни прятала руку, она схватила ее и почтительно облобызала въ ту минуту, когда я считала препирательства о лобызаніи совершенно поконченными. Въ этомъ движеніи не было заяскивающего раболѣвства. Афимья Егоровна считала это такою-же необходимою церемонію, какъ и «вошедшее въ моду теперь» прятанье ручекъ отъ поцѣлуя, обязательнаго по кодексу приличій, какъ обязательно, на примѣръ, троекратное отпѣиванье на троекратное приглашеніе выпить еще чашку чая. Въ продолженіи почти четырехъ мѣсяцевъ своей службы мнѣ, Афимья Егоровна не только никакого раболѣвства не

выказывала, но и съ моей стороны потребовалось не мало твердости, чтобы не дать ей подчинить часы трапезъ моихъ и даже инья побѣдки мои ея собственному усмотрѣнію.

Афимья Егоровна—рослая, смуглая баба, лѣтъ сорока, съ широкою костью, плоскою грудью, и еслибы вмѣсто городского платья ее одѣть въ мундиръ,—то она годилась-бы въ гвардію. Всѣ черты плоскаго, скуластаго лица ея, съ глазами какъ шелки, черными и тусклыми, и огромнымъ ртомъ съ крупными, крѣпкими, бѣлыми зубами, выражаютъ крайнее простодушіе, чтобы не сказать глупость. Афимья Егоровна считаетъ себя умнѣйшею женщиною, впрочемъ, болѣе потому, что ее выбрали въ жены Ѳедотычъ, къ которому она питаетъ подобострастное обожаніе, не безъ примѣси трепета.

— Ровни Ѳедотычу по уму вы и въ трехъ волостяхъ не сыщите, объявила мнѣ съ гордостью Афимья Егоровна еще когда, взваливъ на одно плечо чемоданъ, на другое пачку книгъ, она крупно шагала впереди меня, указывая дорогу въ приготовленную мнѣ комнату.

Собственный недочетъ по части ума Афимья Егоровна объясняла тѣмъ, что у нея памяти нѣтъ:—«Много въ голову били въ малолѣтствѣ, и съ тѣхъ поръ голова—какъ рѣшето». Эти жалобы на память вызывали юмористическое выраженіе на лицѣ ея мужа, который, впрочемъ, не считалъ крайнее простодушіе недостаткомъ въ женѣ, если только оно не мѣшало ей «справлять рачительно женское дѣло». Афимья Егоровна безукоризненно справляла свое, и пять лѣтъ по смерти перваго мужа, горькаго пьяницы, двороваго, которому дали жалкій клочекъ земли, геройски билась съ нуждой и была всегда весела и кротка. Этими качествами и еще тѣмъ, что, несмотря на свое вдовье положеніе, была стыдлива, какъ молоденькая дѣвушка, она плѣнила Ѳедотыча, который, по возвращеніи на родину, завелъ лавочку и, нуждаясь въ хозяйкѣ, въсколько лѣтъ высматривалъ невѣсть. Афимья Егоровна не мечтала о вторичномъ супружествѣ, а тѣмъ болѣе съ Ѳедотычемъ. Со дня сватовства Ѳедотыча, который могъ-бы выбрать любую невѣсту, дѣвушку изъ богатой семьи, она прониклась безграничною благодарностью къ нему и, вмѣстѣ съ тѣмъ, убѣжденіемъ, что она умнѣйшая изъ женщинъ.

Лавочка не пошла у супруговъ. Ни мужъ, ни жена не могли отказать давать товаръ въ долгъ, тогда какъ платили,

разумѣется, немногіе. — Раздать легко, а поди, собирай, говорилъ Ѳедотычъ. — Съ мошенниками тягаться — время, хлопоты пропадутъ, только себя въ сердце введешь, потому волостные судьи въ рукахъ писаря, а писарь съ мошенниками — одна пайка. Ну, а съ бѣдныхъ что взять? Дѣти голодными сидятъ. На торговое дѣло надо быть кремнемъ и мошенникомъ».

Проторговались супруги и стали искать мѣста. Пріятель мой, получивъ наслѣдство, искалъ честнаго человѣка, и единоклупный голосъ сосѣдства указалъ на Ѳедотыча.

Афимья Егоровна, видя, что я не расположена отдыхать послѣ обильнаго обѣда, который она мнѣ приготовила, предложила принять всѣ вещи, чтобы поскорѣе отписать барину о томъ, что все найдено въ сохранности. Явился Ѳедотычъ съ огромною связкою ржавыхъ ключей.

— Вотъ люблю, что сейчасъ за дѣло, одобрилъ онъ. — На пользу пойдетъ, потому голи непокрытой много. Только и одолѣеть-же васъ бабье!.. Не говорите вы напередъ никому, что разлавать будете. Я и Фипѣ болтать не приказалъ, а то скопомъ бабы со всей волости нагрянутъ, вздохнуть не дадутъ. Слухи ходятъ, что въ сундукахъ цѣлыя горы богатства. Покойница Елена Петровна запершись жила столько лѣтъ, не по дворянскому чину жила — крестьянкой, ну, и думали, что богатство копить. Я и самъ такъ думалъ, пока не стали мы съ баринкомъ разбираться въ ящикахъ. Тряпье одно всѣхъ сортовъ.

— Какъ можно говорить такъ, Акимъ Ѳедотычъ! какое тряпье! обиженно вступилась Афимья Егоровна. — Кусками на платьѣ ситецъ, полотенъ всякихъ цѣлыя сотни кусковъ, а что платьевъ и бѣлья всякаго, платки шалевые и шубы, пальто, — ну и стараго, конечно, много. Вотъ сами увидите, — добра много.

— Все одно званіе, — тряпье. У бабъ и на онучку глаза разгорятся.

— Нѣтъ, ужъ этого вы, пожалуйста, Акимъ Ѳедотычъ, не говорите... и при барынѣ еще какъ можно такъ говорить! остановила Афимья Егоровна своего супруга, сконфуженная до-нельзя неполитичностью его словъ.

Я окидывала глазами шкафы такихъ размѣровъ, какихъ въ домахъ новѣйшей постройки дѣлаютъ комнаты, называемыя

небольшими, — комоды, въ ящикахъ которыхъ вытянулась-бы во весь ростъ дѣвица-великанша, и кованые сундуки подъ стать шкапамъ и комодамъ, съ всякими замками, которые годились-бы запираеть ворота. Все было тяжеловѣсное, прочное и какъ-будто нарочно рассчитано на то, чтобы навести на мысль о скрываемихъ горахъ богатства.

Громадность размѣровъ испугала меня, и я на этотъ вечеръ ограничилась тѣмъ, что, послѣ подбора ключей, отперла дверцы и крышки, по настоятельной просьбѣ Фодотыча и жены его, и засвидѣтельствовала, что ничья рука не проникала сюда и не касалась содержимаго.

— Осмотрите домъ, любопытно, совѣтоваль Фодотычъ. — Чудная была барышня Елена Петровна. Жила въ двухъ комнатахъ, а прочія всѣ наглухо заколочены были и крыльцо къ той половинѣ и окна забраны досками. Лѣтъ пятнадцать, какъ мать ея померла, перестала знаться съ знакомыми и съ родными; жила какъ въ тюрьмѣ или пустынѣ. А добрая была. Съ крестьянами по-божески раздѣлалась, пахатной земли, покосовъ въ волю отрѣзала и лѣсомъ надѣлила; въ ту пору кусточки были, теперь лѣсъ. Дворовымъ по пяти десятинъ выдѣлила и лѣсу дала обстроиться, — все какъ слѣдуетъ. Земля теплая, вонъ на томъ берегу рѣки, на солнцѣ.

— Говорять, будто испортили ее, и она какъ не въ своемъ умѣ была, таинственно понизивъ голосъ говорила Афимя Егоровна. — Не смѣйтесь, Акимъ Фодотычъ, смѣшного тутъ ничего нѣтъ. Сами-же вы отъ порчи слово знаете. Сами посудите: барыня Елена Петровна образованная барышня была, ученая, а ни съ кѣмъ знаться не хотѣли изъ образованныхъ, крестьянъ только до себя приближали, одѣвались какъ простая крестьянка или мѣщанка: холщевая косынка на головѣ, крапивенная кофта или сарафанъ. Совсѣмъ ужъ не какъ родовитая барышня. И никуда ни ногой. Только въ деревни Ракитино до Подрѣчье ходили. Придутъ, посидятъ на завалинкѣ, потолкуютъ съ бабами и мужиками и домой пойдутъ. И въ лѣсъ ходить любили съ ребятишками; гитару возьмутъ, мѣшокъ пряниковъ, орѣховъ, чай, самоваръ — и пойдетъ потѣха. За ними вѣчно хвостъ ребятишекъ. Послѣдніе три года передъ смертью изъ усадьбы ни ногой. Зимой въ своей комнатѣ, лѣгомъ на чердачкѣ своемъ. Испортили ее дворовые, чтобы въ руки забрать.

— Да ужь люди, нечего сказать! перебилъ жену Федотычъ — Она у нихъ какъ подъ арестомъ жила. Увѣрили ее, будто ее испортятъ, и никого не допускали, ни одной живой души. Если кому дѣло какое до барышни, не допускать, пока угощенія имъ не выставятъ, и дорогого угощенія. Съ орѣшками и водкой на глаза не показывайся, а конфектъ и винограднаго неси, ну и подарки. Смотря по дѣлу. Не подарить — ничего не будетъ. И наживались-же, шибко наживались. Вонъ, напротивъ, — вабакъ Ваньки Безпалаго. Онъ сторожемъ былъ, изъ жалости одной взяла барышня, потому съ голодудохъ; а ей не надо было: при усадьбѣ и безъ того двое работниковъ было, а работать не учего, все на арендѣ. Бобыль былъ, въ одной рубахѣ и портахъ пришелъ, а посторожилъ годика три — и земельку купилъ, и скотинку. Лѣсу на избу отъ Елены Петровны-же получилъ. Онъ ночью къ себѣ возами зерно и сѣно и солому повезъ. Елена Петровна, какъ нарочно, ночью проснулась и отворила окно чердака своего, — вотъ увидите чердакъ, на которомъ жила. Зоветъ Ивана, спрашиваетъ: куда везешь и что везешь. «Везу хлѣбъ и сѣно, у арендатора нашего купилъ. Днем-то мнѣ некогда, вашу работу доработываль». Такъ на глазахъ обирали. Она прежде смѣняла, а подъ конецъ и смѣнять боялась. Увѣрили ее, будто тѣ, кого она смѣнила, со зла испортили ее.

— И испортили, Авимъ Федотычъ. — Во всемъ я съ вами согласна, только въ этомъ не могу согласиться, съ почтительнымъ упорствомъ возразила Афимья Егоровна и даже слегка пристукнула ногой, выпрямляясь во весь свой богатырскій ростъ.

Федотычъ усмѣхнулся.

— Коли испортили, такъ въ чемъ порча проявилась? Необыкновеннаго ничего не было, а болѣзнь — параличъ передъ смертью, — безъ малаго восемьдесятъ-то лѣтъ проживши ..

— Какъ ничего необыкновеннаго? А какъ жила барышня? Нешто это спроста? При ихнемъ-то большомъ умѣ?

— Ну, и при большомъ умѣ, и будь умъ еще больше чюдять люди. И она чудила. Дѣло барское, безапелляционнымъ тономъ рѣшилъ Федотычъ.

— И никто другой ее испортилъ, какъ рябая Дунька, да сама-же и увѣрила, что другіе испортили ее, кивая головой съ усиленнымъ упорствомъ, сказала Афимья Егоровна. — Дунь-

ка всѣмъ заправляла послѣдніе годы передъ болѣзною Елены Петровны, а какъ она заболѣла, Дунька словно хозяйкой стала. И чего только покойница не натерпѣлась къ болѣзни своей отъ Дуньки. Я своими глазами видѣла. Елена Петровна долго помирала. Мѣсяць лежала безъ движенія, и лежала совсѣмъ брошенная: ни пить подать, ни умыть ее, ни переменить—ничего. Узнали это черезъ попа орѣховскаго прихода. Елена Петровна не любила отца Петра своего прихода съ Зарѣчья. Она у орѣховскаго отца Ивана завсегда исповѣдывалась. Тотъ самъ пріѣхалъ провѣдать ее и ахнулъ, какъ все увидѣлъ. Въ грязи лежала, плачетъ. «За скотиной больше ухода, а по сундукамъ разгромъ идетъ», вотъ такими словами попъ и сказалъ. Какъ узнали это бабы сосѣдскія—и стали ходить по ночамъ сидѣть. У насъ это такъ водится: кому смерть приходитъ, такъ завсегда бабы по ночамъ сидятъ, чередъ заведуть. Ходила и я, въ свой чередъ. Слышу, стонетъ Елена Петровна, проситъ овчину тяжелую снять и пуховое одѣяло достать. Дунька стащила шубу, одѣяло притащила и со злостью швырнула, да и принялась за ноги Елену-то Петровну встряхивать, да кулаками подъ бока тыкать, чтобы одѣяло-то заправить. Елена Петровна говорить-плачетъ: «не такъ, тише». А Дунька все трясетъ за ноги и въ бока тычетъ ей, и говоритъ: «Ладно и такъ. Не твоя теперъ воля надо мной, а моя надъ тобой. И какъ я хочу, такъ и будетъ». Меня такъ всю и повернуло. И словно кто сказалъ мнѣ: Дунька испортила, некому больше. Такое злодѣйское у ней было лицо... Это Дунька-то такъ говорила и поступала! Елена Петровна ее и замужъ выдали, за кого Дунька хотѣла, и денегъ на обзаведеніе дали. Мужъ Дуньки столяръ былъ, пьяница горькій былъ, все пропилъ и безъ вѣсти пропалъ. Дунька къ Еленѣ Петровнѣ съ дѣтьми пришла, двое были. Елена Петровна пристроила ихъ, а она вонъ какъ отплатила.

— Черствые люди, черствые! вздохнулъ Федотычъ.

Много въ томъ-же родѣ рассказывали мнѣ мужъ и жена, моя меня по всему дому и по усадьбѣ Домъ стоялъ, навѣрно, болѣе полуѣка и обѣщаль простоять еще столько-же. Стѣны, сложенные изъ крупныхъ, чуть чуть не мачтовыхъ бревенъ, поражали толщиной. Комнаты были расположены въ классическомъ помѣщичьемъ порядкѣ: передняя, зала въ три окна, гостиная и угольная окнами на дворъ; за угольной—не-

большой кабинетъ и большая столовая, окнами въ садъ. За столовой шла комната съ лежанкой и палатами и тоже окнами въ садъ, а за нею темная коморка, съ палатами-же, изъ которой былъ выходъ въ какой-то клеушекъ, не болѣе квадратной сажени. Выходъ этотъ былъ загражденъ двойными одностворчатными дверями съ огромными задвижками. Напротивъ, такія-же двери вели изъ клеушка въ переднюю. Направо, вдоль стѣны поднималась лѣстница изъ клеушка на чердакъ. Налѣво, въ стѣнѣ клеушка было пробито отверстіе, узенькое и низкое, въ которомъ увязъ-бы рослый и плотный человѣкъ; оно вело въ корридоръ, выходявшій на черное крыльцо и огражденный двойными дверями съ желѣзными болтами. Въ послѣдніе годы Елена Петровна приказала заколотить двери изъ клеушка въ переднюю, пробить это отверстіе и навѣсить толстую дверь съ тяжелой гирей. Въ этой части дома былъ настоящій лабиринтъ дверей, и человѣкъ, не освоившійся съ направленіемъ каждой двери или поспѣшно отворявшій ихъ одну за другою, могъ очутиться притиснутымъ дверями въ тѣсномъ клеушкѣ.

— Покойница жила ровно въ крѣпости, замѣтилъ Федотычъ. — Все боялась, что зарѣжутъ ее дворовые. Она въ этихъ двухъ комнатахъ жила, вотъ гдѣ лежанка, да въ темной; въ ту половину дверь лѣтъ десять заколочена была. Послѣдніе годы покойница больше двухъ ночей на одномъ мѣстѣ не спала, а подъ конецъ ей такъ и стлали въ двухъ мѣстахъ: она ночью съ одного на другое переходила, а то сама перетаскивать постель на третье. На палатахъ больше спала. Такъ она маялась, сердечная.

Во всѣхъ комнатахъ стояла разнокалиберная мебель, — диваны, столы и стулья, работы доморощенного столяра, увѣсистые, съ топорною рѣзбою, выкрашенные красною краскою подъ воскъ. Диваны и стулья, покрытые синей крашениной, наводили на мысль, что они вабиты булыжникомъ вмѣсто мочалы или волоса. И рядомъ съ этими произведеніями крѣпостнаго мастерства — старинные пузатые комоды и шифоньеры съ бронзовыми ручками въ видѣ лиръ, съ бронзовыми и перламутровыми инкрустаціями, овальныя зеркала въ бронзовыхъ рамахъ, столовыя часы, — все художественной рѣзбы во вкусѣ Людовика XIV, — вещи, за которыя любитель далъ-бы хорошія деньги. Шифоньеръ отпирался съ секретомъ; у петель одной

дверцы дерево было выломано и половина петли обнажена,— очевидно, дѣло давнишнее, потому что взломъ почернѣлъ и залоснился. Рядомъ съ домомъ стоялъ лѣтній домикъ, какъ называла Афімья Егоровна крошечный флигель въ одну комнату, раздѣленную тонкою досчатою перегородкою. Лѣтній домикъ служилъ чуланомъ и былъ заваленъ поломанною мебелью, пуховиками, подушками, кадками и ящиками. Лекарственные снадобья разнаго рода наполняли кадки и ящики. На полкахъ, наколоченныхъ въ нѣсколько рядовъ по стѣнамъ вездѣ, гдѣ только было мѣсто, стояли ящики и кадочки поменьше, стеклянные банки, горшки и туго набитые холщевые мѣшки и тюрики изъ толстой бумаги съ тѣми-же снадобьями. На каждомъ изъ нихъ наклеенный ярлыкъ съ четкою надписью обозначалъ названіе лекарства и иногда, если оно оказывалось малозвѣстнымъ, то и болѣзнь, въ которой его употребляли. За лѣтнимъ домикомъ шель флигель съ кухней, крыльцо котораго приходилось противъ чернаго крыльца дома; досчатый помостъ велъ отъ одного къ другому. Высокая изгородь, сплетенная такъ часто, какъ плетуть корзины, скрывала оба крыльца со стороны двора.

— Это она ширмы поставила, чтобы съ села поповскіе не видѣли, какъ она ходитъ на свой чердакъ, обтѣснялъ Федотычъ.—Одогдѣли ее ужъ больно попрошайничествомъ.

На кухнѣ мнѣ указали пробои для всякихъ замковъ у заслонокъ громадной печи, занимавшей добрую треть помѣщенія.

— Барышня сама стряпала себѣ и на ключъ запирала заслонки, чтобы ей чего не подсыпали, рассказывала съ какимъ-то ужасомъ Афімья Егоровна.

— И какъ это она жила такъ?! проивнесъ Федотычъ, разведя руками.—Мнѣ-бы и мѣсяца такъ не выжить, плюнуть-бы на все и ушелъ куда глаза глядятъ.

-- Вѣрно она подъ конецъ съ ума сошла, замѣтила я.

— Ежели поэтому судить, такъ выходитъ будто сумасшедшая. а не вѣрится мнѣ. Забрала себѣ въ голову со словъ своихъ холуевъ, что на ея жизнь покушаются, ну и ограждала себя. Чего ей? заботъ никакихъ нѣтъ, все готовое, ни объ себѣ ей промышлять, ни объ семьѣ, никто съ нею ничего не спрашивалъ, ну—и нечему было мыслей ея разбить. И никто, кто съ ней ни говорилъ, не примѣчалъ, чтобы она не

въ своемъ умѣ была. Ракитинскіе и подрѣченскіе крестьяне такъ не нахвалялся умомъ ея. Горе-ли какое, ссора-ли въ семьѣ, все къ ней за совѣтомъ шли, и всегда умно разсудить. Когда у ней ужь силъ не стало ходить въ деревни, дойдетъ до межи, сядетъ подѣ кусточками, и такъ цѣлые дни сидитъ, и всякій къ ней шелъ, кому нужно было, и она долго со всѣми бесѣдовала, а никто не примѣчалъ, чтобы не въ своемъ умѣ. Это дворовые да поповскіе про нее слухъ пустили, да еще ея-же братья—помѣщики. Тѣ сами мало развѣ чудили въ своихъ усадьбахъ другимъ манеромъ? Въ другой разъ дивисься: какъ это человѣкъ въ полномъ разумѣ такую штуку выкинетъ, а сумасшедшими, небось, не звали. А ея штуки безвредныя были. Вотъ на чердакѣ еще чудеса увидите.

Толстая бревенчатая стѣна отгораживала отъ кухни, служившей жильемъ Ѳедотычу и его женѣ, узенькую камнату въ одно окно, заваленную всякимъ хламомъ. Вдоль задней стѣны лѣстница безъ периль, крутая, какъ корабельный трапъ, и съ высокими и узкими ступенями вела на чердакъ. Люкъ изъ толстыхъ досокъ, скрѣпленныхъ желѣзными полосами, закрывалъ выходъ на лѣстницу. Я съ трудомъ приподняла этотъ люкъ и влѣзла на чердакъ. Ѳедотычъ, слѣдовавшій за мной, поддержалъ люкъ, не то я не справилась-бы съ подъемомъ.

— А покойница-то подѣ восемьдесятъ лѣтъ одна сюда лезла. Вотъ какіе люди были въ старину, — куда вамъ, нынѣшнимъ, до нихъ! урекалъ меня Ѳедотычъ съ сожалѣніемъ къ моей слабости и неумѣлости.

Помѣщеніе на чердакѣ носило тотъ-же характеръ «кряпости», какъ называлъ Ѳедотычъ. Возлѣ люка лежала толстая желѣзная балясина, которою онъ задвигался. Не понимаю, какъ могла сдвигать ее такая маленькая, худенькая старушка, какою была Елена Петровна. Толстая бревенчатая стѣна, прислоненная съ обѣихъ сторонъ къ трубѣ, проходившей посрединѣ чердака, наглухо отгораживала ту часть, гдѣ жила Елена Петровна. Въ одномъ бревнѣ, выше человѣческаго роста, было прорѣзано крошечное оконце съ глухой рамой. Разбитое и склеенное замазкой стекло закрывалось занавѣской изъ пунцоваго линючаго атласа, подѣ оконцемъ стоялъ деревянный табуретъ. Въ одномъ углу было устроено что-то въ родѣ алтаря, упировавшагося подѣ откосъ крыши. На столѣ, покрытомъ салфеткой, вышитой шелками по атласу, вызывалась

очень чисто склеенная изъ картону и разрисованная разными мистическими эмблемами арка съ колоннами. Кресты, херувимы, звѣзды, пальмы, съ большимъ вкусомъ нарисованные тонкою и нѣсколько кропотливою кистью, свидѣтельствовали о талантѣ. На верху арки треугольникъ въ лучахъ съ всевидящимъ окомъ прежде сіялъ надъ всѣми эмблемами своею позолотой, теперъ почернѣвшей и облупившейся. Такія-же эмблемы были вышиты на салфеткѣ, покрывавшей столъ. Подъ аркой стояло распятіе. На грубомъ деревянномъ крестѣ, работы домашняго столяра, висѣло вылѣпленное изъ воска изображеніе Христа. Несоразвѣрность членовъ, неестественность позы и топорность очертаній, которая бросалась въ глаза, несмотря на самую тщательную прилизанность отдѣлки, обличали руку гораздо менѣе искусную въ лѣпкѣ, чѣмъ въ рисованіи; но зато тѣмъ сильнѣе поражаило страдальческое выраженіе лица Христа. Я много видѣла головъ Христа работы современныхъ талаутливыхъ скульпторовъ, но ни одна не произвела на меня такого впечатлѣнія. Было-ли то слѣдствіемъ того настроенія, съ которымъ я выѣхала изъ Петербурга, или меня подготовило къ этому впечатлѣнію все то, что я слышала и угадывала объ этой оригинальной женщинѣ—не знаю, но только я долго не могла оторвать глазъ отъ этой головы Христа. Выраженія физической боли не было и слѣда въ этой запрокинутой, склоненной на бокъ головѣ и изможденныхъ чертахъ; одною глубокою скорбью, однимъ безпредѣльнымъ страданіемъ души дышали черты, чуждыя академической правильности и изящества. Выраженіе любви и покорности смягчало выраженіе скорби и страданія. Къ подножію креста принесли нѣсколько женскихъ восковыхъ фигуръ. Позы ихъ шли въ разрѣзъ съ законами анатоміи, но то-же выраженіе скорби на лицахъ заставляло забывать все. Фигуры были одѣты въ шерстяныя платья, аккуратно сшитыя; бѣлая покрывала на головахъ почернѣли отъ пыли. Передъ распятіемъ стояла бѣлая глиняная лампада, вылѣпленная въ родѣ древнихъ еврейскихъ свѣтильниковъ и обвитая гирляндой восковыхъ цвѣтовъ. По обѣимъ сторонамъ—глиняныя-же вазы съ букетами такихъ-же цвѣтовъ, все очень изящной работы. На столикѣ лежали молитвенники, русскій и нѣмецкій, евангеліе русское, французское и нѣмецкое, ветхій завѣтъ тоже на трехъ языкахъ, подраженіе Христу на французскомъ, а на нѣмецкомъ Юнгъ-Штил-

лингъ и Сведенборгъ. Всѣ экземпляры ветхаго и новаго за-
вѣта были переложены закладками изъ обрывковъ лентъ и до-
скутьевъ. Я заглянула въ заложенные страницы. Черты крас-
нымъ карандашемъ отмѣчали тѣ мѣста, въ которыхъ было раз-
ногласіе между протестанскимъ, католическимъ и православ-
нымъ евангеліемъ.

Возлѣ столика и подъ столикомъ валялась куча поломан-
ныхъ и недоконченныхъ дѣтскихъ игрушекъ, раскрашенныхъ
глиняныхъ куколъ, птицъ, звѣрей, картонныхъ фигуръ, мячей.
На стѣнѣ висѣла большая плетупка изъ соломы, въ родѣ огром-
ной сумки. Внутри, на одной сторонѣ, у самаго верха былъ
нашитъ сувонный футляръ съ отдѣленіями для всякихъ при-
надлежностей шитья. Въ сумкѣ я нашла нѣсколько начатыхъ
работъ: ситцевыхъ шапочекъ, кофть, распашонокъ для груд-
ныхъ дѣтей. Подъ нею, на полу, свернутый и забитый подъ
откосы крыши, лежалъ огромный пуховикъ и поверхъ него—
гора подушекъ. На этой части чердака былъ насланъ невы-
сокій помостъ; онъ служилъ кроватью покойницѣ и доходилъ
до окна, круглаго и болѣе обыкновенныхъ слуховыхъ. Только
одно это окно изъ глубокой полукруглой ниши скупо освѣ-
щало чердакъ. Недалеко отъ окна стояло старинное склад-
ное кресло съ прямой спинкой, обитое кожей, которое легко
было превратить въ кушетку. Передъ кресломъ низенькій шкап-
чикъ съ тяжелой стеклянной чернильницей, врѣзанной въ верх-
нюю доску, замѣнялъ письменный столъ. На противоположной
сторонѣ, прямо противъ кресла, на станкахъ въ родѣ моль-
беровъ, были прикрѣплены въ откосамъ крыши три портрета:
отца, матери и брата Елены Петровны. На полу стоялъ при-
слоненный къ стѣнѣ еще одинъ портретъ, завернутый въ холстъ
и накрестъ перевязанный бичевками. Видно, ужъ много лѣтъ
стоялъ онъ такъ, нетронутый: бичевки истлѣли до половины
и легко рвались, когда я прибѣгла къ этому средству послѣ
тщетной попытки развязать узелъ.

Я сняла холстъ и увидѣла портретъ молодой дѣвушки лѣтъ
семнадцати. Видно недаромъ не любила покойница огляды-
ваться на свою молодость и нелегко жилось ей. Лицо, кото-
рое смотрѣло съ полотна вдумчивымъ и слегка мечтательнымъ
взглядомъ серьезныхъ и нѣжныхъ черныхъ глазъ, говорило,
что дѣвушка эта одна изъ тѣхъ натуръ, которымъ жизнь не
легко дается. Въ этомъ оригинальномъ лицѣ смѣшались черты

отца и матери. Грубое калмыцкое обличье отца, дышавшее энергіей и смѣлостью, несмотря на налетъ чиновничьяго формализма, было повторено въ дочери смягченное нѣжною красотою матери; и хотя молодую дѣвушку нельзя было назвать хорошенькою, но смѣсь энергии и нѣжности въ чертахъ ея, серьезный вдумчивый взглядъ и улыбка, ласковая и слегка печальная, придавали лицу ея оригинальную прелесть. Въ этомъ выраженіи нѣжности и печали не было ничего похожегаго на стереотипное выраженіе дѣвической мечтательности или любовнаго изныванія. Портретъ былъ писанъ хорошимъ художникомъ; онъ передалъ вполнѣ естественно живую непринужденность позы молодости, которая готова летѣть по первому призыву жизни, и то, что есть въ ней неустановившагося и ожидающаго. Наперекоръ вкусу того времени, художникъ не вложилъ въ руки молодой дѣвушки ни розы, ни голубка; руки были просто сложены на колѣняхъ и, казалось, готовы сейчасъ раскрыться и обнять весь міръ.

— Хорошее лицо было, замѣтилъ Ѳедотычъ, и жена его эхомъ повторила его слова.

Я поставила портретъ къ стѣнѣ и продолжала свой осмотръ. Прикрѣпленные къ стойкамъ портреты были обвиты гирляндами изъ иммортелей. Особенно красива была гирлянда изъ раскрашенныхъ иммортелей на портретѣ брата, двадцатилѣтняго молодого человѣка, наслѣдовавшаго отъ отца и правильныя черты матери.

— Вотъ изъ этого окна она гостинцы ребятамъ бросала. Она отпирала и запирала его вотъ этими шнурками, не вставая съ кресла. По недѣлямъ сидѣла тутъ, не слѣзая. Подавали что надо снизу. Лѣтомъ отсюда видъ хорошій, говорилъ Ѳедотычъ.

Видъ былъ, дѣйствительно, хорошъ. За дворомъ—зеленые скаты берега, обрывъ, закрытый ракитами, между которыми синеватою сталью блестяла рѣчка. Далѣе она изгибалась колѣнами, то выбѣгая изъ-за крутыхъ скатовъ берега, то скрываясь за ними. Прямо противъ усадьбы, за рѣчкой, на крутомъ пригоркѣ стояла церковь; около нея—ограда съ крестами могиль. Пониже—дома священника и причетниковъ; только крыши видѣлись между молодою листвою сада. Пониже домовъ, оглябая пригорокъ и теряясь въ дали между свѣтлою зеленью полей, буровато-желтой полосой тянулась дорога. И прямо, и

вправо, и влѣво, вездѣ, куда ни хваталъ глазъ,—поля, просторъ полей, то лежавшихъ ровною скатертью, то взбѣгавшихъ на холмы, которые понижались неровными грядями въ сѣрой дали. Кое-гдѣ на холмахъ лѣпились хутора, а то и небольшіе поселки; мѣстами чернѣли рощи. И все тотъ-же, все вѣчный характеръ шири, тишины, безлюдья и сна. Между полями—пустыри, на дорогѣ—ни живой души, на рѣкѣ—ни одной лодки. Гдѣ-гдѣ на поляхъ мужикъ съ сохой, которую, надрываясь, тащить вислобрюхая кляченка; самъ онъ—малорослый, оборванный, замороженный...

Косые лучи заходящаго солнца выбились изъ-за тучъ и ударили въ окно чердака. Золотистый свѣтъ яркими полосами освѣтилъ окрестность. Мѣстами на поляхъ, чуть колеблясь, стояли темныя полосы тѣней отъ тучъ; за то освѣщенные полосы казались свѣтлѣе, сосновыя рощи отливали синевой и золотомъ; сталь изгибовъ рѣки засверкала искрами огня. Открылась даль съ тонкими изгибами рѣки, съ новыми грядами уходящихъ холмовъ. Тучи свивались, уносились; исчезали темныя тѣни ихъ съ полей, свѣтъ все болѣе и болѣе заливалъ все, туманная даль отодвигалась и отодвигалась. Я невольно засмотрѣлась и долго простояла у окна. Въ этой тишинѣ, въ этомъ просторѣ было обаяніе, властно захватывавшее душу. Съ полей стада выползали на дорогу измученныя, понурья фигуры. Очарованіе исчезло.

— Раздолье и благодать. Не даромъ покойница любила это окно, раздался позади меня голосъ Федотыча и напомнилъ объ осмотрѣ.

IV.

Я отперла шкапчикъ. Всѣ полки и ящики его были завалены пузырьками, баночками, коробочками съ ярлыками. Все лекарства, и въ числѣ ихъ опиумъ, белладонна, дигиталисъ, хлороформъ, что было тщательно обозначено четкою надписью: «ядъ», вмѣстѣ съ тою дозою, принять которую можно безвредно. Приходило-ли бѣдной, одинокой старухѣ на умъ искушеніе покончить съ убійственной жизнью, которую она влачила? Ей стоило руку протянуть, и все кончено, тихо, безъ мученій. А если да, то что удерживало ее? Живучесть-ли натуры, страхъ-ли передъ неизвѣстнымъ? Или не приходило и вовсе? Въ этомъ поколѣніи самоубійства были рѣдки.

Въ большомъ ящикѣ шкапчика я нашла аптекарскіе вѣсы, лечебникъ, руководство къ составленію лекарствъ, клеенчатую сумку, набитую письмами, и нѣсколько исписанныхъ тетрадей. Я захватила ихъ и ушла просматривать въ свою комнату.

Тетради старинной, синей, шершавой бумаги были исписаны въ началѣ тонкимъ каллиграфическимъ, округленнымъ почеркомъ, мало-по-малу, на слѣдующихъ страницахъ, переходившимъ въ твердый, ровный, почти мужской почеркъ, который становился все толще и угловатѣе къ концу тетради; послѣднія страницы были исписаны разгонистымъ, захлестывавшимъ въ петли, неровнымъ почеркомъ старости. Въ этихъ тетрадяхъ сохранились слѣды чуть-ли не шестидесяти лѣтъ жизни покойницы. Одна тетрадь, толстая, во всю длину листа, служила словаремъ иностранныхъ словъ, употребляемыхъ въ печати. На первыхъ страницахъ, еще неокрѣпшимъ, полудѣтскимъ почеркомъ были занесены элементарные термины ботаники, астрономіи, физики, съ объясненіями, взятыми изъ учебниковъ братьевъ или со словъ кого-нибудь изъ родственниковъ; источники были указаны съ религіозною точностью. Далѣе почеркъ крѣпчалъ, и на страницахъ встрѣчались философскіе термины, почти все изъ нѣмецкой идеалистической философіи. Старческимъ, крупнымъ, но еще твердымъ почеркомъ были занесены къ концу тетради слова, получившія у насъ право гражданства за послѣднія двадцать-пять лѣтъ, — все болѣе политическіе и политико-экономическіе термины: автономія, «регуляторъ», «эксплуатація», «рента», «соціализмъ». Послѣднее, впрочемъ, встрѣчалось и гораздо ранѣе, вмѣстѣ съ заглавіями первыхъ романовъ Жоржъ-Занда. На другой тетради, тоже толстой, въ четверку листа, стояла надпись: «Планы уроковъ и рассказовъ». Я перелистала ее съ любопытствомъ. Современнымъ педагогамъ, толкующимъ дѣтямъ о томъ, что такое изба и т. п., было-бы очень поучительно заглянуть въ эту тетрадь, первыя страницы которой были заполнены чуть-ли не полвѣка тому назадъ. Уроки и рассказы, преимущественно изъ географіи и исторіи, были составлены толково; въ исторіи выбрана живая сторона: объясненіе обычаевъ и нравовъ, общественнаго устройства, сцены форума, легенды о герояхъ Греціи и Рима, Спартакъ, Траки; изъ среднихъ вѣковъ не—рыцари, но народные вожди; картины жизни первыхъ христіанъ, пуританъ—поселенцевъ

Америки. Въ скобкахъ было замѣчено: «Осудить фанатизмъ и нетерпимость». Выборъ показывалъ большую начитанность; иногда выбирались факты мало извѣстные, если они интересно освѣщали идею, которая красною нитью связывала уроки: стоять крѣпко за свою святыню, стоять крѣпко другъ за друга. На послѣднихъ страницахъ были занесены замѣтки: «толковать о долгѣ гласныхъ, о значеніи податей и труда въ государствѣ». Число и годъ показывали, что урока прекратились лѣтъ за пять всего. Она учила еще, когда ей стукнуло восьмой десятокъ.

Одна изъ тетрадей, переплетенная въ красный сафьянъ и раздѣленная на два отдѣла,—первый: «выписки», а второй: «выписки для дѣтей»,—была исписана выбранными мѣстами изъ русскихъ и иностранныхъ писателей. Послѣдніе были переведены для дѣтей. Сцены изъ Натана Мудраго, монологъ Порціи о милосердіи, многія строфы Шиллеровскаго Колокола были переведены плохими стихами. Въ первомъ отдѣлѣ, на черныхъ, выцвѣтшихъ и пожелтѣвшихъ страницахъ были выписки изъ чувствительныхъ романовъ двадцатыхъ годовъ. Много говорилось о добродѣтели, герой отправлялся на великій подвигъ и прощался съ возлюбленной, которая клялась «дать его. Такія выписки заносились въ продолженіи не болѣе трехъ-четырехъ лѣтъ. Потомъ, года два, ни одна строка не вписывалась въ книгу. Далѣе шли выписки изъ духовныхъ книгъ о цѣли жизни, о безсмертіи, о Христѣ и Богѣ; за ними—выписки изъ Вольтера и энциклопедистовъ, съ характеромъ деизма. *Infâme* подчеркнута, и на поляхъ—обобщенія рѣзкаго и практическаго характера. Пресловутое изреченіе г-жи Сталь: «Un homme peut braver l'opinion, une femme doit s'y soumettre», отмѣчено огромными восклицательными и вопросительными знаками. Толстая, ровная черта обращала вниманіе на изреченіе Мильтона: «Между Богомъ и совѣстью не долженъ стоять никто». Здѣсь цитаты съ религіознымъ характеромъ прекращались и не появлялись болѣе до послѣднихъ страницъ, исписанныхъ дрожащимъ, захлестывавшимся почеркомъ. Весь промежутокъ былъ занятъ цитатами изъ историковъ, критиковъ; публицистическій оттѣнокъ преобладалъ. На одномъ изъ послѣднихъ листковъ была написана притча о богатомъ и Лазарѣ, въ пересказѣ какого-то Пансіа, а подъ нею изреченіе того-же Пансіа: «Богъ для всѣхъ дары свои

создалъ, и солнце, и луну со звѣздами, огонь и воздухъ, воду и землю, и всѣмъ людямъ черезъ Адама и Еву заповѣдалъ: плодитесь и множитесь, въ потѣ лица хлѣбъ снѣдайте и землю населайте. Тотъ, кто не платитъ трудомъ за дары, данные Господомъ, тотъ есть рабъ невѣрный и лукавый, зарывшій талантъ свой въ землю. И изженетъ его Господь отъ лица своего». На поляхъ было набросано карандашемъ нѣсколько словъ, которыя я разобрала съ трудомъ: «Я трудилась, какъ могла, но оплатилъ-ли мой трудъ дары, полученные мною. О? Господи, буди милосердѣ ко мнѣ!»

Долго я съ любопытствомъ выслѣживала я въ выпискахъ развитіе и колебаніе мысли, которая одиноко билась, ища правду жизни. Въ выборѣ отрывковъ видна упорная, порой мучительная умственная работа, но ничто не обнаруживало, чтобы писавшая была не въ своемъ умѣ. Въ послѣдніе годы поднялись понятія и вѣрованія ранней молодости, но и въ нихъ была примѣсь идей, выработавшихся въ зрѣлые годы.

На послѣднихъ страницахъ были выписки разныхъ курьезовъ, необычайныхъ происшествій, предсказаній и нелѣпостей, которыя рассказала какая то странница. «Невѣроятно, но у Бога все возможно», было отмѣчено на поляхъ. Я отложила тетрадь. Тоска охватила меня.

Я пошла разыскивать какую-нибудь книгу, чтобы почитать передъ сномъ, но все лучшее было увезено наслѣдникомъ: оставались только мистическія и дѣтскія книги да Флоріанъ и Жанлисъ. Въ шкафу стоялъ большой ящикъ; въ немъ что-то задребезжало, когда я тронула его. Въ ящикѣ хранились свертки географическихъ картъ, снаряды для черченія, учебникъ астрономіи, восковые раскрашенные глобусы,—одинъ проткнутый вязальной спицей,—нѣсколько выцѣленныхъ изъ сахара ящѣ. раскрашенныхъ эмблемами и съ рисунками воскресенія Христа, аспидная доска, на которой можно было разобрать заголовки: «Гоненіе и геройское самоотверженіе гусситовъ». Подъ доской оказалась небольшая тетрадь въ четверку сѣрой, грубой бумаги, съ надписью: «Черновая моихъ воспоминаній, 18 мая 1826 г.» Я съ любопытствомъ принялась за тетрадь, надѣясь найти подробности, которыя освѣтятъ полнѣе личность Елены Петровны. На оборотѣ заглавной страницы стояло французское двустипіе «Amour».

Два дубоватые стиха говорили о всемогуществѣ любви:

Qui que tu fns, voilà ton maître
Il l'est, le fut, et le doit être.

Строки были зачеркнуты. очевидно, тотчасъ послѣ того, какъ были написаны. Ниже онѣ были опять вписаны, но гораздо позднѣе, почеркомъ болѣе возмужалымъ, и съ примѣчаніемъ: «Да, но не къ одному существу,—не сотвори себѣ кумира,—но ко всему страдающему, любовью, которая всходитъ на Голгоѳу». Только одно это и намекало на любовь, на разбитое счастье молодости. Болѣе Елена Петровна не обмолвилась въ воспоминаніяхъ ни однимъ словомъ, ни однимъ намекомъ объ этой сторонѣ жизни, и это молчаніе говорило о томъ, что въ молодости она пережила чувство поглубже сентиментальнаго романа деревенской барышни. Воспоминанія были посвящены любимому брату и начинались словами: «Ты теперь для меня все въ жизни, Гриша». И Гриша былъ «все» не потому, что онъ ея Гриша, а потому, что Гриша талантъ, сила.—«Меня настойчиво преслѣдуетъ мысль, что ты призванъ на доброе, на великое, Гриша», пишетъ она въ концѣ.

Воспоминанія начинались съ трехлѣтняго возраста, и въ нихъ всего характернѣе выдалась личность самой Елены Петровны, хотя о себѣ самой она не говорила: все для другихъ, для себя ничего,—такъ жила она ребенкомъ, такъ жила она молодой дѣвушкой. Обожаемые, прекраснодушные родители, бабушки, тетуски, обожаемые братья и сестры принимали обожаніе, какъ должную дань, и ни разу ни имъ, ни ей не пришло на умъ, почему именно она должна довольствоваться ролью смиренной поклонницы, приносящей жертвы, а они занимать роль олимпійскихъ боговъ, благосклонно пріемлющихъ ея поклоненіе. Больную Леленьку отвозятъ на югъ, въ деревню къ теткѣ, а Сашеньку и братьевъ везутъ на воды; для Леленьки мѣста нѣтъ въ каретѣ,—не брать-же лишній экипажъ. Не стало средствъ воспитывать дома дѣтей,—въ институтъ отдають Леленьку, и Леленька ѣдетъ, сознавая, что иначе и быть не можетъ: мамаша умретъ, если разстанется съ Сашенькой, и Сашенька не вынесетъ института. Въ институтѣ она чужая и осталась чужой всѣ девять лѣтъ; она живетъ только письмами изъ дома, воспоминаніями и надеждой увидѣть бездѣльныхъ родителей, обнять братьевъ и сестеръ, няню, деревенскихъ ребятшекъ—товарищей дѣтства. Наконецъ она дома. Отецъ въ отставкѣ, разворился, бабушка ослѣпла. Кому-же быть

сидѣлкой какъ не ей? Сестры блестящія красавицы, для нихъ веселье молодости, наслажденіе жизнью, онѣ радость и гордость родителей. Онѣ такъ нѣжны, что не вынесутъ большаго комнаты, заботъ. Леленька счастлива тѣмъ, что она нужна; ей говорятъ о заботахъ и горѣ, ей отецъ жалуется на несправедливости, вынесенныя по службѣ, на то, что честные люди тамъ не нужны. Леленька нужна всѣмъ и вездѣ. Хозяйство переходитъ къ ней; на ея рукахъ дворовые; къ ней идутъ крестьяне съ своими просьбами, нуждами, жалобами. И въ шестнадцатилѣтней дѣвочкѣ нѣтъ ни капли самодовольства, наивнаго хвастовства своимъ значеніемъ. «О, Господи! научи меня, какъ все дѣлать, чтобы всѣмъ было хорышо!»—это ея молитва. Она нигдѣ не говоритъ, какъ ей трудно доставалось сдѣланное, но съ глубокою благодарностью къ обожаемымъ родителямъ пишетъ: «Какъ я счастлива! папенька и маменька исполнили мою просьбу, и Иванъ Терентьевъ не ушелъ въ солдаты. Какъ была счастлива его жена!» Иванъ этотъ былъ горькій пьяница и билъ звѣрски жену. И много воспоминаній въ этомъ родѣ, записанныхъ тономъ наивности и прекраснодушія Карамзинской Лизы, въ которомъ мѣстами слышится и идеализированный дворянскій гоноръ.

Тетушка ея оскорбилась за нее предложеніемъ руки и сердца одного сосѣда, на томъ основаніи, что для рода Стрѣленскихъ, который идетъ отъ Андрея Боголюбскаго, унижительно родниться съ внукомъ лайбъ-кампанца Елизаветы. Она тоже считаетъ это унижительнымъ.

Отецъ умеръ; младшая сестра, для которой она была матерью, тоже умерла. Двѣ сестры вышли замужъ и уѣхали далеко. «У нихъ теперь своя жизнь, свои обязанности», кратко говорится о нихъ въ воспоминаніяхъ, и ни разу ни онѣ, ни она не подумали о томъ, что въ числѣ обязанностей есть еще одна — хотъ когда-нибудь вспомнить о двадцатилѣтней дѣвушкѣ, которая одна осталась въ глуши, сидѣлкой при больной матери и слѣпой, полуумной бабушкѣ. О ней помнили только какъ о рачительницѣ общихъ интересовъ. Заботы объ этихъ интересахъ подавляли ее. При совершеннолѣтіи обожаемаго Гриши у нея вырывается восклицаніе: «Господи, благодарю тебя! Теперь можно выдѣлать сестеръ, и Петръ Демьянычъ и Александръ Егорычъ успокоятся. Они, конечно, не могутъ доврять моему опыту и должны-же думать о своихъ дѣлахъ,

а маменька не въ состояніи, по болѣзни, дать мнѣ необходимыя совѣты». Раздѣлъ оконченъ, всѣ «возмутительныя церемоніи» окончены, Елена Петровна владѣтельница ста душъ. Она пишетъ: «На моей совѣсти сто душъ по ревизіи, а ихъ болѣе; женщины и дѣти, болѣе — трехсотъ человѣческихъ душъ. Господи научи меня, какъ сдѣлать ихъ счастливыми!».

Но счастье обожаемаго Гриши все-таки на первомъ планѣ. Онъ выходитъ въ отставку изъ-за романа съ замужней женщиной. Сто душъ заложены, потому что Гришѣ нужны деньги на постройку усадьбы. Елена Петровна съ любовью устраиваетъ гнѣздо своего Гриши, мечтаетъ радоваться на счастье, «хоть и не признанное людьми, но благословенное Богомъ». Гриша спасъ отъ изверга чистое, любящее существо, которое ради него шло на поруганіе свѣта. Гриша пожертвовалъ ей своею карьерою. Тѣмъ лучше: Гриша не пойдетъ избитымъ путемъ чиновъ и отличій; въ уединеніи деревни онъ будетъ готовить великое. Что именно великое — не было опредѣлено въ воспоминаніяхъ, но писавшая ихъ твердо вѣрила, что Гриша призванъ совершить это великое, а она и новая сестра ея будутъ помогать ему, гордиться имъ. Она ждетъ съ восторгомъ сестру, посланную Богомъ, мечтаетъ радоваться на дѣтей Гриши и сестры, отогрѣться у ихъ очага. Она и воспоминаніи написала къ пріѣзду Гриши для того, «чтобы дорогія незабвенныя тѣни привѣтствовали его».

Посланная Богомъ сестра не дала ни погрѣться у очага, ни порадоваться на дѣтей. Она то бросала Гришу для новыхъ любовниковъ, то, брошенная, снова возвращалась къ нему, и постоянно требовала денегъ и денегъ, упрекая что ради него испортила свою жизнь. Гриша пилъ горькую, требовалъ денегъ отъ сестры и съ проклятіями отрекался отъ нея, когда она отказывала въ нихъ. Въ клеенчатой сумкѣ было много такихъ писемъ отъ Гриши. Было ихъ много и отъ другихъ родныхъ, въ томъ же смыслѣ, но въ ядовитомъ нѣжно-родственномъ тонѣ. Въ продолженіи слишкомъ тридцати лѣтъ и старыя, и подростшіе молодые члены родни видѣли въ Еленѣ Петровнѣ мѣшокъ съ деньгами. Старѣвшая и состарившаяся дѣва не должна была имѣть своихъ желаній, потребностей своей жизни. Она принадлежала роднѣ. «Вы себя посвятили Богу, и потому вамъ то и то не нужно, а это нужно намъ», — таковъ былъ смыслъ, обернутый сначала выраженіями нѣжнѣйшей любви и

преданности. Далѣе маска спадала, и родня злобно упрекала Елену Петровну за то, что у нея есть деньги на всякихъ хамовъ, на выписку разныхъ безбожныхъ и беззаконныхъ книгъ, за которыя можно дорого заплатиться. Еще далѣе попадались язвительные, грязные намеки на столяра, которому были выданы деньги на устройство мастерской, на «бѣшенныя деньги», брошенныя на воспитаніе двухъ крестьянскихъ парней и сына мужицкаго попа,—одного въ гимназіи, другого въ академіи художествъ, третьяго въ медицинской академіи. Наконецъ, шли очень прозрачныя угрозы, что можно ограничить такую расточительность, и что если родня не пользуется правомъ, даннымъ законами, то Елена Петровна должна цѣнить это и понимать положеніе родныхъ ей людей: Машу надо вывозить, а не на что сдѣлать бархатную шубку. Жоржъ получилъ чинъ статскаго совѣтника,—невозможно же принимать порядочное общество въ гостиной, гдѣ старая ситцевая мебель: нужна штофная, драпри нужны. Положеніе Жоржа пострадаетъ, если всего этого не будетъ.

Всѣ эти письма были перевязаны черною тесьмою. Отдѣльно отъ нихъ, въ отдѣльномъ конвертѣ, лежали еще два письма, написанныя лѣтъ черезъ сорокъ одно послѣ другаго. Они были писаны различнымъ почеркомъ, въ которомъ была общая черта—каллиграфическая четкость и отсутствіе характера, какъ обыкновенно у подростковъ. Но содержаніе было одно и то-же. Первое письмо было адресовано «милой, обожаемой тетѣ», второе «дорогой тетѣ бабѣ». Оба были написаны тайкомъ, въ обихъ заключались увѣренія, что будутъ вѣчно помнить то время, которое жили у Елены Петровны, и что не забудутъ ее никогда, хоть имъ приказываютъ не знать ее. Въ пакѣ перетянутой черною тесьмою, я нашла два письма,—одно отъ сестры, другое, лѣтъ черезъ сорокъ, отъ племянника, а въ обихъ было одно и тоже извѣщеніе, что дѣтямъ нужно воспитаніе, какое получаютъ въ хорошемъ обществѣ, и что, вслѣдствіе «странныхъ идей» Елены Петровны, ей невозможно довѣрять дѣтей. Первое письмо было взято и разорвано, на второмъ поставлена помѣтка: «Отказала имъ въ наслѣдствѣ».

Воспоминанія, написанныя для Гриши, оканчивались на двадцать шестомъ году Елены Петровны, и занимали одну половину тетради; другая была исписана, но я напрасно искала продолженія воспоминаній; всѣ страницы были наполнены замѣтками,

отрывочными мыслями. Кое-гдѣ выставленный годъ указывалъ, что эта «сумасшедшая дикарка, которая знать не хотѣла порядочнаго общества и водилась съ мужичьемъ», какъ отрекомендовали ее моему пріятелю сосѣди помѣщики, въ своей глуши жила одною жизнью со всѣмъ, что было живого.

Первыя строки послѣ воспоминаній были: «Четыре года прошло... Не надѣйтесь ни на князи, ни на сыны человѣческіе, въ нихъ нѣсть спасенія. Князи и сыны человѣческіе живутъ для самоуслажденія; сыны Божіи живутъ, свершая заповѣдь Бога: въ потѣ лица свѣси хлѣбъ твой. Въ нихъ надежда и опора». Попадались мысли, навѣяанныя чтеніемъ, — сначала съ сильно мистической окраской, которая все болѣе и болѣе блѣднѣла. Много смутнаго и даже дѣтскаго было въ нихъ, но неожиданно васъ поражаютъ смѣлый выводъ. Годамъ къ сорока Елену Петровну сильно занимала политика.

Около шестидесятыхъ годовъ, въ пору освобожденія крестьянъ, Елена Петровна вписывала очень мало въ свою тетрадь. Не до чтенія было и не до внутренней жизни. Освобожденіе крестьянъ, устройство ихъ быта вызвало ее изъ ея угла. Она привела въ негодованіе и ужасъ сосѣдей, отдавъ крестьянамъ часть покосовъ и кустарника, который общалъ быть славнымъ лѣскомъ. Въ усадьбѣ появились съ десятокъ лѣтъ невиданные тарантасы и коляски сосѣдей, въ гостиной — давно непереступавшіе порогъ ея старыя сосѣди и новыя, которые до этой минуты не считали нужнымъ знакомиться съ сумасшедшей старухой. Каждый по-своему убѣждалъ ее не показывать примѣра, который губитъ дворянство, и каждый убѣждалъ, напророчивъ ей всякихъ бѣдъ и наговоривъ колкостей и дерзостей за ея недворянское поведеніе; инныя барыни попросту ругались. На эту пору указываютъ строки: Н сказалъ то и то, Б. сумасшедшей назвалъ, а супруга его душой полоумной. «Что-жь, пускай ругаютъ, пускай плюютъ, хоть-бы къ позорному столпу пригвоздили, я сдѣлаю свое. Запугать хотѣли!» Далѣе было набросано: «Дворянство, кричатъ, — лучшіе люди. Хороши! Знаю я ихъ, знала отцовъ и дѣдовъ. Туда-же и Бога путаютъ! Кто болій въ васъ — да будетъ всѣмъ слуга. Старшая братья — ну и будь старшей по дѣламъ.»

Тутъ-же былъ вложенъ набросанный карандашемъ листокъ со смѣтой прихода и расхода. Она обрѣзала свой скромный бюджетъ и опредѣляла сумму, которую могла ежегодно отла-

вать: часть на школу и больницу, которую собирались устроить два-три помѣщика, замѣшавшіеся въ этотъ уѣздъ крѣпостниковъ, часть на разные случаи, «про черные дни»,—не свои. На слѣдующей страницѣ каллиграфически было выведено число и годъ и слова: «День объявленія воли». Далѣе читались строки: «10 часовъ вечера. Сегодня хорошій день. Не забуду его. Братская трапеза съ ними, въ родномъ домѣ. Они не рабы болѣе. Сколько любви ко мнѣ... У меня большая семья, и какая большая! Родные!» Потомъ, на нѣсколькихъ страницахъ, шли мечты видѣть, какъ растутъ поколѣніе за поколѣніе, радоваться ихъ жизни, чистой, честной. Все темное, о чемъ она такъ скорбѣла, должно изгладиться...

Года черезъ два, три она писала: «Какъ пусто стало. Никто не заглянетъ. Я не нужна больше. Если кого вижу,—знаю, что либо волкъ скотину зарѣзалъ, либо амбаръ сгорѣлъ или сгнилъ,—лѣсу нужно на новый». Далѣе шли горькія думы. Она ожидала, что будетъ нужна крестьянамъ, что ея знанія, влияніе внесутъ «человѣчивающій элементъ». Она схватилась за эту надежду и въ три года чувствовала, какъ почва ускользаетъ изъ подъ ногъ ея, какъ рвется связь, въ которой она выросла. Своихъ нѣтъ—все чужіе. Она не могла уяснить себѣ причину и только мучительно спрашивала: отчего это такъ. Она-ли виновата? Въ жизни ея вдругъ не стало смысла. Она мучительно спрашивала себя: «Для чего я живу? Умри я и завѣщай все, что выдаю—вѣдь было-бы совершенно все равно. Даже лучше: больше-бы досталось. Миръ-бы лучше распредѣлялъ, чѣмъ она, а если-бы Иванъ Безпалый распорядился за миръ—такъ развѣ мало пропойць надувають меня? Я-то не нужна. Прежде слушались,—приказать могла. Женъ, дѣтей истязали,—отбирала. Теперь изъ-за подачекъ поддакиваютъ, въ душѣ смѣются». Далѣе: «Не благодарность нужна мнѣ. Купить душу подачками... Принимать тяжело. Я сама ни отъ кого, кромѣ отца, матери и бабушки, не взяла-бы ни гроша. Но я люблю. Это надо понять. За что меня не любить? За что я имъ чужда?»

Потомъ пошли тяжелыя отношенія съ бывшими крѣпостными. Ракитинскіе крестьяне получили нищенскій надѣлъ. Елена Петровна за ничтожную плату работой сдала имъ землю въ наймы. Бывшіе ея крестьяне явились съ упреками.

День былъ праздничный, они подпили, въ ней заговорила барская кровь,—вышла неприятная сцена. Такія сцены повторялись. Елена Петровна очутилась, какъ она писала, словно подь опекой. Она не могла оказать какую-бы-то ни было значительную помощь чужимъ крестьянамъ, безъ того, чтобы ея крестьяне не являлись напомнить, что отцы и дѣды ихъ работали на ея дѣда и отца. Она убѣждала, что они не нуждаются, что въ бѣдѣ она имъ всегда поможетъ, что она властна въ своемъ добрѣ,—ничто не помогало. Она, въ минуту раздраженія, не велѣла пускать ихъ къ себѣ. Пошли потравы, порубки, кража хлѣба. Судиться она, конечно, не думала, но перестала нанимать своихъ крестьянъ. Сосѣдніе, раkitинскіе, нищавшіе годъ отъ году, надували ее, но какъ-то искренно и добродушно. «Что дѣлать, матушка, нахватили работы не подь силу,—ну и идешь къ тому, кто съ тебя штрафъ возьметъ, потому раззоренье... ребятишки малые... Ну, и думаешь, барышня добрая, простить.»—«И какъ вамъ не совѣстно? который разъ!...» усовѣщивала Елена Петровна. Мужики чесали затылокъ и смотрѣли въ сторону. «Совѣстно-то оно, правда, намъ совѣстно, да ужь, Бога для, прости. Безпаловъ-то, вишь, скотину-бы продалъ».

Черезъ нѣсколько годовъ такого хозяйства оказалось не только невозможнымъ дѣлать положенные взносы, но и не на что было выписать себѣ книгъ. Побилась, побилась Елена Петровна, да и сдала помѣстье въ аренду, выговоривъ себѣ все необходимое. Это случилось лѣтъ за десять до ея смерти. Кругъ отношеній ея съ деревней съузился еще болѣе; послѣднія десять лѣтъ она жила только съ дѣтьми. Она выбрала ребятъ поспособнѣе, учила ихъ, устраивала имъ праздники.

Въ себя она долго боялась заглянуть. Многіе годы въ книгу воспоминаній не вносилось ни строки. И это молчаніе одно говорило о томъ, какъ тяжело ей было вынести этотъ кризисъ. Только въ послѣдніе годы явилась потребность оглянуться, подвести итоги пережитаго. «Сколько зла! Прииди, Господи, и суди землю!» Въ этомъ родѣ было нѣсколько замѣтокъ; потомъ, подь конецъ, шло одно ворошенье въ своемъ личномъ житьѣ. Старуха начала заживо умирать.

Послѣднія страницы наполнены повтореніями жалобъ: «Ужасно всю жизнь быть ни чѣмъ инымъ, какъ мѣшкомъ денегъ

или включемъ отъ амбара, Я, сама я, никому не нужна». Что я имъ сдѣлала? За что, за что хотятъ меня извести? Чѣмъ помѣшались имъ бѣдный остатокъ моей жизни?... Я не дорожу имъ, но я не хочу умереть отъ чужой руки, не хочу, чтобы ео мною было связано злодѣйство. Придетъ становой... трупъ вскроютъ... допросы... пойдутъ таскать и праваго, и виноватаго... Хочу кончины непостыдной и мирной... Все не то... и это есть, правда, но не въ этомъ суть. Я не хочу умирать. О, видѣть еще игру солнца въ ряби рѣки, голубое небо, молодую, сморщенную еще зелень, видѣть какъ ласточки рѣютъ къ голубомъ небѣ, слышать весеннія пѣсни, видѣть какъ весной рѣка разольется моремъ...»

Я съ удивленіемъ остановилась на этихъ строкахъ. Видно, Федотычъ правъ, говоря, что старые люди крѣпче нынѣшнихъ. Одиночество, утраты, несбывшіяся надежды,—нести все это чуть не съ семнадцати лѣтъ до восьмидесяти—и такая живучесть!..

На послѣдней страницѣ нельзя было добраться до смысла къ начатымъ и оборваннымъ фразамъ. Попадались часто слова: «испорчена, порча... Слышу странные звуки и надъ головою и во мнѣ». Неразборчивымъ почеркомъ, но связано были выписаны нѣсколько рецептовъ отъ порчи и замѣчаніе: «Повется смѣшнымъ, если кто послѣ меня... Народъ вѣрять... миллионы... въ нихъ духъ безсмертный... не будетъ-же онъ лгать въ миллионѣхъ.» Слѣдовавшія затѣмъ строки были смазаны пальцемъ, когда чернила еще не высохли.

Въ столѣ наплась еще черновая письма къ моему пріятелю, набросанная послѣ перваго удара: «М. г., вы послѣдній въ родѣ и единственный наслѣдникъ, и потому прошу васъ пріѣхать и принять при жизни моей все подъ свое попеченіе. Я не растратила на прихоти то, что обязана была сохранить для рода; и я вполне убѣждена, что вы не посягнете на меня за все то, что я сдѣлала для крестьянъ. Кто иначе думаетъ, тотъ недостойнъ быть представителемъ передаваемаго сословія, какимъ было и есть дворянство». Послѣдняя фраза была зачеркнута и вписана другая: «Многое было растрачено, вслѣдствіе моей слабости, можетъ быть нравственной столько-же, сколько и физической, свойственной моимъ преклоннымъ лѣтамъ, и я горько сожалею, что не могу пере-

дать родовое наслѣдство въ неприкосновенномъ видѣ внуку моей дорогой покойной сестры».

За два мѣсяца до смерти осталась только одна радѣтельница интересовъ семьи, все остальное умерло въ Еленѣ Петровнѣ.

Н. Р.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Школа борьбы въ социологіи.

(Окончаніе).

I.

На древне-греческомъ языкѣ было написано не мало философскихъ трактатовъ, и языкъ этотъ превосходно былъ приспособленъ къ выраженію очень многихъ метафизическихъ тонкостей; тѣмъ не менѣе, такія разнородныя на нашъ взглядъ понятія, какъ *орудіе* и *органъ*, выражались на этомъ языкѣ однимъ общимъ словомъ. Для самыхъ утонченныхъ классическихъ мыслителей какой-нибудь заступъ или кирка и самая человѣческая рука, дѣйствовавшая этимъ заступомъ, были безъ различія—*органы*, т. е. орудія. Можно утверждать, что только благодаря научному развитію позднѣйшаго времени, наши собственныя представленія о *механичности* и объ *органичности* выяснились со всею надлежащею опредѣленностью и полнотою. Механизмы, по внѣшнему виду, могутъ очень близко приближаться къ организмамъ, точно также, какъ и живые организмы могутъ болѣе или менѣе значительными своими частями сильно походить на механизмы; но между тѣмъ и другими, на нашъ взглядъ, непремѣнно должны существовать очень строгія различія. Механизмъ всегда придумывается человѣкомъ въ виду какого-нибудь опредѣленнаго назначенія и не подлежитъ никакому самостоятельному развитію, но можетъ подлежать улучшеніямъ и измѣненіямъ, предѣлъ которыхъ заключается не въ немъ самомъ, а въ степени знанія и изобрѣтательности придумывающихъ его механиковъ. Организмъ рождается и преемственно развивается въ известномъ направленіи, которое хотя и можетъ подлежать въ нѣкоторой степени нашему сознательному воздѣйствію, но въ главнѣйшихъ своихъ чертахъ строго обуславливается свойствами, присущими самому организму. Механизмъ приводится въ движеніе внѣшнею, постороннею ему самому силою и состоитъ изъ такихъ-же бездѣятельныхъ, какъ и самъ онъ, частей. Организмъ самъ вырабатываетъ силы, которыми онъ движется, пока онъ живъ

когда-же онъ умеръ и самодѣятельность его прекратилась, то мы не можемъ уже возстановить ее никакимъ искусственнымъ путемъ. А между тѣмъ, между механизмомъ и организмомъ существуетъ несомнѣнная послѣдовательная связь: организмъ безъ всякихъ метафоръ и аналогій можетъ быть названъ живымъ механизмомъ такъ какъ онъ, дѣйствительно, представляетъ не что иное, какъ громадное усложненіе законовъ и началъ, дѣйствующихъ тоже и въ механизмахъ. Между механизмами и организмами существуютъ въ дѣйствительности переходные члены, не представляющіе типическихъ признаковъ ни той, ни другой изъ этихъ группъ. Таковы напримѣръ, небесныя тѣла, которыхъ «жизнь» исчерпывается тѣми же механическими явленіями, которыя мы наблюдаемъ и въ механизмахъ; а между тѣмъ, тѣла эти не придуманы сознательно человѣкомъ и совершенно не подлежатъ его сознательному воздействию. Кромѣ того, тѣла эти имѣютъ свою эволюцію, приближающую ихъ до нѣкоторой степени къ организмамъ: такъ какъ они (хоть-бы наша земля, напримѣръ) въ самомъ дѣлѣ переживаютъ извѣстные возрасты: солнечный, планетный, лунный.

Ученіе Спенсера довольно обстоятельно само выясняетъ намъ взаимныя отношенія міра механическаго и міра органическаго. Кромѣ того, оно еще позволяетъ намъ, не насилуя создаваемыхъ имъ рамки, исполнять наши представленія о томъ и о другомъ всѣми тѣми новыми данными, которыя добываются положительною наукою въ области космологіи, физики, химіи и біологическихъ наукъ. Спенсеръ какъ-бы предугадалъ самыя плодотворныя изъ естественно-научныхъ теорій новѣйшаго времени, т. е. ученіе о единствѣ силъ природы, рассматривающее всѣ явленія свѣта, теплоты, электричества и химическаго средства, только какъ особые роды движенія; а также дарвиновское ученіе о происхожденіи видовъ. Это ставитъ его значительно выше Огюста Конта, тоже предугадывавшаго это объединительное міровоззрѣніе, но далеко несумѣвшаго выразить свои догадки съ такою стройною научною послѣдовательностью.

Очутившись у преддверья соціологической области, составляющей высшую изъ доступныхъ намъ сферъ природной жизни и рѣшивъ утвердительно предварительный вопросъ о возможности изучать и общественныя явленія также объективно (т. е. также научно), какъ мы изучаемъ явленія двухъ низшихъ областей. Спенсеръ естественно задается вопросомъ: въ какихъ отношеніяхъ область соціологическая состоитъ къ двумъ низшимъ и уже философически изслѣдованнымъ имъ областямъ, т. е. къ области механической и органической? Признаемся, что на его мѣстѣ мы-бы отвѣтили на этотъ вопросъ коротко и ясно: общества—не

механизмы и не организмы, а также относятся къ организмамъ, какъ эти послѣдніе относятся къ механизмамъ. Говоря другими словами, законы біологическіе также неспособны объяснять намъ явленія общественности, какъ законы механическіе (считая въ томъ числѣ и химическіе) неспособны объяснять органическую жизнь. Такой отвѣтъ имѣлъ-бы, кажется, то преимущество передъ спенсеровскимъ, что онъ сразу устранялъ-бы возможность недоразумѣній, порожденныхъ положеніемъ, будто общество есть организмъ.

Должно признаться, что это преимущество не такъ велико, какъ могло-бы показаться на первый взглядъ. Утверждая, что общество не механизмъ и не организмъ, мы тѣмъ еще не избавляемъ себя отъ необходимости разслѣдовать то, что оно имѣетъ общаго и съ механизмами и съ организмами. А слѣдовательно, въ значительной степени мы должны-бы были сказать тоже, что сказалъ на эту тему и Гербертъ Спенсеръ, но только въ нѣсколькой послѣдовательности, въ другихъ словахъ, т. е., что общества съ механизмами имѣютъ сходства очень мало, а съ организмами значительно больше.

Признавъ, что общества не организмы и не механизмы Спенсеръ былъ-бы обязанъ показать тѣ основанія, на которыхъ онъ тѣмъ не менѣе считаетъ общественныя явленія подлежащими тому-же объективному изслѣдованію, которое до сихъ поръ оказалось компетентнымъ исполнѣ, только по отношенію къ механическимъ и органическимъ явленіямъ. Не слѣдуетъ забывать наконецъ, что Спенсеръ не выдумалъ ученіе объ органичности общества, такъ какъ оно, съ большею или меньшею основательностью и послѣдовательностью, заявлялось еще со временъ классической древности. Въ наше время морфологи и фізіологи въ области ботаники и зоологіи пришли къ выводу, что вышенамянутая нами градація біологическихъ индивидуальностей останется незаконченною, если ее не пополнить новою ступеню — *демома*, т. е. коллективностью, состоящею изъ зондовъ, т. е. изъ очень совершенныхъ біологическихъ единицъ, которыя въ свою очередь состоятъ изъ біологическихъ индивидуальностей низшаго порядка и т. д., сниходя до кѣточекъ, которыя въ свою очередь по новѣйшимъ изслѣдованіямъ оказываются не строго недѣльными въ біологическомъ смыслѣ, а тоже составленными изъ сотrudничающихъ (кооперирующихся) между собою простѣйшихъ морфологическихъ элементовъ, пластидъ. Короче говоря, самыя положительныя научныя изслѣдованія привели насъ въ тому заключенію, что понятія общества и индивидуальности съ одной стороны, а съ другой — понятія соціологичности и біологичности, вовсе не противополо-

гаются одно другому, вовсе не нагромождаются одно надъ другимъ въ видѣ рѣзко разграниченныхъ пластовъ; а тѣсно сплетаются одно съ другимъ посредствомъ множества тончайшихъ развѣтвленій и нитей, которыя распутать наконецъ, оказывается строго необходимымъ въ видахъ преуспѣянiя не только соціологическаго, но и чисто біологическаго знанiя.

Индивидуалисты, напримѣръ французскіе материалисты (Андре Лефевръ, Латурно), очень энергически напали на Спенсера и на органическую теорiю общественности; но они однако-же не дали себѣ труда внимательно прослѣдить тѣ отношенiя, которыя логически должны установиться между спенсеровскимъ ученiемъ объ условной органичности общественныхъ явленiй съ одной стороны, а съ другой — между механическою и антропологическою теорiею общественности. Исходя изъ ошибочнаго предположенiя, будто антропологическая точка зрѣнiя въ соціологiи неизбежно должна привести къ крайнему индивидуализму, они на спенсеровское основное положенiе смотрятъ какъ на такую чепуху, которая даже не заслуживаетъ серьезнаго разбирательства. Очевидно, что съ ихъ точки зрѣнiя, болшею чепухою должна представляться еще болѣе крайняя въ фаталистическомъ увлеченiи *механическая* теорiя, стремящаяся совершенно выбросить изъ исторiи всякій психологическій элементъ. А между тѣмъ, Спенсеру приходилось серьезно считаться съ этимъ ученiемъ, и на нашъ взглядъ, немаловажною историческою заслугою его условно органической теорiи общественности должно признать то, что она безусловно отвергаетъ это, болѣе элементарное механическое ученiе. Надо быть очень высокаго мнѣнiя о своемъ философскомъ развитiи для того, что бы считать себя вправѣ даже не обращать серьезнаго вниманiя на такія теорiи, которыми увлекались еще очень недавно такіе умы, какъ напримѣръ, Кетлэ или отчасти Бокль, которыми многіе солидные умы продолжаютъ еще увлекаться и до настоящаго времени. Во всякомъ случаѣ, такое величавое прозрѣнiе, какъ и всякое олимпійство въ наукѣ, по самому своему существу способно дать только очень скудные результаты. Такъ именно и случилось съ соціологическимъ ученiемъ Спенсера, на которое напали въ тѣхъ его частяхъ, гдѣ оно остается строго вѣрнымъ обязательному во всякомъ челоувѣческомъ изслѣдованiи антропологическому принципу; а вслѣдствіе этого и не выяснили достаточно тѣхъ его сторонъ, которыми собственно оно только и грѣшитъ противъ этого обязательнаго въ соціологiи антропологическаго начала. Для научнаго обоснованiя антропологической соціологiи крайне необходимо, чтобы сторонники ея не были поставлены въ необхо-

димость открывать такіа Америки, которыя уже давно открыты ихъ предшественниками. Хаосъ понятій, господствующихъ до сихъ поръ еще на этомъ поприщѣ, не можетъ быть устраненъ, пока мы не захотимъ отдать себѣ строгій отчетъ въ тѣхъ своеобразныхъ историческихъ условіяхъ, при которыхъ проявляется то или другое мировоззрѣніе въ области соціологіи.

Въ настоящую минуту, отстаивающему антропологическій принципъ въ соціологіи, приходится прежде всего прочно установить принципъ законосообразности общественныхъ явленій, который для однихъ уже успѣлъ давно стать общимъ мѣстомъ; другими-же еще упорно оспаривается и не только изъ однихъ чисто метафизическихъ побужденій. Этотъ принципъ чисто эмпирически установленъ уже Котлэ и его послѣдователями, а до нѣкоторой степени и французскими позитивистами. Пользуясь въ этомъ спеціальному случаѣ всѣми статистическими трудами знаменитаго бельгійскаго ученаго, мы, однако, обязаны заявить о своей несолидарности съ его ученіемъ съ той поры, когда онъ начинаетъ утверждать, будто законы, управляющіе общественными явленіями всѣ сполна могутъ подлежать одному только математическому и физическому разслѣдованію. Бокль, пользовавшійся такою громадною популярностью, всего какихъ-нибудь лѣтъ двадцать тому назадъ, за свою грандіозную попытку примѣнить къ историческому изслѣдованію законы, установленные его предшественниками, не устаетъ на скользкой почвѣ механической теоріи общественности, такъ какъ онъ на каждомъ шагу прибѣгаетъ къ вліяніямъ біологическимъ и въ тоже время показываетъ намъ, что самыя космическія явленія могутъ проявляться на историческомъ поприщѣ не иначе, какъ отразившись, фізіологически или психологически (т. е. вообще говоря антропологически) черезъ человѣческій организмъ. Но Бокль тѣмъ не менѣе не устанавливаетъ своей точки зрѣнія сколько-нибудь методически, т. е. стоитъ одною ногою на почвѣ механической соціологіи, а другою—дѣлаетъ не всегда вѣрные шаги, чтобы утвердиться на почвѣ органической теоріи общественности. Не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что по сравненію съ Боклемъ Спенсеръ представляетъ уже очень значительный шагъ впередъ. Для насъ важно не оправдать Спенсера противъ несправедливыхъ нападеній французскихъ матерьялистовъ, или иныхъ индивидуалистовъ, въ ряды которыхъ скоро станеть и самъ Спенсеръ, для насъ важно только перечислить тѣ побѣды, которыми антропологическая соціологія обязана самому Герберту Спенсеру, а также эволюціонистскому ученію вообще. Побѣды эти очень цѣнны, потому что, благодаря имъ, принципъ законосообразности обществен-

ныхъ явленій, а слѣдовательно и подлежащности ихъ объективному изученію; можно считать уже окончательно установленнымъ не только эмпирически, но и философски; вмѣстѣ съ тѣмъ, показана несостоятельность всевозможныхъ «статикъ и динамикъ цивилизаціи», т. е. механической социологіи, пытающейся устранить изъ исторіи вообще-ли антропологическій, или хотя-бы только психологическій элементъ. Показано, наконецъ, что органическая теорія общественности, которая у Бокля является какъ желательный предѣлъ, сама можетъ быть признана только условно. Индивидуалисты, обиженные словами: «общество есть организмъ», не хотятъ даже дослушать спенсеровское положеніе до конца. И это очень жаль, потому что въ концѣ-то именно и заключаются тѣ ограниченія общественной органичности, которыми ясно и опредѣленно устанавливается обязательная для социолога антропологическая, или если хотите, гуманитарная точка зрѣнія, лучше и объективнѣе которой ни предшественники, ни послѣдователи Спенсера, ничего еще не придумали и до сихъ поръ. Мы уже привели выше два существеннѣйшія изъ этихъ ограниченій; а именно: «общественные организмы *дискретны* и не имѣютъ опредѣленныхъ вѣшнихъ очертаній, тогда какъ биологическіе организмы *конкретны* и замкнуты въ опредѣленныхъ морфологическихъ границахъ». «Общественные организмы не имѣютъ особаго чувствительна, каждый ихъ членъ обладаетъ способностью наслаждаться и страдать самъ за себя».

Противъ перваго ограниченія общественной органичности Спенсеромъ было, правда, заявлено возраженіе бывшимъ австрійскимъ министромъ Шеффлэ въ его довольно почтенномъ трактатѣ «О строеніи и жизни общественнаго тѣла» (Von und Leben der Socialen Körpers). Съ послѣдовательностью, достойно лучшей участи и весьма близко подходящей къ педантической безтактности, нѣмецкій авторъ замѣчаетъ, что и въ биологическихъ организмахъ клѣточки не плотно прилегаютъ другъ къ другу, а отдѣляются промежутками, наполненными междуклѣточной тканью. По мнѣнію Шеффлэ, роль этой междуклѣточной ткани играютъ общественныя богатства и пути сообщенія, служащія связью между клѣточками или пластидами общественнаго организма. Мы можемъ себѣ представить такое общество (напримѣръ англійское географическое общество), котораго члены разсѣяны по всѣмъ частямъ свѣта. Но они до тѣхъ поръ являются дѣйствительными членами этой асоціаціи, пока они дѣйствительно помогаютъ одинъ другому въ достиженіи одной общей цѣли, деньгами, провизією, совѣтами или т. п., т. е. пока они состоятъ въ конкретныхъ сношеніяхъ между собою. Стоять только одному изъ членовъ забраться въ какую-

нибудь труппу, не состоящую въ сношеніяхъ съ однимъ изъ центровъ патронирующаго его общества,—и онъ тотчасъ-же утра-титъ всѣ выгоды и преимущества, связанные съ его положеніемъ члена обширной кооперациі, хотя за нимъ и останется чисто фик-тивное право ставить послѣ своего имени дорогія англійскому сердцу кабалястическія буквы T. R. G. S. (Tellow of the Royal Geographical Society). Все это отчасти можетъ быть и справедливо; но со спенсеровской точки зрѣнія противъ этого прежде всего слѣдуетъ возразить, что его положеніе объ условной орга-ничности общества строжайшимъ образомъ исключаетъ тотъ аналогическій методъ, которымъ такъ много уже злоупотребляли со временъ Маненія Агриппы и до знаменитаго гейдельбергскаго профессора Блюнчли включительно. На сколько общество есть дѣйствительный организмъ, настолько мы и имѣемъ право пере-носить на него біологическіе законы; отнюдь не въ метафориче-скомъ, а въ буквальномъ ихъ значеніи. Такъ напримѣръ, обще-ства завѣдомо имѣютъ органическую способность къ эволюціи, т. е. къ преемственной и послѣдовательной измѣняемости; а по-тому мы безъ всякихъ обиняковъ и аллегорій можемъ утверждать что общества дѣйствительно должны развиваться подъ опасеніемъ того-же самаго разложенія, которымъ грозитъ и біологическому организму продолжительный застой. Но, въ концѣ-концовъ, какъ уже замѣчено,—такія отождествленія общественнаго организма съ организмомъ біологическимъ охватываютъ только очень не-много изъ сторонъ общественной жизни, а потому и такія пере-несенія законовъ біологическихъ на соціологическія сферы воз-можны только въ тѣхъ-же тѣсныхъ предѣлахъ, въ какихъ сама біо-логія можетъ пользоваться механическими законами. Главнымъ-же образомъ, изъ положенія о *дискретности* общественныхъ орга-низмовъ вытекаетъ не только возможность для отдѣльнаго лица быть членомъ такого общества, котораго средоточіе находится отъ него на разстояніи какихъ-нибудь десяти тысячъ верстъ. Изъ него слѣдуетъ также, что одно и то-же лицо можетъ одновременно со-стоять дѣятельнымъ сотрудникомъ разныхъ обществъ и исполнять въ каждомъ изъ нихъ роль какого-нибудь спеціальнаго органа. Такъ, наприм., почтенный мистеръ Маркхамъ можетъ одновременно состоять секретаремъ уже помянутаго англійскаго географическаго общества, членомъ парламента, гражданиномъ той обширной со-ціологической единицы, которую мы называемъ англійскою націею, и т. д. Онъ можетъ даже, если ему вздумается, отказаться отъ всѣхъ этихъ функцій и стать, наприм., подданнымъ бухарскаго эмира и ассессоромъ азіатскаго общества въ Лондонѣ или т. п. Очень вѣроятно, что м-ръ Маркхамъ никогда не вздумаетъ вос-

пользоваться всѣми этими возможностями, но онъ тѣмъ не менѣе вытекаютъ очень логически изъ основного положенія о дискретности общественныхъ организмовъ. А потому социологическому званію поневолѣ приходится считаться съ такими возможностями, противъ которыхъ нѣмецкій исправитель и дополнитель Герберта Спенсера и ни одинъ изъ вышепомянутыхъ его индивидуалистическихъ противниковъ рѣшительно ничего не возразилъ.

II.

Гораздо важнѣе второе изъ приводимыхъ Спенсеромъ ограниченій общественной органичности, противъ котораго, насколько намъ извѣстно, никакихъ основательныхъ возраженій не было предъявлено ни откуда еще и до сихъ поръ. Нельзя же считать за основательное возраженіе то бѣглое замѣчаніе, которое приводится Эспинасомъ во вступленіи къ его даровитому изслѣдованію «общественности у животныхъ» (*Les Sociétés animales*). Этотъ молодой французскій ученый, ссылаясь на психологическія работы Льюиса, утверждаетъ, что и въ высшихъ біологическихъ организмахъ чувствительность не такъ ужъ исключительно сосредоточивается въ особыхъ центрахъ; а что она въ нѣкоторой степени разлита по цѣлому тѣлу. Мы согласны признать за изслѣдованіями Льюиса даже большее научное значеніе чѣмъ то, которое дается ими цеховыми учеными. Но легко убѣдиться, что эти его изслѣдованія ни на волосъ не опровергаютъ второго ограниченія Спенсера ни въ его общемъ социологическомъ значеніи, ни въ его специально этическомъ значеніи, которое въ настоящемъ очеркѣ интересуетъ насъ всего больше. Мы не имѣемъ притязанія двигать впередъ общественную науку нашими бѣглыми замѣтками, но мы чувствуемъ себя обязанными уяснить по мѣрѣ силъ нашимъ читателямъ тѣ отношенія, въ которыхъ новѣйшіе успѣхи общественнаго знанія состоятъ къ тому «антропологическому принципу въ философіи», который мы хранимъ свято какъ лучшее наслѣдіе нашего умственного оживленія шестидесятыхъ годовъ. Когда мы убѣдимся, что объективная, т. е. научная социологія непримирима съ этимъ дорогимъ намъ принципомъ, то мы и отвернемся отъ всякой научной объективности и побѣжимъ искать себѣ духовнаго объединенія и исцѣленія въ какой-нибудь сектантскій скитъ. До сихъ же поръ мы видѣли, что эта непримиримость вислолько еще не доказана; что дѣйствительные успѣхи объективной социологіи, напротивъ, только содѣйствуютъ научному обоснованію этого самаго антропологическаго принципа, который уже и въ субъективномъ, т. е. партіонномъ или нѣсколько сектантскомъ своимъ развитіи

успѣлъ уже безповоротно привлечь насъ въ свой станъ. Потому мы и считаемъ своею и другихъ ближайшею нравственною обязанностью содѣйствовать тому научному обоснованію этого благотворнаго принципа, при которомъ онъ неизбѣжно долженъ будетъ привлечь подъ свои знамена не однихъ только а ргіогі сочувствующихъ ему бойцевъ и поклонниковъ, но и всѣхъ безъ извѣтія порядочныхъ людей, способныхъ убѣждаться научными доводами: При самомъ всестороннемъ и полномъ своемъ развитіи, наука никогда не будетъ способна всецѣло поглотить собою духовное существо живого чловѣка, на всѣхъ своихъ ступеняхъ она способна быть только мощнымъ орудіемъ къ достиженію тѣхъ или другихъ индивидуальныхъ и общественныхъ цѣлей.

Справедливо или несправедливо положеніе Льюиса о нѣскольکو ограниченномъ значеніи психическихъ центровъ въ біологическихъ организмахъ, во всякомъ случаѣ нельзя не замѣтить, что централизація чувствительности достигаетъ все-же очень крайняго предѣла въ высшихъ біологическихъ существахъ, наприм. въ чловѣческомъ организмѣ. При томъ-же централизація эта постоянно непрерывно усиливается по мѣрѣ того, какъ мы отъ низшихъ организмовъ поднимаемся все выше и выше по зоологическимъ ступенямъ. Біологи уже очень давно, съ Гете и съ Вэрромъ, установили эту постоянно возрастающую централизацію чувствительности—законный плодъ постоянно возрастающей разнородности отдѣльныхъ частей организма и раздѣленія между ними фізіологическаго труда—за лучшую мѣрку прогресса въ сферѣ біологической. Мѣрку эту нельзя назвать морфологическою, потому что она принимаетъ въ расчетъ и фізіологическую сторону дѣла; во мы вправѣ назвать ее критеріумомъ формальнымъ, такъ какъ она относится все-же къ внѣшней, а не къ существенной сторонѣ дѣла. Представимъ себѣ, что какой-нибудь умный дикарь, невмѣющій яснаго представленія о дѣйствіи нашихъ усовершенствованныхъ машинъ и о ихъ назначеніи, захотѣлъ бы опредѣлять въ чемъ именно заключается прогрессъ въ специальной сферѣ, наприм., кораблестроенія. Осмотрѣвъ какой-нибудь музей, гдѣ собраны суда самыхъ разнообразныхъ системъ, когда-либо строившіяся людьми, начиная съ первобытной пироги и кончая лучшими броненосцами или скороходными паровыми клиперами нашего времени, онъ замѣтилъ-бы, что первобытная пирога вся цѣликомъ выдолблена изъ одного древеснаго ствола, т. е., совершенно однородна во всѣхъ своихъ частяхъ, тогда какъ новѣйшіі пароходъ состоитъ и изъ дерева, и изъ стали или желѣза, изъ мѣди, канатовъ, парусины и т. п., т. е., изъ множества частей, совершенно разнородныхъ и по внѣшнему виду и по составу. Онъ замѣтилъ-

бы, что первобытная пирамида и движется и управляется при помощи совершенно тождественных между собою весель, изъ которыхъ каждое способно играть роль и гребнаго аппарата и направляющаго весла. Въ судахъ-же болѣе совершеннаго устройства, аппаратъ двигающій все болѣе и болѣе отдѣляется отъ аппарата направляющаго, причемъ оба они только благодаря возрастающей своей специализаціи приобретаютъ все большую и большую способность лучше служить назначенію цѣлаго судна, которое (назначеніе) заключается въ возможности скоро двигаться и въ то-же самое время легко поворачиваться въ требуемомъ направленіи... Короче говоря, такой дикарь неизбѣжно установилъ-бы мѣрку судостроительнаго прогресса, очень схожую съ критеріемъ, установленнымъ Гете и Бэрромъ для органическаго совершенствованія. Нечего и говорить, что онъ былъ-бы по-своему совершенно правъ, такъ-какъ прогрессъ въ дѣлѣ кораблестроенія дѣйствительно, вообще говоря, не обошелся безъ вышепомянутаго усложненія двигающаго и направляющаго аппаратовъ. Представимъ-же себѣ теперь, что какой-нибудь корабельный инженеръ усвоивъ себѣ этотъ критерій, затѣялъ-бы усовершенствовать употребительные теперь типы судовъ и пароходовъ, усложняя еще болѣе ихъ составныя части, т. е. дѣлая ихъ еще болѣе разнородными и способными, каждая въ отдѣльности, исполнять еще меньшую часть выпадающаго теперь на ихъ долю труда. Очень легко могло-бы статься, что проектъ такого усовершенствованія былъ-бы безусловно отвергнутъ свѣдущимъ адмиралтействомъ, которое замѣтило-бы такому изобрѣтателю, что онъ увлекается одною формальною стороною дѣла. Со стороны-же существенной усложненіе частей представляется желательнымъ только въ такой мѣрѣ, въ какой оно окупается соответственнымъ возрастаніемъ быстроты хода судна и его послушностью рулю. Предполагая-же, что эти два послѣднія условія остались-бы неизмѣнными, прогрессъ заключался-бы не въ усложненіи, а, напротивъ, въ упрощеніи движущаго и направляющаго аппаратовъ судна, такъ, что вышепомянутый критерій оказался-бы не показателемъ прогресса, а только вѣрнымъ выраженіемъ тѣхъ жертвъ, которыми купленъ осуществленный прогрессъ въ данной области. Мы дѣйствительно видимъ, что прогрессъ въ области практической механики идетъ одновременно по двумъ диаметрально противоположнымъ направленіямъ. Онъ, точно, заключается въ болѣе разнородности частей и дальнѣйшей специализаціи исполняемаго каждою частью труда; но онъ можетъ точно также заключаться и въ обратномъ, т. е. въ такихъ упрощеніяхъ механизма, которыми не уменьшается производительная работа машины. Точнѣе говоря, совершенство на меха-

ническомъ поприщѣ заключается не въ усложненіи и не въ упрощеніи самого механизма, а въ его соответствіи съ предположенною цѣлью. Болѣе совершенною признается вполнѣ основательно такая машина, которая позволяетъ намъ достигать желанной цѣли съ наименьшею возможною затратою вещества, времени и труда. Формальный-же вопросъ о разнородности частей и большей или меньшей специализаціи между ними труда совершенно подчиняется этому главному соображенію. Такъ какъ машины всегда придумываются людьми въ виду опредѣленныхъ цѣлей, то и руководство такимъ критеріемъ въ области механики не представляетъ рѣшительно никакихъ, теоретическихъ или практическихъ затрудненій. Цѣль, достигаемая тою или другою машиною, опредѣляется, конечно, человѣческимъ произволомъ; но относительныя достоинства двухъ или нѣсколькихъ машинъ оцѣниваются вполнѣ объективно; чаще всего простымъ сличеніемъ цифръ, выражающихъ производительную работу и издержки производства, сопряженныя съ тѣмъ или другимъ механизмомъ.

Пока биологи разсматривали изучаемые ими растительныя и животныя организмы приблизительно также, какъ нашъ предпологаемый умный дикарь обезрѣвалъ кораблестроительный музей,— т. е. непомышляя ни о какомъ ихъ соотношеніи съ общею міровою жизнью,—то вышепомянутый критерій Бэра удовлетворялъ ихъ вполнѣ; да у нихъ и не было возможности замѣнить его какимъ-нибудь другимъ. Всякая цѣль, которую мы-бы навязали живымъ существамъ, разсматриваемымъ съ этой изолирующей точки зрѣнія, была-бы совершенно субъективнымъ порожденіемъ, съ которымъ нѣтъ возможности считаться точному научному знанію. Но коль скоро новѣйшая біологія была перестроена сообразно внесенному въ нее Дарвиномъ принципу, то и этотъ бэровский критерій развитія отодвинулся самъ собою на задній планъ, безъ борьбы уступая мѣсто болѣе широкому мѣрилу органическаго развитія.

Какъ-бы то ни было, но дарвиновское представленіе объ эволюціи даетъ намъ возможность и на біологическомъ поприщѣ подчинить процессъ дальнѣйшей разнородности органическихъ формъ и большей специализаціи труда извѣстному представленію цѣлесообразности, неимѣющему въ себѣ ровно ничего субъективнаго. Съ точкѣ зрѣнія ученія Дарвина существенно только то, чтобы между организмомъ и средою установилось тѣмъ-ли, другимъ-ли путемъ, необходимое соответствіе. Такимъ образомъ формальный вопросъ о разнородности частей, о специализаціи труда и о подчиненіи частей цѣлому отходить на такой-же задній планъ, какъ и въ сферѣ практической механики. Но мы имѣемъ возможность отнестись къ біологической эволюціи еще съ болѣе философскою

точки зрѣнія чѣмъ та, съ которой смотрѣлъ на нее Дарвинъ, остававшійся главнѣйшимъ образомъ естествоиспытателемъ, а потому и дорожившій нѣкоторыми подробностями, неимѣющими общенаучнаго или философскаго значенія. Мы можемъ окинуть биологическую эволюцію тѣмъ общимъ взглядомъ, отъ котораго пестряція картину безчисленныя подробности скрываются; и тогда обнаружится, что эволюція эта порождаетъ не только безконечное многообразіе животныхъ и растительныхъ формъ, но что она же создаетъ и извѣстную градацію ступеней жизни. Мы встрѣчаемъ на низшихъ ступеняхъ органическаго міра такія бытія, которыя сполна исчерпываются двумя физиологическими функціями питанія и размноженія. На слѣдующихъ ступеняхъ къ этимъ двумъ отправленіямъ примѣшивается уже психическая дѣятельность, начинающаяся съ самыхъ элементарныхъ формъ ощущенія и постепенно усложняющаяся до формы самыхъ сложныхъ чувствъ, приводя насъ, въ свою очередь, къ третьей высшей ступени, имѣющей своею исходною точкою мысль, затѣмъ знаніе и, наконецъ, способность сознательно дѣйствовать ради цѣлей, биологически ненужныхъ для самого дѣйствующаго существа, какъ, наприм., для идеи, для блага другой особи или коллективности. Существованіе этой градаціи такой-же конкретный фактъ, какъ и существованіе какого-угодно вида растений или животныхъ. Градація эта выражаетъ собою то, что можетъ по праву быть названо «объективнымъ прогрессомъ», потому что прогрессивность такой градаціи совершенно независима отъ нашей произвольной оцѣнки этого явленія. Каждый послѣдующій членъ этой прогрессіи заключаетъ въ себѣ неизбѣжно предыдущій ея членъ плюсъ нѣчто новое, чего на предыдущей ступени быть не могло.

Мы видимъ, слѣдовательно, что монистическое міровоззрѣніе, въ которое укладываются цѣликомъ ученія эволюціонистовъ и дарвинистовъ въ той мѣрѣ, въ какой онѣ являются плодомъ дѣйствительно научнаго, объективнаго метода, даетъ намъ критерій прогресса, независимый отъ субъективныхъ воззрѣній. Другое дѣло вопросъ о желательности такого прогресса. Съ антропологической точки зрѣнія онъ не можетъ, конечно, быть нежелательнымъ, потому что имъ однимъ только и обуславливается сперва возможность, а потомъ богатство внутренняго содержанія человѣческаго существованія на землѣ. Но съ субъективной точки зрѣнія какого-нибудь буддизма въ ожиданіи блаженной Нирваны предпочитающаго такое бытіе, которое всего меньше отличается отъ небытія, прогрессъ этотъ столь же несомнѣнно долженъ считаться нежелательнымъ, потому что онъ-то именно постепенно и послѣдовательно удаляетъ насъ каждымъ новымъ своимъ шагомъ сперва

отъ хаотическаго, нечленораздѣльнаго бытія туманныхъ пятенъ; потомъ отъ тѣсно-индивидуалистическаго бытія монерь или амабъ; еще дальше—отъ дробной расплывчатости тѣхъ допотопныхъ формъ, въ которыхъ, наприм., усматриваютъ какіе-то «вышіе типы» развитія, на томъ основаніи, что онѣ будто-бы не спеціализировались, не стали ни ящерицею, ни рыбою (иктиозавръ), ни птицею, ни земноводнымъ (птеродактиль), а способны по своему благоусмотрѣнію быть по немножку то тѣмъ, то другимъ. Но какое намъ дѣло до того, въ какихъ формахъ будутъ они влечить свое жалкое существованіе, коль скоро ихъ бытіе будетъ исчерпываться сплона процессами питанія и размноженія, за отравленіемъ которыхъ у нихъ уже еле-еле хватаетъ жизненной энергіи на развитіе въ себѣ самыхъ рудиментарныхъ психическихъ способностей...

III.

Отступленіе это казалось намъ крайне необходимымъ для того, чтобы читатель могъ оцѣнить по заслугамъ значеніе того возраженія, которое сдѣлалъ англійскій сравнительный анатомъ Гексли (Huxley) противъ спенсеровской теоріи условной органичности общественныхъ явленій.

Почтенный этотъ ученый начинаетъ съ прямого заявленія, что по его мнѣнію уподобленіе общества организмамъ можетъ быть хорошо для аналога à la Мененій Агриппа, но что въ наукѣ оно совсѣмъ неумѣстно, какъ всякая аналогія; такъ-какъ уже давно было замѣчено, что сравненіе не доводъ.—«comparaison n'est raison». Мы уже замѣтили выше, что съ этимъ его положеніемъ можно очень легко согласиться, если только не придавать значенія тѣмъ «обстоятельствомъ времени», среди которыхъ возникла эта новая редакція старой—какъ міръ теоріи, гласящей, что общество есть организмъ. Однако, останавливаясь на томъ рѣшеніи, что общество не есть ни механизмъ, ни организмъ, надо-бы было показать тотчасъ-же, какимъ образомъ самая совершенная зоологическая индивидуальность давлѣтъ себѣ только въ узкомъ дѣлѣ питанія. Чуть-же дѣло коснется хотя-бы только чисто физиологической-же функціи размноженія, то сама органическая необходимость ведетъ уже роковымъ образомъ къ возникновенію новой и иного порядка единицы,—брачной пары, безъ которой могутъ обходиться только индивидуальности очень низменнаго порядка, допускающія самооплодотворяющій гермафродитизмъ...

Гексли, однако, этого ничего не показываетъ, а рассуждаетъ такъ, какъ-будто Спенсеръ не предупреждалъ его, что онъ не считаетъ общественный организмъ вполне тождественнымъ съ

организмомъ биологическимъ и какъ-будто онъ съ азбучною ясностью не указалъ, въ чемъ именно кроется здѣсь существенное роковое различіе. Напоминая автору «Основныхъ Началъ», что въ сферѣ зоологической богатство психологическихъ функций является результатомъ крайней спеціализаціи труда, а совершенствованіе организаціи покупается цѣною рабскаго подчиненія частей цѣлому, почтенный анатомъ ставитъ Спенсеру въ упрекъ, какъ вопіющее будто-бы противорѣчіе съ его основнымъ положеніемъ, ту теорію общественной самодѣятельности и правительственнаго невмѣшательства, которую Спенсеръ дѣйствительно заимствовалъ почти цѣликомъ у блаженной памяти манчестерскихъ фритредеровъ, только переложивъ ее на новую учено-философскую подкладку.

Выше мы уже имѣли случай показать, что Спенсеръ точно не всегда умѣетъ оставаться вѣрнымъ и послѣдовательнымъ имъ-же самимъ провозглашенному началу. Такъ напримѣръ, мы уже видѣли, что онъ свою теорію общества—организма считаетъ побѣдоноснымъ возраженіемъ «революционнымъ метафизикамъ». Должно-ли повторять, что такіа разсужденія несостоятельны даже тамъ, гдѣ рѣчь идетъ о безусловныхъ (т. е. биологическихъ) организмахъ, которые и во «всякое» время несомнѣнно подлежатъ сознательному воспитательному воздѣйствію; въ которыхъ и въ «свое» время рѣшительно ничего не дѣлается само собою, какъ не рѣжутся зубы у ребенка безъ лихорадочнаго возбужденія и потрясенія цѣлаго организма, безъ мучительнаго раздраженія и зуда непосредственно заинтересованныхъ органовъ и тканей. Но мимое возраженіе Гексли касается вовсе не этой дѣйствительной непослѣдовательности нашего героя. Гексли просто не можетъ понять, что «органистъ» Спенсеръ допускаетъ возможность общественнаго развитія.

Послѣ всего сказаннаго легко, кажется, замѣтить, что непослѣдовательности въ этомъ нѣтъ никакой и что промахомъ со стороны Спенсера было-бы принять выводы, предлагаемые ему противникомъ. Въ самомъ дѣлѣ, процессъ, который, какъ мы только что показали, состоитъ въ послѣдовательномъ переходѣ отъ жизни животной къ жизни психической, осязающей, чувствующей, познающей, сознательно дѣйствующей въ направленіи, не обусловленномъ индивидуальнымъ приспособленіемъ цѣлей, совершается сполна (или почти сполна, за изыатіемъ быть можетъ очень немногихъ безусловно высшихъ своихъ ступеней) въ той области, которая изучается біологіею и психологіею, гдѣ, слѣдовательно, соціологическая область еще не началась. Изъ этого, кажется, уже прямо слѣдуетъ, что прогрессъ соціологическій долженъ заключаться въ чемъ-нибудь другомъ, не противурѣчащемъ

первому, но существенно отличномъ отъ него. Да Спенсеръ, наконецъ, и прямо говоритъ, что общественное развитіе не можетъ имѣть цѣлей, независимыхъ отъ благоденствія, физическаго и духовнаго, своихъ членовъ. А слѣдовательно, и критерій общественнаго прогресса есть ступень обеспечиваемаго имъ антропологическаго благоденствія объединяемыхъ въ данномъ обществѣ людей параллельно со степенью равномерности распредѣленія этого благоденствія между членами. — Все это можетъ быть очень ново; но едвали позволительно было и ожидать чего-нибудь существенно новаго отъ школы, которая вѣдь въ собственно соціологическую область еще и не вошла, а только копошится у преддверья соціологии. Новаго во всемъ этомъ и можетъ быть только то, что «школа борьбы», насколько она держится въ научныхъ предѣлахъ и не касается завѣдомо неподлежащихъ ей разрѣшенію задачъ, вовсе не доказываетъ призрачности гуманитарныхъ стремленій, а, напротивъ, содѣйствуетъ ихъ объективному обоснованію на строгой научной почвѣ. Несомнѣнно то только, что все, сказанное выше, вытекаетъ логически послѣдовательно и само собою изъ основного положенія Спенсера объ условной органичности общества. Признать-же безусловную его органичность насъ никто и не приглашалъ и два вышеприведенныя спенсеровскія ограниченія (онъ приводитъ ихъ четыре) остаются во всей своей силѣ, несмотря на всѣ поправки и возраженія Шеффле, Гёксли, и пр.

Въ мірѣ биологическомъ, — мірѣ крайняго индивидуализма, — всякая особь знаетъ только одну узко личную и своекорыстную цѣль: удовлетвореніе неугомонной потребности въ требуемую минуту. Ради этой цѣли, она вступаетъ съ другими и съ окружающею средою въ ту неустанную борьбу, которую Дарвинъ для краткости назвалъ борьбою за существованіе. Съ психологической точки зрѣнія борящихся, ее быть-можетъ правильнѣе было-бы назвать борьбою за удовлетвореніе потребностей. Для естествоиспытателей, давно уже выработавшихъ себѣ привычку интересоваться вещами, больше чѣмъ словами, номенклатура не имѣетъ существеннаго значенія; но соціологи нерѣдко выходятъ изъ той среды, гдѣ номиналистическія привычки берутъ еще значительный интересъ надъ привычками реалистическими... Выше мы уже видѣли, что эту борьбою (понимаемою, конечно, въ широкомъ ея значеніи) обеспечиваетъ не только безконечное разнообразіе органическихъ формъ, но обеспечивается также и тотъ биологическій прогрессъ, который выражается послѣдовательнымъ переходомъ отъ жизни питанія и размноженія къ жизни ощущеній и чувствъ, мыслей и

знанія, наконецъ къ нравственной жизни дѣйствій, имѣющихъ сознательною цѣлью не свое только единичное приспособленіе. Во всей неисчислимой рати борющихся за существованіе особей встрѣчаются, конечно, и такія существа, которыя стоятъ на этой высшей ступени развитія; но онѣ являются въ ней въ роли такого микроскопическаго меньшинства, которое совершенно законно можетъ и вовсе не приниматься въ расчетъ біологами. Они вѣдь выражаютъ собою предѣлъ, дальше котораго біологической эволюціи уже некуда идти; а философскій интересъ біологін заключается именно въ уясненіи тѣхъ путей, которыми эволюція эта дошла до указаннаго предѣла. Всѣ остальные, низшія ступени сознательности въ борьбѣ за существованіе играютъ уже значительно важнѣйшую роль, и индивидуалистическое приспособленіе біологическихъ борцевъ къ средѣ предподполагаетъ порою громадный наслѣдственный капиталъ вѣрами накопившагося сознанія. Однако, и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ мы имѣемъ законное право говорить о сознательной біологической борьбѣ, сознательностью освѣщаются только цѣли борьбы съ точки зрѣнія единичнаго, индивидуалистическаго приспособленія. Въ значительномъ большинствѣ случаевъ животное очень мало заботится даже о своемъ личномъ существованіи и ѣсть вовсе не для того, чтобы поддержать его, а только чтобы утолить мучительное ощущеніе голода. Еще менѣе ему можетъ быть дѣла за сохраненіе вида.

Вернемся-же теперь къ опредѣленію общественнаго организма, по Спенсеру. Общество—говоритъ онъ—есть такой организмъ, котораго части несплочены между собою и который не можетъ имѣть другой цѣли какъ благосостоянія этихъ частей, изъ которыхъ каждая способна наслаждаться и страдать за себя. Прибавимъ, что, по его же опредѣленію, соціологія (какъ и по опредѣленію О. Конта) должна преимущественно имѣть въ виду общества человѣческія, т. е. состоящія изъ частей, выражающихъ собою высшія ступени психологическаго и физиологическаго развитія; тогда мы увидимъ ясно, что для общества объективный прогрессъ можетъ заключаться въ благосостояніи частей.

IV.

Судите-же сами, читатель — было-ли основаніе перебивать Спенсера на словѣ: «общество есть организмъ»... чтобы провозгласить біологическій законъ борьбы краеугольнымъ камнемъ научной соціологіи (какъ поступаютъ слишкомъ многіе скоропеченные соціологи во Франціи и въ Германіи)? — Мыже предупреждали уже въ первой части этого изслѣдованія, что вопросъ объ органичности общества для насъ даже не есть, соб-

ственно говоря, вопросъ, т. е. что мы не придаемъ ему большого теоретическаго или этическаго значенія Никто не можетъ серьезно вообразить себѣ, что общество въ самомъ дѣлѣ такой-же точно организмъ, какъ ракъ, корова или человѣкъ. Признавъ-же органическую теорію общественности въ томъ видѣ и съ тѣми ограниченіями, какъ ее выразилъ Гербертъ Спенсеръ, мы не проигрываемъ ничего, хотя выигрываемъ, по правдѣ говоря, очень мало. Мы убѣждаемся, однако, что объективная соціологія не имѣетъ въ себѣ ничего, способнаго напередъ, огуломъ осудить наши гуманитарныя мечты и стремленія.

Самъ Спенсеръ не дѣлаетъ изъ своего основнаго положенія тѣхъ логическихъ выводовъ, которые мы выше привели; но приводитъ къ нѣкоторымъ такимъ заключеніямъ, которыхъ несостоятельность съ его-же собственной точки зрѣнія указана была выше. Такъ именно: онъ полагаетъ, будто положеніе объ органичности общества, хоть-бы и ограниченное, заключаетъ въ себѣ самомъ безапелляціонное осужденіе сознательныхъ воздѣйствій на судьбу общества. Но мы знаемъ, что мало-мальски порядочный садовникъ или опытный скотоводъ оказываютъ и на дѣйствительные, біологическіе организмы воздѣйствіе очень основательное, благодаря именно его сознательности. Они понимаютъ, что во «всякое» время съ дикой груши сочнаго плода сорвать нельзя, но что «свое» время, когда этотъ требуемый плодъ явится самъ собою, не придетъ никогда, если его будутъ ждать сложа руки. Остается слѣдовательно вопросъ о предѣлахъ и методахъ сознательнаго воздѣйствія. Научная соціологія, конечно, должна будетъ объективно разрѣшить этотъ важный вопросъ, о которомъ невозможно съ успѣхомъ разсуждать, стоя у порога научной соціологіи.

Спенсеровское положеніе можно вывернуть на изнанку, какъ перчатку, и утверждать, что не общество есть организмъ; а, напротивъ, организмъ есть общество. Біологи въ самомъ дѣлѣ давно уже замѣтили, что, коль-скоро мы оставимъ первобытный міръ растительныхъ и животныхъ клѣточекъ, понятія объ индивидуальности и коллективности такъ основательно перепутываются между собою, что ихъ и вовсе распутать нельзя, не установивъ различныхъ категорій индивидуальности и коллективности. Въ этомъ отношеніи они значительно забѣжали впередъ соціологической задачи, настолько разумѣется, насколько это оказываются необходимымъ въ видахъ разрѣшенія собственныхъ своихъ задачъ; но задачей ихъ все-же таки осталось—уяснить какимъ образомъ, путемъ біологической борьбы, имѣющей точкою опоры индивидуалистическій эгоизмъ, вырабатывается безконечное многообразіе органическихъ формъ и ихъ постепенное совершенствованіе—т. е. два явленія,

вовсе нежелательныя и ненужныя съ точки зрѣнія самихъ борящихся организмовъ. Такое заскакиваніе біологовъ въ соціологическія построики, и наоборотъ, служитъ блистательнымъ доказательствомъ, что области біологіи и соціологіи не разграничены никакою легко уловимою чертою, т. е. что граница ихъ лежитъ не въ конкретномъ предметѣ, а въ приемахъ нашего научнаго подхода къ нему. Мы говоримъ о біологіи и о соціологіи точно на такомъ-же основаніи, на какомъ мы раздѣляемъ напримѣръ планиметрію отъ стереометріи. Мы знаемъ, что въ природѣ не существуютъ такія тѣла, которыя представляли-бы только поверхности и не вмѣли-бы вовсе объемовъ. Но мы знаемъ также, что къ изученію объемовъ было-бы очень неразсчетливо приступать, не запасшись предварительно должными планиметрическими свѣдѣніями. Также напрасно стали-бы мы искать въ животномъ или въ человѣческомъ мірѣ такого конкретнаго явленія, которое сполна исчерпывалось-бы исключительно соціологическою или исключительно біологическою стороною. Клѣточка долго считалась, правда, за безусловный индивидъ; при ближайшемъ знакомствѣ однако же и она оказалась обществомъ еще болѣе элементарныхъ пластилъ; а если-бы и не оказалась, то вѣдь все равно, никакая біологія не могла-бы ограничить свой кругозоръ изученіемъ однихъ только клѣточекъ.

Начиная съ самаго О. Конта, который первый пустилъ въ обиходъ мудреное слово соціологія, о границахъ этой *scienza nuova* нашего времени уже очень много было говорено, но, къ сожалѣнію, не всегда съ надлежащей точки зрѣнія. Контъ,—какъ мы уже видѣли,—считая общество за «самый живой изъ всѣхъ организмовъ», но строго отличая его отъ организмовъ біологическихъ, давая въ то же время опорую общественнымъ явленіямъ особый альтруистическій инстинктъ, проявляющійся несомнѣнно и у животныхъ, хотѣлъ сдѣлать тѣмъ не менѣе соціологію чисто антропологическою наукою. Не помню, на какой именно изъ страницъ своей «Положительной политики» онъ съ обычною своею догматичностью утверждалъ, будто явленіе жизни общественной въ ряду органическихъ явленій становится возможнымъ только тогда, когда поли уже раздѣлены; но для того, чтобы это явленіе расцвѣло въ полномъ своемъ цвѣтѣ и достигло своей такъ-сказать средней типичности, онъ считалъ необходимымъ появленіе членораздѣльной рѣчи. Съ его точки зрѣнія было вполне послѣдовательно предоставить біологамъ безраздѣльно весь зоологическій міръ и сосредоточить все вниманіе соціологовъ своего толка на общественности человѣческой. Для насъ въ этомъ его воззрѣніи важно только то, что творецъ французскаго позитивизма искалъ,

очевидно, грани между біологією и соціологією въ конкретныхъ явленіяхъ. Спенсеръ нѣсколько уступчивѣе его въ своемъ отношеніи къ явленіямъ общественности у животныхъ. Онъ не противъ того, чтобы соціологъ его направленія захватилъ при удобномъ случаѣ и зоологическій цѣль; но тѣмъ не менѣе и онъ подъ словомъ общество намѣренъ понимать однѣ только постоянныя асоціаціи индивидуальностей высшаго порядка, т. е. зондовъ. Т. е. и онъ точно также ищетъ предметнаго раздѣленія между областями двухъ, интересующихъ насъ здѣсь собою наукъ, промежутокъ которыхъ онъ—довольно неудачно на нашъ взглядъ—втискиваетъ животную и антропологическую психологію. Фактически же онъ, точно также, начинаетъ свою собственную соціологію съ первобытныхъ ступеней семейной эволюціи въ человѣческомъ мірѣ. Почтенный авторъ, повидимому, совершенно не замѣчаетъ, что этия довольно существенно нарушается такъ-сказать органическая стройность его ученія.

V.

Установивъ свое основное положеніе, что общество есть организмъ, почтенный авторъ, очевидно, считаетъ, что онъ побѣдоносно окончилъ съ философскою стороною дѣла. Вопросъ о томъ, что же составляетъ сущность общественныхъ узъ?—разрабатывается имъ такъ поверхностно, что мы и не считаемъ нужнымъ излагать далѣе его воззрѣнія. Собственно говоря, Спенсеръ не имѣетъ своего воззрѣнія на этотъ счетъ, а только повторяетъ давно уже всѣмъ пріѣвшіяся общія мѣста, сводящіяся къ тому, что обществомъ слѣдуетъ считать не всякое сборище людей, а только такую ихъ группировку, въ которой дорогое его манчестерскому сердцу раздѣленіе труда является хотя-бы въ зачаточной степени.

Мы вовсе не питаемъ суевѣрнаго страха къ самому принципу раздѣленія труда, хотя фетишистское преклоненіе передъ нимъ соціологовъ школы борьбы естественно наводитъ на насъ нѣкоторую острастку. Возможно вѣдь различное раздѣленіе труда, изъ которыхъ одно неспособно возбудить и самаго утонченнаго чувства справедливости; тогда какъ другое рѣшительно невозможно примирить никакою діалектикою съ тѣмъ благосостояніемъ частей, которое самъ-же Спенсеръ считаетъ за единственно возможное назначеніе общественныхъ организмовъ. Существуетъ, наприм., такое раздѣленіе труда, по которому полковникъ Пржевальскій объѣзжалъ всю Монголію, а Стэнли, содѣйствуя по мѣрѣ своихъ силъ успѣхамъ того-же географическаго знанія, страствовалъ по внутренней Африкѣ и искалъ тамъ Ливингстона. Мы рѣшительно

не видимъ никакихъ соображеній, по которымъ слѣдовало бы желать, чтобы полковникъ Пржевальскій, попутешествовавъ немного по Монголіи, являлся бы во внутреннюю Африку на смѣну Стэнли, который, въ свою очередь, даже не отыскавъ еще Линингтона, отправлялся-бы на смѣну нашему знаменитому путешественнику на Лобъ-норъ. Принципъ раздѣленія труда въ биологіи играетъ очень видную и достаточно уже опредѣленную роль; но на какихъ правахъ и зачѣмъ онъ съ первыхъ-же шаговъ преподносится намъ въ социологіи именно въ качества характеристики тѣхъ общественныхъ организмовъ, которыхъ строй и назначеніе столь существенно рознится отъ строя и цѣли организмовъ биологическихъ? Одно это голое сопоставленіе принципа условной органичности обществъ съ принципомъ раздѣленія труда, не связанное никакимъ внутреннимъ единствомъ, служить въ нашихъ глазахъ достаточнымъ ручательствомъ за то, что у указаннаго здѣсь предѣла въ теоретической социологіи начинается такой хаоса, въ которомъ даже и разобратся было-бы очень мудро на остающихся намъ здѣсь немногихъ страницахъ. Само собою разумѣется, что, находясь въ такомъ хаотическомъ состояніи, сама эта теоретическая социологія не можетъ намъ помочь сгруппировать въ какомъ-нибудь методическомъ порядкѣ тотъ громадный матерьялъ, который уже накопается изъ года въ годъ по всевозможнымъ отраслямъ историческаго и этнографическаго знанія. Можно имѣть въ запасѣ очень много кирпичей и все-же не выстроить изъ нихъ дома, если нѣтъ въ головѣ яснаго представленія о планѣ будущаго зданія. Объ этомъ то планѣ современные социологіи борьбы очень уворно не хотятъ думать, предполагая довольно неосновательно, будто дарвинизмъ избавляетъ ихъ сполна отъ этого труда. Въ дѣйствительности-же дарвинизмъ именно съ этой-то точки зрѣнія и не даетъ намъ рѣшительно ничего, а при легкомысленномъ съ нимъ обращеніи можетъ только усугубить путаницу.

Уже Жоффруа Сэнт'Илеръ замѣчалъ, что многія изъ животныхъ обществъ иначе не могутъ быть объяснены, какъ симпатією. Не придется-ли признать въ концѣ концовъ, что законъ общественности или коопераціи такой-же міровой законъ, какъ и пресловутая борьба за существованіе, но что онъ только бесплодно ожидаетъ своего Дарвина и до сихъ поръ?

Въ самомъ началѣ биологической эволюціи мы встрѣчаемъ фактъ коллективированія единичныхъ клѣточекъ, на который мы уже ссылались здѣсь много разъ, но который до настоящей минуты остается все же неразъясненнымъ съ точки зрѣнія борьбы за существованіе. Эпинасъ высказывалъ, правда, предположеніе, будто, увеличиваясь въ объемѣ черезъ агломерацию въ фор-

и́ малинной ягоды, кліточки эти избавляются отъ возможности быть пожранными; а это—говорить онъ—составляетъ громадное преимущество въ мірѣ инфузорій, гдѣ прозорливость такъ велика. Но какую-же прозорливостью должны мы совершенно голословно надѣлать эти однокліточные организмы, чтобы удовольствоваться такимъ утилитарнымъ объясненіемъ этого факта, который рисуется намъ общею исходною точкою какъ біологической такъ и соціологической эволюціи, т. е. какъ эволюціи борьбы за существованіе, такъ и эволюціи кооперативнаго труда!

Нашъ очеркъ имѣлъ единственною цѣлью показать читателю, что соціологическая школа борьбы за существованіе, пріютившись паразитомъ на научной дарвинской біологіи, совершенно напрасно смущаетъ насъ своими скороспѣлыми, но строгими приговорами надъ лучшими стремленіями гуманитариума. Она слишкомъ бѣдна и объективными знаніями и методическимъ объединеніемъ для того, чтобы ея приговоры могли имѣть должный научный вѣсъ. Прежде чѣмъ съ плеча рѣшать спеціальные вопросы, касающіеся нашего или чужаго общественнаго быта, ей предстоитъ еще сойти съ этой выгодной, но не почетной позиціи, отбросить свои предвзятія мысли и терпѣливо приняться за самостоятельное изслѣдованіе всѣхъ явленій сотрудничества въ природѣ, начиная съ тѣхъ зачаточныхъ (въ соціологическомъ смыслѣ) питательныхъ асоціацій, гдѣ сотрудники механически связаны между собою перепонками или полостями; проходя по тѣмъ переходнымъ формамъ, гдѣ роль этихъ перепонокъ играетъ излюбленный ими принципъ раздѣленія труда и восходя послѣдовательно къ тѣмъ высшимъ ступенямъ, гдѣ consensus, соглашеніе, добываемое болѣе историческими путями, дѣлаетъ излишними всякія перепонки и всякія—а тѣмъ болѣе несправедливья—раздѣленія труда.

Л. Мечниковъ.

САФО.

Романъ Альфонса Додэ.

I.

— Взгляните-ка на меня... Мнѣ нравится цвѣтъ вашихъ глазъ... Какъ васъ зовуть?

— Жанъ.

— Просто Жанъ?

— Жанъ Госсенъ.

— Съ юга, судя по вашему выговору... Сколько вамъ лѣтъ?

— Двадцать-одинъ годъ.

— Артистъ?

— Нѣтъ, сударыня.

— А! тѣмъ лучше.

Этими отрывочными фразами, едва понятными среди смѣха, криковъ и танцевальныхъ мотивовъ маскараднаго бала, обмѣнивались въ июньскую ночь молодой пиффераро и египетская феллахиня подъ тѣнью пальмъ и древовидныхъ папортниковъ въ оранжереѣ, примыкавшей къ мастерской Дешелетта.

На настойчивый допросъ египтянки пиффераро отвѣчалъ со всею наивностью, свойственною его юному возрасту, съ довѣрчивымъ увлеченіемъ южанина, тяготившагося долгимъ молчаніемъ.

Чужой среди этого міра живописцевъ, скульпторовъ, поэтовъ, потерявъ изъ вида, тотчасъ послѣ входа въ залу, того пріятеля, который привелъ его на этотъ праздникъ, онъ смертельно скучалъ вотъ уже цѣлыхъ два часа, слоняясь изъ угла въ уголь, обращая на себя вниманіе своимъ красивымъ смуглымъ, загорѣвшимъ на солнцѣ лицомъ, своими курчавыми, бѣлокурыми волосами, густыми и короткими, какъ шерсть ов-

чины, входившей въ составъ его костюма; и, судя по поднимавшемуся вокругъ него шепоту, появленіе его производило эффектъ, котораго самъ онъ даже и не подозрѣвалъ.

Плечи танцоровъ то и дѣло толкали его; кругомъ слышались насмѣшки надъ волынкой, болтавшейся у него на плечѣ, надъ его горнымъ нарядомъ, слишкомъ тяжелымъ и обременительнымъ въ эту теплую лѣтнюю ночь.

Японка съ глазами парижской кокетки, съ шиньономъ, приподнятымъ сверху, переколотымъ стальными ножами, заигрывала съ нимъ, напѣвая: *Ah! qu'il est beau, qu'il est beau, le postillon..* Испанка въ бѣлыхъ шелковыхъ кружевахъ, проходя мимо, подъ руку съ вождемъ апачскаго племени, совала ему подъ носъ букетъ изъ бѣлаго жасмина.

Но онъ не понималъ всѣхъ этихъ лестныхъ провокацій, считая себя необыкновенно смѣшнымъ, и старался уединиться въ прохладной тѣни стеклянной галлерей, вдоль стѣны которой, подъ зелеными вѣтвями, тянулся широкій диванъ. Здѣсь съ минуту тому назадъ къ нему подсѣла эта женщина.

Молодая, красивая?—Этого онъ и самъ не сдумалъ-бы сказать. Длинное синее шерстяное платье, подъ которымъ колыхался ея полный, роскошный станъ, эффектно отѣняло круглыя, изящныя, обнаженныя до плечъ руки; красивые пальцы, украшенные кольцами, широко раскрытые сѣрые глаза, которые казались еще больше отъ спускавшихся на лобъ причудливыхъ желѣзныхъ украшеній,—все это, вмѣстѣ взятое, составляло одно гармоничное цѣлое.

Вѣроятно—актриса. Ихъ такъ много ѣздило въ Дешелетту. Эта мысль далеко не способствовала уменьшенію его робости:—передъ такого рода личностями онъ испытывалъ невольный, инстинктивный страхъ.

Она говорила, близко наклонившись къ нему, облокотившись на одно колѣно и подпирая голову рукою, серьезнымъ, мягкимъ, нѣсколько утомленнымъ тономъ... «Съ юга,—въ самомъ дѣлѣ?.. И такіе бѣлокурые волосы!.. Какъ странно».

Она пожелала узнать, давно-ли онъ живетъ въ Парижѣ, очень-ли труденъ экзаменъ на должность консула, къ которому онъ готовился, много-ли у него знакомыхъ, и какимъ образомъ онъ попалъ на вечеръ къ Дешелетту, въ Римскую улицу, такъ далеко отъ его Латинскаго квартала.

Когда онъ назвалъ имя студента, который ввелъ его на

балъ... «Ла-Гурнери... родственникъ писателя... это имя ей, конечно, знакомо...» Выраженіе лица ея вдругъ измѣнилось, омрачилось; но онъ не обратилъ на это вниманія, такъ какъ находился еще въ томъ счастливомъ возрастѣ, когда глаза блестятъ и ничего не видятъ.

Ла-Гурнери обѣщала ему, что двоюродный братъ его будетъ на вечерѣ, и что онъ ихъ представитъ другъ другу.

— Я такъ люблю его стихи... мнѣ-бы такъ хотѣлось познакомиться съ нимъ...

На это наивное, восторженное восклицаніе она отвѣтила сострадательною улыбкою и легкимъ, граціознымъ пожатіемъ плечъ; вмѣстѣ съ тѣмъ, она раздвинула рукою легкую листву бамбуковаго дерева и стала вглядываться въ пестрѣвшую передъ ними толпу, стараясь отыскать въ ней его великаго человѣка.

Тѣмъ временемъ праздникъ блисталъ и волновался, какъ апофеозъ волшебнаго балета. Мастерская, — или, вѣрнѣе, приемная, такъ какъ въ ней никогда не работали, — выведенная во всю выпиную зданія и превращавшая его въ одну громадную залу, со своими легкими, свѣтлыми, лѣтними обоями, сторами изъ тонкой соломы или газа, съ лакированными ширмами, разноцвѣтными стеклами и кустомъ роскошныхъ желтыхъ розъ, украшавшихъ очагъ высокаго камина въ стилѣ Renaissance, сверкая подъ пестрымъ, причудливымъ свѣтомъ безчисленныхъ фонарей, китайскихъ, персидскихъ, мавританскихъ, японскихъ. изъ ажурной жести, съ стрѣльчатыми окошечками, напоминавшими двери мечети, или изъ цвѣтной бумаги, въ видѣ различныхъ плодовъ, развернутыхъ вѣровъ, въ видѣ цвѣтковыхъ, ибисовъ, змѣй. И вдругъ эти тысячи огоньковъ блѣднѣли и меркли, широкіе пучки электрическихъ лучей, быстрые и синеватые, какъ молнія, пронизывали воздухъ и луннымъ свѣтомъ серебрили лица, обнаженные плечи, всю фантазмагорію пестрыхъ матерій, перьевъ, блестокъ, лентъ, шелестѣвшихъ въ бальной залѣ, раскинувшихся на голландской лѣстницѣ съ широкими перилами, поднимавшейся къ хорамъ, на которыхъ виднѣлись ручки контрбасовъ, и въ бѣшеномъ темпѣ мельчала палочка капельмейстера.

Съ своего мѣста молодой человѣкъ видѣлъ все это сквозь сѣтку зеленыхъ вѣтвей и движущихъ лѣанъ, которыя сплетались съ живою декорациею залы, служили ей рамкою и, бла-

годря оптическому обману, среди беспорядочнаго движенія быстро мелькавшихъ паръ, видали гирлянды глициній на серебряный шлейфъ принцессы, украшали листомъ драцены куафюру пастушки. Кромѣ того, интересъ этого зрѣющаго теперь для него еще удваивался, благодаря комментаріямъ египтянки, которая называла ему всѣ славныя, извѣстныя имена, скрывавшіяся подъ разнообразными, фантастическими, забавными костюмами.

Вотъ этотъ царь съ арапникомъ на перевязи никто иной, какъ Жадень, а тамъ, въ потертой рясѣ деревенскаго священника, рассказывалъ старикъ Изабѣ, положившій въ каждой изъ своихъ украшенныхъ пряжками башмаковъ по колодѣ картъ и казавшійся, благодаря этому, болѣе высокимъ.

Улыбающаяся фізіономія Коро выглядывала изъ подъ огромнаго козырька инвалиднаго картуза. Затѣмъ его собесѣдница указала ему Томаса Кутюра въ костюмѣ бульдога. Жанта — въ костюмѣ тюремщика, Кама — въ видѣ морской птицы.

Попадались тутъ и историческіе костюмы болѣе серьезнаго характера: — Миорать, въ генеральской шляпѣ съ султаномъ, принцъ Евгенийъ, Карль I, — все это были очень еще молодые живописцы; и даже здѣсь, въ маскарадѣ, ясно выразалось рѣзкое различіе между двумя поколѣніями артистовъ. Представители новѣйшаго слоя — все люди серьезные, холодные, съ лицами расчетливыхъ биржевыхъ спекуляторовъ, съ тѣми особенными, преждевременными, морщинами, которыя свидѣлствуютъ о вѣчныхъ денежныхъ заботахъ; старики, — напротивъ, несравненно болѣе веселые, способные на всякія школьничества, на остроумныя, безпечныя, шумныя проказы.

Несмотря на свои пятьдесятъ-пять лѣтъ и званіе члена академіи, скульпторъ Каудаль, въ костюмѣ балаганнаго гусара съ обнаженными, мускулистыми руками, съ палитрой живописца, болтавшейся около его длинныхъ ногъ на подобіе ташки, влиялся затѣйливое соло во вкусѣ прежнихъ студенческихъ баловъ *vis-à-vis* съ музыкантомъ Поттеромъ, который изображалъ подгуляващаго муэдзина, въ сбитой на бекрень чалмѣ, приплясывалъ на одномъ мѣстѣ и вскрикивалъ визгливымъ голосомъ: «*Allah, il Allah!*»!

Около этихъ веселыхъ знаменитостей образовался широкій кругъ зрителей, прервавшій на время общіе танцы, а въ пер-

вомъ ряду Дешелеть, хозяинъ дома, въ высокой персидской шапкѣ, стоялъ и хмурился, со своими маденькими глазками, калмыцкимъ носомъ и сѣдовой бородой, наслаждаясь чужимъ веселіемъ и забавляясь отъ всей души, хотя объ этомъ и трудно было заключить по его лицу.

Инженеръ Дешелеть, типичная фигура артистическаго Парижа, какимъ онъ былъ лѣтъ десять, двѣнадцать тому назадъ, очень добрый, очень богатый, съ художественною натурою, съ независимымъ характеромъ, съ тѣмъ пренебреженіемъ къ общественнымъ предразсудкамъ, развитію котораго способствуетъ бродячая, холостая жизнь, былъ въ то время занятъ постройкою желѣзной дороги изъ Тавриса въ Тегеранъ; и каждый годъ, чтобы вознаградить себя за десять мѣсяцевъ утомительной работы, за ночи, проведенныя подъ палаткою, за бѣшеную скачку по песчанымъ пустынямъ и болотамъ, онъ пріѣзжалъ на время сильныхъ жаровъ въ Парижъ и селился въ этомъ домѣ, построенномъ по его планамъ, отдѣланномъ, какъ лѣтній дворецъ. Здѣсь онъ собиралъ около себя цвѣтъ парижской интеллигенціи и красивыхъ женщинъ, требуя отъ цивилизаціи, чтобы она въ теченіе нѣсколькихъ недѣль дала ему квинтессенцію всего, что было у нея возбуждающаго и чарующаго.

«Дешелеть пріѣхалъ!» — Эта новость облетѣла всѣ художественныя мастерскія, лишь только на стеклянномъ фасадѣ его отеля, точно театральная занавѣсъ, поднималась громадная тиковая стора.

Это означало, что серія праздниковъ начинается, и что въ теченіе двухъ мѣсяцевъ не будутъ прекращаться пиры, концерты, маскарады и кутежи, особенно заманчивые среди скучной тишины, царившей въ европейскомъ кварталѣ въ сезонъ дачной жизни и морскихъ купаній.

Самъ Дешелеть, впрочемъ, не принималъ участія въ вакханаліи, кипѣвшей день и ночь вокругъ него. Этотъ неутомимый искатель наслажденія, даже въ часы самаго необузданнаго кутежа, сохранялъ свою обычную, холодную виѣшность, свой обычный взглядъ, блуждающій, улыбающійся, какъ будто наркотизованный гашишемъ, но виѣстъ съ тѣмъ спокойный, невозмутимо-ясный. Надежный, вѣрный другъ, безъ счета раздавая деньги на-право и на-лѣво, онъ обнаруживалъ по отношенію къ женщинамъ презрѣніе восточнаго чловѣка, сотканное изъ снисхожденія и вѣжливости; и изъ всѣхъ этихъ кра-

савиць, которыхъ привлекало сюда его богатство и веселая, фантастическая среда, ни одна не могла похвастаться, что была его любовницей долѣе одного дня.

— А все-таки славный малый—прибавила египтянка, дававшая Госсену эти свѣдѣнія. Остановившись на серединѣ фразы, она вдругъ воскликнула:—Вотъ вашъ поэтъ...

— Гдѣ? гдѣ?

— Вотъ здѣсь, передъ вами, въ костюмѣ деревенскаго новобрачнаго...

У молодого человѣка вырвался невольный возгласъ разочарованія. Его поэтъ! Этотъ толстый господинъ, красный, лоснящійся отъ пота, щеголяющій своими тучными прелестями, въ туто накрахмаленномъ воротничкѣ съ двумя высокими, острыми кончиками и въ цвѣтной жилеткѣ Жаннэ... Вспомнились ему страстныя, полныя отчаянія строки изъ знаменитой «Книги любви», которую онъ никогда не могъ читать безъ нѣкоторой лихорадочной дрожи, и громко, машинально, онъ продекламировалъ:

«Чтобъ оживить твое холодное, какъ мраморъ, тѣло.

Всю кровь изъ жилъ моихъ, о Сафо, отдай я»...

Она быстро обернулась, зазвенѣвъ своими варварскими металлическими украшеніями.

— Что вы говорите?

Это были стихи Ла-Гурнери: онъ удивился, что она ихъ не знаетъ.

— Я не люблю стиховъ... сказала она сухо и стоя продолжала смотрѣть на танцы, комкая нервнымъ, нетерпѣливымъ движеніемъ висѣвшія передъ нею роскошныя, лиловыя кисти.

Затѣмъ, съ внезапною рѣшимостью, которая видимо стояла ей усилія, она сказала:—Прощайте — и исчезла.

Вѣдной пиффераро остался наединѣ и не могъ прийти въ себя отъ изумленія.—«Что съ нею?.. Что я ей сказалъ?..»—Онъ тщетно ломалъ себѣ голову и ничего не придумалъ, кромѣ развѣ того, что хорошо-бы теперь пойти спать. Съ меланхолическимъ видомъ онъ снова взялъ свою вольтыну и вернулся въ бальную залу, не столько смущенный исчезновеніемъ египтянки, сколько всею этою толпою, сквозь которую предстояло пробираться для того, чтобы достигнуть двери.

Сознаніе своего ничтожества среди такого собранія знаменитостей еще болѣе усиливало его робость. Танцы уже прекратились; только нѣсколько особенно рьяныхъ паръ еще носились кое-гдѣ подъ послѣдніе аккорды замиравшаго вальса, и между ними богатырь Каудаль, высоко закинувъ голову, кружилъ маленькую чулочницу съ развѣвающимся по вѣтру чепцомъ, приподнимая ее на своихъ сильныхъ, красныхъ рукахъ.

Сквозь широко растворенныя окна стекляннаго фасада врывались струи блѣднѣющаго утренняго воздуха, шелестѣвшія въ пальмовыхъ листьяхъ и наклонявшія пламя свѣчей, будто стараясь потушить ихъ.

Загорѣлся бумажный фонарь, кое-гдѣ лопались стеклышки догорѣвшихъ свѣчей, слуги разставляли въ залѣ маленькіе круглые столы, въ родѣ тѣхъ, которые можно встрѣтить на террасѣ каждаго кафе. У Дешелета всегда такъ ужинали, размѣстившись небольшими группами, вчетверомъ или впятеромъ, и возлѣ этихъ столиковъ естественно группировались люди, которыхъ влекла другъ къ другу взаимная симпатія.

Со всѣхъ сторонъ слышались крики, во всѣхъ концахъ залы громко перекликались; въ отвѣтъ на призывное «чирканье» бульварныхъ кавалеровъ раздавалось громкое «ю-ю-ю!» парижскихъ прелестницъ, подражавшее звуку трещетки; здѣсь о чемъ-то переговаривались вполголоса; тамъ звучалъ сладострастный смѣхъ женщинъ, увлекаемыхъ жгучею ласкою.

Госсенъ пользовался всеобщимъ переполохомъ, стараясь незамѣтно проскользнуть къ двери, какъ вдругъ передъ нимъ очутился его пріятель, студентъ, запыхавшійся, весь въ поту, съ выпученными глазами, съ парюю бутылокъ подъ мышками: — «Гдѣ вы пропадали?.. Я васъ вездѣ ищу... У меня есть столъ, женщины, маленькая Башелери изъ Буфъ... въ костюмѣ японки, вѣдь вы знаете?.. Она послала меня за вами. Идите скорѣе...» Съ этими словами онъ оставилъ его и опять куда-то побѣжалъ.

Бѣднаго пиффераро мучила жажда, къ тому-же его искушали опьяняющее веселіе бала и смазливая рожица маленькой актрисы, которая издали дѣлала ему знаки. Но въ это мгновеніе серьезный, нѣжный голосъ прошепталъ возлѣ его уха:

— Не ходи...

Та самая, съ которою онъ только что разстался, теперь, близко прижавшись къ нему, влекла его къ выходу, и онъ слѣдовалъ за нею безъ колебанія. Почему? Его увлекала не расотаэтой женщины,—онъ почти не смотрѣлъ на нее,—и та, которая звала его, тамъ за столомъ, съ блестящими ножами въ волосахъ, нравилась ему гораздо больше. Но онъ повиновался волѣ, болѣе сильной, чѣмъ его собственная, непобѣдимому порыву страстнаго желанія.

— Не ходи!..

И вдругъ они оба очутились на тротуарѣ Римской улицы. Передъ домомъ стояли извозчицы кареты, освѣщенные блѣднымъ свѣтомъ просыпающагося дня. Подметальщики-работіе, отправлявшіеся на работу, смотрѣли на этотъ освѣщенный домъ, изъ котораго доносилось ликованье многолюднаго пира, на эту костюмированную пару, вздумавшую справить карнавалъ среди лѣта.

— Къ вамъ, или ко мнѣ?.. спросила она. Самъ не зная почему, онъ подумалъ, что у него будетъ лучше, и сказалъ извозчику адресъ своей далекой квартиры... Въ продолженіе всей дороги они говорили очень мало. Она только держала одну изъ его рукъ въ своихъ рукахъ, которыя,—онъ чувство, валь,—были совсѣмъ холодныя; и если-бы не это нервное-холодное рукопожатіе, онъ могъ-бы подумать, что она спала, откинувшись въ уголь кареты, въ то время, какъ по лицу ея скользила синеватая тѣнь отъ каретной сторы.

Остановились на улицѣ Жакобъ, передъ студенческою гостинницею. Приходилось подниматься въ пятый этажъ:—подвигъ не легкій.

— Хотите, я васъ внесу? сказалъ онъ смѣясь, но шепотомъ, такъ какъ весь домъ еще спалъ. Она окинула его медленнымъ взглядомъ, презрительнымъ и нѣжнымъ, взглядомъ опытнаго эксперта, оцѣнивавшимъ его силу и ясно гонорившимъ: «гдѣ ужъ тебѣ, бѣдняжка!..»

Тогда, подъ вліяніемъ внезапнаго порыва, вполнѣ естественнаго въ его годы, вполнѣ достойнаго его южной родины онъ схватилъ и понесъ ее, какъ ребенка. Несмотря на свою нѣжную, словно у барышни, кожу, онъ былъ сильнаго, крѣпкаго сложенія и во второй этажъ взошелъ, не перевода духа, наслаждаясь этимъ бременемъ, которое повисло на немъ, охвативъ его шею двумя красивыми, свѣжими, обнаженными руками.

Дорога въ третій этажъ показалась ему длиннѣе и уже не доставляла удовольствія. Женщина какъ-то особенно грузно повисла теперь на его шеѣ и съ каждымъ шагомъ становилась тяжелѣе. Желѣзные украшенія, которыя сначала щекотали и ласкали его, мало-по-малу жестоко врѣзывались въ его кожу.

Поднимаясь въ четвертый этажъ, онъ уже хрипѣлъ, какъ носильщикъ, перетаскивающій фортепьяно; онъ буквально задыхался, а она, опустивъ вѣки, шептала въ восхищеніи:—О, дружочекъ, какъ хорошо... какъ мнѣ хорошо!..

Послѣднія ступени, на которыя онъ едва взбирался съ величайшимъ усиліемъ, казались ему принадлежащими къ испанской лѣстницѣ, со стѣнками, перилами и узкими окнами, поднимавшимися къ верху не скончаемою спиралью. Онъ несъ уже не женщину, а какую-то ужасную тяжесть, которая душила его, которую ему съ каждымъ мгновеніемъ все больше хотѣлось съ гнѣвомъ бросить, хотя-бы ей и пришлось пострадать отъ этого.

— Уже!.. сказала она, раскрывая глаза, когда онъ очутился, наконецъ, на послѣдней узкой площадкѣ.—Наконецъ!.. подумалъ онъ, не имѣя силъ вымолвить ни слова, очень блѣдный, прижавъ обѣ руки къ груди, которая, казалось, готова была лопнуть.

И вся ихъ будущая исторія отразилась въ этомъ подъемѣ на лѣстницу среди печальнаго полусвѣта сѣраго утра.

II.

Она прожила у него два дня, а затѣмъ ушла, оставивъ за собою впечатлѣніе нѣжной кожи и тонкаго бѣлья. Всѣ свѣдѣнія о ней ограничивались ея именемъ, адресомъ и маленькою запискою.

Крошечная, изящная, надушенная карточка гласила:

Фанни Лепранъ

6. rue de l'Arcade.

Онъ сунулъ ее за рамку своего зеркала, между приглашеніемъ на послѣдній балъ въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ и раскрашенной фантастическою программю вечера у Дешелета, представлявшими собою два единственныхъ свѣтскихъ выхода въ теченіе цѣлаго года; воспоминаніе объ этой жен-

щинѣ, носившееся нѣсколько дней вокругъ камина среди оставленнаго ею легкаго, нѣжнаго благоуханія, испарилось вмѣстѣ съ этимъ запахомъ; и Госсену, серьезному, работающему малому, पुще всего боявшемуся увлеченій парижской жизни, даже въ голову не приходило возобновить эту мимолетную любовную связь.

Министерскій экзамень предстояло держать въ ноябрѣ. Ему оставалось всего три мѣсяца, чтобы приготовиться къ нему. Затѣмъ придется прослужить года три или четыре въ консульскихъ бюро министерства и въ заключеніе уѣхать куда-нибудь далеко, далеко.

Мысль объ этомъ добровольномъ изгнаніи не пугала его, такъ какъ родовая традиція стараго авиньонскаго семейства Госсеновъ д'Арманди требовала, чтобы старшій изъ сыновей посвящалъ себя такъ называемой «карьерѣ», поддерживаемый, ободряемый примѣромъ и протекціей тѣхъ, кто ему предшествовалъ въ такихъ-же должностяхъ. Для молодого провансальца Парижъ былъ лишь первымъ этапомъ очень длиннаго пути, и это удерживало его отъ всякой серьезной связи, какъ любовной, такъ и дружеской.

Спустя недѣлю или двѣ послѣ бала у Дешелета, однажды вечеромъ, когда Госсенъ зажегъ свою лампу, разложилъ на столѣ книги и сѣлся за работу, кто-то робко постучался; растворилась дверь, и на порогѣ показалась женщина въ нарядномъ, свѣтломъ туалетѣ. Онъ узналъ ее только тогда, когда она приподняла свой маленькій вуаль.

— Вы видите, это я... опять къ вамъ...

Замѣтивъ тревожный, смущенный взглядъ, который онъ невольно направилъ на начатую работу, она прибавила:—О! не бойтесь, я вамъ не буду мѣшать... я сама знаю, что это значитъ...

Она сняла шляпу, взяла въ руки номеръ «*Tour du monde*», усѣлась и уже не двигалась съ мѣста, повидимому, вполне погружившись въ чтеніе; но каждый разъ, когда онъ отрывалъ глаза отъ работы, взгляды ихъ встрѣчались.

И, право, ему приходилось призывать все свое мужество, чтобы устоять противъ искушенія, не заключить ее сейчасъ же въ свои объятія,—до такой степени она была привлекательна, соблазнительна съ своей маленькой головкой, низкимъ лбомъ, короткимъ носикомъ и чувственными, добродушными

губами, со своей полной, гибкой тальей, охваченной безупречнымъ, чисто парижскимъ платьемъ, которое пугало его меньше, чѣмъ ея египетскій костюмъ.

На другой день она ушла рано утромъ, но въ теченіе слѣдующей недѣли возвращалась нѣсколько разъ, и всегда входила такая-же блѣдная, съ тѣми-же холодными, влажными руками, съ тѣмъ-же сдержаннымъ волненіемъ въ голосѣ.

— Развѣ я не вижу, что надоѣдаю тебѣ, что ты тяготишься мною, говорила она. — Я знаю, мнѣ слѣдовало-бы обнаруживать больше гордости... Повѣрь мнѣ,—каждое утро, уходя отъ тебя, я клянусь, что не вернусь больше; а къ вечеру снова начинается припадокъ безумія.

Онъ смотрѣлъ на нее съ удивленіемъ; какъ южанина, привыкшаго презрительно относиться къ женщинѣ, его удивляло и забавляло это постоянство въ любви. Женщины, съ которыми онъ сталкивался до сихъ поръ, въ пивныхъ, или въ скэтингѣ, иногда молодыя и хорошенькія, возбуждали въ немъ всегда отвращеніе своимъ глупымъ смѣхомъ, красными, какъ у кухарокъ, руками, грубыми инстинктами и шутками, заставлявшими его растворять окно, послѣ того какъ онѣ удалялись.

По своей наивной неопытности, онъ воображалъ, что таковы всѣ эти созданія, торгующія любовью и наслажденіемъ, а потому чрезвычайно былъ удивленъ, встрѣтивъ у Фанни чисто женственную нѣжность и сдержанность, да кромѣ того еще извѣстный артистическій лоскъ, многостороннія свѣдѣнія, которыя придавали интересъ и разнообразіе разговору, и доставляли ей важное преимущество въ сравненіи съ буржуазками, которыхъ онъ встрѣчалъ въ домѣ матери.

Вдобавокъ она была музыкантша, акомпанировала себѣ на фортепьяно и пѣла нѣсколько разбитымъ, неровнымъ, но хорошо обработаннымъ контральто, романсы Шопена или Шумана, народныя пѣсни, беррійскія, бургундскія, пикардійскія, которыхъ у нея былъ цѣлый репертуаръ.

Госсенъ, страстно любившій музыку, это искусство лѣни и вольнаго воздуха, которое такъ по душѣ всякому южанину, вдохновлялся звуками въ часы работы, услаждалъ ими отдыхъ, и именно эта сторона особенно восхищала его въ Фанни.

Онъ удивлялся, какъ ей не удалось пристроиться на какой-нибудь сценѣ, и узналъ при этомъ, что она пѣла въ Ли-

рическомъ театрѣ.—«Но не долго... слишкомъ ужь скучно было...»

И дѣйствительно, въ ней не было и слѣда искусственныхъ, заученныхъ пріемовъ, свойственныхъ женщинамъ, привыкшимъ фигурировать на сценѣ, ни тѣни тщеславія и лжи. Только жизнь ея внѣ ихъ отношеній была облечена въ какую-то тайну, хранившуюся даже въ минуты страсти. Любовникъ ея не старался разъяснить эту тайну, не чувствуя ни ревности, ни любопытства, спокойно встрѣчая ее въ условленный часъ свиданія, не давая себѣ даже труда взглянуть на часы, не вѣдая еще чувства тревожнаго ожиданія, когда сердце громко стучитъ въ груди отъ желанія и нетерпѣнія.

По временамъ, такъ какъ лѣто въ этомъ году было прекрасное, они отправлялись разыскивать всевозможные красивые уголки окрестностей Парижа, которыя она знала вдоль и поперекъ.

Смѣшавшись съ шумною толпою, осаждающею станціи западной желѣзной дороги въ минуты отхода поѣздовъ, они уѣзжали, завтракали въ какомъ-нибудь кабацкѣ, на опушкѣ лѣса или на берегу рѣки, избѣгая только такихъ мѣстъ, къ которымъ стекалось слишкомъ много гуляющихъ. Однажды, когда онъ предложилъ ей отправиться въ Во-де-Серне, она воскликнула:—Нѣтъ, нѣтъ... не туда... тамъ слишкомъ много живописцевъ...

При этомъ онъ вспомнилъ, что даже антипатія къ художникамъ послужила исходною точкою ихъ любви.—Всѣ они какіе-то помѣшанные, взвинченные, всегда все преувеличиваютъ,—сказала она однажды, когда онъ спросилъ ее о причинахъ этого чувства.—Они сдѣлали мнѣ не мало зла...

Онъ протестовалъ:—Однако вѣдь искусство такая прелесть... Ничто, подобно ему, не краситъ и не расширяетъ жизни.

— Знаешь, дружокъ, въ чемъ заключается истинная прелесть жизни?—въ томъ, чтобы быть простымъ и прямымъ, какъ ты, обладать двадцатилѣтнею молодостью и вѣрнѣе любить другъ друга.

Двадцать лѣтъ! Ей дѣйствительно трудно было дать больше, видя ее такую живую, свѣжею, всегда веселою, всегда довольною.

Однажды вечеромъ они прибыли въ Сень-Клэръ, въ долину Шеврэзы, наканунѣ праздника, и не нашли комнаты.

Было поздно, до ближайшей деревни пришлось-бы идти ночью, д'ялое лье, да еще л'бсомъ. Наконецъ, имъ предложили какую-то походную складную кровать, стоявшюю въ глубинѣ сарая, гдѣ спали каменщики.

— Что-жь, возьмемъ! сказала она, см'ясь... это напомнитъ мнѣ то время, когда я терп'ла нужду.

Такъ, стало быть, она знавала нужду.

Ощупью пробрались они между занятыми уже кроватями, вдоль выб'ленныхъ известью ст'бнъ, при тускломъ свѣтѣ ночника, дымившагося въ глубинѣ ниши; и всю ночь, прижавшись другъ къ другу, они старались заглушить свои под'блун и свой см'хъ, слушая, какъ храпятъ и стонуть отъ усталости эти люди, грубая одежда и тяжелая рабочая обувь которыхъ валялись тутъ-же возлѣ шелкового платья и тонкихъ ботинокъ парижанки.

На разсвѣтѣ въ широкихъ воротахъ растворилась небольшая калиточка, полоса б'лаго свѣта скользнула по утопанному земляному полу, по складнымъ подставкамъ постелей, и хриплый голосъ закричалъ: «Эй, почтенная компанія!..» Затѣмъ въ потемнѣвшемъ снова сараѣ началось медленное, л'бнивое движеніе, слышались з'вота, потягиванье, громкій кашель, весь невеселый шумъ просыпающей комнаты, и каменщики одинъ за другимъ молча удалялись своею тяжелой походкою, и не подозр'вая, что ночевали возлѣ такой красивой барышни.

Когда они всѣ вышли, она встала, ощупью над'ла платье, наскоро подобрала волосы и вышла, сказавъ ему: «Оставайся... я сейчасъ приду...» Нѣсколько мгновеній спустя, она возвратилась съ громадною охапкою полевыхъ цвѣтовъ, залитыхъ росю.

— Теперь давай спать... сказала она, рассыпая по постели душистые цвѣты, которые своимъ свѣжимъ утреннимъ благоуханіемъ оживили вокругъ нихъ душный воздухъ. И никогда еще она не казалась ему такою хорошенькою, какъ въ это утро, въ ту минуту, когда входила въ сарай, съ улыбкою на губахъ, и прохладный вѣтерокъ трепалъ, приподнималъ ея легкіе волосы, игралъ и шелест'лъ зелеными, сверкающими травами.

Въ другой разъ они завтракали въ Виль-д'Аврэ, на берегу пруда. С'брый туманъ осенняго утра стлался по спокойной по-

верхности воды, окутывалъ желтѣющую листву лѣса на противоположномъ берегу; они одни сидѣли въ маленькомъ садикѣ ресторана и, цѣлуясь, ѣли рыбу.

Вдругъ изъ бесѣдки, расположенной между вѣтвями того самаго платана, у подножья котораго былъ накрытъ ихъ столъ, послышался громкій, насмѣшливый голосъ: «Послушайте, любезные друзья, скоро ли вы перестанете цѣловаться?..» И въ окнѣ бесѣдки, окаймленномъ необтесанными древесными стволами, показалась львиная голова и рыжіе усы скульптора Каудала.

— Меня разбираетъ охота спуститься и позавтракать вмѣстѣ съ вами... Я скучаю, какъ филинъ, на своемъ деревѣ...

Фанни не отвѣчала, видимо недовольная этою встрѣчею; а онъ, напротивъ, хотѣлъ согласиться, обрадовавшись случаю познакомиться съ знаменитымъ художникомъ, польщенный его желаніемъ присоединиться къ ихъ обществу.

Каудаль, въ изящномъ, кокетливомъ костюмѣ, въ которомъ, не смотря на кажущуюся небрежность, все было рассчитано, начиная съ бѣлаго шелкового галстука, нѣсколько молодившаго его угреватое, изрѣзанное морщинами лицо, и кончая жакеткою, обхватывавшею его стройную талью съ рѣзко очерченными, могучими мускулами,—Каудаль показался ему болѣе старымъ, чѣмъ на вечерѣ у Дешелета.

Но болѣе всего удивлялъ и даже смущалъ его тотъ интимный тонъ, которымъ скульпторъ разговаривалъ съ его возлюбленной. Онъ называлъ ее запросто Фанни и говорилъ ей «ты». — «Знаешь, началъ онъ, ставя свой приборъ на ихъ скатерть, — я опять вдовѣю уже цѣлыхъ двѣ недѣли. Марія уѣхала съ Моратэромъ. Въ первое время это меня не особенно огорчило... Но сегодня утромъ, когда я вошелъ въ мастерскую, на меня напала такая тоска, что рѣшительно не было никакой возможности работать... Тогда я бросилъ свою группу и поѣхалъ завтракать въ деревнѣ... Глупѣйшая фантазія, когда человѣкъ одинокъ... Не подвернитесь вы, я-бы расплакался надъ своимъ фрикасе...

Взглянувъ на провансальца, у котораго нѣжный пушокъ бороды и вьющіеся волосы имѣли золотистый оттѣнокъ сотерна, искрившагося въ ихъ стаканахъ, онъ прибавилъ:

— Что за чудная вещь — молодость!... Вотъ его, небось,

никто не бросить... Но замѣчательнѣе всего, что онъ и ее какъ будто заразилъ... Она смотритъ такую-же молодую...

— Невѣжа!.. воскликнула она смѣясь, и смѣхъ ея дѣйствительно звучалъ какою-то вѣчно юною прелестью, молодостью женщины, которая любить и хочетъ быть любимой.

— Удивительно... удивительно... бормоталъ Каудаль, продолжавшій разсматривать ее, не переставая ѣсть, съ выраженіемъ грусти и зависти, дрожавшимъ въ углахъ его рта. — Послушай, Фанни, помнишь, какъ мы однажды завтракали здѣсь!.. давно ужъ, правда... всѣ были въ сборѣ, — Эзано, Дежуа, вся компанія... ты упала въ прудъ; тебя одѣли въ мужской нарядъ, въ мундиръ рѣчнаго сторожа. Это шло къ тебѣ необыкновенно...

— Не помню — отвѣтила она холодно, и не солгала; эти переменчивыя созданія, вся жизнь которыхъ основана на случайностяхъ, всегда живутъ лишь страстью, волнующею ихъ въ настоящую минуту; ихъ не тревожатъ ни воспоминанія о минувшихъ дняхъ, ни опасенія будущаго.

Каудаль, напротивъ, всецѣло отдавался прошлому, записывалъ сотерномъ рассказы о подвигахъ своей здоровой юности, о любовныхъ похожденияхъ и попойкахъ, о пикникахъ и балахъ въ оперѣ, о шуткахъ и проказахъ, о битвахъ и побѣдахъ. Но, повернувшись и взглянувъ на нихъ помолодѣвшими глазами, въ которыхъ снова загорѣлись искры прежняго огня давно потухшей молодости, онъ замѣтилъ, что они его почти не слушаютъ, близко прижавшись другъ къ другу и оцѣпывая губами кисть винограда.

— И охота же мнѣ рассказывать вамъ такой скучный вздоръ... Да, да, я знаю, что надоѣлъ вамъ... Ахъ, чортъ возьми... какъ глупо чувствовать себя старикомъ! — Онъ всталъ и бросилъ на столъ салфетку. — Запишите завтракъ на мой счетъ, Ланглюа... крикнулъ онъ, повернувшись къ ресторану.

Онъ удалился медленной, усталой походкой, печальный, точно подломленный неисцѣлимымъ недугомъ. Долго влюбленные слѣдили за его высокой фигурой, сторбившейся подъ сводами золотистой, увядающей листвы.

— Бѣдный Каудаль... въ самомъ дѣлѣ, онъ сильно опустился... прошептала Фанни тономъ нѣжнаго состраданія. Но Госсенъ началъ негодовать по поводу того, что эта Марія, простая потаскуха, модель, издѣвается надъ страданіями Кау-

даля и предпочитаетъ великому художнику—кого же?... Моратера, ничтожнаго живописца безъ всякаго таланта, не имѣющаго ничего, кромѣ своей молодости... она расхохоталась:— «О, невинность, невинность!..» и, схвативъ его за голову обѣими руками, она опрокинула ее къ себѣ на колѣни и, прильнувъ къ нему лицомъ, цѣловала его глаза, волосы, вдыхала, какъ благоуханіе букета, аромат молодости, которымъ было пропитано все его тѣло.

Въ этотъ вечеръ Жанъ въ первый разъ остался ночевать у своей любовницы, которая приставала къ нему съ этою просьбою уже цѣлыхъ три мѣсяца:—Да скажи-же, наконецъ, отчего ты не хочешь?

— Я не знаю... такъ, какъ-то не ловко.

— Да вѣдь говорятъ-же тебѣ, что я свободна, что я живу одна.

Теперь, благодаря усталости послѣ далекой прогулки, она уговорила его отправиться въ *gare de l'Arcade*, по близости отъ вокзала.

Въ антресоляхъ буржуазнаго дома, свиду очень почтеннаго и представительнаго, имъ отворила дверь старая служанка въ крестьянскомъ чепцѣ, съ угрюмымъ лицомъ.

— Это Машомъ... Здравствуй, Машомъ... сказала Фанни, кидаясь ей на шею.— Вотъ онъ, мой возлюбленный, мой король... я привезла его... Поскорѣе, зажги вездѣ огни, укрась, убери весь домъ.

Жанъ остался одинъ въ маленькой гостинной съ низенькими, полукруглыми окнами, драпированными тою-же банальною шелковою матеріей, которой были обиты диваны и нѣсколько лакированныхъ стульевъ. Три или четыре пейзажа, висѣвшіе на стѣнахъ, придавали комнатѣ болѣе веселый и оригинальный видъ. На каждомъ изъ нихъ можно было прочесть одно и то-же посвященіе: «Фанни Легранъ».— «Милой моей Фанни»...

На каминѣ красовалась мраморная Сафо въ половину величины, знаменитая статуя Каудала, бронзовыя копии которой распространены повсюду. Госсенъ еще ребенкомъ видѣлъ ее въ рабочемъ кабинетѣ своего отца. И при свѣтѣ единственной свѣчи онъ замѣтилъ поразительное сходство этого произведенія искусства съ его любовницей, идеализованной и какъ будто помолодѣвшей подъ рѣзцомъ художника. Этотъ профиль, эти

контуры изящнаго стана подъ драпировкою, эти круглыя, постепенно утончающіяся руки, сплетенныя вокругъ колѣней, были ему такъ хорошо, такъ близко знакомы; взоръ его наслаждался ихъ прелестью, согрѣтою воспоминаніемъ о болѣе нѣжныхъ ощущеніяхъ.

Заставъ его передъ мраморомъ, погруженнаго въ созерцаніе, Фанни сказала равнодушно: — Не правда-ли, есть черты сходства со мною?.. модель Каудала была похожа на меня...

Она тотчасъ увела его въ свою комнату, гдѣ Машомъ, ворча, ставила на маленькій круглый столикъ два прибора. Всѣ канделябры были зажжены, даже по обѣ стороны зеркальнаго шкафа; въ каминѣ, подъ сѣткою, предохраняющею отъ искръ, пылало яркое пламя, веселое, какъ первый зимній огонь, вся комната имѣла видъ роскошнаго будуара женщины, одѣвающейся къ балу.

— Мнѣ захотѣлось ужинать здѣсь, сказала она смѣясь... скорѣе будемъ въ постели.

Никогда еще Жану не случалось видѣть такой кокетливой, изящной мебелировки. Лампады въ стилѣ Людовика XVI, свѣтлыя кисейныя занавѣси въ комнатѣ его матери и сестеръ не давали ни малѣйшаго понятія объ этомъ мягкомъ, уютномъ гнѣздышкѣ, въ которомъ деревянныя стѣны были обтаныты шелковою матеріею самыхъ нѣжныхъ цвѣтовъ, гдѣ постель представляла собою не что иное, какъ диванъ, болѣе широкій, чѣмъ другія, расположенный въ глубинѣ комнаты, на коврахъ изъ бѣлаго мѣха.

Какъ хорошо было подъ этими ласкающими волнами тепла и свѣта, среди этой комнаты съ голубыми, удлинненными отраженіями въ косыхъ граняхъ зеркалъ, послѣ утомительной прогулки по полямъ, послѣ странствованія подъ дождемъ, по грязнымъ проселочнымъ дорогамъ, въ полусвѣтѣ догоравшаго дня. Только одно еще мѣшало ему, какъ истинному провинціалу, наслаждаться окружавшимъ его комфортомъ; — это угрюмое настроеніе служанки, подозрительные взгляды, которыми она преслѣдовала его до такой степени упорно, что Фанни, наконецъ, удалила ее изъ комнаты, сказавъ:—Иди къ себѣ, Машомъ... мы обойдемся и безъ тебя...

Крестьянка вышла, хлопнувъ дверью.—Не обращай на нее вниманія,—продолжала Фанни;—она сердится на меня за то,

что я слишкомъ ужъ люблю тебя... говорить, что я гублю свою жизнь... Эти деревенскіе люди такіе жадные, скупые!.. Зато страпня ея несравненно пріятнѣе ея самой... отвѣдай-ка вотъ этого папшета изъ зайца.

Она рѣзала папшеть, раскупоривала шампанское, забывала о себѣ, глядя, какъ онъ ѣсть, и откидывая при каждомъ движеніи до самыхъ плечъ широкіе рукава алжирской гандуры изъ бѣлой, мягкой шерстяной матеріи.

Въ этомъ нарядѣ она напоминала ему ихъ первую встрѣчу у Дешелета, и, усѣвшись вмѣстѣ на одномъ креслѣ, ужиная съ одной тарелки, они говорили объ этомъ вечерѣ.

— Знаешь, милый, говорила она, — меня такъ и потянуло къ тебѣ, лишь только ты появился въ залѣ... Мнѣ хотѣлось овладѣть тобою и увести тебя сейчасъ-же, чтобы ты не достался другимъ... Ну, а ты что думалъ. когда увидѣлъ меня?

Сначала онъ нѣсколько оробѣлъ при ея появленіи, а потомъ почувствовалъ къ ней полное довѣріе, какъ къ давнишнему, близкому другу. — Кстати, прибавилъ онъ, — я никогда тебя не спрашивалъ... почему это ты тогда разсердилась — за два стиха Ла-Гурнери?

Она опять нахмурила брови, какъ на балу, а потомъ, встряхнувъ головою, сказала: — Такъ. глупости... не стоитъ говорить...

И, обвинивъ его руками, она продолжала: — Вѣдь и я тоже немножко трусила, — знаешь?.. Я пыталась уйти отъ тебя, отвоевать свою свободу.. но не могла, — да и не смогу никогда...

— Будто ужъ никогда?

— Увидишь!

Онъ отвѣтилъ только скептической улыбкою, свойственною его возрасту, не обративъ вниманія на страстный, почти угрожающій тонъ; которымъ она бросила ему это «увидишь». Она такъ нѣжно, такъ покорно прижалась къ нему; онъ былъ твердо увѣренъ, что достаточно будетъ одного движенія, чтобы освободиться...

Да и къ чему освобождаться?.. Ему такъ хорошо въ ублаживающей, сладострастной атмосферѣ этой комнаты; такое сладкое забытье навѣвало это ласкающее дыханіе, скользившее по его отяжелѣвшимъ вѣкамъ, между тѣмъ какъ передъ

глазами проносились вереницы быстрыхъ видѣній,— желтѣющія рощи, луга, мельничныя колеса, съ которыхъ серебристыми водопадами струится вода,—весь этотъ день, проведенный въ деревнѣ, день любви и наслажденія...

Утромъ онъ былъ внезапно разбуженъ голосомъ Машомъ, которая, нѣсколько стѣсняясь, кричала возлѣ самой постели:— Онъ пришелъ... хочеть говорить съ вами...

— Вотъ какъ! хочеть?.. Стало-быть я ужъ не хозяйка въ своей квартирѣ?.. Ты, значить, впустила его...

Она въ бѣшенствѣ вскочила и выбѣжала изъ комнаты, полунагая, въ разстегнутой батистовой рубашкѣ, крикнувъ ему:—Лежи, милый, я сейчасъ приду...—Но онъ не сталъ ея дожидаться и почувствовалъ себя спокойнымъ лишь тогда, когда, въ свою очередь, всталъ, одѣлся и натянулъ на свои крѣпкія ноги сапоги.

Собирая свою одежду, разбросанную въ герметически закрытой спальнѣ, гдѣ ночная лампа еще освѣщала беспорядочную обстановку ихъ вчерашняго импровизованнаго ужина, онъ слышалъ шумъ ожесточеннаго спора, доносившагося изъ гостиной. Мужской голосъ, сначала гнѣвный, потомъ умоляющій, прерываемый рыданіями, малодушною слезливою мольбою, чередовался съ другимъ голосомъ, котораго онъ даже не узнавалъ въ первую минуту,—грубымъ, хриплымъ, съ такою злобою, такъ цинично выкрикивавшимъ самыя гнусныя слова, долетавшія до него, какъ отрывки кабачной ссоры между публичными женщинами.

Вся эта любовная роскошь была осквернена, забрызгана грязью, опошлена въ его глазахъ; да и сама женщина вдругъ опустилась до уровня тѣхъ, которыхъ онъ такъ презиралъ до нея.

Она вошла, запыхавшись, собирая красивымъ движеніемъ свои распутившіяся волосы.

— Какъ глупо, когда мужчина плачетъ!..

Увидѣвъ, что онъ уже не въ постели и одѣлся, она съ досадою крикнула:—Зачѣмъ ты всталъ?.. Ложись опять... сейчасъ... Я этого требую!..

Но затѣмъ, быстро смѣнивъ тонъ, она уже обнимала его и, ласкаясь, кротко молила:—Нѣтъ, нѣтъ, не уходи... ты не можешь уйти такъ... Вѣдь я знаю, что теперь ты уже не придешь ко мнѣ.

— Какой вздорь!.. Почему-же?

— Поклянись, что ты не разсердился, что придешь опять... О, я тебя знаю!..

Онъ соглашался на какія-угодно клятвы, но все-таки не раздѣлся и не легъ, несмотря на всѣ ея просьбы и многократныя увѣренія, что она здѣсь полная хозяйка и имѣеть право свободно располагать своею жизнью и поступками. Въ концѣ-концовъ она, повидимому, примирилась съ мыслью, что онъ уйдетъ, и проводила его до двери, нисколько уже не напоминая бѣшеную вакханку, а напротивъ, кроткая, покорная, видимо стараясь заслужить прощеніе.

Нѣжное, долгое прощанье задержало ихъ въ передней.

— Такъ когда-же?.. спросила она, близко, близко заглядывая ему въ глаза. Онъ собирался отвѣчать и, вѣроятно, согласъ-бы, желая поскорѣе выбраться на улицу, какъ вдругъ раздался звонокъ. Машомъ вышла изъ кухни, но Фанни остановила ее знакомъ:—Нѣтъ... не отпирай... И всѣ трое стояли неподвижно, не говоря ни слова.

Послышался подавленный стонъ, затѣмъ шуршанье письма, просунутаго подъ дверь, и наконецъ, шумъ шаговъ, медленно спускавшихся по лѣстницѣ.—«Ну вотъ, вѣдь я говорила тебѣ, что свободна... читай!» Она передала своему возлюбленному раскрытое письмо, жалкое любовное посланіе, написанное за столикомъ ближайшаго кафе. Несчастный смиренно, приниженно молилъ о прощеніи за его послѣднюю, безумную выходку, признавая, что не имѣеть на нее никакого права, кромѣ того, которое она сама согласится удѣлить ему, со слезами просилъ не изгонять его безвозвратно, обѣщая согласиться на всякое условіе, подчиниться всему, чего-бы она ни потребовала... лишь-бы только не потерять ея... О, Боже! нѣтъ, нѣтъ,—лишь-бы только не потерять ея...

— Вѣришь теперь?.. сказала она, засмѣявшись злымъ, непріятнымъ смѣхомъ; и этотъ смѣхъ окончателно оттолкнулъ отъ нея сердце, которое она хотѣла завоевать. Жанъ находилъ ее жестокой. Онъ еще не зналъ, что у женщины, которая любить, всѣ живыя силы милосердія, доброты, состраданія самопожертвованія поглощены въ пользу одного, единственнаго въ мірѣ существа.

— Напрасно ты смѣешься... Это письмо производитъ ужасное впечатлѣніе своимъ мрачнымъ, отчаяннымъ красно-

рѣчимъ—И, схвативъ ея руки, онъ тихо прибавилъ серьезно — «Послѣдай, отчего ты гонишь его?..»

— Не хочу его больше видѣть... Я не люблю его.

— Но вѣдь онъ былъ твоимъ любовникомъ, онъ окружилъ тебя этою роскошью, среди которой ты живешь, и всегда жила, безъ которой ты не можешь обойтись.

— Милый мой, сказала она своимъ обычнымъ тономъ, — пока я тебя не знала, все это мнѣ нравилось... А теперь я безъ стыда и отвращенія вспомнить не могу о прошломъ; оно тяготитъ и мучитъ меня... О, я знаю, ты скажешь мнѣ, что связь моя съ тобою не серьезна, что ты меня не любишь.. Но это ужъ мое дѣло... Хочешь или не хочешь, а ужъ я тебя заставлю полюбить меня.

Онъ ничего не отвѣтилъ, обѣщалъ прійти на слѣдующій день и ушелъ, оставивъ служанкѣ нѣсколько десятифранковыхъ монетъ, все, что оказалось въ его студенческомъ кошелькѣ, въ видѣ платы за паштетъ. Для него все было кончено теперь. По какому праву онъ станетъ тревожить жизнь этой женщины, и что можетъ онъ предложить ей взаменъ того, чѣмъ-бы ей пришлось пожертвовать?

Онъ написалъ ей это въ тотъ-же день со всею мягкостью, со всею искренностью, на которыя былъ способенъ, и не признался только въ одномъ, — что отъ короткой связи ихъ, отъ этой мимолетной прихоти, вдругъ пахнуло на него чѣмъ-то грубымъ, болѣзненнымъ, когда онъ послѣ проведенной у нея ночи услышалъ рыданія обманутаго любовника, чередовавшіяся съ ея смѣхомъ, съ ея площадною бранью.

Въ этомъ высококомъ, здоровомъ юношѣ, выросшемъ вдали отъ Парижа, среди провансальской равнины, соединялась частица суровой, энергической природы, унаслѣдованной отъ отца, съ впечатлительнымъ, нервнымъ темпераментомъ матери, на которую онъ былъ похожъ, какъ портретъ. И вдобавокъ, отъ опасныхъ увлеченій предостерегалъ его еще примѣръ одного дяди, который своею безпорядочною, безразсудною жизнью едва не довелъ до полного раззоренія ихъ семью и подвергнулъ опасности даже честь ихъ дома.

Дядя Сезерь! Этихъ двухъ словъ и воспоминанія о сопряженной съ ними семейной драмѣ было достаточно, чтобы заставить Жану пожертвовать отношеніями, несравненно болѣе серьезными, чѣмъ эта пустая любовная связь, которой онъ

никогда не придавалъ серьезнаго значенія. А между тѣмъ, порвать ее оказалось гораздо труднѣе, чѣмъ онъ воображалъ.

Получивъ формальное заявленіе о разрывѣ, она продолжала приходить, ни мало не смущаясь его постоянными отказами принять ее, вѣчно запертою для нея дверью и строгими инструкціями, внушенными по этому поводу консьержкѣ. «У меня нѣтъ самолюбія...» писала она ему. Въ часы завтрака и обѣда она поджидала его у дверей ресторана, передъ кафе, въ которомъ онъ читалъ газеты. Ни слезъ, ни сценъ. Если съ нимъ былъ кто-нибудь, она довольствовалась тѣмъ, что шла за нимъ слѣдомъ и подстерегала минуту, когда онъ оставался одинъ.

— Хочешь, чтобы я пришла сегодня вечеромъ?.. Нѣтъ?.. Ну, хорошо, подожду до другого раза.—И она уходила съ смиренною покорностью коробейника, затагивающаго ремнемъ свой коробъ послѣ тщетнаго предложенія, а онъ упрекалъ себя за свою жестокость, за унижительную ложь, которую каждый разъ приходилось бормотать ради оправданія: «Теперь недалеко ужъ до экзамена... совсѣмъ нѣтъ времени... Потомъ, когда-нибудь, впоследствии, если къ тому времени у нея не пройдетъ еще охота...» На самомъ-же дѣлѣ онъ рассчитывалъ тотчасъ послѣ экзамена на мѣсяць отправиться къ себѣ домой, надѣясь, что въ теченіе этого срока она позабудетъ о немъ.

Къ несчастью, сдавъ экзаменъ, Жанъ заболѣлъ. Жаба, которую онъ схватилъ въ корридорахъ министерства и потомъ запустилъ, приняла серьезный характеръ. Въ Парижѣ у него не было никакихъ знакомыхъ, кромѣ нѣсколькихъ студентовъ изъ одной съ нимъ провинціи; да и тѣ въ послѣднее время отдалились отъ него и перестали ходить, благодаря любовной связи, поглощавшей все его свободное время. Теперь, впрочемъ, ему нуженъ былъ человѣкъ, способный на болѣе серьезную преданность, и Фанни Легранъ съ перваго же вечера водворилась возлѣ его постели, не покидала его въ теченіе десяти дней, неутомимо ухаживая за нимъ безъ боязни и отвращенія, ловкая, какъ сестра милосердія, полная нѣжной заботливости, которая въ часы лихорадочнаго бреда уносила его въ эпоху тяжелой болѣзни, перенесенной въ дѣтствѣ, заставляла его звать свою тетю Дивонну, говорить

«благодарю тебя, Дивонна», когда онъ чувствовалъ руки Фанни на своемъ влажномъ отъ пота лбу.

— Это не Дивонна... Это я, дружочекъ...

Она избавляла его отъ небрежнаго ухода наемныхъ сидѣлокъ, отъ смрада неловко потушенныхъ лампъ, отъ лѣкарствъ и полосканій, кое-какъ сфабрикованныхъ въ комнатѣ консьержки, и Жанъ не переставалъ изумляться, видя на какую неутомимую ловкую, умѣлую работу способны эти руки, выхоленныя въ праздной, сладострастной жизни. Ночью она часа два спала на диванѣ, стоявшемъ въ его скромной студенческой квартирѣ, жесткомъ, какъ досчатая нары полицейской казармы.

— Бѣдная моя Фанни, какъ-же это ты ни разу не сходила къ себѣ домой? спросилъ онъ ее однажды.—Мнѣ теперь лучше... Тебѣ-бы слѣдовало пойти успокоить Машомъ.

Она засмѣялась. Машомъ давно уже отправлена на всѣ четыре стороны, да и все хозяйство вмѣстѣ съ нею. Все продано,—мебель, одежда, даже постель. Осталось только надѣтое на ней платье да, немного тонкаго бѣлья, спасеннаго во время разгрома его служанкою... Если онъ теперь прогнать ее, она очутится на мостовой.

III.

— На этотъ разъ я, кажется, нашла, наконецъ, въ амстердамской улицѣ, противъ вокзала желѣзной дороги... двѣ комнаты съ кухней и большимъ балкономъ... Если хочешь, пойдемъ, посмотримъ вмѣстѣ, когда ты вернешься изъ министерства... Высоконько только,—въ шестомъ этажѣ... Ну, да ты меня внесешь. Мнѣ было такъ хорошо тогда, помнишь?—Восхищенная этимъ воспоминаніемъ, она ласкалась къ нему, прикинувъ голову къ его шеѣ, отыскивая на ней старое, любимое мѣстечко.

Въ мебелированной комнатѣ гостинницы, среди нравовъ латинскаго квартала, въ обществѣ гризетокъ, шныряющихъ по лѣстницѣ въ утреннихъ сѣткахъ и шлепающихъ туфляхъ, среди картонныхъ перегородокъ, за которыми копошились другія семьи, при этомъ постоянномъ смѣшеніи ключей, подсвѣчниковъ, ботинокъ, жизнь ихъ становилась рѣшительно нестерпимою. Не для нея, конечно; вмѣстѣ съ Жаномъ она

всюду готова была свить свое глѣздышко, — на крышѣ, въ погребѣ, даже въ сточной трубѣ. Но его оскорбляли и стѣсняли теперь соприкосновенія съ нѣкоторыми элементами, на которые онъ, бывало, во время холостой жизни, не обращалъ никакого вниманія. Онъ чувствовалъ себя неловко по соседству съ этими супружествами, заключающимися на одну ночь, бросавшими тѣнь на его собственную семейную жизнь и вызывавшими въ немъ чувство тоски и отвращенія, какъ видѣ кѣтки съ обезьянами въ Jardin des Plantes, которые въ своихъ гримасахъ и ужимкахъ стараются подражать всѣмъ выраженіямъ человѣческой любви. Надоѣдала ему и ресторанная жизнь, завтраки и обѣды, ради которыхъ два раза въ день приходилось отправляться на бульваръ Saint-Michel; въ большую залу, переполненную студентами университета академіи изящныхъ искусствъ, живописцами, архитекторами, хотя и не знакомыми ему, но уже привычными видѣть его фізіономію изо-дня-въ-день, въ теченіе цѣлаго года.

Онъ краснѣлъ, растворяя дверь и замѣчая, какъ всѣ взгляды устремлялись на Фанни, — входилъ съ задорнымъ, вызывающимъ смущеніемъ, которое свойственно очень молодымъ людямъ, сопровождающимъ женщину; вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ боялся встрѣтить здѣсь кого-нибудь изъ своихъ начальниковъ по министерству или наткнуться на какого-нибудь земляка. Наконецъ, немаловажную роль играли и экономическія соображенія.

— Какъ это дорого!.. — говорила она каждый разъ, унося съ собою и пересчитывая маленькій счетъ обѣда. — Если-бы мы жили своимъ домою, я-бы за эти деньги поддерживала все хозяйство въ теченіе трехъ дней.

— А кто-же намъ мѣшаетъ обзавестись своимъ хозяйствомъ?.. Такимъ образомъ они стали искать квартиру.

Это и есть самая опасная западня. Всѣ въ нее попадаютъ, — самые лучшіе, самые честные, благодаря инстинктивной потребности въ чистотѣ и порядкѣ, благодаря пристрастію къ семейной обстановкѣ, привитой домашнимъ воспитаніемъ у теплаго роднаго очага.

Квартира въ Амстердамской улицѣ была тотчасъ-же нанята и очень понравилась, хотя расположеніе комнатъ было и не особенно удобное: — кухня и столовая выходили на сырой задній дворъ, въ которомъ отъ помѣщавшейся внизу англійской

таверны вѣчно стоялъ запахъ помоевъ и хлора, а спальня— на спускавшуюся подъ гору шумную улицу, гдѣ день и ночь грохотали фургоны, ломовыя дроги, извозничьи кареты, слышались свистки приходящихъ и отходящихъ поѣздовъ, весь неумолкаемый гамъ западнаго вокзала, который какъ разъ напротивъ широко раскинулъ свои стеклянныя крыши цвѣта грязной воды. Главное преимущество квартиры заключалась въ томъ, что почти передъ самою дверью ея отходили поѣзда въ Сень-Клу, Виль-д'Аврэ, Сень-Жерменъ,—всѣ земныя станціи берега Сены были, благодаря этому, такъ-же близки, какъ еслибы они находились передъ ихъ террасою... Да у нихъ была даже терраса, широкая и удобная, снабженная, благодаря щедрости прежнихъ жильцовъ, цинковымъ навѣсомъ, выкрашеннымъ подъ цвѣтъ полосатаго тика, мокрая и печальная въ періоды зимнихъ дождей, но лѣтомъ обѣщавшая превратиться въ пріятное мѣсто для отдыха, гдѣ можно будетъ обѣдать на свѣжемъ воздухѣ, какъ въ горной дачѣ.

Затѣмъ пришлось позаботиться о мебели. Жанъ написалъ домой о своемъ намѣреніи устроиться на собственной квартирѣ, и тетка его, Дивонна, завѣдывавшая всѣмъ хозяйствомъ дома, выслала необходимыя деньги; въ то-же время письмо ея возвѣщало о скоромъ прибытіи шкафа, коммода и большого кресла съ плетенымъ соломеннымъ сидѣніемъ, извлеченныхъ изъ «вѣтрянной комнаты» для парижанина.

Эта комната, которую онъ такъ живо представлялъ себѣ, въ концѣ корридора въ Кастле, вѣчно пустая, съ наглухо затворенными ставнями, съ дверью, запертою на задвижку, была покинута, потому что смотрѣла какъ разъ въ ту сторону, откуда дулъ мистраль, подъ порывами котораго она трещала, какъ фонарь маяка. Сюда сваливали всякую старую рухлядь: все то, что каждое поколѣніе обитателей дома завѣщало прошлому въ виду новыхъ пріобрѣтеній.

О, еслибы Дивонна знала, какъ и съ кѣмъ онъ будетъ отдыхать на этомъ креслѣ, сколько шелковыхъ юбокъ, сколько панталонъ съ красивыми обшивками будетъ уложено въ ящики коммода стilia имперіи!.. Но угрызение совѣсти, которыя испытывалъ по этому поводу Госсенъ, скоро были заглушены множествомъ мелкихъ радостей, связанныхъ съ первымъ обзаведеніемъ.

Какъ весело было въ сумерки, послѣ службы, выходить съ

нею подь руку и отпрапляться въ какую-нибудь отдаленную улицу предмѣстья выбирать мебель для столовой, — буфетъ, столъ и полдюжины стульевъ, — или узорчатая кретоновыя занавѣски для окна и постели. Онъ готовъ былъ покупать все, съ перваго-же слова, съ закрытыми глазами, но зато Фанни смотрѣла за двоихъ, пробовала садиться на стулья, опускала и поднимала доски складного стола, умѣла поторговаться; вообще, дѣйствовала, какъ опытная хозяйка.

Она знала магазинъ, въ которомъ по фабричной цѣнѣ можно было приобрести полный кухонный арсеналь для небольшого хозяйства: четыре желѣзные кострюли, и одну эмалированную для утренняго шоколада, — несравненно лучше мѣдныхъ... ужасная возня ихъ чистить... Затѣмъ полдюжины ножей, вилокъ и ложекъ, — разумѣется, не серебрянныхъ, — большая суповая ложка и двѣ дюжины тарелокъ изъ англійскаго фаянса, прочнаго и веселенькаго, — все это было пересчитано, отобрано, уложено, какъ кукольная посуда. Простыни, салфетки, скатерти, полотенца, были куплены у знакомаго ей торговца, представителя большой фабрики въ Рубѣ, у котораго можно было уплачивать ежемѣсячно опредѣленную, условленную сумму, и вѣчно она высматривала что-нибудь въ витринахъ магазиновъ, бѣгала по распродажамъ, въ погонѣ за обломками кораблекрушеній, кторые парижское море непрерывно выбрасываетъ на берегъ, вмѣстѣ съ пѣною своихъ волнъ. Приобрѣтала на бульварѣ Клиши, по случаю, превосходную почти новую кровать, до такой степени широкую, что въ ней свободно умѣстились бы всѣ семь дочерей Людофда.

И онъ тоже, возвращаясь изъ министерства, отваживался на покупки, но ни въ чемъ не зналъ толку, не умѣлъ отказаться, когда нужно, не рѣшался уходить съ пустыми руками. Зайдя въ лавку антикварія, чтобы купить намѣченной ею старинный салатный приборъ онъ, вмѣсто этого необходимаго въ хозяйствѣ предмета, который оказывался уже проданнымъ, приносилъ домой люстру изъ горнаго хрустала для гостинной совершенно бесполезную, такъ какъ у нихъ и гостинной-то не было.

— Мы повѣсимъ ее на террасѣ, говорила Фанни, чтобы утѣшить его.

А какое наслажденіе вымѣривать каждый столъ, каждый коммодъ, соображать — помѣстится ли, обсуждать важный во-

прось, куда его поставить; а сколько крика, звонкаго смѣха и отчаянныхъ траги-комическихъ жестовъ, когда оказывается, что, не смотря на всѣ расчеты и соображенія, не смотря на подробный списокъ всѣхъ необходимымъ покупокъ, непременно о чемъ-нибудь да забыли.

Вотъ, напримѣръ, терки для сахара не купили. Ну развѣ возможно начать хозяйничать безъ терки для сахара?..

Наконецъ все было куплено, размѣщено, занавѣски развѣшаны, въ новую лампу вставленъ фитиль, и какъ чудно они провели этотъ первый вечеръ, подробно обревизовавъ всѣ три комнаты прежде чѣмъ лечь спать, и какъ она смѣялась, когда свѣтила ему, въ то время, какъ онъ запиралъ дверь: — «Поверни еще разъ... еще... запири хорошенько, чтобы никто не проникъ въ наше гнѣздышко...»

Съ этого времени началась новая, полная прелести жизнь. Окончивъ работу, онъ торопится домой, съ нетерпѣніемъ ожидая той минуты, когда усядется наконецъ въ туфляхъ передъ пылающимъ каминомъ. Среди мрака и слякоти улицъ онъ представлялъ себѣ ихъ теплую, свѣтлую комнату, украшенную старинною провинціальною мебелью, которая, вопреки ожиданію Фанни оказалась прехорошенькою и далеко не представляла собою негодной рухляди. Особенно хорошъ былъ шкафъ, въ стилѣ Людовика XVI, съ раскрашенными дверцами, на которыхъ были изображены провансальскіе праздники, пастушки въ цвѣтныхъ кафтанахъ, пляски подъ звуки габудета и тамбурина. Эти старомодные предметы, къ которымъ онъ привыкъ съ самаго дѣтства, напоминая ему объ отцовскомъ домѣ, освящали его собственное новое уютное жилище.

Когда раздавался его звонокъ, Фанни выбѣгала отпирать дверь, всегда чисто, изящно одѣтая, кокетливая, «точно солдать передъ смотромъ», какъ она выражалась, въ черномъ шерстяномъ платьѣ, почти безъ всякой отдѣлки, но сшитомъ по выкройкѣ изъ лучшаго магазина, одѣтая чрезвычайно просто, но со вкусомъ, свойственнымъ женщинѣ, располагавшей когда-то болѣе обширнымъ гардеробомъ, — въ большомъ бѣломъ фартукѣ и съ засученными рукавами, такъ какъ она теперь сама занималась страпнею и, вмѣсто прислуги, нанимала только женщину для черной, тяжелой работы, отъ которой грубѣютъ и портятся руки.

И въ кухонномъ дѣлѣ она оказывалась мастерицей, знала

множество рецептов, умѣла готовить и сѣверныя и южныя блюда, разнообразныя, какъ репертуаръ народныхъ пѣсень, которыя она распѣвала своимъ нѣсколько хриплымъ, страстнымъ контральто, послѣ обѣда, снявъ съ себя бѣлый фартукъ и затворивъ дверь кухни.

Внизу улица гремѣла и волновалась, какъ потокъ, холодный дождь звонко барабанилъ по цинковой крышѣ террасы, и Госсенъ, сидя въ своемъ креслѣ, протянувъ ноги къ огню, смотрѣлъ на стеклянный фасадъ вокзала, гдѣ какіе-то несчастные труженники, согнувшись, писали при бѣломъ свѣтѣ большихъ рефлекторовъ.

Ему было такъ хорошо здѣсь, онъ такъ наслаждался. Влюбленный?.. Нѣтъ, но признательный за любовь, за неизмѣнно ровную нѣжность, которою она умѣла окружать его. Какъ онъ могъ такъ долго лишать себя такого счастья изъ боязни погрязнуть въ этой связи, повредить своей будущей карьерѣ? Какъ смѣшны казались ему теперь эти опасенія! Развѣ теперь его жизнь не чище, чѣмъ прежде, когда онъ, бывало, таскался по разнымъ вертепамъ, рискуя своимъ здоровьемъ?

И за будущее нечего было опасаться. Черезъ три года, когда ему нужно будетъ уѣзжать, разрывъ совершится самъ собою, безъ потрясеній. Фанни была предупреждена, они вмѣстѣ говорили объ этой разлукѣ, какъ о смерти, какъ о роковомъ исходѣ, далекомъ, но неизбѣжномъ. Теперь его тревожила только мысль о великомъ горѣ родныхъ, если бы они узнали, что онъ живетъ не одинъ, о гнѣвѣ отца, отличавшагося такою строгою, безупречною жизнью.

Но какъ-же до нихъ дойдетъ эта вѣсть? Жанъ ни съ кѣмъ изъ земляковъ не видался въ Парижѣ. Его отецъ, «консулъ», какъ его называли въ тѣхъ мѣстахъ, круглый годъ былъ занятъ хозяйственными заботами по управленію довольно обширнаго имѣнія, изъ котораго онъ старался извлечь наибольшій доходъ, и безконечною вознею съ виноградниками; мать, больная и хилая, не могла сдѣлать ни одного шага, ни одного движенія безъ посторонней помощи, и совершенно предоставила Дивоннѣ управленіе домою и воспитаніе двухъ дѣвочекъ, близнецовъ, Марты и Маріи, которыя своимъ преждевременнымъ появленіемъ навсегда отняли у матери всякую активную силу. Что-же касается дяди Сезэра, мужа Дивонны, то это

былъ взрослый ребенокъ, котораго не отпустить одного въ такой далекий путь.

Фанни знала теперь всю семью. Когда онъ получалъ письмо изъ Кастле, въ концѣ котораго обыкновенно и сестры прибавляли нѣсколько строкъ, написанныхъ крупнымъ дѣтскимъ почеркомъ, она тоже читала его, перегнувшись черезъ его плечо, умилялась вѣстѣмъ съ нимъ. О ея прошлой жизни онъ попрежнему ничего не зналъ, да и не спрашивалъ, обладая тѣмъ бессознательнымъ эгоизмомъ молодости, которому чужды всякая ревность, всякая тревожная работа. Поглощенный своею собственною жизнью, онъ не сдерживалъ, не скрывалъ ея, думалъ вслухъ, пускался въ откровенности, въ то время, какъ она ни однимъ словомъ не поминала о себѣ.

Такъ проходили недѣли, мѣсяцы, среди счастливаго, безмятежнаго спокойствія, только разъ грозившаго нарушиться, благодаря одному обстоятельству, которое взволновало ихъ обоихъ, хотя далеко не въ одинаковомъ смыслѣ. Она вообразила себя беременной и объявила ему объ этомъ открытїи съ такою радостью, что ему поневолѣ даже пришлось притвориться обрадованнымъ. На самомъ дѣлѣ онъ испугался. Ребенокъ,—въ его годы!.. Куда онъ съ нимъ дѣнется? Вѣдь его придется признать своимъ... Какими крѣпкими узами онъ привяжетъ его къ этой женщинѣ; сколько осложнений въ будущемъ!..

И вдругъ онъ почувствовалъ сковавшую его цѣпь, тяжелую, холодную, неразрывную. Ночью они оба долго не могли заснуть и по цѣлымъ часамъ, лежа рядомъ, въ своей широкой постели, грезили съ открытыми глазами, мысленно уносясь далеко, далеко другъ отъ друга.

Къ счастью, эта ложная тревога не возобновлялась, и мало, по-малу жизнь ихъ вошла въ прежнюю мирную колею, среди интимнаго одиночества у домашняго очага. Потомъ, когда кончилась зима, и вернулось, наконецъ, настоящее, теплое солнышко, ихъ хижина сдѣлалась еще привлекательнѣе, такъ какъ къ комнатамъ присоединилась терраса съ ея навѣсомъ. Вечеромъ они обѣдали тутъ подъ открытымъ небомъ, на зеленоватомъ фонѣ котораго со свистомъ носились ласточки.

Съ улицы горячею волною поднималась духота городского лѣта, слышался весь гамъ сосѣднихъ домовъ, но здѣсь, наверху, они чувствовали малѣйшее свѣжее дуновение и по цѣ-

лымъ часамъ сидѣли, — она у него на колѣняхъ, — погруженныя въ свои мечты, ничего не видя и не слыша. Жанъ вспоминалъ такіе-же вечера на берегу Роны, мечтавъ о далекихъ жаркихъ странахъ, гдѣ ему придется быть консуломъ, о палубахъ кораблей, готовыхъ тронуться въ путь подъ такимъ-же свѣжимъ, вѣтеркомъ, который колебалъ теперь занавѣсъ ихъ террасы; и когда чьи-то невидимыя губы, прильнувъ къ его губамъ, шептали: — «Любишь»?... онъ каждый разъ долженъ былъ вернуться изъ очень далекаго путешествія, чтобы отвѣтить: — «Да, да, люблю»!.. Вотъ что значитъ выбирать такихъ молодыхъ; у нихъ голова еще слишкомъ полна всякой всячиной.

На томъ-же балконѣ, перегороженномъ чугуною рѣшеткой, обвитою цвѣтущими вьющимися растеніями, ворковала другая парочка, дородные супруги Геттема, подѣлуи которыхъ раздавались звонко, какъ пощечины. Они оба какъ нельзя лучше подходили другъ къ другу по возрасту, по вкусамъ, по комплекціи, и представляли по истинѣ умиленную картину, когда, облокотивъ чьсь на перила, тихо принимались распѣвать дуэтомъ старинные сантиментальные романсы...

Я слышу его, онъ зоветъ подѣ окно;

Но нѣтъ, это грезы, рожденные сномъ...

Они нравились Фанни, и она-бы не прочь была съ ними познакомиться. Иногда, перегнувшись черезъ выкрашенныя въ черный цвѣтъ перила, онѣ даже обмѣнивались съ сосѣдкой блаженными улыбками счастливыхъ, влюбленныхъ женщинъ; но мужчины, какъ всегда, выказывали болѣе сдержанности, и до разговора дѣло не доходило.

Однажды подѣ вечеръ Жанъ, возвращаясь со службы, услышалъ, что кто-то зоветъ его на углу улицы Руайаль. День стоялъ чудный, жаркій, и весь Парижъ томился на этомъ поворотѣ бульвара, которому нѣтъ ничего подобнаго въ мірѣ, при золотомъ свѣтѣ заходящаго лѣтнаго солнца, въ тотъ часъ, когда гуляющій Парижъ направляется въ Булонскій дѣсъ.

— Сядьте-ка сюда, мой красавецъ, да выпейте чего-нибудь... У меня душа радуется, когда я гляжу на васъ.

Двѣ большія руки остановили его и усадили подѣ навѣсомъ кафе, захватившаго почти всю ширину тротуара своими столбиками, разставленными въ три ряда. Онъ не протестовалъ, польщенный такимъ вниманіемъ, и не безъ удовольствія

слыша, какъ сидѣвшая кругомъ публика, состоявшая изъ провинціаловъ и иностранцевъ въ полосатыхъ жакетахъ и круглыхъ шляпахъ, съ любопытствомъ шептала имя Каудаль.

Скульпторъ сидѣлъ и потагивалъ абсентъ, напитокъ вполне подходившій къ его военной осанкѣ и офицерской ленточкѣ, а вовлѣ него расположился Дешелеть, только что пріѣхавшій, ничуть не измѣнившійся, все такой-же загорѣлый, желтый, съ выдающимися скулами, узенькими глазами и широкимъ, чувственнымъ носомъ, который морщился, вдыхая знакомый ароматъ парижскаго воздуха. Лишь только молодой человекъ усѣлся, Каудаль воскликнулъ, указывая на него съ комическимъ негодованіемъ:

— Посмотрите, что за чудное созданіе этотъ молодчикъ!.. Какъ подумаешь, что и я когда-то былъ не старше его, и что такъ-же вились у меня волосы... О, молодость, молодость!..

— Все та-же пѣсня! замѣтилъ Дешелеть, выслушавъ съ улыбкою обычное сѣтованье своего пріятеля.

— Не смѣйтесь, мой милый!.. Все, что у меня есть, всю мою славу, мои медали, кресты, академію,—все я-бы отдалъ за эти волосы, за это цвѣтущее, молодое лицо... Затѣмъ, снова обращаясь къ Госсену, онъ спросилъ, быстро переходя къ другой темѣ:

— Ну, а что Сафо?.. Какъ вы съ нею ладите?.. Отчего ея нигдѣ не видно?

Жанъ, не понимая, смотрѣлъ на него съ удивленіемъ.

— Развѣ вы ужъ разошлись съ нею? продолжалъ Каудаль, а потомъ, видя, что онъ все-таки не понимаетъ, прибавилъ нетерпѣливымъ тономъ:—«Сафо... Фанни Легранъ... въ Виль—д'Аврѣ, помните?

— О, между нами все кончено, давно ужъ!..

Изъ-за чего онъ лгалъ? Быть можетъ, его побудило къ этому чувство стыда и досады, когда онъ услышалъ, что его любовницу называютъ именемъ Сафо, или нежеланіе говорить о ней съ посторонними мужчинами; быть можетъ, имъ руководило также желаніе узнать такіа вещи, о которыхъ, въ противномъ случаѣ, съ нимъ не стали-бы говорить.

— Ахъ да, Сафо... Развѣ она все еще продолжаетъ подвизаться? разсѣянно спросилъ Дешелеть, весь поглощенный восторгомъ, который онъ испытывалъ каждый разъ, когда снова видѣлъ свой дорогой Парижъ, лѣстницу церкви *Madelaine*,

цвѣточный рынокъ, длинную анфиладу бульваровъ между двойнымъ рядомъ зеленыхъ деревьевъ.

— Развѣ вы не помните... у васъ, на вечерѣ, въ прошломъ году?.. Она была прелестна въ костюмѣ феллахины... А въ то утро, прошлую осенью, когда я засталъ ее за завтракомъ съ этимъ красивымъ молодымъ человѣкомъ, у Ланглюа, она сіяла молодостью, свѣжая, молодая и счастливая, какъ новобрачная черезъ двѣ недѣли послѣ свадьбы.

— Сколько ей лѣтъ однако?.. Давно вѣдь ужъ ее знаютъ...

Каудаль откинулъ назадъ голову, соображая:— Сколько лѣтъ?.. сколько лѣтъ... Пойдите, — семнадцать лѣтъ въ пятьдесятъ третьемъ году, когда она служила мнѣ моделью моей статуи... а теперь—семьдесятъ третій. Вотъ и соображайте.

Вдругъ глаза его загорѣлись:—Ахъ! еслибъ вы ее видѣли двадцать лѣтъ тому назадъ... высокая, стройная, губы правильныя, изящныя, красивый, безукоризненный лобъ... Руки и плечи еще нѣсколько худощавыя, но это шло къ огненному темпераменту Сафо... А какъ женщина, какъ любовница... сколько сладострастной нѣги было въ этомъ тѣлѣ, созданномъ для наслажденія, сколько огня таилось въ этомъ кремнѣ, какой гармоніи нельзя было извлечь изъ этой клавиатуры, въ которой звучала подъ прикосновеніемъ каждая нотка!.. Всѣ струны лиры!.. какъ говорилъ Ла-Гурнери.

— А развѣ онъ тоже былъ ея любовникомъ? спросилъ Жанъ, замѣтно поблѣднѣвшій.

— Ла-Гурнери?.. Еще бы, изъ за него я не мало намучился... Четыре года ужъ мы жили вмѣстѣ, какъ мужъ и жена, четыре года я ее холилъ, баловалъ, изъ кожи лѣзъ, чтобы исполнить малѣйшій ея капризъ... Учителя рѣвнѣя, музыки, верховой ѣзды,—чего, чего только у нея не было!... А когда я отполировалъ, отшлифовалъ драгоценный камень, валявшійся въ канавѣ, изъ которой я извлекъ ее однажды ночью, послѣ бала въ залѣ Рогаша, этотъ самодовольный фатъ, этотъ рифмоплетъ, пришелъ и сманилъ ее у меня, на моей собственной квартирѣ, за столомъ пріятеля, у котораго онъ обѣдалъ каждое воскресенье!

Онъ глубоко перевелъ дыханіе, какъ будто желая отогнать отъ себя эту давнишнюю злобу, которая и теперь еще дрожала въ его голосѣ, и ватѣмъ продолжалъ уже болѣе спокойно:

— Впрочемъ, это предательство не пошло ему въ прокъ... Трехлѣтняя супружеская жизнь ихъ была настоящимъ адомъ. Нѣжный, краснорѣчивый поэтъ оказался сухимъ, злымъ ма-ниакомъ. Они только и дѣлали, что дрались... Когда къ нимъ приходили гости, она появлялась съ завязаннымъ глазомъ, а онъ съ испаранной физиономіей... Но главная потѣха нача-лась тогда, когда онъ рѣшился ее бросить. Она цѣплялась за него, какъ клещъ, всюду слѣдовала за нимъ, ломилась къ не-му въ двери, или ложилась на коврѣ, передъ дверью, и та-кимъ образомъ дожидалась его возвращенія... Однажды ночью, среди зимы, она цѣлыхъ пять часовъ простояла подъ окнами публичнаго дома, куда онъ отправился со всей своей компа-ніей... Жалко было смотрѣть на нее... Но элегическій поэтъ оставался неумолимымъ вплоть до того дня, когда онъ, нако-нецъ, прибѣгнувъ даже къ помощи полиціи, чтобы окончатель-но отдѣлаться отъ нея... Да, хорошъ гусь, нечего сказать... А въ концѣ концовъ, чтобы отблагодарить эту дѣвушку, кото-рая отдалась ему душою и тѣломъ, подарила ему лучшіе го-ды своей молодости, онъ вылилъ на ея голову цѣлый томъ стиховъ, исполненныхъ ненависти и грязи, проклятій и слез-ныхъ завываній,—словомъ—«Книгу любви», самое знаменитое изъ его произведеній...

Весь подавшись впередъ, Госсенъ неподвижно сидѣлъ и слушалъ, потагивая маленькими глотками, сквозь длинную со-ломинку, холодный, замороженный напитокъ изъ стоявшаго пе-редъ нимъ стакана. Ему навѣрное налили туда какого-нибудь яда, который леденилъ ему сердце и всю внутренность.

Онъ дрожалъ отъ холода, не смотря на жаркую погоду, гдѣ-то далеко, въ блѣдномъ туманѣ, сновали взадъ и впередъ какія-то тѣни, бочка для поливанья улицы стояла передъ Ma-deleine, экипажи беззвучно катились по мягкой землѣ, точно усталой слоемъ ваты. Все смолкло вдругъ въ Парижѣ, слыш-но было только то, что говорилось за этимъ столомъ.

Заговорилъ Дешелегъ; теперь уже онъ наливалъ отраву.

— Какая ужасная вещь эти разрывы...—Его спокойный, насмѣшливый голосъ принялъ оттѣнокъ грусти и глубокаго со-страданія...—Люди жили вмѣстѣ въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, спали другъ подлѣ друга, дѣлили свои сновидѣнія, все другъ другу повѣряли, одинъ у другого перенялъ привычки, мане-ры, выраженія, даже въ наружности появилось какое-то сход-

нибудь трущобою, или на коврѣ, передъ дверью поэта... А потомъ красавецъ граверъ, фальшивые билеты, судъ... и маство,—словомъ, два существа слились вполне, и душой и тѣломъ; словомъ,—прильпились другъ къ другу, какъ говорится... И вдругъ они разстаются, разрываютъ эту связь... Какъ у нихъ хватаетъ на это духу,—не понимаю... Я бы не могъ никогда... Да, обманутый, оскорбленный, забрызганный грязью, осмѣянный, я-бы все-таки не ушелъ, если-бы женщина плакала и сказала: «Останься...» Вотъ почему я никогда не беру ихъ иначе, какъ на одну ночь.. Нѣтъ завтрашняго дня! какъ говорила старая Франція... или, въ противномъ случаѣ, ужъ лучше жениться; это и рѣшительнѣе, и чистоплотнѣе.

— Нѣтъ завтрашняго дня... нѣтъ завтрашняго дня... Легко сказать. Есть женщины, которыхъ нельзя брать на одну ночь; къ ихъ числу принадлежитъ и она.

— Однако, я и ей не подарилъ ни одной лишней минуты, сказалъ Дешелеть съ тою-же добродушною улыбкою, которая показала бѣдному любовнику отвратительной.

— Это только доказываетъ, что вы были не въ ея вкусѣ... Когда эта женщина полюбитъ, отъ нея не легко отдѣлаться... У нея положительно страсть къ семейной жизни... Впрочемъ, не везло ей въ этомъ отношеніи. Едва успѣла сойтись съ романистомъ Дежуа,—онъ умираетъ; перешла къ Эзано,—онъ женился... Его мѣсто занялъ красавецъ Фламанъ, граверъ, служившій когда-то моделью... она всегда была помѣшана на талантѣ и красотѣ... вѣдь вы знаете ея ужасное приключеніе.

— Какое приключеніе? спросилъ Госсенъ сдавленнымъ голосомъ. Онъ снова принялся за свою соломинку, слушая рассказъ о любовной драмѣ, которая произвела такое впечатлѣніе въ Парижѣ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ.

Граверъ былъ бѣденъ, безумно любилъ эту женщину, и изъ боязни, какъ бы его не бросила, желая окружить ее привычною роскошью, началъ поддѣлывать банковые билеты. Преступленіе почти тотчасъ было обнаружено. Его арестовали вмѣстѣ съ его любовницей. Онъ отправился на десять лѣтъ въ тюрьму, а она отдѣлалась шестью мѣсяцами предварительнаго заключенія въ Saint-Lazare, такъ какъ на судѣ вполне была доказана ея невинность.

Каудаль напомнилъ Дешелету, слѣдившему за этимъ про-

любленному до конца... ея отвѣтъ старому хрычу, предсѣдателя, и поцѣлуй, который она послала Фламану изъ-за спичъ жандармовъ, крикнувъ ему голосомъ, полнымъ самой искренней, трогательной нѣжности:—«Не тужи, дружокъ... придутъ красные дни, мы опять будемъ любить другъ друга!...» Какъ-бы то ни было, но эта послѣдняя передрага нѣсколько отвалила ее, бѣдняжку, отъ семейной жизни.

— Съ тѣхъ поръ, вращаясь исключительно въ великосвѣтскомъ кругу, она брала любовниковъ на мѣсяць, на недѣлю, и никогда уже не сходилась съ артистами... Артистовъ она боялась, какъ огня... Сколько мнѣ извѣстно, я былъ единственнымъ человѣкомъ изъ этого круга, съ которымъ она еще поддерживала знакомство... Отъ времени до времени она заходила въ мою мастерскую выкурить папирску. Потомъ прошло нѣсколько мѣсяцевъ, и я ничего про нее не слышалъ вплоть до того дня, когда встрѣтилъ ее въ Виль-д'Аврэ, гдѣ она завтракала вотъ съ этимъ красивымъ юношей и ѣла съ его губъ виноградъ.—Опять попалась моя Сафо, сказалъ я себѣ...

Жанъ не въ силахъ былъ слушать дальше. Ему вазалось, что онъ умираетъ отъ влитаго въ его душу яда. Ознобъ смѣнился чувствомъ жара, который разливался по всей груди, жгучей струей поднимался въ голову, звенѣвшую и готовую треснуть, какъ раскаленный до бѣла желѣзный листъ. Онъ шатаясь перешелъ черезъ улицу между колесами экипажей. Кучера что-то кричали. На кого они сердились, эти дураки?

Когда онъ проходилъ по площади Madeleine, его вдругъ обдало запахомъ геліотропа, который больше всего любилъ его любовница. Онъ прибавилъ шагу, чтобы поскорѣе отдѣлаться отъ него, и думалъ вслухъ, возмущенный, взбѣшенный до глубины души:—«Моя любовница!.. Фу, мерзость какая... Сафо, Сафо.. И съ такою гадinou я прожилъ болѣе года!..» Онъ съ бѣшенствомъ повторялъ это имя, припоминая, что встрѣчалъ его на столбцахъ маленькихъ газетъ, въ числѣ другихъ извѣстныхъ прозвищъ изъ міра парижскихъ кокотокъ, изъ готскаго календаря бульварныхъ и будуарныхъ знаменитостей. Сафо, Каро, Кора, Фрина, Жанна изъ Пуатье, Тюлень...

И вмѣстѣ съ четырьмя буквами ея гнуснаго имени, вся жизнь этой женщины проносилась передъ его глазами, какъ грязный потокъ водосточной трубы. Мастерская Каудала. драки у Ла-Гурнери, ночи, проведенныя на улицѣ, передъ какою-

ленькій арестантскій чепецъ, который былъ ей такъ къ лицу, и воздушный поцѣлуй, посланный ею каторжнику: «Не тужи, дружокъ...» Дружокъ! тоже имя, тоже ласка, которыми она надѣляла и его... Какой позоръ!.. О! онъ живо съумѣеть выпшвырнуть всю эту грязь... А запахъ геліотропа все еще преслѣдовалъ его среди наступившихъ сумерекъ, блѣдно-лиловыхъ, какъ этотъ маленькій цвѣточекъ.

Вдругъ онъ замѣтилъ, что все еще рассказываетъ взадъ и впередъ по той-же площади, точно на палубѣ парохода. Онъ продолжалъ свой путь, быстро дошелъ до Амстердамской улицы, съ твердою рѣшимостью выгнать изъ своей квартиры эту женщину, выбросить ее на лѣстницу безъ всякихъ объясненій, кинувъ ей вслѣдъ это имя, позорное, оскорбительное, какъ ругательство. Передъ дверью онъ остановился въ нерѣшительности, задумался, сдѣлалъ еще нѣсколько шаговъ. Она подниметъ крикъ, будетъ плакать, огласитъ весь домъ бульварною бранью, какъ въ то утро въ ея квартирѣ...

Развѣ написать?.. да, конечно, лучше написать, объясниться съ нею въ нѣсколькихъ рѣзкихъ, безжалостныхъ словахъ. Онъ зашелъ въ англійскую таверну, пустую и мрачную подъ слабымъ свѣтомъ газа, который начинали въ эту минуту зажигать, присѣлъ къ грязному столу, возлѣ единственной потребительницы, бульварной проститутки, съ испитымъ, болѣзненнымъ лицомъ, жадно пожиравшей порцію копченой лососины, но ничѣмъ ея не запивавшей. Онъ спросилъ себѣ пинту эля, не притронулся къ ней и началъ письмо. Но въ головѣ его толпилось слишкомъ много словъ, которыя всѣ сразу просились на бумагу и слишкомъ медленно воспроизводились густыми, испортившимися чернилами. Онъ разорвалъ два или три листка и уже собирался уходить, отчаявшись сочинить это письмо, какъ вдругъ возлѣ него чьи-то жадныя губы робко прошептали:—«Вы не пьете?.. можно?..» Онъ утвердительно кивнулъ головою. Дѣвушка накинулась на пинту и выпила ее залпомъ, съ лихорадочною поспѣшностью, какъ нельзя лучше свидѣтельствовавшею о незavidномъ положеніи этой несчастной, у которой въ карманѣ нашлось ровно столько, сколько было необходимо, чтобы утолить голодь, и не хватило нѣсколькихъ су, чтобы запить свою трапезу глоткомъ пива. Въ немъ проснулось чувство жалости, которое нѣсколько успокоило его, пролило внезапный свѣтъ на бездну горя и

цессомъ,—какъ мила она была въ своемъ маленькомъ арестантскомъ чепцѣ, смѣлая, неунывающая, вѣрная своему вознищеты, ожидающую всѣхъ этихъ женщинъ, и мысли его приняли болѣе гуманный характеръ. онъ уже хладнокровнѣе отнесся къ своему собственному несчастью.

Въ самомъ дѣлѣ,—вѣдь она не лгала, не обманывала его; если онъ до сихъ поръ ничего не зналъ о ея прошломъ, то потому только, что никогда имъ не интересовался. Въ чемъ же онъ упрекаетъ ее?... Что она сидѣла въ тюрьмѣ?.. Но вѣдь ее оправдали и чуть не съ триумфомъ вынесли изъ залы суда!.. Такъ въ чемъ же?.. Что до ихъ знакомства она жила съ другими?.. Развѣ онъ не зналъ этого?.. Неужели же онъ долженъ отнестись къ ней съ особеннымъ негодованіемъ только за то, что имена этихъ любовниковъ извѣстны, знамениты, что онъ можетъ встрѣтить ихъ, говорить съ ними, видѣть въ витринахъ ихъ портреты? Неужели съ ея стороны было преступленіемъ предпочесть именно ихъ?

И въ глубинѣ души его шевелилось тайное чувство гордости и польщеннаго самолюбія при мысли, что онъ обладаетъ тою, которая принадлежала этимъ великимъ художникамъ, что и они тоже находили ее прекрасною. Въ эти годы молодой человѣкъ еще не увѣренъ въ своемъ сужденіи, не даетъ себѣ яснаго отчета въ немъ. Онъ любитъ женщину, любовь; но опытности, вѣрной оцѣнки еще нѣтъ, и юный любовникъ, показывающій вамъ портретъ своей возлюбленной, ждетъ отъ васъ взгляда, одобрительнаго слова, которые разрѣшаютъ его сомнѣнія. Фигура Сафо казалась ему выросшею, окруженною ореоломъ славы, съ тѣхъ поръ, какъ онъ зналъ, что она воспѣта знаменитымъ Ла-Гурнери, увѣковѣчена Каудалемъ въ мраморѣ и бронзѣ.

Но вдругъ имъ снова овладѣло бѣшенство, онъ вскочилъ со скамьи, на которой было присѣлъ, проходя по одному изъ вѣшнихъ бульваровъ, среди душной, пыльной атмосферы, оглашавшейся крикомъ дѣтей, болтовней женщинъ рабочаго квартала, и снова двинулся въ путь, громко разсуждая и жестикулируя... Хороша тоже эта бронзовая Сафо, которую въ безчисленномъ количествѣ экземпляровъ можно встрѣтить вездѣ, въ каждой лавчонкѣ, банальная, какъ арія шарманки, какъ самое слово Сафо, которое, переходя изъ устъ въ уста втеченіи столѣтій, покрылось слоємъ грязныхъ легендъ и изъ

имени богини превратилось въ названіе болѣзни... Боже, какъ это все гнусно, отвратительно!..

Онъ шелъ впередъ, куда глаза глядятъ, то успокоиваясь, то снова закипая подъ наплывомъ противорѣчивыхъ мыслей и чувствъ. На бульварѣ становилось темно и пусто. Въ жаркомъ воздухѣ стоялъ какой-то приторный, острый запахъ; онъ узналъ ворота большого кладбища, на которое приходилъ въ прошломъ году, чтобы вмѣстѣ со всею учащеюся молодежью привѣтствовать при открытіи памятника, работы Каудаль, на могилѣ Дежуа, романиста латинскаго квартала, автора «Сандринетты». Дежуа, Каудаль! Какъ странно звучали теперь въ его ухахъ эти имена! Какою лживою, мрачною казалась ему исторія этой гризеточки и ея семейнаго счастья, съ тѣхъ поръ, какъ онъ узналъ ихъ мрачную изнанку, услышалъ отъ Дешелета, какимъ именемъ клеймятъ подобные браки, заключенные на тротуарѣ.

Вся эта печальная перспектива, казавшаяся еще мрачнѣе отъ сосѣдства смерти, пугала его. Онъ вернулся тою-же дорогою, проходя мимо какихъ-то подозрительныхъ блузниковъ, бродившихъ тихо, безъ шума, словно ночныя птицы, мимо женщинъ въ грязныхъ, затасканныхъ юбкахъ, стоявшихъ у дверей вертеповъ съ ярко освѣщенными матовыми окнами, на которыхъ, какъ въ магическомъ кругу волшебнаго фонаря, мелькали тѣни обнимающихся паръ... Который часъ? Онъ чувствовалъ себя разбитымъ, какъ рекрутъ послѣ долгаго утомительнаго перехода; и отъ прежняго остраго страданія, уже стихшаго и какъ-будто спустившагося въ ноги, осталась только усталость. Съ какимъ наслажденіемъ онъ ляжетъ и заснетъ!.. А проснувшись, холодно, безъ гнѣва, скажетъ этой женщинѣ:—«Я знаю, кто ты... ни ты, ни я въ этомъ не виноваты, но жить мы уже не можемъ вмѣстѣ. Разстанемся...» Чтобы укрыться отъ ея преслѣдованій, онъ поѣдетъ домой, обниметъ мать и сестеръ, и вѣтеръ Роны, свободный, живительный мистраль, разсѣетъ его тоску, унесетъ съ собою позорные слѣды этого тяжелаго кошмара.

Она легла, уставъ дожидаться, и спала подъ яркимъ свѣтомъ лампы, съ раскрытой книгой, выпавшей изъ ея рукъ. Его приближеніе не разбудило ея и, стоя возлѣ постели, онъ съ любопытствомъ разсматривалъ ее, какъ совершенно незнакомую ему, чужую женщину, которую онъ засталъ здѣсь случайно.

Да, она была красива! Эти руки, эта грудь, плечи,—блоснѣжныя, упругія, безусловно изящныя, чистыя, безъ пятнышка, безъ малѣйшаго изъяна! Но зато сколько краснорѣчивыхъ признаній въ этихъ покраснѣвшихъ вѣкахъ,—быть можетъ, отъ чтенія, или тревожнаго ожиданія,—въ этомъ лицѣ, какъ будто расплывшемся во время сна, уже не наэлектризованномъ жгучимъ желаніемъ женщины, которая хочетъ быть любимой! Ея лѣта, ея исторія, ея странствованія, прихоти, схождения, тюрьма, побои, слезы, ужасъ—все наложило свою печать, все можно было прочесть на этомъ лицѣ, все выступало съ необыкновенною ясностью,—и синіе круги отъ бессонныхъ, сладострастныхъ ночей, и нижняя губа, нѣсколько отвисшая отъ пресыщенія, истасканная, потертая, какъ край колодца, поившаго весь приходъ, и начинающаяся дряблость кожи, предвѣстница старческихъ морщинъ.

Въ этихъ предательскихъ разоблаченіяхъ сна, въ мертвой тишинѣ, царившей кругомъ, было что-то потрясающее, зловѣщее, напоминавшее поле битвы, ночью, когда къ видимымъ ужасамъ присоединяются еще и тѣ, о которыхъ только догадываешься по смутнымъ очертаніямъ болѣе далекихъ предметовъ, окутанныхъ тѣнью сумрака.

Слезы прихлынули къ его горлу, и онъ готовъ былъ расплакаться, какъ ребенокъ.

IV.

Они кончали обѣдать у раствореннаго окна, подъ звуки протяжнаго свиста ласточекъ, привѣтствовавшихъ наступленіе вечера. Жанъ не говорилъ, но видимо собирался говорить, и все на ту-же жестокою тему, которая не давала ему покоя, которою онъ мучилъ Фанни съ того самого дня, когда встрѣтился съ Каудалемъ. Видя его опущенные глаза, притворно равнодушный видъ, предвѣщавшій новые вопросы, она догадалась и заговорила первая.

— Послушай, сказала она,—я знаю, о чемъ ты хочешь со мною говорить... Пожалѣй-же, наконецъ, и себя, и меня, прошу тебя... такъ жить невозможно... Вѣдь ты знаешь, что все это давно умерло, что я люблю только тебя, что у меня нѣтъ на свѣтѣ никого, кромѣ тебя...

— Еслибы прошлое умерло, какъ ты говоришь...—Онъ

пытливо вглядывался въ ея прекрасные сѣрые глаза, мѣнявшіе свой оттѣнокъ подъ каждымъ новымъ впечатлѣніемъ... — Ты-бы не стала хранить вещей, которыя тебѣ напоминають о немъ... да, тамъ, наверху, въ шкафу...

Черная тѣнь набѣжала на ея глаза.

— Развѣ ты знаешь?

Приходилось, стало быть, разстаться съ этимъ ворохомъ любовныхъ писемъ и портретовъ, съ этимъ архивомъ, свидѣтельствовавшимъ о столькихъ славныхъ побѣдахъ, пережившимъ уже столько катастрофъ!

— Ну, а послѣ этого ты мнѣ повѣришь?

Встрѣтивъ его недоувѣрчивую, сомнѣвающуюся улыбку, она побѣжала за маленькой шкатулкой изъ лакового дерева съ рѣзной стальной оправой, которая такъ сильно интриговала несчастнаго любовника въ послѣдніе дни, каждый разъ, какъ онъ видѣлъ ее въ коммодѣ между кипами тонкаго бѣлья.

— Сожги, разорви, я все это дарю тебѣ...

Но онъ не спѣшилъ повернуть въ замкѣ маленькій ключикъ, разглядывалъ вишневые деревья съ плодами изъ розоваго перламутра, летающихъ аистовъ, инкрустированныхъ на крышкѣ, которую онъ рѣшился, наконецъ, приподнять... Письма всевозможныхъ форматовъ, написанныя самими разнообразными почерками, листки цвѣтной бумаги съ золотыми виньетками, старыя, пожелтѣвшія записки, надломленныя въ стѣбахъ, набросанныя второпяхъ, карандашомъ, на листочкахъ, вырванныхъ изъ записной книжки, цѣлая кипа визитныхъ карточекъ... — и все это перемѣшано, перепутано безъ малѣйшаго порядка, какъ въ ящикѣ безпрестанно перерываемаго коммоды.

— Передай мнѣ ихъ. Я ихъ сожгу на твоихъ глазахъ...

Она говорила съ лихорадочнымъ возбужденіемъ, присѣвъ на корточки передъ каминомъ и поставивъ на полъ, рядомъ съ собою, свѣчу, между тѣмъ какъ Жанъ погружалъ въ шкатулку свои дрожащія руки.

— Давай...

— Нѣтъ... подожди... — сказалъ онъ, и затѣмъ прибавилъ еще тише, какъ будто стыдяся: — Мнѣ-бы хотѣлось прочитать...

— Зачѣмъ? только напрасно будешь мучиться.

Она думала только о его душевномъ спокойствіи; ей, по-

видимому, и въ голову не приходило спросить себя, имѣеть-ли она право выставлять такимъ образомъ на показъ эти страстные изліянія, эту исповѣдь людей, которые всѣ когда-то любили ее; оставаясь на колѣняхъ, она приблизилась къ его стулу и читала вмѣстѣ съ нимъ, искоса взглядывая по временамъ на него и слѣдя за выраженіемъ его лица.

Десять страницъ тонкаго мягкаго почерка, съ надписью: «Ла-Гурнери, 1861 г.», въ которыхъ поэтъ, посланный въ Алжиръ для составленія оффиціальнаго и лирическаго отчета о путешествіи императора и императрицы, блестящими красками описывалъ своей любовницѣ видѣнные празднества.

Алжиръ, переполненный и шумный, — настоящій Багдадъ изъ «тысячи и одной ночи», вся Африка, столпившаяся вокругъ города и рвущаяся въ его ворота съ неудержимою силою. Караваны негровъ съ верблюдами, нагруженными камедью, раскинутые войлочные шатры, человѣческій запахъ мускуса вокругъ этой толпы обезьяньихъ фигуръ, которая расположилась лагеремъ на морскомъ берегу, плясала по ночамъ вокругъ большихъ костровъ, каждое утро съ благоговѣніемъ привѣтствовала прибытіе начальниковъ юга, важныхъ, какъ волхвы писанія, окруженныхъ всею торжественною пышностью востока, въ сопровожденіи надрывающей уши музыки, извлекаемой изъ камышовыхъ дудокъ и маленькихъ дребежжащихъ барабановъ, съ отрядомъ воиновъ, окружающихъ трехцвѣтное знамя пророка; а позади ихъ негры, ведущіе на арканахъ лошадей, предназначенныхъ въ подарокъ «Эмберуру», покрытыхъ шелковыми, расшитыми серебромъ попонами, гремящихъ на каждомъ шагу бубенцами...

Геній поэта передавалъ всѣ эти сцены съ удивительною живописною реальностью; слова сверкали на страницѣ, какъ неоправленные драгоценные камни, которые оцѣниваются и сортируются ювелирами на листѣ бумаги. Развѣ не въ правѣ была гордиться эта женщина, къ ногамъ которой бросали такія сокровища? Какъ ее любилъ этотъ поэтъ, который, не смотря на весь интересъ, представляемый алжирскими празднествами, только о ней и думаетъ, только по ней и тоскуетъ:

«О, въ эту ночь я лежалъ, и вдругъ я проснулся; я лежалъ, завернувшись въ коверъ на моей террасѣ, подъ звѣзднымъ небомъ; съ сосѣдняго минарета слышался крикъ муэдзина, походившій скорѣе на сладострастный призывъ, чѣмъ

на молитву, и хотя сновидѣніе исчезло, мнѣ казалось, что я опять слышу твой голосъ...»

Какая злая сила мѣшала ему оторваться отъ этихъ писемъ, зажигавшихъ въ его сердцѣ мучительную ревность, отъ которой блѣднѣли его губы, и судорожно сжимались руки. Фанни нѣжно, ласково, старалась взять у него изъ рукъ письмо, но онъ дочиталъ его до конца, потомъ принялся за другое, за третье, бросая ихъ постепенно, презрительнымъ, равнодушнымъ движеніемъ, не взглянувъ даже на пламя, пожиравшее въ каминѣ страстныя лирическія изліянія великаго поэта. Иногда отъ избытка этой любви, распаленной африканскимъ зноемъ, лиризмъ любовника прерывался какою-нибудь площадною сальностью, которая-бы не мало удивила и скандализовала свѣтскихъ читательницъ «Книги любви», этого произведенія, отличающагося такимъ утонченнымъ спиритуализмомъ, безукоризненно чистымъ, какъ серебряный рогъ Юнгфрау.

На этихъ-то мѣстахъ, на этихъ грязныхъ пятнахъ Жанъ именно и останавливался долѣе всего, не сознавая, какъ при этомъ болѣзненно искажалось каждый разъ его лицо. У него хватало даже мужества разсмѣяться надъ припиской, которая слѣдовала за блестящимъ описаніемъ праздника въ Аиссауасъ:— «Я перечитываю письмо... въ немъ есть мѣста довольно удачныя; сохрани его для меня; быть можетъ, оно мнѣ еще пригодится...»

— Предусмотрительный господинъ! воскликнулъ онъ, принимаясь за другой листъ, исписанный тѣмъ-же почеркомъ. Здѣсь Ла-Гурнери уже холоднымъ, дѣловымъ тономъ требовалъ какого-то сборника арабскихъ писемъ и пары туфель изъ рисовой соломы. Это была уже ликвидація ихъ любовной связи. Да, въ характерѣ ему нельзя было отказать; онъ умѣлъ освободиться отъ обузы.

Не останавливаясь, Жанъ продолжалъ осушать это болото, изъ котораго поднимались удушливыя, вредныя испаренія. Когда, наконецъ, стемнѣло, онъ поставилъ свѣчку на столъ и пробѣгалъ рядъ маленькихъ записочекъ, какъ будто нацарапанныхъ рѣзцомъ, неразборчиво, слишкомъ толстыми пальцами, которые мѣстами, отъ страстнаго ветерпѣнія или гнѣва, даже прорывали бумагу. Первое время связи съ Каудалемъ,— свиданія, ужины, поѣздки за городъ... а потомъ ссоры,

мольбы, примиренія, крики, площадная брань, прерываемая смѣшными выходками, остроумными шутками; потомъ опять упреки, рыданія,—все отчаянье, все жалкое малодушіе великаго артиста въ моментъ разрыва.

И пламя охватывало все это, вспыхивая длинными, красными языками, въ которыхъ дымились и шипѣли плоть, кровь и слезы гениальнаго художника. Но какое дѣло было до этого Фанни, всецѣло отдавшей своему молодому возлюбленному, за которымъ она слѣдила теперь съ напряженнымъ вниманіемъ, который жегъ ее сквозь одежду лихорадочнымъ жаромъ, пожиравшимъ его тѣло. Ему попался подъ руку портретъ, рисованный перомъ и подписанный Гаварни, съ слѣдующимъ посвященіемъ: *«Моему другу, Фанни Лепранъ, въ практиръ возлѣ Дамтьера, гдѣ мы спасались отъ дождя»*. Умное лицо, съ болѣзненно-грустнымъ и горькимъ выраженіемъ, съ ввалившимися глазами...

— Кто это?

— Андрэ Дежуа... Я дорожила этимъ портретомъ ради подписи...

Жанъ такимъ нервнѣйшимъ, убитымъ тономъ сказалъ:— «Сохрани его, вѣдь ты свободна»...—что она схватила рисунокъ, скомкала его и бросила въ огонь, между тѣмъ какъ онъ теперь терзался ревностью надъ грустными письмами романиста, который ради поправленія здоровья принужденъ былъ странствовать по водамъ, проводилъ зиму на южныхъ берегахъ, вѣчно мучился сознаніемъ своего физическаго и нравственнаго недуга, ломалъ себѣ голову, тщетно пытаясь, внѣ Парижа, найти въ ней хоть какую-нибудь сносную мысль. требовалъ у нея какихъ-то рецептовъ, лекарствъ, волновался по поводу какихъ-то денежныхъ затрудненій, посылалъ корректуры, возобновленные векселя; но ко всему этому поминутно примѣшивался все тотъ-же крикъ обожанія, все то-же нетерпѣливое, страстное желаніе снова обнимать чудное, прекрасное тѣло Сафо, которое теперь ему запрещали доктора.

И наивный Жанъ въ бѣшенствѣ воскликнулъ:

— Скажи пожалуйста, чѣмъ ты ихъ всѣхъ околдовывала, что они такъ гонялись за тобою?

Въ этомъ вопросѣ заключалось для него все значеніе этихъ отчаянныхъ писемъ, свидѣтельствовавшихъ о полномъ крушеніи одного изъ тѣхъ славныхъ существованій, которые

внушаютъ зависть молодымъ людямъ, и о которыхъ любятъ мечтать романтическія женщины... Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ она ихъ околдовывала, какимъ зельемъ поила ихъ?.. Онъ испытывалъ ужасныя муки связаннаго по рукамъ и по ногамъ чело-вѣка, передъ глазами котораго оскорбляютъ любимую имъ женщину; и все-таки-же онъ не могъ рѣшиться закрыть глаза и выбросить сразу все, что оставалось еще въ ящикѣ.

Теперь очередь дошла до гравера. Человѣкъ безъ всякихъ средствъ, ничѣмъ рѣшительно не выдающійся, обязаный своею извѣстностью «Судебной газетѣ», онъ завоевалъ себѣ мѣсто въ этой коллекціи реликвій, только благодаря горячей любви, которую сумѣлъ пробудить къ себѣ въ этой женщинѣ. Позорны были эти письма, безсодержательны, нескладны, сентиментальны, какъ посланія гарнизоннаго солдата къ своей зазнобѣ; но даже въ его банальныхъ, чувствительныхъ фразахъ слышалась искренняя, глубокая страсть, уваженіе къ любимой женщинѣ, способность забывать о себѣ, отличавшая письма этого каторжника отъ всѣхъ остальныхъ... Такъ, на-примѣръ, когда онъ просилъ у Фанни прощенія, что слишкомъ сильно любилъ ее, или когда писалъ ей изъ канцеляріи суда, тотчасъ послѣ приговора, и выражалъ свою радость по поводу того, что его возлюбленная оправдана и на свободѣ. Онъ ни на что не жаловался; онъ наслаждался съ нею, и, благодаря ей, въ теченіе двухъ лѣтъ, такимъ полнымъ, такимъ глубокимъ счастьемъ, что однихъ воспоминаній о немъ, по его словамъ, было достаточно, чтобы наполнить его жизнь, облегчить ужасную его участь;—и онъ оканчивалъ просьбою объ услугѣ.

«Ты знаешь, на родинѣ у меня есть ребенокъ, мать котораго давно умерла; онъ живетъ у старой родственницы, въ такомъ захолустѣ, куда навѣрное никогда не дойдутъ извѣстія о моемъ дѣлѣ. Остававшіяся у меня деньги я уже отослалъ имъ, прибавивъ, что отправляюсь въ далекое путешествіе; я рассчитываю на тебя, моя добрая Нини; не правда-ли, ты будешь отъ времени справляться о несчастномъ ребенкѣ и извѣщать меня о его судьбѣ...»

Какъ доказательство участія, съ которымъ Фанни продолжала къ нему относиться, слѣдовало письмо съ изъявленіями благодарности, затѣмъ другое, полученное очень недавно, всего нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ.—«О, какъ ты добра,

что пришла... Какая-ты была прекрасная, благоухающая. когда я стоялъ передъ тобою въ своемъ позорномъ арестантскомъ нарядѣ!...» Жанъ бросилъ письмо и въ бѣшенствѣ воскликнулъ: — Стало быть, ты продолжала видѣться съ нимъ?

— Изрѣдка, изъ состраданія...

— Даже послѣ того, какъ мы сошлись съ тобою?

— Да, одинъ только разъ, въ приѣмной залѣ... Вѣдь ихъ только такъ и можно видѣть.

— Скажите, пожалуйста, какая мягкосердечная!..

Мысль, что она посѣщала этого каторжника даже въ послѣднее время, особенно бѣсила его, хотя гордость мѣшала ему это высказать. Но послѣдній пакетъ писемъ, перевязанныхъ голубой ленточкой, написанныхъ мелкимъ, наклоннымъ, видимо женскимъ почеркомъ, вызвалъ, наконецъ, взрывъ накипавшаго, душившаго его гнѣва.

«Я мѣняю тунику послѣ состязанія на колесницахъ... Приходи въ мою ложу...»

— Нѣтъ, нѣтъ, не читай этого...

Она кинулась къ нему, выхватила у него изъ рукъ и бросила въ огонь всю связку, а онъ ничего не понималъ въ первую минуту, видя ее у своихъ ногъ, зардѣвшуюся отъ ярко вспыхнувшаго пламени и отъ стыда.

— Я была еще такъ молода... Это Каудаль, старый повѣса... Я подчинялась всѣмъ его требованіямъ...

Только теперь онъ понялъ и поблѣднѣлъ еще больше.

— Ахъ, да... Сафо... Всѣ струны лиры...

Онъ оттолкнулъ ее ногою, какъ отвратительную гадину.

— Оставь меня, не прикасайся ко мнѣ, ты мнѣ противна.

Слова его были заглушены сильнымъ, продолжительнымъ раскатомъ грома, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, комната озарилась яркимъ свѣтомъ... Пожаръ!.. Она въ ужасѣ вскочила, машинально схватила стоявшій на столѣ графинъ, вылила его на грудь пылавшихъ бумагъ, отъ которыхъ загорѣлась прошлогодняя сажа, затѣмъ точно такъ-же опорожнила кувшины и, наконецъ, видя, что не въ силахъ совладать съ огнемъ, что горящіе клочки разлетаются по всей комнатѣ, выбѣжала на балконъ и закричала:—Пожаръ! Пожаръ!..

Прежде всѣхъ прибѣжали супруги Геттема, затѣмъ консьержъ, полицейскіе; всѣ кричали, суетились.

— Опустите заслонку!.. Полѣзайте на крышу!.. Воды, воды!.. Нѣтъ, одѣяло!..

Оторопѣвъ отъ ужаса, они молча смотрѣли на это нашествіе, перевернувшее вверхъ дномъ всю ихъ квартиру; потомъ, когда тревога кончилась, огонь былъ потушенъ, толпа собравшихся на улицѣ подъ газовыми рожками, разошлась, сосѣди успокоились и ушли къ себѣ, несчастные хозяева, оставшись среди этой комнаты, забрызганной жидкою грязью взъ воды и сажи, окруженные опрокинутыми, залитыми стульями, почувствовали такое отвращеніе, такое отсутствіе всякой энергіи, что не въ силахъ были ни продолжать своей ссоры, ни заняться уборкою комнаты. Что-то зловѣщее, низменное, ворвалось вдругъ въ ихъ жизнь, и, позабывъ свои прежнія антипатіи, они отправились почевать въ гостиницу...

Жертва, которую принесла Фанни, ни къ чему не послужила. Цѣлыя фразы изъ уничтоженныхъ, сожженныхъ писемъ, сохранились въ памяти, преслѣдовали влюбленнаго, вызывали краску стыда на его щекахъ, какъ извѣстные пассажи сальныхъ книгъ. Къ тому-же всѣ прежніе любовники ея были знаменитыми людьми; мертвые переживали свою смерть; что-же касается живыхъ, то ихъ портреты, ихъ имена можно было встрѣтить всюду, о нихъ говорили въ его присутствіи, и онъ при этомъ каждый разъ испытывалъ какое-то неприятное чувство, какъ будто въ немъ съ болью обрывались какія то крѣпкія семейныя узы.

Подъ вліяніемъ болѣзненнаго настроенія, онъ сдѣлался болѣе чуткимъ, болѣе наблюдательнымъ, и скоро сталъ замѣчать у Фанни слѣды прежнихъ вліяній, усвоенныя въ разное время слова, мысли, привычки. Вотъ эта манера отставлять большой палецъ и какъ будто выдѣпливать, округлять тотъ предметъ, о которомъ она говорила, непременно прибавивъ: — «Это ясно, какъ день», — была заимствована у скульптора. У Дежуа она переняла манію глотать половину слова и говорить окончаніями и народныя пѣсни, которыхъ онъ издалъ сборникъ, прославившійся во всѣхъ концахъ Франціи; у Ла-Гурнери — высокоумѣнную и презрительную интонацію, его строгія сужденія о современной литературѣ.

Всѣ эти разнообразныя элементы умѣстились въ ней, въ силу того процесса постепеннаго наслоенія, который позволяетъ судить о большей или меньшей древности почвы и пер-

турбаціяхъ, колебавшихъ ее въ различные геологическіе періоды. Едва-ли она была и такъ умна, какъ это казалось ему въ первое время. А впрочемъ, не въ умѣ тутъ было дѣло: будь она даже непроходимо глупа, вульгарна и еще на десять лѣтъ старше, она-бы точно также держала его въ рукахъ силою прошлаго, силою той туманной, недостойной ревности, которая грызла его, которую онъ уже не старался скрыть, при малѣйшемъ поводѣ давая волю своему раздраженію, своей злобѣ, нападая то на того, то на другого.

Романовъ Дефуа никто уже не покупаетъ, все изданіе валяется у книжниковъ набережной и распродается по двадцати пяти сантимовъ. А этотъ старый дуракъ, Каудаль, все еще помышляетъ о любви... — «Ты знаешь, у него ужъ нѣтъ зубовъ... Я нарочно смотрѣлъ на него тогда, за завтракомъ, въ Виль-д'Авре; онъ ѣсть, какъ козы, на переднихъ зубахъ...» Да и талантъ ужъ весь выдохся! Совсѣмъ вѣдь провалился со своей вакханкой на послѣдней выставкѣ... смотрѣть было не на что...»

Это выраженіе онъ перенялъ отъ нея, а она, въ свою очередь, заимствовала его отъ Каудалья. Когда онъ принимался громить такимъ образомъ своихъ соперниковъ, Фанни вторила, желая угодить ему, и любопытно было послушать, какъ этотъ мальчишка, ничего не смыслившій ни въ искусствѣ, ни въ жизни, и эта поверхностная кокотка, успѣвшая пріобрѣсть нѣкоторый лоскъ, только благодаря своимъ сношеніямъ съ знаменитыми артистами, судили о нихъ свысока и докторальнымъ тономъ произносили приговоры.

Но въ глубинѣ души Госсенъ больше всѣхъ ненавидѣлъ гравера Фламана. Про него ему было только извѣстно, что Фламанъ очень красивъ, такой-же, какъ и онъ, бѣлокурый, что Фанни называла его «дружочкомъ», потихоньку ходила къ нему на свиданье, а когда онъ нападалъ на него, называлъ его «сантиментальнымъ каторжникомъ» или «прекраснымъ узникомъ», отворачивалась и молчала. Вскорѣ онъ уже прямо сталъ упрекать свою любовницу за то, что она относится къ этому разбойнику съ видимымъ снисхожденіемъ, и Фанни принуждена была объясниться, кратко, но не безъ известной твердости.

— Ты знаешь, Жанъ, что я уже не люблю его, что ты одинъ мнѣ дорогъ... Я не хожу къ нему, не отвѣчаю на его

письма; но ты никогда не заставишь меня говорить дурно о человѣкѣ, котораго любилъ меня до обожанія, до преступленія...

На эти аргументы, отличавшіеся тою искренностью, которая составляла лучшую сторону въ характерѣ Фанни, Жанъ ничего не могъ возразить, но это не мѣшало ему попрежнему страдать отъ ревнивой ненависти, которая обостралась почти непрерывнымъ безпокойствомъ, заставлявшимъ его иногда являться домой совершенно неожиданно, среди дня... «А что если она вдругъ опять отправилась къ нему?..»

Но онъ всегда заставлялъ ее дома, въ ихъ маленькой квартиркѣ, гдѣ она безвыходно сидѣла, проводя время въ абсолютной праздности, какъ восточная женщина, или за фортепьяно, давая урокъ пѣнія мадамъ Гетема. Послѣ пожара они сошлись съ своими сосѣдами, безобидными толстяками, жившими постоянно на сквозномъ вѣтрѣ, при открытыхъ окнахъ и дверяхъ.

Мужъ, чертежникъ при артиллерійскомъ музеѣ, приноситъ свою работу домой и въ теченіе недѣли, каждый вечеръ, а по воскресеньямъ—цѣлый день, сидѣлъ, нагнувшись надъ широкимъ уставленнымъ на козлахъ столомъ, пыхтя и обливаясь потомъ, въ одной жилеткѣ, поминутно встряхивая и вентилируя рукава своей рубашки. Тутъ-же рядомъ его дородная супруга, въ ночной кофѣтѣ, потѣла не меньше, чѣмъ онъ, хотя никогда ничего не дѣлала, и отъ времени до времени, чтобы освѣжиться и подбодрить себя, они затыгивали какой-нибудь изъ своихъ любимыхъ дуэтовъ.

Между обѣими семьями быстро установились довольно интимныя отношенія. Утромъ, часовъ около десяти, передъ дверью раздавался громкій голосъ Гетема:—«Вы готовы, Госень»?.. Бюро ихъ находилось въ одной части Парижа, и они отправлялись на службу вмѣстѣ. Чертежникъ, неуклюжій, вульгарный, стоявшій и по образованію, и по общественному положенію нѣсколькими ступенями ниже своего молодого товарища, говорилъ очень мало и бормоталъ такъ невнятно, какъ будто и во рту у него росла такая-же густая борода, какъ на щекахъ; но видно было, что онъ честный, добрый человѣкъ, и теперь, среди переживаемаго имъ нравственнаго кризиса, Жанъ положительно нуждался въ этомъ знакомствѣ. Онъ дорожилъ имъ главнымъ образомъ ради своей любовницы,

жившей въ одиночествѣ, населенномъ воспоминаніями и сожалѣніями, болѣе опасными, быть можетъ, чѣмъ тѣ знакомства, отъ которыхъ она отказалась по собственному желанію; въ лицѣ мадамъ Геттема, постоянно заботившейся о своемъ мужѣ, только и думавшей о томъ, какое-бы лакомое блюдо приготовить ему къ обѣду, какой новый романсъ спѣть за десертомъ, Фанни, разумѣется, встрѣтитъ достойную уваженія пріятельницу, которая будетъ имѣть на нее благотворное вліяніе.

Однако, когда сосѣди уже настолько сблизились, что начались взаимныя приглашенія, онъ сталъ нѣсколько стѣсняться такую близостью. Эти люди навѣрное воображали, что ихъ новые знакомые живутъ въ законномъ бракѣ, онъ считалъ недобросовѣстнымъ поддерживать въ нихъ это заблужденіе и поручилъ Фанни переговорить насчетъ этого съ сосѣдкой, чтобы впередъ уже не было никакихъ недоразумѣній. Выслушавъ его, она расхохоталась... Невинный ребенокъ! Онъ одинъ только и способенъ на такія наивныя выдумки... — «Да они никогда и не думали, что я тебѣ жена... Для нихъ это рѣшительно все равно... Если-бы ты зналъ, гдѣ онъ самъ-то сошелся со своей женой... Всѣ мои похожденія — невинныя шутки въ сравненіи съ ея подвигами. Онъ и женился-то на ней только ради того, чтобы не дѣлиться съ другими, и, какъ видишь, прошлое не тревожитъ его»...

Онъ не могъ прійти въ себя отъ изумленія. Проститутка? — эта добродушная хозяйшечка съ кроткими глазами, дѣтскою улыбкою и нѣжными, расплывшимися чертами, питавшая такое пристрастіе къ сентиментальнымъ романсамъ, говорившая нараспѣвъ, подбирая самыя изысканныя фразы и пересыпая ихъ провинціализмами. А онъ, этотъ невозмутимо спокойный человекъ, повидимому, до такой степени увѣренный въ прочности своего счастья!.. Онъ шелъ по улицѣ, съ трубкою въ зубахъ, слегка вздыхая отъ избытка самодовольнаго блаженства, между тѣмъ какъ спутникъ его вѣчно волновался, вѣчно мучился въ безсильной злобѣ.

— Это у тебя пройдетъ, дружочекъ... ласково шептала ему Фанни въ минуты полной откровенности, нѣжная и очаровательная, какъ въ первый день ихъ знакомства, но уже вносившая въ ихъ отношенія какой-то особенной оттѣнокъ распушенности, котораго Жанъ еще не умѣлъ хорошенько опредѣлять.

Да и къ чему было заботиться о стыдѣ, о сдержанности? Развѣ она выдумала всѣ эти тонкости разврата, которыя ей привили въ молодости? Жанъ знакомился съ ними въ свою очередь, чтобы впослѣдствіи научить имъ другихъ. Такимъ образомъ передается и распространяется этотъ ядъ, растлѣвающій душу и тѣло, подобный тѣмъ факеламъ, о которыхъ говоритъ латинскій поэтъ, и которыя передавались изъ рукъ въ руки на ристалищѣ.

V.

Въ ихъ комнатѣ, возлѣ прекраснаго портрета Фанни, писаннаго Джемсомъ Тиссо и удѣлѣвшаго въ числѣ немногихъ остатковъ прежней роскоши, окружавшей знаменитую кокетку, висѣлъ южный пейзажъ съ рѣзкими тѣнями въ видѣ черныхъ пятенъ по бѣлому фону, грубо воспроизведенный деревенскимъ фотографомъ при яркомъ солнечномъ освѣщеніи.

Скалистый берегъ, по которому крутыми скатами раскинулись виноградники, перегороженные низкими каменными стѣнами; наверху, за рядами кипарисовъ, защищавшихъ отъ сѣвернаго вѣтра, близъ маленькой рощи изъ сосенъ и свѣтлыхъ миртъ, высился большой бѣлый домъ, полуферма—полузамокъ съ широкимъ крыльцомъ, итальянскою крышею и гербами на дверяхъ; къ главному строенію примыкали бурые стѣны провансальской формы, птичникъ для павлиновъ, скотный дворъ, темные навѣсы съ сверкавшими подъ ними плугами съ боронами; а еще выше, на безоблачномъ небѣ, рѣзкими зигзагами выступали очертанія старинныхъ укрѣпленій, громадная башня, нѣсколько крышъ и романская колокольня мѣстечка Chateaufneuf des-Papes, въ которомъ съ незапамятныхъ временъ жили Госсены д'Арманди.

Помѣстье Кастлэ, богатое своими виноградниками, славившимися не менѣе виноградниковъ Нерты и Эрмитажа, искони переходило отъ отца къ сыну; составляя нераздѣльную собственность всѣхъ дѣтей, оно всегда поступало въ управленіе младшаго сына, благодаря семейной традиціи, въ силу которой старшій неизмѣнно предназначался для должности консула. Къ несчастію, природа не всегда благопріятствуетъ подобнаго рода проектамъ, и если въ мірѣ существовалъ когда-либо чловѣкъ, неспособный управлять тѣмъ-бы то ни было, то чело-

вѣкомъ этимъ былъ Сезэръ Госсенъ, на долю котораго выпала эта тяжелая отвѣтственность, когда ему минуло двадцать четыре года.

Веселый кутила, завсегдатай ресторановъ и другихъ провинціальныхъ увеселительныхъ мѣстъ, Сезэръ, или, вѣрнѣе, негодай, тунеядецъ, *le Fédad*, какъ его величали въ молодости, представлялъ собою тотъ противорѣчивый типъ, который отъ времени до времени проявляется въ самыхъ безупречныхъ семьяхъ, изображая изъ себя нѣчто въ родѣ предохранительнаго клапана, дающаго выходъ избытку дурныхъ инстинктовъ.

Послѣ нѣсколькихъ лѣтъ безобразнаго хозяйничанья, безумнаго мотовства, раззорительныхъ кутежей въ клубахъ Авиньона и Оранжа, виноградники были заложены, запасные погреба опустошены, будущіе сборы проданы за нѣсколько лѣтъ впередъ; затѣмъ, въ одинъ прекрасный день, наканунѣ окончательной описи имѣнія, «тунеядецъ» поддѣлалъ подпись своего брата, выдалъ три векселя на имя консула въ Шангаѣ, будучи твердо увѣренъ, что до истеченія срока ему удастся добыть деньги и изъять векселя изъ обращенія; но противъ ожиданія они своевременно дошли до старшаго брата вмѣстѣ съ отчаяннымъ письмомъ, объявлявшимъ о раззореніи и подлогѣ. Консулъ поспѣшилъ въ Шатонэфъ, уладивъ это дѣло при помощи своихъ сбереженій и приданаго жены, а затѣмъ, убѣдившись въ полнѣйшей неспособности «тунеядца», отказался отъ «карьеры», которая ужь сулила ему блестящее будущее, и принялся разводить виноградники.

Дѣльный, трудолюбивый хозяинъ, достойный потомокъ Госсеновъ, крѣпко, до маніи державшійся семейныхъ традицій, горячій и вмѣстѣ съ тѣмъ сдержанный, онъ напоминалъ потухшій вулканъ, вѣчно грозящій изверженіемъ. Благодаря ему, помѣстье снова пришло въ цвѣтущее состояніе, расширило свои владѣнія вплоть до береговъ Роны, а такъ какъ счастье подобно несчастью, никогда не приходитъ въ одиночку, то вскорѣ и маленькій Жанъ явился на свѣтъ подъ тѣнью родныхъ миртъ. Тѣмъ временемъ «тунеядецъ» скитался по дому, подавленный тяжестью своего проступка, едва осмѣливаясь взглянуть на брата, который терзалъ его своимъ презрительнымъ молчаніемъ. Только въ полѣ, на охотѣ, за рыбною ловлею, онъ дышалъ свободно, стараясь заглушить свое горе безцѣльною, бесполезною дѣятельностью, собирая улитокъ, вырѣ-

зывая себѣ превосходныя трости изъ миртоваго дерева или камыша, завтракая гдѣ-нибудь подъ кустомъ, среди «гарриги» убитыми на охотѣ бекасами, собственноручно зажаренными на вертелѣ у костра изъ оливковыхъ корней. Вечеромъ, вернувшись домой, онъ молча сидѣлъ за столомъ брата, не смотря на снисходительныя, ободряющія улыбки невѣстки, которая жалѣла бѣднягу, и даже снабжала его карманными деньгами потихоньку отъ мужа, продолжавшаго держать «тунеядца» въ строгости, не столько ради прошлыхъ его глупостей, сколько ради тѣхъ, которыхъ ждалъ отъ него въ будущемъ. И дѣйствительно, когда были, наконецъ, заглажены послѣдствія первой злополучной катастрофы, гордость старшаго Госсена подверглась новому тяжелому испытанію.

Три раза въ недѣлю въ Кастлэ на швейную поденную работу приходила хорошенькая дѣвушка, дочь рыбака, Дивонна Абріэ, родившаяся и выросшая среди ивовыхъ кустовъ, на берегу Роны, высокая и гибкая, какъ стебель рѣчнаго растенія. Подъ своимъ каталонскимъ чепчикомъ, граціозно охватывавшимъ ея маленькую головку, съ откинутыми назадъ лентами, позволившими любоваться красивой, слегка смуглой, какъ и лицо, шеей въ низко спущенной косынкѣ, не вполне прикрывавшей бѣлоснѣжныя плечи и грудь, она была похожа на какую-нибудь *донну* изъ старинныхъ трибуналовъ любви, застѣвавшихъ въ былыя времена въ окрестностяхъ Шатонэфа, въ Куртезонѣ, въ Вакейра, въ тѣхъ старыхъ замкахъ, развалины которыхъ раскинуты по холмамъ.

Впрочемъ, это историческое воспоминаніе было не причемъ въ любви Сезэра, никогда ничего не читавшаго и обладавшаго душою трезвою, чуждою всякихъ идеаловъ; но, какъ большинство малорослыхъ мужчинъ, онъ имѣлъ слабость къ высокимъ женщинамъ—и влюбился съ перваго-же дня. Деревенскія побѣды были не въ новость «тунеядцу»; стоило только потанцевать разъ, другой, съ красавицей на воскресномъ балу, преподнести ей въ подарокъ какую-нибудь дичь, убитую на охотѣ, а потомъ при первой встрѣчѣ, гдѣ-нибудь въ полѣ, смѣло приступить къ рѣшительной атакѣ. Но оказалось, что Дивонна не танцуетъ, подарокъ отнесла назадъ въ кухню, а въ минуту окончательнаго приступа, крѣпкая, какъ прибрежный тополь, дала такой энергичный отпоръ, что обольститель кубаремъ покатился въ траву. Съ тѣхъ поръ она держала его на почтитель-

номъ разстояніи кончиками ножницъ, висѣвшихъ у нея на поясѣ, и довела его, наконецъ, до такого любовнаго изступленія, что онъ заговорилъ о женитьбѣ и сообщилъ свое намѣненіе невѣсткѣ. Она знала Дивонну Абріэ съ дѣтства, считала ее серьезною, деликатною дѣвушкою и въ глубинѣ души находила, что бракъ, быть можетъ, будетъ спасеніемъ для «ту-неядца». Но родовая гордость консула возмущалась при мысли, что Госсенъ д'Армонди женится на крестьянкѣ. — «Если Сезэръ это сдѣлаетъ, то я его и видѣть не хочу»... объявилъ онъ, и дѣйствительно сдержалъ слово.

Послѣ свадьбы Сезэръ покинулъ Кастлэ и поселился на берегу Роны, у родственниковъ жены, получая отъ брата маленькую ренту, которую каждый мѣсяцъ приносила ему добрая, снисходительная невѣстка. Маленькій Жанъ сопровождалъ мать во время этихъ посѣщеній и приходилъ въ восторгъ отъ жизни семейства Абріэ, представлявшей собою нѣчто вродѣ ротонды, дымной, потрясаемой трамонтаною и мистралемъ, съ круглой крышей, подпертою единственнымъ бревномъ, прямымъ и вертикальнымъ, какъ мачта. Сквозь растворенную дверь виднѣлась небольшая плотина, гдѣ сушились сѣти и сверкала серебристая чешуя рыбы; внизу—двѣ лодки, колыхавшіяся и скрипѣвшія на привязи, и широкая, свѣтлая рѣка, съ поросшими кустарникомъ, блѣднозелеными островами, къ которымъ при каждомъ порывѣ вѣтра сбѣгалась мелкая зыбь. Здѣсь уже въ раннемъ дѣтствѣ Жанъ привыкъ мечтать о далекихъ путешествіяхъ и о морѣ, котораго никогда еще не видалъ.

Это изгнаніе дяди Сезэра, продолжавшееся два или три года, быть можетъ, не прекратилось-бы никогда, если-бы ему не положило конецъ одно важное семейное событіе, рожденіе двухъ дѣвочекъ-близнецовъ, Марты и Маріи. Мать серьезно заболѣла послѣ этихъ родовъ, и Сезэръ съ женою получили разрѣшеніе навѣщать ее. Вскорѣ послѣдовало и примиреніе двухъ братьевъ, безъ всякой разумной причины, въ силу всемогущаго инстинкта кровнаго родства. Супруги поселились въ Кастлэ, а такъ какъ вскорѣ неизлечимая анемія, осложненная хроническимъ ревматизмомъ, окончательно парализовала бѣдную мать, то Дивоннѣ пришлось вести все хозяйство, наблюдать за воспитаніемъ дѣвочекъ, присматривать за многочисленной прислугой, два раза въ недѣлю навѣщать Жана въ

авиньонскомъ лицѣѣ, да въдобавоѣ еще постоянно ухаживать за больною.

Дѣльная, разсудительная, она старалась замѣнить недостававшее ей образованіе природнымъ умомъ, крестьянскою практичностью да тѣми обрывками знаній, которые сохранились еще въ головѣ ея «тунеядца», укрощеннаго и дисциплинированнаго. Консуль вполнѣ полагался на нее въ дѣлѣ расходовъ по хозяйству, въ которомъ теперь не легко было сводить концы съ концами, тѣмъ болѣе, что доходы уменьшались съ каждымъ годомъ по мѣрѣ распространенія филлоксеры. Вся долина уже была поражена этою болѣзнью, только владѣнія Кастлэ еще сопротивлялись страшному нашествію, и всѣ заботы консула были сосредоточены на одной задачѣ,—спасти свои виноградники путемъ постоянныхъ изслѣдованій и опытовъ.

Эта Дивонна Абріэ, не измѣнявшая своему крестьянскому головному убору, по-прежнему не покидавшая своихъ ножницъ и съ такою скромностью исполнявшая въ домѣ должности экономки и компаньонки, въ эти критическіе годы съумѣла избѣгнуть денежныхъ затрудненій; больная по-прежнему окружена была все тѣмъ-же дорогимъ комфортомъ, дѣвочки росли и воспитывались возлѣ матери, какъ барышни; на содержаніе и ученіе Жана деньги высылались всегда правильно, сначала въ авиньонскій лицей, потомъ въ Э, гдѣ онъ слушалъ юридическій курсъ, и наконецъ, въ Парижѣ, куда онъ отправился оканчивать свое образованіе.

Какими чудесами порядка и бдительности она добивалась такихъ блестящихъ результатовъ, это оставалось загадкою для всѣхъ, не исключая и ея самой. Но каждый разъ, когда Жанъ думалъ о Кастлэ и взглядывалъ на поблѣднѣвшую, выцвѣтшую фотографію, первую фигурую, выступавшею въ его воображеніи, первымъ именемъ, приходившимъ ему въ голову, была Дивонна, любящая, великодушная, энергичная крестьянка, которая,—онъ это чувствовалъ,—все еще скрывалась за дворянкою и поддерживала ее силою своей непоколебимой воли. Но въ послѣдніе дни, съ тѣхъ поръ какъ передъ нимъ раскрылось прошлое его любовницы, онъ избѣгалъ произносить въ ея присутствіи это дорогое, уважаемое имя, точно такъ-же, какъ имя матери и кого-бы то ни было изъ домашнихъ; ему даже неловко было смотрѣть на эту фотографію, которая казалась такою неумѣстною здѣсь, на этой стѣнѣ, надъ постелью Сафо.

Однажды, возвращаясь домой къ обѣду, онъ удивился, замѣтивъ на столѣ три прибора, вмѣсто двухъ; но удивленіе его еще увеличилось, когда онъ увидѣлъ, что Фанни играетъ въ карты съ какимъ-то маленькимъ человѣчкомъ, котораго онъ въ первую минуту не узналъ, но который, обернувшись, представилъ его изумленному взору, свѣтлые, немного съумасшедшіе глаза, большой, внушительный носъ, среди загорѣлаго, довольно еще красиваго лица, плѣшивую голову и бороду, подстриженную, какъ у лигиста, — словомъ, всѣ признаки дяди Сезера. На возгласъ удивленія, вырвавшійся у его племянника, онъ отвѣтилъ, не выпуская изъ рукъ карты: — «Ты видишь, я не скучаю; мы сражаемся въ безигъ съ моей племянницей».

Его племянница!

А Жанъ такъ тщательно скрывалъ свою связь отъ всѣхъ. Эта фамильярность ему не понравилась, точно такъ-же, какъ и поздравленія, которыми его въ полголоса осыпалъ дядюшка, когда Фанни вышла, чтобы заняться приготовленіемъ обѣда. — «Поздравляю, мой милый... что за глаза... что за плечи... лакомый кусочекъ». Но еще неприятнѣе подѣйствовала на Жана та откровенность, съ которою «тунеядецъ» началъ говорить за обѣдомъ о домашнихъ дѣлахъ въ Кастлѣ и о цѣли его поѣздки въ Парижъ.

Предлогомъ для путешествія послужило денежное дѣло. Когда-то въ былые годы онъ далъ займы своему другу, Курбесу, восемь тысячъ франковъ, которыя никогда не рассчитывалъ получить обратно; и вдругъ теперь онъ получаетъ черезъ нотариуса извѣстіе, что Курбесъ умеръ, *pechère!* и что восемь тысячъ франковъ могутъ быть ему возвращены во всякое время. Но деньги, разумѣется, могли-бы ему и прислать; — «истинная причина моей поѣздки — здоровье твоей матери, бѣдняга... Съ нѣкотораго времени она поразительно опустилась, по временамъ у нея даже мысли путаются, она ничего не помнить, даже именъ своихъ дѣвочекъ. Намедни, вечеромъ, когда твой отецъ выходилъ изъ ея комнаты, она вдругъ спрашиваетъ у Дивонны, кто этотъ добрый господинъ, который такъ часто навѣщаетъ ее. Никто еще не замѣтилъ этой переменны, кромѣ твоей тетки; да и мнѣ она рассказала объ ней только для того, чтобы убѣдить меня поѣхать посоветоваться съ Бушро относительно состоянія бѣдной женщины, которую онъ когда-то лечилъ».

— А у васъ въ семьѣ были уже случаи сьумасшествія? спросила Фанни серьезнымъ, докторальнымъ тономъ, который она заимствовала у Ла-Гурнери.

— Никогда... отвѣтилъ «тунеядецъ», прибавивъ съ лукавой улыбкой, отъ которой у него по всему лицу, вплоть до висковъ, разбѣжались мелкія складочки, что въ молодости онъ, правда, пользовался репутаціей нѣсколько помѣшаннаго чловѣка... «но мое помѣшательство нравилось дамамъ, и запирать меня не приходилось».

Жанъ молча смотрѣлъ на нихъ. Къ огорченію, которое причинила ему печальная новость, присоединялось еще какое-то особенное тяжелое чувство, когда онъ слушалъ, какъ эта женщина говоритъ о его матери, о страданіяхъ, свойственныхъ ея критическому возрасту, съ безцеремонностью опытной матроны, облокотившись обѣими руками на столъ и вертя папирску. А дядя, болливый, несдержанный, пускался въ откровенности, рассказывалъ о самыхъ интимныхъ семейныхъ дѣлахъ.

Какіе теперь виноградники... Всѣ виноградники пошли къ чертямъ!.. Да и ихъ завѣтный участокъ не долго продержится; половина лозъ уже съѣдена, а остальное еще кое-какъ поддерживается какимъ-то чудомъ, благодаря тому, что каждую гроздь, каждую ягодку лечатъ, какъ больного ребенка, всевозможными дорогими средствами. Но хуже всего то, что консулъ все-таки упорствуетъ и продолжаетъ сажать все новыя и новыя лозы, которыя, въ свою очередь, тоже заболѣваютъ, вмѣсто того, чтобы развести оливковыя или каперсовыя плантаціи, на этой, понапрасну пропадающей, плодородной землѣ, покрытой теперь порыжѣвшими, больными лозами. Къ счастью у самого Сезэра на берегу Роны есть нѣсколько гектаровъ, которые онъ спасаетъ, благодаря открытой имъ превосходной системѣ наводненія, примѣнимой только съ неизмѣннымъ мѣстностямъ. Одинъ хорошій сборъ уже оправдалъ его ожиданія; виноцо вышло недурное, не очень, правда, крѣпкое, «лягушечье вино», какъ презрительно отозвался консулъ; но «тунеядецъ», въ свою очередь, упорствовалъ и теперь, на эти восемь тысячъ франковъ, доставшіеся ему послѣ Курбесеса, онъ рассчитывалъ купить Пибулетту...

— Знаешь, малышъ, первый островъ на Ронѣ, внизъ по теченію отъ дома Абриэ... Впрочемъ, это между нами; я хо-

чу, чтобы никто въ Кастлэ не зналъ о моемъ предпріятіи вплоть до того дня...

— Даже Дивонна, дядюшка? спросила Фанни, улыбаясь...

При имени жены, на глазахъ «тунеядца» выступили слезы умиленія.

— О, нѣтъ! Безъ Дивонны я никогда ничего не принимаю. Впрочемъ, она вѣрить въ мое открытіе и была-бы такъ счастлива, если-бы ея бѣдному Сезэру удалось привести Кастлэ въ прежнее цвѣтущее состояніе, послѣ того, какъ онъ-же самъ едва не разорилъ всю семью.

Жанъ содрогнулся. Неужели-же онъ начнетъ исповѣдываться и расскажетъ всю эту злополучную исторію съ фальшивыми векселями? Но провансалецъ, всецѣло поглощенный въ настоящую минуту своимъ нѣжнымъ чувствомъ къ Дивоннѣ, началъ говорить о ней, о томъ счастья, которымъ ей обязанъ. И притомъ такая красавица, такъ превосходно сложена.

— Да вотъ, племянница, судите сами; вы женщина и должны знать въ этомъ толкъ.

Онъ вынулъ фотографическую карточку изъ бумажника, съ которымъ никогда не разставался.

Дѣтски-почтительный тонъ, которымъ Жанъ всегда говорилъ о своей теткѣ, материнскіе заботливые совѣты крестьянки, написанные неумѣлымъ, нѣсколько дрожащимъ почеркомъ, заставили Фанни воображать себѣ ее въ видѣ какой-нибудь деревенской кумушки, въ неуклюжемъ головномъ уборѣ, какой носятъ въ департаментахъ Сены и Уазы, и теперь она съ удивленіемъ смотрѣла на это красивое, правильное лицо, такъ эффектно отгѣненное узкимъ, бѣлымъ чепцомъ, на эту изящную, гибкую талью тридцатипятилѣтней женщины.

— Да, въ самомъ дѣлѣ красавица... сказала она съ какой-то особенной интонаціей, многозначительно сжимая губы.

— А сложеніе! воскликнулъ дядя, который особенно настаивалъ на этой сторонѣ ея красоты.

Затѣмъ всѣ перешли на балконъ. Послѣ жаркаго дня, отъ котораго не успѣла еще остыть цинковая крыша веранды, теперь изъ набѣжавшаго облака полилъ мелкій дождикъ, освѣжавшій воздухъ, весело барабанившій по крышамъ и быстро смочившій тротуары. Весь Парижъ, казалось, улыбался подъ этимъ освѣжающимъ душемъ; топотъ толпы и громъ экипа-

жей, непрерывный шумъ, поднимавшійся съ улицы и стоявшій въ воздухѣ, дѣйствовать опьяняющимъ образомъ на провинцiала, пробуждалъ въ его головѣ, пустой и подвижной, какъ бубенчикъ, воспоминанiя о его собственной молодости, о томъ, какъ онъ лѣтъ тридцать тому назадъ прiѣзжалъ въ Парижъ и три мѣсяца прожилъ у своего прiятеля Курбесеса.

— То-то былъ кутежъ, дѣти мои, то-то мы веселились!.. И онъ припомнилъ, какъ онъ однажды ночью, — дѣло было великимъ постомъ, — отправились въ Прадо; Курбесесь въ костюхѣ балаганнаго паяса, а любовница его, извѣстная Морва, въ видѣ уличной пѣвицы. Костюмъ этотъ, впрочемъ, принесъ ей счастье; послѣ этого она сдѣлалась знаменитостью въ кафе-шантанахъ. Самъ онъ, дядя, подхватилъ какую-то маленькую потаскушку, которую звали «Пленкой». Окончательно повеселѣвъ, подъ влiянiемъ этихъ воспоминанiй, онъ улыбался во весь ротъ, напѣвалъ танцевальныя мотивы и подъ тактъ обхватывалъ талью своей племянницы. Въ полночь, когда онъ покинулъ ихъ, чтобы возвратиться въ гостинницу Кюжась, единственную, извѣстную ему въ Парижѣ, онъ уже во все горло распѣвалъ на лѣстницѣ, посылалъ поцѣлуи своей племянницѣ, которая ему свѣтила, и кричалъ Жану:

— Смотри, любезный, держи ухо востро!..

Лишь только онъ ушелъ, Фанни, которая все время казалась чѣмъ-то озабоченною, быстро перешла въ свою уборную, оставивъ дверь растворенною, и пока Жанъ раздѣвался, она начала почти равнодушнымъ тономъ:— Послушай, однако, вѣдь тетушка-то твоя въ самомъ дѣлѣ очень не дурна... Теперь меня не удивляетъ, что ты такъ часто говоришь о ней. Не мало вы, я думаю, роговъ наставили этому несчастному, у котораго, впрочемъ, и голова-то приспособлена къ такого рода украшенiямъ...

Онъ съ негодованiемъ протестовалъ... Дивонна!.. которая была для него второю матерью, одѣвала его, заботилась о немъ, когда онъ былъ еще ребенкомъ... Она спасла его отъ опасной болѣзни, отъ смерти... Нѣтъ, такая низость никогда не пришла-бы ему въ голову, не соблазнила-бы его.

— Разказывай, разказывай, слышался снова рѣзкій голосъ Фанни, державшей въ зубахъ шпильки,—ты не заставишь меня повѣрить, чтобы съ такими глазами, съ такимъ сложенiемъ, которымъ такъ восхищается этотъ дуракъ, его

Дивонна могла оставаться равнодушною возлѣ такого хорошенькаго блондина съ нѣжною, дѣвичьею кожею?.. Повѣрь мнѣ,—на берегахъ-ли Роны или въ другомъ мѣстѣ,—мы вездѣ одинаковы...

Она говорила съ полнымъ убѣжденіемъ, увѣренная, что весь ея полъ съ одинаковою легкостью поддается первому капризу и побѣждается первымъ желаніемъ. Онъ защищался, но уже видимо смущенный, мысленно перебирая свои воспоминанія, спрашивая себя, не возбуждали-ли въ немъ когда-нибудь эти невинныя ласки хоть отдаленнаго намека на преступную мысль; и хотя онъ ничего подобнаго не находилъ, чистая привязанность его все-таки была забрызгана грязью подозрѣнія, строгій профиль камен былъ грубо перечеркнуть ударомъ ногтя.

— Ну, вотъ... смотри!.. головной уборъ вашихъ женщинъ.

На свои роскошные волосы, расчесанные въ двѣ длинныя волны, она наколола бѣлую косынку, которая дѣйствительно довольно удачно воспроизводила форму каталанскаго чепца, сшитаго изъ трехъ кусковъ, обыкновеннаго головнаго убора дѣвушекъ въ Шатонэфѣ, и стоя передъ нимъ въ бѣлоснѣжной батистовой рубашкѣ, съ горящими страстью глазами, она спрашивала его:

— Похожа я на Дивонну?

О, нѣтъ, нисколько; она была похожа только на самое себя подъ этимъ маленькимъ чепцомъ, слишкомъ живо напоминавшемъ о другомъ, о тюремномъ чепцѣ, въ которомъ она, говорятъ, была такъ милосидна, когда посылала прощальный поцѣлуй своему каторжнику средѣ залы суда:—«Не скучай, дружокъ, еще вернутся наши красныя дни...».

Это воспоминаніе до такой степени его мучило, что лишь только подруга улеглась, онъ потушилъ свѣчу, чтобы не видѣть ея.

На другой день, рано утромъ, дядя явился съ шумною безцеремонностью, размахивая палкой и закричалъ: «Эй, вы, младенцы, пора вставать!» съ тою-же развязною и покровительственною интонаціею, которую придавалъ этому когда-то Курбесъ, являвшійся по утрамъ, когда самъ Сезэръ еще покоился въ объятіяхъ Шленки. Онъ казался еще болѣе возбужденнымъ, чѣмъ наканунѣ, что объяснялось, вѣроятно, влія-

нѣмъ гостинницы Кюжась и магическимъ дѣйствіемъ восьми тысячъ франковъ, лежавшихъ въ его бумажникѣ. Это деньги, предназначенныя на покупку Пибулетты, бѣ ои; но вѣдь имѣлъ же онъ право истратить изъ нихъ нѣсколько лундоровъ, чтобы угостить свою племянницу завтракомъ, гдѣ-нибудь за городомъ...

— А Бушро? замѣтилъ племянникъ, которому нельзя было два дня сряду не являться въ министерство. Наконецъ было рѣшено, что они позавтракаютъ въ Елисейскихъ поляхъ и что затѣмъ дядя съ племянникомъ отправятся на консультацію.

Не о томъ, положимъ, мечталъ «тунеядецъ»... ему грезились побѣдка въ Сень-Клу, въ большой воляскѣ, наполненной бутылками шампанскаго... Но тѣмъ не менѣе, завтракъ вышелъ прелестный на террасѣ ресторана, подъ тѣнью акацій и липовыхъ деревьевъ, сквозь которыя до слуха ихъ доносились звуки дневной репетиціи въ сосѣднемъ café-concert. Сезаръ, по обыкновенію словоохотливый, любезный, пускалъ въ ходъ всю свою изобрѣтательность, чтобы очаровать парижанку. Онъ поминутно дѣлалъ замѣчанія гарсонамъ, велѣлъ позвать повара, чтобы похвалить приготовленный имъ соусъ, и Фанни сопровождала каждую изъ этихъ выходокъ глупымъ, преувеличенно громкимъ смѣхомъ, который непріятно поражалъ Госсена точно также, какъ и тѣ интимныя отношенія, которыя помимо него уже успѣли установиться между дядею и племянницей.

Можно было подумать, что они подружились гдѣ двадцать тому назадъ. «Тунеядецъ», разчувствовавшись за десертными винами, говорилъ о Кастлѣ, о Дивоинѣ, о своемъ маленькомъ Жанѣ; онъ былъ счастливъ, зная, что племянникъ сошелся съ нею, женщиною серьезною, которая будетъ удерживать его отъ глупостей. Не переставая лепетать заплетающимися, отяжелѣвшимъ языкомъ, онъ давалъ ей совѣты, какъ молодой, только что вышедшей замужъ дѣвушкѣ, говорилъ о нѣсколько мрачномъ характерѣ племянника, училъ, какъ съ нимъ ладить, похлопывая ее по плечу и умильно поглядывая на нее посоловѣвшими, слезливыми глазами.

Протрезвился онъ уже у Бушро. Цѣлыхъ два часа ожиданія во второмъ этажѣ на Вандомской площади, въ обширныхъ залахъ, высокихъ и холодныхъ, наполненныхъ молчаливой толпой, съ тоскою ожидающей приговора; это былъ какой-то адъ страданія, и они проникли сквозь всѣ его области, переходя

изъ комнаты въ комнату, пока не очутились наконецъ въ кабинетъ знаменитаго ученаго.

Бушро, обладавшій удивительною памятью, тотчасъ припомнилъ мадамъ Госсенъ, которую посѣтилъ разъ въ Кастлэ, десять лѣтъ тому назадъ, въ самомъ началѣ ея болѣзни; онъ попросилъ рассказать ему послѣдовательный ходъ болѣзни, перечиталъ прежніе рецепты и тотчасъ успокоилъ Сезера и Жана относительно замѣченныхъ въ послѣднее время мозговыхъ припадковъ, которые, по его мнѣнію, были вызваны употребленіемъ извѣстныхъ медикаментовъ. Пока онъ неподвижно сидѣлъ, спустивъ вѣки надъ своими маленькими, пронизательными, пытливыми глазами, и писалъ длинное письмо авиньонскому доктору, дядя и племянникъ, затаивъ дыханіе, слушали скрипъ этого пера, которое для нихъ заглушало весь шумъ Парижа; и вдругъ имъ стало ясно, какимъ могуществомъ въ современномъ обществѣ обладаетъ врачъ, послѣдній жрецъ, послѣднее вѣрованіе, непобѣдимое суевѣріе...

Сезеръ вышелъ отъ него серьезный, совершенно остывшій.

— Я возвращаюсь въ свою гостинницу, чтобы уложить чемоданъ; воздухъ Парижа вреденъ для меня, малышъ... я чувствую, что способенъ надѣлать глупостей, если-бы остался. Я уѣду сегодня-же вечеромъ, съ семичасовымъ поѣздомъ; ты извинишься за меня передъ моею племянницей, не правда-ли?

Жанъ, разумѣется, и не подумалъ его удерживать, опасаясь его ребяческаго легкомыслія, и на другое утро, проснувшись, не безъ удовольствія подумалъ, что дядя теперь уже опять дома, ходъ замкомъ, возлѣ Дивонны, какъ вдругъ онъ появился съ разстроеннымъ лицомъ, въ измятомъ бѣльѣ.

— Боже мой! дядя, что съ вами случилось?

Опустившись въ изнеможеніи на кресло, сначала безъ голоса, безъ жестовъ, но постепенно все болѣе и болѣе одушевляясь, дядя признался, что встрѣтился съ старымъ знакомымъ временъ Курбесеса, слишкомъ основательно съ нимъ поужиналъ и въ заключеніе потерялъ свои восемь тысячъ франковъ въ какомъ-то ~~картепѣ~~... Ни одного су не осталось въ карманѣ, ничего! Какъ теперь вернуться домой, рассказать все это Дивоннѣ? А покупка Пибулетты!.. Вдругъ, какъ будто въ припадкѣ безумія, закрывъ руками глаза, зажавъ пальцами уши, разражаясь ревомъ и рыданіями, южанинъ принялся осыпать себя бранью и упреками, изливать свое раскаяніе въ

полной исповѣди всей своей жизни... Онъ былъ позоромъ и несчастіемъ своей семьи; такихъ людей, какъ онъ, слѣдовало бы убивать, какъ волковъ. Если-бы не великодушіе брата, гдѣ-бы онъ былъ теперь?.. На каторгѣ, съ ворами и фальшивыми монетчиками.

— Дядя, дядя!... повторялъ съ возрастающимъ безпокойствомъ Госсенъ, пытаясь остановить его.

Но онъ, ничего не видя и не слыша, казалось, наслаждался этою публичною исповѣдью свсего преступления, передаваемого съ мельчайшими подробностями, между тѣмъ, какъ Фанни смотрѣла на него съ соболѣзнованіемъ и симпатіей. Это былъ, по крайней мѣрѣ, хоть увлекающійся человекъ, сорви голова, въ ея вкусѣ, и, не на шутку тронутая, она стала придумывать, какъ-бы ему помочь. Но чѣмъ? Уже цѣлый годъ она ни съ кѣмъ не видится; у Жана тоже не было никакихъ связей... Вдругъ ей пришло въ голову имя Дешелеть!.. Онъ долженъ быть въ Парижѣ теперь; это такой добрякъ.

— Но вѣдь я почти не знаю его... сказалъ Жанъ.

— Я сама пойду...

— Какъ? ты рѣшишься?..

— Отчего-же нѣтъ?

Ихъ взгляды встрѣтились, и оба поняли другъ друга. Вѣдь Дешелеть то-же былъ ея любовникомъ; правда, только въ теченіе одной ночи, такъ что она едва помнила его. Но онъ не забывалъ ни одного изъ нихъ; они всѣ подъ-рядъ были записаны въ его памяти, какъ святые въ календарѣ.

— Если это тебѣ непріятно... начала она, нѣсколько смутившись. Тогда Сезеръ, который въ продолженіи этого короткаго разговора пересталъ вопить, въ смертельномъ страхѣ ожидая, на чемъ они порѣшатъ, посмотрѣлъ на нихъ съ выраженіемъ такой отчаянной мольбы, что Жанъ сдался и, скрѣпя сердце, сквозь зубы пробормоталъ свое согласіе.

Какъ долговъ показался обомъ этотъ часъ, пока они стояли, взволнованные затаянными, мучительными мыслями, облокотившись на перила балкона, ожидая возвращенія Фанни.

— Вѣрно, этотъ Дешелеть живетъ очень далеко отсюда?..

— Напротивъ, въ Римской улицѣ, въ двухъ шагахъ, съ досадою отвѣтилъ Жанъ, также находившій, что Фанни слишкомъ ужъ долго не возвращается. Онъ старался утѣшить себя

девизомъ инженера:—«Не далѣе одного дня!» и тѣмъ презрительнымъ тономъ, которымъ онъ отзывался въ его присутствіи о Сафо, какъ о ветеранкѣ любовныхъ похожденияхъ; но при этихъ воспоминаніяхъ въ немъ возмущалась гордость любовника, и ему даже хотѣлось, чтобы Дешелегъ нашелъ ее еще красивою, способною возбудить желаніе. И нужно-же было этому старому чудачу Сезэру растравить всѣ его раны!

Наконецъ, мантилья Фанни показалаcя на углу улицы. Она показалаcя съ сіяющимъ лицомъ.

— Все улажено... я достала деньги.

Когда всѣ восемь тысячъ франковъ были выложены, дядя расплакался отъ радости, хотѣлъ выдать росписку Дешелету, назначить проценты, срокъ уплаты.

— Не беспокойтесь, дядюшка... Я даже не произносила вашего имени... Деньги даны взаймы мнѣ; мнѣ вы ихъ и отдадите, когда найдете это удобнымъ.

— За подобныя услуги, дитя мое, отвѣтилъ Сезэръ, не зная, какъ и выразить свою признательность,—за такія услуги платятъ вѣчною, неизмѣнною дружбою... И даже на вокзалѣ желѣзной дороги, куда его провожалъ Госсенъ, желавшій на этотъ разъ увѣриться собственными глазами, что дядя дѣйствительно уѣхалъ, онъ повторялъ со слезами на глазахъ:—Что за женщина, что за сокровище!.. Да, ты не можешь не заботиться о ея счастіи...

На Жана все это приключеніе произвело очень тяжелое впечатлѣніе, отъ котораго онъ долго не могъ отдѣлаться, чувствуя, какъ все крѣпче смыкалась и безъ того уже тяжелая цѣпь, какъ мало-по-малу сливались и смѣшивались двѣ противоположныя половины его личной жизни, которая онъ всегда старался строго раздѣлять,—семью и свою связь. Теперь Сезэръ постоянно доставлялъ племянницѣ свѣдѣнія о своихъ работахъ, о своихъ плантаціяхъ, сообщалъ ей всякую новость, касавшуюся Кастлэ; и Фанни критиковала упорство консула въ дѣлѣ виноградниковъ, говорила о здоровьѣ матери, раздражала Жана непрошеною заботливостью и неуиѣстными совѣтами. Но вмѣстѣ съ тѣмъ она никогда не позволяла себѣ, правда, даже малѣйшаго намека на оказанную услугу или на роковой эпизодъ изъ жизни «тунеядца», на это позорное пятно дома д'Арманди, которое дядя самъ-же раскрылъ передъ нею. Одинъ только разъ она воспользовалась

ить, какъ вѣскимъ аргументомъ при слѣдующихъ обстоятельствахъ.

Они возвращались изъ театра и сѣли въ экипажъ, подъ дождемъ, возлѣ извозничьей биржи, на бульварѣ. Экипажъ этотъ, одна изъ тѣхъ колымагъ, которыя выѣзжаютъ только послѣ полуночи, не вдругъ тронулся съ мѣста; кучеръ еще не прочухался отъ сна, а лошадь лѣниво потряхивала торбою и продолжала жевать. Пока они ждали, укрывшись въ каретѣ, какой-то старый извозчикъ, привязывавшій къ своему кнуту нахвостникъ, спокойно подошелъ къ дверцѣ и, не выпуская изъ зубовъ веревки, сказалъ, обращаясь къ Фанни; хриплымъ голосомъ, отъ котораго разлило виномъ:

— Здравствуй... Какъ поживаешь?

— А! это вы?

Она слегка вздрогнула, но тотчасъ овладѣла собою и шепнула своему возлюбленному: — Мой отецъ!..

Ея отецъ, эта разбойничья фигура, въ длинной истасканной ливреѣ, забрызганной грязью, съ оборванными металлическими пуговицами. При свѣтѣ газоваго рожка, Госсенъ разсматривалъ его одутловатое, багровое отъ пьянства лицо, въ которомъ, какъ ему казалось, въ вульгарной формѣ можно было узнать правильный, чувственный профиль Фанни, ея большіе глаза искательницы наслажденья! Не обращая ни малѣйшаго вниманія на мужчину, который сопровождалъ его дочь, старикъ Легранъ рассказывалъ ей семейныя новости. — Старуха, вотъ уже двѣ недѣли, въ больницѣ... Плохо уже ей совсѣмъ... Ты-бы ее навѣстила, это ободрить ее немного... У меня, слава Богу, кузовъ еще крѣпкій, всегда здоровъ, и кнутъ и нахвостникъ, — все въ порядкѣ. Вотъ только торговля плохо идетъ... Бабы тебѣ понадобился хорошій кучеръ, на мѣсячномъ жалованья, то это-бы для меня совсѣмъ подходящее было дѣло... Нѣтъ? Ну, нечего дѣлать, до свиданія...»

Они довольно равнодушно пожали другъ другу руки, и карета тронулась.

— Ну, что, каковъ?.. пропентала Фанни и тотчасъ начала передавать ему подробныя свѣдѣнія о своей семьѣ, чего прежде всегда избѣгала... «тамъ все было такъ грязно...», но теперь они познакомились ближе, имъ уже нечего было скрывать другъ отъ друга. Она родилась въ Moulin-aux-Anglais, въ окрестностяхъ Парижа, отъ этого отца, отставнаго драгуна,

вздившаго въ должности кучера съ дилижансомъ изъ Парижа въ Шатильонъ, и отъ служанки при деревенской гостинницѣ, соблазненной кучеромъ между двумя бутылками вина. Она не знала своей матери, умершей во время родовъ; но хозяева почтовой станціи, добрые, честные люди, заставили отца признать дѣвочку своею дочерью и платить за ея воспитаніе.

Онъ не посмѣлъ отказать, такъ какъ сильно задолжалъ въ этомъ домѣ; и когда Фанни минуло четыре года, онъ сталъ ее возить съ собою, какъ щенка.. Она любила эти длинныя поѣздки по безконечнымъ дорогамъ, любила смотрѣть, притаившись наверху, подъ кожаную крышей, какъ по обѣ стороны кареты бѣжали полосы яркаго свѣта отъ фонарей, какъ колыхались подъ клубами пара спины лошадей, любила засыпать въ своемъ темномъ уголкѣ, подъ завыванье вѣтра, подъ звяканье бубенцовъ.

Но Леграну скоро надоѣло разыгрывать роль заботливаго отца; какъ ни мало стоило содержаніе этой сопливой дѣвочки, а все-же ее нужно было одѣть, накормить. Кромѣ того, она являлась серьезной помѣхой въ осуществленіи его плановъ: онъ задумалъ жениться на одной вдовѣ огородника, которая давно уже соблазняла его своими дынными парниками и капустными грядками, тянувшимися какъ разъ возлѣ той дороги, гдѣ онъ каждый день проѣзжалъ со своей каретой. И въ это время дѣвочка совершенно ясно совнавала, что отцу хочется сжить ее со свѣта; пылкую голову его не покидала неотвязная мысль, что отъ этого ребенка необходимо отдѣлаться во что-бы то ни стало, и если бы, наконецъ, добрая Машома, та самая вдова, въ которой подбирался отецъ, не взяла бѣдняжку подъ свое покровительство...

— Да, кстати, вѣдь ты зналъ Машому? сказала Фанни.

— Какъ! та служанка, которую я видѣлъ у тебя...

— Это моя мачиха... Она была такъ добра со мною, когда я попала къ ней еще маленькою дѣвочкою; я и стала ее брать къ себѣ, чтобы хоть на время избавлять ее отъ безпутнаго мужа, который билъ ее, промотавъ все ея имущество, заставлялъ прислуживать какой-то тваріи, съ которою жилъ... Да, узнала бѣдная Машома, что значить выходить за красиваго мужчину... Что-же? когда мы съ нею разстались, она, не смотря на всѣ мои совѣты, побѣжала мириться съ нимъ, и вотъ теперь лежитъ въ госпиталѣ. А онъ-то до чего дошелъ

безъ нея! Какой грязный! И рожа какая пьяная! Только о кнутѣ и заботится... Ты замѣтилъ, какъ прямо онъ его держалъ?.. Даже со всѣмъ ужь пьяный, едва держась на ногахъ, онъ несетъ его осторожно, какъ церковную свѣчу, запираетъ его въ своей комнатѣ... У него даже и поговорка такая есть: «и кнутъ, и нахвостникъ,—все въ исправности».

Она говорила о немъ равнодушно, какъ о чужомъ, безъ отвращенія и стыда; а Жанъ ее съ ужасомъ слушалъ. Этотъ отецъ!.. Эта мать!.. а возлѣ нихъ—строгое лицо консула и ангельская улыбка мадамъ Госсенъ!.. Она поняла, наконецъ, что означало упорное молчаніе ея любовника, какъ возмущала его вся эта грязь, въ которую онъ забрелъ, слѣдуя за нею.

— А впрочемъ, прибавила Фанни тономъ философа,— что нибудь въ этомъ родѣ непремѣнно бываетъ въ каждой семьѣ; мы въ этомъ не виноваты... У меня—отецъ, а у тебя—дядя.

Пер. А. Москвина.

ПОТОМОКЪ РОДА ВЕТРИЩЕВЫХЪ.

Романъ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Быль десятый часъ утра. Дмитрій Николаевичъ Ветрищевъ спалъ мертвымъ сномъ, такимъ сномъ, какимъ могли спать только одни чистокровные Ветрищевы, потомки древняго дворянскаго рода, стяжавшаго себѣ лавры въ отечественной исторіи.

Ему снился вчерашній балъ, снились обваженные, матовыя плечи одной чудесной брюнетки, танцовавшей съ нимъ мазурку на балу. Плеча эти не давали ему покою, манили и тянули къ себѣ съ неотразимой силой. Онъ чувствовалъ ихъ теплоту, жадно вдыхалъ ихъ опьяняющій ароматъ и близился къ нимъ горячими устами.—Но, увь!—дальнѣйшимъ грезамъ его не суждено было осуществиться, даже во снѣ. Сонъ его былъ грубо прерванъ вошедшимъ въ комнату лакеемъ. «Дмитій Николаевичъ, вставайте!» торопливо говорилъ Максимъ, дергая его за руку. Но Ветрищевъ даже не пошевелился. Разбудить его было не легкое дѣло, и Максимъ зналъ это по опыту. Онъ сталъ тормошить его, дергать за руки и за ноги, кричать надъ самымъ ухомъ: «вставайте, вставайте!.. тамъ пришли, васъ спрашиваютъ... очень нужно». Но Дмитрій Николаевичъ продолжалъ храпѣть, и только повернулся на другой бокъ, уткнувшись носомъ въ самую стѣну.

«Господи Боже мой, что это за мученье, вздохнулъ Максимъ,—кажинный день съ нимъ бейся». И онъ рѣшился на послѣднее средство, дозволяемое только въ крайнихъ случаяхъ. Онъ намочилъ полотенце холодною водою и, бросивъ его на

лицо своему барину, самъ опрометью выбѣжалъ изъ комнаты.

Ветрищевъ вскочилъ какъ угорѣлый и бросидся съ кулаками на незримаго врага, но, наткнувшись на стѣну, тотчасъ же опомнился и, вернувшись къ постели, сѣлъ на нее и заболталъ ногами. Максимъ просунулъ голову въ дверь и, увидѣвъ, что баринъ сидитъ на постели, вошелъ, какъ ни въ чемъ не бывало.

— Жидъ пришелъ, сказалъ онъ шопотомъ.

— Гони его въ шею.

— Нельзя-съ.

— Скажи, что я сплю... чтобъ убирался къ чорту.

— Нельзя-съ, съ нимъ приставъ.

— Что?

— Такъ точно.

— Ахъ, чортъ возьми!

Ветрищевъ совсѣмъ проснулся. Онъ сунулъ въ туфли босыя ноги, надѣлъ шелковый халатъ и, проведя торопливо щеткой по своимъ густымъ темно-русымъ кудрямъ, вышелъ въ кабинетъ.— Тамъ, дѣйствительно, стоялъ судебный приставъ, съ пѣнью на шеѣ, и еврей въ длиннополомъ сюртукѣ.

— Что вамъ угодно, господа? спросилъ Ветрищевъ, стараясь казаться спокойнымъ.

— Обезпеченіе иска, отвѣчалъ вѣжливо судебный приставъ, подавая ему повѣстку.

— Бишка, ты подлецъ! воскликнулъ Дмитрій Николаевичъ, подходя въ упоръ къ еврею. Но еврей только понятился.

— Ты общалъ ждать.

— Я ужъ жду.

— Какого чорта ты ждешь, накладываешь печати на мою мебель.

— А нехай ихъ лежать,—что онѣ вамъ мѣшаютъ?

— Свиныя, скотина! горячился Ветрищевъ; но еврей не обижался,—онъ только ежился и пожималъ плечами.

— Послушайте, обратился Ветрищевъ къ судебному приставу, отводя его въ сторону:—нельзя-ли какъ-нибудь уладить?

— Я ничего не могу, отвѣчалъ приставъ,—переговорите съ нимъ, прибавилъ онъ, указывая на еврея.

Дмитрій Николаевичъ поспѣшно запагалъ въ свою спальню, шлепая туфлями, обшарилъ тамъ всѣ свои карманы,

ящички и, набравъ нѣсколько мелкихъ ассигнацій, вышелъ къ жиду.

— На вотъ тебѣ пятьдесятъ рублей и проваливай.

Еврей преспокойно взялъ деньги, пересчиталъ ихъ и передалъ приставу.

— Извольте получить.

— Какъ извольте получить! воскликнулъ Ветрищевъ, — что это значить?

— Обезпеченіе иска, отвѣчалъ еврей, пожимая плечами.

— Подай назадъ, — я не хочу, я давалъ условно. Господинъ приставъ, позвольте.

— Въ опись вносятся все, что находится въ наличности, объяснялъ приставъ, — всѣ деньги, цѣнности, процентныя бумаги.

— Онъ даромъ слопаеетъ мои пятьдесятъ рублей!

— Они внесутся въ опись и вернутся вамъ, когда вы уплатите долгъ или кредиторъ вашъ сниметъ запрещеніе.

— То-есть вы отдадите мнѣ пятьдесятъ рублей, когда я уплачу двѣ тысячи? Славная афера!

Дмитрій Николаевичъ былъ внѣ себя отъ злости и готовъ былъ исколотить проклятаго жиду, но, благоразумно удержавшись, сталъ просить о пощадѣ.

— Бишка, я прошу тебя, отложи хоть до завтра; я до стану гдѣ-нибудь, заплачу тебѣ.

— Ну, какъ-же можно! горячился въ свою очередь еврей, — вы все завтра обѣщаете, когда же ваши завтра будутъ сегодня?

— Откуда я возьму, когда у меня нѣтъ сегодня? Пойми ты, — нѣтъ! кричалъ ему подъ самое ухо Ветрищевъ.

Бишка разгуливалъ по комнатамъ и считалъ стулья, столы, диваны, шупалъ ковры, но, подойдя къ зеркалу, — вдругъ закричалъ:

— Ай, вай, разбито! — кто-жь его разбилъ?

— Тебѣ какое дѣло?

Приставъ, привывшій къ подобнымъ сценамъ, спокойно усѣлся за столъ и, вынувъ изъ портфеля бланки описей, разложилъ ихъ предъ собою.

— № первый, началъ онъ, — письменный столъ, рѣзной, чернаго дерева; во что вы его цѣните?

— Три рубля, торопливо отвѣчалъ еврей, подбѣгая къ столу.

— Позвольте, остановилъ Ветрищевъ. Онъ опять исчезъ и, вернувшись, отозвалъ еврея къ окну. Онъ держалъ одну руку въ карманѣ халата и, плотно сжавъ въ ней сторублевую бумажку, накануне занятую у пріятеля, показавъ жида одинъ уголокъ ея.

— Хочешь? шепнулъ онъ ему.

Еврей, увидѣвъ радужную, ринулся на нее, но Ветрищевъ сбавлявъ вольтъ, спряталъ бумажку. Они горячо стали спорить между собою и шептаться. Бишка ежился, корчился и дѣлалъ страшныя гримасы; Ветрищевъ сильно жестикулировалъ, чуть не попадая руками ему въ лицо; приставъ зѣвалъ и потягивался, сидя на креслѣ у письменнаго стола.

— Пишите вексель на двѣсти рублей, сказалъ громко еврей.

— Какой тебѣ вексель?

— Ахъ, какъ-же можно безъ вексель!

— На что тебѣ вексель? Ты деньгами получаешь проценты.

— А неустойка?

— Разбойникъ! Десять процентовъ въ мѣсяць лупить, да еще неустойку!.. Господинъ приставъ, будьте вы свидѣтелемъ.

— Ваше благородіе, пишите опись; вотъ стулъ здѣсь, кресла, зеркаль... ай, ай зеркаль разбито!

— Все одинъ чортъ!, воскликнулъ Ветрищевъ, — давай бумагу... есть у тебя съ собой?

— Завсегда есть, отвѣчалъ еврей. вынимая изъ кармана вексельный бланкъ.

Дмитрій Николаевичъ однимъ махомъ написалъ вексель и бросилъ его еврею виѣсть съ радужной.

— Проваливай! и чтобы духу твоего здѣсь не было... слышишь-ли ты?.. Чтобъ два мѣсяца ты мнѣ и на улицѣ не попадался.

— Убей меня Богъ! клялся еврей, ежась и направляясь къ двери. Но Ветрищевъ остановилъ его:

— Постой, постой, а пятьдесятъ рублей, — ты тоже слопалъ? Отдай назадъ, у меня ни гроша не осталось.

— Убей меня Богъ, повторялъ еврей, нарова улизнуть въ дверь.

— Бишка, отдай, какъ тебѣ не стыдно! и онъ схватилъ его за фалды. Но Бишка ловко вывернулся и исчезъ за дверью...

За нимъ вышелъ и судебный приставъ, вѣжливо раскланявшись съ Ветрищевымъ.

Дмитрій Николаевичъ упалъ на стулъ въ изнеможеніи.

Максимъ опять вошелъ въ комнату.

— Дмитрій Николаевичъ, тамъ извозчикъ пришелъ, что съ вами ѣздить, — требуетъ денегъ.

— Ну его къ дьяволу!

— Управляющій приходилъ вчера, говорилъ, отъ квартиры откажутъ; хозяинъ, говоритъ, приказали къ мировому подать.

— А ты скажи ему, что онъ подлецъ!

— Счетъ утромъ приносили отъ портвого, продолжалъ докладывать Максимъ, — и изъ булочной по книжкѣ требуютъ.

— Ахъ, братецъ, какой ты... присталъ ко мнѣ со своими счетами!.. Ну, нѣтъ у меня денегъ... вѣдь ты знаешь... ну откуда я возьму, — родить, что-ли?

— Слушаю-сь.

Максимъ ушелъ. Дмитрій Николаевичъ опять задумался. «Откуда въ самомъ дѣлѣ взять денегъ? Откуда взять?» повторялъ онъ, ероша себѣ волосы. Нѣтъ ни копѣйки, а тутъ еще букетъ онъ обѣщалъ прислать той самой плѣнительной брюнеткѣ, которая всю ночь не давала ему покою. «Вотъ тебѣ и букетъ! — Жиду его преподнесъ». Въ эту минуту онъ увидѣлъ на столѣ записочку, которую до сихъ поръ, за хлопотами, не замѣтилъ. Сердце его екнуло. «Отъ Тани... такъ и есть!» Онъ быстро открылъ записочку; въ ней было всего нѣсколько словъ:

«Любочка сильно захворала. Пріѣзжай скорѣй; пришли съ Анисейю хоть три рубля.

Таня».

— Три рубля! Откуда я возьму? Жидъ проклятый все до копѣйки слопалъ. — Онъ сталъ шарить по карманамъ и ящичкамъ, вывернулъ бумажникъ, вытряхнулъ портмоне, — сорокъ копѣекъ только и оказалось.

— Максимъ! позваль онъ.

Максимъ явился.

— Нѣтъ-ли у тебя трехъ рублей? я отдамъ вечеромъ.

— Никакъ нѣтъ-сь, самъ хотѣлъ просить у васъ.

— Тамъ, въ кухнѣ, дожидается кто нибудь?

— Дождидаетъ Анисья.

— Ну, скажи, чтобъ не дожидалась, я самъ пріѣду.

— Слушаю-сь.

Дмитрій Николаевичъ пошелъ одѣваться. Процедура эта была довольно сложная. Онъ мылся сначала „на-черно“, потомъ приступалъ къ длинной операціи чистки и полированія ногтей, затѣмъ расчесывалъ свои густые волосы и бакенбарды, и, наконецъ, мылся «на-бѣло». Это былъ первый періодъ; затѣмъ наступалъ второй: онъ начиналъ медленно облачаться въ разныя принадлежности костюма, примѣрять галстуки, расчесывать проборъ на затылкѣ, душился, помадился и т. д. Въ промежуткахъ онъ пилъ кофе и курилъ дорогія гаванскія сигары. Но въ этотъ злополучный день ему не суждено было выполнить въ должномъ порядкѣ всю процедуру. Только что онъ вымылся на-черно, какъ въ передней раздался звонокъ, и Максимъ доложилъ, что пріѣхалъ Ѳеодоръ Ивановичъ. Ѳеодоръ Ивановичъ былъ докторъ и нужный человекъ, а для Ветрищева въ особенности, такъ какъ онъ часто у него кредитовался. Онъ былъ добрый нѣмецъ, длинный и сухой, съ короткими волосами, торчащими на головѣ, какъ щетина, съ золотыми очками на носу и постоянно открытымъ ртомъ. Одѣтъ онъ былъ въ военный докторскій сюртукъ, всегда застегнутый доверху, очень скверно говорилъ по-русски и заикался, когда входилъ въ азартъ. Ѳеодоръ Ивановичъ былъ связанъ особыми узами съ семействомъ Ветрищевыхъ: его старшая сестра, почтенная Шарлотта Ивановна, всю жизнь свою прожила гувернанткой у нихъ въ домѣ и воспитала всѣхъ дѣтей Ветрищевыхъ, въ томъ числѣ и Дмитрія, бывшаго ея любимцемъ. Въ настоящее время она жила въ деревнѣ, вмѣстѣ съ сестрою Дмитрія, Ольгою.

— Ви получилъ письмо? спросилъ Ѳеодоръ Ивановичъ, торпливо входя въ комнату и здороваясь съ Дмитриемъ.

— Какое письмо?

— Отъ Шарлотты Ивановны.

— Ахъ, да, получилъ, отвѣчалъ Дмитрій, нѣсколько сконфузившись.

Письмо заключало въ себѣ самыя настоятельныя просьбы о высылкѣ денегъ сестрѣ Ольгѣ, которой онъ обязался выплатить нѣсколько тысячъ послѣ раздѣла наслѣдства. Но онъ не платилъ даже процентовъ, не отвѣчалъ на письма сестры, хотя зналъ хорошо, что она терпитъ нужду. Онъ мучился этимъ, конечно упрекалъ себя, но денегъ все-таки не высылалъ. На-

конецъ, Шарлотта Ивановна вмѣшалась въ дѣло и написала сама своему любимцу трогательное посланіе, начинавшееся фразою: «Mein lieber Митинька, wie grausam bist du aber» и кончавшееся слезною мольбою выслать денегъ Олѣ. Она написала сверхъ того и своему брату доктору, прося его свидѣться съ Митинькой и поговорить съ нимъ.

Федоръ Ивановичъ рассказывалъ по комнатѣ.

— Ну, ви имъ деньги послали? Имъ очень нужно, ви сами знаете, — тамъ маленькія дѣти!

— Ничего не послалъ, милый Федоръ Ивановичъ... Да вы сядьте, мы поговоримъ объ этомъ спокойно.

Но Федоръ Ивановичъ не хотѣлъ садиться и не понималъ, какъ можно сидѣть спокойно, когда творятся такія дѣла.

— Mein Gott! воскликнулъ онъ въ негодованіи, — ну какъ же можно!

— Что-жъ тутъ дѣлать, нельзя-ли какъ-нибудь извернуться?

Федоръ Ивановичъ объявилъ, что онъ уже извернулся и самъ отъ себя послалъ денегъ въ деревню, чему Ветрищевъ несказанно обрадовался.

— Сколько вы послали? Ахъ, вы, благодѣтель! Пожалуй-ста, зачтите это долгомъ за мной, я отдамъ на дняхъ.

Но докторъ махнулъ рукой.

— Ви сами лучше посылайте... ну, сколько можете посылайте... Ви сами знаете, тамъ маленькія дѣти!

— Хорошо, хорошо, непременно.

Но въ сущности Дмитрій уже сдалъ въ архивъ это дѣло и сталъ думать, какъ-бы помочь Танѣ.

— Федоръ Ивановичъ, сказалъ онъ, — у бѣдной Тани дѣвочка очень больна, не заѣдете-ли вы къ ней?

Услышавъ эту новость, добрый нѣмецъ сильно встревожился и, забывъ о письмѣ Шарлотты Ивановны, сталъ тотчасъ-же прощаться.

— Куда вы? погодите, кофею напьемся.

— Нѣтъ, нѣтъ, какой тамъ кофе... Я сейчасъ къ Татьянѣ Васильевнѣ... Вы сами говорили, дѣвочка очень больна. Онъ взглянулъ украдкой на записочку Тани, оставшуюся открытою на столѣ, и, повторивъ два раза: «Mein Gott, mein Gott!» вышелъ въ переднюю.

— Федоръ Ивановичъ, остановилъ его Дмитрій уже въ передней, — нѣтъ-ли у васъ пятидесяти рублей до вечера?

— Нѣтъ, нѣтъ... прощайте.

— Скажите Танѣ, что я сейчасъ къ ней буду! кричалъ ему вслѣдъ Ветрицевъ.

— Хорошо, хорошо, отвѣчалъ докторъ, спускаясь съ лѣстницы.

Выйдя на улицу, онъ чуть не наткнулся на сани, подкачившія во весь махъ къ подъѣзду. Сани были запряжены сѣрымъ въ яблокахъ рысакомъ, отъ котораго парь такъ и валитъ; на козлахъ сидѣлъ толстый кучеръ, а изъ саней выпрыгнулъ молодой человекъ, одѣтый въ щегольскую соболью шубу, съ высокимъ цилиндромъ на головѣ. Онъ былъ маленькаго роста, на коротенькихъ ножкахъ, очень толстъ и неуклюжъ и такъ полонъ въ лицѣ, что румяныя щеки его выставлялись изъ подъ узкихъ полей новомодной шляпы и почти закрывали маленькіе глазки, придававшіе всему лицу его необыкновенно добродушное выраженіе.

Онъ быстро вбѣжалъ на лѣстницу, несмотря на свою толщину, и позвонилъ у дверей Ветрицева. Даже Максимъ обрадовался, при видѣ новаго посѣтителя, зная навѣрное, что получить красненькую, а Дмитрій Николаевичъ закричалъ и бросился обнимать его.

— Яша! ты-ли это?.. Самъ Богъ послалъ тебя!

Это былъ Яша Мордовцевъ, школьный товарищъ Ветрицева, добродушнѣйшій малый, котораго въ школѣ называли кочему-то «дурой», хотя онъ вовсе глупъ не былъ. Но прозвище «дура Яша» такъ и осталось за нимъ и по выходѣ изъ школы, въ тѣсномъ кружкѣ товарищей.

Его всѣ любили за доброту, веселый нравъ и туго набитый карманъ, всегда открытый для пріятелей.

Яковъ Александровичъ Мордовцевъ былъ одинъ изъ тѣхъ немногихъ счастливицевъ на свѣтѣ, которые родились, что называется, въ сорочкѣ. Еще отецъ его, богатый золотопромышленникъ, оставилъ ему большое состояніе, а по смерти отца стали помирать одинъ за другимъ дядюшки и тетюшки, и всѣ они, по неисповѣдимои волѣ судьбы, завѣщали Яшѣ свои богатства. Онъ то-и-дѣло ѣздилъ получать наслѣдства и не успѣвалъ получить одно, какъ уже другое видѣлось на горизонтѣ.

— Опять «дура» уѣхала деньги загребать, говорили его товарищи, — постой-же, мы подоимъ ее, когда она вернется.

И дѣйствительно, «дуру» дошли на всѣ лады. Какіе пиршества давались въ честь усопшихъ дядюшекъ и тетушекъ, какія поминки имъ справляли! Многіе лежали послѣ этихъ поминковъ по двое сутокъ безъ движенія, а одинъ даже померъ отъ воспаленія въ желудкѣ. — Но Яшу Мордовцева ничто не могло сокрушить; онъ былъ всегда румянь, здоровъ и веселъ, и жизнь его была однимъ непрерывнымъ праздникомъ.

— Какъ я радъ тебя видѣть, говорилъ Ветрищевъ, пожмая руки своему пріятелю, — мы соскучились безъ тебя. — Ну, садись, рассказывай, много-ли денегъ загребъ, и кого похоронилъ, тетушку или дядюшку?

— Нѣтъ, братъ, на этотъ разъ плохо, возразилъ, смѣясь, Мордовцевъ, — надули.

— Какъ надули?

— Да, надули. Телеграфируютъ: «тетушка Варвара Михайловна умираетъ; скорѣй пріѣзжай». — Я скачу, какъ угорѣлый, и чтожь-бы ты думалъ? Сама тетушка выходитъ ко мнѣ навстрѣчу.

— Воскресла?

— Воскресла, чудо совершилось; съ вечера ее соборовали, пріобщали, думали — къ утру отойдетъ съ миромъ, а она проснулась, да кофею попросила.

— Ну, что-жь ты?

— Ничего, разумѣется, виду не подалъ, разцѣловалъ ее, обнялъ, — «слава Богу, говорю, — тетушка дорогая, вы правились, много лѣтъ вамъ здравствовать»... Въ церковь мы съ ней ѣздили, молебенъ служили.

— Дрянь, значить, дѣло...

— Христь съ ней, пускай живетъ, мнѣ ея денегъ не нужно.

— Яша, началъ вкрадчивымъ тономъ Ветрищевъ, послѣ минутнаго молчанія, — не могъ-ли-бы ты помочь мнѣ? Я въ отчаянномъ положеніи.

Яша схватился за карманъ.

— Сколько нужно?

— Да рубликовъ двѣсти...

Мордовцевъ тотчасъ-же вручилъ ему двѣ сотенныя.

— Благодарю тебя, Яша, благодарю. Хочешь росписку?

— Попшелъ къ чорту!

— Ну, запиши за мной, я отдамъ на дняхъ.

— Ладно, а теперь ѣдемъ завтракать.

— Какъ завтракать?

— Да такъ, завтракать, къ Борелю.

— Я не могу, надо къ Танѣ заѣхать.

— Танюшка, душка! воскликнулъ Мордовцевъ съ одушевленіемъ.—Мы вмѣстѣ къ ней заѣдемъ, бонбоньерочку свеземъ. Но прежде завтракать, какъ ты себѣ хочешь,—не помирать-же мнѣ съ голоду изъ-за тебя.—Да, кстати: ты у меня сегодня вечеромъ,—всѣ наши будутъ.

— Какъ-же такъ? Вѣдь тетушка жива,—поминки по ней нельзя справлять...

— Мы за здоровье выпьемъ, еще лучше чѣмъ за упокой, за здравіе почтенной тетушки Варвары Михайловны. Пускай ее живетъ да галушки кушаетъ; страшная она охотница до галушекъ, и какія, Митя, у ней галушки, если-бы ты зналъ,—объяденье, престо!

Получивъ деньги, Ветрищевъ разомъ повеселѣлъ и сталъ рассказывать Яшѣ, смѣясь надъ самимъ собою, какъ жидъ чуть не слопалъ его.

— Къ чорту жидъ! воскликнулъ Мордовцевъ,—одѣвайся!

— Знаешь что, ты лучше поѣзжай одинъ впередъ, а я сейчасъ за тобой, только къ Танѣ на минуту заѣду.

— Врешь, улизнешь, одѣвайся!

Ветрищевъ попробовалъ отговориться, но Яша рѣшительно объявилъ, что одинъ не поѣдетъ.

— Другъ ты мнѣ, или недругъ? спросилъ онъ категорически.

— Другъ, отвѣчалъ Ветрищевъ, ощущая въ карманѣ только что полученные деньги.

— Ну, если другъ, такъ ѣдемъ къ Борелю.

Дмитрій Николаевичъ Ветрищевъ былъ потомокъ стариннаго дворянскаго рода, когда-то богатаго. Отецъ его, заслуженный военный генералъ, поддерживалъ еще свое «дворянское достоинство», благодаря крѣпостному праву и получаемымъ отъ казны пенсіямъ, арендамъ и пр. Но со смертію его, всѣ эти источники изсякли, и дочь его Ольга, вышедшая замужъ за сосѣдняго помѣщика, но скоро овдовѣвшая, и сынъ, Дмитрій, остались съ весьма скудными средствами къ жизни. Тѣмъ не менѣе, послѣдній потомокъ славнаго рода

Ветрищевыхъ успѣлъ унаслѣдовать отъ своихъ предковъ любовь къ праздности и барскія привычки. Съ симъ наслѣдіемъ и небольшимъ, давно заложеннымъ, имѣньищемъ въ Калужской губерніи, онъ болтался по свѣту. Впрочемъ, онъ былъ добрый малый, неглупый, красивый, всегда одѣтый съ иголочки, и въ обществѣ считался тѣмъ, что называется un jeune homme accompli. Онъ кончилъ съ успѣхомъ курсъ наукъ въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведеній въ Петербургѣ, служилъ съ отличіемъ на гражданской службѣ, былъ принятъ въ лучшее общество и очень любимъ своими товарищами по школѣ и по службѣ. О немъ ходили слухи, будто въ жизни его былъ какой-то трогательный романъ, но слухи эти отнюдь не вредили ему, а напротивъ придавали еще болѣе шикъ. «Il a une petite, qui est charmante», говорили про него мужчины. Дамы морщились, но находили Ветрищева очень интереснымъ.

Героиня этого романа была та самая Татьяна, которую Мордовцевъ называлъ душкой Таничкой. Сирота, безъ роду и племени, она выросла въ домѣ Ветрищевыхъ, наполовину въ дѣвичьей, наполовину въ гостиной. Она училась урывками: съ барышней разнымъ наукамъ и искусствамъ,—съ горничными—рукодѣльямъ и шитью. Происхожденіе ея было покрыто мракомъ неизвѣстности. Слишкомъ двадцать лѣтъ тому назадъ, когда была еще жива мать Ветрищева и все семейство проживало въ наслѣдственной старинной усадьбѣ, Городищевѣ, въ темную осеннюю ночь, собаки подняли страшный лай у воротъ. Прибѣжавшіе на этотъ лай обходные нашли у самыхъ воротъ полумертвую женщину съ груднымъ ребенкомъ на рукахъ. Ее внесли въ людскую и доложили о случившемся барынѣ Марьѣ Дмитріевнѣ, которая не спала еще и усердно молилась на колѣняхъ предъ образами. Она поспѣшила на помощь умирающей, но всѣ старанія были тщетны, и несчастная женщина, поднятая у воротъ, умерла въ ту-же ночь, указавъ барынѣ рукою на ребенка и прошептавъ едва внятно имя «Таня».

Марья Дмитріевна была добрая женщина и вмѣстѣ суевѣрная: она сочла ребенка, чудесно ниспосланнаго ей, счастьемъ для дома и даромъ Божиимъ, оставила у себя и стала воспитывать. Но кто была мать—осталось неизвѣстнымъ,—бумагъ при ней никакихъ не нашлось и всѣ поиски остались тщет-

ными. По тонкимъ чертамъ лица и остаткамъ изорваннаго платья, можно было заключить, что она не изъ простаго званія, но и все тутъ,—болѣе ничего не узнали.

Покуда была жива Марья Дмитріевна, Танѣ жилось хорошо,—ее любила и ласкала добрая барыня. Но со смертію Марьи Дмитріевны все измѣнилось. Старый генераль, овдовѣвъ, сошелся съ какой-то актрисой, но когда она раззорила и бросила его, то переѣхалъ жить въ деревню, сталъ хворать, обрюзгъ и, махнувъ на все рукой, предоставилъ хозяйство старостѣ Никитѣ, а воспитаніе дѣтей—Шарлоттѣ Ивановнѣ, гувернанткѣ-нѣмкѣ, давно жившей въ домѣ. Дѣтей было трое: Митинька, Ольга и сирота Таня. Изъ нихъ Шарлотта Ивановна любила больше всѣхъ Митиньку, за его красоту. Съ годами онъ сталъ вытягиваться въ стройнаго, красиваго юношу, съ большими голубыми глазами и темно-русыми кудрями. Его отдали сначала въ пансіонъ, а потомъ въ казенное заведеніе въ Петербургъ, и онъ пріѣзжалъ домой, въ деревню, только на каникулы, когда распускались липы въ старомъ городищевскомъ саду, соловьи щелкали въ сосѣдней рошѣ и дышала веселымъ праздникомъ вся окрестная природа. Счастливые это были дни для Митиньки: онъ вспоминалъ ихъ потомъ всю жизнь.

Пріѣздъ его былъ общеою радостью: дѣвочки прыгали и даже визжали, Шарлотта Ивановна надѣвала новыи чепецъ и цѣлый день суетилась и хлопотала, какъ-бы накормить получше своего любимца; старая няня, Маланья, проливала надъ нимъ слезы умиленія, и даже самъ генераль нѣсколько оживалъ съ пріѣздомъ сына, гладилъ его по головкѣ и не останавливалъ ни въ какихъ шалостяхъ, какія-бы ни затѣвалъ сыночекъ. А шалостей затѣвалось многое множество. Шарлотта Ивановна приходила отъ нихъ въ ужасъ, но Митинька не обращалъ на нее ни малѣйшаго вниманія и продолжалъ кружиться въ вихрѣ упоенія который успокоивался только тогда, когда наступала осень и мальчика увозили обратно въ школу, напутствуемаго пирогами, вареньями, слезами и благословеніями всѣхъ остающихся.

На Таню сначала никто не обращалъ вниманія. Она была дурнушкой,—худенькая, черненькая; но на шестнадцатомъ году вдругъ стала расти и хорошѣть: станъ, руки, плечи округли-

лись, стали гибкими и стройными, черныя косы сдѣлались гуще и длиннѣе, а большіе, глубокіе глаза ярко заблестѣли.

Дмитрій не узналъ ея, когда пріѣхалъ на слѣдующее лѣто въ деревню. Онъ хотѣлъ, по обыкновенію, обнять ее, но, увидѣвъ предъ собою стройную, высокую дѣвушку, смутился и отступилъ назадъ. Таня, которая въ душѣ осталась тѣмъ-же ребенкомъ, расхохоталась и сама, бросившись къ нему на шею, расцѣловала его въ обѣ щеки.

Все лѣто они были неразлучны. Въ концѣ августа, прощаясь со всѣми, Дмитрій вдругъ зарыдалъ неудержимо, какъ малый ребенокъ, и, вскочивъ въ тарантасъ, бросился на подушки и долго дорогою плакалъ, закрывъ лицо руками. А Таня, когда тарантасъ его скрылся изъ виду, почувствовала, какъ у ней отъ сердца словно оторвалось что-то, и долго не могла понять, что съ нею творится и о чемъ она такъ тоскуетъ.

Къ слѣдующему лѣту Татьяна стала еще краше и милѣе, а Дмитрій совсѣмъ выросъ и возмужалъ. Молодые люди сначала дичились другъ друга, но ледъ быстро стаялъ подъ горячими лучами Таниныхъ глазъ, и веселая жизнь пошла по-прежнему, съ примѣсю къ ней новыхъ сладкихъ ощущеній, порывовъ безпричинной грусти и частыхъ прогулокъ вдвоемъ, по темной липовой аллеѣ въ старомъ саду.

Въ это лѣто пріѣхалъ въ Городищево меньшей братъ Шарлотты Ивановны, «der liebe Оединька», какъ его тогда называли,—превратившійся впоследствии въ Оедора Ивановича, того самого Оедора Ивановича, котораго мы встрѣтили въ квартирѣ у Дмитрія Ветрищева, въ первый день нашего знакомства съ нимъ. Онъ былъ и тогда уже худымъ и длиннымъ нѣмецемъ, носилъ очки, еще хуже говорилъ по-русски, но вмѣсто военной докторской фуражки надѣвалъ на голову цвѣтную, съ позументомъ, шапочку студентовъ Дерптскаго университета, въ которомъ учился медицинѣ. Оединька сразу влюбился въ Таню, какъ только увидѣлъ ее, влюбился чистѣйшею платоническою любовью, и навсегда! Онъ бродилъ по цѣлымъ днямъ около предмета своей страсти, вздыхалъ и даже преподнесъ ей нѣмецкіе стихи, которые сочинилъ ночью, при лунномъ свѣтѣ, обливаясь слезами. Молодежь тотчасъ замѣтила его слабость, стала трунить надъ нимъ и подымать на смѣхъ. Смѣялась и сама Татьяна, но это не мѣшало ей слегка кокет-

ничать съ нимъ. Бѣдный юноша истаялъ совсѣмъ, похуѣлъ еще болѣе и, наконецъ, не вытерпѣлъ, открылъ свою тайну Шарлоттѣ Ивановнѣ, объявивъ ей, что рѣшился жениться на Таничкѣ, что она его Schatz auf immer, и просилъ содѣйствія старшей сестры въ приобрѣтеніи этого клада въ собственность.

— Ja, ja, mein lieber Оединька, говорила растроганная Шарлотта Ивановна, — но ты долженъ сперва учиться.

И Оединька усердно штудировалъ латынь и медицину, нѣдвѣясь завоевать чрезъ ихъ посредство свою красавицу.

Дмитрій смотрѣлъ свысока на этого соперника и не считалъ его вовсе опаснымъ, — но когда, въ это-же лѣто, сталъ ѣздить въ домъ сосѣдъ помѣщикъ, человѣкъ съ хорошими средствами, уважаемый въ уѣздѣ, и вдругъ сдѣлалъ предложеніе Татьянѣ, то Дмитрій потерялъ голову и вышелъ изъ себя. Къ счастью, Таня отказала жениху, и онъ успокоился.

Въ тотъ-же вечеръ Дмитрій и Татьяна гуляли одни въ саду, въ липовой аллеѣ, и зашли далеко отъ дому, въ самую глушь сада. Въ аллеѣ было совсѣмъ темно, небо заволочло тучами, въ воздухѣ жарко и душно; Дмитрій усадилъ свою спутницу на скамейку подъ старыми липами и самъ сѣлъ возлѣ нее.

— Знаешь-ли, Таня, что-бы я сдѣлалъ, если-бы ты пошла за него?

Таня, конечно, не знала.

— Я-бы... я-бъ убилъ его и себя... утопился-бы въ озерѣ.

Татьяна молчала. Дмитрій взялъ ее за руку. Онъ чувствовалъ, какъ рука ея дрожить въ его рукѣ и какъ собственное сердце его стучить въ груди, бьется и рвется наружу.

— Таня, Таня! воскликнулъ онъ, покрывая ея руки поцѣлуями: — неужели ты не любишь меня? Неужели ты могла-бы любить другого? Нѣтъ, я не отдамъ тебя, не отдамъ никому, ты моя, моя!..

И онъ клялся вѣчно любить ее, посвятить ей всю жизнь свою, плакалъ и обнималъ ея колѣни. Татьяна чувствовала на своихъ рукахъ его горячія слезы и, не помня себя, забывъ все на свѣтѣ, склонилась надъ нимъ и прижала его голову къ своей груди.

Вѣтеръ зашумѣлъ въ деревьяхъ, разогналъ тучи на небѣ, и мѣсяцъ освѣтилъ серебристымъ свѣтомъ край озера, виднѣв-

шійся изъ сада. Старыя липы покачали своими кудрявыми головами, пошептались между собою, вспоминая былое, и обсыпали душистыми мелкими цвѣтами вск скамейку, прислоненную къ ихъ старымъ стволамъ.

Если Дмитрій смотрѣлъ свысока на Ѳединьку, не считая его опаснымъ соперникомъ, — то не такъ относился къ нему самъ Ѳединька; онъ ревновалъ его страшно къ Татьянѣ, и влюбленное сердце его чуяло горе. Но онъ молчалъ и не высказывалъ никому своихъ опасеній, а Шарлотта Ивановна ничего не видѣла, не подозрѣвала и предоставляла молодымъ людямъ полную свободу.

Такъ проходили дни, счастливые, веселые дни! Разъ какъ-то, въ исходѣ лѣта, вся семья собралась въ лѣсъ, за грибами, и всѣ отправились туда въ длинной, огромной долгушкѣ, запряженной четверкой старыхъ буланыхъ коней. Шарлотта Ивановна забрала съ собою чулокъ и цѣлую корзину провизіи, Ѳединька — нѣмецкую книгу, Дмитрій ружье и лягавую собаку, а дѣвушки — корзины для грибовъ и смазливую горничную Машу.

Приѣхавъ въ лѣсъ, всѣ разбрелись. Дмитрій ушелъ въ соседнее болото стрѣлять куликовъ, Шарлотта Ивановна усѣлась подъ дубъ вязать чулокъ, а барышни и горничная пошли въ лѣсъ за грибами. Ѳединька шелъ по пятамъ за Татьяной и скоро очутился съ нею одинъ въ лѣсу. День былъ жаркій; Таня, любившая искать грибы, вся разгорѣлась, — глаза ея блестяли, щеки пылали, она отбросила назадъ свою соломенную шляпу, косы ея распустились, плечи и руки просвѣчивали чрезъ кисею легкаго прозрачнаго платья. Влюбленный студентъ смотрѣлъ на нее и не могъ насмотрѣться; сердце его усиленно билось, и, не помня себя отъ волненія, онъ вдругъ подошелъ къ ней и схватилъ за обѣ руки.

— Таня, Таничка, произнесъ онъ задыхаясь, — я люблю васъ, будьте вы моей женой! Онъ произнесъ эти слова заикаясь, слезы катились у него изъ глазъ; онъ обхватилъ ее рукою за талью и прикоснулся губами къ плечу. Таня не рассердилась, она отвела его руку, но оставила въ своей рукѣ и, глядя ему прямо въ глаза, тихо и спокойно сказала:

— Ѳедоръ Ивановичъ, добрый, милый, забудьте меня, я люблю другого.

Ея словъ, ея милого голоса и взгляда Ѳедоръ Ивановичъ

не забылъ потомъ никогда. Онъ застоналъ, закрылъ лицо руками и побѣжалъ по лѣсу, не зная самъ куда.

Звонкій хохотъ, раздавшійся въ двухъ шагахъ отъ него, заставилъ его опомниться: прямо передъ нимъ, за толстымъ стволомъ, Дмитрій Ветрищевъ страстно обнималъ и цѣловалъ горничную Машу, которая хохотала и слабо защищалась. Цѣломудренный нѣмецъ остановился, какъ вкопанный, но, удивившись, что его не замѣтили, круто повернулъ назадъ и зашагалъ по лѣсу, сгорая отъ стыда и волненія.

— O, Gott, o, Gott! повторялъ онъ громко, — diese Unschuld, diese heilige Liebe, — und nun diese Masha!

Онъ тяжело дышалъ, потъ градомъ катился съ его лица, и онъ вытиралъ его мокрымъ отъ слезъ платкомъ.

— Я скажу ей, открою все, — онъ не любитъ ее, такъ нельзя любить... онъ обманетъ ее и погубитъ!

Но честная натура Федора Ивановича не позволила ему ничего сказать; онъ только не въ силахъ былъ выносить долѣе своихъ мученій и уѣхалъ черезъ нѣсколько дней изъ Городищева.

Еще до отъѣзда Дмитрія изъ деревни было порѣшено, что онъ обвиняется съ Таней, какъ только окончитъ курсъ и поступитъ на службу. Что будетъ далѣе—молодые люди не думали объ этомъ, упоенные счастьемъ и мечтами первой любви.

Всю зиму шла между ними горячая переписка чрезъ посредство сестры Ольги, посвященной въ тайну, а весною молодой Ветрищевъ окончилъ курсъ и былъ зачисленъ на службу. Онъ явился въ деревню торжествующій, счастливый, одѣтый съ иголки, и былъ привѣтствованъ въ своей семьѣ и между сосѣдними помѣщиками какъ герой-побѣдитель.

Но о свадьбѣ его не могло быть и рѣчи. Надо было сказать отцу, а старый генералъ совсѣмъ захирѣлъ и дышалъ на ладонь; его боялись убить этимъ извѣстиемъ и рѣшили отложить свадьбу до его кончины. Между тѣмъ Дмитрій и Таня были совсѣмъ какъ женихъ съ невѣстой, и въ тайну была посвящена даже Шарлотта Ивановна. Она сперва поахала и поохала о своемъ бѣдномъ Оединькѣ, но скоро успокоилась и предоставила молодымъ людямъ полную свободу. Они по цѣлымъ днямъ бывали вмѣстѣ и часто пропадали изъ дому, а по вечерамъ прогулки въ темной липовой аллеѣ продолжались

далеко за полночь. Дмитрій все болѣе и болѣе любилъ свою невѣсту.

Онъ похудѣлъ, часто задумывался и глаза его горѣли недобрымъ блескомъ. Татьяна начинала бояться его; она убѣгала отъ него и запиралась въ своей комнатѣ. Но Дмитрій всегда успѣвалъ выпросить себѣ прощеніе, и сердце бѣдной Тани таяло какъ воскъ подъ его горячими поцѣлуями.

Однажды, поздно вечеромъ, Таня прибѣжала изъ сада одна и упала на ступени балкона. Она была страшно блѣдна и дрожала какъ листъ; глаза ея горѣли, губы шептали что-то невнятное. Если-бы кто увидѣлъ ее въ эту минуту, подумалъ-бы, что она въ бреду или въ горячкѣ; къ счастію, ее никто не видалъ и, шатаясь, держась за перила, она поднялась вверхъ по лѣстницѣ, заперлась въ своей комнатѣ и бросилась на кровать, истерически рыдая.

Къ утру она уснула, въ изнеможеніи, не раздѣваясь. Весь слѣдующій день Таня прохворала и не сходила внизъ, но на третій день встала, повидимому здоровая, только похудѣла немного.

Осенью Дмитрій уѣхалъ, а Таня, оставшись одна, стала страшно тосковать. Скоро къ тоскѣ ея примѣшалось новое горе: она чувствовала, что съ ней творится что-то недоброе; она осунулась и измѣнилась въ лицѣ, по утрамъ ее тошнило, всѣ платья стали узки, и она задыхалась въ нихъ. Она страшно перепугалась, убѣгала изъ дому, стараясь скрыться отъ всѣхъ, и горячо молилась на старомъ кладбищѣ, на могилѣ своей матери. Она молилась, чтобы Богъ прибралъ ее скорѣе, чтобъ она могла лечь тутъ-же, у могилы, и скрыть въ землѣ сырой свой стыдъ и горе. Ее нашли однажды на кладбищѣ, безъ чувствъ, принесли домой и послали за докторомъ. Старикъ докторъ осмотрѣлъ ее, выслушалъ, разспросилъ и только покачалъ головою. Онъ увелъ въ другую комнату Шарлотту Ивановну и что-то шепнулъ ей на ухо. Шарлотта Ивановна обомлѣла:

— Um Gottes Willen, es kann nicht sein!

— Es ist aber, отвѣчалъ съ улыбкой докторъ. И онъ уѣхалъ, сказавъ, что лекарство никакихъ не надо, и общалъ сохранить глубокую тайну. Когда Шарлотта Ивановна вернулась къ больной, Таня поняла тотчасъ-же, что она все знаетъ.

— O du undankbares, verdorbenes Mädchen, начала тор-

жественно свою рѣчь старая гувернантка... Но Таня вскочила съ постели и стала наскоро одѣваться.

— Куда ты?

— Пустите, я уйду! и, полураздѣтая, она бросилась къ двери, но не могла идти и упала на поць.

Шарлотта Ивановна затряслась вся и подбородокъ у ней задергался. Татьяна, сидя на полу, глядѣла на нее своими большими темными глазами съ такой мольбой и отчаяніемъ, что добрая нѣмка зарыдала, забыла о всякихъ правоученіяхъ, прижала ее къ своей изсохшей груди и поклялась быть ей вѣрнымъ другомъ и второю матерью.

И она сдержала слово: она окружила ее неусыпными заботами и ласками и выписала Митиньку въ деревню, подъ предлогомъ болѣзни отца.

Дмитрій былъ пораженъ: онъ не ожидалъ такой скорой развязки. Собственная совѣсть и старая гувернантка горько упрекали его. Но онъ скоро утѣшился, порѣшивъ, что судьба во всемъ виновата, и что онъ все искупить, женившись на Танѣ, что подтвердилъ торжественною клятвой.

II.

Прошло нѣсколько лѣтъ. Старикъ Ветрищевъ умеръ. Старая усадьба, вмѣстѣ со своимъ садомъ и завѣтною липовою аллею, пошла съ молотка. Молодые птенцы изъ этого гнѣзда поразлетѣлись: Ольга, вышедшая замужъ, но овдовѣвшая, жила съ дѣтьми своими и Шарлоттой Ивановной въ усадьбѣ покойнаго мужа и мыкала тяжелое горе. Дмитрій дѣлалъ долги и возился съ кредиторами въ Петербургѣ; а Татьяна воспитывала свою дочку, Любочку, прелестнаго ребенка, котораго она любила съ какимъ-то отчаяніемъ.

Дмитрій не жилъ съ ними на одной квартирѣ, считая это неприличнымъ до свадьбы, а свадьбу все откладывалъ подъ разными предлогами.

— Погоди, говорилъ онъ Танѣ,—я скоро получу хорошее мѣсто, продамъ калужское имѣніе, раздѣлаюсь съ долгами, мы уйдемъ съ тобою въ глушь и будемъ счастливы.

Завѣтная глушь эта часто снилась во снѣ Татьянѣ. Ей грезились счастливый уголокъ, гдѣ-то тамъ, далеко, она и сама не знала гдѣ,—въ уголкѣ этомъ домикъ маленькій, съ большимъ

тѣнистымъ садомъ, а въ саду Дмитрій и Любочка, въ видѣ райскихъ птичекъ, и она сама—счастливая парица этого рая. Но увы! рай былъ только во снѣ, а на яву она жила въ Колокольной улицѣ, на дворѣ, въ третьемъ этажѣ, и занимала двѣ маленькія комнаты отъ жильцовъ. Сперва у ней квартира была на улицу, нарядная и просторная, но она сама переѣхала ее, въ виду финансовыхъ затрудненій, а Дмитрій, хотя и протестовалъ противъ этой переѣзны, сердился и горячился, но другой квартиры не нанялъ и даже на этой забывалъ часто уплачивать въ срокъ хозяйкѣ. Самъ онъ жилъ въ Милліонной, въ нарядныхъ комнатахъ, вертѣлся въ обществѣ, сорилъ деньгами по старой привычкѣ и былъ въ долгу, какъ въ шелку. Онъ, конечно, сознавалъ всю тяжкую вину свою передъ Таней, горько упрекалъ себя и имѣлъ непоколебимое намѣреніе жениться на ней и узаконить милую Любочку, свою маленькую дочурку, которую онъ любилъ горячо; но это нисколько не мѣшало ему усердно ухаживать за одною богатою вдовою съ томнымъ взоромъ и чудесными плечами.

Къ счастью, Татьяна не подозрѣвала объ этомъ. Но и безъ новаго горя, жизнь ея была не веселая: Ветрищевъ часто забывалъ не только навѣщать ее, но и снабжать вовремя деньгами, и она терпѣла нужду, выбиваясь изъ силъ, чтобы заработать что-нибудь тайкомъ отъ Дмитрія, который не могъ переварить мысли, чтобы будущая М-ше Ветрищева брала шить платья за деньги. Она вела затворническую жизнь и никого не видѣла, кромѣ двухъ-трехъ близкихъ друзей Ветрищева, въ числѣ которыхъ первое мѣсто занималъ Мордочевъ. Онъ былъ большой пріятель не только съ Татьяной, но и съ Любочкой, игралъ съ ней, сидя на полу, по цѣлымъ часамъ, и задаривалъ куклами и дорогими игрушками. Таню навѣщала еще квартирная ея хозяйка, вдова Чепурина, питавшая къ ней особую нѣжность, да забѣгала Маша, бывшая городищевская горничная, переселившаяся въ Петербургъ послѣ разгрома стараго гнѣзда.

Въ послѣднюю зиму, впрочемъ, жизнь Татьяны нѣсколько оживилась. Ее отыскалъ по письмамъ сестры старый ея обожатель, Ѳедоръ Ивановичъ, и сталъ у ней частымъ гостемъ. Ѳедоръ Ивановичъ пережилъ тяжелые дни, узнавъ о злополучной развязкѣ романа своей юности, и съ отчаянія женился въ Дерптѣ. Эмилія Карловна, его супруга, къ концу года пода-

рила мужа своего парой близнецовъ, нареченныхъ Фридрихомъ и Карломъ. Самъ Федоръ Ивановичъ былъ уже докторомъ медицины и, переведенный на службу въ Петербургъ, подъ покровительство одного важнаго доктора, тоже нѣмца, успѣлъ въ короткое время составить себѣ хорошую практику. Сочетавшись законнымъ бракомъ, онъ считалъ уже преступленіемъ думать о какой-либо другой женщинѣ, кромѣ своей жены, но сердце не слушалось его и, какъ только онъ увидѣлъ вновь Татьяну, загорѣлось прежней къ ней любовью. Впрочемъ, онъ велъ себя безукоризненно, такъ безукоризненно, что не только сама Таня, но и добрая Эмилія Карловна ничего не подозрѣвала и, познакомившись со своею соперницей, очень полюбила ее и часто увозила къ себѣ на цѣлые дни, вмѣстѣ съ Любочкой.

Татьяна сидѣла у постельки больного ребенка, обхвативъ его обѣими руками. Дѣвочка кашляла, хрипѣла и задыхалась. Неопытная мать думала, что ребенокъ умираетъ.

Она ломала себѣ руки и не знала, что ей дѣлать: въ домѣ не было ни гроша, даже за лекарствомъ послать не на что, Дмитрій не ѣхалъ, Федора Ивановича дома не было, бѣгали за другимъ докторомъ, но и его не застали.

— Боже мой, думала Таня, — она умретъ, зачѣмъ мнѣ жить тогда? — Помогите, помогите! вдругъ закричала она въ полномъ отчаяніи, — неужели никто не придетъ ко мнѣ?

Въ эту минуту дверь тихонько отворилась, и въ нее просунулась рыжая голова Федора Ивановича, съ обстриженными щетинистыми волосами и золотыми очками на носу. Таня вскоčila и бросилась къ нему.

— Она умираетъ!

— Um Gottes Willen, Татьяна Васильевна!

И докторъ, подойдя къ больному ребенку, осмотрѣлъ его съ ногъ до головы, выслушалъ, измѣрилъ температуру и категорически объявилъ, что опасности нѣтъ ни малѣйшей и что «мила Любочка завтра-же будетъ здорова»!

Встревоженная мать, стоявшая возлѣ него, затаивъ дыханіе, глубоко вздохнула, опустила на стулъ и улыбнулась. Улыбка эта точно озарила свѣтомъ все ея лицо.

Подъ вліяніемъ средствъ, предписанныхъ докторомъ, маленькая больная скоро успокоилась и уснула, подложивъ рученку подъ щеку. А Татьяна совсѣмъ ожила. Она не успѣла

еще одѣться, когда дѣвочка захворала, и была въ утреннемъ капотѣ, красиво обрисовывавшемъ ея стройный станъ и высокую грудь; изъ подъ широкихъ рукавовъ капота виднѣлись обнаженные руки ея, точно выточенные изъ мрамора.

Федоръ Ивановичъ покосился на эти руки черезъ свои очки. Онъ схватился за фуражку и хотѣлъ бѣжать, но Таня, совсѣмъ повеселѣвшая, удержала его и стала рассказывать разныя разности, о томъ, какъ она была въ итальянской оперѣ, въ 4-мъ ярусѣ, съ Эмилией Карловной, и видѣла тамъ, съ высоты своей, Дмитрія, внизу, въ ложѣ бель-этажа съ молодой нарядною дамой.

— Кто эта дама, не знаете-ли вы? спросила она, какъ будто невзначай.

Но Федоръ Ивановичъ не зналъ.

Затѣмъ она стала говорить, какъ квартирная ея хозяйка, вдова Чепурина, все пристаётъ къ ней съ какимъ-то купцомъ Кудесниковымъ, который торговалъ пробками и нажилъ, будто бы, милліоны.

— Развѣ можно, Федоръ Ивановичъ, пробками милліоны нажить?

— Можно, очень можно, Татьяна Васильевна, но зачѣмъ она говорить вамъ такой вздоръ? что ей нужно?

— Богъ ее знаетъ... Такъ мнѣ надоѣла, увѣряетъ будто этотъ купецъ въ меня влюбился.

— Фу, фу, какая негодная.. вы ее прогоняйте.

— Нельзя прогонять, Федоръ Ивановичъ, — мы ей много должны. Она сама меня прогнать изъ квартиры, — куда я дѣнусь? Улыбка исчезла съ ея лица, она замолчала и опустила голову.

«Du agnes Kind», думалъ Федоръ Ивановичъ, снимая золотыя очки и поспѣшно протирая ихъ своимъ желтымъ шелковымъ фуляромъ.

— Федоръ Ивановичъ, заговорила опять Таня, поднимая на него свои большіе глаза, окаймленные длинными темными рѣсницами, — вы любите меня?

— Ну да, да, конечно, отвѣчалъ смущенный нѣмецъ.

— Не откажите мнѣ въ одной просьбѣ.

— Ну, was ist das?

— Достаньте мнѣ уроки; я крайне нуждаюсь въ деньгахъ, но не хочу жить на счетъ Дмитрія, не хочу быть ему въ тя-

гость. Да вотъ еще что: мнѣ предлагаютъ мѣсто закройщицы въ магазинѣ; я хочу взять, только Дмитрій, боюсь, не согласится,—помогите мнѣ уговорить его.

Растроганный Ѳедоръ Ивановичъ общалъ все, лишь-бы она успокоилась.

Прощаясь, онъ сказалъ, что заѣдетъ вечеромъ, и сунулъ ей сто рублей, будто-бы переданные ему Дмитриемъ, отъ котораго онъ прямо пріѣхалъ.

— А самъ онъ развѣ не будетъ?

— О, нѣтъ, сейчасъ пріѣдетъ.

Спускаясь съ лѣстницы, Ѳедоръ Ивановичъ размышлялъ о коловратности судьбы человѣческой и о томъ, какъ самъ онъ былъ-бы счастливъ, если-бы... но тутъ онъ сразу оборвалъ свои дальнѣйшія мечты и фантазіи, какъ отнюдь не подобающія отцу Фридриха и Карла и вѣрному супругу достойной Эмилии Карловны.

По уходѣ доктора, Таня одѣлась, причесалась и принялась за шитье платья, заказаннаго ей какой-то барыней. При этомъ она усѣлась такъ, чтобы видѣть, съ одной стороны, каждое движеніе Любочки, а съ другой—запрятать тотчасъ-же платье, какъ только Дмитрій позвонитъ. Но прежде чѣмъ онъ успѣлъ пріѣхать, въ дверь постучалась и въ комнату вошла женщина, уже пожилая, полная, въ бѣломъ чепцѣ, полиняломъ ситцевомъ капотѣ и съ старой пестрой турецкой шалью на плечахъ. Это была Анна Власьева Чепурина, квартирная хозяйка Татьяны.

Она усѣлась на диванъ и тотчасъ-же завела рѣчь о своемъ купцѣ Кудесниковѣ.

— Очень ужъ вы, милочка, ему понравились, говорила она,—безъ ума совсѣмъ мой Степанъ Ивановичъ; пристаесть ко мнѣ, покою не даетъ: познакомъ, да познакомъ.

Татьяна вспыхнула.

— Я ужъ просила васъ, Анна Власьева, не говорить со мной болѣе объ этомъ купцѣ...

— Напрасно, милочка, вы счастья своего не понимаете... И что ваша за жизнь такая: сидите по цѣлымъ днямъ одна, никого не видите, надсѣдаетесь надъ работою, а вамъ и работать не полагается.

— Это отчего?

— А оттого, что вы красавица.

— Какой вздор! Да если бы и была, то развѣ красавицы не работаютъ?

— Извѣстно, нѣтъ.

— Что-жъ онѣ дѣлаютъ?

— Рядятся, гуляютъ, катаются.

— Это богатыя, а бѣдныя?

— Бѣдныхъ красавицъ не бываетъ.

Таня замолчала и продолжала шить, желая отдѣлаться скорѣй отъ своей непрошенной гостьи. Но Анна Власьева опять заговорила:

— И все это онъ меня допрашиваетъ о Дмитрѣй Николаевичѣ.

— Кто васъ допрашиваетъ? сказала Татьяна, круто повернувшись къ ней и отложивъ въ сторону свою работу.

— Да все онъ, Степанъ Ивановичъ.

— О чемъ-же онъ допрашиваетъ?

— Да спрашивалъ, гдѣ служить Дмитрѣй Николаевичъ, есть-ли у него имѣніе или капиталъ какой?

— Зачѣмъ ему знать?

— Векселя, говорить, у него Ветрищевскіе есть,—ко высканію подать хочеть. Птичекъ этихъ Дмитрѣй Николаичъ много выпустилъ; пара, другая и къ Степану Иванычу въ карманъ залетѣла. Это онъ птичками векселя называетъ, милочка,—такой затѣйникъ, право.

Таня вскочила въ испугъ.

— Боже мой! Что вы говорите?

— Не я говорю, милочка, онъ говорить—Степанъ Ивановичъ.

— Ради Бога, Анна Власьева, скажите ему, чтобы онъ подождаль, — я предупрежу Дмитрѣя, онъ какъ-нибудь устроитъ.

«Ага! подумала Анна Власьева,—перепугалась! Погоди, душенька, я тебя еще не такъ пугну». И она стала рассказывать, какъ строгъ этотъ Степанъ Ивановичъ къ должникамъ,—чуть кто не платитъ, сейчасъ въ яму.

— Какъ въ яму? Что это значить? спросила совсѣмъ растерявшаяся Таня.

— А въ яму, душенька, это—значить въ долговое; это у насъ въ Москвѣ такъ называется.

Татьяна стала просить, чтобы она какъ-нибудь умилости-

вила своего страшнаго Будесникова, но Анна Власьевна наотрѣзъ отказала.

— Не берусь, милочка: за что не могу взяться — и не берусь; а вотъ вы сами его попросите, онъ сейчасъ и растаетъ, какъ воскъ растаетъ, одно слово.

— Я не могу просить...

— Ну, какъ знаете, душенька, это дѣло ваше. И Анна Власьевна встала, драпируясь въ свою турецкую шаль.

Не зная, что ей дѣлать, Татьяна вытащила изъ стола деньги, данныя ей Федоромъ Ивановичемъ и стала совать ихъ въ руку своей хозяйкѣ.

— Анна Власьевна, ради Бога, возьмите вотъ деньги... я получила, — возьмите за квартиру.

— И, что вы! Не надо! воскликнула Анна Власьевна, въ порывѣ великодушія. — Сочтемся!

И положивъ деньги настоль, она шепнула Танѣ на ухо:

— Вы визинчикомъ только пошевелите, — Степанъ Ивановичъ ничего не пожалѣетъ. — Приложивъ палецъ къ губамъ въ знакъ молчанія, она вышла.

Оставшись одна, Татьяна чуть не плакала. Она была внѣ себя отъ страха и негодованія. — До чего она дожила, — ей предлагаютъ продать себя... — А Дмитрій, — что съ нимъ будетъ? Его посадятъ въ яму!

«Зачѣмъ онъ дѣлаетъ долги?.. Это изъ-за меня... я не хочу! и она оттолкнула бумажки, оставленныя на столѣ Анной Власьевной, такъ что часть ихъ даже попадала на полъ.

Въ эту минуту раздался въ передней звонокъ, и будущій кандидатъ въ яму самъ явился, сопровождаемый Мордовцевымъ, нагруженнымъ разными корзинками и корзиночками, съ огромной куклой подъ мышкой.

Мордовцевъ расцѣловаль ручки Татьяны Васильевны, выгрузилъ на комодъ покупки и, прокравшись на цыпочкахъ въ комнату, гдѣ спала Любочка, поставилъ куклу въ уголь такъ, чтобы она могла увидѣть ее, какъ только проснется. Таня, не зная, что онъ вернулся, сильно ему обрадовалась и горячо благодарила за куклу и за всѣ лакомства.

— Вы насъ балуете, Яковъ Александровичъ, слишкомъ балуете; безъ васъ мы отъ этого отвыкли. Она спохватилась, что высказала упрекъ своему Дмитрію, — но Дмитрій молчалъ

и только косился на деньги, лежавшія на столѣ и упавшія на полъ.

Мордовцевъ оставался недолго и, рассказавъ Танѣ случай съ тетужкой Варварой Михайловной, сталъ прощаться.

Онъ опять расцѣловалъ ей ручки и, напомнивъ Дмитрію, что ждетъ его вечеромъ, уѣхалъ. Сходя внизъ по лѣстницѣ, онъ думалъ, какая душка эта Таничка и какой счастливецъ Ветрищевъ, вздохнулъ почему-то, сѣлъ въ сани и уватилъ на своемъ рысакѣ.

Какъ только дверь за Мордовцевымъ затворилась, Дмитрій быстро подошелъ къ столу и, поднимая бумажки съ полу, спросилъ у Тани:

— Откуда у тебя столько денегъ?

Татьяна посмотрѣла на него съ удивленіемъ.

— Какъ откуда? Ты самъ прислалъ мнѣ съ Федоромъ Ивановичемъ.

Ветрищевъ, на минуту растерявшійся, тотчасъ нашелся. Онъ хлопнулъ себя по лбу:

— Ахъ, въ самомъ дѣлѣ, какой я разсѣянный!

— Мнѣ не надо столько денегъ, возьми назадъ. Тебѣ самому нужно.

Перспектива забрать въ карманъ лежавшія на столѣ бумажки крайне улыбалась Ветрищеву; наличныя деньги были большимъ его мѣстомъ,—у него никогда ихъ не было. Изъ двухсотъ рублей, взятыхъ у Мордовцева, почти ничего уже не осталось: сорокъ рублей онъ заплатилъ за букетъ для своей брюнетки, тридцать выпросилъ у него Максимъ на самые неотложные расходы, сотню онъ отослалъ тотчасъ-же за карточный долгъ—«долгъ чести», какъ онъ считалъ его,—оставалось всего какихъ-нибудь тридцать рублей, которые надо было отдать Танѣ, оставивъ себѣ хоть что-нибудь на извозчика. И вдругъ, цѣлая сотня рублей!.. Конечно, ихъ надо отдать Федору Ивановичу, но ему можно отдать завтра, а вопросъ въ томъ, чтобы сегодня какъ-нибудь извернуться. Съ минуту онъ колебался, но добрыя чувства одержали въ немъ верхъ.

— Нѣтъ, сказалъ онъ,—не надо, оставь у себя.

Но Таня не соглашалась.

Она стала упрашивать его, совала ему деньги въ карманъ, обнимала и цѣловала его, увѣряя, что ей и десяти рублей довольно. Чтобъ не огорчить бѣдную Таню, Дмитрій

придумалъ среднюю мѣру. Онъ взялъ себѣ пятьдесятъ рублей, а пятьдесятъ остались у Татьяны.

Выйдя такимъ образомъ неожиданно благополучно изъ своихъ финансовыхъ затруднѣній, онъ сразу повеселѣлъ, обнялъ Таню и дотога вертѣлся около кровати Любочки, что разбудилъ ее. Она потянулась къ нему своими пухленькими рученками, но, увидѣвъ куклу въ углу, захлопала въ ладоши.

Дмитрій выхватилъ ее изъ постели, несмотря на протесты матери, и сталъ кружиться съ нею по комнатѣ, ласкать и цѣловать ее, называя самыми нѣжными именами; Любочка была въ восторгѣ; она хохотала, тербила его за бакенбарды, тянулась къ куклѣ, но вдругъ закашлялась, и Татьяна, вырвавъ ее изъ рукъ Дмитрія, уложила опять въ постель, тщательно укутала и положила вмѣстѣ съ нею новую куклу.

Убѣдившись такимъ образомъ, что все обстоитъ благополучно, Ветрицевъ схватился за шляпу и куда-то заторопился.

— Погоди, сказала Таня, — мнѣ надо съ тобой поговорить.

— Ну, говори, только скорѣй, — мнѣ некогда.

Онъ сѣлъ и закурилъ папиросу.

— Ты знаешь купца Кудесникова? спросила нѣсколько трагически Таня.

— Знаю, а тебѣ что?

— Мнѣ говорила о немъ Анна Власьева, хозяйка.

— Что-жь она говорила?

— Что у него векселя твои, и онъ посадить тебя въ яму.

Дмитрій смутился. Онъ зналъ Кудесникова за неумолимаго кредитора и слышалъ стороной, что онъ скупилъ за безцѣнокъ два-три его векселя, гулявшіе по рукамъ.

— Правда это, Дмитрій? спросила Таня.

— А тебѣ что? Терпѣть не могу, когда бабы мѣшаются не въ свои дѣла.

Таня опустила голову; неужели она была только баба, которая мѣшалась не въ свои дѣла, — она, отдавшая ему всю жизнь свою?

— Дмитрій, сказала она кротко, — ты не сердись... Анна Власьева меня напугала.

— Дура она, старая вѣдьма; надо перемѣнить квартиру.

— Мы много ей должны, надо заплатить прежде.

— Не твоё дѣло, заплачу.

— Нѣтъ, я не хочу, чтобъ ты изъ-за меня дѣлалъ долги;— отпусти меня, Дмитрій,—такъ жить долѣе нельзя.

— Ты съ ума сошла!..

— Нѣтъ, я говорю серьезно.

— Куда-жь ты пойдешь?

— Мнѣ предлагаютъ мѣсто закройщицы въ магазинѣ и берутъ меня съ Любочкой.

Дмитрій вышелъ изъ себя; онъ вскочилъ со стула, сталъ кричать и топтать ногами. Но Таня не уступала и объявила, что на этотъ разъ его не послушаетъ. Онъ сталъ просить ее, цѣловалъ ей руки; но и это не помогло,—Таня твердила, что не можетъ, не должна быть ему въ тягость и что она въ силахъ сама прокормить себя. Тогда Дмитрій Николаевичъ окончательно разсердился, наговорилъ Богъ знаетъ чего, нахлобучилъ шляпу на голову и вышелъ, даже не простившись съ Таней. Она старалась удержать его, упрашивала остаться и выслушать ее спокойно, но онъ объявилъ, что ему некогда, и уѣхалъ.

Оставшись одна, Татьяна принялась опять за работу, но чувство тоски и одиночества овладѣло ею. Она невольно стала думать о будущемъ, и оно представилось ей такимъ мрачнымъ, печальнымъ; завѣтный рай, обѣщанный Дмитриемъ, видѣлся ей въ такомъ далекомъ туманѣ, и сама она—одна, заброшенная, покинутая всѣми..

«Господи, какая тоска! думала она, «какъ время тянется, какъ-бы дожить до вечера,—вечеромъ Федоръ Ивановичъ обѣщаль пріѣхать;—онъ посидитъ со мной, добрый, милый Федоръ Ивановичъ!»

А Дмитрій, между тѣмъ, добѣжавъ на извозчикѣ до пассажа, пошелъ пѣшкомъ по Невскому. День былъ солнечный, погода теплая, и печальное расположеніе духа его скоро разсѣялось. Онъ бодро шелъ, раскланиваясь со знакомыми и, пройдя Невскій и Адмиралтейскую площадь, очутился на Англійской набережной.

Посмотрѣвъ на часы и убѣдясь, что уже около четырехъ, онъ вошелъ въ подъѣздъ большого барскаго дома, гдѣ швейцаръ привѣтствовалъ его, какъ знакомаго. Не спросивъ даже, дома-ли господа, Ветрищевъ поднялся по широкой лѣстницѣ,

устланной мягкимъ ковромъ, и прошелъ анфиладу парадныхъ комнатъ, предшествуемый высокимъ лакеемъ въ чулкахъ и башмакахъ. Дойдя до маленькой гостинной, заставленной цвѣтами и мягкой мебелью, онъ остановился, а лакей пошелъ доложить о немъ. Ветрищева, повидимому, ожидали; черезъ минуту выбѣжала нарядная, хорошенькая горничная, которая, улыбувшись ему, повела за собою и, поднявъ тяжелую портьеру, впустила въ изящный будуаръ, весь пропитанный какимъ-то тонкимъ ароматомъ и гдѣ яркій солнечный свѣтъ былъ заслоненъ шторами. На причудливой кушеткѣ полулежала въ будуарѣ молодая женщина, вся потонувшая въ кружевахъ и батистѣ.

— Я больна, никого не принимаю, но для васъ я всегда дома, сказала она, подавая Дмитрію руку, которую онъ поцѣловалъ. Рука была маленькая, съ длинными, тонкими пальцами, а изъ-подъ кружевъ и батиста бѣлаго пеньюара выставлялась крошечная ножка.

— Merci, прибавила хозяйка, указывая на стоявшій въ вазѣ букетъ, присланный ей утромъ Ветрищевымъ. Она потянулась къ букету, сорвала бѣлую розу и вложила ему цвѣтокъ въ бутоньерку. Онъ опять поцѣловалъ руку, но на этотъ разъ уже выше кисти, отодвинувъ браслетъ, который, какъ въ бархатномъ футлярѣ, лежалъ на нѣжной матовой кожѣ.

— Polisson! сказала она, улыбувшись, и погрозила ему пальцемъ. Улыбка эта обнажила два ряда самыхъ прелестныхъ зубовъ, изъ которыхъ, какъ говорили злые языки, не всѣ были даромъ природы. Эти злые языки увѣряли также, будто темныя брови ея и рѣсницы не всегда бывали одинаково темны, но мы убѣждены, что это была клевета.

Юлія Павловна, баронесса Вальденбергъ, была молодая вдова, вполне очаровательная. Ея красота, богатство, умъ и любезность обращали на себя общее вниманіе и дѣлали домъ ея однимъ изъ самыхъ пріятныхъ въ Петербургѣ. Она была невысокаго роста, но сложена прекрасно. Черты лица были правильны, но что особенно привлекало въ ней,—это ея плечи, чудесныя, смуглыя плечи, которыя свели съ ума цѣлую толпу обожателей, и въ томъ числѣ ея покойнаго барона, который женился на ней уже въ преклонныхъ лѣтахъ. Вдовѣла Юлія Павловна уже четвертый годъ.

Дмитрій Николаевичъ не помнилъ самъ, какъ все это случилось, но дѣло въ томъ, что, цѣлуя руку баронессы, онъ очутился передъ нею на колѣняхъ. Отъ рукъ ея, одежды и волосъ пахло раздражающими нервы духами, вѣяло тепломъ и женской прелестью, и онъ опянялъ совсѣмъ. Онъ чувствовалъ на щекѣ своей ея горячее дыханіе и, въ порывѣ нахлынувшей страсти, сжалъ ее въ своихъ объятіяхъ, и покрылъ лице ея и шею жаркими поцѣлуями. Молодая женщина вздрогнула всѣмъ тѣломъ, точно будто электрическая искра пробѣжала по ней, но тотчасъ опомнилась.

— *Voilà*, сказала она, быстро вставая съ кушетки, — *раз de bêtises*. Садитесь и будемъ говорить спокойно.

Но Дмитрій уже не могъ совладать съ собою, онъ полетѣлъ на всѣхъ парахъ, очертя голову, самъ не зная куда. Цѣлый потокъ пламенныхъ признаній полился изъ устъ его; онъ называлъ ее своимъ божествомъ и кумиромъ, клялся, что никогда никого не любилъ на свѣтѣ такъ, какъ любить ее!

— Вотъ и неправда, остановила его, лукаво улыбаясь, Юлія Павловна, — я знаю, что у васъ былъ романъ въ жизни и до сихъ поръ продолжается.

Но Дмитрій сталъ увѣрять ее, что романъ этотъ дѣтская шалость, — одна шалость и болѣе ничего! Онъ отрекся отъ своей бѣдной Тани и снова повторялъ свои клятвы.

— Послушайте, сказала Юлія Павловна, — я привыкла дѣлать все спокойно и обдуманно... Повѣрьте, если я приняла васъ здѣсь, одна, въ своемъ будуарѣ, если я слушаю васъ, — то... она остановилась и, положивъ ему руку на плечо, посмотрѣла прямо въ глаза.

— То? повторилъ Дмитрій, сгорая нетерпѣніемъ.

— То я знала, на что иду, и что могу отвѣчать вамъ. Но прежде я сама должна сдѣлать вамъ вопросъ. Вы свободны, Дмитрій Николаичъ?

— Да.

— Совершенно?

— Да, да, повторялъ онъ, самъ не понимая, какъ могъ онъ выговорить это «да».

— *Sans partage?*.. Смотрите, я ревнива и буду строга, безжалостна къ пропедшему.

Въ сосѣдней комнатѣ слышались шаги. Баронесса по-

дошла къ зеркалу, поправила волосы, обмахнула лицо платкомъ и сѣла на кресло подальше отъ Ветрищева. Въ будуаръ вошелъ старикъ, высокій и худой, съ золотымъ *rinse-nez* на носу; рѣдкіе волосы на головѣ и бакенбарды на щекахъ были слегка подкрашены, усомъ онъ не носилъ, и ввалившійся ротъ его, съ тонкими губами, дѣлалъ какую-то гримасу вмѣсто улыбки, показывая нижній рядъ вставленныхъ зубовъ. Отъ него издали пахло духами, на бѣломъ жилетѣ красовалась тяжелая золотая цѣпочка со множествомъ брелоковъ, а на бѣлѣзъ его, необычайной бѣлизны, блестѣли брилліантовыя запонки. Онъ держался прямо и даже велпчаво, но колѣни часто измѣняли ему и предательски подгибались, несмотря на все стараніе скрыть ихъ неблагонадежность.

— Рара, сказала Юлія Павловна, совершенно спокойно, какъ будто говорила о погодѣ, — Дмитрій Николаевичъ сдѣлалъ мнѣ предложеніе, и я согласилась.

Рара, которому сообщали къ свѣдѣнію такую важную новость, уронилъ *rinse-nez*, посмотрѣлъ на дочь и на жениха ея, и видимо растерялся. Но онъ тотчасъ-же оправился, обнялъ дочь и взялъ за обѣ руки Дмитрія Николаевича, желая имъ обоимъ полнѣйшаго счастья.

Дмитрій былъ сраженъ, — онъ не ожидалъ такой быстрой и простой развязки. Онъ не дѣлалъ предложенія, не произнесъ рокового слова, по крайней мѣрѣ не помнилъ этого, — онъ только клялся ей въ любви, обнималъ и цѣловалъ ее, онъ только начиналъ новый романъ и не думалъ вовсе такъ скоро его окончить. Конечно, онъ любилъ баронессу въ то время, когда держалъ ее въ своихъ объятіяхъ, и готовъ былъ и впредь пламенно любить. Но жениться, — нѣтъ, это даже не приходило ему въ голову. Онъ сидѣлъ, какъ опущенный въ воду, и не былъ вовсе похожъ на счастливаго жениха.

Юлія Павловна не обратила на это никакого вниманія и, взявъ его за руку, просила обѣдать у нихъ. Онъ взглянулъ въ ея прекрасные глаза, — они глядѣли на него ласково, съ такою любовью, и она сама была такъ хороша, что онъ опять покрылъ ея руку поцѣлуями, а растроганный родитель хотѣлъ было произнести нѣчто въ родѣ благословенія, но Юлія Павловна остановила его:

— *Pas de bêtises*, рара, сказала она и пошла одѣваться къ обѣду.

Отца баронессы звали Павломъ Георгіевичемъ. Происхождение его было покрыто мракомъ неизвѣстности: кто онъ былъ, какого роду и племени, откуда взялся—никто не зналъ; большинство не знало даже его фамиліи, да и зачѣмъ? «Отецъ баронессы»—былъ весь его титулъ, въ этомъ заключалось все его значеніе. Онъ появился на свѣтъ только послѣ смерти покойнаго барона; до того-же времени его никто не зналъ, и баронесса жила и выѣзжала со своимъ мужемъ, старымъ нѣмецкимъ барономъ, нажившимъ себѣ состояніе въ разныхъ аферахъ въ Россіи и за границей. Онъ былъ самый примѣрный изъ всѣхъ мужей: женился въ преклонныхъ лѣтахъ, жилъ недолго, дѣтей не оставилъ, а оставилъ большое состояніе своей молодой женѣ, которую при жизни любилъ и лелѣялъ.

Черезъ полчаса баронесса вышла, одѣтая въ простое, но изящное платье, съ цвѣткомъ изъ букета Дмитрія въ черныхъ волосахъ.

Обѣдали втроемъ, *en famille*; но обѣдъ былъ такой тонкій, что могъ-бы удовлетворить самаго взыскательнаго гастронома. Послѣ жаркого пили шампанское и поздравляли другъ друга. Вся обстановка столовой, прислуга, серебро, сервировка—все до послѣдней мелочи было до того богато, что Дмитрій спрашивалъ себя въ недоумѣніи: неужели въ самомъ дѣлѣ онъ будущій обладатель всѣхъ этихъ сокровищъ и въ томъ числѣ изящной хозяйки, сидѣвшей возлѣ него за обѣдомъ? Отецъ ея говорилъ мало и больше ѣлъ, а еще больше пилъ старый лафитъ, стоявшій передъ его приборомъ. Послѣ обѣда Юлія Павловна скоро отпустила своего жениха, приказавъ ему явиться завтра утромъ, причѣмъ на прощанье такъ поцѣловала его, что вся кровь прилила къ сердцу Дмитрія. Опьяненный этимъ поцѣлуемъ и выпитымъ за обѣдомъ виномъ, онъ вышелъ на набережную и сталъ жадно вдыхать въ себя свѣжій воздухъ, въ которомъ чувствовались уже первые признаки весны. Ветрищевъ шелъ быстрыми шагами, и самыя разнообразныя мысли пробѣгали въ его головѣ. Съ одной стороны, конецъ всѣмъ заботамъ и тревоженіямъ: ростовщики, евреи, портные, сапожники и всѣ неугомонные кредиторы оставятъ его въ покоѣ; онъ расплатится съ бѣдной сестрой Олей, обезпечить ее и назначить пенсію Шарлоттѣ Ивановнѣ, выкупить Городищеву и очистить старое дворянское гнѣздо рода Ветрищевыхъ...

Съ другой стороны—Таня! Тутъ мысли его спутались совершенно, и онъ не зналъ, что будетъ далѣе.

Странный онъ былъ человѣкъ, наполненный противорѣчїями. Какъ только онъ сталъ думать о Танѣ и о томъ, что долженъ разстаться съ нею, такъ вдругъ она стала ему безконечно дорогá. Онъ вспомнилъ старинный садъ и вспомнилъ ея святую, чистую любовь, вспомнилъ счастливые, невозвратимые дни прошедшаго; онъ увидѣлъ передъ собою милую Любочку, услышалъ ея дѣтскїй лепетъ, припомнилъ ея дѣтскїя ласки. Боже мой, да неужели въ самомъ дѣлѣ онъ бросить ихъ?—Нѣтъ, ни за что, никогда!

И онъ остановился, какъ вкопанный, на тротуарѣ, рѣшившись тотчасъ-же вернуться, взбѣжать по широкой парадной лѣстницѣ, подойти къ этой гордой красавицѣ и сказать ей, схвативъ крѣпко за руку: «нѣтъ, я не твой, я солгалъ тебѣ, я люблю другую, и буду ее любить всегда». А если эта размазанная руина (Дмитрій почему-то не жаловалъ отца Юліи Павловны) осмѣлится сказать ему одно слово, то онъ спуститъ его головою внизъ съ лѣстницы.

Но онъ не вернулся назадъ, и почтенный родитель баронессы остался невредимъ. Ветрищевъ рѣшился сначала пойти къ Танѣ, обнять ее крѣпко и прижать къ своему сердцу,—схватить Любочку на руки, танцевать съ ней по комнатѣ, цѣлуя въ глазки, въ шейку, въ пухленькія ручки и глядѣть съ восторгомъ, какъ она будетъ хлопать въ ладоши и смѣяться. Но онъ не пошелъ и къ Танѣ, а почувствовавъ усталость, сѣлъ на извозчика и доѣхалъ до дому. Тамъ онъ снялъ съ себя сюртукъ и прилегъ на диванъ, только на одну минутку, чтобы отдохнуть немного и опомниться отъ тревожной столь полного событіями дня. Но онъ заснулъ моментально глубокимъ мертвымъ сномъ. Всѣ члены семейства Ветрищевыхъ отличались способностью спать во всякое время дня и ночи. Что бы ни случилось съ ними, какъ-бы ни были они удручены горестями, заботами и даже несчастїями, сонъ ни когда не измѣнялъ имъ. Стоило только прилечь на подушку—и сонъ наступалъ моментально; поэтому можно было узнать чистую породу, безъ примѣси плебейской крови.

Вѣроятно, Дмитрій проспалъ-бы до утра, еслибы не разбудилъ его одинъ изъ его товарищей, камеръ-юнкеръ Мило-

взорѣвъ, заѣхавшій за нимъ, чтобы отправиться вмѣстѣ-къ Мордовцеву.

III.

Къ подъѣзду большого каменнаго дома на Литейной съѣзжались гости: подкатывали кареты, трусили извозчики, подходили пѣшеходы. Все это валило вверхъ по широкой лѣстницѣ, въ квартиру Мордовцева. Самъ хозяинъ только воротился изъ Михайловскаго театра, сопровождаемый цѣлой толпой друзей и пріятелей.

— Сюда, господа, сюда, приглашалъ онъ гостей, провожая ихъ въ большую комнату, всю убранную турецкими коврами, заставленную мягкими диванами и разукрашенную по стѣнамъ рѣдкимъ стариннымъ оружіемъ.

— Эй, ты, бѣлый человѣкъ! крикнулъ онъ высокому негру, одѣтому въ расшитую, пеструю куртку, — кальянъ давай сюда, чаю, сигаръ, вина! Онъ усѣлся на диванъ, поджавъ подъ себя коротенькія ножки, подмостилъ двѣ подушки и закурилъ кальянъ.

— Вотъ я и паша! объявилъ онъ, надѣвая на голову феску. — Дамы у насъ заперты въ гаремъ, а потому свобода полная: дѣлай всякій что хочешь, — хоть кувыркайся, хоть голый ходи, хоть спать ложись.

И дѣйствительно, въ домѣ у Мордовцева царствовала полная и неограниченная свобода: всякій приходившій спрашивалъ себѣ, что хотѣлъ, какъ въ трактирѣ, и затѣмъ проводилъ время какъ ему угодно: кто игралъ на билльярдѣ, кто въ карты, въ шашки, шахматы, въ рулетку, кто уходилъ въ бібліотеку, богато снабженную газетами и журналами, а кто просто ложился спать, для чего были устроены особые укромные уголки, — и спалъ до ужина, затѣмъ ѣлъ, пилъ и уходилъ домой, ни мало не оскорбивъ хозяина.

Общество было самое разнообразное: статскіе и военные, франты, одѣтые по послѣдней модѣ, студенты въ потертыхъ сюртучкахъ, художники, артисты, писатели; даже сановники пріѣзжали, люди въ чинахъ и пожилые, привлеченные широкимъ гостепримствомъ Мордовцева. Онъ всѣхъ принималъ одинаково радушно, поилъ, кормилъ на убой, а иныхъ бѣдняковъ даже содержалъ на свой счетъ.

— Охота тебѣ, Яша, принимать всякую шваль, говорили ему товарищи изъ аристократовъ:—чортъ знаетъ, что за народъ! руки подать нельзя, — запачкаешься.

— А ты поди, вымойся, отвѣчала Яша, — у меня умывальниковъ много.

Товарищи пожимали плечами и обзывали Яшу «дурой», по старой привычкѣ, но онъ не обижался.

— Онъ мотъ, чистѣйшій мотъ! восклицали тѣ изъ нихъ, которые признавали за собою исключительное право на его карманы.—Онъ разорится непременно.

И дѣйствительно, Мордосцевъ былъ мотъ, но мотъ самый добродушный. Что касается до разоренія, то главная опасность заключалась, конечно, не въ немъ самомъ, а въ тѣхъ-же друзьяхъ и пріятеляхъ, немилосердно эксплуатировавшихъ его карманы.

Въ тотъ вечеръ собраніе было въ особенности многолюдно: праздновалось возвращеніе хозяина изъ новой поѣздки за наслѣдствомъ, не совсѣмъ, впрочемъ, удачной, какъ мы видѣли. Но Мордосцевъ былъ тѣмъ болѣе веселъ и доволенъ.

— Сегодня, братцы, не за упокой, а за здравіе пить будемъ, объявлялъ онъ всякому вновь приходящему, — а потому пить вдвое, такъ и знай.

Гости смѣялись и обѣщали не ударить въ грязь лицомъ.

Скоро всѣ размѣстились по разнымъ комнатамъ, за карточные и биллиардные столы, и около хозяина только остался небольшой кружокъ, занимавшійся дружеской бесѣдой.

Камеръ-юнкеръ Миловзоровъ рассказывалъ скабрезный анекдотъ, вновь появившійся на свѣтъ, и уморилъ всѣхъ со смѣху. Конный офицеръ говорилъ о лошадяхъ и о томъ, какая у него чудесная пѣгая кобыла. Статскій генералъ, изъ молодыхъ, но уже управлявшій департаментомъ, жаловался на то, что онъ заваленъ работой и что совсѣмъ нѣтъ людей. Никто не спорилъ съ нимъ, и генералъ, перемѣнивъ сюжетъ, сталъ толковать о реформахъ. Онъ утверждалъ, что у насъ нужны реформы въ духѣ народа, что мы далеко ушли отъ народа и что нужно вернуться къ нему.

— Совершенно вѣрно, поддакнулъ молодой человекъ, безбородый, съ испитымъ лицомъ, служившій секретаремъ въ томъ-же департаментѣ, гдѣ генералъ былъ директоромъ.

Камеръ-юнкеръ Миловзоровъ тоже поддакнулъ.

— Куда-же собственно вернуться? спросилъ скромно одинъ изъ присутствующихъ, до тѣхъ поръ молчавшій. Генераль не зналъ опредѣленно—куда идти назадъ, и на тему эту завязался оживленный споръ, который угрожалъ продлиться долго; къ счастью на выручку явился лакей съ какими-то необычными напитками, и гостеприимный хозяинъ, вскочивъ съ дивана, сталъ упрасивать гостей — испить изъ чашъ, стоявшихъ на подносѣ и не утруждать свои головы головоломными вопросами.

Вошли два новые гостя: одинъ изъ нихъ былъ маленькій человекъ съ фizioноміей обезьяны, огромнымъ осклабившимся ртомъ и золотыми очками на носу. Это былъ Яковъ Марковичъ, извѣстный въ Петербургѣ банкиръ и аферистъ; онъ былъ знакомъ со всѣми рѣшительно, являлся всюду, во всѣ общества, театры, клубы, концерты, и былъ, несмотря на свою непривлекательную наружность, страшнымъ Донъ-Жуаномъ, считая себя irresistible для прекраснаго пола. Злые языки говорили, будто онъ оплачивалъ иногда свои побѣды старыми, негодными купонами отъ акцій, но онъ самъ утверждалъ, что это ложь чистѣйшая и что онъ никогда не платилъ женщинамъ иначе, какъ чистою любовью. Яковъ Марковичъ вѣчно бѣгалъ и суетился, шнырялъ повсюду и руководствовался тѣмъ вѣрнымъ принципомъ, что пошныряешь, пошныряешь, да что нибудь и нашныряешь.

Другой гость былъ однимъ изъ школьныхъ товарищей Мордовцева, молодой человекъ, очень представительной наружности, высокаго роста, плечистый, съ рыжими бакенбардами и волосами и съ проборомъ на затылкѣ. Онъ былъ одѣтъ во фракъ и бѣлый галстукъ и держалъ клякъ подъ мышкой.

— А, Барсуковъ! привѣтствовалъ его хозяинъ, — ты откуда въ такомъ нарядѣ? Барсуковъ объявилъ, что онъ обѣдалъ у одного министра и ѣдетъ на раутъ къ другому. По дорогѣ только въ клубъ заѣхалъ и выудилъ оттуда Яковъ Марковича.

Яковъ Марковичъ бѣгалъ по комнатамъ и пожималъ всѣмъ руки, а съ Мордовцевымъ даже полѣзъ цѣловаться.

— Я на минуту къ тебѣ, Яковъ Александровичъ, заговорилъ Барсуковъ, — ужь ты извини меня, — дѣла, да и на раутъ долженъ ѣхать къ министру.

— Плюнь ты на свои рауты, не убѣгутъ.

— Нельзя, топ шер, — дѣла, ты самъ знаешь.

Барсуковъ говорилъ басомъ и сильно жестикулировалъ въ разговорѣ.

— Иванъ Денисовичъ, спросилъ его камеръ-юнкеръ Милосворовъ,—ты какое дѣло теперь орудуешь: дорогу строишь на луну, или банкъ открываешь для калмыковъ?

— Ни то, ни другое; у насъ новое дѣло теперь съ Яковомъ Марковичемъ, и такое дѣло, братецъ, что еще такого не бывало.

Явовъ Марковичъ кивалъ головой, скалилъ зубы и потиралъ себѣ руки.

— Мы облагодѣтельствуемъ всю Россію, говорилъ Барсуковъ,—и обогатимъ акціонеровъ. Кстати, господа, подпишитесь на акціи, на дняхъ подписка будетъ,—всего два дня, потомъ не достанете.

— Не достанете, ей-Богу, не достанете, божился Яковъ Марковичъ, бѣгая отъ одного къ другому, причемъ шепталъ каждому особо на ухо:—для васъ у меня всегда есть, вы мнѣ только скажите.

— Въ чемъ-же дѣло? спросилъ кто-то.

— «Компанія Золотого Руна!» торжественно провозгласили вмѣстѣ Барсуковъ и Яковъ Марковичъ.

— А! слышалъ, замѣтилъ статскій генералъ,—блестящее дѣло.

— Еще-бы!

Банкиръ отвелъ генерала въ сторону и что-то пошепталъ ему на ухо; генералъ кивнулъ головой.

— Въ чемъ-же заключается это пресловутое дѣло? спросилъ одинъ изъ присутствующихъ.

— О, это дѣло чудесное! началъ рассказывать Иванъ Денисовичъ.

И онъ подробно изложилъ передъ слушателями проектъ одного изъ тѣхъ обширныхъ коммерческихъ предпріятій, которыя въ такомъ изобиліи возникали въ то время въ Петербургѣ. Тутъ было все, чего только желать возможно: обширное овцеводство, фабрики, машины, конторы, агентства, даже собственные пароходы и караваны, для развозки продуктовъ. Барсуковъ говорилъ картинно и во-очію представлялъ все производство, начиная съ овцы, которую стригутъ во вновь изобрѣтенной машинѣ и кончая кораблемъ, который на всѣхъ парусахъ развозитъ по бѣлу свѣту сукна, трико, драпъ и прочія издѣлія.

— Мы всю Европу закидаемъ нашими товарами, говоритъ онъ, одушевляясь и размахивая руками, — востокъ весь, Персію, Китай, Японію одѣвать будемъ. Этимъ дѣломъ, топ шер (онъ взялъ за пуговицу Мордовцева), интересуются очень важныя лица, и оно можетъ получить государственное значеніе.

— Давай Богъ, сказалъ простодушно Яша.

— Послушай Яша, подпишись на акціи, продолжалъ Барсуковъ, взявъ его подъ руку и отводя въ сторону, — мы тебя въ директоры выберемъ.

— Какъ въ директоры?

— Да такъ, въ директоры.

— Я этихъ дѣлъ совсѣмъ не знаю.

— Чудакъ ты, — что тутъ знать; ты знаешь, какъ люди въ креслахъ сидятъ, и сидѣть, надѣюсь, умѣешь?

— Еще-бы, отвѣчалъ Мордовцевъ.

— Ну и сиди въ правленіи, да жалованье получай.

— А кто-жъ работать будетъ?

— Ты ужъ объ этомъ не безпокойся, тамъ отработаютъ за тебя, кому нужно.

— Что-жъ, можно, а сколько жалованья?

— Тысячи четыре, пять.

— Послушай, Иванъ Денисовичъ, ты знаешь, я въ этихъ деньгахъ не нуждаюсь, а мы вотъ какъ устроимъ: я подпишусь на твои акціи... вѣдь онѣ не пропадутъ-же?

— Еще-бы, десять процентовъ гарантирую.

— Ну, и прекрасно, а въ директоры ты выберешь кого-нибудь другого, изъ нашихъ, ну, Ветрищева, на примѣръ, — онъ позапутался въ своихъ дѣлишкахъ, ему надо помочь.

Барсуковъ тотчасъ-же согласился, и Яша былъ въ восторгѣ. Онъ думалъ такимъ путемъ убить двухъ зайцевъ, — и Барсукова одолжить, и Ветрищеву помочь. «Все-таки Таничкѣ будетъ полегче». Онъ почему-то все думалъ о Таничкѣ и чувствовалъ къ ней особенную симпатію.

Вызвали Ветрищева изъ-за карточного стола и объявили ему пріятную новость. Къ удивленію, онъ не очень обрадовался; онъ благодарилъ, конечно, своихъ добрыхъ товарищей, но сказалъ, что еще подумаетъ, что этого дѣла не знаетъ и завтра заѣдетъ самъ къ Барсукову переговорить обо всемъ. Когда Дмитрій вернулся къ своимъ картамъ, Барсуковъ, нагнувшись къ Мордовцеву, шепнулъ ему на ухо:

— Знаешь, отчего онъ упирается?

— Нѣтъ.

— Онъ женится... Только это большой секретъ.

— На комъ?

— На баронессѣ Вальденбергъ.

Яша измѣнился въ лицѣ.

— Не можетъ быть!.. Кто тебѣ сказалъ?

— Самъ папаша... знаешь, этотъ Георгіевичъ; я сейчасъ вчдѣлъ его въ клубѣ.

Извѣстіе это сильно поразило Яшу. Онъ ходилъ какъ потерянный, покуда не улучилъ минуты объясниться съ Ветрищевымъ.

— Какой вздоръ! кто тебѣ сказалъ?! воскликнулъ Дмитрій.

— Барсуковъ.

— Скажи ему, что онъ вреть и что онъ старая сплетница.

Мордовцевъ просіялъ и даже обнялъ его.

— Ну, дружище, я зналъ, что ты честный малый и подлости не сдѣлаешь!

Онъ горячо пожалъ ему руку и убѣждалъ къ своимъ гостямъ, а Дмитрій, постоявъ съ минуту въ раздумьѣ, махнулъ рукой и пошелъ играть въ рулетку. Онъ не зналъ самъ, что будетъ завтра, и старался не думать о завтрашнемъ днѣ; онъ хотѣлъ отуманить себя и забыться хотя на часъ одинъ, хоть на минуту, глоталъ вино стаканами и съ отчаянія поставилъ на нумеръ рулетки послѣднюю, оставшуюся у него въ карманѣ, бумажку, такъ какъ проигралъ уже всё остальныя, даже тѣ, которыя взялъ поутру у Тани.

— Авось кривая вывезетъ, думалъ онъ,—вѣдь вывозила же прежде!

И вдругъ ему дали на нумеръ.

«Вывезла кривая!» чуть не вскрикнулъ онъ въ неописанной радости. Онъ опять поставилъ на нумеръ, и опять нумеръ его выигралъ.

— Вотъ счастье! заговорили кругомъ.

Ветрищевъ загребъ цѣлую кучу денегъ и окончательно повеселѣлъ. Онъ остановилъ проходившаго мимо лакея съ подносомъ и выпилъ залпомъ два стакана шампанскаго, послѣ чего всё Юлія и Татьяны на свѣтъ обратились въ какіе-то туманные образы, и всё горести и заботы житейскія стали для него тринь-трава.

По мѣрѣ того, какъ вечеръ разгорался, все больше и больше прибывало народу къ карточнымъ столамъ и рулеткѣ. Нѣкоторые изъ проигравшихся гостей подходили къ хозяину, отводили его въ сторону и шептали ему что-то на ухо, а онъ кивалъ имъ головой и смѣялся. Двое изъ товарищей Мордовцева тоже отводили его въ сторону и убѣждали не даваться на удочку Барсукову, увѣряя, что онъ проходимецъ и вся компанія его Золотого Руна—одинъ пуфъ. Но Яша, довольный тѣмъ, что другъ его, Митя Ветрищевъ, остался честнымъ малымъ и что Таничкѣ не угрожаетъ новаго горя, подтвердилъ Барсукову обѣщаніе подписаться на акціи и даже на крупную сумму, лишь-бы онъ только выбралъ въ директоры Дмитрія. Иванъ Денисовичъ, почуявъ наживу, рѣшился остаться и не упоминалъ больше о раутѣ у министра.

Не задолго до ужина ворвалась новая компанія: три офицера и двѣ французенки, всѣ слегка подпившія. Офицеры извинялись и объяснили, что катили мимо на тройкѣ, но, увидѣвъ въ окнахъ свѣтъ, не утерпѣли и заѣхали. Хозяинъ пожималъ всѣмъ руки, говорилъ, что очень радъ, и расцѣловался съ французженками. Одна изъ нихъ подбѣжала къ столу, гдѣ стояло шампанское, выпила залпомъ бокаль и, слегка канканируя, запѣла тоненькимъ голоскомъ:

«Vivons, vivons, vivons encore
«Ce vin, ce vin—é, que j'adore».

Другая подсѣла къ статскому генералу, державшему себя важно и чинно, и стала теревить его за бакенбарды.

— *Voyons, mon petit loulou, voyons mon petit bijou*, пищала она близко прижимаясь къ нему, — *ah! tu deviens gage-gredin*.

Генераль сторонился отъ нея, ежился и принужденно улыбался. Онъ кончилъ тѣмъ, что уѣхалъ до ужина, извиняясь, что дома цѣлый докладъ лежитъ, и онъ долженъ будетъ просидѣть до утра.

— До утра будетъ запятая ставить, объяснилъ безбородый секретарь, какъ только генераль уѣхалъ, — у него страсть къ запятымъ.

Онъ сбросилъ съ себя дѣловой видъ, вздохнулъ свободно и сталъ волочиться за французженками.

Всѣ повалили въ столовую, гдѣ былъ сервированъ роскош-

ный ужинъ. Вино лилось рѣкою, шумъ, гамъ... Кто-то за-
тѣялъ жженку, затушили лампы и свѣчи, причемъ француз-
женки отчаянно визжали, — потомъ опять зажгли огни. Хо-
зяинъ провозгласилъ тостъ за здоровіе почтенной тетуски
Барвары Михайловны и за многолѣтіе ея! — Гости кричали
'ура!' Потомъ пили за здоровье хозяина, потомъ—за здоровье
гостей.

Вдругъ одинъ юноша со взерошенными волосами, ко-
торый говорилъ все время очень мало, но пилъ очень
много, вскочилъ и сталъ говорить. Сначала, за общимъ шу-
момъ и гамомъ, его не слушали, но онъ заставилъ себя слу-
шать, громко объявивъ всѣмъ присутствующимъ, что они идо-
лопоклонники!

Всѣ крайне удивились, не сознавая за собою такого грѣха,
но ораторъ сталъ убѣждать ихъ, сильно жестикулируя и ероша
свои волосы.

— Да, идолопоклонники! кричалъ онъ зычнымъ голо-
сомъ, — жрецы кумира, и золото—вашъ кумиръ! Вы танцуете
передъ нимъ дикія пляски, приносите жертвы человѣческія,
кладете на алтарь его вашу честь и... и... онъ запнулся и
не договорилъ, что еще кладутъ на алтарь кумира присут-
ствующіе здѣсь идолопоклонники.

— Помилуйте, молодой человѣкъ, возразилъ ему, улыбаясь,
одинъ маленькій старичекъ, — за что-же вы насъ такъ оби-
жаете?

— Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit? запищала фран-
цуженка.

Но ораторъ продолжалъ, не обращая на нихъ вниманія.

— Зачѣмъ вы говорите—«мы слуги отечества»? (никто и
не думалъ говорить). Неправда, вы слуги мамона, рабы по-
хотей своихъ. Вы не служите отечеству, а только на службу
ходите, не ѣдите, а обжираетесь, не пьете, а напиваетесь, не
любите женщинъ, а покупаете ихъ!—При этомъ онъ ткнулъ паль-
цемъ въ голую спину одной изъ Француженокъ, которая
вскрикнула и въ испугѣ убѣжала на другой конецъ стола.

Въ эту минуту на глаза оратора попался злополучный
Барсуковъ, и онъ тотчасъ-же началъ громить его:

— Вонъ ты машину выдумалъ (онъ уже начиналъ всѣмъ
говорить «ты») коллосальной стрижки овецъ... Зачѣмъ овецъ,

лицемѣрь?—стриги людей, — въ машину всѣхъ, — трахъ, карманъ долой!

Барсуковъ зашикалъ, но многіе захохотали и закричали: «браво»!

— Онъ корошо говорить, ей-Богу корошо, засуетился Яковъ Марковичъ, тараща голову изъ-подъ стола,—ви молодой человекъ ко мнѣ приходите, завтра въ конторъ приходите.

Но молодой человекъ не слушалъ его; онъ закусылъ удила и продолжалъ громить современное поколѣніе.

— Гдѣ русское дворянство? вопрошалъ онъ, вперивъ глаза въ своего испуганнаго сосѣда.—Къ чему оно пришло? — Онъ остановился, забывъ; что хотѣлъ сказать, и вдругъ, вспомнивъ, выпалилъ:—Къ банкротству! Чѣмъ вы живете? допрашивалъ онъ какого-то воображаемаго противника, тыкая пальцемъ въ воздухъ.—Гдѣ вашъ трудъ?—Онъ сдѣлалъ паузу и, горько усмѣхнувшись, самъ отвѣчалъ себѣ:—лизоблюдствомъ, чужимъ карманомъ.

Но тутъ уже многіе зашикали, почувствовавъ, что ораторъ попалъ въ жилку.

— Сашка, замолчи, ты пьянъ! закричалъ ему голосъ изъ-за стола.

Но Сашка не унимался.

— Гдѣ вашъ трудъ? кричалъ онъ осиплымъ голосомъ.—Гдѣ его плоды?—Онъ схватилъ откуда-то колоду картъ и швырнулъ ее на столъ.—Вотъ вашъ трудъ! зеленое поле — арена!

— Довольно, довольно! послышалось со всѣхъ сторонъ.—Что это за проповѣдникъ? Долой его!

Но пьяный ораторъ не унимался. Тогда нѣкоторые изъ гостей, попьянѣе, вскочили изъ-за стола и хотѣли силой унять его. Но на выручку явился хозяинъ. Онъ грудью сталъ за своего юнаго гостя, обнялъ его обѣими руками и закричалъ во все горло:

— Не трогать Сашу,—онъ честная душа!

Всѣ расхохотались, ораторъ свалился подъ столъ, и ужинъ окончился благополучно. Послѣ ужина Мордовцевъ заложилъ банкъ, и всѣ бросились понтировать ему.

— Вотъ онъ, трудъ нашъ, зеленое поле—арена, сказалъ, вздохнувъ, одинъ изъ игравшихъ.—Вѣдь Сашка былъ правъ.

Другой вышелъ на середину комнаты и густымъ басомъ зацѣлъ:

«Мудрость вся людская—бредь,
 Вся ученость—ложный свѣтъ,
 Жизни мудрость—карты».

— Жизни мудрость—карты! повторила хоромъ подгулявшая компанія.

Въ большую залу ворвался цѣлый таборъ цыганъ, съ бубнами, гитарами и плясками.

Ой жги, жги,—говори!

орали они дружнымъ хоромъ. Цыгане басили и притопывали, цыганки взвизгивали. Одна изъ нихъ, отдѣлившись отъ хора, запѣла романсъ, мягкимъ, чудеснымъ голосомъ, растягивая слова и картавя:

«Ты не пой соловей подъ мои-ниѣ окномъ,
 Улетай, улетай къ душѣ дѣвицѣ».

Ветрищевъ, сильно отуманенный виномъ и картами, улетѣлъ куда-то съ одной изъ француженокъ; онъ хотѣлъ во что бы то ни стало забыться, и, кажется, достигъ своей цѣли.

Пѣсни, игра и разгулъ продолжались до утра:

— Господи Іисусе Христе! пробормотала какая-то благочестивая старушка, спускаясь внизъ по черной лѣстницѣ къ заутрени.

Ой жги, жги, говори!

слышался хоръ цыганъ чрезъ отворенную настежь дверь квартиры Мордовцева.

— Грѣховодники! вздохнула старушка, крестясь и покачивая головою.

IV.

Проснувшись поздно на другой день, послѣ кутежа у Мордовцева, съ чадомъ и болью въ головѣ, Дмитрій Николаевичъ рѣшилъ, что ему надо прежде всего отдохнуть и опомниться. Вчерашній день былъ столь полонъ всякихъ приключеній и тревоженій, что порѣшить сразу, только что проснувшись, что ему дѣлать, было не подъ силу не только Ветрищеву, но и всякому другому на его мѣстѣ. Поэтому онъ остался лежать въ постели, и такъ какъ у него болѣла голова, то потребовалъ бутылку содовой воды и приложилъ себѣ къ вискамъ холодные компрессы съ уксусомъ. Максимъ совѣтовалъ разсолъ съ огурцомъ, но Дмитрій Николаевичъ назвалъ это

средство бабьимъ. Затѣмъ, когда ему стало полегче, онъ выпилъ кофе съ калачемъ, все лежа въ постели, и закурилъ сигару. Незвѣстно, долго-ли продолжалось такое сибаритство, но извѣстно, что онъ задремалъ опять и, вѣроятно, проспалъ-бы долго, если бы не разбудилъ его Барсуковъ. Онъ вихремъ ворвался въ комнату, растолкалъ Дмитрія и сталъ горячо поздравлялъ его, пожимая руки. Ветрищевъ, еще несовсѣмъ проснувшійся и не понимавшій въ чемъ дѣло, зѣвалъ и потягивался. Но Барсуковъ мертвого разбудилъ-бы; онъ рассказывалъ, что былъ у баронессы, что она сама объявила ему о свадьбѣ, что тутъ былъ Миловзоровъ и еще кто-то, и что завтра весь городъ будетъ знать великую новость.

Онъ ходилъ по комнатѣ, жегъ одну за другой папирсы, размахивалъ руками и былъ въ такомъ волненіи, будто самъ женился.

— А ргоров, продолжалъ онъ, — я говорилъ съ твоей невѣстой о нашемъ директорствѣ; она въ восторгѣ, общала сама подписаться на акціи и звала меня обѣдать сегодня, говоря, что и ты будешь.

Ветрищевъ убѣдился, что спать нѣтъ болѣе возможности, всталъ, надѣлъ туфли, вышитыя заботливою женскою рукою, шелковый халатъ и усѣлся у туалетнаго стола передъ зеркаломъ—расчесывать свои волосы. На столѣ стояли всевозможныя сткляночки и баночки, лежали во множествѣ гребни, гребенки, щеточки и подщоточки; спальня была затянута мягкимъ ковромъ, большое псише стояло у стѣны, а въ комнатѣ пахло духами, какъ въ дамскомъ будуарѣ.

— Я еще вчера зналъ, говорилъ Барсуковъ, —но не хотѣлъ сказать тебѣ; теперь-же она сама объявила... ты понимаешь, сама,—это болѣе не секретъ.

Дмитрій, расчесывая свои волосы, вспомнилъ о томъ, какъ вчера онъ солгалъ Мордовцеву, и придумывалъ средства выпутаться изъ всей этой исторіи. Дѣло было не легкое. Нежданно и негаданно онъ очутился женихомъ богатой вдовы, за которою началъ ухаживать, какъ ухаживалъ и за другими женщинами, но жениться на ней никогда и не думалъ. Жениться онъ могъ только на Танѣ, —онъ твердо на это рѣшился и считалъ себя связаннымъ съ нею на всю жизнь. Все, что случилось вчера, было одно недоразумѣніе, и онъ рѣшительно не

понималъ, почему баронесса приняла его объясненіе въ любви за предложеніе руки и сердца.

Наконецъ онъ порѣшилъ, что его просто поймали на удочку. Но въ головѣ его тотчасъ же возникъ вопросъ,—для чего и для какой цѣли? Юлія такъ хороша и богата, претендентовъ на ея руку такъ много... Для чего ей ловить его? Но этотъ вопросъ онъ разрѣшилъ очень просто: она влюблена въ него по уши и не можетъ жить безъ него. Это рѣшеніе, столь лестное для его самолюбія, усложнило, однако, еще болѣе его положеніе: за что-же оскорблять и компрометировать женщину, которая его такъ любитъ и не виновата передъ нимъ ни въ чемъ?

Нѣтъ, онъ долженъ дѣйствовать крайне осторожно, беречь ея репутацію и устроить такъ, чтобы она сама ему отказала. Но какъ устроить это и что сказать Барсукову, который сегодня-же разнесетъ по городу интересную новость и еще болѣе запутаетъ дѣло?.. Не придумавъ ничего лучшаго, онъ объявилъ ему, что считаетъ дѣло о своей женитбѣ пока еще секретнымъ, и проситъ его никому не говорить о предстоящей свадьбѣ, которая даже не назначена и неизвѣстно, когда будетъ.

— Помилуй! воскликнулъ Барсуковъ,—съ чего ты взялъ? Она вовсе не дѣлаетъ секрета, всѣмъ объявляетъ, что она твоя невѣста, и если-бы ты видѣлъ, какую рожу скорчилъ Миловзоровъ, когда ему сказали,—умора! Онъ былъ тоже изъ претендентовъ, вздыхалъ, подносилъ букеты, — но ты всѣхъ побѣдилъ... молодецъ! и онъ хлопнулъ его по плечу.

Ветрищевъ сидѣлъ, какъ опущенный въ воду, и не былъ вовсе похожъ на молодца.

— Нѣтъ, сказалъ онъ Барсукову,—я прошу тебя серьезно помолчать пока объ этомъ дѣлѣ. Оно вовсе не такъ просто, какъ ты думаешь.

Барсуковъ посмотрѣлъ на него съ удивленіемъ.

— Да, продолжалъ Дмитрій,—мое положеніе трудное.

— Я знаю твое положеніе, а потому и совѣтую тебѣ какъ можно скорѣе жениться, пользоваться случаемъ, а не зѣвать, сидя дома въ халатѣ.

— Ты не знаешь моего прошедшаго.

— Знаю, любезный другъ, хорошо знаю, но не вижу, чѣмъ оно тебѣ мѣшаетъ жениться.

— Не легко развязать его.

— Напротивъ, очень легко, въ особенности съ деньгами.

— Тутъ деньги не помогутъ.

— Не помогутъ... вотъ чудакъ! Да ты обезпечь свою красавицу... вѣдь Татьяной ее зовутъ, кажется?

— Да.

— Ну, обезпечь свою Татьяну, выдай ее замужъ за хорошаго человѣка, и повѣрь—она будетъ въ сто разъ счастливѣе, чѣмъ съ тобою.

— Можетъ быть, возразилъ Дмитрій сухо, — но на это нужны деньги, а у меня ихъ нѣтъ.

— Деньги!.. Барсуковъ задумался.

— Послушай, сказалъ онъ, подходя къ нему близко, — я хочу доказать тебѣ свою дружбу, — хочешь заработать тридцать тысячъ?

— Еще-бы! воскликнулъ Ветрищевъ, весь просіявъ.

— Достань залогов для нашего дѣла у своей невѣсты.

— Для какого дѣла?

— Ахъ, Боже мой! Для компаніи «Золотого Руна».

— А много нужно?

— Тысячъ триста, четыреста, не болѣе; помоги, и я тебѣ тридцать тысячъ на столъ выложу.

«Чортъ возьми! подумалъ Дмитрій—какъ-бы хорошо!» Онъ, конечно, зналъ, что залоговъ не добудетъ и тридцати тысячъ не получить, но ему пришла счастливая мысль, нельзя-ли какъ-нибудь воспользоваться случаемъ и покредитоваться у пріятели, съ тѣмъ, разумѣется, чтобы отдать ему потомъ. Какъ отдать и чѣмъ отдать, — онъ объ этомъ не думалъ; жгучій вопросъ заключался въ томъ, чтобы достать денегъ, а какъ отдать—это былъ другой вопросъ, не столь жгучій, о которомъ можно подумать и послѣ.

Барсуковъ, между тѣмъ, рассказывалъ о своей компаніи «Золотого Руна», пѣлъ ей хвалебныя пѣсни и вычислялъ будущіе барыши. Увлечшись краснорѣчіемъ, онъ дошелъ до такихъ баснословныхъ цифръ, что у неопытнаго слушателя могло въ головѣ помутиться; но Ветрищевъ не слушалъ его и все думалъ о томъ, какъ-бы ему, не дожидаясь великихъ барышей въ будущемъ, покредитоваться, хотя на малую сумму, въ настоящемъ.

— Иванъ Денисовичъ, сказалъ онъ робко, — не могъ-ли-бы ты, въ счетъ тридцати тысячъ, хоть двѣ или три тысячи одолжить мнѣ теперь-же? Потомъ вычтешь.

— Я? Да у меня нѣтъ, *mon cher*; я-бы съ радостью, — неужели ты сомнѣваешься? Но нѣтъ, честное слово — самъ нуждаюсь.

— Достань гдѣ-нибудь; меня рѣжутъ кредиторы.

— Кредиторы! Плюнь ты на нихъ! Скажи, что женишься на богатой вдовѣ, и всему конецъ,—они тотчасъ отстануть и сами тебѣ новый кредитъ откроютъ.

— Не могу... Я тебѣ объяснялъ причину.

— Все это вздоръ, одна сантиментальность! И я тебѣ советую не зѣвать. Смотри, перебьютъ другіе, а разъ такой случай упустишь—пиши пропало.

Давъ такой практическій советъ и поговоривъ еще о залогахъ, Барсуковъ успѣвшиль проститься со своимъ пріятелемъ, боясь, какъ-бы онъ вновь не попросилъ у него денегъ.

— До свиданья, говорилъ онъ уже въ дверяхъ,—увидимся сегодня у твоей невѣсты... Не забудь о залогахъ.

Оставшись одинъ, Дмитрій Николаевичъ сталъ размышлять о томъ, какой онъ подвигъ совершаетъ, отказываясь отъ такой невѣсты, какъ Юлія, и какъ женитба на ней дѣйствительно распутала-бы сразу его дѣла, развязала всѣ его затрудненія: и сестрѣ-бы онъ заплатилъ, и съ кредиторами раздѣлался, и Таню-бы обезпечилъ!.. А теперь что? Чѣмъ онъ будетъ жить? Залѣзетъ въ петлю окончательно и Таню съ собою затащитъ.

«Конечно, разсуждалъ онъ самъ съ собою, расхаживая по комнатѣ,—другой, на моемъ мѣстѣ, не задумался-бы, а я... нѣтъ, не могу, не въ силахъ, да и Таня не перенесетъ такого удара».

Въ столь похвальномъ настроеніи засталъ его Мордовцевъ, пріѣхавшій навѣстить пріятеля послѣ вчерашняго кутежа. Онъ тотчасъ-же замѣтилъ, что Ветрицевъ чѣмъ-то озабоченъ, и сталъ спрашивать его. Дмитрій, который жаждалъ излить передъ кѣмъ-нибудь свою душу, разсказалъ ему все случившееся съ нимъ наканунѣ, прикрасивъ, конечно, свое собственное поведеніе легкой фантазіей.

— Ты виноватъ кругомъ, объявилъ Мордовцевъ; — такъ нельзя было вести себя, если ты не имѣлъ намѣренія жениться.

— Я не спорю, возразилъ Ветрицевъ,—и не оправдываю себя; я виноватъ кругомъ, но что-же мнѣ дѣлать? какъ выйти изъ этого положенія?

— Да ты что намѣренъ дѣлать? жениться, что-ли, на своей баронессѣ?

— О, никогда, ни за что!

Мордовцевъ схватилъ его за руку.

— Ну, вотъ молодець, ну, вотъ годубчикъ! Я такъ и зналъ... Это, братъ, главное, а остальное вздоръ, уладимъ.

— Какъ-же уладить? Не могу-жь я оскорбить Юлію?

— Зачѣмъ оскорблять... какъ можно! Просто, ей скажи правду, всю какъ есть, она сама тебѣ слово возвратить, вотъ увидишь.

— Да я слова не давалъ ей.

— Все равно, ты долженъ съ ней объясниться.

— А какъ-же сегодня я обѣщалъ обѣдать у ней? Тамъ будетъ Барсуковъ, будутъ и другіе...

— Не ѣзди, сдѣлай милость, не ѣзди: положеніе твое выйдетъ самое глупое, и ты только хуже запутаешься... Скажись больнымъ.

— Барсуковъ былъ здѣсь сейчасъ и видѣлъ, что я здоровъ.

— Ахъ, чортъ его побери! Ну, все равно, ты могъ захворать послѣ его отъѣзда. Что-бы такое придумать? Ну, вотъ что: напиши, что ногу вывихнулъ, сходя съ лѣстницы, а я припишу, что былъ свидѣтелемъ; ты знаешь, я тоже званъ къ ней сегодня обѣдать.

Сочинили письмо къ Юліѣ Павловнѣ и хотѣли послать съ Максимомъ, но его не оказалось налицо.

— Ну, вотъ что, рѣшилъ опять Мордовцевъ,—ты отошли письмо, какъ только онъ вернется, а я на полчаса уѣду,—миѣ нужно повидать одного человѣчка. Только ты смотри, Митя, сиди дома и, ни Боже мой, никуда,—ты больной, а я твой *garde-malade*. Къ баронессѣ твоей мы не поѣдемъ, а пообѣдаемъ здѣсь у тебя, вдвоемъ, я все устрою,—ты ни о чемъ не заботься.

— Устрицъ хочешь? спросилъ онъ уже изъ передней.

— Хочу, хочу! закричалъ ему вслѣдъ Ветрищевъ.

Онъ на все былъ согласенъ, даже на устрицы, и почувствовалъ какое-то облегченіе, когда, по отъѣздѣ Мордовцева, запечаталъ письмо къ баронессѣ и написалъ на немъ адресъ. Онъ сознавалъ, что порѣшилъ трудную задачу какъ должно, по совѣсти и чести, и послѣ такого подвига получилъ закон-

ное право на отдыхъ и успокоеніе. Онъ предвѣшалъ уже блаженство лежанія на диванѣ, обѣда съ устрицами, виномъ и проч. и поджидалъ только Максима, чтобы отправить письмо, какъ вдругъ раздался звонокъ въ передней, и Максимъ появился самъ, съ карточкой въ рукахъ.

— Павелъ Георгіевичъ! воскликнулъ Дмитрій, взглянувъ на карточку.— Вотъ-те и на! Какъ-же теперь?

— Проси, сказала онъ наконецъ.

Вошелъ отецъ баронессы, со своей гримасой, вмѣсто улыбки, и съ какимъ-то иностраннымъ орденомъ въ петличкѣ. Онъ пріѣхалъ сдѣлать визитъ своему будущему зятю и узнать, отчего онъ не ѣдетъ.

— Julie тревожится, сказала онъ хриплымъ старческимъ голосомъ,— и прислала меня узнать, не захворали-ли вы?

— Нѣтъ, слава Богу, здоровъ; сейчасъ только хотѣлъ къ вамъ ѣхать. («Что-жь это я говорю? подумалъ. Дмитрій,— а Яша?»).

— Такъ ѣдемъ вмѣстѣ, предложилъ Павелъ Георгіевичъ,— у меня экипажъ.

Ветрицевъ махнулъ рукой.

«Что будетъ, то будетъ... И что за бѣда, въ самомъ дѣлѣ, если я сегодня у ней отобѣдаю, а завтра объяснюсь?»

Онъ черкнулъ два слова Мордовцеву и уѣхалъ.

Какъ только Ветрицевъ вошелъ въ домъ своей невѣсты, такъ тотчасъ-же и почувствовалъ, что попалъ туда, гдѣ ему дышалось легко и привольно, въ ту именно среду, для которой онъ созданъ, въ ту атмосферу, которая была такъ-же необходима для него, какъ для рыбы вода. «Какъ хорошо здѣсь!» подумалъ онъ невольно, проходя рядъ высокихъ, роскошныхъ комнатъ; — «какъ дышется свободно!» И онъ хотѣлъ идти далѣе, туда, откуда слышался говоръ гостей, но маленькая смуглая ручка, высунувшаяся изъ боковой двери, перехватила его на дорогѣ, и онъ исчезъ за тяжелой портьерой.

Черезъ нѣсколько минутъ Ветрицевъ вышелъ къ собравшимся гостямъ, подъ руку съ плѣнительной хозяйкой дома, которая представила его всѣмъ, какъ своего жениха. Дмитрій былъ какъ въ чадѣ, принималъ поздравленія, самъ пожималъ всѣмъ руки и старался не думать о томъ, что будетъ завтра. Была, однако, минута, когда онъ чуть не закричалъ: «неправда, все это неправда!» Но его остановила какая-то чарующая сила

заключавшаяся въ глазахъ той гибкой сирены, которая зорко слѣдила за всѣми его движеніями и сковывала его волю, замыкала его уста. И дѣйствительно, сирена была обворожительна; всѣ мужчины и самъ злопудучный женихъ не могли оторвать отъ нея глазъ.

Барсуковъ былъ точно иманинникъ и казался болѣе женихомъ, чѣмъ самъ женихъ. Онъ сіялъ отъ радости, засыпалъ комплиментами баронессу, восхвалялъ достоинства своего друга, Ветрищева, и твердо рѣшился обойти его со всѣхъ сторонъ, лишь только онъ сдѣлается законнымъ обладателемъ прекрасной вдовы и ея денегъ.

«Чортъ знаетъ, какая аппетитная бабенка!» думалъ онъ, поглядывая глазами будущую М-ше Ветрищеву. «Ну, да ничего, ничего, терпѣніе!.. А теперь намъ нужны залого».

— А гдѣ же Яковъ Александровичъ? спросила хозяйка дома:—il nous manque ce petit gros.

Дмитрій сконфузился и отвѣчалъ, что Мордовцевъ извиняется, такъ какъ не можетъ быть, за спѣшнымъ дѣломъ. Всѣ засмѣялись при мысли, что у Яши спѣшное дѣло, а баронесса объявила, что онъ очень милъ и она его очень любить.

Обѣдъ былъ самый роскошный; бесѣда шла оживленная, и хозяйка была мила и любезна. Случилась, впрочемъ, маленькая неприятность: Павелъ Георгіевичъ хлебнулъ черезъ край и сталъ рассказывать свою жизнь и приключенія. Онъ дошелъ уже до того, какъ онъ служилъ матросомъ на французскомъ кораблѣ и какъ, однажды, его высѣкли линьками; но предусмотрительная дочка наступила ему подъ столомъ на ногу такъ больно, что онъ вскрикнулъ и во-время остановился.

Послѣ обѣда она поѣхала въ театръ, и за ней поваляла вся ея свита. Туалетъ ея въ театрѣ былъ до того очарователенъ и сама она такъ хороша, что всѣ бинокли направились на ея ложу; Дмитрій испыталъ настоящій триумфъ. Въ театрѣ быстро разнесся слухъ, что баронесса Вальденбергъ, извѣстная красавица и богатая вдова, рѣшилась замѣстить, наконецъ, вакантное мѣсто своего стараго барона, и что этотъ счастливый избранникъ,—некто иной, какъ Дмитрій Николаевичъ Ветрищевъ, un jeune homme très comme il faut et de bonne famille. Мужчины удивлялись и находили, что баронесса могла бы сдѣлать лучшей выборъ, но дамы возражали, что это дѣло

темное,—неизвѣстно, что еще окажется и какъ-бы не попался въ просакъ «се раувге Ветрищевъ, qui est si gentil!»

Послѣ театра, цѣлое общество дамъ и мужчинъ собралось въ залахъ у Юліи Павловны. Пили чай, ужинали и даже танцевали. Шутя, одинъ изъ гостей заложилъ банкъ на открытомъ зеленомъ столѣ, гдѣ лежали карты; ему, тоже шутя, стали понтировать, и банкъ разросся незамѣтно до крупной цифры. Юлія Павловна проходила въ это время черезъ комнату, гдѣ шла оживленная игра.

— Eh bien, bagonne, сказалъ ей банкометъ, сладко улыбаясь,—попробуйте счастья.

Она взглянула на кучку бумажекъ, лежавшихъ на столѣ, накрыла своей маленькой ручкой карту и громко сказала:—«ва банкъ!» Ей тотчасъ дали карту; она расхохоталась и отошла отъ стола, не взявъ даже выигрыша. Публика закричала «браво!» банкометъ кисло улыбнулся.

— Chère comtesse, сказала хозяйка, подходя въ одной изъ дамъ, сидѣвшихъ въ гостинной,—я выиграла сейчасъ бездѣлицу, проходя мимо карточного стола, гдѣ молодежь шалила; позвольте мнѣ пожертвовать ее въ пользу нашего общества.

Бездѣлица оказалась болѣе шестисотъ рублей, и графиня была въ восторгѣ. Она была предсѣдательницей одного изъ благотворительныхъ обществъ, очень en vogue въ Петербургѣ; а баронесса—членомъ этого общества. Она желала нравиться не только мужчинамъ, но искала популярности и въ дамскихъ кружкахъ и вполне достигала этого щедрыми жертвованіями въ пользу разныхъ школъ, курсовъ и благотворительныхъ учреждений. Графиня на другой день прославляла ее по всему городу.

Гости стали разѣзжаться, и скоро хозяйка осталась одна со своимъ отцемъ. Улыбка тотчасъ-же исчезла съ ея лица, глаза приняли суровое и холодное выраженіе. Она сѣла въ кресло и скрестила руки.

— Я устала, сказала она, вздохнувъ.

— Скажи мнѣ, началъ допрашивать ее Павелъ Георгіевичъ,—ты рѣшилась окончательно?

— На что?

— Выйти замужъ за Ветрищева.

— Конечно.

— Да что ты въ немъ нашла?

- Онъ мнѣ нравится.
- Помилуй! съ твоимъ состояніемъ и такою выборъ!..
- Вкусы различны.
- Да нѣтъ, ты скажи мнѣ,—что ты въ немъ нашла.
- Ахъ, Боже мой, все: ну, напримѣръ, такого мужа, который не будетъ мѣшаться въ мои дѣла и не станетъ рыться въ моемъ прошедшемъ.
- Прошедшее умерло давно и не воскреснетъ.
- Кто знаетъ, а если...
- Павель Георгіевичъ поблѣднѣлъ.
- Ты получила оттуда извѣстія?.. Говори-же скорѣй.
- Никакихъ извѣстій я не получала, но я убѣждена, что онъ живъ.
- Ты убѣждена, что живъ!—Нѣтъ, быть не можетъ!..
- Julie, я туда поѣду, и если онъ живъ,—намъ надо бѣжать.
- Куда?
- Все равно—куда... въ Америку.
- Ты бѣги, я останусь.
- И выйдешь замужъ?
- Конечно.
- А если мужъ твой какъ-нибудь узнаетъ?
- Такъ что-жь?—онъ меня не выдастъ.
- Ты увѣрена?
- Еще-бы... Я долго выбирала и не опяблась... Повѣрь мнѣ, онъ такой мужъ, какой намъ нуженъ.
- Да зачѣмъ тебѣ выходить замужъ? Не лучше-ли остаться свободной?
- Нѣтъ, мнѣ въ тягость эта свобода, мое положеніе становится неловкимъ, обо мнѣ говорятъ слишкомъ много.
- Смотри, Julie, какъ-бы тебѣ не опибиться. Подумай, если случится что, какой обузой будетъ тебѣ новый мужъ.
- Всякій другой, но не этотъ. Дмитрій пойдетъ всюду, куда я толкну его, будетъ говорить моимъ языкомъ, думать моею головою.
- А что со мной будетъ, если... Павель Георгіевичъ не рѣшился выговорить рокового слова.
- Если ты подъ судъ попадешь? договорила за него Юлія, принужденно улыбувшись.—Не все-ли тебѣ равно, съ кѣмъ идти подъ судъ,—съ баронессой Вальденбергъ или съ ш-ше Ветрищевой?

— Не шути, ради Бога, я прошу тебя; меня давить какъ кошмаръ прошедшее, а ты забыла о немъ.

— О, нѣтъ, къ несчастію! сказала она, проводя рукою по лбу.

— Юлія, сталъ допрашивать ее отецъ, — скажи мнѣ, отчего ты думаешь, что онъ живъ? Ты вѣрно узнала что-нибудь, — скажи мнѣ.

Но она увѣрала, что ничего не знаетъ.

Онъ схватилъ ее за руку и, нагнувшись къ ней, произнесъ скороговоркой нѣсколько фразъ на какомъ-то странно звучащемъ для европейца языкѣ. Онъ видимо о чемъ-то просилъ ее, а она отказывала. Тогда онъ опустился на колѣни и сталъ цѣловать ей руки, но она отдернула ихъ и вышла изъ комнаты, сказавъ ему на прощанье:

— *Tachez de ne pas vous gâter à diner.*

Старикъ такъ и остался на колѣняхъ. Онъ пробовалъ встать, но не могъ, — колѣни дрожали, ноги измѣняли ему. Проходившая мимо миловидная горничная Настя застала его въ такомъ положеніи и, расхохотавшись, помогла ему подняться на ноги. Какъ ни былъ разстроены Павелъ Георгіевичъ, однако не утерпѣлъ таки, — обнялъ ее за талію и хотѣлъ поцѣловать. Но Настя оттолкнула его.

— Сами въ гробъ глядите, а туда-же! — сказала она и, опять засмѣявшись, убѣжала.

Старикъ опустился въ кресло и, тяжело вздохнувъ, сталъ шептать что-то и говорить самъ съ собою. Потомъ онъ вынулъ изъ бокового кармана женскую карточку, долго глядѣлъ на нее, опять зашевелилъ губами и спряталъ карточку въ карманъ. Онъ весь осунулся и съежился, лицо исказилось гримасой, голова повисла на грудь.

Вошедшій лакей сталъ тушить лампы; только тогда онъ всталъ и, шатаясь, побрелъ къ себѣ въ спальню.

Ив. Ахшарумовъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

ДОЛЯ.

Разсказъ Севера.

Первые проблески дня праздника Тѣла Господня окрасили розовой утренней зарей темныя тучи на востокѣ. Вслѣдъ за нею солнце сверкнуло снопомъ ясныхъ лучей, радуя людскія сердца, и угасло; темныя тучи, толпясь нестройными колоннами, надвигались все ближе и ближе, погоняемыя вѣтромъ. Среди ихъ рядовъ пролетали молніи, слышался глухой, подавленный громъ. Солнце старалось пробраться изъ-за темной завѣсы, но, побѣжденное, утонуло въ ливнѣ, низринувшемся на землю съ бѣшеною стремительностью.

Всѣ приуныли; въ глазахъ деревенскихъ дѣвушекъ засвѣтились слезы. Приготовленные къ празднику бѣлыя юбочки, рубашки съ большими вышитыми воротниками, которыя онѣ гладили всю ночь и которыя висѣли на чердакахъ, теперь покачивались отъ проникающаго сквозь щели вѣтра. Цвѣты, сорванные на вѣнки, дремали въ сосудахъ съ водою, ленты и корсеты вернулись въ сундуки. Тяжелые вздохи слышатся въ типинѣ, водворившейся въ хатахъ. Вчера солнце заходило такъ ясно, золотистое и розовое, ночью свѣтили звѣзды; теперь же вѣтеръ стонетъ, погоняя темныя тучи, дымъ разстилается по дорогамъ, птицы умолкли, скотъ бѣжитъ съ пастбища, а люди лѣнливо, съ печально опущенными головами, медленно оглядываясь, возвращаются домой съ поля.

Сдѣлалось тихо; пошелъ теплый мелкій дождь, мѣрно ударяя въ крыши хатъ. Слышно было, какъ онъ стучалъ о твердую землю дороги. Прогремѣлъ громъ, вдаль сверкнула молнія. Дождь шелъ все сильнѣе и сильнѣе, шумъ его становился все громче, и, казалось, съ неба льются тонкія струи.

Потомъ стало жарко и душно, туманъ окуталъ поля, глухія раскаты грома постепенно отдалялись, тучи бѣгли, — солнце понемногу высылало свои лучи на развѣдку, хотя дождь все еще шелъ. Наконецъ, подулъ вѣтеръ съ юга и разогналъ порѣдѣвшія тучи. Солнце выглянуло изъ-за серебристаго тумана и залило землю яркимъ свѣтомъ. Оно отражалось въ дождевыхъ капляхъ, висящихъ на листьяхъ деревьевъ, заблестѣло на влажныхъ колосьяхъ зеленой ржи, заиграло въ струйкахъ сбѣгающей дождевой воды. Чирикание птичекъ слышалось въ воздухѣ, мычанье скота, возвращающагося на пастбище, раздавалось по всему лугу.

Люди повеселѣли; дѣвушки съ восторгомъ вглядывались въ ясную лазурь неба. Глаза ихъ свѣтились радостью, изъ-за улыбающихся розовыхъ губокъ выглядывали ряды бѣлыхъ зубовъ. Выглаженные ночью юбочки и рубашки съ вышитыми воротниками принесли съ чердаковъ. Вѣнки изъ васильковъ, незабудокъ и полевыхъ розъ плелись быстро, лихорадочно, такъ что пальцы нѣмѣли. Зеркалаца разставили на столахъ и убрали волосы, заплетая ихъ въ косы и украшая лентами.

Домохозяйки серьезно и съ достоинствомъ разглядывали свои платки. Одни изъ нихъ, шерстяные, полосатые или съ цвѣточками, должны были прикрывать ихъ плечи, — другіе, поменьше, бѣлые, вышитые на углахъ, предназначались для украшенія ихъ головъ.

Обѣдали наскоро. И радостныя, и взволнованныя, и все еще нѣсколько тревожныя дѣвушки ничего не ѣли.

Раздался выстрѣлъ изъ мортиры, заставилъ зазвенѣть стекла въ окнахъ и потомъ замеръ въ воздухѣ тихимъ стономъ; парни на колокольнѣ ударили въ колоколъ.

По дорогѣ въ церковь показались сначала принарядившіяся хозяйки; за ними, въ бѣлыхъ полотняныхъ кафтанахъ, медленно выступали хозяева. На дорогѣ стало людно и шумно.

Попарно, въ бѣлыхъ, глаженныхъ юбочкахъ, съ вѣнками на головахъ, съ лентами въ косахъ, въ туго зашнурованныхъ корсетахъ и вышитыхъ воротникахъ, проходили дѣвушки, красивѣющія, робкія, торжествующія и гордыя.

Всѣ оставшіеся по домамъ выбѣгали на улицу, выглядывали изъ оконъ и громко удивлялись, а въ душѣ завидовали. Дѣти бѣжали впередъ, сзывая народъ.

Въ это время, по дорогѣ отъ крутого берега ручейка къ песчаному валу, худенькая дѣвочка вела на веревкѣ двухъ связанныхъ коровъ и телку. Дѣвочка видимо спѣшила. Хотя коровы шли бойко, она всетаки подгоняла ихъ, встряхивала веревкой и, подымая худенькую ручку, то угрожала имъ, то громко упрашивала ихъ.

Наконецъ, и животныя, и дѣвочка добрались до вала. Коровы съ жадностью набросились на богородицынъ цвѣтъ и желтый молочай; Ягуся, держа веревку въ рукѣ, усѣлась. Юбочка у ней была коротенькая, еле прикрывающая колѣни, корсетикъ не застегивался, платокъ на головѣ вылинялъ отъ солнца и дождя. Голубые, большіе глаза ея кротко и задумчиво смотрѣли на тихо струящіяся воды ручейка, — увѣнкія губы маленькаго рта шевелились. Она что-то шептала.

— Если-бы ты, Лотоха, не бѣгала въ господскій овесъ и не вводила въ искушеніе другихъ, то, можетъ быть, мнѣ удалось-бы набрать цвѣтовъ... произнесла она вслухъ, обращаясь къ черной коровѣ съ бѣлыми пятнами.

Лотоха съ жадностью щипала траву и не обращала вниманія на просьбы дѣвочки.

— Не побѣдишь?

Лотоха подняла голову, взглянула умными глазами по направленію къ овсу и опять погрузилась въ свое занятіе.

— Помни-же! крикнула Ягуся.

Она вынула изъ-за пазухи бѣлый платокъ, разложила его на травѣ и стала рвать ромашку, желтый молочай и другіе полевые цвѣты.

Надъ ручейкомъ росли незабудки, глядя влажными глазами на дѣвочку.

— Лотоха, побойся Бога и не ходи въ овесъ! крикнула она, спускаясь съ крутого берега къ водѣ.

— Не бойтесь, мои цвѣточки, говорила она.—Я рву васъ не для себя. И зачѣмъ-бы стала я васъ рвать? Вы отправитесь къ самой Пресвятой Дѣвѣ. Попросите-же тамъ за мамочку и за меня, бѣдную сироту.

Между тѣмъ, Лотоха, будто сговорила съ другой коровой и теленкомъ. Медленно, незамѣтно она провела ихъ ва-

ломъ къ ржи, и пока дѣвочка, отъ которой скрывалъ ихъ высокій берегъ, рвала цвѣты, животныя бросились въ овесъ.

Топотъ ужаснулъ дѣвочку. Она соскочила съ крутого берега и во всю мочь пустилась въ погоню за ними. Ей удалось ухватиться за веревку, волочившуюся за Лотохой, и вытащить коровъ изъ овса.

Выведа ихъ оттуда, она съ ужасомъ осмотрѣлась во всѣ стороны. Къ счастью для нея, на всемъ видимомъ пространствѣ, отъ деревьевъ господскаго сада, сбившихся въ зеленую массу, отъ разбросанныхъ полукругомъ хатъ и до кустовъ ольхи и огороженнаго валомъ ручейка, не было замѣтно ни одной живой души. Только на большой лужайкѣ, далеко рѣзвились дѣти, но и ихъ едва можно было разглядѣть.

— Охъ, Лотоха, Лотоха, сколько я изъ-за тебя уже натерпѣлась! Ты уже не помнишь, какъ меня избили сторожа, а тетка еще прибавила... У меня сныки по всему тѣлу! съ упрекомъ сказала дѣвочка.

Она повела Лотоху и ея спутницъ подъ крутой берегъ ручья, собрала разбросанные цвѣты и спрятала ихъ въ бѣлый платокъ. Держа въ одной рукѣ веревку, привязанную къ рогамъ коровы, въ другой платокъ, Ягуса обернулась къ церкви, красная башенка которой, выглядывая изъ за растущихъ на кладбищѣ липъ и тополей, утопала въ небесной лазури. Ягуса пристально смотрѣла на нее, не отводя глазъ; воображеніе ея работало. Она видѣла толпы народа, алтари, украшенные зеленью, ковры и зеркала, дѣвушекъ, несущихъ образа священника подъ балдахиномъ, зажженные свѣчи, — слышала пѣніе... Очевидно, она ждала чего-то, потому что не отрывала взгляда отъ церкви, ловя слухомъ малѣйшій шелестъ въ воздухѣ, жужжаніе пчелъ и трескъ полеваго кузнечика.

И вотъ раздались вдали звуки колоколовъ. Сердце Ягуси забилося трепетно; она сильно потянула за веревку, которую держала въ рукѣ, и, не обращая вниманія на то, что Лотоха и ея подруги принялись уписывать траву еще съ большимъ аппетитомъ, повлекла ихъ за собою, погоняя повременамъ сломленной ею вѣткою ольхи.

Онѣ бѣжали вчетверомъ по зеленому прогону и широкой дорогѣ, покуда, наконецъ, не вбѣжали, задыхаясь, въ узкія двери хлѣва.

Ягуса заперла хлѣвъ на задвижку, вытерла передникомъ

вспотѣвшее лицо, завязала платокъ на головѣ и взглянула на собравные ея цѣты.

Звонъ колоколовъ и выстрѣлы изъ мортиры заставили ее почти обезумѣть. Сжимая въ рукѣ платокъ, волнуемая и страхомъ, и какимъ-то глубокимъ, теплымъ чувствомъ, непреодолимо увлекавшимъ ее впередъ, она бѣжала къ церкви.

«Что за бѣда, что я босая и оборванная и Пресвятая Дѣва увидить меня такой? Что за бѣда, если тетка меня избьетъ? Можетъ быть, Пресвятая Дѣва скорѣе смилуетса надо мной. Мало-ли меня били ни за что, ни про что? Можетъ быть, и лучше, что теперь побьютъ за Пресвятую Дѣву», думала Ягуся.

Выстрѣлы изъ мортиръ продолжались. По каменнымъ ступенямъ добралась она до кладбища. Пѣніе народа, праздничныя одежды, музыка, зажженные свѣчи, алтари, хоругви, дѣвushки въ вѣнкахъ, несущія образа, возвышавшійся надъ всѣмъ этимъ красный багдахинъ, который несли самые почетные изъ жителей, священникъ въ золотой митрѣ—все это окружало Ягусю и словно озаряло ее какимъ-то неслышаннымъ счастьемъ. Мальчики въ бѣлыхъ стихаряхъ и красныхъ перелинахъ, звонящіе въ колокольчики, которые они несли въ рукахъ, заставили ее опомниться. Тутъ-же за мальчиками она увидѣла дочь органиста, жену старшины и жену кузнеца, рассыпающихъ цѣты къ ногамъ священника. Ягуся покраснѣла отъ волненія, протолкалась между рядами монаховъ съ чотками, идущихъ съ зажженными свѣчами, дрожащей рукой вынула цѣты изъ платка и начала рассыпать ихъ.

Жена старшины нахмурила брови, жена кузнеца отвернулась отъ нея, одинъ изъ монаховъ ударилъ ее свѣчей по ногамъ, такъ что она было упала, но онъ схватилъ ее за руку и вытолкнулъ впередъ.

Жена старшины и жена кузнеца пренебрежительно усмѣхнулись. Боль заставила Ягусю опомниться, но она все-таки не признала себя побѣжденной. Отодвинувшись немного съ дороги, дѣвочка смотрѣла вокругъ себя съ жаднымъ любопытствомъ.

Напрасно идущая въ толпѣ, съ зажженой свѣчей, тетка грозила ей. Ягуся не видѣла ея грозныхъ жестовъ, да если бы и видѣла, то все-же не ушла-бы отсюда.

Хоръ музыка, состоящій изъ трехъ трубъ, двухъ флейтъ

и одного барабана, заигралъ при поднятіи балдахина. Ягуса обѣжала кладбище съ противоположной стороны, миновала хоругви и, наконецъ, увидала дѣвушекъ, несущихъ образа. Она высмотрѣла себѣ самую красивую Пресвятую Дѣву въ золотомъ вѣнцѣ и розовомъ платицѣ и, вынимая дрожащей рукой цвѣты изъ платка, рассыпала передъ нею.

Дѣвушки весело улыбались и шли по ея цвѣтамъ, точно она сыпала ихъ для нихъ.

— Развѣ сюда, глупая! шепнула ей какая-то старуха.

Ягуса ей не отвѣчала: она знала, что дѣлаетъ. Она высыпала всѣ увѣты и кротко взглянула тогда на Пресвятую Дѣву. Ей казалось, что та улыбнулась. Огненный румянецъ покрылъ блѣдное лицо дѣвочки; она глубоко вздохнула и, вся сіяющая радостью, отошла подъ липу, стоящую на пригоркѣ.

Еще разъ передъ ея глазами прошла вся процессія, снова загремѣли выстрѣлы изъ мортиры, музыка опять заиграла, мальчики звонили въ колокольчики, народъ падалъ ницъ передъ дароносицей, балдахинъ блестѣлъ золотомъ и пурпуромъ на солнцѣ, хоругви развѣвались. Подошли и дѣвушки съ образами. Ягуса не смѣла смотрѣть на Пресвятую Дѣву. Она опустила глаза, и сердце у нея билось, ноги подкашивались.

Народъ началъ тѣсниться въ растворенныя двери церкви.

Кладбище постепенно пустѣло. Парни, по старому обычаю, ломали вѣтви съ алтарей. Изъ внутренности церкви доносились тихіе звуки органа.

Ягуса, побуждаемая любопытствомъ, робко вошла на паперть и встала на старыя ступени, заглядывая во внутренность церкви. Дымъ кадиль, возносящійся вверхъ, огоньки сотни свѣчей, мигающія подобно золотымъ звѣздамъ, и торжественное, набожное пѣніе народа наполнили ея сердце глубокимъ восторгомъ, смѣшаннымъ съ какимъ-то страхомъ. Она не смѣла взглянуть на сіяющій огнями большой алтарь, — она искала глазами только Пресвятую Дѣву въ золотомъ вѣнцѣ и розовомъ платицѣ. Наконецъ, Ягуса увидѣла ее изъ за тучи голубого дыма, вздрогнула отъ радости, сбѣжала съ лѣстницы и, выйдя на кладбище, поспѣшно пустилась домой. Въ хлѣву, въ которомъ были заперты коровы, раздавалось жалобное мычанье.

— Тихе, тихе ты, баловница! успокоивала дѣвочка ми-

чавшую Лотоху. — Не велика еще бѣда въ томъ, что ты прилегла на минуту и оводы тебя не кусаютъ.

Слова Ягуси, очевидно, дошли до сердца Лотохи, потому что она вытянула шею и начала тереться мордой о руки дѣвочки, показывая этимъ, что ей очень хочется, чтобы у нея почесали шею, въ знакъ мира.

Но нужно было торопиться на пастбище, — тетка могла придти изъ церкви... И снова дѣвочка поспѣшно повела коровъ на валъ, на берегъ ручья, весело журчавшаго по камнямъ и пѣнившагося на поворотѣ.

Передъ глазами Ягуси все еще носились картины, видѣнныя ею. Но потомъ ей вспомнился угрожающій жестъ тетки, вспомнились ея сморщенные брови и сжатые зубы.

«Все-таки Пресвятая Дѣва защититъ меня!» подумала Ягуся. — «А если не защититъ?» пришло ей потомъ въ голову. Дрожь пробѣжала по ея тѣлу. — «Если не защититъ, такъ стерплю... Я уже столько терпѣла», рѣшила она въ концѣ концовъ и опять погрузилась въ мечтательное созерцаніе всего видѣннаго ею сегодня.

Между тѣмъ, наступила ночь. Туманъ сталъ окутывать ручей и поля, шумъ, стоявшій днемъ надъ лугомъ и деревней, мало-по-малу затихалъ, горы темнѣли и словно расплывались въ вечернемъ мракѣ. Тихо выплылъ мѣсяцъ и осеребрилъ своимъ свѣтомъ зеленые луга, листья деревьевъ, озарилъ бѣлый туманъ.

Лотоха взглянула влажными глазами на посеребренный горизонтъ и дернула веревку, пробуждая дѣвушку изъ забытья.

Ягуся вскочила на ноги и поспѣшно повела коровъ домой. Теперь образъ Пресвятой Дѣвы съ ея кроткой улыбкой отодвинулся въ воображеніи дѣвочки совсѣмъ на задній планъ. Она думала уже объ одной только теткѣ и, казалось, видѣла ее передъ собою, гнѣвную, въ угрожающей позѣ, съ нахмуренными черными бровями надъ черными-же глазами. И тѣмъ ближе подходила Ягуся къ деревнѣ, тѣмъ сильнѣе ее охватывалъ страхъ. Наконецъ, она добѣжала до изгороди. Въ дверяхъ конюшни стояла тетка, подбоченясь, и когда дѣвочка переступила черезъ порогъ, то она ударила ее кулакомъ въ затылокъ, такъ что та упала.

— А! ты вздумала вмѣстѣ съ хозяйскими дѣтьми бросать дѣвѣты передъ священникомъ! воскликнула тетка. — Ты будешь

у меня морить голодомъ скоть и держать его до ночи!.. Я изъ тебя всю душу вытану!..

Она ступила впередъ съ поднятымъ кулакомъ, но Ягуся спряталась за Лотоху, привязывая ее къ яслямъ.

Несмотря на то, что Лотоха дала почти полный подойникъ молока, а другая корова—больше половины, это не успокоило разгнѣванную хозяйку. Доя коровъ, она повторяла:

— А! ты захотѣла сравняться съ хозяйскими дѣтьми, хоть у тебя нечѣмъ спины прикрыть! Пстой, я съ тобою управлюсь! Погоди!

Она вышла изъ хлѣва разгнѣванная, не взглянувъ на Ягусю.

Дѣвочка, оставшись одна, усѣлась на порогѣ, подперла руками голову и глядѣла въ окна хаты, красныя отъ пылающаго въ печкѣ огня.

«И что ей со мной справляться? думала она.—Развѣ я не пасу коровъ, не рву для нихъ корму, не мелю на ручной мельницѣ, не стираю бѣлья, колота его валькомъ у ручья?»

Ее началъ беспокоить голодь. Наконецъ, она встала, медленно подошла къ хатѣ и робко растворила дверь. Запахъ кушанья раскодился по всей избѣ. Ягуся печально остановилась у печки, не смѣя идти дальше, но тетка сейчасъ-же увидѣла ее, схватила за руку и вытолкала изъ избы.

— Если не работаешь, такъ не ѣшь! крикнула она и съ шумомъ захлопнула дверь.

Куба, молодой парень съ кроткимъ лицомъ, взглянулъ съ упрекомъ на хозяина, сидящаго за столомъ у миски съ клецками. Очевидно, взглядъ этотъ не прошелъ незамѣченнымъ, потому что хозяинъ опустилъ глаза и потомъ замѣтилъ женѣ:

— Эй, Каська, побойся Бога! Ты хочешь уморить дѣвочку? Только и дѣла, что бьешь ее, проклинаешь и моришь голодомъ...

— А тебѣ что за дѣло до дѣвочки? грозно спросила она.

Куба насмѣшливо улыбнулся.

Раздраженный этой улыбкой, хозяинъ крикнулъ:

— Да вѣдь это-же ребенокъ моей сестры, понимаешь?

— А ты съ какимъ богатствомъ влѣзъ въ мою хату? Одна рубаха была на плечахъ, да рваные сапоги...

— Влѣзъ въ новомъ тулупѣ, а изъ сапогъ пальцы свѣтились, какъ-бы про себя замѣтилъ Куба.

— Тихе! прикрикнула на него хозяйка:—не суй пальца между дверьми! А хотя-бы у тебя и былъ тулупъ, обратилась она къ хозяину,—такъ что-же? 'Ты живешь въ порядочной хатѣ и не сидишь голодомъ,—кому-же ты обязанъ этимъ?

— А развѣ я не работою? сказалъ онъ болѣе мягкимъ тономъ.

— Работаю... А тебѣ хотѣлось-бы лежать и спать, да что-бы для тебя все было готовое?..

Куба, пользуясь супружескимъ недоразумѣніемъ, всталъ, забравъ съ собою миску съ картофелемъ.

— Ты куда? крикнула ему вслѣдъ хозяйка.

— Вы ссоритесь, такъ я лучше поѣмъ въ конюшнѣ.

— Ты несешь картофель этой шельмѣ...

— Это мое, и я могу нести куда хочу, отвѣтилъ онъ, исчезая въ темнотѣ.

Ей очень хотѣлось догнать его и отнять у него миску съ картофелемъ, но она побоялась.

Хозяинъ молча вылавливалъ клецки, потомъ выпилъ молоко, вытеръ ротъ рукавомъ. и вышелъ изъ хаты. Сначала онъ усѣлся на лавку передъ нею, но когда хозяйка начала мыть посуду и читать молитву, онъ медленно направился въ конюшню.

— На, шепнулъ онъ, всовывая кусокъ хлѣба въ руки Ягуси, сидящей на порогѣ.

Она поцѣловала у него руку.

— Куба далъ тебѣ картофелю?

— Далъ, отвѣтила она тихо.

— Какъ только ты подростешь, я отдамъ тебя куда-нибудь въ хорошія руки, а это время тебѣ надо какъ-нибудь промаяться.

— Хорошо, отвѣтила дѣвочка.

— Промаяться! повторилъ Куба, выходя изъ конюшни.— Да развѣ она выживетъ зиму при такой собачьей жизни?

Хозяинъ почувствовалъ справедливость словъ Кубы, но не сумѣлъ ничего сказать и вернулся въ избу.

— Эй, промаюсь, мой Куба! откликнулась Ягуся.—Видишь-ли, Пресвятая Дѣва сегодня улыбнулась мнѣ.

— Ой, глупашка, глупашка! шепнулъ Куба.

— Улыбнулась, ей Богу... И это по ея волѣ ты принесъ мнѣ картофелю, а хозяинъ кусокъ хлѣба.

— Не ври... я принесъ потому, что мнѣ тебя жаль было.

— Жаль тебѣ было меня потому, что Пресвятая Дѣва смилославилась надо мной! Прежде ты не жалѣла меня.

Куба пожалъ плечами. У него не было ни времени, ни охоты оспаривать доводы ребенка. Ягуса зарылась въ солому, лежавшую въ углу конюшни, и заснула.

II.

Приближался день экзаменовъ въ школѣ. Хозяйки шли юбочки для дѣвочекъ, стирали рубашки для мальчиковъ; дѣти на лугу громко разсуждали о наградахъ, о книжкахъ въ красныхъ и голубыхъ переплетахъ, объ искусственныхъ цвѣтахъ, лентахъ и картинкахъ. Ягуса слушала эти разговоры. Глаза ея глядѣли съ любопытствомъ, ея полуоткрытыя губы свидѣтельствовали о томъ, что она очень заинтересовалась приближающимся событіемъ.

Мальчики, притопывая ногами и хлопая въ ладони, распѣвали пѣсни, которымъ научились въ школѣ. Они разсказывали чудеса объ ихъ господинѣ учителѣ, о черной доскѣ, о большой картѣ и цѣлыхъ странахъ свѣта и моряхъ, нарисованныхъ на ней. Ягуса слушала печальная.

«Если-бы матушка была жива, думала она, — и я-бы училась».

Въ ея воображеніи опять предстала Пресвятая Дѣва въ розовомъ платицѣ и золотомъ вѣнцѣ.

«Сведеть-ли она меня въ школу, сошьеть-ли новую юбочку? — раздумывала Ягуса. — Можетъ быть, она и сдѣлаеть это для меня, если захочеть. Захочеть-ли только?..»

— Ну, чего-же ты, Яга, стоишь какъ малеваная и таращишь глаза? — пробудилъ ее изъ раздумья Войтекъ, хлопая бичемъ по травѣ.

Пристыженная дѣвочка молча отошла и усѣлась на валь. Ребятишки смѣялись надъ ней, называя ее «малеваной Ягой», но Ягуса не отвѣчала на ихъ смѣхъ и приставанья. Она думала о своей долѣ, о матери и Пресвятой Дѣвѣ, а болѣе всего о завтрашнемъ экзаменѣ.

На другой день тетка, еще до восхода солнца, пошла на ярмарку.

Солнце раннимъ утромъ разогнало туманъ, клубившійся

надъ рѣчкой, вышло росу съ луговъ, осушило листья деревьевъ и, поднимаясь, все сильнѣе и сильнѣе палило огнемъ съ неба.

Ягуся причесалась въ конюшнѣ передъ зеркальцемъ Кубы, вплела въ косу старую ленточку и, улыбающаяся, хотя и босая и въ коротенькой юбочкѣ, пошла въ школу.

У дверей стоялъ сторожъ и впускалъ только приглашенныхъ гостей.

Ягуся жалобно смотрѣла на него.

— Была-ли ты когда-нибудь въ школѣ? спросилъ онъ ее.

— Нѣтъ еще, никогда, отвѣтила она, цѣлуя у него руку и тихонько пробралась въ двери.

«Ну, пусть и эта бѣдняжка порадуется», подумалъ сторожъ, глядя на дѣвочку, порозовѣвшую отъ радости и съ любопытствомъ заглядывающую въ классы. Между тѣмъ, Ягуся нѣсколько пріободрилась и вошла въ большую, свѣтлую комнату, наполненную дѣтьми.

Около кафедры размѣщались важные посѣтители школы: помѣщикъ, священникъ, помѣщица съ дочкой и какой-то молодой и красивый господинъ.

— Вставайте! скомандовалъ учитель.

Дѣти встали и, по данному знаку, запѣли хоромъ:

«Искренняя благодарность нынѣ теплится въ нашихъ сердцахъ,

«За то, что вы, господа, достойные благодѣтели,

«Удостоили прибыть къ подростоющей молодежи,

«Чтобы посмотрѣть, на что она употребляетъ время».

Ягуся слушала съ разинутымъ ртомъ, устремивъ на дѣтей свои голубые глаза. Пѣніе давно уже прекратилось, а дѣвочка все еще смотрѣла, пораженная и задумчивая.

Учитель читалъ списокъ самыхъ прилежныхъ учениковъ и ученицъ, а помѣщица раздавала имъ награды, — книги въ красныхъ и голубыхъ переплетахъ, тетрадки, корсеты, ленты. Послышались сдержанныя радостныя восклицанія, — раздался тихій говоръ, на всѣхъ лицахъ видно было волненіе. Дочка помѣщицы взяла пачку картинокъ и раздавала ихъ дѣтямъ поочередно. Ей помогалъ молодой господинъ. Когда они подошли къ тому мѣсту, гдѣ стояла Ягуся, дѣвочка тоже протянула руку.

— Она не ходила въ школу, сказали нѣкоторые изъ дѣтей.

— Отчего ты не ходила въ школу? спросилъ ее молодой господинъ.

— Оттого что у меня нѣтъ ни башмаковъ, ни азбуки... а тетя не дастъ, тихо сказала Ягуся.

— А если-бы у тебя была азбука?

— Тогда я ходила-бы сюда безъ башмаковъ—цѣлую зиму и лѣто.

— А кто-же за нее будетъ пасти коровъ? замѣтила жена кузнеца.

Молодой господинъ не обратилъ вниманія на ея слова; онъ вынулъ изъ портмоне серебряный талеръ и подаль дѣвочкѣ.

— Купи себѣ азбуку и ходи въ школу, сказалъ онъ.

Дочка помѣщицы дала ей картинку и погладила ее по головѣ.

Ягуся пришла въ такое волненіе, что забыла даже поблагодарить ихъ: она поблѣднѣла, сердце у нея билось, глаза свѣтились.

— Взгляните, какіе прекрасные глаза у этой дѣвочки. Васильки позавидовали-бы ей, замѣтила дочь помѣщицы, обращаясь къ своему помощнику.

— Видишь-ли, ты не поблагодарила насъ, сказалъ онъ Ягусѣ и, приблизивъ къ ней свое лице, тихо прибавилъ:— поцѣлуй меня...

Дѣвочка поцѣловала его. Хорошенькая барыня улыбнулась; дѣти стали перешептываться о томъ, какая смѣлая эта «малеваная Яга» и какое ей счастье. Улыбнулась и помѣщица, засмѣялись и члены училищнаго совѣта, сидѣвшіе у дверей.

Покраснѣвъ отъ смущенія, Ягуся не знала куда дѣваться. Въ одной рукѣ она сжимала талеръ, въ другой картинку и, не будучи въ состояніи выдержать устремленныхъ на нее взглядовъ, смущенно вышла изъ школы.. Въ корридорѣ она вздохнула свободнѣе, на дворѣ разсмѣялась отъ всего сердца, подскочила и изо всѣхъ силъ побѣжала домой. Ей было не передъ кѣмъ излить свою радость, и она обратилась къ Лотохѣ,—прикладывая серебряный талеръ къ ея глазамъ, къ морщѣ. Лотоха сопѣла, обливаясь языкомъ ругу дѣвочки.

— Тебѣ-бы только все ѣсть да ѣсть, сказала Ягуся, слегка ударивъ ее по щекѣ.

Проходилъ Куба.

— Куба, побойся Бога, встань и погляди! Видишь-ли ты, это серебряный талеръ отъ барчука, а картинка отъ барышни. Взгляни, на картинкѣ точно такая пресвятая Дѣва, какъ та, которая улыбалась мнѣ съ образа! говорила Ягуса.

— Что-же ты сдѣлаешь съ этими деньгами? спросилъ Куба.

— Барчукъ сказалъ, что это на азбуку.

— Да развѣ тетка отдастъ тебя въ школу, дурочка! Лучше отдай ихъ хозяину, — пусть онъ прибавитъ копѣекъ тридцать, сорокъ и купить тебѣ сапоги, хотя-бы и подержанные.

Ягуса не раздѣляла практическаго воззрѣнія Кубы и отрицательно покачала головой.

— А каково тебѣ будетъ зимой? спросилъ Куба.

— Зима далеко! воскликнула она. — Далекое, мой Кубася! И не отговаривай меня лучше... И барчукъ такъ приказалъ; мнѣ самой хочется въ школу. Тамъ хорошо и навѣрно тепло.

— Такъ и пойдешь ты туда! сказалъ Куба и, махнувъ рукой, отошелъ.

Дѣвочка осталась одна. Восторженная радость ея уменьшилась и стихла. Куба отрезвилъ ее. Теперь она колебалась нѣкоторое время, не зная, что ей приобрести на свой талеръ, — сапоги или азбуку, — но въ концѣ-концовъ азбука побѣдила...

— У всѣхъ дѣтей есть азбуки, только у меня одной нѣтъ, говорила она, всматриваясь въ изображеніе Пресвятой Дѣвы.

«Точно такая-же, какъ въ церкви. А можетъ быть это Пресвятая Дѣва и направляла руку дочки помѣщика», думала Ягуса, и въ головѣ ея начала складываться цѣлая легенда.

Куба далъ ей кусочекъ клеенки. Она сложила его вдвое и, положивъ посрединѣ картинку, потомъ свила изъ конопли нитку, завязала ею клеенку и спрятала все вмѣстѣ за корсетъ и рубашку.

— Мой Кубася, не болтай, пожалуйста, о серебряномъ талерѣ ни теткѣ, ни хозяину. Не скажешь?

— Чего мнѣ говорить? Чтобы эта вѣдьма вытянула-бы его у тебя изъ души? проворчалъ Куба.

Пополудни лугъ наполнился дѣтьми. Побѣжала и Ягуса, погоняя коровъ. Ребятишки хвастались, показывая награды и подарки; вездѣ звучалъ веселый серебристый смѣхъ, слышались пѣсенки.

Ягуся боялась показывать свой серебряный талеръ, а картинки были у всѣхъ дѣтей; она рада была-бы порѣзвиться, рада была-бы принять участіе въ общемъ весельѣ, но не могла. Она смѣялась, когда другія смѣялись, но она не умѣла ни танцовать, ни бѣгать.

Валекъ, бойкій и веселый мальчикъ-пастухъ, уже вышедшій изъ перваго класса, хорошо читавшій и потому пользовавшійся уваженіемъ толпы дѣтей, первый сталъ ухаживать за Ягусей. Онъ присматривалъ, чтобы Лотоха не надѣлала бѣды, починилъ Ягусѣ бичъ, перенесъ ее черезъ ручей на другую сторону. Дѣвочка, давно, давно уже не видѣвшая ни отъ кого ласки, была сразу закуплена этимъ неожиданнымъ вниманіемъ. Когда-же ей пришлось услышать, какъ дѣти говорили, что Валекъ ухаживаетъ за «малеваной Ягусей», она гордо и радостно улыбалась.

Они подружились.

— Знаешь что, Ягуся? Завтра ярмарка, сказалъ, два дня спустя, мальчикъ, возвращаясь вечеромъ въ деревню.

— Слышала, отвѣчала она.—Тетка навѣрно убѣжитъ туда до восхода солнца. Пусть ее бѣжитъ.

— И я-бы пошелъ, только мнѣ не съ чѣмъ.

Онъ замолчалъ. Ягуся тоже не смѣла произнести ни слова, и сердце ея сжалось печальнымъ предчувствіемъ.

— А я долженъ быть, съ волненіемъ сказалъ потомъ Валекъ.

— Долженъ? повторила она машинально.

— Долженъ! крикнулъ онъ.—И пойду, если ты мнѣ можешь, Ягуся, и одолжишь тотъ талеръ, который ты получила въ школѣ.

— Валя, прошептала она,—вѣдь это все мое богатство...

— А что-же? Развѣ я отниму его у тебя? Обокраду тебя? Да покараетъ меня тяжело Богъ, если я тебѣ не отдамъ деньги черезъ два воскресенья!..

— Полно, полно, успокаивала она его.—Такъ мнѣ нечего бояться?..

— Конечно, нечего, потому что хоть мнѣ тутъ провалиться...

— Валя! вскрикнула она.

— Дашь?

— А что-же мнѣ дѣлать? Хоть у меня сердце сжимается, до того мнѣ жаль...

— Нечего ему сжиматься, не отъ чего! рѣзко и даже грубо сказалъ онъ.

Молча шли они дальше. Босыя ноги ихъ увязали въ песокъ. Валець тревожился, чтобы она не отказала ему въ послѣднюю минуту; Ягуся-же начинала почти бояться его.

Солнце зашло за тучу, окрестность потемнѣла, только за чернымъ лѣсомъ небо алѣло. Было душно и тяжело, такъ что дѣти задыхались. Обжора Лотоха и другія коровы безпрестанно останавливались, и Ягуся съ усиленіемъ тянула ихъ за веревку, отирая передникомъ потъ со лба.

Они миновали возвышавшуюся на пригоркѣ статую святого, окруженную тополями. Деревья стояли, какъ заколдованныя,—ни одинъ листикъ на нихъ не двигался. Молнія прорѣзала небо. Ягуся перекрестилась. За пригоркомъ начиналась усаженная вербами дорога, по которой стало легче идти. Лотоха сама рвалась домой.

Не вдалекѣ отъ хаты Валець остановился и взялъ Ягусю за руку.

— Я буду ждать тебя у статуи хотя-бы до полуночи, сказалъ онъ дрожащимъ голосомъ. — Но помни, ты должна принести...

Дѣвочка молчала.

— Принесешь? настаивалъ онъ съ угрозой въ голосѣ.

— Принесу, шепнула она и пошла за коровами, которыя уже вошли во дворъ.

Вечеромъ, когда коровы были выдоены и въ окнахъ хаты показался красный свѣтъ отъ огня, разведеннаго на очагѣ, Ягуся усѣлась на лавку, достала изъ-за пазухи клеенку, въ которую была завернута картинка, развязала нитку и взглянула на изображеніе. Пресвятая Дѣва улыбалась ей, но какъ-то печально. Потомъ дѣвочка вынула завернутый въ тряпки свѣтлый серебряный талеръ и съ печальнымъ предчувствіемъ, въ нерѣшимости, держала его въ рукѣ.

Нѣтъ, Валець былъ къ ней добръ,—онъ не обманетъ ее, тѣмъ болѣе, что далъ ей клятву. И должно быть, ему очень нужны эти деньги, если онъ ждетъ ее теперь, несмотря на то, что ночь такая темная и молніи прорѣзываютъ небо.

Она встала, вздохнула тяжело и пошла на условленное мѣсто.

Валекъ ждалъ ее около статуи.

— Принесла? спросилъ онъ, тихимъ отъ волненія голосомъ.

Ягуся открыла руку, и талеръ блеснулъ въ темнотѣ. Мальчикъ быстро схватилъ его.

— Валя, ты поклялся! — прошептала она.

— А пусть-бы меня...

— Молчи! прервала она его, отвернувшись и съ полными слезъ глазами пошла медленно домой.

Валекъ глядѣлъ вслѣдъ дѣвочкѣ, пока она не исчезла въ темнотѣ. Въ немъ шевельнулась совѣсть и какъ будто шептала ему: «вѣдь она сирота, сирота».

— Да развѣ-же я не отдамъ ей деньги, что-ли? крикнулъ онъ, и, боясь самъ не зная чего, торопливо побѣжалъ домой по тропинкѣ, освѣщаемой блескомъ молній. Ему казалось, что, при свѣтѣ ихъ, онъ видитъ плачущую Ягусю. Вороны, сидящія на высокихъ ольхахъ и пробужденныя свѣтомъ молній каркали ему вслѣдъ: «Сирота, сирота»!

Онъ бѣжалъ изо всѣхъ силъ и только увидѣвъ свѣтъ въ окнахъ хатъ замедлилъ шаги, вздохнулъ тяжело и посмѣялся надъ собою.

III.

Прошла недѣля и другая. Валекъ пересталъ ухаживать за Ягусей, убѣгалъ отъ нея и не показывался на лугу. Дѣвочка не смѣла заговорить съ нимъ и, когда они встрѣчались, молчала, печально глядя на него.

— И чего ты на меня такъ тарачишь свои глазища? крикнулъ онъ, однажды, не будучи въ состояннн вынести ея взгляда. — Что, я не отдамъ тебѣ, что-ли, твоего глупаго талера?

Ягуся отвернулась отъ него, не сказавъ ни слова. Мальчикъ отошелъ злой и унылый и клялся, что когда добудетъ талеръ, то швырнетъ его въ лицо ей.

Лѣто проходило. Сквозь желтые листья деревьевъ и бѣлую паутину, носившуюся въ воздухѣ, заглядывала осень. Холодная утра, покрывавшія луга инеемъ, темныя, тянущіяся съ сѣвера тучи и шумящія въ ольховникѣ вѣтеръ нагоняли тоску

на дѣтей. Взрослые начали поговаривать о зимѣ. Тетка Ягуси швырнула ей платокъ, чтобы она надѣвала его, когда выходить изъ дома, но — при босыхъ ногахъ и короткой юбочкѣ — пользы отъ этого платка было, конечно, немного.

— Видишь, говорилъ Куба Ягусѣ, — я былъ правъ, когда совѣтовалъ тебѣ отложить на сапоги тѣ деньги, которые тебѣ далъ барчукъ.

— А что-же тетка? Развѣ я не пасла ей цѣлое лѣто три штуки скота? отвѣтила она.

— Жди, подожди, пока она истратитъ на тебя хоть мѣдный грошъ.

Дѣвочка молча вздохнула о потерянномъ талерѣ, подумала о школѣ, объ азбукѣ и погнала скотъ на пастбище.

Подулъ вѣтеръ съ запада, понеслись по небу темныя тучи, изливая на землю потоки холоднаго дождя. Ноги Ягуси стали уже не красными, а малиновыми. Закутавшись въ платокъ, она по цѣлымъ часамъ стояла на берегу ручья, дрожащая отъ холода, упавшая духомъ и какъ-будто придавленная. Она даже перестала жаловаться на кого-бы то ни было, — на тетку или на Валека, — и апатично думала, что такова, должно быть, ужь ея доля.

Однажды ночью съ ней сдѣлался ознобъ, потомъ начался сильный жаръ. Къ утру она еле волочила ноги. Дождь пересталъ, солнце выглядывало изъ-за тучъ, только вѣтеръ все шумѣлъ и шелестилъ соломенными крышами и листьями ольхъ.

Она боялась пожаловаться теткѣ на свое недомоганье, сказала о немъ только Кубѣ, и тотъ далъ ей старую попону, чтобы ей было чѣмъ обернуть ноги.

Въ полдень она почувствовала себя бодрѣе и веселѣе и съѣла немного квашеной муки, пришедшейся ей болѣе по вкусу. Но когда, подъ вечеръ, Ягуся выгнала скотъ въ поле, лихорадка снова овладѣла ею. Она укуталась въ платокъ, обернула ноги попоной и улеглась на берегу. Сначала она слышала стоны вѣтра и журчанье ручья, но потомъ и это журчанье, и эти стоны мало-по-малу слились для нея въ одно смутное цѣлое и, наконецъ, совсѣмъ затихли, — она уснула.

Ее разбудилъ отдаленный крикъ, похожій, какъ ей показалось, на крикъ тетки. Ягуся открыла глаза. Звѣзды выглядывали изъ-за темныхъ тучъ, Лотоха жалобно мычала, — на

дворѣ стояла ночь, и коровамъ давно слѣдовало-бы быть уже дома. Дѣвочка вскочила въ страшномъ испугѣ. Въ воображеніи ея промелькнуло грозное лицо тетки, гнѣвный голосъ которой попрежнему слышался ей въ завываньихъ вѣтра.

Дрожь пробѣжала по тѣлу Ягуси. Она подбѣжала къ Лотохѣ и увидѣла, что та лежала на землѣ, запутавшись въ веревкѣ, а другая корова стояла подлѣ нея. Теленка не было.

Дрожащими отъ страха руками дѣвочка распутала Лотоху и, держа ее за рога, стала кликать теленка... Напрасно! Только вѣтеръ гудѣлъ вокругъ, да гнѣвный крикъ тетки слышался иногда среди шума и завыванія непогоды... Дѣлать было нечего,—оставалось только гнать коровъ на дорогу, гдѣ тетка встрѣтитъ ихъ, а потомъ она, Ягуся, пойдетъ искать пропавшаго теленка. Озябшія коровы рвались и бѣжали домой, за ними бѣжала и испуганная дѣвочка. Въ головѣ у ней шумѣло, сердце билось, она задыхалась.

Хриплый и дрожащій отъ ярости крикъ тетки становился все слышнѣе; коровы торопливо бѣжали на этотъ знакомый имъ голосъ. Ягуся остановилась и не смѣла двинуться дальше.

Наконецъ, стукъ копытъ затихъ, голоса тетки тоже не стало слышно. Дѣвочка вздохнула свободнѣе, оглядѣлась, взглянула вверхъ. Тучи летѣли по небу далеко, на конецъ свѣта, рѣдкія звѣзды просвѣчивали между ними не надолго и опять скрывались. Дѣвочкѣ послышалось, что среди стоновъ и завыванія осенняго вѣтра она слышитъ мычанье теленка. Это нѣсколько ободрило ее. Она натянула платокъ на плечи и побѣжала на лугъ,—съ луга на валъ и снова слушала. Вѣтеръ жалобно шумѣлъ, шелестя вѣтвями деревьевъ, и ей опять почувдилось, что въ этомъ шумѣ она различаетъ жалобное мычанье теленка. Ягуся сошла въ ручей. Вода показалась ей страшно холодною и глубокою; однако, раздумывать было некогда, и дѣвочка сняла съ себя платокъ и перебросила его на другой берегъ, потомъ, развязавъ юбку свернувъ ее, бросила вслѣдъ за платкомъ. Затѣмъ, дрожа отъ лихорадки, она вошла въ воду и, съ трудомъ справившись съ быстрымъ теченіемъ, добралась до кустовъ, свѣсившихся съ противоположнаго берега.

Серпъ мѣсяца выплылъ на востокъ, быстро плывя по блѣдному небу, и лучи его осеребрили на нѣсколько минутъ тучи,

несущіяся въ вышинѣ, и влажные луга. Дрожа отъ холода, Ягуса опять одѣлась и осмотрѣлась вокругъ.

Далеко, среди молодого сосняка, что-то зашелестило. Она побѣжала туда,—черезъ лужи холодной воды, черезъ черныя торфяныя болота, въ которыхъ ноги ея вязли по колѣно. Вотъ и кустарникъ, но среди него — ни живой души. Снова она осматривается во всѣ стороны, и снова ей кажется, что вдали, среди кустовъ, мелькаетъ какая-то тѣнь. Ягуса опять бѣжитъ дальше, и опять эта тѣнь исчезаетъ, а за нею ребенку мерещатся все новыя и новыя тѣни, все новыя и новыя призраки. Вѣтеръ стихалъ и опять принимался дуть съ удвоенною силою, мѣсяцъ скрывался за тучами и опять показывался изъ-за нихъ, плывя по сѣрому небу, а дѣвочка бѣжала все дальше и дальше.

Окончились черныя торфяныя болота, испещренныя свѣтлыми лужами, по окраинамъ которыхъ разстилались кустарники. Пошли вспаханныя земли и луга. Вдалекѣ показалась церковь, показались сѣрыя крыши хатъ. Вотъ на пригоркѣ возвышается крестъ, словно великанъ, раскинувшій руки. Утомленная Ягуса прислонилась-было къ нему и не смогла устоять на своихъ подкашивавшихся и одеревенѣвшихъ ногахъ. Она спустилась на землю, все-таки продолжая осматриваться во всѣ стороны, прислушиваться ко всякому звуку и думать объ одномъ только,—о томъ, чтобы найти пропавшаго теленка.

Черезъ минуту она встала и опять пошла на поиски, съ трудомъ передвигая ноги. Мѣсяцъ скрылся, вѣтеръ притихъ, туманъ окуталъ землю. Окутанная бѣлыми клубами его, заблудившаяся среди незнакомыхъ ей полей, какъ песчинка, брошенная на дно морское, Ягуса, наконецъ, почувствовала себя покинутой Богомъ и людьми, почувствовала приливъ отчаянія и смертной тоски. Она ломала руки и, тихо плача, звала свою мать.

— Иди, иди! раздался крикъ совы, пролетѣвшей такъ близко отъ нея, что она услышала шумъ ея тяжелыхъ крыльевъ. Этотъ крикъ показался дѣвочкѣ какимъ-то таинственнымъ велѣніемъ свыше, голосомъ умершей матери, призывавшей ее къ себѣ.

— Пойду, съ отчаяніемъ отвѣтила она,—пойду!

Работающая по цѣлымъ днямъ, мать никогда не ласкала ее, но все-таки Ягусѣ было хорошо съ нею. Она припомнила

теперь свое дѣтство, и ей стало жаль его, — она была-бы несказанно рада снова вернуться къ нему, къ матери, выйти какъ-бы-то ни было изъ охватывавшаго ее со всѣхъ сторонъ тумана, среди котораго не видно было ни одной звѣзды на небѣ, ни одного деревца на землѣ, ничего...

— Ступай! ступай! снова раздался крикъ совы.

— Молчи... иду! шептала дѣвочка.

Въ помутившемся умѣ ея мелькала мысль, что для того, чтобы покончить съ своею несчастною жизнью и уйти къ матери, нужно найти воду, глубокую воду.

Идя все впередъ и впередъ среди густого бѣлаго тумана, она вдругъ почувствовала, что спускается внизъ, по скату, и почти вслѣдъ затѣмъ услышала журчанье воды.

— Вотъ и вода, прошептала она. — Это сова привела меня сюда...

Но теперь ей стало невыразимо страшно разставаться навсегда съ жизнью, и она неподвижно стояла на берегу, заливаясь слезами и ломая закоренѣвшія руки.

— Ступай, ступай! еще разъ послышался ей злобѣщій крикъ совы.

— Мама... иду! жалобно шептала Ягуса и, дрожа всѣмъ тѣломъ, вошла въ воду.

Вода была холодна, но не глубока. Едва дѣвочка погрузилась въ нее, какъ почувствовала подъ ногами дно. Задыхаясь и напрягая послѣднія силы она бросилась еще дальше отъ берега, но теченіе подхватило ее и отнесло къ берегу.

— Нѣтъ, вода не хочетъ принять меня, мелькнуло въ головѣ дѣвочки.

Она машинально закуталась въ платокъ и тихо побрела дальше. Въ овладѣвшемъ ею бреду она думала теперь, что ей остается только идти въ чащу лѣса, гдѣ-бы нельзя было ее найти, улечься тамъ и лежать, покуда не придетъ смерть.

Туманъ поднимался вверхъ, разгоняемый опять разгуливавшимися вѣтромъ; на востокъ заалѣла кровавая заря.

— Свѣтаетъ, подумала Ягуса и ускорила шаги, боясь, что ее увидятъ и догонять.

Голова ея, казалось, была налита свинцомъ, вѣки отяжелѣли; она тяжело вдыхала и съ трудомъ передвигала босые ноги.

Наконецъ, Ягуса добрела до полотна желѣзной дороги.

Она слыхала о громадной колесницѣ, ѣздящей по желѣзнымъ рельсамъ, дышащей огнемъ и дымомъ, и вотъ вдалькѣ что-то загрохотало, показались бѣлые клубы дыма, быстро взлетавшіе вверхъ и, съ шумомъ и свистомъ, ближе и ближе, катилось по дрожавшей землѣ нѣчто невиданное ею и чудовищное. У дѣвочки подогнулись колѣни и, съ холоднымъ потомъ на лбу, закрывъ руками глаза, она безъ чувствъ упала на рельсы.

Ее привело въ себя прикосновеніе чьей-то руки. Открывъ глаза, она увидѣла передъ собой кондуктора и машиниста. Господа выходили изъ вагоновъ и, одинъ за другимъ, подходили къ ней. Потрясенная всѣмъ случившимся съ нею, Ягуса не могла вымолвить ни слова на вопросы, которые ей предлагали со всѣхъ сторонъ. Только когда одинъ изъ пассажировъ отвелъ ее въ сторону и, наклонившись къ ней, сталъ ее разспрашивать, она рассказала ему о теткѣ и о своемъ несчастіи. Пассажиръ повторилъ ея рассказъ своимъ спутникамъ. Тотчасъ-же между нами устроилась складчина въ пользу дѣвочки. Собранныя деньги завязали въ уголь ея платка, кондукторъ усадилъ ее въ пустой вагонъ, поѣздъ засвисталъ, загрохоталъ, дернулъ раза два и полетѣлъ.

Ягуса какъ во снѣ глядѣла въ окно вагона и сжимала за-вернутыя въ платокъ деньги.

«Куда она ѣдетъ?» «зачѣмъ?» «что съ нею сдѣлають?» въ недоумѣніи думала она.

И снова поѣздъ свистнулъ, замедливъ ходъ и потомъ остановился совсѣмъ. Кондукторъ отворилъ двери, взялъ Ягусю на руки и, поставивъ на землю, подвелъ къ какому-то господину въ красной шапкѣ и съ большою бородою. Господинъ взялъ дѣвочку за руку. Въ это время поѣздъ тронулся и черезъ минуту исчезъ въ придорожномъ лѣсѣ. На станціи остались только нѣсколько бабъ и мужиковъ, среди которыхъ дѣвочка замѣтила невысокаго человѣка въ бѣломъ холщевомъ кафтанѣ.

Господинъ въ красной шапкѣ рассказалъ, какъ Ягуса убѣжала отъ тетки, хотѣла лишиться себя жизни и бросилась на рельсы, но машинистъ во-время замѣтилъ ее и остановилъ поѣздъ. Одни дивились, другіе жалѣли сироту... Поговорили и пошли прочь.

Дѣвочка усѣлась на ступени передъ станціей. Жена смотрителя принесла ей молока и кусокъ хлѣба. Молоко Ягуса выпила, а хлѣба ѣсть не могла.

Господинъ въ красной шапкѣ погладилъ ее по головѣ, совѣтовалъ вернуться къ теткѣ, отдать ей деньги за пропавшаго теленка и сидѣть смиренно.

— И все уладится, кончилъ онъ. — Ступай, ступай, мое дитячко; разспроси у людей—они тебѣ укажутъ дорогу.

Ягуся встала и пошла, едва передвигая ноги.

На дорогѣ стоялъ тотъ человекъ въ бѣломъ холщевомъ кафтанѣ, котораго она видѣла на станціи. Онъ слегка прихрамывалъ на одну ногу, лице его было изборождено оспой, изъ подъ зеленой шапки виднѣлись бѣлые, какъ ленъ, волосы, но глаза у него были добрые.

Когда Ягуся поровнялась съ нимъ, онъ пошелъ съ нею. Сначала они шли молча, но, наконецъ, этотъ человекъ остановился. Остановилась и дѣвочка.

— Что-же ты будешь дѣлать? спросилъ онъ.

— Не знаю, отвѣчала она.

— Къ теткѣ не вернешься?

— Нѣтъ, не вернусь никогда.

— Какъ-же тебя зовутъ?

— Яга.

— Слушай-ка, Ягуся!..

— Говорите.

— А что, если-бы ты перебралась ко мнѣ?

— Къ вамъ?

— Ко мнѣ... У меня хата теплая, дровъ вдоволь и десятина земли. Я сторожу барскій лѣсъ, и потому мнѣ въ немъ дозволено пасти... Мать у меня умерла весной, и теперь я одинъ, какъ персть. Зимой ты-бы у меня отдохнула, а лѣтомъ отработашь мнѣ за это. Теперь у меня некому ни корову подоять, ни кушанье готовить, ни картофелю начистить. Съ тобой было-бы мнѣ веселѣе.

— А вы не будете меня бить, если я не все буду дѣлать такъ, какъ настоящія хозяйки?

— Никого еще сроду не билъ,—какъ-же я тебя, сироту, сталь-бы бить? Развѣ ты будешь злая?

— Буду добрая, отвѣтила она;—а когда подрасту, стану дѣлать все, какъ слѣдуетъ.

— А сколько тебѣ лѣтъ?

— Дядя говорилъ—четырнадцатый...

— Ну, такъ недолго и ждать. Такъ что-же, Ягуся, — пойдешь?

— Пойду, сказала она.

— Ну, такъ пойдѣмъ...

— Только у меня ноги болятъ, и, пожалуй, не дойду, если далеко...

— Это отъ того, что ты измаялась за ночь и натергѣлась столько страху, сказалъ онъ и взялъ ее за руку.

Дѣйствительно, Ягуся скоро выбилась изъ силъ, — у нея потемнѣло въ глазахъ, и она остановилась въ полномъ изнеможеніи. Лѣсникъ снялъ съ нея платокъ, увязалъ ее въ него и, взявшись за его концы, взвалилъ ее себѣ на плечи.

— Эй Ягуся, Ягуся, да въ тебѣ вѣсу не больше, чѣмъ въ полъ-четверикѣ жита! сказалъ онъ.

— Это отъ того, что я исхудала, а прежде я вѣсила больше трехъ четвериковъ, отозвалась она.

Въ одномъ изъ угловъ платка лѣсникъ оцупалъ деньги.

— Что это у тебя завязано въ узелкѣ?

— А это господа дали мнѣ денегъ за потерянную телку.

Лѣсникъ улыбнулся.

— Такъ-то и лучше, что ты придешь въ новыи домъ не съ пустыми руками.

— Лучше, согласилась она.

Дорога становилась все труднѣе и труднѣе; ноги лѣсника вязли въ песѣ; онъ дышалъ тяжело и, наконецъ, остановился.

— Ягуся, не пройдешь-ли ты хоть немного сама?

— Можетъ быть и пройду, отвѣчала она.

Онъ окуталъ ее платкомъ, взялъ за руку, и они пошли.

Дѣвочка пошатывалась, безпрестанно останавливалась, отдыхала. Дѣлать было нечего, — лѣсникъ опять взялъ ее на руки.

— Только-бы добраться до лѣсу, повторялъ онъ, — а тамъ мы уже управимся, не правда-ли, Ягуся?

— Правда, согласилась она.

Около полудня они дошли до лѣса, и высокія деревья зашумѣли надъ ними. Лѣсникъ свернулъ на тропинку и, дойдя по ней до небольшой поляны, остановился.

— Ягуся, ты подожди меня, а я скоро приѣду за тобой въ телѣгѣ.

Онъ набралъ дубовыхъ листьевъ и уложилъ на нихъ дѣвочку, прикрывъ ее платкомъ и своимъ кафтаномъ.

— Поскорѣе-бы добраться до избы; меня что-то сонъ одолеваетъ и пить хочется, сказала Ягуса.

— Вздремни... Не пройдетъ и часу, какъ я вернусь.

Уходя, лѣсникъ погладилъ ее по щекѣ. Дѣвочка хотѣла поцѣловать у него руку, но онъ не допустилъ этого и ушелъ.

Ягуса заснула, и ей снилась глубокая вода, которая не хотѣла ее принять, снился поѣздъ, окутанный паромъ и сіяющей огнями, словно десятками огненныхъ глазъ, — снился крестьянинъ въ бѣломъ холщевомъ кафтанѣ, несущій ее черезъ поля и лѣса далеко, туда, гдѣ солнце весело свѣтитъ.

-- Ягуса, выпалась-ли? пробудилъ ее знакомый голосъ.

Дѣвочка открыла глаза, но ничего не отвѣтила и молча смотрѣла на возвратившагося лѣсника и на стоявшую невдалекѣ небольшую телѣгу, запряженную коровой. Ягуса хотѣла встать, но не смогла. Лѣсникъ поднялъ ее на телѣгу, укрылъ соломой, старымъ тулупомъ, и они пустились въ путь.

Ѣхали шагомъ. По твердой дорогѣ корова везла одна, но когда попадался глубокий песокъ, лѣсникъ помогалъ ей, то подталкивая телѣгу сзади, то впрягаясь подлѣ коровы въ ямку.

Наконецъ, они добрались до хаты, стоящей на опушкѣ лѣса.

Внесенная лѣсникомъ въ избу, дѣвочка сидѣла на постели и оглядывала большую комнату, хотя мало что видѣла, потому что передъ глазами ея мелькали какія-то мутныя пятна, а въ головѣ шумѣло, какъ на мельницѣ.

Лѣсникъ постлалъ ей постель изъ свѣжаго сѣна, покрывъ его платкомъ, далъ собственную подушку, уложилъ дѣвочку, накрылъ ее полостью, а на ноги положилъ старый тулупъ.

Солнце зашло, въ избѣ стемнѣло, но потомъ лѣсникъ затопилъ печь, и весело разгорѣвшійся огонь опять освѣтилъ бревенчатыя стѣны.

— Только-бы ты была здорова, сказалъ лѣсникъ, усаживаясь подлѣ Ягуси.—Я сготовлю тебѣ похлебку изъ квашеной муки, и, Богъ дастъ, завтра встанешь...

— Встану, сказала дѣвочка, вдыхая.

Не дождавшись похлебки, она уснула въ сильномъ горячемъ жару.

IV.

Ягуся не знала, какъ долго она проспала. Когда она открыла, наконецъ, глаза и хотѣла поднести руку ко лбу, то насилиу приподняла ее. Она попыталась встать, но не смогла поднять головы отъ подушки. Изумленными глазами оглядывала дѣвочка избу, не понимая, гдѣ она находится, и чувствуя только то, что она ни въ какомъ случаѣ не у тетки, потому что та не пустила-бы ее къ себѣ. Но, мало-по-малу, она начала припоминать все,—туманную ночь, глубокую и холодную воду, поѣздъ желѣзной дороги,—и, наконецъ, улыбнулась. Ей послышался шумъ деревьевъ окружавшаго ее лѣса и помогъ ей вспомнить человѣка въ бѣломъ холщевомъ кафтанѣ, привезшаго ее сюда. Слава Богу, она была далеко, далеко отъ тетки!

Подъ вечеръ заскрипѣла дверь, и въ хату вошелъ лѣсникъ, въ тулупѣ и въ зеленой шапкѣ, съ дуствольнымъ ружьемъ въ рукѣ. Онъ подошелъ къ дѣвочкѣ, поглядѣлъ на нее и улыбнулся.

— Знаешь-ли, Ягуся, сказалъ онъ,—я натерпѣлся страху изъ-за тебя. Вѣдь ты двѣ недѣли лежала, какъ въ огнѣ и всего два раза испила воды. Я ужь думалъ, что ты отправишься на тотъ свѣтъ. Однако, вотъ ты и глаза открыла.

— Открыла, отвѣчала она, улыбаясь.

Лѣсникъ сѣлъ подлѣ нея.

— Чего-бы ты съѣла, Ягуся? Скажи, чего-бы тебѣ больше всего хотѣлось,—того я и принесу тебѣ, потому что завтра пойду въ городъ. Вѣдь у тебя есть свои деньги.

— Возьмите ихъ, просила она,—возьмите...—Что мнѣ въ деньгахъ... Мнѣ хочется только молока.

Она выпила молока и, лежа неподвижно, поглядывала на веселый огонь въ печи, на иконы, висѣвшія на стѣнѣ, вслушивалась въ шелестъ деревьевъ въ лѣсу.

— А знаешь ли что, Ягуся? Вѣдь я стосковался, глядя на тебя. Съ тѣхъ поръ, какъ умерла матушка, я все время былъ одинъ. Ты, было, явилась, поговорила немного, да и уснула, точно умерла.

Онъ налилъ въ миску похлебки, выложилъ въ другую картофель, поставилъ на столъ и, доставъ жестяную ложку, началъ ѣсть.

Дѣвочка слѣдила за нимъ, улыбающаяся и счастливая. Запахъ похлебки возбуждалъ въ ней аппетитъ. Она тоже поѣла немного. Потъ крупными каплями выступилъ у ней на лбу, сонъ одолѣлъ ее, и она уснула.

Быль уже день, когда Ягуся открыла глаза. Взглянувъ въ окно, она увидѣла бѣлые пласты снѣга, покрывшіе за ночь зеленныя вѣтви сосенъ. Подлѣ постели были поставлены два горшечка,—одинъ съ молокомъ, другой съ похлебкой.

«Уже зима, подумала она. — Что-бы со мной было, еслибы я осталась у тетки! Совсѣмъ-бы я извелась!

Увидѣвъ стоявшіе подлѣ нея горшечки, она отвѣдала похлебки, выпила молока и опять улеглась, радуясь своему счастью. Въ избѣ было хорошо,—тепло и такъ тихо, что она слышала бѣненіе своего сердца.

Вечеромъ пришелъ лѣсникъ съ ярмарки. Онъ принесъ ей булку и сапоги, а на остальные деньги Ягуси купилъ ей молоденькую телку. Дѣвочкѣ захотѣлось взглянуть на нее. Лѣсникъ привелъ ее къ ней, и Ягуся радостно гладила ее, хотя съ трудомъ поднимала руку. Телка оказалась красивою и веселою. Рѣшили оставить ее въ избѣ, привязать въ углу около дверей и постлать тамъ соломы. Ягусѣ будетъ веселѣе.

Прошла недѣля, прошла и другая, а Ягуся все не вставала съ постели.

Теперь у нея были новые сапоги и старыя тулупы лѣсника, и съ какою радостью выбѣжала-бы она на свѣтъ Божій!.. Но до этого было еще далеко,—у нея не было силъ даже подняться съ постели. Ей постоянно думалось, что она въ гость лѣснику, и это мучило ее.

Однажды она высказала ему это.

— А хоть-бы ты всю зиму пролежала, и годъ, и два, такъ я тебѣ дурного слова не скажу, отвѣчалъ лѣсникъ.— Знаешь-ли что, Ягуся? прибавилъ онъ.—Когда ты поправишься и вырастешь знатной дѣвкой, мы пойдемъ съ тобою къ попу и ты будешь моей женой. Ты выйдешь за меня?

Ягуся зардѣлась какъ вишня.

— А какъ-же васъ зовутъ? спросила она тихо.

— Мартинъ.

— Мой Мартися, сказала она,—вы добрый, вы пріютили меня, сироту,—отчего-бы мнѣ за васъ не выйти.

Она протянула руку и погладила его по лицу.

— Только-бы мнѣ стать на ноги, продолжала она весело,—увидите, какъ я примусь за работу. Корову подою, навозъ изъ-подъ нея вычищу, за телкой присмотрю, избу окроплю святой водой и вымету, разведу огонь, поставлю горшки. начищу картофеля и сама приодѣнусь... Если-бы было просо, то я и съ нимъ-бы управилась. Не будете на меня жаловаться. Лѣтомъ и хворосту изъ лѣсу наносу, ягодъ собираю, въ жнитво на заработокъ пойду... Не промотаю вашихъ денегъ..

— И насмѣхаться надо мною не станешь, какъ другія дѣвушки?

— Надъ чѣмъ-же насмѣхаться? Надъ тѣмъ, что вы прихрамываете, или надъ тѣмъ, что у васъ лицо испорчено оспой? Такъ вѣдь это отъ Бога, отвѣтила она просто.

Наивный отвѣтъ дѣвочки пришелся по сердцу Мартину.

Онъ задумался и замолчалъ; молчала и Ягуся. Радость переполняла ей сердце: теперь она чувствовала себя уже не чужой въ этой хатѣ, а будущей хозяйкой ея.

— Потомъ, Ягуся, и работницу найдемъ, сказалъ наконецъ Мартинъ.

— Развѣ что потомъ, замѣтила Ягуся.—Пока я молода справлюсь и одна.

Опять они оба замолкли. Лѣсникъ думалъ, какая у него будетъ славная жонка, а Ягуся размышляла, какъ она справится съ хозяйствомъ. Счастье придавало ей смѣлости, и она снова протянула руку и погладила Мартина по лицу.

— Мой Марцися, вы добрый,—берете сироту безъ всякаго придаваго.

— А телка? возразилъ Мартинъ.—Прежде чѣмъ ты замужь выйдешь, изъ нея выйдетъ добрая корова.

Дѣвочка покачала головой.

— Эй, Ягуся, только-бы ты была добра, такъ я скажу, что мнѣ тебя Господь Богъ послалъ, сказалъ лѣсникъ.

Дни шли за днями, тихіе и счастливые. По вечерамъ Мартинъ усаживался на постели Ягуси; дѣвочка гладила худенькой ручкой его рябое лицо, и они по дѣльнымъ часамъ говорили о своемъ будущемъ хозяйствѣ. Плохо было только то, что Ягуся всетаки не поправлялась.

Руки ея сохли, лицо худѣло, глаза впадали. Мартинъ это видѣлъ, и по временамъ украдкой вздыхалъ, по ночамъ не спалъ, но не говорилъ ей ни слова о своихъ опасеніяхъ.

— Мой Марцися, заговорила она однажды сама,—можетъ быть я уже не встану, и у тебя не будетъ своей жонки. Я пойду къ матушкѣ и не увижу ни твоей коровы, ни амбара, ни нашего поля, потому что оно всетаки было и мнѣ. Ты уже не похвастаешь своей жонкой въ церкви. Такова уже моя доля, но я не жалуюсь, потому что мнѣ тутъ хорошо съ тобою. Такъ хорошо, что хотя-бы и на небесахъ такъ было!..

Лѣсникъ выбѣжалъ изъ избы, добѣжалъ до хлѣва и только тамъ разразился горькимъ плачемъ и долго не могъ успокоиться.

Днемъ, когда Ягуся лежала одна въ избѣ, телка подходила къ ея постели и пощипывала сѣно изъ-подъ ея изголовья, а дѣвочка гладила ее и согрѣвала ея дыханіемъ свои холодѣвшія руки.

Кромѣ того, она приручила кроликовъ и очень радовалась, когда они скакали по ея постели и ѣли изъ ея рукъ капустные листья.

Когда-же наступили морозы, ее навѣстила осторожно подкрававшаяся мышка. Ягуся угостила ее хлѣбными крошками; мышка на другой день привела свою подругу, и съ той поры дѣвочка жила съ ними въ дружбѣ.

А между тѣмъ дыханіе ея становилось короче, болѣзненно блестящіе глаза все больше впадали, лицо темнѣло, голосъ становился тише, и сердце ея переполнялось тревогой и тяжелой тоскою.

Однажды Мартинъ вернулся изъ лѣсу раньше обыкновеннаго, когда еще свѣтило солнце, играя лучами на высокихъ сугробахъ снѣга, покрывавшаго землю.

— Мой Марцися, попросила его дѣвочка. — меня что-то тянетъ посмотрѣть твое хозяйство. Ужь я теперь не такая тяжелая, какъ тогда, когда ты несъ меня въ платкѣ, помнишь? Укутай меня тулупомъ и вынеси на свѣтъ Божій, — въ твой хлѣвъ. къ амбару и хотъ рукой укажи—гдѣ твое поле.

Онъ не смѣлъ отказать въ этой просьбѣ, укуталъ ее своимъ новымъ тулупомъ, взялъ на руки, и сердце у него спало отъ тоски,—такъ легка стала Ягуся.

Она погладила корову, взглянула на амбаръ, улыбнулась солнышку, взглянула въ ту сторону, гдѣ находилось поле Мартина. полюбовалась на высокіе дубы и стройныя сосны,

шумяція надъ ея головой... Но скоро дрожь охватила еѣ, голова ея отяжелѣла, такъ что дѣвочка принуждена была опереться на плечо лѣсника и попросила его вернуться въ избу.

Уже поздно вечеромъ она подозвала Мартина къ себѣ. взяла за руку и, прижавъ ее къ губамъ, тихо заплакала. Плакалъ и Мартинъ, только она не видала его слезъ.

— Мой Марцися, спасибо тебѣ за все!.. Поцѣлуй-же меня, прошептала она.

Онъ поцѣловалъ ее, и она почувствовала его слезы на своемъ лицѣ.

— Такъ ты все-таки полюбилъ свою жонку и тебѣ будетъ скучно безъ нея? спросила она.

Мартинъ не могъ выговорить ни одного слова.

— Помни-же о телкѣ, о кроликахъ, не гони мышекъ, навѣщавшихъ меня. Я оставила имъ хлѣбныхъ крошекъ; корми ихъ и ты, чтобы онѣ не терпѣли голоду. Спасибо матушкѣ и Богу, что и я все-таки испытала хоть немного счастья, и я не жалуясь на свою долю. Ступай, мой Марцися, ложись и усни, — уже поздно.

Лѣсникъ послушался, хотя сердце у него разрывалось и спать онъ не могъ. Онъ безпрестанно вставалъ съ постели, подходилъ къ дѣвочкѣ, наклонялся надъ нею и прислушивался... Она дышала такъ тихо, что онъ едва могъ уловить ея дыханіе. Онъ возвращался на свою постель, но черезъ минуту опять вставалъ, опять прислушивался...

Утромъ ему послышался чей-то горькій плачъ. Лѣсникъ открылъ глаза, всталъ, — въ избѣ было тихо. Онъ подошелъ къ Ягусѣ, нагнулся надъ нею, но уже не могъ услышать ея дыханія. Тогда онъ зажегъ лучину и, свѣтя ею, всмотрѣлся въ лицо дѣвочки. Ягуса лежала блѣдная, какъ восковая церковная свѣча, глаза ея были закрыты, а на губахъ застыла та-же улыбка, съ которою она говорила ему недавно: «мнѣ такъ хорошо съ тобою, что хотъ-бы и на небесахъ было такъ-же хорошо».

Слезы застлали глаза лѣсника. Онъ бросилъ лучину въ печь и усѣлся на лавку. Онъ не жаловался, не проклиналъ, но разомъ какъ-то оцѣпенѣлъ, словно у него вырвали сердце.

На разсвѣтѣ онъ пошелъ въ лѣсъ и къ полудню вернулся домой, неся на плечѣ двѣ доски.

Телка стояла надъ дѣвочкой, будто стараясь возвратить

ее къ жизни своимъ теплымъ дыханьемъ; кролики рылись на ея постели; разсыпанныя хлѣбныя крошки исчезли, унесенныя приходившими мышами.

Лѣсникъ не рѣшился дѣлать гробъ въ избѣ, а устроилъ мастерскую въ анбарѣ и какъ въ лихорадкѣ принялся за работу, ни на минуту не останавливаясь, покуда не окончилъ ее. Сдѣлавъ гробъ, онъ начертилъ на немъ известью бѣлый крестъ и тогда только, вынувъ изъ-за пазухи кусокъ хлѣба, съѣлъ его. Горекъ былъ для него этотъ хлѣбъ, такъ-же горекъ, какъ горьки были его мысли.

Онъ вошелъ въ избу, выстругалъ изъ дерева крестикъ и вложилъ его въ руки дѣвочки. Потомъ, отеревъ рукавомъ послѣднія, вылившіяся изъ подъ сердца слезы, укуталъ Ягусю тѣмъ платкомъ, въ которомъ она пришла къ нему, надѣлъ ей на ноги новые сапоги и положилъ ее въ гробъ, на изголовье изъ бѣличьихъ шкурокъ. Прибивъ крышку гвоздями, лѣсникъ опять запрягся рядомъ съ коровой въ телѣгу и повезъ гробъ въ лѣсъ.

«Ты будешь ближе ко мнѣ, Ягуся, думалъ онъ. — Никто тебя не видалъ, когда ты пришла, и никто тебя не увидитъ, когда ты уйдешь. Земля свята вездѣ, а тутъ тотчасъ-бы наѣхалъ судъ, — лекаря не дали-бы тебѣ покою».

На пригоркѣ, окруженномъ, словно вѣнкомъ, стройными лиственницами и березами, онъ выкопалъ яму и бережно опустилъ туда гробъ на веревкѣ, чтобы не ушибить дѣвочку.

ИЗЪ ПРЕКРАСНАГО ДАЛЕКА.

Здѣшнюю, католическую страстную недѣлю я провелъ въ Ментонѣ. Сравнительно съ Ниццей, Ментонъ не больше, какъ деревня, но деревня очень красивая, съ блестящими магазинами, кофейнями, виллами и роскошными отелями; съ пальмами, розами, апельсиновыми и лимонными садами. Ментонъ занимаетъ узкую и длинную полосу земли, придавленную къ морю горами и въ ширину ему роста некуда, развѣ ползти въ горы. Но за то Ментонъ тще-славится тѣмъ, что въ немъ на 2° теплѣе, чѣмъ въ Ниццѣ, и что въ немъ лимоны созрѣваютъ, а въ Ниццѣ нѣтъ. Какъ ни серьезно это преимущество, но тѣмъ не менѣе ментонскіе лимоны также кислы, какъ и ницскіе.

Въ ментонскомъ листѣ о прїѣзжающихъ по 20 марта показано 2895 ч. Изъ нихъ англичанъ 1,178, американцевъ 158, нѣмцевъ 306, французовъ 616, русскихъ 166. Но гордость Ментона составляютъ не англичане, американцы, нѣмцы и русскіе, наполняющіе всѣ курорты, а австралиецъ, 6 бразильцевъ, египтянинъ индѣецъ и персъ. Видно Ментонъ и въ самомъ дѣлѣ правъ, что его лимоны лучше ницскихъ.

Но человекъ созданъ такъ, что онъ обыкновенно не даетъ большой цѣны хорошему и замѣчаетъ только дурное. И я возрпталъ въ Ментонѣ на его вѣчно шумящее море, на его холодный воздухъ, который нѣтъ, нѣтъ да и пронизетъ тонкой, леденящей струйкой, возрпталъ за кашель, отъ котораго не могъ отдѣлаться, пока не обзавелся фуфайкой, возрпталъ, наконецъ, на пальмы, розы, лимоны и на дѣланную природу Ментона. Но, попавъ въ наши шушарскія болота, въ Парголово, въ Рыбацкую, я думаю вздохнешь и о шумящемъ морѣ, и о пальмахъ, и о розахъ, и о тепломъ, яркомъ солнцѣ, а главное—о чудныхъ ночахъ Ментона, когда на чистомъ темно-голубомъ небѣ свѣтитъ спокойнымъ ровнымъ свѣтомъ мѣсяцъ, на улицахъ тихо, ни души, и только море наполняетъ воздухъ отдаленнымъ гудомъ, да плещетъ ровнымъ плескомъ на берегъ. Хорошо!

Если Швейцарія покрываетъ свои налоги доходами съ путешественниковъ, то нужно думать, что и Ментонъ дѣлаетъ такое же дѣло. Предполагая, что каждый изъ 2,895 прѣзжихъ оставитъ только по 10 франковъ въ день—за 8 мѣсяцевъ лечебнаго сезона это составитъ 7 м. ф. Для деревни не дурно. Конечно, львиная доля достанется содержателямъ гостинницъ и магазиновъ, но и мѣстному населенію, поставляющему плоды, овощи и провизію, перепадетъ тоже немало. Понятно, что городская власть очень старается увеличить притягательную силу Ментона, и ради этого позволяетъ себѣ даже нѣкоторыя вольности. Напримѣръ, посторонніе врачи не имѣютъ права лечить въ Ментонѣ, и, не смотря на то, мэръ очень благосклонно смотритъ на присутствіе въ городѣ одного извѣстнаго русскаго врача, привлекающаго массу больныхъ, ищущихъ именно его совѣта.

Я очень усердно ходилъ по улицамъ Ментона и днемъ и вечеромъ, чтобы увидѣть страстную недѣлю, но нигдѣ ее не находилъ. Въ кофейняхъ та-же толпа, та-же игра въ карты, то-же безграничное истребленіе чернаго кофе съ коньякомъ, потому что другаго «чернаго» кофе французъ не признаетъ, тотъ-же турнискій вермутъ, тотъ-же шартрезъ. однимъ словомъ—благочестія на улицахъ никакого. Повернулъ съ главной улицы закоулкомъ къ морю,—стоятъ четыре палатки и передъ ними толпа рабочихъ и матросовъ. Подхожу. Въ каждой палаткѣ по рулеткѣ—и идетъ весьма усердная игра на гроши и на копѣчныя сигары. Съ особеннымъ, спокойнымъ упорствомъ игралъ одинъ молодой рабочій. Поставитъ сигарку на очко, повернетъ рулетку и вопьется въ нее глазами. Встала. Хозяинъ рулетки, толстый итальянецъ, снимаетъ сигарку со ставки и кладетъ въ свой стаканъ. Рабочій достаетъ изъ кармана штановъ новую сигару, ставитъ на очко и опять вертитъ рулетку. Хозяинъ опять беретъ сигару и кладетъ ее въ стаканъ, а рабочій опять достаетъ новую... При мнѣ онъ проигралъ по крайней мѣрѣ десять сигаръ, надобно ждать, когда онъ выиграетъ, и я пошелъ къ другимъ рулеткамъ; тамъ все то-же; но за двумя рулетками стояли женщины, одна молодая и очень миловидная, держала себя съ выдержкой и спокойствіемъ настоящаго крупье изъ Монте-Карло. Прощель по набережной и новымъ закоулкомъ набрелъ на небольшую площадь. Стоятъ холщевый балаганъ, подлѣ него омнибусъ и двѣ большія повозки, за стѣнкой изъ деревянныхъ щитовъ фыркаютъ лошади, тутъ же лежитъ собака. На балаганѣ вывѣска «Историческій театръ». Посрединѣ лѣстница въ четыре ступени и на площадкѣ столъ, за которымъ сидитъ кассирша. Объявленіе гласитъ, что первыя мѣста стоятъ по 60 сантимовъ, а вторыя—по 30.

Вѣру первое мѣсто. мнѣ отворяютъ дверь направо и по узкой лѣстницѣ опускаюсь на дно балагана. Рядъ узкихъ скамеекъ, обтянутыхъ пестрымъ ситцемъ—это и есть первыя мѣста, за ними деревянный барьеръ—и рядъ ничѣмъ не покрытыхъ скамеекъ,—это вторыя мѣста. На первомъ мѣстѣ, опершись спиною на барьеръ, сидитъ мой товарищъ по табль-д'оту, длинный молодой нѣмецъ. Онъ вытянулъ ноги на нѣсколько скамеекъ впередъ и читаетъ газету. На той-же скамейкѣ, но ближе къ выходу, сидятъ мужчина и дама и разговариваютъ по-русски. Я сѣлъ впереди ихъ. Соотечественники оказались изъ Малороссіи и кажется изъ Черниговской губерніи. По скромной внѣшности и по разговору, соотечественница произвела на меня впечатлѣніе не то старосвѣтской помѣщицы, не то уѣздной почтмейстерши; но дня черезъ два я встрѣтилъ ту же почтмейстершу,—одѣтой совершенной парижанкой и даже съ шикомъ. Затѣмъ черезъ недѣлю видѣлъ ее въ Ниццѣ и опять—почтмейстершей...

Театръ наполнялся довольно медленно, особенно первыя мѣста и представленіе началось въ половинѣ 9-го. Пять музыкантовъ—трубачей протрубили какую-то польку и занавѣсъ поднялся. Боковыя кулисы и задній занавѣсъ изображали садъ, а сценою былъ большой кругъ, посрединѣ котораго стояло настоящее дерево и на немъ висѣли два яблока. Подлѣ дерева стоялъ «богъ» съ сѣдой длинной бородой и сѣдыми волосами, въ красной, до-полу, хламидѣ. Съ краю сцены, на правой сторонѣ, стоялъ ящикъ, довольно длинный и настолько высокій, что его содержимаго видѣть было нельзя. Изъ-за кулисы высунулся хозяинъ балагана и объяснилъ публикѣ значеніе картины: «Творецъ создаетъ перваго чловека». Послѣ этого «творецъ» медленной, торжественной походкой подошелъ къ ящику, подблалъ надъ нимъ руками какіе-то заклинанія и, нагнувшись, вытащилъ изъ ящика Адама и поставилъ его на авансценѣ. Костюмъ Адама заключался въ синемъ треугольномъ лоскутѣ, привязанномъ спереди. Вѣроятно поэтому Адамъ стыдливо опустилъ глаза и принялъ граціозную позу. Кругъ сдвѣлалъ медленно полный поворотъ и публика имѣла возможность увидѣть Адама спереди, съ боковъ и сзади. Занавѣсъ. Новая картина. Опять то же дерево съ двумя яблоками, по срединѣ «творецъ», а съ боку ящикъ. Хозяинъ объявляетъ, что творецъ создастъ Еву. И творецъ наклоняется съ заклинаніями къ ящику и вытаскиваетъ изъ него Еву, затѣмъ наклоняется еще разъ, достаетъ опять Адама и ставитъ его рядомъ съ Евой. Поставивъ, творецъ грозитъ имъ пальцемъ, а хозяинъ изъ-за кулисы объясняетъ, что богъ запрещаетъ имъ трогать яблоки. Кругъ опять дѣлаетъ медленный оборотъ и на этотъ разъ публика имѣетъ

возможность разсмотрѣть со всѣхъ сторонъ Еву, востномъ которой состоитъ тоже только изъ сняго треугольника. Опять занавѣсь и опять новая картина. Адамъ сидитъ на краю ящика, нагнувшись, и закрывъ лицо рукою. Ева подлѣ дерева. Послѣ короткой картины Ева срываетъ яблоко, откусываетъ его, подходит къ Адаму, заставляетъ его встать и передаетъ ему яблоко... Въ послѣдней картинѣ Богъ изгоняетъ Адама и Еву изъ рая. У Бога грозное лицо и онъ повелительнымъ жестомъ какъ-бы говорить «идите вонъ». Мальчикъ, изображающій ангела, замахивается палкой на изгоняемыхъ. Адамъ-же, вмѣсто того, чтобы мужественно нести кару, пальцемъ указываетъ на Еву. За этой картиной послѣдовало убійство Каиномъ Авеля. Каина изображалъ тотъ-же Адамъ, а Авеля—мальчикъ, только что бывшій ангеломъ. Анахронизмъ, впрочемъ, не былъ замѣченъ публикой и иллюзія не оказалась нарушенной. На занавѣсѣ, который опустился послѣ этой картины, была нарисована тайная вечера. Теперь начался рядъ картинъ изъ страстей Иисуса Христа. Первая картина—Христось и блудница. Христось въ красной, длинной хламидѣ, съ синей перевязью черезъ плечо. Блудница въ голубомъ кисейномъ платьѣ стоитъ противъ него на колѣняхъ. Вокругъ какіе-то театральные статисты, въ бархатныхъ мантияхъ съ золотымъ и серебряннымъ шитьемъ и въ шлемахъ. Хозяинъ, высунувъ голову изъ-за кулисы, объясняетъ, что это Христось и блудница. Послѣ этого одинъ изъ «фарисеевъ» въ бархатной мантии, обращаясь къ Христу и указывая энергическимъ жестомъ на блудницу, говоритъ, что за свои грѣхи она должна быть побита камнями. «Если кто изъ васъ лучше, пусть кинетъ въ нее первый камень», отвѣчаетъ Христось кроткимъ голосомъ. Устыженные фарисеи закрываютъ лицо рукою и кругъ дѣлаетъ поворотъ. За блудницей послѣдовало моленіе Христа въ гевсиманскомъ саду, судъ Пилата, шестіе съ крестомъ, распятіе... Соотечественница изъ Малороссіи не дождалась этой картины: воздухъ въ балаганѣ былъ дѣйствительно ужасенъ и отъ публики и отъ копораля, который она курила усердно; но мнѣ хотѣлось доглядѣть распятіе Христа распинали, какъ слѣдуетъ, растянули ему руки и стали приколачивать ихъ гвоздями, въ тактъ вальса, который играли музыканты. Вообще во время страстей Христа музыка играла польки, вальсы, однимъ словомъ—веселую музыку, и это было не только не странно, но вполне отвѣчало характеру итальянцевъ и французовъ юга, которые не выносятъ подавляющихъ и продолжительныхъ, однородныхъ впечатлѣній. Крестъ, съ приколочеными къ нему Христомъ, былъ поднятъ и получила полная иллюзія распятія. Послѣ этой картины я ушелъ, но мой товарищъ не

табль д'оту оказался болѣе мужественнымъ и остался. Это былъ великій четвергъ.

Въ пятницу, утромъ, переимъ противъ четверга, не было никакихъ; но у насъ за table d'hote'омъ три молодыхъ итальянца и одна французенка ѣли постное, остальные—скоромное, правда большинство были нѣмцы. Послѣ обѣда, часовъ въ восемь, я снова отправился на улицу искать страстную недѣлю. Большая толпа народа, преимущественно женщинъ, шла въ одномъ направленіи, я пошелъ за толпой, но увидѣвъ въ переулкѣ, налѣво, освѣщенную церковь, оставилъ толпу. Фасадъ костела былъ красиво иллюминированъ шкालиками по всѣмъ линиямъ, передъ храмомъ—толпа и среди нея мой сосѣдъ нѣмецъ, который вѣроятно, какъ и я, отыскивалъ страстную недѣлю. Въ церкви, при самомъ входѣ, стояло на возвышеніи, убранномъ зеленью и цвѣтами и окруженное множествомъ свѣчей скульптурное изображеніе Мадонны, почти въ полный человѣческій ростъ. Фигура раскрашена красками. Что за чудное лицо у Мадонны! Столько страданія, кротости и покорности судьбѣ. Двѣ слезы, скатившіяся на щеки, производили полную иллюзію. Я чувствовалъ, какъ неловко моего положеніе любопытствующаго туриста среди благоговѣнно молящихся людей и вошелъ въ глубину храма. Алтарь былъ освѣщенъ большими свѣчами, разставленными симметрически, но духовенства ни души—видно, что храмъ открытъ только для молящихся—и молящиеся входятъ и выходятъ, приглядываются къ распятіямъ, а человѣкъ двадцать—исключительно женщины,—сидятъ на стульяхъ. Распятіе лежало въ правомъ и лѣвомъ предѣлахъ, нѣсколько наклонно, верхней частію креста на послѣдней степени придѣла, а нижней на полу. Привыкнувъ видѣть въ нашихъ церквахъ распятіе въ водруженномъ видѣ, мнѣ какъ бы стало неловко видѣть крестъ на полу; но неприятное чувство сейчасъ-же смѣнилось другимъ, когда къ одному изъ распятій подошла женщина съ дѣвочкой лѣтъ 6—7. Мать встала на колѣни и начала молиться придѣлу, а дѣвочка припала къ распятію и начала цѣловать сначала ноги потомъ колѣни, потомъ лѣвую ладонь; но какъ до правой она дотянуться не могла, то перелѣзла черезъ распятіе и поцѣловала правую руку. Все это она дѣлала такъ тепло, съ такой любовью, участіемъ и искренностію. Звуки музыки, игравшей гдѣ-то внѣ, вызвали молящихся изъ храма, вышелъ и я. По улицѣ прямо противъ церкви шла процессія, съ хоругвями, духовенствомъ, фонарями, свѣчами—то былъ выносъ плащаницы. Оркестръ выполнялъ какую то очень хорошую духовную вещь. Я далъ пройти головѣ процессіи и присоединился къ музыкантамъ. Процессія прошла нѣсколькими улицами и остановилась предъ иллюминирован-

иномъ, очень эффектнымъ катафалкомъ. Три полицейскихъ пропустили духовенство, пѣвчихъ, музыкантовъ и замкнули цѣпь. Толпа была громадная, кругомъ цѣлое море головъ—и для порядка было вполнѣ достаточно трехъ сержантовъ, потому что всякій зналъ, какъ себя держать. Послѣ небольшой службы, распятіе вѣдь балахномъ, который несли за длинные штанги вѣроятно представители города—во фракахъ, въ черныхъ перчаткахъ—понесли въ соборъ: музыка играла превосходный похоронный маршъ. Я было попрежнему хотѣлъ присоединиться къ музыкантамъ, но на этотъ разъ мнѣ не удалось: за музыкантами шла цѣль изъ трехъ полицейскихъ. Распятіе внесенное въ соборъ, было положено на катафалкъ и началась служба. Въ числѣ молящихся одна изъ женщинъ перекрестилась широкимъ православнымъ крестомъ и затѣмъ, обратившись къ маленькой дѣвочкѣ, сказала порусски: «стой подлѣ»... Возвращаясь домой, я прошелъ площадью гдѣ балаганъ: темно, пусто, ни души, только черезъ холщевую крышу свѣтился слабый свѣтъ. У рулетокъ, кромѣ одной, тоже не было огня, но кабачки и кофейни торговали. Суббота была уже обыкновенная днемъ. На променадѣ оркестръ въ урочное время (отъ $\frac{1}{23}$ до $\frac{1}{25}$) игралъ польки, вальсы и попури, а «историческій театр» снова давалъ свое представленіе. На этотъ разъ я остался до конца. За сотвореніемъ Адама и страданіемъ Христа послѣдовали шансонетки—это былъ бенефисъ пѣвицы, какъ объявилъ хозяинъ—а затѣмъ очень глупый водевилъ, въ которомъ фигурировалъ ревнивый мужъ. Съигранъ былъ водевилъ дружно, весело даже «благородно», еслибы не фарсилъ «мужъ» игравшій для «вторыхъ» мѣсть. Особенно былъ хорошъ «первый» любовникъ; манеры такія, что хотъ въ самое лучшее петербургское общество. И это актеры-мужики и играли она для мужиковъ!

Какъ видитъ читатель, я страстной недѣли на улпцахъ Ментона не нашелъ, но слѣдуетъ ли что-нибудь изъ этого? Думаю, что ничего. Въ газетахъ мы привыкли читать объ успѣхахъ католицизма, о борьбѣ съ католицизмомъ и т. д. Надо всё эти писанья умѣть читать. Дѣвочка, которая съ такимъ сердобольнымъ и любящимъ чувствомъ цѣловала распятіе, вѣроятно не знала того католицизма, о которомъ пишутъ газеты. Теперь во Франціи религиозное воспитаніе не входитъ въ программу школъ. Разумѣется, духовенство обнаруживаетъ весьма энергическое желаніе и большое усердіе въ религиозномъ образованіи и всѣми мѣрами старается насаждать въ душахъ истины любви, милосердія прощенія, конечно не безъ той лукавой мысли, которая уже давно снискала католическимъ понамъ названіе боевой арміи. Въ этомъ католическому духовенству совершенно безсознательно помо-

гавятъ разныя богомолки и религіозныя общества, издающія разныя дешевыя книжки религіозно-нравственнаго содержанія, въ родѣ «Les deux agneaux», «le petit agneau blanc» или «bonne nouvelle», но всё эти изданія дотога не отвѣчаютъ положительному, точному, математическому и практическому уму французовъ, что уже, конечно, не могутъ имѣть ни серьезнаго, ни прочнаго вліянія. Разумѣется, католическое духовенство знаетъ это очень хорошо, но оно знаетъ такъ-же очень хорошо, что оно боевая армія и политическая сила—и вотъ тотъ «католицизмъ», который составляетъ единственный вопросъ для теперешней Франціи. Тутъ рѣчь не о всепрещающей любви Спасителя, не о религіи милосердія и облегченія участи всѣхъ страждущихъ и обремененныхъ, а просто о счетѣ голосовъ для выборовъ. Пока будетъ существовать во Франціи выборная система и голосованіе, «католицизмъ» останется силой, съ которой каждый честолюбецъ и дѣлецъ, желающій поживиться на общественный счетъ, будетъ заигрывать. Такъ поступалъ Гамбетта, такъ поступаютъ Жюль-Ферри съ Вальдекомъ-Руссо, такъ поступаетъ даже какой-нибудь мэръ Ниццы. Гамбетта, этотъ ярый радикалъ въ 1869 году, спускавшій, такъ сказать съ цѣпи революцію, съ 1878 года уже начинаетъ заигрывать съ избирателями, а послѣ бельвийской неудачи замышляетъ сдѣлать *сoup d'Etat* новой системой выборовъ. Апостолъ демократіи превращается теперь въ простого честолюбца и политическаго интригана, въ творца оппортунизма. Оппортунизмъ сталъ аферой, системой политической эксплуатаціи, руководящимъ кодексомъ всѣхъ политическихъ честолюбцевъ. Жюль Ферри, нѣкогда самый ярый противникъ Гамбетты, очутившись у кормила, сталъ такимъ же, какъ Гамбетта, оппортунистомъ. Но въ чемъ-же заключается политика оппортунизма. Оппортунизмъ, говорятъ французы, есть система, прикрывающая исключительное пользованіе благами государства, административнымъ положеніемъ, официальными привилегіями; онъ дѣлаетъ своей доктриной и правиломъ эксплуатацію всѣми выгодами, которыми можетъ пользоваться каждое вѣдомство и которыя оно бережетъ для поддержки своего большинства. Эта порча, этотъ развратъ сообщается избирателями избираемымъ и обратно, въ размѣрѣ общихъ интересовъ ихъ взаимной ассоціаціи; въ депутаты избираютъ за тѣ обѣщанія, которыя кандидаты дѣлаютъ, и поддерживаютъ по мѣрѣ того, насколько они ихъ выполняютъ; въ высшей сферѣ, парламентаризмъ приходитъ къ тѣмъ-же порядкамъ и привычкамъ и такимъ образомъ замыкается безысходный кругъ, методомъ которому служить оппортунизмъ. Разъ попалъ въ этотъ кругъ придется отдаться теченію, потому что идти противъ системы или раз-

рушить ее у отдѣльныхъ лицъ, какими-бы они ни обладали нравственными качествами — не достанетъ силъ. Всякій, кто становится членомъ теперешняго правительства, тѣмъ самымъ уже принимаетъ и систему оппортунизма, созданнаго Гамбеттой; вотъ почему и Жюль Ферри, котораго Рошфоръ зоветъ «великимъ Ферри», а нѣкоторыя газеты просто «Жюлемъ», сталъ оппортунистомъ и въ рѣчи при открытіи въ Кагорѣ памятника Гамбеттѣ наговорилъ столько похвалъ системѣ основанной его врагомъ. Многіе изъ противниковъ оппортунизма находятъ даже, что наполеоновское правительство было чище и интереснѣе его были идеинѣе и шире. Теперь правительство стало лавочкой, а единство, братство и другія республиканскія добродѣтели, которыми хвалился Ферри, въ этой лавочкѣ давно уже не существуютъ. Новый поводъ къ неудовольствію подало правительство своимъ безучастіемъ въ стачкѣ анзенскихъ углекоповъ. Угольные копи Анзена, лежація близъ Бельгійской границы, занимаютъ громадную площадь въ нѣсколько квадратныхъ верстъ и даютъ работу почти 20,000 рабочимъ; ежегодно извлекалось около 210,000 тоннъ угля. Компания, разрабатывающая эти копи, встрѣтивъ сильную конкуренцію въ англійскомъ и бельгійскомъ углѣ, — такъ убѣждаетъ компания, — должно была или понизить заработную плату, или возвысить требованіе и при этомъ уменьшить число рабочихъ. Компания прибѣгла къ послѣднему средству и уволила многихъ старыхъ рабочихъ. Изъ этого возникла стачка и рабочіе отказались ходить въ копи. Беспорядковъ при этомъ никакихъ не было и рабочіе держали себя вполне спокойно и съ достоинствомъ. Вальдекъ-Руссо на запросъ, сдѣланный въ палатѣ, объяснилъ, что правительство дѣйствовало такъ, какъ оно и могло только дѣйствовать. Оно обѣщало не вмѣшиваться въ «эту борьбу капитала съ трудомъ» и ни въ чемъ не отступило отъ обѣщаннаго нейтралитета. Но если правительство не допускало никакого внѣшняго давленія на рабочихъ, отказавшихся отъ работы, то въ то-же время оно не могло допустить — это все говорилъ Руссо — чтобы отказавшіеся рабочіе обнаруживали вліяніе на товарищей, не участвующихъ въ стачкѣ; сначала правительство достигало вполне своей цѣли жандармской командой, бывшей на мѣстѣ, но когда рабочіе, бросившіе копи, стали угрожать рабочимъ работающимъ — правительство нашло необходимымъ послать войска. Песня войска произвела очень непріятное впечатлѣніе на общественное мнѣніе. Обѣщанный нейтралитетъ былъ нравственно нарушенъ тѣмъ, что поддержку почувствовала компания, а не рабочіе. Въ этомъ заключалась не только политическая, но и экономическая ошибка правительства, какъ говорить его противники,

ибо анзенская стачка была въ сущности борьбой республиканцевъ съ финансистами и экономистами реакціи, съ орлеанистской компаніей, которая только воспользовалась конкуренціей, какъ предложомъ, чтобы, доведя рабочихъ до голода, возбудить ихъ противъ республики. На сколько такое объясненіе вѣрно, мы разбирать не станемъ, но не сомнѣнно то, что рабочіе были доведены до крайности, что въ теченіе 55 дней, которые тянулась стачка, нищета дошла до такой степени, что женщины и дѣти просили милостыни, что пришлось прибѣгнуть къ подпискѣ въ пользу рабочихъ и что, наконецъ, рабочіе, побѣжденные голодомъ и неуступчивостію компаніи, которая, когда рабочіе согласились идти въ коши, все-таки не приняла 144 человекъ, не могутъ не чувствовать вражды къ клерикализму, оппортизму и реакціи, которыхъ правительство поддержало, а рабочихъ вѣтъ. Подобныя мѣры, конечно, не создадутъ авторитета правительству, въ особенности въ виду обвиненія Жюля Ферри въ орлеанизмѣ.

Какимъ образомъ французскій оппортизмъ дѣйствуетъ снизу, постепенно поднимаясь и до верховъ, можно замѣтить даже въ маленькой Ниццѣ. Тамъ предстоятъ теперь выборы въ мэры. Теперешнимъ мэромъ «независимые» очень недовольны и обвиняютъ его даже въ уголовныхъ преступленіяхъ. И вотъ завязалась горячая борьба между сторонниками мэра, желающими снова выбрать его, и его противниками. Въ ходъ пущено все съ той и другой стороны — и собранія и печать и даже проповѣди въ церквахъ. Послѣ одной вечерни священникъ церкви св. Елены обратился къ молящимся съ такою рѣчью: «Братія, церковь наша пришла въ большой упадокъ и у насъ не было денегъ, чтобы ее поправить. Нужно было 900 франковъ. Но пришелъ человекъ и сталъ нашимъ спасителемъ. Это господинъ Боррильонэ (нынѣшній мэръ). Благодаря ему, наша бѣдная церковь вышла изъ затрудненія и мы еще можемъ уповать на будущее. Братія, мірской слухъ дошелъ и до скромнаго служителя божія. Говорятъ о будущихъ выборахъ. Я прошу нашего Спасителя Господа Иисуса Христа, чтобы Онъ васъ просвѣтилъ, чтобы одушевилъ васъ своимъ божественнымъ духомъ и чтобы вы вспомнили о благодѣтеляхъ нашего скромнаго храма». Нужно согласиться, что средства, пускаемая въ ходъ избираемыми и избирателями, какъ видно изъ этого примѣра, ужь очень примитивныя и не только не прикрываются фиговымъ листкомъ, но выступаютъ въ полной наготѣ. Мэръ даетъ священнику 900 фр., а тотъ съ кафедры объявляетъ объ этомъ своей паствѣ и совѣтуетъ ей выбрать его снова въ мэры! И все это дѣлается именемъ Спасителя! Очевидно, что у

такого «католицизма» не можетъ быть будущаго и его двойственность Франція понимаетъ уже очень хорошо.

Кромѣ страстной недѣли, я искалъ еще «народный вопросъ», но во Франціи его нѣтъ. Въ ней есть люди болѣе образованные, есть люди менѣе образованные, есть совсѣмъ необразованные; есть богатые, есть бѣдные; есть капиталисты, есть рабочіе, но нѣтъ дѣленія людей на «народъ» и «ненародъ»; въ головѣ француза—такое дѣленіе не укладывается. Когда шло представленіе въ балаганѣ и «Богъ» создалъ Адама, рабочій, сидѣвшій сзади меня, съострилъ: «Адама, а не буржуа», и сосѣди поддержали остряка одобрительнымъ смѣхомъ. Вотъ такое дѣленіе людей французы понимаютъ и оно имѣетъ для него точный смыслъ. Если-бы вы вздумали сказать даже самому прогрессивному французу, что въ блузникѣ, съострившемъ насчетъ буржуа, заключается тайна великой истины, которая должна обвѣстить не только Францію, но и весь міръ,—онъ, конечно, принялъ-бы васъ за полуумнаго. Франція знаетъ, что она одолжена во всемъ прогрессу идей и знаній и что только потому, что они еще не проникли повсюду въ одинаковой степени и не сходятся съ формами жизни, является такая масса аномалій и подчасъ невыносимыхъ противорѣчій. Когда въ балаганѣ шелъ водевилъ, для публики было безразлично, происходитъ-ли дѣйствіе у «господъ» или въ мужицкой избѣ. Актеры играли въ «сюртукахъ», и все, что они изображали, было такъ-же понятно каждому, какъ если-бы они играли въ блузахъ. Идея водевиля заключалась въ изображеніи глупости ревности, и всякій изъ публики это отлично понималъ. Такъ-же хорошо понималось публикой и «сотвореніе міра» и «страсти». Ничего, что Адамъ былъ смѣшенъ, въ особенности когда Ева предлагала ему яблоко; ничего, что фарисеи были въ бархатныхъ мантияхъ и въ шлемахъ, публикѣ не было никакого дѣла до анахронизмовъ, она брала самую «суть» нравственныхъ идей, которыя изображали ей въ наглядной формѣ, и понимала ихъ вѣрно.

Прогрессивность Франціи въ томъ и заключается, что она уже выросла изъ частныхъ вопросовъ и подвела ихъ подъ общія идеи. Франціи неизвѣстенъ поэтому и женскій вопросъ, который я тоже тщетно искалъ на улицахъ Ментона и Ниццы. Здѣсь женщины открыты всѣ пути, она можетъ поступить въ какія ей угодно высшія и низшія учебныя заведенія; но она сама нигуда не идетъ и потому обвиненіе французской женщины въ отсталости совершенно справедливо. Вотъ въ какомъ смыслѣ только и возможенъ для Франціи женскій вопросъ. Очень возможно, что когда высшее умственное стремленіе во французской женщинѣ скажется, то «общество» отнесется къ нему не совсѣмъ дружелюбно; примѣръ чему уже можно видѣть въ Швейцаріи. Для такой

небольшой, а главное воплѣтъ освѣвшей страны, какъ Швейцарія, всякое новое внутреннее движеніе будетъ гораздо чувствительнѣе и замѣтнѣе, чѣмъ въ такой многочисленной странѣ, какъ Франція. Во Франціи, пока женщина стираетъ, гладитъ, стращаетъ, торгуетъ въ лавкахъ, учительствуетъ, служитъ на почтѣ и въ телеграфѣ. Единственная настоящая жизненная карьера французской женщины — замужество, и хотя одинъ голландецъ увѣрялъ меня, что въ Европѣ политику дѣлаютъ женщины, но, согласившись съ этимъ, нужно признать, что парламентомъ для женской политики служить только салонъ или спальня.

Въ большому моему огорченію мнѣ не пришлось попастьъ въ Парижъ; но вмѣсто того я попалъ въ Туринъ, а затѣмъ въ Бернъ. Въ Туринъ пріѣхалъ я поздно, часу въ двѣнадцатомъ ночи, и почему-то мнѣ выдали мои вещи послѣ всѣхъ пассажировъ. Замки у сундука оказались сломанными. Вспомнилъ я случай, когда путешествовалъ по Европѣ съ русскимъ самоваромъ. Тогда—это было давно—русскимъ казалось, что они не могутъ жить въ Европѣ безъ русскаго чая; и теперь это еще многимъ кажется. И вотъ купилъ и въ Петербургѣ складной самоваръ, сдѣлалъ для него ящикъ и возилъ этотъ ящикъ повсюду, дорожа имъ какъ зеницей ока. Возвращаясь, наконецъ, на родину, получаю въ Вержболовѣ вещи—и мой ящикъ съ самоваромъ оказывается подозрительно легкимъ. Легкость ящика показала въ таможенному чиновнику подозрительной, но, вѣроятно, по другимъ причинамъ. И вотъ, съ нѣкоторымъ сердечнымъ замираніемъ открываю я ящикъ—замокъ былъ цѣлъ—и зеницы ока въ ящикѣ не оказывается. Куда, а главное гдѣ она исчезла? «Эти штуки пруссаки уже не разъ дѣлали», сказалъ чиновникъ, и очень довольный «штукой пруссаковъ», просилъ меня подать заявленіе. Я заявилъ, оставилъ свой адресъ, но самовара, конечно, не получилъ. Итальянцы по своему добродушію, беспорядочности и наклонности къ плутоватости, немножко похожи на насъ, русскихъ, и вотъ поэтому-то я и пожелалъ удостовѣриться въ дѣлности содержимаго моего сундука. Носильщикъ хотѣлъ сдѣлать это даже съ нѣкоторой торжественностію и пригласить багажнаго кондуктора; но я воспротивился и хорошо сдѣлалъ, потому что содержимое оказалось неприкосновеннымъ. Осматривать городъ, конечно, было поздно, но первый вопросъ, который я сдѣлалъ на утро швейцару, былъ:—«Какая у васъ лучшая улица?»—«Via Roma»—отвѣтъ, тѣлъ швейцаръ. И вотъ пошелъ я по Via Roma, заглядывая въ улицы направо и налево. Туринъ замѣчательно правильный городъ, всѣ улицы пересекаются подъ прямымъ угломъ, что-однако, нисколько не мѣшаетъ забрести въ такое мѣсто, что

наконецъ, приходится спрашивать встрѣчныхъ, какъ понасть дождю. Первое впечатлѣніе Турина не множо бѣдное, скучное и далеко не блестящее; но затѣмъ это впечатлѣніе исчезаетъ все болѣе и болѣе—и бѣдное, сѣрое и скучное превращается скоро въ свѣтлое, блестящее и затягивающее, такъ что цѣлый-бы день ходилъ по этимъ привлекательнымъ крытымъ галереямъ, пассажиамъ и всякимъ закоулкамъ въ сторону, сплошь занятымъ магазинами. Вами понемногу завладѣваетъ какое-то художественное, успокоивающее чувство, каждая линія, каждый завитокъ зданія потому и просты, что они хороши и во всемъ и вездѣ вы видите столько этой красивой простоты. впечатлѣнію зрѣнія такъ много постоянной работы, что можно просидѣть нѣсколько часовъ въ какомъ-нибудь пассажѣ, напряжѣвъ въ галереѣ industriale subalpina,—и больше ничего, какъ только сидѣть и смотрѣть, разсматривать галерею, смотрѣть на постоянно двигающуюся и обновляющуюся толпу. И въ итальянкахъ, какъ во всей ихъ художественной обстановкѣ, есть тоже что-то успокоивающее. Въ этой же галереѣ, внизу, помѣщается извѣстное Caffè Romano. въ которомъ каждый вечеръ даются концерты, посѣщаемые итальянскими гвардейскими и кавалерійскими офицерами. Признаюсь, что въ Европѣ мнѣ не случалось видѣть болѣе красивыхъ, щеголеватыхъ и изящныхъ офицеровъ. И въ то-же время въ нихъ все такъ просто и «само собою», безъ дѣланности и подчеркиванія, какъ и въ итальянской художественности. Особенно хороши черные, бархатные глаза итальянцевъ съ ихъ добрымъ, «домашнимъ» выраженіемъ. Подгѣ меня сѣлъ офицеръ и взглянулъ онъ на меня такъ просто и хорошо, что мнѣ захотѣлось совсѣмъ къ нему подвинуться. Я уже раньше слышалъ, что въ Туринѣ очень «просто», но мнѣ не представлялось, что въ немъ живетъ такъ легко—именно легко, точно въ своей комнатѣ. Чтобы выработать эту простоту отношеній и общее нивелирующее равенство, при которомъ вся разница между людьми заключается только въ томъ, что одинъ одѣтъ такъ, а другой иначе, нужна большая культурная сила и сильное художественное чувство, развивавшееся, конечно, не одну сотню лѣтъ. Но Туринъ и политическій городъ. Онъ полонъ воспоминаній о недавней борьбѣ за независимость и цѣлость Италіи, и вездѣ, гдѣ только нашлось свободное мѣсто, Туринъ поставилъ памятники своимъ великимъ патріотамъ и борцамъ за независимость и объединеніе. Признаюсь читателю, что меня мало занимали музей древности (хотя и знаменитый), пивамотель и другія достопримѣчательности города, но зато я съ особеннымъ удовольствіемъ отыскивалъ памятники Кавуру, Маркетти, Карлу Альберту, Лагранжу, отыскивалъ площади

и улицы съ именами великихъ людей именами правителей Савойскаго дома. Туринъ любитъ своихъ королей, въ особенности Виктора Эммануила, и очень ими гордится. Но медовой мѣсяць обаянія, созданнаго успѣхами войны за освобожденіе и сознаниемъ національнаго единства, для Италіи начинается проходить: жизнь выставляетъ уже новыя задачи и новыя требованія.

Пришлось, наконецъ, оставить и Туринъ. Наканунѣ отъѣзда, къ таблѣ д'оту является голландецъ, съ которымъ я познакомился въ Ментонѣ. Онъ былъ великій любитель розъ и женщинъ, и, забравшись въ Ментонъ, измѣнилъ голландскимъ тюльпанамъ и чистоплотнымъ голландкамъ. Мы встрѣтились какъ старые знакомые и рѣшили утромъ ѣхать вмѣстѣ. Поѣздъ отходилъ въ 8 ч. Вещи мои были уже внизу, наступила пора отъѣзда, а голландецъ еще не появлялся. «Что-же голландецъ? спрашиваю я швейцара, или его не будили?» — «Нѣтъ будили, да не могли достучаться и онъ ничего не отвѣчаетъ». — «Такъ пошлите еще». — «Пошлю». Вѣроятно, основательный голландецъ измѣнилъ на этотъ разъ своимъ роднымъ тюльпанамъ ради туринскихъ розъ и на поѣздъ со мной не попалъ. На этотъ разъ судьба послала мнѣ въ спутники одного коммивояжера. Въ вагонѣ сидѣли бразиліанецъ съ женой; онъ говорилъ по-итальянски и по-французски, она только понимала по-французски, а говорила на какомъ-то непонятномъ языкѣ, который коммивояжеръ называлъ неизвѣстно почему португальскимъ; но зато въ ней было на столько чего-то красиво-добраго и веселаго, что превосходно понималось на всѣхъ языкахъ, такъ что бразиліанка сразу сдѣлалась душою нашей маленькой компаніи. Компанію-же нашу составляла дама, неизвѣстной національности, — сначала я думалъ, ужь не русская-ли — читавшая французскій романъ и имѣвшая другой въ запасѣ, молодой итальянецъ, говорившій по-французски, старый итальянецъ, съ виду сельскій хозяинъ, говорившій по-итальянски и не выпускавшій изъ рта трубки, коммивояжеръ и я. Публика была безперчаточная; впрочемъ, на бразиліанкѣ красовалось много золота, и, по словамъ ея мужа, онъ богатый бразиліанскій купецъ. Я уже имѣлъ случай замѣтить, что за границей въ вагонахъ о политикѣ не говорятъ. По крайней мѣрѣ мнѣ «политической» компаніи ни разу встрѣтить не пришлось. Рѣдко случалось встрѣтить компанію, у которой завязывался и общій разговоръ, но на этотъ разъ помогли дорожные виды и въ особенности швейцарскія горы съ ихъ обрывами и снѣжными вершинами. Коммивояжеръ, оказавшійся женевцемъ, рѣшительно никому не давалъ покоя. Такого патріотизма мнѣ еще не удавалось встрѣчать. Попадался-ли глубокій обрывъ, съ бушевавшимъ на двѣ потокомъ, коммивояжеръ заставлялъ все купе вставать и смотрѣть на потокъ; попадалась-ли снѣжная вершина опять всѣ

вставали и поднимали вверх головы, чтобы смотрѣть на вершину; понадалась-ли на голыхъ скалахъ пастушеская лачуга, комми-воажеръ показывалъ на нее пальцемъ и всѣ смотрѣли по направленію его пальца, видѣлось-ли стадо овецъ, едва замѣтное вдали на каменистой, голой и черной землѣ, комми-воажеръ опять вытягивалъ палецъ и замѣчалъ: «удивительно, что онѣ тамъ ѣдятъ» — и всѣ опять смотрѣли по направленію пальца и бразиліанка вполне раздѣляла восторгъ комми-воажера. Только мужъ ея иногда еще пытался охлаждать патріотическій восторгъ швейцарца и начиналъ рассказывать о бразилскихъ видахъ, но обыкновенно не встрѣчалъ поддержки въ обществѣ и долженъ былъ умолкать. Не обнаруживалъ восторга только старый итальянецъ, покуривавшій молча свою трубочку, да пожалуй я; мы сидѣли у окна и любовались видами «самостоятельно», не подчиняясь дирижерству комми-воажера, игравшаго роль хозяина и видимо щеголявшаго передъ «иностранцами» красотами своей родины. Послѣ одной изъ пересадокъ мы съ комми-воажеромъ остались одни и разговоръ нашъ принялъ дружески-интимный характеръ, чему, конечно, способствовало то, что я угостилъ своего компаньона кофеемъ съ коньякомъ. Когда мы усѣлись и закурили, комми-воажеръ досталъ изъ кармана визитную карточку и подалъ ее мнѣ. Я прочелъ названіе одной гостиницы въ Римѣ и, не понимая ничего, посмотрѣлъ вопросительно на собесѣдника. «Я служу при магазинѣ Ванселя, въ Парижѣ, где Самсон, это первый модный магазинъ». — «Кажется первымъ магазиномъ считается Ворта», сказалъ я. — «Ну да его считаютъ; но нашъ гораздо больше, нашъ первый. Я ѣздилъ теперь въ Римъ, чтобы отвезти платье ея императорскому высочеству великой княгини Мевленбургъ-Шверинской»... — «Отчего же она императорское высочество?» — «Да, вѣдь это фамилія Германскаго Императора», отвѣчаетъ комми, нисколько не стѣсняясь. Я молча съ нимъ соглашаюсь и мой собесѣдникъ, довольный тѣмъ, что нашелъ человѣка, который еще меньше знаетъ, чѣмъ онъ, начинаетъ постепенно врать уже безъ всякаго удержа. Платье, которое онъ отвозилъ теперь въ Римъ, стоитъ 2 т. фр. Собственно магазину матеріалъ стоитъ 500 фр., фасонъ 500 фр. и барыша 1,000 фр.; да на дорогу хозяинъ далъ ему 1,000 фр. Получивъ такія деньги, я конечно могъ-бы ѣхать въ I классъ, но тамъ общество всегда болѣе натянутое. А вотъ когда мы ѣздили на коронацію въ Россію — насъ было четыре швеи отъ магазина и я — намъ на двѣ недѣли выдали 15 т. франковъ». — «Какъ вамъ понравилась Россія? спрашиваю я. — «Россія страна гористая»... отвѣтилъ комми, смутившійся нѣсколько отъ моего неожиданнаго вопроса и почувствовавшій, что у него почва убѣгаетъ изъ подъ

ногь. — «Ну, а какъ вы нашли коронацію?» — «Да мнѣ и не удалось увидѣть; всѣ двѣ недѣли я просидѣлъ въ гостинницѣ»... я не привожу всего того, что онъ мнѣ говорилъ объ Италіи, объ Римѣ, о Колизеѣ, о римскихъ императорахъ. Большаго невѣжества и хвастовства найти трудно; и не для того, чтобы обличать моего спутника въ невѣжество, заговорилъ я о немъ. Во-первыхъ, онъ вовсе не коммивояжеръ, а простой приказчикъ, котораго разсылаютъ съ посылками; во-вторыхъ — несомнѣнно, что если онъ когда-нибудь и чему-нибудь учился, то все это перезабылъ. Но вотъ этотъ-жѣ самый невѣжественный приказчикъ покупаетъ на станціи номеръ «Figaro» и, прочитавъ передовую статью, передаетъ мнѣ газету и начинаетъ дѣлать противъ статьи возраженія. Статья была написана противъ министерскаго проекта о преобразованіи воинской повинности. Проектъ желаетъ сократить срокъ службы до 3-хъ лѣтъ и уничтожить замѣстительство. «Figaro», конечно, опровергалъ проектъ министерства. Но и у невѣжественнаго приказчика оказались нѣкоторыя очень твердыя точки опоры и онъ выставилъ противъ аристократическихъ доказательствъ «Figaro», свои швейцарско-французскіе демократическіе устои. Тутъ онъ былъ тверже, чѣмъ въ географіи и, отлично понималъ всѣ демократическія выгоды проекта. Если отбросить въ этомъ приказникѣ нѣкоторыя его чисто личныя черты, то получится весьма опредѣленный типъ средняго француза и швейцарца. И Франція, и Швейцарія давно уже кончили съ извѣстными общими понятіями, и подвели имъ итоги. Законченныя и установившіяся гражданскія понятія усваиваются теперь тамъ уже наслѣдственно, какъ аксіомы; даже и заучивать не нужно; съ ними люди какъ-бы рождаются и объ нихъ уже никто не спорить и не говорить, какъ не спорятъ о томъ, что земля вертится вокругъ солнца. Въ Европѣ есть политическія и общественныя понятія, которыя уже настолько установились вошли въ наслѣдственное сознаніе, что не допускаютъ никакихъ неточностей или противорѣчій. И въ моемъ спутникъ-приказникѣ, считавшемъ Россію страной гористой и незнавшемъ, что въ Пруссіи царствуютъ Гогенцоллерны, имѣлся извѣстный, хотя можетъ быть и небольшой запасъ основныхъ общественныхъ аксіомъ, которыя сообщала точность и опредѣленность его общественному міровоззрѣнію и въ то-же время, конечно, дѣлали его въ извѣстныхъ случаяхъ звѣздытымъ консерваторомъ и рутинеромъ.

Русскіе, и въ особенности молодежь, посѣщающая Швейцарію, относятся къ швейцарцамъ съ извѣстнымъ высокоуміемъ. Русскій не можетъ жить безъ «вопросовъ», онъ вѣчно витаетъ въ области общихъ понятій и идей, у него пока не выработалось еще никакихъ аксіомъ и онъ все что-то ищетъ, крутитъ мозгами, спорить,

разсуждаетъ. Ну, конечно, швейцарецъ въ этой области неопредѣленнаго и спорнаго ему не товарищъ. Порѣшивъ свои общіе вопросы еще при Вильгельмѣ Теллѣ и установивъ свой бытъ, швейцарецъ живетъ теперь обычаемъ, потому понятно, что во многихъ областяхъ мысли, въ которыхъ русскій является такимъ шустримъ, швейцарецъ, какъ тюлень, едва двигается съ мѣста. Вообще швейцарецъ консерваторъ, и въ области новыхъ вопросовъ, куда вниманіе его пока еще не направилось, онъ не привыченъ, а поэтому пожалуй и тупъ. Но если это и «тупость», то она все-таки не даетъ никому права смотрѣть на швейцарца высокомѣрно. Исторически Швейцарія страна весьма почтенная, она выработала и создала въ себѣ вполне опредѣленную личность, и если швейцарецъ не обнаруживаетъ особенной умственной шустрости, за то и въ его наслѣдственно сложившейся натурѣ чувствуется дѣльность, послѣдовательность, нѣчто органическое и, пожалуй, въ извѣстномъ родѣ стихійное. Хотя-бы взять моего дорожнаго компаньона: круглый невѣжда въ исторіи и географіи, онъ разсуждать ни о чемъ не можетъ, и дальше предметовъ магазина, въ которомъ состоитъ приказчикомъ, прогрессивныхъ идейныхъ представленій не имѣетъ. Но онъ женевецъ и кальвинистъ, далѣе онъ лѣтъ десять живетъ въ Парижѣ; наслѣдственно, еще въ родительскомъ домѣ, онъ усвоилъ себѣ извѣстныя представленія и утвердилъ на нихъ, какъ на трехъ킶итахъ, всѣ свои общественныя понятія. Дальше онъ не идетъ, но извѣстныя формулы онъ выучилъ на память и если ему напрямѣръ приходится обещать какой-нибудь вопросъ, какъ нынче вопросъ о рекрутской повинности или возражать «Figaro», онъ выбираетъ одну изъ такихъ формулъ, вертитъ и мѣритъ ею какъ аршиномъ у себя въ лавкѣ и получается сужденіе правильное. Этой простой вещи мы, русскіе, особенно изъ шустрыхъ, совсѣмъ не понимаемъ. За границей попадаются любопытныя русскіе субъекты. Разъ въ Туринѣ садится противъ меня за table d'hote'омъ молодой человекъ и начинаетъ пронизывать меня глазами, затѣмъ онъ произвелъ такую-же операцію надъ другими и, утвердивши свое достоинство, потребовалъ съ видомъ Ротшильда бутылку дорогаго вина. Въ промежуткахъ между кушаньями онъ съ аллобомъ уничтожалъ сушки, которыя подаются въ Италіи къ обѣду, нѣсколько разъ приказывалъ лакею подать ихъ еще, и послѣ пирожнаго, не дождавшись десерта, всталъ съ шумомъ и приказалъ подать кофе съ коньякомъ. Послѣ обѣда я спрашиваю гарсона, кто это такой. — «Русскій», отвѣчаетъ гарсонъ. — «А какъ его фамилія?» — «Какая-то жидовская, пріѣхалъ на выставку». — Оказалось, однако, что у него фамилія не жидовская, а южно-русская. Или въ томъ-же Туринѣ входитъ въ сто-

ловую, въ 8 ч. утра, господинъ. «Фриштикъ?» спрашиваетъ его горсонъ. Господинъ съѣлъ, потребовалъ обѣденную карту, долго вертѣлъ ее и, наконецъ, спросилъ себя «супу». И этотъ оказался русскимъ. Зналъ я еще одного русскаго, который за границей закидывалъ иностранцевъ словами, либеральными фразами и «вопросами», и считалъ себя совсѣмъ довольнымъ, если иностранцы не успѣвали за нимъ угнаться. Или во Франкфуртѣ на станціи желѣзной дороги два господина, почтеннаго вида, перекидываются французскими фразами. По произношенію слышатся русскіе. И они оказываются русскими. Зачѣмъ же они не говорятъ по-русски? Неумѣнье быть собою, быть чѣмъ есть и истоянное желаніе приподнять искусственно свое достоинство — вотъ обыкновенная черта русскихъ за границей. Нѣчто подобное послѣ побѣды надъ французами явилось у нѣмцевъ. Прежде когда у нѣмцевъ были еще живы традиціи Лессинга, Канта, Гете, Шиллера и новѣйшихъ философовъ, нѣмецъ полагалъ свое достоинство въ томъ, что онъ «умственный» человѣкъ и держалъ себя скромно. Теперь нѣмецъ сталъ великой, непобѣдимой націей и въ качествѣ ея представителя держитъ себя за границей высокомерно, занимаетъ за table d'hôte'омъ первыя мѣста, кричитъ на весь столъ, носить въ путешествіи красныя или желтыя перчатки съ чернымъ широкимъ швомъ, запасается пледами, одѣялами, массой ручнаго багажа, и вступаетъ на этомъ новомъ для него поприщѣ въ очевидное соперничество съ англичанами. Нѣмцу, для его достоинства, конечно, ничего-бы этого не нужно и умные нѣмцы такихъ глупостей не дѣлаютъ; но настоящихъ умныхъ людей даже и въ Германіи не особенно много, а на большой дорогѣ они попадаются еще рѣже.

Не освободившихъ отъ впечатлѣній итальянскои и швейцарскои простоты, я, ночнымъ переѣздомъ, попалъ почти внезапно въ Берлинъ, и уже на станціи желѣзной дороги, при выдачѣ багажа, почувствовалъ строгій полицейскій режимъ и тотъ послѣдовательный, убѣжденный машинообразный формализмъ, который составляетъ секретъ прусскои военной дисциплины. Здѣсь съ вами говорить, уже совсѣмъ другимъ тономъ. Моего сундука не оказалось среди багажа; чтобы высмотрѣть не засунули-ли его между другими вещами, я вошелъ за барьеръ; но сначала носильщикъ, а потомъ багажный офицеръ такъ грубо и повелительно сказали мнѣ: «здѣсь нельзя, извольте уйти», что само собой подразумѣвалось — «а не то васъ выведутъ». Съ самымъ извозчикомъ такой-же «порядокъ»: вы не можете сами нанять извозчика, и должны получить жестянку отъ полицейскаго, затѣмъ полицейскій-же выкликаеть № извозчика и вы побѣдете въ

экипажѣ, который вамъ послала судьба. На другой день въ гостинницѣ, правда не въ номерѣ, а внизу, въ сѣняхъ, у швейцара подходить ко мнѣ полицейскій и спрашиваетъ, правда очень вѣжливо, есть-ли у меня паспортъ. — «Не ужели-же вы думаете, что въ Россію можно ѣхать безъ паспорта?» отвѣчаю я полицейскому и опустилъ руку въ карманъ, чтобы достать паспортъ. — «Пожалуйста, не безпокойтесь; я хотѣлъ только знать, есть-ли у васъ паспортъ, потому что иногда случается, что приѣзжаютъ русскіе безъ паспорта». Все это было сказано съ самой утонченной вѣжливостію, и полицейскій, какъ мнѣ показалось, былъ даже смущенъ, но тѣмъ не менѣе даже швейцаръ нашель, что «полиція дѣлаетъ глупости». Впрочемъ, эту смѣлую мысль онъ высказалъ мнѣ одному, когда полиціанта уже не было. Въ тотъ-же день прихожу я въ гостинницу и не нахожу ключа на крючкѣ. Швейцара не было, а вельнеръ мнѣ объяснилъ, что «мою комнату смотрѣлъ ректоръ (какой ректоръ?!), вмѣстѣ съ знакомой ему дамой, которая думаетъ занять мою комнату, когда я уѣду». Эти два сюрприза я объяснилъ тѣмъ, что меня записали «купцомъ», а фамилію переврали такъ, что если въ берлинской полиціи есть человѣкъ, знающій по-русски, то онъ, конечно, могъ подумать, что я скрываю свою настоящую фамилію, или безпаспортный. Берлинская полиція преподносила мнѣ нѣсколько сюрпризовъ. Ёду въ театръ; извозчикъ, не доѣзжая, протягиваетъ руку и проситъ заплатить. Заплатилъ. Другой разъ ёду на желѣзную дорогу; извозчикъ опять проситъ денегъ заранее. «Да я отдамъ на станціи». — «Нѣтъ нельзя, нужно теперь, а то меня полиція оштрафуетъ». Отдалъ; но на этотъ разъ, я спросилъ полицейскаго, что это у нихъ за странные порядки. «Вамъ, какъ иностранцу, это можетъ показаться страннымъ и пожалуй даже обиднымъ, отвѣтилъ полицейскій, но это для извозчиковъ; у васъ можетъ не случиться мелкихъ, вы задержите извозчика, а онъ, какъ привезъ, сейчасъ-же долженъ уѣхать, чтобы не мѣшать другимъ». Полиція есть во всемъ свѣтѣ, есть она и во Франціи, и въ Италиі, и въ Швейцаріи; но тамъ вы ее и не чувствуете; въ Берлигѣ-же она точно носится въ воздухѣ, составляетъ атмосферу городской жизни. Этого мало, самый обликъ берлинскихъ полиціантовъ, ихъ каски съ шишаками, вкопанные, точно на военномъ посту стоящіе конные полицейскіе — все это постоянно напоминаетъ вамъ военное положеніе и смущаетъ мирное, обывательское настроеніе. Берлинцы не довольны этими порядками и ропщутъ на нихъ и, конечно, не безъ удовольствія читаютъ все, что пишется противъ крайностей берлинскаго полицейскаго вмѣшательства. Я ѣхалъ въ Берлинъ съ однимъ франкфуртцемъ, который очень саркастически отзывался о Берлигѣ, звалъ его поли-

пейскимъ, скучнымъ городомъ, въ которомъ даже и смотрѣть-то нечего, и съ особеннымъ удовольствіемъ читаль у Нордау тѣ картины, гдѣ онъ рисуетъ картину полицейскихъ излишествъ.

Другая современная особенность Пруссіи—милитаризмъ, выступаетъ еще рѣзче. У Берлина и прежде были уже наклонности нѣсколько импонирующаго, военного характера, но это былъ все-таки по преимуществу обывательскій, гражданскій городъ, съ извѣстнымъ гемютомъ, внѣшней простотой и нѣкоторымъ умственнымъ отгѣнкомъ. Теперь даже и въ окнахъ книжныхъ магазиновъ ны ни надъ чѣмъ не остановитесь, потому что милитаризмъ забрался даже въ литературу. «О будущемъ русской кавалеріи», «Пруссійскій воинскій уставъ», «О болѣзняхъ лошади», да медицинскія сочиненія, вотъ что предлагаютъ вниманію проходящихъ витрины книжныхъ лавокъ. Физіономія гражданского населенія Берлина отвѣчаетъ вполне книжной торговлѣ. Каждый нѣмецъ имѣетъ теперь военный видъ, всѣ точно военные въ отставкѣ. Про военныхъ и говорить нечего. Очень щеголеватые, въ мундирахъ съ иглопочки, съ напомаженными усами, съ англійскимъ проборомъ во всю голову, они высоко и гордо несутъ голову и даже за table d'hôte являются побѣдителями. Нужно, однако, отдать справедливость прусскимъ офицерамъ — въ нихъ не замѣчается ни нахальства, ни наглости; но зато они даютъ вамъ почувствовать, что они сила, первая, главная, основная сила, которой все держится и отъ которой въ настоящее время все зависитъ. Но вѣдь и французскій офицеръ тоже знаетъ, что онъ сила, и что въ его рукахъ предстоящее военное торжество Франціи надъ Германіей, и однако онъ скромнѣе и умѣетъ сознавать свою силу, не выпячивая грудь и не стараясь занимать вездѣ первое и видное мѣсто. Итальянскіе военные тоже скромны, хотя они очень хорошо сознаютъ за собой кое-какія и пожалуй не малыя заслуги. Любопытно, что милитаризмъ забрался даже въ театръ. Пошелъ я посмотрѣть балетъ. Шелъ «Фликъ и Флоръ». Во второмъ дѣйствіи дается рядъ картинъ и танцевъ національныхъ: видъ Вѣны и вѣнская полька, Лондонъ и «Englisch Real», Парижъ—и французскій канканъ, Петербургъ—и казакъ. Съ 1870 года, какъ гласитъ текстъ балета, картина Парижа и Марсельеза «обыкновенно выпускаются, хотя и значатся на афишѣ». Произведены перемѣны и въ картинѣ Берлина. Это шестая картина 2 дѣйствія, въ которой прежде выполнялся пожарный галопъ, а теперь—«такъ какъ характеристическая особенность Берлина и Пруссіи заключается теперь въ милитаризмѣ, то подъ звуки воинственной фанфары исполняютъ кадрили женщины-уланъ (безъ лошадей)». «Въ такомъ видѣ,—старается острить текстъ дальше,—уланъ французамъ не

бли-бы опасны». По окончаніи кадрили, хотя скорѣе это было не красивая и неграціозная толкотня большой толпы женщинъ въ уланскихъ костюмахъ и съ значками, черезъ сцену проѣхала фура краснаго креста, изъ которой выглядывалъ гримасничая уланъ — и театръ огласился общимъ довольнымъ смѣхомъ и громкими аплодисментами. Берлинская публика вообще сдержанна и, кромѣ своихъ улановъ, она наградила, впрочемъ, довольно слабыми аплодисментами русскихъ казаковъ. Казачекъ былъ выполненъ недурно; во всякомъ случаѣ, это былъ лучший хоровой танецъ балета. Что-же касается картины Петербурга, то она изображалась такъ: небольшое замерзшее озеро, а можетъ быть и рѣка, за ней три-четыре небольшихъ домика нѣмецкаго фасона, а сейчасъ-же за домами горы. Если мой комми-ваяжеръ видѣлъ въ Берлинѣ «Фликъ и Флокъ», то почему-бы ему и не считать Россію страной гористой.

Франкфуртець, съ которымъ я ѣхалъ до Берлина, оказался вполне правъ. Берлинъ, дѣйствительно, самый скучный городъ въ мірѣ. Въ Берлинѣ точно всѣ въ гостяхъ и никто не чувствуетъ себя дома, все смотреть показнымъ, не настоящимъ, видится неумѣлость устроить жизнь по-своему. Если вы спросите берлинца, что стоитъ посмотрѣть въ Берлинѣ — это я повторяю слова франкфуртца — то онъ вамъ отвѣтитъ: «Кафе-Бауеръ» — «А еще?» — Опять «Кафе-Бауеръ». Кромѣ этого вы ничего не услышите. Кафе-Бауеръ тоже показной конецъ Берлина, какъ и находящійся рядомъ съ нимъ ресторанъ, отдѣляемый въ какомъ-то азіатско-мавританско-русскомъ вкусѣ. Въ самомъ маленькомъ кафе Франціи вы видите людей, для которыхъ кафе есть часть ихъ дома, нѣчто обычное, установившееся; французъ приходитъ въ *свой* кафе, какъ въ клубъ, чтобы отдохнуть, закончить вечеръ, почитать газеты, сыграть обычную партію въ карты или на бильярдѣ. Въ кафе-бауеръ приходятъ только для того, чтобы посмотрѣть; въ немъ люди, какъ на станціи желѣзной дороги. Много блеску, роскоши, чувствуется масса затраченныхъ денегъ, и желаніе устроить нѣчто грандіозное, выдающееся, чего не найти даже и въ Парижѣ, и что было-бы вполне достойно Берлина... но, для того художественнаго блеска, который во всѣхъ мелочахъ вы видите въ Италіи и во Франціи, нужно имѣть южную художественную природу и южную кровь, а не то снятое молоко, которое течетъ въ жилахъ сѣвернаго нѣмца. Послѣ Франціи и Италіи, въ Берлинѣ дѣлать нечего. И я спѣшилъ вонъ, спѣшилъ домой, хотя не скрою отъ читателя, что на русскую границу смотрѣлъ не безъ робкаго чувства. Въ день отъѣзда изъ Берлина я тщательно пересмотрѣлъ всѣ свои вещи и книги, которыя купилъ за границей, завернулъ

ихъ въ особую бумагу, перевязавъ шнуркомъ и положилъ въ сундукъ на видное мѣсто, чтобы не дать повода думать, что желаю что-нибудь скрыть. Подъѣзжая къ границѣ, я безпрестанно смотрѣлъ на часы и волновался въ Эйдкунентѣ, гдѣ неизвѣстно для чего стоитъ поѣздъ полчаса, въ верстѣ разстоянія отъ Вержболова. Уже хотѣлось поскорѣе пройти чистилище. Наконецъ, просить садиться, звонокъ—и поѣздъ тронулся. Въ Вержболовѣ жандармы отобрали отъ пассажировъ паспорта и приѣзжающихъ ввели въ залъ, гдѣ производится таможенный досмотръ. Артельщики, вносившіе багажъ, клали его не на прилавокъ, какъ это дѣлается за границей, а на полъ, за прилавкомъ. Для досмотра вызывали по фамиліямъ, по паспортамъ; отъ вызваннаго отбирались ключи и чемоданы отворяли артельщики. Вообще обстановка дѣла была возможнымъ образомъ строгая, недовѣрчивая. Но это было только одна внѣшность. Я предъявилъ свои книги, думая, что ихъ отберутъ и представятъ въ цензуру, но, таможенный чиновникъ, взглянувъ на нихъ—именно взглянувъ—отдалъ артельщику, чтобы положить обратно; артельщикъ подалъ чиновнику мой портфель, но чиновникъ махнулъ рукой, не посмотрѣвши; одинъ артельщикъ, какъ-бы для очистки совѣсти, погрузилъ было руку въ бѣлье, но сейчасъ-же ее вытащилъ, а ручной мѣшокъ, набитый довольно туго, и совсѣмъ не отворяли. Досмотръ оказался оконченнымъ. Съ такою-же неожиданною для меня мягкостію возвратили намъ и паспорта. Все дѣлалось не только вѣжливо, но даже добродушно, и подъ кажущейся суровой формальностію чувствовалась русская простота. Въ Берлинѣ, при выдачѣ багажа, было гораздо больше строгости, а главное—какой-то ненужной грубости и жестокости, чѣмъ у насъ при таможенномъ досмотрѣ. Такъ-же внезапно исчезло и впечатлѣніе прусскаго милитаризма и полицейскаго режима. Ни полицейскихъ касокъ, ни импонирующихъ военныхъ я не встрѣтилъ во весь путь до Петербурга, и Пруссія съ ея милитаризмомъ и безопаснымъ желѣзнымъ формализмомъ представлялась какимъ-то оазисомъ, среди болѣе мягкихъ народныхъ обычаевъ другихъ европейскихъ странъ.

Читатель вѣроятно пожелаетъ услышать отъ меня какой-нибудь и общій выводъ. Человѣкъ, являющийся въ Европу для отдыха и для леченія, конечно, живетъ только уличной, внѣшней жизнью. Но и эта книга, въ которой есть что читать. Начиная простыми, быстро смѣняющимися дорожными впечатлѣніями и отдавшись теченію, вы шагъ за шагомъ, будете-ли вы этого желать или не будете, постепенно уйдете въ интересы того, что васъ окружаетъ, и начнете сознательно ориентироваться, чтобы найти себѣ мѣсто въ этой новой природѣ. Не вдаваясь въ по-

дробности, я сдѣлаю очень коротенькій выводъ объ этой новой природѣ. Гостинничная и уличная жизнь Европы есть собственно жизнь ея средняго сословія, и путешественнику приходится плыть по этому теченію. Жизнь-же этого сословія точно выдохлась. Было время, когда оно разрабатывало общіе вопросы, разрешало великія задачи, когда оно выставяло мыслителей, художниковъ, писателей, когда умственная жизнь чувствовалась во всемъ, когда широкія задачи и новыя идеи являлись всеобщей воодушевляющей силой, создавали общественный энтузіазмъ и пульсъ общественной жизни бился энергично и сильно. Теперь ничего этого въ Европѣ не чувствуется, все ужасно сѣро, безцвѣтно, безталанно и мелко, какъ въ этомъ и убѣдился читатель изъ того, что онъ нашелъ въ моихъ замѣткахъ. Дѣйствующее среднее сословіе точно опустило руки; оно не выставяетъ ни великихъ писателей, ни великихъ мыслителей, и живетъ изо дня въ день, занятое исключительно мелкими личными интересами.

Н. Ш.

РУФИНА КАЗДОЕВА.

Романъ въ 3-ти частяхъ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Глава IX.

Руфи задумчиво шла по мосткамъ крайней боковой аллеи Лѣтнаго Сада. Утро было ясное, солнечное. Инеемъ опушенные деревья сверкали на солнцѣ; сквозь талый снѣгъ пробивалась черная, влажная земля. Два сторожа — одинъ съ метлой, другой — съ ящикомъ, наполненнымъ краснымъ пескомъ — двигались по мосткамъ. Первый подметалъ мостки, другой посыпалъ ихъ пескомъ. Кромѣ этихъ двухъ сторожей, никого въ этой сторонѣ сада не было. Руфи дошла до конца аллеи и повернула назадъ. Она прошла мимо сторожей, инстинктивно, не подымая головы, обходя метлу. Песокъ хрустѣлъ подъ ея каблучками; галки, сидя на вѣткахъ, умными пытливыми глазами провожали ее; воробьи, громко чирикаая, прыгали передъ ней на мосткахъ; порой льдинка, отдѣляясь отъ сучка и переливаясь огнями, какъ драгоценный брилліантъ, падала съ легкимъ шумомъ на землю прямо къ ея ногамъ; она ничего не замѣчала, ни на что не обращала вниманія.

Въ противоположномъ концѣ аллеи показался Юхеровъ. Онъ издали уже увидѣлъ ее, однако не ускорилъ шаговъ. Онъ шелъ ей навстрѣчу такъ-же спокойно, какъ и она, но зорко всматривался въ нее, точно пытаясь по ея движеніямъ угадать ея мысли. Разстояніе между ними все уменьшалось. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ Юхерова Руфи подняла голову и узнала его. Выраженіе ея лица не измѣнилось. Они приблизились другъ къ другу, поздоровались и пошли рядомъ. Нѣ-

сколько шаговъ они прошли въ совершенномъ молчаніи. Юхнеровъ заговорилъ первый.

— Обдумали вы? спросилъ онъ мягко.

— Да.

Юхнеровъ взглянулъ на нее; глаза ихъ встрѣтились.

— Мнѣ кажется, я не ошибусь, продолжалъ Юхнеровъ такъ-же мягко,—если объясню это «да» въ благопріятномъ для насъ смыслѣ.

— Я рѣшилась, просто возразила Руфи.

Юхнеровъ помолчалъ. Онъ пытливо всматривался въ ея поблѣднѣвшее, утомленное лицо. Въ окруженныхъ легкой синевою глазахъ онъ уловилъ лихорадочный, тревожный блескъ, но голосъ ея звучалъ спокойно.

— Рѣшенье это стоило вамъ тяжелой борьбы, проговорилъ Юхнеровъ, отводя глаза отъ лица Руфи.—Тѣмъ болѣе силы прибавится теперь вамъ. Тотъ человѣкъ, который пассивно отдается тому или другому строю идей, безслѣдно и бесполезно для другихъ проходить въ жизни. Онъ ничѣмъ не отмѣтилъ своего существованія; онъ прозябалъ. Одни бордци имѣютъ право сказать, что они жили.

Руфи не отвѣчала. Они прошли молча нѣсколько шаговъ.

— Какъ вы думаете, заговорилъ снова Юхнеровъ,—просить-ли мнѣ вашей руки у Настасьи Петровны устно или письменно.

— Письменно, возразила Руфи, и впервые въ это утро слабый румянецъ окрасилъ ея блѣдныя щеки.

— Да, такъ лучше, согласился Юхнеровъ,—хотя, съ другой стороны, я опасаюсь, что вамъ придется одной вынести самья бурныя сцены.

— Я къ нимъ приготовилась.

Юхнеровъ одобрительно посмотрѣлъ на нее.

— Я долженъ почитать за счастье, промолвилъ онъ,—встрѣтилъ васъ. Вы дивнымъ образомъ соединяете въ себѣ женскую мягкость, впечатлительность ко всему высокому со стойкостью въ преслѣдованіи идеи. Безъ вашей помощи я не могъ-бы теперь обойтись.

Руфи слушала молча, но не безучастно; глаза ея оживились, губы и щеки заалѣлись.

— Меня также глубоко трогаетъ ваше довѣріе ко мнѣ, продолжалъ Юхнеровъ, и въ голосѣ его послышалось волне-

ніе.—Прежде чѣмъ я предложилъ вамъ этотъ бракъ, къ которому приводитъ насъ не взаимное влеченіе другъ къ другу, а преданность нашему дѣлу, бракъ, который мы заключаемъ ради близкихъ вамъ людей, и который долженъ быть, будетъ и останется фиктивнымъ,—прежде чѣмъ предложить вамъ такого рода комбинацію, я долго зондировалъ себя и мое къ вамъ чувство, и пришелъ къ тому заключенію, что вы, какъ женщина, для меня не существуете. Еслибы вы мнѣ были сестра, я не могъ-бы чувствовать себя спокойнѣе около васъ. Я знаю, что и я для васъ не болѣе какъ духовный братъ; вотъ почему мы такъ хорошо понимаемъ другъ друга. Страсть не становится между нами и нашей цѣлью, не затемняетъ, не умаляетъ ее. Чтобы убѣдить васъ въ совершенной искренности моей...

— Я въ вашей искренности ни одну минуту не сомнѣвалась, живо перебила его Руфи.

-- Знаю; но мнѣ необходимо ради себя самого, чтобы при совершеніи столь важнаго шага, который послужитъ, быть можетъ, поводомъ къ разрыву между вами и вашими родными, мнѣ необходимо, чтобы ничего непонятнаго во мнѣ для васъ не оставалось. Вы молоды, вы живете въ чистой дѣвической атмосферѣ, вамъ неизвѣстна страсть. Можетъ, вы ее никогда не узнаете. Мнѣ кажется, у васъ спокойный темпераментъ. Тѣмъ лучше для васъ, тѣмъ лучше для нашего дѣла, тѣмъ лучше для меня. Но мнѣ не такъ легко было побороть въ себѣ низшую натуру человѣка. Она мучила, терзала меня. Цѣломудріе, которое я ставилъ необходимой основой жизни человѣка, преслѣдующаго не временныя, узкія, личныя цѣли, цѣломудріе долго казалось мнѣ недосыгаемымъ. Послѣ продолжительнаго воздержанія я падалъ, и паденіе съ каждымъ разомъ становилось мучительнѣе для моего нравственнаго я... Была минута, когда я думалъ, что паденіе мое окончательно, что я только мнилъ себя сильнымъ и чистымъ, а на дѣлѣ такой-же слабый, чувственный человѣкъ, какъ и всѣ другіе... Да, была такая минута, продолжалъ Юхнеровъ, и голосъ его, сначала сухой, докторальный, согрѣлся, рѣчь полилась свободнѣе. Руфи жадно ловила каждое слово.

— Это было за-границей. Мнѣ пришлось присутствовать на одной сходкѣ рабочихъ. Я попалъ на нее случайно. Сходки эти давно перестали интересовать меня, какъ вообще весь ра-

бочій вопросъ, не имѣющій, самъ по себѣ, никакого отношенія къ моимъ идеямъ и стремленіямъ. Я слушалъ совершенно равнодушно знакомыя рѣчи на избитую тему о повышеніи платы и уменьшеніи рабочихъ часовъ, когда на импровизированную эстраду—сходка происходила на вольномъ воздухѣ и эстрадой служили нѣсколько на-скоро сколоченныхъ досокъ, — когда на эту эстраду, расталкивая толпу и отбиваясь отъ рукъ, которыя хотѣли ее удержать, вскочила дѣвушка, дочь мѣстнаго углекопа. Отца ея, за недѣлю передъ тѣмъ, придавилъ обрушившійся сводъ одной шахты. Онъ не умеръ, но на выздоровленіе надежды не было. Дочь требовала съ эстрады, чтобы отцу и семьѣ его оказали поддержку, она требовала, чтобы на леченіе были отпущены средства... Въ сущности, вся ея грозная, пылкая рѣчь была однимъ сплошнымъ требованіемъ. Сначала ей не давали говорить. Она заставила себя слушать. Въ этой мощной по фигурѣ, замѣчательно красивой дѣвушкѣ, было что-то неотразимое. Когда она, при громкихъ возгласахъ одобренія, сошла съ эстрады, я невольно послѣдовалъ за ней. Она жила въ ближайшей сосѣдней деревнѣ. Впослѣдствіи я узналъ, что она по происхожденію чешка. Звали ее Зденька. Между нами ничего общаго не было и быть не могло, но красота ея, скрадывая отсутствіе образованія и довольно грубую натуру, пробуждала во мнѣ всѣ низшіе инстинкты. Мнѣ казалось, я никогда не въ силахъ буду оторваться отъ нее. Я зналъ, что она тормазъ на моемъ пути, и не могъ ее покинуть. Раньше я не испытывалъ такой всепоглощающей страсти и такого стыда за самого себя, за человѣка идеи, который до тѣхъ поръ могъ высоко держать голову...

Въ послѣднихъ словахъ Юхнерова прорывалось много самоинѣнія, но Руфи была слишкомъ пристрастный слушатель. Она съ сочувствіемъ и полнымъ довѣріемъ положила свою руку въ его протянутую руку и отвѣтила на его пожатіе, когда онъ сказалъ:

— Въ этой страсти я, кажется, изжилъ послѣднія попытки чувственнаго человѣка взять верхъ надъ мной. Я вышелъ побѣдителемъ изъ той тяжелой борьбы, и теперь имѣю право смѣло заявить, что могу безъ всякаго усилія надъ самимъ собой относиться къ каждой женщинѣ, какъ къ сестрѣ, а тѣмъ болѣе къ вамъ, моей дорогой сестрѣ по духу!

Руфи не сомнѣвалась въ его искренности, и самъ Юхноровъ былъ твердо увѣренъ въ непреложной истинѣ своихъ словъ.

Глава X.

То самое утреннее солнце, что такъ весело освѣщало инеемъ опушенные деревья Лѣтняго Сада, заливало своими мягкими весенними лучами и Волково кладбище. Здѣсь въ то ясное, тихое утро стояла Франя. Съ тупымъ вниманіемъ слѣдила она за каждымъ взмахомъ лопаты могильщика, спѣшившаго засыпать яму. Священникъ уже ушелъ; окончивъ свой трудъ, ушелъ и могильщикъ, а Франя продолжала смотрѣть на черный холмикъ, подъ которымъ было погребено все то, чѣмъ она всецѣло жила послѣдніе семь мѣсяцевъ.

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нея бродилъ между могилами Ловагинъ. Иногда онъ останавливался, оглядываясь на Франю, но она не отрывала глазъ отъ чернаго холмика. Ловагинъ снова переходилъ отъ могилы къ могилѣ и читалъ попадавшіяся на памятникахъ надписи. Наконецъ, ему наскучило это занятіе. Онъ приблизился къ Франѣ.

— Не пора-ли намъ? осторожно спросилъ онъ.

Франя вздрогнула.

— Пора, беззвучно возразила она, не отрывая глазъ отъ могилки. — Пора, прибавила она громче, — пойдемъ, у насъ много дѣлъ сегодня.

Съ лихорадочной послѣшностью отошла она отъ могилы. Ея сухіе, воспаленные глаза не то со страхомъ, не то съ тревогой впились въ лицо Ловагина. Онъ съ участіемъ глядѣлъ на нее и подаль руку, чтобы помочь ей взобраться на мостки. Франя опередила его и торопливо шла впередъ, не оглядываясь. Подходя къ выходу, она замедлила шаги и пошла рядомъ съ Ловагинимъ. У воротъ ихъ ждалъ извозчикъ.

— Мы теперь домой? покорно спросила она.

— Да, лаконически отвѣтилъ онъ.

Всю дорогу они не промолвили ни слова. Франя по временамъ взглядывала на Ловагина, и взглядъ ея былъ нѣженъ, полонъ любви и почти собачьей покорности. Посинѣвшія губы порой вздрагивали, разжимались, будто она хотѣла заговорить, но она подавляла это желаніе, и ея взглядъ тревожно скользилъ по лицу Ловагина. Онъ безучастно смо-

трѣль по сторонамъ, но ни разу не взглянулъ на нее, хотя чувствовалъ на себѣ ея взгляды. Наружно онъ казался спокойнымъ. Франѣ спокойствіе это внушало тайное опасеніе. Такъ они доѣхали до дома. Онъ тотчасъ-же прошелъ въ свою комнату. Черезъ нѣсколько минутъ Франя послѣдовала за нимъ. Ловагинъ стоялъ у комода и, вынимая изъ выдвинутаго ящика разныя принадлежности бѣлья, акуратно укладывалъ ихъ въ небольшой дорожный мѣшокъ.

— Хочешь, я тебѣ помогу? кротоко спросила Франя.

— Не стоитъ. Я беру только самое необходимое.

— Я думаю, и мое бѣлье здѣсь помѣстится, неувѣренно промолвила Франя.

Ловагинъ не отвѣчалъ. Онъ нагнулся и вытащилъ изъ подъ кровати пару сапогъ.

— Постой, я сейчасъ принесу, продолжала Франя, поворачиваясь къ двери.

— Къ чему? спросилъ Ловагинъ.

Франя точно приросла къ мѣсту. Глаза ея сверкнули-было гнѣвомъ, но тотчасъ-же страхъ замѣнилъ минутную вспышку.

— То есть какъ? трепетнымъ голосомъ спросила она.

Ловагинъ заворачивалъ сапогъ въ газетную бумагу; пальцы его чуть замѣтно вздрагивали.

— Очень просто. Я ѣду одинъ.

«Лучше разомъ, разомъ», мысленно говорилъ онъ себѣ, пытаясь, хоть и не совсѣмъ успѣшно, сохранить внѣшнее спокойствіе.

— Одинъ! вскрикнула Франя.

Ловагинъ, употребляя совершенно ненужныя усилія, втискивалъ въ мѣшокъ завернутый въ бумагу сапогъ.

— Одинъ, глухо повторилъ онъ, съ напряженнымъ вниманіемъ разсматривая голенище втораго сапога.

Его видимое волненіе придадо бодрость Франѣ.

— Нѣтъ, не одинъ, захлебываясь отъ слезъ и вмѣстѣ съ тѣмъ запальчиво произнесла она.— Это безчеловѣчно... Бросить меня... теперь... когда я всего лишилась... Ты не можешь, ты не долженъ... Это безнравственно!..

Въ ея словахъ слышалось и негодованіе, и гнѣвъ.

— Наконецъ, что-жъ это! продолжала она, послѣдно отирая слезы.— Я имѣю право ѣхать... если хочу... если считаю нужнымъ... ѣхать вдвоемъ удобнѣе...

Она запнулась, встрѣтивъ холодный, враждебный взглядъ Ловагина.

— Ты утратила всякое самоуваженіе, сдержанно проговорилъ онъ.

Слезы покатались у нее по щекамъ. Она поникла головой и съ жалобнымъ стономъ, всхлипывая, прижала платокъ къ глазамъ.

Ловагинъ швырнулъ незавернутый сапогъ на полъ, схватилъ со стола свою шапку и вышелъ.

Сбѣгая съ лѣстницы, онъ чуть не спибъ съ ногъ Евлампьева, подымавшагося по ней.

— Стой! шутиливо проговорилъ Павелъ Ивановичъ, хватая Ловагина за борть пальто.—Вы съ ума сошли!

— Можетъ быть, сурово возразилъ Ловагинъ.

Евлампьевъ посмотрѣлъ на него.

— Та-а-аъ, протянулъ онъ.—Я хотѣлъ было къ вамъ, но вы, кажется, не расположены возвращаться домой.

— Не расположенъ.

Евлампьевъ молча повернулся и началъ спускаться съ лѣстницы. Они вмѣстѣ вышли на улицу.

— Вы ѣдете или пѣшкомъ? спросилъ Евлампьевъ.

— Пѣшкомъ.

— Хорошо. И я съ вами.

Они пошли рядомъ.

— Похоронили? отрывисто проговорилъ черезъ минуту Евлампьевъ.

— Похоронилъ, нехотя возразилъ Ловагинъ.—А знаете, заговорилъ онъ живѣе, немного погодя,—сегодня я хотѣлъ во всякомъ случаѣ забѣжать къ вамъ; я уѣзжаю.

— Куда? Надолго?

Ловагинъ шевельнулъ плечами.

— Кто знаетъ! можетъ навсегда, безопасно отвѣтилъ онъ.

— Одинъ?

— Одинъ.

— Ой-ли? недовѣрчиво замѣтилъ Евлампьевъ.

— Одинъ! твердо повторилъ Ловагинъ.

— Давай Богъ.

Они помолчали. Евлампьевъ первый нарушилъ молчаніе.

— Сегодня ѣдете? задумчиво произнесъ онъ.—Вы ничего не говорили объ этой поѣздкѣ.

— До вчерашняго дня я самъ ничего о ней не зналъ.

— Вдругъ рѣшили?.. Куда изволите направлять стопы?

— Къ тетужкѣ Юліи Ильинишнѣ, развязно проговорилъ онъ.—Хочу навѣстить старушку, а, можетъ, и совсѣмъ у нее поселиться. Займусь хозяйствомъ. Надоѣло тутъ болтаться.

Вдыхая всей грудью возбуждающій весенній воздухъ, Ловагинъ шелъ уже своей легкой эластичной походкой. Непривычное раздраженіе исчезло съ его лица, хотя складка заботы все еще лежала между бровями.

— А я шелъ къ вамъ не такъ себѣ, а по дѣлу или, точнѣе сказать, по порученію. Угадайте отъ кого?

Онъ прищурилъ глазъ.

— Не знаю.

— И не угадаете! Зашелъ я сегодня, батенька, къ Каздовымъ...

Ловагинъ живо обернулся къ нему.

— Ага! заинтересовало!

Евламповъ ехидно разсмѣялся; Ловагинъ покраснѣлъ.

— Руфины Михайловны не видалъ! Да будетъ это вамъ ранѣе извѣстно... Бесѣдовалъ съ Настасьей Петровной... Что? Изумляетесь! Погодите, то-ли еще будетъ дальше!.. Я, видите-ли, зашелъ къ Арсеню Каздоеву за одной книжкой... Ну, Арсеня Михайловича не засталъ, хотѣлъ было обернуться вспять, и вдругъ, знаете, дверь изъ залы пріотворяется и появляется сама самоѣ... Я, знаете, оторопѣлъ, шапку съ головы, расшаркиваюсь...

Евламповъ снялъ шапку и повторилъ на тротуарѣ передъ Ловагинымъ свое расшаркиванье.

— И что-же! васъ удостоили высококомѣрнымъ кивкомъ головы? смѣясь спросилъ Ловагинъ.

— Вовсе нѣтъ. Милостиво улыгнулись. «А», говорить «Павель Ивановичъ, вы насъ совсѣмъ забыли», и подаетъ, знаете, мнѣ руку. Я оторопѣлъ пуще прежняго; въ правой рукѣ у меня шапка, лѣвой придерживаю шинель на плечѣ... Какъ тутъ быть!.. Однако ничего, обошлось благополучно... Шапку, знаете, на полъ и легонько, деликатно пожалъ пальчики. Прекрасно-съ. Что-же, думаю, будетъ дальше? «Войдите», говорить, «Павель Ивановичъ, ко мнѣ; выпьемъ вмѣстѣ чашку кофе»... Что за чудеса! И взглядъ такой ласковый, и рѣчи медовыя! Откуда вѣтеръ подулъ!.. Сидимъ мы съ ней,

калякаемъ о томъ, о семь, а больше ни о чемъ, мирно такъ, по-дружески... Кофе вкусный, крѣпкій... «Не хотите-ли», «говорить», «Павелъ Ивановичъ, прибавить къ кофе коньяку... Во Франціи», говорить, «всегда черный кофе съ коньякомъ пьютъ» .. Э, думаю, да тутъ цѣлый подкупъ! Не плошай, старина!.. Слово за слово, «скажите», спрашиваетъ,—да такъ равнодушно — «давно вы видѣли Ловагина»?—Не то, чтобъ очень давно; на-дняхъ видѣлъ.—«Онъ совсѣмъ пересталъ бывать у насъ... Я слышала о какой-то женщинѣ»... Вопросъ, знаете, деликатный... Отмалчивался какъ могъ... «Впрочемъ», говорить, «у кого изъ молодыхъ людей нѣтъ исторіи подобнаго рода! Мнѣ его жаль; я къ нему, говорить, очень расположена, и Руфи такъ хорошо къ нему относилась. Мнѣ казалось, между ними была взаимная склонность... Я-бы ничего не имѣла противъ»... Врешь, думаю, всегда была-бы противъ... Но вслухъ ни гу-гу! Сижу себѣ, слушаю... «Можетъ быть, еслибъ юнгъ не пересталъ бывать, Руфи такъ не измѣнилась-бы... Она такъ измѣнилась, такъ измѣнилась»... И въ слезы! Ну, вы знаете меня; терпѣть не могу женскихъ слезъ... Вотъ тутъ у меня сейчасъ закипаетъ...

Евламповъ указалъ себѣ на горло.

— Началъ я утѣшать. У молодыхъ, говорю, свои думы, своя жизнь. . Намъ старикамъ не слѣдъ вмѣшиваться... Осерчала, но не надолго... «Милый Павелъ Ивановичъ» — такъ и сказала, милый Павелъ Ивановичъ, — «скажите Ловагину, чтобы онъ зашелъ поговорить съ Руфи... Она къ нему по прежнему хорошо относится»... Очевидно, чепуха! Я хотѣлъ было ее убѣдить... Куда! слышать ничего не хочетъ! Блестящая эта мысль какимъ-то наитіемъ, чуть-ли не во время разговора со мной, снизошла на нее и ужъ никакіе доводы не дѣйствовали... Намекала она на Юхнерова... Видали вы этого Юхнерова?

— Мелькомъ.

— Арсеній Каздоевъ одно время носился съ нимъ. Юхнеровъ этотъ внушаетъ ей большія опасенія... Совсѣмъ растерялась старуха... Она и со мной такъ милостиво обошлась изъ потребности излить передъ кѣмъ-нибудь свое горе!..

— Что-жъ! я поѣду къ нимъ, не безъ волненія проговорилъ Ловагинъ.

— Поѣдете?

— Отчего-же не вѣхать? Тѣмъ болѣе, сегодня уѣзжаю, можетъ надолго. Надо проститься.

Евламповъ, прищуривъ глазъ, смотрѣлъ на него.

— Сердце не камень, замѣтилъ онъ, фыркнувъ.—Поѣзжайте!.. Будь вамъ, однако, извѣстно, что Настасья Петровна дома не застанете.

— А Руфину Михайловну?

— Про Руфину Михайловну ничего не знаю.

Ловагинъ кликнулъ извозчика.

— Мы обѣдаемъ вмѣстѣ, торопливо сказалъ онъ, вскочивъ въ дрожки;—въ четыре часа у Палкина.

Евламповъ утвердительно кивнулъ головой.

— Чепуха, подумалъ онъ, провожая взглядомъ отъѣзжавшаго Ловагина.—Ничего изъ сего не выйдетъ.

Глава XI.

За полчаса передъ тѣмъ Ловагинъ весь былъ поглощенъ мыслью о предстоящемъ отъѣздѣ. Послѣ разговора съ Евламповымъ онъ думалъ только о необходимости видѣть Руфи, говорить съ ней, объяснить ей по возможности все, что пережилъ за этотъ годъ добровольной разлуки съ нею. Необходимость эта, о которой онъ раньше не помышлялъ, встала вдругъ передъ нимъ, какъ непреложный фактъ. Онъ торопилъ извозчика, волновался, спѣшилъ, точно боялся опоздать на свиданье. Сердце безумно колотилось у него въ груди, когда онъ взялся за ручку знакомаго звонка. Лицо его, еще такъ недавно осунувшееся, озабоченное, теперь сіяло неудержимой радостью. Руфи тутъ близко; онъ ее увидитъ; услышитъ ея голосъ!.. Человѣкъ минуты, —Ловагинъ дальше ни о чемъ не думалъ.

Ему не сразу отперли. Пришлось вторично позвонить и снова ждать.

— Господи! неужто никого дома нѣтъ? подумалъ онъ и весь похолодѣлъ, точно отъ этого зависѣла вся жизнь, вся судьба.

Но вотъ за дверью послышались шаги, и старая Лота появилась на порогѣ. Глаза ея широко раскрылись отъ изумленія.

— Wie! Sie?! ¹⁾ вскрикнула она.

— Я! Я! дорогая, милая Шарлота Францовна! Я, воскресшій изъ мертвыхъ! Я, весь онъ, прежній, какъ и былъ!

Онъ изо всѣхъ силъ трясъ руки старой Лоты и смѣялся, какъ смѣются счастливыя дѣти.

Лота съ довольной улыбкой смотрѣла на него. Ловагинъ завѣдомо считался ея любимцемъ.

— Никого нѣтъ... начала было она.

Ловагинъ съ видомъ глубочайшаго разочарованія выпустилъ ея руки.

— Одна Руфи...

— Значить, всё! радостно перебилъ онъ.—Мнѣ надо ее видѣть, необходимо надо!.. Милая Шарлота Францовна, скажите ей... Нѣтъ, я самъ къ ней пойду... Она у себя? въ своей комнатѣ? Можно къ ней? впустить она меня?

Онъ закидывалъ вопросами, спѣшилъ сбросить пальто и, не дождавшись отвѣта, направился по знакомому корридору къ комнатѣ Руфи.

— Постойте! Ach mein Gott! все тотъ-же! все вѣтеръ въ головѣ! добродушно посмѣиваясь ворчала Лота, слѣдуя за нимъ.—Погодите-же, я предупрежу Руфичку.

— Чего ждать! Зачѣмъ предупреждать! Она давно уже встала, давно одѣта...

И прежде чѣмъ Лота настигла его, Ловагинъ постучалъ въ дверь къ Руфи. Дѣвушка сама отворила дверь и съ невольнымъ восклицаніемъ изумленья отступила назадъ. Ловагинъ, задыхаясь отъ счастья, протянулъ ей обѣ руки, она положила въ нихъ свои и съ полусмущенной, полусчастливой улыбкой смотрѣла, какъ онъ цѣловалъ то одну руку, то другую. Лота, широко улыбаясь, выглядывала изъ-за его спины.

— Все тотъ-же! говорила она.—Цѣлый годъ глазъ не казалъ, а теперь!.. Бѣжить! радуется! Кто ему велѣлъ не бывать!

Ее никто не слушалъ. Старушка съ тайной радостью поглядѣла на обоихъ молодыхъ людей, тихонько потянула за собой дверь и оставила ихъ вдвоемъ.

— Ну, теперь, можетъ, все устроится! думала она.—Сердце у него такое-же, какъ у Руфички. И любить онъ ее! Съ

¹⁾ Какъ! Вы?!

перваго раза полюбилъ! Еще дѣвочку!.. О, ich bin klug und weise, mich betrügt man nicht ¹⁾), вспомнился ей припѣвъ изъ старинной комической оперы; хитрая усмѣшка промелькнула на губахъ Лоты.—И она какъ ему обрадовалась!.. Что-же такое между ними было?.. Ну, ну, теперь все устроится, столкнутся... Только вотъ Настасья Петровна...

Лота озабоченно покачала головой.

А молодые люди уже, между тѣмъ, опомнились отъ непосредственно охватившей ихъ радости неожиданной встрѣчи. Руфи первая пришла въ себя. Она высвободила свои руки изъ рукъ Ловагина. Густая краска замѣшательства покрыла ея щеки, въ глазахъ исчезла радость, и губы перестали улыбаться.

— Садитесь, нерѣшительно предложила она.

— Не могу еще! Дайте мнѣ насмотрѣться на васъ, дрожащимъ отъ волненія голосомъ проговорилъ Ловагинъ, не замѣчая происшедшей въ ней перемѣны.—Цѣлый годъ производилъ я надъ собой ломку, безобразную ломку, такую ненужную, безцѣльную, лишнюю... Ну да, я васъ люблю... Вы это знаете, не можете не знать... Съ перваго дня... Помните въ саду, на Черной Рѣчкѣ... Помните варенье... Помните нашъ смѣхъ... Я всю эту сцену записалъ... Когда-нибудь я вамъ ее прочту... Ужь тогда я предчувствовалъ, что это не даромъ...

Руфи сдѣлала было движеніе, чтобы остановить его, но онъ не обратилъ вниманія на это движеніе, какъ не обратилъ вниманія на встревоженное, болѣзненное выраженіе лица дѣвушки. Онъ продолжалъ говорить какъ въ чадѣ. Такъ долго подавляемое чувство вдругъ неудержимо прорвалось наружу. Горячія слова лились сами собой; онъ не могъ остановить ихъ, какъ не можетъ рѣка, прорвавшая сдавливавшую ее плотину, удержать бурное теченіе своихъ водъ.

— Я сказалъ, цѣлый годъ производилъ я надъ собой ломку... Нѣтъ, ломка началась раньше, гораздо раньше... Послѣдній годъ я имѣлъ основаніе васъ избѣгать... Я не могъ, не смѣлъ, не долженъ былъ подходить къ вамъ... О, ради Бога, не прерывайте, выслушайте меня! Понимаете, еслибы я даже хотѣлъ, въ эту минуту я не могу не выска-

¹⁾ О, я умна и прощательна и меня не проведешь.

зять всего. . Потомъ судите, карайте!.. Нѣтъ, вы карать не умѣете... Вы такая чуткая, такая... О, моя дорогая...

Взглядъ его, полный обожанія, остановился на взволнованномъ, поблѣднѣвшемъ лицѣ дѣвушки; онъ взялъ ея руку и прижалъ къ своимъ губамъ. Руфи не отняла руки. Пылкость Ловагина опеломила ее. Она стояла передъ нимъ какъ виноватая, съ низко опущенной головой; сердце ея, какъ пойманная птичка, тревожно билось въ груди, а помимо ея воли что-то сладкое примѣшивалось къ этой тревогѣ; и жутко ей было, и стыдно, и больно, и при этомъ такъ хорошо, такъ бесконечно хорошо. Она бессознательно отдавалась охватившему ее чувству счастья, которое пересиливало и боль, и стыдъ, и страхъ. Она сама не могла-бы сказать, что такое въ ней происходитъ; разсудокъ говорилъ ей, что она не должна слушать, а чувство, непосредственное чувство, шептало другое, и... она слушала, мысленно карая себя за слабость, но все-таки слушала. Только ноги отказывались ей служить. Она опустилась на диванъ, а Ловагинъ, слѣдуя ея движеніямъ, помѣстился, не выпуская взятой руки, на стулѣ напротивъ нее.

— Я долженъ вернуться назадъ, говорилъ онъ, охватывая ее всю свѣтлымъ, блестящимъ взоромъ. — Сначала я ничего не подозрѣвалъ... Мнѣ было хорошо съ вами, около васъ, просто хорошо... Я могу съ увѣренностью сказать, *намъ* было хорошо... Такъ могло долго продолжаться, но случилось одно обстоятельство, которое заставило меня оглянуться на себя самого... Я понялъ, что полюбилъ васъ, какъ любить только разъ въ жизни, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, понялъ, что долженъ бѣжать отъ васъ... Добровольная разлука съ вами, сравнительно, была даже не тяжела... Тѣмъ болѣе, что изрѣдка я все-таки видѣлъ васъ... Помните, въ прошломъ году... Я заходилъ къ вамъ... Это былъ мой отдыхъ... Мнѣ казалось, я имѣю на него право... Взгляну на васъ и снова надолго исчезаю съ вашего горизонта. Вы мнѣ писали... Милая моя, какое счастье доставили мнѣ ваши строки, въ которыхъ вы такъ просто, такъ сердечно выражали сожалѣніе, что я безъ всякой видимой причины удалился отъ васъ... Я не отвѣтилъ вамъ... Средневѣковые фанатики, во имя любви къ Христу, собственноручно истязали свое тѣло, и страданія, ими самимъ себѣ причиненныя, наполняли ихъ души экста-

тической радостью. Взгляните на изображение мученика: изъ ранъ его струится кровь, а поднятые къ небу глаза выражаютъ блаженство; онъ не чувствуетъ боли. Я тоже, совершая надъ собою трудную операцію, испытывалъ какое-то особенное жгучее удовлетвореніе, которое заглушало боль... Это было своего рода оьяненіе... Рядомъ съ нимъ возникло еще одно обстоятельство...

Здѣсь въ голосѣ Ловагина послышалась неувѣренность.

— Вамъ, конечно, будетъ непонятно, продолжалъ онъ зачинаясь и краснѣя.— Дѣвушка, воспитанной такъ, какъ вы, и съ такими стремленіями, все подобное должно казаться дикимъ, больше... непростительнымъ... Становясь на вашу точку зрѣнія, я понимаю... Я думалъ, я искупилъ цѣлымъ длиннымъ годомъ жизни мою непредназначенную вину, но теперь вижу, что худшее наказаніе ждало меня впереди... Каяться передъ любимой женщиной въ проступкѣ, который ей невозможно понять, значить острѣе прежняго переживать стыдъ и горечь...

Ловагинъ съ мольбой взглянулъ на Руфи; она молчала.

— До васъ, можетъ, дошли слухи, что я... что... я женатъ, заговорилъ онъ глухо. — Женитьбы въ буквальномъ смыслѣ слова не было... Случайная встрѣча... затѣмъ ребенокъ... Ради него мы не разошлись... Сегодня мы его хоронили и сегодня-же я хотѣлъ уѣхать изъ Петербурга одинъ, можетъ навсегда...

Ловагинъ перевелъ дыханіе.

— Этотъ затянувшійся узелъ моей жизни заставилъ меня прекратить даже и тѣ рѣдкія посѣщенія, которыя я себѣ позволялъ въ прошломъ году... Но вотъ приходитъ Евлампьевъ... Онъ былъ у васъ, видѣлъ Настасью Петровну, имѣлъ съ нею какой-то разговоръ о васъ, обо мнѣ... Я ничего не помню... Знаю только, что желанье васъ видѣть, объяснить вамъ все, разомъ овладѣло мной, и я явился, какъ снѣгъ на голову, неожиданно для себя само о, хотя часъ тому назадъ и не думалъ, не помышлялъ объ этомъ свиданіи... Явился... и жду отпущенія грѣхамъ, жду вашего рѣшенія, жду самъ не знаю чего... Я уже счастливъ тѣмъ, что вижу васъ, жизнь моя, радость моя, мое всё...

Онъ снова, и снова покрывалъ ея руки поцѣлуями. Руфи сдѣлала слабую попытку отнять ихъ, но онъ крѣпче прижался къ нимъ губами, и слезы, горячія слезы закапали на ея блѣдныя

холодныхъ руки. Руфи не подозрѣвала всей степени его любви къ ней. Эта прорвавшаяся въ рѣчи, въ лобзаніи ея рукъ и въ слезахъ страсть глубоко потрясла ее; она сидѣла блѣдная, трепещущая, не зная что сказать, что предпринять.

Ловагинъ, впрочемъ, скоро опомнился. Онъ выпустилъ ея руки, поспѣшно отеръ слезы и промолвилъ съ улыбкой, но еще звенящимъ отъ волненія голосомъ:

— Простите. Это было такъ невзначай... Я васъ испугалъ... Прошло теперь... Я не буду больше такимъ сумасшедшимъ.

Онъ отошелъ отъ нее.

— Милая комната! заговорилъ онъ черезъ минуту, оглядывая книги и мебель. — Разъ я видѣлъ ее во снѣ... Вы не можете себѣ представить, до чего это меня взволновало... Какъ много новыхъ книгъ!.. Вы вѣрно много работали этотъ годъ? А гдѣ-же Венера? О, Боже! ее отодвинули за книги!.. Неужели она теперь въ загонѣ? Съ вашего позволенія, я поставлю ее на прежнее мѣсто... И сколько на ней пыли!.. Нѣтъ, это непростительно! Развѣ вы сожгли вашихъ прежнихъ боговъ!.. Будь мнѣ благодарна, о, чудная небожительница, за то, что я избавилъ тебя отъ незаслуженнаго униженія, шуточно болталъ Ловагинъ, смахивая платкомъ пыль съ Венеры и ставя ее впереди книгъ.

— Алексѣй Дмитріевичъ! съ усиленіемъ позвала его Руфи. Онъ поспѣшно обернулся къ ней. Выраженіе страданія на ея лицѣ испугало его.

— Что съ вами, родная? спросилъ онъ, наклоняясь къ ней. — Я васъ встревожилъ, испугалъ... Не обращайтесь на то, что я вамъ наговорилъ... Прорвалось, понимаете!.. Видите, я снова шучу, дурачусь; видите, я снова покоенъ до той минуты, пока вамъ не заблаторазсудится свести меня съ ума отъ радости отпущеніемъ грѣховъ моихъ, заявленіемъ, что прошлое забыто, или... или, въ худшемъ случаѣ, будетъ забыто, что вы вѣрите въ меня, что...

Онъ снова взялъ Руфи за руку, но на этотъ разъ она рѣшительно высвободила руку и порывисто встала.

— Алексѣй Дмитріевичъ, проговорила она едва внятно, не глядя на него. — Я виновата... Я не должна была слушать... Это вышло такъ внезапно... неожиданно... Сегодня, утромъ, я дала слово другому...

Лицо ея покрылось пятнами; ноги такъ дрожали, что она

схватила рукой за спинку стула, чтобы не упасть, и, повернув голову къ окну, со страхомъ ждала, что онъ ей отвѣтитъ. Наступившее молчаніе казалось ей безконечнымъ, хотя оно длилось всего нѣсколько секундъ.

— Вы выходите замужъ? За кого? тихо спросилъ Ловагинъ.

Руфи обернулась къ нему. Вся краска сбѣжала съ его лица, но глаза ласково, нѣжно глядѣли на нее, и этотъ взглядъ больше словъ, больше предъидущей пылкой исповѣди, показывалъ, какъ безгранично онъ любилъ ее. Руфи поняла это. Нервы ея не выдержали напряженія послѣднихъ минутъ, слезы хлынули у нее изъ глазъ; она закрыла лицо руками.

— Дорогая моя, о чемъ вы плачете? мягко произнесъ Ловагинъ. — Вы ни въ чемъ не виноваты... Еслибъ я зналъ, я не причинилъ-бы вамъ этой пытки... Всему виной мое легкомысліе...

Онъ бережно посадилъ ее на диванъ, сѣлъ рядомъ съ нею и, обнявъ ее одной рукой, прислонилъ ее голову къ своему плечу. Руфи не сопротивлялась. Она горько плакала у него на плечѣ, смутно прислушиваясь къ тихому звуку его голоса и полнымъ любви и бережной нѣжности словамъ, и, мало-по-малу, слезы утратили свою горечь, и въ сердце снова закралось то неизъяснимое сладкое чувство, какое она испытала въ первую минуту ихъ неожиданнаго свиданія. Безотчетно чувствовала она себя и глубоко счастливой, и, въ то-же время, глубоко несчастной. Ловагинъ далъ ей время оправиться; затѣмъ, вида, что она начинаетъ успокаиваться, онъ тихо разжалъ руку, которою обвивалъ ее талию. Это движеніе заставило ее поднять съ плеча его свое орощенное слезами лицо. Онъ улыбнулся ей, поднялся съ дивана и отошелъ на противоположный конецъ комнаты.

Онъ стоялъ къ ней спиной, разматривая небольшую фотографію, висѣвшую на стѣнѣ. Что изображала эта фотографія—онъ не зналъ. Онъ смотрѣлъ на черные штрихи, мысленно призывая на помощь всю присущую ему силу воли, чтобы сохранить наружное спокойствіе, и голосъ его звучалъ спокойно, когда черезъ нѣсколько минутъ онъ подошелъ къ Руфи и сказалъ, протянувъ ей руку:

— Прощайте, моя дорогая. Будьте счастливы.

Руфи, какъ приговоренная къ смерти, сидѣла на преж-

немъ мѣстѣ, и рука ея безучастно лежала въ его рукѣ. Ему хотѣлось узнать, за кого она выходитъ.

— Зачѣмъ? подумалось ему тотчасъ-же.

Голосъ его слегка дрогнулъ, когда онъ, нагнувшись къ ней, проговорилъ:

— Въ жизни бываютъ разныя обстоятельства. Помните. если я буду живъ и вамъ понадобитсяъ — призовите... Одно слово... и я буду здѣсь...

— Онъ прижалъ ея руку къ губамъ разъ, другой, и поспѣшно вышелъ.

Непреодолимое желаніе остановить его, удержать, овладѣло Руфи. Она бросилась къ двери, но, дойдя до порога, повернулась и, рыдая, упала на диванъ.

Глава XII.

Послѣ разговора съ Евлампьевымъ, Настасья Петровна почувствовала нѣкоторое облегченіе. Она нашла исходъ тревожнымъ предчувствіямъ и исходъ этотъ заключался въ Ловагинѣ. Она была увѣрена, что онъ явится. Лота не сообщила ей что Ловагинъ былъ въ ея отсутствіе, какъ не сообщила, что по уходѣ Ловагина она застала Руфи въ слезахъ. Старая Лота знала, по многолѣтнему опыту, что подобнаго рода сообщенія вели только къ мучительнымъ для ея любимицы сценамъ.

Ничего не подозрѣвая о случившемся, Настасья Петровна ждала Ловагина. Наступили сумерки. Она прилегла отдохнуть въ гостиной на диванѣ и задремала. Легкій шорохъ въ комнатѣ разбудилъ ее.

— Кто тутъ? спросила она соннымъ голосомъ.

— Это я, барыня, проговорила горничная. — Швейцаръ принесъ письмо. Я не знала, что вы почиваете.

— Хорошо; положи на столъ.

— Прикажете лампы зажечь? спросила горничная.

— Зажги.

Отдавъ это приказаніе, Настасья Петровна снова задремала. Въ полудремотѣ носились у нее въ головѣ несвязныя, отрывчатая мысли

«Что ты такая блѣдная, дѣвочка?» вспомнилось ей замѣчаніе, сдѣланное Арсеньемъ сестрѣ во время обѣда... Да, Руфи, дѣйствительно, была очень блѣдна и, послѣ обѣда, подъ пред-

логомъ головной боли, заперлась у себя въ комнатѣ... Лучшели ей? пойти посмотрѣть...

Настасья Петровна употребила нѣкоторое усиліе, чтобы открыть глаза. Гостиная была освѣщена стѣнной лампой, но близъ дивана сравнительно было темно, такъ какъ горничная, изъ опасенія обезпokoить барыню, не зажгла большую стоявшую на преддиванномъ столѣ лампу. Здѣсь, на бархатной скатерти бѣлѣлось письмо. Настасья Петровна лѣниво взглянула на него.

— Отъ кого-бы это было? подумала она и, протянувъ руку, взяла его со стола.

— Если Евлампьевъ меня понялъ, думала она, машинально разрывая конвертъ,—если онъ отъ меня отправился къ Ловагину и засталъ его дома, то къ чаю Ловагинъ будетъ... Зачѣмъ это она лампу на столѣ не зажгла! Ничего не видно.

Настасья Петровна позвонила, а сама, между тѣмъ, перевернула сжатый мелкимъ почеркомъ исписанную страницу и взглянула на подпись. Буква «Ю», крупнѣе остальныхъ буквъ, бросилась ей въ глаза. Еще ничего не подозрѣвая, но побуждаемая смутными предчувствіями, Настасья Петровна поднялась и подошла къ стѣнной лампѣ.

— Зажги большую лампу, мимоходомъ приказала она вошедшей горничной, принимаясь за чтеніе краткаго несложнаго письма. Не безъ труда разобрала она его. Въ немъ Юхнеровъ въ сжатыхъ вѣжливыхъ выраженіяхъ просилъ не отказать ему въ рукѣ Руфины Михайловны.

Настасья Петровна не вѣрила глазамъ своимъ; она вторично перечла письмо и вдругъ громко расхохоталась. Собиравшаяся уходить горничная съ изумленіемъ оглянулась на барыню. Настасья Петровна жестомъ приказала ей выйти.

— Скажите, что задумалъ пархатый жидъ! со смѣхомъ думала Настасья Петровна, несмотря на свою свѣтскость, не брезгавшая наединѣ съ собой или домашними употреблять непріятыя въ обществѣ словечки.—Что онъ восхищается Руфи, это было ясно какъ Божій день, но что у него станетъ дерзости просить ея руки, это... это и мнѣ не приходило въ голову!

Дѣйствительно, мысль эта не приходила ей въ голову. Она боялась его нравственнаго вліянія, боялась, что онъ такъ или иначе подрываетъ ея материнскій авторитетъ, столь ревниво ею

оберегаемый, и ненавидѣла его, какъ ненавидѣла каждого, кто, по ея мнѣнію, втирался между нею и дѣтьми ея. Ослѣпленная этою ненавистью, она не задумалась прибѣгнуть къ Ловагину, забывая, что и къ Ловагину, очень еще недавно, она, изъ того-же ревниваго охраненія своихъ исключительныхъ правъ на душу Руфи, относилась недоброжелательно. Посредствомъ Ловагина она надѣялась ослабить вліяніе Юхнерова. Удалить ненавистнаго «жида», какъ она не переставала величать Юхнерова, казалось ей въ данную минуту самой настоятельною необходимостью и она, не задумываясь о послѣдствіяхъ, ухватилась за первое попавшееся средство. Но соображая на досугѣ—а досуга, къ несчастію для домашнихъ, у Настасьи Петровны было слишкомъ много—соображая все, что касалось Юхнерова, ей въ голову не приходило, что между ея дочерью и «жидомъ» могутъ возникнуть серьезныя отношенія. Въ Руфи она была увѣрена. Она не сомнѣвалась, что превосходно знаетъ свою дочь. Со стороны-же Юхнерова она просто не допускала подобнаго рода дерзости. И вдругъ, это письменное предложеніе!

— Я считала его сообразительнѣе! подумала она, небрежно кинувъ письмо въ фарфоровую корзинку для визитныхъ карточекъ, стоящую на столикѣ подъ стѣнной лампой.— Потропился, голубчикъ!.. А вѣдь это очень кстати! мелькнуло у нея въ головѣ.

Настасья Петровна закурила папиросу и съ повеселѣвшимъ лицомъ сдѣлала нѣсколько шаговъ по комнатѣ.

— Вотъ и исходъ, котораго я искала!.. Теперь ему ужъ не зачѣмъ будетъ ходить сюда... Напрасно, кажется, я заговорила съ Евлампьевымъ о Ловагинѣ!.. Впрочемъ, ничего; пусть приходитъ... Его веселость разсѣветъ Руфи, мысленно добавила она, руководствуясь жестокимъ материнскимъ эгоизмомъ.—Я думала, ты лежишь?

Послѣднія слова, громко произнесенныя, относились къ Руфи, которая въ эту минуту вошла въ сосѣдній залъ.

— Я немного полежала. Мнѣ хотѣлось-бы поиграть. Я вамъ не помѣшаю, шатап? промолвила Руфи, открывая крышку рояля.

— Нѣтъ, нисколько.

Руфи придвинула табуретъ къ роялю и развернула напротивъ ноты.

— Сказать-ли ей сейчас или подождать? разсуждала сама съ собою Настасья Петровна, взявъ, по привычкѣ, колоду картъ и собираясь раскладывать пасьянсъ, что она всегда дѣлала во время игры дочери на роялѣ.

Руфи взяла нѣсколько аккордовъ.

— Лучше сказать, рѣшила Настасья Петровна, никогда не отличавшаяся даромъ терпѣнія.—Пойди сюда, Руфи! позвала она дѣвушку.

Руфи вошла въ гостиную.

— Какая ты блѣдная! замѣтила съ безпокойствомъ Настасья Петровна.—У тебя все еще голова болить?

— Да, немножко, тихо отвѣтила Руфи.

— Надо-бы, однако, за Карломъ Антонычемъ послать.

Руфи сдѣлала отрицательный жестъ.

— Ну, хорошо, до ночи подожду, а тамъ, если не будетъ лучше, пошлю ужъ, какъ ты тамъ хочешь! Головными болями шутить нельзя. Разныя болѣзни начинаются головными болями...

— Вы меня за этимъ позвали, тата? беззвучнымъ голосомъ спросила Руфи.

— Нѣтъ, не за этимъ. Возьми тамъ въ синей корзинкѣ письмо, что лежитъ сверху. Оно тебя касается.

Руфи достаточно было взглянуть на почеркъ адреса брошеннаго тутъ-же конверта, чтобы узнать отъ кого письмо. Руки ея замѣтно дрожали, когда она развернула вдвое сложенный листикъ почтовой бумаги. Настасья Петровна съ улыбкой смотрѣла на нее. Уже не первое посланіе подобнаго рода получала она и давала прочитывать дочери. Руфи всегда, въ подобныхъ случаяхъ, вспыхивала, поспѣшно пробѣгала письма, поспѣшно складывала ихъ и говорила «нѣтъ». И Настасья Петровна никогда не возражала противъ этого отрицательнаго отвѣта, такъ какъ представлявшіяся партіи казались ей всегда не достаточно блестящими. Но теперь Руфи не покраснѣла, не заторопилась, а медленно прочитывала немногія строки, и щеки ея, и даже губы, поблѣли. Она читала письмо не потому, что не знала его содержанія, а чтобы дать себѣ время оправиться.

— Ну что-же, Руфи! Ты не можешь разобрать? нетерпѣливо замѣтила Настасья Петровна, удивляясь ея медленности.

— Нѣтъ, я разобрала, сказала Руфи и, собравшись съ силами, обернулась къ матери.

Что-то кольнуло въ сердце Настасьи Петровны, когда она встрѣтила странный лихорадочный взглядъ Руфи.

— Ну и что-жь? спросила она, пытаясь улыбнуться.

— Я согласна, прошептала Руфи.

— Что? повтори! что ты сказала? переспросила Настасья Петровна.

— Я согласна, громче произнесла Руфи.

Настасья Петровна застыла на мѣстѣ. Карты вывалились у нея изъ рукъ; глаза ея съ ужасомъ растерянно глядѣли на дочь.

— Пстой, что ты сказала? Я не такъ поняла! проговорила она, и Руфи со страхомъ видѣла, какъ на щекахъ матери выступили багровыя пятна, а губы исказились жалкой усмѣшкой.

— Ты согласна выйти за Юхнерова? сказала она славеннымъ голосомъ.— За Юхнерова?! Юхнерова?! повторила она, возвышая голосъ.

— Да, за него, твердо возразила Руфи.

— За этого жиды! Ты... ты, моя дочь!!.. И ты думаешь, я дамъ на то мое согласіе!.. Я допущу... я дозволю...

Настасья Петровна оперлась руками о столъ и хотѣла было подняться съ дивана, но упала навзничь и, колотясь головой о спинку дивана, истерически захохотала.

На ея страшный хохоть прибѣжала Лота, за нею слѣдомъ Арсеній. Руфи, какъ окаменѣлая, стояла подъ стѣнной лампой и не приблизилась къ лежавшей въ истерикѣ матери. Лота суетилась около Настасьи Петровны, растегивала ей платье, вспрыскивала лицо водой и торопливо приказывала прибѣжавшей на ея зовъ горничной послать скорѣе за докторомъ.

— Что у васъ произошло? спросилъ Арсеній, изумленный безучастнымъ отношеніемъ сестры къ положенію матери.

Руфи подыала на него свои большіе глаза. Въ нихъ былъ и испугъ, какъ у загнанной лани, и мольба о пощадѣ, и что-то новое, жесткое, упорное, чего прежде Арсеній не замѣчалъ въ сестрѣ. Это новое выраженіе особенно отмѣчалось въ сжатыхъ поблѣднѣвшихъ губахъ и сдвинутыхъ бровяхъ. Она точно хотѣла жесткостью закалить себя къ предстоящей борьбѣ.

— Что случилось? снова спросилъ Арсеній, не на шутку встревоженный.

Руфи не отвѣчала. Она повела головой, будто желая этимъ движеніемъ разсѣять сковавшее ея члены оцѣпененіе и, не взглянувъ болѣе ни на брата, ни на мать, вышла изъ комнаты.

Глава XIII.

Многіе изъ петербургскихъ жителей знавали въ началѣ шестидесятихъ годовъ извѣстнаго богача, бывшаго ростовщика Самуила Баскина; многіе, если не знавали его лично, то часто зимой встрѣчали его на Невскомъ, прогуливающимся отъ 2-хъ до 4-хъ часовъ между Аничковымъ и Полицейскимъ мостами. Его маленькая, тощая, старческая фигурка, въ поношеномъ мѣховомъ пальто и такой-же шапкѣ, его большой, крючкова-тый носъ, образующій съ загнутымъ вверхъ подбородкомъ нѣчто въ родѣ щелушки для орѣховъ, его маленькіе, слезящіеся при морозѣ, но всегда зоркіе глазки, вѣроятно въ достаточной мѣрѣ врѣзались въ памяти каждаго, кому, по той или другой причинѣ, приходилось часто бывать на Невскомъ въ часы прогулки.

Самуилъ Баскинъ прохаживался медленной, степенной походкой. При встрѣчѣ съ знакомыми онъ, не слѣша, осторожно, какъ-бы боясь простудить голову, приподымалъ шапку и шелъ дальше. Но пройдя нѣсколько шаговъ, онъ обыкновенно оглядывался, если встрѣтившійся знакомый принадлежалъ къ лицамъ значительнымъ, и на морщинистомъ, бронзоваго цвѣта лицѣ его скользила самодовольная усмѣшка.

— Самуилъ Баскинъ хорошій человѣкъ! говорилъ онъ себѣ. Съ Самуиломъ Баскинымъ всѣ знатные господа раскланиваются. Имъ нуженъ Самуилъ Баскинъ, а они не нужны Самуилу Баскину; поэтому они для него -- фьютъ!

При этомъ большой и третій пальцы его правой руки неизмѣнно соединялись другъ съ другомъ и, скрытые въ карманѣ пальто, прищелкивали.

Иногда онъ оглядывался не на знакомыхъ, а на пару тысячныхъ, въ роскошные сани запряженныхъ лошадей, въ нѣкоторомъ разстояніи слѣдовавшихъ за нимъ во время его прогулокъ. Сановитый, бородатый кучеръ едва сдерживалъ покрытыхъ синей филееной сѣткой коней, нетерпѣливо фыркавшихъ и грызшихъ удила. Самуилъ Баскинъ прогуливалъ себя и своихъ лошадей, но рѣдко самъ садился въ сани. За Аничковымъ мостомъ, близъ Литейной, кучеръ опережалъ хозяина и

осаживалъ лошадей у воротъ высокаго, четырехъ-этажнаго дома вычурной постройки. Самуилъ Баскинъ медленно приближался и входилъ въ парадный подъѣздъ, послѣ чего кучеръ заворачивалъ въ ворота.

Изрѣдка, если Самуилъ Баскинъ былъ почему-нибудь въ особенно хорошемъ расположеніи духа, онъ выкидывалъ маленькій фортель, всегда доставлявшій ему одинаковое удовольствіе. Прежде чѣмъ войти въ подъѣздъ, онъ подходилъ къ своимъ лошадямъ, около которыхъ непремѣнно останавливалось нѣсколько прохожихъ, и спрашивалъ:

— Кучеръ, а кучеръ! цѣи это лошади?

— Самуила Самсоныча Баскина, невозмутимо отвѣчалъ кучеръ.

— Харосій целавѣкъ гаспадинъ Баскинъ, харосій целавѣкъ! замѣчалъ на это Самуилъ Баскинъ. — Цудныя лошади! А дорого штоють?

— Пять тысячь пара.

— Вай-мэ! пять тысяць! большія деньги пять тысяць!

Самуилъ Баскинъ прищелкивалъ языкомъ и, довольный произведеннымъ на прохожихъ впечатлѣніемъ, исчезалъ въ подъѣздѣ.

Чудакъ этотъ занималъ въ своемъ собственномъ домѣ цѣлый роскошно отдѣланный этажъ. Наживъ громадное состояніе, онъ бросилъ ростовщичество и велъ крупныя денежныя операціи. Онъ любилъ деньги.

— Деньги—сила! говорилъ онъ. — У кого нѣтъ денегъ—долженъ кланяться; у кого есть деньги—никому не кланяется. Ротшильдъ—голова; ему вся Европа кланяется. Самуилъ Баскинъ—тоже голова! Онъ никому не кланяется. Родись Самуилъ Баскинъ въ Германіи, было-бы двѣ головы въ Европѣ: Ротшильдъ и Самуилъ Баскинъ. Чего не хватаетъ Самуилу Баскину? Образованія. Всякій гешефтъ требуетъ образованія. А у Самуила Баскина только сметка, природная сметка... Вотъ почему Ротшильдъ больше голова, чѣмъ Самуилъ Баскинъ...

Любовь къ деньгамъ, однако, не переходила у него въ скряжничество. Онъ кормилъ и одѣвалъ прислугу хорошо, и самъ ни въ чемъ себѣ не отказывалъ, а если выходилъ изъ дома въ повошенномъ платьѣ, то больше для того, чтобы во-

очію убѣдить людей, что Самуилу Баскину, будь онъ даже въ лохмотьяхъ, никто не побрезгуеть поклониться.

Потерявъ жену и двухъ сыновей, онъ жилъ одинъ въ двухъ комнатахъ, которыя отвелъ себѣ въ занимаемомъ имъ великолѣпномъ этажѣ. Остальныя хоромы служили ему исключительно для парадныхъ обѣдовъ и завтраковъ, задаваемыхъ изрѣдка Самуиломъ Баскинымъ для его многочисленныхъ знатныхъ должниковъ.

Однажды, — это было приблизительно въ половинѣ 50-хъ годовъ, — Самуиль Баскинъ сидѣлъ въ большомъ, кожей обтянутомъ креслѣ и отчищалъ суконкой темный налетъ на старинномъ вызолоченномъ кубкѣ.

Съ годами, рядомъ со страстью къ деньгамъ, развилась у него не меньшая страсть къ золотымъ издѣліямъ, преимущественно къ разнаго рода золотой утвари. Блескъ золота приводилъ его въ какое-то особенно благодушное настроеніе. Отрывъ, часто съ немалымъ трудомъ, при какой-нибудь аукціонной продажѣ или на толкучкѣ, старинную потемнѣвшую отъ времени золоченую вещь, случайно не проданную на вѣсъ, онъ немедленно покупалъ ее за какую-бы-то ни было цѣну, приносялъ домой и тотчасъ самъ принимался ее отчищать.

Поглощенный весь, въ данную минуту, своимъ занятіемъ, Самуиль Баскинъ не слышалъ легкаго стука въ дверь; только когда стукъ повторился, онъ поднялъ голову и нетерпѣливо крикнулъ:

— Ну, кто тамъ? войдите.

Вошла пожилая ключница-нѣмка.

— Ну, что вамъ нужно, Амалія Карловна? съ досадою спросилъ Баскинъ.

Онъ терпѣть не могъ, когда его прерывали за любимымъ занятіемъ.

— Тамъ молодой человѣкъ, ... начала было ключница.

— Ну, какой еще тамъ молодой человѣкъ! перебилъ ее Баскинъ. — Какое мнѣ дѣло до молодого человѣка? Пусть придетъ утромъ до одиннадцати часовъ.

— Онъ говорить, что родственникъ, продолжала ключница, не смущаясь раздраженіемъ своего господина.

— Родственникъ! крикнулъ онъ. — Въ шею его, въ шею!

Онъ показалъ рѣвой, какъ надо выгнать молодого человѣка. Ключница повела бровями.

— Онъ сказалъ, что не выйдетъ отсюда, пока не поговорить съ вами.

Такая твердая рѣшимость незнакомаго молодого человѣка вывела изъ себя Самуила Баскина. Онъ раскрылъ ротъ, но отъ негодованія не могъ слова вымолвить.

— Нельзя-же позвать лакеевъ и за шиворотъ выбросить его на улицу, промолвила ключница, пользуясь минутнымъ молчаніемъ. — Онъ на видъ совсѣмъ господинъ, ein anständiger Herr.

— Какъ его фамилія? Кто онъ такой? крикливымъ голосомъ злобно спросилъ Баскинъ.

— Юр... Юк... припомнила ключница. — Юхнеровъ, проговорила она наконецъ.

Баскинъ поискалъ у себя въ памяти.

— Не знаю, обрѣзалъ онъ.

— Онъ говоритъ, мать его вамъ двоюродная сестра... Скажите, говорить: я сынъ Сары Баскиной.

Лучъ свѣта проникъ въ голову Самуила Баскина.

Сара Баскина! Черноглазая дѣвочка съ розовымъ, какъ вишня, ротикомъ... Самуилъ Баскинъ, тогда еще молодой человѣкъ и безъ гроша денегъ, и Яковъ Юхнеровъ, тоже безъ гроша... Она предпочла Юхнерова... Самуилу Баскину было тогда горько, очень горько... Онъ покинулъ родину... Сколько ужъ лѣтъ тому назадъ! Вай-мэ, сколько лѣтъ!.. Разбогатѣлъ, женился... Сару давно забылъ... И вотъ!..

Ключница въ ожиданіи стояла на томъ-же мѣстѣ и смотрѣла на своего господина, и господинъ смотрѣлъ на нее.

— Да, да, проговорилъ онъ, смягчаясь. — Я что-то припоминаю... Есть какой-то Юхнеровъ... Ну, если онъ ужъ ни за что не хочетъ уходить, то пусть войдетъ.

Ключница ввела молодого человѣка лѣтъ около двадцати-двухъ. Баскинъ остался въ креслѣ въ томъ-же положеніи, въ какомъ застала его ключница, съ кубкомъ въ одной рукѣ и суконкой въ другой. На головѣ у него была надѣта мурмолка, а тощее маленькое тѣло скрывалось въ широкомъ, мѣхомъ отороченномъ халатѣ. Онъ небрежно кивнулъ головой молодому Юхнерову, который вѣжливо, но безъ подобострастія, поклонился ему.

— Ну, хорошо, Амалія Карловна, оставьте насъ однихъ, промолвилъ Самуиль Баскинъ, впиваясь своими маленькими зоркими глазками въ лицо Юхнерова. Молодой человекъ хотя и казался взволнованнымъ, выдержалъ пронизательный взглядъ старика.

— Вылитый отецъ! подумалъ Баскинъ.—Ну вотъ, васъ выпустили, громко произнесъ онъ неприятнымъ рѣжущимъ ухо голосомъ.—Что вамъ нужно? Денегъ?

— Да, денегъ, безъ запинки отвѣтилъ Юхнеровъ.

Самуиль Баскинъ поднялъ брови отъ изумленія. Онъ привыкъ, что щекотливому денежному вопросу люди всегда предпосылаютъ болѣе или менѣе длинное предисловіе.

— Потому что сынъ Сары Баскиной, слѣдовательно денегъ пожалуйте, саркастически проговорилъ онъ.—Кто такая Сара Баскина? Я забылъ, кто она такая, Сара Баскина!

— Вы ее не забыли и она васъ не забыла, тихо началъ Юхнеровъ.

Самуиль Баскинъ замахалъ суконкой.

— Вздорь! крикливо перебилъ онъ.—Вздорь! забылъ! всѣхъ забылъ!.. Столько лѣтъ! Отца родного можно забыть.. Который сынъ? вдругъ спросилъ онъ.

— У нее нѣтъ больше сыновей; умерли; я одинъ меньшей; все дочери...

— Ну, дальше... Что-же дальше! все также крикливо продолжалъ Баскинъ.

— Когда я ѣхалъ въ Петербургъ, заговорилъ сдержанно Юхнеровъ.—она мнѣ рассказала про васъ и убѣждала обратиться къ вамъ, если мнѣ будетъ нужно...

Баскинъ неприятно захихикалъ

— Говоря, что ради прошлаго вы не откажете...

— Отчего не откажу; отчего не откажу! перебилъ его снова старикъ.—Вздорь! Родственники мнѣ помогли? помогли? а?.. Они меня знать не хотѣли! А теперь лѣзутъ, всѣ лѣзутъ!

Баскинъ изо всѣхъ силъ сталъ тереть суконкой по неотчищенному еще мѣсту кубка.

Мертвенная блѣдность распространилась по лицу Юхнерова. Онъ сдѣлалъ надъ собой усиліе.

— Я не обращался къ вамъ четыре года, проговорилъ онъ.—Если... если я теперь обратился, значить мнѣ ничего

другаго не оставалось, какъ или повѣситься, или прійти къ вамъ...

Голосъ его слегка дрогнулъ; онъ немного подождать, чтобы дать себѣ оправиться, и продолжалъ нѣсколько тверже:

— Мнѣ остается одинъ годъ ученья... Тамъ я стану на ноги... Я перебивался какъ могъ... теперь задолжалъ... взять больше негдѣ...

Онъ приблизился къ креслу. Старикъ продолжалъ противать кубокъ. Казалось, занятіе это особенно раздражало Юхнерова. Выраженіе бѣшенства показалось на его лицѣ; глаза налились кровью.

— Я сказалъ себѣ, продолжалъ Юхнеровъ, и въ голосъ его послышался какой-то неестественный свистъ, — или я добьюсь отъ васъ того, что мнѣ нужно, тѣхъ четырехъ, пяти-сотъ рублей, тѣхъ ничтожныхъ для васъ пятисотъ рублей, которыми я заплачу мои грошовые долги и проживу годъ еще, или...

Юхнеровъ вынулъ изъ кармана небольшой револьверъ. Баскинъ невольно съежился; взглядъ его пугливо скользнулъ по револьверу, но вызывающе остановился на искаженномъ яростью лицѣ молодого человѣка.

— ...Или тутъ-же на вашихъ глазахъ покончу съ собой, договорилъ Юхнеровъ.

Наступило короткое молчаніе.

— Почему онъ думаетъ, что я дамъ пятьсотъ рублей? Можетъ я дамъ тысячу, двѣ тысячи! рѣзко произнесъ Баскинъ.

Юхнеровъ опустилъ руку съ револьверомъ, а другой схватился за спинку ближайшаго стула. Слова дяди не вызвали въ немъ радости. Тяжело дыша, мрачно смотрѣлъ онъ на него.

— Какой горячій! заговорилъ теперь Самуилъ Баскинъ, бросая суконку въ сторону. — Весь въ мать. Она тоже не снесла отъ меня обиднаго слова, вышла за Юхнерова, а любила меня. одного меня!.. Я велю подать закуску... вина... Выѣстѣ закусимъ...

Онъ позвонилъ и отдалъ вошедшей ключницѣ нужныя приказанія. Послѣ испытаннаго имъ волненія, Юхнеровъ почувствовалъ совершенное изнеможеніе. Онъ опустился на стулъ и сжалъ одной рукой виски. Баскинъ на цыпочкахъ приблизился къ нему, осторожно вынулъ изъ другой его руки ре-

вольверъ и осторожно, держа револьверъ на почтительномъ отъ себя разстояніи, отнесъ его въ дальній конецъ комнаты.

Полчаса спустя, подкрѣпивъ свои ослабѣвшія силы рюмкой вина, Юхеровъ сдержанно, кратко разсказалъ дядѣ свои мытарства въ погонѣ за знаніемъ. Самуилъ Баскинъ одобрительно нѣсколько разъ покрывалъ.

— Голова! есть голова! замѣтилъ онъ.—Можно разными дорогами сдѣлать гешефтъ... Ты пойдешь.. Всѣ другіе мои родственники дальше носа своего не видятъ... А у тебя есть голова.. Хорошо, я помогу тебѣ пробиться... Но...

Самуилъ Баскинъ прижалъ палецъ къ своему крючковатому носу.

— Уговоръ! Я тебѣ дамъ сколько желаешь, и даже больше, чѣмъ желаешь... И пока нужно, буду давать... У Самуила Баскина много денегъ... Онъ можетъ давать... Но... Мы чужіе, понимаешь! мы чужіе! Ты приходи, пожалуй, изрѣдка... Отчего не приходитъ... Но какой чортъ тамъ родственники... Мы чужіе! Ты—Юхеровъ, будущій докторъ, самъ по себѣ, а я—Самуилъ Баскинъ, самъ по себѣ... И нечего съ волокольні кричать, что я тебѣ дядя, а ты мнѣ племянникъ... и что я тебѣ помогаю.. А то отъ другихъ племянниковъ отбою не будетъ! пробурчалъ онъ про себя.

Глава XIV.

Договоръ этотъ Юхеровъ строго соблюдалъ. По окончаніи курса онъ получилъ мѣсто и, урѣзывая до minimum'a свои насущныя потребности, выплатилъ въ три года занятыя у дяди пятьсотъ рублей. Больше пятисотъ рублей онъ рѣшительно отказался взять. Когда послѣдняя сотня долга была внесена, между Самуиломъ Баскинымъ и Юхеровымъ порвались всякія сношенія. Юхеровъ нѣсколько лѣтъ прожилъ за границей въ качествѣ врача-воспитателя богатаго умиравшаго въ чахоткѣ юноши и, вернувшись въ Петербургъ, явился къ дядѣ только послѣ переговоровъ съ Метцелемъ объ арендѣ Чокрака.

Онъ принесъ съ собой планъ земли и проэктъ лечебницы. Для осуществленія этого проэкта требовались деньги; Юхеровъ ихъ не имѣлъ и потому отправился къ Самуилу Баскину.

Самуилъ Баскинъ принялъ его въ конторѣ. Онъ не изу-

мился появленію племянника послѣ столь продолжительнаго отсутствія.

— Якову Юхнерову не нуженъ былъ Самуилъ Баскинъ— онъ не шелъ, а понадобился Самуилъ Баскинъ—онъ пришелъ, философски разсуждалъ онъ, и, какъ и въ первый разъ, безъ всякихъ предисловіи спросилъ:

— Деньги нужны?

— Нужны, отвѣчалъ также прямо Юхнеровъ и разложилъ передъ дядей взятые у Метцеля документы и набросанный имъ самимъ проэктъ.

Самуилъ Баскинъ выслушалъ внимательно, не прерывая разъясненія Юхнерова, а когда тотъ замолкъ, сказалъ ему:

— Хочешь со мной обѣдать?

— Сегодня не могу... началъ было Юхнеровъ.

— А, хорошо, прервалъ его дядя. — Не можешь, такъ и не надо. Дай сюда бумаги... Я пришлю къ тебѣ Юхеля (Юхель былъ мальчикъ-еврейчикъ при конторѣ) сказать, когда ты можешь прийти за отвѣтомъ. Оставь свой адресъ.

За этимъ-то отвѣтомъ отправился Юхнеровъ послѣ того, какъ онъ лично передалъ швейцару письмо, надѣлавшее у Каздоевыхъ такой переполохъ.

Его провела въ кабинетъ дяди та самая ключница, которую онъ видѣлъ при первомъ своемъ появленіи въ домѣ Самуила Баскина.

— *Warten sie mal hier, промолвила она. — Der Herr wird gleich kommen* ¹⁾.

Ничто не измѣнилось въ этомъ кабинетѣ съ тѣхъ поръ, какъ Юхнеровъ впервые явился сюда съ близкимъ къ умопомѣшательству намѣреніемъ или добиться нужныхъ ему для существованія денегъ, или тутъ-же разомъ покончить съ собой. То-же кресло, обтянутое кожей, стояло близъ письменнаго стола бокомъ къ окну, а около него тотъ-же круглый столикъ и на немъ блюдечко съ мыльной пѣной, и коробочка съ бѣлымъ, для чистки металловъ, порошокомъ, и суконка, и щеточка. Жьиво представился Юхнерову старикъ въ мурмолекѣ и мѣховомъ халатѣ, съ суконкой въ одной рукѣ и кубкомъ въ другой... Вспомнилось ему раздражающее треніе сукна о металлъ, его собственная внезапная ярость и полу-

¹⁾ Подождите здѣсь; господиъ сію минуту придетъ.

пугливый, полувывывающий косою взгляд старика, брошенный на револьверъ... Казалось, все это было вчера!

Обезсиленный долгой голодовкой и чрезмѣрными умственными трудами, переступалъ онъ тогда порогъ этой комнаты, въ которой съ тѣхъ поръ каждый предметъ, до послѣдняго стула, казалось, навсегда врѣзался ему въ память. Но уже тогда, въ тѣ дни упорной борьбы за существованіе, носилась передъ нимъ цѣль, къ которой теперь, повидимому, онъ значительно приблизился. Все ему удавалось въ послѣднее время, и если дядя согласится ссудить необходимый капиталъ, тогда... начало сдѣлано.

Улыбка—рѣдкая гостя на старообразномъ лицѣ Юхнорова—засвѣтилась въ его глазахъ. Онъ запряталъ длинные, тонкіе пальцы въ обшлага рукавовъ сюртука и мелкими шагами прошелся по комнатѣ.

Дверь кабинета раскрылась, голова Самуила Баскина въ мурмолектъ просунулась въ нее. Онъ поманилъ къ себѣ племянника. Юхноровъ подошелъ. Самуилъ Баскинъ, кивая ему головой, пальцемъ пригласилъ его слѣдовать за собою и провелъ въ небольшую комнату, ослѣпительно освѣщенную стѣнными лампами съ рефлекторами. Усиленные рефлекторами свѣтъ падалъ на разставленную въ двухъ стеклянныхъ шкафахъ золотую посуду разныхъ временъ, разныхъ фасоновъ. Кубки, вазы, блюда—все ярко вычищенное—горѣли какъ жаръ, отражая, переливая, отливая на своей отполированной поверхности лучи огней, обильно отбрасываемыхъ на нихъ рефлекторами. Въ перемежку съ золотыми предметами попадались, то тамъ, то сямъ, серебряное блюдо или ваза кованаго серебра, очевидно поставленная тутъ не безъ умысла, такъ какъ бѣлый блескъ серебра еще рельефнѣе отмѣчалъ искрящееся сверканіе золота.

— Что, красиво? спросилъ Самуилъ Баскинъ, усиленно кивая головой.—У каждаго есть свой пунктикъ. У Самуила Баскина пунктикъ—вотъ это.

Онъ указалъ пальцемъ на свои золотыя сокровища.

— Что-жь, Самуилъ Баскинъ это можетъ! У Самуила Баскина есть деньги! Онъ все можетъ... Ну, теперь довольно! Посмотрѣлъ и довольно... Отъ золота голова кружится... Да, да, кружится...

Онъ захихикалъ самодовольнымъ старческимъ смѣхомъ,

засвѣтилъ свѣчу, поставилъ ее на столъ и, поднимаясь на цыпочкахъ, поочередно погасилъ каждую лампу. Взявъ потомъ свѣчу и двигая ее надъ головой то вправо, то влѣво, онъ до-сыта налюбовался перебѣгавшимъ по золоту огонькомъ свѣчи и, хихикая, вышелъ, пропустивъ впередъ Юхнерова. Изъ заповѣдной комнаты, ключъ отъ которой всегда носилъ при себѣ. Только лица, пользующіяся его исключительнымъ расположеніемъ, допускались взглянуть на его драгоцѣнности. Число такихъ лицъ было очень ограничено. Несомнѣнно, Самуилъ Баскинъ включилъ Якова Юхнерова въ это ограниченное число.

Они вернулись въ кабинетъ.

— Ну, я твои бумаги просмотрѣлъ, заговорилъ Самуилъ Баскинъ своимъ обычнымъ дѣловымъ голдсомъ, звукомъ напоминавшимъ немазанное колесо.—Дѣло рискованное... да! но начать его можно. Я дамъ нужный тебѣ капиталъ... конечно, подъ проценты.

— Конечно, согласился Юхнеровъ; въ глазахъ его снова засвѣтилась улыбка.

— Безъ процентовъ никакъ не можно, продолжалъ Самуилъ Баскинъ.—Съ тебя я возьму небольшой процентъ.

Юхнеровъ молча наклонилъ голову въ знакъ согласія. Онъ боялся голосомъ выдать свое волненіе.

— Послѣ завтра приходи въ контору; тамъ покончимъ дѣло, какъ слѣдуетъ... Такъ. Другому не дамъ, а тебѣ дамъ, потому что у тебя есть голова!

Самуилъ Баскинъ прижалъ палецъ ко лбу и потомъ потрепалъ Юхнерова по плечу. Юхнеровъ всталъ.

— Нѣтъ, посиди еще, остановилъ его Баскинъ.—Куда спѣшишь. Въ свободный часъ Самуилъ Баскинъ любитъ потолковать съ хорошимъ человѣкомъ за стаканомъ вина.

Баскинъ позвонилъ и велѣлъ принести бутылку стараго бургонскаго.

— Я не пью, сказалъ Юхнеровъ.

— Вздоръ! отвѣтилъ Баскинъ, наливъ ему полный стаканъ. Одинъ стаканчикъ можно; одинъ стаканчикъ всякій хорошій человѣкъ можетъ выпить.

Онъ отпилъ глотокъ вина и чмокнулъ языкомъ.

— Хорошъ букетъ! замѣтилъ онъ, съ довольнымъ видомъ откидываясь на спинку кресла.

Юхнеровъ нагнулся надъ стаканомъ и омочилъ губы въ винѣ. Онъ старался побороть нервную дрожь, которая имъ овладѣвала; пальцы его, засунутые въ обшлага сюртука, судорожно сжимались. Мысль, что послѣзавтра онъ будетъ имѣть необходимыя для почина завѣтной цѣли средства, мысль эта почти лишала его всего ему присущаго самообладанія. Онъ смутно прислушивался къ словамъ Баскина, думая о послѣзавтра, думая о Руфи, думая о томъ, что въ данный часъ уже прочтено его письмо, и снова возвращался къ основной, заслоняющей всё остальные соображенія, мысли, что еще одинъ день, и передъ нимъ откроется будущее, о которомъ онъ мечталъ еще ребенкомъ.

А Самуилъ Баскинъ, приведенный въ благодушное настроеніе старымъ бургонскимъ, рассказывалъ между тѣмъ о своемъ прошломъ, какъ онъ тоже шагъ за шагомъ достигалъ апогея настоящаго положенія, пресмыкаясь, унижаясь, не брезгая никакими средствами, всегда вѣря, что наступитъ время, когда Самуилъ Баскинъ перестанетъ кланяться и, наоборотъ, всё начнутъ кланяться Самуилу Баскину. Последняя цѣль, повидимому, служила главнымъ двигателемъ въ жизни Самуила Баскина.

— И вотъ, теперь, говоритъ онъ, мигая покраснѣвшими отъ выпитаго вина глазами, — Самуилу Баскину никого больше не нужно... Самуилъ Баскинъ все имѣетъ, и деньги, и почетъ... Одного онъ не имѣетъ... Не имѣетъ онъ наслѣдника, хорошаго человѣка... Самуилъ Баскинъ старъ становится, а дѣти его въ могилѣ.

Старикъ налилъ себѣ еще вина, поднесъ стаканъ къ глазамъ и, посмотрѣвъ на свѣтъ на густую маслянистую темнопурпурную влагу, съ разстановкой отпилъ два глотка, облизалъ языкомъ губы и поставилъ стаканъ обратно на столъ.

— Дѣтей за деньги не купишь, продолжалъ онъ. — Наслѣдники есть. Какъ можно, чтобы у Самуила Баскина не было наслѣдниковъ! Умреть Самуилъ Баскинъ, и полѣзутъ родственники, какъ тараканы!.. Полѣзутъ-то они полѣзутъ, да только ни съ чѣмъ и отъѣдутъ!

Самуилъ Баскинъ язвительно захихикалъ.

— Самуилъ Баскинъ не дуракъ. У Самуила Баскина есть голова... Онъ выберетъ одного наслѣдника, хорошаго человѣка, а другіе фьютъ! але марширь!

Юхнеровъ, поглощенный своими мыслями, разсѣянно слушалъ разболтавшагося дядю. При послѣднихъ словахъ его онъ поднялъ голову и встрѣтился съ испытующимъ взглядомъ зоркихъ глазъ Баскина.

— Да, повторилъ старикъ, движеніемъ головы подчеркивая свои слова; — Самуилъ Баскинъ выберетъ одного, а другіе...

Онъ повертѣлъ пальцами, какъ-бы разбрасывая нѣчто по воздуху. Юхнеровъ почувствовалъ легкой толчекъ въ грудь, словно отъ прикосновенія электрическаго привода; слабая краска показалась на лбу и блѣдныхъ щекахъ. Онъ не обнаружилъ, однако, волненія и серьезно-спокойнымъ взглядомъ отвѣтилъ на пронизывающій его насквозь взглядъ Самуила Баскина. Самуилу Баскину очень понравилось это спокойствіе. Онъ одобрительно закивалъ головой и снова поднесъ къ губамъ стаканъ съ бургонскимъ.

— Голова! подумалъ онъ. — Не выдаетъ себя.

— Да, произнесъ онъ громко. — Самуилъ Баскинъ кого хочетъ того и выберетъ. Можетъ, Якова Юхнерова, можетъ другаго... Никому до этого дѣла нѣтъ.

Кровь застучала въ вискахъ Юхнерова и въ ушахъ у него загудѣло, но онъ остался неподвижнымъ.

— Конечно, есть условіе, важное условіе, заговорилъ снова Баскинъ, и глазки его ехидно скользнули по лицу Юхнерова. — Самуилъ Баскинъ не хочетъ, чтобы деньги, нажитыя имъ деньги, женскія руки швыряли вотъ такъ!..

Старикъ взялъ съ круглаго столика суевку и швырнулъ ее на полъ Юхнеровъ, сдерживая дрожь, протянулъ руку за стаканомъ и отпилъ разомъ нѣсколько глотковъ еще не тронутаго имъ вина. Самуилъ Баскинъ двинулъ кресло къ столу, на которомъ стояла опорожненная бутылка бургонскаго, положилъ оба локтя на столъ и, подпирая обѣими ладонями голову, продолжалъ, лукаво шурясь:

— Юхель — шустрый мальчикъ Юхель! изъ него выйдетъ прокъ! — видѣлъ надняхъ рано утромъ въ Лѣтнемъ Саду Якова Юхнерова съ барышней, хорошенькой барышней. Сегодня утромъ ему надо было опять идти черезъ Лѣтній Садъ, и онъ опять видѣлъ Якова Юхнерова и ту же барышню. Юхель поклонился Якову Юхнерову, а Яковъ Юхеровъ не поклонился Юхелю, потому что былъ занятъ разговоромъ съ барышней...

Юхель всюду носъ суеть. Онъ выслѣдилъ барышню и узналъ кто она...

Баскинъ помолчалъ, будто ожидая возраженья, но Юхнеровъ не разжималъ рта; глаза его приняли холодное выраженіе.

Самуилъ Баскинъ чувствовалъ какое-то неопределимое влеченіе къ Юхнерову: ему нравилось и это холодное молчаніе.

— Голова! подумалъ онъ вторично.— Умѣть за себя постоять.

— У Якова Юхнерова хорошіе знакомые, но Якову Юхнерову рано жениться да еще жениться, какъ въ романахъ... Еслибы Якова Юхнерова хотѣли родные барышни, то Якову Юхнерову нечего было бы прогуливать себя съ барышней по утрамъ. когда никто не гуляетъ въ Лѣтнемъ Саду, прибавилъ хитрый старикъ.

Юхнеровъ прикусилъ губы; онъ начиналъ терять терпѣніе.

— Яковъ Юхнеровъ, разумѣется, можетъ дѣлать что хочетъ; но и Самуилъ Баскинъ можетъ дѣлать что хочетъ... У кого есть деньги, тотъ можетъ дѣлать что хочетъ... Самуилъ Баскинъ захочетъ отдать всё свои деньги одному хорошему человѣку—отдастъ, не захочетъ—не отдастъ.

Мигая глазками, старикъ своими многозначительными словами, полузаигрывая, полусерьезно, приподнялъ край завѣсы, скрывающей будущее. У Юхнерова въ глазахъ помутилось. Наружное хладнокровіе стоило ему не малыхъ усилій.

— Не любить кланяться, думалъ Самуилъ Баскинъ, благодушно глядя на племянника. И Самуилъ Баскинъ не любитъ.

Это сходство, повидимому, тоже подкупало стараго еврея въ пользу племянника.

— Якову Юхнерову рано жениться, заговорилъ онъ снова, давъ племяннику нѣсколько секундъ времени вдуматься въ смыслъ предыдущихъ словъ. Якову Юхнерову не слѣдуетъ жениться на русской барышнѣ... Самуилъ Баскинъ уважаетъ русскую барышню, но русская барышня не годится для хорошаго человѣка! Послѣ, когда-нибудь, можно, а теперь невозможно, рано! Надо дѣло дѣлать! Такъ..

Самуилъ Баскинъ потеръ себѣ пальцемъ носъ.

— Хочетъ Яковъ Юхнеровъ послушаться Самуила Баскина—хорошо. Не хочетъ—тоже хорошо. Самуилъ Баскинъ соо-

риться не будетъ. Самуиль Баскинъ найдетъ, гдѣ пристроить свои деньги.

Старикъ самодовольно потеръ одну ладонь о другую. Юхнеровъ перевелъ дыханіе, взялъ стаканъ и медленно опорожнилъ его.

— Хочешь, я вею принести еще бутылочку? любезно предложилъ Баскинъ.

— Нѣтъ, мнѣ пора, съ легкой дрожью въ голосѣ промолвилъ Юхнеровъ и всталъ.

Самуиль Баскинъ тоже поднялся съ кресла.

— Хорошо, ступай, согласился онъ. — Послѣзавтра въ конторѣ мы покончимъ твое дѣло.

Онъ сжалъ холодную какъ ледь руку Юхнерова.

— Какой твердый! подумалъ онъ про себя. — Голова:

Самуиль Баскинъ одобрительнымъ взглядомъ проводилъ выходящаго изъ кабинета племянника.

Глава XV.

Утро чуть брезжило, когда Юхнеровъ проснулся. Онъ спалъ не болѣе полутора часа тяжелымъ, тревожнымъ сномъ. Всю ночь до четырехъ часовъ пространствовалъ онъ по Петербургу, съ трудомъ разбудилъ спавшаго у воротъ дворника, и дворникъ, пропустивъ его въ калитку, подозрительно всматривался въ него, не узнавъ аккуратнаго, степеннаго жильца, никогда не возвращавшагося домой позже одиннадцати часовъ вечера.

Юхнеровъ, перейдя дворъ, поднялся на четвертый этажъ, гдѣ онъ занималъ маленькую о двухъ комнатахъ съ передней и кухней квартиру. Онъ жилъ совершенно одинъ, даже не имѣлъ прислуги. Тотъ-же дворникъ, который колебался впустить его въ ворота, приносилъ ему дрова, воду, чистилъ сапоги и подметалъ у него. Юхнеровъ оцупью вложилъ ключъ въ дверь, отперъ ее, прошелъ въ меньшую изъ двухъ комнатъ—свою спальню, раздѣлся, бросился на жесткую, узкую постель и почти немедленно заснулъ. Краткій сонъ не освѣжилъ его; все тѣло ныло отъ усталости, но вѣрный своей привычкѣ, онъ, проснувшись, не полежалъ въ постели, а всталъ, зажегъ свѣчу, умылся, одѣлся въ другую черную пару, такую-же опрятную, какъ и та, въ которой онъ появлялся

въ обществѣ, только нѣсколько болѣе поношенную, и перешелъ въ свой кабинетъ.

Здѣсь, въ простѣвкѣ между двухъ оконъ, стоялъ простой письменный столъ, передъ нимъ рабочее кресло; надъ столомъ висѣли двѣ полки съ небольшимъ количествомъ книгъ; у задней стѣны помѣщался подержанный гармоникордъ, а за тѣмъ, кромѣ двухъ деревянныхъ табуретовъ передъ гармоникордомъ, изъ которыхъ на одномъ лежали ноты, да нѣсколькихъ стульевъ, никакой другой мебели въ этой маленькой, известною оштукатуренной комнатѣ не было.

Занимающійся день сѣрыми сумерками проникалъ въ окна. Желтымъ пятномъ свѣтилось въ этихъ сумеркахъ пламя поставленной на столъ свѣчи. Юхеровъ открылъ форточку; утреннй вѣтерокъ ворвался въ нее; пламя свѣчи заколыхалось, зашелестѣли листы раскрытой на гармоникордѣ нотной тетради. За окномъ на дворѣ жизнь еще не начиналась; все спало въ домѣ, и люди, и звѣри; одни воробьи почирикивали, да голуби негромко ворковали подъ крышей. Юхеровъ постоялъ у окна. Широкой волной вливался въ грудь его свѣжій воздухъ; пахло весной, пахло талой землей, пахло тѣмъ бодрящимъ, живительнымъ запахомъ, который даже въ спертой городской атмосферѣ разливается пробуждающаяся отъ зимняго сна природа. Поднявъ голову, Юхеровъ смотрѣлъ на блѣдное, подернутое легкимъ туманомъ и слегка уже заалѣвшееся утренней зарей небо. Вѣтерокъ обдувалъ ему лицо, освѣжая утомленный бессонницей мозгъ его. Но вотъ потянуло холодкомъ; внезапный порывъ вѣтра, предвѣстникъ солнечнаго восхода, задулъ свѣчу; Юхеровъ закрылъ форточку.

Онъ отнесъ потухшую свѣчу въ спальню, прошелъ въ кухню, налилъ изъ стоявшей на полкѣ кружки стаканъ молока, отрѣзалъ отъ краюхи чернаго хлѣба небольшой ломоть и, захвативъ и молоко, и отрѣзанный ломоть хлѣба съ собой, вернулся въ кабинетъ. Стаканъ молока утромъ, стаканъ молока вечеромъ и очень скромный обѣдъ въ дешевой кухмистерской удовлетворяли его умѣренныя потребности; пилъ онъ одну воду, и ни кофе, ни чаю, ни вина въ своемъ ежедневномъ обиходѣ не употреблялъ.

Юхеровъ поставилъ свой завтракъ на столъ и сѣлъ въ рабочее кресло. Молоко осталось нетронутымъ. Скрестивъ руки на груди, сидѣлъ онъ въ глубокой задумчивости передъ сто-

ломъ, и тѣ-же мысли, что вчера привели въ разгоряченное состояніе его мозгъ, что заставили его безцѣльно прохнаться всю ночь по Петербургу, тѣ-же мысли снова роились у него въ головѣ, менѣе хаотическія, но не менѣе возбуждающія.

«Отъ золота голова кружится», сказала Самуилъ Баскинъ. Передъ глазами Юхнерова вчера сверкнуло золото, близко, осязательно... Его поднесли только къ глазамъ и спрятали, только намекнули, что все связанное съ золотомъ могущество можетъ современемъ принадлежать ему, и Юхнеровъ въ состояніи какого-то нравственнаго оупьяненія вышелъ отъ дяди. Передъ нимъ блеснула картина до того яркая, до того ослѣпительная, что у него дыханіе захватило. Онъ нелъ замирая, шатаясь какъ пьяный; устремленные впередъ глаза его не видѣли ни улицъ, черезъ которыя онъ проходилъ, ни мостовъ, ни домовъ, ни неба, по которому тихо плыль молодой мѣсяцъ. Прозрачный весенній воздухъ весь наполнился видѣніями—лучезарными, необыкновенными, чудесными. Юхнерову казалось, будто умъ его мѣшается, будто онъ, какъ калифъ на часъ въ извѣстной арабской сказкѣ, перенесенъ въ фантастическій сказочный міръ, и онъ напрягалъ всю свою волю, чтобы не утратить понятія о дѣйствительности, онъ вдумывался въ таинственныя слова дяди, а между фактами и слышанными словами врывались видѣнія, которыя заслоняли факты и приводили его въ состояніе экстаза... Робертъ Оуэнъ... Новый Ланаркъ въ Россіи... Юхнеровская община... Юхнеровъ хватался за голову. Нѣтъ, онъ не спитъ! Не бредитъ! Онъ чувствуетъ, онъ думаетъ на-яву. но отъ мыслей у него мозгъ закипаетъ и сердце рвется изъ груди... Онъ шель, шель и шель, пока ноги инстинктивно не привели его къ дому.

Состояніе оупьяненія не покидало его и теперь, когда онъ сидѣлъ, скрестивъ руки на груди, передъ своимъ столомъ.

Условіе, поставленное дядей, должно быть исполнено. Это не подлежало сомнѣнію; ничто при этомъ не измѣнялось. Предложенный имъ бракъ обуславливался общественными отношеніями; въ крайности можно найти другой выходъ... Вопросъ этотъ былъ рѣшенъ Юхнеровымъ прежде, чѣмъ онъ вышелъ изъ дома Самуила Баскина. Онъ не думалъ о Руфи, но Руфи не сходила съ перваго плана тѣхъ радужныхъ видѣній, которыя носились передъ его глазами...

Юхнеровъ долго просидѣлъ въ безсознательномъ состояніи.

Утреннія сумерки давно уже разсѣялись; солнце золотило крыши домовъ; лучи его сначала будто украдкой скользили по стеклу, затѣмъ смѣлѣе, смѣлѣе пробрались въ комнату Юхнерова и, наконецъ, залили свѣтомъ и его самого, и столъ, и бѣлыя стѣны. Юхнеровъ очнулся. Солнце высоко уже стояло на небѣ. На подоконникѣ громко чирикали два воробья; за окномъ слышался плескъ стекающей съ крышъ воды. Юхнеровъ поднялся и выпрямился. Онъ точно выросъ за эти нѣсколько часовъ; лобъ его казался шире, лицо моложе, одухотвореннѣе, въ глазахъ видѣлся блескъ.

Онъ подошелъ къ гармоникорду, открылъ его, сѣлъ и взялъ аккордъ. Звукъ заколебался, задрожалъ и, медленно расширяясь, усиливаясь, наполнилъ собою все пространство комнаты. Юхнеровъ развернулъ на кюпитрѣ псалмы Марчелло. Онъ особенно любилъ старую итальянскую музыку. Въ данную минуту музыка эта наиболѣе соответствовала его настроенію. Онъ придвинулся къ гармоникорду и началъ псаломъ, но вдругъ прервалъ его на серединѣ, и пальцы его, какъ-бы сами собой, перешли на радостный финалъ девятой симфоніи Бетховена. Юхнеровъ игралъ точно въ забытіи; прищуривъ глаза, смотрѣлъ онъ на снопъ солнечныхъ лучей, стоящій надъ гармоникордомъ, и въ этихъ лучахъ скользило, мелькало ночное лучезарное видѣніе. полное счастливыхъ, довольныхъ, его благословляющихъ лицъ; и среди нихъ, на первомъ планѣ, Руфи, все она, его дорогая сестра, какъ онъ всегда мысленно величалъ ее.

Тихій голосъ позвалъ его. Юхнеровъ обернулся сама, живая Руфи стояла сзади него. Юхнеровъ былъ въ такомъ состояніи восторженности, что не изумился ея присутствію. Онъ улыбнулся ей; ему казалось естественнымъ, что она тутъ. Только черезъ минуту, уловивъ на лицѣ ея тревожное недоумѣніе, онъ пришелъ въ себя, снялъ руки съ клавишей и всталъ. Говорить онъ не могъ и молча смотрѣлъ на нее.

— Я звонила; никто не отперъ. Дверь была не заперта; я вошла, съ замѣшательствомъ произнесла Руфи.

Она была въ пальто и шляпкѣ.

— Дверь всегда отперта, когда я дома, медленно отвѣтилъ Юхнеровъ, медленностью сдерживая свое волненіе.

Онъ помогъ ей снять пальто. Шляпку Руфи не скинула.

— Я пришла, заговорила Руфи, и голосъ ея дрожалъ, и

грудь высоко подымалась,—пришла сказать, что беру свое слово назадъ...

Юхнеровъ отшатнулся отъ нее; глаза его приняли строгое, отгаликивающее выраженіе.

— Относительно брака, торопливо прибавила Руфи, нервно стаскивая съ руки перчатку.—Вчера ваше письмо вызвало ужасную сцену... Я думала, что устою... Весь вечеръ разговоры... то одинъ... то другой... Съ шатап припадокъ былъ... Я все крѣпилась... Наконецъ, ночью шатап пришла ко мнѣ...

Руфи перевела короткое дыханіе. Ея измученное, поблѣднѣвшее лицо ясно показывало, какую борьбу она вынесла. Она подняла на него глаза и, глядя ему прямо въ лицо, продолжала:

— Она на колѣняхъ молила меня отказаться отъ этого брака... Я уступила... Ее это съ ума-бы свело, а для насъ вѣдь это не существенно...

Юхнеровъ не отвѣчалъ; онъ выжидалъ, что она скажетъ далѣе. Руфи со страхомъ ловила на его лицѣ выраженіе порицанія и, встревоженная его молчаніемъ, неувѣренно проговорила:

— Этотъ исходъ былъ вами придуманъ ради нея-же... Вѣдь можно и безъ него обойтись... Къ чему намъ связывать другъ друга вѣшнимъ образомъ, когда мы связаны внутренно и когда я все равно послѣдую за вами...

Глаза Юхнерова вновь заблестѣли; онъ взялъ ее за руку. Руфи съ удивленіемъ посмотрѣла на него.

— Неужели вы думали, съ мягкимъ упрекомъ произнесла она,—что я отказалась отъ того, что мнѣ дорого... Нѣтъ, я не поколебалась... Но надо время... Я дала слово, что откажу вамъ, но съ своей стороны взяла слово, что меня не будутъ стѣснять ни въ чемъ... Это первый шагъ...

Юхнеровъ глубоко заглянулъ въ глаза Руфи, точно желая проникнуть въ самую душу ея. Она твердо выдержала его взглядъ.

— Вѣрите въ меня такъ-же, какъ я въ васъ вѣрю, просто сказала она.

Сердце Юхнерова радостно забилося. Да, онъ видѣлъ, онъ не могъ не видѣть, что она вѣритъ въ него, безпредѣльно, безгранично вѣритъ, и сознаніе этой вѣры наполняло его неизъяснимой гордостью.

— Я вамъ вѣрю, отвѣтилъ онъ тихо и выпустилъ ея руку.

Руфи свѣтло улыбнулась и вздохнула, точно съ груди ея спала тяжесть. Съ дѣтскимъ любопытствомъ оглянулась она вокругъ.

— Вотъ вы какъ живете! Знаете, я себѣ именно такъ и представляла вашу обстановку, простую. ничего изнѣженнаго, суровую.. Мнѣ эта комната напоминаетъ кабинетъ дяди, можетъ потому, что здѣсь такъ много свѣта, а можетъ потому, что мнѣ, вообще, многое въ васъ напоминаетъ его... Мнѣ иногда кажется, что еслибы я такъ хорошо не знала дядю, многое въ васъ осталось-бы для меня непонятнымъ...

Она подошла къ столу.

— Вотъ, и у него на столѣ были только самыя необходимыя письменныя принадлежности, ничего лишняго... Мнѣ-бы тоже хотѣлось приучить себя только къ самому необходимому, немного погодя, тихо добавила она.—Ну, мнѣ пора.

Она глазами искала пальто. Юхеровъ подаль ей его. Отъ испытаннаго-ли столько часовъ волненія, отъ бессонной-ли ночи. оттого-ли, что и неожиданное появленіе Руфи тоже казалось ему какимъ-то чудеснымъ видѣніемъ, но онъ чувствовалъ, что голова у него слегка кружится и сердце странно, непонятно сжимается.

— Вы меня не осуждаете? робко спросила Руфи.

— Нѣтъ, вы поступили какъ нужно, какъ слѣдуетъ, не безъ усилія, сдержанно глухимъ голосомъ произнесъ Юхеровъ.

Руфи пошла къ двери.

— Да, сказала она оборачиваясь,—я забыла... Вамъ не слѣдуетъ больше приходить къ намъ... Оставьте меня одну... Вы нужны другимъ...

Юхеровъ протянулъ ей руку; она положила въ нее свою.

— Значить, до свиданья, прошепталъ онъ.

— До свиданья, значительно произнесла она и, ласково взглянувъ на него, ушла.

Юхеровъ не двинулся съ мѣста, когда дверь закрылась за нею. Онъ все еще видѣлъ передъ собой плѣнительно-чистые, довѣрчивые глаза, все еще прислушивался къ звуку тихаго, мягкаго голоса.

На полу у ногъ его бѣлѣлось что-то. Онъ машинально нагнулся и поднялъ маленькій шейный фуляровый платочекъ,

вынавший изъ кармана Руфи. Тонкій, неуловимый запахъ фіанки распространялся отъ этого платка. Юхнеровъ поднесъ его къ лицу и нѣсколько секундъ вдыхалъ въ себя нѣжный ароматъ.

Юхнеровъ никогда-бы не сознался, что губы его коснулись пахучей шелковой ткани; онъ былъ чуждъ такой слабости; онъ былъ увѣренъ въ себѣ. Юхнеровъ никогда-бы не сознался, что, сжимая на прощанье руку Руфи, онъ едва совладалъ съ желаніемъ прижать ее, Руфи, къ своей груди. Это могло быть только отъ чрезмѣрнаго напряженія нервовъ. Юхнеровъ былъ увѣренъ въ себѣ.

Е. Ардоя.

Конецъ 2-й части.

ПЕССИМИСТЫ.

1.

Шопенгауеръ.

Наиболѣе замѣчательное и первое по времени изъ пессимистическихъ ученій нашего вѣка принадлежитъ Шопенгауеру, этому оригинальнѣйшему мыслителю, въ свое время совсѣмъ незамѣченному, а въ ближайшія къ намъ десятилѣтія получившему большую извѣстность. Но извѣстность писателя и ясное пониманіе его—двѣ вещи разныя и крайне рѣдко идущія рядомъ другъ съ другомъ.

Съ перваго взгляда очень трудно понять, какими образомъ Шопенгауеръ, этотъ энергичный мыслитель, полный живого остроумія, этотъ писатель, каждая строка котораго пронизана жизнью и страстью, какъ онъ могъ проповѣдовать такой мрачный, безнадежный пессимизмъ? Но все дѣло въ томъ, что вся энергія и живучесть его страстной природы безраздѣльно уходила въ одну сторону—въ умственную дѣятельность. А все остальное въ жизни, — и въ его собственной, и въ жизни всего человѣчества, — было для него чѣмъ-то постороннимъ, очень мало доступнымъ и мало интереснымъ (разумѣется, насколько это вообще возможно для человѣка). Его выдающіяся умственныя способности влекли его въ область умственныхъ интересовъ, и на нихъ онъ построилъ всѣ свои личныя радости и всю свою общественную дѣятельность.

Но можно-ли этимъ объяснить его пессимизмъ?

Еслибъ рѣчь у насъ была не о Шопенгауерѣ, то врядъ-ли могъ-бы даже возникнуть подобный вопросъ. Пессимизмъ, какъ слѣдствіе крупнаго ума! — ужь слишкомъ это мало правдоподобное предположеніе. Но самъ Шопенгауеръ именно это самое и утверж-

даетъ. Съ удовольствіемъ приводитъ онъ слова Аристотеля: *omnes ingeniosos melancholicos esse* и цѣлый подборъ подобныхъ-же заявленій разныхъ знаменитыхъ людей. Въ его глазахъ это объясняется очень просто: гениальный умъ, благодаря своей проницательности, лучше видитъ зло, которымъ преисполнена жизнь. И ему совершенно естественно такъ разсуждать, потому что, по его убѣжденію, истина неразлучна съ пессимизмомъ. Но стоитъ обратиться къ его-же собственнымъ соображеніямъ, и мы увидимъ, что дѣло вовсе не въ *смыслѣ* и не въ *размѣрахъ* ума, а въ особомъ его *направленіи*. Къ этому обстоятельству онъ возвращается множество разъ и по самымъ различнымъ поводамъ, такъ какъ это одна изъ любимыхъ его темъ. Онъ именно говоритъ, что даже очень талантливый умъ не можетъ пойти дальше пониманія случайныхъ невзгодъ жизни, т. е. такихъ, которыя можно устранить. Но постигнуть ничтожество жизни въ самой ея основѣ, убѣдиться, что жизнь по самой природѣ своей есть игра не стоящая свѣчей, къ этому способенъ прійти только гений. Вотъ тутъ-то въ этой рѣзкой границѣ между гениемъ и какимъ-угодно крупнымъ умомъ и лежитъ разгадка «меланхоличности» гениа. Главнѣйшее отличіе гениальнаго ума заключается въ томъ, что онъ ничему не служитъ и служить неспособенъ. Къ дѣятельности его влечетъ вовсе не стремленіе удовлетворить запросы и требованія личности, *каковы-бы они ни были*, и даже не благо человѣка вообще, а инстинктивная потребность созерцать жизнь. Умъ талантливаго человѣка, говоритъ Шопенгауеръ, только быстрѣе и правильнѣе (*richtiger*) соображаетъ, а гений видитъ *совсѣмъ другой міръ*, хотя онъ въ концѣ концовъ только глубже всматривается въ тотъ міръ, который лежитъ предъ глазами всѣхъ. Талантъ подобенъ стрѣлку, попадающему дальше другихъ; а гений, можно сказать, попадаетъ въ такую цѣль, которая для другихъ даже не видна.

Пусть читатель не смущается нѣсколько туманными выраженіями. Шопенгауеръ любитъ иллюстрировать свои отвлеченныя положенія образами и подчасъ даже очень поэтичными, но это не мѣшаетъ ему по возможности точно пояснять свою мысль. И въ данномъ случаѣ она у него тоже поставлена очень ясно. Согласно его опредѣленію, талантливый умъ пригоденъ исключительно для практической дѣятельности, хотя и въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова. Вся сила и все значеніе его — въ томъ, что онъ отзывается на человѣческія требованія, изучая явленія жизни, ихъ взаимныя отношенія и отношеніе ихъ къ человѣку, онъ всю свою энергію сосредоточиваетъ исключительно на служеніи человѣку, его потребностямъ и его благосостоянію. Въ этомъ смыслѣ

въ сферу практическихъ задачъ мысли Шопенгауеръ включаетъ также и то, что обыкновенно принято считать теоріей, а именно всѣ тавія теоретическія изслѣдованія, конечная цѣль которыхъ— отвѣчать на запросы нормальнаго человѣческаго ума. Последнему доступны только *представленія* о вещахъ, только ихъ *отношенія* къ человѣку и другъ къ другу, словомъ отраженіе вещей въ человѣкѣ, только по преломленіи ихъ въ данныхъ условіяхъ жизни, а не вещи *сами по себѣ* и не жизнь *сама по себѣ*. Вотъ почему Шопенгауеръ считаетъ нормальный и даже талантливый умъ по преимуществу практическимъ; для практическихъ цѣлей жизни, для яснаго пониманія жизненныхъ задачъ и для успѣшнаго ихъ осуществленія совершенно излишне знать, каковы вещи *сами по себѣ*, а не то, каковы они для человѣка, т. е. какими они являются его чувствамъ и въ его представленіи. Поэтому нормальная мысль не можетъ быть судьей надъ самой жизнью въ ея цѣломъ, надъ условіями этой жизни, надъ человѣкомъ и его требованіями; для этого она слишкомъ погружена въ дѣйствительность и ея условія. Служа человѣку, какъ представителю этой дѣйствительности, эта мысль не можетъ представить себѣ возможность несуществованія жизни, не можетъ допустить возможность иной дѣйствительности и не можетъ отнестись отрицательно или даже критически къ самымъ основамъ человѣческой жизни. Другими словами, тутъ недостижима та высшая истина, которая должна быть совершенно яснымъ отраженіемъ жизни въ мысли. Это все равно, какъ мельникъ не замѣчаетъ стука мельницы, а парфюмеръ не чувствуетъ запаха своей лавки. Обыкновенному нормальному уму (а значить почти исключительно практическому) только въ рѣдкіе свѣтлые моменты удается, стряхнувъ съ себя тяжелый чадъ жизни и взглянувъ на дѣйствительность со стороны, подвергнуть сомнѣнію и цѣну человѣческихъ стремленій, и цѣну жизни. Но это бываетъ только на самые короткіе промежутки, потому что обыкновенная дѣятельность пракческаго ума направлена исключительно на пользу и имѣетъ цѣлью «поддержаніе и облегченіе нашего существованія».

Совсѣмъ другое — гений. Никакими полезными задачами онъ не связанъ. Онъ выше всѣхъ ихъ и знаетъ одну только задачу— созерцаніе истины, а внѣ ея—ничего. Правда, и «практическому» уму дорога истина, а не ложь, и чѣмъ онъ способнѣе, тѣмъ больше она ему доступна. Но онъ цѣнитъ ее только какъ средство, какъ орудіе служенія человѣку, а не какъ конечную цѣль, самой себѣ довѣющую. При этомъ, по мнѣнію Шопенгауера, практическій умъ исполняетъ *естественное* назначеніе всякаго ума, а именно

онъ служить чувству (подъ послѣднимъ читатель долженъ подразумѣвать здѣсь все, что не есть мысль или познавательная способность). Гений-же совершенно отрѣшается отъ этого служенія — онъ отказывается соображаться съ требованіями чувства. Объясняется это обстоятельство тѣмъ, что у гениа — «не нормальный» (abnormes) перевѣсъ ума надъ чувствомъ. У нормальнаго человѣка ума ровно въ мѣру, чтобы удовлетворять всѣмъ запросамъ его чувства, у глупаго и того не хватаетъ, а гений обладаетъ нѣкоторымъ излишкомъ ума, который, въ качествѣ лишняго, совершенно свободенъ отъ службы чувству, т. е. какимъ-бы то ни было человѣческимъ требованіямъ. Поэтому онъ получаетъ, собственно говоря «чуждое своей природѣ», «нестественное», даже можно сказать — «сверхъестественное» назначеніе, но въ этомъ-то и заключается величіе гениа, — въ его совершенной отрѣшенности отъ жизни, въ его оторванности отъ человѣка. Поэтому, по словамъ Шопенгауера, «характерная черта» гениа — его бесполезность: это его дворянская грамата. Именно этой эмансипаціей ума отъ службы человѣку и его чувству объясняется, что ни одинъ изъ плодовъ гениальнаго творчества — ни музыку, ни живопись, ни философію, ни поэзію нельзя причислить къ полезностямъ. Красивѣйшія сооруженія не имѣютъ полезнаго назначенія: храмъ не служитъ жильемъ. Въ соотвѣтствіи съ этимъ и въ природѣ можно замѣтить, что прекрасное не соединяется съ полезнымъ. Высокія и красивыя деревья не даютъ плодовъ, а даютъ ихъ всегда маленькія, кривыя, некрасивыя; садовая роза не даетъ плода, а маленькая, дикая, почти лишенная запаха — даетъ. Поэтому, по словамъ Шопенгауера, сравнить полезнаго человѣка съ гениальнымъ — все равно, что поставить рядомъ кирпичъ и алмазъ. Вообще, величіе гениа и его право на уваженіе Шопенгауеръ видитъ исключительно въ томъ, что онъ совсѣмъ не какъ другіе, что онъ не обычаенъ, что онъ рѣдокъ. Умныхъ людей много, а гениальныхъ можно по пальцамъ пересчитать за всю исторію человечества. И не умѣе они умныхъ, а *совсѣмъ въ другомъ родѣ*: «умный человѣкъ, — говоритъ Шопенгауеръ, — поскольку онъ уменъ, не можетъ быть гениальнымъ, а гений, въ той степени, въ какой онъ гениаленъ, — вовсе не уменъ».

Такимъ образомъ, мы видимъ, что въ Шопенгауеровскомъ представленіи о гениѣ, главную роль играетъ не сила ума, а особенный характеръ его, — его специальное назначеніе. Будь онъ сколько угодно великъ, но разъ онъ служитъ чувству, Шопенгауеръ не признаетъ его гениальнымъ. Значитъ, дѣло не въ *размѣрѣ* ума, а въ его направленіи. И, значитъ, именно тутъ слѣ-

дуетъ искать источника меланхоли тѣхъ гениевъ, о которыхъ говоритъ Шопенгауеръ.

Это подтверждаетъ и самъ Шопенгауеръ, когда догазываетъ, почему гений непремѣнно долженъ быть лично несчастнымъ.

По его словамъ, обыкновенная практическая жизнь принаровлена къ нормальнымъ душевнымъ даннымъ; поэтому исключительный перевѣсъ ума, какъ и всякая ненормальность, не можетъ быть полезнымъ личности. Если перевѣсъ этотъ сколько-нибудь силенъ, то вниманіе такъ сосредоточивается на задачахъ постороннихъ личности, что индивидуальнымъ человѣческимъ цѣлямъ по-неволѣ приходится страдать. Въ вопросахъ, касающихся человѣческой личности (это и есть практическіе вопросы), умъ останавливается исключительно на *отношеніяхъ* вещей къ намъ, нашимъ цѣлямъ и ко всему, что съ нами связано. А у гения вся энергія ума сосредоточена на познаніи вещей самихъ по себѣ, независимо отъ того, какое онѣ имѣютъ отношеніе къ человѣку. Оба эти роды познанія и пониманія дѣйствительности скорѣе мѣшаютъ другъ другу, чѣмъ помогаютъ. Поэтому гениальные люди такъ наивны и неумѣлы въ практическихъ дѣлахъ; въ отрѣшенности отъ практической сферы они черпаютъ всю свою силу для работы въ той теоретической области, къ которой ихъ влечетъ призваніе. Между тѣмъ, съ другой стороны, ихъ требованіе даже по части личнаго счастья не только не меньше, чѣмъ у прочихъ людей, а напротивъ—еще больше. Вообще, какъ на бѣдной почвѣ не можетъ вырасти богатое растеніе, такъ и хилый организмъ, отправленія котораго лишены силы и энергіи, не въ состояніи взрости крупнаго ума. Такъ что, по выраженію Шопенгауера, даже хорошій разсудокъ принадлежитъ къ числу необходимыхъ условій выдающихся умственныхъ силъ. Точно также помимо всего прочаго, энергія и страстность чувства не менѣе необходимы. И дѣйствительно, гений всегда отличается страстнымъ темпераментомъ: флегматическій гений просто несмыслимъ. Но въ томъ-то и дѣло, что страстность, будучи благопріятной возникновенію сильнаго ума, вовсе не благопріятствуетъ его практической дѣловитости. Послѣдняя требуетъ, чтобы умъ удовлетворялъ запросамъ чувства; между тѣмъ при большой порывистости чувства, при сильномъ его напорѣ, умъ затуманивается. Изъ этого явствуетъ, что гений исключительно приспособленъ къ «теоретической» (въ особомъ, Шопенгауеровскомъ смыслѣ) дѣятельности; онъ долженъ выжидать благопріятной минуты, когда чувство успокоится, и тогда, ничѣмъ не связанный, созерцаетъ дѣйствительность. Но для практической жизни, для личнаго счастья онъ поэтому совсѣмъ не подходящъ.

Читатель не долженъ при этомъ упускать изъ виду двухъ обстоятельствъ. Во-первыхъ, того, что въ устахъ Шопенгауера «теоретическій» означаетъ отрѣщенный отъ всего человѣческаго. И во вторыхъ, что послѣднее заключеніе (на счетъ исключительной теоретичности генія) есть только неизбѣжное и прямое слѣдствіе точки зрѣнія Шопенгауера на генія; это не больше, какъ только другое выраженіе его опредѣленія генія. Вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, — исходный нашъ пунктъ былъ таковъ: геніальность состоитъ въ отрѣшенности ума отъ чувства. А выразивши то-же самое другими словами, мы получимъ, что специальная область генія — «теорія», и отсюда уже простое логическое заключеніе, что для личнаго счастья геній неприспособленъ.

И такъ, отрѣшенность или «оторванность» (тоже подлинное выраженіе Шопенгауера) отъ чувства стоитъ поперекъ дороги личному счастью генія.

Но должны-ли мы видѣть въ этомъ неизбѣжный источникъ пессимизма? Развѣ дозвоительно предполагать обязательную связь между личными невзгодами и мрачнымъ воззрѣніемъ на жизнь? Вѣдь лично счастливый человѣкъ можетъ быть самымъ рѣшительнымъ пессемистомъ (какъ, напримѣръ, Гартманъ), и наоборотъ, лично несчастный можетъ очень свѣтлыми глазами смотрѣть на жизнь (примѣръ тому — Дюрингъ). Да и стоитъ только оглянуться вокругъ себя, чтобы на каждомъ шагу увидѣть людей, совершенно довольныхъ своей личной участью и тѣмъ не менѣ весьма нерадостно взирающихъ на міръ. А съ другой стороны, мы видимъ цѣлую массу людей, крайне обиженныхъ судьбой и очень хорошо чувствующихъ свое несчастье, а все-таки любящихъ жизнь, вѣрующихъ въ возможность счастья и, смотря по характеру, либо завидующихъ счастливымъ, либо радующихся счастьемъ близкихъ сердцу людей.

Значитъ не въ личномъ счастьѣ тутъ дѣло. Тѣмъ болѣе, что какъ сейчасъ увидимъ, геній въ этомъ отношеніи не такъ ужъ обиженъ судьбой. И, убѣдившимъ въ этомъ, мы легко придемъ къ заключенію, что настоящая причина «меланхоліи» генія лежитъ въ отрѣшенности отъ общечеловѣческихъ чувствъ и интересовъ т. е. въ томъ, что въ глазахъ Шопенгауера есть источникъ силы и особеннаго значенія генія.

Множество разъ указываетъ Шопенгауеръ на одну особенность въ общественномъ положеніи генія, чрезвычайно любопытную. Дѣло въ томъ, что геній одинокъ, сознаетъ свое одиночество и страдаетъ отъ него. Но личнаго страданія тутъ меньше

всего. Если оно и есть, то легко находить себя претивовѣсь въ природныхъ свойствахъ генія. И вотъ по какой причинѣ люди, по словамъ Шопенгауера, не могутъ выносить какого-бы то ни было превосходства надъ собой; а меньше всего они прощаютъ превосходство ума. Поэтому они всегда предпочитаютъ имѣть общеніе съ низшими умами, и отсюда особенное положеніе высшаго ума. Но въ этомъ отношеніи геній поставленъ особенно благоприятно: сознаніе своего превосходства заставляетъ и его самого невысоко цѣнить общеніе съ людьми. Онъ легко убѣждается въ томъ, что всякій духовный обмѣнъ съ ними невыгоденъ для него: дѣлясь съ ними богатствами своего выдающагося ума, онъ взамѣнъ получаетъ отъ нихъ только жалкія крохи. А съ другой стороны, онъ легче другихъ переноситъ одиночество, вознаграждая себя за отсутствіе живыхъ людей общеніемъ съ великими умами прошлаго; ему это потому доступнѣе, что они ему ближе и слѣдовательно понятнѣе. А главное, наединѣ съ самимъ собой онъ располагаетъ такимъ богатымъ источникомъ духовныхъ наслажденій, и такихъ высокихъ, что никакое общество живыхъ людей не въ состояніи дать ничего подобнаго. Вообще, въ глазахъ Шопенгауера общество только стѣсняетъ личность, заставляетъ ее приноравливаться къ себѣ, лишаетъ свободы и тѣмъ больше давить, чѣмъ оригинальнѣе и крупнѣе личность. Въ полномъ гармоническомъ согласіи, говоритъ онъ, нельзя быть ни съ другомъ, ни съ возлюбленной, а только съ самимъ собой. Поэтому совершенное душевное спокойствіе это величайшее благо послѣ здоровья, можетъ быть достигнуто только въ одиночествѣ. И наоборотъ, почти всѣ наши страданія порождаются общественными отношеніями: кому не приходится терпѣть отъ терзаній честолюбія, словолюбія, зависти или ревности? Такъ, что если кто легче переноситъ одиночество, то въ отношеніи личнаго счастья онъ поставленъ въ особо благоприятныя условія, а въ такомъ именно положеніи находится геній. И въ дѣйствительности мы видимъ, что великіе люди извѣстны своей склонностью къ одиночеству. Можно даже утверждать, говоритъ Шопенгауеръ, что склонность къ общенію у людей обратно пропорціональна умственной силѣ, и сказать про кого-нибудь — «онъ необщителенъ» — все равно, что сказать: «онъ человѣкъ крупныхъ способностей». И это совершенно понятно, — чѣмъ больше человѣкъ имѣетъ въ самомъ себѣ, тѣмъ меньше онъ нуждается въ другихъ. Такимъ образомъ, генія влечетъ къ одиночеству своего рода аристократическое чувство.

Правда, въ каждомъ человѣкѣ (не исключая и генія) бьется общественная жила. Но геній всегда побѣдитъ эту тенденцію,

предпочитая лучшее изъ золь, ибо если человѣкъ попалъ на балъ гдѣ все одни хромые, то ему лучше совсѣмъ не танцовать.

И такъ, для *личнаго* счастья генія одиночество, которымъ только возвышенный умъ и способенъ наслаждаться, есть не что иное, какъ источникъ высокаго наслажденія. Но зато это-же обстоятельство окрашиваетъ въ мрачный колоритъ все, что происходитъ предъ его глазами, все, что онъ наблюдаетъ,—словомъ, все, что непосредственно къ личному счастью не относится. Тутъ ужъ не въ физическомъ одиноствѣ дѣло. а въ томъ, что служить ему подкладкой, именно—въ отрѣшимости отъ всѣхъ человѣческихъ интересовъ, въ томъ, что геній не можетъ раздѣлить съ людьми ни ихъ радостей, ни ихъ горестей, что онъ имъ чужой. Положеніе его среди остальныхъ людей и его особенное отношеніе къ нимъ Шопенгауеръ сравниваетъ съ исключительнымъ положеніемъ актера, который-бы игралъ вмѣстѣ съ маріонетками кукольнаго театра. Среди нихъ онъ былъ-бы единственнымъ, которому доступно удовольствіе перейти въ ложу, чтобы наслаждаться сценой *со стороны*, не принимая въ ней *никакого* участія. Среди живыхъ людей, говоритъ Шопенгауеръ, геній тоже одинъ способенъ смотрѣть на жизнь *со стороны*, какъ на театральное представленіе, которое не только чуждо его *личнымъ* интересамъ, но и вообще не затрагиваетъ *никакого* его чувства, конечно, въ той степени. въ какой онъ дѣйствительно геній и самъ не погруженъ «въ заботы суетнаго свѣта». Онъ такъ далекъ отъ людей, что когда имъ, принимающимъ дѣятельное участіе въ жизни, она кажется трагедіей, ему она представляется комедіей. Они принимаютъ жизнь въ серьезъ; а съ его точки зрѣнія она только зрѣлище, и, дѣйствительно, серьезнаго интереса заслуживаетъ не участіе въ ней, а только созерцаніе ея. Наслажденіе это будучи высшимъ изъ доступныхъ человѣку, тѣмъ замѣчательно, что никогда не измѣняется, все равно, приходится-ли созерцать радость или горе. Зависитъ это отъ того, что оно исключительно умственное наслажденіе. Это, какъ выражается Шопенгауеръ, — «чистое» познаніе. поэтому какое-бы то ни было чувство, горе-ли, радость-ли—не можетъ къ нему примѣшаться, будучи ему чуждо и недоступно. Въ этомъ-то вся сущность «чистаго». т. е. отрѣшеннаго отъ чувствъ познанія,—потому оно и «чистое». Въ томъ и заключается возвышенность чистаго познанія, что оно свободно, чисто отъ чувствъ. И отсюда исключительная черта соотвѣтственнаго наслажденія — абсолютная безмятежность. Но въ этой-же самой чертѣ лежатъ причина того, что «чистому» познанію генія всякая дѣйствительность рисуется ничтожной, пошлой, неинтересной и во всякомъ случаѣ не стоящей того, чтобы лю-

бить ее и сколько-нибудь за нее держаться: вѣдь въ жизни всего человѣчества вѣе интересы, заботы, стремленія и привязанности, рѣшительно все, чѣмъ дорога жизнь, держатся на чувствѣ (разумѣя въ томъ числѣ и ощущенія, какъ низшій родъ чувства). Дальше мы увидимъ, что, по ученію Шопенгауера, единственная сила, движущая жизнью, есть чувство — бессознательное въ широкомъ смыслѣ этого слова. Совершенно естественно поэтому, что чистое познаніе, какъ оторванное отъ чувства, именно потому, что оно оторвано, должно отнестись къ жизни, которая держится на чувствѣ, болѣе или менѣе отрицательно. Собственно говоря, однимъ умомъ невозможно судить о ничтожности или возвышенности какого-нибудь чувства и того, что на немъ держится; это все равно, что аршиномъ опредѣлять вѣсь или вѣсами длину тѣла. По тѣмъ-же основаніямъ, и умъ самъ по себѣ не можетъ рѣшать вопроса о достоинствѣ разныхъ чувствъ или чувства вообще. Но такъ какъ у Шопенгауера уму дано безусловное преимущество предъ чувствомъ, — въ его глазахъ то, что доступно «чистому» познанію, есть безусловно высшая точка зрѣнія, — то умъ можетъ *самостоятельно* рѣшать все, — и безапелляціонно. Просимъ читателя не забывать, что Шопенгауеръ отнюдь не имѣетъ въ виду, такъ называемую «разсудительность», т. е. ту способность ума, которая направлена на согласованіе между собой и на стройное проведеніе человѣческихъ чувствъ. Это въ его глазахъ дѣло низшаго, практическаго ума, такъ какъ онъ, въ концѣ концовъ, опирается на чувство и служить ему. А чистое познаніе, поставленное судьей надъ самимъ чувствомъ, притомъ надъ всякимъ, само въ свою очередь ни на какое чувство опираться не должно; въ этомъ и заключается вся его сила и все достоинство. Ну, а стоитъ только предоставить уму эту возвышенную роль, и тогда ужъ рѣшенія его всегда будутъ пессимистическаго характера. Его положеніе ужъ таково, что онъ не можетъ не быть придирчивымъ. Его область — сфера идей, стройныхъ, красивыхъ, цѣльныхъ, гармоничныхъ. Тутъ не только вдохновенная фантазія генія, а даже самое обыкновенное воображеніе зауряднѣйшаго человѣка распорядается крайне свободно и смѣло, не стѣсняясь ни законами природы, ни законами чувства, ни правдоподобіемъ — ровно ничѣмъ. Не мудрено, что стоитъ только освоиться съ этой вольной сферой и отказаться отъ руководства чѣмъ-нибудь, кромѣ данныхъ изъ этой сферы, и непремѣнно явится придирчивая требовательность во всему, что даетъ реальная жизнь. Попробуйте, въ самомъ дѣлѣ, съ идеями о правильныхъ фигурахъ, вынесенными изъ геометріи, подступить къ человѣческому тѣлу и предъявить къ линіямъ этого тѣла тѣ тре-

бованія, которыя вы такъ свободно предъявляете всякимъ лицамъ, гиперболоамъ и параболоамъ. Вѣдь вы придете въ отчаяніе! Въ не меньшее отчаяніе долженъ прийти человѣкъ, разсматривающій жизнь однимъ только умомъ и не раздѣляющій тѣхъ чувствъ, которыми исполнена эта жизнь. Вѣдь, и пониманію каждаго просто умнаго и развитаго человѣка совершенно доступно все, что есть въ жизни мелкаго, пошлаго, грубаго и подлаго, вся масса противорѣчій, невзгодъ и несчастій, для этого вовсе не нужно отрѣшиться отъ общечеловѣческихъ интересовъ. Но у представителя «чистаго» познанія, поскольку онъ цѣленъ и послѣдователенъ, все это получаетъ совсѣмъ особую окраску и особое значеніе. Онъ не раздѣляетъ тѣхъ самыхъ чувствъ, безъ поддержки которыхъ, конечно, никто-бы не захотѣлъ жить, ни одного изъ чувствъ, заставляющихъ людей любить жизнь и держаться за нее наперекоръ всему, что въ ней есть тяжелаго и непривлекательнаго. Что-жъ остается ему отъ жизни, кромѣ отрицательнаго? Въ томъ, что есть въ ней хорошаго, онъ за недостаткомъ чувства не участвуетъ; а все неладное и нескладное понимаетъ. Представьте себѣ, что вы присутствуете при свиданіи двухъ друзей, давно не видившихся и очень обрадованныхъ неожиданной встрѣчей. Оба они растроганы, выражаютъ свой восторгъ неумѣренными жестами и, можетъ быть, несовсѣмъ краснорѣчивыми, но очень искренними восклицаніями; оба смѣются изъ-за всякаго пустяка, радуются всякой шуткѣ. А вы сидите себѣ рядомъ, и ни встрѣчъ ихъ нисколько не рады, ни войти въ ихъ положеніе не умѣете или не желаете. Въ подобныхъ обстоятельствахъ вамъ будетъ, по меньшей мѣрѣ, скучновато. А если вы склонны доставлять себѣ удовольствіе «чистымъ созерцаніемъ», то, безъ сомнѣнія, вамъ невольно станеть бросаться въ глаза все неудачное въ ихъ шуткахъ, васъ будетъ поражать неумѣренность ихъ жестовъ, и самыя пустѣйшія и ничтожнѣйшія мелочи этого рода остановятъ ваше особенное вниманіе. Положеніе генія, погруженнаго въ «чистое познаніе», совершенно аналогично этому. Разница только въ томъ, что «геній» не раздѣляетъ почти ни одного изъ чувствъ, волнующихъ человѣка, а поскольку онъ «геній», такъ и ровно ни одного. Поэтому ему вся жизнь въ ея цѣломъ представляется ненужной, безцѣльной и ничтожной.

Джонъ Стюартъ Милль въ своей автобіографіи рассказываетъ одинъ эпизодъ изъ своей жизни, который необыкновенно наглядно показываетъ, въ какой тѣсной связи эта точка зрѣнія на жизнь находится съ неспособностью дѣлать чувства людскія и вообще съ блѣдностью и подавленностью чувствъ. Милль, какъ извѣстно, получилъ крайне сухое, чисто умственное воспитаніе. Пятнадцати лѣтъ

онъ искренно считалъ своею цѣлью въ жизни—быть реформаторомъ всего міра и съ этой задачей тѣсно связывались всѣ его представленія о собственномъ личномъ счастьѣ. И такъ какъ въ успѣхъ онъ не имѣлъ поводовъ сомнѣваться, то чувствовалъ себя хорошо. Но вотъ, когда ему было 20 лѣтъ, счастливое настроеніе его вдругъ разрушилось. И произошло это не потому, чтобы онъ усомнился въ успѣхѣ, т. е. въ возможности достигъ своей цѣли, а только отъ того, что самая цѣль поблекла въ своей привлекательности, а съ нею и надежда на счастье рухнула.

Возникъ этотъ поворотъ благодаря особенному настроенію, въ которое онъ тогда впалъ: «Все казалось мнѣ пошлымъ, говорить онъ, и на все я смотрѣлъ равнодушно, нервы мои были разстроены и были неспособны ощущать никакого удовольствія...» При такомъ-то настроеніи онъ задалъ себѣ вопросъ: удовлетворился-ли-бы онъ, еслибъ всѣ планы реформъ, о которыхъ онъ мечталъ, дѣйствительно осуществились? И онъ долженъ былъ сознаться, что нѣтъ.—«Тогда, говоритъ онъ, сердце мое дрогнуло и все зданіе моей жизни рухнуло». Наступила страшная апатія и онъ рѣшительно не находилъ ни въ чемъ утѣшенія. И что же? Продолжалось это состояніе цѣлыхъ шесть мѣсяцевъ. Всевозможныя средства не помогали. Положеніе становилось безвыходнымъ и невыносимымъ. Но вотъ, случайно читая мемуары Мармонтеля, Милль остановился на томъ мѣстѣ, гдѣ авторъ описываетъ смерть отца, ужасное положеніе семьи и свою рѣшимость замѣнить, несмотря на юные годы, отца для семьи.—«Я живо представилъ себѣ эту сцену, рассказываетъ Милль, чувства, одушевлявшія юнону, тронули меня и я прослезился. Съ этой минуты бремя, тяготившее меня, стало гораздо легче. Я не былъ болѣе деревомъ или камнемъ, и постепенно сталъ находить, что обыкновенныя событія жизни могли приносить мнѣ удовольствіе, что солнечные лучи, небо, книги, разговоры и общественныя дѣла могли снова приносить наслажденіе... Такимъ образомъ, заключаетъ онъ, облако, *отуманившее* мой умъ, стало рѣдѣть и я снова сталъ наслаждаться жизнью».

Что можетъ быть яснѣе этого случая? Чувство пропало, и вотъ человѣкъ впадаетъ въ самый безнадежный пессимизмъ (который, кстати замѣтить, по мнѣнію Милля, есть затуманеніе разсудка, а въ глазахъ Шопенгауера — самое высшее проясненіе его). И чуть только чувство разбужено, пессимистическое настроеніе ступсывалось. На этомъ примѣрѣ мы видимъ, какъ неизбѣжно блѣдность и апатія чувства рождаютъ пессимизмъ, и самый безнадежный, т. е. не тотъ, который заставляетъ сомнѣваться въ успѣхѣ или отчаяваться въ томъ, что успѣхъ не

достигнуть, а тотъ, который поражаетъ самый корень жизни, подвергая сомнѣнію, стоитъ-ли добиваться успѣха и привлекательно-ли самое счастье.

Легко понять, что при этомъ все равно, касается-ли дѣло личнаго счастья или-же счастья всего человѣчества, въ любой области, гдѣ у человѣка молчитъ чувство, онъ непремѣнно окажется пессимистомъ, искренно убѣжденнымъ въ ненужности стремлений, проявляющихся въ этой области, въ безцѣльности и ничтожности того счастья, которое она способна дать. Въ этомъ, безъ сомнѣнія, лежитъ разгадка дѣла ряда мрачныхъ фигуръ, изображаемыхъ поэтами всѣхъ странъ и особенного изобилія ихъ въ началѣ нынѣшняго столѣтія: весь этотъ рядъ представителей «духа сомнѣнія, духа отрицанія», нарисованныхъ Шатобрианомъ, Байрономъ, Лермонтовымъ и другими, состоитъ изъ людей, въ которыхъ тѣми или другими обстоятельствами уничтожены всѣ чувства. Они не перестаютъ жаловаться на холодъ въ груди, на пустоту въ сердцѣ, они все ищутъ неземнаго огня, который согрѣлъ-бы ихъ. Въ этомъ — объясненіе ихъ вѣчной тоски, ихъ гордаго презрѣнія къ жизни и людямъ, и величественнаго складыванія «ненужныхъ рукъ на пустой груди». Въ этомъ-же лежитъ ключъ къ пониманію Шопенгауера—и его личности, и его міросозерцанія.

II.

Излишне говорить, что Шопенгауеровская характеристика генія почти цѣликомъ списана имъ съ самого себя. Во всякомъ случаѣ, если тутъ нѣтъ полнаго тождества, то только въ той степени, въ какой не можетъ быть посредства между дѣйствительностью и идеаломъ. Можно сказать, что рѣшительно все, и воспитаніе, и условія времени, и природныя данныя—все способствовало тому, чтобы создать изъ него генія-пессимиста.

Даже чисто внѣшнія и совершенно случайныя обстоятельства сложились очень ужъ неблагоприятно для развитія его чувства вообще, и меньше всего тѣхъ чувствъ, которыя роднятъ людей между собою и дѣлаютъ ихъ близкими другъ другу. По его собственному признанію, онъ никогда не зналъ привязанности ни къ родному городу, ни къ родной странѣ, ни къ родной національности, ни къ родному языку. Когда ему было пять лѣтъ, его родители покинули мѣсто его рожденія, Данцигъ (это было въ 1792 году). Съ этого времени семья, оторванная отъ родной почвы, со страстью предалась путешествіямъ. Торговня дѣла

отца устроились въ Гамбургѣ, но, не стѣняясь этимъ, отецъ, мать и сынъ совершали постоянныя путешествія чуть не по всей Европѣ, такъ что маленький Шопенгауеръ до 15-ти лѣтъ успѣлъ перебывать и въ Австрiи, и во Франціи, и въ Бельгіи, и въ Англіи, и въ Швейцаріи. Мальчикъ много видѣлъ, испыталъ много интересныхъ впечатлѣній и не мало наслажденій, но не вынесъ изъ этой цыганской жизни никакихъ привязанностей. Девяти лѣтъ онъ былъ посланъ во Францію; отецъ предназначалъ его для коммерческой дѣятельности и потому особенно заботился на счетъ изученія иностранныхъ языковъ (даже имя Артура онъ далъ сыну въ виду того, что оно на всѣхъ европейскихъ языкахъ пишется одинаково и потому самое подходящее для торговой фирмы). Послѣ двухлѣтняго пребыванія во Франціи, вдали отъ семьи, сынъ такъ освоился съ французскимъ языкомъ, что по возвращеніи большаго труда стоило ему объясняться на родномъ языкѣ. Затѣмъ вятнадцатилѣтнимъ мальчикомъ онъ попалъ на шесть мѣсяцевъ въ домъ англійскаго священника около Лондона. Здѣсь получило начало его основательное знакомство съ англійскимъ языкомъ и глубокое уваженіе къ англійской націи. Впослѣдствіи онъ всего охотнѣе читалъ англійскія газеты и въ своемъ личномъ дневникѣ, пятиминныхъ бумагахъ употреблялъ въ перемежку то англійскій, то французскій, то латинскій, то, наконецъ, нѣмецкій языкъ. Къ нѣмецкой національности онъ вообще относился отнюдь не съ нѣжностью. «Предвидя свою смерть, пишетъ онъ какъ то,—считаю нужнымъ сознаться, что презираю нѣмецкую націю за ея безконечную глупость и краснѣю, что принадлежу къ ней». Впрочемъ, въ этомъ отношеніи онъ утѣшался мыслью, что его собственныя предки были голландцами, и очень гордился этимъ, также какъ и знакомствомъ съ иностранными языками. Однимъ словомъ, въ этомъ отношеніи отецъ его съ своей торгово-космополитической точки зрѣнія могъ бы остаться вполне довольнымъ сыномъ. Никакихъ національныхъ привязанностей у него и въ поминѣ не было.

Не большаго нѣжностью отличались его личныя отношенія къ людямъ даже самымъ близкимъ. Къ отцу онъ на всю жизнь сохранилъ глубокую благодарность за его матеріальныя заботы, Шопенгауеръ особенно цѣнилъ то обстоятельство, что, благодаря заслѣдству отца, онъ всю жизнь могъ дѣлать изъ себя любимому дѣлу, не принужденный биться изъ за хлѣба. Но сердечныхъ отношеній между отцомъ и сыномъ не было. Вся забота отца сводилась исключительно къ тому, чтобы сдѣлать изъ сына добраго купца и онъ рѣшительно шолъ къ этой разъ намѣченной цѣли, не только не справляясь съ симпатіями сына, но даже

наперекоръ явно обнаружившимся склонностямъ его. Такъ, когда мальчику было 15 лѣтъ, въ немъ пробудилось страстное стремленіе къ наукѣ. И вотъ отецъ прибѣгнулъ къ хитрости. Онъ предложилъ сыну на выборъ одно изъ двухъ—либо немедленно поступить въ гимназію для подготовленія къ ученой карьерѣ, либо отправиться сначала путешествовать, но затѣмъ уже окончательно отказаться отъ науки и серьезно заняться торговлей. Расчетъ оказался вѣрнымъ; мальчикъ не могъ противостоять соблазну, страсть къ путешествіямъ взяла верхъ и онъ сдался. Вскорѣ затѣмъ, согласно условію, онъ вступилъ въ торговую контору. Но нѣсколько мѣсяцевъ спустя отецъ его кончилъ жизнь самоубійствомъ, въ припадкѣ мрачнаго настроенія бросившись въ каналъ. Сынъ, изъ благоговѣнія къ памяти отца, рѣшился не оставлять недобимаго занятія. И только два года спустя (въ 1807), когда ему уже было 19 лѣтъ; мать скалилась надъ нимъ и рѣшительно предложила ему заняться наукой, къ которой его уже давно влекло. Какъ видитъ читатель, нельзя сказать, чтобы исторія эта указывала на сердечную близость между отцомъ и сыномъ. Но по крайней мѣрѣ послѣ смерти отца Шопенгауеръ съ большимъ чувствомъ вспоминалъ о немъ. Зато ужъ это было и единственнымъ во всю его жизнь теплымъ чувствомъ къ кому бы то ни было изъ людей. Съ матерью онъ жилъ совсѣмъ плохо. Пенавши послѣ смерти мужа въ кружокъ Гете въ Веймарѣ и сдѣлавшись скорѣ затѣмъ очень популярной романистской, она со всѣмъ огнемъ молодой и талантливой женщины предалась свѣтской жизни, хотя самой изысканной и возвышенной по своему характеру. За послѣднее ручается уже одинъ фактъ постоянного присутствія въ ея салонѣ старца Гете и окружавшей его плеяды писателей. Иоганна Шопенгауеръ, веселая, бойкая, жизнерадостная и остроумная, повидимому любила сына; но она не могла выносить его тяжелаго характера. Въ одномъ письмѣ она жалуется ему самому, что его вѣчныя сужденія свысока обо всемъ, похожія на изреченія оракула, его жалобы по поводу того, что неизбежно—все подобное давить ее и портить ея хорошее настроеніе. «Для моего счастья, пишетъ она ему, мнѣ необходимо знать, что ты счастливъ, но вовсе не нужно быть свидѣтелемъ этого». Натянутыя отношенія между матерью и сыномъ, постепенно обостряясь, перешли, наконецъ, въ окончательную ссору и съ тѣхъ поръ сынъ такъ до самой смерти матери и не видался съ ней—въ теченіи цѣлыхъ двадцати лѣтъ.

Если въ этой тягостной размолвкѣ нельзя считать его единственнымъ виновнымъ, то и не къ тому вовсе мы все это рассказываемъ, чтобы обвинять Шопенгауера; мы хотимъ только пока-

затѣ, въ какихъ неблагопріятныхъ условіяхъ протекала его сердечная жизнь и какъ неудачно складывалось его отношеніе даже къ ближайшимъ людямъ. Особенно поразительны его отношенія съ сестрой. Рѣдкостно добрый и хорошій человекъ, умная и образованная, она не только по-женски нѣжно любила брата, но умѣла дѣлать съ нимъ его высшіе интересы и задушевные стремленія. Искренно и горячо предлагала она ему свою дружбу и не навязываясь ему со своими собственными горестями, чистосердечно выражала желаніе раздѣлить все, что тяготитъ его душу, все, что мѣшаетъ его счастью. А онъ въ отвѣтъ на это не задумался заподозрить ее, вмѣстѣ съ матерью, въ самыхъ возмутительныхъ вѣщахъ. Дѣло въ томъ, что всѣ трое помѣстили часть своихъ капиталовъ въ банкирскій домъ, который обанкрутился. Когда затѣмъ, въ теченіи наступившихъ переговоровъ, сестра уговаривала брата вступить въ соглашеніе съ банкиромъ, Шопенгауеръ началъ весьма настоячиво выражать подозрѣніе, что она съ матерью дѣлаетъ это изъ корыстныхъ расчетовъ. Сестра просила пощадить ее отъ такихъ возмутительныхъ подозрѣній: но онъ не унимался. Кончилось тѣмъ, что они разошлись. Ссора съ сестрой продолжалась цѣлыхъ 10 лѣтъ.

Чувствуя себя такимъ образомъ чужимъ въ родной семьѣ, онъ и внѣ ея во всю жизнь не испыталъ ни разу ни чувства любви, ни лютимой дружбы. Что касается любви, то кромѣ чувственной онъ не зналъ другихъ ея проявленій. А дружба, такъ и совсѣмъ ужъ ни съ какой стороны не соответствовала его наклонностямъ. Даже въ молодые годы, когда человекъ обыкновенно гораздо общительнѣе и несравненно легче завязываетъ близкія связи, Шопенгауеръ упорно искалъ уединенія. Биографъ его, Гвиннеръ, рассказываетъ, что въ годы студенчества онъ тщательно избѣгалъ всякихъ сношеній съ людьми внѣ университетскихъ стѣнъ. То было время, непосредственно предшествовавшее освободительнымъ войнамъ, и, по словамъ Гвиннера, Берлинъ представлялъ тогда въ общественномъ отношеніи лучшее, что было въ Германіи. Шопенгауеръ по своему внѣшнему положенію и по своимъ личнымъ даннымъ легко могъ-бы найти доступъ въ любой кружокъ общества. Но все это живое и свѣжее общественное движеніе, охватившее тогда всю страну, прошло мимо него. Ему было адипатично все, что касалось интересовъ дня, все, на чемъ отражался духъ времени. Отчасти это свидѣтельствуетъ о томъ, какъ исключительно онъ предался овладѣвшей имъ работѣ мысли, направившейся на отвлеченные и вѣчные вопросы мысли, а отчасти— можетъ служить указаніемъ того, какъ далеки были его интересы и чувства отъ общихъ и какъ безразлично онъ ихъ избѣгалъ. Вво-

слѣдствіи, въ зрѣлые годы, все его общеніе съ людьми цѣлыми десятками лѣтъ подъ-рядъ ограничивалось разговорами за обѣденнымъ столомъ, въ гостинницѣ. Гвиннеръ говоритъ, что никакой аскетъ не былъ до такой степени уединенъ, такъ какъ это была не одна физическая уединенность, а внутренняя отчужденность отъ людей.

Если, съ одной стороны, черта эта, указываемая всѣмъ предыдущимъ, объясняется природной его черствостью, то, съ другой стороны, очень важную роль въ этомъ отношеніи сыграло его безпредѣльное поклоненіе предъ величіемъ генія и соединенное съ этимъ твердое убѣжденіе, что самъ онъ тоже геній. Последнее находило себѣ поддержку въ несомнѣнно крупныхъ размѣрахъ его умственныхъ способностей, дѣйствительно выходившихъ изъ ряду вонъ. Что-же касается его преувеличенной точки зрѣнія на генія, то въ то время она имѣла всеобщее распространеніе. Годы его молодости какъ разъ совпали съ періодомъ повальнаго поклоненія Наполеону; поэты всѣхъ странъ носились съ представленіемъ о геніи, какъ о посланникѣ небесъ; а въ семьѣ Шопенгауера поклоненіе гениальности было возведено въ настоящій культъ. Не мудрено, что когда онъ почувствовалъ въ себѣ недожинныя способности къ мышленію, то преисполнился убѣжденіемъ, будто въ интересахъ истины надо не только стать выше мелкихъ и пошлыхъ интересовъ толпы, а даже совсѣмъ подняться выше всего человѣческаго. Это значило хватить черезъ край, или, какъ выражается нѣмецкая поговорка, отрѣзать вмѣстѣ съ волосами и голову; но таково ужъ было высокое призваніе генія, согласно господствовавшему тогда духу времени. И Шопенгауеръ всей душой предался именно сверхчеловѣческому призванію генія. Въ Гетевскомъ Фаустѣ Мефистофель говоритъ:

Die schlechteste Gesellschaft lässt dich fühlen,
Dass du ein Mensch mit Menschen bist...

то-есть — «даже худшее общество заставляетъ тебя чувствовать, что ты человѣкъ среди людей». По убѣжденію Шопенгауера, слова эти, очень способныя ввести въ соблазнъ, вполне достойны того духа злобы, который ихъ изрекаетъ. Въ его глазахъ «быть человѣкомъ среди людей» — ниже достоинства генія. «Быть человѣкомъ!» — ему казалось, что это значить раздѣлать съ людьми то, что въ нихъ есть мелкаго, пошлаго и грубаго. И умственный человѣкъ, не умѣвшій войти въ положеніе другихъ людей, разумѣется, долженъ былъ возмущаться подобной перспективой. Быть человѣкомъ среди людей?—да, это значить отказаться отъ своихъ возвышенныхъ теоретическихъ задачъ и служить мелкимъ практическимъ интересамъ дня! Что могло быть ужаснѣе

для него, больше всего любившаго отвлеченную работу мысли? И онъ, въ концѣ концовъ, пришелъ къ рѣшенію — что дѣятелю отвлеченной мысли должно быть совершенно чуждо всякое стремленіе облегчить или улучшить положеніе человѣка. Между тѣмъ на его-же глазахъ примѣръ сестры могъ-бы убѣдить его, что «быть человѣкомъ среди людей» и отказываться отъ собственной личности и, главное, отъ своихъ идеальныхъ требованій — вовсе не одно и то-же. Вотъ, что она пишетъ брату въ одномъ письмѣ: «твое озлобленіе противъ Германіи должно-бы быть понятнымъ мнѣ: вѣдь умнѣйшіе люди нашего времени проникнуты имъ. Но я слишкомъ сильно чувствую свою близость къ странѣ, чтобы испытывать что-нибудь, кромѣ огорченія». Тутъ человѣкъ нисколько не поступаетъ своими идеалами, а между тѣмъ не разрываетъ связи съ людьми, умѣетъ войти въ ихъ положеніе и сочувствовать имъ. Но Шопенгауеръ, увлеченный своимъ величіемъ и сверхчеловѣческимъ призваніемъ, считалъ непозволительнымъ служеніе даже *какой-бы то ни было* изъ человѣческихъ потребностей. Даже *какое-бы то ни было* отношеніе отвлеченной мысли къ чувству есть уже отреченіе отъ высшаго призванія генія. Въ этомъ отношеніи онъ видѣлъ цѣлую пропасть между человѣкомъ вообще и гениемъ. Человѣкъ, по его словамъ, есть существо практическое, а геній — безусловный теоретикъ, онъ даже не преслѣдуетъ какихъ-бы то ни было собственныхъ своихъ стремленій. Ибо, хотя онъ въ результатѣ своей дѣятельности и получаетъ истину, но дѣлается это само собой, независимо отъ его намѣреній. Намѣренія, говоритъ Шопенгауеръ, даже самыя хорошія, ни къ чему не служатъ при отысканіи истины (также какъ и въ искусствѣ); они имѣютъ цѣну только въ области нравственности. Всякое намѣренное обдумываніе противорѣчитъ сущности генія; онъ дѣйствуетъ исключительно вслѣдствіе инстинктивной необходимости. И всякое стремленіе къ какой-нибудь цѣли не имѣетъ смысла для генія. Дѣятельность генія, говоритъ Шопенгауеръ, можно сравнить съ танцами; въ нихъ человѣкъ непосредственно наслаждается самимъ процессомъ движенія и только ради этого процесса и двигается, а не изъ-за того, чтобы прийти куда-нибудь. И что всего замѣчательнѣе, это безконечное презрѣніе ко всѣмъ требованіямъ и ко всѣмъ интересамъ человѣческимъ (разумеется, кромѣ теоретическихъ), даже презрѣніе къ человѣку вообще Шопенгауеръ считалъ высшимъ источникомъ силы для борьбы съ ложью и вѣрнѣйшимъ залогомъ успѣха при достиженіи истины. По его выраженію, начало мудрости лежитъ въ презрѣніи къ людямъ. Въ довершеніе всего, онъ былъ убѣжденъ, что это есть также вѣрнѣйшій путь заслужить

уваженіе людей, то-есть если не современниковъ (что даже нежелательно), то всего человѣчества въ будущемъ. Уваженіе, говорить онъ, исходитъ отъ разума, а не отъ чувства; оно дается намъ даже наперекоръ собственнымъ нашимъ желаніямъ. Такова ужъ сила теоретической истины, что если она даже неприятна намъ, если она не улучшаетъ нашего положенія, и то мы должны преклониться предъ ней и тѣми, кто ее возвыщаетъ. Конечно, тутъ не слѣдуетъ только забывать, что по убѣжденію Шопенгауера—истина отнюдь не должна служить человѣку.

Обратившись къ ученію Шопенгауера, мы увидимъ, какіе глубокіе слѣды во всѣхъ частяхъ этого ученія оставило подобное отношеніе его къ людямъ, его оторванность отъ нихъ и его презрѣніе ко всему общечеловѣческому. А теперь намъ остается еще отмѣтить то поучительное обстоятельство, что въ личной его жизни эти характеристическія черты генія пессимиста были источникомъ крайне болѣзненной раздвоенности его душевнаго міра. Въ теоріи онъ смѣло утверждалъ, что пошлость, низменность, ординарность не напрасно обозначается на нѣмецкомъ языкѣ тѣмъ-же словомъ «gemein», что и понятіе общности, всеобщности (замѣтимъ, что это относится также и къ французскому, и къ русскому языку—Тредьяковскій называлъ свои сочиненія «пошлыми» въ томъ смыслѣ, что они хорошо расходятся). По его убѣжденію, объясняется это тѣмъ, что все общее человѣческому роду (т. е. нормальный умъ и рѣшительно всякое чувство) дѣйствительно низменно и пошло; а возвышенно и цѣнно только то, что рѣдко. Но его собственное стремленіе уйти подальше отъ людей и всего общечеловѣческаго обошлось ему очень не дешевой цѣной,—какъ мы уже сказали, цѣной тяжелой душевной раздвоенности.

Самый прочный фундаментъ этому былъ заложенъ уже въ молодости—всѣмъ характеромъ его образованія и воспитанія. До пятнадцати лѣтъ онъ успѣлъ прочесть главнѣйшихъ поэтовъ нѣмецкихъ, французскихъ и англійскихъ, и со всѣмъ огнемъ юности ухватился за тотъ фантастическій міръ, изображеніемъ котораго поэты и вообще всегда злоупотребляли, а въ особенности въ то время. Какъ ни желалъ отецъ сдѣлать изъ сына практическаго дѣловаго человѣка, а на самомъ дѣлѣ все воспитаніе сына ни отъ чего не отдаляло его до такой степени, какъ отъ практической жизни, т. е. отъ той живой дѣйствительности, на почвѣ которой каждый человѣкъ неизбежно долженъ строить свою дѣятельность, на что-бы она ни была направлена—на матеріальные цѣли или-же на самыя идеальныя. Юноша вплоть до 17-ти лѣтъ велъ праздную жизнь, все содержаніе которой почти цѣлкомъ

исчерпывалось наслаждениями умственными и эстетическими—онъ читалъ, игралъ на флейтѣ, любовался природою. И подобное времяпровожденіе продолжалось цѣлые мѣсяцы и даже цѣлые годы. При этомъ онъ былъ крайне далекъ рѣшительно отъ всего, кромѣ непосредственнаго удовольствія или неудовольствія, доставляемаго даннымъ занятіемъ. На этотъ счетъ мать въ одномъ письмѣ предостерегаетъ сына. Приводя слова Шиллера—*ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst* (т. е. жизнь серьезна, а искусство радостно), она предупреждаетъ сына, что жизнь готовить ему тяжелые разочарованія, если онъ ограничится пріятными занятіями искусствомъ, въ ущербъ «полезному». Самъ Шопенгауеръ впоследствии утверждалъ, что подобное воспитаніе дѣйствительно крайне вредно, но исходилъ при этомъ изъ совсѣмъ особыхъ соображеній—изъ того именно, что оно заставляетъ ожидать слишкомъ многого отъ жизни, т. е. представлять себѣ ее въ розовомъ свѣтѣ. Однако, относительно себя лично онъ полагалъ, что въ концѣ концовъ все вышло къ лучшему, такъ какъ благодаря отцовскому наслѣдству, низменная сторона жизни (т. е. забота о личномъ благосостояніи, о работѣ полезной людямъ, вообще всякая цѣлеобразная дѣятельность) осталась ему чуждою и онъ могъ до конца жизни свободно отдаваться непосредственному инстинкту, увлекавшему его въ область теоріи и отвлеченій. Тутъ онъ могъ работать не для своей пользы и не для помощи человѣчеству, а исключительно ради высокаго удовлетворенія, доставляемаго созерцаніемъ истины. Оттого онъ и сохранилъ на всю жизнь такую горячую благодарность къ отцу, что возможность безцѣльнаго гениальнаго созерцанія считалъ высочайшимъ блаженствомъ изъ доступныхъ человѣку, а все практическое, все полезное—глубоко и страстно презиралъ. И что-же? Не смотря на столь благоприятно сложившіяся обстоятельства, это «безполезное» созерцаніе было источникомъ самыхъ мучительныхъ душевныхъ страданій. Довольный своей матеріальной обеспеченностью, какъ возможностью не заботиться о глубоко презираемой матеріи, Шопенгауеръ всю жизнь не могъ избавиться отъ мысли, что блаженство это такъ-же легко и такъ-же независимо отъ него можетъ уйти, какъ независимо къ нему пришло.

Тутъ онъ чувствовалъ, что, не смотря на всю свою свободу въ области идей, самъ онъ вмѣстѣ со всѣми своими идеями состоитъ въ рабской зависимости отъ этой самой презрѣнной матеріи, а именно—отъ тѣхъ несчастныхъ талеровъ, которые лежали у банкировъ и давали ему проценты. Рабской она была потому, что безъ талеровъ онъ шагу ступить не могъ, а добывать ихъ собственными силами считалъ невозможнымъ, а главное—недостойнымъ генія. Этимъ объясняется вѣчно преслѣдовавшій его

страхъ потерять имущество; онъ вѣчно дрожалъ какъ-бы съ этимъ имуществомъ чего не случилось. Когда получалось письмо, онъ дрожащими руками вскрывалъ его; а когда оказывалось, что оно ничего дурного не содержитъ, онъ видѣлъ въ этомъ знакъ, что худшее еще предстоитъ въ будущемъ. Отсюда его вѣчная тревога, какъ-бы его не ограбили; онъ не довѣрялся бритвѣ цирюльника, онъ окружался оружіемъ всевозможныхъ родовъ, точно его ожидаетъ вооруженное нападеніе; свои цѣнныя бумаги онъ разсовывалъ по самымъ невозможнымъ мѣстамъ—между листами книгъ и рукописей, въ щели мебели и т. п. Отсюда-же и его болѣзненная подозрительность, его убѣжденіе, будто всѣ хотятъ его надуть и обидное недовѣріе (особенно сильное именно въ денежныхъ вопросахъ) даже къ ближайшимъ людямъ и лучшимъ друзьямъ. Словомъ, Шопенгауеръ былъ въ этомъ отношеніи истиннымъ мученикомъ. Искренно презирая и въ себѣ, и въ другихъ всѣ чувства и потребности, кромѣ потребностей знанія и художественнаго созерцанія, онъ въ дѣйствительности не могъ отрѣшиться отъ всѣхъ прочихъ человѣческихъ потребностей. Его презрѣніе, крайне искреннее, исходило отъ ума, деспотически стремившагося безраздѣльно завладѣть всѣмъ человѣкомъ; но природа человѣческая протестовала, и презираемый умомъ чувства все-таки предъявляли свои требованія къ обязательному исполненію. Вся бѣда была въ томъ, что, презирая ихъ, онъ не нашелъ въ себѣ силъ окончательно ихъ подавить (что могло-бы въ результатѣ только повредить самой умственной дѣятельности); для этого голосъ чувства былъ въ немъ слишкомъ силенъ. Но, съ другой стороны, онъ былъ слишкомъ слабъ, и слишкомъ велики были претензіи ума, чтобы онъ могъ отказаться отъ презрѣнія во всякой «полезной» цѣли умственной дѣятельности. Отсюда естественно должно было выйти то, что и вышло: не допуская оцѣнки и вознагражденія дѣятельности гевія съ точки зрѣнія ея полезности, Шопенгауеръ по-неволѣ принужденъ былъ поставить все свое личное существованіе, т. е. личную свою «пользу» въ зависимость отъ чего-то посторонняго, чужаго и потому случайнаго. Сознаніе этой зависимости не могло не вносить глубокой раздвоенности въ душу человѣка, видѣвшаго все свое достоинство въ независимости отъ всего въ мірѣ.

Но не одни матеріальныя обстоятельства мѣшали этой независимости. Дѣло въ томъ, что хотя Шопенгауеръ умомъ и презиралъ судъ людской, а въ особенности судъ современниковъ, но чувство опять-таки и въ этомъ отношеніи предъявляло свои самостоятельныя требованія,—и онъ всю жизнь не могъ помириться съ равнодушіемъ общества къ его дѣятельности. Особенно раздра-

жало его явное невниманіе публики, въ виду колоссальнаго успѣха Фихте, Шеллинга и Гегеля. Раздраженіе противъ этихъ мыслителей выходило у него изъ всякихъ границъ и подъ конецъ онъ рѣшительно не могъ обсудить никакого вопроса въ мірѣ, не вклеввъ какого-нибудь ругательства противъ ненавистныхъ соперниковъ. Въ высокой степени примѣчательно, что когда въ послѣднія десять лѣтъ его жизни, общество, наконецъ, обратило на него вниманіе и къ нему со всѣхъ сторонъ начали являться горячіе поклонники, тогда, по словамъ его біографа, онъ сталъ гораздо теплѣе и мягче въ своихъ отношеніяхъ къ людямъ. Прежде, говоритъ біографъ, онъ хотѣлъ жить ради борьбы съ противниками и врагами, а тутъ въ немъ проснулось чувство связи съ единомышленниками. Легко судить послѣ этого, какъ велико было противорѣчіе между чувствомъ, искавшимъ одобренія людей, и умомъ, высокоумѣрно презиравшимъ все человѣчество, его интересы и требованія.

Таковы были плоды эмансипаціи ума отъ чувства въ личной жизни Шопенгауера.

Теперь обратимся къ его ученію.

III.

Невозможно безотрадно смотрѣть на дѣйствительность, чѣмъ смотрѣлъ Шопенгауеръ. По его убѣжденію, весьма еще недостаточно бросить старый предразсудокъ, будто природа заботится о нашемъ благополучіи, или выражаясь безъ всякихъ фигуръ,—будто въ природѣ все устроено къ лучшему для насъ. Это было-бы все не такъ ужъ печально; на этомъ условіи еще легко помириться съ жизнью, потому что тутъ человѣку остается полная возможность опереться на собственную энергію и собственными силами отвоевать себѣ счастье. Но, къ сожалѣнію, подобное утѣшеніе совершенно напрасно; рано или поздно мы должны открыть глаза и убѣдиться, что сколько-бы мы ни старались, сколько-бы ни стремились добиться счастья, а ничего хорошаго изъ этого выйти не можетъ. Мы должны понять, что природа не только не заботится о нашемъ благополучіи, а точно смѣется надъ нами систематически навязывая намъ, вмѣсто нашихъ человѣческихъ цѣлей, свои собственныя. Она хитро обманываетъ насъ, влагая въ насъ стремленіе къ счастью и заставляя вѣрить, что счастье достижимо; между тѣмъ на самой дѣлѣ всѣ наши стремленія только неуклонно влекутъ насъ къ ея вѣчнымъ цѣлямъ, а намъ самимъ, если и дадутъ кое-какія крохи счастья, то самыя жалкія. Стоитъ понять этотъ обманъ, чтобы наотрѣвъ отказаться отъ этой не-

привлекательной и неинтересной роли и, взвѣсивши такимъ образомъ цѣну своихъ стремленій, безъ всякаго сожалѣнія отрѣшиться отъ нихъ, а вмѣстѣ съ ними и отъ жизни.

Но какъ-же убѣдиться въ этомъ обманѣ? И прежде всего, какія цѣли преслѣдуетъ природа, чему заставляеть она служить человѣка?

Собственно, у нея одна только единственная цѣль, одно единственное стремленіе—это стремленіе къ жизни, къ существованію, но не индивидуума, а рода. И она очень откровенно обнаруживаетъ свою истинную цѣль, предоставляя судьбу индивидуума на волю случая и обезпечивая существованіе рода всевозможными способами, самымъ тщательнымъ, самымъ заботливымъ образомъ. Посмотрите, въ самомъ дѣлѣ, вокругъ себя. Вотъ предъ вами на дорогѣ насѣкомое: незначительное бессознательное движеніе ноги вашей рѣшаетъ вопросъ его жизни и смерти. Вотъ слизнякъ, безъ средствъ къ бѣгству, къ защитѣ, къ обману или къ укрывательству. Это готовая жертва для всякаго. Вотъ рыба, беззаботно играющая въ открытой сѣткѣ; вотъ птица, не замѣчающая рѣщаго надъ ней сокола; вотъ овечка, которую волкъ смѣриваетъ жаднымъ взглядомъ... Словомъ, вездѣ природа выражаетъ свое равнодушіе къ индивидууму, предоставляя его, не говоря уже о кровожадности сильнѣйшаго, слѣпому случаю, произволу перваго встрѣчнаго дурака, капризу ребенка. И чтобы защитить его, чтобы дать ему возможность бороться съ голодомъ и сопротивляться смерти, она даже въ самыхъ благоприятныхъ случаяхъ надѣляетъ индивидуума ровно въ обрѣзъ, да и то всегда пользуясь имъ для своей цѣли, т. е. для продолженія рода. Если при этомъ иногда у индивидуума и является нѣкоторый избытокъ силъ, позволяющій ему отвѣдать личнаго счастья, то такъ рѣдко и въ такой незначительной степени, что невозможно считать это цѣлью природы: слишкомъ ужъ ничтоженъ былъ-бы результатъ въ сравненіи съ колоссальной работой, происходящей въ природѣ. Между тѣмъ, посмотрите, съ другой стороны, какъ заботливо обставлено существованіе и продолженіе рода. Тутъ природа не скупится, не предоставляетъ дѣла случаю, а обезпечиваетъ его самыми вѣрнѣйшими средствами. Щедрою рукой сыплетъ она во всѣ стороны безконечное число зародышей, и ужъ ничего и никого не жалѣеть. Чтобы только вновь и вновь создавать ихъ, давать имъ жизнь и развивать ихъ. Тутъ мы имѣемъ откровенное указаніе на то, что только ради этой цѣли ей и нужны индивидуумы, и что если она имъ даетъ силы, то исключительно ради нея; прочее, что при этомъ получается, есть просто побочный, второстепенный результатъ, болѣе или менѣе случайный и, такъ сказать, паразитный.

То есть иногда онъ и явится, а иногда нѣтъ. Между тѣмъ какъ главная цѣль въ самомъ подавляющемъ числѣ случаевъ достигается (это-то и есть сильнѣйшій признакъ того, что она главная). Такъ, что индивидуумъ, по выраженію Шопенгауера, получаетъ свое существованіе только заимообразно у цѣлаго рода, съ тѣмъ, чтобы служить ему и осуществлять его цѣли.

Особенно ясно это обнаруживается у насѣкомыхъ, для большинства которыхъ актъ оплодотворенія влечетъ за собой немедленную смерть. Въ связи съ этимъ замѣчается и обратное явленіе у тѣхъ-же насѣкомыхъ:—инымъ изъ нихъ при половомъ воздержаніи удается дожить до слѣдующей весны. У прочихъ животныхъ и у людей воспроизводительная дѣятельность тоже отнимаетъ очень много силъ, и разъ она въ извѣстномъ возрастѣ прекратилась, это служитъ признакомъ, что индивидуумъ идетъ на встрѣчу смерти: онъ, значить, больше не нуженъ роду. Любопытны нѣкоторые факты, свидѣтельствующіе, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ, когда индивидуумъ не потерялъ еще способности къ продолженію рода, а между тѣмъ почему-нибудь смерть близка, родъ точно торопится взять свою контрибуцію, пока еще есть время.

Такъ, напримѣръ, замѣчено, что чахоточныя женщины въ послѣдній періодъ болѣзни легко заберемениваютъ и затѣмъ во все время беременности болѣзнь пріостанавливается, возвращаясь съ особенной силой уже послѣ родовъ. Точно также и у чахоточныхъ мужчинъ въ послѣдніе годы жизни обыкновенно является усиленная половая дѣятельность. Аналогичный въ этомъ отношеніи случай приводится у Океа касательно мухъ: если отравить самца мышьякомъ, то онъ предъ смертью еще совершитъ оплодотвореніе.

Но съ особенной силой предпочтеніе природы къ интересамъ рода обнаруживается въ томъ замѣчательномъ обстоятельстве, что побуждая эгоизмъ индивидуума, она заставляетъ и его самого отдавать предпочтеніе интересамъ рода предъ своими собственными. Она влагаетъ въ него страстную любовь къ своему потомству и не менѣе страстное половое влеченіе, и оба эти чувства дѣйствуютъ въ индивидѣ не въ примѣръ сильнѣе, чѣмъ рѣшительно всѣ остальные, т. е. чисто индивидуальныя интересы. Излишне приводить примѣры геройскаго самоотверженія, съ которыми родители отдають свою жизнь ради дѣтей. Изъ жизни животныхъ извѣстны просто изумительные случаи этого рода. Но они слишкомъ общезвѣстны и значеніе ихъ, само собой понятно. Гораздо менѣе ясно значеніе половой страсти; а между тѣмъ, по убѣжденію Шопенгауера, явленіе это съ особенной силой доказы-

ваетъ, что въ рукахъ природы индивидуумъ есть только могущественное орудіе для достиженія постороннихъ ему цѣлей и, вмѣстѣ съ тѣмъ, жертва крупнѣйшаго и несомнѣннаго обмана.

Что можетъ быть сильнѣе половой страсти? Развѣ она не все пересиливаетъ, не все побѣждаетъ? Развѣ не жертвуютъ изъ-за любви всѣмъ рѣшительно—и деньгами, и славой, и честью? Въ какой области обнаруживаютъ люди меньше совѣстливости, какъ не въ любви,—вѣдь даже самые порядочные и хорошіе, будучи увлечены страстью, какъ ни въ чемъ не бывало нарушаютъ самыя дорогія свои убѣжденія, самыя возвышенныя стремленія свои. Съ какой невѣроятной выдержкой, съ какими поразительнымъ упорствомъ побѣждаются всѣ препятствія на пути любви! Можно считать, что половина всѣхъ силъ и мыслей молодого поколѣнія посвящена любви. Любовь всюду проникаетъ, ни предъ чѣмъ не останавливается и ничѣмъ не смущается. Она ухитряется бросить любовную записку въ портфель министра и папильотку въ манускриптъ философа. На чемъ построено главное содержаніе всевозможныхъ драматическихъ произведеній—и трагическихъ, и комическихъ, и классическихъ, и романтическихъ, и индѣйскихъ, и европейскихъ,—на чемъ, какъ не на любви? А лирическія произведенія, а большинство эпическихъ, а сотни нашихъ современныхъ романовъ! Что можетъ сравниться съ отчаяньемъ тѣхъ, кто потерпѣлъ неудачу въ любви? Уныніе, апатія, упадокъ всѣхъ силъ, нежеланіе жить и самоубійство—вотъ самыя обычные результаты любовныхъ неудачъ.

Невозможно допустить, говоритъ Шопенгауеръ, чтобы эта могучая стихійная сила, двигающая человѣкомъ, какъ тѣшкой, была орудіемъ индивидуальнаго блага, особенно если принять во вниманіе, что счастье, даваемое любовью, чуть-ли не самое переходящее изъ всѣхъ, самое мимолетное. Уже одни необычайные размѣры этой силы приравнены къ цѣлямъ болѣе крупнымъ и широкимъ, чѣмъ интересы индивидуума, которые благодаря ей удовлетворяются. На то-же самое настойчиво указываютъ и другія обстоятельства. Не даромъ поэты, изображая томленія любви, говорятъ о «безконечномъ» блаженствѣ, рисуящемся въ воображеніи влюбленнаго, о «невъразимыхъ» мукахъ отвергнутой любви. Дѣло все въ томъ, что только родъ имѣетъ безконечное существованіе, а не индивидъ, и поэтому только роду соотвѣтствуютъ и «безконечная» страсть, и «безконечное» удовлетвореніе, и «безконечное» горе. Нѣтъ ничего удивительнаго, что когда безконечное заключено въ тѣсную грудь смертнаго, эта грудь готова разорваться и человѣкъ не находитъ выразеній для своихъ чувствъ. Отсюда всѣ эти гиперболы поэтовъ, эпитеты «неземной» страсти и т. п. Въ стра-

даніяхъ влюбленнаго, говорить Шопенгауеръ, слышатся вздохи генія рода.

Кромѣ того, стоитъ внимательно разсмотрѣть условія любовной страсти, чтобы получить цѣлый рядъ доказательствъ, что страсть преслѣдуетъ интересы рода, а не индивида. Прежде всего надо замѣтить, что въ любви не столько дорожатъ взаимностью, сколько обладаніемъ. Это очень характеристично. Бъ тому-же любовь часто уживается съ презрѣніемъ, даже ненавистью. Поэтому женщины можетъ отлично сознавать всѣ недостатки невѣсты, и все таки испытывать къ ней любовную страсть;—онъ, значить, не свои интересы блюдетъ, а интересы потомства, рода. Только этимъ можно объяснить, почему даже замѣчательно умные люди то и дѣло женятся на Ксантинахъ. Поэтому-же браки по страсти такъ рѣдко бывають счастливы,—ибо подъ влияніемъ страсти человѣкъ дѣлаетъ выборъ не для себя, а для рода; за него выбираетъ геній или демонъ рода. Во власть этого демона индивидъ попадаетъ руководимый силой своего инстинкта, вложеннаго въ него природой. Насѣкомое подъ влияніемъ инстинкта тщательно выбираетъ цвѣтокъ или плодъ, чтобы положить свои яички въ совершенно опредѣленное, подходящее мѣсто, и въ виду этой цѣли не щадитъ труда и не боится никакой опасности. Тотъ-же самый инстинктъ заставляетъ человѣка искать любви *извѣстной*, опредѣленной женщины, часто наперекоръ прямымъ своимъ интересамъ. И всегда его выборъ диктуется исключительно интересами рода. Для рода важна молодость, и человѣкъ готовъ помириться съ безобразной возлюбленной, лишь-бы она была молода. Точно также для рода очень важна способность матери къ кормленію, и соотвѣтственно этому мужчину привлекаетъ полнота бюста. Между тѣмъ какъ то, что индивиду лично интересно, нисколько не связано съ любовью (т. е. съ половой): мужчина и женщина могутъ очень уважать другъ друга, быть очень дружными, и въ то-же время не только не чувствовать взаимной половой склонности, а даже испытывать нѣкоторое отвращеніе въ этомъ отношеніи. Это показываетъ, говорить Шопенгауеръ, что ихъ бракъ не даль-бы хорошаго потомства.

Съ особенной силой интересы рода отражаются на женщинѣ. У нея они овладѣли всѣмъ,—и ея характеромъ, и всѣмъ ея существомъ. Отдавшись имъ цѣликомъ, она не знаетъ никакихъ интересовъ внѣ ихъ. Блюсти интересы рода—ея исключительная профессія. И всякая женщина, говорить Шопенгауеръ, чувствуетъ это, если ни одна изъ нихъ и не сознаетъ этого. Подтверждается это очень многими явленіями и, между прочимъ, совершенно особеннымъ характеромъ отношеній между женщинами. Мужчины по

природѣ только равнодушны другъ къ другу, а женщины—природные враги-соперники. При встрѣчѣ на улицѣ онѣ взглядываютъ другъ на друга точно Гвельфы и Гибеллины; при первомъ знакомствѣ двухъ женщинъ между собой, онѣ обнаруживаютъ крайнюю принужденность, которая если у мужчинъ въ подобныхъ случаяхъ и проявляется, то въ гораздо меньшей степени. Поэтому-то такъ и смѣшно, когда женщины обвиняются любезностями. Тѣмъ-же самымъ объясняется, что никогда мужчина не отнесется такъ высокоумно къ человѣку низшаго сословія, какъ женщина; зависить это отъ того, что если снять со счета разницу сословную, то между всѣми женщинами, благодаря односторонности ихъ призванія, очень небольшое разстояніе, а поэтому онѣ и стараются преувеличить значеніе сословныхъ различій. Приведемъ еще одну замѣчательную черту того-же рода: хотя женщины чувствительнѣе къ страданіямъ ближняго, но справедливость и нравственность совершенно чужды имъ. Зависить это не столько отъ недостатка ума, сколько отъ того, что ими руководить ихъ врожденный кодексъ нравственности. Согласно съ нимъ, онѣ чувствуютъ себя въ правѣ никогда не щадить интересовъ индивида, коль скоро дѣло касается интересовъ рода, порученныхъ природой ихъ исключительнымъ попеченіямъ. Тутъ онѣ считаютъ все позволительнымъ и ни передъ чѣмъ не считаютъ нужнымъ останавливаться. Разумѣется, не можетъ быть и рѣчи о томъ, чтобы во всемъ этомъ ими руководилъ сознательный принципъ пользы рода. Напротивъ, ихъ никогда не покидаетъ убѣжденіе, что онѣ дѣйствуютъ въ видахъ собственныхъ личныхъ своихъ интересовъ. Въ этомъ-то и заключается колоссальный обманъ, которому вмѣстѣ съ ними подвергается и другая половина человѣческаго рода—вѣдь и мужчина всегда увѣренъ, что любовная страсть ведетъ его къ личному счастью.

Подводя итогъ своимъ соображеніямъ о половой любви и тѣмъ фактическимъ даннмъ, которыя имъ по этому поводу приводятся, Шопенгауеръ приходитъ къ слѣдующему выводу. Если личность принимаетъ такое страстное, хотя и бессознательное участіе въ интересахъ безсмертнаго рода, то это можетъ быть объяснено только тѣмъ, что извѣстной своей стороною она сама причастна къ безсмертію,—а именно въ той степени, въ какой она образуетъ неразрывное цѣлое съ родомъ. Если принять во вниманіе, что и родъ въ свою очередь составляетъ только часть безконечной вселенной, то съ этой точки зрѣнія индивидъ есть только смертный представитель безсмертной (т. е. безконечной) жизненной струи, дающей существованіе и смертному индивиду, и безсмертному роду, и' безконечной дѣйствительности. Эту могучую

струю жизни Шопенгауеръ называетъ «волей», или, что все равно, волей къ жизни, волей къ существованію. И именно въ ней, въ ея природныхъ свойствахъ заключается разгадка всего существующаго.

Въ умѣ читателя, безъ всякаго сомнѣнія, «воля» неизбѣжно связывается съ представленіемъ о сознательномъ стремленіи къ опредѣленной цѣли. Но чтобы уразумѣть Шопенгауера, надо совершенно отказаться отъ такого пониманія этого выраженія. Уже изъ того, что мы все время говорили о стремленіяхъ природы, о цѣляхъ рода, видно, что тутъ не можетъ быть никакой рѣчи о сознаниі, т. е. о сознаваемыхъ природой или родомъ стремленіяхъ и цѣляхъ. Сознаніе доступно только индивидууму, а стремленія существуютъ и въ неорганической природѣ—камень стремится упасть, частицы кислоты стремятся вступить въ извѣстную комбинацію съ частицами соли, соль стремится при извѣстныхъ условіяхъ принять правильную кристаллическую форму. И такъ все, что существуетъ. Вотъ эти-то стремленія, или, выражаясь иначе, ту пружину, ту силу, которая заставляетъ все существующее стремиться въ какомъ-нибудь направленіи, Шопенгауеръ и называетъ волей.

На первый взглядъ можетъ показаться, что это то-же самое, что и сила. И тогда возникаетъ вопросъ,—почему понадобилось дать новое обозначеніе старому понятію? Но въ томъ-то и дѣло, что подъ именемъ воли Шопенгауеръ имѣлъ въ виду также и новое понятіе, кореннымъ образомъ отличающееся отъ понятія силы.

Разница между ними была бы только словесная, если-бы и объ томъ, и о другомъ мы судили исключительно путемъ отвлеченія, т. е. если-бы и о характерѣ, и о самомъ существованіи того и другого мы только умозаключали. Оно дѣйствительно все равно приписывая явленія жизни чему-то неизвѣстному, называть-ли это неизвѣстное «силой» или «волей». Но тутъ-то и видна коренная разница между ними. «Сила» въ самомъ дѣлѣ есть для насъ только названіе только обозначеніе неизвѣстнаго явса; это не больше, какъ отвлеченное понятіе, извлеченное помощью умственныхъ операций изъ конкретныхъ явленій, и ничего собственно не прибавляетъ къ нимъ. Совсѣмъ другое—воля. Это не отвлеченное понятіе, а нѣчто непосредственно знакомое намъ изъ нашего внутренняго міра. Поэтому, объясняя явленія жизни при помощи воли, мы дѣйствительно объясняемъ ихъ, ибо сводимъ на то, что намъ извѣстно. Мало того,—на то, что намъ болѣе непосредственно, болѣе близко знакомо, чѣмъ что-бы то ни было, потому что на все другое мы смотримъ съ вѣшной стороны, а «волю» знаемъ съ внутренней.

А это очень важное обстоятельство. Дѣло въ томъ, что о всѣхъ свойствахъ внѣшняго міра и даже о его существованіи мы судимъ только чрезъ посредство нашихъ чувствъ; мы, значитъ, знаемъ не самый внѣшній міръ, а только то, какимъ онъ намъ представляется, т. е., какъ онъ отражается въ насъ, а не каковъ онъ самъ по себѣ. Внутренній-же міръ данъ намъ совершенно непосредственно въ нашемъ самосознаніи. И, — замѣчательный фактъ, — этотъ-то единственный источникъ самаго интимнаго, непосредственнаго знанія даетъ намъ исключительно одни только модификаціи воли, т. е. всевозможные виды, роды и степени ея. Тутъ предъ нами дѣлая безконечная лѣстница ея разновидностей: стремленія, порывы, желанія, потребности, надежды, любовь, томленіе, радость и отвращеніе, ненависть, гнѣвъ, боязнь, горе, страданіе, — каждое изъ этихъ чувствъ, каждая изъ страстей по своему влечетъ человѣка къ одному и отстраняетъ, удаляетъ отъ другого. Къ тому-же сводятся и чувства удовольствія и неудовольствія, со всѣмъ разнообразіемъ ихъ родовъ и видовъ. Только одни такъ называемыя ощущенія внѣшнихъ чувствъ, воспринимающихъ впечатлѣніе отъ внѣшняго міра, не имѣютъ отношенія къ волѣ. Но это зависитъ отъ того, что они всецѣло поглощены внѣшнимъ міромъ.

Такимъ образомъ «воля» есть не то-же самое, что сила, и приписывая явленія жизни дѣйствию воли, мы сводимъ ихъ на то, что намъ всего непосредственнѣе знакомо.

Но какое-же, спрашивается, основаніе имѣемъ мы переносить фактъ душевной жизни человѣка на остальной міръ, т. е. считать волю первымъ двигателемъ (*primum mobile*) всего существующаго?

Дѣло въ томъ, что сравнивая между собой произвольныя дѣйствія человѣка съ инстинктивными дѣйствіями животнаго, мы видимъ, что вся разница между ними сводится къ различному участию сознанія (а не воли) въ явленіяхъ того и другого рода. Въ произвольныхъ поступкахъ — дѣйствія воли опредѣляется болѣе или менѣе сложными и отвлеченными соображеніями, а въ инстинктивныхъ — непосредственными конкретными представленіями; но въ обоихъ случаяхъ дѣйствуетъ все та-же воля. Причемъ напряженность ея нисколько не ослабѣваетъ въ зависимости отъ уменьшенія сознанія; напротивъ того, сплошь и рядомъ у животныхъ замѣчается большая страстность, большая порывистость чувствъ чѣмъ у человѣка. Обращаясь затѣмъ къ растительнымъ процессамъ (то-есть общимъ растенію, животному и человѣку), мы видимъ, что тутъ ту-же роль, что сознаніе въ произвольныхъ процессахъ, играетъ физиологическое раздраженіе. Бромъ того, человѣкъ по себѣ знаетъ, что одно и то-же дѣйствіе, напримѣръ, сокращеніе зрачка, выдѣленіе слезъ, ускореніе или замедленіе кро-

воображенія—все это можетъ быть одинаково возбуждено и сознательнымъ образомъ, и также путемъ раздраженія физиологическаго. А такъ какъ въ обоихъ случаяхъ каждый подобный процессъ невозможенъ безъ соответственныхъ физиологическихъ условій, то разница между этими случаями исчерпывается присутствіемъ или отсутствіемъ сознанія и обуславливающихъ его органическихъ явленій. Если-же это такъ, то какое имѣемъ мы основаніе приписывать явленіе въ одномъ случаѣ волѣ, а въ другомъ—чему-нибудь другому? Гораздо послѣдовательнѣе, разсуждать Шопенгауеръ, считать, что въ случаяхъ обоего рода дѣйствуетъ одна и та же воля, но одинъ разъ—чрезъ посредство сознанія, а другой—путемъ раздраженія. Заключение это не имѣло-бы основанія, если-бы подъ вліяніемъ сознанія характеръ органическаго явленія становился существенно инымъ: между тѣмъ она до такой степени схожи, что физиологъ, разсматривая такъ называемыя произвольныя движенія, никогда-бы не предположилъ въ нихъ участія актовъ воли, если-бы не имѣлъ предъ собою собственнаго внутренняго міра. По этому приподнятому краю завѣсы, по этому единственному случаю подглядѣть тайну природы, каждый изъ насъ обыкновенно судитъ не только обо всѣхъ людяхъ, но и о животныхъ, приписывая имъ, аналогично съ собой, волю. Мы не станемъ излагать здѣсь длиннаго ряда фактическихъ данныхъ и отвлеченныхъ соображеній, приводимыхъ Шопенгауеромъ въ свидѣтельство того, какъ глубоко заложены акты воли во всѣхъ процессахъ жизни человѣческой и животной. Для насъ достаточно отмѣтить, что изъ совокупности ихъ онъ выводитъ, что сознаніе есть явленіе производное, вторичное, а воля—нѣчто первичное, коренное, способное существовать и дѣйствительно существующее совершенно независимо отъ сознанія, и вмѣстѣ съ тѣмъ—дѣятель общій не только всему органическому міру, но и неорганическому. Въ послѣднемъ воля проявляется какъ сила тяготѣнія, какъ упругость, какъ химическое средство и т. д.

Сказаннаго достаточно, чтобы не оставить мѣста недоразумѣніямъ на счетъ основнаго характера и значенія того всеміроваго дѣятеля, который называется у Шопенгауера «волей».

Теперь мы можемъ понять, почему эта невнятная воля къ существованію, проникая во все существо человѣка, не позволяетъ ему отвязаться отъ себя, почему она не зависитъ ни отъ его личныхъ желаній, ни отъ его умственныхъ соображеній:—это неумолимый и могущественный законъ природы, неистребимое свойство жизни, самая ея сущность. А человѣкъ есть только одно изъ частныхъ проявленій этого закона и покорное его орудіе.

Но этимъ еще не объясняется другая сторона вопроса... А

именно—не видно, почему природа, осуществляя свою слѣпую, безпредметную «волю» къ существованію, не можетъ гармонировать съ индивидуальнымъ счастьемъ? Почему, спрашивается, слѣдую своимъ бессознательнымъ стремленіямъ, должна она неизбѣжно обманывать человѣка? Совершенно естественно, совершенно попятно, что дѣятель, общій всему существующему, относится одинаково и къ человѣку, и къ лопуху, который изъ него послѣ вырастетъ. Но спрашивается, по какимъ причинамъ дѣятель этотъ загоразиваетъ человѣку возможность самому заботиться о своемъ счастьѣ и осуществлять свои человѣческія цѣли?

Отвѣтъ Шопенгауера совершенно безнадеженъ: онъ утверждаетъ, что само счастье, къ которому человѣкъ стремится, самыя цѣли, въ которыхъ ему видится счастье—все это плодъ одного только недоразумѣнія.

IV.

Всѣ мы, по выраженію Шиллера, рождены въ Аркадіи, т. е. вступаемъ въ жизнь полныя притязаній на счастье и наслажденіе. И каждый изъ насъ, говоритъ Шопенгауеръ, питаетъ глупую надежду испытать то и другое. Но въ свое время каждый принужденъ открыть глаза и понять, что всѣ радости жизни не что иное, какъ одинъ миражъ, соблазняющій только съ разстоянія и исчезающій при приближеніи къ нему, и что наоборотъ—только боль и страданіе дѣйствительно реальны, не опираются ни на обманъ, ни на иллюзію и непосредственно намъ знакомы.

Что страданіе въ самомъ дѣлѣ есть нѣчто положительное и чувствуется нами непосредственно, а удовольствіе всегда отрицательно и доступно намъ только обходнымъ путемъ отвлеченія—на это указываетъ цѣлый рядъ фактовъ. Если все тѣло здорово и находится въ удовлетворительномъ состояніи и только какой-нибудь самый незначительный органъ составляетъ въ этомъ отношеніи исключеніе, напримѣръ, гдѣ-нибудь сдѣланъ самый пустой порѣзъ,—въ такомъ случаѣ удовлетворительное состояніе цѣлаго не доходитъ до сознанія, а боль отъ порѣза привлекаетъ къ себѣ все вниманіе; въ результатѣ все настроеніе испорчено. То-же самое можно замѣтить не въ одной физической сферѣ. Если всѣ наши потребности удовлетворены, кромѣ одной какой-нибудь, мы больше обращаемъ вниманія на послѣднюю, чѣмъ на всѣ остальныя, хотя-бы эта одна была самая незначительная. Вообще развѣ мы не видимъ на каждомъ шагу, что удовлетвореніе нашихъ потребностей само по себѣ нисколько не цѣнится нами; хотя счастье и удовольствіе не могутъ быть ничѣмъ инымъ, какъ удовлетвореніемъ нашихъ потребностей, но *чувство* удовольствія, *ощущеніе*

счастья мы испытываемъ только когда счастье или удовольствіе являются избавленіемъ отъ страданія. И только въ этомъ смыслѣ мы и цѣнимъ всякое удовольствіе. Вотъ почему все благопріятствующее нашему благосостоянію мы замѣчаемъ только тогда, когда оно уже потеряно для насъ; это одинаково относится ко всевозможнымъ благамъ земнымъ и къ богатству, и къ здоровью, и къ славѣ, и ко всему рѣшительно. И вотъ почему насъ такъ радуешь воспоминаніе о перенесенныхъ болѣзняхъ, страданіяхъ и всякихъ лишеніяхъ; это *единственное* средство насладиться теперешнимъ благосостояніемъ. Все это согласно Шопенгауеру указываетъ на одно и то-же. Какъ потокъ не бурлитъ, если не встрѣчаетъ препятствій, такъ и удовлетвореніе нашихъ потребностей не доставляетъ намъ удовольствія, если предварительно не возникло никакихъ препятствій этому удовлетворенію, а само по себѣ чувство удовольствія намъ недоступно.

Такимъ образомъ, только неудовольствіе, боль, горе, страданія положительны; а всякое счастье отрицательно и заключается въ устраненіи страданій. И не отъ случая это зависитъ, не отъ тѣхъ или другихъ частныхъ обстоятельствъ, не отъ вѣдшихъ причинъ, а напротивъ—глубоко, въ самой природѣ челоуѣка коренится этотъ порядокъ вещей. Дѣло въ томъ, что удовольствіе и счастье непремѣнно состоятъ въ удовлетвореніи потребностей, стремленій или желаній. Значитъ, послѣднее есть условіе, необходимо предшествующее счастью. А между тѣмъ оно означаетъ недостатокъ, нужду въ чемъ-нибудь. Отсюда и слѣдуетъ неизбежно, что всякое удовольствіе есть устраненіе недостатка или нужды какой-нибудь, т. е. устраненіе страданія, и совершенно естественно, что ничѣмъ другимъ быть не можетъ. Не можетъ оно, значитъ, быть положительнымъ. Съ другой стороны, вмѣстѣ съ удовлетвореніемъ желанія или стремленія, само оно пропадаетъ, а съ нимъ пропадаетъ и наслажденіе. Выходитъ, что пока потребность не удовлетворена, мы страдаемъ, а разъ она удовлетворена, удовольствія больше нѣтъ. Что-же остается на долю удовольствія? Самый краткій промежутокъ времени, почти одно только мгновеніе перехода отъ страданія къ состоянію безразличія. Но такъ какъ всякое удовлетворенное желаніе есть только начало возникновенія новаго желанія и новыхъ потребностей, а значитъ—новой неудовлетворительности и новыхъ страданій, то вся эта никогда не останавливающаяся погоня за счастьемъ есть не что иное, какъ страданіе безъ конца и безъ цѣли.

Если-же и представить себѣ, что наступилъ конецъ этой утомительной и обманчивой смѣнѣ формъ, то результатъ оказался-бы чуть-ли не еще худшимъ. Вѣдь, стоитъ только всѣмъ желаніемъ,

стремленіемъ и потребностямъ быть удовлетворенными, и новымъ не возникать, какъ наступить удручающая душа скука, чувство страшной пустоты. Попавши въ подобное положеніе, человѣкъ не знаетъ что дѣлать со своимъ временемъ, чѣмъ его наполнить. Шопенгауеръ говоритъ, что если-бы все человѣчество пришло къ этому, то люди отъ скуки и досады перегрызли-бы другъ другу горло.

Такимъ образомъ, неизбѣжный удѣлъ человѣка, вѣчно колебаться между двумя опасностями, одинаково страшными: съ одной стороны нужда, лишенія, страданія, а съ другой—скука и пустота.

Таковы, можно сказать, два полюса человѣческой жизни! И въ дѣйствительной жизни человѣкъ никакъ не можетъ избавиться одновременно и отъ того, и отъ другого изъ этихъ двухъ золь. Одни всю жизнь борются съ нуждой, бѣдностью, болѣзнями, а другіе только и знаютъ, что ищутъ случая убить время—курить, пить, играютъ въ карты, путешествуютъ, читаютъ романы и т. д.

Стоитъ понять неизбѣжность этого порядка вещей, говоритъ Шопенгауеръ, чтобы убѣдиться въ полной ничтожности всякаго счастья. Если мудрый и не рѣшится въ виду всего этого совсѣмъ отказаться отъ жизни, то по крайней мѣрѣ онъ откажется отъ легкомысленной погони за наслажденіями. Понимая, что только страданія непосредственны и положительны, онъ будетъ считать мѣриломъ своего благосостоянія степень отсутствія страданій. Если прибавить къ отсутствію страданій еще отсутствіе скуки, то возможная степень земного благоденствія будетъ достигнута. И мудрый долженъ понять, что все прочее есть химера. Вмѣстѣ съ тѣмъ, его ни коимъ образомъ не долженъ соблазнять случай купить наслажденіе цѣною страданія или даже цѣною риска испытать страданіе. Ибо, разсуждаетъ Шопенгауеръ, нѣтъ никакого смысла покупать отрицательное цѣною положительнаго.

Но въ томъ-то и дѣло, что громадное большинство людей отворачивается отъ этого рода истинъ, какъ отъ горькаго лекарства, и утѣшаетъ себя себя мыслью, что причина человѣческихъ страданій лежитъ не въ собственной природѣ человѣка, а въ частныхъ, случайныхъ, чисто вѣшнихъ условіяхъ жизни.

Откуда-же, спрашивается, эта увѣренность? Гдѣ источникъ той почти непобѣдимой энергіи, съ которой человѣкъ вѣчно борется за свое счастье и вѣчно надѣется совладать со страданіемъ, со всякими бѣдами и всякимъ зломъ? Вѣдь, не дешевой цѣной дается ему эта настойчивость!

Шопенгауеръ отказывается признать тутъ что-нибудь сознательное и какой-нибудь смыслъ; единственной разгадкой этого замѣчательнаго явленія онъ считаетъ «волю», т. е. слѣпую силу,

которая властно распоряжается человеком и скрыто руководить имъ во всѣхъ его дѣйствіяхъ и побужденіяхъ. Если-бы двигателемъ человека было сознаніе, а съ нимъ—ясное пониманіе конечной цѣли, въ такомъ случаѣ онъ былъ-бы гораздо разборчивѣе: онъ-бы строже судилъ жизнь, ввѣшивалъ-бы данныя за и противъ нея, подвергалъ-бы сравнительной оцѣнкѣ относительное значеніе горя и радости, приходящихся на его долю. Между тѣмъ, въ дѣйствительности человекъ въ подавляющемъ числѣ случаевъ держится за жизнь и страстно любитъ ее даже наперекоръ всему, не ввѣряя на самыя несчастныя обстоятельства, не смотря на явный перевѣсъ страданій надъ наслажденіями и на полную безнадежность своего положенія. Пусть оно будетъ безнадежно, пусть рассчитывать на успѣхъ рисковано до послѣдней степени, а человекъ (за самыми немногими исключеніями) всѣми силами своей души привязанъ къ жизни и отдаетъ ей предпочтеніе предъ небытіемъ. Дѣло все въ томъ, что тутъ дѣйствуетъ вовсе не сознаніе конечной цѣли, не ея привлекательная сила, а стихійное вліяніе слѣпой воли. Роль стимула, говоритъ Шопенгауеръ, играетъ тутъ не то, что ожидаетъ впереди, а напротивъ—все рѣшаетъ бессознательная и безцѣльная воля, которая точно толкаетъ человека сзади, въ спину, и такимъ образомъ дѣйствуетъ насильно, независимо отъ сознанія или даже наперекоръ ему. Только этимъ объясняется бессознательность любви къ жизни, ея независимость отъ какихъ нибудь расчетовъ, соображеній и вообще доводовъ разума, а также и неисчерпаемость ея формъ и проявленій. Воля, какъ мы видѣли, по самой сущности своей есть стремленіе, желаніе, потребность, и потому, пока она существуетъ (а она существуетъ вездѣ, гдѣ есть жизнь, ибо она есть самое основаніе жизни), до тѣхъ поръ невозможно окончательное удовлетвореніе, т. е., другими словами—прекращеніе страданія. Вотъ почему всякое достиженіе данной частной цѣли, т. е. уничтоженіе даннаго рода страданія ведетъ только къ тому, что мѣняется одна форма, а самое страданіе не прекращается. Возрастъ, темпераментъ, вѣншіяя обстановка,—все разнообразить эти формы почти до безконечности. Удалось справиться съ нуждой, что уже само по себѣ не легко, какъ выступаютъ на сцену всевозможныя другіе виды страданія: въ формѣ половой страсти, ревности, зависти, ненависти, страха, честолюбія, корыстолюбія, болѣзни и т. д. А если посчастливилось побѣдить и это все, тогда страданіе является въ образѣ пресмыщенія и скуки. Наконецъ, чуть только удалось раздѣлаться со скукой, какъ прежняя картина опять возобновляется. И такъ безъ конца.

Этотъ вѣчный круговоротъ, навелъ Шопенгауера на остроумную

гипотезу. Такъ какъ страданіе неизбѣжно и при устраненіи одного страданія сейчасъ-же возникаетъ другое, то можно предположить, что каждому индивидууму мѣра страданія разъ навсегда дана природой—въ видѣ собственнаго его темперамента. И мѣра эта не можетъ ни быть превзойденной, ни оставаться незаполненной. При этомъ частныя обстоятельства и внѣшняя обстановка отнюдь не имѣютъ вліянія на ея величину, т. е. на сумму страданій; отъ нихъ зависятъ только составныя ея части, ихъ относительное распредѣленіе и характеръ. Внѣшнія обстоятельства, правда, легко могутъ возбудить страданія; но роль ихъ въ этомъ случаѣ подобна дѣйствію мушки, стягивающей дурные соки въ одно мѣсто: безъ нихъ страданіе было-бы, такъ сказать, въ состояніи разсѣянія. Такимъ образомъ, согласно гипотезѣ, внѣшнія обстоятельства могутъ только дать данной, имѣющейся уже суммѣ страданій особое направленіе.

Какъ на главное подтвержденіе гипотезы этой, Шопенгауеръ ссылается на тотъ фактъ, что ни богатство, ни высокое общественное положеніе, ни слава, ни вообще какой-бы-то ни былъ внѣшній успѣхъ не обезпечиваетъ счастья; а съ другой стороны, среди бѣдныхъ, среди обиженныхъ судьбой (относительно внѣшнихъ благъ), мы видимъ вовсе не мало веселыхъ, довольныхъ лицъ. Къ явленіямъ того-же рода относится существованіе громаднаго разстоянія между различными поводами къ самоубійству: съ одной стороны мы не въ состояніи придумать достаточно крупнаго несчастья, чтобы хоть съ нѣкоторой вѣроятностью поручиться, что оно каждаго заставитъ лишиться себя жизни; а съ другой стороны, нѣтъ такой достаточно мелкой невгоды, которая при случаѣ не могла-бы вызвать самоубійства.

Однако, къ этой гипотезѣ пришлось, впоследствии, сдѣлать весьма важную поправку, состоящую въ томъ, что мѣра страданія дана каждому индивидууму не разъ навсегда, а создается она въ каждое время физическимъ его состояніемъ.

Чрезвычайно характеристично для Шопенгауера, что даже эта поправка не заставила его ни на шагъ отступить отъ тенденціи, которой проникнута его гипотеза, а именно отъ убѣжденія, что настоящій источникъ счастья и несчастья человѣка лежитъ въ немъ самомъ, а не въ томъ, что его окружаетъ и не въ тѣхъ условіяхъ, которыми онъ обставленъ. Онъ ни на минуту не остановился на мысли, что физическое состояніе человѣка можетъ тѣсно зависѣть отъ внѣшнихъ обстоятельствъ. Характеристично это для Шопенгауера потому, что тутъ выразилось основное его стремленіе—держаться подалеже отъ людей и отъ того, что съ ними связываетъ. Въ полномъ своемъ раз-

вѣтн, тенденція эта проведена въ «Афоризмахъ житейской мудрости», этомъ кодексѣ счастья, написанномъ въ видѣ уступки господствующему предубѣжденію, что счастье возможно. Тутъ съ начала до конца проповѣдуется, что удовлетворенія въ жизни человѣкъ долженъ искать не во внѣшнихъ обстоятельствахъ, не въ общеніи съ людьми, не въ дружбѣ, не въ семейныхъ радостяхъ, не въ политической дѣятельности, а исключительно въ самомъ себѣ, въ собственной душевной уравновѣшенности, а главное въ физическомъ здоровьѣ. Последнее, въ полномъ согласіи съ приведенной выше поправкой къ гипотезѣ, поставлено въ «Афоризмахъ» на первый планъ. Девять, десятыхъ счастья, говоритъ Шопенгауеръ, зависятъ отъ здоровья; здоровый духъ только въ здоровомъ тѣлѣ, и потому здоровье важнѣе всѣхъ другихъ благъ. И жертвовать здоровьемъ въ пользу какихъ-бы то ни было другихъ благъ, замѣчаетъ онъ, есть величайшая изъ глупостей.

Такимъ образомъ, если принципъ «подальше отъ людей и людскихъ потребностей» указываетъ на то, чего избѣгать, то физическое здоровье есть уже нѣчто такое, къ чему надо стремиться. Однако оно не можетъ быть конечной цѣлью. Здоровье даетъ только возможность наилучшимъ образомъ пользоваться тѣмъ, что предлагаетъ жизнь. Но чѣмъ-же тутъ пользоваться, когда все, что привлекаетъ людей, можетъ дать только отрицательное удовлетвореніе? Въ виду этой-то стороны, т. е. въ виду всего, что служитъ предметомъ нормальныхъ человѣческихъ желаній, Шопенгауеръ безъ обиняковъ рекомендуетъ систематически сокращать всѣ свои требованія. Чѣмъ они ограниченнѣе, тѣмъ меньше страданій и разочарованій. Всякое ограниченіе потребностей, рѣшительно заявляетъ Шопенгауеръ, увеличиваетъ счастье. Мы тѣмъ лучше себя чувствуемъ, чѣмъ уже сфера нашихъ соприкосновеній и нашей дѣятельности, даже всякое ограниченіе нашего умственного кругозора благоприятствуетъ нашему счастью: съ ограниченіемъ внѣшней сферы дѣйствія сокращаются внѣшніе поводы раздраженія, а при ограниченности ума—внутренніе.

Однако, несмотря на послѣднее соображеніе, для ума Шопенгауеръ все-таки дѣлаетъ исключеніе, и самое рѣшительное исключеніе. Ограниченность умственного кругозора, говоритъ онъ, открываетъ доступъ скукѣ. А чтобы избѣжать ея и въ то-же время не подвергнуться страданію, человѣкъ долженъ воспользоваться имѣющимся въ его распоряженіи широкимъ источникомъ наслажденій интеллектуальныхъ, а именно философскихъ и эстетическихъ. Путь наслажденія зависитъ не отъ удовлетворенія воли и создаваемыхъ стремленій, желаній, задачъ и цѣлей; оно интеллектуально,

исключительно созерцательно и потому совершенно безцѣльно. Въ этомъ состоитъ его свобода отъ воли и причина его безболѣзненности. Поэтому ему чужды тревоги, волненія, удачи и неудачи дѣйствительной жизни, чужды всѣ жизненные, реальныя человѣческія цѣли; все его содержаніе—созерцаніе истины и красоты. Поэтому всѣ связи съ жизнью ума, способнаго предаться подобнымъ наслажденіемъ, всѣ его отношенія къ ней обратны нормальнымъ и естественнымъ: не онъ служитъ жизни и человѣку, а наоборотъ и жизнь, и весь человѣкъ должны ему служить. И такъ какъ онъ отнюдь не долженъ платить за эту услугу ничѣмъ, никакимъ облегченіемъ, улучшеніемъ и упорядоченіемъ его существованія, то Шопенгауеръ, не желая этимъ сказать ничего дурного, называетъ подобный умъ паразитомъ.

Читатель видитъ, какъ тѣсно сплелись въ ученіи Шопенгауера презрѣніе къ людямъ и ихъ интересамъ съ презрѣніемъ къ собственнымъ интересамъ общечеловѣческаго характера, и какъ неразрывно то и другое связано съ проповѣдью самоудовлетворенія съ одной стороны и паразитныхъ наслажденій—съ другой. Весь ходъ мыслей отличается тутъ поразительной ясностью и рѣшительностью. Исключительно отдаться интеллектуальному созерцанію можетъ только «геній»; онъ «аристократъ» и пользуется «дворянской грамотой» на «безполезность», а право на это дается ему тѣмъ, что онъ не имѣетъ ничего общаго съ остальными людьми. Все здѣсь цѣльно и связано.

Но вотъ что при этомъ замѣчательно. Возвышенность генія состоитъ въ томъ, что онъ пренебрегаетъ не только своими личными интересами, но и интересами всѣхъ людей. Но такъ какъ съ другой стороны спеціальныя интересы философіи и искусства ему дороги, а культивировать ихъ въ безвоздушномъ пространствѣ нѣтъ возможности, то приходится сдѣлать уступку въ пользу тѣхъ личныхъ интересовъ, безъ соблюденія которыхъ никакая философія и никакое художество не пойдеть на умъ, и какъ на зло наиболѣе нужными въ этомъ отношеніи оказываются самые матеріальные интересы физическаго здоровья. Разсматривая личную жизнь Шопенгауера, мы имѣли случай убѣдиться, что и съ обществомъ и его требованіями геніальному представителю «паразитнаго» ума приходится то-же считаться, да не съ одной матеріальной стороны; приходится имѣть дѣло съ собственной потребностью въ одобреніи, въ славѣ, словомъ—въ общественномъ признаніи своихъ дѣлъ.

А. Красносельскій.

(Окончаніе слѣдуетъ).

НОВЫЕ РАЗСКАЗЫ

Гюи де-Мопассана.

I.

Крестины.

Мужчины въ праздничныхъ костюмахъ дожидались у дверей фермы. Майское солнце обливало яркимъ свѣтомъ яблони въ цвѣту. Онѣ были пышны, точно бѣлые, розовые, душистые букеты, и осѣняли весь дворъ покровомъ изъ цвѣтовъ. Съ нихъ то и дѣло слетали, какъ снѣгъ, мелкіе лепестки, кружившіеся, падая на траву, гдѣ желтые цвѣты одуванчика блестяли, какъ огоньки, а полевой макъ алѣлъ, какъ капли крови.

Вдругъ издали, изъ за деревьевъ фермы, раздался звонъ церковнаго колокола. Его слабый отдаленный призывъ разнесся по всему свѣтлому, радостному небу. Ласточки, какъ стрѣлы, пролетали по голубому пространству, заключенному между неподвижными буками. Запахъ конюшни слышался по временамъ, смѣшанный съ легкимъ, сладкимъ запахомъ яблонь.

Одинъ изъ мужчинъ, стоявшихъ передъ дверью, обернулся къ дому и крикнулъ:

— Ну, ну, Малина, ужь звонять!

Ему было лѣтъ тридцать. Это былъ крупный крестьянинъ, и полевья работы не сгорбили и не обезобразили его. Старикъ, его отецъ, съ выступами худого тѣла, какъ узлы на старомъ дубѣ, проговорилъ:

— Женщины никогда не бываютъ готовы вовремя.

Двое другихъ сыновей старика засмѣялись, и одинъ изъ нихъ, обращаясь къ старшему брату, который выказалъ нетерпѣніе раньше другихъ, сказалъ ему:

— Сходи за ними, Полить. Онѣ не выберутся раньше полудня.

Молодой человекъ вошелъ въ домъ.

Стадо утокъ, остановившееся около крестьянъ, закричало и захлопало крыльями; потомъ онѣ отправились, медленно переступая и раскачиваясь на ходу, къ ближайшей лужѣ.

Тогда на порогѣ двери, оставшейся открытой, показалась толстая женщина съ двухмѣсячнымъ ребенкомъ на рукахъ. Бѣлые завязки ея высокаго чепчика висѣли у нея сзади, падая на красивый платокъ, яркій, какъ пламя; она несла ребенка, завернутаго въ бѣлое одѣяльце, прислонивъ его къ своему выпуклому животу.

За нею вышла осемнадцатилѣтняя мать, высокая и здоровая; она смотрѣла бодро и весело, держа за руку своего мужа. Потомъ появились обѣ бабушки, морщинистыя, какъ старыя яблони, съ утомленіемъ во всемъ тѣлѣ, согнутомъ терпѣливой и тяжелой работой. Одна изъ нихъ была вдова; она взяла за руку старика, стоявшаго у двери, и вмѣстѣ съ нимъ открыла шествіе. Сзади ихъ шла повивальная баба съ ребенкомъ, а за ними—остальные члены семьи. Самые младшіе несли бумажные мѣшечки съ мелкими конфетами.

А тамъ, вдали, маленькій колоколь звонилъ, не переставая, въ ожиданіи крошечнаго виновника торжества. Мальчишки влѣзали на насыпи у канавъ; работницы фермъ останавливались съ ведрами, полными молока, и ставили ихъ на землю, чтобы удобнѣе видѣть крестины.

Повивальная баба торжественно несла свою ношу, обходя всѣ лужицы въ низинахъ и въ мѣстахъ обсаженныхъ деревьями. И старики шествовали церемониальною поступью; иногда только ноги измѣняли имъ отъ преклонныхъ лѣтъ и болѣзней, и они слегка уклонялись въ сторону. Молодые двигались бойко и смѣло смотрѣли на дѣвушекъ, останавливавшихся на ихъ дорогѣ. А отецъ и мать шли важно, съ серьезными лицами, слѣдуя за этимъ ребенкомъ, который современемъ займетъ ихъ мѣсто и продолжитъ ихъ родъ, родъ Данту, всѣмъ извѣстный въ округѣ.

Они вышли на открытое мѣсто и пошли полями, чтобы избѣгнуть извилинъ дороги.

Теперь и церковь была видна съ ея острой колокольной. Подъ самой аспидной крышей насквозь принимавало ее отвер-

стие; что-то двигалось тамъ, очень живо, то исчезая, то появляясь передъ узкими окошечками. Это былъ колоколь, который продолжалъ звонить, приглашая новорожденного въ первый разъ въ жилище Божіе.

Собака пристала къ процессіи; ей бросали конфеты, и она прыгала и ласкалась ко всѣмъ.

Церковная дверь была растворена. Священникъ, высокій, худощавый молодой человѣкъ крѣпкаго сложенія, также изъ семейства Дантю, братъ отца новорожденного, стоялъ въ ожиданіи у алтара. И онъ окрестилъ, по обрядамъ католической церкви, своего племянника, Пьера-Сезара, который заплакалъ, когда ему пришлось отвѣдать символической соли.

По окончаніи церемоніи, семья подождала на паперти. покуда аббатъ снималъ свою ризу; потомъ всѣ опять отправились въ путь. Теперь шли скорѣе, потому что всѣ подумывали объ обѣдѣ. Сосѣдніе ребятишки цѣлой кучей бѣжали за ними, и когда имъ бросали горсть конфетъ, начиналась ожесточенная драка; собака бросалась въ ихъ толпу за своей долей; ее дергали за хвостъ, за уши, за ноги, но она была настойчивѣе мальчишекъ.

Повивальная бабка, нѣсколько утомленная, сказала аббату, который шелъ рядомъ съ нею:

— Послушайте, господинъ кюрэ, если это вамъ не будетъ непріятно, подержите вашего племянника, покуда я отдохну. У меня животь подвело.

Священникъ взялъ ребенка, бѣлая одежда котораго казалась яркимъ пятномъ на черной сутанѣ, и поцѣловалъ его, слегка стѣсняясь этой легкой носей, не зная, какъ ее держать, какъ ее лучше уложить на рукахъ. Всѣмъ стало смѣшно. Одна изъ бабушекъ издали крикнула ему:

— А что, аббатъ, тебя не беретъ досада, что у тебя никогда такого не будетъ?

Священникъ ничего не отвѣтилъ. Онъ шелъ большими шагами, не отрывая глазъ отъ крошечнаго голубоглазаго мальчика, испытывая страстное желаніе поцѣловать еще разъ его полныя щечки. Онъ не удержался и, поднявши его въ уровень съ своимъ лицомъ, поцѣловалъ его долгимъ поцѣлуемъ.

Отецъ крикнулъ ему:

— Что-же ты не скажешь, что тебѣ хочется имѣть такого?

И всѣ стали подшучивать надъ нимъ, какъ шутать простые люди.

Какъ только усѣлись за столъ, тяжеловѣсная деревенская веселость разразилась, какъ буря. Двое меньшихъ сыновей также собирались жениться; ихъ невѣсты были здѣсь-же, придя къ самому обѣду, и гости не переставали дѣлать намеки на будущее потомство отъ всѣхъ этихъ союзовъ.

Отъ этихъ намековъ, пересыпанныхъ грубою солью, дѣвочки хихикали и краснѣли, а мужчины помирали со смѣху. Они даже колотили кулаками по столу и испускали крики. Отецъ и дѣдъ выказывали особенную изобрѣтательность въ такихъ разговорахъ. Молодая мать улыбалась, старухи также принимали участіе въ бесѣдѣ, внося въ нее свою долю двусмысленныхъ шутокъ.

Священникъ, привычный къ разгулу крестьянъ, сидѣлъ спокойно около повивальной бабки, потрогивая пальцами ротикъ своего племянника, чтобы заставить его смѣяться. Онъ такъ внимательно смотрѣлъ на ребенка, какъ будто никогда не видалъ дѣтей. Онъ смотрѣлъ на него серьезно и задумчиво, чувствуя, что въ душѣ у него просыпается нѣжность, незнакомая ему, странная, живая и нѣсколько грустная, къ этому слабому существу, къ сыну его брата.

Онъ ничего не слушалъ и ни на что не смотрѣлъ, не спуская глазъ съ ребенка. Ему хотѣлось опять взять его къ себѣ на колѣни: онъ еще чувствовалъ, и на груди, и въ сердцѣ, сладкое ощущеніе, какое у него было, когда онъ несъ его изъ церкви. Онъ испытывалъ умиленіе передъ этимъ зародышемъ человѣка, какъ передъ неразгаданной тайной, о которой онъ никогда не думалъ, передъ высокою и священной тайной, воплощеніемъ новой души, великой тайной начинающейся жизни, пробуждающейся любви, продолжающейся семьи, непрерывающейся цѣпи человѣчества.

Повивальная бабка ѣла, вся раскраснѣвшись, съ лоснящимся взглядомъ, стѣсняемая ребенкомъ, надававшимъ ей сѣсть поближе къ столу.

Аббатъ сказалъ ей:

— Дайте мнѣ его. Мнѣ не хочется ѣсть.

И онъ взялъ къ себѣ ребенка. Тогда все исчезло кругомъ него; онъ все глядѣлъ на розовое, пухлое личико; и понемногу теплота крошечнаго тѣла, проходя черезъ пеленки и

сукуно сутаны, сообщалась его ногамъ, проникая въ него, какъ легкая, добрая, чистая ласка, вызывая у него слезы на глазахъ.

Шумъ за столомъ становился ужаснымъ. Ребенокъ, растревоженный криками, заплакалъ.

Чей-то голосъ крикнулъ:

— Аббать, покорми его!

Взрывъ смѣха потрясъ комнату. Но мать встала; она взяла сына и унесла его въ сосѣдную комнату. Она вернулась черезъ нѣсколько минутъ и объявила, что онъ спокойно уснулъ въ своей колыбели.

И обѣдъ продолжался. И мужчины, и женщины вставали изъ-за стола, потомъ опять садились. Мясо, зелень, сидръ и вино быстро проглатывались, заставляя блестятъ глаза и путаться мысли.

Уже темнѣло, когда стали пить кофе. Священника давно уже не было, и никто не удивлялся его отсутствію.

Молодая мать поднялась, наконецъ, чтобы взглянуть, всели еще спитъ ея маленькій. Было совсѣмъ темно. Она ощупью пробиралась въ свою комнату, вытянувъ руки, чтобы на что-нибудь не наткнуться. Но ее разомъ остановилъ странный шумъ, и она быстро повернула назадъ, перепуганная, убѣжденная, что въ комнатѣ кто-то есть. Она пришла въ столовую, блѣдная, дрожа всѣмъ тѣломъ, и рассказала, что было съ нею. Всѣ мужчины вскочили шумно, съ пьяными угрозами. Отецъ, съ лампой въ рукѣ, бросился впередъ.

Аббать, на колѣняхъ у колыбели, рыдалъ, прильнувши лицомъ къ изголовью, на которомъ покоилась головка ребенка.

II.

Человѣкъ, кружку пива!

Зачѣмъ я зашелъ въ тотъ вечеръ въ эту пивную? Не знаю. Было холодно. Мелкій дождь, точно водяная пыль, носился въ воздухѣ, заволакивалъ газовые фонари прозрачнымъ туманомъ и заставлялъ блестятъ тротуары, освѣщаемые огнями лавокъ нижнихъ этажей.

Я шель безъ цѣли. Мнѣ просто хотѣлось пройтись послѣ обѣда. Я миновалъ Ліонскій кредитъ, улицу Вильенъ, другія улицы. Вдругъ я увидалъ большую пивную, наполовину на-

полненную посѣтителями. Я вошелъ туда безъ всякой нужды. Мнѣ не хотѣлось пить.

Однимъ взглядомъ я отыскалъ мѣсто, гдѣ было не слишкомъ тѣсно, и направился къ столику, за которымъ сидѣлъ человекъ, повидимому уже пожилой, и курить изъ глиняной трубки въ два су, черной, какъ уголь. Шесть или восемь стеклянныхъ блюдечекъ, поставленныхъ одно на другомъ передъ нимъ, указывали число кружекъ пива, выпитыхъ имъ. Я не разсматривалъ моего сосѣда. Сразу и узнать въ немъ любителя пивныхъ, одного изъ тѣхъ гостей, которые приходятъ утромъ, когда отпираютъ пивную, и уходятъ вечеромъ, когда ее запираютъ. Онъ былъ грязенъ, съ лысиной посрединѣ головы и длинными волосами съ просѣдью, падавшими на воротникъ его скюртука. Платье было ему слишкомъ широко и, казалось, сшито было тогда, когда онъ былъ гораздо полнѣе. Края манжетъ рубашки были совсѣмъ черны.

Только что я усѣлся, эта личность проговорила совершенно спокойно, обращаясь ко мнѣ.

— Ты хорошо поживаешь?

Я обернулся къ нему, пораженный этимъ, и внимательно смотрѣлъ на него. Онъ продолжалъ:

— Ты меня не узнаешь?

— Нѣтъ.

— Де-Барре.

Я былъ ошеломленъ. Это былъ графъ Жанъ де-Барре, мой прежній школьный товарищъ.

Я пожалъ ему руку, все еще не находя, что сказать ему:

Наконецъ, я пробормоталъ:

— А ты какъ поживаешь?

Онъ отвѣтилъ невозмутимо:

— Такъ себѣ, по возможности.

Онъ замолчалъ. Мнѣ хотѣлось сказать ему что-нибудь пріятное; я отыскивалъ фразу.

— Что-же ты подѣлываешь?

Онъ отвѣтилъ такъ-же спокойно:

— Ты видишь.

Я чувствовалъ, какъ я краснѣю. Я повторилъ:

— Какъ? Всякій день?

Онъ проговорилъ, выпуская густые клубы дыма:

— Всякій день тоже самое.

Потомъ, постуцая по мраморному столику ваявшеюся на немъ мѣдной монетой, онъ крикнулъ:

— Человѣкъ, двѣ кружки пива!

Голосъ вдали повторить: «двѣ кружки на четвертый столъ». Еще болѣе отдаленный голосъ рѣзко выкрикнулъ: «готово». Потомъ появился человѣкъ въ бѣломъ передникѣ, съ двумя кружками въ рукахъ, откуда на ходу плескались на полъ, усыпанный пескомъ, желтоватыя капельки жидкости.

Де-Барре выпилъ залпомъ свою кружку и поставилъ ее на столъ, вдыхая пѣну, оставшуюся у него на усахъ.

Послѣ того, онъ спросилъ:

— Что новаго?

Я, по правдѣ, ничего не имѣлъ сообщить ему новаго. Я пробормоталъ:

— Да ничего, старый дружище. Что до меня касается, я занимаюсь торговлей.

Онъ произнесъ все тѣмъ-же ровнымъ голосомъ:

— И... это тебѣ доставляетъ удовольствіе?

— Нѣтъ, но какъ-же быть? Надо что-нибудь дѣлать.

— Зачѣмъ?

— Чтобы быть чѣмъ-нибудь занятымъ...

— Для какой цѣли? Вотъ я, напримѣръ, ничего не дѣлаю, какъ видишь. Когда нѣтъ ни гроша, я понимаю—тогда надо работать. А когда есть на что жить, тогда это совсѣмъ не нужно. Зачѣмъ работать? Ты для себя это дѣлаешь или для другихъ? Если для себя, если тебѣ это пріятно, тогда дѣло другое; а если для другихъ—это глупо.

Положивъ трубку на столъ, онъ крикнулъ: «человѣкъ, кружку пива!» и продолжалъ:

— Отъ разговора у меня дѣлается жажда. Я къ этому не привыкъ. Да, я ничего не дѣлаю, я на себя рукой махнулъ, я дряхлѣю. Когда буду умирать, я никого не пожалѣю. У меня не будетъ другихъ воспоминаній, кромѣ этой пивной. Ни жены, ни дѣтей, ни заботъ, ни печалей—ничего. Такъ лучше.

Онъ осушилъ поданную кружку, провелъ языкомъ по губамъ и опять взялся за трубку.

Я разсматривалъ его съ возрастающимъ изумленіемъ. Я спросилъ у него:

— Но вѣдь ты не всегда такъ жилъ?

— Всегда, съ самаго выхода изъ училища.

— Это не жизнь, мой другъ. Это что-то ужасное. Но позволь, вѣдь ты хоть что-нибудь дѣлаешь, что-нибудь любишь, у тебя есть друзья?

— Нѣтъ. Я встаю часовъ въ двѣнадцать, прихожу сюда, завтракаю, пью пиво, дожидаясь вечера, обѣдаю и потомъ опять пью пиво; въ половинѣ второго ночи иду спать, потому что здѣсь запираютъ. Вотъ это всего досаднѣе. Изъ десяти лѣтъ, шесть лѣтъ я провелъ на этой скамейкѣ, въ моемъ уголку, а остальное время въ моей постели,—и больше нигдѣ. Иногда я разговариваю съ здѣшними гостями.

— Но, приѣхавъ въ Парижъ, ты вѣдь что-нибудь дѣлалъ на первыхъ порахъ?

— Я изучалъ право... въ кафе Медисивъ.

— А потомъ?

— Потомъ... я переправился черезъ Сену, на этотъ берегъ, и помѣстился здѣсь.

— Ну, а это ты для чего-же сдѣлалъ?

— Какъ тебѣ сказать? Нельзя-же всю жизнь оставаться въ Латинскомъ кварталѣ. Студенты слишкомъ шумятъ. А отсюда ужъ и не тронусь. Человѣкъ, кружку пива!

Мнѣ показалось, что онъ надо мной смѣется. Я заговорилъ серьезнѣе.

— Послушай, скажи мнѣ правду. У тебя было какое-нибудь тяжелое горе? Несчастливая любовь, конечно? Очевидно, ты изъ числа тѣхъ, кому пришлось испытать большое несчастье. Который тебѣ годъ?

— Мнѣ тридцать-три года, а на видъ, по крайней мѣрѣ, сорокъ-пять.

Я посмотрѣлъ ему въ лицо. Его морщинистая, неопрятная физиономія казалась совсѣмъ старческой. На макушкѣ развѣвалось небольшое количество очень длинныхъ волосъ, почти не прикрывая кожу сомнительной чистоты. У него были очень широкія брови, большіе усы и густая борода.

Я ему сказалъ:

— Въ самомъ дѣлѣ, на видъ ты кажешься гораздо старше своихъ лѣтъ. Навѣрно, у тебя были какія-нибудь тяжелыя испытанія?

— Нѣтъ, увѣряю тебя, возразилъ онъ.—Я состарился потому, что совсѣмъ не бываю на воздухѣ. Ни что такъ не разрушаетъ, какъ трактирная жизнь.

Я не вѣрилъ ему.

— Ты, конечно, кутиль. Оттого ты такъ и облысѣлъ.

— Нѣтъ, я всегда велъ умѣренную жизнь, возразилъ онъ, спокойно покачивая головой.—Это отъ газа; онъ изводитъ волосы, продолжалъ онъ, поднимая глаза къ люстрѣ, нагрѣвавшей наши головы.—Человѣкъ, кружку пива! А тебѣ не хочется пить?

— Нѣтъ, благодарю тебя. Право, ты меня интересуешь. Съ какихъ поръ у тебя такое равнодушіе къ жизни? Оно не нормально, оно не въ порядкѣ вещей. Подъ нимъ у тебя должно что-нибудь скрываться.

— Да, оно началось у меня въ дѣтствѣ. Одно обстоятельство сильно потрясло меня, когда я былъ еще ребенкомъ, и съ тѣхъ поръ я не примирился съ жизнью.

— Что-же именно?

— Ты хочешь знать? Слушай. Ты, конечно, помнишь замокъ, гдѣ я воспитывался, потому что ты пріѣзжалъ туда разъ пять или шесть во время вакацій? Ты вѣдь помнишь это большое сѣрое зданіе посрединѣ огромнаго парка и длинныя дубовыя аллеи, открывавшіяся на всѣ стороны горизонта. Ты помнишь и моего отца, и мою мать; помнишь какіе они были церемонные, важные и строгіе.

«Я обожалъ мою мать и боялся отца, но къ нимъ обоимъ относился почтительно, привыкнувъ видѣть, что всѣ преклоняются передъ ними. Они были для нашей мѣстности графъ и графиня, и наши сосѣди—Танемары, Росвале, Бронвилли—оказывали имъ уваженіе, какъ высшимъ.»

«Тогда мнѣ было тринадцать лѣтъ. Я былъ постоянно веселъ и всѣмъ доволенъ, какъ бываетъ въ эти годы, когда самое ощущеніе жизни наполняетъ человѣка счастьемъ.»

«Ну, вотъ, разъ, въ концѣ сентября, незадолго до возвращенія въ училище, я игралъ въ густомъ мѣстѣ парка, представляя изъ себя волка, бѣгающаго по кустарникамъ и листьямъ; вдругъ, перебѣгая аллею, я замѣтилъ напу и маму, прогуливающихъ вдвоемъ.»

«Я помню все, какъ будто это вчера было. Былъ сильный вѣтеръ. Весь рядъ деревьевъ нагибался подъ порывами вихря, скрипѣлъ, будто испускалъ вопли, глухіе, глубокіе вопли, какіе испускаетъ лѣсъ во время бури.»

«Сорванные листья, уже пожелтѣвшіе, носились, какъ птицы,

кружились, падали, потомъ катились вдоль аллеи, точно какіе-то быстрые звѣрки.

«Наступалъ вечеръ. Въ чащѣ становилось темно. Шумъ вѣтра и деревьевъ возбуждалъ мои нервы; я бѣгалъ, какъ сумашедшій, и завывалъ, воображая себя волкомъ.

«Только что я замѣтилъ моихъ родителей, я началъ подкрадываться къ нимъ, чтобы застигнуть ихъ врасплохъ, какъ будто я былъ настоящій ночной звѣрь.

«Но я остановился, въ испугѣ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нихъ. Мой отецъ, подъ влияніемъ сильнѣйшаго гнѣва, кричалъ:

«— Твоя мать дура; да и не въ ней темеръ дѣло, а въ тебѣ! Я тебѣ говорю, что мнѣ эти деньги нужны, и я требую, чтобы ты подписала!

«Мать отвѣтила твердымъ тономъ:

— Я не подпишу. Это—состояніе Жана. Я берегу его для него и не хочу, чтобы ты его тратилъ съ кокетками и горничными, какъ ты это сдѣлалъ съ своимъ наслѣдствомъ.

«Тогда отецъ, дрожа отъ ярости, обернулся, схватилъ маму за шею и другой рукой началъ бить ее изо всей силы по лицу.

«Шляпка у ней свалилась; волосы распустились и рассыпались по плечамъ; она пыталась отражать удары, но это не удавалось ей. А отецъ, какъ бѣшеный, все билъ и билъ ее. Она упала на землю, защищая лицо обѣими руками. Онъ старался перевернуть ее на спину и оторвать ее руки отъ лица, чтобы бить ее еще.

«Что до меня касается, мой другъ, мнѣ казалось, что міръ кончается, что законы природы извратились. Я испытывалъ потрясеніе, какое бываетъ предъ сверхъестественными явленіями, предъ чудовищными катастрофами, предъ непоправимыми бѣдствіями. Мой дѣтскій умъ кружился, терялся. И я началъ кричать изо всѣхъ силъ, самъ не зная зачѣмъ, уступая страху, душевной боли, невыразимому смятенію. Отецъ услышалъ, обернулся, замѣтилъ меня и, выпрямившись, направился ко мнѣ. Я подумалъ, что онъ хочетъ меня убить, и пустился бѣжать, какъ преслѣдуемое животное, все прямо, по лѣсу.

«Я бѣжалъ, быть можетъ, часъ, быть можетъ, два,—не знаю. Была уже темная ночь; я упалъ на траву, обезсиленный, и оставался въ такомъ положеніи, ничего не сознавая

ясно, тревожащий страхомъ, терзаемый скорбью, отъ которой мое бѣдное дѣтское сердце могло совсѣмъ разорваться. Мнѣ было холодно: вѣроятно, мнѣ хотѣлось ѣсть. Стало свѣтать. Я не рѣшался подняться на ноги, не смѣлъ ни идти домой, ни идти впередъ, опасаясь встрѣтить отца, котораго я ни за что больше не хотѣлъ видѣть.

«Я, пожалуй, умерь-бы съ горя и съ голоду, если-бы полевой сторожъ не увидалъ меня и не отвелъ домой силой.

«Я засталъ моихъ родителей съ такими лицами, какъ будто ничего съ ними не случилось. Мать сказала мнѣ только: «Какъ ты напугалъ меня, дурной мальчикъ; я всю ночь не могла уснуть». Я ничего не отвѣтилъ и началъ плакать. Отецъ не проговорилъ ни одного слова.

«Черезъ недѣлю я вернулся въ училище.

«Для меня, мой другъ, все было кончено. Я увидѣлъ другую сторону жизни, ея изнанку; лицевая сторона съ того дня для меня исчезла. Что произошло въ моемъ умѣ? Какимъ образомъ перевернулись всѣ мои мысли? Не знаю. Но у меня ужъ не было охоты ни къ чему, ни къ кому не было любви, не было болѣе ни желаній, ни стремленій, ни надеждъ. Я до сихъ поръ все еще вижу мою бѣдную мать на землѣ, въ аллеѣ, и отца, который ее колотитъ. Моя мать умерла черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ того. Отецъ живъ еще и теперь. Я больше его не видалъ. Человѣкъ, кружку пива!»

Ему принесли пива, и онъ проглотилъ его разомъ. Но рука его дрожала, когда онъ бралъ свою трубку, и трубка унала и разбилась. Онъ проговаривалъ съ жестомъ отчаянья:

— Вотъ это дѣйствительно жалко. Новую надо обкуривать цѣлый мѣсяцъ.

И онъ крикнулъ на всю обширную залу, наполнившуюся дномъ и посѣтителями, свой обычный возгласъ:

— Человѣкъ, кружку пива и новую трубку!

III.

Сомалѣніе.

Мосье Саваль, котораго въ Мантѣ называли «старикъ Саваль», только что всталъ. Идетъ дождь. Грустный осенній день; листья падаютъ. Они тихо падаютъ среди дождя, точно другой дождь, болѣе крупный и медленный. Савалию невесело. Онъ

ходить отъ камина къ окну и отъ окна къ камину. Въ жизни бываютъ мрачныя дни. Для него теперь и не будетъ другихъ дней, кромѣ мрачныхъ, потому что ему уже шестьдесятъ-два года! Онъ одинокъ, старый холостякъ; около него никого нѣтъ. Какъ это грустно такъ умирать, одному, безъ чьей-либо теплой привязанности!

Онъ думаетъ о своемъ пустомъ, ничѣмъ не скрашенномъ существованіи. Онъ вспоминаетъ въ далекомъ прошломъ, въ прошломъ, своего дѣтства, отцовскій домъ, потомъ школу, отпуски, студенческое время въ Парижѣ; далѣе—болѣзнь отца, его смерть.

Онъ вернулся для того, чтобы поселиться съ матерью. Онѣ жили вдвоемъ, мирно, ничего болѣе не желая. Она также умерла. Какъ жизнь грустна!

Онъ остался одинъ. Скоро и для него настанетъ очередь умирать. Онъ исчезнетъ, и все будетъ кончено. Не будетъ болѣе на землѣ Поля Савала. Какъ это ужасно! Другіе будутъ жить, любить другъ друга, смѣяться. Да, имъ будетъ весело, а онъ уже перестанетъ существовать. И какъ это только люди могутъ смѣяться, быть веселыми подъ вѣчнымъ ожиданіемъ смерти? Если-бы смерть была только возможной, еще можно было-бы имѣть надежды; но вѣдь она неизбѣжна, неизбѣжна, какъ ночь послѣ дня.

Если-бы его жизнь была чѣмъ нибудь наполнена! Если-бы онъ что-нибудь сдѣлалъ, если-бы у него были приключенія, наслажденія, успѣхи, какія-нибудь удовольствіи. Но ничего этого не было. Онъ ничего не сдѣлалъ; онъ только вставалъ, ѣлъ и ложился въ одни и тѣ-же часы. И такъ онъ дожилъ до шестидесяти-двухъ лѣтъ. Онъ даже не женился, какъ другіе мужчины. Почему это? Да, въ самомъ дѣлѣ, отчего онъ не женился? Онъ-бы могъ это сдѣлать, потому что имѣлъ кое-какое состояніе. Случая не представилось? Можетъ быть. Но вѣдь другіе создаютъ сами эти случаи! Онъ былъ лѣнивъ, вотъ что! Лѣнность была его величайшимъ недостаткомъ, порокомъ. У сколькихъ людей жизнь не удастся, благодаря ихъ лѣнности. Для нѣкоторыхъ натуръ ужасно трудно вставать, двигаться, дѣлать рѣшительные шаги, говорить, изучать вопросы.

Его даже никто не любилъ. Ни одна женщина не покоилась на его груди въ полномъ упоеніи любви. Онъ не испы-

таль ни чудной тревоги ожиданія, ни божественнаго трепета отъ пожатія руки, ни восторга торжествующей страсти.

Какое особенное блаженство должно наполнять душу, когда губы сходятся въ первый разъ, когда сплетающіяся руки изъ двухъ существъ, безумно любящихъ другъ друга, образуютъ одно, безконечно счастливое!

Саваль сидѣлъ въ халатѣ, пододвинувъ ноги къ огню.

Безъ сомнѣнія, его жизнь была неудачною, вполнѣ неудачною. А между тѣмъ и онъ любилъ. Онъ любилъ тайно, болѣзненно и вяло, какъ все, что онъ дѣлалъ. Да, онъ любилъ свою старинную пріятельницу, мадамъ Сандръ, жену своего стараго товарища Сандра. Ахъ, если-бы онъ познакомился съ ней, когда она была еще дѣвучкой! Но онъ встрѣтилъ ее слишкомъ поздно: она была уже замужемъ. Къ ней-то ужъ онъ-бы посватался навѣрно! И все-таки какъ онъ ее любилъ, съ перваго дня знакомства!

Онъ припоминалъ свое волненіе всякій разъ, какъ онъ ее видѣлъ, грустное чувство, когда онъ уходилъ отъ нея, ночи, когда онъ не могъ заснуть, потому что все думалъ о ней.

По утрамъ, просыпаясь, онъ любилъ ее немножко меньше, чѣмъ наканунѣ вечеромъ. Отчего это?

Какъ она была хороша тогда, такая миленькая, съ бѣлокурыми вьющимися волосами, вѣчно смѣющаяся! Ей нужно было-бы не такого мужа, какъ Сандръ! Теперь ей пятьдесятъ-восемь лѣтъ. Повидимому, она счастлива. Ахъ, если-бы она любила тогда, если-бы она его любила! И почему-бы ей было не полюбить его, Савала, если онъ любилъ ее, мадамъ Сандръ?

А если она что-нибудь угадывала? Неужели она нивогда ничего не угадала, ничего не замѣтила и ничего не поняла? Что-же она должна была думать? Если-бы онъ сказалъ ей, что она отвѣтила-бы?

Онъ припоминалъ всѣ длинные вечера, когда онъ игралъ въ экартэ съ Сандромъ, а жена его была молода и прелестна.

Онъ припоминалъ все, что она ему говорила, интонаціи, какія у нея бывали тогда, чуть замѣтныя улыбки безъ словъ, скрывавшія столько мыслей.

Онъ припоминалъ ихъ прогулки, втроемъ, по берегамъ Сены, ихъ завтраки на травѣ по воскресеньямъ, потому что Сандръ только въ этотъ день былъ свободенъ, состоя на службѣ

у помощника префекта. Вдругъ у него явилось необыкновенно ясное воспоминаніе объ одномъ утрѣ, когда онъ гулялъ съ ней вдвоемъ въ маленькомъ лѣскѣ около рѣки.

Они выѣхали рано, взявши съ собой провизію, завернутую въ бумагу. Это былъ яркій весенній день, одинъ изъ тѣхъ дней, когда чувствуется какое-то опяняніе. Все кругомъ кажется прекраснымъ и счастливымъ. И птицы какъ будто кричать веселѣе и летаютъ проворнѣе. Позавтракали на травѣ, подъ ивами, около воды, замершей отъ жару. Воздухъ былъ теплый, душистый; хотѣлось все вдыхать и выдыхать его. Какъ хорошо было въ этотъ день!

Послѣ завтрака, Сандръ заснулъ, улегшись навзничъ. «Никогда такъ хорошо не спалъ», сказалъ онъ, проснувшись.

Мадамъ Сандръ взяла Савала подъ руку, и они пошли вдвоемъ вдоль рѣки.

Она опиралась на него. Она смѣялась и говорила: «я пьяна, мой другъ, я совсѣмъ пьяна». Онъ смотрѣлъ на нее, вздрагивая до самаго сердца, чувствуя, какъ онъ блѣднѣетъ, боясь, чтобы взглядъ его не былъ слишкомъ смѣлымъ, чтобы трепеть руки не выдалъ его тайны.

Она сдѣлала себѣ вѣнокъ изъ крупной травы и водяныхъ лилій и спросила у него: «Нравлюсь я вамъ такъ?»

Онъ ничего не отвѣтилъ—ему хотѣлось упасть передъ ней на колѣни, а не говорить—и она засмѣялась недовольнымъ смѣхомъ, выговоривъ ему прямо въ лицо: «Экой хомякъ! Хоть-бы сказалъ что-нибудь!»

Онъ готовъ былъ заплакать, но слова у него не шли съ языка.

Все это вспоминалось ему теперь съ такою-жѣ ясностью, какъ и въ тотъ день. Зачѣмъ она ему сказала: «Экой хомякъ! Хоть-бы сказалъ что-нибудь?»

И онъ припомнилъ, какъ она нѣжно опиралась на него. Проходя подъ низко нагнувшейся вѣткой дерева, онъ почувствовалъ, какъ ея ухо почти прильнуло къ его щекѣ, и онъ вдругъ понялся, боясь, чтобы она не сочла это прикосновение намѣреннымъ съ его стороны.

Когда онъ сказалъ: «Не пора-ли вернуться?»—она посмотрѣла на него какъ-то странно. Да, несомнѣнно, это былъ какой-то совсѣмъ особенный взглядъ. Тогда онъ объ этомъ не подумалъ, а теперь припоминалъ ясно.

— Какъ хотите, мой другъ. Если вы устали—вернемся.

А онъ отвѣтилъ:

— Это не потому, что я усталъ, а, можетъ быть, Сандръ уже проснулся.

Она сказала, пожимая плечами:

-- Если вы боитесь, что мой мужъ проснулся, это другое дѣло; пойдите къ нему.

На возвратномъ пути она молчала и не опиралась уже на его руку. Отчего это?

Онъ никогда еще не ставилъ себѣ этого вопроса—«отчего?» Теперь ему казалось, что онъ угадываетъ нѣчто такое, чего прежде не понималъ.

Неужели?..

Саваль почувствовалъ, какъ онъ краснѣетъ. Онъ всталъ съ своего мѣста встревоженный, какимъ-бы онъ былъ тридцать лѣтъ тому назадъ, еслибы мадамъ Сандръ сказала ему: «я васъ люблю».

Возможно-ли это? Подозрѣнiе, вошедшее къ нему въ душу, мучило его. Возможно-ли, что онъ не замѣтилъ, не угадалъ?

О, если это правда, если онъ упустилъ свое счастье, не сумѣвши его взять?

Онъ сказалъ себѣ: «Мнѣ надо это узнать. Я не могу оставаться въ этомъ сомнѣнiи. Я долженъ все знать навѣрно».

Онъ одѣлся быстро, кое-какъ. Онъ думалъ: «Мнѣ шестьдесятъ-два года, а ей пятьдесятъ-восемь; я могу теперь съ ней говорить объ этомъ».

И онъ вышелъ изъ дому.

Домъ Сандра находился на другой сторонѣ улицы, почти напротивъ его дома. Онъ направился къ нему. Молоденькая служанка отворила ему, услышавъ стукъ въ дверь.

Она удивилась, что онъ пришелъ такъ рано.

— Это вы, господинъ Саваль; не случилось-ли что-нибудь?

Саваль отвѣтилъ:

— Нѣтъ, мое дитя; поди, скажи твоей барынѣ, что мнѣ надо ее видѣть сейчасъ-же.

— Барыня варить грушевое варенье; она въ кухнѣ и не одѣта, разумеется.

— Хорошо, но скажи ей, что я по очень важному дѣлу.

Горничная ушла, и Саваль принялся рассказывать по гостинной большими, возбужденными шагами. Впрочемъ, онъ не

чувствовалъ никакого смущенія. Онъ спросить ее объ этомъ очень просто, какъ о приготовленіи какого-нибудь кушанья. Ему вѣдь шестьдесятъ-два года!

Дверь отворилась; она вошла. Теперь это была толстая, круглая женщина, съ полными щеками, съ громкимъ смѣхомъ. Она шла, оставляя руки съ засученными рукавами, испачканныя сиропомъ. Она спросила тревожно:

— Что съ вами, мой другъ? Вы здоровы?

Онъ прервалъ ее:

— Да, но мнѣ хочется спросить у васъ объ одной вещи; она имѣетъ для меня большую важность и мучаетъ меня ужасно. Общаете-ли вы сказать мнѣ правду?

Она улыбнулась.

— Я всегда говорю правду. Спрашивайте.

— Вотъ въ чемъ дѣло. Я васъ полюбилъ съ перваго дня, какъ васъ увидалъ. Знали-ли вы объ этомъ?

Она отвѣтила со смѣхомъ, въ которомъ какъ будто звучала прежняя интонація:

— Ахъ, тюлень этакой! Конечно, я это замѣтила съ перваго-же дня.

Саваль весь задрожалъ; онъ пробормоталъ:

— Вы знали? Ну...

Онъ ничего болѣе не могъ выговорить.

Она спросила:

— Ну и что-же?

Онъ заговорилъ опять:

— Ну, что-жъ вы думали? Что... что вы-бы мнѣ отвѣтили?

Она засмѣялась еще громче. Капли сиропа стекали у нея съ рукъ и падали на паркетъ.

— Я?..— Да вѣдь вы меня ни о чемъ не спрашивали. Не мнѣ-же было объясняться вамъ въ любви.

Тогда онъ подошелъ къ ней ближе.

— Скажите мнѣ... скажите... Помните вы тотъ день, когда Сандръ заснулъ на травѣ послѣ завтрака... и мы шли вдвоемъ къ повороту рва и... тамъ...

Онъ ждалъ. Она перестала смѣяться и смотрѣла ему прямо въ глаза.

— Ну, конечно, помню.

Онъ продолжалъ, дрожа, какъ въ лихорадѣ:

— Ну... и еслибъ въ этотъ день... еслибы... я былъ смѣлѣе—что вы бы сдѣлали?

Она улыбнулась, какъ улыбаются счастливыя женщины, у которыхъ уже нѣтъ никакихъ сожалѣнй.

Потомъ она живо повернулась и убѣжала въ кухню.

Саваль вышелъ на улицу, пораженный, какъ послѣ большого несчастя. Онъ шелъ большими шагами подъ дождемъ, все прямо, по дорогѣ къ рѣкѣ, не думая о томъ, куда онъ идетъ. Выйдя на берегъ, онъ повернулъ направо и пошелъ вдоль по рѣкѣ. Онъ шелъ долго, повинувшись какому-то импульсу. Съ его платья струилась вода; со шляпы, потерявшей форму и размякшей, капли стекали, какъ съ крыши. Онъ все шелъ, все шелъ прямо. И онъ очутился на томъ мѣстѣ, гдѣ они завтракали тогда, въ тотъ давно прошедшй день, воспоминаше о которомъ терзало ему сердце.

Онъ сѣлъ подъ обнаженными деревьями и заплакалъ.

IV.

Мой дядя Жюль.

Старый нищй, съ сѣдой бородой, попросилъ у насъ милостыни. Мой товарищъ, Жозефъ Давраншъ, далъ ему пятифранковую монету. Я выразилъ удивлене. Онъ сказалъ на это:

— Этотъ несчастный напоминаетъ мнѣ одинъ случай, который я тебѣ разкажу, и воспоминане о которомъ вѣчно преслѣдуетъ меня. Вотъ въ чемъ дѣло.

Наша семья всегда жила въ Гаврѣ, и жила небогато. Коекакъ сводили концы съ концами—и только. Отецъ служилъ, почти цѣлый день сидѣлъ въ конторѣ, но зарабатывалъ немного. У меня были двѣ сестры.

Мать очень тяготилась нашей нуждой, и у нея часто прорывались жесткя слова противъ отца, скрытые и злыя упреки. Бѣдный отецъ отвѣчалъ на это только отчаяннымъ жестомъ, отъ котораго у меня поворачивалось сердце. Онъ проводилъ ладонью по лбу, какъ будто отирая потъ, и ничего не отвѣчалъ. Я чувствовалъ все безсиле его страданя. У насъ экономили на всемъ; ни къ кому не ѣздили обѣдать, чтобъ не приглашать самимъ; провизию покупали по дешевой цѣнѣ, изъ остатковъ. Сестры сами шили себѣ платья и подолгу совѣ-

щались о покупкѣ какой-нибудь бахромы, аршинъ которой стоилъ нѣсколько копѣекъ. Нашъ ежедневный обѣдъ состоялъ изъ супа и вареной говядины подъ разными соусами, вѣроятно потому что это очень здорово; но мнѣ хотѣлось чего-нибудь другого.

За каждую потерянную пуговицу и дыру на панталонахъ мнѣ дѣлали ужаснѣйшія сцены.

Но каждое воскресенье мы всѣ отправлялись гулять на пристань, въ большомъ парадѣ. Отецъ, въ скюртукѣ, въ высокой шляпѣ, въ перчаткахъ, подавалъ руку матери, разряженной въ яркіе цвѣта, какъ корабль въ праздничный день. Сестры, одѣтыя раньше другихъ, ожидали знака, чтобы пуститься въ путь; однако, въ послѣднюю минуту на скюртукѣ главы семьи всегда оказывалось какое нибудь пятнышко, незамѣченное прежде, и нужно было выводить его съ помощью тряпки, намоченной бензиномъ.

Отецъ, со шляпой на головѣ, въ жилетѣ, ожидалъ окончания этой операціи, а мать торопилась изъ всѣхъ силъ, надѣвъ очки и снявъ перчатки, чтобы ихъ не испортить.

Въ дорогу выступали съ большой церемоніей. Сестры шли впереди подъ руку. Онѣ уже были невѣсты, и ихъ показывали въ городѣ. Я шелъ съ лѣвой, а отецъ съ правой стороны матери. Я хорошо помню торжественный видъ моихъ бѣдныхъ родителей въ этихъ воскресныхъ прогулкахъ, невозмутимость ихъ лицъ, строгость ихъ манеръ. Они двигались важно, выпрямившись, почти не сгибая ногъ, точно отъ такой походки должно было произойти нѣчто, имѣющее для нихъ первостепенное значеніе.

И каждое воскресенье, при видѣ кораблей, приходившихъ изъ неизвѣстныхъ и отдаленныхъ странъ, отецъ неизмѣнно произносилъ одну и ту-же фразу.

— А что если тамъ Жюль? Вотъ-бы удивилъ!

Мой дядя Жюль, братъ отца, былъ единственной надеждой нашей семьи, хотя былъ нѣкогда предметомъ ея ужаса. Я слышалъ разговоры о немъ съ самаго дѣтства, и мнѣ казалось, что я тотчасъ узналъ-бы его: такъ я освоился съ представленіемъ о немъ. Я зналъ и всѣ подробности его жизни до отъѣзда его въ Америку, хотя объ этомъ періодѣ говорили всегда въ полголоса.

Кажется, онъ вель себя очень дурно, т. е. прожилъ какія-то деньги, что составляетъ величайшее преступленіе въ глазахъ бѣдныхъ людей. У богатыхъ о человѣкѣ, любящемъ удовольствія, говорятъ, что онъ «дѣлаетъ глупости». О немъ отзываются шуточно и съ улыбкой называютъ его «кутилой». У бѣдныхъ молодой человѣкъ, тратящій капиталъ, считается негодяемъ, идущимъ къ нищетѣ, дрянью.

Довольно того, что дядя Жюль значительно убавилъ ту часть наслѣдства, на какую рассчитывалъ мой отецъ, и свою часть спустилъ до послѣдняго гроша.

Его отправили въ Америку, какъ это дѣлалось тогда, на купеческомъ кораблѣ, шедшемъ изъ Гавра въ Нью-Йоркъ.

Приѣхавъ туда, дядя Жюль сталъ тѣмъ-то торговать и написалъ вскорѣ, что онъ уже начинаетъ зарабатывать деньги и надѣется возратить отцу тѣ потери, которыя тотъ понесъ изъ-за него. Это письмо произвело глубокое впечатлѣніе въ семьѣ. Жюль, считавшійся ни къ чему негоднымъ, вдругъ оказывается честнымъ человѣкомъ, человѣкомъ съ душой, настоящимъ Давраншемъ, безукоризненнымъ какъ всѣ Давранши.

Кромѣ того, какой-то капитанъ сообщилъ намъ, что Жюль держитъ большую лавку и ведетъ значительную торговлю.

Черезъ два года пришло еще письмо; въ немъ говорилось: «Дорогой Филиппъ, пишу тебѣ, чтобы ты не беспокоился о моемъ здоровьи; оно вполнѣ хорошо. Дѣла также идутъ хорошо. Я уѣзжаю завтра въ долговременное путешествіе по Южной Америкѣ. Быть можетъ, мнѣ нѣсколько лѣтъ не придется давать о себѣ извѣстій. Но не беспокойся, если не будешь получать отъ меня писемъ. Я возвращусь въ Гавръ, какъ только составлю себѣ состояніе. Надѣюсь, что этого ждать не слыхомъ долго и что мы еще счастливо поживемъ вмѣстѣ...»

Это письмо сдѣлалось евангеліемъ нашей семьи. Его читали при каждомъ удобномъ случаѣ; его всѣмъ показывали.

Дѣйствительно, въ теченіи десяти лѣтъ дядя Жюль ничего не давалъ знать о себѣ, но надежды моего отца росли по мѣрѣ того, какъ время подвигалось, и даже моя мать часто говорила:

— Когда нашъ добрый Жюль возвратится, наше положеніе будетъ совсемъ другое. Вотъ онъ сумѣлъ устроить «свое дѣла».

И каждое воскресенье, видя на горизонтѣ пароходы, извергающіе густыя струи чернаго дыма, отецъ повторялъ ту-же фразу:

— А что если тамъ Жюль? воть-бы удивилъ!

Ожидали даже, что онъ вдругъ появится на палубѣ, махнеть платкомъ и крикнуть: «Филиппъ!»

На этомъ несомнѣнномъ возвращеніи были построены тысячи проектовъ; предполагалось даже купить на дядины деньги дачу около Энгувилля. Не буду утверждать, что мой отецъ не вступалъ въ какіе-либо переговоры по этому поводу.

Моей старшей сестрѣ было тогда двадцать-восемь лѣтъ, младшей—двадцать-шесть. Онѣ еще были не замужемъ, а это больше всего огорчало нашу семью.

Наконецъ, у второй сестры является женихъ, чиновникъ, небогатый, но очень почтенный человѣкъ. Я убѣжденъ, что письмо дяди Жюля, прочтенное ему однажды, прекратило его колебанія и заставило его рѣшиться.

Предложеніе его было принято съ радостью, и было условлено, что послѣ свадьбы вся семья совершитъ маленькое путешествіе на островъ Джерсей.

Поездка на Джерсей составляетъ лучшую мечту небогатыхъ людей въ нашихъ мѣстахъ. Это недалеко; нужно немного проѣхать моремъ, чтобы очутиться за границей, такъ какъ островъ принадлежитъ англичанамъ. Такимъ образомъ, французъ черезъ два часа можетъ доставить себѣ интересное зрѣлище сосѣдняго народа и изучать нравы, впрочемъ, крайне испорченные, острова, на которомъ развѣвается британскій флагъ.

Путешествіе на Джерсей сдѣлалось нашей главной заботой, нашимъ единственнымъ ожиданіемъ, нашей ежеминутной мечтой.

Наконецъ, отправились. Я все такъ и вижу, какъ будто это было вчера: дымящійся пароходъ, отца, съ безпокойствомъ наблюдающаго, какъ грузятъ наши чемоданы, встревоженную мать, ухватившую за руку незамужнюю дочь, которая казалась совѣмъ разстроенной послѣ замужства другой сестры, и, наконецъ, новобрачныхъ, державшихся все позади насъ, что заставляло меня часто оборачиваться на нихъ.

Раздался свистокъ. Мы взошли на палубу, и пароходъ, отчаливая, заскользилъ по морю, плоскому, точно столъ

изъ зеленого мрамора. Мы глядѣли на убѣгающіе отъ насъ берега съ восторгомъ и гордостью, какъ всѣ, кому мало приходится путешествовать.

Отецъ стоялъ, выпятивши животъ, въ сюртукъ, съ котораго утромъ тщательно были сведены всѣ пятнышки, и разливалъ около себя запахъ бейзина, что для меня служило признакомъ воскреснаго дня.

Вдругъ онъ замѣтилъ двухъ нарядныхъ дамъ, которыхъ два господина угощали устрицами. Старый матросъ въ изодранномъ платьѣ открывалъ раковины ножомъ и передавалъ ихъ господамъ, а тѣ ужъ передавали ихъ дамамъ. Дамы ѣли очень осторожно, держа раковины въ батистовыхъ платкахъ и вытирая губы, чтобы не запачкать платье. Потомъ онѣ быстро склебывали воду и выбрасывали раковину въ море.

Отца, безъ сомнѣнія, соблазнила изящная мысль ѣсть устрицы на кораблѣ, во время движенія. Ему показалось это очень утонченнымъ, шикарнымъ, и онъ подошелъ къ матери и сестрамъ съ предложеніемъ:

— Хотите поѣсть устриць?

Мать колебалась въ виду расхода, но обѣ сестры сейчас-же согласились. Мать возразила недовольнымъ тономъ:

— Я боюсь за свой желудокъ. Дай, пожалуй, дѣтямъ, но только немного; это имъ вредно.

Обратившись въ мою сторону, она прибавила:

— А Жозефу не нужно; не слѣдуетъ баловать мальчиковъ.

Поэтому я остался съ матерью, находя подобное различіе совершенно несправедливымъ. Я слѣдилъ глазами за отцемъ, который торжественно велъ дочерей и зятя къ старому матросу въ лохмотьяхъ.

Дамы уже ушли, и отецъ объяснялъ сестрамъ, какъ надо ѣсть устриць, чтобы не облитъса водой; онъ даже хотѣлъ самъ показать имъ примѣръ и взялъ одну устрицу. Однако, стараясь подражать дамамъ, онъ пролилъ всю жидкость изъ раковины на свой сюртукъ, и я слышалъ, какъ мать пробормотала:

— Лучше-бы сидѣть смирно.

Вдругъ отецъ выказалъ сильное безпокойство; онъ отошелъ на нѣсколько шаговъ, посмотрѣлъ на свою семью, тѣснившуюся около матроса, открывавшаго раковины, и разомъ при-

близился къ намъ. Онъ показался мнѣ очень блѣднымъ и съ страшнымъ выраженіемъ въ глазахъ. Онъ вполголоса сказалъ матери:

— Удивительно, какъ этотъ человѣкъ, открывающій устрицы, похожъ на Жюля.

Мать спросила въ величайшемъ волненіи:

— На какого Жюля?

— Да на моего брата, продолжалъ отецъ. — Если-бы я не былъ увѣренъ, что онъ въ Америкѣ и живетъ тамъ хорошо, я бы подумалъ, что это онъ.

Совершенно растерявшаяся мать прошептала:

— Ты съ ума сошелъ? Если ты знаешь, что это не онъ, для чего-же говорить такіа глупости?

— Нѣтъ, ты сходи, взгляни на него, Кларина, настойчиво сказалъ отецъ, — я-бы хотѣлъ, чтобы ты сама въ этомъ убѣдилась собственными глазами.

Она встала и пошла къ дочерямъ. Я также смотрѣлъ на этого человѣка. Онъ былъ старъ, грязенъ, весь въ морщинахъ и не поднималъ глазъ отъ своей работы.

Мать вернулась; я замѣтилъ, что она дрожала. Она быстро проговорила:

— Я думаю, что это онъ. Поди, разспроси капитана. Только будь остороженъ; смотри, чтобы это золото какъ-нибудь не навязалось намъ на шею.

Отецъ пошелъ, и я за нимъ. Я чувствовалъ какое-то странное волненіе.

Капитанъ, очень высокій, худой, съ длинными бакенбардами, прохаживался по мостику съ важнымъ видомъ, какъ будто у него подъ командой находился корабль, совершающій кругосвѣтное плаваніе.

Отецъ вѣжливо обратился къ нему съ различными вопросами, касающимися его профессіи, сопровождая ихъ комплиментами. Потомъ онъ разспрашивалъ его объ островѣ Джерсей: каково его значеніе, продукты, населеніе, права, обычаи, свойства почвы и пр.

Можно было подумать, что дѣло идетъ, по крайней мѣрѣ, о сѣверо-американскихъ Соединенныхъ Штатахъ.

Потомъ заговорили о нашемъ пароходѣ, носившемъ названіе Express, — затѣмъ коснулись экипажа. Отецъ, наконецъ, спросилъ смущеннымъ тономъ:

— Очень интересная личность у васъ,—это матросъ, открывающій устрицы. Скажите, пожалуйста, что это за человекъ?

Капитанъ, котораго этотъ разговоръ начиналъ раздражать, отвѣтилъ сухо:

— Это старый бродяга французскаго происхожденія; въ прошломъ году я взялъ его въ Америкѣ и привезъ сюда. У него, кажется, есть родные въ Гаврѣ, но онъ къ нимъ не хочетъ возвращаться, потому что долженъ имъ. Его зовутъ Жюль... Жюль Дорманшъ или Дорваншъ, что-то въ этомъ родѣ. Кажется, одно время его дѣла тамъ шли хорошо, а теперь посмотрите, до чего онъ дошелъ.

Отецъ, поблѣднѣвшій, какъ смерть, проговорилъ съ величайшимъ усиленіемъ, съ растеряннымъ взглядомъ:

— А, а! хорошо... Это меня нисколько не удивляетъ... Очень вамъ благодаренъ, капитанъ.

И онъ ушелъ, сопровождаемый удивленнымъ взглядомъ капитана.

Онъ вернулся къ матери до такой степени разстроенный, что она сказала ему:

— Сядь; замѣтять...

Онъ опустился на скамью и проговорилъ, заикаясь:

— Это онъ, навѣрное онъ!

Потомъ онъ спросилъ:

— Что-же намъ дѣлать?

— Надо увести оттуда дѣтей, живо отвѣтила она.— Жозефъ все знаетъ,—такъ пускай онъ за ними и сходитъ. Надо только, чтобы зять ни о чемъ не догадывался.

Отецъ казался совершенно разбитымъ. Онъ бормоталъ:

— Какое несчастье!

Мать возразила, уступая внезапному порыву озлобленія:

— Я всегда думала, что этотъ негодяй ничего не сдѣлаетъ и намъ-же придется съ нимъ возиться. Точно можно ожидать чего-нибудь путнаго отъ Давраншей!

Отецъ провелъ рукой по лбу, какъ онъ дѣлалъ всегда, когда мать попрекала его. Она прибавила еще:

— Дай денегъ Жозефу заплатить за устрицы. Недостаетъ только одного, чтобы этотъ нищій насъ узналъ. Очень это бу-

дети приятно,—нечего сказать! Пойдемъ на тотъ конецъ, и постарайся, чтобы онъ какъ-нибудь не подошелъ къ намъ.

Она встала, и они удалились оба, вручивъ мнѣ монету въ пять франковъ.

Сестры удивились отсутствію отца; я объяснилъ, что море дурно подѣйствовало на мать, и спросилъ у матроса:

— Сколько мы вамъ должны?

Мнѣ хотѣлось прибавить: «дядюшка».

Онъ отвѣтилъ:

— Два франка пятьдесятъ сантимовъ.

Я протянулъ ему мои пять франковъ, и онъ далъ мнѣ сдачу.

Я смотрѣлъ на его руку, грубую, сморщенную, на его лицо, старое, жалкое, унылое, измученное и говорилъ себѣ:

— Это мой дядя, братъ моего отца, мой дядя!

Я далъ ему пятьдесятъ сантимовъ на чай. Онъ поблагодарилъ.

— Дай вамъ Богъ здоровья, молодой баринъ, произнесъ онъ тономъ, какимъ эту фразу говорятъ нищіе;—я подумалъ, что онъ, вѣроятно, тамъ просилъ милостыню.

Сестры видимо были поражены моею щедростью.

Когда я отдалъ отцу два франка, мать съ удивленіемъ воскликнула:

— Какъ! съ тебя взяли три франка? Быть не можетъ!

Я отвѣтилъ твердымъ тономъ.

— Я ему далъ полфранка на чай.

Мать подпрыгнула на мѣстѣ и посмотрѣла мнѣ прямо въ глаза.

— Ты съ ума сошелъ! Десять су на чай, этому бродягѣ! Не остановилъ взглядъ отца, указывавшій на зятя.

Когда мы приблизились къ пристани, у меня явилось сильное желаніе увидѣть еще разъ моего дядю Жюдя, подойти къ нему, сказать ему что-нибудь утѣшительное, нѣжное.

Но такъ какъ никто больше не ѣлъ устриць, онъ исчезъ, опустившись, вѣроятно, въ свою грязную каморку.

Съ тѣхъ поръ я ни разу не видалъ брата моего отца.

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ЧТО ЧИТАЮТЪ НАРОДУ?

Что читаютъ народу? Критическій указатель книгъ для народнаго и дѣтскаго чтенія Составленъ учительницами харьковской частной женской воскресной школы: Х. Д. Алчевскою, Е. Д. Гордѣвой, А. П. Грищенко, З. И. Дашкевичъ, Л. И. Дашкевичъ, Л. Е. Еоимовичъ, А. Д. Ивановой, М. А. Ивановой, А. М. Калмыковой, Н. П. Пенго, О. С. Рудневой и Е. И. Цѣтковой. С.-Петербургъ, 1884.

Съ незапамятныхъ временъ заведены у насъ для народа школы и пишутся книги—въ «Систематическомъ обзорѣ русской народно-учебной литературѣ», составленномъ Комитетомъ грамотности, помѣщено 965 названій и въ «Что читать народу»—1,007 названій, всего 1,972 названія—и послѣ того, что написано почти двѣ тысячи книгъ, является вопросъ—«что читать народу?».

Исслѣдовательницы, имена которыхъ выписаны въ заглавіи книги, необыкновенно добросовѣстно принялись за разрѣшеніе этого вопроса и въ книгѣ, которую онѣ издали, указали подробно весь путь своего исслѣдованія. Передъ читателемъ лежитъ какъ бы химическая работа, въ которой онъ шагъ за шагомъ можетъ прослѣдить весь процессъ анализа. Исслѣдовательницы сами, повидимому, не желаютъ предрѣшать ничего; онѣ вносятъ тотъ или другой матеріалъ въ свою лабораторію и затѣмъ отмѣчаютъ комбинаціи или явленія, которыя возникаютъ изъ взаимодѣйствія силъ. Пріемъ этотъ вполне научный, а потому и результаты, къ которымъ онъ можетъ привести, даютъ твердую опору къ вполне реальнымъ выводамъ и къ здравымъ заключеніямъ, чуждымъ всякой измышленной фальши, которой обыкновенно сопровождалась гипотезы славянофиловъ и народниковъ новѣйшей фор-

маціи. Работа, о которой мы говоримъ, настолько любопытна, что мы постараемся познакомить съ нею читателя подробнѣе.

Читается, положимъ въ школѣ рассказъ гр. Л. Н. Толстаго «Чѣмъ люди живы». Это рассказъ объ ангелѣ, ослушавшемся Бога, когда онъ велѣлъ вынуть изъ женщины душу. Прилетѣлъ къ Господу ангелъ и говорить: «Не могъ я изъ родильницы души вынуть. Отца деревомъ убило, мать родила двойни и молитъ не брать изъ нея души, говорить: «дай мнѣ дѣтей вспоить, вскормить, на ноги поставить. Нельзя дѣтямъ безъ отца, безъ матери прожить». И Господь сказалъ: «Пойди, вынь изъ родильницы душу и узнаешь три слова: узнаешь, что есть въ людяхъ, и что не дано людямъ, и чѣмъ люди живы. Когда узнаешь,—вернешься на небо». И полетѣлъ ангелъ на землю и вынулъ изъ родильницы душу и только что онъ поднялся надъ селомъ, чтобы отнести ее къ Богу, какъ подхватилъ ангела вѣтеръ, отвалились его крылья и онъ упалъ у дороги на землю. Упавшаго ангела приютилъ къ себѣ бѣдный сапожникъ и узналъ тутъ ангелъ первое слово, «что есть въ людяхъ любовь». Но всего онъ еще не могъ узнать, не могъ понять, чего не дано людямъ, и чѣмъ люди живы. Сталъ жить ангелъ у сапожника и прожилъ годъ и пріѣхалъ баринъ заказывать сапоги такіе, чтобы годъ носились, не поролись, не кривились. Ангелъ взглянулъ на него и за плечами его увидѣлъ товарища своего, смертнаго ангела, и узналъ, что не зайдетъ еще солнце, какъ возьметъ душа богача. И подумалъ ангелъ: припасаетъ себѣ человекъ на годъ, а не знаетъ, что не будетъ живъ до вечера. И вспомнилъ ангелъ другое слово Бога: «узнаешь, чего не дано людямъ». Но всего не могъ еще понять ангелъ. И все жилъ онъ у сапожника и ждалъ, когда Богъ откроетъ ему послѣднее слово. И на шестомъ году пришли дѣвочки съ женщиною и узналъ ангелъ дѣвочекъ, узналъ, какъ остались живы дѣвочки и подумалъ: «просила мать за дѣтей и повѣрилъ я матери, думалъ, что безъ отца, безъ матери нельзя прожить дѣтямъ, а чужая женщина вскормила, взростила ихъ». И когда умилилась женщина на чужихъ дѣтей и заплакала, ангелъ увидалъ въ ней живаго Бога и понялъ, чѣмъ люди живы. И обнажилось тѣло ангела, и одѣлся онъ весь свѣтомъ, такъ что глазу нельзя смотрѣть на него и заговаривалъ онъ, какъ будто не изъ него, а съ неба шелъ его голосъ, и сказалъ: «Узналъ я, что живъ всякій человекъ не заботой о себѣ, а любовью». И распустились у ангела за спиной крылья, и поднялся онъ на небо.

«Находясь подъ обаятельной силой чарующаго своею прелестью рассказа Толстаго», говоритъ учительница, она отнеслась съ боль-

шимъ интересомъ къ тому, какъ прочтутъ его въ школѣ и дѣти и взрослые и что они скажутъ о немъ. Вотъ что оказалось:

Евдокія Я—ко, 10 лѣтъ, обучается въ воскресной школѣ вторую зиму. Дѣвочка живо, картинно, прочувствованно передала все содержаніе съ начала до конца. Не подражая книжной рѣчи, но и не упуская ни малѣйшей подробности, она передала рассказъ чисто дѣтскимъ, простымъ языкомъ. «Осталась у нихъ одна шубенка на все семейство, говорила она съ соболѣзнованіемъ, — перебивались такъ-сякъ, вотъ оцъ и думаетъ: «пойду къ должнику, можетъ, дастъ Богъ, долгъ получу». Пошелъ, долга не получилъ, а всего 20 к., и возвращается домой, видитъ:—*камличка* (часовня) стоитъ, а возлѣ камплички чужой мужчина сидитъ, голый. «Вотъ», думаетъ, «не дай Богъ, какъ еще какой навяжется, — кто знаетъ, что у него на думѣ!..» Такъ шелъ рассказъ до конца. На вопросы она затруднялась отвѣчать, очевидно не умѣя справляться съ обобщеніями и выводами. Но на третій вопросъ, чѣмъ люди живы, отвѣтила: «добротою».

Вторая дѣвочка, Дарья Б—ва, 11 лѣтъ, умная и способная, передала рассказъ тоже увлекательно и живо, и когда ей были предложены вопросы о словахъ, отвѣчала: — А вотъ какія онъ слова узналъ, первое, — какъ пожалѣла она его, — онъ узналъ, что въ сердцѣ человѣческомъ есть искренность любви; второе, — какъ почувствовалъ, что у барина изо рта смертью пахнетъ (въ рассказѣ этого нѣтъ), — узналъ онъ, что люди не могутъ знать дня своей кончины, и третье: — какъ увидалъ, что дѣвочки сиротки живы и здоровы черезъ попеченіе той женщины — узналъ, чѣмъ люди живы. Дѣвочка остановилась и добавила торжественно: — «*любовью!*» — «Любовью къ отцу? къ матери? къ брату?» спросила учительница. — «Нѣтъ! какъ есть ко всякому человѣку».

Катя С—ва, 10 л. Очень способная, быстро и съ необыкновеннымъ оживленіемъ передала содержаніе. Казалось, все это произошло вчера или сегодня у нея на глазахъ. «Этотъ сапожникъ, говорила она, какъ про знакомаго человѣка, очень бѣдно жилъ: что заработаетъ, то и проѣстъ. «Пойду, думаетъ, за долгами!» Пошелъ. У того нѣтъ, у другого нѣтъ, — двугривенный всего получилъ. Досада его взяла, — что на него смотрѣть, — пропилъ. Идетъ домой и видитъ: — кто-то возлѣ сторожки прижался. Онъ и думаетъ себѣ: «что, какъ схватить да задушить!».. Въ такомъ духѣ шелъ весь рассказъ. Не успѣла учительница окончить вопроса о томъ, какія три слова узналъ ангелъ, какъ Катя перебила ее: «Богъ послалъ ангела на землю у женщины душу вынуть и узнать, чѣмъ люди живы. Онъ души не вынулъ и не узналъ, чѣмъ люди живы; вотъ Богу досадно стало, онъ и по-

сдѣлалъ его въ другой разъ и сказалъ: когда такъ, то узнай-же ты теперь три слова: что есть у людей и чего нѣтъ, и чѣмъ люди живы». Онъ и узналъ: у кого въ душѣ есть любовь, у того и Богъ; у кого нѣту любви, нѣту и Бога; а еще увидалъ смертнаго ангела у барина за плечами, когда тотъ на годъ сапоги заказывалъ, и узналъ, чего люди не знаютъ—смертнаго часа. А третье,—онъ думалъ, что дѣвочки тѣ померли, особенно калѣчка, а онѣ были живы черезъ любовь. Безъ отца, безъ матери можно прожить, а безъ Бога и безъ любви нельзя прожить,—заклѣчила дѣвочка».

Но вотъ передъ учительницей взрослая дѣвушка со строгимъ и сосредоточеннымъ выраженіемъ лица.—«Я не буду переспрашивать васъ о содержаніи прочитаннаго, говорить учительница,—такъ какъ увѣрена, что вы можете передать его удовлетворительно...»—«Да, я знаю, перебиваетъ она,—вы, вѣроятно, желаете, чтобы я отвѣтила вамъ на три вопроса,—я могу!—Позвольте мнѣ самой все говорить!» добавила ученица.—«Пожалуйста!»—Какое первое слово узналъ ангелъ? сказала ученица вопросительнымъ тономъ,—когда она смилосердилась, онъ улыбнулся и узналъ, что изъ нея вышелъ духъ смерти и поселился въ ней духъ жизни и любви; а второе:—онъ узналъ, что люди не могутъ знать, до какихъ поръ они доживутъ, что жизнь человѣческая не долгая: сейчасъ живъ, а къ вечеру можешь помереть. А третье онъ узналъ, что нечего было матери думать о будущемъ, потому что въ людяхъ есть любовь, и чужая женщина вскормила и возростила ихъ, потому что всѣ люди любовью живы».

А вотъ письменные отвѣты малограмотныхъ деревенскихъ учениковъ, лѣтъ 11—14-ти. Описывая послѣднія минуты пребыванія ангела на землѣ, Поликарпъ В—въ пишетъ: «Михайлъ отдалъ Семену все то платье, которое было на немъ, и попрощался съ ними, поднялся вверхъ и улетѣлъ на небо. Семень и Матрена ушли на-земь и лежали до тѣхъ поръ, пока Михайлъ скрылся. Поднялись они и увидали,—изба была цѣлая, и все на мѣстѣ. Долго горевали Семень и Матрена по Михайлѣ, но стали они жить лучше прежняго времени!» Весь конецъ подсказанъ Поликарпу В—ву его живымъ воображеніемъ. Алексѣй К—въ (11 л.) пишетъ: «Люди живы любовью, а любовь есть Богъ!» Отвѣтъ Данила К—ва является также не зауряднымъ:—«слѣдуетъ полагать, что люди живы любовью, потому что Евангелистъ Іоаннъ сказалъ: только тотъ челоуѣкъ живъ, который любитъ всѣхъ. И такъ мы живы любовью!» «Люди живы любовью»,—пишетъ Евдокимъ Ф—въ (14 л.), «а въ любви пребываетъ самъ Госнодь. Въ томъ мѣрѣ, гдѣ нѣтъ любви, тамъ нѣтъ Бога!» Богъ сказалъ:

«гдѣ любовь, тамъ и Я». «Люди живы вотъ чѣмъ, пишетъ Яковъ Ф—въ (14 л.), напримѣръ, у насъ по селамъ и деревнямъ есть много случаевъ: останется ребенокъ отъ матери одного, двухъ дней, куда его дѣвать?—не скоронить-же его живымъ. И вотъ даетъ Господь людямъ любовь къ чужимъ дѣтямъ. Возьметъ его кто-нибудь къ себѣ, воспитаетъ, и выйдетъ изъ него человекъ въ хорошіе люди. Вотъ что дѣлаетъ любовь! Дитя совсѣмъ погибло бы въ бѣдѣ, а любовь его выкормила и вырастила безъ отца и безъ матери».

Сцену съ барининомъ Владиміръ Ф—въ (20 л.) описываетъ такъ образомъ: «Баринъ былъ на видѣ большой и толстый, морда какъ налитая, красная, а самъ, какъ изъ чугуна вылить; и былъ онъ сердитый и кричалъ на всѣхъ, точно будто ему власть дана надо всѣми. Онъ думалъ, что ему не одни доведется сапоги изнашивать, но не такъ пришлось: онъ померъ дорогою, и его внесли въ комнату, какъ колоду. О, какъ мы жалки въ такомъ положеніи, въ какомъ былъ баринъ! Мы не знаемъ, что намъ для нашего дѣла нужно, загадываемъ дѣла разныя, а сами не знаемъ, что будетъ завтра». «Людямъ не дано знать, что будетъ съ ними завтра, пишетъ Яковъ Ф—въ, «Не даромъ ходить въ народѣ поговорка: «не загадывай въ годъ, а загадывай въ ротъ».

Или: передъ учительницей стоитъ маленькая, черненькая дѣвочка лѣтъ 10-ти и держитъ «Дѣлатели золота» (повѣсть Пшоче). Кто выдалъ ей, господа, эту книгу?—говоритъ учительница съ удивленіемъ, обращаясь къ другимъ учительницамъ, а она, не обращая на это вниманія, начинаетъ рассказъ тоненькимъ, печальнымъ голоскомъ,—и какъ рассказываетъ: «Когда онъ пришелъ на свою родину, говоритъ она,—всѣ люди тамъ были оборванные, все равно что нищіе, пьянствуютъ, обижаютъ другъ дружку, просто ни на что не похоже! Что тутъ дѣлать? Сталъ онъ школы заводитъ, больницы, богадѣльню выстроилъ для бѣдныхъ, все съ батюшкой; тотъ тоже хорошій человекъ былъ»...—Ну, а скажи мнѣ, милая, перебываетъ учительница,—какъ ты думаешь: много такихъ бѣдныхъ деревень? (Обобщая вопросъ, мнѣ интересно было знать, пишетъ учительница, насколько глубоко оунулась эта крошка въ пониманіе книги, предназначенной у насъ преимущественно для взрослыхъ).—А какъ-же, много! говоритъ печально крошка:—и въ городѣ, и то пьютъ, и человекъ такого не находится, какъ Данила. Сосѣди даже не вѣрили,—думали, что они золото дѣлаютъ!—«А въ самомъ дѣлѣ, дѣлали-ли они золото?»—«Дѣлали!»—отвѣчаетъ дѣвочка. Только не такъ дѣлали, чтобы въ нодъ земли вырвали что-ли, а черезъ трудъ свой: завели ма-

шины, перемелютъ хлѣбъ, продадутъ, возьмутъ за него деньги — вотъ и золото, а не то чтобы какъ-нибудь!»

Мы взяли выдержки совершенно случайныя и сравнительно небольшія, ибо литературный отдѣлъ книги занимаетъ 354 стр., и почти на половину состоятъ изъ дѣтскихъ пересказовъ и замѣчаній. Разобрано 386 названій; работа многолѣтняя и громадная. Но для насъ важенъ не этотъ вопросъ, а важенъ тотъ читатель, который служилъ предметомъ изслѣдованія. Послѣ немногихъ страницъ, становится вполне яснымъ, что читатель, служившій предметомъ изслѣдованія, есть читатель сердечный, непосредственный, чуждый теорій, рефлексій и той «мозговой болѣзни», которой страдаютъ «образованные». Этотъ читатель не имѣетъ привычки къ механизму мышленія, подробности и красоты мысли для него чужды, отвлеченія его не занимаютъ, онъ прямо идетъ къ «сущности», а сущность для него заключается въ тѣхъ отношеніяхъ людей, которыя онъ усваиваетъ изъ чтенія и затѣмъ оцѣняетъ съ чисто нравственной точки зрѣнія. Художественность для такого непосредственнаго читателя есть правда, и если прочитанное ему не нравится, то значитъ, что въ немъ нѣтъ художественности. Самое изумительное во всемъ этомъ, конечно, наше собственное изумленіе. Вотъ десятилѣтняя «крошка» превосходно понимаетъ сущность разсказа «дѣлатели золота» и озадачиваетъ своимъ пересказомъ и отвѣтами учительницу. Но вѣдь эта самая «крошка», раньше, чѣмъ поступить въ школу грамотности, прошла уже большую школу жизни, школу нравственныхъ понятій, въ которыхъ ее воспитывала ее собственная живая душа, отношенія къ семьѣ, уроки матери и отца и тѣхъ разнообразныхъ практическихъ отношеній, какія она видѣла и наблюдала на каждомъ шагѣ и каждый день. Видѣла она эту жизнь и думала, и съ готовымъ запасомъ своего нравственнаго и умственнаго опыта принялась за «дѣлателей золота». Передъ нами уже законченное, готовое живое и мыслящее существо, какимъ можетъ быть законченъ десятилѣтній ребенокъ, съ извѣстнымъ комплексомъ нравственныхъ доступныхъ ему понятій; а мы думаемъ, что открываемъ ребенку міръ новой книжной и затѣмъ изумляемся, что онъ относится къ ней сознательно и съ готовой нравственной критикой. Кромѣ понятій практической нравственности, ребенокъ владѣетъ представленіемъ о Богѣ, о душѣ, о жизни и смерти, объ ангелахъ, о раѣ, объ адѣ. Вѣдь только потому ребенокъ и могъ понять разсказъ Л. Толстаго, что владѣлъ уже представленіями, служившими матеріаломъ для автора разсказа. Не новый матеріалъ былъ данъ тутъ ребенку, а только новая его комбинація и нѣсколько сомнительно, приобрѣли-ли дѣти изъ разсказа Толстаго хотя какую-ни-

будь новую, раньше имъ неизвѣстную идею, или все это они уже знали. По крайней мѣрѣ одну десятидѣтную дѣвочку рассказъ Толстаго не убѣдилъ, и сказавъ, что «безъ отца и безъ матери прожить можно», она отъ себя прибавила: «но трудно».

На сколько всѣ эти опыты производились надъ матеріаломъ уже готовымъ, можетъ убѣдить слѣдующій письменный отвѣтъ одного ученика, только годъ какъ кончившаго сельскую школу. По прочтеніи «Сорочинской ярмарки» Гоголя, былъ предложенъ слушателямъ рядъ вопросовъ для письменныхъ отвѣтовъ и на вопросъ «понравилась или не понравилась книга?» ученикъ написалъ: «Книга эта мнѣ понравилась, потому что когда я ее читала, то мнѣ было очень пріятно, любопытно и смѣшно; но больше всего, кажется, мнѣ понравился утомительно жаркій и роскошный лѣтній день въ Малороссіи, когда солнце жжетъ до неумѣримости при общей тишинѣ; развѣ только жаворонокъ запоетъ свою звонкую и пріятную пѣсню въ небесной глубинѣ да изрѣдка послышится крикъ чайки, или голосъ перепела отдастся въ степи, а широкія вѣтви яблонь, грушъ, сливъ и черешень отъ тяжести плодовъ понагнулись почти до земли. Высокіе дубы лѣниво стоятъ, будто безъ всякой цѣли, когда ослѣпительные удары солнечныхъ лучей зажигаютъ цѣлые милліоны листьевъ, набрасывая на другіе темную тѣнь. *Какъ хорошо, какъ пріятно погулять въ лѣсу въ одинъ изъ такихъ дней на свѣжемъ и полезномъ для человека воздухѣ при ароматическихъ духахъ, происходящихъ отъ различныхъ травъ и цвѣтовъ, когда цѣлый міръ насекомыхъ жужжитъ разными голосами.*»

Если въ этомъ описаніи природы и замѣтно вообще подражаніе Гоголю, то окончаніе принадлежитъ цѣликомъ ученику. Какой запасъ понятій нужно уже имѣть, чтобы сдѣлать подобное описаніе!

По мѣрѣ того, какъ школь приходится имѣть дѣло съ учениками и учениками болѣе взрослыми, является и болѣе тонкое пониманіе не только основной идеи читаемаго, но и ея оттѣнковъ. Вотъ небольшая параллель понятій маленькихъ и болѣе взрослыхъ ученицъ. Читается С. Аксакова «Аленькій цвѣточекъ». «Богатый купецъ, собираясь въ путь, предложилъ тремъ своимъ дочерямъ-красавицамъ назначить, какіе имъ привезти подарки. Старшая просила корону, вторая—нарядъ хрустальный, а третья—аленькій цвѣточекъ, краше котораго нѣтъ на свѣтѣ. Отецъ попадаетъ въ лѣсъ, во дворецъ къ чудовищу, срываетъ дивный алый цвѣтокъ, но въ эту минуту является передъ нимъ страшилище и требуетъ или его собственной жизни, или присылки къ нему одной изъ дочерей. Бѣдный отецъ съ отчаяньемъ возвращается домой и передаетъ дѣтямъ о случившемся. Двѣ старшія дочери на-отрѣзъ

отказываются отъ великодушнаго поступка, зато третья безропотно и покорно приноситъ себя въ жертву... Слѣдуетъ рядъ сказочныхъ описаній, какъ жилось красавицѣ въ чудномъ дворцѣ. Все являлось передъ нею моментально въ заколдованномъ замкѣ. Чудовища она не видала, но оно говорило съ ней письменно. Она привыкла къ этимъ бесѣдамъ, въ которыхъ свѣтилась добрая, честная и любящая душа. Затѣмъ она пожелала слышать его голосъ. Этотъ голосъ дикаго звѣря въ первую минуту испугалъ ее, но она побѣдила страхъ изъ состраданія къ нему и продолжала бесѣды. Затѣмъ ей, во что-бы то ни стало, хотѣлось видѣть его во-очію. Долго бѣднякъ отказывался, страшась перепугать ее и окончательно оттолкнуть отъ себя. Наконецъ, свиданіе совершилось. Бѣдная дѣвушка почти за-мертво упала отъ ужаса. Когда она очнулась, чудовище великодушно предлагаетъ ей отпустить ее домой и говорить, что умереть, если она не возвратится къ нему черезъ три дня. Дѣвушка очутилась дома, но преобладающее чувство состраданія, участія и признательности влечетъ ее обратно во дворецъ. Сестры завидуютъ ея роскошной обстановкѣ и нарочно переставляютъ часы. Дѣвушка опаздываетъ часомъ и застаётъ бѣднаго чудовище мертвымъ. «Встань! пробудись! Я люблю тебя!» говорить она, рыдая. И тутъ совершается чудо. Слова эти лишаютъ силъ чары злой феи, и передъ нею стоитъ молодой принцъ.

Сказка эта, конечно, для взрослыхъ, ибо въ ней весь интересъ основанъ на идеѣ могущества любви, поэтому понятно, что болѣе молодыя ученицы не могли давать удовлетворительныхъ объясненій. Такъ, 13-ти-лѣтняя ученица, передавши бойко и толково всѣ внѣшнія подробности сказки, никакъ не могла понять ея основной мысли, тогда какъ это давалось легко взрослымъ ученицамъ, повидимому, менѣе бойкимъ и развитымъ. На вопросъ, за что дѣвушка любила чудовище, 13-ти-лѣтняя ученица отвѣчала: «За то, что о чемъ она ни подумаетъ, все является:—музыка играетъ, разныя кушанья подаются», объясняла ученица, весело улыбаясь и вся погруженная въ воспоминаніе этихъ подробностей. Дѣлаются подобные-же вопросы въ сельской школѣ и получаютъ такіе отвѣты: «Мнѣ было только тогда страшно, замѣтилъ одинъ изъ мальчиковъ, широко раскрывъ глаза,—когда это чудовище явилось ей въ саду и все *затрусилось* и затрепетало въ эту минуту. Я такъ и зналъ, что она испугается, какъ увидитъ его».— «За что-же любила она это чудовище? предложила учительница въ концѣ обычный вопросъ. Отвѣты были разные.— «За его умность и доброту, отвѣчала дѣвочка.— За то, что онъ ее любилъ!— За его пріятство.— За то, что онъ жалѣлъ ее.— За то, что хорошо съ

нею поступалъ». И только одинъ маленькій материалистъ замѣтилъ:—За то, что все онъ доставлялъ!

Но вотъ подходитъ къ учительницѣ взрослая, 20-ти-лѣтняя ученица воскресной школы, дѣвушка серьезная, сразу отдѣлившаяся по своимъ отвѣтамъ отъ другихъ ученицъ. На вопросъ за что дочь купца полюбила чудовище, ученица отвѣчаетъ:—За кротость сердца, за честность и умъ!—Изъ чего можно вывести, что онъ былъ уменъ?—«Я изъ того заключаю объ его умѣ, отвѣчаетъ дѣвушка, — что онъ не показался ей сразу, а словами переписывался; онъ самъ сознавалъ, что его нельзя любить, — вотъ онъ и приучалъ къ себѣ понемногу, чтобы она заставила себя не такъ испугаться. А честнымъ я его за то считаю, что онъ могъ-бы силою ее за себя взять, а онъ вмѣсто того угодить старался, до тѣхъ поръ старался, пока ей жаль стало. А кроткимъ я его за то назову, что имѣлъ онъ думку не своей красотой, а своей добротой понравиться».

Нельзя обойти и слѣдующій отвѣтъ 14-ти-лѣтней ученицы. Вотъ какъ передала она содержаніе «Аленькаго цвѣточка»,—«Она его пугалась, говорила она между прочимъ,—но сердце ея чувало, что быть ему женихомъ ея нареченнымъ. И просила она его слезно, чтобы онъ хоть слово единое сказалъ своимъ голосомъ, а онъ крѣпко просилъ:—«Позволь мнѣ не говорить съ тобою этихъ словъ: лучше я писать тебѣ буду, а то ты крѣпко испугаешься»... Окончила она такъ:—«Пришла она домой, все рассказала, ни одного слова не *смынула*. Только сестрамъ досадно на ея богатство стало, и повернули онѣ часы по злобѣ, и вернулась она черезъ то домой не во-время; слушаетъ—все тихо, фонтаны не бьютъ, листья не шелестятъ, все какъ будто замерло. И видитъ она: лежитъ бѣдное чудовище все равно какъ мертвое и любимый ея цвѣточекъ аленькій къ груди крѣпко прижимаетъ (въ книгѣ этого нѣтъ). И стала она взывать къ нему: пробудись, мой женихъ нареченный!» И вдругъ зашумѣло все вокругъ и превратился онъ въ принца царскаго!»

А посмотрите, какой поэтический и задушевный отвѣтъ даетъ одна ученица, конечно взрослая, по прочтеніи «Ундины», Жуковскаго. На вопросъ «справедливъ-ли былъ рыцарь съ Ундиной и чѣмъ заплатилъ онъ ей за ея безпредѣльную любовь, ученица отвѣтила:—«Она его просила, «не ругай меня, ради Бога!» А онъ ее выругалъ, когда они ѣхали на лодкѣ, говорить ей: «чародѣйка проклятая!» И она, бѣдняжка, рѣкой или волной разлилася,—незамѣтно было. Тутъ и его стала совѣсть укорять, и видитъ онъ сонъ: сидитъ она на днѣ моря блѣдная, глаза запали, совсѣмъ не та Ундина,—въ такомъ жалкомъ положеніи. А какъ померъ онъ,

она струйкой тоненькой вокругъ его могилки обвилась и навѣки осталась вѣрною женою своему мужу и за гробомъ... — Ужь на что я люблю такія книги, прибавила ученица помолчавъ,—чтобъ отъ нихъ въ головѣ что-нибудь полезное оставалось, а это неправда произнесла она тихо и какъ-бы боясь кого-то оскорбить,—но все-таки она мнѣ очень, очень понравилась!»

Потребность отрѣшиться отъ дѣлъ житейскихъ, уйти въ міръ иныхъ чувствъ и помысловъ, выражается въ томъ интересѣ, съ какимъ читаются «Молитвы въ стихахъ, былинны и легенды». Въ этой маленькой книжкѣ собраны стихотворенія Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Кольцова, Никитина, Мея. Тутъ есть Пушкина «Отцы пустынники и жены не покорны», Лермонтова: «Я Матерь Божія, нынѣ съ молитвою», Никитина «Молитва дитяти», Кольцова «Предъ образомъ Спасителя», Мея «Слѣпорожденный» и «Спаситель». На вопросъ: понравилась-ли книжка, очень часто отвѣчаютъ выученной наизусть молитвою.

Особенно любопытна та «жадность», съ какою ученики и ученицы ищутъ ощущеній, доставляемыхъ имъ чтеніемъ. Болѣе молодые обыкновенно переживаютъ шумно эти ощущенія, воспринимаютъ ихъ очень живо и чувствуютъ потребность ихъ выразить, точно сами участвуютъ въ дѣйствительномъ событіи, взрослые-же и преимущественно дѣвушки ищутъ ощущеній внутреннихъ, поэтическихъ, болѣе сосредоточенныхъ, заставляющихъ ихъ задумываться. Элементъ чувства вообще является преобладающимъ. Идетъ въ классѣ чтеніе «Муму». Въ началѣ чтенія въ разныхъ мѣстахъ класса дѣлаются слушателями замѣчанія; но по мѣрѣ развитія драмы, замѣчаній слышится все меньше и меньше. «Слава Богу!» сказалъ кто-то съ чувствомъ, когда Муму возвратилась въ первый разъ къ Герасиму. При описаніи смерти Муму въ классѣ было очень тихо,—всѣ плакали. Послѣ чтенія одна ученица (Титарева) замѣтила: «Господи! и почему онъ не взялъ ея съ собою въ деревню?» И въ голосѣ у нея задрожали слезы. «Онъ раньше объ этомъ не вздумалъ», замѣтила, собогѣзнуя, другая—Киценко. Ученица-же Михайлова зарыдала. «Полно, Михайлова!» сказала учительница, подавая ей стаканъ воды. «У меня тоже была такая собака... украли... для смѣху, говорятъ... подшутить надо мною хотѣли»... едва выговорила она съвозъ всхлипыванья, накиннула платочекъ на голову и быстро вышла изъ класса.

Разсказъ-былъ Л. Толстаго «Дѣвочка и грибы» настолько захватываетъ вниманіе дѣтей, что при словахъ: «машинистъ не могъ удержать машины; она свистѣла изо всѣхъ силъ и наѣхала на дѣвочку»,—отовсюду послышались возгласы: «охъ Господи!», «Вотъ страшно!», «Сохрани, Господи, и помилуй!» и т. д. Зато надо было

видѣть общую радость и оживленіе, когда оказалось, что машина прошла благополучно, не задѣвши плотно прильнувшей къ землѣ дѣвочки». «Она, значитъ, вотъ какъ лежала», зашумѣли дѣти и пустили въ ходъ и руки, и жесты, и карандаши, чтобы объяснить, какъ лежали рельсы, гдѣ находилась дѣвочка, и какъ она могла уцѣлѣть.

Когда читалась «Самокрутка». Вопросъ:—удастся ли мужику самоучкѣ устроить такую мельницу, чтобы тяжелый камень спускался книзу и своею тяжестью вертѣлъ-бы колесо и опять-бы поднимался кверху и опять спускался, такъ чтобы мельница ходила сама,—чрезвычайно занялъ дѣтей. На мужикѣ-самоучкѣ сосредоточились общіе интересы и симпатіи, такъ что, когда одна изъ дѣвочекъ сказала. «инженеры не сдѣлали, куда-жъ ему сдѣлать!»—всѣ остальные вступились и заявили, что, вѣрно, у инженеровъ терпѣнія не хватило додѣлать, а онъ сдѣлаетъ. При неудачѣ мужика дѣти имѣли очень сконфуженный видъ; одна защитница инженеровъ торжествовала и, обратясь къ подругамъ, замѣтила невеликодушно: «а что! я вамъ говорила!»—А можетъ, онъ послѣ того сдѣлалъ, отвѣчала ей, оправившись, одна изъ пострадавшихъ въ спорѣ.

При чтеніи «Лозины» возбудился споръ. Одни увѣряли, что лозинки, посаженныя мужикомъ, завянутъ; другіе, — что примутся; да такъ увѣряли, точно сами они ихъ посадили.—Вотъ посмотрите, что примется! говорятъ горячо кто-то изъ дѣтей. Съ теченіемъ разсказа, видимо, всѣ полюбили дерево, а когда ребята сожгли старую лозину, одна дѣвочка замѣтила чуть не со слезами: «Господи, и что она имъ сдѣлала!»

«Неправедный судъ». Ученица дѣтъ 10-ти очень подробно и толково передала его. — Что, если-бъ ты была Петромъ, сказала учительница, когда она кончила разсказъ, просила-бы ты царя за Ѳедота, когда тотъ покаялся и прощенья сталъ просить?—Нѣтъ! отвѣчала рѣшительно дѣвочка,—онъ Петра впередъ въ тюрьму котѣлъ засадить, какъ-же ему простить?!—За что его прощать?—не выдержала и вмѣшалась другая маленькая ученица, держащая ту же книжечку въ рукахъ,—взялъ, а божился, что не бралъ,—развѣ это можно! Прости его, а онъ послѣ скажетъ: «простили, значитъ еще можно брать». — Я-бъ камень ему на шею привязалъ, да въ рѣчку его! заявилъ еще энергичнѣе Митя П—ко. Остальные согласились безпрекословно, что Ѳедота слѣдовало повѣсить. Когда дѣло дошло до дѣвочекъ, одна изъ нихъ, еврейка, заявила тоже весьма энергически, что она ни за что не повѣсила-бы Ѳедота, а посадила-бы въ острогъ. Сосѣдка ея, Ульяна П—ко, присоединилась къ ея мнѣнію и добавила только, что она потому-бы его не по-

вѣсила, что это «нечистый» принудилъ его такъ поступить. — Въ острогѣ ничего не значить, заспорилъ задорно одинъ изъ мальчиковъ, — тамъ какъ кого, такъ лучше кормить, чѣмъ дома. — Ну на Сибирь, или куда угодно, лишь-бы жилъ, возразила опять еврейка, хотя онъ и преступилъ законъ, а все-таки жалко! — Конечно, жалко и грѣхъ! поддержала ее Ульяна П—ко. — А если простить, другіе будутъ такъ поступать, — хорошо это? заспорилъ опять задорный мальчишъ.

Какъ всегда и во всѣхъ почти спорахъ каждый остался, видимо, при своемъ мнѣніи.

«Хижина дяди Тома». Неописанная радость замѣчалась между слушателями, когда Элиза, Джорджъ и другіе бѣглецы взобрались на недосыгаемую вершину скалы. — Лѣзь, лѣзь! говорили они, глядя на картинку и какъ-бы дразня Локера и его погоню, а когда послѣдовалъ выстрѣлъ, и Локеръ полетѣлъ въ ущелье, раздался дружный смѣхъ: — Такъ ему и нужно, хоть-бы они еще пустили въ него! говорилъ одинъ изъ слушателей. — Трусъ, трусъ! — повторялъ другой, указывая на картинку на Маркса; а когда Локеръ, глядя на свою рану, говорилъ: «проклятая кровь!» еще одинъ изъ слушателей замѣтилъ: — Ужъ правда, что проклятая!

Когда нашимъ путникамъ осталось двѣ мили до Кентукки, то, во-первыхъ, слушатели торопливо спросили: — Сколько это на нашъ счетъ двѣ мили? — въ школѣ и говорили, да позабылось! а затѣмъ, забравши эту справку, повторяли: — Слава Богу, слава Богу! мало уже, близко, вотъ — вотъ дойдутъ! и т. д.

Не безъ намѣренія мы дѣлали такъ много выписокъ; мы хотѣли, чтобы читатель имѣлъ возможность самъ опредѣлить, съ какимъ матеріаломъ имѣетъ дѣло народная школа. И дѣйствительно — дѣти какъ дѣти; такъ что если-бы мы вздумали мистифицировать читателя и сказали-бы ему, что въ такой-то женской гимназіи воспитанницамъ 6 класса читали «Чѣмъ люди живы» гр. Толстого, и затѣмъ послѣдовалъ слѣдующій пересказъ — и слово въ слово выписали-бы приведенныя выше толкованія и отвѣты деревенскихъ ученицъ, то, конечно, читатель этой мистификаціи бы не замѣтилъ. И въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ по развитію понятій и чувствъ десятилѣтняя гимназистка отличается отъ деревенской десятилѣтней дѣвочки? Развѣ тѣмъ, что десятилѣтняя деревенская дѣвочка сплошь и рядомъ оказывается болѣе развитой и понятливой. Мы дѣлали опытъ съ 13-ти-лѣтней ученицей 6 класса Анненской школы (женская гимназія), которой прочитали «Чѣмъ люди живы» и предложили ей сдѣлать пересказъ. Результатъ получился менѣе удовлетворительный, чѣмъ въ пересказахъ деревенскихъ дѣвочекъ. Ученица Анненской школы съ особенно стара-

тельностью передавала всѣ фактическія подробности разсказа гр. А. Толстого, очевидно только имъ и придавая значеніе, но идея его и выводы и обобщенія ей были не по силамъ. Выпускная воспитанница одного петербургскаго акушерскаго института на вопросъ изъ физики, на чѣмъ основана сушка бѣлья, отвѣчала: «на веревкахъ». Конечно, не народъ виноватъ въ томъ, что мы видимъ въ немъ невѣдомую страну и изображаемъ изъ себя путешественниковъ, отправляющихся въ нее за открытіями. Въ этомъ смыслѣ, конечно, гр. Л. Толстой правъ, когда говоритъ, что народу отъ насъ учиться нечему, а что мы отъ него должны учиться. Но нужно словамъ гр. Толстаго дать вѣрное толкованіе, иначе можно забрести въ дебри славянофильства.

Подъ влияніемъ гр. Л. Толстого, который говоритъ, что «народу» нужно предлагать только то чтеніе, которое ему нравится и чтобы предлагать содержаніе постоянно на такомъ языкѣ, который весь безъ исключенія, понятенъ чтецу изъ народа, учительницы съ одной стороны ищутъ въ своихъ ученикахъ критическаго отношенія къ чтенію и свой выборъ ставятъ въ зависимость отъ выбора учениковъ, съ другой сами становятся въ критическія отношенія къ ученикамъ и желаютъ ими руководить. Эта двойственность отношеній повела къ тому, что явилось два порядка фактовъ, и что учительницамъ нерѣдко приходилось сознаваться, что они не стоятъ на высотѣ своей задачи и дѣлаютъ ошибки. Дѣти, конечно, многому научились отъ своихъ учительницъ, но, кажется, учительницы еще большому отъ дѣтей. Во всякомъ случаѣ, эксперименты, которые дѣлались, слѣдуетъ правильно назвать школою учительницъ.

Приступая къ своему повидимому сырому матеріалу, учительницамъ приходилось убѣдиться, что этотъ матеріалъ не только не сыръ, но въ извѣстной степени, какъ было замѣчено нами ранѣе, уже законченъ. То, что зависѣло отъ непосредственнаго живого чувства слушателей — сказалось въ ихъ сердоболіи и участіи ко всему угнетенному и страдающему, нерѣдко вызывало слезы и потрясало до глубины души; но когда приходилось встрѣчаться съ предшествовавшими воспитательными влияніями, то учительницы оказывались или — въ неловкомъ положеніи и должны были дѣлать отступленіе или что еще хуже — должны были сознавать свою ошибку.

Задавшись цѣлью составить выборъ книгъ по выбору самихъ ученицъ и учениковъ, учительницы читали имъ все, что было писано для такъ называемаго «народа». Читается напрямѣръ, «деревня» Григоровича и вотъ какой получается результатъ: Первые 18 страницъ слушаютъ внимательно только взрослые:

маленькихъ, очевидно, не особенно занимаетъ участь бѣдной сироты Анули, дѣлаетъ бабъ и проч.; но когда дѣло доходитъ до страшныхъ разсказовъ на посидѣлкахъ у тетки Домны, тутъ всѣ оживляются.—А развѣ у насъ не бываетъ!—бываетъ то-же самое, говорить одинъ изъ подростковъ.—Мой отецъ разсказывалъ, какъ померъ нашъ дѣдъ, а они всѣ молодыми пооставались, вотъ онъ—что ночь, то и приходитъ, то и приходитъ. Они и спрашиваютъ его: «зачѣмъ ты приходишь?» А онъ отвѣчаетъ: «не успѣлъ я при жизни наставить васъ, какъ хозяйничать». И что-жь бы вы думали—до тѣхъ поръ ходилъ, пока они хозяйствомъ не поправились.—А моя мама разсказывала, говорить одинъ изъ маленькихъ,—что женщина, ея знакомая, пришла домой съ работы, а дѣти плачутъ, пищатъ; она и сважи: «эхъ, чтобъ васъ вихремъ подняло!» И что-жь,—поднялся вихрь и унесъ мальчика.—А моя мама говорила, что какъ умерла у насъ одна женщина, мама моя тогда еще молодою была, добавила дѣвушка,—а у женщины этой дитя маленькое осталось, такъ она каждую ночь приходила люльку качать.

Затѣмъ начались разговоры о вѣдмахъ и о томъ, какъ имъ колъ вбиваютъ. Положеніе учительницы представлялось довольно затруднительнымъ. Не будь еще источниками этихъ исторій отцы и матери, протестъ противъ предрасудковъ облегчился-бы, но при такихъ условіяхъ начать рѣчь было довольно трудно...

Или 17-ти-лѣтняя ученица возвращаетъ учительницѣ «Чертовщину», Погосскаго.—«Какъ-же вы думаете все это правда?» спрашиваетъ учительница.—«Разумѣется, правда», отвѣчаетъ ученица безъ малѣйшей запинки. «Признаюсь, этотъ рѣшительный отвѣтъ меня сильно озадачилъ», пишетъ учительница.—Послѣ минуты молчанія я начала объяснять ей, что все это—неправда. Ученица стояла молча, опустивши глаза. Мнѣ казалось, что она думала: «Написано въ книгѣ, книжку дала учительница, какъ-же, что неправда?» Мнѣ даже какъ-то стыдно было разрушать ея иллюзіи, а затѣмъ я думала: дѣло-ли школы—давать такія книги, въ которыхъ одна небывальщина смѣняетъ другую, отуманивая голову простолюдина и лишая его возможности разобраться въ этой черт-вщинѣ и отгородить правду отъ фантазіи? Дѣло-ли школы давать книги, послѣ которыхъ воспаленной головѣ грезятся черти, вѣдьмы и крокодилы? Я думаю—нѣтъ, тѣмъ болѣе, если на этихъ книгахъ не написано даже «сказка», значеніе которой извѣстно каждому. Правда, въ концѣ разсказа унтеръ увѣряетъ, что все это вздоръ и «предрасудки», но эти благоразумныя разсужденія остаются, какъ видно, гласомъ вошющаго въ пустынь и меркнутъ при сравненіи съ чудесами фантазіи.»

Всѣми этими благоразумными вопросами слѣдовало, разумѣется, задаться до выдачи книги. Читая все и давая для чтенія все, пришлось неизбѣжно придти къ той «терпимости», которую обнаруживаютъ учительницы по отношенію къ матеріалу для чтенія. Такъ какъ нѣтъ на свѣтѣ такой книги, которая-бы безусловно никуда не годилась и такъ какъ оцѣнки учениковъ служили главнымъ основаніемъ для выбора, то понятно, что безповоротно непригодныхъ книгъ почти не оказалось. Впрочемъ, «Чертовщина», Погосскаго, въ «Каталогѣ народно школьной бібліотеки», приложенный въ концѣ, не попала. Спрашивается, неужели для полученія этого отрицательнаго результата было неизбѣжно выдавать «Чертовщину» Погосскаго, для чтенія, а не могли и сами учительницы рѣшить, что книга эта неудобная? Вѣроятно, нашлись и другія книги, съ которыми повторилась та-же исторія.

Совершенно справедливо, что нужно предлагать только то чтеніе, которое нравится. Также справедливо, что читатель есть главный судья всякой книги. Это основное правило очень хорошо извѣстно и авторамъ и издателямъ, и потому-то писатели стараются писать такъ, чтобы ихъ читали, и издатели печатаютъ только то, что можетъ имѣть сбытъ. Но какъ-же это основное правило примѣнялось учительницами къ ихъ ученицамъ и ученикамъ. Подводя итогъ всему тому, что было замѣчено при чтеніи разсказа Толстого — «Чѣмъ люди живы», учительницы пишутъ: «Очевидно, что художественный и, вмѣстѣ съ тѣмъ, воспитывающій разсказъ — «Чѣмъ люди живы», можно давать различнымъ возрастамъ и на разныхъ ступеняхъ развитія, требуя отъ однихъ фактической передачи разсказа, а отъ другихъ—болѣе глубокаго пониманія и толкованія его». Слѣдовательно, если «можно давать», то значить «можно и не давать». Или иначе, провозглашенный принципъ выбора самими учениками и «чтеніе, которое нравится», зависитъ настолько отъ учениковъ, насколько это будетъ имъ предоставлено. И, дѣйствительно, вопросъ о томъ, «что нравится» — поставленъ учительницами съ самаго уже начала въ зависимость отъ другихъ высшихъ условій: отъ доступности, развитія, пониманія и нравственной пользы. О «Постояломъ дворѣ», Тургенева, мы находимъ такой общій отзывъ: «Нечего и говорить, что тема разсказа—совсѣмъ не дѣтская и учитель тщательно долженъ уберечь отъ нея ребенка». Разсказъ рекомендуетъ исключительно для взрослыхъ. По поводу рисунковъ къ «Сарочинской ярмаркѣ», Гоголя, читаемъ: «Такія сцены, какъ Пановичъ и Хивря — болѣе чѣмъ нежелательны. Намъ скажутъ: прочтуть-же эту сцену въ текстѣ. Да прочтуть, но маленькіе не поймутъ (а если найдутся такіе, которые поймутъ?), а взрослые, пе-

редавая подробно разсказъ, подобныя мѣста совсѣмъ выпускають, причеъ очевидно, что пропускъ дѣлается не по забывчивости, а преднамѣренно — изъ скромности... Мы воспользовались этимъ случаемъ, говорится дальше, — чтобы остановить вниманіе на иллюстраціяхъ книгъ для народнаго чтенія вообще. Съ полнымъ убѣжденіемъ говоримъ, что всѣ скабрѣзныя сцены должны изгоняться изъ книгъ для народныхъ школьныхъ библіотекъ. Онѣ могутъ нравиться деревенскимъ паничамъ — писарямъ, сидѣльцамъ въ шиночкахъ и лавочкахъ, натурамъ-же чистымъ, свѣжимъ, еще ветронутымъ житейскою грязью, преподносить такіе уроки житейской мудрости не слѣдуетъ». При чтеніи въ слухъ, это обыкновенно и дѣлалось. Дѣлались пропуски въ «Сорочинской ярмаркѣ», а въ «Ночь на Рождество» пропускался разговоръ Солохи съ дьячкомъ и перебранку бабы съ фіолетовымъ носомъ.

Основываясь на мнѣніи Л. Толстого и собственныхъ наблюденіяхъ, учительницы избѣгаютъ давать для чтенія то, что читатели не понимаютъ или то, чего они не считаютъ «своимъ». И вообще это вѣрно. Напримѣръ, у Я. Полонскаго, въ его «Кузнечикъ музыкантъ» дѣтамъ предлагаются такія и мысли: «Героиня поэмы, бабочка, изображающая свѣтскую барышню кокетку, говоритъ: «Не взмыщите! Нынче поздно я заснула: у своей кузины провела на балѣ... То-то бы влюбилась, еслибъ увидала!», а герой кузнечикъ «такъ былъ очарованъ или, можетъ, сердцемъ наэлектризованъ, что дрожалъ и таялъ,—молча ждалъ сильфиды» Далѣе: «Глазки, носикъ, ножки; платица узоры—все въ ней по-неволѣ привлекаетъ взоры. Мой артистъ-кузнечикъ и душой пылаетъ, и очей не сводитъ, и какъ чортъ играетъ». На стр. 160 глупый кавалеръ крылатый спрашиваетъ бабочку: «Правда-ли, спросилъ онъ,—слухъ идетъ изъ нивы, будто-бы въ маэстро страстно влюблены вы»? На стр. 162: «Знаю я всѣхъ этихъ бабочекъ, бабочекъ! Жить онѣ не могутъ безъ цвѣтныхъ ветошекъ; за женой бабочкой гдѣ-жь тебѣ упрыгать?..»

И учительницы справедливо замѣчаютъ: «Не знаемъ, поймутъ-ли эту поэму дѣти высшаго слоя, для дѣтей-же народа она положительно недоступна». Мы думаемъ, что не столько въ недоступности причина, почему поэма Полонскаго неудобна, сколько просто въ томъ, что сарказма ея никто не пойметъ и что дѣтскую фантазію едва-ли нужно привлекать картинами той «высокопоэтической идеализаціи міра насѣкомыхъ», которую даетъ г. Полонскій. Гораздо полезнѣе имъ прочитать жизнь и обычай муравьевъ и пчелъ, чѣмъ питать воображеніе разными картинами муравьиной «любви». Но есть другія вещи, частности которыхъ хотя и не понятны, но, тѣмъ не менѣе, общее впечатлѣніе полу-

чается цѣльное и вѣрное. «Иоаннъ Дамасвинъ», А. Толстого, испещренъ словами «синклить», «хаосъ», «юдоль», въ немъ попадаются цѣлыя строфы подобныхъ стиховъ:

Юдоль, гдѣ я похоронилъ
 Броженъ дѣятельныхъ силъ,
 Свободу творческаго слова —
 Юдоль молчанья рокового!
 Ты передай души моеи
 Твоихъ стреминъ покой угрюмый.
 Пустынный вѣтеръ, ты развѣй
 Мои недремлющія думы.

И не смотря, на это деревенскіе читатели прекрасно усваиваютъ духъ и сущности цѣлаго произведенія и вполне проникаются его поэзіей. То-же самое приходится связать о «Хижинѣ дяди Тома». Несмотря на незнакому жизнь Соединенныхъ Американскихъ штатовъ, чуждые нравы и обычаи, названіе невѣдомыхъ мѣстностей и иностранныя имена, рассказъ не только понятенъ въ цѣломъ и въ частностяхъ, но и производитъ глубокое впечатлѣніе, ибо все доброе и хорошее, все что возбуждаетъ жалость и любовь, всегда можетъ разсчитывать на полное и сосредоточенное вниманіе. По поводу былинны о «Добрынь Никитичѣ» учительницы говорятъ: «Нельзя не замѣтить общей черты во всѣхъ отвѣтахъ читательницъ: впечатлѣніе оставило не кровавыя подвиги, не подробности о грубомъ удалствѣ, а гуманныя стороны характера богатырей».

Такимъ образомъ оказывается, что не только можно, но даже слѣдуетъ давать читать и то, что не подходитъ подъ опредѣленіе о «понятномъ» и «своемъ», какъ оно было сдѣлано гр. Толстымъ и повторено потомъ учительницами. Правда, читатели иногда оказывались до того мало свѣдущими, что не знали, что такое островъ, море, заливъ; въ «Майской ночи» Гоголя говорится «Ландшафтъ спать» и читатели приняли «ландшафтъ» за фамилію; не понятнымъ оказывалось слово «соперники» и изъ 18 человекъ только двое взяли объяснить его. Если это не случайное исключеніе, то приходится только пожалѣть, что ученики и ученицы на столько развиты, что въ состояніи понимать гр. Л. Толстаго, Тургенева, Гоголя, Некрасова и т. д., не знаютъ, что такое «море» и «соперники». Эта-то смѣсь взрослога и дѣтскаго, наивности и невѣдѣнія съ пониманіемъ, составляетъ отличительную особенность того, что зовется «народомъ». И потому становится несовсѣмъ понятнымъ, что взрослымъ ученицамъ, до тонкости понимающимъ «Аленькій цвѣточекъ», или рассказы Тургенева, писанные для «образованныхъ» и поэмы А. Толстаго, по прочтеніи напримѣръ «Постоялаго двора» Тургенева, предлагаются слѣдующіе дѣтскіе вопросы:

Слѣдовало-ли пожилому человѣку Акиму жениться на молодой дѣвушкѣ?

Правъ-ли былъ дядя, предостерегая его отъ этой женитьбы? Что за человѣкъ былъ Наумъ?

Какими средствами достигъ онъ своего благосостоянія?

Всегда-ли такіе поступки проходятъ безнаказанно?

Можно-ли позавидовать богатству, прибрѣтенному такими средствами, какъ прибрѣлъ его Наумъ?

Высчитайте всѣ преступленія Наума.

Была-ли въ немъ хоть капля совѣсти и состраданія къ ближнему?

Какъ напоминаютъ это вопросы другіе, подобныя же имъ, которые тоже предлагались для школы: «лошадь покрыта волосами, а курица?» «У лошадей четыре ноги, а у воробья»?.. Или читается «Бирюкъ» Тургенева, рассказъ дающій матеріалъ для вопросовъ, очень развивающихъ понятія, и вмѣсто подобныхъ подвигающихъ впередъ вопросовъ, вы встрѣчаете снова: «лошадь покрыта волосами, а курица?..» Вотъ на какіе вопросы надоумилъ «Бирюкъ» одного учителя: отчего мужикъ рѣшился украсть дубъ, за что мужикъ бранилъ Бирюка; отчего Бирюкъ, не смотря на бранныя слова мужика, помиловалъ его; каковъ былъ Бирюкъ съ виду и какова была у него душа; правильно-ли поступилъ Бирюкъ, что отпустилъ мужика? А самаго основнаго вопроса, который прежде всего вызывается идеей разсказа, такъ и не было сдѣлано. Ужъ лучше вовсе не предлагать никакихъ вопросовъ, чѣмъ занимать умъ сельскихъ читателей такой бесполезной гимнастикой. И почему-бы не вести простыхъ, безхитростныхъ бесѣдъ по поводу прочитаннаго, объясняя то, что непонятно, вмѣсто вымучиванія отвѣтовъ на вопросы, поставленные не только неправильно, но нерѣдко даже ошибочно. Живой обмѣнъ мыслей въ простой бесѣдѣ и отвѣты на вопросы учениковъ, не понявшихъ что либо, конечно принесутъ больше пользы, чѣмъ вопросы и игра въ загадки, которую учителя нерѣдко дѣлаютъ изъ своихъ вопросовъ. Терпеливая игра въ вопросы и отвѣты, вмѣсто развитія понятій, ведетъ скорѣе къ резонанству.

Опытъ, который сдѣлали учительницы, очень почтенный опытъ, но вопросъ «Что читать народу?» имъ все-таки не разрѣшенъ. Замѣчанія учительницъ, отвѣты учениковъ и вообще все, что собрано учительницами въ одну очень толстую книгу, пока сырой матеріалъ, требующій разработки и общихъ выводовъ и заключеній. Изъ этого матеріала можно узнать частію то, что мы нѣсколько выяснили въ нашемъ разборѣ, и затѣмъ опредѣлить отношеніе «народнаго» сознанія къ матеріалу, который воздѣйствовалъ на

него при чтеніи литературныхъ произведеній. Выводы оказываются на столько благопріятными, относительно умственныхъ средствъ народа, что отрицательные результаты, которыя, давало иногда изслѣдованіе, слѣдуетъ приписать исключительно теперешнему состоянію народной школы. Непониманіе, наблюдавшееся при чтеніи литературныхъ произведеній, являлось почти исключительно отъ отсутствія предварительной подготовки. Но это вопросъ уже объ образованіи народа вообще, котораго учительницы почти не затрагиваютъ.

Что же касается собственно ихъ работы, то онѣ свою программу выполнили вполнѣ и дали отзывы о 1,007 книгахъ: отзывы не голословные или гадательные, а основанные на впечатлѣніяхъ и умственныхъ возбужденіяхъ, вызванныхъ книгами въ школьныхъ читателяхъ.

Учительницы, не придавая своему труду широкаго, обобщающаго значенія, справедливо замѣчаютъ въ предисловіи, что если бы замѣтки, подобныя тѣмъ, которыя онѣ напечатали, велись-бы повсемѣстно, «то черезъ нѣсколько лѣтъ возможно было-бы подвести итоги, которые были-бы интересны и полезны для школьнаго дѣла».

Въ книгѣ VII отдѣловъ: духовно-нравственный—73 названія, литературный—313 назв., естествознаніе 122 назв., исторія 287 назв., біографія—85 назв., географія и геометрія 118 назв., земское дѣло и народное хозяйство—9 назв. Всего 1007.

Въ концѣ cadaго отдѣла приложенъ указатель, въ которомъ отмѣчено для какого возраста пригодна книга, а въ концѣ книги: каталогъ для народно-школьныхъ библіотекъ въ 46 р. 23 к., въ 92 р. 29 к., въ 141 р. 90 к. и въ 205 р. 14 к. Последнюю библіотеку составляютъ всѣ 1,007 названій. Однимъ словомъ учительницы сдѣлали все, чтобы ихъ книга имѣла возможно широкое и полезное примѣненіе. И она дѣйствительно должна быть настольной книгой не только во всякой школѣ, но мы ее смѣло рекомендуемъ и для справокъ при выборѣ книгъ родителямъ дѣтей «образованныхъ».

Н.

Участіе земства въ развитіи крестьянскихъ промысловъ.

Сборникъ матеріаловъ для исторіи тверскаго губернскаго земства, Тверь, 1884 г.

I.

Многія изъ нашихъ земствъ, съ самаго начала своего существованія, избирали какой-либо особый, излюбленный родъ дѣятельности и занималось имъ спеціально, съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ. Такъ бердянское земство извѣстно своими школами, черниговское земство приобрѣло извѣстность хорошей организаціей сельско-хозяйственной статистики, московское земство давно уже изслѣдуетъ свою губернію въ экономическомъ и санитарномъ отношеніяхъ, явившись въ этой сферѣ для всѣхъ нашихъ земствъ достойнымъ образцомъ для подражанія, тверское земство на первыхъ-же порахъ обратило особенное вниманіе на развитіе крестьянскихъ промысловъ и сельскаго кредита. Спеціальность тверскаго земства представляетъ особенный интересъ; она не практиковалась никакими другими земствами (разумѣемъ собственно артельные промыслы) и у насъ въ Россіи—совершенная новизна. Это первое наше земство, которое рѣшило сразу-же помочь народу дѣломъ, минуя долгій, но не всегда, конечно, излишній путь предварительнаго изученія нуждъ и положенія мѣстнаго населенія, какъ это дѣлаютъ другія земства, впадающія, впрочемъ, въ противоположную крайность. Помимо своего практическаго и жизненнаго интереса, инициатива тверскаго земства замѣчательна еще во многихъ другихъ отношеніяхъ.

Опытъ тверскаго земства стоилъ ему огромныхъ усилій и денегъ, быть можетъ даже и невнимательнаго отношенія къ другимъ вопросамъ земскаго хозяйства, не говоря уже о томъ дѣятельномъ содѣйствіи со стороны частныхъ лицъ, которымъ пользовались и до сихъ поръ пользуются нѣкоторые изъ уцѣлѣвшихъ артелей, заведенныхъ земствомъ. Если еще принять во вниманіе все то,

что говорилось и писалось о преимущественной склонности русскаго населенія въ артельной формѣ промышленности, то нельзя не остановиться на тѣхъ неудачахъ, которыя потерпѣло тверское земство въ своемъ стремленіи поддержать крестьянскую промышленность. Тверское земство, повидимому, сильно разочаровалось въ своихъ ожиданіяхъ и теперь оно или какое-либо другое земство, въ виду бывшаго примѣра, едва-ли скоро возьмется за это дѣло съ тою энергіей, которая можетъ быть только результатомъ сильной вѣры въ успѣхъ. Изъ многочисленныхъ товариществъ, организованныхъ тверскимъ земствомъ, остались лишь артельныя сыроварни г. Верещагина, пользующіяся до сихъ поръ покровительствомъ земства и правительства, которое отчасти помогало также и смолокурнымъ товариществомъ, обнаружившимъ наибольшую жизнённость. Артельныя сыроварни, безъ сомнѣнія, можно считать удавшимися, если только судить о нихъ безъ отношенія собственно къ крестьянской промышленности; по крайней мѣрѣ, онѣ существуютъ уже дѣтъ 17. Точно также и смолокурныя товарищества, какъ видно изъ земскаго отчета, имѣли положительный успѣхъ и обладали несомнѣнными задатками прочнаго существованія. Имѣя передъ собою хотя-бы два этихъ примѣра сыроваренныхъ и смолокурныхъ товариществъ, мы уже не можемъ, конечно, назвать начинаній тверскаго земства несбыточными химерами, но скорѣе обязаны глубже вникнуть въ причины безуспѣшности остальныхъ попытокъ земства. Подробные отчеты, собранные въ «Сборникѣ матеріаловъ для исторіи тверскаго губернскаго земства», довольно хорошо знакомятъ съ дѣломъ организаціи крестьянскихъ промысловъ при посредствѣ земства, дѣломъ еще новымъ и, какъ видно изъ опытовъ тверскаго земства, чрезвычайно труднымъ, но во всякомъ случаѣ не безнадежномъ и имѣющимъ будущность.

II.

Остановимся прежде всего на артельныхъ сыроварняхъ г. Верещагина. Въ настоящее время положеніе ихъ достаточно прочно, онѣ распространяются все дальше и дальше, захватывая разныя мѣстности Новгородской, Тверской, Ярославской и Вологодской губерній. Дѣйствительно-ли онѣ создали источникъ мѣстныхъ заработковъ, объ этомъ пока еще трудно сказать что-либо рѣшительное; равнымъ образомъ нельзя еще признать несомнѣннымъ фактомъ то, что онѣ, какъ говорятъ, оказываютъ полезное воздѣйствіе на крестьянское земледѣіе, побуждая крестьянъ къ развитію скотоводства. Если бы это было такъ въ дѣйствительности, то,

разумѣтся, артельные сыроварни имѣли бы огромное значеніе; онѣ могли бы поднять урожайность полей въ указанныхъ мѣстностяхъ, гдѣ почва, по своей малой плодородности, требуетъ обильнаго удобренія, что возможно только при развитомъ скотоводствѣ. Тогда, конечно, не имѣло-бы никакого смысла упрекать артельные сыроварни г. Верещагина въ томъ, что онѣ стоили слишкомъ дорого. Если дѣло идетъ объ увеличеніи благосостоянія нѣсколькихъ милліоновъ населенія, о возвышеніи доходности земледѣльческой промышленности на всемъ сѣверѣ Россіи, то въ такомъ случаѣ и стотысячныя затраты отнюдь не могутъ считаться чрезмерными. Самъ г. Верещагинъ, заводя свои сыроварни, руководился желаніемъ не только создать новый промыселъ, но и поднять крестьянское земледѣліе. Рассказывая въ своей запискѣ исторію сыроваренныхъ артелей, онъ говоритъ, что онъ взялся заводить ихъ подъ вліяніемъ той мысли, «что сыровареніе, и именно въ артельной формѣ, могло бы проявиться между крестьянскимъ населеніемъ въ сѣверной Россіи, гдѣ всякая мѣра, клонящаяся къ улучшенію скотоводства, должна благотворно отразиться на урожаяхъ зерновыхъ хлѣбовъ, такъ какъ почва губерній сѣверной Россіи нуждается въ сильномъ удобреніи» (стр. 278). Но повліяли ли артельные сыроварни сколько-нибудь на развитіе скотоводства—это положительно неизвѣстно; если-бы и возможно было представить на этотъ счетъ какіе-либо факты, то мудрено было-бы вывести изъ нихъ что-нибудь, такъ какъ артельныхъ сыроваренъ все-таки еще очень мало. Успѣхи скотоводства зависятъ столько-же отъ возвышенія цѣнности продуктовъ молочнаго хозяйства, сколько и отъ кормовыхъ средствъ, отъ обилія луговъ и пастбищъ; артельные же сыроварни лишь возвышаютъ цѣнность молочныхъ продуктовъ, но прямого и замѣтнаго вліянія на кормовыя средства не могутъ имѣть; напротивъ, онѣ сами зависятъ отъ нихъ. Доходность молочнаго хозяйства, разумѣтся, обуславливается достаточнымъ кормомъ скота. Самъ г. Верещагинъ говоритъ, между прочимъ: «Молочное хозяйство, какъ показалъ уже теперь довольно продолжительный опытъ, прививается и становится производствомъ весьма нужнымъ и выгоднымъ только въ тѣхъ крестьянскихъ хозяйствахъ, *когда находятся въ хорошихъ кормовыхъ условіяхъ*. Какъ неунавоженное поле не родить, такъ и ненакормленная корова не доить, гдѣ корова бываетъ сыта только въ то короткое время весной, покуда не завазаны луга, въ остальное-же время пасется на тощихъ пастбищахъ, а зимою кормится соломой, тамъ она не можетъ быть производительницею молока и никакая высокая оплата молока не создастъ въ такой мѣстности *выгоднаго молочнаго хозяйства*. Только съ увеличеніемъ пастбищ-

ныхъ и луговыхъ пространствъ, съ того времени, какъ корова начнетъ наѣдаться до сыта всѣ 365 дней въ году, явится возможность выгоднаго молочнаго хозяйства, а съ нимъ увеличенія количества и улучшенія качествъ удобренія, которое немедленно отзовется возвышеніемъ урожайности полей, что, въ свою очередь отразится благоприятно на улучшенія содержанія дойнаго скота (стр. 295). Изъ всего этого видно, что г. Верещагинъ отнюдь не преувеличиваетъ значенія артельныхъ сыроваренъ въ настоящее время; онѣ могутъ приносить пользу только тамъ, гдѣ обиліе луговъ и пастбищъ даетъ возможность содержать много скота и хорошо кормить его.

Артельнымъ сыроварнямъ еще нѣсколько лѣтъ тому назадъ, сдѣлавъ былъ упрекъ въ томъ, что онѣ лишаютъ крестьянскихъ дѣтей молока, такъ какъ оно дѣликомъ стало сбываться на сыроварни. Отъ этого, говорятъ, ухудшилось питаніе крестьянскихъ дѣтей и появилась усиленная смертность ихъ. Въ этомъ случаѣ точно также не имѣется опредѣленныхъ фактовъ. А priori кажется маловѣроятнымъ, чтобы крестьяне относили на сыроварни все молоко до послѣдней капли, такъ, чтобы его не хватало на прокормленіе одного или двухъ дѣтей. Въ многосемейныхъ дворахъ дѣтей, которыхъ надо кормить молокомъ, такъ много, что его дѣйствительно могло бы не хватать, еслибы оно сбывалось, при недостаткѣ скота, на сыроварни. Но вообще многосемейные дворы относительно богаче и держатъ по нѣсколько коровъ. Пожалуй, однако, въ отдѣльныхъ случаяхъ дѣйствительно имѣло мѣсто нѣчто подобное тому, въ чемъ упрекаютъ сыроварни г. Верещагина; первоначально сыроварни давали крестьянамъ отъ 12 до 15 р. прибыли на корову, а это такой заработокъ, который легко могъ соблазнить крестьянина, но въ послѣдствіи заработка эти понизились. Во всякомъ случаѣ необходимо подождать фактовъ, прежде, чѣмъ судить о вліяніи артельныхъ сыроваренъ на благосостояніе крестьянъ. Пока этихъ фактовъ нѣтъ, препирательства pro и contra артельныхъ сыроваренъ бесплодны. Вполнѣ понятно желаніе, какъ самаго г. Верещагина, такъ и его защитниковъ, отклонить сдѣланный ему упрекъ, но для этого всего лучше представить факты. Въ особенности любопытно и важно было бы подтвердить отзывъ нѣкоторыхъ членовъ земства, будто артельныя сыроварни не только не отнимаютъ молоко отъ крестьянскихъ дѣтей, но косвенно даже питаютъ ихъ молокомъ, потому что многія крестьянскія семьи, не державшія скота до устройства артельныхъ сыроваренъ, съ появленіемъ ихъ стали обзаводиться имъ, а въ семьяхъ, гдѣ было прежде по одной и по двѣ коровы, стало теперь по двѣ и по три, благодаря, главнымъ образомъ, артельнымъ сыроварнямъ.

Si non e vero, eben trovato. Дѣло въ томъ, однако, что самъ г. Верещагинъ, насколько можно судить изъ вышеприведенныхъ его замѣчаній, едва-ли вѣрить въ такое всемогущество своихъ артелей; для развитія скотоводства требуются главнымъ образомъ кормовыя средства, достаточное количество луговъ и пастбищъ.

Но какъ-бы то ни было, г. Верещагинъ показалъ своими сыроварнями, что онъ *давали-бы* всему крестьянскому населенію значительный доходъ, *если-бы* размѣры землевладѣнія позволяли ему держать достаточное количество скота. На сѣверѣ Россіи развитіе скотоводства, необходимо и въ интересахъ земледѣльческой промышленности; но если-бы была возможность увеличить размѣры скотоводства, то отъ этого не только выиграло-бы земледѣліе, но и возникъ-бы новый и несомнѣнно прибыльный промыселъ. Вотъ все, что можно пока сказать о значеніи артельныхъ сыроваренъ г. Верещагина; это, конечно, очень мало, а, главное, слишкомъ условно, но иной взглядъ на артельныя сыроварни едва-ли будетъ правиленъ. Нѣтъ основаній утверждать, чтобы артельныя сыроварни уже теперь могли доставлять выгоды населенію; въ лучшемъ случаѣ такія выгоды лишь кажущіяся, но онѣ обратились-бы въ несомнѣнныя и дѣйствительныя, если-бы была возможность увеличить размѣры скотоводства. Тогда о сыроварняхъ г. Верещагина едва-ли можно было-бы сказать, что онѣ способствуютъ только увеличенію смертности крестьянскихъ дѣтей.

На артельныя сыроварни вообще можно смотрѣть, какъ на подготовку къ будущему и какъ на доказательство выгодности молочнаго хозяйства при тѣхъ условіяхъ, которыя весьма желательны, но которыхъ, въ настоящее время пока еще нѣтъ. Г. Верещагинъ довольно убѣдительно доказалъ, напр., что дѣло не станетъ за сбытомъ продуктовъ сыроваренья, если только оно, конечно, правильно поставлено въ техническомъ отношеніи. Своими сыроварнями г. Верещагинъ создалъ новую статью заграничнаго сбыта; продукты сыроваренья оказались настолько доброкачественны, что они находятъ доступъ на иностранныя рынки. Такъ съ 1875 по 1882 годъ (за 8 лѣтъ) отправлено было въ Англію русскаго честера на 220,377 рублей, что для начала, конечно, не дурно, если къ тому-же принять еще въ расчетъ потребление продуктовъ артельныхъ сыроваренъ (масла и сыровъ) на мѣстныхъ рынкахъ, т. е. въ Россіи, почти вовсе не знавшей прежде сыровъ русскаго приготовленія (за исключеніемъ мещерскаго сыра). Въ смыслѣ «подготовки» особенное значеніе имѣетъ образцовая школа молочнаго хозяйства, имѣющая своимъ назначеніемъ приготовленіе свѣдущихъ мастеровъ и специалистовъ сыроваренья и маслодѣлія. Школа эта, требовавшая большихъ затратъ, посылала на свои

средства лучшихъ учениковъ для дальнѣйшаго усовершенствованія за границу, въ Гамбургъ, Англію, Данію, Швецію и даже въ Америку. Конечно, это стоило чего-нибудь, но это вело къ упроченію дѣла и свидѣтельствовало о широкомъ пониманіи г. Верещагинымъ своей задачи. За границей правительства точно также затрачивали огромныя суммы для развитія молочнаго хозяйства, а въ Швейцаріи, гдѣ оно поставлено особенно хорошо, оно поддерживается также и частными ассоціациями, заботящимися объ устройствѣ станцій для производства всевозможныхъ опытовъ и наблюденій по молочному дѣлу и открытіи теоретическихъ и практическихъ курсовъ для сыроваровъ и всѣхъ желающихъ ознакомиться съ молочнымъ хозяйствомъ. У насъ, конечно, и подавно нельзя обойтись въ этомъ дѣлѣ безъ сторонней поддержки.

III.

Тверское земство, помогавшее самымъ дѣятельнымъ образомъ артельнымъ сыроварнямъ г. Верещагина, не остановилось на нихъ. Спустя два или три года послѣ устройства первыхъ сыроваренъ, управа предложила собранію проектъ развитія и усиленія всѣхъ болѣе или менѣе значительныхъ мѣстныхъ промысловъ. Управа такъ сильно надѣялась на успѣхъ задуманныхъ ею предпріятій и настолько удачно защищала свой проектъ, что собраніе рѣшило сразу-же открыть 26 кузнечныхъ товариществъ, преимущественно въ такихъ мѣстностяхъ, чтобы возможно больше облегчить для управы руководство и наблюденіе надъ товариществами. Въ 1870 году утвержденъ былъ проектъ и смѣта управы и въ томъ-же году уже существовало 33 товарищества (26 открыты губернской управой и 6 тверской уѣздной); это, безъ сомнѣнія, слишкомъ скоропалительно, смѣло и достаточно странно со стороны управы. Странно было открывать сразу 33 товарищества и назначаетъ на нихъ всего 1,000 — 3,000 р., отданныхъ въ ссуду изъ 5^о%, на срокъ не долѣе 12 лѣтъ; вполнѣдствіи управа спохватилась, и капиталъ для воспособленія товариществамъ былъ увеличенъ. Странно также, что управа, не убѣдившись, подѣ силу ли ей управленіе тридцатью тремя уже устроенными ею кузнечными товариществами, черезъ годъ возложила на себя новыя обязанности и открыла еще цѣлый рядъ другихъ товариществъ, и все на тѣ-же скудныя крохи. Въ 1871 году управой организовано 3 сапожныхъ товарищества въ Тверскомъ уѣздѣ, одно сапожное товарищество въ Осташковскомъ уѣздѣ, одно льнотрспальное и десять смолокуренныхъ товариществъ.

Всѣми этими товариществами необходимо было руководить, по

крайней мѣрѣ на первое время, и управа, повидимому, очень хорошо понимала это. Правда, у насъ давно сложилось мнѣніе, будто русскій народъ по преимуществу склоненъ къ артельной организаціи, но, съ другой стороны, извѣстно, что эта организація совершенно не примѣняется крестьянами къ большей части кустарныхъ промысловъ, и въ этомъ случаѣ товарищество есть для нихъ дѣло новое и незнакомое. «Имѣя въ виду, говоритъ управа, что учрежденіе правильно организованныхъ товариществъ составляетъ дѣло совершенно новое, что даже сами крестьяне не вполне знакомы съ такой формой общественнаго труда и что поэтому починъ въ этомъ дѣлѣ долженъ быть со стороны земства, губернская управа пришла къ заключенію, что учрежденіе товариществъ съ надеждой на успѣхъ и прочную ихъ организацію въ настоящее время возможно въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ представляется возможность устроить ближайшее мѣстное наблюденіе и руководство за первоначальными дѣйствіями учреждаемыхъ товариществъ» (стр. 300). Все это со стороны управы, конечно, весьма предусмотрительно, а между тѣмъ на дѣлѣ вышло то, что устроенныя ею товарищества и погибли главнымъ образомъ отъ недостатка наблюденія за ними, отъ отсутствія разумнаго и умѣлаго руководства, которое, какъ показываютъ всѣ эти земскіе эксперименты, составляетъ здѣсь почти все. Нужны были не только знающіе и опытные, люди, но и одаренные энергіей, даже талантомъ; нужны были сотни Верещагинныхъ, тогда какъ онъ оказался только одинъ. Повидимому, управа имѣла въ виду именно г. Верещагина, когда она писала: «Опытъ показалъ, что безъ бдительнаго надзора за ходомъ дѣла, по крайней мѣрѣ въ первое время его существованія, дѣло не можетъ идти успѣшно. Необходимы люди, которые помогли-бы въ этомъ дѣлѣ земству, посвятили-бы себя и свою дѣятельность всецѣло устройству промышленныхъ товариществъ въ извѣстномъ небольшомъ районѣ, сошлись-бы съ крестьянами, узнали-бы ихъ трудъ, ихъ понятія, ихъ взглядъ на дѣло, получили-бы ихъ довѣріе и своими совѣтами направляли-бы ихъ на правильный путь въ дѣлѣ ихъ экономическаго устройства... Кроме того, при устройствѣ промышленныхъ производствъ почти совершенно необходимо имѣть человѣка, понимающаго такое дѣло, который былъ-бы знакомъ хотя нѣсколько спеціально съ предметомъ предполагаемаго дѣлопроизводства. Это необходимо не только съ матеріальной стороны дѣла, относительно которой очевидно, что человѣкъ, ничего не понимающій въ производствѣ, можетъ вліяніемъ своимъ повести и артель по ложному пути и ввести ее въ убытки, но и съ нравственной стороны: крестьяне едва-ли будутъ оказывать свое довѣріе человѣку, изъ словъ котораго они будутъ

видѣть, что онъ плохо понимаетъ практически то дѣло, о которомъ говорить. Крестьяне всегда чувствуютъ гораздо болѣе уваженія къ человѣку, имѣющему практическія свѣдѣнія, которыя могли-бы быть съ пользою примѣнены въ ихъ быту, нежели къ человѣку, обладающему хотя-бы и обширными, но теоретическими познаніями, отъ которыхъ непосредственной пользы они увидать не въ состояніи. Все это приводитъ къ тому, что весьма часто управѣ понадобится содѣйствіе лицъ, специально знакомыхъ съ артельными производствами». Но именно такихъ-то лицъ и не нашлось ни въ управѣ, ни на сторонѣ. Впрочемъ искали-ли ихъ управа на сторонѣ—это намъ неизвѣстно. Можно предполагать, что они нашлись-бы, если-бы вообще открытъ былъ съ самаго начала широкій доступъ къ этому дѣлу всѣмъ, желавшимъ послужить ему. Знанія здѣсь не Богъ знаетъ какія требуются, и они легко могли-бы быть приобрѣтены всякимъ образованнымъ человѣкомъ.

Какъ быстро организованы были управой товарищества, также быстро они и распались. Но замѣчательно, какъ ослѣплено была управа вѣрой въ успѣхъ своего предпріятія. Не сдѣлавъ ничего серьезнаго для правильной организациі товариществъ, упустивъ, напротивъ, въ самомъ-же началѣ все, что могло-бы обезпечить имъ успѣхъ, она на первыхъ порахъ выставляла ихъ предъ собраніемъ въ самомъ розовомъ свѣтѣ. Въ первый годъ существованія товариществъ, когда прошло лишь нѣсколько мѣсяцевъ послѣ ихъ устройства, управѣ уже стало мерещиться ихъ «замѣтное» вліяніе на благосостояніе крестьянъ, на развитіе ихъ умственныхъ способностей, даже на ихъ нравственность. Оптимистическое настроеніе управы хорошо выразилось въ ея докладѣ, представленномъ собранію и разъясняющемъ, насколько товарищества (въ первый годъ ихъ существованія) улучшили матеріальное благосостояніе крестьянъ и возвысили ихъ умственный и нравственный уровень. «Относительно послѣдняго, говорится въ этомъ докладѣ, безъ сомнѣнія нельзя ожидать, чтобы въ такой короткій срокъ могли быть получены какіе-нибудь замѣтные результаты, тѣмъ болѣе, что въ товариществахъ участвуютъ большею частію люди уже вполне сформированные, съ опредѣленными характерами и привычками. Тѣмъ не менѣе, и въ этомъ отношеніи можно указать на нѣкоторыя отрывочныя, но все-таки довольно отрадные явленія. Во-первыхъ, хорошо уже то, что членамъ товариществъ волей или неволей приходится выходить изъ того ограниченного круга мысли, въ которомъ умъ ихъ былъ заключенъ до сей поры. Имъ приходится сталкиваться съ новыми вопросами, которые имъ до сихъ поръ и въ голову не приходили, разсуждать о честности, о справедливости и т. п., приходится иногда самимъ придумывать

разныя комбинаціи относительно того или другого улучшенія въ производствѣ, разсуждать о нравственномъ и умственномъ достоинствѣ избираемыхъ ими должностныхъ лицъ товарищества и т. д. Все это необходимо должно развивать мыслительныя способности, заглохшія и отупѣлыя отъ безсмысленной, исключительно механической работы. Даже такая простая вещь, какъ веденіе счетовъ, имѣетъ свою хорошую сторону, приучая ихъ къ порядку и аккуратности. Но главное, хорошо то, что члены товарищества какъ во многихъ случаяхъ это можно было замѣтить, на столько проникаются уваженіемъ къ общему дѣлу, что не позволяютъ ни себѣ, ни другимъ никакой нечестности, которая могла-бы бросить тѣнь на общую репутацію. Этотъ взглядъ нѣсколько разъ высказывался въ сыроваренныхъ артеляхъ при приемѣ молока члена сыроварнею и въ кузнечныхъ товариществахъ при приемѣ въ губернской управѣ гвоздей. Такое-же честное отношеніе къ общему дѣлу замѣтно во всѣхъ членахъ оставшковской сапожной артели. Всѣ эти, хотя и частныя явленія, указываютъ, однако, на благотѣльное вліяніе примѣненія артельного начала. Но еще гораздо замѣтнѣе можетъ быть вліяніе его на матеріальное благосостояніе членовъ товарищества, такъ какъ въ послѣднемъ случаѣ оно можетъ выразиться цифрами» (стр. 333). Курьезно, что послѣ этихъ разглагольствованій нѣсколько ниже говорится съ такимъ-же легкимъ сердцемъ о томъ, что народъ нашъ совсѣмъ не подготовленъ къ артельному веденію промысловъ, что для этого онъ слишкомъ неразвитъ и слишкомъ привыкъ находиться въ постоянной зависимости, чтобы можно было предоставить управленіе дѣлами товарищества его свободной дѣятельности; тутъ же мимоходомъ упоминается о случаяхъ не совсѣмъ честнаго отношенія членовъ товарищества и его выборныхъ къ общему дѣлу. Года черезъ два или три, управа выработала себѣ еще болѣе мрачный взглядъ на дѣло, а еще черезъ нѣсколько лѣтъ въ докладѣ управы мы уже читаемъ о ликвидаціи всѣхъ артельныхъ предпріятій, послѣ чего послѣдовали усиленныя заботы земства о взысканіи съ членовъ товариществъ выданнымъ имъ ссудъ. Словомъ, во всемъ этомъ видна какая-то дѣтская безтолковость, заставляющая подозрѣвать, не сама-ли управа погубила своей неумѣлостью ея-же созданное дѣло?

Послѣ восторженныхъ отзывовъ управы о товариществахъ, едва успѣвшихъ родиться на свѣтъ, она уже на второй годъ ихъ существованія начинаетъ задумываться и говорить, что «она не могла не прійти къ убѣжденію, что задача эта чрезвычайно трудна, и, должно признаться, гораздо труднѣе чѣмъ это казалось сначала» (стр. 346). Въ этотъ-же годъ мышкинское льнотрепальное

товарищество закрылась, не просуществовавъ и двухъ лѣтъ, а управа находить нужнымъ взыскать судебнымъ порядкомъ деньги, выданныя ею въ долгъ товариществу. Точно также и дѣла оставшковскаго сапожнаго товарищества съ самого-же начала пошли плохо и неудачно. На третій годъ (1873) положеніе этого товарищества не улучшилось, и въ перспективѣ ему уже улыбалась ликвидація. Въ то-же время и въ отзывахъ о гвоздарныхъ товариществахъ, которыя такъ недавно еще радовали управу, слышится грустная нотка. Управа говоритъ: «Въ общемъ выводѣ относительно васьлевскихъ гвоздарныхъ товариществъ можно сказать, что достигнутые до сихъ поръ результаты, конечно, не блестящи, товарищества все еще не стали въ прочное независимое положеніе, при которомъ онѣ могли бы самостоятельно продолжать свое существованіе, безъ постояннаго и неусыпнаго присмотра». Желая, однако, подбодрить себя, управа замѣчаетъ, что если принять во вниманіе трудность возложенной ею на себя задачи, то надо признать, что и то, что сдѣлано, имѣетъ «свое существенное значеніе». Слѣдующій 1874 годъ не принесъ съ собою ничего утѣшительнаго; два товарищества, сапожное и кузнечно-слесарное, распались, вслѣдствіе несогласія своихъ членовъ, кузнечныя же товарищества Васильевской волости были на краю гибели, и въ слѣдующемъ году управа законически сообщаетъ въ своемъ отчетѣ: «дѣла кузнечныхъ товариществъ окончательно ликвидированы, и всѣ счеты съ ними закончены» (стр. 365). Кое-какъ держались еще смолокуренныя товарищества и оставшковское сапожное товарищество. Но положеніе послѣдняго, кажется, не совсемъ ясное для управы, было все-таки плохо, потому что въ 1875 году она думала о немъ: «фирма оставшковскаго сапожнаго товарищества вполне упрочилась и товаръ его предпочтается товару другихъ производителей; запасный капиталъ товарищества доходитъ до 1 тыс. рублей», а между тѣмъ по прошествіи года товарищество распалось. По отчету управы выходитъ, что даже и въ этотъ моментъ своего распадѣнія оставшковское товарищество процвѣтало. Управа пишетъ: «дѣла оставшковскаго сапожнаго товарищества шли удовлетворительно (!); оно продолжало требовать со стороны земства весьма значительныхъ пособій. Въ виду этого и въ виду того, что число членовъ товарищества весьма невелико, управа отказала товариществу въ продолженіи ссуды, такъ какъ шестилѣтній срокъ, на который выдана была ссуда, истекъ. Товарищество начало расплачиваться съ земствомъ, и члены товарищества должны будутъ обратиться къ производству сапогъ отъ хозяевъ». (стр. 370). Такимъ образомъ, за исключеніемъ смолокуренныхъ товариществъ, передан-

ныхъ губернской управой въ вѣдѣніе весьегонскаго земства, всѣ товарищества исчезли безслѣдно, и предъ управой лежали лишь скорбные листы ея многочисленныхъ должниковъ, съ которыхъ рѣшительно нечего было взискать. Теперь уже не слышно было на собраніи прежнихъ легкомысленныхъ рѣчей о томъ, что все обстоитъ благополучно и что все цвѣтетъ и развивается; эти рѣчи уступили мѣсто сожалѣнію о даромъ затраченныхъ средствахъ и меланхолическимъ соображеніямъ о причинахъ неудачи. Въ 1880 году одинъ изъ гласныхъ, принимавшихъ дѣятельное участіе въ организаціи промысловыхъ товариществъ, говорилъ въ собраніи: «Очевидно, дѣло не пошло. Любопытно знать, какія этому причины. Можетъ быть оно было поставлено на ложную почву; можетъ быть причиною неуспѣха были только частныя ошибки». Поэтому гласный находить, что собраніе должно поручить губернской управѣ изслѣдовать это дѣло вмѣстѣ съ специальной комиссіей, «въ составѣ которой желательно было-бы видѣть не только людей сочувствовавшихъ дѣлу товариществъ, но и теоретическихъ его противниковъ» (стр. 373). Такова краткая исторія промысловыхъ товариществъ, организованныхъ тверскимъ земствомъ. Просуществовали онѣ, какъ видимъ, весьма недолго; кузнечныя товарищества, которыхъ было всего болѣе, не продержались и пяти лѣтъ. Намъ неизвѣстно, занималось ли тверское земство выясненіемъ причинъ постигшей его неудачи; это было бы чрезвычайно любопытно и назидательно. Лежатъ предъ нами земскіе отчеты, бросаютъ довольно слабый свѣтъ на эти причины, но нѣкоторыя изъ нихъ всетаки могутъ быть обнаружены, если войти въ частное разсмотрѣніе отдѣльныхъ артелей.

IV.

Гвоздарныя товарищества пользовались наибольшимъ вниманіемъ тверскаго земства. Кузнечное дѣло вообще довольно развито въ Тверскомъ уѣздѣ, въ особенности въ волостяхъ Васильевской и Первитинской, гдѣ почти все рабочее населеніе въ теченіи зимняго времени занимается исключительно ковкою гвоздей. Управа и отправила сюда одного изъ своихъ уполномоченныхъ, поручивъ ему предложить крестьянамъ, занимавшимся кузнечнымъ промысломъ, образовать товарищества по извѣстной выработанной управой формѣ. Управа, конечно, обязывалась съ своей стороны выдавать товариществамъ ссуды на самыхъ льготныхъ условіяхъ. Эти ссуды и побудили главнымъ образомъ кузнецовъ согласиться на предложеніе управы; положеніе ихъ до тѣхъ поръ было крайне незавидное, и весьма естественно, что они хватались за всякую воз-

возможность выйти изъ него и соглашались на всякое предложеніе, сводившееся къ полученію денегъ. Управа въ своемъ отчетѣ горитъ: «Скоро слухъ о томъ, что губернская управа даетъ въ займы деньги на кузнечные промыслы, распространился по всей Первитинской и Васильевской волостямъ и крестьяне-кузнецы стали являться въ управу цѣлыми десятками съ заявленіемъ о желаніи ихъ составить рабочія товарищества и съ просьбою о ссудѣ имъ необходимаго капитала» (стр. 384). Замѣтимъ кстати, что кузнецы въ Васильевской и Первитинской волостяхъ, *повидимому*, склонны были усвоить организацію, выработанную земствомъ. Не только въ этихъ двухъ волостяхъ, но и въ другихъ мѣстностяхъ Россіи, кузнецы обыкновенно работаютъ въ общихъ кузницахъ. Въ отдѣльной кузницѣ работаетъ до десяти человекъ, принадлежащихъ къ разнымъ семьямъ, что и есть въ нѣкоторомъ родѣ артель, хотя въ этомъ случаѣ каждый приходитъ въ кузницу съ своимъ желѣзомъ и съ своими инструментами. Но такая самодѣльная русская артель, конечно, не имѣетъ никакой цѣны и отнюдь ничего не говоритъ о способности кузнецовъ вести промыселъ тѣмъ путемъ, какимъ желало земство. Мы упоминаемъ объ этомъ обстоятельствѣ собственно потому, что легко можно предположить, что земство прежде всего обратилось съ своими проектами къ кузнецамъ потому, что придадо ихъ самодѣльнымъ артелямъ большее значеніе, чѣмъ какое онѣ имѣли на самомъ дѣлѣ.

Всѣ образовавшіяся по инициативѣ земства товарищества имѣли почти одинаковій уставъ, члены товарищества обязывались производить работу на общія средства и соединенными силами. Инструменты и весь матеріалъ, необходимый дляковки гвоздей, приобретались совмѣстно, а выкованные гвозди должны были продаваться отъ имени товарищества, а не отъ каждаго члена ея. Изъ чистаго барыша часть отдѣлялась въ запасный капиталъ, а остальная часть дѣлилась между членами по расчету произведенной каждымъ работы и капитала, затраченнаго каждымъ-же на приобретение матеріала. Всѣ общія дѣла рѣшались по большинству голосовъ, при чемъ всѣ имѣли одинаковое право голоса. За исполненіе принятыхъ на себя товариществомъ обязательствъ всѣ члены отвѣчали своимъ имуществомъ, съ круговою порукою другъ за друга. Дѣлами артели завѣдывалъ избранный изъ ея среды староста, который велъ приходорасходныя книги и всю счетную часть, хранилъ общее имущество, покупалъ матеріалъ и продавалъ готовыя издѣлія, совершалъ займы для надобностей товарищества и съ его вѣдома, и т. д. Товариществамъ, принявшимъ такой уставъ, управа выдавала ссуды съ условіемъ употреблять ихъ не

иначе, какъ на покупку инструментовъ, желѣза и угля, и лишь въ теченіи перваго года дозволялось часть ссуды употребить на продовольствіе членовъ товарищества и на уплату за нихъ податей. Управа, кромѣ того, выговорила себѣ право наблюдать за дѣйствіями артели чрезъ своего уполномоченнаго, который, наравнѣ совсѣми членами управы, могъ во всякое время осматривать заведенія товариществъ, провѣрять счета и книги, слѣдить за всѣми торгово-промышленными операціями, и, между прочимъ, за тѣмъ, чтобы товарищества не заключали никакихъ займовъ на сторонѣ и не вступали-бы ни въ какія обязательства безъ согласія управы. Последнее условіе совершенно связывало руки товариществамъ и оно было тѣмъ болѣе тяжкимъ, что товарищества получили крайне незначительныя ссуды; такъ 13 товариществъ съ 15 кузнецами и 120 рабочими получили среднимъ числомъ по 81 р. на кузницу, а другія 7 товариществъ съ 17 кузнецами и 140 рабочими получили по 83½ р. на кузницу. Управа, между прочимъ, говоритъ, что, если «ограничить ссуду лишь самымъ необходимымъ для кузнечнаго промысла, то величина ея для ближнихъ къ Твери деревень можетъ быть очень незначительна». Соображеніе это весьма странное; если даже принять, что ссуда должна идти главнымъ образомъ на покупку угля и желѣза, то и въ такомъ случаѣ ясно, что 80—83 рублей на товарищество въ 10—15 человекъ слишкомъ мало, коль скоро матеріалъ долженъ закупаться оптомъ. Главная выгода, доставляемая товариществомъ своимъ членамъ, состоитъ въ возможности оптовой закупки матеріала, а между тѣмъ земская ссуда такова (на cadaго члена можно приобрести матеріала лишь на 6—8 р.), что въ этомъ отношеніи товарищество, очень мало можетъ выиграть. Но кромѣ оптовой закупки матеріала, по крайней мѣрѣ на полугодовой срокъ для cadaго члена, необходимо было имѣть особый капиталъ на тотъ случай, когда нельзя тотчасъ-же сбыть издѣлія или когда ихъ невыгодно сбыть по первой предложенной цѣнѣ. Такой капиталъ давалъ-бы возможность оплачивать издѣлія ранѣе ихъ сбыта, что, конечно, совершенно необходимо. Земство понимало это, но, вмѣсто того, чтобы включить этотъ капиталъ въ ту ссуду, которую оно выдавало товариществамъ, оно рѣшило принимать подъ залогъ представляемые товариществами гвозди съ выдачею за нихъ, до продажи, половинной стоимости противъ той цѣны, какая будетъ въ то время въ Твери на гвозди.

Распорядившись такимъ образомъ, земство, безъ сомнѣнія, сразу-же поставило этимъ все дѣло на ложный путь. Оно создало себѣ массу затрудненій, приняло на себя обязанности, которыхъ и не могло и, конечно, не умѣло исполнить, поставило себя въ са-

мы неестественныя отношенія къ товариществамъ и вообще, испортило, можно сказать, все дѣло. Само товарищество теряло отъ такого шага со стороны земства свой смыслъ и значеніе. Всякій производитель неизбѣжно долженъ самъ заботиться о сбытѣ своихъ издѣлій, онъ долженъ имѣть непосредственныя, прямыя сношенія съ рынокомъ, знать въ совершенствѣ все, что дѣлается на немъ, относиться чутко къ всѣмъ его колебаніямъ и вѣяніямъ. Освободивъ товарищества отъ трудной, но необходимой обязанности непосредственно сноситься съ рынокомъ, земство такимъ неосмысленнымъ и неразборчивымъ покровительствомъ обратило ихъ въ нѣчто безжизненное и мертвое. Конечно, прямыя и непосредственныя сношенія съ рынокомъ поставили-бы товарищества на первыхъ порахъ въ чрезвычайно затруднительное положеніе; сбытъ издѣлій несомнѣнно былъ-бы крайне стѣсненъ въ началѣ, и обычные хозяева рынка, разумѣется, постарались-бы сдѣлать все возможное, чтобы нанести товариществамъ убытокъ и дать имъ почувствовать всю трудность затѣяннаго ими предпріятія. Нѣчто подобное происходило и на самомъ дѣлѣ. Такъ отъ нѣкоторыхъ товариществъ въ самомъ началѣ, когда еще не вошла въ систему правильная пріемка гвоздей земствомъ, въ управу стали поступать заявленія, что «онѣ не могутъ найти никакого сбыта своимъ гвоздямъ, такъ какъ прежніе ихъ скупщики, которымъ-бы они рады были продать гвозди, не соглашались принимать ихъ ни по какой цѣнѣ иначе, какъ на томъ условіи, чтобы члены товариществъ брали у нихъ-же и желѣзо, разумѣется, по прежнимъ цѣнамъ. Многіе изъ крестьянъ, участвующихъ въ товариществахъ въ особенности-же тѣ, которые состояли въ долгу у кулаковъ по прежнимъ счетамъ, — а такихъ было большинство, — принуждены были согласиться на эти условія и брать желѣзо и отдавать гвозди своимъ прежнимъ хозяевамъ, тѣмъ болѣе, что послѣдніе стали настойчиво требовать отъ нихъ немедленной уплаты долговъ, находя самую энергическую поддержку въ Васильевскомъ волостномъ правленіи, гдѣ старшиной въ это время «былъ одинъ изъ самыхъ крупныхъ скупщиковъ и торговцевъ гвоздьми» (стр. 388). Удивляться этому, конечно, нечего; этого слѣдовало ожидать, и земство должно было придти въ этомъ случаѣ на помощь. Но помощь эта должна была выразаться въ единственно раціональной формѣ кредита товариществамъ. Разумѣется, на это потребовались-бы значительныя суммы; товарищества, быть можетъ, не имѣли-бы возможности сбывать свои издѣлія въ теченіи года, а то и двухъ, и въ теченіи всего этого времени необходимо было бы оплачивать трудъ членовъ товарищества изъ земскихъ денегъ, выданныхъ товариществомъ въ ссуду. Если земству не откуда

взять такихъ суммъ, то на это ничего нельзя сказать, кромѣ того только, что въ такомъ случаѣ незачѣмъ было и браться за дѣло; по крайней мѣрѣ незачѣмъ было заводить десятки товариществъ, можно-бы было ограничиться организаціей двухъ-трехъ товариществъ, но при этомъ устроить ихъ надлежащимъ образомъ и, главное, снабдить ихъ надлежащимъ кредитомъ, тогда во всякомъ случаѣ инициатива земства, даже какъ экспериментъ, имѣла-бы несравненно болѣе важное значеніе, чѣмъ теперь. Если допустить, что земство не дало возможности товариществомъ самимъ сношаться съ рынкомъ потому, что у него нехватило на это средствъ, то странно, почему оно взяло на себя заботу о сбытѣ издѣлій и откуда-бы у него явились на это деньги. Что касается опытности и ловкости, то, конечно, по этой части любой кузнецъ не уступить, но, скорѣе, превзойдетъ управу.

Взявъ на себя сбытъ издѣлій товариществъ, управа тотчасъ же очутилась въ затруднительномъ положеніи. Рѣшено было, чтобы гвозди доставлялись сначала въ управу, которая и выдавала за нихъ вознагражденіе. Но такъ какъ управа не имѣла никакой возможности сбывать ихъ, то она вступила съ остапковскимъ купцомъ Бочкаревымъ въ соглашеніе. Именно Бочкаревъ, за вознагражденіе въ 4% съ суммы, на которую будутъ проданы гвозди, согласился принимать ихъ отъ управы, продавать ихъ по назначенной управой цѣнѣ, вести постоянные счета и ежемѣсячно доставлять отчетъ о продажѣ въ управу. Все это по истинѣ курьезно. Гвозди изъ кузницы поступали въ управу, изъ управы переходили въ Остапковъ къ купцу Бочкареву, и уже отъ купца Бочкарева расходились по лавкамъ и складамъ скупщиковъ. Эта сложная процедура сбыта была для товариществъ убыточна, такъ какъ управа постановила, чтобы всѣ расходы по привозу гвоздей и ихъ продажѣ падали на самые гвозди, но если еще взять во вниманіе 4% вознагражденія купцу Бочкареву, то, пожалуй, окажется, что отъ вмѣшательства управы сбытъ издѣлій нисколько не сталъ выгоднѣе для кузнецовъ, но напротивъ стоимость его возвысилась. Но главнымъ камнемъ преткновенія для управы были ея расчеты съ членами товариществъ. Сначала управа постановила выдавать за гвозди только половину ихъ стоимости, но вскорѣ оказалось, что необходимо выдавать больше, тамъ какъ иначе крестьяне, постоянно нуждающіеся въ деньгахъ для продолженія оборотовъ, стали-бы избѣгать сношеній съ управой и продавали-бы гвозди скупщикамъ или торговцамъ. Но управа всетаки еще не рѣшалась платить за гвозди сразу столько, сколько они стоятъ; однако, сколько слѣдовало платить—она тоже не знала, и не пришла на этотъ счетъ ни къ какому опредѣленному рѣшенію. Въ отчетѣ

говорится: «управа, сдѣлавъ приблизительный расчетъ, опредѣлила на выдачу впередъ ссудъ подѣ представляемые гвозди, для отправки ихъ въ осташковскій складъ, ассигновать до трехъ тысячъ рублей съ тѣмъ, чтобы пріемъ гвоздей и размѣръ выдачи за нихъ денегъ товариществамъ каждый разъ опредѣлялся членомъ управы». Дѣло, однако, не могло долго оставаться въ такомъ положеніи. Вслѣдствіе крайней бѣдности кузнецовъ, для нихъ былъ чувствителенъ даже вычетъ въ нѣсколько копѣекъ, и потому-то управа довела выдачу денегъ за гвозди до ихъ полной рыночной стоимости. Но это, конечно, повело къ тому, что кузнецы, говоря словами отчета, «стали смотрѣть на управу, лишь какъ на болѣе выгоднаго (не прибѣгающаго, по крайней мѣрѣ къ обвѣсу) покупателя и потому стали менѣе заботиться о достоинствѣ представляемыхъ въ управу гвоздей, стараясь только сбыть ихъ возможно выгоднѣе». Управа къ этому прибавляетъ, что бывали и случаи обмана въ счетъ гвоздей, или же вмѣстѣ съ гвоздями приносились для вѣсу желѣзные обломки и пыль. Вообще члены товариществъ относились къ управѣ какъ къ постороннему лицу, возмѣвшему странное желаніе (русскому человѣку обыкновенно непонятное) покровительствовать и притомъ не совсѣмъ смѣтливому и расторопному, котораго, поэтому, при случаѣ можно и надуть. Конечно, судить членовъ товарищества за такое непониманіе цѣлей управы не приходится, тѣмъ болѣе, что управа сама поставила себя въ крайне ненормальныя отношенія къ товариществамъ, снявъ съ нихъ всякія заботы о сбытѣ издѣлій и возложивъ эти заботы на себя. Прибавимъ еще къ этому, что хотя впослѣдствіи управа устроила складъ гвоздей въ самомъ центрѣ ихъ производства и сбыта, но оборотный капиталъ склада былъ настолько незначителенъ, что далеко не всѣ члены товарищества могли пользоваться этимъ складомъ; многіе сбывали свои гвозди на сторонѣ. Легко представить себѣ, какая происходила отъ этого путаница во взаимныхъ отношеніяхъ членовъ.

Неопытность управы выразилась также и въ закупкѣ матеріала. Не смотря на то, что она снаряжала особыхъ лицъ на нижегородскую ярмарку для оптовой закупки желѣза, какимъ-то образомъ вышло такъ, что управа должна была продавать свое желѣзо дороже, чѣмъ сколько оно стоило на мѣстѣ, у частныхъ торговцевъ. Между тѣмъ, какъ управа продавала свое желѣзо по 2 р. 35 к.—2 р. 50 к., у частныхъ торговцевъ оно стоило 2 р.—2 р. 20 коп.

Если принять все это во вниманіе, то кажется, не трудно понять, почему гвоздарныя товарищества, устроенныя тверскимъ земствомъ, не удались. Но мы еще не касались вопроса о томъ,

насколько крестьяне способны вести промыселъ тѣмъ путемъ, который указанъ былъ имъ земствомъ, насколько они могли обойтись безъ руководства такого, напр., человѣка, какимъ былъ и остается, въ дѣлѣ артельныхъ сыроваренъ, г. Верецагинъ, о которомъ всѣ, знакомые съ его дѣятельностью, единогласно говорятъ, что безъ него никогда не было-бы и того, что есть, и что тѣ артели, которые были устроены тамъ, куда личное вліяніе его проникало слабо, обыкновенно шли очень плохо и скоро закрывались. Не смотря на прославленную склонность русскаго человѣка къ артельному веденію промысловъ, мы все таки думаемъ, что тверскіе кузнецы, вслѣдствіе крайняго своего невѣжества и неразвитости (они почти поголовно безграмотны), сами по себѣ вовсе не расположены были къ организаціи, выработанной земствомъ, и нуждались въ руководствѣ какого-либо другого Верецагина, въ еще большей степени, чѣмъ крестьяне, образовавшіе артельныя сыроварни, потому что дѣло кузнечнаго товарищества, повидимому, гораздо сложнѣе, если не въ техническомъ, то въ экономическомъ отношеніи. Въ земскихъ отчетахъ мы не находимъ положительныхъ данныхъ о томъ, насколько форма, выработанная земствомъ, соотвѣтствовала склонностямъ, привычкамъ и понятіямъ тверскихъ кузнецовъ. Управа, впрочемъ, отдаетъ въ этомъ отношеніи предпочтеніе кузнецамъ-крестьянамъ передъ кузнецами-мѣщанами. О затверецкомъ товариществѣ кузнецовъ, устроенномъ также тверскимъ земствомъ, управа говоритъ, что «главное его несовершенство состоитъ въ недостаткѣ солидарности между членами, что зависитъ частью отъ условій быта мѣщанъ, по которымъ они, гораздо менѣе, чѣмъ крестьяне, привычны къ общественной формѣ работы» (стр. 377). Но съ другой стороны, въ отчетахъ управы встрѣчаются такіе-же неблагоприятные отзывы о крестьянахъ. Такъ, о васильевскихъ кузнецахъ управа говоритъ, между прочимъ: «Въ этомъ дѣлѣ соединялись всѣ неблагоприятныя условія: полная неразвитость населенія, трудность соединить правильность веденія дѣла съ предоставленіемъ его свободной дѣятельности людямъ, привыкшихъ быть въ постоянной зависимости и т. д.» (стр. 346). Выше мы упоминали также, что члены товариществъ пускались на обманъ для того, чтобы выигорнѣе сбыть гвозди управѣ, а объ одномъ товариществѣ, кузнечно-слесарномъ, устроенномъ земствомъ въ селѣ Васютинѣ, управа прямо говоритъ, что товарищество это распалось, «вслѣдствіе несогласія между членами его» (стр. 410).

Сверхъ всѣхъ указаннымъ причинъ неудачи земскихъ товариществъ, необходимо еще упомянуть и о томъ, что самый промыселъ ручной выдѣлки гвоздя падалъ и вытѣснился

машиннымъ производствомъ, которое распространялось все болѣе и болѣе. Управа придаетъ этому обстоятельству большое значеніе и дѣйствительно для кузнецовъ это истинное несчастье, но для управы это, напротивъ, счастливо, потому что это окончательно заставило ее отказаться отъ своихъ предпріятій и избавило ее отъ дальнѣйшихъ бесполезныхъ затратъ и ошибокъ, въ которыя она вовлечена была своей крайней безтактностью и неумѣlostью. Мы полагаемъ, что какъ ни важенъ самъ по себѣ фактъ упадка кустарной выдѣлки гвоздя, вслѣдствіе успѣховъ машиннаго производства, но въ дѣйствительности земскія товарищества и безъ этого погibli-бы. Машинное производство возникло не въ одинъ годъ, кузнецы-кустари и ранѣе терпѣли невыгодныя послѣдствія отъ успѣховъ машинной фабрикаціи гвоздей, и земству предстояло сколько-нибудь улучшить матеріальное положеніе кузнецовъ, пострадавшихъ между прочимъ и отъ этой машинной фабрикаціи. Что здѣсь все дѣло въ ошибкахъ самой управы, это видно изъ того, что и всѣ другія устроенныя земствомъ товарищества распались, хотя они и не терпѣли никакой конкуренціи со стороны фабрикъ.

У.

Осташковское сапожное товарищество — другое относительно крупное предпріятіе тверскаго земства, крупное, впрочемъ, не по числу членовъ, участвовавшихъ въ товариществѣ, а по размѣрамъ тѣхъ ссудъ, которыя выдавались ему земствомъ. Несмотря на то, что Осташковъ переполненъ сапожниками мастерами и рабочими, желающихъ составить товарищество нашлось всего только пять человекъ, которые при томъ-же долго не могли сговориться на счетъ общаго веденія дѣла и видимо не довѣряли другъ другу. По мнѣнію управы, это объясняется тѣмъ, что мѣщане вообще не склонны и не расположены къ веденію какихъ-бы то ни было промысловъ на началахъ товарищества. Въ отчетѣ своемъ она говоритъ, между прочимъ: «въ противоположность крестьянскому обществу, гдѣ на первомъ планѣ является міръ, иногда даже подавляющій личность въ ущербъ ея самостоятельному развитію, въ мѣщанскомъ обществѣ связь отдѣльныхъ личностей между собою настолько ничтожна, интересы ихъ такъ разрознены, что непривычка и неумѣнье дѣйствовать сообща проявляются тотчасъ при всякой попыткѣ даже самой несложной общей организаціи. Такъ и въ этомъ случаѣ собравшіеся мѣщане долго не могли столбоваться относительно способа покупки товара, раскройки его и распредѣленія на руки мастерамъ. Если поручить раскройку

и равдачу кому-нибудь одному, то являлось сомнѣніе въ возможности утайки съ его стороны части товара. Наконецъ, порѣшили, что раскройка будетъ производиться въ общей мастерской на глазахъ всего товарищества. Другое обстоятельство, возбуждившее живыя пренія, было—опредѣленіе отношенія товарищества къ наемнымъ мастерицамъ, участіе которыхъ необходимо для успѣшнаго хода работы». Это обстоятельство довольно интересно; въ товариществахъ подобнаго рода трудъ женщинъ весьма полезенъ, но кромѣ того, часто могла встрѣтиться надобность въ наймѣ стороннихъ мастеровъ сапожниковъ, въ случаѣ напр. полученія какого-нибудь большого срочнаго заказа. Относительно женщинъ товарищество рѣшило не допускать ихъ къ участію въ барышахъ, но, просто, увеличить имъ нѣсколько поштучную плату. Что же касается мастеровъ мужчинъ, нанимаемыхъ на сторонѣ, то они, сверхъ задѣльной платы, получали еще часть прибыли, но не всю прибыль, причитающуюся на долю члена товарищества. Затѣмъ во всѣхъ другихъ отношеніяхъ уставъ ошашковскаго товарищества сапожниковъ ничѣмъ почти не отличался отъ устава гвоздарныхъ товариществъ.

Управа поставила себя къ ошашковскому товариществу совершенно въ такія же отношенія, какъ и къ другимъ товариществамъ; тѣже ошибки повторены ею и здѣсь. Начать съ того, что она опять приняла на себя обязательство заботиться о сбытѣ сапоговъ освободивъ отъ этой обязанности товарищество и не снабдивъ его для этой цѣли особымъ кредитомъ. Точно также она и въ этомъ случаѣ обязалась выдавать товариществу за изготовленные сапоги, до ихъ продажи, половину ихъ стоимости противъ рыночной цѣны. Наконецъ и ссуда, выданная ошашковскому товариществу, хотя и значительно превосходила своими размѣрами ссуды, полученныя остальными товариществами, но сама по себѣ она была крайне недостаточна. Товарищество могло купить товару на земскую ссуду всего лишь на 2—3 мѣсяца, тогда какъ выгода отъ оптовой покупки товара моглабы получиться тогда, если-бы имѣлось, по крайней мѣрѣ, годовая пропорція его.

Очень скоро оказалось, что оплата сапоговъ до ихъ продажи въ размѣрѣ половинной ихъ стоимости, совсѣмъ не съ руки членамъ товарищества, какъ этого и слѣдовало ожидать; конечно по уставу товарищество не имѣетъ права заключать займы на сторонѣ, а между тѣмъ половинная оплата сапоговъ не давала возможности закупить достаточнаго количества товара для слѣдующей кройки, не говоря уже о томъ, что и существовать мудрено было на деньги, выдаваемые управой въ сказанномъ размѣрѣ. Въ виду этого управа рѣшила оплачивать сапоги въ размѣрѣ $\frac{3}{4}$ ихъ стои-

мости, но понятно, что и въ этомъ случаѣ все-таки закупка товара для слѣдующей кройки ограничивалась: товаръ въ этомъ случаѣ пріобрѣтался въ меньшемъ количествѣ, чѣмъ еслибы сапоги оплачивались бы сразу и сполна.

Правильная организація сапожнаго товарищества представляетъ особенныя трудности и требуетъ огромныхъ затратъ, такъ что не удивительно, что земство ничего не могло здѣсь сдѣлать своими грошевыми ссудами. Сапоги—чрезвычайно капризный товаръ, на который цѣны мѣняются быстро и неожиданно, и для того, чтобы ихъ сбывать съ выгодой, необходимъ значительный капиталъ, который позволялъ-бы отлагать сбытъ до наступленія благопріятныхъ перемѣнъ въ положеніи рынка. Цѣны на сапоги, изготовляемые для рабочаго люда, находятся въ тѣсной зависимости отъ урожаевъ, отъ достаточности кормовыхъ средствъ для скота, нерѣдко даже отъ того, насколько въ данное время тепло и сухо. Такъ, въ 1872 году, требованіе на сапоги сильно понизилось, вслѣдствіе того, что осенью, когда бываетъ главный сбытъ сапоговъ для рабочихъ, было тепло и сухо, но зато спросъ и цѣна на лапти страшно поднялась. Кромѣ того, оставшеюся товариществу приходилось выдерживать сильную конкуренцію со стороны мѣстныхъ оптовыхъ производителей, благодаря которымъ первое время сапоги оставшеюся товарищества не имѣли на мѣстѣ почти никакого сбыта. Мѣстные торговцы или совсѣмъ не покушались на нихъ, или сильно понижали на нихъ цѣну. Въ виду всего этого, необходимо было, для правильной организаціи сбыта сапоговъ товарищества, имѣть оборотный капиталъ, по крайней мѣрѣ, года на два, независимо отъ капитала для устройства складовъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ можно-бы было рассчитывать на значительныя требованія на сапоги. Между тѣмъ, земская ссуда не давала возможности ни на минуту откладывать сбытъ изготовленныхъ сапоговъ; по прошествіи двухъ мѣсяцевъ сапоги должны были сбываться за какую-бы то ни было цѣну. Понятно, что при такихъ условіяхъ товарищество не могло долго продержаться.

VI.

Мы не будемъ останавливаться на льнотрепальныхъ и канатно-веревочныхъ товариществахъ, не представляющихъ особаго интереса, но рассмотримъ, въ заключеніе, товарищества смолокуренныя, имѣвшія наибольшій успѣхъ, хотя, въ концѣ-концовъ, и они не миновали участи всѣхъ предпріятій тверскаго земства по части устройства промысловыхъ товариществъ.

Смолокуренныя товарищества образовались въ Весьегонскомъ

уѣздѣ, въ примоложскомъ краѣ, гдѣ находятся значительныя мѣстныя дачи, какъ казенныя, такъ и частныя. Здѣсь жители въ шести деревняхъ всѣ давно занимаются смолокурениемъ, ихъ единственнымъ промысломъ. На первый разъ возникло шесть товариществъ, изъ которыхъ одно получило ссуду въ 520 р., другое — 240, а остальные до 90 р. Если принять во вниманіе незначительность затратъ, требуемыхъ производствомъ этого рода, то нельзя не признать эти ссуды, если и не вполне достаточными, то во всякомъ случаѣ несравненно болѣе значительными, чѣмъ ссуды, полученныя другими товариществами. Но главное, весьма выгодное, отличіе смолокурныхъ товариществъ состояло въ томъ, что земство не ограничилось одною только выдачею ссуды, но обратило вниманіе на улучшеніе способовъ производства. До вмѣшательства земства, смолокурение велось крестьянами рутиннымъ образомъ, добывались продукты лишь самыя малоцѣнные и притомъ въ незначительномъ количествѣ, тогда какъ при нѣкоторыхъ, вовсе не дорого стоящихъ улучшеніяхъ, могли-бы получаться гораздо болѣе цѣнные продукты и въ большей массѣ. Гласный, кн. Путятинъ, въ своемъ сообщеніи управѣ, говоритъ, между прочимъ: «Къ сожалѣнію, производство это ведется самымъ допотопнымъ способомъ, причемъ смолокуры теряютъ чуть-ли не 80 проц. продуктовъ, сравнительно съ тѣмъ, если-бы были употребляемы при этомъ болѣе научныя и правильныя приемы» (стр. 451). Съ цѣлью сколько-нибудь улучшить это производствo, земство задумало устроить для одного изъ товариществъ заводъ, выдавъ для этого новую ссуду въ 2,000 р. Такой шагъ со стороны земства былъ, безъ сомнѣнія, весьма удаченъ. При заводѣ былъ устроенъ и складъ выдѣляемыхъ продуктовъ для всѣхъ товариществъ, при чемъ подъ залогъ товара, т. е. до его продажи, выдавалось ссуды за $2\frac{1}{2}$ проц. въ мѣсяцъ, что также цѣлесообразнѣе и выгоднѣе для товариществъ, нежели выдача денегъ за изготовленный товаръ въ размѣрѣ половинной стоимости его или даже въ размѣрѣ $\frac{3}{4}$ этой стоимости. При заводѣ былъ также и техникъ, который руководилъ производствомъ, принималъ товаръ и опредѣлялъ его стоимость. Съ устройствомъ завода, смолокурение пошло несравненно правильнѣе и выгоды крестьянъ увеличились; количество вырабатываемыхъ продуктовъ возросло на 20—30 проц., сравнительно съ прежнимъ временемъ, продукты эти были лучшаго качества и получались съ меньшей затратой труда и капитала. Къ сожалѣнію, устройство завода стоило вдвое дороже, чѣмъ предполагалось; къ двумъ тысячамъ земской ссуды выданной на устройство завода, должны были приложить свои средства двое гласныхъ, сдѣлавшихся членами товарищества. За-

тѣмъ нанятый для завода техникъ въ началѣ-же года ушелъ, а новый техникъ пріисканъ былъ черезъ полгода, но и онъ сначала производилъ лишь предварительные опыты, такъ что заводъ долгое время бездѣйствовалъ, между тѣмъ какъ на товариществѣ лежали обязательства и срочные платежи. Но, конечно, важнѣе всего то, что у членовъ товарищества оборотнаго капитала было крайне недостаточно, какъ сознается теперь въ своемъ отчетѣ и управа. Земство и здѣсь осталось вѣрнымъ самому себѣ; оно, по своему обыкновенію, не додало части той суммы, которая необходима была для веденія дѣла, и остановилось на половинѣ дороги. Эту ошибку оно дѣлало постоянно при всѣхъ своихъ попыткахъ помогать развитію крестьянскихъ промысловъ. Сначала оно всегда горячо принималось за дѣло, выказывало много энергіи и почти навязывало свои ссуды крестьянамъ, но потомъ, испугавшись своей смѣлости, начинало колебаться, когда уже дѣло было въ разгарѣ, и кончало рѣшительнымъ отказомъ на просьбы крестьянъ о пособіяхъ, подумывая лишь о способахъ взыскапія съ нихъ долговъ и ликвидаціи имъ-же затѣяннаго предпріятія. Такой образъ дѣйствій говорить самъ за себя, и излишне пояснять, что, въ связи со всѣми вышеуказанными обстоятельствами, онъ неизбѣжно долженъ былъ губить всѣ благія помыслы и намѣренія земскія и предпріятія по части развитія крестьянскихъ промысловъ.

Б. Л.

НОВЫЯ КНИГИ.

Очерки исторіи украинской литературы XIX столѣтія
Н. И. Петрова. Кіевъ 1884 г.

Книга г. Н. И. Петрова, стоявшая автору не мало труда, хотя и чисто компилятивнаго, могла-бы быть весьма почтенною, если бы г. Петровъ не задавался въ ней никакими иными цѣлями, кромѣ одного безхитростнаго изложенія фактовъ исторіи украинской литературы съ біографическими свѣдѣніями объ украинскихъ писателяхъ и выдержками изъ выдающихся ихъ произведеній. Это было-бы для украинской литературы то-же, что «Исторія европейскихъ литературъ», Шерра, или «Очерки исторіи славянскихъ литературъ», г. Пыпина. Эту именно цѣль, повидимому, и имѣлъ въ виду г. Петровъ, какъ это явствуетъ изъ введенія въ его труду. Но, къ сожалѣнію, вмѣстѣ съ тѣмъ онъ задался и другою цѣлію, фантастическою и эфемерною, именно — прослѣдить въ исторіи украинской литературы непремѣнно, и во что-бы то ни стало, тѣ самыя направленія и школы, какія въ различныя эпохи пережила великорусская литература.

Въ видахъ этой цѣли, г. Петровъ дѣлитъ украинскую литературу на слѣдующія, какъ онъ выражается, «моменты ея развитія»:

I. Періодъ украинскаго псевдоклассицизма и пародированныхъ поэмъ и одъ, комическихъ оперъ и т. п. открывающійся И. П. Котляревскимъ.

II. Періодъ сентиментальной украинской литературы, главнымъ представителемъ которой является Квятка-Основьяненко.

III. Періодъ романтико-художественной литературы, разившейся подъ обаятельнымъ влияніемъ русскихъ и польскихъ поэтовъ-художниковъ: Пушкина, Мицкевича и др. Сюда относятся А. Метлинскій, М. Н. Петренко, В. Забѣлла, А. С. Аюнасѣвъ-Чужбинскій и др.

IV. Періодъ національной литературы, которая понималась, какъ соединеніе классицизма и романтизма въ принципѣ народности, а въ дѣйствительности была отраженіемъ темныхъ славянофильскихъ стремленій. Сюда относятся прежде всего собиратели украинскихъ народныхъ произведеній и историческихъ матеріаловъ, какъ напр. Максимовичъ, Бодянский и др. Въ литературномъ отношеніи это направленіе выразилось въ историческихъ романахъ и

драмахъ изъ украинской жизни и особенно въ украинскихъ повѣстяхъ Н. В. Гоголя и его подражателей.

V. Періодъ украинскаго славянофильства съ конца 40-хъ годовъ и до начала 60-хъ, имѣющій связь съ русскимъ славянофильствомъ и враждебный полонизму. Главными представителями его были — Костомаровъ, Кулишъ и Шевченко.

VI. Періодъ новѣйшаго украинскаго славянофильства съ 60-хъ годовъ и до позднѣйшаго времени. Среди разнообразія мотивовъ и направленій этого періода, въ немъ мало-по-малу пробивается демократическое направленіе, которое стало въ оппозицію польскому шляхетству и имѣло связи съ русской реалистической школой.

Сообразно этимъ «моментамъ развитія», г. Петровъ и книгу свою дѣлитъ на соотвѣтствующіе отдѣлы, при чемъ въ началѣ каждаго отдѣла онъ дѣлаетъ общую характеристику разсматриваемаго литературнаго направленія и считаетъ не лишнимъ при этомъ опредѣлять, какое значеніе это направленіе имѣло въ Западной Европѣ и въ великорусской литературѣ. Но когда, послѣ этихъ характеристикъ ab ovo авторъ приступаетъ къ изложенію фактовъ украинской литературы, вы съ удивленіемъ видите, что факты эти не имѣютъ положительно никакого отношенія къ предпосылаемой характеристикѣ литературной школы, а главное дѣло — въ какой-бы отдѣлѣ ни заглянули, вы имѣете дѣло повсюду съ фактами совершенно однородными: вездѣ однѣ и тѣ же сказки, легенды, историческія повѣсти, оперетки съ романсами комическаго и сентиментальнаго характера; однимъ словомъ, авторъ подаетъ вамъ меню обѣда изъ шести блюдъ самыхъ разнообразныхъ наименованій, а между тѣмъ каждое блюдо состоитъ все изъ того-же малороссійскаго борща съ саломъ. Если-же направленія, переживаемыя великорусской литературой, иногда и отражались въ украинской литературѣ, то по большой части въ видѣ комическихъ пародій, которыми особенно была богата украинская литература во все время своего существованія, такъ что безъ преувеличенія можно сказать, что украинскіе писатели мало того, что не подчинялись тѣмъ или другимъ направленіямъ великорусской литературы, — они постоянно осмѣивали ихъ.

Въ самомъ дѣлѣ, что общаго между великороссійскими «Россиадами» и «Петриадами» въ ложно-классическомъ духѣ и вдругъ «Энеидою» Котляревскаго, въ которой классическіе герои и героини обращены въ малороссійскихъ «паробковъ моторныхъ» и гарныхъ дивчатъ, и боги пьютъ горилку, закусывая саломъ? Тамъ высокопарныя ходули, высочій слогъ и чопорная торжественность отъ первой страницы до послѣдней, здѣсь изъ каждаго стиха прыщеть неподдѣльный, неподражаемый, чисто народный украинскій юморъ. Что общаго между ложно-классическими трагедіями съ

тремя единствами, или комедіями въ мольтеровскомъ духѣ и «Наталкою Полтавкою» и «Москалемъ Чаривникомъ»?

Далѣе, какъ образецъ подражанія Лермонтову и вообще отраженія байроновской поэзіи въ украинской литературѣ, г. Петровъ приводитъ, между прочимъ, думу Гулака-Артемовскаго «Упадокъ вѣка», видя въ этой думѣ отголосокъ извѣстной «Думы» Лермонтова. Но и здѣсь вы встрѣчаете все ту-же пародію: авторъ дѣйствительно печально смотритъ на современное ему поколѣніе, но сѣтуетъ больше всего на то, что поколѣніе это не пьетъ горилки, какъ пили отцы и дѣды.

„Нитко по их душі та й не лизне горилки!“
меланхолически восклицаетъ поэтъ:

«И роковъ черезъ сто на цвинтарь прійде внукъ.
Де грішні кисти их в одну копичю сперли;
Новірне череп ихъ, та въ лоб ногою—стук!
Та й скаже; „як жили, такъ дурнями и вмерли!“

Но курьезнѣе всего 363-я страница, гдѣ авторъ до того увлекается своимъ непреклоннымъ желаніемъ повсюду находить вліяніе великорусской литературы, что въ поэмѣ Шевченки «Наймичка» онъ видитъ вдругъ вліяніе пресловутаго романа Пушкина («Подъ вечеръ осени ненастной»)! Серьезно, г. Петровъ такъ прямо и говоритъ, ни мало не дивясь своей рѣчи, какъ вѣчто вполне основательное:

„Свою поѣму Шевченко починаєть совершенно такъ же, какъ и Пушкинъ, но только ведетъ ее далѣе, рассказывая о судьбѣ подвинутаго ребенка и злополучной его матери, которая занимается къ принявшимъ ея ребенка старикамъ въ работницы и лезветъ его до своей смерти, скрывая свои материнскія чувства и званіе“.

А между тѣмъ, несчастное стремленіе г. Петрова прослѣдить во что бы ни стало въ украинской литературѣ тѣ-же самыя періоды, какіе переживала великорусская литература, въ концѣ концовъ привело его къ тому, что за своими «моментами развитія» слона т) онъ и не примѣтилъ. Словъ-же этотъ заключается въ томъ, что украинская литература тѣмъ именно и отличается отъ великороссійской, что никакихъ соотвѣтственныхъ періодовъ она не переживала. Въ то время, какъ послѣдняя медленнымъ и тяжелымъ путемъ шла отъ рабскія и подражательности западноевропейскимъ школамъ къ самобытности, украинская литература всегда была самобытна, національна и народна.

Всѣ направленія отражались въ ней съ одной чисто формальной стороны и тотчасъ же до такой степени проникались народнымъ духомъ, что не оставалось и тѣни какого-либо чуждаго вліянія. Постоянноукраинская литература содержаніе свое брала изъ окружающей дѣйствительности или ближайшаго историческаго прошлаго. По

всей по ней проходят одни — тѣже элементы народнаго украинскаго духа: юморъ и сентиментальность, но юморъ свой собственный и ни откуда не заимствованный, и сентиментальность, въ свою очередь, вполне самобытная, являющаяся не моментомъ развитія, какъ это было въ великорусской литературѣ, а постоянно присутствовавшая, начиная съ Котляревскаго и кончая Шевченкою. Ничѣмъ инымъ, какъ именно своею самобытною и реальностью украинская литература сослужила великую службу для великорусской литературы, подготовивъ богатую почву для появленія Гоголя; создавъ же Гоголя, украинская литература способствовала этимъ и тому перевороту, который произвелъ авторъ «Мертвыхъ душъ» въ великороссійской литературѣ. Натурализмъ Гоголя не имѣетъ ничего общаго съ какимъ-либо подобнымъ-же направлениемъ западной Европы: вы не укажете ни одного западнаго писателя, влiянію котораго подчинился-бы Гоголь. Между тѣмъ, украинская литература вся преисполнена тѣмъ самымъ духомъ, какимъ дышутъ произведенія Гоголя, особенно юношескія, и пресловутый гоголевскій «смѣхъ сквозь слезы» есть не что иное, какъ счастливое и гениальное сочетаніе все тѣхъ-же украинскихъ юмора и сентиментальности.

Мы не стоимъ за-то, чтобы украинская литература совсѣмъ не имѣла никакихъ «моментовъ развитія». Но только моменты эти совершенно иные и не имѣютъ ничего общаго съ искусственными и натянутыми рубриками г. Петрова.

Н. Ланская. Лавры и терніи. Романъ изъ временъ русско-турецкой войны. Въ двухъ частяхъ. Спб. 1884.

Двадцать-пять лѣтъ тому назадъ Добролюбовъ по одному поводу писалъ въ своемъ «Свистѣ» слѣдующее: «въ каждомъ кружкѣ людей есть такія общія понятія и интересы, которые предполагаются уже всѣмъ извѣстными и о которыхъ потому не говорятъ. Странно бываетъ обществу образованныхъ людей, когда въ среду ихъ вторгается рассказчикъ, неумѣющій, напр., произнести ни одного собственнаго имени безъ нарицательнаго добавленія и говорящій безпрестанно: городъ Парижъ, фельдмаршалъ Кутузовъ, гениальный Шекспиръ, рѣка Дунай и т. п. Вы знаете, что всѣ его прибавки справедливы, вамъ нечего сказать противъ нихъ, но вы чувствуете почему-то, что лучше обойтись безъ нихъ. То же самое бываетъ и съ нравственными понятіями. Вамъ становится просто неловко и совѣстно въ присутствіи человѣка, съ азартомъ разсуждающаго о негуманности людоѣдства или о нечестности клеветы».

Это умное и остроумное замѣчаніе Добролюбова мы рекомендуемъ особенному вниманію г-жи Ланской. Дѣло въ томъ, что г-жа Ланская представляетъ собою какъ разъ такого азартнаго проповѣдника элементарныхъ нравственныхъ понятій, въ присутствіи котораго читателю «просто неловко и совѣстно». Г-жа Ланская совсѣмъ не художникъ, не романистъ, а исключительно публицистъ. Это, впрочемъ, было-бы только пол-бѣды: иной публицистъ—чему мы и знаемъ примѣры—даже въ несвойственной ему сферѣ романа дать читателю больше, научить его лучше, нежели какой-нибудь заправскій романистъ. Настоящая бѣда г-жи Ланской состоитъ въ томъ, что она, какъ публицистъ, не умѣетъ, выражаясь словами Пруткова, «смотреть въ корень», плохо различаетъ важное отъ неважнаго и не возвышается надъ уровнемъ азбучныхъ идей и идеаловъ. Для корреспонденціи, для фельетона, для передовой газетной статьи такого умственного запаса, быть можетъ, вполне достаточно. Но его слишкомъ мало для романа, въ особенности такого, который, какъ романъ г-жи Ланской, претендуетъ разоблачать различные недуги и язвы нашей жизни. Обличеніе, конечно, дѣло прекрасное и общепольное. Но обличить личность или кружокъ личностей—это одно; развѣнчать принципъ, сорвать маску не съ личности, а съ цѣлаго типа—это совсѣмъ другое. Въ первомъ случаѣ вы только исполняете долгъ, лежащій на каждомъ честномъ человѣкѣ; во второмъ вы являетесь художникомъ и мыслителемъ, способствующимъ прогрессу самыхъ основъ жизни.

Г-жа Ланская дѣлаетъ первое, т. е. изобличаетъ злоупотребленія и злоупотребителей и пытается дѣлать второе, т. е. возставать противъ вредныхъ и ложныхъ, по ея мнѣнію, общихъ принциповъ. Въ качествѣ обличителя личностей, г-жа Ланская вполне на своемъ мѣстѣ. Прежде всего г-жа Ланская обладаетъ тою смѣлостью, которая необходима корреспонденту, не отступающему передъ послѣдствіями своихъ изобличеній. Г-жа Ланская твердо ставитъ точки надъ і и если выводитъ своихъ персонажей подъ псевдонимами, то всегда настолько прозрачными, что самый недогадливый читатель пойметъ, о комъ тутъ собственно идетъ рѣчь. Она рассказываетъ о порядкахъ (или, точнѣе, беспорядкахъ), господствовавшихъ во время войны 77 года въ большомъ губернскомъ городѣ «Златоглавѣ», стоящемъ на берегу большой рѣки и знаменитомъ своимъ монастыремъ. Если вамъ этого мало, г-жа Ланская укажетъ вамъ на дѣятелей этого города,—«извѣстнаго лингвиста Купитовича и знаменитаго адвоката Соперника, съумѣвшаго себя прославить всего тремя словами осужденія въ пользу казеннаго бѣдняка, котораго ему поручили защищать», или на

«примѣрнаго христіанина Смиридова, который, спустя года 2—3, очистивъ для добрыхъ дѣлъ какой-то банкъ, очутился на скамьѣ подсудимыхъ» (349). Надъ такими псевдонимами никто не станетъ долго ломать голову. Г-жа Ланская разоблачаетъ—заднимъ числомъ, къ сожалѣнію—вопіющую неурядицу, отличившую въ то время интендантскія, госпитальныя и т. п. сферы, и съ большою горячностью и ядовитостью рисуетъ картины филантропической дѣятельности высшихъ общественныхъ сословій города Златограда. Справедливость заставляетъ насъ сказать, что насколько г-жа Ланская права въ своихъ филиппикахъ противъ интендантовъ и т. п., настолько-же ея обличительный жаръ кажется страннымъ, когда она возстаетъ противъ разныхъ «дамскихъ кружковъ». Читателю кажется, что какъ-будто въ этомъ случаѣ устами автора говорить одинъ изъ ея персонажей, нѣкая Тавлѣва, принимавшая участіе въ дѣятельности «кружковъ» и лично разобитая златоградскими филантропками. Это представляется читателю тѣмъ вѣроятнѣе, что авторъ въ одномъ мѣстѣ сообщаетъ о Тавлѣвой: «одну минуту она хотѣла встать и уйти (изъ засѣданія обижавшаго ее «кружка»), но врожденное ей свойство добиваться конца одержало верхъ, и она осталась, зная, что придетъ день, когда она расквитается со всѣми по-своему. Идея этого отдаленнаго реванша сообщала ей особаго рода спокойствіе» (477). Ну, вотъ романъ г-жи Ланской и кажется читателю «реваншемъ» за Тавлѣву, и это значительно подрываетъ довѣріе къ безпристрастію автора. Изъ-за чего, въ самомъ дѣлѣ, такъ горячиться, если не раздражено личное чувство?.. Г-жа Ланская потратила зарядъ порошу, стрѣляя изъ пушекъ по воробьямъ, и эта ненужная, неумѣстная горячность автора подрываетъ вѣру въ его свидѣтельство. Такимъ образомъ, когда г-жа Ланская говоритъ о златоградскихъ сестрахъ милосердія, что «эти совершенныя существа вели между собой нескончаемую войну, бранясь и ссорясь съ утра до вечера» (257), или что эти сестры милосердія играли роль тѣхъ генеральскихъ «экономокъ», которыхъ прежде «отдавали за штабныхъ писарей» (362) и т. д.—читатель выслушиваетъ г-жу Ланскую съ тѣмъ большимъ недоувѣріемъ, что, во-первыхъ, привычное его представленіе о «сестрахъ» нѣсколько иное, во-вторыхъ, что, какъ явствуетъ изъ романа, протеже автора—Тавлѣва была разобита «сестрами» не менѣе чѣмъ «дамами». Чрезмѣрная обличительная горячность автора является, такимъ образомъ, ему не помощью, а препятствіемъ для воздѣйствія на читателя: пылкій обличитель пересаливаетъ, онъ, повидимому, говоритъ pro domo sua, подумаетъ читатель, и будетъ не совсѣмъ неправъ.

Но если г-жа Ланская возбуждает сомнѣніе своими изобличеніями личностей и дѣятелей,—она приводитъ читателя именно въ конфузъ своими изобличеніями принциповъ.

Г-жа Ланская именно не желаетъ или не умѣетъ «смотреть въ корень» и только тѣмъ и занимается, что розыскиваетъ виновныхъ, хотя и предчувствуетъ, что это—пустое занятіе. Такъ, напр., она говоритъ о своей любимой героинѣ—Тавлѣевой: «войдя въ палату, Тавлѣева чувствовала приливъ сильнѣйшаго негодованія, не зная однако, кого винить за этотъ порядокъ вещей, потому что лица, на которое можно было-бы свалить вину—не было: была, вѣроятно, совокупность лицъ, которыя въ свою очередь зависѣли отъ совокупности разныхъ обстоятельствъ, но такъ какъ эти лица были гдѣ-то далеко, а непосредственно у дѣла стояла старшая сестра, то Тавлѣева рѣшилась навести ее на мысль о невозможности подобнаго отношенія къ больнымъ и раненымъ». Вотъ истинно женская логика, или логика ребенка колотящаго столъ, о который онъ ушибся, или логика дикаря, который за неблагоприятную погоду поретъ своего безотвѣтнаго фетиша. *Вѣроятно*, есть «совокупность обстоятельствъ», въ которыхъ и лежитъ настоящая причина неурядицы, но *такъ какъ* подъ рукой лишь сестра милосердія, то... и пр. и пр. Ничего не можетъ быть проще и ничего въ то-же время несправедливѣе. По такой логикѣ, въ ужасахъ войны виновны «герои»—Наполеоны и Цезари; въ бѣдствіяхъ пролетарія—управляющіе фабриками и заводами и сами фабриканты; въ проституціи — содержательницы публичныхъ домовъ и т. д. Г-жѣ Ланской, въ ея роли обличителя и морализатора, необходимо, очевидно, вновь пересмотрѣть свои воззрѣнія и постараться упорядочить ихъ.

Мы ни слова еще не сказали о романѣ г-жи Ланской собственно какъ о романѣ. Но тутъ и говорить нечего послѣ того какъ мы признали, что нашъ авторъ не художникъ, а публицистъ или, вѣрнѣе, фельетонистъ. Романъ г-жи Ланской — это отличнѣйшая корреспонденція въ пятьсотъ слишкомъ страницъ, обработанная или, если угодно, испорченная беллетристически. Живая и честная, хотя до послѣдней степени узкая, тенденція теряется въ массѣ ненужныхъ и скучныхъ подробностей; бойкое, иногда даже изящное изложеніе частныхъ эпизодовъ далеко не искупаетъ неуклюжести и нестройности архитектуры цѣлаго; огонекъ наивнаго, но чистаго гражданскаго чувства и негодованія только изрѣдка мелькаетъ среди обширныхъ болотъ водянистаго повѣствованія. Въ общемъ результатѣ, литература пріобрѣтаетъ въ лицѣ г-жи Ланской то, что на журнальномъ жаргонѣ называется «полезностью».

Петербургская саранча. Романъ въ трехъ частяхъ. А. И.
Пальма. Спб. 1884.

Въ нашей журналистикѣ выработывается, или даже уже выработался, совершенно особый литературный жанръ, который можно назвать фельетонной беллетристивой. На Западѣ этотъ жанръ процвѣтаетъ уже давно. Во Франци, напримѣръ, даже такіе первостепенные таланты, какъ Золя и Додэ, не брезгаютъ печатать свои романы въ «нижнихъ этажахъ» ежедневныхъ газетъ, находя, вѣроятно, это выгоднымъ и для своей популярности, и для своихъ матеріальныхъ интересовъ. Но выгода—выгодой, а основныя требованія искусства остаются все тѣ-же, и вотъ съ этимъ—то именно требованіями форма фельетоннаго романа очень плохо мирится. Извѣстенъ случай съ Понсонъ-дю-Террайлемъ, который печаталъ свои романическія издѣлія въ какой-то дешевой и чрезвычайно распространенной газетѣ. Когда романистъ заставилъ, наконецъ, умереть своего героя, подписчика, главнымъ образомъ рабочіе предмѣстій, буквально осадили редакцію газеты, требуя возобновленія романа, и сговорчивый авторъ долженъ былъ воскресить своего героя и, такимъ образомъ, явился «Воскресшій Рокамболь». Это, конечно, слишкомъ рѣзкій и исключительный примѣръ, но все-таки въ немъ есть типическіе признаки и черты. Разъ романистъ, или вообще писатель, сдѣлался журналистомъ—онъ долженъ сообразовать свое творчество не съ вѣковѣчными идеалами искусства, а съ измѣнчивыми требованіями и вкусами своихъ читателей, своихъ, проще и прямѣе говоря, потребителей. Онъ перестаетъ быть хозяиномъ своихъ собственныхъ средствъ; не онъ овладѣваетъ толпою, а наоборотъ, толпа подчиняетъ его себѣ, заставляетъ его приспособляться и принаравливаться къ ней. Очевидно, тутъ ужъ не до искусства. Писатель, ставшій въ зависима, можно сказать — рабскія отношенія къ своей публикѣ, не можетъ надѣяться дать намъ такое произведеніе, значеніе котораго не исчерпывалось-бы интересомъ текущей минуты. Мы не о размѣрахъ голой пользы говоримъ теперь, не объ утилитарномъ значеніи подобныхъ произведеній: служа толпѣ, снисходя до ея уровня, можно, въ то-же время, очень дѣятельно и успѣшно способствовать поднятію этого самаго уровня. Густавъ Доре сдѣлалъ для развитія нашего художественнаго смысла и чутья не меньше, если не больше, какого угодно залравскаго художника—классика, но все-таки онъ сохранилъ въ исторіи искусства только мѣсто талантливаго рисовальщика. Такія-же точно градаціи мы находимъ

и въ области слова, такія-же отношенія замѣчаются и между литературой и журналистикой, въ настоящемъ, точномъ значеніи этихъ терминовъ.

Романъ г. Пальма относится всецѣло къ области газетнаго, фельетоннаго искусства. Въ этомъ обстоятельствѣ, какъ читатель легко пойметъ послѣ сдѣланныхъ выше замѣчаній, нѣтъ ничего такого, что-бы говорило за или противъ произведенія г. Пальма и мы указываемъ на этотъ фактъ только затѣмъ, чтобы сразу дать понять, чего въ правѣ и чего не въ правѣ требовать мы отъ автора. Какъ произведеніе фельетоннаго художества, романъ г. Пальма почти вполне удовлетворителенъ. Тема произведенія разработана, правда, очень поверхностно, болѣе намѣчена, чѣмъ разработана, — какъ это и совершенно естественно въ области фельетона, — но самая тема выбрана чрезвычайно удачно. Коллективнымъ героемъ романа является, говоря словами автора, «ассортиментъ продуктовъ санктпетербургскаго бездѣльничества и шальной погони за удовлетвореніемъ самой безпардонной жуировки на чей-то шальной рубль» (135). Какъ видите, тема не только современна, но и широка, потому что «погоня за шальнымъ рублемъ» представляетъ собою въ нашей жизни такое «теченіе», глубину и силу котораго никакъ нельзя оспаривать. Г. Пальмъ ограничивается только очеркомъ этого «теченія», не касаясь вопроса ни о его причинахъ, ни о его послѣдствіяхъ. Онъ вообще упираетъ на комическія, относительно безобидныя стороны явленія, только мимоходомъ касаясь его мрачныхъ, трагическихъ сторонъ. Главными представителями «петербургскаго бездѣльничества» являются у г. Пальма супруги Кривашевы, возбуждающіе въ читателѣ отчасти отвращеніе, отчасти сожалѣніе и болѣе всего добродушную насмѣшку. Вотъ, напримѣръ, какими чертами характеризуетъ ихъ авторъ: «Послѣ кормленія, хотя-бы и скуднаго, они относились другъ къ другу снисходительно и нѣжно, любовно предавались мечтаніямъ, что вотъ скоро дѣла ихъ поправятся, откуда-то на нихъ свалятся большія деньги... Сытые, они не мирились съ судьбой менѣе какъ на сотнѣ тысячъ, — голодные готовы были душу заложить, чтобы достать рублевую бумажку. И при томъ, именно «достать», перехватить, выпросить, — другого способа получить деньги они какъ будто и не подозревали. Панкрась иногда меланхолически разсуждалъ о трудѣ, о работѣ, собирався пойти хоть въ поденщики, но это были такія-же мечтанія, какъ на счетъ сотенъ тысячъ; если-бы кто предложилъ ему скромное занятіе переписчика, онъ поблагодарилъ-бы съ большимъ чувствомъ, сълѣ-бы за переписку, а на другой-же день сказалъ-бы, тоже съ большимъ чувствомъ: «шерсі, мон шер, но вотъ

что... вы лучше одолжите мнѣ dix roubles—ni plus ni moins (о деньгахъ онъ всегда говорилъ по-французски), черезъ нѣсколько дней я вамъ возвращу, а переписка... не могу я... знаете, съ непривычки спина ужасно разболѣлась... Вѣдь это я такъ, пока, мои дѣла скоро поправятся» (36). Негодовать тутъ нельзя. Негодованіе—слишкомъ крупное чувство по отношенію къ такимъ мелкимъ людямъ, какъ чета Кривашевыхъ, и авторъ взялъ очень вѣрный тонъ, рассказывая о нихъ полусутоливо, полупрезрительно. Но изъ этого разгильдяйства и «шалопайства», въ концѣ-концовъ, выходитъ настоящая драма: жалкимъ образомъ гибнутъ дѣти Кривашевыхъ, воспитавшіяся подъ деморализирующимъ вліяніемъ примѣра своихъ родителей, и читателю становится уже совсѣмъ не до шутокъ. Онъ перестаетъ видѣть въ шалопайствѣ и шалопаяхъ только комичную ихъ сторону, и въ его умѣ возникаютъ вопросы общаго серьезнаго и печальнаго свойства. Подъ комической оболочкой, которую г. Пальмъ, въ большинствѣ случаевъ, прикрываетъ своихъ героевъ, читатель, повторяемъ, постоянно прозрѣваетъ нѣчто очень серьезное, серьезное не по внутренней, идейной своей содержательности, а по своей грубой силѣ, по своей вліятельности. Очень смѣшно и курьезно, когда, напримѣръ, одинъ изъ «саранчи», нѣкій «восточный человѣкъ», обладающій «чудовищными зрачками и геройскимъ носомъ» (137), рекомендуетъ такимъ образомъ: «сударыня, за деньги чаевъ ни возможна? И все возможна за деньги—на неба дорогу построить можна. Ми клопочемъ. Я—фирма, мадамъ, можетъ слышала, Парсумовъ и компанія, торговый домъ, балшія апираціи!—Это я и есть приѣхали сюды, чтобы началств наложить наши ползы и нужды» (138).

Тутъ есть надъ чѣмъ посмѣяться, но есть надъ чѣмъ и задуматься. Этотъ «восточный человѣкъ», съ своими «ползами и нуждами», годится въ водевилъ, но онъ-же годится въ персонажи и даже въ герои серьезнаго общественнаго романа: все зависитъ отъ того—обратимъ-ли мы свое вниманіе главнымъ образомъ на «геройскій носъ» восточнаго человѣка и на его забавную русскую рѣчь или усмотримъ въ немъ—на что имѣемъ полное основаніе—дѣятеля и сѣятеля, съ которымъ надо серьезно считаться. Г. Пальмъ, въ своей роли фельетоннаго романиста, занимается больше забавною внѣшностью, чѣмъ печальною сущностью, отчего его романъ столько-же выигрываетъ въ шаблонной «занимательности», сколько проигрываетъ въ значительности и серьезности. Это не вина автора, это вина того литературнаго жанра, къ которому онъ обратился.

М. Д. Скобелевъ. Этюдъ по характеристикѣ нашего времени и его героевъ (съ тремя чертежами). *Г. К. Градовскаго.* Спб. 1884.

Г. Градовскій понялъ свою задачу очень широко и, вмѣстѣ съ тѣмъ,—быть можетъ, вслѣдствіе этой самой широты—не достаточно опредѣлилъ ея границы, не твердо установилъ конечную цѣль своего «этюда». Онъ говоритъ въ предисловіи: «Изъ войны 1877 — 1878 годовъ мы вынесли культъ Скобелева, вмѣстѣ съ совершенно превратными понятіями о войнахъ и тѣхъ условіяхъ, какія даютъ народамъ права на мировое значеніе и роль освободителей. Этотъ культъ и эти ошибочныя понятія создаютъ такія невзгоды и заблужденія, какія были испытаны Россіей до крымской войны и невыгодныя послѣдствія которыхъ приходится переживать и до сихъ поръ. Этотъ культъ еще возросъ, благодаря внезапной и преждевременной смерти Скобелева. Смерть эта устранила навремя опасность ближайшаго вліянія на нашу жизнь такихъ понятій, какъ «шапками закидаемъ», или, что «при видѣ высокихъ сапоговъ—турки обратятся въ бѣгство», или, наконецъ, что «одного имени Скобелева достаточно, чтобы передѣлать берлинскій трактатъ». Почва для господства подобныхъ заблужденій еще расширилась. При малѣйшемъ толчекѣ, эти заблужденія могутъ воскреснуть съ новою, подавляющею силою, отыскавъ для себя новаго Скобелева и новое приложеніе. Въ свое время, культъ Наполеона и «наполеоновскихъ идей», усилившіяся особенно послѣ его смерти, обошелся Франціи возрожденіемъ бонапартизма въ неприглядной формѣ второй имперіи, принесшей много позора и несчастій французамъ и надѣлавшей не мало бѣдъ всей Европѣ. Точно также и культъ Скобелева и тѣхъ политическихъ идей, которыя въ него воплощаются, не можетъ сулить намъ ничего добраго».

«Такимъ образомъ, не столько самъ Скобелевъ, сколько та умственная и нравственная атмосфера, которая окружаетъ его имя и въ которую онъ былъ втянутъ, побуждаетъ не пренебрегать изученіемъ этой личности съ возможною объективностью и безпристрастіемъ.» (VII—VIII).

Съ такой точки зрѣнія на задачу, скромный «этюдъ по характеристикѣ» отдѣльной личности долженъ превратиться въ политическій трактатъ, направленный противъ цѣлаго политическаго и историческаго міросозерцанія или, говоря словами автора, противъ извѣстнаго политическаго «культа». Мы ничего не имѣемъ противъ постановки и разработки такой задачи; мы только утверж-

даемъ, что эта задача—совсѣмъ не та, которая формулируется въ заглавіи брошюры, точно также, какъ эта послѣдняя задача—не та, которую дѣйствительно рѣшаетъ или старается рѣшить авторъ Характеристика Скобелева, какъ человѣка, политика и полководца—это одно дѣло; характеристика «нашего времени»—это другое дѣло; наконецъ, техническое изслѣдованіе вопроса о военныхъ заслугахъ Скобелева—это третье дѣло. Всѣ эти три отдѣльныя и самостоятельныя задачи г. Градовскій скомкалъ вмѣстѣ—не связавъ въ одно стройное цѣлое (что, при большомъ талантѣ, было бы возможно)—а именно скомкалъ механически. Не ясно понимая свою задачу, г. Градовскій, естественно, преувеличиваетъ ея значеніе и не безъ торжественности заявляетъ въ концѣ предисловія: «авторъ хорошо знаетъ, какому риску онъ подвергается, идя въ разрѣзъ съ господствующими представленіями; но на его сторонѣ успокоительное сознаніе выполненнаго публицистическаго долга и увѣренность, что среди лучшей части русскихъ читателей не заглохла терпимость къ чужому мнѣнію». Подумаешь, г. Градовскій въ самомъ дѣлѣ совершилъ какой-то подвигъ и его брошюра—плодъ самоотверженія и безстрашной мысли. Г. Градовскій и эпиграфъ къ нимъ выбралъ въ томъ-же смыслѣ: «если сказалъ худо, докажи, что это худо; а если хорошо, за что вы бьете меня?». Все это, однако-же, со стороны г. Градовскаго одно лишь недоразумѣніе, если только все это не сознательное кокетничанье. Противъ военнаго задора, противъ такъ называемаго шовинизма, въ журналистикѣ нашей возвышались голоса каждый разъ, какъ къ этому представлялся поводъ, такъ что говорить о какомъ-то особенномъ «рискѣ» г. Градовскому не было никакой надобности. Иллюзія г. Градовскаго насчетъ его необыкновеннаго, будто-бы, мужества, объясняется тѣмъ, что онъ крайне преувеличиваетъ значеніе у насъ шовинизма вообще и «скобелевскаго культа» въ частности. Ни мало не отрицая существованія у насъ шовинистскихъ группъ и кружковъ, мы полагаемъ все-таки, что до «господства» этимъ группамъ очень далеко. Кривливыи и шумливыи кружокъ далеко не то-же, что вліятельныи кружокъ. За деревьями г. Градовскій не видитъ лѣса, за двумя-тремя воинственными и задорными газетами онъ не видитъ народа и общества, глубоко миролюбивыхъ и даже, пожалуй, инертныхъ. Что-же касается до «скобелевскаго культа»—то это опять-таки преувеличеніе г. Градовскаго и ничего больше. Какъ всякая знаменитость, Скобелевъ имѣетъ горячихъ поклонниковъ, которые, быть можетъ, хотѣли-бы, чтобъ это поклоненіе стало всеобщимъ—вотъ и все. Говорить о какомъ-то «культѣ», вспоминать, по поводу русскаго генераль-лейтенанта, Наполеона, усматривать ка-

кую-то опасность въ томъ, что не по разуму усердные почитатели Скобелева утверждали, будто «одного имени Скобелева достаточно, чтобы передѣлать берлинскій трактатъ»—все это чистѣйшее донкихотство, настоящая борьба съ вѣтранными мельницами.

Обращаясь собственно къ брошюрѣ г. Градовскаго, читатель далеко не находитъ въ ней той «объективности» и того «безпристрастія», которыя обѣщаль авторъ въ предисловіи. Постояннымъ читателямъ «Дѣла» извѣстно, что этотъ журналъ вовсе не принадлежитъ къ числу поклонниковъ Скобелева. Тѣмъ не менѣе, справедливость заставляетъ насъ сказать, что «объективное» изслѣдованіе г. Градовскаго походитъ болѣе на памфлетъ. Г. Градовскій не критикуетъ, а полемизируетъ, и въ увлеченіи полемикой доходитъ до послѣднихъ предѣловъ, до отрицанія въ Скобелевѣ военныхъ заслугъ и военныхъ способностей. Правда, въ началѣ этюда, заявляется, что Скобелевъ обладалъ «далеко не дюжиннымъ умомъ и талантомъ» (14); въ концѣ этюда говорится, что «нельзя не признать, что Скобелевъ обладалъ несомнѣнными военными талантами и качествами необходимыми для хорошаго генерала» (96). Но промежутокъ между этими двумя заявленіями, т. е. почти весь объемъ брошюры, заполненъ доказательствами, что у Скобелева именно не было ума и таланта, необходимыхъ для предводительства войсками, что его удачи и подвиги—раздуты, а неудачи и промахи затушеваны. Такъ, извѣстное участіе Скобелева въ переправѣ нашихъ войскъ черезъ Дунай (въ войну 1877—78 гг.) есть «поступокъ, который скорѣе подлежитъ оправданію, нежели причисленію къ героическимъ подвигамъ» (20). При второмъ штурмѣ Плевны «на Скобелева выпала самая второстепенная роль» (27). Относительно дѣла при Ловчи—«никакъ нельзя примириться съ выраженіемъ, что *Ловча взята Скобелевымъ*» (34). При третьемъ штурмѣ Плевны, Скобелевъ, правда, «выполнилъ всѣ трудныя задачи, которыя были возложены на его отрядъ въ этомъ дѣлѣ» (44), но, въ концѣ концовъ, «оборона шипкинскаго перевала, 23-хъ дневная защита Баязета, разбитіе Мухтара-паши и взятіе штурмомъ Карса содержать въ себѣ гораздо болѣе достойнаго удивленія и хвалебныхъ пѣснопѣній, нежели всѣ подвиги Скобелева, вмѣстѣ взятые» (54). Все это, однакоже, только цвѣточекъ и; ягодки состоятъ въ томъ, что нѣкоторые «подвиги» Скобелева обазываются, по ближайшемъ разсмотрѣніи, не подвигами, а проступками и даже преступленіями. Такъ, анализируя послѣдній бой подъ Плевной, г. Градовскій приходитъ въ конечномъ результатѣ къ слѣдующей дилеммѣ: «или генералы Тотлебенъ, Ганецкій, Коталей и Курловъ сговорились выставить въ неблаговидномъ свѣтѣ дѣйствія Скобелева въ рѣшительномъ плевненскомъ дѣлѣ 23-го но-

ября, или же Скобелевъ оказывается виновнымъ въ тѣхъ поступкахъ, которые въ военномъ отношеніи приравняются къ преступленію, а съ обще-гражданской точки зрѣнія достойны гласнаго осужденія» (64). Наконецъ, въ дѣлѣ подъ Шипкой, Скобелевъ, «явился къ разбору шапокъ» (79), его отрядъ заоздалъ явиться къ бою «болѣе нежели на сутки» (77), самъ Скобелевъ занимался не битвой, а «метеорологическими и звуковыми наблюденіями» (84), и дѣлалось все это не по неумѣлости, а по преступному расчету: «въ дунайской арміи, по крайней мѣрѣ,—съ ехидною скромностью говоритъ г. Градовскій,—многіе выражали мнѣніе, что въ этомъ случаѣ (въ битвѣ подъ Шипкой 26 и 27 декабря) Скобелеву удалось совершить съ отрядами князя Святополкъ-Мирскаго и генерала Радецкаго ту продѣлку, которая не выгорѣла при Плевнѣ относительно отряда генерала Ганецкаго» (68), т. е. умышленно опоздать и явиться въ самую критическую минуту въ эффектной роли спасителя. Въ заключеніе, объ ахаль-текинской экспедиціи г. Градовскій говоритъ, что это—«ничтожная экспедиція, подобныя которой выпадаютъ на долю Англій чуть не ежегодно» (87).

Все это называется «объективностью» и «безпристрастіемъ». Чувствуя свою совершенную некомпетентность въ военныхъ вопросахъ, мы не станемъ разбирать—много-ли правды въ указаніяхъ г. Градовскаго съ технической точки зрѣнія. Для насъ, штатскихъ людей, въ сужденіяхъ о военныхъ заслугахъ и способностяхъ существуетъ только одинъ критерій и одинъ бесспорный авторитетъ. Этотъ критерій—успѣхъ, этотъ авторитетъ—солдаты, та сѣрая, безличная масса, отъ наблюдательности которой, ни на одну минуту не ослабѣвающей, не могутъ укрыться ни доблести, ни слабости начальника. Успѣхъ всегда сопровождалъ Скобелева, и приписывать это одному счастью нельзя, потому что, «помилуй Богъ! Сегодня счастье, завтра счастье, надо-же когда-нибудь и умѣнье!» Съ другой стороны, любовь солдатъ къ Скобелеву, ихъ вѣра въ него, ихъ гордость своимъ начальникомъ—все это подтверждено столь многочисленными и единодушными свидѣтельствами, что убѣдительность ихъ не станетъ отрицать и самъ г. Градовскій. А если такъ, то всѣ усилія г. Градовскаго пропадутъ за-даромъ и мы останемся при прежнемъ мнѣніи о Скобелевѣ,—какъ объ очень талантливомъ генералѣ, который, быть можетъ, современемъ и оправдалъ-бы мнѣніе о немъ нашей военной академіи, т. е. сталъ-бы на-ряду съ Суворовымъ. Любопытнѣе всего, что того-же, въ сущности, мнѣнія о Скобелевѣ держится и г. Градовскій. Разбирая дѣйствія Скобелева при Плевнѣ, Ловчѣ, Шипкѣ и т. д., г. Градовскій съ усердіемъ доказываетъ, что во всѣхъ этихъ

случаяхъ Скобелевъ или чужими руками жаръ загребать, или не сдѣлать ничего выдающагося—и тѣмъ не менѣе онъ въ концѣ концовъ, все-таки является у автора «талантливымъ» военачальникомъ. Диковинное дѣло! Всѣ слагаемыя—величины отрицательныя, а въ итогѣ получается довольно крупное положительное число. Вотъ логика, вотъ оригинальная арифметика!

Характеристики политическихъ воззрѣній Скобелева г. Градовскій почти не даетъ, отдѣляясь на этотъ счетъ нѣсколькими афоризмами, да нѣсколькими негодующими возгласами, давнымъ давно знакомыми читателю. Еще менѣе авторъ касается человѣческой личности Скобелева, несмотря на то, что въ этихъ сферахъ авторъ былъ-бы гораздо больше *chez soi*, нежели въ области тактическихъ и стратегическихъ соображеній. Такимъ образомъ, въ окончательномъ результатѣ, передъ читателемъ, послѣ всѣхъ усилій автора, остается одно лишь не зажженное море.

Наброски карандашемъ. *Александръ Шабельской*. Спб. 1884.

Наилучшимъ рецензентомъ произведеній г-жи Шабельской является самъ авторъ, озаглавившій ихъ «Наброски карандашемъ». Дѣйствительно, это только «наброски»: въ произведеніяхъ г-жи Шабельской напрасно было-бы искать глубины, той глубины, которая достигается (помимо вопроса о размѣрахъ таланта) только тщательнымъ проникновеніемъ въ предметъ и полнымъ обладаніемъ имъ. И дѣйствительно, это наброски только «карандашемъ»: красокъ, колорита, живописи въ очеркахъ г-жи Шабельской совсѣмъ нѣтъ. Нельзя было удачнѣе, т. е. кратче и справедливѣе, опредѣлить цѣнность и свойство своихъ собственныхъ произведеній.

Къ характеристикѣ автора мы обязаны добавить, что хотя его «наброски» не имѣютъ цѣнности художественныхъ произведеній, тѣмъ не менѣе свидѣтельствуютъ о безспорномъ талантѣ. У г-жи Шабельской много наблюдательности, «карандашъ» ея очень боекъ и «наброски» ея даютъ надлежащее понятіе о дѣйствительности. Временами г-жа Шабельская пытается передать намъ не одну только внѣшнюю сторону предмета, но и его психологическую подкладку—и не всегда безъ успѣха. Такъ, намъ кажется очень вѣрнымъ и очень мѣткимъ изображеніе, напр., сомнѣній и неувѣренности въ своемъ правѣ одного разбогатѣвшаго провинціального кулака, изъ породы Разуваевыхъ. «Иногда въ его душу закрадывалось сомнѣніе. Вѣдь какъ-то черезчуръ ужъ скоро совершилась съ нимъ метаморфоза и онъ изъ Амелки сталъ вашинствомъ. Конечно, всѣ владѣнія его—его беззапелляціонно, но такъ-ли

всегда это будетъ? И когда возникалъ этотъ роковой вопросъ, онъ находилъ, что законы слишкомъ мало ограждаютъ собственность въ Россіи, что нѣтъ какой-то особенной санкціи на все это. Онъ не могъ сказать, чего именно нѣтъ, но онъ это чувствовать. Вѣдь принадлежало-же когда-то все это добро господамъ Ишинскимъ, и онъ, въ дѣтствѣ, при одномъ ихъ имени трепеталъ, а теперь вдругъ послѣдній отпрыскъ этого богатѣйшаго рода изнываетъ на его постояломъ дворѣ, а онъ стоитъ наверху въ красной спальнѣ и осматриваетъ свои владѣнія, которымъ конца нѣтъ. Въ такія минуты все существо его вливалось въ одну неодолимую страсть приобретать. Приобрѣтать больше, какъ можно больше, безъ конца, и чтобы все это было закрѣплено за нимъ, но не такъ, какъ это было закрѣплено за господами Ишинскими, нѣтъ, какъ-нибудь вѣрнѣе, какъ-нибудь туже, какъ-нибудь иначе; и въ такія минуты онъ бывалъ лютъ и неутомимъ съ просителями» (133).

Это дышетъ правдой, это живетъ. Къ сожалѣнію, такихъ мѣткихъ замѣчаній меньше, нежели замѣчаній, въ которыхъ, при всей снисходительности, нельзя найти ничего, кромѣ неудачныхъ претензій сказать нѣчто оригинальное. Напримѣръ: «непосредственное уваженіе къ женщинѣ не приобретается отдѣльной личностью; оно, какъ даръ, ниспосылается природой нѣкоторымъ мужчинамъ и всегда почти въ придачу къ мужественному сердцу. Есть неизъяснимое наслажденіе въ сознаніи: «потому не толкну, что ее всякій толкаетъ; потому не обижу, что обидѣть могу». И хороша та женщина, которая подмѣтитъ и оцѣнитъ эту черту» (27). На такую психологію можно отвѣтить только пожатіемъ плечъ. Всѣ нравственно развитые люди, съ мужественнымъ сердцемъ или безъ онаго, считаютъ преступленіемъ и варварствомъ обижать слабѣйшихъ себя—будетъ-ли то женщина, или больной, или ребенокъ. А нравственное развитіе приобретается человекомъ не интуитивно, не какъ «даръ»,—это было-бы слишкомъ счастливо,—а путемъ медленнаго и труднаго воспитанія и самовоспитанія. Г-жа Шабельская отводитъ въ исключительное пользованіе «нѣкоторыхъ мужчинъ» то, что составляетъ достояніе большинства людей, приобретшихся къ цивилизаціи. Иныя замѣчанія г-жи Шабельской вызываютъ невольную улыбку. Напримѣръ: «лучше всего были ея глаза, не то голубовато-сѣрые, не то синіе, большіе, съ синеватыми бѣлками, съ тонкими прозрачными вѣками подъ приподнятой слегка бровью. Мужчины утверждаютъ, что обладательница подобныхъ глазъ можетъ ничего не говорить: ей достаточно только смотрѣть, и глаза будутъ выражать и радость, и счастье, и горе. Я не мужчина и потому не могу подтвердить этого» (5).

Все это, конечно, только частности, только отдѣльные неудач-

ные штрихи слишкомъ расходившагося или небрежнаго «карандаша». Но можно-ли говорить объ общей концепціи «набросковъ»? Любимымъ мотивомъ—хотя далеко не исключительнымъ—является у г-жи Шабельской личная любовь, при чемъ мужчины, въ большинствѣ случаевъ, исполняютъ роли коварныхъ измѣнщиковъ, а женщины—благородно страдающихъ жертвъ. Г-жа Шабельская довольно искусно варьируетъ этотъ прѣвѣвшійся мотивъ,—это все, что можно сказать въ ея оправданіе. Относительно-же пристегиваемой авторомъ къ этому психологическому мотиву общественной тенденціи насчетъ коварства мужчинъ и беззащитности бѣдныхъ, слабыхъ женщинъ распространяться, разумѣется, не стоитъ. Будочникъ Мырецовъ Глѣба Успенскаго разрѣшилъ этотъ вопросъ съ большимъ, нежели г-жа Шабельская, безпристрастіемъ. «Ну, тоже—замѣтилъ Мырецовъ—и мужскому полу отъ женскаго пола, само собой, по головѣ кочергой влетаетъ! Да, брать! Влетаетъ препорядочно—хорошо!»

Этими немногими замѣчаніями мы считаемъ возможнымъ ограничиться, тѣмъ болѣе, что видимъ въ «наброскахъ» г-жи Шабельской только «пробу пера», такъ сказать, не самое дѣло, а только приготовленіе къ дѣлу. У г-жи Шабельской есть всѣ данныя для того, чтобы идти впередъ, и мы подождемъ съ окончательнымъ приговоромъ до тѣхъ поръ, пока не будемъ имѣть въ рукахъ что-нибудь болѣе законченное, зрѣлое и обработанное.

Михаилъ Хрущовъ. Стихотворенія и поэмы. Томъ I. Спб. 1884.

Маркъ Самойловъ. У моря. Стихотворенія. Спб. 1884.

Если-бы «стихи» и «поэзія» было одно и то-же—наше время пришлось-бы признать чрезвычайно поэтическимъ временемъ. Но такъ какъ, въ сожалѣнію, это совсѣмъ не одно и то-же, такъ какъ чаще всего вы найдете поэзію вездѣ, гдѣ угодно—и въ дикости лѣсовъ, и на приморскомъ брегѣ, и въ говорѣ валовъ, дробящихся въ пустынномъ бѣгѣ и пр.,—вездѣ, только не въ стихахъ, не тамъ, гдѣ ей полагалось-бы быть по штату, то приходится ограничиться сознаниемъ, что наше время—время стиходѣланья, которому оно оказывается почему-то чрезвычайно благопріятствующимъ. Въ самомъ дѣлѣ: фактъ на лицо. Чтобы услѣдить вновь появляющіеся сборники стиховъ и вновь нарождающихся поэтовъ, намъ, рецензентамъ, приходится представлять ихъ публикѣ не по одиночкѣ, а парами, и мы, быть можетъ, дойдемъ до того, что принуждены будемъ выводять ихъ цѣлыми десятками, цѣлыми гуртами, цѣлыми

стадами. Откуда это изобиліе, въ которомъ нѣтъ ровно ничего утѣшительнаго? Не касаясь другихъ причинъ, болѣе отдаленныхъ, но и болѣе серьезныхъ, мы думаемъ, что этотъ внезапный наплывъ *стихотворцевъ* обусловливается, между прочимъ, тѣмъ, что въ настоящее время мы не имѣемъ ни одного истиннаго *поэта*. Это дѣло извѣстное:

Прошелъ вѣкъ богатырей
И смѣшались шашки,
И ползли изъ щелей
Мошки да букашки.

Не съ кѣмъ господамъ современнымъ стихотворцамъ нашимъ себя сравнивать, не у кого учиться, нѣтъ никого, передъ кѣмъ они могли-бы смириться. Все это очень понятно. Г. Михайлъ Хрущовъ смотритъ на г. Марка Самойлова и думаетъ: чѣмъ я хуже его? А г. Маркъ Самойловъ, читая произведенія г. Михаила Хрущова, самодовольно потираетъ руки и улыбается: «и мы не лыкомъ шиты, и если коллега-Хрущовъ, какъ онъ завѣряетъ, удостоивается рукоплесканій, семъ-ка и я попробую!» Что-жь? Вполнѣ логично. Когда играетъ какой-нибудь Листъ или Рубинштейнъ — всѣ диллетанты и аматеры слушаютъ ихъ, затаивъ дыханіе, наслаждаются, поучаются, и имъ даже въ голову не приходитъ мысль попросить артиста уступить имъ мѣсто, чтобы блеснуть, въ свою очередь, передъ публикою. Но если какой-нибудь благодушествующій писарекъ, сидя на завалинкѣ, наигрываетъ на гитарѣ «Чѣмъ тебя я огорчила» и производитъ фуроръ среди чувствительныхъ мѣщанокъ, то очень естественно, что сосѣдскому лакею покажется обиднымъ такой успѣхъ писаря, и онъ явится съ гармоникой, чтобы отмахать: «Во саду-ли, въ огородѣ».

«Посредственность въ стихахъ нестерпима», сказалъ Бѣлинскій въ своей рецензіи о первыхъ, неудачныхъ попыткахъ юноши — Некрасова. Мы знаемъ нѣчто гораздо болѣе нестерпимое: это — бездарность, и въ особенности бездарность претенціозная, бездарность, не знающая своего шестка, воображающая себя талантомъ и даже пророкомъ. Не угодно-ли взглянуть, какъ, напр., г. Хрущовъ понимаетъ свою миссію:

Чтобъ добро повѣдалъ міру,
Чтобъ я истинѣ училъ,
Мнѣ пророческую лиру
Всемогущій Богъ вручилъ.
Опochъ его глаголомъ,
Смыло вышелъ я на бой,
И въ пути моемъ тяжеломъ
Свѣтитъ правда мнѣ звѣздой (1).

Такъ характеризуетъ г. Хрущовъ свою «лиру» (стихотвореніе

такъ и называется—«Моя лира»). Конечно, нѣтъ ничего предсудительнаго въ томъ, что человѣкъ высоко и благородно понимаетъ свое призваніе и, въ ясномъ сознаніи своихъ силъ, открыто говорить о своемъ предназначеніи. Ничего нѣтъ худого и въ томъ, если поэтъ или какой-бы то ни было другой общественный дѣятель, оглядываясь на свое прошлое и на свои заслуги, требуетъ себѣ за нихъ отъ общества или отъ потомства нравственнаго вознагражденія. Такъ, Пушкинъ говорилъ, что онъ «памятникъ себѣ воздвигъ нерукотворный», Добролюбовъ, умирая, выражалъ надежду, что онъ «родному краю будетъ извѣстенъ», Некрасовъ писалъ, что его стихи «волнуютъ мягкія сердца, какъ внезапно хлынувшія слезы съ огорченнаго лица» и пр. и пр. Все это похвально и законно. Всѣ эти люди просили себѣ награды уже *сдѣлавши* все или большую часть своего дѣла, и послѣ того, какъ получили санкцію своему призванію и значенію со стороны общественнаго мнѣнія. Но что вы скажете, если къ вамъ внезапно является какой-то человѣкъ съ улицы, о которомъ вы отъ роду не слыхивали и рекомендуется: «пророкъ—такой-то! Пришелъ поучить васъ истинѣ и повѣдать вамъ о добрѣ». «Милостивый государь, въ справедливомъ негодованіи скажете вы,—потрудитесь выйти вонъ! Я не школьникъ, чтобы вамъ меня учить, да и чѣмъ вы доказали, что можете учить даже школьниконъ?»

Правда, въ заключительномъ стихотвореніи сборника, г. Хрущовъ, обращаясь къ нѣкой Татьянѣ Николаевнѣ Хрущовой (къ этой особѣ нашъ поэтъ и пророкъ безпрестанно обращается, съ нѣжностью и вѣрностью, которыя были-бы трогательны, если-бы только до нихъ было кому какое-нибудь дѣло), говорить:

Связавъ судьбу съ твоей судьбой,
Несу я всѣ свои мечтанья,
Прекрасный другъ, тебѣ одной (218).

Это было-бы прекрасно, если-бы было справедливо. Но это несправедливо, потому что г. Хрущовъ не только пишетъ, но и печатаетъ свои стихотворенія и, мало того, ставя на сборникѣ помѣтку «Томъ I», грозитъ намъ продолженіемъ. Къ слову сказать, именно эта-то угроза и побуждаетъ насъ останавливаться на писаніяхъ г. Хрущова дальше, чѣмъ они того заслуживаютъ. Не будь этой страшной для читателей угрозы, мы могли-бы ограничиться рецензіей à la баронъ Брамбеусъ: «Ванька! Это твоя литература!» сказали-бы мы, и этого было достаточно, чтобы охарактеризовать съ головы до ногъ нашего «пророка» со всѣми его «мечтаньями».

Какимъ-же собственно «истинамъ» учить г. Хрущевъ, о чемъ онъ «пророчествуетъ»?

Для образчика, приведемъ одно стихотвореніе, которое лучше другихъ, тождественнаго съ нимъ содержанія, потому что гораздо короче.

Въ нашъ грубый вѣкъ матеріалізма,
 Безсмыслия тяжелый вѣкъ,
 Дошелъ до жалкаго комизма
 Нашъ современный человѣкъ.
 Не знаемъ мы, чему намъ вѣрить,
 Что презирать и что любить.
 Мы, не желая лицедрать,
 Воимся правду говорить.
 Трагуемъ мы о правдѣ, чести,
 О вѣрѣ въ Вышняго Творца.
 Въ насъ голосъ истинны и лести
 Любви, добра, и зла, и мести
 Перемишались безъ конца.
 И средь хаоса помраченья
 Пути прямого не сысцать,
 О, царь земли, вѣнецъ творенья,
 Какое имя тебѣ дать?! (43)

Въ этомъ стихотвореніи сконцентрированы всѣ мотивы поэзии г. Хрущова, всѣ «истины», которыя онъ возвѣщаетъ, за исключеніемъ лишь той, что «мы видимъ въ золотѣ кумиръ», — одной изъ излюбленныхъ г. Хрущовымъ «истинъ», къ которой онъ въ другихъ стихотвореніяхъ безпрестанно обращается. Вотъ, подумаешь, было человѣку изъ-за чего безпокоиться! Мы вовсе не противъ высказыванья азбучныхъ истинъ: есть люди, для которыхъ и такія истины представляются новостью. Но тѣмъ элементарнѣе истина, тѣмъ болѣе таланта, страсти, огня нужно для того, чтобы воздѣйствовать ею на наше сознание и на наше чувство. Чѣмъ элементарнѣе истина, тѣмъ она старѣе и тѣмъ, слѣдовательно, труднѣе представить ее намъ въ обновленномъ видѣ. А что дѣлаетъ г. Хрущовъ? Познакомившись съ истинами букварей и прописей, онъ перекладываетъ ихъ въ вялые, скучные, плохіе стихи, отчего «истины» en question ни на волосъ не становятся краше. Г. Хрущевъ не только не усиливаетъ ихъ, не углубляетъ ихъ смысла а, наоборотъ, такъ сказать разжижаетъ его водою своей «поэзии».

Что касается до г. Самойлова, то это «водяной» поэтъ не только въ переносномъ, но и въ буквальномъ значеніи этого слова. Сидитъ г. Самойловъ «у моря» и ничего, кромѣ моря, не видитъ и видѣть не хочетъ. Онъ воспѣваетъ «море» вообще (41), затѣмъ, въ частности, «кручины моря» (7), «морской просторъ» (75), «холодное, страстное море» (16), «свѣченіе моря» (29), море «послѣ грозы» (48), море передъ грозой, море во время грозы, море подѣ

солнцемъ, море подъ дождемъ, море въ очень сильный вѣтеръ, море въ не очень сильный вѣтеръ, море въ вѣтеръ слабый, море совсѣмъ въ безвѣтріе, море утромъ, въ полдень, въ полночь, море во всѣхъ видахъ, при всякихъ обстоятельствахъ, во всѣ времена года и во всѣ часы дня... Господи помилуй! Это уже не вдохновеніе, это манія,—это не поэзія, это тяжкая болѣзнь, и мы рекомендуемъ г. Самойлова вниманію его друзей. Болѣзнь г. Самойлова имѣетъ самые странные симптомы. Пациентъ нисколько не утратилъ «самочувствія», рассуждаетъ онъ довольно здраво, говоритъ онъ связно, но объекты его идей и чувствъ свидѣтельствуютъ о значительной ненормальности психическихъ процессовъ.

Такъ, наприм., г. Самойловъ влюбленъ и выражаетъ свое чувство какъ прилично физически и душевно здоровому человѣку. Но онъ влюбленъ не въ женщину, а въ *волну*, и это сразу показываетъ, что дѣло неблагополучно. Онъ персонифируетъ, олицетворяетъ волну, надѣляетъ ее свойствами живаго и даже разумнаго существа. Ему безпрестанно мерещится, что волна или «стучится» (9) или «бьетъ» (7) или «встаетъ» (12) или «ждетъ» (14), «сердито пеняетъ» (16), «цѣлуетъ» (21) и пр. и пр. Пациентъ, очевидно, приписываетъ волнѣ всѣ тѣ свойства, которыя присущи влюбленнымъ женщинамъ, между которыми, точно, есть и такія, что не только «сердито пеняютъ», но и «бьютъ», такъ что въ этомъ образѣ, хотя и смѣломъ, нѣтъ ничего рѣзко ненормальнаго. Не зная, наконецъ, что еще сказать о своей возлюбленной—волнѣ, какими еще способами восхвалить ее, г. Самойловъ изобрѣлъ особый родъ поэзіи, довольно пріятный... для глазъ. Да, не для эстетическаго вашего вкуса, а для вашихъ глазъ, для вашего зрѣнія. Судите сами. Вотъ стихотвореніе «Волны»:

Тшь...
 Лшь
 Лются,
 Вьются
 Съ береговъ,
 Въ дымкѣ сновъ—
 Ясный лепетъ
 Грустный трепетъ:
 Тамъ съдой прибой
 Шлетъ въ просторъ морской
 Молодыя волны:
 Жемчугами полны
 Кольца вьющихся кудрей

И такъ далѣе: стихотвореніе все болѣе и болѣе, такъ сказать утолщается, потому что стихъ все болѣе и болѣе удлиняется, а за-

тѣмъ, съ тою же искусною постепенностью, строчки опять становятся все короче и короче, и стихотвореніе заканчивается такимъ манеромъ:

Обнялъ валъ ужь хлыль
 Молодыя силы...
 Ночи тишина
 Кротко смущена
 Прибережнымъ,
 Перемежнымъ
 Трепетомъ,
 Лепетомъ:
 Волны
 Полны
 Слезъ,
 Грезъ....

Ахъ, какъ хорошо! Какое *красивое* стихотвореніе! Въ немъ нѣтъ не только поэзіи, даже смысла, но за то какая симметрія! Если вамъ тутъ нечего читать, за то есть на что посмотрѣть,-- будемъ благодарны г. Самойлову и за это.

ЗА ГРАНИЦЕЮ.

(Политическая и социальная хроника).

I.

Только что истекшій мѣсяць отличался особеннымъ обиліемъ новостей. Хроникерамъ стоило только протянуть руку, чтобы собрать богатую жатву.

Они могли, по желанію, слѣдовать за наслѣднымъ принцемъ австрійскимъ въ его поѣздѣ въ Бѣлградъ и Константинополь, или сопровождать боэровъ, явившихся съ южной оконечности Африки привѣтствовать французскую республику. Что касается меня лично, то, еслибы позволили досуги, я-бы охотно примкнулъ къ русскому путешественнику Пржевальскому, отправившемуся для изслѣдованія Тибета и намѣревавшемуся расширить эти изслѣдованія до сѣверной границы Индіи, вдоль Брамапутры; или же, съ перомъ въ рукѣ, углубился въ африканскія пустыни, а затѣмъ, захвативъ по пути Стэнли, перешагнувъ въ Гондорoko, чтобы подать руку несчастному генералу Гордону.

Не лишено было бы интереса и путешествіе въ преисподнюю. Сколькимъ и сколь различнымъ знаменитостямъ перерѣзала нитку коварная Парка! Въ числѣ этихъ знаменитостей есть серьезныя и легкомысленныя, ученныя, литературныя и даже политическія. Стоитъ только назвать: Вюрца, Тальони, Митхада Пашу... Какъ много сказано этими тремя именами! Первое произвело переворотъ въ мірѣ атомовъ, второе — въ балетномъ мірѣ, третье въ магометанскомъ.

Кстати, вѣдь и найдено вѣрное средство для вполне удобнаго странствованія въ мірѣ духовъ. Въ Петербургѣ, правда это остается еще спорнымъ вопросомъ, но въ Парижѣ рѣшеніе поставлено внѣ всякаго опроверженія.

Если вамъ, читатель, придется тамъ быть, не забудьте отправиться въ Hôtel continental, гдѣ будете присутствовать на зрѣ-

лицѣ, которое, безъ сомнѣнія, стоитъ палеройальскаго водевиля. Путеводителемъ въ этой любопытной экспедиціи будетъ вамъ служить г. Кумберлендъ. Этому автомедону новаго рода ничего не стоитъ читать въ мысляхъ другихъ людей, и сверхъ того, онъ, не колеблясь, посвятитъ васъ въ тайны своего искусства. Онъ даже прибавитъ, въ видахъ одобренія, что его опыты не заключаютъ въ себѣ ничего сверхестественнаго и, что ихъ не слѣдуетъ смѣшивать съ мнимо-достоверными явленіями. Достаточно быть одареннымъ, подобно ему, нѣкоторою провицательностью; при этомъ условіи, ничто не можетъ остаться сокровеннымъ въ самыхъ интимныхъ изгибахъ существованія, вы будете читать въ душѣ со-сѣда, какъ въ книгѣ.

Искусство это можетъ служить не только удовлетвореніемъ простаго любопытства, оно можетъ имѣть и важное практическое значеніе. Судите сами. Кумберлендъ велитъ одному изъ присутствовавшихъ идти спрятать булавку куда онъ хочетъ, на пространствѣ километра. Человѣкъ выходитъ изъ залы и возвращается черезъ четверть часа. Экспериментаторъ обращается къ другому. «Ступайте», говоритъ онъ, «и принесите спрятанную вещь». Тотъ другой, въ свою очередь, направляется прямо къ Тюльерійскому саду, входитъ въ него и подойдя къ одному дереву вынимаетъ воткнутую въ стволъ булавку. Самому-же Кумберленду опытность въ искусствѣ даетъ возможность, и не двигаясь съ мѣста, немедленно объявлять, что булавка находится въ такой-то аллеѣ, въ такомъ-то деревѣ.

И не одно практическое, а и морализующее значеніе можетъ имѣть это искусство. Воровство значительно уменьшится, какъ скоро получится возможность неизбѣжно находить пропавшія вещи а перспектива неизбѣжнаго раскрытія преступленій, не мало будетъ содѣйствовать уменьшенію числа преступниковъ.

Кстати о Кампи. Анатомическія и химическія изслѣдованія не доставили никакихъ данныхъ въ пользу его ненормальности. Въ то же время нѣкоторые послѣшили воскликнуть: «Вотъ видите, этотъ уже не можетъ считаться невѣроятнымъ и для подобныхъ злодѣевъ не должно существовать милосердія». Не вдаваясь въ разслѣдованіе таинственнаго мотива подвигнуваго къ совершенію преступленія этаго человѣка, котораго еще наканунѣ, по увѣренію его защитника, самъ прокуроръ могъ-бы посадить за свой столъ, можно отважиться на предположеніе, что разрядъ аномальныхъ людей гораздо малочисленнѣе, чѣмъ принято думать. Доказательство тому можно найти во многихъ фактахъ и въ особенности въ статистикѣ мѣстъ ссылки. Во Франціи, какъ извѣстно, простая кража приводитъ виновнаго въ централь-

«Дѣло» № 5, 1884 г. П.

ную тюрьму, откуда онъ возвращается въ общество еще болѣе порочнымъ, чѣмъ былъ. Новая Каледонія принимаетъ, напротивъ признанныхъ преступниковъ, начиная отъ совершившихъ кражу со взломомъ и кончая убійцами. Но, по прибытіи туда, ссыльный находится въ совершенно преобразованной сферѣ. Онъ становится тѣмъ, чѣмъ вообще ранѣе не былъ, человекомъ, какъ всѣ. Ему создаютъ жизнь, если не легкую, то, по крайней мѣрѣ, сносную; онъ живетъ на открытомъ воздухѣ; онъ менѣе ощущаетъ на себѣ тяжелую руку тюремщика. Если онъ женатъ, то можетъ выпитать семью. Если холостъ, администрація предлагаетъ ему сдѣлать выборъ въ средѣ высылаемыхъ съ этою цѣлью грѣшницъ. Наконецъ, каторжникъ можетъ, путемъ добропорядочнаго поведенія, сдѣлаться и собственникомъ. Тѣмъ, кого сравнительная мягкость права располагаетъ къ музыкѣ, доставляютъ ноты, и путешественникъ не долженъ удивляться, если изъ помѣщенія осужденнаго раздастся арія изъ «Гугенотовъ» или «Герцогини Герольштейнской». Если тотъ-же путешественникъ полюбопытствуетъ заглянуть въ мѣстное періодическое изданіе, то можетъ прочесть тамъ также и стихотворенія, сочиненныя каторжниками.

Не слѣдуетъ думать, что пенитенціарная система тамъ особенно строга. Взысканія налагаются разнообразныя, начиная отъ лишенія порціи вина и кончая тюрьмой и смертною казнью. Впрочемъ тюрьма существуетъ лишь въ принципѣ, такъ какъ архитекторъ, строившій кварталъ острова Ну, забылъ ее выстроить. Въмѣсто тюрьмы, приговореннаго помѣщаютъ въ довольно опрятную келью, гдѣ онъ спокойно проводитъ время заключенія, растянувшись на походной кровати, жесткость которой смягчается шерстянымъ одеяломъ. Что касается высшей мѣры наказанія, т. е. смертной казни, то ее также рѣдко примѣняютъ въ Нумеѣ, какъ и въ самой Франціи. Въ только что напечатанной въ *Nouvelle Revue* статьѣ Сенъ - Дени, бывшаго начальника пенитенціарной администраціи Новой Каледоніи, приводится примѣръ одного ссыльнаго, который уже въ четвертый разъ былъ приговоренъ къ смерти и находится, тѣмъ не менѣе, въ полномъ здравіи и благополучіи. Изъ другаго примѣра видимъ, что одинъ изъ приговоренныхъ къ нѣчной каторгѣ, убилъ товарища, для того, чтобы похитить у него 130 франковъ. Приговоренный мѣстнымъ судомъ къ смертной казни, онъ получилъ смягченіе наказанія и замѣну смерти вѣчными каторжными работами, а такъ какъ онъ уже и былъ къ этому присужденъ ранѣе, то ему нетрудно будетъ утѣшиться, по поводу вторичнаго приговора. Несмотря на все это, или, вѣрнѣе, именно благодаря гуманной средѣ, окружающей каторжника, случается нерѣдко, что онъ начинаетъ вести честный образъ

жизни и становится родоначальникомъ честнаго семейства и трудолюбивыхъ поселенцевъ. Авторъ указанной статьи замѣчаетъ, что такія семьи, составленныя изъ элементовъ, повидимому обреченныхъ на неминуемое паденіе, живутъ весьма согласно.

II.

Послѣднія недѣли были преисполнены оживленія въ Германіи. Рабочія собранія, католическіе конгрессы, политическія собранія, ожесточенная газетная полемика, парламентская агитація, подготовительная агитація, въ виду предстоящихъ выборовъ: повсюду замѣчалось движеніе; были пролиты потоки краснорѣчія и чернилъ. Броженіе идетъ какъ въ экономическомъ мірѣ, такъ и въ политическомъ. Повсюду грозятъ стычками. Въ Берлинѣ три тысячи рабочихъ плотниковъ собираются въ театральную залу, на Дрезденеръ штрассе и требуетъ заработной платы въ четыре марки въ день, десятичасоваго рабочаго дня и минимума въ 40 пфениговъ за рабочій часъ. Въ Тиволи собирается тысяча пятьсотъ человекъ для основанія общаго союза всѣхъ нѣмецкихъ каменщиковъ. Въ зимнемъ саду Central Hôtel'я, пять тысячъ столяровъ требуютъ рабочей платы въ 20 марокъ, вмѣсто 15 въ недѣлю и 9½ часоваго рабочаго дня, вмѣсто 12-ти часоваго. Сверхъ того рѣшено, что каждый рабочій, который не приметъ участія въ стачкѣ и будетъ продолжать работать, обязанъ вносить на поддержку стачниковъ одну марку въ недѣлю. Такія-же рѣшенія приняты рабочими фабрикъ швейныхъ машинъ. Въ Лейпцигѣ также происходятъ стачки каменщиковъ и плотниковъ. Въ Горлицѣ забастовываютъ чернодеревщики, въ Лигницѣ—рабочіе шерстяныхъ фабрикъ. Можно подумать, что это какая-то эпидемія. Дрезденъ, ГанOVERъ и другіе индустріальные центры также подверглись заразѣ. «Нѣмецкіе рабочіе», говорилъ ораторъ на одномъ большомъ собраніи въ ГанOVERѣ, «изнурены работою; имъ приходится мыкаться по пятнадцать, по шестнадцать часовъ въ день да сверхъ того и въ воскресенье. Впрочемъ въ помощи нѣтъ недостатка. Многіе индустріальные города Германіи ежедневно посылаютъ значительныя суммы для поддержки стачниковъ.

Въ средѣ политическихъ партій замѣчается любопытное движеніе, благодаря, главнымъ образомъ, образованію новой либеральной партіи, составленной, въ настоящее время, изъ прогрессистовъ и бывшаго лѣваго центра сецесіонистовъ. Послѣдняя образовалась въ былое время, вслѣдствіе раскола въ національ-либеральной партіи. Мало по малу сецесіонисты сблизились съ крайней лѣвой и кончили тѣмъ, что слились съ нею. Мечта умѣренныхъ представителей этой новой лѣвой заключается въ томъ,

чтобы добиться союза съ національлибералами и образованія большой либеральной партіи, противопоставленной консерваторамъ съ одной стороны и клерикальному центру съ другой. Разладъ, проявившійся между національлибералами, позволяетъ разсчитывать на успѣхъ такой комбинаціи. Съ одной стороны правое крыло этой партіи склоняется къ сближенію съ умѣренными консерваторами и стремится образовать, вмѣстѣ съ ними, среднюю партію, которая поддерживала-бы добрыя отношенія съ правительствомъ, при нѣкоторыхъ оговоркахъ. Въ такомъ именно смыслѣ высказался, недавно, одинъ изъ бывшихъ вождей партіи, бургомистръ города Франкфурга, Микель, на большемъ митингѣ, созванномъ въ южной Германіи. Съ другой стороны, большинство національлибераловъ, въ особенности на Сѣверѣ, противится этимъ тенденціямъ; они недовѣрчиво относятся къ правой, которой ставятъ въ упрекъ то, что она конституціонна только по имени; они опасаются также министерской предупредительности, которая, можетъ быть, имѣетъ лишь цѣлю пріобрѣсти ихъ голоса, въ виду нѣкоторыхъ законодательныхъ проектовъ, предоставляя себѣ отбросить ихъ, по достиженіи этой цѣли. Все это порождаетъ перекрестное движеніе и оживленные, хотя еще недостаточно ясные споры въ печати и парламентскихъ собраніяхъ.

Католическій центръ также принимаетъ участіе въ общемъ волненіи. Онъ, повидимому, разочаровался относительно мнимаго обращенія канцлера. Тактика Виндгорста и его друзей въ рейхстагѣ и комиссіи, во время обсужденія вопроса о продленіи дѣйствія закона о социалистахъ, едвали могла понравиться Бисмарку. Ультрамонтантскій leader былъ вознагражденъ за то поздравленіями, полученными имъ со всѣхъ концовъ католической Германіи. Въ особенности въ Кельнѣ, въ Гүрзенихской залѣ, на большемъ собраніи рейнскихъ католиковъ, происходившемъ подъ предсѣдательствомъ барона Лоз, были вотированы новые протесты противъ культуркампфа, собраніе потребовало возвращенія кельнскаго и познанскаго архіепископовъ, а также и назначенія новыхъ духовныхъ на вакантныя мѣста; наконецъ вотирована была единодушная благодарность Виндгорсту и членамъ партіи центра.

Среди такого-то возбужденія и волненія въ общественномъ мнѣніи, правительству приходилось выдержать общія и окончательныя пренія, по поводу предложенія, которое оно принимало такъ близко къ сердцу, то есть продленія еще на два года закона противъ социалистовъ, имѣвшего быть предложеннымъ рейхстагу, во второмъ чтеніи. Какъ возьмется за дѣло макіавелистическій канцлеръ, чтобы восторжествовать надъ препятствіями, скопляющимися на его пути? Онъ, повидимому, и самъ не расчи-

тывалъ на успѣхъ и еще чаще повторялъ, что ему опротивѣла политика. Да и не имѣль-ли онъ права наконецъ, въ семьдесятъ лѣтъ отъ роду, позволить себѣ и отдохнуть? Снова начали думать, что министерскій кризисъ, которымъ онъ такъ часто грозилъ, являлся неизбѣжнымъ. Но вмѣсто того, чтобы желать удалиться, онъ уже помышлялъ о комбинаціи, результатомъ которой, напротивъ, должно было явиться усиленіе его власти. Пора, думалъ онъ, начать дѣйствовать противъ этого парламента, который досаждаеть ему. Конституцію имперіи можно измѣнить; прежній государственный совѣтъ, дѣйствовавшій въ Пруссіи, начиная съ 1817 г. до установленія такъ называемаго конституціоннаго правленія, можетъ быть восстановленъ; онъ можетъ быть составленъ изъ высшихъ военныхъ и гражданскихъ сановниковъ; наслѣдный принцъ былъ бы назначенъ предсѣдателемъ государственнаго совѣта, а самъ онъ вице-президентомъ. Такимъ образомъ авторитетъ парламента получилъ бы серьезный противовѣсъ и у канцлера развязаны были-бы руки для дѣйствія, какъ внутри, такъ и извнѣ.

Эти планы, слухъ о которыхъ распространился, не могли, конечно, вернуть къ Бисмарку симпатіи, отъ него отдалявшіяся и каждый съ нетерпѣніемъ ожидалъ заслуженнаго урока, который не преминетъ дать ему парламентъ.

9-го мая цѣлая толпа желавшихъ присутствовать на пресловутыхъ преніяхъ, собралась вокругъ рейхстага. Входныя двери брались приступомъ. Значительный отрядъ полицейскихъ присланъ былъ для поддержанія порядка. Императоръ Вильгельмъ послалъ своего гофмаршала, чтобы слѣдить за преніями и телеграфировать ему о нихъ.

Открытое, въ одиннадцать часовъ, засѣданіе тянулось сперва вяло и неинтересно, такъ какъ роли предоставлялись малозначительнымъ дѣйствующимъ лицамъ, въ ожиданіи капитальнаго столкновенія. Подобный трещоткѣ голосъ Келлера и пафосъ Трейтшке, громогласіе котораго можетъ быть объяснено только его обратившеюся въ пословицу глухотою, разогнали депутатовъ: изъ четырехъ сотъ оставалось не болѣе пятидесяти, когда около часу экипажъ Бисмарка остановился предъ зданіемъ парламента. Около десятка студентовъ надѣли свои фуражки на концы тросточекъ и прокричали громкіе виваты. Остальная часть публики пребывала въ молчаніи. Канцлеръ входитъ въ залу и вскорѣ вслѣдъ за нимъ возвращаются разбѣжавшіеся депутаты. Почти тотчасъ же онъ входитъ на трибуну.

Если Бисмаркъ желаетъ карать социалистовъ, то это потому, что онъ нашелъ цѣлебное средство противъ социальнаго зла. По-

нятно, что онъ не хочетъ, чтобы ему мѣшали производить интересный опытъ. Далѣе слѣдуетъ изложение его программы социальной политики. По его словамъ дѣло идетъ не только о томъ, чтобы страховать рабочихъ на случай болѣзни и несчастныхъ случаевъ, но и объ обезпеченіи ихъ отъ безработицы и въ старости. До сихъ поръ намъ были извѣстны подробности только менѣе значительной части этой программы, а именно касавшейся болѣзни и несчастныхъ случаевъ, и о которой мы уже сообщали въ одной изъ прежнихъ хроникъ. Интересно знать какъ этотъ государственный чедовѣкъ, который не гоняется, какъ извѣстно, за химерами и пустыми словами, возьмется за дѣло обезпеченія постоянной работы рабочимъ различныхъ профессій, гдѣ возьметъ деньги, чтобы имъ платить и какимъ образомъ найдетъ сбытъ для ихъ произведеній. Не превратится-ли государство въ обширное комиссіонное бюро или бюро обмѣна, во всемірный торговый домъ, организованный по образцу парижскихъ большихъ заведеній въ родѣ Лувра или Bon Marché, съ отдѣленіями во всѣхъ пунктахъ имперіи? Во всякомъ случаѣ, будетъ интересно слѣдить за такимъ опытомъ.

Вторая половина рѣчи посвящена была разъясненію рейхстагу намѣреній правительства въ томъ случаѣ, если собраніе не вотируетъ въ пользу проекта, освобожденнаго отъ поправокъ Виндгорста. Послѣдовало бы обращеніе къ другому парламенту, выбранному согласно съ обстоятельствами, а если и этотъ выкажетъ такое же упрямство, то канцлеръ не объясняетъ въ точности, какъ имъ будетъ поступлено. По всей вѣроятности онъ не удовольствуется тѣмъ, что умоетъ руки, какъ увѣряетъ теперь, представляя рейхстагу всю отвѣтственность за успѣхи социализма въ Германіи.

По этому поводу, Бисмаркъ доставилъ своимъ слушателямъ нѣкоторыя свѣдѣнія, по вопросу, нелишенному интереса, а именно по вопросу о международныхъ мѣрахъ противъ элементовъ, грозящихъ разрушеніемъ социального строя. Не разъ уже сообщалось, что Германія вступила по этому случаю въ переговоры съ другими державами, но затѣмъ каждый разъ слѣдовало и опроверженіе. Изъ заявленій канцлера оказывается, что дѣйствительно переговоры велись между Берлиномъ, съ одной, и Вѣною, Петербургомъ, Лондономъ и Парижемъ, съ другой; что они не имѣли успѣха, вслѣдствіе отказа Англии, который повлекъ за собою и отказъ Франціи, а позднѣе и Австріи. Но желѣзный канцлеръ не такой чедовѣкъ, чтобы ему впадать въ уныніе отъ такой бездѣлицы. Онъ еще вернется къ этому вопросу.

Послѣ Бисмарка, на трибунѣ появляется Евгеній Рихтеръ,

сберегавшій грома своего краснорѣчія, чтобы отвѣчать канцлеру. Голосъ его гремитъ по всей залѣ. Правые, въ видѣ шутки, кричатъ ему, по временамъ: «Громче, громче!» Знаменитый leader начинаетъ съ признанія, что не питаетъ нѣжныхъ чувствъ къ социалистамъ; онъ охотно отдалъ-бы ихъ Бисмарку, еслибъ канцлеръ захотѣлъ пойти съ нимъ на сдѣлку. Но ораторъ не вдается въ обманъ. Охота на социалистовъ есть только предлогъ. На самомъ дѣлѣ цѣль, преслѣдуемая канцлеромъ есть уничтоженіе либерализма.

«Мы слышали угрозы правительства, сказали онъ въ заключеніе своей рѣчи. Прекрасно, посмотримъ. Страна должна знать, успѣтъ-ли нѣмецкій либерализмъ подтвердить свое право на существованіе, при жизни г. Бисмарка».

Громъ рукоплесканій покрылъ эти послѣднія слова; нѣсколько быстро заглушенныхъ свистковъ послышалось съ правой. Канцлеръ, выказывавшій сильное волненіе, во все время рѣчи знаменитаго прогрессистаго трибуна, поднимается съ мѣста; видимо взволнованный, онъ отвѣчаетъ Рихтеру.

«Нѣтъ», воскликнулъ онъ громовымъ голосомъ, «вашего либерализма я не доущу добиться цѣли, къ которой вы стремитесь. Я считаю долгомъ своимъ предъ императоромъ и страню бороться противъ него, до послѣдняго издыханія. Какъ можете вы думать, что послѣ двадцатилѣтней политической карьеры моей, я не стану до конца бороться противъ фантазмагоріи конституціоннаго образа правленія. До тѣхъ поръ, пока мой государь сохранить меня на занимаемомъ мною посту, до тѣхъ поръ, пока хоть капля крови будетъ течь въ моихъ жилахъ, вы не должны на это рассчитывать».

Съ правой раздались рукоплесканія; на лѣвой—лица становятся блѣдными. Послѣ этого заявленія, сдѣланнаго повелительнымъ голосомъ, князь Бисмаркъ успокоивается и начинаетъ говорить такъ невнятно, что его съ трудомъ можно понимать. Ясно только то, что онъ источаетъ ругательства противъ людей и партій, такъ, что наконецъ Виндгорстъ прерываетъ его и съ негодованіемъ опровергаетъ инсинуаціи канцлера, клоняціяся къ тому, чтобы увѣрить, что гановверское правительство, въ былое время, вступало въ соглашеніе съ чужеземцами. За первымъ опроверженіемъ послѣдовало второе, а именно со стороны перваго бургомистра города Берлина, бывшаго президента рейхстага, Форкенбека.

Уже около шести часовъ вечера; засѣданіе продолжалось семь часовъ. Сраженіе проиграно Бисмаркомъ. Всего лучше отложить до слѣдующаго дня. Предъ тѣмъ, чтобы разойтись, депутаты либеральной партіи рѣшаютъ, что, въ виду рѣзкихъ нападокъ про-

тивъ ихъ со стороны Бисмарка, они не будутъ являться на вечера къ канцлеру.

На другой день произошла видимая перемена. Виндгорстъ беретъ назадъ свои поправки, принятія во время обсужденія по статьямъ. Сторонники Рихтера крайне изумлены. Переходятъ къ голосованію. 189 голосовъ противъ 157 принимаютъ безъ измѣненій правительственный проектъ. Не только консерваторы, но и всѣ національ-либералы подали голоса за него. Центръ раскололся; всѣ прелаты послѣдовали за Виндгортомъ въ его отпаденіи. Наконецъ, сама новая либеральная партія разбилась при первомъ толчкѣ; прежніе социалисты вернулись къ своимъ прежнимъ привязанностямъ, имѣя во главѣ историка Момзена, съ которымъ, однако-же, такъ круто поступалъ еще недавно раздражительный канцлеръ.

Чѣмъ объяснить этотъ поворотъ, это присоединеніе людей, которые, подобно названному историкъ, извѣстны какъ *bêtes noires* Бисмарка. Къ чему эта комедія центра, эти поправки, принятія одна за другою и затѣмъ взяты назадъ? Это было-бы необъяснимо, еслибы не извѣстный, избитый аргументъ, у котораго ни время, ни употребленіе не успѣли отнять силы. Въ промежуткѣ между двумя засѣданіями, канцлеръ пустилъ въ ходъ сильныя средства. Онъ пригласилъ депутатовъ на вечеръ. Триста человѣкъ отозвалось на его приглашеніе. Побесѣдовали, поддались обаянію; было обѣщано кое-что... И дѣло въ шляпѣ.

Взглянемъ на то, что произошло послѣ голосованія. Не успѣли окончить баллотировку, какъ Виндгорстъ выступилъ отъ имени своей партіи, чтобы потребовать общаго: «Католическая церковь», сказалъ онъ, «также борется противъ социализма. Возвратите свободу церкви». Бисмарковское большинство отвѣчало на это: «Да, вы боретесь противъ социализма! Поздравляемъ васъ. Что касается насъ, консерваторовъ и либераловъ, мы еще рѣшительнѣе васъ, мы одновременно боремся и противъ социализма и противъ церкви».

Заключительное слово этихъ знаменитыхъ преній, принадлежитъ побѣжденнымъ этаго дня. Социалисты сказали Бисмарку: «Вы только что провозгласили право на трудъ. Мы ловимъ васъ на словѣ и ставимъ вамъ настоятельное требованіе. Изобрѣтателю реальной или реалистической политики должно быть извѣстно, что провозглашенное право требуетъ немедленнаго примѣненія. Мы ждемъ отъ васъ этого примѣненія. Но вы должны сегодня-же объявить, что намѣреваетесь совершить».

Въ сущности чего хотѣлъ Бисмаркъ? Онъ хотѣлъ имѣть оружіе, которымъ могъ-бы воспользоваться противъ либераловъ и нанести

имъ поражение на избирательной почвѣ. Оружіе это у него въ рукахъ, въ рукахъ будутъ и выборы. А по полученіи желаемого путемъ указанной уловки, Бисмаркъ будетъ продолжать пользоваться правомъ на трудъ и социальными преобразованиями, какъ миражемъ, которымъ будетъ манить и питать иллюзіи массы.

Бьюсь объ закладъ, что канцлеръ былъ-бы крайне затрудненъ выборомъ, если-бы ему пришлось выбирать между собственною соціальною панацеею и тою, которую рекомендуетъ его пріятель, пасторъ Штекеръ. Извѣстно въ чемъ заключается открытіе знаменитаго антисемита. Вотъ оно въ двухъ словахъ. По его убѣжденію социальныя счастье и спокойствіе имѣютъ основою—добродѣтель. Это по крайней мѣрѣ ново. Поэтому пасторъ Штекеръ организуетъ въ настоящее время общество для распространенія этой идеи. Онъ желаетъ начать съ возрожденія семьи. По этому поводу очень любопытно послушать, какъ онъ бичуетъ берлинскіе скандалы. Однажды Бисмаркъ, говоря въ рейхстагѣ о нѣмецкомъ цѣломудріи, не могъ удержаться отъ смѣха; Штекеръ не можетъ говорить объ этомъ предметѣ безъ взрывовъ негодованія. Онъ увѣряетъ, что молодежь и женатые люди изъ буржуазіи утопаютъ въ развратѣ, что нравственное сознаніе народа понизилось, что Берлинъ подобенъ Риму временъ Цезарей и что его преступленія навлекутъ на него судьбу Рима. Однимъ словомъ, пылкій проповѣдникъ предложилъ берлинскимъ мужамъ и юношамъ образовать общество, члены котораго дали-бы обѣтъ цѣломудрія. Но увы, это и прежде него было испробовано и успѣха не имѣло... Подобный обѣтъ былъ уже налагаемъ уставами нѣкоторыхъ германскихъ студенческихъ корпорацій. Только студенты утверждаютъ, что эта статья никогда не соблюдалась.

Вотъ почему я увѣренъ, что вернувшись къ себѣ, пасторъ Штекеръ громко смѣется надъ своимъ проектомъ, но все-таки не такъ громко, какъ смѣется Бисмаркъ надъ собственными социалистическими планами.

III.

«Въ то время какъ Бисмаркъ занимается въ Германіи имперіалистскою и социалистическою политикою, другое лице, еще не занимающее столь высокаго положенія въ свѣтѣ, принцъ Жеромъ Наполеонъ, провозглашаетъ съ своей стороны, въ новомъ манифестѣ, тѣсную и неразрывную связь между бонапартовскою имперіей и республикой. Будущій цезарь очень милостивъ: только-бы ему позволили править Франціей, какъ-бы она ни называлась, республикою или монархіей, ему и этаго довольно. Форма ничего

не значить, серьезны лишь вопросы о лицахъ. Къ тому-же племянникъ великаго человѣка имѣеть въ своихъ семейныхъ традиціяхъ все, что нужно, для оправданія такого равнодушія къ формамъ и онъ полагаетъ, что шарфъ перваго консула пристанетъ ему такъ-же хорошо какъ пристала-бы императорская корона или маленькая аустерлицкая треуголка.

Къ несчастію для него, его рѣчи и прокламаціи не находятъ отклика, за исключеніемъ тѣснаго кружка; публика не обращаетъ болѣе вниманія на эту безобидную игру.

Муниципальные выборы во Франціи, происходили нынче съ видимымъ оживленіемъ. Съ замѣчательнымъ увлеченіемъ бросились партіи на поле борьбы, и въ одномъ Парижѣ констатировано было, что сорокъ лишнихъ тысячъ избирателей противъ прежняго приняли участіе въ баллотировкѣ. Это весьма утѣшительный признакъ и онъ болѣе всякаго другаго позволяетъ вѣрить въ прочность существующаго режима.

Впрочемъ, эта обширная выборная агитація, обнимавшая 36.097 французскихъ общинъ, заставлявшая бороться столько различныхъ мнѣній и интересовъ, столько страстей и злобы, прошла при полномъ уличномъ спокойствіи, и если искать бурныхъ эпизодовъ, то за ними надо отправиться не ближе какъ на о. Корсику.

Здѣсь картина мѣняется. Избиратели примѣнили къ бюллетенямъ ружейные пыжи. Пользуюсь случаемъ, чтобы сдѣлать визитъ этимъ милымъ островитянамъ.

Воинственные нравы эти не должны удивлять насъ. Корсика осталась почти такою-же, какою была сто лѣтъ тому назадъ. Привычка къ ношенію оружія во время полевыхъ работъ и даже на прогулкѣ располагаетъ корсиканца къ тому, чтобы при случаѣ и употреблять его. Прибавьте къ этому темпераментъ, пылкій, отважный, мало дорожащій жизнью. Наконецъ обычай вендетты, который хотя и значительно ослабѣлъ, но породилъ въ корсиканцахъ воинственныя наклонности и склонность къ насилію.

Вслѣдствіе такихъ причинъ, политическая агитація легко принимаетъ характеръ вооруженной борьбы на этомъ островѣ, которыми еще владѣють страсти и мѣстная ярость, столько разъ обливавшія кровью итальянскія республики, въ средніе вѣка. Замѣчательно, что законодательные выборы проходятъ обыкновенно мирнымъ образомъ. Сражаются путемъ доводовъ, громятъ другъ друга манифестами, причемъ увѣще наносится только французскому языку. Напротивъ, муниципальные выборы рѣдко обходятся безъ дракъ, убійствъ и даже сраженій. Это объясняется тѣмъ, что выборы депутата менѣе затрогиваютъ островитянъ.

Депутатъ отправляется за море, въ Парижъ, и какъ-бы ни

было велико его вліяніе, оно даетъ себя чувствовать издали, и, такъ сказать, по довѣренности. Муниципальныя-же функціи даютъ право контроля и ежедневнаго вмѣшательства въ дѣла и интересы каждаго. Корсиканцы дѣлятся на соперничающія семейства, и эти контроль и вмѣшательство нерѣдко практикуются съ придирчивою несправедливостію, создавая для семействъ побѣжденных и ихъ близкихъ невыносимую тираннію, ежедневное униженіе. Это соперничество и неприязнь, изолированность отъ общей родины, замкнутое положеніе жителей, недостатокъ въ общеніи между ними, все содѣйствуетъ тому, чтобы сдѣлать муниципальную борьбу серьезною и страшною.

Нельзя не признать, однакоже, что мстительный характеръ корсиканскаго населенія, сильно измѣнился за нѣсколько лѣтъ. Хотя этотъ департаментъ занимаетъ еще первое мѣсто въ уголовной статистикѣ, но привычка къ отмщенію съ оружіемъ, поджидая противника за купю оливковыхъ деревьевъ, значительно уменьшилась. Нынѣшняя Корсика не та, какою она описана въ *Solumba* или во времена консульства, когда префектъ края, графъ Міо де Мелито принужденъ былъ, во время своихъ служебныхъ поѣздокъ, останавливаться въ придорожныхъ хижинахъ, изъ боязни, что принимая гостепрїимство какого-нибудь Перальди, Колонни, Орсини, Орнано, возбудитъ междуусобную войну между этими соперничающими семействами. Въ прежнее время вендетта не только терпѣлась и поощрялась, но даже была прямо обязательна, въ силу нравовъ и семейныхъ отношеній. Забота объ отмщеніи за убитаго принадлежала ближайшему родственнику и месть передавалась какъ собственность слѣдующей степеніи родства. Когда умершій оставлялъ послѣ себя однихъ малолѣтнихъ, мать или ближайшіе родственники воспитывали ихъ, тщательно внушая мысль о мести, уподобляя ее чести и собственному достоинству. И чтобы обезпечить осуществленіе будущей вендетты, принимались всевозможныя мѣры для огражденія жизни ребенка, для него предназначеннаго. Домъ, въ которомъ онъ воспитывался, окружался баррикадами, стѣнами, ставнями. Слуги, родные, друзья сопровождали ребенка, когда онъ выходилъ изъ дома, производили развѣдки въ окрестностяхъ, чтобы убѣдиться въ отсутствіи врага семейства. Наконецъ ребенка пріучали владѣть ружьемъ, поощряли въ немъ ловкость; торжественно показывали, въ извѣстныхъ годовщины, пробитую пулею рубашку отца или родственника, за котораго онъ долженъ былъ отомстить, въ день убійства и послѣ, когда онъ уже выросъ, ему говорили: настало время! бери корабль и ищи врага. Когда онъ встрѣчалъ, то убивалъ его, если могъ, возбуждая, такимъ образомъ, новсе мщеніе.

Въ настоящее время этаго уже нѣтъ, въ такой мѣрѣ, благодаря вліянію болѣе мягкихъ нравовъ, постепенно проникающихъ сюда изъ Франціи; однако и теперь еще можно встрѣтить на дорогахъ мрачнаго бѣглеца, который при видѣ жандармовъ спѣшитъ спастись въ горы или въ кусты. Это жертва вендетты, человѣкъ, сдѣлавшійся послѣдовательно бѣглецомъ и бандитомъ, вслѣдствіе того, что повиновался старому и варварскому обычаю своего края.

Корсиканскіе нравы, безъ сомнѣнія, будутъ мало по малу смягчаться и настанетъ минута, когда даже муниципальные выборы будутъ обходиться безъ иныхъ побѣжденныхъ, кромѣ потерпѣвшихъ пораженіе отъ голосованія. Но республиканскому правительству слѣдовало-бы помогать такому смягченію, чего оно, повидимому, не дѣлаетъ, если судить по недавнимъ событіямъ, въ которыхъ оно играло роль скорѣе сообщника, чѣмъ исправителя злоупотребленій. Дѣло Сентъ-Эльма въ особенности производитъ впечатлѣніе легенды былыхъ временъ, которой рѣшаешься вѣрить лишь въ виду самыхъ достовѣрныхъ документовъ.

Отставной офицеръ, воспитанникъ Сентъ-Сирской школы, Сентъ-Эльмъ оставилъ военную службу нѣсколько лѣтъ тому назадъ и сдѣлался журналистомъ. Перо его отличалось замѣчательною острою и ядовитостью. Онъ выступилъ въ первые на это поприще въ Марселѣ и непримиримые не забыли ударовъ имъ нанесенныхъ. Оттуда молодой журналистъ отправился, два года тому назадъ, въ Аяціо, гдѣ основалъ газету «*Sampiero*»; здѣсь онъ переимѣнилъ объектъ своихъ нападеній и вмѣсто радикаловъ, сталъ нападать на оппортунистовъ. Это была ежедневная и ожесточенная схватка съ депутатами, должностными лицами и всякаго рода жожаками, состоящими на официальном жалованьи. Оппортунисты, какъ легко можно себѣ представить, не щадили его при возраженіяхъ; но въ концѣ концовъ, логическіе доводы показались имъ, повидимому, недостаточными. Однажды, это было 28 ноября прошлаго года, на углу одной улицы, на него бросился человѣкъ, пытавшійся убить его. Три недѣли спустя, послѣдовало новое нападеніе. Первое было констатировано двумя свидѣтелями и жандармеріей былъ составленъ протоколъ. Второе произошло среди бѣлаго дня и на самомъ *cours Napoleon*. Что же воспослѣдовало? Какъ поступилъ судъ? «Вотъ уже прошло болѣе мѣсяца», писалъ потерпѣвшій генеральному прокурору, «и я ничего не слышалъ о преслѣдованіи этихъ преступленій. Не можетъ быть, однако, чтобы вы не знали какиъ я подвергался подлостямъ со стороны наемныхъ убійцъ, получающихъ плату отъ гнусныхъ людей, пускающихъ въ ходъ ложь и деньги, чтобы добиться своихъ постыдныхъ цѣлей. Мѣстная печать упоминала объ этомъ,

всѣ честные люди протестовали, съ негодованіемъ, я самъ обращался къ вамъ съ жалобою. Послѣ этого я обращусь не къ мѣстной печати, не къ судьямъ, не къ должностнымъ лицамъ острова; я пойду туда, гдѣ съумѣю найти для себя справедливость и строгое наказаніе для моихъ убійцъ и тѣмъ кто имъ покровительствуетъ. Начиная съ сегодняшняго дня я не буду выходить иначе какъ вооруженный съ головы до пятъ. Пусть попробуютъ подойти ко мнѣ».

Между тѣмъ удары дубиною, большая часть которыхъ была направлена въ спину, оставили глубокіе слѣды. У Сентъ-Эльма началось кровохарканіе; затѣмъ онъ поправился, когда послѣдовало третье покушеніе. Кровохарканіе возобновилось и усилилось. «Это не было обыкновенное кровохарканіе», рассказывалъ онъ, «а ужасная и непрерывная рвота кровью, и въ теченіи восьми дней, мы вычислили, что я потерялъ ее до пяти литровъ. Вся пища, которую я принималъ, немедленно извергалась».

Судъ занялся наконецъ дѣломъ. Но любопытно, что онъ сталъ на сторону убійцъ. Прокуроръ Биссо, имя котораго останется знаменитымъ, предъ лицомъ едва дышавшей жертвы, воскликнулъ, что она «получила заслуженный урокъ». А когда несчастный два раза во время засѣданія упалъ въ обморокъ, то тотъ-же прокуроръ-сказалъ, что это комедія, а на заявленія негодованія со стороны публики отвѣчали удаленіемъ ея изъ залы засѣданія.

Сентъ-Эльма посадили въ тюрьму, по обвиненію въ преступленіи противъ печати. Онъ провелъ тамъ уже три мѣсяца, тогда врачъ объявилъ, что онъ не вынесетъ заключенія, и рѣшили его освободить. Молодость и крѣпкое сложеніе помогли ему оправиться, но однажды вечеромъ, выходя изъ театра и спокойно возвращаясь домой, онъ въ четвертый разъ подвергся нападенію. Четыре человѣка окружили его. Одинъ изъ нихъ схватилъ его сзади, другіе осыпали ударами; онъ упалъ безъ движенія на троттуаръ, гдѣ его топтали ногами; одинъ изъ убійцъ хотѣлъ докончить его кистенемъ, но былъ остановленъ жандармомъ. Болѣе трехъ сотъ человѣкъ, также вышедшихъ изъ театра, были свидѣтелями этой сцены. Товарищъ прокурора, полицейскій комиссаръ, два жандарма, два агента полиціи присутствовали при перевязкѣ, которая была сдѣлана въ ближайшей аптекѣ. Нападавшіе были узнаны и названы по именамъ. Двое изъ нихъ служатъ въ администраціи; одинъ состоитъ швейцаромъ въ префектурѣ, и одинъ старшій полевой сторожъ... На этотъ разъ, по крайней мѣрѣ, преступленіе будетъ наказано. Теперь уже невозможно назвать его комедіей; невозможно будетъ и примѣшать партіонные вопросы. Дѣло идетъ уже не о политикѣ, а о самыхъ первоначальныхъ

понятіяхъ права и человѣчности. Существуютъ или нѣтъ законы въ этомъ краѣ? Дозволяется-ли въ Корсикѣ убійство? Такъ называемый «очищенный» судъ замѣнилъ-ли собою такъ называемыхъ *mâquis*, на этомъ драматическомъ островѣ? Дѣйствующія лица «Colomba», изгнанныя изъ чащи современнымъ прогрессомъ, не нашли-ли себѣ убѣжища подъ мантиями судей? Вотъ что должно было обнаружиться въ томъ какъ отнесутся къ дѣлу тѣ, кто поставленъ для охраны общества и внушенія уваженія къ закону.

Прошло нѣсколько недѣль; умирающій обратился въ послѣдній разъ къ правосудію своей страны. Правосудіе продолжало оставаться глухимъ и слѣпымъ. Это было, по истинѣ, невѣроятно. Еслибы подобныя вещи происходили въ глубинѣ Азіи или центральной Америки, то, безъ сомнѣнія, вызвали-бы крики негодованія, по поводу варварства края, гдѣ онѣ возможны. Но онѣ происходили въ одномъ изъ французскихъ департаментовъ и въ республикѣ, президентомъ которой состоитъ Греви.

Сентъ-Эльмъ не выздоровѣлъ на этотъ разъ. Чувствуя приближеніе смерти, онъ сказалъ окружающимъ его: «Моя смерть, по крайней мѣрѣ, окажетъ услугу Корсикѣ: можетъ быть, видъ трупа заставитъ какую-нибудь мумію-депутата побезпокоиться о томъ, что здѣсь происходитъ и освѣтитъ дѣянія гнусныхъ диктаторовъ, которые насъ давятъ и унижаютъ! Еслибы смерть моя отъ руки убійцы могла дать какой-нибудь полезный результатъ для моего края, я-бы почелъ себя счастливымъ, видя конецъ моихъ бѣдъ и напастей». И онъ испустилъ духъ на рукахъ молодой жены, которая готовилась сдѣлаться матерью.

Извѣстіе объ этой смерти, давно, впрочемъ ожидаемой, поразило всѣхъ. Изъ Корсики волненіе дошло до Парижа и распространилось по всей Франціи. Отовсюду раздавались требованія, чтобы правительство высказалось, чтобы оно заявило о своей солидарности или несолидарности съ убійцами. Сперва оно пыталось отдѣлаться презрѣніемъ. Министерская газета «Paris» съ изумительною развязностью заговорила о «маленькой легендѣ во вкусѣ Меримэ», о «слезахъ крокодила». Оппортунистъ — депутатъ отъ Аячціо, Эмануиль Арень, отправившійся на мѣсто, сообщалъ затѣмъ о своихъ впечатлѣніяхъ, распространяясь въ особенности о мѣстной ухѣ и опредѣляя дѣло въ двухъ словахъ: «заслуженное наказаніе». Что касается официального органа «Journal de la Corse», то трупъ Сентъ-Эльма внушилъ ему слѣдующую метафору, которую можно рекомендовать для учебниковъ реторики: «Лучшее средство разбить бурную волну озера страстей есть противопоставленіе ей невозмутимой ясности скалы».

Но труп не покрыть метафорой, не утопить въ *bouilla baise*'ѣ. Общественное мнѣніе заговорило; почувствовали стыдъ самыя умѣренныя, какъ на примѣръ «Télégraphe», «National», «Temps». Синдикатъ печати, въ свою очередь, вмѣшался въ дѣло. Правительству оставалось только уступить, его прижали къ стѣнѣ. Оно... начало преслѣдованіе? Нѣтъ, нарядило слѣдствіе. Какъ будто, предъ лицомъ преступленія, при очевидности уликъ возможно иное слѣдствіе, кромѣ судебного! Указанныя администраціей врачи приглашены были къ изслѣдованію трупа жертвы. Ихъ заключеніе превзошло все, что можно было вообразить. Они объявили, и это не посовѣтовавшись даже съ пользовавшимся умершаго врачомъ, что журналистъ Сентъ Эльмъ умеръ отъ «острой бугорчатки, не имѣвшей никакого отношенія къ внѣшнимъ поврежденіямъ».

Острая бугорчатка! Безъ нея, вотъ видите-ли, Сентъ Эльмъ былъ-бы живъ, не взирая на разбитый черепъ и переломанныя ребра. Тѣ, кто знали умершаго до вынесенныхъ имъ нападеній, утверждаютъ, что это былъ высокій, хорошо сложенный человѣкъ, съ организмомъ, способнымъ долго бороться противъ времени. То-же подтвердилъ и корреспондентъ «Temps», Докторъ Лалансъ, ежедневно посѣщавшій больного, въ качествѣ хорошаго знакомаго и врача, также предъявилъ свое показаніе. По его словамъ, это былъ мужественный человѣкъ, стройный, сильный, нервно-сангвиническаго темперамента. У него не было лихорадки, онъ не кашлялъ, никакихъ разстройствъ въ дыханіи не замѣчалось. Онъ былъ искусенъ во всѣхъ тѣлесныхъ упражненіяхъ и всѣ признавали въ немъ замѣчательныя интеллектуальныя способности. «Констатировать ушибы», прибавляетъ докторъ Лалансъ, «я имѣю право утверждать, что они имѣли отраженное дѣйствіе на легкія несчастнаго Сентъ Эльма и вызвали въ его органахъ значительный приливъ крови и воспаленіе, которое и развивалось до роковаго конца». Значить-ли это, что бугорчатки не было? Нѣтъ, но между этимъ и увѣреніемъ, что «внѣшнія поврежденія» ни при чемъ въ подтвержденномъ вскрытіи страданія, цѣлая пропасть.

Ежедневно скоплялись самыя подавляющія показанія. Всѣ спрошенные свидѣтели заявляютъ, что было преступленіе; опроверженія сыплются на прокурора Биссо, попробовавшаго отрицать невѣроятныя слова, вырвавшіяся у него на судѣ. Не смотря ни на что, скрыть истину будетъ невозможно. И тогда будутъ затронуты и изложены невѣроятныя злоупотребленія, творящіяся на островѣ, при всякаго рода формахъ правленія. Корсика, только по формѣ составляетъ часть республиканской Франціи, подчиняющуюся ея правительству и управляемую одними съ нею зако-

нами. На самомъ дѣлѣ тамъ существуетъ лишь одно правитель-ство, одна воля и ихъ единственнымъ представителемъ является Эмануэль Арень, депутатъ отъ Аякчіо и бывший другъ Гамбетты. Онъ казнитъ и милуетъ, предъ нимъ всѣ трепещутъ и преклоняются. Правительство республики признаетъ его власть и ищетъ дружбы.

Этотъ странный властитель не отступаетъ ни предъ какими средствами. Онъ страшенъ для однихъ, щедръ для другихъ. Его заботами администрація была подвергнута тщательной сортировкѣ и опасные элементы были удалены. Опасными-же считаются республиканцы. На ихъ мѣста опредѣляютъ родственниковъ, пріятелей, впрочемъ, въ крайнемъ случаѣ, достаточно быть бонапартистомъ. Мнимая реформа судебного вѣдомства не имѣла иныхъ результатовъ. Такъ въ Аякчіо, бонапартистъ—нотариусъ Казанелли замѣнилъ республиканца Ландри въ должности предсѣдателя суда; въ Кортѣ предсѣдатель, одинъ изъ немногихъ корсианскихъ членовъ оппозиціи во времена имперіи, подвергшейся преслѣдованію и 16-го мая, шестидесятилѣтній старикъ принужденъ оставить свой постъ; преемникомъ его явился нѣкій Левикъ-Рамолдино, имя котораго указываетъ на родство съ семействомъ бонапартовъ. Самый вліятельный человѣкъ въ судебномъ вѣдомствѣ, это Казабюнка, племянникъ бывшаго министра имперіи и эксъ-президентъ плебисцитарнаго комитета въ 1870 г.; судъ въ Бастіи, гдѣ онъ служить, состоитъ исключительно изъ его родныхъ и въ Корсикѣ, нѣтъ ни одного судебного учрежденія, гдѣ-бы не имѣлся у него хотя-бы двоюродный братъ. Можно себѣ представить, какое вершатъ правосудіе эти люди. Впрочемъ, то, чего отъ нихъ требуютъ, ничего общаго съ правосудіемъ и не имѣетъ; вовсе и не нужно знать честенъ или безчестенъ такой-то поступокъ, а только другъ или недругъ подсудимый корсиканскому далай ламѣ, то-есть г. Арену и его сателлитамъ. Вотъ почему и Сентъ-Эльмъ былъ обвиненъ, вмѣсто своихъ убійць.

Настолько-же заботятся о честности и въ администраціи. Проступки и преступленія раздѣляютъ тамъ съ чисто первобытною простотою. На одно должностное лицо доносятъ по поводу поставки, которая обязалась фиветивною, и начальникъ его пишетъ по этому случаю префекту: «Я замѣтилъ эти операціи и если не сообщалъ о нихъ, то потому, что мнѣ не безызвѣстно, что М... находится подъ покровительствомъ г. Арена, а я побоялся-бы подвергнуть опасности мою двадцатипятилѣтнюю честную службу, которая-бы разбилась отъ такого столкновения».

Вотъ до какого низкаго уровня упала нравственность администраціи. Не лишнее прибавить, что министру внутреннихъ дѣлъ

былъ представленъ добросовѣстный докладъ, но министръ не сталъ даже имъ заниматься, и слишкомъ искренній префектъ былъ перемѣщенъ на другую должность.

Правительство допускаетъ Арена тиранизировать и развращать Корсику, какъ ему заблагоразсудится. Оно вѣдываетъ только для уплаты по счетамъ и уплачивается по нимъ съ закрытыми глазами. Въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ оно роздало избирателямъ аякчійскаго округа шестьдесятъ-одну тысячу франковъ, «по случаю скотскаго падежа». А между тѣмъ цифра ежегоднаго расхода на этотъ предметъ для каждаго кантона не превышаетъ пятисотъ или шестисотъ франковъ. Нужно-ли еще прибавлять, что большая часть избирателей, на которыхъ упала административная манна, никогда и не владѣли ни единою штукою скота. Въ спискѣ этихъ счастливицевъ находимъ только горожанъ, отставныхъ офицеровъ; рядомъ съ ними фигурируютъ горные жители, какъ напримѣръ семейство Бонелли. Это темное для читателя имя пользуется въ Корсикѣ вполне заслуженною славою; оно главное разбойничье семейство острова. Это могущественное племя, жилища котораго укрываются въ дѣвкихъ ущельяхъ Пентики, насчитываетъ нѣсколькихъ представителей, стоящихъ вѣкъ закона; оно еще побѣдоносно противится и военной силѣ, и судебной власти; два главные вождя, окруженные цѣлымъ племенемъ отщепенцевъ и заочно приговоренныхъ, уже сорокъ лѣтъ занимаютъ своимъ дѣломъ. Они были приговорены нѣсколько разъ къ смертной казни, за убійство или поджогъ. Таковы несчастные, которымъ покровительствуетъ администрація острова и въ руки которыхъ переходятъ деньги плательщиковъ. И все это для того, чтобы выбравъ былъ депутатомъ Арена, а мэромъ Перальди.

Перальди съ Казабианкой и новымъ префектомъ Андре де Трентелемъ составляютъ то трио, которое обрабатываетъ Корсику, по вкусу Арена. Одному—префектурную администрацію, другому судебное вѣдомство, третьему—муниципалитетъ. Переизбраніе послѣдняго и требовалось обезпечить недавно. Для этого всѣ агенты были поставлены на ноги и всѣ бюро опустѣли. Чиновники этихъ послѣднихъ составляли четвертую часть всѣхъ избирателей, 650 на 2.500. Умершіе и отсутствующіе дополняютъ число; это ужь всегда такъ дѣлается; достовѣрно извѣстно, что морави, находящіеся въ кругосвѣтномъ плаваніи и давно умершіе избиратели продолжаютъ значиться въ выборныхъ спискахъ. Ружья и кистени также будутъ играть роль, а для большаго удобства, въ минуту разсмотрѣнія бюллетеней, подкупленные шайки очистить залу. Такою цѣною оппортунизмъ можетъ считать свою побѣду несомнѣнною.

Если такіе практическіе способы обобщатся, то царство Жюль Ферри могло-бы просуществовать еще долгіе дни. Но до сихъ норъ имъ не удалось привиться на остальной территоріи. По крайней мѣрѣ это можно заключить при видѣ результатовъ баллотировки. Повсюду замѣчается полное пораженіе въ лагерѣ официальной кандидатуры, пораженіе, распространяющееся на всю провинцію и достигающее въ Парижѣ подавляющихъ размѣровъ. Автономисты получили здѣсь пять лишнихъ мѣстъ; особенно же ярко ихъ торжество въ общей цифрѣ полученныхъ голосовъ. Они получили 173.374 голоса, то-есть на 38.000 болѣе противъ 1881 г.

Жюль.

ГОДОВЫЕ ИТОГИ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ.

Выставка Императорской Академіи Художествъ въ 1884 г.

Если выставка передвижная, о которой говорили мы въ послѣдней книгѣ нашего журнала, отличаясь, при всѣхъ своихъ недостаткахъ, простотой, отсутствіемъ претензій, все-таки даетъ нѣсколько серьезныхъ вещей, надъ которыми стоитъ задуматься, то совсѣмъ другое впечатлѣніе производитъ на обыкновеннаго зрителя, не специалиста, выставка академическая. Устроенная въ великолѣпныхъ залахъ, въ самомъ храмѣ искусствъ, она поражаетъ цѣлой массой предметовъ, не только картинъ, но и скульптуры, и медальоновъ, и медалей, и ширмъ, и акварелей. Въ то время какъ на передвижной всѣхъ выставленныхъ номеровъ только едва до полутораэта, въ академіи ихъ болѣе двухсотъ-тридцати-трехъ, т. е. больше чуть не вдвое. Какая яркость красокъ, какія большія полотна, какое, сравнительно, разнообразіе сюжетовъ, и сколько претензій на эффектъ, на то, чтобы поразить, удивить публику! Но вмѣстѣ съ тѣмъ, какимъ-то холодомъ, заказомъ, дѣланностью, вѣетъ отъ всей этой массы вещей, на которыя потрачено столько труда, часто усидчиваго, кропотливаго. Посмотрите на этотъ академическій каталогъ, — сколько здѣсь именъ заслуженныхъ профессоровъ, академиковъ, почетныхъ медалей; сколько здѣсь высшихъ техническихъ знаній; — нѣтъ только почти ни одного изъ именъ, которыя такъ дороги всей Россіи по теплотѣ и жизненности сюжетовъ и задушевности выполненія: — ни Крамского, ни Маковскихъ, ни Максимова, ни М. П. Клодта, ни Рѣпина, ни Ярошенко, ни многихъ другихъ, почему-то отдѣлившихся отъ академіи. Нѣтъ здѣсь, какъ показалось намъ, почти вовсе (при такой массѣ выставленнаго художественнаго матерьяла) истиннаго вдохновенія, творчества; нѣтъ того, что зовется душой, свѣтомъ мысли и правды, а сколько здѣсь ремесла, пресгѣдующаго одну цѣль — украшеніе; напр., алжирскія ширмы Яко

біа, всякія акварели со стеклами, медали, красивенькіе бюстики, статуетки, медальоны, гравюры, портреты восточныхъ челоуѣковъ, имѣющіе одинъ интересъ — этнографическій. Много здѣсь картинъ съ сюжетами эффектными и претензіозными, на примѣръ, «Послѣднія минуты князя Черниговскаго Михаила предъ ставкой Батя» (программа на большую золотую медаль), Ланскаго, «Поручикъ Василій Миновичъ у трупа Іоанна Антоновича въ Шлиссельбургской крѣпости», Творожникова,—и много подобныхъ другихъ; но какою пошлостью вѣсть отъ нихъ, напр. отъ странной картины «Король Польскій Пржемысль, убитый Бранденбургскими маркграфами въ 1296 г.», г. профессора Герсона, на которой сочинено все, начиная съ позъ и кончая обстановкой, хоть-бы оружіемъ, хранившимся въ то время въ особой комнатѣ а не помѣщаннмися въ спальнѣ, у постели, причемъ все вниманіе зрителей, особенно дамъ, сосредоточивается на удивительно мускулистой груди самого короля, преспокойно спящаго безъ рубашки, au naturel. Между тѣмъ какъ у передвижниковъ баталическихкихъ картинъ нѣтъ ни одной, здѣсь ихъ нѣсколько, и, по замыслу, полныхъ самыхъ драматическихкихъ положеній; но исполненіе ихъ чисто формальное, гдѣ все сводится только къ внѣшнему воспроизведенію факта, ничего не говоря ни сердцу, ни уму. Таковы: «Казаки убираютъ своихъ убитыхъ», профессора Ковалевскаго, «Переправа черезъ Дунай у Зимницы», профессора Дмитріева-Оренбургскаго, «Сдача крѣпости Никополя», его-же, «Раненный на Шибкѣ» и др. Какаѣ разница съ картинами Верещагина, котораго на этой же выставкѣ старается затмить яркостью красокъ профессоръ Якобіи (Дворикъ львовъ, Соколиная охота).

По части пейзажей, о которыхъ поговоримъ отдѣльно, обѣ выставки плодovitы одинаково; болѣе трети передвижной занято ими, болѣе восьмидесяти-пяти, т. е. треть выставки, ихъ и здѣсь; но зато портретовъ меньше:—нѣсколько портретовъ лицъ Императорской фамиліи, акварели представителей народовъ Средней Азии, бывшихъ въ Москвѣ на священномъ коронованіи, бюстъ Достоевскаго (Лаврецабаго), Н. В. Стасовой (Гинцбург), статуя Пушкина (Опекушина), да портретъ самого Опекушина. Отличились также гг. академисты отъ передвижниковъ и по части цѣломудрія. Если вторыхъ мы скромно похвалили за отсутствіе порнографическихкихъ стремленій, то первые не отличаются столь большою строгостію нравовъ. Не угодно-ли, на примѣръ, полюбоваться хоть на полураздѣтую «Бродяжку», Платонова, «Каящуюся грѣшницу», профессора Кошелева (лица не видать, только однѣ груди), на цѣлмй ассортиментъ голыхъ женскихъ тѣлъ на картинѣ Свѣдомскаго «Evohe Bacche», и особенно на

веселенькую картинку, изображающую старичка монаха, соблазнаемого выходящею изъ воды русалкой («Русалка», академикъ Сѣдова).

До нѣкоторой степени есть и на академической выставкѣ, въ общемъ почти безцвѣтной, или претендующей на нѣкоторую парадность (баталическія и историческія картины), стремленіе къ сюжетамъ печальнымъ, вызывающимъ на размышленіе, напр. «Безъ надежды», Герсона, «Передъ вѣнцомъ», «Двѣ жертвы Тиберія»; но никакой печали въ душѣ онѣ не оставляютъ, а картина «Раздача нищимъ пищи» такъ красиво скомпанована, что даже весело становится. Вообще надо сказать, что, просмотрѣвъ всѣ эти двѣсти пятьдесятъ различныхъ произведеній академистовъ, нельзя предположить, чтобы экспонентамъ особенно тяжело жилось.

Отъ общаго взгляда на выставку, перейдемъ къ разсмотрѣнію ея въ частностяхъ, остановившись, чтобы не упрекнули насъ въ пристрастіи, на немногихъ вещахъ, хотя сколько-нибудь выдающихся художественностью, жизненностью.

Начнемъ съ пейзажей, какъ отдѣла самого обширнаго, въ которомъ выставили свои вещи нѣсколько извѣстнѣйшихъ нашихъ пейзажистовъ. Они-то и представляютъ наибольшій интересъ. Старѣйшій изъ пейзажистовъ, маринистъ Айвазовскій, фигурируетъ клятю номерами. Все тѣ-же бури, тотъ-же штиль на Черномъ морѣ, который много разъ видали мы и на прежнихъ его картинахъ, да еще двѣ картины подъ однимъ названіемъ «Корсары въ Архипелагѣ». Повтореніемъ того-же самаго, той-же воды, той-же морской дали, отзывающимся декоративностью, отличаются всѣ эти вещи, доказывающія одно, что творческая фантазія, такая широкая у художника нѣкогда, слабѣетъ подъ старость, заставляя любителя съ грустью вспомнить о томъ, что было, и чего уже не будетъ вновь. Но среди этихъ блѣдныхъ повтореній и вариантовъ есть одна картина, предъ которой, при всей ея, относительной (для Айвазовскаго), слабости технической, невольно останавливаешься, пораженный какою-то необыкновенной теплотой, поэзіей цѣлаго, музыкальной предестью, ласкающей душу. Это «Буря въ Италіи». Не входя въ разсмотрѣніе того, что именно здѣсь собственно *итальянскаго*, почему это буря не на какомъ-нибудь другомъ морѣ, а непременно въ Адриатическомъ, или Средиземномъ, нельзя не любоваться ею. Она въ самомъ дѣлѣ даетъ вѣрное понятіе о безбрежности величаваго океана, о его могучей силѣ и движеніи, когда онъ «бьется, и воетъ, и волны подьметъ, и рветъ и терзаетъ враждебную мглу». Особенно хороша освѣщенная скала, которую лежатъ прозрачныя зеленоватыя волны; онѣ, чѣмъ дальше, тѣмъ все сѣрѣе и сѣрѣе и, наконецъ, слившись съ воз-

духотѣ, теряются вдаль. Этотъ чудный пейзажъ,—точно забытая дивная страница изъ стариннаго дневника, веденнаго художникомъ еще въ молодости, когда такъ много было у него чувства и мысли.

Такъ бываетъ иногда въ театрѣ. Вышелъ на сцену ветеранъ-артистъ, любимецъ публики. Горячо привѣтствуетъ она его за доставленныя нѣкогда, незабываемыя, минуты высокаго наслажденія, хоть и избѣяетъ старику и память, и голосъ, и самая осанка, и движенія;—точно онъ, этотъ артистъ, слабая жалкая копія великой картины, сдѣланная неумѣлой рукой неопытнаго рисовальщика. Но вотъ пьеса дошла до самаго сильнаго рѣшительнаго момента, когда, бывало, театръ какъ-бы замиралъ, весь превратившись въ слухъ и зрѣніе, когда у зрителя точно переставало биться сердце, а на глаза навертывались святыя слезы... Весь преобразился ветеранъ-артистъ; откуда взялись и ростъ, и осанка, и полный смысла жестъ, и самый голосъ, въ которомъ слышались вдругъ потрясающія ноты... Въ изумленіи весь театръ, узрѣвшій опять своего любимца тѣмъ-же юнымъ, полнымъ генія артистомъ; но моментъ прошелъ, мгновенно проснувшіяся, напряженныя силы ослабли,—и передъ тысячной толпой опять дряхлый, пережившій свою славу, старикъ, близящійся къ всепожирающей могилѣ...

Но вотъ и другой изъ ветерановъ пейзажистовъ, профессоръ Лагоріо, который нѣкогда такъ любовалась публика; что даль на выставку этотъ симпатичный художникъ? Да всего одну картину «Шипкинскій перевалъ, гора св. Николая». Господи, какъ это вяло, слабо, какъ чуждо всякаго мѣстнаго колорита! Вѣрно, художникъ писалъ эту картину на память, а можетъ быть, по рассказамъ и этюдамъ другихъ, самъ на Шипкѣ никогда и не бывши. Жаль, что г. Лагоріо за цѣлый годъ только и ограничился этимъ «переваломъ». Не хочется думать, что эта картина начинается собою и для художника перевалъ отъ искусства къ шаблонному декоративному мастерству...

Профессоръ Орловскій точно также своими тремя картинами наводитъ на печальныя размышленія о судьбѣ высоко талантливыхъ русскихъ художниковъ, начинающихъ обыкновенно сразу такъ широко, а потомъ, мало-по-малу, подъ влияніемъ стремленія къ сытому покою, мѣняющихся на мелочи. Что сдѣлалось съ этимъ великимъ мастеромъ техники, у котораго училась писать молодежь? Какъ ослабѣлъ онъ даже въ выраженіи эффектовъ красокъ, чѣмъ онъ еще нѣсколько лѣтъ назадъ такъ подкупалъ глазъ даже тонкаго знатока искусства! Вѣдь этотъ «Грабовскій лѣсъ утромъ» (въ имѣніи Демидова князя Санъ-Донато) весь

рассчитанъ на самый грубый вкусъ; вѣдь на этомъ пестромъ полетѣ тоны зеленый и желтый, сопоставленные съ сѣрыми и красноватыми тѣнями, бьютъ въ глаза! Вѣдь этотъ туманный, сѣрый «Дѣбрь» — блѣдное повтореніе дѣбрьевъ того-же художника; вѣдь эта «Жатва», наконецъ, — одна желтая, грязная краска...

Вотъ и еще талантъ, подававшій большія надежды, пенсионеръ Академіи Художествъ, г. Іосифъ Брачковскій. Его «Мельница», его прекрасный «Солнечный пейзажъ» красуются въ числѣ лучшихъ русскихъ картинъ въ Москвѣ, въ галлерей Третьякова; на выставкѣ въ Обществѣ поощренія художниковъ эти пейзажи, полные жизни, получили премію. Но съѣздилъ художникъ за границу на казенный счетъ, и... написалъ для Академіи, его пригравшей, двѣ картинны, годныя какъ хорошенкѣя иллюстраціи къ Путеводителю... — «Павловскъ» и «Видъ въ Павловскѣ»!

Лучше другихъ извѣстныхъ нашихъ пейзажистовъ сохранился профессоръ Ю. Ю. Клеверъ, много и постоянно работающій и выставившій на этотъ разъ цѣлыхъ шесть номеровъ, изъ которыхъ нѣсколько большихъ полотенъ. Но и здѣсь много шаблонности и скучныхъ повтореній стараго: тѣ-же черные корявые стволы, та-же осень, зима, тѣ-же закаты солнца. Но особенно поразила насъ большая, бьющая на эффектъ, картина «Иллюминація Кремля, 15-го мая 1884 года, въ день Священнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ», написанная очень размахисто, декоративно, съ бездной свѣта, борящагося съ тьмой, и яркихъ красокъ. Мы сами на этой иллюминаціи не были, но, судя по корреспонденціямъ и рассказамъ очевидцевъ, она поражала необычайной грандіозностью. Сохранить впечатлѣніе отъ такого экстреннаго освѣщенія своеобразной первопрестольной столицы было-бы очень интересно; но въ томъ-то и дѣло, что впечатлѣнія никакого отъ картины, не смотря на массу потраченнаго труда, не получается, а кромѣ того, есть еще и ошибки въ технику, — и очень крупныя. Такъ, соборъ, сравнительно съ колокольней Ивана Великаго, слишкомъ великъ, а самую колокольню слѣдовало-бы поднять, по крайней мѣрѣ, на этажъ. Единственно хорошая часть картины — правая сторона, гдѣ очень удаченъ свѣтъ на церкви Василя Блаженнаго. Въ общемъ-же, повторяемъ, величія, которое, сообразно сюжету, должно было-бы придать картинѣ, не замѣчается вовсе. Но въ числѣ картинъ, выставленныхъ Клеверомъ, есть одна чрезвычайно поэтическая, едва-ли, не самая лучшая пейзажная вещь на всей выставкѣ, хотя и здѣсь замѣчается бьющая глаза непропорціональность волка, который, сравнительно съ дѣвочкой и стволами, очень великъ. Это — «Красная шапочка въ лѣсу». Глухой, породистый, старый лѣсъ. Толстыя, могучія ели уходятъ въ высь,

коренастые стволы съ прихотливо раскинувшимися вѣтвями освѣщены мягкими лучами солнца; тамъ и самъ обнажились громадныя корни съ осыпавшейся землей. На тропинкѣ, вдали, маленькая дѣвочка въ красной шапочкѣ. Страшно крошечному существу, одной въ таинственномъ, мрачномъ лѣсу... Вдругъ передъ ней издала показался волкъ, поджидающій съ оскаленными зубами жертву... Остановилась дѣвочка въ недоумѣніи и страхѣ... Какъ все это хорошо, просто задумано... Отчего г. Клеверъ почаще не пишетъ *такихъ* картинъ?

Оставляя въ сторонѣ цѣлую массу пейзажей и этюдовъ изъ природы, не производящихъ никакого впечатлѣнія, перейдемъ къ картинамъ историческимъ. Ихъ на выставкѣ штукъ пятнадцать по крайней мѣрѣ,—и все большихъ, и съ сюжетами, такъ сказать, возвышенными. Впрочемъ, въ этихъ сюжетахъ не всегда бываютъ повинны художники, которые, можетъ быть, гораздо удачнѣе изобразили-бы обыденную современность: не забудемъ, что часто совершенно необходимо выполнить точно заданную программу, обязательно пользуясь указаніями заслуженнаго профессора. Такъ пишетъ свою диссертацию магистрантъ, иногда человекъ живой и талантливый, котораго профессоръ усадилъ за какое-нибудь изслѣдованіе о *Ферейскихъ тиранахъ* *), или *Бозмундъ Тарентскомъ*. И корпится бѣдняга надъ ненавистной, кропотливой, Богъ вѣсть кому нужной, египетской работой, между тѣмъ какъ своими изслѣдованіями и талантливой группировкой живаго, имъ отерятаго, матерьяла, могъ-бы внести свѣтъ въ исторію родной страны, или объяснить какой-нибудь изъ насущныхъ вопросовъ современной жизни.

И такъ, мы въ области исторіи. Начнемъ по порядку съ древней классической. Выставилъ пенсіонеръ академіи г. Бакаловичъ «Кассандру предвѣщающую гибель Трои». Какой глубоко трагическій сюжетъ! Какъ-бы могла вдохновить истиннаго художника эта дѣвушка сѣдой древности, жестокими богами отмѣченная страшнымъ даромъ предсказывать людямъ гибель! Но Кассандра г. Бакаловича цыганка въ греческомъ костюмѣ, можетъ быть, натурщица, которой придано выраженіе не то жестокости, не то недоумѣнія, зачѣмъ художникъ не оставилъ Кассандры въ покоѣ даже и въ могилѣ.

Пожелаемъ, чтобы пророчица, предсказывавшая гибель родному городу, не оказалась дурной пророчицей и для художника, погнавшагося за эффектной французской манерой письма, ей

*) Такіе жили нѣкогда, весьма задолго до Р. Х., на Балканскомъ полуостровѣ.
Примѣчаніе для неспеціалистовъ.

подражать не легко. То-ли дѣло, большое полотно подражателя г. Семирадскому, г. почетнаго вольнаго общника академіи, г. Свѣдомскаго, «Evohe Bacche!» По крайней мѣрѣ, однихъ полуодѣтыхъ дамъ сколько, а тутъ и пьяный Неронъ, и обнявшіяся, заснувшія и засыпающія пары, и еще пьяный, который лѣзетъ съ объятіями въ одной изъ вакханокъ. Настоящая нероновская вакханалія, при свѣтѣ наступающаго дня,—вакханалія какъ есть, заправская, съ разлитымъ виномъ, опрокинутой посудой и разбросанными вещами. Чтобы можно было сдѣлать изъ этого сюжета при талантѣ, и какое мизерное, жалкое исполненіе! Совсѣмъ непонятна картина пенсионера Академіи Людовика Веселовскаго, «Двѣ жертвы Тиберія»: кого-то тащутъ въ воду; кто-то уже умеръ и позеленѣлъ—довольно отвратительно,—и ничего для ума... Лучше другихъ *древнихъ* картинъ, какъ будто «На берегахъ Понта», Свѣдомскаго-же, оказавшагося на этой выставкѣ особенно плодовитымъ,—и скажемъ, художникомъ съ очень большими претензіями, но страннымъ, по меньшей мѣрѣ, исполненіемъ. На берегу Понта стоятъ какія-то двѣ дѣвочки, съ лирами, съ цвѣтами, въ греческой прическѣ, повидимому, вакханки, возвращающіяся съ пира, или идущія на пиръ, а тутъ-же у входа въ мясную лавку—валяются нищія, какъ-бы скномъ... Что это такое? Контрастъ нищеты съ довольствомъ, приобретаемымъ посредствомъ разврата, что-ли? Мудрый Эдипъ, разрѣши! А хорошо написано.

На рубежѣ міра древняго съ новымъ поставили-бы мы большую картину профессора Кошелева, «Исусъ Христосъ въ средѣ ученыхъ въ храмѣ». Христосъ, еврейскій мальчикъ, напоминающій Христа; какъ его изображаютъ современные французы, что-то, повидимому, говоритъ, одушевленно жестикулируя; двое ученыхъ раввиновъ—одинъ сосредоточенно слушаетъ, наклонивъ ухо къ говорящему; другой, такой-же старикъ, справляется о чемъ-то въ книгѣ, относясь въ словамъ юноши скептически. Всѣ три фигуры въ большую величину, всѣ въ одномъ первомъ планѣ—обстановки почти не видать. Вотъ и все, что далъ высокій сюжетъ талантливому художнику, который еще недавно былъ совсѣмъ инымъ... Да, писать Божественнаго Спасителя, котораго святое слово посрамило мудрѣйшихъ міра сего, еще когда онъ былъ только отрокомъ, писать не легко. Здѣсь нужна вѣра, вдохновеніе, полетъ мысли, широкій и мощный, а не академическая программа, какую впору, можетъ быть, задавать ученикамъ, а не себѣ самому. Да и гдѣ-же справиться ученику съ такимъ сюжетомъ, съ какимъ не справился самъ профессоръ? Но справедливость требуетъ отмѣтить, что въ этой-же неудачной картинѣ прекрасна голова Юсифа, съ

любовною гордостью отца смотрящаго на сына. Немного-же сюжетовъ далъ художникамъ древній міръ!

По части *среднихъ вѣковъ* на выставкѣ всего три картины: «Пржемыславъ», профессора Герсона, не потрудившагося, писавъ историческую картину, даже справиться, хранилось-ли оружіе въ спальнѣ, тогда какъ для послѣдняго въ средніе вѣка имѣлась особая комната, и не сообразившаго всю курьезность юнаго атлета—короля, который, неизвѣстно для чего, съ самымъ спокойнымъ лицомъ, опирается во снѣ на щитъ; 2) удивительная картина того-же художника, «Безъ надежды»: темница съ позелѣвшимъ трупомъ (вѣроятно, умеръ съ голоду), съ человѣкомъ, сидящимъ въ отчаяніи, и другимъ, распростершимся полураздѣтымъ на полу, съ поднятыми вверхъ руками, которыя издали кажутся, вмѣстѣ съ парюю ногъ, четырьмя ногами (должно быть, умираетъ, обращаясь съ послѣдней мольбою къ небу); и 3) академика Урлауба, «Сцена изъ тридцатилѣтней войны»—доминиканецъ играетъ съ солдатами въ карты, и больше ничего,—только до такого кабацкаго сюжета изъ великой всемірной эпопеи и додумался художникъ. По крайней мѣрѣ просто, безъ претензій, хоть понять можно, что изображаетъ картина.

По части исторіи отечественной таже исторія. Академическая программа, исполненная на большую золотую медаль двумя художниками, Ланскимъ, класснымъ художникомъ 1-й степени, и пенсионеромъ Смирновымъ (удостоенъ большой золотой медали)—«Послѣднія минуты князя Михаила Черниговскаго передъ ставкой Батя», гдѣ совершенно обезличенъ человѣкъ, и все вниманіе обращено на вѣщность;—напримѣръ, на, дѣйствительно великолѣпно написанную, матерію; достаточно страшный «Святопольскій Окаянный (статуя академика Курпатова); «Выборъ невѣсты царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ», весьма способнаго человѣка, академика Сѣдова, изобразившаго цѣлыхъ шесть штукъ въ шеренгу стоящихъ, въ отлично написанныхъ платьяхъ новѣйшихъ матерій, даже довольно некрасивыхъ глухихъ дѣвъ, и недоумѣвающего передъ такимъ ассортиментомъ красиваго, юнаго царя.—Мало интереснаго, не смотря на цѣлую массу матеріала и въ «Русской Старинѣ», и «Русскомъ Архивѣ», и другихъ историческихъ изданіяхъ, представили художники изъ русской исторіи XVIII в. Что это за картины, напримѣръ: профессора Шарлеманя, «Петръ I накрываетъ заговорщиковъ въ домѣ Цыклера 23-го февраля 1697 г.» на которой Петръ Великій представленъ петиметромъ на очень тоненькихъ ножкахъ, въ балетной позѣ, а заговорщики картонныя куклы;—или «Поручикъ Василій Мировичъ у труна Іоанна Антоновича 5-го іюля 1764 года въ Шлиссельбургской крѣ-

ности» (эпизодъ изъ очерка *Русской Истории М. Семевскаго*), класснаго художника 1-й степени Творожникова, гдѣ, передъ постелью убитаго принца, стоитъ съ вышупленными глазами и безобразно растопыренными руками самъ поручикъ, а трупъ принца, съ длинными рыжими волосами, написанный совсѣмъ à la Христосъ Брюлова, распростертъ на постели передъ окружившими его звѣрообразными солдатами? Ужъ все-таки лучше по замыслу литературно-историческая картина класснаго художника Федорова: «Императрица Екатерина II у Ломоносова», которая и написана очень недурно, во французскомъ стилѣ; но самъ Ломоносовъ представленъ какимъ-то почтительнымъ чиновникомъ, прилизаннымъ и прибраннымъ, что совсѣмъ къ нему не идетъ, да и размѣръ головы не соблюденъ; особливо, если подумать, что нашъ ученый былъ чуть не двумя головами выше малорослой императрицы. Эта картина, даже при своихъ недостаткахъ, можетъ, вмѣстѣ съ прекрасной картиной Ге, «Пушкинъ въ селѣ Михайловскомъ», начать весьма желательный рядъ картинъ изъ жизни русской высшей интеллигенціи. Чтобы покончить съ историческимъ жанромъ, упомянемъ еще объ особенно понравившейся намъ, небольшою, уже вовсе не претендательной, написанной не особенно искусно, вещицѣ баронессы фонъ-Паленъ «Молодая мать XVII столѣтія». Столько простоты, задушевности и граціи въ этой боярышнѣ, укачивающей своего крошечнаго малютку! Право, за такую картинку можно отдать не одного «Пржемысла», да еще съ «Михаиломъ Черниговскимъ» и «Выборомъ невѣсть» въ придачу.

Къ историческимъ-же картинамъ слѣдовало-бы, пожалуй, присоединить и баталическія, и поговорить о нихъ; но авторъ этой статейки человекъ штатскій, и потому весьма мало понимаетъ во всѣхъ этихъ кантикахъ, ментикахъ и прочихъ аксессуаряхъ военной жизни; но отъ военныхъ слышалъ, что вранья тутъ довольно, и на войнѣ бываетъ совсѣмъ не такъ, и что Верещагинъ въ отношеніи баталистики передъ настоящими академистами настоящій магъ и волшебникъ. Такъ-ли это—судить не берусь. Скажу одно: его картины производили сильное впечатлѣніе и на штатскихъ, а баталисты нынѣшней выставки—никогого. А что профессоръ Ковалевскій пишетъ лошадей превосходно—такъ это не подлежитъ сомнѣнію.

Много *вооселенькихъ*, безъидейныхъ и безъобидныхъ, сюжетовъ было на передвижной выставкѣ; не мало, если не больше, ихъ и здѣсь. Чего, напримѣръ, прелестнѣе «Крестьянской дѣвушки», академика Журавлева, ухитрившагося изобразить какую-то поэтическую Офелію въ цвѣтахъ, вмѣсто русской крестьянки; тамъ программа на вторую золотую медаль—«Дубы», академика Кри-

жецкаго, «Болотце», Писемскаго, «Тропинка», Сейтгофа, «Коровы въ лѣсу», Рѣдковского. «Прялка» съ котомъ, академика Журавлева, «Этюдъ женщины въ нѣмецкомъ костюмѣ», пенсионера Кившенко, «Ширмы», профессора Якобіа, «Бюстъ частнаго лица» (sic). Кафля, и мн. другія. Но всего замѣчательнѣе на академической выставкѣ—это необыкновенное обиліе собакъ, на которыхъ, должно быть, отличный спросъ. Въ самомъ дѣлѣ, этихъ собачьихъ картинъ болѣе пятнадцати. И въ «Уютномъ уголкѣ» Френца, въ гостиной, собаки, и «Въ прихожей», его-же премилые псы, и на «Облаві для Его Превосходительства», Скадовскаго, и «Согрѣшилъ», Френца-же, и три этюда «Собакъ», Горбунова (очень хорошо пишетъ) и «Сзываютъ гончихъ», Кившенко, и на «Псарномъ дворѣ», его-же (отличный изобразитель этихъ животныхъ), и этюды Г. Мако: «Гончая» и «Собака-гордонъ», и его-же, въ самомъ дѣлѣ, прелестнѣйшій портретъ бульдога—«Арестованный за буйство»;—словомъ, всякихъ псовъ множество,—даже на картинкѣ «Дама въ лѣсу».—и тамъ песь, у Клевера въ картинѣ «Листья пожелтели»—тоже не безъ собакъ.

Остановимся на скульптурѣ. Искусство это, требующее дорогаго матеріала для воспроизведенія идеи, у насъ, русскихъ, довольно рѣдко, и, какъ неудобное для перевозки, совсѣмъ отсутствуетъ на передвижной выставкѣ. Здѣсь скульптурныхъ номеровъ до тридцати семи, но особенно выдающагося, въ смыслѣ творчества, искусства воспроизведенія идеи, а не въ смыслѣ ремесла, нѣтъ ничего. Выдаются, болѣе или менѣе, четыре вещи: 1) Бюстъ Достоевскаго, Лаверецкаго, отличающійся большимъ сходствомъ и живостью; 2) Граціозная вещица изъ терракотты, Каменскаго, «Безъ няньки» (ребенокъ моетъ куклу); и 3) «Дѣвочка, подающая родителямъ премію», миланскаго художника Энрико Браги, неизвѣстно какъ попавшаго на русскую выставку; и 4) «Бюстъ Н. В. Стасовой», Гицбурга.

Въ заключеніе нашей статьи, пропуская цѣлую массу этюдовъ, портретовъ, головокъ, акварелей и пр., остановимся, на болѣе или менѣе интересныхъ жанрахъ, которыхъ насчитали мы всего не болѣе шести. Хорошій сюжетъ выбрала баронесса Франгель, «Урокъ пахаря»:—дѣдушка учитъ внучка пахать. Но благія намеренія не всегда достойно приводятся въ исполненіе. На первый взглядъ картинка очень красивая и теплая по замыслу; но, взглядывшись въ нее хорошенько, увидишь ложь,—и довольно грубую, обваруживающую въ художницѣ незнаніе дѣла. какъ оно бываетъ въ жизни. Никогда мужикъ, давъ мальчонку пахать, не будетъ идти сбоку, какъ это сдѣлано на картинѣ, а будетъ поддерживать соху, съ которой мальчонокъ, такой маленькій, одинъ и не

справится. Другая картинка из крестьянского быта, «Семейное горе», Рашевского—правдиво задумана, но плохо исполнена.

Въ полѣ пала у семьи кормилица—лошадь, которую оплакиваютъ мужичонко, баба и ребенокъ сынъ. Но художникъ слишкомъ разбросалъ по разнымъ концамъ всѣ фигуры, отчего сила общей концепціи теряется. Хорошей и оригинальной темой занялся также Е. Муратовъ: — «Отрадные минуты изъ жизни студента». Юноша съ самымъ счастливымъ выраженіемъ лица аккомпанируетъ себѣ на гитарѣ, а за тѣмъ-же столикомъ убогой комнаты сидитъ молоденькая дѣвушка и съ наслажденіемъ его слушаетъ. Картинка теплая, — жаль только, что художникъ ничѣмъ не обрисовалъ юношу, какъ студента, такъ что зритель безъ надписи въ каталогѣ и не зналъ-бы, чьи эти минуты. Хотѣлъ что-то хорошее изобразить и г. Свѣдомскій, написавшій картину «Передъ вѣнцомъ» (Помѣшанная); но у него уже совсѣмъ ничего не вышло, ибо понять сюжетъ вѣтъ никакой возможности, за исключеніемъ удивительно написанной шелковой матеріи подвѣнчнаго платья. Сидитъ въ почти пустой, убогой комнатѣ, на лежанкѣ, пожилая некрасивая женщина въ подвѣнчномъ платьѣ—такъ-таки просто сидитъ, и куда-то неопредѣленно смотритъ; и тутъ-же, на лежанкѣ, рядомъ съ ней, неизвѣстно зачѣмъ, полштофъ, маслянка и вычищенный, отлично написанный, подносъ. Что это за женщина, на чемъ она помѣшана, и что это за аксессуары? Странные люди бываютъ иногда господа художники: картину напишутъ, и отлично напишутъ, а понять, что такое по ней изображено, нельзя.

Если эта помѣшанная невѣста непонятна вовсе, и потому не возбуждаетъ въ публикѣ никакого участія, то, напротивъ того, картина Скадовскаго, «Юка на свободѣ», производитъ впечатлѣніе глубокое, обнаруживая въ художникѣ присутствіе сильной творческой мысли. Откуда-то вырвался и пробрался въ общественный садъ со статуями помѣшанный человекъ, повидимому, чиновникъ; или актеръ. Онъ бодро идетъ босикомъ, въ помятой шляпѣ на затылкѣ, живописно задрапировавшись въ оборванную не то шинель, не то монашескую рясу, по аллеѣ. На груди приколотъ, въ видѣ ордена, бумажный пѣтушокъ; лѣвая рука поднята, будто дѣлаетъ жестъ, правой онъ пѣжно прижимаетъ къ груди куклу; въ лицѣ экстазъ, который вотъ-вотъ сейчасъ разрѣшится сумашедшей выходкой... Его уже замѣтилъ издали околоточный и озабоченно указываетъ на несчастнаго городовому.

По творческому умному замыслу, содержательности, ловкой компановкѣ фигуръ, письму и жизненности, этотъ совсѣмъ неизвѣстный до сихъ поръ, художникъ, Скадовскій, положительно

герой нынѣшней академической выставки. Другая его-же большая картина, «Облава для Его Превосходительства», полна правды и юмора, а кромѣ того, съ великолѣпно написанными фигурами, такъ что смѣло можетъ быть причислена къ лучшимъ картинамъ русскаго жанра.

Нашъ обзоръ годовыхъ итоговъ русской живописи, насколько она обнаружилась въ двухъ большихъ годичныхъ выставкахъ, конченъ. Къ какому-же приходимъ мы выводу? Не богаты онѣ объѣмъ,—и грустно, поглядѣвъ на нихъ, становится за наше русское искусство какъ грустно смотрѣть и на всю окружающую насъ жизнь, отражающуюся стремленіемъ къ наживѣ, пустотой и безцѣлностью. Но, сравнивая выставки, нельзя не сказать, что передвижная, какъ болѣе свободная отъ всякихъ программныхъ и традиціонныхъ давленій, все-таки проще и живненнѣе; академическая-же, гдѣ выставляютъ плоды своего творчества, болѣею частью, люди, обеспеченные заказами, особенно вѣетъ холодомъ.

Викторъ Острогорскій.

ИЗЪ ДОМАШНЕЙ ХРОНИКИ.

Теперешнія умственныя направленія.

Если признать вѣрной теорію четырехъ темпераментовъ, то, по газетамъ, въ умственномъ состояніи теперешняго русскаго общества очень легко усмотрѣть четыре соответствующихъ этой теоріи направленія.

Сангвиники, обильные, какъ извѣстно, вѣрой и надеждой, и потому отличающіеся наклонностію къ оптимизму и легкомыслію, разрѣшаютъ самыя трудныя и запутанныя вопросы жизни съ простотой и прямолинейностію, по истинѣ изумляющей невообразимостію своихъ обобщеній. Сангвинизмъ есть молодость мысли и какъ всякая молодость онъ ищетъ общихъ выводовъ и разрѣшаетъ умственныя задачи просто и легко, а главное—быстро и безповоротно, пока не найдетъ другого лучшаго разрѣшенія. Это очень веселый и беззаботный умственный темпераментъ, для котораго всегда и вездѣ свѣтитъ солнце и не существуетъ въ жизни никакихъ трудностей. Спросите сангвиника, есть-ли возможность провѣсти дорогу на луну. «Еще-бы», отвѣтитъ онъ, «сдѣлайте большую лѣстницу, однимъ концомъ утвердите ее на землѣ, а другимъ прислоните къ рогамъ луны и ползайте». Дайте сангвинику деньги и оставьте его въ покоѣ, и онъ съ увѣренностію примется за лѣстницу, пока это ему не надоѣсть. Весьма вѣроятно, что не сдѣлавъ еще первой ступеньки, онъ примется за что-нибудь другое; но в туть онъ останется вѣрнѣе себя и постарается увѣрить всякаго, что онъ правъ. Вѣчно смѣняющіеся новыя умственныя рѣшенія сангвиника, повидимому, не примиряются съ его наклонностію подводить все къ обобщающему единству, но въ той легкости, съ какою сангвиникъ согласуетъ несогласимое, и заключается особенность его умственнаго темперамента. Какъ образчикъ сангвиническаго разсужденія, я представлю читателю одну статью одной московской газеты, трактующей о средствахъ противъ голода. Не называю ни газеты, ни имени автора, потому что я не думаю ни съ кѣмъ полемицировать, а только устанавливаю извѣстные факты.

Авторъ ставить такой вопросъ: «какъ и чѣмъ пробудить изъ летаргіи наше общество, какъ воодушевить его на дѣло активнаго и дѣловаго вмѣшательства въ участь невѣдомыхъ ему и незримыхъ имъ страдальцевъ?» И вотъ его отвѣтъ: «Чтобы побудить спящихъ приняться за что-либо, нужно прежде всего пробудить ихъ отъ сна, заставить ихъ освѣжиться и придти въ себя. Въ этомъ уже половина дѣла. Что общество наше дѣйствительно не бодрствуетъ, а спитъ, и что нужно чѣмъ-либо заставить его опомниться,—это едва ли требуетъ доказательствъ. Сомнѣвающимся же въ этомъ можно посовѣтовать взглянуть повнимательнѣе на столбцы нашей прессы, мелкой и крупной, ежедневной, недѣльной и мѣсячной, чтобы убѣдиться, что органы прессы, представители и отголоски общественной мысли и общественнаго настроенія, теперь, какъ ни въ чемъ не бывало, усердно занимаются трактатами на тему о «черной бандѣ», о возрѣніяхъ Бисмарка на «русскихъ нигилистовъ», «о договорѣ Франціи съ Китаемъ», о предстоящей поѣздкѣ генерала Черняева въ Японію, о томъ, что теперь думаютъ и чувствуютъ мервскіе турмены, о томъ, кто избранъ армянскимъ католикосомъ, о томъ, что именно и въ продолженіи сколькихъ минутъ говорилъ какой-нибудь Ристичъ съ принцемъ Рудольфомъ—въ то время, какъ у тѣхъ-же органовъ не достаетъ уже, какъ будто, ни мѣста, ни времени, ни даже охоты интересоваться тѣмъ, сыты-ли, одѣты-ли и здоровы-ли русскіе люди во всѣхъ отдаленныхъ областяхъ Россіи!»..

Видите, какъ все это сангвинически просто, а главное сангвинически развязно. Совершенная лѣстница на луку. Мыслителю-сангвинику нѣтъ никакого дѣла ни до времени, ни до пространства, ни до атмосферы, окружающей землю, и ни до какой правды на свѣтѣ. Можетъ быть, общество нисколько не въ летаргіи и даже вовсе и не думаетъ спать, но сангвиникъ-мыслитель рѣшилъ безповоротво, что общество спитъ, и такъ какъ онъ никогда и ни въ чемъ не ошибается, то вовсе и не заботится о доказательствахъ. Если же васъ не убѣждаетъ его непогрѣшимость, вотъ вамъ и несомнѣнный фактъ: наша печать говоритъ и пишетъ обо всемъ, и у нея недостаетъ ни времени, ни охоты только для того, чтобы интересоваться тѣмъ, «сыты-ли, одѣты-ли и здоровы-ли русскіе люди во всѣхъ отдаленныхъ областяхъ Россіи!» Автору этого обвиненія остается только прибавить, что русскія газеты пишутся по-англійски и наши мужики ходятъ во фракахъ и въ бѣлыхъ галстукахъ. Кто-же болѣе ста лѣтъ толкуетъ на всѣ лады, что Россія голодна и не одѣта, какъ не печать! У Некрасова не было почти другихъ темъ, какъ говорить о холодѣ и о голодѣ. Печать даже навлекла на себя обвиненіе, въ преувеличи-

ваціи и раздуваніи фактовъ—и вдругъ обвиненіе, что печать даже и не интересуется экономическимъ положеніемъ народа! Но авторъ знаетъ то, что онъ знаетъ, и продолжаетъ строить свою лѣстницу. «Пускай, говоритъ онъ, вся пресса, безъ различія оттѣнковъ, программъ и разновидностей кружковъ и сферъ заговорить, наконецъ, съ подобающей энергіей и серьезностью объ обязанностяхъ общества въ отношеніи къ страждущимъ, и о лучшихъ способахъ популяризаціи задачи оказанія имъ помощи и организаціи сборовъ и повременныхъ пожертвованій. Пусть каждая изъ редакцій всѣхъ существующихъ на Руси органовъ и изданій явится центромъ благотворительной дѣятельности для ея сотрудниковъ, подписчиковъ и вообще читателей; пусть постараются всѣ редакціи, безъ исключенія, побудить всѣхъ своихъ подписчиковъ къ доставленію черезъ ихъ посредство хотя-бы кошѣчныхъ сборовъ,— и отъ нѣсколькихъ сотенъ тысячъ выписывающихъ всякія изданія съ присоединеніемъ къ нимъ массы всѣхъ читающихъ ихъ, образовался-бы контингентъ въ нѣсколько миллионъ людей, которые въ совокупности могли-бы неощутительно для своихъ, хотя-бы самыхъ скудныхъ средствъ, накормить голодныхъ хотя-бы только до новаго урожая!.. Пусть впереди всѣхъ наши «консерваторы» и ихъ послѣдователи покажутъ намъ путь въ дебри Мамадышскаго, Шадринскаго и Котельничскаго уѣзда. Ничего не можетъ быть «консервативнѣе», какъ охраненіе жизни людей и ихъ здоровья»... Пусть полетутся за ними потомъ всѣ «фарисеи» и лицемѣры благочестія», всѣ строители храмовъ, всѣ усердные жертвователи на монастыри и дѣла благотворенія... «Славянофилы», старые и новые, и вы, конечно, не откажетесь признать русскихъ людей Казанской, Пермской и Вятской губерній за «братьевъ славянъ»!.. Можно-ли сомнѣваться, что и всѣ «либералы» всякихъ «фракцій» и оттѣнковъ, и съ каедръ только проповѣдующіе, и въ газетахъ подвизающіеся, и въ жизни работающіе, послѣзвать, отбросивъ излишнія мудрованія и неумѣстную щепетливость, вслѣдъ за первыми тремя фалангами и что они также послѣзвать заняться освободительнымъ дѣломъ избавленія людей отъ нуждъ, отъ раззоренія, отъ всѣхъ золъ и пороковъ, поражающихъ бѣдствующее человѣчество! Но вотъ вопросъ: встрѣтимся-ли мы тамъ, въ голодающихъ селеніяхъ и въ центрахъ благотворенія, съ нашимъ «народниками» всякихъ толковъ и сектъ, съ «юзовцами» и съ «антиюзовцами», съ народниками чистыми и «нечистыми», съ представителями тѣхъ подпольныхъ и надпольныхъ благодѣтелей Россіи, которые болѣе другихъ, громче и самоувѣреннѣе всѣхъ рекламируютъ всѣми дозволенными и недозволенными способами самихъ себя и свою миссію, которые всегда оказывались до сихъ поръ

тамъ, куда русскій народъ ихъ не звалъ, и которые всегда отсутствовали тамъ, куда призываетъ людей сердца и мысли жизнь, удручаемая несчастіями?! Пусть на нейтральной почвѣ нужды, лишений, болѣзней и всякихъ воздыханій сойдутся представители и сторонники всѣхъ этихъ группъ и сферъ общественныхъ! Арена для соревнованія представляется широкая и блестящая!.. Пусть каждый постарается на ней завоевать себѣ право на первенство и на славу, помощью истиннаго самопожертвованія,—и тогда, когда русскіе люди всѣ насытятся и насытятся прочно, тѣ, которые окажутся виновниками такого благополучія народа—пускай и провозгласятъ себя его истинными друзьями и руководителями»...

Человѣкъ опредѣленной и точной мысли, очутившись въ этомъ изумительномъ многословіи, можетъ почувствовать нѣчто въ родѣ угара. Сразу и не разберешься, до того сангвиникъ-мыслитель щедрой рукой заваливаетъ со всѣхъ сторонъ продуктами своей неистощимой фантазіи и грамподитъ одинъ на другой воздушные замки. Въ частности тутъ и возражать не на что. Представьте себѣ, что кто-нибудь рассказываетъ вамъ, что, надѣвъ семимильные сапоги и взявъ большую трубу въ руки, онъ вышелъ ночью на улицу и, разбудивъ могучими трубными звуками всѣхъ снащихъ, повелъ ихъ за собою на луну, по дорогѣ, кстати, зашелъ на солнце и къ утру, вернувшись, легъ спать. Въдѣ ясно, что это сонъ, несбыточность котораго нечего и доказывать. Но особенность сангвиническаго ума и заключаются въ перевѣсѣ воображенія надъ точными представленіями. Сангвиники по преимуществу поэты, они вѣрятъ въ возможность всего, что вы хотите, а вѣря въ возможность—отчего-же и не надѣяться? Люди по преимуществу чувства и фантазіи, восторговъ и увлеченій, они никакъ не могутъ понять, почему все то, что имъ кажется такъ просто и легко, другимъ представляется не только труднымъ, но даже невозможнымъ. И въ самомъ дѣлѣ, почему-бы редакціямъ «всѣхъ существующихъ въ Россіи органовъ» не открыть у себя подписки? Почему-бы «консерваторамъ» не открыть шествія по направленію къ приволжскимъ губерніямъ? Почему-бы за ними не идти «фарисеямъ и лицемѢрамъ благочестія, славянофиламъ, народникамъ, «юзовцамъ» и «антиюзовцамъ» и т. д.? Почему-же нѣтъ? Сангвиникъ-мыслитель никакъ не можетъ понять, что для этого нужно, чтобы всѣ люди, думали и понимали одинаково, и что лучший способъ убѣжденія заключается отнюдь не въ картинномъ изображеніи журавля въ небѣ. Генрихъ IV тоже желалъ, чтобы у cadaго французскаго крестьянина была за обѣдомъ жареная курица.

Но общественный сангвинизмъ вовсе не такое невинное умствен-

ное упражненіе, какимъ онъ представляется. Повидимому вполне доброжелательный и только непрактичный и увлекающійся, онъ тѣмъ не менѣе имѣетъ за собою цѣлое мировоззрѣніе, въ сущности далеко не такое плѣнительное, какъ журавль въ небѣ. Напримѣръ, въ приведенномъ проектѣ кормленія семью хлѣбами пяти миліоновъ человѣкъ, начиная консерваторами и кончая либералами и народниками, досталось всѣмъ. Всѣ умственные направленія, и особенно народничество, поставленное даже въ одну категорію съ «недозволенными способами», оказываются одинаково заслуживающими неодобренія. И это вполне понятно, ибо умственная нетерпимость есть основная черта сингвинизма, логично развивающаяся изъ его природы: вѣдь ему трудно все думать и понимать. Взамѣнъ этого, онъ добродѣтеленъ, и потому прежде всего моралистъ. Еще въ одной газетѣ, на этотъ разъ провинціальной, по поводу упадка и оскудѣнія Казани, приписываемаго обѣднѣнію сельскаго населенія, говорится: «Только людямъ минуты, не заглядывающимъ впередъ и не заботящимся о себѣ, простительно безучастное отношеніе къ общественнымъ нуждамъ. Пусть-же всѣ благомыслящіе граждане, вся интеллигенція, все торговое сословіе—по мѣрѣ силъ помогаютъ и дѣломъ и словомъ деревнѣ съ ея труждающимися и обездоленными обывателями...» И столичная газета, дѣлая эту выписку, прибавляетъ: «Но всѣ такіе голоса почему-то остаются «вопиющими въ пустынѣ»! И наиболѣе тяжкую вину въ безучувственномъ отношеніи къ потребностямъ народныхъ массъ въ различныхъ мѣстностяхъ Россіи несутъ въ большинствѣ столичные органы, специализировавшіеся почему-то на трактованіи или интересахъ столицъ, или вопросовъ департаментскихъ и канцелярскихъ, въ числѣ которыхъ часто вопросы жизни той или другой мѣстности вовсе не находятъ себѣ даже мѣста».

Странное замѣчаніе и вполне сангвиническое. Какъ-же всѣмъ такимъ голосамъ не быть «вопиющими въ пустынѣ», когда они больше ничего не дѣлаютъ, какъ только «вопить». И почему, спрашивается, отвѣтственность за «безучувственное отношеніе», какъ выражается газета, должна пасть на «большинство столичныхъ органовъ»? Во-первыхъ, фактически не вѣрно, что столичныя газеты говорятъ мало о нуждахъ внутренней Россіи. Да о чемъ же иномъ говорятъ корреспонденціи, какъ не объ интересахъ провинціи? Беру совершенно случайный номеръ «Русскихъ Вѣдомостей», отъ 14 мая. Вотъ его корреспонденціи: изъ Твери, о продовольственномъ капиталѣ; изъ Харькова, объ экстренномъ губернскомъ земскомъ собраніи, для обсужденія мѣръ противъ ожидаемаго въ настоящемъ году хлѣбнаго жучка; изъ Дмитрова, Московской губ., о беспорядкахъ въ

городскомъ банкѣ и назначенной въ немъ ревизіи, о плохихъ надеждахъ на озимые всходы, о дороговизнѣ сѣна, о желаніи крестьянъ уменьшить число кабаковъ; изъ Суджи, о дерзкихъ кражахъ въ уѣздѣ лошадей; изъ Оренбурга, о крайней нуждѣ населенія... Боюсь даже надоесть читателю выписками изъ всѣхъ корреспонденцій, такъ ихъ много и каждая говоритъ только о нуждахъ провинціи. Но приведу одну (изъ Бессарабской губ.) дѣликомъ. «Всходы яровыхъ и озимыхъ хлѣбовъ, пишетъ корреспондентъ, благодаря благоприятной веснѣ, повсюду удовлетворительны, и если только пойдутъ дожди, то урожай можно считать обезпеченнымъ. Но опасаются, что хлѣба будутъ повреждены обычными врагами земледѣлія. Въ Бендерскомъ уѣздѣ въ значительномъ количествѣ появилась гессенская муха; она уже давно опустошаетъ тамъ поля, размножаясь годъ отъ году. Никакихъ мѣропріятій противъ нея не принимаютъ, а наши земцы отрицаютъ даже ея существованіе; также скептически земцы относятся и къ другимъ врагамъ нашего земледѣлія. Такъ напримѣръ въ Аккерманскомъ уѣздѣ на довольно большомъ пространствѣ молодой хлѣбъ скручивается и неправильно выколашивается, что явно указываетъ на присутствіе трипса или хлороса. Но, къ сожалѣнію, на это явленіе не обращаютъ никакого вниманія. Конечно, не трудно предвидѣть результаты такого равнодушія: насѣкомое, размножаясь годъ отъ году, сдѣлаетъ культуру хлѣбовъ совершенно невозможною».

Ну вотъ вамъ фактъ. И газеты пишутъ о гессенской мухѣ, вѣроятно не меньше газетъ говорятъ о мухѣ и мѣстные жители. а земцы не только ихъ не слушаютъ, но еще и отрицаютъ ея существованіе. Что-же тутъ сдѣлать столичной печати? И откуда внезапно явилась такая вѣбра во всемогущество печати, что одни сангвиники обвиняютъ ее за то, что она не устраиваетъ подписки въ пользу голодающихъ, а другіе думаютъ, что скажи она только одно слово о «потребностяхъ народныхъ массъ» (и это говоритъ газета столичная, именно: «Русскій Курьеръ»), такъ внезапно прекратится «безчувственное отношеніе» общества къ провинціи; третьи, вѣроятно вслѣдствіе безусловной вѣбры въ всемогущество печати, взываютъ къ чувству и сочиняютъ жалкія слова. Такъ, еще одна изъ провинціальныхъ газетъ — недовольныя столичными газетами, провинціальныя, казалось-бы и должны были говорить дѣло — по поводу очень часто повторяющагося на югѣ Россіи обезземеленія крестьянъ-собственникововъ, говорить, что мѣры претивъ этого «нужны рѣшительныя и быстрыя, чтобы сразу положить конецъ торжественному шествію «чумазаго» въ захудалую деревню». А какія-же мѣры? И дальше леризма сангвиники не

идуть. И въ тоже время они-то, плодящіе болтовню въ печати, сами ею-же недовольны.

Холерики, но уже совсѣмъ по другимъ побужденіямъ, дѣлають изъ печати тоже козла отпущенія. Если сангвиники отличаются въ своихъ сужденіяхъ и проговорахъ излишней легкостью, зато холерики, со свойственной имъ страстностію, уже слишкомъ отдаются противоположной крайности и впадаютъ въ пессимизмъ. Говорять, что пессимизмъ есть признакъ глубокомыслия, но если-бы и такъ, то онъ все-таки стоитъ на границѣ отчаянія и безнадежности. Поэтому, если сангвиникъ, полный вѣры и надежды, не задумается строить лѣстницу на луну, то пессимисто-холерикъ можетъ заколебаться положить доску черезъ канаву. И дѣйствительно, сангвиники-оптимисты съ такою-же легкостью превращають печать въ лѣстницу, съ какой пессимисты - холерики превращають ее въ чуть-ли ни на что непригодную доску. Одинъ изъ подобныхъ холериковъ, сравнивая публицистику до 1880 года съ публицистикою теперешней, говоритъ, что, по распространенному къ публикѣ мнѣнію, прежняя публицистика имѣла извѣстное общественное значеніе и свою задачу, вѣрила въ нее, стремилась къ ея осуществленію съ большимъ или меньшимъ талантомъ и пониманіемъ дѣла и приносила извѣстную практическую пользу; теперешняя-же публицистика видитъ себя лишеною всякаго сколько-нибудь выдающагося пракческаго значенія, вслѣдствіе чего общественныя дѣла занимають ее гораздо меньше. Кто-же тутъ ошибался и ошибается? Прежняя-ли публицистика, возлагавшая надежды на развитіе общества, или современная, остывшая безъ основанія къ общественнымъ дѣламъ? Всѣ симпатіи цитируемаго нами автора склоняются къ публицистикѣ современной. Онъ думаетъ, что прежняя публицистика отличалась большимъ оптимизмомъ и увлекалась не дѣйствительностію, а разными возможностями. «Возлагая свои надежды на тогдашнее общество, публицистика не принимала въ соображеніе, что наши нравы и обычаи, воспитанные на крѣпостномъ правѣ, не могли моментально измѣниться, а новые слои такъ называемаго дирижирующаго класса, выдвигаемые на сцену новымъ экономическимъ положеніемъ, въ образѣ Колушаевыхъ, какъ по своимъ принципамъ, такъ и по отсутствію въ этомъ классѣ какихъ-либо традицій, не могли представлять надежныхъ элементовъ развитія общественной самодѣятельности». Публицистика ничего этого не брала въ соображеніе «и забыла, что логика не всегда есть удѣлъ исторіи». Кромѣ этого, прежняя публицистика недостаточно оцѣнила и новыя условія, созданныя новымъ порядкомъ вещей, и этимъ возбудила въ обществѣ убѣжденіе, что наступила вполне пора исчезновенія или, по

крайней мѣрѣ, исчезновенія существовавшихъ невзгодъ. Между тѣмъ, въ сущности измѣнилось очень немногое. И ничего этого наша публицистика не замѣчала и продолжала поддерживать въ обществѣ ошибочное мнѣніе. Между тѣмъ общество, встрѣчая на практикѣ факты, не оправдывавшіе разсужденій печати, извѣрилось въ эти разсужденія, а затѣмъ нѣкоторая его часть поддавалась вліянію реакціонеровъ, другая-же пришла къ печальному заключенію, что все прошлое было «совсѣмъ не дѣло, а одно время-препровожденіе безъ цѣли и результата». Все это, конечно, только относительно тѣхъ ожиданій, которыми общество задавалось: дѣйствительныхъ-же результатовъ не можетъ не быть, но ихъ не замѣчаютъ только потому, что не осуществились тѣ преувеличенныя надежды, которыя развивались и поддерживались въ обществѣ недомыслиемъ публицистики этого времени. Еслибъ послѣдняя трезвѣе и внимательнѣе отнеслась къ произведеннымъ реформамъ, еслибъ она не ликовала, а взвѣсила ихъ на вѣсахъ строгой критики, то и настоящее разочарованіе не имѣло-бы мѣста. Вѣдь только одна фантазія заставляла насъ думать, что мы шли быстро впередъ, въ дѣйствительности-же мы подвигались довольно медленно: теперь мы ориентировались, опредѣлили ту точку, на которой находимся, и видимъ, что она очень не далеко отстоитъ отъ точки нашего отправленія».

«На этомъ основаніи, замѣчаетъ авторъ, нѣтъ ничего удивительнаго, что публицистика настоящаго времени поняла, наконецъ, хотя и очень поздно, дѣйствительное положеніе дѣлъ и наши общественныя дѣла стали занимать ее меньше». И затѣмъ онъ прибавляетъ: «Впрочемъ, я думаю, что наши общественныя дѣла занимаютъ публицистику никакъ не меньше, чѣмъ прежде, но она относится къ нимъ гораздо трезвѣе и только, — и это именно потому, что она поняла, наконецъ, ничтожность своего вліянія на жизнь». Какая крайняя противоположность это безвѣріе пессимиста-холерика, отрицающаго и общество и печать, съ сильной вѣрой въ всемогущество печати и «словъ» сангвиника-оптимиста. А вѣдь было время и пессимистъ былъ оптимистомъ и онъ вѣрилъ, и онъ надѣялся, и онъ волновался и стремился, а главное—также спѣшилъ, какъ и оптимистъ. Скорость не вышла и, подводя итогъ своей лично жизни, извѣрившійся пессимистъ находилъ, «что видѣть передъ собою снова тотъ путь, который уже считался пройденнымъ, въ особенности для человѣка, причисляющаго себя къ людямъ сороковыхъ годовъ, не представляетъ собою ничего привлекательнаго».

И пессимизмъ, и оптимизмъ, какъ видитъ читатель, держится на подкладкѣ чувства: одинъ вѣритъ, другой извѣрился, вотъ и

вся разница между ними, но именцо потому, что и тотъ и другой основываются на чувствѣ и обнаруживаютъ наклонность къ идеализаціи, они не могутъ быть общимъ явленіемъ. Обыкновенная будничная жизнь слишкомъ практична и положительна, чтобы ей могли давать направленіе идеалисты. Они создаются особенными условіями и потому никогда не могутъ быть въ большинствѣ. Поэтому же въ то время, какъ идеалисты, какого-бы они ни были оттѣнка, будутъ подходить къ жизни съ разными идеальными требованіями, желаніями, стремленіями. то очаровываясь, то разочаровываясь, то падая, то поднимаясь духомъ или скорбя о бесплодно перешитой жизни, стараясь отыскать кого-нибудь виноватаго и, обрушивая на него негодованіе и упреки, люди менѣе склонные къ идейной жизни будутъ дѣлать свое практическое дѣло, какое окажется для нихъ сподручнѣе.

Въ этомъ практическомъ направленіи русская жизнь представляетъ тоже два порядка явленій; но это совсѣмъ не то, что оптимизмъ, забывающій всѣ свои ошибки мысли и неудачи жизни или пессимизмъ, который ничего не умѣетъ забывать. И забывая и не забывая, послѣдніи два направленія всегда болѣе или менѣе идейны, всегда нѣсколько выше земли. Практическое-же направленіе прежде всего видитъ очень хорошо, что у него подъ ногами и ступаетъ твердо даже и въ такомъ случаѣ, если преслѣдуетъ идейныя цѣли. Если пессимисты и оптимисты образуютъ двѣ противоположныя, а подчасъ и враждебныя силы, склонныя къ взаимному обвиненію, то и въ практическомъ направленіи замѣчается такая-же противоположность и враждебность. Для устраненія недоразумѣнія прибавлю, что я говорю здѣсь о крайностяхъ направленій, выражающихся въ тѣхъ выдающихся особенностяхъ, которыя не могутъ считаться нормальнымъ общественнымъ явленіемъ. Ни оптимизмъ, ни пессимизмъ не составляютъ здороваго проявленія жизни и еще менѣе нормальнымъ ея выраженіемъ служить тотъ умственный темпераментъ, къ которому мы теперь перейдемъ.

Практическое и денежно-стяжательное направленіе, въ своей крайней формѣ, отличается въ погонѣ за наживой и въ выборѣ для того средствъ полнымъ лимфатическимъ равнодушіемъ. Я не буду напоминать читателю подробностей дѣла «черной банды», но обращу его вниманіе только на то «лимфатическое» спокойствіе, съ которымъ оно задумывалось и выполнялось. Все дѣлается такъ спокойно и хладнокровно, точно разрѣшается алгебраическая задача, а не ведется игра съ живыми людьми. Честь, совѣсть, сожалѣніе, великодушіе, жалость—однимъ словомъ, все, что для живыхъ людей составляетъ живое чувство, для дѣлателей «черной

банды» не больше, какъ слова безъ смысла и содержанія. Они никогда ничего не чувствуютъ; они только рассчитываютъ, соображаютъ и затѣмъ дѣйствуютъ. Такими они остаются даже въ отношеніяхъ между собою. Какъ извѣстно читателю, одно изъ засѣданій суда было прервано, потому что дочь Дубецкаго выстрѣлила въ себя изъ револьвера, а Дубецкій ударилъ себя въ голову графиномъ. И то, и другое оказалось затѣмъ дѣйствіемъ рассчитаннымъ, и слѣдствіе возвращено къ прекращенію въ окружный судъ, «такъ какъ и обстановка событія, и другія данныя выяснили въ достаточной степени, что серьезнаго покушенія на самоубійство въ наличности не было». «Если-же, говорится дальше, выстрѣлъ не оказался безусловно безвреднымъ, а вызвалъ легкое пораненіе въ стрѣлявшей, то это, очевидно, вслѣдствіе того, что рука молодой женщины въ моментъ спуска курка дрогнула, что въ свою очередь вполнѣ естественно въ виду напряженнаго и взволнованнаго состоянія въ которомъ она находилась. Въ томъ случаѣ, если-бы слѣдствіе пришло къ иному заключенію, т. е. признало-бы фактъ покушенія на самоубійство, дѣло не было-бы направлено къ прекращенію въ окружный судъ, а было-бы передано, для возбужденія духовнаго суда, въ духовную консисторію. Представлялась, правда, возможнымъ привлечь г-жу Куняину къ отвѣтственности за нарушеніе общественной тишины при отправленіи правосудія, но возбужденіе такого дѣла признано неудобнымъ, въ виду того крайне тяжелаго положенія, въ какомъ она должна была находиться во время производства процесса, какъ дочь подсудимаго, обвиняемаго въ рядѣ позорныхъ дѣяній. Что касается самого Дубецкаго, то состояніе здоровья его отъ нанесеннаго имъ себѣ удара графиномъ нисколько нынѣ не ухудшилось, и, кромѣ опеломленія въ первый моментъ и небольшой царапины, никакихъ дурныхъ послѣдствій описанная уже въ газетахъ сцена не имѣла».

Конечно, Зарудный, Дубецкій—экземпляры очень рѣдкіе и достигшіе высшей виртуозности въ своемъ дѣлѣ. Но хладнокровный расчетъ всегда основная черта и при большой и при малой виртуозности. Иначе, конечно, и быть не можетъ. Если-же подобныя дѣла открываются, то только потому, что всего не предусмотрѣшь и не сообразишь, и что для безошибочныхъ соображеній нуженъ большій умъ, чѣмъ какимъ обыкновенно владѣютъ герои шантажей и всякаго надувательства. Хотя-бы въ фальшивомъ духовномъ завѣщаніи, сочиненнымъ Заруднымъ,—ну какъ было не предусмотрѣть, что законные наслѣдники Андреева должны-же изумиться, почему онъ оставляетъ все свое милліонное состояніе какому-то Зарудному, котораго никто и никогда у Андреева не видѣлъ. Или

въ недавнемъ случаѣ обмана московскаго земельного банка на 127 тыс. руб. Повидимому, все обдуманно и рассчитано; но не рассчитано только одного, что о наблюденіи за лѣсомъ банкъ долженъ сообщить полиціи. Сообщили— и оказалось, что не только нѣтъ на свѣтѣ такого лѣса, но нѣтъ и имѣнія, не существуетъ и довѣрителя—все выдуманно. Для того, чтобы владѣть смѣлостію подобной изобрѣтательности и холоднаго нечеловѣческаго расчета, нужно имѣть исключительный темпераментъ, и въ то-же время обладать извѣстными умственными просвѣтами. И вотъ эти-то умственные просвѣты служатъ не только главной причиною, почему всѣ подобныя дѣла раскрываются, но и почему они являются на свѣтъ божій. Преступникъ всегда плохой счетчикъ; но зато въ замѣнъ неразсчетливости, онъ одаренъ излишкомъ смѣлости и рѣшимости. Въ послѣднее время стали появляться промышленники, эксплуатирующіе стремленіе крестьянъ къ переселенію. Обыкновенно такой промышленникъ или самъ или черезъ подручныхъ распускаетъ слухи, что гдѣ-нибудь на Амурѣ, въ Уссурійскомъ краѣ, или на Кавказѣ, отведены земли для переселенцевъ, что правительство принимаетъ на свой счетъ всѣ путевые расходы, даетъ деньги на первоначальное обустройство и оказываетъ переселенцамъ всевозможныя льготы. Все это рассказывается, конечно, бѣднякамъ, особенно нуждающимся въ землѣ. Когда почва подготовлена, прибавляется что-нибудь относительно помѣщиковъ, будто-бы встающихъ противъ переселенія, чтобы не остаться безъ рабочихъ, и потому скрывающихъ отъ крестьянъ распоряженіе правительства, сообщенное уже губернатору. Затѣмъ предлагается писать прошеніе къ губернатору—и цѣль достигнута: напишется 20, 30, 50 прошеній, получится столько-же цѣлковыхъ, потомъ немедленно-же обнаружится, что никакого разрѣшенія правительства нѣтъ, и смѣлый, но плохой счетчикъ изъ-за какихъ-нибудь пятидесяти рублей отправляется въ «мѣста не столь отдаленныя», а иногда и въ мѣста «отдаленныя». Бываютъ и другіе виды эксплуатаціи нужды и невѣжества, но труднѣе уловимые закономъ и не всегда поддающіеся судебному разбирательству. Въ особенности много поводовъ къ обману или къ эксплуатаціи представляетъ малоземеліе; въ одесской судебной палатѣ еще недавно разбиралось одно изъ подобныхъ дѣлъ, создавшее послѣдствія уголовнаго характера. Кулачество, разрастающееся все болѣе и болѣе, отличается особенной способностію практиковать средства наживы, въ формахъ иногда совершенно неуловимыхъ, благодаря крестьянской «темнотѣ». Изъ числа многихъ подобныхъ формъ, въ послѣднее время стали практиковаться расчеты купонами вмѣсто денегъ. Съ 1876—1877 года, пишетъ Мор-

шанскій корреспондентъ «Р. В.», всѣ операціи хлѣбной торговли производятся въ Моршанскѣ исключительно при посредствѣ купоновъ отъ процентныхъ бумагъ при чемъ, не смотря на то, что большинство купоновъ бывають нерѣдко отрѣзаны за 4—5, а иногда и за 8 лѣтъ до срока,—идуть безо всякихъ учетовъ, что, вѣроятно, и служитъ главною силою ихъ тяготѣнія на Моршанскій хлѣбный рынокъ. Количество обращающихся на рынокѣ кредитныхъ билетовъ не превышаетъ 15—20%.—Такое количество купоновъ встрѣчается только въ хлѣбной торговлѣ; во всѣхъ-же другихъ оно сравнительно ничтожно. Рѣдкій магазинъ принимаетъ отрѣзанные за 3—4 года до срока купоны безъ учета, а съ большимъ временемъ до срока—не принимаютъ совсѣмъ. Большинство городского населенія старается избѣгать купоновъ. Но далеко не такъ успѣшно отдѣлываются отъ нихъ хлѣботорговцы-крестьяне: желаніе продать поскорѣе хлѣбъ, увѣщаніе покупателя-кулака принять въ уплату немного купончиковъ, такихъ-же денегъ, или ждать уплаты до другого раза, когда будутъ кредитки, всегда беретъ верхъ, и только въ случаѣ достаточности и умѣнья всѣми неправдами отбоариться отъ настоящей купца или комиссіонера, крестьянинъ отдѣлывается отъ купоновъ; эти случаи, впрочемъ, очень рѣдки. При расчетахъ-же съ крестьянами-работниками, занимавшимися подвозкою, уборкою и ссыпкою хлѣба, не существуетъ никакихъ поблажекъ: всучать купоновъ хоть за 7—8 лѣтъ до срока въ уплату—и дѣло съ концомъ. По словамъ крестьянъ, полученіе купоновъ равносильно для нихъ половинной расплатѣ, потому что, получивъ купонъ и попытавшись размѣнять его въ одной, другой лавкѣ и встрѣтивъ вездѣ недоброжелательный приемъ, мужикъ отправляется въ кабакъ, гдѣ ему все сдѣлають и купонъ размѣняютъ. Но разъ мужикъ зашелъ въ кабакъ, у него отъ купона не останется и половины: во-первыхъ кабатчикъ безъ покупки водки учитывать купона не будетъ; во-вторыхъ, благодаря темнотѣ и неграмотности мужика, учеты бывають такъ безсовѣстно громадны, что превышаютъ всѣ ожиданія, и, въ-третьихъ, побывать въ кабакѣ да не выпить пьянымъ—ужь совсѣмъ невозможно. Наряду съ купонами нѣкоторые изъ торговцевъ и промышленниковъ расплачиваются записками, служащими векселями на извѣстный срокъ. Этотъ способъ расплаты неудобенъ вотъ чѣмъ: большинство рабочихъ живетъ заработкомъ дня, поэтому рѣдкіе изъ получившихъ записки ждутъ срока векселя, тѣмъ болѣе, что имѣется не мало благодѣтелей, которые скупають записки за полцѣны, а иногда и менѣе.

Этими немногими фактами, подъ личиною законности, заключающими незаконную сущность, конечно, не исчерпывается

практика всѣхъ дѣловыхъ и практическихъ отношеній. Практическій міръ на столько громадный и сложный міръ, столько въ немъ сознательнаго и безсознательнаго, запутаннаго, неяснаго, непонятнаго и неизвѣстнаго, настолько онъ преобладаетъ въ сферѣ всѣхъ человѣческихъ отношеній, столько въ немъ борьбы добра со зломъ, столько въ немъ напутано свѣтлаго и идеальнаго, съ мрачнымъ и низменнымъ, благородныхъ инстинктовъ съ хищническими и утробными, и въ тоже время вообще въ человѣческой природѣ заключается столько инстинктивнаго стремленія къ общему благу и къ свѣтлымъ лучшимъ идеаламъ, что именно мрачныя и неудовлетворяющія стороны практической жизни и служили основнымъ стимуломъ пытливой работы мысли не однихъ лучшихъ умовъ, но и всѣхъ людей вообще. Въ этомъ, конечно, только и причина, что массы такъ легко воодушевляются идеями, имѣющими на нихъ неотразимое вліяніе, а собственно «вопросы желудка» играютъ обыкновенно въ этомъ вліяніи подчиненную роль. Бисмаркъ, напримѣръ, выставилъ своимъ теперешнимъ экономическимъ лозунгомъ «право на работу». Но что такое «право» на работу. Вѣдь это въ сущности пустота; но въ пустомъ-то и заключается заманчивая плѣнительность «права», изображающаго собою неизвѣстное, которому каждый даетъ свое наивозможно широкое содержаніе, на которое онъ только способенъ. И у насъ освобожденіе крестьянъ сыграло роль такой-же широкой и плѣнительной для всѣхъ идеи, выразившейся въ началѣ въ стремленіи къ широкому захвату и къ широкимъ обобщеніямъ. Благодаря этому воодушевленію русская мысль обнаружила невиданную до того энергію и въ какія-нибудь 25 лѣтъ произвело столько работы, что намъ, современникамъ, и не оцѣнить этого гигантскаго труда. Его лучше оцѣнять тѣ, кто будетъ смотрѣть на наше время издали. Работа производилась преимущественно въ области изслѣдованія быта и экономическихъ условій. Изслѣдованіе шло, между прочимъ, шагъ за шагомъ за жизнь и собирало точный, фактический матеріалъ, знакомившій не только съ положеніемъ Россіи, но и обнаружившій воздѣйствіе на общія идеи. Въ сей моментъ благодаря всей этой предъидущей работѣ частію подготовительной, частію руководящей, начинаетъ обнаруживаться направленіе, которому мы не придумаемъ другого названія, какъ реальное. Въ немъ нѣтъ того захвата, какимъ отличалась мысль шестидесятыхъ годовъ, и въ этомъ отношеніи оно мельче, уже, но выѣстъ съ тѣмъ практичнѣе и дѣловитѣе.

Насколько эти замѣчанія вѣрны и сами факты жизни вызываютъ необходимость разрѣшенія практическихъ задачъ, мы сошлемся на официальные источники. Въ вышедшемъ въ вышнѣмъ

мѣсяцѣ «Обзорѣ Сельск. Хоз.», издаваемомъ дѣль земледѣлія и сельской промышленности говорится, что «даже въ губерніяхъ съ хорошимъ урожаемъ, напримѣръ, лежащихъ въ средней части черноземной полосы, барыши хозяевъ и арендаторовъ, въ 1883 году, не превысили итоговъ неурожайнаго 1882 г., а въ немалоѣ числѣ мѣстной черноземной полосы годовой балансъ частнаго хозяйства клонится въ сторону дефицита. Причины тому были общія почти всюду: застой въ хлѣбной торговлѣ, слабый спросъ на хлѣбъ и паденіе на него цѣнъ, при дороговизнѣ издержекъ производства».

Относительно хозяйственныхъ явленій, выдающихся по своему значенію, «Обзоръ» отмѣчаетъ слѣдующія. Во многихъ мѣстностяхъ озимую пшеницу стали замѣнять рожью, т. е. хлѣбомъ, менѣе цѣннымъ. Это замѣна наблюдается во всей области чернозема отъ его сѣверныхъ границъ до южныхъ, отъ урала до Днѣпра и въ шести западныхъ губерніяхъ. Причина, какъ говорятъ, въ томъ, что урожаи озимой пшеницы не надежны. Въ черноземныхъ степныхъ губерніяхъ многіе хозяева жалуются на трудность, а иногда и невозможность веденія хозяйства, вслѣдствіе неустойчивости условій земледѣлія, паденія цѣнъ на хлѣба и дороговизны рабочихъ. Подтверженіемъ этихъ жалобъ служитъ сокращеніе землевладѣльцами собственныхъ запанекъ, усиленіе, напротивъ, сдачи земель крестьянамъ, особенно исполу, а мѣстами, напр., въ Екатеринбургской губерніи у хозяевъ укрѣпляется сознаніе выгоды перехода отъ земледѣльческаго хозяйства къ овцеводству.

Общая черта средней полосы (промышленной) заволжскихъ лѣсныхъ и сѣверныхъ лѣсныхъ губерній—«разширеніе площади пахотной земли на счетъ лѣсовъ, порослей, пустырей и т. п. Въ промышленныхъ губерніяхъ такое разширеніе запашекъ происходитъ у крестьянъ, между прочимъ, путемъ покупки и аренды владѣльческихъ земель. Зависитъ это, по объясненію «Обзора», отъ того, что сократился спросъ на фабричный трудъ, а отхожіе промыслы дѣлаются невыгодными. Рядомъ во многихъ мѣстахъ этого района идетъ сокращеніе культуры льна, вслѣдствіе упадка цѣнъ на волокно. Всѣ эти увазанія даютъ драгоцѣнный матеріалъ для оцѣнки нашего промышленнаго положенія, замѣчаетъ «Н. В.», изъ котораго мы сдѣлали эти выписки.

Вѣроятно въ связи съ тѣми свѣдѣніями, которыя имѣются въ министерствѣ государственныхъ имуществъ, появилось въ «Русскомъ Курьерѣ» сообщеніе, что министерство это, занявшись всестороннимъ изслѣдованіемъ причинъ истощенія почвы, производящаго изъ года въ годъ неурожай хлѣбовъ въ Россіи, а за сямъ и страшныя голодовки массъ населенія, командировать на днѣхъ въ центральныя губерніи Россіи геологическую комиссію, съ цѣлью

ислѣдовать научнымъ путемъ — состояніе почвъ государства, для правильнаго опредѣленія имущественной достаточности крестьянъ. По оцѣнкѣ этой комисіи должны будутъ производиться разверстки государственныхъ и земскихъ повинностей между сельскимъ населеніемъ. Задача эта возлагается министерствомъ на доктора геологій и минералогіи и профессора с.-петербургскаго университета В. В. Докучаева и профессора того-же университета Софьтова.

Вмѣстѣ съ этимъ, въ томъ-же министерствѣ государственныхъ имуществъ образована на-дняхъ новая комиссія для обстоятельнаго изученія породъ молочнаго скота въ Россіи и свойствъ и качествъ молочныхъ продуктовъ. Въ Архангельской губерніи тѣмъ-же министерствомъ государственныхъ имуществъ выдвинутъ вопросъ о значеніи земледѣлія въ общей производительности сѣвернаго края. Земледѣліе служитъ въ Архангельской губ. очень важнымъ подспорьемъ къ промысламъ. Оно сберегаетъ среднимъ числомъ 1.800.000 руб. или на cadaго работника болѣе 25 руб. въ годъ. Это значитъ, что если-бы въ Архангельской губ. не существовало земледѣлія, то каждый работникъ долженъ былъ-бы зарабатывать, кромѣ теперешнихъ заработковъ, еще 25 руб., чтобы купить себѣ хлѣба на годъ. Министерство государственныхъ имуществъ, какъ пишутъ мѣстные корреспонденты, организовало довольно удовлетворительно систему расчисловъ, но результаты этой мѣры «по краткости времени еще не могли сказаться осязательно». Теперь наступаетъ очередь для поддержанія и развитія такъ называемаго подсѣчнаго хозяйства и организаци мелкаго крестьянскаго кредита. Мѣстная администрація, какъ пишутъ, принялась энергически за это дѣло.

Факты эти важны въ томъ отношеніи, что показываютъ, насколько всѣ предыдущія подготовительныя изслѣдованія и извѣстія, въ томъ или другомъ видѣ составлявшія почти главное содержаніе печати за предыдущее время, исполнили свою подготовительную роль. Важны эти факты еще и въ другомъ отношеніи: они должны дать оптимистамъ и пессимистамъ ясное представленіе о значеніи, роли и силѣ печати. Оптимисты, напр., думаютъ, что если, положимъ, въ Архангельской губ. нѣтъ мелкаго крестьянскаго кредита или недостаточно развито подсѣчное хозяйство, то редакторы петербургскихъ и московскихъ газетъ, собравъ своихъ сотрудниковъ, должны отравиться на мѣсто и устроить для крестьянъ банкъ и организовать систему подсѣчнаго хозяйства. Если они этого не сдѣлаютъ, то оптимисты изрекутъ противъ печати свое проклятіе, а пессимисты рѣшатъ, что печать охладѣла къ общественнымъ вопросамъ. Въ дѣйствительности дѣла дѣлаются

иначе и печать изображает собою только пионера общественного мнѣнія и показателя тѣхъ или другихъ возникающихъ общественныхъ явленій, требованій и нуждъ. Она собственно арена, на которой свершается ростъ мысли и зрѣетъ общественное сознание. Когда этотъ подготовительный процессъ свершится и закончится, наступаетъ моментъ практическаго осуществленія мысли или такъ называемаго рефлекса дѣйствія. Это законъ какъ для личной, такъ и для общественной психологін, котораго природа никакъ не можетъ измѣнить ни къ угоду оптимистовъ, ни къ угоду пессимистовъ. Во всякомъ случаѣ, обвиненіе печати ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ не представляетъ никакихъ основаній, и въ этомъ читатель убѣдится еще разъ изъ нижеслѣдующаго.

Во всей печати въ мірѣ, и слѣдовательно и русской, существуютъ два рода органовъ: одни смотрять дальше, другіе ближе, одни хотятъ скорѣе, другіе медленнѣе, одни довольствуются меньшимъ числомъ одномыслящихъ людей, другіе требуютъ ихъ большинства. Обыкновенная практическая жизнь складывается не по заявленіямъ меньшинства и если какое-либо его мнѣніе становится мнѣніемъ большинства печати, то значить, что это мнѣніе есть несомнѣнная истина. Все это повторяется и у насъ. Какъ на несомнѣнный фактъ мы уважемъ на такіе этого рода, туго-убѣждающіеся органы, какъ «Русскій Курьеръ» новой редакціи и «Южный Край» новой редакціи. «Р. К.» говоритъ: «Повторяющіеся изъ года въ годъ неурожаи во многихъ мѣстностяхъ и сопровождающіе ихъ нужда и недостатокъ продовольствія населенія—становятся у насъ явленіемъ, такъ сказать, зауряднымъ, хроническимъ, и во всякомъ случаѣ нетерпимымъ для каждаго благоустроеннаго государства. Хотя и важно, конечно, излечивать каждый появляющійся народный или общественный недугъ во время, но еще важнѣе и необходимое подыскивать необходимыя средства и примѣнять ихъ къ дѣлу, чтобы уничтожить въ корнѣ самыя причины появленія этихъ народныхъ недуговъ. Благодаря статистическимъ свѣдѣніямъ, собраннымъ нѣкоторыми земскими управами, а также и тѣми, въ которыхъ уже случались неурожаи, народная нужда и даже голодовки,—кажется, набралось уже достаточно данныхъ, при помощи которыхъ уже вполне возможно объяснить причины, послѣдствія и значеніе для государственнаго благосостоянія неурожаевъ и голодовокъ на Руси».

Хотя эти разсужденія, послѣ мѣръ, принятыхъ мин. гос. им., оказываются разсужденіями заднимъ числомъ, но иногда «Р. К.» разсуждаетъ и впередъ числомъ. Такъ по поводу слуховъ о предполагаемыхъ будто-бы взысканіяхъ съ сельскихъ рабочихъ за не-

еволюціе нми условій найма, «Р. К.» говорить: «Мы считаемъ основательность этого слуха по меньшей мѣрѣ сомнительною. Это значило-бы воротиться далеко назадъ, къ тѣмъ временамъ, когда неисполненіе обязательства влекло за собою уголовное наказаніе. Если прослѣдить отъ начала до конца исторію и развитіе каждаго отдѣльнаго института, можно замѣтить, что вся исторія ихъ сводится къ постепенной замѣнѣ личной охраны правъ—охраною матеріальною; личное обезпеченіе договоровъ уступаетъ мѣсто обезпеченію вещному. Отмѣною личнаго задержанія за долги наше законодательство закончило путь смѣшенія гражданскихъ правонарушеній съ наказуемыми уголовнымъ закономъ дѣянiями. Юристы смотрятъ на это смѣщеніе какъ на анахронизмъ, возможный въ то время, когда не выработалась способность обобщеній, дающая возможность примѣнять одинаковыя начала къ однороднымъ явленіямъ. Смѣшеніе неисполненія обѣщанія или гражданскаго обязательства съ наказуемымъ дѣянiемъ представляется теперь, по установившейся и въ кодексахъ и въ теоріи ясности юридическихъ понятій, почти невозможнымъ; а возведеніе его въ законъ просто невѣроятнымъ. Уголовный кодексъ имѣетъ своимъ предметомъ не охрану имущественныхъ правъ вообще, а только охрану отъ извѣстныхъ опредѣленныхъ способовъ дѣйствія. Почему въ самомъ дѣлѣ не преслѣдовать уголовнымъ судомъ не заплатившаго въ срокъ должника, обманувшаго своего кредитора? Отчего не посадить въ тюрьму человѣка, неисполнившаго подряда, отказавшагося совершить купчую крѣпость и нанять квартиру? А портной или сапожникъ, не исполнившій въ срокъ заказа, поварь, не доставившій обѣдъ къ назначенному часу—почему-бы и имъ не посидѣть подъ арестомъ? Вотъ до чего можно дойти, идя логически по этому пути».

Затѣмъ въ другомъ мѣстѣ «Р. К.» ссылается на мѣстные изысканія и на изслѣдованія официального лица, г. Трирогова. Опровергая постановленіе балашовской уѣздной управы, стоящей за взмысканіе съ рабочихъ и систему принудительности, «Р. К.» беретъ изъ «Саратовскаго Дневника» указаніе на причины неисполненія рабочими договоровъ. Причиной оказывается нужда, заставляющая рабочаго продавать свой трудъ не во время. «Насколько невыгодна подобная сдѣлка для рабочихъ, видно изъ того, на примѣръ, что плата за жнитво экономической десятины въ урожайные годы во время самой работы повышается до 10—12 р., за косьбу до 3 р. безъ вязки въ снопы, посѣвъ весной стоитъ до 5—6 р., тогда какъ при зимнемъ заподрядѣ крестьянинъ беретъ только за 8—10 р. засѣять экономическую десятину, съ нея-же сжать и обмолотить урожай и свезти зерно въ амбаръ. Такимъ

образомъ своевременный наемъ непосредственно предъ работами является для крестьянина несравненно выгоднѣе. чѣмъ запродажъ зимой. Крестьянина вынуждаетъ такъ дешево отдавать свою рабочую силу—какъ доказываютъ изслѣдованія—недостатокъ средствъ для уплаты податей, недостатокъ хлѣба на зиму и условія аренды земли. При заключеніи арендной сдѣлки здѣсь вносится впередъ значительная часть арендной платы: «неимѣніе ея въ наличности влечетъ запродажу по дешевой цѣнѣ личнаго труда». «А такъ какъ—говоритъ г. Трирогсвъ—поставленныхъ въ такое положеніе цѣля тысячи, то рынокъ переполняется предложеніями, что неминуемо влечетъ, при несоотвѣтственномъ спросѣ, пониженіе цѣны на трудъ...». «Такое принудительное положеніе личнаго труда именуется народною кабалою, а самый рабочій трудъ—кабальнымъ. Эта особенность личнаго труда могла-бы составить особый отдѣлъ русской политической экономіи». Кабальный трудъ, на видимую дешевизну котораго легко идутъ частновладѣльческія хозяйства, не имѣющія достаточнаго основнаго капитала, оказывается нерѣдко разорительнымъ и для самихъ нанимателей. «Дешевая цѣна находитъ на болѣе, чѣмъ дорогую. Кабальный рабочій старается какъ можно скорѣе кончить работу, а потому у него она выходитъ хуже, и рабочій всегда старается закабалиться въ ту экономію, гдѣ менѣе надзора». Являясь со стороны землевладѣльцевъ результатомъ узко-стороннаго пониманія хозяйственныхъ выгодъ и главное—слѣдствіемъ недостатка у частновладѣльческихъ экономій основнаго капитала для правильнаго веденія хозяйства, практикуемая этими экономіями кабальная наемка рабочихъ, говоря словами г. Трирогова, «хронически разрушаетъ экономическія силы цѣлыхъ семей, а нерѣдко и цѣлыхъ земельныхъ общинъ изучаемаго нами края».

«Южный Край», по поводу того-же вопроса, дѣлаетъ указаніе на Пруссію. «Въ Пруссіи рабочими уставами (*Gesindeordnungen*), дѣйствовавшими до 1818 года, требовалась при отпускѣ рабочаго аттестація, и, кромѣ того, при всякомъ наймѣ полагался болѣе или менѣе долгій срокъ для предъявленія со стороны рабочаго отказа. Но на практикѣ ни та, ни другая мѣра не оказалась исполнимою. Затѣмъ въ 1846 году въ Пруссіи было издано положеніе о рабочихъ книжкахъ, но оно въ дѣйствительности не было примѣнено, такъ какъ стѣсненіе, вызванное этими книжками, подѣйствовало на уменьшеніе числа рабочихъ, вслѣдствіе чего цѣны на рабочихъ увеличились. Вслѣдствіе этого наниматели сами стали уклоняться отъ закона, изданнаго въ ихъ пользу, принимая при крайней нуждѣ и дурно аттестованныхъ рабочихъ или даже вовсе не предъявившихъ книжекъ. Вообще мѣра эта оказалась настолько

неудачно, что, когда, по примѣру Пруссіи, такой-же законъ былъ предложенъ, въ 1856 году, въ Мекленбургѣ, ландтагъ, состоявшій изъ огромнаго большинства землевладѣльцевъ, отвергъ проектъ правительства. «Не постигнетъ-ли такая-же судьба и тѣ драконовскіе законы, которые проектируются нѣкоторыми политиками противъ рабочихъ? Не придется-ли этимъ господамъ въ томъ случаѣ, если-бы ихъ мечты осуществились, хлопотать о возстановленіи теперешнихъ порядковъ, о которыхъ они отзываются съ такою горечью?» замѣчаетъ «Ю. К.»

Но самымъ драгоценнымъ и руководящимъ указаніемъ служить, конечно отзывъ корреспондента, помѣщенный въ отчетѣ за 1883 годъ департаментомъ земледѣлія. Вотъ что говоритъ нашъ оффиціальныи источникъ. «Что рабочіе въ настоящее время сплошь и рядомъ терпятъ при заключеніи договора найма, если не больше, то и не меньше нанимателей,—въ этомъ нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія. Какъ производится наемъ рабочихъ въ Новороссіи? Одна изъ одесскихъ газетъ, разбирая рефератъ ген.-маіора Лишина, читанный въ концѣ прошлаго года въ засѣданіи вольно-экономическаго общества, говоритъ: Обыкновенно наемъ рабочихъ для сельско-хозяйственныхъ работъ производится на сторонѣ, черезъ факторовъ-евреевъ, которые дерутъ и съ нанимаемаго и съ нанIMATEЛЯ хорошии процентъ. Съ рабочихъ еврей беретъ, сколько сможетъ, но не меньше 1 р. съ каждаго человѣка, а съ нанимателя за каждаго рабочаго беретъ уже не меньше 2 р.; затѣмъ, расходы на контракты, которыхъ старается совершать какъ можно больше, да на волость, гдѣ они свидѣтельствуются, да расходы на поѣздки и разныя другіе, такъ что каждыи рабочій обходится по крайней мѣрѣ по 10 р., если не больше; кромѣ наемной платы, наприм., для срочныхъ взрослыхъ за 5—6 мѣсяцевъ до 85 р., а за мальчиковъ, отъ 10 до 16 лѣтъ—до 45 р. и деньги наемныя выдаются почти всѣ впередъ, а остальные рабочіе выбираютъ во время работъ. Что-же касается тѣхъ, которые не придуть на работы, хотя еврей обязывается доставить ихъ непременно, но почти никогда не исполняетъ этого, какъ и тѣхъ, которые уйдуть съ работы до срока, то деньги, имъ выданныя, конечно пропали. Можно-ли при такой организаціи комиссіонерства, падающей тяжкимъ бременемъ и на нанимателей и на нанимающихся, немилосердно карать рабочихъ, вытаскивавшихъ каштаны изъ огня отнюдь не для себя, за всякое нарушеніе контракта? Чего можно добиться мѣрами строгости при такой безурядицѣ и безпомощности, которыми отличается положеніе поволжскихъ «страдниковъ», то есть полевыхъ рабочихъ? Ежегодно,—читаемъ въ одномъ изъ послѣднихъ №№ «Саратовскаго Дневника» —еще ранней весной, къ

«Дѣло» № 5, 1884 г. II.

болѣе люднымъ пунктамъ Поволжья приходятъ партіи рабочихъ изъ губерній: Пензенской, Тамбовской, Симбирской и другихъ. Весь этотъ рабочій людъ нанимается на пашню, а потомъ на сѣнокосъ къ занимающимся земледѣіемъ въ болѣе широкихъ размѣрахъ; иные, окончивъ пашню, углубляются въ степи Дона и Урала, гдѣ и работаютъ во время сѣнокоса. По уборкѣ сѣна, къ пришлымъ массамъ рабочихъ, изъ тѣхъ-же губерній, приходятъ другія массы, всегда въ нѣсколько разъ большія съ подавляющимъ большинствомъ женщинъ. Обыкновенно всѣ рабочіе во времени созрѣванія хлѣбовъ въ Поволжьѣ собираются въ обычные пункты, служащіе для найма жнецовъ. Наблюденія показываютъ, что вся масса рабочихъ распредѣляется по пунктамъ совершенно случайно и далеко неравномѣрно, относительно спроса на рабочія руки. Въ извѣстный пунктъ рабочіе идутъ потому, что въ прошломъ году тутъ давалась большая, противъ другихъ, цѣна; другіе—потому, что, молъ, другіе идутъ сюда, такъ намъ-то что-же не идти и т. п. Въ результатъ получается, что въ большей части пунктовъ предложеніе со стороны рабочихъ далеко превышаетъ спросъ, цѣны падаютъ, рабочіе, не имѣя въ запасѣ на прокормъ и не зная, гдѣ нужны рабочія руки, невольно соглашаются на самую минимальную цѣну. Часто случается, что нѣкоторая часть,—это бываетъ въ началѣ работъ,—не находитъ для себя нанимателей и и побирается «Христа ради», чтобы не умереть съ голоду. Разъ въ большинствѣ пунктовъ цѣна на заработокъ понижена, уже трудно бываетъ поднять ее на ту высоту, которая должна-бы быть соотвѣтственна спросу—предложенію. Это пониженіе цѣнъ искусственно поддерживается находчивостью и опытностью нанимателей, и вотъ какимъ способомъ. Крупный наниматель извѣщается жумовьями, пріятелями, а иногда и собственными приказчиками, о количествѣ рабочихъ рукъ и цѣнѣ пункта, гдѣ цѣны, вслѣдствіе наплыва, пали, и если въ его районѣ рабочихъ рукъ мало и цѣны высоки, то онъ посылаетъ лицо въ тотъ пунктъ или извѣщаетъ приказчика нанять рабочихъ, принимая иногда, смотря по расчету, мизерную часть расходовъ по перевозкѣ: такъ разрушается высокая цѣна его района и устанавливается пониженная другого. Чтобы не остаться безъ дѣла и рабочіе его района невольно соглашаются на пониженную цѣну. При такого рода системѣ можно-ли считать уголовными преступниками рабочихъ, недобросовѣстно относящихся къ своему дѣлу?»

«Мы далеки отъ мысли утверждать,—заключаетъ «Южный Край,— что отношенія между хозяевами и рабочими не оставляютъ желать ничего лучшаго, что хозяева не страдаютъ отъ недобросовѣстности рабочихъ, мы хотѣли только въ *pendant* къ авторамъ

«строжайшихъ» проектовъ показать другую сторону медали. Зло, о которомъ они кричатъ, существуетъ, но его нельзя искоренить тѣми лекарствами, которыя ими рекламируются. Зло существуетъ, но отъ него страдаютъ не только наниматели, но и нанимающіеся, и этого нельзя упускать изъ виду, когда предлагается та или другая регламентація. Авторы-же «строжайшихъ» проектовъ конечно совершенно напрасно питаютъ надежду, что правительство станетъ на ихъ сторону и отнесется односторонне къ вопросу, затрагивающему столь важные интересы деревни».

Эти-же самые важные интересы деревни выдвинули еще одинъ очень серьезный практическій вопросъ: вопросъ о необходимости усиленія вліянія крестьянъ на ходъ земскаго дѣла. Земское представительство, въ большинствѣ случаевъ состоящее изъ лицъ, чуждыхъ земледѣльской деревенской средѣ, часто или тормазитъ улучшеніе народнаго быта, или относится къ нему апатично, а въ иныхъ случаяхъ, сочувствуя нуждамъ крестьянства, неумѣло ихъ удовлетворяетъ и этимъ болѣе походить на филантропическое учрежденіе, чѣмъ на земское представительство. Такимъ образомъ безъ достаточнаго численнаго перевѣса истинно народныхъ элементовъ, земство является представителемъ тѣхъ-же правящихъ классовъ (землевладѣльцевъ и капиталистовъ), а не всего населенія. По дѣйствующему положенію о земскихъ учрежденіяхъ, сельскимъ обывателямъ предоставлено право избирать извѣстное число гласныхъ въ уѣздное земское собраніе и хотя это число иногда значительно и въ нѣкоторыхъ земствахъ достигаетъ половины всего числа земскихъ гласныхъ, но это нисколько не мѣшаетъ de facto оставаться крестьянамъ въ земствѣ безъ дѣйствительныхъ представителей. По поводу этого вопроса читался профессоромъ А. Д. Градовскимъ въ петербургскомъ юридическомъ обществѣ рефератъ о сельскихъ избирательныхъ сѣздахъ. Въ рефератѣ перечислены общезвѣстные недостатки крестьянскихъ избирательныхъ сѣздовъ: незначительное число гласныхъ отъ крестьянъ, третъестепенность выборовъ, давленіе на свободную волю избирателей разнаго всеильнаго деревенскаго начальства и дозволеніе быть гласными отъ крестьянъ волостнымъ старшиимъ и писарю, безгласность которыхъ на земскомъ собраніи и рабская зависимость отъ полиціи всѣмъ извѣстны. Далѣе въ рефератѣ изложены и мѣры, которыя могли-бы устранить нынѣшнее несовершенство. Послѣ прочтенія реферата и продолжительныхъ преній, занявшихъ два засѣданія, административное отдѣленіе юридическаго общества признало необходимымъ: измѣненіе законодательства относительно выборовъ, какъ въ крестьянскомъ, такъ и въ другихъ землевладѣніяхъ; уничтоженіе третъестепенныхъ выборовъ и прибли-

женіе избираемыхъ къ избирателямъ; избраніе сельскими общинами депутатовъ прямо на избирательный съѣздъ помимо волостнаго схода; и измѣненіе отношеній волостныхъ старшины и писаря къ полиціи съ оставленіемъ за ними права выбираться въ гласные. Этотъ вопросъ «Р. К.» справедливо называетъ не новымъ; но до сихъ поръ онъ былъ не новъ въ теоретическомъ отношеніи. Теперь же онъ уже настолько назрѣлъ въ общественномъ сознаниіи, что не только въ земствѣ среди купечества, но и въ крестьянствѣ начинаетъ являться выборная оппозиція противъ «воротилъ», противъ практикующихся оцѣнокъ и вообще противъ той системы беззастѣнчиваго «хозяйничанья», которая интересы земства свела къ интересамъ кучекъ и партій съ ихъ взаимными выборами.

Н. Ш.

СОДЕРЖАНИЕ ПЯТОЙ КНИЖКИ.

- Лѣто въ деревнѣ. (Очерки) I—IV *Н. Р.*
- Школа борьбы въ социологіи (Окончаніе). *Л. Мечниковъ.*
- Сафо. Романъ Альфонса Додэ. Переводъ *А. Москвина.*
- Потомокъ рода Ветрищевыхъ. Романъ.
(Часть первая). Гл. I—IV. *Ахтарумова.*
- Доля. Разсказъ. (Съ польскаго) *Севера.*
- Изъ прекраснаго далека. (Путевыя за-
мѣтки) *Н. Ш.*
- Руфина Каздоева. Романъ въ 5-ти ча-
стяхъ. Часть вторая. (Гл. IX—XV). *Е. Ардова.*
- Пессимисты. I. Шопенгауеръ *А. Красносельскаго.*
- I. Крестины.—II. Человѣкъ, кружку
пива!—III. Сожалѣніе.—IV. Мой
дядя Жюль. Новые разсказы. *Гюи де-Мопассанъ.*

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

- Что читають народу? *Н.*
- Участіе земства въ развитіи крестьян-
скихъ промысловъ *Б. Л.*
- Новые книги.
- Заграницею. (Политическая и социаль-
ная хроника) *Жика.*
- Годовые итоги русской живописи. *В. Острогорскаго.*
- Изъ домашней хроники *Н. Ш.*

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ВО ВСѢХЪ ИЗВѢСТНЫХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ
ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ ИЗДАНІЯ РЕДАКЦІИ ЖУР-
НАЛА «ДѢЛО».

Сочиненія Г. Е. Благосвѣтлова. Съ портретомъ, біографіей автора и предисловіемъ Н. В. Шелгунова. Изданіе Е. А. Благосвѣтловой. Цѣна 3 руб. 50 к., съ пересылкою 4 руб.

Популярная гигиена. Настольная книга для сохраненія здоровья и рабочей силы въ средѣ народа. *Карла Реклама*. Перев. съ нѣмца. Изданіе пятое. 1882 г. съ приложеніемъ «Военной гигиены» д-ра Вейнана съ рисунками. Цѣна 2 р., съ пересылкой 2 р. 30 к.

Спартакъ. Историческій романъ *Рафаэля Джіоанноли*. Переводъ съ итальянскаго. Цѣна 2 руб., съ пересылкою 2 р. 30 к.

Избранныя рѣчи *Джона Брайта*. Съ біографическимъ очеркомъ и портретомъ автора. Переводъ съ англійскаго подъ редакціей Г. Е. Благосвѣтлова. Цѣна 2 р. съ перес. 2 р. 30 к.

Однимъ въ полѣ не воишь. Романъ *Ф. Шпиллягена*. Перев. съ нѣмецкаго. Изданіе четвертое, съ портретомъ автора и предисловіемъ Г. Е. Благосвѣтлова. Два тома около 60-ти печатн. листовъ. Цѣна 3 р., съ перес. 3 р. 50 к.

Десятисто-третій годъ. Романъ *В. Гюю*, въ двухъ томахъ. Переводъ съ французскаго. Цѣна 2 р., съ перес. 2 р. 40 к.

Современные политическіе дѣятели. (Біографіи и характеристики). *Э. Реклю* (М. Триго). Цѣна 2 р., съ перес. 2 р. 30 к.

Исповѣдь старика. Политическій романъ *Нипполита Ньего*. Перев. съ итальянскаго *В. А. Зайцева*. Цѣна 2 р., съ перес. 2 р. 30 к.

О подчиненіи женщнны. *Дж. Ст. Милля*. Переводъ съ англійскаго, подъ редакцію и съ предисловіемъ Г. Е. Благосвѣтлова. Въ концѣ книги приложена ст. *Юг. Шерра*: «Историческіе менсше типы». Изданіе второе. Цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 25 к.

Автобіографія *Джона Стюарта Милля*. Переводъ съ англійскаго, подъ редакціей Г. Е. Благосвѣтлова. Цѣна 1 р. 20 к., съ перес. 1 р. 50 к.

Вѣтъ общественныхъ интересовъ. Романъ *П. Ламьева*, изданный безъ предварительной цензуры. Цѣна 1 р. 50 к., съ перес. 2 р.

Американка. Романъ *Луизы Алькотъ*. Перев. съ англ. Цѣна. 1 р. 20 к., съ перес. 1 р. 50 к.

Усовершенствованіе и вырожденіе человѣческаго рода. *В. М. Флоринскаго*. Цѣна 50 к., съ перес. 70 к.

Сочиненія *В. М. Толстого*. (Повѣсти и рассказы), съ предисловіемъ *Д. И. Писарева*. Два тома. Цѣна 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 80 к.

Мертвая петля. Драма въ пяти дѣйствіяхъ. *Н. Потмакина*. Цѣна 1 р. 20 к. съ перес. 1 р. 50 к.

Записки военного. Беллетристическіе очерки, рассказы и картины изъ военного быта. Д. Гирса. Цѣна 1 р. 60 к., съ перес. 1 р. 80 к.

Отъ земли до луны 97 часовъ прямого пути. Ж. Верна. Переводъ съ французскаго. Цѣна 50 к., съ перес. 70 к.

Бриллиантовое ожерелье. Романъ Антони Троллопа. Перев. съ англ. Цѣна 1 р. 20 к., съ перес. 1 р. 50 к.

Идиотизмъ и тупоуміе. Соч. д-ра Н. П. Айрленда, съ предисловіемъ прое. Мершоевскаго. Переводъ съ англійскаго д-ра Томашевскаго, съ рисунками и генеалогическими таблицами. Цѣна 2 р. 50 к., съ пересылкою 3 р.

Происхожденіе человѣка и половой подборъ. Чарльса Дарвина. Переводъ съ англ., подъ редакціею Г. Е. Благосвѣтлова. Въ трехъ выпускахъ, составляющихъ около 80-ти печ. листовъ, съ 150-ю рисунками, рѣзанными на деревѣ. Цѣна трехъ выпускамъ 5 р., съ перес. 5 р. 60 к.

Теорія естественнаго подбора. Очерки Альфреда Россея Валласа. Перев. съ англ. Цѣна 1 р. 20 к., съ перес. 1 р. 50 к.

Вопросы общественной гигиены. В. О. Португалова. Около 40 печатныхъ листовъ. Цѣна 3 р., съ перес. 3 р. 50 к.

О питаніи въ физиологическомъ, патологическомъ и терапевтическомъ отношеніяхъ. Д-ра Жюль Сира. Перев. съ французскаго, подъ редакціею А. Н. Моригеровскаго. Цѣна 2 р., съ перес. 2 р. 30 к.

Уроки элементарной физиологіи. Т. Гексли. Перев. съ англ., съ предисловіемъ Д. И. Писарева. Изданіе третье. Цѣна 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 40 к.

Комедія всемірной исторіи. Гот. Шерра. Историческій обзоръ событій съ 1848 по 1851 годъ. Перев. съ нѣмецк. Два выпуска. Цѣна обоимъ выпускамъ 3 р., съ пересылкой 3 р. 50 к.

Исторія крестьянской войны въ Германіи. Д-ра В. Циммермана, составл. по лѣтописямъ и рассказамъ очевидцевъ. Перев. съ нѣмецкаго. Три выпуска, составл. болѣе 70-ти печ. листовъ. Изданіе второе. Цѣна трехъ выпускамъ 2 руб., съ перес. 2 р. 50 к.

На всѣ вышеозначенныя изданія подписчикамъ журнала «ДВЛО» уступается 20% съ номинальныхъ цѣнъ (стоимость книги безъ пересылки); пересылка на счетъ выписывающихъ.

Въ книжномъ магазинѣ **Б. РИКБЕРА** и другихъ продаются слѣдующія книги:

РУКОВОДСТВО КЪ ПРОПИСЫВАНІЮ ЛЕКАРСТВЪ,

составленное **WALDENBURG'**омъ (проф. въ Берлинѣ) и **SIMON'**омъ (аптек. въ Берлинѣ), переводъ съ послѣдняго (9-го) нѣмецк. изданія, измѣн. и дополн. сообразно Россійской Фармакопей.

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ (общая рецептура): подробный критическій обзоръ лекарственныхъ формъ для внутренняго и наружнаго примѣненія (сборы, порошки, пилюли, таблетки, конфеты, кашки, консервы, экстрактивные формы, молочная сыворотка, травяной сокъ, прижигательные карандаши, мази, припарки, пасты, ванны (лекарственные, паровыя, газовыя, души), окуриванія и т. д. Методы примѣненія лекарственныхъ формъ къ общимъ покровамъ (эндерматическій и гиподерматическій методы), въ слизистымъ оболочкамъ (рта, носа, зѣва, дыхательныхъ, мочевыхъ и половыхъ органовъ, прямой кишки, глаза, наружнаго слуховаго прохода). Клизтиры (опоражнивающіе, питательные, возбуждающіе, вяжущіе и др.). Выприскиваніе лекарственныхъ веществъ въ вены, —серозныя полости и кисты. Переливаніе крови.

II. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ: подробный обзоръ фармацевтическихъ препаратовъ, расположенныхъ въ алфавитномъ порядкѣ (при каждомъ препаратѣ указаны формы его употребленія, цѣлесообразность той или другой формы для того или другаго случая, corrigentia запаха и вкуса и терапевтическое примѣненіе), 2600 рецентныхъ формулъ, рекомендованныхъ извѣстными клиницистами (количества медикаментовъ выражены въ децимальномъ и нюренбергскомъ вѣсахъ; при каждомъ рецентѣ указана цѣна его по русской таксѣ); подробные фармацевтическій и терапевтическій указатели, указатель авторовъ и полная русская аптекарская такса.

Бол. томъ въ 908 стран. убористой печати, ц. 6 руб.

Замѣчательныя явленія растительной жизни.

Соч. *М. К. Кука*. Перев. съ англійскаго. Съ 55-ю рисунками. 273 стр. Цѣна 1 руб. 50 коп.

Отечество разводимыхъ растений по Декандолю. Цѣна 50 коп.

Иногородные, выписывающіе эти книги прямо изъ склада, находящагося при типографіи **Н. А. Лебедева** (Спб., Невскій просп. д. № 8), за пересылку не платятъ.

ЮНЬ 1884 — АПРѢЛЬ 1885.

ДѢЛО

ГОДЪ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

№ 6.

СОДЕРЖАНІЕ.

1. ЛѢТО ВЪ ДЕРЕВНѢ. Разсказъ. (Окончаніе) Н. Р.
2. САФО. Романъ А. Додэ. (Окончаніе).
Переводъ съ французскаго. Ѡ. И. Булгакова.
3. ИЗЪ «СТРАННЫХЪ РАЗСКАЗОВЪ»
ГРЭНТЪ ОЛЛЕНА: 1) Сватовство доктора Грэтрекса. 2) Эпизодъ изъ велико-свѣтской жизни. 3) Таинственное приключеніе въ Пьекадилли.
Переводъ съ англійскаго Д. Л. Михаловскаго.
4. СТИХОТВОРЕНІЯ: 1) «Въ безсонныя долгія ночи...» 2) «Гдѣ пвы и черныя ольхи такъ густо сплелися вѣтвями...» Кн. Э. Э. Ухтомскаго.
5. ИДЕАЛИЗМЪ И РЕАЛИЗМЪ НА
СЦЕНѢ Кн. Д. Н. Цертелева.
6. ЧУДАКЪ. Разсказъ. (Переводъ съ польскаго). Элизы Оржешко.
7. СТИХОТВОРЕНІЕ. «Когда въ борьбу съ судьбой вступаю впервые...» Кн. Д. Н. Цертелева.

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

8. РЕЛИГИОЗНАЯ ВОЙНА ВЪ СУДАНѢ. Н. С.
9. НОВЫЯ КНИГИ: *Н. Кармисевъ. Вѣчно-наслѣдственный наемъ земель на континентѣ Западной Европы. С.-Петербургъ, 1885 г.—Г. Блюменфельдъ. О формахъ землевладѣнія въ древней Россіи. 1884 г.—Mantegazza. La physionomie et l'expression des sentiments.*
10. НАУЧНАЯ ХРОНИКА. Движеніе въ области практическаго знанія въ 1884 г.
Лучное затмѣніе 23 сентября 1884 г. — Комета 1812 г. — Новая наблюденія надъ Марсомъ, Венерой, Сатурномъ и Ураномъ. — Окрашенные сумерки въ зиму 1883—1884 г. — Необычныя метеорологическія явленія. — Феноменъ голубаго солнца. — Серебристый вѣчикъ около солнца. — Предсказаніе погоды. — Проведеніе электрическаго свѣта на большія разстоянія. — Электрическіе желѣзно-дорожныя поезда. — Удачныя опыты управленія азростатами. — Полеты Ренара и Кребеа и братьевъ Тиссандье. — Воздушныя торпеды. — Работы на Панамскомъ каналѣ. — Положеніе проекта внутренняго моря въ Африкѣ. — Вопросъ о несгораемыхъ театрахъ. — Успѣхи китайцевъ въ артиллерійской техникѣ. — Вулканическій островъ въ Беринговомъ морѣ. — Землетрясеніе въ Англіи и Франціи. — Колебаніе моря въ Монтевидео. — Новый видъ ископаемаго морскаго млекопитающаго. — Гигантское насѣкомое. — Вновь открытое насѣкомое, вредящее винограду. — Жертвы укушеній ядовитыми змѣями. — Поющія рыбы. — Экспедиція Брадцы въ экваторіальную Африку. — Мадагаскаръ, какъ будущая французская колонія. — Бура, какъ антисептическое противухолерное средство. — Фильтрующая свѣча Шамберлана. — Холерная эпидемія 1884 г. — Значеніе дезинфицирующихъ средствъ. — Прививка яда бѣшеной собаки. — Прививка желтой лихорадки. — Излеченіе крупа **Д. А. Коропчевскаго.**
11. МЕЙНИНГЕНСКАЯ ТРУППА ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ **Д. К—ва.**
12. НОВЫЕ ПУТИ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ. **В. П. Острогорскаго.**
13. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ. Группировка державъ послѣ Берлинскаго конгресса. **С. Южакова.**
14. † Н. П. КОСТОМАРОВЪ. (Некрологъ). **И. Д—о.**

ОБЪЯВЛЕНІЕ: Объ изданіяхъ Ф. Павленкова.

О Т Ъ Р Е Д А К Ц И И.

Выпуская настоящую книжку, редація прежде всего руководилась необходимостью сохранить годичный срокъ на возобновленіе журнала, (последнею книжкою «Дѣла» въ прошломъ году была майская); сверхъ того редація сочла себя обязанной дать, по мѣрѣ возможности, прежнимъ подписчикамъ окончаніе статей и беллетристическихъ произведеній, начатыхъ печатаніемъ въ прошломъ году. Въ теперешней книжкѣ читатели найдутъ окончаніе разсказа М. К. Цебриковой (Н. Р.) — «Лѣто въ деревнѣ», и окончаніе романа «Сафо». Не имѣя возможности, по снѣжности времени, приготовить новый переводъ этого романа, редація воспользовалась, по соглашенію съ переводчикомъ и издателемъ журнала «Изящная Литература», переводомъ Ѳ. И. Будгакова, который и печатается съ нѣкоторыми измѣненіями.

Слѣдующая книжка журнала «Дѣло» выйдетъ, согласно сдѣланныхъ публикацій, въ іюль 1885 г.

Д Ъ Л О

ЖУРНАЛЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКІЙ

ГОДЪ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ.

№ 6.



1884—5.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ 1-го мая 1885 г.

ЛѢТО ВЪ ДЕРЕВНѢ.

Очерки.

V.

Первые дни послѣ пріѣзда моего сѣялъ мелкій частый дождь и день и ночь безъ перерыва. Я перебирала съ Афимьей Егоровной куски полотень и холста, вороха бѣли, нитокъ, пряденой шерсти и груды бѣлья и вещей всякаго рода. Она сортировала все и считала, иногда отрываясь отъ дѣла, чтобы прикрикнуть на дочь свою, Фишу, рослую черноглазую дѣвочку лѣтъ двѣнадцати, которая, съ разгорѣвшимися глазами, вертѣлась и юлила около насъ, подъ предлогомъ помогать, но въ сущности для того только, чтобы подержать въ рукахъ всякія прелести, въ родѣ вылинялыхъ затканныхъ бархатомъ и золотомъ лентъ, лоскутковъ штофа, шелковыхъ и шерстяныхъ платочковъ. Фиша—большая кокетка, хотя какъ двѣ капли воды напоминаетъ лицомъ и сложеніемъ мать.

— Чего зубы скалишь? вонъ пошла! и Афимья Егоровна дала дочкѣ здороваго тумака.—Смотри, если ты хоть одной живой душѣ слово никнешь о томъ, что тутъ видѣла и для чего мы все считаемъ и переписываемъ... Помни, что отецъ говорил!..

Фиша отошла въ уголь, продолжая пожирать глазами кучу пестрыхъ лоскутьевъ, лежавшую на полу.

— Акимъ Ѳедотычъ строго-на-строго приказалъ ни слова не говорить о томъ, что вы вещи будете раздавать, таинственно зашептала мнѣ Афимья Егоровна.—Разговоры пойдутъ, намъ житья не будетъ, да и вамъ безпокойство.

— Какое-же безпокойство, я не понимаю?

— Большое будетъ безпокойствѣ. Вы не знаете деревен-

„Дѣло“ № 6, 1884 г. I.

скихъ бабъ. Имъ каждый лоскутъ на диво. Все будутъ просить; а вы человекъ новый: кому дадите, кому не дадите,— все на насъ обижаться будутъ. Ужь вы, пожалуйста, никому до поры до времени сами не говорите.

И въ продолженіи почти недѣли нашей сортировки вещей Афімья Егоровна ежедневно дѣлала то же самое внушеніе и Фишѣ, и мнѣ.

Наконецъ, дождь пересталъ сѣять. Ѳедотычъ явился спросить—нѣтъ-ли писемъ: онъ ѣхалъ въ волость; тамъ должны быть привезены письма съ почты. Я поручила ему узнать,—нѣтъ-ли какихъ интересныхъ дѣлъ въ волостномъ судѣ.

Ѳедотычъ равнодушно повелъ на меня глазами. Афімья Егоровна остолбенѣла и разинула ротъ.

— Помилуйте, какія-же могутъ быть интересныя дѣла для васъ? Воровство или драка! придя въ себя, зачастила она, подбѣжавъ ко мнѣ.—Неужто вы, барыня, захотите поѣхать посмотрѣть? И ничего вы интереснаго не увидите, только голова разболится, да блокъ или чего похуже привезете. Какъ можно! И что это вамъ вздумалось!

— Затарантила!.. остановилъ жену Ѳедотычъ:—Отчего отскуки и не сѣздить. Узнаю...

Ѳедотычъ ушелъ. Въ передней слышу взволнованный голосъ послѣдовавшей за нимъ Афімьи Егоровны.

— Зачѣмъ вы не сказали барынѣ, Акимъ Ѳедотычъ, что волостной судъ совсѣмъ не такое мѣсто, чтобъ имъ ѣздить?.. А баринъ еще въ письмѣ наказывалъ, чтобы мы все имъ какъ слѣдуетъ...

— Ну, чего ты? Ну, и пусть сѣздить, коли такая охота. Барское дѣло...

Ѳедотычъ уѣхалъ. Въ домѣ и на дворѣ уже цѣлый часъ стоитъ мертвая тишина. Наконецъ, на крыльцѣ раздается пискливый пронзительный дискантъ Афімьи Егоровны, совершенно несоотвѣтственный ея росту и сложенію:

— Каждый день шляется,—стыда нѣтъ!.. Вчера дали вамъ столько ѣды, что на три дня всѣмъ троимъ-бы хватило...

Выхожу на крыльцо. На верхней ступенькѣ Афімья Егоровна, сильно прогнѣванная, машетъ руками:

— И ступайте вы прочь! Знаю я,—обмѣняли въ лавкѣ на пряники... Сегодня посидите не ѣвши,—будете умнѣе...

На нижней ступенькѣ стоитъ худая, на видъ семилѣтняя,

дѣвочка, съ плоскимъ скуластымъ лицомъ, вздернутымъ задорно вынюхивающимъ носомъ, и во всѣ глаза, съ видомъ полнѣйшей невинности, смотритъ на расходившуюся Афимью Егоровну. Дѣвочка—въ одной холщевой рубашкѣ, длинной и широкой, которая спалзываетъ съ ея костлявыхъ плечъ, и она безпрестанно вздергиваетъ то однимъ, то другимъ плечомъ, чтобы спрятать его подъ оторочку ворота. Несмотря на рѣзкій свѣжій вѣтеръ, который пузыремъ вздуваетъ рубашку, дѣвочкѣ, какъ видно, не очень холодно. Она не дрожитъ и не ежится, какъ два младшихъ брата ея, бѣловолосые, сѣроглазые мальчугана, стоящіе позади нея и съ тупою мольбою ловающіе взглядъ грозной Егоровны. Они совсѣмъ посинѣли, а младшій тяжело сопитъ, морщится и готовъ заплакать. Босые ноги всѣхъ троихъ красны и покрыты толстымъ слоемъ налипшей грязи.

Увидѣвъ меня, дѣвочка слезно морщитъ лицо и, обернувшись спиною къ Афимьѣ Егоровнѣ, существованіе которой она съ этой минуты перестаетъ признавать, затыгиваетъ жа-лобу:

— Барынька, благодѣтельницай будьте. Мать померши, тятка мачиху даль намъ злючую, все съ нею пропиваетъ; рубашоночки только эти однѣ на насъ, да по старому платьиш-ку изъ крашенины про святъ день бережемъ. Не кормятъ насъ тятка съ мачихой, голодомъ сидимъ, мы по цѣлымъ недѣлямъ. Христа ради, барынька родная, золотая! Братцы махонькіе... жалко-о!

Я смотрю на Афимью Егоровну и въ глазахъ ея читаю, что дѣвочка не все лжетъ.

— Барынька, золотая, Христа... ради съ голоду померемъ!.. тянеть дѣвочка.—Братцы махонькіе, голые...

Приказавъ накормить дѣтей, иду выбрать кое-что изъ бѣлья и теплыхъ кофтъ и отдаю имъ. Афимья Егоровна и довольна, и недовольна,—не разберешь на ея лицѣ. Дѣвочка жадно хватается вещи; младшій братъ вырываетъ у нея фланелевую кофту и закутывается съ головой. Онъ похожъ на заморен-наго звѣрка, забивающагося въ норку.

— Не отдамъ, не отдамъ! визжитъ онъ, топоча ногами, когда сестра заботливо оправляетъ на немъ кофту.

Афимья Егоровна, наконецъ, сообразила, какъ ей слѣдуетъ отнестись къ происходящему у нея передъ глазами.

— Смотри, ты, Лизка, если опять отнимешь у нихъ и на пряники промѣняешь, говорить она, грозя кулакомъ и кивая головой.—Срамъ... большая,—двѣнадцать лѣтъ дѣвкѣ...

— Барыня даетъ, не твое дѣло, фыркаетъ дѣвочка.—Я съ барыней говорю.

— Если промѣняешь, не дамъ ничего, и не смѣй сюда больше ходить, строго приказываю я.

— Эка бѣда, что разъ промѣняла. Сладенькаго всѣмъ хочца, возражаетъ, ни сколько не смутяся, Лизка.—Другимъ ребятишкамъ мамка и тятка гостинца привезутъ, а насъ только кулаками кормятъ.

При такомъ основательномъ отпорѣ, я не могу долѣе выдерживать тонъ педагогической строгости.

— Я дамъ гостинца, если вещи будутъ цѣлы и ты почишишь рубашку себѣ и братьямъ.

Афимья Егоровна смотритъ на меня съ неподдѣльнымъ восторгомъ. Слово, котораго она искала, сказано, и она скороговоркой накидывается на Лизку.

— Слышишь, барыня дѣло говорить. Што ты изъ моеѣ рубашки сдѣлала: на четверть по грязи волочилась, ободрала... нѣтъ того, чтобы подолъ подшить. А рукава, ишь,—въ одинъ Антропка, въ другой Еремка влѣзеть. И она треплетъ ее за рукава:—Нѣтъ того, чтобы изъ одного рукава два сдѣлать, а изъ другоѣ братанамъ починить рубашки. Я въ семь лѣтъ братановъ своихъ обшивала.

Лизка, не слушая ее, стояла, уставяся глазами въ меня и что-то соображая.

— А коли тятка съ мачихой пропьютъ, дашь ты гостинца или нѣтъ? спрашиваетъ она.—Чѣмъ-же я...

— Ты и соврешь на нихъ, что пропили, сурово перебиваетъ ее Афимья Егоровна.

— Пропьютъ — не твоя вина, но я узнаю—они-ли пропили или ты продала.

Я ухожу, дѣвочка идетъ за мною, ловко увернувшись отъ Афимьи Егоровны, хотѣвшей ее схватить. Въ передней она повторяетъ свои просьбы, перечисляя всѣ нужныя ей вещи. Я молча слушаю. Ей нужно—сарафанъ, платокъ, чулки, башмаки, шубейку,—все это необходимо; но, кромѣ этого, ей нужно—передникъ съ прошвой, корсетикъ, шерстяной платочекъ и крали. Последнее слово произнесено и съ мольбою,

и съ захлебывающимся восторгомъ. Крали—это разныя бусы, которыя здѣсь всѣ женщины, дѣвушки и даже крошечныя дѣвочки носятъ на шеѣ. Я нарушаю теорію современной педагогіи о безнравственности награды и обѣщаю крали, если она подошьетъ фланелевыя кофты по росту братьевъ. Послѣ этого, я считаю переговоры поконченными, но Лизка думаетъ иначе и, морща слезно лицо, хотя въ глазахъ еще искрится восторгъ отъ ожидаемыхъ краль, проситъ пятакъ или гривенничка, чтобы тятка и мачиха не били ее. Я отказываю и говорю, что мнѣ надо заниматься. Лизка уходитъ съ нытьемъ:

— Матушка барыня, золотая, не оставь... сироты имъ горькія, хоть и не сироты... Тятка съ мачихой ѣсть не даютъ, одежонки нѣтъ!..

Нѣсколько секундъ слышится въ окна со двора заученное нытье, пока Лизка полагаетъ, что я могу ее слышать. Потомъ она пускается бѣжать со всѣхъ ногъ; младшій братъ не можетъ поспѣть за ней и горько реветъ.— «Чертенюкъ проклятый, чтобы сдохнуть тебѣ! Валандайся съ тобой! Когда-жь ты поколѣнешь, свинья!» доносится до меня издалека злобный крикъ.

Послѣ почти недѣльнаго затворничества въ предѣлахъ усадьбы, я собираюсь пройтись, не внимая протесту Афиимы Егоровны, увѣряющей, что въ такой грязи не вынесешь ножекъ и что если мнѣ удастся благополучно спуститься подъ гору, то ужъ назадъ, въ гору, я ни подъ какимъ видомъ не поднимусь. Впрочемъ, болѣе всѣхъ могущихъ случиться со мною злоключеній, она опасалась, что прогулка моя задержитъ меня долѣе трехъ часовъ, — время, когда я, волей-не-волей, должна была обѣдать, если не хотѣла ѣсть все пересушеннымъ или перепрѣвшимъ.

Отстоявъ независимость свою по отношенію къ прогулкѣ, я спустилась по скату горы, скользкому отъ размытой глины, и тяжело зашагала по тропинкѣ, перерѣзывавшей поле подъ паромъ и повертывавшей въ концѣ его къ рѣкѣ. Одинъ край поля невысокимъ, но крутымъ обрывомъ спускался къ такъ называемому Сухому Ручью, небольшому оврагу, который въ пору таянія снѣговъ превращался въ бурный ручей. Оврагъ отлого спускался къ рѣкѣ. По ту сторону его, поднимавшуюся высокою, почти отвѣсною стѣною, шли ракетинскія поля, и по нимъ бродили тощія коровенки, крошечныя овцы и свиньи.

До меня донесся тоненькій пронзительный голосъ, кричавшій что-то въ родѣ: «Бариня!» Я оглянулась. Съ ракетинскаго поля, по почти отвѣсной стѣнѣ оврага, спускался какой-то мѣшокъ тряпья на двухъ тоненькихъ ножкахъ, изъ котораго выходили двѣ руки, одна опиравшаяся на палку, другая размахивавшая для поддержанія равновѣсія; головы вовсе не было видно. Я остановилась и стала вглядываться. Въ верху мѣшка, изъ круглаго отверстія, было обращено ко мнѣ крошечное красное лицо, но трудно было опредѣлить, — какому человѣческому существу оно принадлежало, молодому или старому, мальчику или дѣвочкѣ. Существо, раскачиваясь и перекидываясь изъ стороны въ сторону, ловко и быстро спускалось съ помощью палки, и черезъ минуту-другую, перейдя черезъ оврагъ, стало взбираться наверхъ, навстрѣчу мнѣ.

Теперь я разглядѣла крошечную старушонку, въ сѣромъ балахонѣ, повязанномъ веревкой; голова и шея ея были въ нѣсколько разъ обмотаны толстымъ полотномъ, такъ что очертанія ихъ совершенно исчезали и вся фигура старухи съ макушки головы до ногъ казалась мѣшкомъ. Босня, красныя и растрескавшіяся ноги болтались въ огромныхъ лаптяхъ, прикрѣпленныхъ холщевыми полесами. Старуха хрипѣла и задыхалась, усиливаясь подняться до меня. Ей оставалось всего шага три, но спускъ сильно утомилъ ее. Крупныя капли пота текли по красному, усыпанному почти сплошными веснушками лицу, и дрожали на углахъ полуоткрытаго беззубаго рта; въ глазахъ стояло растерянное и осовѣлое выраженіе. Она раза два попыталась взобраться и скатывалась назадъ. Я протянула ей руку, но она замахала отчаянно руками: «Нѣтъ, бариня, нѣтъ, какъ это можно вашей ручкой, — запачкаетесь». И никакими убѣжденіями нельзя было заставить ее согласиться. Наконецъ, старуха отдышалась, выбрала мѣсто поудобнѣе и взобралась наверхъ. Она оправила холстъ, намотанный какой-то чалмой на головѣ, спрятала выбившіяся пряди жесткихъ, войлокомъ свадявшихся, каштановыхъ волосъ и окинула меня крошечными, юркими водянисто-карими глазами, причемъ маленькій сухой носъ ея, вздернутый кверху, съ открытыми большими ноздрями, презабавно морщился, точно вынюхивая воздухъ.

— Будемте знакомы, бариня, проговорила она голосомъ,

задыхающимся отъ усталости, и протянула сухую, какъ щепка, руку. — Ручку пожалуйте.

Я ручки не дала и облобызалась со старухою.

— Бариня! Дай тебѣ много лѣтъ Господь здравствовать. Не брезгуешь нашей сестрой. Наше дѣло сиротское, намъ ласка дорога. Спаси тебя, Господи!

Вздернутый носъ вздернулся еще выше, юркіе глазки уставились въ небо, и сухая рука, съ быстротою ловкаго фокусника, отмахала крестъ.

— А что, вы хозяйка будете Соколова? спросила старуха, подвигаясь ко мнѣ и чуть не трепеща отъ любопытства.

— Нѣтъ.

— Такъ сродственница, — замѣсто хозяевъ всѣмъ заправлять пріѣхали?

— Нѣтъ. Пріѣхала на чистомъ воздухѣ деревенскомъ поправиться.

Лицо старухи выразило сильное разочарованіе.

— Такъ, такъ, закивала она головой, — здѣсь воздухъ легкій, вольный, деревенскій, не то что городской. Ну, поправляйся на здоровье, родименькая бариня.

Я двинулась-было съ мѣста, но старуха удержала меня за полу пальто и принялась любовно щупать и тереть сукно.

— Вотъ ужъ сукнецо, — и мягкое, и теплое, и легкое что твой пухъ, и на плечахъ не слышно... А на головкѣ платочекъ, — и костлявая рука забрала конецъ вязанаго платка и принялась такъ-же любовно мять его. — Тепло головкѣ и шейкѣ. Не надо обматывать вотъ эдакъ, какъ у меня, что головы не повернуть.

Завистливыя искорки мелькнули въ юркихъ глазахъ и тотчасъ исчезли, а лицо приняло заискивающее, подобострастное выраженіе.

— Не обезсудь, бариня, старуху глупую, съ низкимъ поклономъ слѣшила извиниться моя новая знакомка: — Изъ ума выживаю, такъ съ языка и лѣзутъ слова непутевыя. Смѣю-ли я, холопка природная, съ вами равняться. Хошь и вольная стала, а все въ холопствѣ рождена, и потому завсегда свое мѣсто помнитъ должна.

— Да вы ничего такого не сказали.

— Какъ ничего, матушка бариня? Это ужъ такъ, по добротѣ вашей, вы не осуждаете. А смѣй-ка я прежней барынѣ какой

это сказать—и-и-и, Господи, что было-бы! Матушка бариня, не попомни мою глупость.

Старуха казалась дѣйствительно встревоженной; я успокоиваю ее и хочу идти, но она снова удерживает меня.

— Дай Богъ тебѣ здоровья; поправляйтесь, бариня, на вольномъ воздухѣ деревенскомъ. Ишь, зеленая какая. И съ чего это господа только больны бываютъ? Ёда сладкая въ волю, въ теплѣ—въ холѣ живутъ, заботь—горя нѣтъ; видно, ужь воля Господня такая, скороговоркой дребезжить старуха.— Намъ-то болѣть есть отъ чего. Житѣ тяжелое. Вотъ, хоть-бы я живу. Съ малой внучкой скотину пасу; съ утра до ночи, вотъ, вторую недѣлю грязь мну; и одежки теплой нѣтъ... Смотри-кась, баринька: что было тряпья,—все наvertsяла на себя. На горѣ вѣтеръ хуже мороза проймаетъ, какъ день-деньскою тутъ топчешься... ну, и наvertsишь на себя тряпья.

Она раздвинула толстыя складки разныхъ тряпокъ, наверхенныхъ подъ дыравымъ кафтаномъ, и показала изкрасна коричневую шею и часть груди. Тонкая сухая кожа обтягивала кости; глубокая впадина шеи чернѣла... Мнѣ въ первый разъ пришлось видѣть такую страшную худобу.

— Вотъ какая я стала, баринька, съ житья нашего горькаго, сиротскаго; краше въ гробъ кладутъ, все тою-же скороговоркой дребезжала старуха, моргая красными вѣками безъ рѣсницъ и довольная произведеннымъ впечатлѣніемъ.— Какъ жива была покойница баринья Елена Петровна—все легче было, помогала намъ. Я вдова баринька роденькая, двадцать лѣтъ вдовѣю... вотъ съ внучкой скотъ пасу,—тѣмъ и жива. Изба въ запрошлый годъ сгорѣла, сусѣди въ клѣтъ пустили жить... холодно, матушка... какъ не померли съ холоду,—ужь это Божье чудо. Въ это лѣто поставили свою хибарочку, а топить-то не чѣмъ. Баринька, дровецъ-бы намъ... да вы не хозяйка, съ сожалѣніемъ протянула она.

Я спросила—есть-ли у нея дѣти въ живыхъ.

— Есть, матушка. Сынъ одинъ въ солдатахъ; другой былъ да померъ послѣ какъ старшій въ солдаты ушелъ. Дочери двѣ: одна замужемъ за двадцать версть, бѣдно живетъ, семья большая; другая—вдова, по сусѣдству замужъ выдана была. Я вмѣстѣ съ нею живу. Бѣдно живемъ, съ пожара не справимся; все добро сгорѣло... и французскій платокъ сгорѣлъ. Вижу я, горить,—я на полѣ была,—прибѣжала безъ памяти,

въ огонь кинулась, вынесла черепки какіе-то, а корзинку-то, гдѣ французскій платокъ лежалъ, и не въ домѣкъ, а подъ рукой была. Память отшибло со страха... А платокъ-то какой былъ... по малиновому полю сѣрый горошекъ въ перемежку со звѣздочками,—и узоръ веселенькій, и по годамъ прилично. Съ тѣхъ поръ, матушка бариня, и въ святъ-день-праздникъ все холстомъ голову повязываю, словно покойница. Матушка, не будетъ-ли у васъ такого платочка, аль чего изъ одеженьки? закончила старуха почти шопотомъ, приподнимаясь на носки и дотягиваясь до моего уха.

Я общалась ей. Нищета была такъ очевидна, что всякія справки были излишни. Старуха, которой навѣрно было за шестьдесятъ лѣтъ, нашла скоть.

— Спасибо, родная, пошли тебѣ Господь,—и сухая рука снова отмахала крестъ съ тою-же неуловимою быстротою, и крошечное высохшее лицо покраснѣло отъ радости, а въ глазахъ заискрилось самодовольство и дѣтское лукавство.—Вотъ какъ хорошо, что я пошла повстрѣчать тебя. Сверху вижу,—идетъ бариня, а чья такая—не знаю. Я и пошла... думаю,—попрошаю. Прогонить—не убудетъ меня. Анъ ты и не прогнала, и платочекъ пообщала. Французскій платочекъ...

Она съ умиленіемъ произносила «французскій» и съ жадной мольбой заглядывала мнѣ въ глаза; казалось, все счастье ея жизни было сосредоточено въ французскомъ, т. е. пестромъ бумажномъ произведеніи русскихъ фабрикъ, за особую яркость и прочность красокъ получившемъ названіе французскаго.

Старуха очень пространно повторила разсказъ о пожарѣ, въ которомъ погибъ французскій платокъ и, наконецъ, стала прощаться.

— Будемте знакомы. Вонъ Ракитино на горѣ, за полемъ. Вы, бариня, никого изъ ракинскихъ не знаете?

— Никого.

Она ужасно чему-то обрадовалась.

— Такъ ты съ первой со мной изъ ракинскихъ познакомилась? Не забудь, смотри, бариня: Сидориха изъ Ракитина, это я—Сидориха, первая съ тобой познакомилась.

Мы простились, и старуха пошла по грязи вверхъ по Сухому Ручью, чтобы въ обходъ добраться до своего стада. Взобраться вверхъ по крутизнѣ, съ которой она слетѣла, было бы не подъ силу ея надорванной кашлемъ груди.

Дома Афимья Егоровна, узнавъ о моемъ знакомствѣ съ Сидорихой, не могла скрыть выраженія неодобренія, хотя крѣпко сжала губы, чтобы не сказать ни слова. Губы ея постоянно такъ сжимаются, чуть я начинаю разспрашивать объ арендаторѣ, сосѣднемъ попѣ, лавочникѣ, и это нѣсколько интригуетъ и въ то-же время слегка задѣваетъ меня.

Къ вечеру Федотычъ, возвратясь изъ волости, говорить, что писемъ нѣтъ, потому что въ городъ не ѣздили.

— Порядки, ворчитъ онъ.—Баринъ и сосѣди платятъ писарю, чтобы разъ въ недѣлю посылать на почту въ городъ. а они ѣздить какъ вздумается. Теперь не знаешь, когда за почтой ѣздить въ волостное. И хоть-бы толкомъ сказали, а то не разберешь, что они плетутъ.

VI.

Наконецъ, все содержимое сундуковъ и шкаповъ приведено въ извѣстность, розсортировано и переписано. Остается навести справки—кому раздать. Афимья Егоровна сначала упорно отказывается назвать семьи, наиболѣе нуждающіяся, и только подъ условіемъ строжайшей тайны называетъ Оличку, бабу лѣтъ тридцати съ небольшимъ, но уже сгѣрбившуюся какъ старуха отъ непосильной работы. Афимья Егоровна покровительствуетъ Оличкѣ и всегда зоветъ ее, когда есть какая работа въ домѣ, и Оличка всегда приносить съ собою узелокъ, въ которомъ завязаны два убогихъ ситцевыхъ сарафана,—ея и дочери, семилѣтней Машутки,—двѣ пары чулокъ и башмаковъ и два выношенныхъ французскихъ платка. Это нарядъ матери и дочери про святъ день и единственное сокровище, которое постоянно хранится у кого-нибудь изъ хозяевъ, дающихъ работу Оличкѣ,—не то мужъ ея стащить все въ кабакъ, который уже поглотилъ корову, лошадь, соху, телѣгу и всю домашнюю утварь. Оличкѣ и безъ указанія Афимьи Егоровны опредѣлена хорошая доля. Затѣмъ Афимья Егоровна называетъ еще три-четыре семьи, и каждое имя надо вытягивать изъ нее клещами.

— Только, матушка, чтобы не знали, что я вамъ говорю... Сживуть со свѣта.

— Ну, Афимья Егоровна, глядя на васъ, трудно повѣрить, чтобы вы такія робкія были, сказала я.

— Какъ-же, матушка? Вы новый человѣкъ,—съ чего-же бы вы взяли однимъ давать, а другимъ нѣтъ? Конечно, со словъ людей, а я при васъ стою... Вы потомъ уѣдете, а мнѣ жить съ ними.

Тревога ея такъ непритворна и глубока, что у меня пропадаетъ охота смѣяться: очевидно, что нескромность съ моей стороны можетъ сильно испортить жизнь безхитростной Афимѣ Егоровнѣ. Федотычъ тоже безъ обычной ироніи относится къ ея требованію тайны. Онъ словесно одобряетъ сдѣланныя Афимѣей Егоровной указанія и безмолвно не одобряетъ мое намѣреніе идти за справками къ попу, къ старой попадѣ и къ учительницѣ.

— Отчего не сходить, лѣниво цѣдитъ онъ въ отвѣтъ на мое замѣчаніе, что попу и учительницѣ, конечно, ближе всего знать нуждающихся, и въ глазахъ его мелькаетъ оскорбительная для меня ироническая искра.—Отчего не сходить, сходите: мою супругу успокоите, не на нее одну все валить будутъ.

— А старой попадѣ развѣ вы ничего не опредѣлили? спрашиваетъ несвойственнымъ ей рѣшительнымъ тономъ Афимья Егоровна.—Она крестница покойной барышни.

Въ инструкціяхъ моего пріятеля ни слова не было сказано о крестницѣ.

— Баринъ тогда уѣхали, а у меня изъ головы вонъ имъ сказать. Не хорошо будетъ, если Ненилѣ Павловнѣ не достанется ничего. Какъ хотите, не хорошо ничего не дать на память! азартно протестуетъ Афимья Егоровна.—Какъ-же можно крестницѣ не дать ничего... гдѣ это видано!

— Да вѣдь у Елены Петровны сотни двѣ, пожалуй, крестниковъ и крестницъ наберется... Почему-же одной Ненилѣ Павловнѣ?

— Ужь какъ хотите, Ненилѣ Павловнѣ нельзя не дать. Хлѣбъ-соль столько лѣтъ съ барышней водили, барышня ихъ учили, дѣтей крестили... За послѣдніе годы не видѣлись, а передъ смертью помирились. Барышня тогда за руку взяла Ненилу Павловну и говорить: «тебѣ, тебѣ...» и это Лизавета Сидоровна, нашего рендателя жена, слышала. Видно, покойница хотѣла ей что-то дать, а что—сказать не могла.

Федотычъ тоже подтверждаетъ, что Ненила Павловна такая крестница, что нельзя не дать.

Афимья Егоровна совѣтуетъ отобрать вещи и послать Ненилѣ Павловнѣ прежде моего визита. Я выбираю цѣлую корзину вещей, ненужныхъ въ крестьянскомъ быту, ненужныхъ, пожалуй, Ненилѣ Павловнѣ самой, но вѣдь ей нужна только «память», а если ей захочется извлечь изъ этихъ вещей пользу, то она всегда можетъ вымѣнять ихъ выгодно у жиждовокъ. Последнее соображеніе примиряетъ Афимью Егоровну съ тѣмъ, что не послано ни трубочки полотна, ни куска ситцу. Она уносить корзину, и черезъ часъ возвращается, принеся благодарность Ненилы Павловны, присланную, конечно, только ради политики. Ненила Павловна, дѣйствительно, «не солоно хлебала», увидя расписныя тарелки, лампу, несессеръ рабочій, разрисованный изящно покойницей, *cache-désordre*, браслеты изъ бронзы, мастерски рѣзанные и позолоченные, съ камнями, которыхъ знатокъ не отличилъ-бы отъ настоящихъ рубиновъ.

Вечеромъ я отправляюсь въ село.

— За справками? спрашиваетъ Фодотычъ.

— Да. Все что-нибудь узнаю. Какая-же корысть будетъ лгать въ этомъ дѣлѣ? объясняю я ему свои мотивы.

Фодотычъ не возражаетъ, но только изъ политики. Я настойчиво спрашиваю его мнѣнія.

— Толку не будетъ никакого, кладетъ онъ безапелляціонный приговоръ.—Теперь по всѣмъ селамъ и деревнямъ протрубать, и бабы васъ одолѣютъ... И зачѣмъ это вы такую исторію затѣяли? Я-бы, на вашемъ мѣстѣ, созвалъ всѣхъ бабъ, взялъ-бы все тряпье и кучами-бы кидаль имъ, на шарапъ.

Онъ поднялъ высоко надъ головой воображаемую кучу тряпья и сильнымъ взмахомъ швырнулъ ее, хохоча, на середину двора.

— То-то пойдетъ потѣха! А толкъ все одинъ будетъ, и хошь та выгода, что разомъ покончите.

Несмотря на это неутѣшительное предсказаніе, я отправилась, и прежде всего къ учительницѣ. Школа помѣщалась въ избѣ въ три окна, просторной какъ изба, но крайне тѣсной для школы. Съ одного бока была прилѣплена клѣтѣ съ двумя крошечными окнами, служившая помѣщеніемъ учительницы; но она жила тамъ только во время класныхъ занятій, а съ прекращеніемъ ихъ перебиралась въ школу, чтобы не задохнуться въ тѣсной и душной клѣтѣ.

Учительница, дѣвушка лѣтъ девятнадцати, всего года два

вышедшая изъ духовнаго училища, встрѣтила меня въ переполохѣ, который я сначала приписала обычному въ деревенской глуши волненію, какое поднимаетъ посѣщеніе неожиданной и, въ добавокъ, городской гостии. Учительница, чтобы скрыть замѣшательство, оправляла то накиннутое, очевидно, въ попыхахъ, свѣтлое шерстяное платье съ ярко пунцовой отдѣлкой, то воротничекъ и манжеты, и не знала что сказать. Румяное круглое лицо ея и свѣтлые, нѣсколько выпуклые и красиваго абриса, глаза выражали крайнюю растерянность и безпомощность.

Я назвала себя.

— Какъ-же, знаю-съ, знаю-съ... Садитесь, пожалуйста. Извините, только скамейки и есть.

Я сѣла; она опустилаcь рядомъ, на край скамьи, но тотчасъ сорвалась и побѣжала къ окну:

— Маменька, маменька! стуча въ стекло, позвала она чуть-ли не такимъ тономъ, какимъ утѣшающій призываетъ на помощь, и потомъ прибавила, обращаясь ко мнѣ:—Маменька клубнику полола, сейчасъ придетъ.

Вошла пожилая женщина, очень хорошо сохранившаяся и похожая на дочь. Она сбросила передникъ изъ пестради, вытерла тщательно объ него руки и побѣжала ко мнѣ съ такимъ восторгомъ, какъ будто мое посѣщеніе принесло ей и ни въсть какое благополучіе. Она отрекомендовалась вдовой дьяконицей Дарьей Трофимовной.

— Вотъ осчастливили, вотъ обрадовали-то! Извините, руки грязны. Клубничку полола; крошечную грядку вскопала и засадила, для забавы одной. Сапа, чайку. Накрой намъ столикъ и собери скорѣе.

Я пробовала-было отказаться, тѣмъ болѣе, что Сапа не особенно охотно, какъ мнѣ показалось, исполняла приказаніе матери; но мать не дала мнѣ разинуть рта, взяла за руки и усадила, восклицая:

— Вотъ обрадовали, вотъ осчастливили! Мы здѣсь какъ въ лѣсу или въ тюрьмѣ живемъ. Второй годъ какъ сюда пріѣхали, людей не видѣли.

— Здѣсь есть сосѣди, и такъ близко; много сель, духовенства, замѣтила я.—Отецъ Петръ весело живетъ, говорить.

Дьяконица мелькомъ, но пытливо взглянула мнѣ въ глаза.

Я поняла, что сдѣлала сильный промахъ противъ политики Зарѣченскаго прихода.

— Мы новые пріѣзжіе, уклончиво отвѣчала дьяконица. — Какъ-же знакомиться-то? Неловко самимъ къ помѣщикамъ ѣхать: «будемте, моль, знакомы». Большіе господа не знаютъ съ духовными, а которые попроще, тѣ хлѣбъ-соль водятъ съ своимъ приходскимъ духовенствомъ, и это ужъ старое знакомство, — отъ отца къ сыну, или отъ тестя къ зятю переходить. А мы съ боку припека. Мнѣ ужъ теперъ ничего не надо, а дочку жалко. Молодость ея совсѣмъ пропадаетъ. Если бы знакомые были, — и судьба-бы нашлась.

— Только и видишь, что поле и мужиковъ, совсѣмъ одичаешь! сказала съ злобной тоской Сашенька и взглянула въ окно, въ которое виднѣлась скатерть озимей, окаймленная, какъ кустарникомъ, вершинами березъ, которыя густой рощей росли на скатѣ горы и въ лощинѣ.

— Трудится дочка моя, меня трудомъ кормить... Велико мое вдовье положеніе, — два съ полтиною въ мѣсяцъ. И жалко мнѣ ее. Трудъ тяжелый, — съ мужицкими дѣтьми валандайся всю жизнь, и никакого развлеченія, никакой утѣхи.

— Наше положеніе пренепріятное, замѣтила съ своей стороны учительница: — Отъ мужиковъ отстали, къ благороднымъ не пристали, — точно между двухъ стульевъ сидимъ. Мужичье, конечно, намъ не компанія, а благородные считаютъ, что мы имъ не компанія. Вонъ помѣщицы Кубаревы и Гнѣздовы барышни воспитанія нигдѣ не получили, безграмотно пишутъ, а считаютъ меня ниже себя.

— Это онѣ не то, чтобъ одну Сашеньку ниже себя считали. На Ѳоминой старшая барышня Кубарева замужъ выходила, такъ за обѣдомъ Ненилу Павловну съ дочкой за особый столъ съ дѣтьми посадили, послѣдней подавали... Вы, вѣдь, знаете Ненилу Павловну, старую попадью, — она просвирия здѣсь въ приходѣ.

Я сказала, что еще не познакомилась съ нею, но отъ нихъ пройду къ Ненилѣ Павловнѣ и къ отцу Петру. Дьяконица переполошилась и заликовала.

— Какъ! вы еще не были у отца Петра? Конечно, намъ очень лестно, что вы насъ первыхъ удостоили посѣщенія, и мы это чувствуемъ, а все-таки лучше-бы было, если-бы вы

прежде къ отцу Петру пошли. Онъ можетъ обидѣться... Вамъ оно, конечно, ничего, а намъ ужъ довольно было обидѣ.

— Ну вотъ еще, маменька! Очень надо заботиться о томъ, обидится-ли тамъ отецъ Петръ или нѣтъ, вздернувъ свой то-ненькій, хорошенькій носикъ, фыркнула Сашенька, и по сердитому огоньку, мелькнувшему въ ея большихъ, выпуклыхъ глазахъ и по всей дышавшей задоромъ и энергіей позѣ ея видно было, что Сашенька сдумѣетъ постоять за себя.

— Такъ-то вотъ нынѣшняя молодежь разсуждаетъ. Ей все ни по чемъ. А у меня сердце изныло за нее. Богъ судья отцу Петру! вздохнула дьяконица.

— Ну, полноте, маменька... очень интересно имъ слушать про это! перебила Сашенька, выразительно смотря на мать.

Я перевела разговоръ на цѣль моего посѣщенія и просила указать наиболѣе нуждающіяся семьи. Эта просьба мгновенно превратила бойкую и задорную Сашеньку въ олицетворенный трепеть.

— Нѣтъ, нѣтъ... я никого не знаю, я никогда не бываю у крестьянъ... мое дѣло одна школа и ничего болѣе, торопливо завѣрjala она.

— Но вы могли-же замѣтить, которые изъ учениковъ бѣднѣе,—напримѣръ, кто въ тулупѣ и сапогахъ, кто въ дырявомъ кафтанѣ и лаптяхъ.

— Сапоговъ почти что не видно, все лапти, а иногда зимой катанки войлочные... Да что-жъ вы не кушаете чай? Еще чашечку, послѣшила Сашенька замаять разговоръ о мужикахъ.

— Значить, почти всѣ ученики у васъ очень бѣдны; а я слышала, что самые бѣдные и въ школу ребятъ не посылають.

— Нѣтъ, нѣтъ... всѣ посылають, и учительница, не мигая, смотрѣла мнѣ въ глаза тѣмъ взглядомъ, какимъ искусившійся въ записательствѣ школьникъ смотритъ на донимающаго его допросами педагога.

— Жаль, что вы не можете мнѣ дать никакихъ указаній... А я была увѣрена, что вамъ ближе всего знать, кто изъ вашихъ учениковъ нуждается.

— Я только уроки свои знаю и ни во что, ни во что другое не вхожу,—не мое дѣло. Еще бѣду, на... и она замолчала на полусловѣ.

— А что, могу я васъ спросить: новый помѣщикъ ду-

маеть принимать участіе въ школѣ? осторожно и вкрадчивымъ голосомъ спросила дьяконица.

— Да.

Лицо дьяконицы покрылись сплошь малиновымъ румянцемъ, и она заговорила взволнованно и робѣя:

— Еслибъ онъ отрѣзалъ земельки подь огородъ и на сѣнокосъ... Вездѣ въ другихъ школахъ учителя и коровку держать, и всякая овощь своя есть, — картофель, рѣпа, капуста, — а у насъ одиѣхъ ничего. Только и всего, что за нашей клѣтушкой двѣ квадратныхъ саженьки остались послѣ того, какъ сгорѣла изба учителя и за мѣсто ее вотъ ту хибарочку поставили. Мы этотъ ключокъ земли клубничкой для забавы засадили.

— Куда-жъ дѣлась школьная земля? спросила я въ изумленіи. — Елена Петровна дала вдоволь земли и на школу, и на огородъ, и на сѣнокосъ для учителя. Правда, эта земля была приписана къ приходской, потому что приходскій священникъ открывалъ школу, но земля была дана школѣ, — я это вѣрно знаю.

Мать и дочь обмѣнялись взглядами и молчали.

— И съ землею трудно жить при учительскомъ жалованьи, а безъ земли и совсѣмъ нечѣмъ. Вы-бы училищному совѣту заявили, наставляла я.

— Что и говорить! Безъ земли плохо, жаловалась дьяконица, пропуская мимо ушей совѣтъ обратиться куда слѣдуетъ. — Всякую малость покупай: и молоко, и творогъ, и овощь каждую, а велико-ли купило-то наше? Ея десять рублей въ мѣсяцъ, да мои два съ полтиной... Старшая дочка Пашенька швей въ Москвѣ у богатой графини живетъ, такъ когда пять, когда десять рублей, когда платье пришлетъ. Сынъ младшій у меня въ Москвѣ еще учится на дохтура; самъ бьетса... часомъ съ квасомъ, часомъ съ водой. Тифъ выдержалъ зимой, «голодный тифъ» — такъ и писалъ: а никто изъ насъ и не зналъ тогда. Такъ-бы и померъ. Пашенька разыскала его, и черезъ великую силу принялъ отъ нея помощь. Старшій сынъ, слава тебѣ Господи, — и она набожно перекрестилась на большой старинный складень, висѣвшій въ углу: — на своихъ ногахъ стоять, служить. Большого ума ему не далъ Господь, такъ онъ наукъ нигдѣ кончить не могъ, но за то Господь наградилъ его, можно сказать, такую примѣрную

и черное атласное платье гимназисткамъ! вскрикнула Машенька.

— Надо-же одѣтъ къ выпуску.

— Все равно. Какъ-же это онъ, умный человѣкъ такой, а бѣдныхъ дѣвушекъ къ роскоши приучаетъ? Жена-бы его сносила на память о покойницѣ. Знаете, у меня все сердце такъ и поворачивается, какъ подумаю, что все уйдетъ чужимъ, которые маменьку кресну не знали; не стануть они беречь каждую нитку, какъ завѣтную.

Я замѣтила, что пріятель мой самъ былъ чужой покойницѣ, о которой онъ узналъ только получивъ наслѣдство.

— Ахъ нѣтъ, не говорите, какъ можно! Такой умный и хорошій человѣкъ, да чтобъ родства не цѣнилъ! Онъ долженъ цѣнить и понимать, и въ память ея добро дѣлать, горячо запротестовала Ненила Павловна.

Ненила Павловна понимала добро только въ смыслѣ подачекъ ей самой или ея семьѣ и потому безучастно прослушала мои слова о ремесленной школѣ, которую пріятель хочетъ устроить, и о приглашеніи техника для изслѣдованія—какого рода заработка можно открыть крестьянамъ въ ихъ волости.

— По тетущкѣ пошелъ—все въ мужичье садить будетъ... Благодарность увидить, какъ и она, злобно замѣтила Машенька.

Я просила указать бѣдныя семьи, кому роздать вещи. Отвѣтъ Ненилы Павловны былъ буквально сходенъ съ отвѣтомъ отца Петра.

— Всѣ бѣдны, сказала она и потомъ прибавила:—Только мужицкая бѣдность легкая: много-ли мужику надо? Совсѣмъ не то, что людямъ образованнаго званія. Мужикъ и баба могутъ все сами сдѣлать—приучены; не то, что образованные люди, которымъ приходится, по бѣдности, все самимъ справлять. Сыновья, какъ пріѣдутъ на вакацію, сами воду носить, дрова рубить, и каково это видѣтъ материнскому сердцу?..

Затѣмъ она заговорила, что если-бы имъ земельки побольше, онѣ нужды-бы не знали. Что стоитъ соколовскому помѣщику, у котораго тысячи четыре десятины въ разныхъ губерніяхъ, дать десятинки двѣ-три... Мнѣ стоитъ слово сказать, чтобы осчастливить всю семью... Но я отказалась «сказать

слово» и просила назвать бѣдныхъ. Ненила Павловна назвала рябую Климчиху, безземельную бабу, которая кормилась по-денной работой. Машенька, несмотря на то, что мать дернула ее за платье на первомъ слогѣ, назвала Глѣбиху.

Когда я уходила, Ненила Павловна, не дожидаясь приглашенія, обѣщала придти.

— Какъ въ родной домъ иду,—каждый уголокъ напомнить мнѣ маменьку кресну. Я тамъ какъ дочь родная была, пока маменька не отделилась отъ своего круга, покаяніе на себя наложивши.

— Неужели-же и вы думаете, что она наложила на себя покаяніе? Попадья мнѣ намекала на какую-то гнусную сплетню.

— Мало-ли что она вретъ... кто-жъ этому повѣритъ? возразила она съ напускною горячностью, а по глазамъ было видно, что вѣрить вполнѣ:—маменька кресна за другое наложила на себя покаяніе,—она безбожествомъ одно время сильно занималась. Какъ-же не покаяніе было ея жизнь?

Затѣмъ послѣдовалъ разговоръ о массѣ крупныхъ и мелкихъ фактовъ, свидѣтельствовавшихъ о томъ, что крестная «отъ званія своего отрѣшилась и крестьянкой жила».

— И до чего каялась кресная, вы не повѣрите! Наложилла на себя подвигъ: каждый день ходить къ ракетинскому ручью и кормить рыбу. Зимю прорубь сдѣлать велить и кормить. Вотъ до чего смиряла себя.

Я не выдержала и со смѣхомъ отвѣчала:

— Да вѣль эта забава!

Ненила Павловна не повѣрила сначала; ее убѣдило только увѣреніе, что въ одномъ изъ дворцовыхъ парковъ, въ окрестностяхъ Петербурга, есть прудъ, въ которомъ рыба всплываетъ по звонку, за подачками гуляющей публики. Мать и дочь ужасно переконфузились и нѣсколько секундъ молчали, совершенно подавленныя тѣмъ, что такъ срѣзались передъ столичной гостьей.

Ненила Павловна долго продержала меня на крыльцѣ, расписывая весь ужасъ положенія людей образованныхъ, которые, какъ она, живутъ въ избѣ. Нытье ея не окончилось-бы еще добрыхъ четверть часа, если-бы рѣзкій холодный вѣтеръ не заставилъ меня вздрогнуть. Тогда она догадалась отпустить меня, прижавъ раза два къ своей груди и облобы-

завѣ мягкими влажными губами. И она, и дочь ни словомъ не упомянули о присланныхъ вещахъ; ясно было, что онѣ считали себя глубоко обиженными.

IX.

Визиты, въ родѣ тѣхъ, которые мнѣ пришлось сдѣлать, имѣютъ свойство приводить голову мою въ какое-то чадное состояніе. Надо было освѣжиться, и я пошла домой кругомъ, черезъ рощу и ляды. Недалеко отъ соколовскихъ полей слышался стукъ топора. Я пошла на стукъ совершенно машинально, съ трудомъ пробираясь между частой и жидкой молодой порослью. Только когда я увидѣла мелькавшую между зеленою бѣлую рубаху, въ головѣ моей поднялась мысль, что я, пожалуй, напала на порубку и даже могу явиться въ непріятной роли сыщицы. Но возвращаться было уже поздно. Молодой звонкій голосъ сказалъ:

— Татъва, барыня идетъ.

Я выбралась изъ кустовъ. Продолговатый четырехугольникъ, около шестидесяти сажень квадратныхъ, былъ покрытъ поваленнымъ молодымъ березнякомъ. Высокій, худой старикъ, въ бѣлой рубахѣ, крѣпкой, чистой и обшитой красной узорочной тесьмой, поставивъ ногу на пенекъ только что срубленной березки, стоялъ въ польборота ко мнѣ и закуривалъ трубку. По добродушному горбоносому лицу катились крупныя капли пота. Взмокшая отъ поту рубаха прилипла къ тѣлу, и кости лопатокъ и ключицы проступали подъ влажной тканью. Высокая, бѣлая войлочная шапка съѣхала на лѣвый глазъ, слегка прищуренный отъ предвкушенія наслажденія затануться трубкой, которую онъ набивалъ методически и съ любовью. Красивый парень лѣтъ девятнадцати, съ открытымъ, славнымъ русскимъ лицомъ, обчищалъ быстро и ловко вѣтви поваленнаго дерева, а возлѣ него дѣвочка лѣтъ двѣнадцати и мальчикъ лѣтъ десяти вязали вѣнники изъ мелкихъ вѣтвей и обчищали отъ листвы болѣе крупныя. Всѣ были одѣты чисто и даже затѣшливо; рубашки у парня и дѣвочки, расшитыя красивымъ и сложнымъ узоромъ и блестящія, какъ серебро, на солнцѣ, кидались въ глаза послѣ всѣхъ лохмотьевъ, на которые я насмотрѣлась все это время. Я поздоровалась и попросила у старика огня, закурить папироску. Старикъ очень

обязательно исполнилъ просьбу, окинулъ меня быстрымъ зоркимъ взглядомъ, и когда я, закуривъ, сѣла на кучу хвороста, сѣлъ противъ меня на другую. Парень и ребятишки, поглазѣвъ съ секунду-другую, снова принялись за работу.

— Вы новой барыней Соколова будете? спросилъ старикъ.

Я отвѣчала, кто я и зачѣмъ пріѣхала, предупреждая вопросы о степени родства моего съ помѣщикомъ и о цѣли пріѣзда,—вопросы, которыми начиналась каждая бесѣда съ кѣмъ-бы то ни было изъ крестьянъ и крестьянокъ, встрѣчавшихся мнѣ за эти двѣ недѣли.

— Такъ вы, значить, до управленія помѣстьемъ касательства не имѣете? сказалъ старикъ медленно и съ видимымъ удовольствіемъ вслушиваясь въ каждое слово своей фразы.

— Нѣтъ.

— То-ись, касательства по службѣ, а я такъ полагаю, что, какъ побратимка новыхъ гос... землевладѣльцевъ,—поправился онъ, щеголяя каждымъ слогомъ послѣдняго слова,—вы всегда можете имѣть касательство поболье чѣмъ Акимъ Федотычъ.

— Да я ничего не смыслю въ хозяйствѣ.

— Это ничего, матушка. Не одни хозяйственные люди нужны; нужны люди справедливые, чтобы по чловѣчеству судить умѣли, охъ, какъ нужны въ нашей бѣдовой жизни.

Старикъ вздохнулъ тяжело и, помолчавъ немного, продолжалъ:

— Новый помѣщикъ, видно, чловѣкъ простой, справедливый,—я съ нимъ два раза говорилъ. Да намъ что проку?.. Жить онъ здѣсь не будетъ, наѣздомъ когда заглянетъ, такъ гдѣ-же ему все знать, какую неправду здѣсь терпятъ и какой неправдѣ здѣсь мирволятъ. А если все это увидитъ чловѣкъ, которому онъ повѣритъ, и все ему какъ слѣдуетъ объяснить, такъ онъ, можетъ, и вступится.

— Вѣрно кулаки одолѣли? Ракитинскіе плачутся, что всѣмъ раззорены, сказала я.—Только что-жь можно противъ кулаковъ одному чловѣку подѣлать, да еще когда онъ не живетъ здѣсь?

— Насъ отъ кулаковъ Богъ миловалъ. Мы Крутогорскіе; наша почитай что одна деревня на весь уѣздъ отъ кулаковъ слободна.

— Крутогорскіе мужики богатые, какъ я слышала.

— Богатые... мужицкое какое богатство! До первой бѣды. А гнѣвить Бога нечего, нищими не ходимъ, чистый хлѣбъ намъ не замѣсто пряника про святъ день, ребятишки молоко, что телята на господскій столъ, отпоенные, недоимки не числятся, ну и на чугунку дѣхнуть парней не посылаемъ. Да только, матушка ты моя, всему этому конецъ приходитъ, и коли намъ добрые люди не помогутъ правоту нашу сыскать, такъ и Крутогорскіе, годовъ черезъ пятокъ, такими же будутъ, какъ и Ракитинскіе.

— Это отчего?

— Оттого, что мы на маломъ надѣлѣ.

— Да жили-же вы съ этимъ надѣломъ хорошо?

— Жили, пока барской землей пользовались, а теперь конецъ приходитъ. Мы были крѣпостными генерала Свицова. Крѣпостными хорошо жили: не обижалъ онъ насъ, барщина легкая была, на оброкъ пускалъ всякаго, кто хотѣлъ, и оброкъ небольшой бралъ. Только гордый былъ баринъ и дворянство цѣнилъ. Какъ вышла воля, онъ сильно обидѣлся. «Теперь, сказалъ, дворянство ничтожать»... Онъ и разсудилъ, что если дать крестьянамъ большой надѣлъ, такъ они не будутъ подвластны дворянамъ. И не по скупости, а только ради этого одного насъ на сиротскій надѣлъ посадилъ. Скоро послѣ освобожденія онъ померъ и все жаловался, что обидѣли его и дворянство. Имѣнье все, по завѣщанію, женѣ оставилъ, хоть дѣтей было человекъ семь. Два старшіе сына и дочь были на возрастѣ и крѣпко его прогнѣвали. Сынъ старшій и дочь безпутные вышли, а младшій прогнѣвалъ отца тѣмъ, что противъ его воли пошелъ, а славный баринъ былъ. Ну, вотъ, генералъ передъ смертью все имѣнье женѣ отписалъ, крѣпко вѣрилъ ей, что дѣтей не обидитъ. И на словахъ заказалъ ей не продавать ни крохи земли, все дѣтямъ сохранить, а по завѣщанію она вольна была дѣлать что хочетъ, хоть первому встрѣчному отдать. Барыня добрая была; видѣла, что жить намъ не у чего, — она и сдала намъ всю землю подъ кусточками вплоть до Соколова, десятинь около двухъ-сотъ... По смерти свою сдала, и въ духовной прописала, чтобы намъ, зато, что мы труда на землю положили и поту на нее излили, на слѣдники по малой рендѣ отдавали землю. А если не захотятъ, такъ чтобы намъ выплатили по оцѣнкѣ: чего прежде стоили кус-

точки и чего теперъ пахатная земля стоитъ, — разницу-бы въ цѣнѣхъ выплатили-бы. А теперъ не то что пахотная-то земля, а и кусточки въ цѣнѣхъ поднялись вдвое. коли не втрое. Такъ и написала, что трудъ нашъ поднялъ цѣну земли. Теперъ наслѣдники отбирають у насъ землю и ничего не хотятъ платить. Говорять, что завѣщаніе незаконно, что мы землей пользовались бесплатно. Вотъ намъ и надо, чтобы человѣкъ справедливый нашу правоту понялъ, за насъ вступился и насъ научилъ, что и какъ.

— Вы ходоконъ посылали въ Петербургъ?

Старикъ горько усмѣхнулся.

— Видали мы, какъ ходоконъ другихъ деревень по этапу прогоняли назадъ ни съ чѣмъ. Мужики въ Питерѣ правды не сыскать однимъ своимъ умомъ, потому неучены мы, формы не знаемъ. И, матушка, какъ этою самою формою насъ доѣзжаютъ! Дѣло правое, анъ формой вышло не такъ, и неправо рѣшать: неправого оправать, а правый виновать выйдеть. Для этой самой формы мужики аблокаторовъ нанимають, да тѣ только обирать денежки умѣють. Вотъ мы и раскидываемъ умомъ такъ: кабы нашелся ученый человѣкъ изъ господъ, да такой, чтобы въ Питерѣ у него рука была, и взялся-бы нашимъ ходоконъ быть...

Старикъ замолчалъ и пытливо смотрѣлъ мнѣ въ глаза. Я слушала съ изумленіемъ. Эта надежда на человѣка «изъ господъ» такъ противорѣчила всему, что я читала, слышала и что самой мнѣ приходилось видѣть... Старикъ говорилъ не какъ утопающій, хватаящійся за соломенку, — онъ твердо вѣрилъ, что существуютъ ученые господа, которые захотятъ быть ходоками за народъ. Я высказала старику, что думала.

— Оно точно такъ выходитъ, матушка, что крестьянамъ нельзя вѣрить господамъ вовсе, отвѣчалъ онъ, обдумывая каждое слово. — Да вѣдь и то надо понимать, каковъ человѣкъ есть. И своя братья, крестьяне, какъ въ старшины вылѣзуть и богатѣями стануть, такъ хуже всякаго барина обдерутъ, потому баринъ дотошникомъ такимъ не будетъ никогда, — ему никогда не знать мужицкій обиходъ во всемъ какъ есть, а мироѣдъ знаетъ, самъ все произошелъ. У него каждое зерно, каждая нитка на счету; онъ изъ тебя все, что есть въ тебѣ, вымотаетъ, всего человѣка со всѣми потрохами высосеть. Какъ ни лихи помѣщики были, а все бывали господа,

что и объ мужикѣ думали; а промежь мироѣдовъ не бывало. Я и располагалъ такъ въ мысляхъ, что соколовскій-то баринъ, какъ племянникъ или внучекъ Елены Петровны, можетъ по ней пошелъ.

Опять Елена Петровна... Съ кѣмъ-бы изъ крестьянъ ни заговорила я за эти двѣ недѣли, проведенныя въ Соколовѣ, каждый непременно вспомнить ее. Бѣдная старая идеалистка, которая такъ плакалась на то, что она нелюбима крестьянами, что она чужая имъ, оставила прочный слѣдъ. Стоило только упомянуть имя Елены Петровны,—и начинались нескончаемые рассказы о томъ, какъ она жила, припоминались съ величайшею обстоятельностью подробности разговоровъ съ нею, ея вида, одежды, всего, что она вытерпѣла отъ дворовыхъ, которые «злобились на нее за то, что она крестьянъ жалѣла». Много было тутъ и наивной хитрости, старавшейся поставить на видъ, что если Елена Петровна помогала, то и ты помогай, но много было и искренней теплой памяти о сдѣланномъ ею добрѣ.

— Божья душа во всякомъ сословіи бываетъ, говорилъ старикъ.—Божья душа была Елена Петровна. Всѣ ее добрыми словомъ помянуть, кромѣ дворовыхъ... А она имъ по пяти десятиныхъ отрѣзала. У нихъ глаза и разгорѣлись. Они у самага добра стояли; дворовыхъ души несется, барскіе лизоблюды, тарелки барскія языкомъ проливали... И нѣтъ, матушка, въ народѣ саранчи хуже дворовыхъ. А почему? Правой работы онъ не зналъ, землю потому своимъ не кропиль, на барскихъ послугахъ баклуши билъ и съ дѣтства искушеніе одно видѣлъ. У баръ пиры, забавы, ѣда сладкая, питье скусное, винъ заморскихъ вволю. Всего дворовый напробовався, и коли онъ парень шустрый, такъ онъ на руку охулки не положилъ, загробасталъ, что подъ руку шло. Что мироѣдовъ повышло изъ дворовыхъ! Теперь, коли сосчитать — много-ли дворовыхъ на крестьянъ придется во всей Россіи, а мироѣдовъ-то изъ дворовыхъ на половину будетъ, потому что дворовый — отъ міра отрѣшенный человекъ. Совѣсти нѣтъ въ емъ, замѣсто совѣсти — барскій приказъ былъ. Ну, а коли противъ своихъ совѣсти нѣтъ, такъ ужь противъ господъ, хоть они родными отцами будутъ ему, и подавно совѣсти не окажетъ. Много натерпѣлась покойница отъ дворовыхъ. Несытая душа, алшныя утробы!

— Вы откуда теперь идете? спросилъ онъ, мѣняя разговоръ.

— Отъ попа.

— А что онъ вамъ говорилъ?

— Да все на бѣдность жаловался и на неуваженіе народа. Жаловался, что вѣры нѣтъ прежней въ крестьянствѣ и усердія къ церкви.

— А вы спросите орѣховскаго попа: живетъ-ли онъ въ нуждѣ? Онъ и самъ перетерпитъ, когда видитъ, что намъ бѣда пришла, ну и если ему нужда крайняя, выйдетъ на міръ и скажетъ: «такъ и такъ, помогите». И помогутъ по силѣ мѣры.

— Орѣховскій попъ—мужицкій попъ, мнѣ говорили...

— Да, матушка, по нашему живетъ и съ нами всегда все претерпѣть готовъ. Умный только да ученый не по нашему. На все всегда отвѣтъ разумный есть. Душевный попъ... Старъ очень; какъ помреть, такого не нажить намъ. Станутъ бабы прославлять его въ глаза, а онъ говорить: «Такъ-ли надо паству Христову жить! Христось не зналъ гдѣ главу преклонить, ходилъ по градамъ и весямъ, училъ народъ, а я что? Живу въ свое удовольствіе. Сытъ, уголъ есть, и скота, и земли и всего вволю». Ему когда даешь—знаешь, что на нужду.

— Непремѣнно повидаю орѣховскаго попа.

— А вамъ что, дѣло есть до него, что-ли?

— Нѣтъ, я люблю видѣть хорошихъ людей. На душѣ легче, какъ повидаешь.

Старикъ ласково взглянулъ на меня.

Настало молчаніе. Старикъ пускалъ дымъ изъ своей носогрѣйки и смотрѣлъ, какъ голубоватыя струйки, колеблясь и развиваясь, исчезали въ воздухѣ. Солнце грѣло его косыми лучами, отъ нихъ искрились слегка трепетавшіе листы поваленнаго березника. На противоположномъ концѣ вырубленной площадки ложились и росли прозрачныя и колеблющіяся тѣни кусточковъ несрубленнаго еще участка. Зеленая стѣна молодой поросли со всѣхъ сторонъ замыкала насъ; ни одинъ звукъ изъ ближнихъ полей, деревень и усадьбы не доносился сюда. Умиротворяющее чувство, которое несетъ съ собою вечеръ, бессознательно овладѣло всѣми. Парень сидѣлъ на кучѣ хвороста, упершись локтями въ колѣни и подбородкомъ въ руки и, слегка запрокинувъ голову, смотрѣлъ безцѣльно въ голубое

пространство, тихо напѣвая какую-то пѣсню. Даже ребята, которые все время возились и толкались, связывая вѣзники, теперь присмирѣли и молча прислушивались къ пѣснѣ. Люди всегда ближе сходятся въ такіе часы.

Старикъ придвинулся ко мнѣ и заговорилъ о томъ, что тѣсно стало жить, — земли мало.

— Народу нечѣмъ питаться, говорилъ онъ, — земля выпажана, и подъ паромъ кострець одинъ съ полянью. Некуда скотъ выгнать. Въ нашей деревнѣ, Богъ миловалъ, пока нѣтъ этого. А черезъ десятокъ годовъ то-же будетъ. А теперь взять тоже господь... Сами работать не могутъ, — нанимають, а земля-кормилица наемнаго, продажнаго труда не любитъ. Здѣсь, вонъ, почитай, всѣ помѣщики съ найма на исполное перешли, или въ ренду землю сдали; а которые по найму еще ведутъ хозяйство, такъ плачутся: зачѣмъ капиталы въ проценту не пустили, барышъ былъ-бы одинъ, да и спокойнѣе, безъ хлопотъ. Господа образованные, ученые, пусть они и кормятся отъ образованія, отъ науки своей. Мало, что-ль, на ихъ ученые денегъ переведено?

Я невольно усмѣхнулась. Старикъ обидѣлся, и пришлось объяснить ему, что усмѣшка относилась къ «наукѣ» большей части господъ, которые съ нею умерли-бы съ голода. Онъ опустилъ руки и съ полу-открытымъ ртомъ слушалъ. Сказанное мною произвело на него дѣйствіе камня, свалившагося съ неба на его голову.

— Какъ-же это такъ? медленно заговорилъ онъ черезъ нѣсколько секундъ, разводя руками. — А я такъ полагалъ, что ученому только загребать деньги, потому наука вездѣ нужна, куда не ухватись. Да вотъ, намедни, племянникъ помѣщицы нашей сказывалъ, что кабы въ одномъ мѣстѣ у рѣчки прорыть канаву, да шлюзу сдѣлать, такъ сплавная-бы рѣчка вышла на славу. Канавой-бы обошли то мѣсто, гдѣ камень и накаты. А помню, еще зимой соколовскій баринъ былъ проѣздомъ въ деревнѣ Запарихѣ, воды испить спросилъ, глотнулъ разъ другой и назадъ отдалъ, говорить: «какъ можете пить, мертвечиной воняетъ». Оно точно, что лѣтомъ воняетъ. Запаринцы и не пьютъ по лѣту... скотина и ребята съ той воды болѣютъ. Въ холеру полдеревни вымерло; въ падежь — весь скотъ. Такъ они съ рѣчки возятъ, верстъ за двѣнадцать. Просто бѣда. Люди и лошади сморены работой, а еще воду вози.

Ну, а зимой ничего—пить можно. Баринъ и говоритъ: «Надобы такого человѣка, чтобы жилу найти, техника». Теперь, кабы такой человѣкъ нашелся, развѣ запаринцы не заплатили бы ему за трудъ? А одна, штоли, Запариха такую воду пьеть? Такой человѣкъ въ уѣздѣ-бы за одно лѣто полтыщи, кабы не всю тыщу по гривнамъ-бы собралъ. Вотъ оно что. И много такого видить мужикъ, чего своимъ умомъ не ухватить ему, а что ученый можетъ. Такъ какъ-же это ученые-то безъ хлѣба сидѣть будутъ?

Побесѣдовавъ еще о разныхъ житейскихъ дѣлахъ, мы разстались дружески со старикомъ, и онъ взялъ съ меня слово придти къ нему непременно въ гости.

Х.

— Отецъ Петръ идетъ къ вамъ, и маменька большой самоваръ потащила ставить, черезъ нѣсколько дней послѣ моего визита къ священнику объявляетъ мнѣ Фиша, доклады которой обо всѣхъ приходящихъ въ усадьбу и вообще обо всемъ, что я захочу слушать, доставляютъ мнѣ величайшее наслажденіе.

Отецъ Петръ, обиженный тѣмъ, что Никитушка его не былъ приглашенъ, придаетъ посѣщенію своему исключительно дѣловой характеръ. Съ перваго же слова, онъ объявилъ, что принесъ мнѣ обѣщанныя справки и попросилъ бумажку и карандашъ.

Федотычъ и его жена были тоже приглашены на совѣщаніе. — Умъ хорошо, а два лучше, замѣтилъ по этому поводу о. Петръ. — Надо обсудить сообща, кто больше нуждается, чтобы послѣ не было нареканій въ пристрастіи.

Федотычъ и Афимья Егоровна насилу соглашаются сѣсть, и то въ отдаленіи, на стульяхъ у окна. Фиша, явившаяся вслѣдъ за ними, неумолимо изгнана отцомъ и матерью, но я не безъ основанія подозреваю, что она подслушиваетъ у дверей.

— Вотъ мы какъ бы комитетъ въ засѣданіи, приступаетъ къ дѣлу отецъ Петръ. — Надо прежде всего выяснитъ принципы распредѣленія вещей. По моему мнѣнію, надлежитъ сколь возможно равнять доли. Кому достанется вещь поновѣе или поцѣннѣе, тому слѣдуетъ давать поменьше другихъ вещей, а кому вещи пойдутъ попроще, тому надо удѣлить ихъ побольше счетомъ.

Федотычъ высказываетъ замѣчаніе, что какъ ни равнай, все будутъ недовольны. Афімья Егоровна спрашиваетъ, какъ мы будемъ назначать доли по равненію, или по справедливости? На мой вопросъ, что это значитъ?—она, съ торжественнымъ и тревожнымъ выраженіемъ лица, не покидающимъ ее съ той минуты, какъ она переступила порогъ комнаты, объясняетъ, что по равненію—значитъ назначать равныя доли на каждую семью, а по справедливости—распредѣлять ихъ сообразно съ численностью семьи и съ большею или меньшею степенью ея нужды. Кто бѣднѣе, — тому больше, кто зажиточнѣе — тому меньше.

Единодушно рѣшено—дѣлать по справедливости.

Первою я предлагаю занести въ списокъ Олечку. Отецъ Петръ одобряетъ. Далѣе я называю указанную мнѣ Ненилой Павловной старуху-работницу Пантелену, которая, несмотря на страшную рану, разъядающую ея ногу, носить воду и полетъ гряды. Зимой она продала послѣднюю одежду, чтобы прокормиться. Федотычъ одобряетъ морганьемъ вѣкъ. Отецъ Петръ называетъ еще работницу бобылку Климчиху. Федотычъ молчитъ такъ невозмутимо, что я колеблюсь занести Климчиху и называю Сидориху.

— Это мать бобылки Варвары? спрашиваетъ отецъ Петръ дѣловымъ тономъ. — Г-мъ.

— Климчиха торгуетъ рыбой. Сидориха бѣднѣе, говоритъ Федотычъ.

— Тарасиха старая и убогонькій Зосима — вотъ ужъ бѣднота!

Тарасиха и Зосима заноятся въ списокъ по общему согласенію.

— Сидориха съ дочерью тоже бѣдны; у Варвары двое ребятъ, продолжаетъ Федотычъ.—Зимой чуть не замерзли въ дражныхъ кафтанахъ.

— Какъ можно! Нѣтъ, нѣтъ! восклицаетъ Афімья Егоровна, сорвавшись съ мѣста и размахивая отчаянно руками.

— Знаете, какая Варвара? съ преувеличеннымъ негодованіемъ произноситъ она и внезапно умолкаетъ, конфузливо смотря на меня и на отца Петра.

— Это правда, что Варвара безпутная, и дѣти ея пригульные, замѣчаетъ отецъ Петръ.—Иные возропшутъ, если ей дать наравнѣ съ прочими.

— Но чѣмъ же виноваты дѣти? Если найдутся такіе, ко-

торые возропшутъ, то надо объяснить имъ, чему училъ Христосъ, возражаю я.

Отецъ Петръ, искоса взглянувъ на меня, соглашается и, да-лѣе, указываетъ на Терентья Богатѣя, у котораго на рукахъ восемь человѣкъ дѣтей, малъ-мала меньше и двое параличныхъ стариковъ. Терентій прославился на всю волость, какъ трез-вый и изумительно работающій мужикъ. Сосѣди его пришли къ заключенію, что онъ изъ-за того надрывается за работой, что далъ себѣ зарокъ сдѣлаться богатымъ, и именно поэтому и про-звали его Богатѣемъ. Но судьба, какъ будто въ насмѣшку надъ этимъ прозвищемъ, обрекла Терентья на безвыходную нищету. Не говоря уже объ общихъ бѣдахъ крестьянской жизни,—не-урожаѣ, градѣ, падежѣ, пожарѣ,—отъ которыхъ, по несчаст-ному усложненію обстоятельствъ, онъ терпѣлъ болѣе другихъ, года не проходило безъ того, чтобы на Терентья не обруши-валось какое-нибудь новое несчастье: то волкъ зарѣжетъ ко-рову, то лошадь напорется на колъ и подохнетъ, то старшій сынъ, дюжій работникъ, сломаетъ руку, то самъ Терентій сва-лится больной, или попадетъ, какъ куръ во щи, въ какое-ни-будь дѣло и угодитъ въ кутузку. И всѣ эти бѣды, какъ на-рочно обрушивались на Терентья въ самую горячую пору и мало-по-малу довели его почти до полнаго раззоренья. Однако, Богатѣй—мужикъ гордый, онъ не побирается; въ голодный годъ, когда пришлось идти въ «кусочки», жена послала за ними ре-бятишекъ тайкомъ отъ мужа, да и то лишь послѣ того, какъ вся семья просидѣла два дня не ѣвши.

Послѣ Терентья, отецъ Петръ читаетъ въ своемъ спискѣ имя Глѣбихи. Ѳедотычъ напускаетъ невозмутимость на свое лицо, и Афімья Егоровна съ какимъ-то испугомъ торопливо выкрикиваетъ:

— Да, да, Глѣбихѣ... Какъ можно Глѣбихѣ не дать!

Я припоминаю, что о Глѣбихѣ говорила также дочь Не-нилы Павловны, и что сама Ненила Павловна отнеслась неодоб-рительно къ этой женщинѣ. Однако, политики ради, я умал-чиваю объ этомъ и принимаюсь спрашивать о Глѣбихѣ, какъ о совсѣмъ неизвѣстной мнѣ личности. Отецъ Петръ говоритъ, что она кормитъ своимъ трудомъ двухъ дочерей, что у нея нѣтъ земли и что, наконецъ, Глѣбиха имѣетъ право на вспоможе-ствованіе, какъ бывшая дворовая Елены Петровны.

— Отчего же она земли не получила, какъ другіе дворовые?

— Получила и она, да гдѣ-жъ ей хлѣбопашествомъ заниматься... Земля у нихъ сдана въ аренду Хаимкѣ.

— Хаимкѣ?—Это кабатчику?

Федотычъ утвердительно наклоняетъ голову.

— Афирья Егоровна, когда мы съ вами ѣздили въ Троицынъ день, намъ тогда попались на встрѣчу двѣ дѣвушки въ красныхъ серьгахъ... Кажется, вѣдь это и были дочери Глѣбихи?

Афирья Егоровна, краснѣя по уши, безмолвно кивнула головой.

Эти очень еще молоденькія дѣвушки, разряженныя, хмѣльныя, поразили меня тогда цинизмомъ, съ которымъ онѣ распѣвали несовсѣмъ приличную пѣсню, очевидно доставлявшую имъ большое удовольствіе.

— Кажется, онѣ не нуждаются: наряднѣ всѣхъ были, замѣтила я.

Федотычъ невозмутимо молчалъ, хотя видимо былъ на моей сторонѣ. Отецъ Петръ съ легкимъ замѣшательствомъ прибавилъ вскользь, что Глѣбиха вѣчно жалуется на недостатки, и затѣмъ она была вычеркнута изъ списка.

— Какъ, Глѣбихѣ ничего не дадутъ? жалобно возопила Афирья Егоровна въ самомъ неподдѣльномъ и глубокомъ испугѣ.—Нѣтъ, ей нельзя не дать. Какъ можно ей не дать!

Однакоже, за Глѣбиху оказался теперь одинъ только ея голось, да и сама она, на всѣ мои разспросы, только и могла повторять безъ дальнѣйшихъ поясненій, что «Глѣбихѣ нельзя не дать,—какъ можно не дать!». Потомъ отецъ Петръ указалъ еще на двухъ нищихъ-дѣвушекъ, Ипатовыхъ племянницъ,—одна изъ нихъ сухоручка,—которыя побирались у мельницы.

— Этимъ надо дать, сказала Афирья Егоровна, и «надо» вышло очень вѣско.

Федотычъ тоже рѣшилъ, что «надо». Еще нѣсколько именъ было занесено въ списокъ, и, въ заключеніе, упомянули о дочеряхъ Василисы.

— Да, надо непременно дать Василисинымъ дочерямъ, сказалъ съ тихимъ вздохомъ отецъ Петръ.

— Надо, надо! выкрикнула Афирья Егоровна.—Ужъ это такъ надо!.. Лучше кому другому не дать.

— Надо, рѣшилъ Федотычъ также безапелляціонно и съ отѣнкомъ таинственности, послѣ чего всѣ трое переглянулись и замолчали.

Списокъ былъ прочтенъ. Афімья Егоровна еще разъ попыталась было заступиться за Глѣбиху и потомъ принялась жалобно умолять всѣхъ насъ быть свидѣтелями, что она просила за нее.

Оставалось только распредѣлить вещи на доли и раздать.

— Ну теперь держитесь только! съ усмѣшкой сказалъ мнѣ Федотычъ, когда совѣщаніе окончилось.

Дѣйствительно, въ самомъ скоромъ времени мнѣ пришлось «держаться». Не то что «по телеграфу», а молніей облетѣла окрестности вѣсть, что въ Соколовской усадьбѣ раздають цѣлыя горы добра. Въ будни—по вечерамъ или въ пору крестьянскаго дневнаго роздыха, а въ праздничные дни—съ ранняго утра до ночи, появлялись на лужайкѣ передъ крыльцомъ бабы и дѣвушки по двое, по трое, и пока Афімья Егоровна или Фиша ходили вызывать меня, просительницы поднимали перебранку о томъ, чьи права на полученіе вещей болѣе законны. А когда я выходила, начинались пространныя и многосложныя доказательства неоспоримости этихъ правъ. Всѣ бабы оказывались или кумами, крестницами, посаженными дочками Елены Петровны, или женами крестниковъ и посаженныхъ сынковъ ея, или, наконецъ, ближайшими родственницами женщинъ, находившихся въ этомъ свойствѣ съ покойницей. Тѣ, чьи права оказывались слабѣе въ этомъ отношеніи, подкрѣпляли ихъ описаніемъ всего, что онѣ сдѣлали, какіе иногда геройскіе подвиги совершали ради того, чтобы провести ночь съ умирающей Еленой Петровной, обмытъ ея тѣло, сидѣть при покойницѣ. Одна перебиралась по тонкому льду и по грудь провалилась въ воду; другая переѣхала въ лодкѣ между крутившимися льдинами; третья пришла ночью, въ мятель, проплутавъ нѣсколько часовъ въ полѣ и совсѣмъ выбившись изъ силъ; четвертая бросила выгодную работу; пятая покинула отчаянно больныхъ дѣтей или мужа въ огневицѣ... Каждой изъ нихъ я повторяла одно и то же,—что все сдѣланное ими такъ прекрасно, такъ велико, что не можетъ быть оплочено старыми вещами или кускомъ холста, — что богатыхъ вещей нѣтъ никакихъ и что, наконецъ, я не могу распорядиться чужимъ добромъ по своему, а обязана раздать вещи наиболѣе бѣднымъ и нуждающимся.

Послѣ этого, на дворѣ стали ежедневно появляться бабы и дѣвушки въ такихъ лохмотьяхъ, какихъ мнѣ еще не при-

ходило видѣть и на нищихъ, въ такихъ ворохахъ лоскутьевъ, которые могли держаться на тѣлѣ только какимъ-то чудомъ и, казалось, каждую минуту готовы были развалиться.

При появленіи каждаго новаго движущагося вороха лохмотьевъ, губы Афимьи Егоровны плотно сжимались отъ негодованія, а Фиша видимо готова была лопнуть отъ сдерживаемаго смѣха; однако же, обѣ онѣ политично молчать и ни однимъ словомъ не проговариваются о томъ, что всѣ эти лоскутья — не болѣе, какъ маскарадный костюмъ. Да, впрочемъ, всякія обличенія съ ихъ стороны оказались бы совершенно излишними, потому что сами бабы наперерывъ обличали другъ друга.

— Что ты, Николаиха, въ кусочки, што ли собралась? ядовито спрашиваетъ, напримѣръ, одна изъ нихъ, обращаясь къ новому приближающемуся вороху лохмотьевъ.

Николаиха злобно и испуганно озирается, плюетъ въ сторону, крестится и потомъ возражаетъ съ азартомъ:

— А ты, дура безстыжая, на погорѣлое, што ли, собирать пришла? Афимья Егоровна, смотрите: Семениха-то, видно, на погорѣлое побираться идетъ.

Теперь очередь Семенихи пугаться, чтобы эти зловѣщія слова не накликали на нее бѣды.

— Чтобъ тебѣ пусто было! Раскаркалась ворона треклятая! восклицаетъ она, и завязывается неистовая перебранка.

Я начинаю обстоятельно разспрашивать ихъ о числѣ членовъ семьи, о хозяйствѣ, количествѣ скота... Бабы лгутъ безъ зазрѣнія совѣсти и неистово уличаютъ другъ друга во лжи.

— Ишь, телка у нея одна!—Корова, да пять свиней, да двѣ овцы съ бараномъ, да ягнать дюжина,—вотъ что у нея. Чего врешь-то?..

— Считаю свое добро. У тебя три коровы, да двѣ лошади.

— Семья наша самъ пятнадцать, а васъ всего шестеро. Богаче нашего живете.

Переборы растутъ, голоса становятся крикливѣе, и надъ дворомъ стоитъ гвалтъ, въ которомъ слышатся визгливые возгласы: «Чего тебѣ въ чужомъ карманѣ считать». «Тебя за что свекоръ жалуетъ?»—«А ты дочку становому подсунула!..» — «А ты чего? Мало своего добра, алчная утроба! Проценту берешь!» «Завидующіе глаза. Я не пропиваю добро!» — «Безстыжая!»

Я выхожу изъ роли наблюдательницы и, прервавъ гвалтъ,

говору, что запишу имена и наведу справки, и такъ какъ, по ихъ же словамъ, выходить, что многія прикидываются бѣдными, то я тѣмъ, кто прикидывается, выберу такое тряпье, которое годится только полы мыть, да и того по крохотному лоскуточку дамъ, на смѣхъ.

Фиша заливается громкимъ хохотомъ и вертится, и прискакиваетъ отъ восторга, Афімья Егоровна хватаетъ ее за ухо и вышвыриваетъ за дверь, но и за дверью долго еще звенить неудержимый хохоть. Бабы расходятся, несолоно хлебавши, и ворчливо перекосяются другъ друга.

Въ надеждѣ, что послѣ этого нашествія меня оставить въ покоѣ, я ухожу въ садъ, работать. Афімья Егоровна поручено отвѣчать всѣмъ, кто явится съ просьбами о вещахъ, что я наведу справки; пускать же ко мнѣ позволено только больныхъ или тѣхъ, которые придуть за лекарствомъ.

Не успѣла я поработать и часу, какъ вдругъ передъ столомъ моимъ, будто изъ земли, выросла Лизка, державшая за руку старшаго брата.

— Кто боленъ? Ты или дома кто?

Лизка вскинула на меня глаза съ недоумѣніемъ, которое я въ ту минуту не замѣтила.

— Говори же.

Лизка мигомъ состроила перепуганное и огорченное лицо.

— Ванька боленъ... помираетъ. Сейчасъ помреть. Дайте ему ситцу на рубашоночку и холста тонкаго на саванъ. Въ домъ ничего нѣтъ, обрядить нечѣмъ... какъ его голенькаго то въ гробикъ положить, о-о-о! Добрые люди просмѣютъ...

— Что у него болить?

— Все. Помираетъ. Можетъ, сейчасъ померъ ужъ. О-о-о!

— Ему помочь надо, а ты на саванъ просишь. Я сейчасъ лекарства дамъ.

— Не помочь ему, помреть, говорить Лизка, и съ такимъ рыданьемъ, что я рѣшительно убѣждаюсь въ болѣзни Ваньки.

— Я сейчасъ дамъ тебѣ чаю,—напой его, а черезъ часъ я приѣду.

— И сахару; животъ болить у него, подсказываетъ братъ Лизки.

— Ничего ему не поможетъ... помираетъ, у него воспа. Помреть, на саванъ надо, на рубашоночку хорошую...

Черезъ часъ, когда возвратился «Федотычъ», я ѣду. Подъ-

ѣзжая къ Желудокѣ, я увидѣла Лизку и ея брата. Они сидѣли подѣ кустомъ и ѣли праники, очевидно вымѣненные на чай, и одну изъ тѣхъ булокъ, которыя я дала ей. На землѣ, возлѣ нихъ, лежали куски сахару и другая булка. Я погрозила Лизкѣ, но та невозмутимо посмотрѣла на меня. Ванька, конечно, не умиралъ и былъ боленъ не оспой, а разстройствомъ желудка. Онъ лежалъ на голой лавкѣ, положивъ подѣ голову вѣнникъ, не двигаясь и безцѣльно уставясь глазами, въ которыхъ стояло тупое и жалкое выраженіе больнаго маленькаго животнаго. Чаю онъ, конечно, не получалъ и Лизки не видѣлъ съ утра. Мачиха была на работѣ, отецъ «гулялъ».

Простыя средства скоро облегчили Ваню, а когда я общалась ему прислать чаю и сахару, онъ совсѣмъ разцвѣлъ отъ радости. Прибѣжавшая Лизка съ полнѣйшею невозмутимостью выслушала мое нравоученіе на ту тѣму, какъ нехорошо просить на саванъ больному брату, обвинивать на праники посланный ему чай.

XI.

Черезъ нѣсколько дней мнѣ пришлось увидѣть еще одно доказательство политичности отношеній ко мнѣ Федотыча и его супруги. Я выходила изъ избы арендатора вмѣстѣ съ отцомъ Петромъ, который только что прочиталъ отходную умиравшей матери арендаторши.

— Всѣ тамъ будемъ, наставительно произнесъ о. Петръ. Онъ вздохнулъ и, посмотрѣвъ вдаль, сказалъ:

— Вонъ къ вамъ идутъ, за вещами, навѣрно.

На встрѣчу намъ шли изъ усадьбы двѣ молодыя дѣвушки, — одна здоровая, румяная, съ открытымъ круглымъ лицомъ и добрыми голубыми глазами; другая блѣдная, высохшая, до такой степени безкровная, что даже палящій, чуть не тридцатипяти градусный зной не могъ вызвать капли румянца на ея впалыя алебастровыя щеки. Здоровая дѣвушка вела больную, нѣжно поддерживая ее. Обѣ были одѣты чисто и даже съ нѣкоторою деревенскою щеголеватостью. Рядомъ десять, если не болѣе, разноцвѣтныхъ крадь лежали на шеѣ пестрой широкой лентой, сверкавшей радужными огнями. Ярко красные разводы французскаго ситца сарафановъ рѣзали глаза. Дѣвушки поклонились, подошли къ рукѣ отца Петра.

— Мы къ вамъ, матушка, сказала здоровая, обращаясь ко мнѣ.

— Чѣмъ могу служить? Какъ васъ зовутъ?

— Меня Домной, а сестру Макридой. Матушка, слышали мы, что вещи раздають на поминъ души....

Я отвѣтила заученной фразой:

— Мнѣ поручено раздать бѣднымъ. Вещи не мои....

Лицо Домны передернулось отъ глубокаго огорченія; алебастровое, чуть не сквозившее на солнцѣ, лицо Макриды оставалось неподвижнымъ и выражало одну только безконечную усталость.

— Какъ же это? дрожавшимъ отъ слезъ голосомъ вскричала Домна.—Маменька наша изъ за Елены Петровны померла, а намъ ничего не будетъ?

— Но если правда, что ваша маменька за Елену Петровну померла, такъ неужели же вещами можно заплатить вамъ за это?

Домна, не то конфузясь, не то недоумѣвая, прошептала что-то въ родѣ того, что, конечно, нѣтъ.

Отецъ Петръ поспѣшно протянулъ мнѣ руку, прощаясь и говоря, что не хочетъ мнѣ мѣшать.

— Скажите, обратилась я къ нему—правда, что ихъ мать умерла изъ за Елены Петровны?

— Говорятъ... я самъ ничего положительнаго не знаю... Общій голосъ, пробормоталъ отецъ Петръ, спѣша уйти.

Любопытство мое было сильно возбуждено, и я уже думала, что не удастся ли мнѣ, наконецъ, разгадать тайну покаянія Елены Петровны. Я увела дѣвушекъ къ себѣ.

— Какъ звали вашу мать?

— Василиса.

Увѣренность моя раскрыть тайну все увеличивалась. Не даромъ же Федотычъ и жена его съ такою таинственностью упомянули имя Василисы.

— Такъ вы говорите, что ваша мать умерла изъ за Елены Петровны? Какъ же это случилось? Мнѣ что-то не вѣрится...

Домна вспыхнула и молчала, но за то говорили ея большіе сѣрые глаза, полные и гнѣва и горечи. На безжизненномъ лицѣ Макриды тоже пробѣжалъ какъ бы блѣдный отблескъ чувствъ, волновавшихъ ея сестру.

— Расскажите же, какъ это случилось.... Если правда, что

Елена Петровна виновата, то, я знаю, наследникъ ея постарается, чѣмъ можетъ, загладить зло.

— Развѣ онъ подниметь маменьку изъ могилы? Все сиротами круглыми останемся, вся дрожь отъ волненія отвѣчала Домна. — Четверо сиротъ насъ остались; я одна кормилица. Макрида который годъ сохнетъ. Еще братишка десяти лѣтъ есть,—въ пастухахъ живеть, да сестренка—пяти лѣтъ. Я въ батрачкахъ живу у Свинцовскаго рендателя. Батрачкой да пастухомъ быть послѣднее дѣло. Хорошо еще, что рендательша Мавра Савельевна—добрая: сестеръ моихъ и брата пустила жить при мнѣ и когда крупки, когда молочка дастъ потихоньку отъ мужа. Тотъ сердитый, скупой...

Я общала, что напишу пріятелю о ней, и еще разъ попросила рассказать, — какъ же это Елена Петровна виновата въ смерти ея матери? Она рассказала, что покойница затѣяла судиться съ арендаторомъ, который снималъ мельницу, и гоняла мать ея въ городъ по судамъ, зимой. Мать, въ заморозки, провалилась съ телѣгой въ озеро, простудилась, а Елена Петровна все гоняла ее, больную, и мать померла.

— Какъ же это... больную?.. Елена Петровна больныхъ лечила,—это всѣ говорятъ, замѣтила я.

— Маменьку одну она крѣпко не любила и не жалѣла, Богъ ей судья!—коротко отвѣтила Домна, и крупныя слезы задрожали на ея рѣсницахъ.

— Ваша мать была крѣпостной Елены Петровны?

— Нѣтъ, Свинцовскихъ господъ.

— Давно умерла ваша мать?

— За четыре мѣсяца прежде Елены Петровны.

Выходило очень вѣроятнымъ, что Елена Петровна дѣйствительно была причиной смерти Василисы. Дѣло съ арендаторомъ мельницы было начато незадолго до того времени, какъ съ Еленой Петровной сдѣлался первый ударъ, и очень могло быть, что, послѣ него, она дѣлала то, чего бы не сдѣлала прежде, куда была здорова.

Я сказала Домнѣ, что она уже занесена въ списокъ и получить вещи, какъ только все будетъ разобрано. Она и обрадовалась и обидѣлась.

— Вы бѣдныхъ записываете, а мы не побираемся, сказала она: — Я и брату, и сестрѣ строго приказываю не ходить по міру.

— Да я и должна раздавать вещи не тѣмъ, которые по міру ходять, а тѣмъ, кто работаетъ.

По лицу Домны расплылась такая широкая, счастливая улыбка, что я дала себѣ слово отобрать ей вещи покрасивѣе.

— Только вы, можетъ быть, ждете чего нибудь особеннаго, сочла я долгомъ предупредить ее. — Здѣсь ходять слухи, что въ сундукахъ горы богатства. Все вещи обыкновенныя, больше грязье.

— Ахъ, барыня! каждая тряпочка нивѣсть какъ дорога намъ!.. Гдѣ мнѣ взять ленку, нитокъ?.. Донашиваемъ то, что матушка припасла. Лучше того, что на насъ надѣто теперь, и нѣтъ ничего; надѣли, чтобы къ вамъ прийти. Хоть обыщите...

Я думала, что переговоры окончены, но Домна не уходила, а молча сидѣла, собираясь высказать еще что то, очевидно глубоко лежавшее у нея на сердцѣ.

— Матушка-барыня! вскричала вдругъ она и, вскочивъ съ мѣста, рухнулась мнѣ въ ноги. — Матушка, заставъ за себя Бога молить... Братишка малый... учиться хочеть... Рендаторъ не пускаеть... Солдатчина... Заставъ бога молить, несвязно и порывисто говорила она, а по раскраснѣвшемуся и сильно пылавшему лицу ея градомъ катились слезы.

Когда переставали выгонять скотъ въ поле, арендаторъ заставлялъ брата ея съ утра до ночи щипать пухъ, пеньку, сучить веревки. Даже пятилѣтняя сестра Домны, Манька, — и та щипала перья, а Макрида совсѣмъ извелась за работой. «Сколько разъ замертво поднимали... Вздоху не даетъ... Ванька безграмотнымъ выростеть... Всѣ грамотные теперь будутъ, а онъ одинъ, какъ обойденный».

Я обѣщала написать о Ванькѣ, и Домна ушла довольная исполнѣ.

Федотычъ и Афимья Егоровна отъ слова до слова подтвердили все сказанное Домной, и Федотычъ прибавилъ, что не оставить Василисиныхъ сиротъ—дѣло справедливое. Хрисанфъ, который, нѣсколько дней спустя, зашелъ ко мнѣ, исполнѣ раздѣлялъ мнѣніе Федотыча, и, вообще, общественное мнѣніе всей Соколовской «округи» признавало Елену Петровну виновницей смерти Василены и считало прямою обязанностью наследника не оставлять сиротъ.

Наконецъ, вещи были распределены и связаны въ узлы.

Сначала я думала привязать къ каждому узлу билетикъ съ именемъ лица, которому слѣдовало отдать эти вещи, и поручить Фишѣ, очень бойко читавшей, раздать все по принадлежности, какъ нибудь безъ меня; но Афімья Егоровна испугалась и закричала самымъ жалобнѣйшимъ голосомъ:—«Нѣтъ ужъ, сами раздайте... Развяжите вы мою головушку! Сживутъ они меня со свѣту. Народъ здѣсь невѣрный, — сумлѣваться будутъ, скажутъ, что я ихъ обобрала».

Пришлось раздавать вещи мнѣ самой и выслушивать безконечныя претензіи и обиды. Бабы, почему-то ожидавшія непременно шелковыхъ платковъ, шерстяныхъ «матерчатыхъ» сарафановъ, тутъ же, на дворѣ, принимались разбирать полученные узлы, и со всѣхъ сторонъ до меня доносился хохотъ, доносились восклицанія: «И это все!» Каждая штука бѣлая, каждая тряпка переворачивалась во всѣ стороны, сравнивалась съ вещами другихъ, и если у кого-либо оказывался какой-нибудь линючій шелковый лоскутъ, тотчасъ-же противъ счастливой обладательницы его поднималась цѣлая буря завистливыхъ попрековъ. Надъ мирнымъ дворомъ усадьбы снова стоялъ гомонъ мелкихъ, но злыхъ страстей, повсюду разнуздывающихся изъ за ветоши всякаго рода.

Иныя бабы, разобравъ свои узлы, просили еще.—«Матушка, это свекрухѣ, а мнѣ-то неужто ничего?»—Или:—«Это сестринимъ, братнинимъ сиротамъ, а мои ребята развѣ такъ и будутъ безо всего?»—Я твердила однѣмъ, что вещи раздаются только нуждающимся семьямъ, въ десятый разъ повторала другимъ, что дѣти ихъ не нуждаются, а сироты нуждаются. Но бабы не унимались, и однѣ упрекали меня, что я обидѣла ихъ дѣтей, которыя ожидали обновокъ, а другія приставали ко мнѣ съ требованіями, чтобы я подѣлила вещи между ими и ихъ свекровьями или золовками: «Чтобъ грѣха не было. Съѣдать онѣ меня!»

— Бросайте жребій; какъ же я могу васъ дѣлить! говорила я, начиная приходить почти въ отчаяніе.

Сидориха, получивъ туго набитый узелъ, чуть ли не вдвое больше ея самой, посовѣстилась разбирать его при мнѣ и сказала:—Ужъ я не стану смотрѣть здѣсь. Ужъ вѣрно вы попомнили, матушка, что я первая съ вами познакомилась.

Лизка, такъ и не получившая краль, поблѣднѣла и затряслась отъ злости, когда, на ея вопросъ о нихъ, я сказала,

что она сама виновата, такъ какъ не исполнила уговора,—не зашила рубашки братьямъ.

Вполнѣ довольной осталась одна Олечка, которая была свидѣтельницей всей возни съ сортировкой тряпья и твердо помнила каждую вещь. Она сіяла счастьемъ, выбирая изъ своего узла вещи, нужныя ей «посейчасъ», и заботливо, даже съ отѣнкомъ благоговѣнія, убирая другія въ берестовый коробъ, который сдала Афимья Егоровна на храненіе отъ своего «прода-мучителя-пропойцы». Олечка выговаривала всѣ три слова слитно, залпомъ, какъ одно, и притомъ какъ собственное имя мужа.

Наконецъ, были розданы всѣ узлы, за исключеніемъ узла, назначеннаго для Богатѣя. За нимъ никто не являлся. «Слава тебѣ, Господи, — покончено!» говорила Афимья Егоровна. Я тоже думала, что наконецъ развязалась съ тряпьемъ, но вышло не то. По всѣмъ окрестностямъ разнесся слухъ, что въ Соколовѣ раздадутъ на поминъ души, и со всѣхъ сторонъ стали являться нищіе, убогіе, странники, юродивые. Въ окна то и дѣло несло съ двора или заунывное бормотанье, или гнусливое пѣніе и заунывное причитанье.

— Говорилъ я вамъ, что не надо было заводить эту канитель, ворчалъ Ѳедотычъ. — Обокрадутъ еще, а я въ отвѣтъ. Спустить на нихъ Волка, вотъ и все.

Афимья Егоровна, которую вольнодумство супруга повергало въ несказанный ужасъ, забывала все свое уваженіе къ нему и съ сокрушеніемъ и гнѣвомъ набрасывалась на него.

— Ахъ, Акимъ Ѳедотычъ! Какъ это у васъ языкъ поворачивается такъ говорить! Обижать божьихъ людей!.. Что они мукъ за наши грѣшныя души приняли: угла нѣтъ своего, постники великіе, по недѣлѣ одну корочку хлѣба жуютъ. Холодъ—непогоду терпятъ, вериги носятъ тяжелыя. А у васъ никакой не то что благодарности, а жалости человѣческой нѣтъ.

Въ одномъ совершенно случайно открытомъ нами чуланчикѣ, существованія котораго не подозрѣвали даже Ѳедотычъ и его супруга, нашли мы огромный запасъ полуистлѣвшаго тряпья. Въ сундукѣ, который мы открыли подъ грудю ветоши, нашлись дворянскіе и чиновничьи мундиры временъ Павла, Александра и Николая.

— Вотъ это для Божьихъ людей; ужъ сама судьба послала! съ видомъ безповоротнаго рѣшенія произнесла Афимья Егоровна.

ровна и обѣими руками ухватилась за тряпье, очевидно намѣреваясь ни за что не уступить его безъ боя.

Мы переглянулись съ Федотычемъ и невольно расхохотались.

— Нѣтъ-съ, какъ же это можно? Неужели вы и этого пожалѣете для божьихъ людей? Ужъ если объ своей душенькѣ не думаете, такъ хоть о покойницѣ бы подумали, слезно укоряла насъ Афимья Егоровна, которая выдержала нашъ смѣхъ съ невозмутимымъ достоинствомъ человѣка, осмѣяннаго за святую правду.

Однакоже, все-таки, несмотря на всѣ ея укорины и жалобы, было порѣшено часть тряпья, годную для корпін, отдать въ больницу, а остальное продать ветошникамъ. Все это тряпье было тоже разсортировано, и два громадныхъ узла, наполненныхъ имъ, были покуда сложены въ угольной. Тамъ имъ пришлось пролежать около недѣли, такъ какъ больница находилась верстахъ въ двадцати-пяти, и Федотычъ выжидалъ, покуда встрѣтятся еще какія-нибудь другія надобности побывать въ той сторонѣ. Раза два, когда я проходила по угольной, мнѣ показалось, что узлы были нѣсколько растрепаны, но тогда я не обратила на это вниманія. Между тѣмъ «божьи люди» являлись все чаще и чаще, все въ большемъ и большемъ числѣ, особенно по праздникамъ; Федотычъ напускалъ на себя все болѣе и болѣе свирѣпости и грозилъ Волкомъ.

Въ одно воскресенье я стояла въ столовой, скрывшись въ нее отъ ливня, внезапно налетѣвшаго съ вихремъ и громомъ. Федотычъ забивалъ оконныя рамы, готовые вылетѣть подъ напоромъ вѣтра, какъ вдругъ изъ прихожей появилась Афимья Егоровна, стремглавъ промчалась въ угольную и черезъ минуту появилась обратно, неся подъ шалевымъ платкомъ порядочную кучу чего-то. Она только теперь увидѣла насъ и остановилась на мигъ, какъ вкопанная, но тотчасъ же съ отчаянною рѣшимостью трянула головою и проговорила:

— Ужъ какъ хотите, это божьему человѣку, такому божьему человѣку, что вы и сами все ему отдадите. Ужъ коль ему не дать, такъ ужъ я и не знаю что это такое будетъ? — и она промаршировала побѣдоносно черезъ столовую въ сѣни.

Я вышла на крыльцо. На дворѣ, поднявъ руки къ небу, стоялъ, обладаемый потоками дождя, странникъ и выкрикивалъ безъ передышки какую то нескладницу.

Онъ потрясалъ руками, и, при этомъ, когда стихалъ свистъ вѣтра, слышалось легкое бряцанье.

Онъ взмахивалъ руками на меня и на вышедшаго черезъ нѣсколько секундъ Ѳедотыча. Огромная палка, которую онъ все время держалъ въ лѣвой рукѣ, вдругъ вылетѣла изъ нея и откатилась къ крыльцу, разбрызгивая воду и грязь около нашихъ ногъ. Афімья Егоровна стояла колѣнопреклоненная у ногъ божьяго человѣка и старательно запикивала въ лежавшую на землѣ котомку самопроизвольно захваченныя вещи.

— И бѣаго... и бѣаго... Богосовьяю! выкрикивалъ странникъ, перекачиваясь всѣмъ тѣломъ, и съ каждымъ его движеніемъ слышалось все явственнѣе и явственнѣе бряцанье желѣза.

— Вериги на ѣмъ... Неужто и теперь вы не повѣрите? раздался полный укоризны возгласъ Афімьи Егоровны, которая, не поднимаясь съ колѣнъ, обернула къ намъ умиленное лицо свое, увлажненное не то слезами, не то каплями дождя. — Вѣдь по всему видно, каковъ человѣкъ онъ есть... Божій человѣкъ!..

Ѳедотычъ только презрительно хмыкнулъ и махнулъ рукой. И дѣйствительно, сразу видно было, что за человѣкъ былъ этотъ странникъ. Вздутое, багровое лицо, испрещенное прыщами и фіолетовыми жилками, носило на себѣ неизгладимую печать циническаго нахальства и глупости; маленькіе свинные глазки то исчезали подъ толстыми красными вѣками, то преуморительно выкатывались изъ подъ нихъ и таращились, при чемъ брови, поднимаясь все выше, уходили, наконецъ, подъ намокшій отъ дождя войлокъ волосъ. Одѣтъ онъ былъ въ черный суконный кафтанъ, съ плечъ рослаго и плотнаго человѣка, подпоясанный широкимъ ремнемъ и спускавшійся до пятъ. Кусочки хлѣба и всякія подаванія, забитыя за пазуху и за спину, отдували кафтанъ и спереди, и сзади на подобіе двухъ горбовъ. Вся грудь, до самаго пояса, была увѣшана образками, мѣдными и деревянными.

Я посмотрѣла на этого божьяго человѣка и ушла. Ѳедотычъ только того и ждалъ.

— Это нешто порядокъ — безъ спроса, для всякихъ проходимцевъ, добро таскать? услышала я его суровый голосъ.

— Нѣтъ ужъ... какъ это можно! У божьяго человѣка брать назадъ... Благословенное!.. раздался вслѣдъ за тѣмъ горькій и негодующій протестъ Афімьи Егоровны, но его тотчасъ же заглушила яростная ругань божьяго человѣка.

— Ну, ну, ты не въ кабакъ; уходи лучше добромъ, а не то собаку спушу! грозно прикринулъ Ѳедотычъ.

Божій человекъ побѣждалъ, запнулся и упалъ навзничъ. Поясной ремень лопнулъ, полы кафтана распахнулись и открыли небольшой отрывокъ цѣпи, прикрѣпленный съ помощью бичевки къ внутренней сторонѣ кафтана. Такимъ образомъ обнаружилось, что носить эти «вериги», почти до слезъ умилившія Афимью Егоровну, было для странника нисколько не обременительно. Къ тому же, Ѳедотычъ, поднимая его, нащупалъ у него за спиной штофъ съ водкой, который, не безъ злорадства, и показалъ окончательно уничтоженной супругѣ своей и сбѣгавшимся со всѣхъ сторонъ бабамъ. Фиша хотела даже съ какимъ то взвизгиваньемъ, припрыгивая и вертѣсь около божьяго человекъ. Ребятишки толкали, свистѣли и тоже заливались во все горло хохотомъ. Наконецъ, «божій человекъ» прорвался сквозь кругъ вертѣвшихся около него ребятишекъ и пустился бѣжать, преслѣдуемый хохотомъ, визгомъ ихъ и яростнымъ воемъ рвавшейся съ цѣпи собаки. Афимья Егоровна стояла совсѣмъ убитая, опустивъ голову. Потомъ она подняла глаза къ окну, на меня, посмотрѣла на своего мужа, трясагося отъ беззвучнаго смѣха, на гоготающихъ и приплясывающихъ ребятъ и вдругъ вцѣпилась въ косы Фишѣ.

— Ты не смѣй!.. ты не смѣй!.. ты мать уважай! говорила она задавленнымъ голосомъ, воя и нагибая голову дочери то въ ту, то въ другую сторону.

Фишѣ очевидно было больно, потому что на глазахъ ея выступали слезы, но ни эта боль, ни увеличивавшееся негодованіе матери не могли остановить дѣвочку, и она все таки продолжала хохотать и взвизгивать. И не разъ потомъ мнѣ случалось видѣть, что уши этой дѣвочки только что надраны и багровы, какъ огонь, коса сильно растрепана, а каждая черточка лица, кажется, такъ и готова прыснуть смѣхомъ, не смотря на всѣ усилія Фиши сдержаться.

— За что это? спрашивала я.

— За непочтительность, отвѣчали и мать, и дочь почти въ одинъ голосъ, съ тою только разницею, что первая отвѣчала грозно, а вторая смиренно.

Непочтительность заключалась въ томъ, что Фиша, чинно справляя свое дѣло или бесѣдуя за столомъ съ родителями, нѣтъ-нѣтъ да взглянетъ на мать, залетѣя сумасшедшимъ неу-

держимымъ хохотомъ и, барабана руками и ногами по чемъ попало, начнеть приговаривать: «Охъ, не могу... охъ, какъ онъ повалился... а татенька штофъ-то изъ горба... и вериги то... Ой, умру! Ой, божій то человѣкъ!».

Божій человѣкъ сталъ больнымъ мѣстомъ Афімьи Егоровны, до такой степени больнымъ, что она забывала всю кротость свою и готова была вцѣпиться въ лицо всякому, кто напоминалъ ей о немъ. Какъ то разъ я тоже не удержалась и была на столько жестокосерда, что поддразнила ее веригами. Она вспыхнула, сложила руки на груди, вся какъ то подобралась и отвѣчала убѣжденнымъ голосомъ:

— Ну, обманулъ меня худой человѣкъ... ну, Богъ ему судья. А все же есть и настоящіе божьи люди; ужъ вы не осудите меня за правду,—только и вы, матушка, и самъ Акимъ Ѳедотычъ не хорошо дѣлаете, что при Фишкѣ смѣтаетесь надъ божьими людьми. Если она да теперь, въ ея годы, не будетъ вѣрять въ святое, такъ ужъ это что жъ такое?

Сама того не вѣдая, Афімья Егоровна сказала мудрое слово, надъ которымъ мнѣ не разъ приходилось призадумываться послѣ монхъ разговоровъ съ деревенскою молодежью.

Простодушная вѣра Афімьи Егоровны въ «божьихъ людей» казалась этой молодежи глупостью, и, конечно, собственно объ этомъ жалѣть было нечего; но меня всегда охватывалъ ужасъ, когда я видѣла, что на мѣсто этой утраченной вѣры не являлось никакой другой, на мѣсто прежней утерянной святыни не становилась никакая иная. Одна только жгучая, подсказанная кровной нуждой мысль о томъ, «какъ бы деньгу зашибить»,—вотъ что толкало и подростковъ, и молодежь пойти къ барынѣ, поговорить съ нею и позаимствоваться у нея книжками,—вотъ что лежало въ основѣ всѣхъ думъ и мечтаній.

— Нынче, матушка, вѣры нѣтъ, а все деньга, говорилъ Ѳедотычъ.

XII.

Снова, съ быстротою молніи, по окрестностямъ пронеслась вѣсть, что въ Соколовской усадьбѣ найдены еще горы добра, и снова меня начали осаждать просьбами и претензіями.

Бабы являлись одна за другою и просили теперь на саванъ,—на саванъ для самихъ себя, если онѣ были стары, на саванъ для своихъ стариковъ и старухъ, если сами были еще

молоды. Сначала я думала, что то была съ ихъ стороны просто уловка, та самая, къ которой еще раньше ихъ прибѣгла Лизка, просившая на саванъ своему брату, и не думавшему умирать. Пора стояла рабочая, та страдная пора, когда у крестьянина руки «разматываются» до того, что становится невозможно «владать ими», а поясницы надламываются до такой степени, что отходятъ только тогда, когда мужикъ поставитъ себѣ банки и выпуститъ «закожной» крови банокъ дюжину, а то и двѣ. Это пора, когда работники ходятъ съ обожженными солнцемъ, отеками отъ приливовъ крови лицами, съ воспаленными глазами; когда, они съ закатомъ солнца, засыпаютъ тутъ же, на полѣ, въ смоченныхъ потомъ рубахахъ, проспятъ мертвымъ сномъ до зари, не чувствуя, какъ ихъ проймаютъ насквозь холодная роса, и встанутъ на работу съ злостной лихорадкой или съ мучительнымъ ревматизмомъ. Страда не время крестинъ и свадебъ; а на саванъ всегда можно просить, тѣмъ болѣе, что эта просьба — совершенно особаго рода и даже высказывается особеннымъ тономъ, въ которомъ слышится убѣжденіе, что на такую просьбу нельзя отвѣтить отказомъ, что помочь обрядить саванъ—это религиозная обязанность каждаго.

Сначала я спрашивала, — кто умеръ; но просили для живыхъ и здоровыхъ, потому что надо все заранѣе приготовить къ тому времени, «когда часъ придетъ». Это былъ мѣстный обычай, который свято соблюдали старики, наиболѣе почтенные. У иныхъ уже лѣтъ пять, десять все было приготовлено къ «часу». О «часѣ» говорили съ спокойствіемъ, которое могло показаться тупымъ фатализмомъ, — да, быть можетъ, и была известная доля фатализма—всякому, кому довелось бы въ первый разъ видѣть, какъ относится русскій крестьянинъ къ послѣднему акту трагикомедіи жизни. Смерть, которая является такимъ страшнымъ потрясающимъ ударомъ въ другихъ сословіяхъ, здѣсь—привычный, обыденный фактъ. О немъ говорятъ прямо, безъ умалчиваній и иносказаній. Сынъ скажетъ при отцѣ: «вотъ это дерево мы срубимъ тяткѣ на гробъ», и отецъ выслушаетъ это совершенно благодушно, даже довольный, что распоряженіе его насчетъ дерева будетъ соблюдено. И это не грубость, не черствость со стороны дѣтей. Въ рѣдкой семьѣ деликатно образованныхъ людей приходилось мнѣ встрѣчать такое общее согласіе, такую сердечность и крѣпкую взаим-

ную любовь, какъ въ семьѣ Хрисанфа. Члены ея не называли другъ друга иначе, какъ «милый», «родная», «голубчикъ», и однакоже именно въ этой семьѣ, и даже отъ самого Хрисанфа я слышала вышеприведенныя слова о деревѣ, назначенномъ на гробъ его девяностолѣтнему старику отцу.

Для стариковъ смерть—великій шагъ, который они должны перейти, «соблюдая все положенное». Старухи прядуть и ткуть изъ особенно чисто перемытаго льну на саванъ себѣ и мужу. У нихъ припасены на смертный часъ—чистая рубашка, платокъ, чулки, а у тѣхъ, кто побогаче,—и башмаки. Ближняя родственница получаетъ обстоятельный наказъ, гдѣ и что взять и какъ все исполнить; и надо слышать, съ какимъ чувствомъ успокоенія, даже болѣе—съ чувствомъ какого то гордаго удовольствія, старики и старухи скажутъ: «все какъ слѣдуетъ приготовлено»... И бродятъ они, пока есть силы, справляютъ какую ни на есть работишку, а не станеть силъ, ложатся на печь и ждуть, пока Богъ пошлетъ по душу.

— Нѣтъ, матушка, не хочу я лекарствица, говорилъ мнѣ одинъ дряхлый «древній» старикъ, котораго я напрасно убѣждала принять хину отъ лихорадки. — Сдѣлалъ свое дѣло, землю обряжалъ, пока силы были... пора старымъ костямъ на покой.

Что за безконечная усталость слышалась въ этихъ словахъ: «пора старымъ костямъ на покой»!.. Вся жизнь человѣка была однимъ тяжелымъ физическимъ трудомъ, не стало этого труда,—не стало и смысла жизни, и въ душѣ осталась одна жажда покоя. Смерть не страшна труженикамъ.

Сидориha явилась одною изъ первыхъ просить на саванъ.

— Ты помни, что я первая познакомилась съ тобою, убѣждала она меня своею обычною формулою.—Матушка, выбери ты мнѣ на саванъ тонкаго миткалю съ кружевцомъ. Ужъ какъ это хорошо будетъ,—тонкій миткалевый саванъ, отороченный кружевомъ! У дьяконицы съ Курганщины видѣла я, какъ ее хоронили. А то еще лучше, если бѣлой кисеи... Совсѣмъ по господски. И ужъ какъ я это всегда любила — тонкій бѣлый миткаль и кисею!..

На острыхъ скулахъ крошечнаго лица ея проступали изъ подъ сплошныхъ темныхъ веснушекъ красныя пятна; маленькіе глазки съ мольбой смотрѣли на меня, голосъ дрожалъ умиленіемъ.

— Ма-агушка! Хошь бы въ могилку лечь попригляднѣе, а не какъ нищая какая!..

Благодаря соединеннымъ усилямъ Ѳедотыча съ семьей, Олечки и работниковъ усадьбы, удалось, наконецъ, распространить въ «округѣ» свѣдѣнія о томъ, что все роздано. Недѣли двѣ не было и помину о трапѣ, и я вздохнула было свободно, какъ вдругъ, въ праздникъ Спаса, разразилась чуть ли не цѣлая буря.

Рано по утру явилась Богатѣиха, жена Терентья, которая только теперь узнала о томъ, что для нея отложены вещи. Это была костлявая, широкоплечая баба средняго роста, лѣтъ сорока. Прямая и нѣсколько грубая черта загорѣлаго и слегка рябоватаго лица были пріятны. Это лицо поразило бы и среди сотенъ другихъ бабьихъ лицъ выраженіемъ сдержанности и спокойнаго достоинства. Одѣта она была бѣдно въ выбойчатый сарафанъ, заплатаанный и чисто вымытый, побурѣлый коричневый платокъ и побурѣлый же кафтанъ.

Афимья Егоровна принесла узель, развязала и стала показывать вещи. Богатѣиха принимала вещь за вещь съ легкой краской на лицѣ, но спокойно, безъ жадной торопливости, безъ алчнаго огня въ глазахъ. Когда всѣ вещи были перебраны, на лицѣ ея отразилось недоумѣніе и обманутое ожиданіе, но только на одно мгновеніе, и затѣмъ она тотчасъ овладѣла собой.

— Благодаримъ покорно и за душу помолимся, степенно произнесла Богатѣиха.—Только съ чего это покойницѣ вздумалось насъ вспомнить и завѣщать намъ наслѣдство? Мы изъ дальней деревни, и видѣла она меня всего разъ, либо два...

И въ тонѣ голоса, и въ выраженіи лица, и во взглядѣ, который она на мигъ, прямо и не мигая, остановила на мнѣ, ясно слышался невысказанный словами вопросъ: неужели всего только это и завѣщено ей?

Я объяснила, какъ происходило дѣло и прибавила, что если бы было что нибудь завѣщено, то, конечно, она получила бы все сполна. Богатѣиха вспыхнула и опустила глаза.

— Не обезсудьте... такъ сказывали мнѣ... Я и сама дивилась, съ чего бы? пробормотала она, торопливо затягивая узель.

Вдругъ она выпустила концы его изъ рукъ, подняла голову и смотрѣла на меня съ выраженіемъ печали и горечи.

— Выходить—это подаваніе, какъ нищимъ, на поминъ души.

— Нѣтъ, не какъ нищимъ. Мнѣ поручено раздать работающимъ семьямъ, которымъ трудно жить.

— Такъ, проговорила она, видимо успокоясь. — А затѣмъ простите, если что не такъ сказала.

Богатѣиха ушла; Афімья Егоровна, вся красная, рванулась было за нею, но успѣла удержать мою разобиженную помощницу.

— Нѣтъ ужъ какъ угодно, не теперь, такъ послѣ, отпою ей. Эдакіе люди невѣрные! Не то что на меня, на васъ поумать смѣла! волновалась она.

Часа черезъ полтора, въ садъ, куда я ушла съ книгой, вдругъ примчалась Фиша и объявила, что Холмовскія и Камышинскія бабы идутъ ко мнѣ съ поля. У арендатора была помочь. До меня допеслись отголоски визгливой, пьяной пѣсни, смолкли и снова раздались, громче и явственнѣе. Я вышла на крыльцо. Вереница бабъ и дѣвокъ въ яркихъ красныхъ и желтыхъ сарафанахъ и платкахъ, выкрикивая пѣсню и приплясывая, шла съ поля по дорогѣ, огибавшей възгородь. На дворѣ стоялъ Ѳедотычъ и, засунувъ руки въ карманы, смотрѣлъ съ глубочайшимъ презрѣніемъ на эту пеструю толпу, наполнявшую дворъ и обступавшую меня. Самыя разнообразныя лица, молодыя и старыя, недурныя и безобразныя красныя отъ выпитаго вина и отъ веселья, всѣ были обращены ко мнѣ, и на всѣхъ я видѣла обиженное или вызывающее выраженіе.

Я поздоровалась съ ними и не успѣла еще спросить, чего онѣ хотятъ, какъ загремѣлъ крикливый хоръ: — Мы къ тебѣ. — Потому что обидно... — Непереносно... — Нешто это дѣло? — Такъ не водится. — Мы свои. — Исконныя Елены Петровнины. — И чужимъ все... — Горы добра раздали. — Вонъ и Богатѣиха узелъ тащила. — Большущій! — А она что? — И касательства не имѣла. — Такъ, здорово живешь дали. — И Сидорихѣ... — И Климчихѣ... — Чужія... Обидно! — Ужъ гдѣ послѣ этого правда? — Гдѣ она, матушка?

— Пусть одна которая нибудь говорить, сказала я. — Нельзя же разомъ... Я ничего не разберу...

Всѣ замолчали. Женщины начали переглядываться и подталкивать нѣсколькихъ бабъ постарше. Это молчанье и переглядыванье длилось нѣсколько секундъ.

— Кричать разомъ, умѣютъ, а толкомъ сказать ничего не могутъ, проговаривалъ стоявшій все въ той же позѣ Ѳедотычъ, флегматично констатируя фактъ.

— И охота вамъ это, матушка, съ пьяными разговари-
вать? очень некстати шепнула мнѣ Афімья Егоровна на ухо,
но такъ громко, что двѣ три ближе стоявшія бабы услышали.
Поднялся крикъ, къ которому пристали всѣ.

— Ишь, дворовыя! — Хамы! — Барскія тарелки языкомъ
пролизали! — По барскимъ хоромамъ скитаетесь. — Пока не
погонять. — Своего угла нѣтъ. — На старости подъ наши же
окна придуть за кусочками. — Къ намъ же проситься будутъ
переночевать. — Спѣсь-то съ васъ пособиють. — Мы какіе ни
есть, а себѣ хозяева. — Своя крыша и земля есть. — Мы народъ
вольный. — По колокольцу не бѣгаемъ. — Лизоблюды. — Прихво-
стни! — Барскіе холопы!

Я не останавливала этотъ гвалтъ изъ любопытства; Ѳе-
дотычъ, хоть глаза его и сверкали изъ подъ сдвинутыхъ бровей,
превосходно выдержалъ на своемъ лицѣ выраженіе полнѣйшаго
презрѣнія къ бабамъ и, не мѣняя позы, прикрикнулъ: «ти—ше!»
тѣмъ же самымъ тономъ, какимъ останавливалъ испуганныхъ
и понесшихъ лошадей или грызущихся собакъ. Но Афімья
Егоровна вышла изъ себя и завопила, махая руками:

— Мы своимъ трудомъ живемъ! Очень важничаете своей
землей! Въ кусочки отъ земли-то ходите. У самихъ у васъ
дочери на мѣстахъ живутъ, да гоңять. А мы никогда безъ
мѣста не бывали. Потому насъ за честность одобряютъ господа.
Чего зубы скалите? За хорошее дѣло Протасихину то дочку
согнали. А за нами художествъ не было. Нечего передъ нами
землей бахвалиться!..

Насилу удалось мнѣ остановить начинавшуюся перебранку
и опять поставить на очередь первоначальный вопросъ: чего
онѣ отъ меня хотятъ?

Изъ толпы выступила баба лѣтъ сорока, въ ярко розовомъ
сарафанѣ, въ такомъ же платкѣ и пестро расшитомъ перед-
никѣ. Разноцвѣтныя крупныя крапи, сверкавшія на солнцѣ,
широкою полоскою обвивали загорѣлую шею и спускались до
половины груди. Она была меньше всѣхъ ростомъ, худенькая,
гордая, бойкая и, судя по тому, что всѣ равступились, чтобы
пропустить ее, и одобрительно кивали ей, можно было заклю-
чить, что она являлась, пожалуй, зачинщицею всей этой исторіи.
Рѣшительными шажками, вся какъ-то подобравшись, она по-
дошла ко мнѣ, и въ довольно красивыхъ чертахъ ея сухого
лица, въ задорно вздернутомъ носикѣ, будто подрубленномъ

съ конца, въ большихъ глазахъ, воспаленныхъ отъ вина и напряженной работы, ясно можно было прочесть негодующій протестъ и непоколебимое сознание своего права.

— Мы пришли къ тебѣ сказать, что ты насъ всѣхъ обидѣла, начала она парламентскимъ тономъ.—Никогда съ поконъ вѣка этого не видывали, чтобы на поминъ души раздавали господское добро чужимъ людямъ, а своимъ ничего не давали. Ты здѣсь новый человекъ, порядковъ знать не могла, такъ поспросила бы у другихъ.

— Я говорила барынѣ, что обида большая будетъ, залпомъ выкрикнула Афимья Егоровна.—Вотъ и при ней говорю, что говорила. Скажите вы имъ, барыня, развяжите мою головушку... Поѣдомъ ѣдятъ.

— Говорила, подтверждаю, я, и тотчасъ же со всѣхъ сторонъ раздаются восклицанія:

— Говорила!.. Такъ за что-же насъ обидѣла?—Богъ тебѣ судья!—За что такъ?—Обидно!—Гдѣ же правда-то? Нѣтъ ея видно нигдѣ, матушки!

— Да что-же тутъ для васъ обиднаго? спрашиваю я.

— Какъ что? возражаетъ негодующій хоръ.

Маленькая баба подступаетъ ко мнѣ еще ближе и громко, съ негодованіемъ произноситъ:

— Еще не понимаетъ, что обидѣла!.. Отцы и дѣды наши служили отцу и дѣду Елены Петровны и ей самой; что жисти своей они вотъ на этой самой землѣ положили... И теперича— намъ ничего, чужимъ горы добра роздали!.. И гдѣ это видано, чтобы свои господа да чужимъ раздавали?

— Да ужъ двадцать лѣтъ, какъ у васъ никакихъ «своихъ господъ» нѣтъ, возражаю я, интересуясь знать, что мнѣ на это отвѣтятъ.

Баба вспыхиваетъ и засверкавшими глазами мѣрзаетъ меня съ головы до ногъ.

— Да, своихъ господъ нѣтъ,—ослобонилъ насъ Господь!.. А все-же господа должны завсегда помнить своихъ крестьянъ. Отцы-дѣды наши мало, что-ли, силы своей положили на нихъ, мало, что-ли, робили?.. Здѣсь все, что тутъ есть, все, чѣмъ жили соколовскіе господа, все — трудъ отцовъ и дѣдовъ нашихъ... И намъ ничего! Обидно! Всѣ смѣяться надъ нами будутъ, передъ всѣми мы—точно оплеванные.

— Да развѣ за службу отцовъ и дѣдовъ вашихъ можно расплатиться тряпьемъ? замѣтила я.

Надо было видѣть, какъ гордо выпрямилась эта маленькая бабенка и вдругъ словно выросла; надо было слышать, какое глубокое сознание своего достоинства зазвучало въ ея голосѣ, когда она отвѣчала мнѣ:

— Извѣстно, не расплатиться...

Я объяснила ей подробно всю исторію этого несчастнаго тряпья и сказала въ концѣ, что обращалась за совѣтомъ къ священнику и старой попадѣ, но ссылка на нихъ вызвала только ироническую усмѣшку на лицѣ моей собесѣдницы, — такую усмѣшку, отъ которой пришелъ въ движеніе даже ея подрубленный носикъ.

— И вышло, что зря роздали, сказала она.

— Какъ зря?

— Да такъ, зря. Попъ новый человекъ здѣсь, не можетъ онъ все въ дотошности знать!

— Какъ новый? Да вѣдь онъ здѣсь больше десяти лѣтъ...

— Новый онъ человекъ... Ничего не можетъ знать, упорно повторяетъ она, смотря мнѣ прямо въ лицо — и сѣрые, пьяные глаза ея говорятъ такъ много чего-то, чего деревенская политика не допускаетъ высказать прямо, что мнѣ становится и неловко, и досадно, какъ будто мнѣ въ глаза сказали, что я кругомъ одурочена и оказалась совсѣмъ глупенькой.

— Ну-съ, прощенья просимъ... не обезсудьте... Знали-бы, что вы только на бѣдность роздаете, а не памяти ради, такъ не пришли-бы, говорить баба, очень довольная моимъ замѣшательствомъ.— Коли намъ нужда какая будетъ, напомни помѣщику то, что мы Елены Петровнины кровные были, добавляетъ она, уходя.

Когда дворъ опустѣлъ, Ѳедотычъ сказалъ съ своей обычной усмѣшечкой:

— Одолѣли бабы... Тряпичницы!..

— Нѣтъ, это не тряпичница, Ѳедотычъ, сказала я.

— Заноза баба, первая что ни есть заноза, уклончиво согласился онъ.

XIII.

Наканунѣ отъѣзда я пошла проститься съ Хрисанфомъ и другими кругогорскими знакомыми. Стоялъ знойный душный

вечеръ. Деревня, не смотря на бывший въ этотъ день праздникъ, поражала стоявшей въ ней мертвой тишиной. Бывало, въ весенніе праздники, еще издали съ перекрестка Соколовской и Крутогорской дорогъ, слышны были пѣсни, крики ребятишекъ, гомонъ голосовъ, и чуть только изъ за рощицы открывалась Крутогорская улица, тотчасъ-же бросались въ глаза вереницы нарядной молодежи, оживленно сновавшей взадъ и впередъ. Теперь мнѣ показалось издали, что улица совсѣмъ пуста, и только, когда я дошла до самой деревни, то увидѣла, что почти всѣ крутогорцы были на улицѣ, но сидѣли особнякомъ другъ отъ друга, каждая семья у своей избы, — сидѣли молча, понуро. Лишь кое-гдѣ виднѣлись небольшія группы дѣвушекъ и парней, но и тѣ стояли почти неподвижно, лѣниво обмѣниваясь привычными любезностями. Даже на ребятишекъ — и на тѣхъ отражалось общее уныніе, и они не занимались ни чехардой, ни травлей собакъ, не слышно было ни крика ихъ, ни обычныхъ радостныхъ взвизгиваній.

— Что это такъ тихо у васъ? спросила я подошедшаго ко мнѣ Хрисанфова внука, думая, что ужъ не стряслась-ли надъ Крутогорьемъ какая-нибудь бѣда?

— Завсегда такъ послѣ страды, отвѣчалъ онъ, потягиваясь. — Гдѣ ужъ плясать, ежели ноги еле носятъ, и не то что пѣсни играть, а и говорить-то лѣнь.

Усталость, безконечная физическая усталость была видна на каждомъ лицѣ, — въ позахъ всѣхъ этихъ людей, сидѣвшихъ на заваленкахъ, — въ неподвижности повисшихъ рукъ, въ вялой и нетвердой походкѣ. Всѣ смотрѣли сонными, постарѣвшими, не самими собой. Всякое различіе въ выраженіи этихъ лицъ, на самомъ дѣлѣ столь несходныхъ между собою, — умныхъ и недалекихъ, красивыхъ и безобразныхъ, старыхъ и молодыхъ, — казалось, исчезло теперь и потонуло въ общемъ всѣмъ выраженіи тупаго наслажденія покоемъ и неподвижностью. Можно было подумать, что, загорись вся деревня на глазахъ этихъ измученныхъ людей, они и тогда не двинулись бы съ мѣста.

Когда я вошла въ просторную избу Хрисанфа, семья его ужинала. За столомъ сидѣли: самъ Хрисанфъ, старшій сынъ его, мужикъ лѣтъ сорока, очень похожій на отца, зять Хрисанфа, Исай, рослый мужикъ съ окладистой черной бородой, цѣлою шапкою вьющихся кудрей, въ которыхъ серебрилось много сѣдины, и съ плутовской сметкой въ большихъ черныхъ,

жесткихъ глазахъ; жена его, когда-то красивая баба, преждевременно увядшая и поражавшая запуганнымъ выраженіемъ лица. Они занимали верхній конецъ стола, а на другомъ концѣ его, между ребятишками, дѣтьми Хрисанфа отъ второй жены, я замѣтила дряхлую сгорбленную старуху, въ городскомъ темномъ ситцевомъ платьѣ и платкѣ, повязанномъ «головкой». Всѣ ѣли молча, на всѣхъ лицахъ было то-же, общее всѣмъ крутогорцамъ, выраженіе утомленія, близкаго къ апатіи.

Послѣ обычныхъ привѣтствій и угощеній, Хрисанфъ указалъ мнѣ на своего зятя.

— Вотъ, барыня, измѣнщикъ сидитъ; отъ нашего крестьянскаго дѣла отбиваться хочеть... Не дѣло, не дѣло ты это затѣялъ, Исай Кузьмичъ.

Исай сердито покосился на тестя, а жена его протяжно вздохнула и понурила голову.

— Напрасно ты это, тestyшка, говоришь, отвѣчалъ Исай. Самъ посуди, у чего намъ жить будетъ теперь, послѣ того, какъ межовщики обрѣзали поля? А въ городѣ мнѣ послѣ брата лавочка... полное заведеніе. Сдамъ землю, въ мѣщане припишуть... Братъ хорошо торговалъ.

— Такъ братъ-то твой съ измалѣтства былъ при лавкѣ. А гдѣ-жъ тебѣ непривычному человѣку: проторгуешься и безо всего останешься. Опять-же разсуди, — торговля — самъ знаешь — какое дѣло: грѣшное дѣло, нечистое.. А земля-матушка завсегда кормилица.

Хрисанфъ говорилъ истово, вразумительно. Исай возражалъ притворно ласковымъ голосомъ, а въ глазахъ бѣгали сердитыя искорки.

— Самъ знаешь, тestyшка, какая она кормица, отвѣчалъ онъ: — сегодня дастъ, а завтра въ кулакъ свищи, — все одно какъ-бы орлянка, али лотыря. Тебя и крутогорцевъ Богъ еще помиловалъ, а вонъ въ Орѣховѣ весь скотъ палъ, у попа лошадь одна всего осталась. А лавочку держать — коли ты толковый человѣкъ — ни въ жисть не пропадешь. Потому что, какъ я смекаю, для этого время теперь самое сподручное.

Появленіе съ самоваромъ Оеклы, жены Хрисанфа, прервало на время этотъ разговоръ.

— Вотъ и хорошо завсегда, коли баба на своемъ поставитъ; старикъ то мой не хотѣлъ, чтобы къ старостѣ за самоваромъ сбѣгала, нашъ то въ починку надо, анъ и гостя дорогая! ско-

роговоркой частила Ѳекла, ставя на столъ шипѣвшій и выбрасывавшій клубы пара самоварь.—Здравствуйте! Милости просимъ чайку... Вотъ и хорошо, что не послушала старика. Онъ у меня гордый такой, что бѣда. Не ходи къ старостѣ... А я вотъ пошла, и говорю: Мало ты у насъ одолжался, когда съ дядей раздѣлился, и у тебя не токмо что самовара, а почитай что ни ложки, ни плошки не было. Одолжай и ты... Они только что отпили, самоваръ горячій совсѣмъ; я вздула на дворѣ, а теперь и мы чайкомъ побалуемся. Все повеселѣе будетъ.

Ѳекла—приземистая, широкоплечая баба, съ плоскимъ круглымъ и курносимъ лицомъ, имѣющимъ свойство казаться улыбающимся всегда, — даже и въ такія минуты, когда Ѳеклѣ приходится совсѣмъ плохо. Дюжими руками, обмотанными шерстью, какъ почти у всѣхъ бабъ къ концу страды, она проворно очистила столъ, — бережно убрала въ ящикъ ставца остатки ужина, сгрѣбла всѣ крошки въ деревянную чашку для цыплятъ и поставила чайную посуду, все время таратора безъ умолку.

— Спасибо, что проститься пришла... Пріѣзжай еще... только не въ веселый день ты къ намъ заглянула, хоть и въ праздникъ: изморились ужъ дюжо, да и своя забота есть. Татьяна касатка, обратилась она къ дочери, — не томи ты себѣ душу; бѣда за горами еще: авось Исай Кузьмичъ и передумаетъ, — лавочку продастъ, скота и земельки прикушимъ, и будете вы жить, словно помѣщики.

Исай не подалъ и вида, что слышалъ болтовню Ѳеклы. Та продолжала свое:

— Не люблю я, когда люди, не видя еще ничего, носъ вѣшаютъ. Еще только разговоры одни идутъ... Подумаетъ Исай Кузьмичъ, да и разсудитъ—велика ли ему честь въ городѣ жить... Въ городѣ то онъ изъ послѣднихъ будетъ, — не велика важность — мѣщанинъ или хоть бы купецъ третьей гильдіи: тамъ и купцовъ то квартальные за бороду таскаютъ.. А въ деревнѣ ему почетъ будетъ ото всѣхъ, — и отъ своихъ, и отъ попа, и отъ урядника. Даже становой — и тотъ очень почитаетъ богатыхъ мужиковъ округи и сажаетъ чай пить съ собой.

Исай вскользь взглянулъ на Татьяну и какъ будто задумался.

— Охъ грѣхи, грѣхи наши тяжкіе, неожиданно, со вздохомъ, проговорилъ Хрисанфъ, хмуро слушавшій болтовню жены.

— Прошу покорно, говорила Ѳекла, ставя передо мною чашку съ чаемъ. — И ягодокъ то нѣтъ угостить тебя съ чайкомъ. Утресь моя Машка ходила къ задушевной своей Василисиной Домнѣ, такъ Домна то лежитъ больная. Машка около нея посидѣла, ейнюю работу справила, чтобы хозяинъ не забранился, — аспидъ вѣдь онъ такой, что и Боже упаси... Кабы ты, барыня, другое мѣсто Домнѣ нашла, — цопросила бы у новаго помѣщика... Оно и по совѣсти выходить, что ему не слѣдъ бы оставлять Домну: ты, вѣдь, знаешь, вѣрно, изъ за чего померла мать-то ейная.

— Пустое это говорите, Ѳекла Ивановна, перебилъ ее Исай. — За свою вину померла Василиса, и ни за что больше. Покойница Елена Петровна по старости ни во что не входила и во всемъ Василисѣ довѣрилась. Василиса наговорила ей на Силыча, мѣщанина, что мельницу въ аренду снималъ, будто тотъ условія не соблюдаетъ, и аблаката какого то привела. Аблакаты и увѣрь Елену Петровну, что ей надо контрактъ рушить, а не то мельница ея совсѣмъ пропадетъ. И что Василиса съ этимъ аблакатою-то денежокъ перетаскали у Елены Петровны!.. Вѣдь я былъ по этому дѣлу свидѣтелемъ со стороны Силыча, — все зналъ... Василиса сама и направила въ городъ, потому каждый разъ копейку хорошую зашибала. А если она въ воду провалилась и потомъ больная ѣздила, — такъ кто же виноватъ-то въ этомъ?.. Сама заварила кашу, — сама и нахлебалась. Силыча она со своимъ аблакатою совсѣмъ разорила, мѣ въ тоже сколько было безпокойства и убытковъ: судъ вѣдь не смотреть, что ты день рабочій потеряешь. А Силычъ правъ былъ въ своемъ дѣлѣ.

— Если все такъ, какъ вы говорите, то выходить, что Елена Петровна виновата передъ Силычемъ и невиновата въ Василисиной смерти, замѣчаю я.

— Это я и говорю, подтверждаетъ Исай.

Но Хрисанфъ упорно молчитъ и настолько заинтересовываетъ меня своимъ молчаніемъ, что я обращаюсь къ нему и настойчиво спрашиваю:

— Вѣдь она же ничѣмъ не виновата передъ Василисой, дѣдушка Хрисанфъ?

— Всѣ мы виноваты другъ передъ другомъ, медленно отвѣчалъ онъ, — и чѣмъ больше человекъ, тѣмъ больше и вина его — потому соблазнъ. Елена Петровна добрая душа была, а

тоже много грѣха изъ за нея вышло. Только лѣнивый не обираль еѣ, и что она этимъ воровства наплодила!.. Теперича, какъ отойдетъ отъ нея прислуга, такъ, глядишь, совсѣмъ заматается, потому сдѣлалась никуда негодяща. Работать она отвыкла,—какая ужъ у Елены Петровны работа была,—таскать выучилась; такъ нигдѣ мѣста и не находитъ. Скорехонько спустить она наворованное, потому наворованное легко приходитъ, да легко и уходитъ,—а послѣ волкомъ воетъ... Такъ то.

Хрисанфъ началъ рѣчь свою проникновеннымъ тономъ глубокаго убѣжденія и кончилъ резонерскимъ, обращаясь преимущественно къ зятю и дѣтямъ:

— Только и есть правое добро—то, что съ землицы горбомъ да потомъ добудешь!

Спустя нѣсколько времени, Исай напомнилъ, что пора домой. Всѣ встали, начали прощаться. Какъ ни крѣпилась Татьяна подъ сердитымъ взглядомъ мужа, но не выдержала и громко всхлипнула, цѣлуясь съ отцомъ и мачихой.

— Можеть, послѣдній разо-очекъ я праздникъ-то у васъ справляю, на чужо-ой сторонущкѣ-ѣ буду въ томъ году, жалобно причитала Татьяна.

— Ну полно, полно, касатка, унимала ее Фекла.

Исай, косясь на жену, вышелъ изъ избы съ Хрисанфомъ.

— Ма-амынька, смертушка мнѣ будетъ въ городѣ-ѣ, продолжала дочь.—И теперича не знаю, какъ потрафить на него, а въ городѣ я какъ въ лѣсу те-емномъ пропаду: ничего-то я ничевошеньки тамъ не знаю. Сживетъ онъ меня со свѣту; буду я тамъ одна одинешенька, сиротой горькой. Къ кому мнѣ придти?

— И, полно, бѣда за горами, а ты убиваешься, утѣшала Фекла, ласково, но съ затаеннымъ пренебреженіемъ поглаживая Татьяну по головѣ и плечамъ.— Ну чего «сиротинка»... у самой дѣти скоро возрастные будутъ. А ты не плачь и не спорь съ мужемъ, а такъ окольно рѣчь веди, съ толкомъ, что молъ лучше на деревнѣ ему первымъ мужикомъ быть, чѣмъ въ городѣ какимъ ни на есть мѣщаниномъ. И всѣхъ настраивай такъ говорить съ нимъ. Я ужъ закинула ему сегодня словечко такое. Онъ хошь и показаль, что бабьи слова мои слушать не хочеть, а только я знаю, что словечко мое не на вѣтеръ пошло,—засѣло оно ему въ башку. Ну прощай, будь здорова, да смотри, помни, что я наказываю.

— Буду помнить мамынька. Кабы по вашему вышло. Прощайте.

— Выйдетъ, не бось. Наскрозь я твоего Исайку вижу.

— Не взыщи, гостыя дорогая, провожу своихъ. Исай, аспидъ этакой, разобидится, пожалуй, а мы съ Хрисанфомъ всячески его ради Татьяны. Вотъ Пантелеевна посидитъ съ тобой пока, да у ней и дѣло есть до тебя, обратилась ко мнѣ Оекла и бѣгомъ пустилась за ушедшей Татьяной.

Дѣло Пантелеевны, — той старухи въ городскомъ платьѣ, которая во время ужина сидѣла съ ребятишками, — заключалось въ томъ, что не походитайствую ли я передъ новымъ соколовскимъ помѣщикомъ, чтобы онъ далъ ей какую ни на есть работу. Я смотрѣла на нее въ недоумѣннн, не понимая — какую работу могла справлять эта изможденная, еле живая старуха. Она, казалось, съ трудомъ держалась на скамьѣ, и каждую минуту можно было ожидать, что еще одинъ хриплый вздохъ попротяжнѣе, — и эта женщина свалится на полъ и землисто-блѣдное лицо ея станетъ лицомъ мертвеца.

— Матушка, а Елены Петровны дворовая, такъ и думаю — новый-то помѣщикъ дастъ мнѣ по-божески какую ни на есть работу. Я все справлять буду... Всѣ дворовые награждены были. Я одна ничего не получила.

— Отчего же вамъ земли не дали, какъ всѣмъ дворовымъ?

— Сама я, матушка, виновата и каюсь теперь, да дѣла не поправишь. Жила я на мѣстахъ, въ нянькахъ, сорокъ пять али пятьдесятъ лѣтъ жила; сначала по оброку, да оброку никакого не брала Елена Петровна. Была я въ городѣ Таганрогѣ, когда воля вышла. Отписали мнѣ, что землю раздають дворовымъ. Думаю я: куда мнѣ земля? Весь вѣкъ по людямъ живши, отъ деревни отвыкла. Родни у меня только братъ съ невѣсткой да малыми дѣтьми. Онъ не дворовый былъ, крестьянинъ. Пишетъ мнѣ братъ: не съ руки намъ та земля, — въ сторонѣ совсѣмъ, а ты лучше на мѣстѣ живи, да намъ денежекъ присылай строиться; тебѣ подъ старость уголь будетъ, не оставимъ. Да и съ мѣста уйти не хотѣлось, — Лешеньку, что сына роднаго, любила...

Хриплый дрожащій голосъ Пантелеевны сорвался, морщинистыя щеки слегка покраснѣли, мертвое лицо ожило, и сколько тоски и безграничной любви сказалося въ этой внезапно вспыхнувшей жизни! Засвѣтившіеся глаза смотрѣли, не видя ничего

окружающаго, внутрь себя, на поднимавшіяся тѣни дорогаго, невозвратнаго прошлаго. Она забыла совершенно и о работѣ, и обо мнѣ—нужномъ ей человѣкѣ.

Хрисанфъ съ семьей вернулись въ это время, проводивъ Исаю.

— Что, бабушка Пантелеевна, обѣщала тебѣ бариня работу? спросилъ серьезно Хрисанфъ.

— Въ богадѣленку бы ее, шепнула Оекла.

— Мнѣ бы работу какую ни на есть по силамъ, хрипло заговорила Пантелеевна послѣ долгаго молчанія. — И всего лучше къ дѣтямъ. Носить—силъ нѣтъ: какъ подыму я, хошь груднаго какого, махонькаго, такъ въ груди словно что порвется,—горячо станеть, таково душно... А такъ бы смотрѣть за ними, соблюдать... Всю жисть при дѣтяхъ изжила... Любила я дѣтей... и лучше Лешеньки не было. Какъ пришла я на мѣсто, увидѣла его, — вылитый Миколенька покойничекъ, сыночекъ мой. Сердце къ нему такъ и рвануло. И онъ ко мнѣ ручки протягиваетъ, — няня говорить. По третьему годочку былъ всего, а сердце вѣсть подало. И жила я у нихъ, выросила Лешеньку, другихъ дѣтей нянчу, а Лешенька все мой по прежнему. И вѣрите-ли, — въ ученье ходилъ, не стыдился нянки: все — «няня», да «няня». Ужъ смѣялись надъ нимъ за это, а онъ не мѣняется. Большимъ выросъ, — все «няня», да «няня». Говорилъ: не оставлю. И не оставилъ бы, да женился... Красавица жена была, — за одну красоту онъ и взялъ ее, а меня съ перваго взгляда отъ нея отворотило. Ласковая, обходительная, только никогда она прямо въ глаза не взглянетъ, а улыбочкой да голоскомъ такъ въ душу и вьется. Мнѣ все сдается: фальшивить она. Я такъ и Лешенькѣ сказала, и побранились мы съ нимъ въ то время. Женился онъ, взялъ меня къ себѣ. Ни въ чемъ я ей угодить не могла; ей модницу надо было, — потому съ записочками къ кавалерамъ меня не пошлешь, соврать чтонибудь и покрыть ея дѣла меня не заставишь. Возненавидѣла же она меня за то, что я все тутъ, какъ совѣсть; согнать хотѣла, да Лешенька не пускаетъ меня. И мучила же она меня, а я все терплю, все молчу. Наконецъ, она больной прикинулась, и Лешеньку заставила службу взять въ чужихъ краяхъ. На два года уѣзжали. Куда имъ было везти меня съ собой, да я и сама не захотѣла на старости лѣтъ ѣхать на чужую сторону; на своей родной,

хрестыанской надо кости старья сложить. Какъ прощалась я съ Лешенькой, обѣщала онъ, какъ вернется домой, опять къ себѣ взять меня, чтобы до самой смерти жила у него. Онъ-то любилъ меня,—помнилъ, что одна я отходила его отъ смерти, когда онъ черной оспой хворалъ, и всѣ его бросили, невѣста и та бросила, говорила, маманъ ея не пускаетъ. Да вотъ ужъ шестой годъ все не ѣдутъ изъ чужихъ краевъ... Видно, такъ я его голубчика моего и не увижу... Хотя глазочкомъ бы однимъ на махонькую минутку, передъ смертью, взглянуть бы... Исцупила его, думаю, жена...

Старуха сидѣла, опутивъ голову и не отирая слезъ, скапывавшихся съ морщины на морщину.

Подъ окнами избы застучала остановившаяся съ разбѣга таратайка и раздался звонкій дѣтскій смѣхъ, крики,—это прѣѣхала за мною Афімья Егоровна съ двумя пріятелями моими ребятишками.

— Матушка, не забудь мнѣ какую ни на есть работу-то, напомнила на прощаньи Пантелеевна.—Жалиться я не люблю, а только силъ моихъ нѣтъ жить. Говорятъ—объѣдаю я ихъ, сухой корки и то имъ жалко, угла теплаго не даютъ... А изба то чья? — моя, на мои деньги поставлена. Какъ сынокъ мой померъ, всякую копѣйку посылала имъ, думала,—на что мнѣ: поколѣ силы есть, потолѣ сыта буду, а тамъ Лешенька не оставитъ, у него вѣкъ доживу. И не оставляетъ, присылаетъ денегъ, да все они у меня отбираютъ: за пищу говорятъ, потому не работница. Полтинничка на чаекъ и сахарокъ не оставляютъ, а я привычна... Матушка ты моя, мнѣ и жалованья не надо, изъ за хлѣба пойду, одежда есть по смерти... да вотъ чайку бы мнѣ только хошь разокъ въ день...

Старуха перекрестилась большимъ крестомъ и просіяла, когда я обѣщала ей поговорить съ соколовскимъ помѣщикомъ. Я собралась было уже совсѣмъ уходить, какъ вдругъ въ дверяхъ меня кто-то дернулъ за платье, и, обернувшись, я увидѣла встревоженное лицо Пантелеевны. Нагнувшись ко мнѣ, она прошептала:

— Матушка, не сказывай никому, что я работы прошу и что я тутъ про нихъ говорила. Узнаютъ,—бѣда! Они меня никуда пускать не хотятъ. Богу молиться сходитъ думала,—авось подъ церковной стѣной гдѣ нибудь померла бы,—такъ

и то не пустили, потому денегъ жаль монахъ, что Лешенька мнѣ присылаетъ. Смотри, не говори...

— Жестокія сердца у нихъ, это точно, подтвердилъ Хрисанфъ, провожая меня по двору.— Братъ родной... Хошь она, пятьдесятъ-то лѣтъ въ городъ изживши, совсѣмъ чужой стала, а все бы по человѣчеству и по справедливости надо...

XIV.

Ребятишки, которыхъ Афимья Егоровна взяла прокатиться, стали такимъ олицетвореніемъ отчаянія, когда имъ пришлось вылѣзть изъ таратайки, что я не могла не разрѣшить имъ пробѣжать еще черезъ всю деревню до перваго перекрестка, гдѣ Афимья Егоровна должна была уже окончательно высадить ихъ и дожидаться меня. Степенная сѣрая кобыла, разгоряченная визгомъ и крикомъ ребятишекъ, понеслась совершенно несвойственнымъ ей аллюромъ, унося эту блаженствовавшую мелюзгу. Я пошла пѣшкомъ, сопровождаемая всею семьею Хрисанфа, которая хотѣла въ «остатный разъ» проводить меня до перекрестка. Когда мы дошли до него, таратайка уже давно ждала меня, а ребятишки, съ видомъ знатковъ, то поглаживали по шеѣ вымыленную кобылу, то оправляли сбившуюся на бокъ упряжь.

Простившись съ Хрисанфомъ и его семьею дружески, «какъ съ родными», по выраженію Афимьи Егоровны, которая даже всплакнула отъ умиленія, я сѣла въ таратайку, напутствуемая всевозможными благими пожеланіями, и брала уже возжи изъ рукъ моей спутницы, какъ вдругъ, съ боковой дороги, съ гиканьемъ и пьяными пѣснями свернула на нашу дорогу большая телѣга, запряженная парю разогнанныхъ сытыхъ лошадокъ. Хрисанфъ со своими едва успѣлъ отскочить въ придорожные кустики, какъ телѣга пронеслась мимо насъ впередъ. Въ ней сидѣли двѣ нарядныя молодыя дѣвушки и видная, красивая, хотя уже не молодая женщина. Онѣ оглянулись на насъ и вдругъ стали всѣми силами натягивать возжи, чтобы остановить лошадей. Лошади побѣжали тише и, наконецъ, остановились въ нѣсколькихъ саженьяхъ отъ насъ. Дѣвушки держали лошадей, а женщина встала во весь ростъ въ телѣгѣ и, энергически размахивая руками, кричала что-то во все горло, но невозможно было разобрать ничего, кромѣ сплошнаго крика.

Я тронула лошадь.

— Матушка, да это Глѣбиха, проговорила Афимья Егоровна, до того обмирая отъ страха, что, еслибъ кто нибудь, незнавшій ее, взглянулъ въ эту минуту на ея съезжившуюся фигуру и перепуганную физиономію, то непременно подумалъ бы, что у нея на совѣсти лежитъ какое-то страшное преступленіе противъ Глѣбихи.

— Ахъ ты!.. загремѣла между тѣмъ Глѣбиха.

— На барскихъ лошадяхъ разѣзжаешь, барское добро гребешь,—все себѣ загребла, утроба не сытая, воровскія руки. Все одной себѣ!.. Никому ничего... Ишь шелковымъ платочкомъ повязана. Очень это тебѣ къ рылу пристало.

Дочери, съ визгливымъ пьянымъ хохотомъ, вторили ей:

— Пристало! какъ пестрой свиньѣ!

— Вы съ Ѳедотычемъ своимъ умѣете къ барамъ подлещаться, людямъ получше васъ дорогу заступать, да барское добро таскать. Копнуть у васъ, — сундуки ломаются. Все забрали... Грабители! Воровка!

Потокъ ругательствъ все росъ и росъ.

— Нѣтъ, ужъ это чтожъ такое... Нѣтъ... какъ это можно... помилуйте, бормотала, чуть не плача, Афимья Егоровна.

Я погнала лошадь, чтобы опередить телѣгу; но дѣвушки тоже тронули возжи и поѣхали рядомъ съ нами.

Глѣбиха, все стоявшая въ телегѣ, держась за плечи дочерей, покачивалась и выкрикивала:

— Обошли! Все себѣ забрали, да своимъ прихвостнямъ роздали. Ишь, въ шелковомъ платкѣ щеголяетъ, а съ какихъ недостатковъ? Туда же на барскихъ лошадяхъ съ своими кумами катается. Приѣдетъ баринъ, — пройдетъ ваше времячко, не то, что сгонить васъ со двора, а въ тюрьму засадить, ворами на всю округу осрамить. Знаю я васъ, знаю!.. Поразскажу я ему много кое чего... Стоитъ мнѣ слово сказать, и духа вашего не будетъ въ Соколовѣ... Поклонитесь мнѣ, да поздно будетъ. Локти грызть станете, что не уважили меня. Вспомните Глѣбиху!

И снова потокъ ругательствъ. Потерявъ, наконецъ, терпѣніе, я предложила имъ или проѣзжать впередъ или пропустить насъ и прибавила, что если она будетъ ругаться, то вѣдь за это можетъ отвѣтить передъ волостнымъ судомъ, благо и свидѣтели есть,—вся семья Хрисанфа.

*

— Да ты-то кто такая будешь? спросила Глѣбиха, дѣлая видъ, что не знаетъ меня.

— Да вѣдь это барыня! Нешто не знаешь? возопила Аѳимья Егоровна.

Правда, въ первое время моего житья въ деревнѣ, крестьяне нерѣдко принимали меня за служанку или мѣщанку изъ города, такъ какъ одѣвалась я просто и ходила безъ провожатыхъ иногда верстъ за десять, черезъ лѣсъ, но въ концѣ лѣта, и тѣмъ болѣе для Глѣбихи, всегда знавшей всю подноготную округи, такая ошибка была невозможна.

— Ахъ, извините, не признала васъ, барыня, заговорила она совсѣмъ другимъ тономъ и сѣла. — Обидно мнѣ, что всѣмъ раздавали вещи, а мнѣ и дочкамъ моимъ ничего не дали. Хотя бы ленточку какую... Не въ ленточкѣ корысть, а въ томъ, что вспомнили... За что это мы точно оплеванные остались? Чѣмъ мы хуже другихъ? Вонъ Ипатовымъ племянницамъ по сарафану и платку досталось. А какія онѣ!.. Насъ одѣхъ за что обошли? Отецъ Петръ самъ за насъ просилъ, а вы не захотѣли. Почему вы насъ знали? Вы человекъ новый. Значитъ, всякія дряни вамъ наговорили про насъ, а вы имъ вѣру дали. Обида это?..

— Обидѣтъ васъ никто не хотѣлъ и никто мнѣ не наговоривалъ. Вещи раздавали бѣднымъ, а вы съ дочерями не нуждаетесь, это сразу видно... Проѣзжайте съ Богомъ. Рядомъ ѣхать нельзя.

Глѣбиха повернулась, было, къ намъ, вся багровая отъ вспыхнувшей въ ней злобы и видимо уже собиралась разразиться какою-то гнѣвною рѣчью, но вдругъ сдержала себя и накинулась на дочерей, срывая на нихъ свое сердце.

— Чего стали, дуры? Мать за васъ вступилась, а вы какъ колоды какія! Родила, выкормила, выростила себѣ на горе только и на досаду. Дуры! свиньи!

— Чего ругаешься то? проговорила соннымъ голосомъ, нѣсколько очнувшись отъ толчка матери старшая дочь, красивая смуглянка, мгновенно съ похмѣлья вздремнувшая, чуть только лошади пошли шагомъ. Она занесла было руку потереть плечо, по которому ударила ее мать, но рука тотчасъ же опустилась, и дѣвушка снова задремала. Сестра ея хлестнула лошадей и телѣга укатила.

— Что это Глѣбиха говорила о племянницахъ Ипата? спросила я между прочимъ.

Хрисанфъ молчалъ. Афимья Егоровна приняла самый политичный видъ и тоже не проронила ни слова; отвѣчала мнѣ Ѳекла:

— Мало ли что пьяная вретъ. Сама знаешь, какова Глѣбиха.

— Ну, прощайте.

— Съ Богомъ, родная. Дай Богъ тебѣ до грозы доѣхать домой. Гроза будетъ, и страшная. Лучше прямо домой ступай, а къ Домнѣ не заѣзжай, говорилъ Хрисанфъ.— Счастливаго пути!

Чтобы завернуть къ Домнѣ, надо было сдѣлать такой незначительный крюкъ, что я все таки рассчитывала, что успѣю проститься съ нею и затѣмъ добраться домой до грозы. Когда мы подъѣзжали къ Кулябкамъ, деревнѣ, гдѣ жила Домна, поднялся сильный вѣтеръ, и черная, тяжелая масса тучъ, медленно надвигавшаяся съ запада, все гуще и гуще покрывала небо, все ниже и ниже спускалась. При вѣздѣ въ Кулябки, одиноко стояла жалкая лачуга въ два окна, съ крошечнымъ хлѣвомъ. Полуобвалившійся плетень плохо огораживалъ доскуть земли съ нѣсколькими тощими грядами, поросшими сорными травами. Передъ избой, на землѣ, лежали двѣ огромныя кучи безпорядочно наваленныхъ дровъ, а возлѣ нихъ стояла телѣга, въ которой виднѣлось нѣсколько толстыхъ, перерубленныхъ пополамъ березъ.

— Вотъ и самъ Ипатычъ, шепнула Афимья Егоровна и указала на мужика, въ бѣлой рубахѣ и портахъ, который, покуривая трубку, лежалъ на березахъ.

Въ голосѣ моей спутницы слышалось такъ много затаенной тревоги, что я взглядѣлась въ Ипата повнимательнѣе. То былъ плотный, рослый мужикъ, лѣтъ пятидесяти, съ одутловатымъ отъ перепоя, но все таки довольно красивымъ и правильнымъ лицомъ. На головѣ у него былъ цѣлый густой войлокъ свѣтлорусыхъ съ просѣдью волосъ, нижняя часть лица была вся закрыта длинною включенною бороδοю съ слегка рыжеватымъ оттѣнкомъ, но, несмотря на это, не было никакой возможности принять Ипата за настоящаго врестьянина, и съ перваго же взгляда бросалось въ глаза лежащее на всей его наружности клеймо солдатчины, солдатчины вороватой, разбойничьей. Когда наша таратайка приблизилась почти къ самой телѣгѣ, на которой лежалъ Ипатычъ, онъ лѣниво повелъ своими сѣрыми стеклянными глазами, приподнялся на локтѣ, взглядѣлся въ насъ, и потомъ медленно спустился на землю.

— Барыня, до грозы не дождете, сказалъ онъ. — Переждите у меня.

Я отозвалась, что тороплюсь къ Домнѣ.

— Какъ угодно, коли брезгаете, сказалъ онъ уже совсѣмъ другимъ тономъ, какимъ-то жесткимъ, и стеклянные глаза его угрюмо смотрѣли то на меня, то на Афимью Егоровну. Я остановила лошадь.

— Что за глупости! Я не дура, чтобы людьми брезгать, а некогда.

Ипать изподлобья взглянулъ мнѣ въ глаза, тотчасъ-же на мгновеніе потупился и потомъ принялся въ упоръ глядѣть на меня, однако-же, избѣгая встрѣчаться съ моимъ взглядомъ. Онъ постоянно продѣлывалъ этотъ маневръ глазами съ каждымъ, кто говорилъ съ нимъ, и лицо его принимало при этомъ неприязненно-черствое, почти отталкивающее выраженіе.

— Ну некогда, такъ дѣлать нечего. Въ другой разъ заѣзжайте.

Я сказала ему, что завтра совсѣмъ уѣзжаю отсюда.

— Какъ же быть-то?.. А я книжку хотѣлъ попросить у васъ для сынишки. Вы всѣмъ ихъ раздавали, а ему не дали.

— Не знаю, я всѣмъ ребятишкамъ давала, которые просили. Развѣ онъ былъ у меня?

— Былъ; помните, горбатенькій... Вы ему ситцу на рубашку дали.

— А, помню, сказала я, дѣйствительно припомнивъ этого несчастнаго горбатенькаго мальчика, безнадежнаго идіота. — Такъ вѣдь вашъ Ося не грамотный, да и учиться ему еще рано.

Ипать, какъ будто прочитавшій мои мысли, опять мелькомъ и изподлобья взглянулъ мнѣ въ глаза.

— Другимъ неграмотнымъ вы давали-же картинки, чтобы къ наукѣ приохотить... Чѣмъ мой хуже другихъ?

Нужно сказать, что когда Ося приходилъ ко мнѣ, запасъ картинокъ у меня уже истощался, и я поберегла ихъ для болѣе общавшихъ дѣтей.

— Пришелъ онъ домой, заплакалъ, — такъ обидно было ему, продолжалъ Ипать, и въ стеклянныхъ глазахъ его вдругъ показалось почти теплое выраженіе.

Я пообѣщала выслать Осѣ картинокъ изъ Петербурга.

— Забудете... гдѣ вамъ насъ помнить! съ явно недовѣрчивою усмѣшкою сказалъ Ипать.

— Ахъ, нѣтъ, Ипать Осипычъ, барыня не обманываетъ, и вы это напрасно говорите, горячо вступилась за меня Афімья Егоровна.

— Неужто такъ-таки ни одной и не осталось картиночки или книжки? почти жалобно спросилъ Ипать. — Ося просилъ меня сходить къ вамъ, да я думалъ, что, все равно, повстрѣчаю васъ гдѣ нибудь. Не зналъ, что вы скоро ѣдете.

— Книжка, пожалуй, есть, но только для подростковъ; Осѣ еще долго не дойти до нея.

— Все равно, барыня; ему лестно будетъ, что какая нибудь книжка есть у него,—учиться разманить.

— Хорошо, я оставляю ему книгу, а картинокъ пришлю.

Ипать съ секунду колебался, но потомъ, подойдя къ телѣгѣ, протянулъ мнѣ руку.

— Такъ общаете, руку даете?..

— Общаю, сказала я и протянула ему руку, которую онъ осторожно взялъ ребромъ, качнулъ и выпустилъ.

— Я завтра поутру Глашку за книжкой пришлю! крикнулъ онъ мнѣ въ догонку, уже совсѣмъ довольнымъ голосомъ.

Когда мы ѣхали изъ Кулябокъ домой, Афімья Егоровна, оглядѣвшия — нѣтъ-ли гдѣ прохожихъ, таинственно сказала мнѣ:

— Ахъ, какъ вы хорошо сдѣлали, что общали прислать картинокъ Осѣ. Ипать ужъ такъ бы разсердился, такъ бы разсердился, если бы вы отказали, а его сердить не хорошо.

— Отчего же не хорошо?

— Да ужъ такъ, не хорошо... На котораго человѣка онъ золь, съ тѣмъ человѣкомъ всегда бѣда приключится. Говорятъ, онъ слово такое знаетъ... Вы не вѣрите?

— Я вѣрю, что Ипата опасно разсердить. Знаете, еслибъ я встрѣтилась съ нимъ въ лѣсу, я бы испугалась.

— И вы ужъ поскорѣ вышлите картинки Осѣ. Ипать его до смерти любить и жалѣть, такъ жалѣть, что и сказать нельзя. Самъ понимаетъ всю вину свою передъ нимъ. Онъ, изъ ревности, забилъ до смерти жену свою и потомъ узналъ, что она ничѣмъ-то не виновата передъ нимъ. Въ то же время онъ и Осю, груднаго, ногами въ сапожищахъ топталъ и навѣки его искалѣчилъ. Съ тѣхъ-то поръ Ося и сдѣлался горбатенькимъ и дурачкомъ, да только Ипать не хочетъ вѣрить, что сынъ у него дурачекъ.

Когда мы пріѣхали домой, Ѳедотычъ подтвердилъ все сказанное женою, но прибавилъ, что въ ихъ округѣ черное слово Ипата власти не имѣеть, потому что онъ, Ѳедотычъ, знаетъ другое слово.

— Мои слова съ молитвой; доброе слово ужь всегда сильнѣе всякаго чернаго слова, заключилъ онъ тономъ глубокаго убѣжденія.

На другое утро, ранешенько, явилась Глаша, дѣвушка сухоручка, постоянно побиравшаяся у мельницы. Глаша щелкала зубами отъ холода, такъ какъ утро было сырое, холодное, дулъ рѣзкій вѣтеръ и сѣла какая-то изморось, а дѣвушка была одѣта только въ рваную рубаху и рваный же сарафанъ. Я спросила, отчего же она не надѣваетъ ни кацавейки, ни теплаго платка, которые достались ей при раздачѣ вещей, и прибавила вскользь, что дѣвущкѣ въ ея годы должно быть совѣстно, когда сквозь дыряя ея одежды сквозитъ голое тѣло. Глаша покраснѣла и видимо порывалась что-то сказать, — блестящія и черные, какъ бусы изъ каменнаго угля, глаза ея сердито вспыхнули; однако-же, она не сказала ни слова и, пугово оглянувшись, схватила книгу, поклонилась и убѣжала.

— Боятся сказать, замѣтилъ Ѳедотычъ. — Ипать все отобралъ у ней и у сестры. Онъ все отбираетъ, что онѣ вы prosать.

— И пропиваетъ?

— Пропить онъ пропиваетъ, только не все, а больше продаетъ. Онъ шибко копить деньгу на землю своему Оськѣ.

— Такъ зачѣмъ же вы увѣряли меня, что непременно надо дать вещи его племянницамъ? Вѣдь, все равно, имъ бы не пошло въ прокъ.

Ѳедотычъ позамялся нѣсколько, но потомъ отвѣчалъ.

— Не дать ему, — бѣду наживешь. Онъ такой человекъ, что, пожалуй, и краснаго пѣтуха пустить. Если въ округѣ случился какой разбой или грабежъ, — Ипата ищи. Только ловокъ онъ, — не попадается.

— Въ такомъ случаѣ, отчего-же общество не удалить его?

— Былъ ужь разъ удаленъ со своей родины, — онъ вѣдь изъ другого уѣзда. Сослали его оттуда, а потомъ онъ вернулся, и что бѣды надѣлалъ деревнѣ!.. Хлѣбъ весь спалилъ въ бабкахъ, спалилъ бы и деревню, да тамъ дворы отца и братьевъ его въ самой середкѣ стоятъ. Что скотины и лошадокъ пере-

вель!.. Завертится, завертится на мѣстѣ скотина, зареветь — и духъ вонь. Боялись его шибко. Отецъ и братья сбыть рады были, да не смѣли. Какъ овдовѣла Глѣбихина сестра, такъ онъ взялъ деньгами часть свою у отца, женился на ней и поселился въ Кулябкахъ. Скрѣпя сердце, приняли его кулябковцы, однако, ничего, — трогать ихъ онъ не трогаетъ. Только безпокойство имъ: становой сосѣдняго уѣзда больно часто къ нимъ понавѣдывается.

— Чего же смотреть здѣшняя земская полиція?

Федотычъ усмѣхнулся.

— Нашъ становой—самъ помѣщикъ. Сослать-то Ипата ему не велика корысть, потому этимъ не вернетъ онъ себѣ ни усадьбу, ни скота, ни сѣна. У Ипата-то своя полиція. Пока придутъ его братья, а онъ ужъ вездѣ краснаго пѣтуха пустить. Такой злодѣй отчаянный.

— Смѣлый, смѣлый человѣкъ, подтвердила Афимья Егоровна, покачивая головой.—Теперь вы видѣли дрова у него,— все краденныя. Другой, если что своруетъ, такъ спрячетъ, а у него все на виду. Если спросать,—скажетъ, что у рендателя купилъ, и никто противъ него слова сказать не смѣетъ.

— Бойкую торговлю дровами ведетъ, копить деньги своему Оськѣ. «Увидите, говорить, — въ какомъ почетѣ Оська мой заживетъ!» Только самого себя хочется ему обмануть этими словами, а на самомъ-то дѣлѣ не хуже другихъ понимаетъ, что гдѣ ужъ Оськѣ зажить хозяиномъ, коли Богъ его убилъ, по отцовской же винѣ. Нѣтъ-нѣтъ, да и возьметъ это Ипата тоска по Оськѣ, и шибко онъ запѣетъ тогда.

XV.

На другой день я уѣзжала изъ Соколова.

Къ крыльцу подкатилъ тарантасикъ парой, и раздался голосъ Федотыча: Готово!

Перецѣловавшись со всѣми домашними, ребятишками и провожавшими, я сѣла въ тарантасъ. Федотычъ взялъ возжи, и лошади тронулись мелкою рысью. Фиша постояла съ секунду, вскрикнула и пустилась за тарантасомъ вмѣстѣ съ ребятишками.

— Счастливаго возвращенія! раздается слезный голосъ Афимьи Егоровны.

Я оборачиваюсь и машу платкомъ. Ребятишки бѣгутъ позади, кивая головами, размахивая руками, и гулко шлепаютъ по землѣ босыя ноги. Потомъ, одинъ за другимъ, они начинаютъ отставать; остается одна Фипа, но, наконецъ, и та выбивается изъ силъ и останавливается. Тарантасикъ загремѣлъ по мельничному мосту и пошелъ припрыгивать по дорогѣ, которая дугой заворачивала вдоль берега рѣки. Усадьба, стоящая на горѣ, все еще виднѣется; Афимья Егоровна стоитъ на крыльцѣ, ухватясь рукою за колонну, и такъ отчаянно машетъ платкомъ, какъ будто она очутилась на скалѣ, среди бурнаго моря и зоветъ лодку на спасеніе своей жизни. Придорожныя высокія липы скрыли ее на мигъ, но потомъ она опять явилась изъ за нихъ и кажется на этотъ разъ, изъ моего далека, совсѣмъ маленькой, съ Фипу ростомъ, не больше. Платокъ все развѣвается.

— Прощай, деревня! сказала я, махнувъ на прощанье платкомъ и думая, что лѣтопись моей деревенской жизни на это лѣто закончена.

Но судьба сберегла мнѣ на дорогѣ еще одинъ эпизодъ, о которомъ стоитъ упомянуть. Къ половинѣ дороги насъ проныалъ такой страшный ливень, что пришлось свернуть на постоянный дворъ обсушиться. Потомъ, когда дождь прошелъ, наконецъ, и солнце, выглянувшее изъ за разорванныхъ сѣрыхъ тучъ, обдало землю свѣтлыми полосами, Федотычъ распустилъ обождать еще съ полчаса, чтобы дать ручьямъ стечь со спуска, который за послѣднее время сталъ очень труднымъ. Я вышла на крыльцо. Неподалеку, въ сторонѣ, стояли два воза,—одинъ съ дровами, другой съ бревнами. Ипать отпрягалъ взмокшихъ лошадей. Онъ угрюмо покосился на меня, кивнулъ головой и принялся развязывать зубами веревочный узелъ упряжи. Когда лошади были выпряжены, онъ привязалъ ихъ къ столбамъ крыльца, задалъ имъ корма и пошелъ на постоянный выпить, пригласивъ мимоходомъ Федотыча. Но Федотычъ самымъ утонченно вѣжливымъ образомъ отказался.

— Какъ хочешь, умный ты человекъ, была бы честь приложена, сказала Ипать насмѣшливо.

Федотычъ покраснѣлъ, однако, промолчалъ, а потомъ, когда дверь захлопнулась за Ипатовъ, шопотомъ сказалъ мнѣ:

— Лучше мнѣ пойти выпить съ нимъ, а то будетъ хва-

стать, что я испугался. чтобы онъ на винѣ чего не напустилъ на меня. А что онъ можетъ противъ моего слова?

— Такъ зачѣмъ же вы отказались?

— Да пить то съ нимъ ужь очень не по душѣ.

— Ну и не ходите. Пусть себѣ хвастаетъ.

Федотычъ простоялъ секунду въ нерѣшимости.

— Нѣтъ, пойду лучше. Будутъ говорить, что его слово сильнѣе моего. Я, барыня, скажу, будто отказался потому, что опасался задержать васъ, а теперь вы позволили.

Я осталась одна на крыльцѣ. Темныя тучи разсѣвались, полосы свѣта на землѣ росли, сливались, и вскорѣ все вокругъ засіяло тѣмъ яркимъ радостнымъ свѣтомъ, который смѣняетъ непогоду. На деревьяхъ, на кустахъ, на жалкихъ грядкахъ огорода, на поваленномъ около крыльца хворостѣ,—всюду заискрились мириадами брильянты дождевыхъ капель, въ которыхъ дробились солнечные лучи. Огромныя лужи бросали золотыя снопы отраженныхъ лучей. Гуси и утки, шлепая въ перевалку по лужамъ, встряхивали крыльями; разбрасывая искрящіяся брызги, какъ вдругъ раздавшееся богатырское гиканье прервало мирныя наслажденія домашнихъ пернатыхъ, и они съ шипѣньемъ и гоготаньемъ, широко разставивъ крылья, бѣгомъ и летомъ бросились изъ огромной лужи на срединѣ дороги.

Изъ за придорожныхъ ветлѣ появилась тройка вороныхъ «дьяволовъ» юнаго Ноздрева, которыхъ довольно было разъ видѣть, чтобы признать потомъ хоть въ табунѣ. Они мчали во весь духъ легкій тарантасикъ. Правиль самъ юный Ноздревъ, одѣтый въ бархатную черную поддевку на распашку и ярко-оранжевую канаусовую рубаху. Тройка, разбрызгивая грязную воду, лихо повернула. Юный Ноздревъ чуть чуть повелъ къ себѣ руку съ натянутыми, какъ струна, возжами, и лошади остановились у крыльца. Какъ и въ тотъ день, когда я въ первый разъ встрѣтилась съ нимъ, онъ поражалъ избыткомъ животной силы; лицо у него загорѣло, бакенбарды и борода сдѣлались гуще; подъ глазомъ чернѣлъ огромный синякъ, задора и нахальства въ каждой чертѣ живоотно-красиваго лица стало, какъ будто, еще больше.

— Эй, кто тамъ?.. чела-экъ... водки!.. рявкнулъ онъ такъ, что я невольно вздрогнула.

Онъ идиотски расхохотался, крайне довольный произведеннымъ эффектомъ.

— Ха, ха! Жантильности какія, мадамъ... Эй, вы, скоты!.. Перекозлили, что ли, черти!.. Во-одки! снова раскатились басовыя ноты, напоминавшія не то отдаленный грохотъ, не то трубные звуки. Одна изъ привязанныхъ къ крыльцу лошадей Ипата сорвалась и побѣжала, толкнувшись о правую пристяжную ноздревской тройки. Тройка заржала и рванула вслѣдъ за ней. На этотъ разъ юный Ноздревъ опять сдержалъ ее, и она принялась фыркать и рыть ногами землю, косясь огненными глазами въ ту сторону, куда убѣжала лошадь Ипата.

На крыльцо выскочилъ хозяинъ постоялаго двора, напоминавшій своимъ лицомъ темные лики образовъ стариннаго письма. Въ одной рукѣ у него былъ штофъ, въ другой огромная граненая стеклянная кружка. Съ неувимой быстротой фокусника, онъ влилъ добрую треть штофа въ кружку и, весь какъ-то вывернувшись, поднесъ ее Ноздреву. Тотъ, крѣпко держа возжи въ правой рукѣ, взялъ кружку лѣвой и принялся жадно пить водку, какъ воду; хозяинъ и вышедшій вслѣдъ за нимъ Ипатъ съ восхищеніемъ взирали на этого юнаго богатыря, утолявшаго свою жажду.

Между тѣмъ вдаль, изъ за ветль, показалась Ипатова кобыла и лѣнливой рысцой трусила назадъ по полянѣ, мѣстами поросшей мелкимъ кустарникомъ. То вся она отчетливо вырисовывалась въ прозрачномъ воздухѣ, съ своими толстыми неуклюже перебиравшими ногами и стегавшимъ по бокамъ косматымъ хвостомъ; то надъ кустами виднѣлась только одна приближавшаяся голова ея. Воронье опять рванули. Недопитая кружка вылетѣла изъ рукъ Ноздрева; онъ закашлялся, сильно поперхнувшись, но все таки успѣлъ подхватить возжи лѣвой рукой. Однакоже, было одно мгновеніе, когда лошади почувствовали, что сдержавшая ихъ рука дрогнула, и, съ бѣшенымъ ржаньемъ, онѣ начали рваться, обдавая удила бѣлой пѣной. Ноздревъ, упершись ногами въ передокъ, съ напряжившимися жилами, съ налитымъ кровью лицомъ, осаживалъ ихъ. Таранасикъ кидало то взадъ то впередъ, то изъ стороны въ сторону. Въ глазахъ у меня мелькали то дюжія твердо вытянутыя руки юнаго Ноздрева и его искаженное яростью все больше и больше блѣднѣвшее лицо съ крѣпко закушенными губами, то бѣшено вздергивавшіяся головы «дьяволовъ» съ огненными глазами, раскрытыми ртами, разметанными грибами, то выпяченныя, покрытыя хлопьями пѣны широкія груди

и стройныя поги, которыми они вскидывали, били землю, передокъ тарантаса, другъ друга, свирѣпѣя съ каждымъ мгновеніемъ. Дикое ржаніе рѣзало уши.

Стоявшіе на крыльцѣ хозяинъ, Ипать и Ѳедотычъ безмолвно смотрѣли на сцену. Сначала Ѳедотычъ инстинктивно бросился было къ тройкѣ, но тотчасъ-же остановился. Ипать, засунувъ руки въ карманы, смотрѣлъ на бѣсившихся лошадей съ страстнымъ наслажденіемъ любителя, и это чувство понемногу заразило и Ѳедотыча. Хозяинъ восклицалъ: «Ахъ, Господи! Вотъ бѣда! Работники уславы. Держитесь, батюшка Илья Петровичъ!»; но и его глаза были прикованы къ тройкѣ, и чувствовалось по всему, что сочувствіе зрителей этой борьбы было не на сторонѣ человѣка.

Если глаза ихъ и обращались на Ноздрева, то именно съ тѣмъ обиднымъ выраженіемъ, какое вызываетъ человѣкъ, взявшійся за дѣло не по силамъ ему. Только двѣ прибѣжавшія бабы съ искреннимъ испугомъ вопили: «Ахъ, сердечный! Убьетъ тебя! Ахъ, Господи! Убьетъ безпремѣнно».

— Экіе черти! Экъ ломаютъ! вырвалось невольное восклицаніе восторга у Ѳедотыча, въ которомъ вскипѣла кровь стараго кавалериста.

Наконецъ, силы видимо стали измѣнять Ноздреву; лице у него сдѣлалось совсѣмъ восковое.

— Голубчики, отцы родные, помогите! Сто рублей награды! жалобно закричалъ совершенно обезсилѣвшій Ноздревъ, котораго встряхивало, какъ туго набитый кулъ.

— И радъ бы помочь, да кому жизнь не мила, сказалъ хозяинъ.

Глаза Ипата алчно сверкнули, но онъ не двинулся съ мѣста.

— Двѣсти рублей! Держите!.. хрипло, задыхаясь крикнулъ Ноздревъ.

— Посуль-посуломъ будетъ, полувопросительно проворчалъ хозяинъ, у котораго тоже разгорѣлись глаза на деньги.

— У меня не будетъ, сказалъ съ выразительной усмѣшкой Ипать. — Слышь ты — двѣсти рублей.

Онъ зорко окинулъ тройку, спрыгнувъ съ крыльца и въ тотъ же мигъ я увидѣла, какъ взмахнулъ кулакъ его надъ глазами лѣвой пристяжной и заставилъ ее попятиться, какъ обѣ руки его вцѣпились въ удила коренника, взвившагося на дыбы,

и затѣмъ Ипать повисъ на воздухѣ, встряхиваясь всѣмъ тѣломъ. Нѣсколько секундъ и онъ, и тройка, — все металось и крутилось въ какомъ то хаосѣ. Ноздревъ нѣсколько оправился и опять зазвучалъ окликавшій лошадей зычный голосъ его, въ которомъ, однако-же, все еще слышались и дрожащія ноты. Вотъ тройка повернула такъ, что я могла мгновенными взглядѣть лицо Ипата. Оно было и страшно, и вмѣстѣ съ тѣмъ отъ него нельзя было оторвать глазъ, — столько въ немъ было несокрушимой увѣренности въ себѣ, столько отваги, которая не отступить ни передъ чѣмъ — и столько дикаго наслажденія!

Лошади начали притихать. Ожившій Ноздревъ накручивалъ ту же возжи на руки; хозяинъ и Фодотычъ подбѣжали къ тройкѣ и схватили пристяжныхъ подъ уздцы. Наконецъ, «дьяволы» были совсѣмъ усмирены и стояли, трясясь всѣми членами, фыркая и хрипя.

— Прочуче-же я васъ, дьяволы, будете помнить! ругался Ноздревъ, злясь на уронъ, нанесенный его типической славы этимъ буйствомъ тройки. — Не поперхнись я, ничего бы не было, и это ты, сволочь, во всемъ виновать, — подъ руку меня толкнулъ! накинулся онъ на хозяина.

— А вы, дьяволы, субординацію знайте. Нешто это порядокъ, чтобы скотина да человѣка не слушалась? наставительно замѣтилъ, обращаясь къ тройкѣ, Фодотычъ, тотчасъ-же переставшій восхищаться лошадьми, какъ только ихъ усмирили. — Это точно, что, пожалуй, ничего не было бы, если-бы не поперхнулись, подтвердилъ онъ, по чувству справедливости, обратясь къ Ноздреву.

Между тѣмъ, Ипать протиралъ ноздри лошадямъ и смотрѣлъ такимъ спокойнымъ, какъ будто вовсе и не было этой страшной борьбы на жизнь и смерть, происходившей за минуту передъ тѣмъ. Видимо щеголяя равнодушiемъ своимъ, онъ потянулся, отряхнулъ одежду, и, подойдя къ Ноздреву, лаконически произнесъ:

— Двѣсти-то рублей — мои...

— Со мной нѣтъ... да и теперь... замаялся было юный Ноздревъ.

Ипать уставился на него въ упоръ своими жесткими стеклянными глазами, и потомъ отчетливо и раздѣльно проговорилъ:

— Я черезъ недѣлю приду получить.

Ноздревъ молчалъ секунду, другую, видимо колеблясь, но, наконецъ, не выдержалъ и крикнулъ:

— Ну чортъ съ тобой! приходи...

— То-то-же; тянулъ Ипать, отходя къ крыльцу.

Я взглянула на спокойно посмѣивавшееся лицо его и какъ-то разомъ поняла въ эту минуту, что такой человѣкъ дѣйствительно могъ быть страшень толщѣ.

Угадалъ ли Ипать мои мысли,—не знаю, но только онъ пристально взглянулъ на меня, выпрямился, встряхнулъ своими косматыми волосами и, съ уничтожающей усмѣшкой, принялся смотрѣть на разозленнаго и смущеннаго Ноздрева, который, призывая всѣхъ чертей, торопилъ хозяина, исправлявшаго порванную сбрую, и упорно отворачивалъ отъ Ипата свое живоотно-красивое лицо.

Когда все было слажено, Ноздревъ укатилъ, еще разъ выругавъ хозяина, который остался очень недоволенъ брошеннымъ ему рублемъ.

Собираясь уѣхать, я увидѣла, что потеряла кошелекъ, въ которомъ были всѣ мои деньги, взятые на дорогу, — рублей двадцать. Положеніе выходило непріятное. Ѳедотычъ предлагалъ мнѣ добыть денегъ въ городѣ у знакомыхъ, но дѣло въ томъ, что тогда мнѣ пришлось бы потерять лишній день, и я не застала бы въ Москвѣ человѣка, съ которымъ не видѣлась много лѣтъ и очень желала встрѣтиться. Это не на шутку огорчало меня.

Ипать, молча слушавшій нашъ разговоръ, посмотрѣлъ на меня, подумалъ и медленно полѣзъ въ карманъ.

— Не вашъ ли это? спросилъ онъ, доставая кошелекъ. — На дорогѣ поднялъ.

— Мой.

Онъ подалъ мнѣ его также медленно, съ видимымъ сожалѣніемъ выпуская изъ своихъ рукъ эту находку.

Измученный Ѳедотычъ смотрѣлъ на него во всѣ глаза.

— Все цѣло, сказалъ Ипать, когда я принялась открывать замокъ.

— Я не считать хотѣла. За находку полагается треть; только, извините, теперь я вамъ дамъ рубль, а остальное вышло, когда пріѣду домой, сказала я.

— Нѣтъ ужъ, денегъ вашихъ мнѣ не надо, а лучше вышлите вы моему Оськѣ что нибудь хорошее, заговорилъ Ипать. —

Вы, вѣрно, знаете, а если не знаете, такъ, поспрошайте кого изъ ученыхъ, что бы ему такое прислать, чтобы понятіе ему къ ученью дало. Оська можетъ всему выучиться, кабы только для него настоящій манеръ подыскать. Вонъ у Семичевской барыни сынъ и совсѣмъ дурачкомъ былъ, — все только зубы скалилъ, да ѣлъ, какъ поросенокъ какой, — а какъ свозили его куда то на выучку, пріѣхалъ совсѣмъ какъ всѣ люди: и читать, и писать, и счету выучился. Пять лѣтъ на выучкѣ пробылъ... А Оська мой все куда умнѣ семичевского-то барченка... Я неученый человѣкъ, а знаю, что для такихъ дѣтей, какъ Оська мой, есть особливый манеръ ученья, и всему по немъ хорошо выучиваются. Есть вѣдь, барыня?.. спросилъ онъ, и голосъ его дрогнулъ, а въ горлѣ словно что-то зазвенѣло при этомъ вопросѣ.

— Есть... да не знаю ничего положительнаго. Узнаю и тогда напишу, отвѣчала я.

— Напишите!

Онъ протянулъ мнѣ руку, но на этотъ разъ уже не дещечкой, поставленной на ребро, а съ розмаха, ладонью вверхъ, и крѣпко сжалъ и встряхнулъ мою руку.

— Кабы Оську выучить, — въ ноги бы поклонился тому человѣку... Ужъ не знаю, чего бы я не сдѣлалъ для того человѣка! повторялъ онъ и жадно смотрѣлъ мнѣ въ глаза, замирая отъ ожиданія, не скажу ли я ему «да есть такой человѣкъ и выучить онъ твоего Оську!»

— Вотъ ужъ чудо, заговорилъ Федотычъ, когда мы отѣхали далеко отъ постоялаго двора. — И какъ это онъ съ деньгами разстался?

Н. Р.

С А Ф О¹⁾

Романъ Альфонса Додэ.

(Окончаніе).

VI.

«Милое дитя мое! Пишу тебѣ, все еще содрогаясь отъ испытанной нами страшной тревоги. Наши дѣвочки пропадали изъ Кастеле цѣлый день, цѣлую ночь и цѣлое утро слѣдующаго дня.

«Въ воскресенье за завтракомъ замѣтили, что малютокъ нѣтъ. Я ихъ одѣла по праздничному къ восьми часамъ: консуль хотѣлъ взять ихъ съ собою къ обѣднѣ, затѣмъ я уже не заботилась о нихъ; нельзя было отойти отъ твоей матери; она была нервнѣе, чѣмъ обыкновенно, какъ будто предчувствуя грозившее намъ несчастіе. Ты знаешь, что съ самаго начала ея болѣзни, она какъ будто предвидитъ то, что должно случиться, — чѣмъ менѣе она двигается; тѣмъ больше работаетъ ея голова.

«Къ счастью, твоя мать была въ своей комнатѣ; а мы всѣ въ столовой, ожидая нашихъ крошекъ. Ихъ кликали въ виноградникахъ, пастухъ трубилъ въ свой большой рогъ, какъ сзываютъ ягнятъ; затѣмъ Сезерь въ одну сторону, а мы съ Руселиной и Тардивой въ другую, бѣгали по Кастеле и, встрѣчаясь, все спрашивали другъ друга: «Ну что?.. Нигдѣ не видать?» Наконецъ, уже не смѣли и спрашивать; подходили съ замиганіемъ сердца къ колодцу, подъ окна чердака... Какой ужасный день!.. и мнѣ приходилось поминутно заходить къ твоей матери, улыбаться ей съ спокойнымъ видомъ, объяснять отсутствіе дѣвочекъ тѣмъ, что я ихъ послала провести воскресенье къ теткѣ де-Вилламюрисъ. Она какъ будто повѣрила, но поздно вечеромъ, когда я сидѣла около нея, слѣдя въ окно за свѣтомъ, мелькавшимъ въ долинѣ и на берегу Роны,—это продолжались поиски,—я услышала, что она тихо плачетъ въ своей постели, и спросила ее—о чемъ?

— Я плачу потому, что отъ меня что-то скрываютъ, но я все-таки угадала, отвѣчала она голосомъ маленькой дѣвочки, ко-

¹⁾ Настоящій переводъ заимствованъ изъ журнала «Изящная Литература», по соглашенію съ переводчикомъ и издателемъ журнала.

торый вернулся къ ней вслѣдствіе долгаго страданія. И не произнося болѣе ни слова, мы тревожились объ, не выражая своего горя.

«Наконецъ, мой милый,—чтобы не слишкомъ распространяться объ этомъ тяжеломъ случаѣ, — въ понедѣльникъ утромъ нашихъ малютокъ привели мастера, работавшіе у твоего дяди на островѣ; они нашли ихъ на кучѣ виноградныхъ лозъ, поблѣднѣвшими отъ голода и стужи, послѣ ночи, проведенной на воздухѣ, посреди воды. И вотъ что онѣ рассказали намъ въ простотѣ своихъ дѣтскихъ сердецъ:

«Уже давно мучила ихъ мысль поступить, какъ ихъ заступницы, Марѳа и Марія, которыхъ житія онѣ читали, отправиться на лодкѣ безъ парусовъ, весель и безъ всякой провизіи, проповѣдывать Евангеліе на любомъ берегу, куда направить ихъ Всевышній. Въ воскресенье, послѣ обѣдни, отвязавъ лодку отъ рыболовнаго причала, онѣ стали въ ней на колѣна, точно святые, и теченіе понесло ихъ по рѣкѣ; онѣ тихоплыли, пока лодка не стала на мель въ тростникахъ Пибулетты, не смотря на полую воду и на сильный вѣтеръ... Да, Господь сохранилъ ихъ и возвратилъ намъ этихъ прелестныхъ дѣвочекъ... Только ихъ воскресные платья нѣсколько помялись, да потерялась позолота на ихъ молитвенникахъ. Не хватило силы и побранить ихъ; обняли ихъ и разцѣловали; но мы всѣ переболѣли отъ испуга.

«Больше всѣхъ напугалась твоя мать, и, еще ничего не зная отъ насъ, она чувствовала, по ея словамъ, что смерть пронеслась надъ Кастеле; обыкновенно спокойная и веселая, она теперь впала въ грусть, ничѣмъ неизлечимую, не смотря на то, что и я, и отецъ твой, и всѣ домашніе холимъ ее и всегда при ней... И, правду сказать, милый мой Жанъ, она беспокоится и тревожится особенно о тебѣ. Она не смѣетъ въ томъ сознаться передъ отцемъ, который желаетъ, чтобы тебя не отрывали отъ работы, но вѣдь ты не пріѣхалъ послѣ своего экзамена, какъ обѣщалъ; сдѣлай намъ сюрпризъ къ Рождественскимъ праздникамъ; пусть вернется улыбка на уста нашей больной. Неужели ты не знаешь, какъ горько, потерявъ навѣки своихъ стариковъ, сознавать, что слишкомъ мало удѣлялъ имъ своего времени?»...

Жанъ читалъ это письмо, стоя у окна, сквозь которое проникалъ въ комнату тусклый свѣтъ зимняго туманнаго утра, упиваясь запахомъ этого безискусственного букета, дорогими воспоминаніями о материнскихъ ласкахъ и родномъ солнцѣ.

— Это что такое, покажи-ка...

Фанни только что проснулась и, выглядывая изъ-за раздвинутаго желтаго полога, совсѣмъ заспанная, машинально протяги-

вала руку къ пакѣ съ мариляндою, всегда стоявшей на ночномъ столикѣ.

Онъ колебался, зная, какую ревность возбуждаетъ въ ней уже одно имя Дивонны; но какъ скрыть отъ нея письмо, когда она знала и форматъ его, и откуда оно?

Сначала продѣлка дѣвочекъ ее мило растрогала, когда съ обнаженными руками и грудью, опершись на подушку, покрытую волной ея темныхъ волосъ, она читала письмо, крутя папироску; но конецъ совершенно взбѣсилъ ее; она скомкала письмо и бросила его на полъ.

— Я тебѣ задамъ святыхъ женщинъ... Все это выдумки, только для того, чтобы заставить тебя ухъхать... Красиваго племянничка не достаетъ этой...

Жанъ хотѣлъ остановить ее, помѣшавъ ей произнести грязное слово, которымъ она все-таки разразилась, а за нимъ послышалась цѣлая вереница другихъ. Никогда еще при немъ не доходила она до такой разнузданности въ своемъ гнѣвѣ, какъ помойная яма испускающая тину и зловоніе.

Не хитро и догадаться, чего имъ всѣмъ тамъ хочется... Сестеръ проговорился, вся семья стала обдумывать, какъ бы разстроить ихъ связь, привлечь его на родину, употребивъ красивый станъ Дивонны, какъ приманку...

— Во-первыхъ, слушай, если ты поѣдешь, я ему напишу, этому роконосцу... Я ему все откорою... о, нѣтъ!..

Говоря это, она съ ненавистью во взглядѣ ежилась на кровати, блѣдная, съ искривленнымъ ртомъ, вытянувшимися чертами лица; это былъ дикій звѣрь, готовый броситься на свою жертву.

И Госсенъ вспомнилъ, что видѣлъ ее такою же въ гюе d'Arcade; но теперь на него обрушился этотъ неистовый гнѣвъ, возбуждавшій въ немъ желаніе кинуться на свою любовницу и избить ее.

Въ подобнаго рода связяхъ, чисто физическихъ, гдѣ нѣтъ и тѣни уваженія къ любимому предмету, всегда гнѣздится зародышъ животности, и она сказывается не только въ минуты гнѣва, но нерѣдко и во время самыхъ страстныхъ ласкъ. Онъ испугался за самаго себя, поспѣшилъ уйти въ свою канцелярію, и всю дорогу припоминалъ съ негодованіемъ ту жизнь, которую самъ себѣ создалъ. Это послужить ему урокомъ не связываться впередъ съ подобными женщинами! Какъ все это гадко! Какое омерзѣніе! Затрогивать и мать, и сестеръ, всѣхъ безъ разбора. Какъ! онъ даже не вправѣ похъхать повидаться съ родными? Да въ какую же каторгу закабалилъ онъ себя! И ему представлялась вся

*

исторія ихъ связи; онъ вспоминалъ, какъ эти красивыя обнаженныя руки египтянки, охватившія его шею въ первый вечеръ знакомства на балѣ, вцѣпились въ него крѣпко и деспотически отрывали его и отъ друзей, и отъ семьи. Тенерь онъ принялъ твердое рѣшеніе. Въ тотъ же вечеръ и во чтобы то ни стало онъ уѣдетъ въ Кастеле.

Устроивъ самыя неотложныя дѣла и получивъ въ министерствѣ отпускъ, онъ вернулся домой рано, ожидая страшной сцены, готовый на все, даже на разрывъ. Но очень ласковое «здравствуй», сказанное Фанни, ея заплаканныя глаза и щеки, какъ будто смягченныя слезами, едва не отняли у него силы воли.

— Я ѣду сегодня вечеромъ, сказалъ онъ, овладѣвъ собой.

— И хорошо дѣлаешь, мой другъ... Поѣзжай повидаться съ матерью, а главное... (она лукаво подошла къ нему...) позабудь, что я была такая злая... Вѣдь я слишкомъ люблю тебя, до безумія...

Въ продолженіе всего дня, укладывая чемоданъ съ кокетливой заботливостью, доходившей до нѣжности прошлаго времени, она казалась раскаявающейся, быть можетъ, въ надеждѣ удержать его, однако же ни разу не попросила его: «останься»... Въ послѣднюю минуту, когда, въ виду окончательныхъ приготовленій, исчезла всякая надежда, она ласкалась, прижималась къ своему милому, стараясь заставить его проникнуться ею на время путешествія и разлуки... И въ прощаніи ея, и въ поцѣлуѣ слышалось только:

— Ну, скажи, Жанъ, вѣдь ты не сердись?..

О, какъ уповательно проснуться утромъ въ своей бывшей дѣтской комнатѣ, съ сердцемъ, еще не остывшимъ отъ семейныхъ объятій, отъ теплыхъ порывовъ свиданія, снова увидеть на томъ же мѣстѣ, на пологѣ узенькой кровати, ту же свѣтлую полосу, которую привыкъ видѣть, просыпаясь въ былыя времена; слышать крики павлиновъ на ихъ насѣстахъ, скрипъ колеса у колодца, топотъ торопящагося стада, и, приказавъ открыть ставни, снова любоваться чуднымъ жаркимъ свѣтомъ, приливающимъ въ комнату широкими полосами, какъ вода изъ-подъ открытаго шлюза! А этотъ чудесный горизонтъ съ виноградниками, расположенными по склону, съ этими кипарисовыми и оливковыми, отсвѣчивающими деревьями сосновой рощи, словно теряющейся въ водахъ Роны подъ глубокимъ и яснымъ небомъ, безъ малѣйшей дымки тумана, не смотря на раннее утро, съ этимъ зеленоватымъ небомъ, какъ будто на-чисто выметеннымъ за ночь мистралемъ, который все еще наполнялъ широкую долину своимъ бодрымъ и сильнымъ дыханіемъ!

Жанъ сравнивалъ это пробужденіе съ тѣмъ, какъ онъ проснулся тамъ, подъ небомъ, столь же нечистымъ, какъ его любовь, и теперь чувствовалъ себя счастливымъ и свободнымъ. Онъ спустился внизъ. Бѣлый домъ, залитый лучами солнца, еще спалъ, всѣ ставни были закрыты, какъ и глаза; и онъ радъ былъ этой минутѣ уединенія, чтобы насладиться нравственнымъ выздоровленіемъ, которое, какъ онъ чувствовалъ, уже начиналось въ немъ.

Онъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ по террасѣ, направился по шедшей въ гору аллеѣ такъ-называемаго парка, который на самомъ дѣлѣ, былъ просто на просто рощею сосновыхъ и миртовыхъ деревьевъ, раскинутыхъ какъ попало, по крутымъ склонамъ Кастеле — рощею, прорѣзанною неровными тропинками, скользкими отъ сухихъ сосновыхъ иглъ. Любимая собака его, Мираклъ, уже старая и хромая, вышла изъ своей кануры и безмолвно слѣдовала за нимъ по пятамъ; въ былое время они такъ часто совершали вмѣстѣ эту утреннюю прогулку.

При входѣ въ виноградники, надъ которыми большіе кипарисы у ограды наклоняли свои заостренныя верхушки, собака остановилась съ нѣкоторой нерѣшительностью; она знала, какъ тяжелы будутъ для старыхъ ногъ ея и крутыя ступени террасы, и толстый слой песку—новое средство, которое испытывалъ консуль противъ филлоксеры. Но удовольствіе слѣдовать за своимъ господиномъ придадо ей рѣшимость, и она пошла съ болѣзненными усиліями при каждомъ препятствіи, съ боязливымъ визжаніемъ, съ остановками и неловкими переваливаньями съ боку на бокъ, точно по скалѣ карабкался морской ракъ. Жанъ не глядѣлъ на нее, весь поглощенный созерцаніемъ вновь разводимаго аликантскаго винограда, о которомъ отецъ много говорилъ ему наканунѣ. Ростки казались превосходными на выровненномъ и блестящемъ пескѣ. Наконецъ-то онъ, бѣдняга, будетъ вознагражденъ за свои упорные труды; виноградники Кастеле могутъ снова воскреснуть, тогда какъ въ Нертѣ, Эрмитажѣ и во всѣхъ главныхъ пунктахъ юга они пропали.

Вдругъ передъ глазами его появился маленькій бѣленькій чепецъ. Это была Дивонна, вставшая раньше всѣхъ въ домѣ. Въ рукѣ у нея былъ маленькій серпъ, она что-то отбросила въ сторону. Щеки ея, обыкновенно блѣдныя, зардѣлись яркимъ румянцемъ.

— Это ты, Жанъ?.. Вотъ напугалъ-то меня!.. Я думала, это отецъ.

Потомъ, оправившись и поцѣловавъ его, она прибавила:

— Хорошо спалось тебѣ?

— Отлично, тетя. Но почему же вы боялись прихода отца?

— Почему?

Она подняла виноградную вѣтку, которую только-что вырвала.

— Вѣдь консуль сказалъ тебѣ, не правда ли, что на этотъ разъ онъ увѣренъ въ успѣхѣхъ?.. А вотъ-тебѣ... и червь...

Жанъ сталъ разглядывать небольшой желтоватый мохъ, вѣрзавшійся въ деревцо, едва замѣтную плѣсень, мало-по-малу разорившую уже цѣлыя провинціи, и словно иронія природы, въ это чудное утро, подъ живительными лучами солнца, выступалъ этотъ чуть видный разрушитель, всеуничтожающій и несокрушимый.

— Это начало... Черезъ три мѣсяца будетъ съѣденъ весь виноградникъ, и отецъ твой начнетъ снова, такъ какъ въ это онъ вложилъ все свое самолюбіе. Начнутся новое разведеніе, проба, новое средство до того дня...

Она энергично окончила фразу какимъ-то отчаяннымъ жестомъ.

— Такъ мы въ самомъ дѣлѣ до этого дошли?

— Да вѣдь ты знаешь консула... Онъ никогда не говоритъ ничего, отпускаетъ мнѣ по прежнему помѣсячно деньги на расходы, но я вижу, что онъ озабоченъ. Ѣздитъ и въ Авиньонъ, и въ Оранжъ... Все денегъ ищетъ.

— А Сезерь? А его затопленія? — спросилъ, ужаснувшись молодой человекъ.

Въ этомъ отношеніи, благодаря Бога, все шло хорошо. Послѣдній урожай далъ имъ пятьдесятъ бочекъ простаго вина; а въ этомъ году будетъ вдвое больше. Въ виду такого успѣшнаго результата, консуль уступилъ брату всѣ виноградники въ долиніѣ, которые до сихъ поръ оставались не воздѣланными, представляя собою ряды сухаго кустарника, точно деревенское кладбище. Теперь они на три мѣсяца подъ водой...

И гордясь дѣломъ своего мужа, своего Фената, она показывала Жану съ возвышеннаго мѣста, гдѣ они стояли, обширные пруды, сдерживаемые известковыми насыпями, какъ на соловарняхъ.

— Черезъ два года эти лозы будутъ давать плодъ; черезъ два же года дадутъ доходъ и Пибуллетта, и островъ Ламоттъ, купленный дядей втайнѣ отъ всѣхъ... Тогда мы разбогатѣемъ... Но до тѣхъ поръ надо удержаться во чтобы то ни стало, и каждый долженъ содѣйствовать тому и трудомъ своимъ, и жертвами...

Она говорила о жертвахъ веселымъ тономъ, какъ женщина, которую уже не удивляетъ никакая жертва, и такъ увлекательно, что Жанъ, охваченный внезапной мыслью, отвѣчалъ ей въ томъ же тонѣ.

— Что же, пожертвуемъ собою, Дивонна!

Въ тотъ же день онъ написалъ Фанни, что родители его не въ состояніи болѣе содержать его, что ему придется довольство-

ваться жалованьемъ получаемымъ изъ министерства, и что при такихъ условіяхъ, жизнь вдвоемъ становилась невозможною. Это означало разрывъ раиѣ, чѣмъ онъ думалъ, за три-четыре года до предвидѣннаго отъѣзда; но онъ рассчитывалъ, что его любовница приметъ во вниманіе эти серьезныя резоны, что она пожалѣетъ и о немъ, и о тяжкомъ положеніи его, что она поможетъ ему въ этомъ прискорбномъ исполненіи долга.

Была-ли это, въ самомъ дѣлѣ, жертва? Не было ли ему, на-противъ того, легко покончить съ образомъ жизни, который казался ему и постыднымъ, и вреднымъ, въ особенности съ тѣхъ поръ, какъ онъ снова вернулся къ родной природѣ, къ семьѣ, къ привязанностямъ простымъ и искреннимъ...

Написавъ письмо безъ борьбы и страданій, онъ рассчитывалъ, что защитой противъ отвѣта, въ которомъ онъ ожидалъ найти только бѣшенство, угрозы и нелѣпыя выходки, будутъ ему честная и вѣрная привязанность окружающихъ его добрыхъ людей, примѣръ отца, человѣка прямодушнаго и гордаго, непорочная улыбка маленькихъ святыхъ, а также и этотъ широкій мирный горизонтъ, эти цѣлебныя горныя испаренія, это высокое небо, эта быстрая и стремительная рѣка. При мысли о страсти его, обо всѣхъ мерзостяхъ, изъ которыхъ она была составлена, ему казалось, что онъ только что оправился отъ злокачественной лихорадки, на подобіе той, какую получаютъ отъ испареній болотистой почвы.

Прошло пять или шесть дней въ безмолвіи, какимъ сопровождается нанесеніе тяжкаго удара. Утромъ и вечеромъ Жанъ ходилъ на почту и возвращался каждый разъ съ пустыми руками, какъ-то особенно взволнованный.

Что она тамъ дѣлаетъ? на чемъ порѣшила? и во всякомъ случаѣ, почему она не отвѣчаетъ?

Онъ объ этомъ только и думалъ. И ночью, когда всѣ въ Кастеле спали, убаюканные носившимся по длиннымъ корридорамъ вѣтромъ, онъ и Сезеръ бесѣдовали въ его маленькой комнатѣ.

— Она способна приѣхать сама, говорилъ дядя.

И онъ тревожился вдвойнѣ, такъ какъ ему пришлось приложить къ письму о разрывѣ два векселя: одинъ на шесть мѣсяцевъ, а другой на годъ, на сумму своего долга съ процентами. Чѣмъ онъ уплатитъ эти векселя? Какъ объяснить онъ Дивоннѣ? Онъ дрожалъ при одной мысли объ этомъ, и доставлялъ непріятность Жану, когда, съ разстроеннымъ лицомъ, вычищая свою трубку послѣ ихъ вечерней бесѣды, съ грустью говорилъ:

— Ну, доброй ночи... Какъ ни какъ, а хорошо, что ты такъ поступилъ.

Наконецъ, получился этотъ отвѣтъ, и съ первыхъ строкъ: «до-

рогой мой другъ, я не писала тебѣ раньше, потому что хотѣла доказать иначе, нежели словами, насколько я понимаю и люблю тебя... Жанъ остановился въ изумленіи, какъ человѣкъ, услышавшій симфонію вмѣсто боеваго марша, котораго онъ опасался. Онъ быстро заглянулъ на послѣднюю страницу, гдѣ и прочелъ:... «оставаться на вѣки твоей вѣрной собакой, которая любитъ тебя, которую ты можешь бить и которая все-таки страстно ласкается къ тебѣ».

Значитъ, она не получила его письма! Но начавъ снова читать строку за строкой, со слезами на глазахъ, онъ видѣлъ, что это былъ отвѣтъ; въ немъ говорилось, что Фанни уже давно ждала этой дурной вѣсти о разстройствѣ дѣлъ въ Кастеле, которое поведетъ къ ихъ неизбѣжной разлукѣ. Она тотчасъ принялась искать какого либо занятія, чтобы не быть ему въ тягость, и нашла мѣсто экономки мебелированнаго отеля одной очень богатой дамы, въ авеню Булонскаго лѣса. Сто франковъ въ мѣсяць, съ квартирой, столомъ и свободнымъ воскреснымъ днемъ...

«Слышишь, мой милый, цѣлый день въ недѣлю для нашей любви; вѣдь ты еще пожелаешь ее, да, скажи? Ты вознаградишь меня этимъ за великое усиліе, какое я дѣлаю, принимаясь за работу впервые во всю мою жизнь, вступая въ денное и ночное рабство, съ униженіями, которыхъ ты не можешь себѣ и представить и которыя будутъ очень тягостны при моей безумной страсти къ независимости... Но я нахожу необыкновенное удовольствіе въ томъ, что страдаю изъ любви къ тебѣ. Я такъ много тебѣ обязана, ты далъ мнѣ понять столько хорошаго и честнаго, о чемъ не говорилъ мнѣ никто и никогда... Ахъ, если бы мы встрѣтились раньше!.. Но ты еще не умѣлъ ходить, когда я уже переходила отъ одного мужчины къ другому. Никто изъ нихъ однако, не можетъ похвастать, что внушилъ мнѣ подобную рѣшимость съ цѣлью сохранить его хотя на короткій срокъ. Теперь возвращайся, когда хочешь; квартира свободна. Я собрала всѣ свои вещи. Это было всего тяжелѣе: перетряхивать и ящики, и воспоминанія. Ты найдешь только мой портретъ, который ничего тебѣ не будетъ стоить, развѣ нѣсколько добрыхъ взглядовъ, которыхъ я прошу у тебя, какъ милости. О, мой милый, мой милый!.. Оставь мнѣ только воскресенье и мое мѣстечко у твоей шейки... мое мѣстечко... ты знаешь, гдѣ оно...»

И затѣмъ слѣдовали нѣжности, кошачьи ласки, такія страстныя, что заставляли любовника принимать лицомъ къ бумагѣ, точно отъ нея могла отдѣляться ласка, человѣческая и теплая.

— Ничего не пишеть она о моихъ векселяхъ? боязливо спросилъ дядя Сезерь.

— Она возвращаетъ ихъ вамъ... Расплатитесь съ ней, когда разбогатѣете...

Дядя вздохнулъ легче, и съ благодушною важностью, съ чисто южною рѣзкостью интонаціи, онъ произнесъ:

— Знаешь, что я тебѣ скажу?... Это просто святая женщина...

Затѣмъ, переходя къ мыслямъ инаго порядка, по необыкновенной подвижности, недостатку логики и памяти, что составляло одну изъ странныхъ особенностей его натуры, онъ продолжалъ:

— И сколько страсти, дружокъ, какой огонь! У меня просто пересохло въ горлѣ, какъ бывало, когда Курбесбессъ читывалъ мнѣ письмо этой Морна.

Жану еще разъ приходилось испытывать впечатлѣніе первой поѣздки въ Парижъ, съ отелемъ Кюжа, съ Пеллиэюлей; но онъ уже не слушалъ, опершись на окно, глядя на стихшую ночь, озаренную полной луной, до того свѣтлую, что даже пѣтухи ошибались и привѣтствовали ее, какъ разсвѣтъ.

Значитъ, есть же искупленіе посредствомъ любви, о которомъ говорятъ поэты! И онъ чувствовалъ гордость, думая, что всѣ эти великіе люди, эти знаменитости, которыхъ Фанни любила до него, не только не возродили ее, а напротивъ, развратили еще болѣе, тогда какъ онъ, только силой своей честности, вырветъ ее, быть можетъ, навсегда изъ когтей порока.

И онъ былъ глубоко признателенъ ей за то, что она придумала этотъ компромисъ, этотъ полуразрывъ, при которомъ она могла бы привыкнуть къ труду, столь тяжелому для ея облѣнившейся натуры; и отеческимъ тономъ, тономъ стараго друга написалъ ей на другой же день, ободрялъ ее устоять въ ея рѣшеніи, тревожился на счетъ того, какого рода отелемъ она управляетъ, кто тамъ живетъ? Онъ относился недовѣрчиво къ ея покладливости и къ легкости, съ какою она могла сказать, покаясь обстоятельствамъ: «что же дѣлать, такъ случилось...»

Съ каждою почтой, съ покорностью маленькой дѣвочки, Фанни описывала ему отель, какъ настоящій семейный домъ, населенный иностранцами. Въ первомъ этажѣ перуанцы, отецъ и мать, дѣти и многочисленная прислуга; во второмъ — русскіе и богатый голландецъ, торговецъ кораллами. Въ комнатахъ третьяго этажа жили два конюха изъ ипподрома, шикарныя англичане, весьма приличные, и весьма интересная парочка—дѣвица Минна Фогель, изъ Штутгарта, играющая на цитрѣ, со своимъ юнымъ братомъ Лео, чахоточнымъ, вынужденнымъ по болѣзни отказаться отъ начатаго въ парижской консерваторіи изученія кларнета; старшая сестра пріѣхала лечить его, безъ всякихъ ресурсовъ,

разсчитывая только на сборъ съ нѣсколькихъ концертовъ для уплаты за квартиру и столъ.

«Какъ видишь, мой дорогой, все, что можно вообразить себѣ наиболѣе трогательнаго и наиболѣе честнаго. Сама я слышу за вдову, и мнѣ оказываютъ всевозможное уваженіе. Прежде всего, я и не потерпѣла бы инаго обращенія: твоя жена должна быть всѣми уважаема. Когда я говорю «твоя жена», то ты, разумеется, понимаешь меня. Я знаю, что рано или поздно ты уйдешь отъ меня, что я потеряю тебя, но послѣ тебя другого не будетъ; я навсегда останусь твоею, сохраню и память твоихъ ласкъ, и добрые инстинкты, которые ты сумѣлъ пробудить во мнѣ. Не правда ли, странно?... Сафо добродѣтельная! Да, цѣломудренная, когда тебя не будетъ около нея; но для тебя я останусь такою, какою ты меня любилъ, безумною и пылкою... Я обожаю тебя...»

Жаномъ вдругъ овладѣла томительная тоска. Возвращеніе блуднаго сына, послѣ первыхъ радостей свиданія, послѣ закланія жирнаго тельца и нѣжныхъ изліяній, всегда нѣсколько омрачается неотвязчивымъ вождедѣніемъ кочевой жизни, тоской по горькимъ желудкамъ и по лѣнивому стаду, которое приходилось пасти; это какое-то разочарованіе, выдѣляющееся отъ предметовъ и живыхъ существъ, вдругъ точно утрачивающихъ свой колоритъ и свою нарядность... Зимнее провансальское утро уже не имѣло для него своей бодрящей цѣлебности, не прельщали его ни охота за красивыми темнокрасными выдрами вдоль береговъ рѣки, ни стрѣльба по чернымъ уткамъ на прудахъ стараго Абріе. Жанъ находилъ вѣтеръ рѣзкимъ, воду холодною, а прогулки по затопленнымъ виноградникамъ съ дядей, объяснявшимъ ему свою систему желобовъ, спусковъ и затворовъ—очень однообразными.

Деревня, напоминавшая ему дѣтскіе годы и ребяческую веселую бѣготню, со старинными постройками, отчасти развалившимися, теперь вѣяла на него смертельный скукой и глушью итальянской деревни; а по дорогѣ на почту ему приходилось терпѣливо выслушивать у порога каждой покосившейся двери пустословіе стариковъ, согнувшихся, точно деревья отъ вѣтра, съ руками, засунутыми въ куски вязаныхъ чулокъ, и старухъ съ подбородкомъ, словно изъ желтаго бруска, въ большихъ чепцахъ, съ блестящими и быстрыми глазами, какъ у ящерицъ на старинныхъ стѣнахъ.

Всѣ эти жалобы о гибели виноградниковъ, объ уtratѣ марены, о болѣзни тутовыхъ деревъ, о семи египетскихъ язвахъ, раззоряющихъ чудный провансальскій край, сильно надоѣдали ему. Чтобы не слышать этихъ жалобъ, онъ возвращался иногда по цереулкамъ, идущимъ наклонно вдоль стѣнъ старинной ограды

Папскаго Замка, по пустыннымъ переулкамъ, заваленнымъ хвостомъ и высокой травой Saint Roch, для излеченія отъ лишаевъ, какъ нельзя болѣе умѣстной здѣсь, въ этомъ средневѣковомъ уголкѣ, въ тѣни громаднхъ развалинъ, нависшихъ надъ дорогой.

Тутъ онъ встрѣчалъ священника Малассана, который только что отслужилъ обѣдню и сердито спускался по склону, съ брыжами, сбившимися на сторону, подобравъ обѣими руками рясу, переступая черезъ терновые кусты и древесные лишайи. Священникъ останавливался, громилъ безвѣріе крестьянъ, нечестивость муниципальнаго совѣта; онъ осыпалъ проклятїями и поля, и животныхъ, и людей,—этихъ бродягъ, которые не посѣщали болѣе храма Божїя, хоронили мертвыхъ безъ духовнаго напутствїя, лечились магнетизмомъ, спиритизмомъ, лишь бы не прибѣгать къ священнику и доктору.

— Да, милостивый государь, спиритизмъ!... Вотъ до чего они дошли, наши крестьяне!.. И вы хотите, чтобы послѣ этого не гибли виноградники!

Жанъ, у котораго лежало въ карманѣ уже вскрытое письмо Фанни, которое его жгло, слушалъ, съ блуждающимъ взглядомъ, старался уйти отъ нотаций священника и поскорѣе скрыться въ расщелинѣ, которая у провансальцевъ зовется «cagnard», расщелинѣ, защищенной отъ вѣтра, дующаго вокругъ, и сосредоточивающей въ себѣ солнечные лучи, отраженные въ камнѣ. Онъ выбиралъ самую отдаленную, самую дикую расщелину, поросшую терновыми кустами и дубнякомъ, какъ бы зарывался тамъ, чтобы читать письмо. И мало по малу тонкій выдыхаемый имъ аромать, ласка словъ, возникавшихъ образовъ, приводили его въ чувственное опьянѣніе, которое усиливало біеніе его пульса, вызывало въ немъ галлюнацію до того, что исчезали, какъ ненужная декорація, и рѣка, и острова, на подобіе букетовъ, и деревушки въ впадинахъ des Alpilles, и весь изгибъ обширной долины, гдѣ вихрь гналъ и разметывалъ во всѣ стороны освѣщенную солнцемъ пылъ. Онъ былъ теперь тамъ, въ Парижѣ, въ своей комнатѣ, передъ вокзаломъ съ сѣрыми крышами, предавался неистовымъ желанїямъ, безумнымъ ласкамъ, которыя заставляли ихъ прижиматься другъ къ другу въ судорогахъ, точно утопая.

Вдругъ шаги по тропинкѣ, звонкій смѣхъ:

— Онъ тутъ!..

Среди душистой травы появились его сестры, съ босыми ножонками; впереди плелся старикъ «Миракль», гордясь открытїемъ слѣдовъ своего хозяина и побѣдоносно помахивая хвостомъ Но Жанъ отталкиваетъ его ногой и отвергаетъ робко дѣлаемое предложеніе поиграть въ прятки или побѣгать. Онъ, однако, любитъ своихъ ма-

ленькихъ сестеръ, въ свою очередь обожающихъ большаго брата, который всегда такъ далеко отъ нихъ. Со времени своего прѣзда, съ ними онъ самъ сталъ ребенкомъ; его забавлялъ контрастъ между двумя существами, родившимися въ одно время и, однако же, такъ непохожими между собою. Одна была высокая, брюнетка съ вьющимися волосами, съ видомъ и мистическимъ, и капризнымъ; ей-то, подъ вліеніемъ уроковъ Малассаня, и пришла мысль о плаваніи— и маленькая Марія Египетская увлекла бѣлокурую Марту, немного избѣженную и томную, ноющую въ этомъ отношеніи и на мать, и на брата.

Но въ то время, когда онъ погружался въ свои сладостныя воспоминанія, какъ несносно стѣсняли его эти дѣтскія ласки, эти невинныя заигрыванія дѣтей, соприкасавшіяся съ кокетливымъ ароматомъ, которымъ вѣяло на него отъ письма его любовницы!

— Нѣтъ, оставьте меня... Мнѣ надо заниматься...

И онъ возвращался домой, съ намѣреніемъ запереться у себя въ комнатѣ, но тутъ его звалъ отецъ:

— Это ты, Жанъ... послушай-ка...

Почта обыкновенно приносила старику новыя поводы къ дурному настроенію; мрачный по натурѣ, онъ сохранилъ отъ жизни на востокѣ какую-то молчаливую торжественность, нарушавшуюся развѣ внезапными воспоминаніями, которыя трещали тогда, какъ хворостъ на пылающемъ кострѣ:

— Когда я былъ консуломъ въ Гонконгѣ...

Слушая, какъ отецъ читалъ и обсуждалъ утреннія газеты, Жанъ на каминѣ разглядывалъ Сафо, работы Каудаля, со сложенными на колѣняхъ руками, съ ея лирою тутъ же рядомъ; эта бронзовая вещь была приобрѣтена лѣтъ двадцать тому назадъ, когда занимались украшеніемъ Кастеле; и эта бронза, вылитая на продажу, возмущавшая его въ витринахъ парижскихъ магазиновъ, здѣсь, въ его одиночествѣ, возбуждала въ немъ любовное волненіе, неотступное желаніе расцѣловать эти плечи, разнять эти холодныя и полированныя руки, заставить ее сказать: «Сафо для тебя, но только для одного тебя!»

Онъ уходилъ, и искусительный образъ поднимался съ нимъ, и рядомъ съ своими шагами по высокой, парадной лѣстницѣ ему слышался шумъ другихъ шаговъ.... Имя Сафо отбивалъ маятникъ старинныхъ часовъ, шепталъ вѣтеръ, проносясь по устланнымъ плитама холоднымъ коридорамъ; это имя онъ находилъ во всѣхъ книгахъ деревенской бібліотеки, въ старыхъ переплетенныхъ томахъ съ краснымъ обрѣзомъ, сохранившихъ еще между страницами крошки его дѣтскаго полдника. И назойливое воспоминаніе о любовницѣ преслѣдовало его даже въ комнатѣ матери, гдѣ Дивонна

причесывала больную, поднимала ее чудные свѣтлые волосы надъ этимъ лщемъ, сохранившимъ и спокойствіе, и румянецъ, не смотря на разнообразныя и непрерывныя страданія.

— А вотъ и нашъ Жанъ, говорила мать.

Но своей обнаженной шеей, своимъ маленькимъ чепчикомъ, рукавами, засученными для этого туалета, который только ей одной поручался, его тетка напоминала ему инья пробужденія, образъ его любовницы, когда та вскакивала съ постели, въ облакъ дыма отъ первой ея папироски. Онъ досадовалъ на себя за подобныя мысли, особенно въ комнатѣ матери. Но какъ избѣгать ихъ?

— Нашъ сыночекъ, сестрица, уже не тотъ, — говорила съ грустью мадамъ Госсенъ. — Что съ нимъ?

И обѣ искали причину. Дивонна напрягала всю свою наивную догадливость; ей хотѣлось бы разспросить молодого человѣка, но онъ теперь какъ будто бѣгалъ отъ нея, избѣгалъ оставаться съ нею наединѣ.

Однажды она подстерегла его и застала сидящаго въ расщелинѣ, приведеннаго въ лихорадочное состояніе и письмами, и горячими мечтами. Онъ всталъ, и взглядъ его омрачился... Она удержала его и сѣла съ нимъ рядомъ на теплый камень.

— Ты, видно, болѣе не любишь меня... Я уже перестала быть твоей Дивонной, съ которой ты, бывало, дѣлился своимъ горемъ.

— Да, нѣтъ, нѣтъ, бормоталъ онъ, смущенный такой нѣжностью, глядя въ сторону, чтобы она не могла замѣтить въ его глазахъ отблеска того, что онъ только что читалъ: призывовъ любви, пламенныхъ криковъ изступленія и страсти, съ которою онъ былъ разлученъ.

— Что съ тобой? Отчего ты грустенъ? допрашивала Дивонна, лаская его и голосомъ, и руками, точно ребенка. Такимъ отчасти онъ и былъ теперь для нея; онъ оставался для нея все еще десятилѣтнимъ мальчикомъ, которому уже даютъ свободу.

А Жанъ, уже разгорѣвшійся отъ чтенія, раздражался еще болѣе отъ волновавшей его прелести этого красиваго тѣла, тамъ близко прикасавшагося къ нему, отъ этихъ свѣжихъ розовыхъ губъ, отъ вѣтерка, который привелъ въ нѣкоторый беспорядокъ волосы Дивонны, развѣвая ихъ надъ красивымъ лбомъ, въ видѣ тонкихъ завитковъ по парижской модѣ. А ученіе Сафо: «всѣ женщины однѣ и тѣ же... около мужчины у каждой въ головѣ однѣ мысли»... заставило его найти что-то вызывающее и въ добродушной улыбкѣ крестьянки, и въ ея жестахъ, которыми она старалась удержать его, чтобы вынудить къ отвѣту на ея нѣжныя разспросы.

Вдругъ онъ почувствовалъ приливъ нечистаго влеченія къ ней; усиліе, которое онъ употребилъ, чтобы воспротивиться соблазну, вызвало у него судорожную дрожь. Дивонна испугалась, вида, что онъ поблѣднѣлъ и нѣ попадаетъ зубъ на зубъ.

— Ахъ, бѣдный!.. у него лихорадка...

И нѣжнымъ, необдуманнѣмъ движеніемъ руки она развязала большую косынку, прикрывавшую ея станъ, для того, чтобы этою косынкой обвязать ему шею; но, внезапно обхваченная, она почувствовала, что онъ ее крѣпко обнялъ, обжегъ безумной лаской ея затылокъ, плечи, всѣ обнаженныя части тѣла, сверкавшаго на солнцѣ. Она не успѣла ни крикнуть, ни защититься; быть можетъ, она не успѣла даже сознать того, что случилось...

— О, я безумецъ!.. безумецъ!..

Онъ стремительно бросился бѣжать по аллеѣ; камни съ зловѣщимъ шумомъ катились изъ-подъ ногъ его...

За завтракомъ Жанъ объявилъ, что уѣзжаетъ въ тотъ же вечеръ, по требованію министра.

— Уѣзжаешь, у же!.. Но ты говоришь... ты только что пріѣхалъ...

И начались упрасиванья и мольбы. Но онъ не могъ остаться съ ними, потому что во всѣ ихъ ласки замѣшалось волнующее и совращающее вліяніе Сафо. Да наконецъ, развѣ не уже принесъ онъ своей семьѣ громадную жертву, отказавшись отъ жизни съ нею вдвоемъ? Полный разрывъ наступитъ нѣсколько позже; тогда онъ вернется сюда, чтобы безъ стыда, бевъ стѣсненія обнять всѣхъ этихъ добрыхъ людей.

Наступила ночь; всѣ въ домѣ уснули; огни погасли. Сезеръ вернулся со станціи, куда проводилъ племянника на авиньонскій поѣздъ. Онъ задалъ лошади овса, взглянулъ на небо взоромъ людей, живущихъ земледѣліемъ, ищущихъ предвѣщаній погоды, и хотѣлъ уже войти въ домъ, когда увидалъ бѣлую фигуру на скамьѣ террасы.

— Это ты, Дивонна?

— Да, я тебя ждала.

Такъ какъ она была очень занята весь день и не видалась съ обожаемымъ ею Фенатомъ, то они сходились по вечерамъ побесѣдовать, погулять. Было ли то подъ вліяніемъ краткой сцены между ею и Жаномъ, которую, обдумавъ, она поняла лучше, чѣмъ бы хотѣла, или же взволновалъ ее видъ бѣдной матери, безмолвно рыдавшей объ отъѣздѣ сына, но голосъ Дивонны измѣнился, и замѣчалась какая то особенная тревога у этой спокойной женщины.

— Извѣстно ли тебѣ что нибудь? Почему онъ такъ скоро насъ оставилъ?

Она не вѣрила этой исторіи съ министерствомъ, подозрѣвая скорѣе какую нибудь дурную привязанность, отдалявшую Жана отъ его семьи. Въ этомъ проклятомъ Парижѣ столько гибельныхъ встрѣчь!

Не умѣя ничего скрыть отъ нея, Сезеръ признался, что дѣйствительно въ жизни Жана играла роль одна женщина; но это было существо доброе, . неспособное оторвать его отъ родни; и онъ сталъ говорить объ ея преданности, о трогательныхъ письмахъ ея, превозносилъ въ особенности мужественную ея рѣшимость заняться трудомъ, что показалось весьма естественнымъ крестьянкѣ.

— Да, наконецъ, надо же трудиться, чтобы жить.

— Не такія это женщины... замѣтилъ Сезеръ.

— Такъ, аначить, Жанъ живетъ чортъ знаетъ съ кѣмъ... И ты бывалъ тамъ?..

— Клянусь тебѣ, Дивонна, съ тѣхъ поръ, какъ она познакомилась съ нимъ, нѣтъ женщины болѣе скромной, болѣе честной... Любовь переродила ее.

Но это были слова слишкомъ темныя: Дивонна ихъ не понимала. Въ ея глазахъ эта дама принадлежала къ тому отребью, которое она называла «скверными женщинами», и одна мысль, что ея Жанъ былъ добычей подобной твари, приводила ее въ негодованіе. Что, если бы консулъ подозрѣвалъ это!

Сезеръ пытался успокоить ее, увѣрялъ, многозначительно осклабляясь, что въ молодые годы нельзя обойтись безъ женщины.

— Коли такъ, пусть женится, замѣтила Дивонна съ трогательнымъ убѣжденіемъ.

— Наконецъ, вѣдь они уже теперь живутъ не вмѣстѣ, и то хорошо...

Она отвѣтила серьезнымъ тономъ:

— Послушай, Сезеръ. Ты знаешь нашу поговорку: несчастье всегда живетъ дольше, чѣмъ тотъ, кто приноситъ его... Если все, что ты рассказываешь, дѣйствительно правда, если Жанъ вытащилъ эту женщину изъ грязи, то онъ, можетъ быть, и самъ при этомъ случаѣ порядкомъ загрязнился. Весьма возможно, что благодаря ему, она стала и лучше, и честнѣе, но какъ знать,— все, что было въ ней худаго, могло уже испортить сердце нашего мальчика.

Они возвращались къ терассѣ. Ночь разстилалась тихо и ясно по всей безмолвной долигѣ, гдѣ живого оставалось только скользящій свѣтъ луны, подернутая зыбью рѣка, да серебристая поверхности прудовъ. Дышалось миромъ, одиночествомъ, велича-

вымъ покоемъ сна безъ сновидѣній. Вдругъ раздался гулъ поѣзда, который несся съ глухимъ шумомъ на всѣхъ парахъ по берегу Роны.

— О, Парижъ! — воскликнула Дивонна, показывая кулакъ великому городу, на котораго провинція выливаетъ неудержимо весь свой гнѣвъ.—О, этотъ Парижъ! что ему даютъ и что онъ намъ возвращаетъ!..

VII.

Стоялъ холодъ и туманъ; въ четыре часа пополудни стемнѣло даже на той широкой аллеѣ Елисейскихъ полей, гдѣ кареты неслись одна за другой съ глухимъ и прерывистымъ шумомъ. Жанъ едва могъ прочесть вывѣску: «Меблированныя комнаты. Семейный столъ», въ глубинѣ палисадника, калитка котораго была отворена. Эти большія позолоченныя литеры видѣлись надъ первымъ этажемъ дома, по виду роскошнаго и походившаго на коттеджъ. Какъ разъ у самаго тротуара стоялъ кушъ.

Отворивъ дверь въ контору, Жанъ тотчасъ увидалъ ту, кого искалъ.

Она сидѣла, освѣщенная свѣтомъ изъ окна, перелистывая толстую счетную книгу, противъ другой женщины, большого роста и разфранченной, съ платкомъ въ рукахъ и съ небольшимъ мѣшечкомъ.

— Вамъ что угодно?

Фанни узнала его, вскочила и мимоходомъ шепнула дамѣ: «это онъ».

Та оглядѣла Госсена съ головы до ногъ, съ тѣмъ явнымъ хладнокровіемъ знатока, какое дается опытомъ, и затѣмъ громко, ни мало не стѣсняясь, проговорила:

— Поцѣлуйтесь, дѣтки мои... Я на васъ не смотрю.

Затѣмъ она усѣлась на мѣсто Фанни и продолжала провѣрять счеты.

Они взялись за руки, стали перешептываться банальными фразами:

— Какъ поживаешь?

— Недурно, благодарю.

— Ты, значитъ, выѣхалъ вчера вечеромъ?

Но измѣненія голоса придавали этимъ словамъ ихъ настоящее значеніе. И усѣвшись на диванѣ, нѣсколько оправившись, Фанни начала шепотомъ:

— А ты не узналъ моей хозяйки? Ты ее уже встрѣчалъ... на балу у Дешлетта... въ испанскомъ костюмѣ новобрачной... немного потаскана, эта новобрачная.....

— Такъ это?..

— Розарія Санчесь, сожительница Поттера...

Розарія, Роза, какъ писалось это имя на всѣхъ зеркалахъ ночныхъ ресторановъ и всегда съ прибавкой какой-нибудь сальности, была когда-то «колесничной дамой» въ ипподромѣ, славилась въ полусвѣтѣ своей цинической разнузданностью, своими грубыми остротами и ударами хлыста, которые были особенно лестны для клубной молодежи; ими она управляла, какъ своими лошадьми.

Испанка, изъ Орана, она была скорѣе красива, чѣмъ миловидна, и еще могла при огнѣ производить нѣкоторый эффектъ своими черными глазами и сплошными бровями, но тутъ, въ этотъ пасмурный день, ей можно было дать всѣ пятьдесятъ лѣтъ, положившія слѣдъ на ея плоскомъ, грубомъ лицѣ, на кожѣ, нѣсколько вздутой и желтой, какъ лимонъ ея родины. Она была старинная пріятельница Фанни Легранъ и первая ввела ее въ міръ изящнаго разврата; одно имя ея уже ужасало Жана.

Фанни поняла это по содроганію его руки и попыталась оправдываться. Къ кому же ей было обратиться для пріисканія занятій? Положеніе было критическое. Впрочемъ, Роза теперь живетъ тихо. Она богата, даже очень богата и проживаетъ въ собственномъ домѣ, въ avenue Вилле или въ своей виллѣ въ Ангьенѣ, принимаетъ у себя немногихъ старинныхъ друзей, и живетъ въ связи лишь съ однимъ, все съ тѣмъ же, со своимъ музыкантомъ Поттеромъ...

— Поттеръ?—спросилъ Жанъ:—а я считалъ его женатымъ...

— Да... онъ женатъ, есть и дѣти... кажется даже, что жена хорошенькая... но это не помѣшало ему вернуться къ своей прежней... А если бы ты видѣлъ, какъ она говоритъ съ нимъ, какъ она имъ помыкаетъ... О, этотъ крѣпко попался...

И она жала ему руку съ нѣжнымъ укоромъ.

Въ эту минуту хозяйка перестала считать и обратилась къ мѣшку, который то и дѣло подпрыгивалъ на придерживавшей его тесьмѣ:

— Да перестань же, право.

Потомъ, обращаясь къ Фанни, повелительнымъ тономъ прибавила:

— Поддай-ка мнѣ поскорѣе кусочекъ сахара для Бичито!

Фанни встала, принесла сахару и поднесла его къ отверстию ридикюля, съ ласковыми прибаутками, точно говорила съ ребенкомъ...

— Посмотри, какое красивое животное, сказала она своему любовнику, показывая ему окруженное ватой что-то въ родѣ

ящерицы, безобразное, покрытое крапинками, взъерошенное, съ головой въ видѣ капюшона, дрожавшее студенистымъ тѣломъ. Это былъ хамелеонъ, присланный изъ Алжира Розѣ, которая ограждала его отъ вліянія парижской зимы старательнымъ уходомъ, держа его всегда въ теплѣ. Она такъ обожала это животное, какъ не любила никогда ни одного человѣка, и Жанъ, по заискиваньямъ и ласкамъ Фанни, угадывалъ, какое положеніе въ домѣ занималъ этотъ гнусный звѣрь.

Хозяйка закрыла книгу и стала собираться.

— Недурно для второй половины мѣсяца. Наблюдай только за расходомъ свѣчъ.

Хозяйскимъ глазомъ окинула она маленькую приемную, чистую, содержимую въ порядкѣ, съ мебелью изъ набивнаго бархата, сдула пыль со столика, указала на прорѣху въ кружевахъ оконныхъ занавѣсей, и затѣмъ, обращаясь къ молодымъ людямъ, сказала съ какимъ-то особеннымъ удареніемъ:

— Только знаете, мои милые, чтобы не было тлупостей!.. Домъ этотъ благопристойный...

Усѣвшись въ ожидавшій ее экипажъ, она отправилась проѣхать по Булонскому лѣсу.

— Можешь себѣ представить, какъ это несносно! — проговорила Фанни. — Онѣ съ матерью сидятъ у меня на шеѣ раза по два въ недѣлю... Мать еще хуже, еще скареднѣе... Значить же, я люблю тебя, когда рѣшилась жить въ такой труппѣ. Наконецъ-то, ты опять около меня... Я такъ боялась...

И стоя, она крѣпко обняла его, губы ихъ слились, и, по содроганію его поцѣлуя, она почувствовала, что онъ еще принадлежитъ ей всецѣло.

Но въ корридорѣ то и дѣло ходили; слѣдовало соблюдать осторожность. Когда подали лампу, она усѣлась на свое обычное мѣсто, съ вязаньемъ въ рукахъ. Онъ помѣстился около нея, какъ гость.

— А вѣдь я измѣнилась?.. Немного осталось отъ той, какой я была.

Она съ улыбкой показывала свой вязальный крючокъ, перебирая имъ съ недовкостью маленькой дѣвочки. Впрочемъ, она всегда ненавидѣла эти рукодѣлья; ей нужны были книга, фортепьяно, папироска; или же она засучивала рукава, приготовляя какое-нибудь любимое кушанье — ничѣмъ другимъ она не занималась отъ роду. Но здѣсь что же дѣлать? Въ гостиной есть, правда, фортепьяно, но она не могла и думать о немъ, будучи обязана торчать въ конторѣ... Романы? Но она знала исторію почище тѣхъ, какія рассказывались тамъ. Куреніе папиросъ было

запрещено, и она поневолѣ взялась за эти кружева, которыя занимали ея руки и въ то же время предоставляли свободу ея мечтаніямъ. Она поняла теперь, почему женщины такъ любятъ эти мелкія работы, къ которымъ она, бывало, относилась съ презрѣніемъ.

И въ то время, какъ она со вниманіемъ неопытности, хотя все еще неловко, ловила соскользнувшуюся нитку, Жанъ глядѣлъ на нее, совершенно спокойную, въ ея простенькомъ платьѣ, въ маленькомъ стоячемъ воротничкѣ, съ волосами, гладко зачесанными на антично круглой головѣ; видъ у нея былъ такой благородный, такой разсудительный! По улицѣ въ роскошныхъ украшеніяхъ катались рядами модныя коботки, высоко возсѣдавшія въ своихъ фаэтонахъ, направляясь къ шумному бульварному Парижу; и Фанни, повидимому, вовсе не завидовала этому показному и торжествующему пороку, гдѣ и ей могла быть доля, которою она пренебрегла для *meo*. Лишь бы онъ согласился видѣться съ ней время отъ времени, и она примирялась со своей подневольной жизнью, находя въ ней даже нѣкоторыя забавныя стороны.

Всѣ жильцы обожали ее. Женщины-иностранки, не обладавшія вкусомъ, совѣтывались съ ней насчетъ покупки туалетныхъ принадлежностей; по утрамъ она давала уроки пѣнія старшей изъ маленькихъ перуанокъ, а мужчины, проявлявшіе къ ней всевозможные знаки почтенія и предупредительности, особенно голландецъ втораго этажа, спрашивали ея совѣтовъ насчетъ книгъ, какія стоило бы прочесть, и относительно пьесъ, какія давались въ театрахъ.

— Этотъ голландецъ засядетъ вотъ тутъ, гдѣ ты теперь сидишь, и все глядитъ на меня, пока я не скажу ему: «Кейперъ, вы надоѣдаете мнѣ». Тогда онъ отвѣчаетъ: „rien“ и уходитъ... Онъ же мнѣ подарилъ вотъ эту коралловую брошку. Знаешь, она стоитъ не болѣе ста су; я взяла, чтобы онъ отсталъ.

Вошелъ слуга, неся подносъ съ чѣмъ-то, и уставиъ его на конецъ столика, нѣсколько отодвинувъ горшокъ съ зеленью.

— Вотъ тутъ я обѣдаю, всегда одна, за часъ раньше до общаго стола.

Она указала слугѣ два блюда изъ довольно длиннаго и разнообразнаго меню.

— Контрощица имѣетъ право только на два блюда и на супъ. Вотъ ужъ скаредъ эта Розарія... Впрочемъ, я предпочитаю обѣдать здѣсь; мнѣ нѣтъ надобности разговаривать, и я перечитываю твои письма... они всегда при мнѣ.

Она должна была прервать свою рѣчь, чтобы достать скатерть

*

и салфетки; ежеминутно отрывали ее: надо было сдѣлать какое-нибудь распоряженіе, отпереть шкафъ, удовлетворить какое-нибудь требованіе жильца. Жанъ понялъ, что оставаясь дольше, онъ могъ стѣснить ее. Притомъ же подали ея обѣдъ, и все это было такъ скудно; эта маленькая суповая чашка на столѣ, дымившаяся съ ея порціей, вызывала въ обоихъ одну и ту же мысль, одно и то же сожалѣніе о прежнихъ обѣдахъ ихъ вдвоемъ.

— Такъ до воскресенья... до воскресенья... прошептала она, разставаясь съ нимъ.

Имъ нельзя было поцѣловаться въ присутствіи прислуги, жильцовъ, которые уже начинали спускаться въ столовую; она взяла его руку, прижимала ее къ своему сердцу долго, словно хотѣла такимъ способомъ пропитать его лаской.

Весь вечеръ, всю ночь думалъ онъ о ней, сокрушаясь объ унижительномъ ея подчиненіи этой фуріи и ея жирной ящерницѣ. Затѣмъ его нѣсколько смущалъ голландецъ, и до самаго воскресенья онъ точно совсѣмъ не жилъ. Въ дѣйствительности этотъ полуразрывъ, который долженъ былъ подготовить безъ потрясенія конецъ ихъ связи, оказался для этой связи ударомъ ножа садовника, отъ котораго оживаетъ истомленное деревцо. Почти ежедневно стали они писать другъ другу тѣ нѣжныя записочки, какія царапаютъ нетерпѣніе влюбленныхъ; или, бывало, по уходѣ его изъ министерства, они вели нѣжную бесѣду въ конторѣ, въ часы, посвящаемые ею обыкновенно рукодѣлю.

Въ отелѣ она выдавала его за «одного изъ родственниковъ», и, подъ предлогомъ этой растяжимой клички, онъ могъ иногда вечера проводить въ гостиной, какъ будто это было за тысячу миль отъ Парижа. Онъ познакомился съ перуанской семьей, съ ея безчисленными барышнями, разодѣтыми въ яркіе цвѣта и разсаженными вдоль стѣнъ гостиной, точно попугаи на шесткѣ; онъ услышалъ и цитру Минны Фогель, которая вся была въ бантикахъ, какъ хмѣлевая жердь; увидалъ брата ея, большаго, разслабленнаго, неудержимо качавшаго головой въ тактъ мелодіи цитры и перебиравшаго въ то же время пальцами по воображаемому кларнету: только на такомъ инструментѣ ему и дозволялось играть. Онъ игралъ въ вистъ съ голландцемъ, о которомъ говорила Фанни, толстымъ обрубкомъ, плѣшивымъ, нечистоплотнымъ, плававшимъ по всѣмъ океанамъ въ мірѣ и который, когда его спрашивали напримѣръ объ Австраліи, гдѣ онъ незадолго передъ тѣмъ пробылъ нѣсколько мѣсяцевъ, отвѣчалъ обыкновенно, поводя глазами:

— Угадайте, почему въ Мельборнѣ картофели!..

Только однимъ этимъ фактомъ—дороговизной картофеля—онъ поражался вездѣ, гдѣ бывалъ.

Фанни была душой этихъ собраний: болтала, пѣла, разыгрывала роль парижанки свѣтской и всевѣдущей. И то, что оставалось въ ея манерахъ разгульнаго и угловатаго, ускользало отъ вниманія этихъ обитателей другаго полушарія или казалось имъ признакомъ высшаго тона. Она ослѣпляла ихъ разсказами о своихъ связяхъ съ самыми извѣстными личностями изъ міра артистическаго и литературнаго; русской дамѣ, которая восхищалась твореніями Дежуа, она сообщала подробныя свѣдѣнія о способѣ работы этого романиста, о томъ, сколько чашекъ кофе выпивалъ онъ за ночь, о точной и ничтожной цифрѣ гонорара, заплаченнаго ему издателями «Cenderinette», за chef d'oeuvre, давшій имъ цѣлый капиталъ. И успѣхи любовницы до того льстили самолюбію Госсена, что онъ забывалъ о ревности, даже готовъ былъ бы подтвердить ея слова, если бы кто нибудь вздумалъ усомниться въ нихъ.

Любуясь ею въ этомъ мирномъ салонѣ, освѣщенномъ лампами съ абажурами, когда она наливала чай, акомпанировала пѣнію барышень, давала имъ добрые совѣты, какъ старшая сестра, онъ испытывалъ страшную потребность видѣть Фанни не такую, какою она являлась къ нему въ воскресенье утромъ, измокшая, дрожа отъ холода. Не подходя къ камину, который всегда грѣшалъ для нея, она наскоро раздѣвалась и забиралась на широкій диванъ. И затѣмъ какія объятія начинались, какія нескончаемыя ласки, въ отплату за стѣсненіе цѣлой недѣли, за то взаимное лишеніе другъ друга, которое сохраняло въ ихъ любви живительный жаръ!

Проходили часы одинъ за другимъ, а они не вставали съ мѣста до самаго вечера. Ничто ихъ не соблазняло: ни развлеченія, ни желаніе съ кѣмъ нибудь видѣться, даже съ Геттемами, которые изъ экономіи рѣшились поселиться за городомъ! Завтракъ былъ всегда заранѣе приготовленъ около нихъ; точно въ забытій прислушивались они къ воскресному уличному шуму Парижа, къ свисткамъ поѣздовъ, къ грохоту нагруженныхъ фіакровъ; дождь, падавшій широкими каплями на цинкъ террасы, и учащенные біенія ихъ сердець — все это сливалось съ этимъ отсутствіемъ жизни, не вѣдавшей времени, вплоть до наступленія сумерекъ.

Зажигали на улицѣ газъ, и блѣдный лучъ его скользилъ по обоямъ. Приходилось расставаться, Фанни надо быть дома къ семи часамъ. Въ полумракѣ этой комнаты, въ ея воображеніи всѣ ея заботы, всѣ ея терзанія казались еще болѣе тяжкими, еще бо-

лѣе жестокими, когда она надѣвала свои ботинки, еще сырыя съ утра отъ далекаго пути, и набрасывала форменный костюмъ— черное платье, какъ у женщинъ, не располагающихъ достаткомъ.

Ея горе особенно усиливало видъ любимыхъ вещей кругомъ, мебели и маленькой туалетной комнаты былыхъ хорошихъ дней... Она говорила съ трудомъ:

— Ну, идемъ!

Чтобы долѣе оставаться вмѣстѣ, Жанъ провожалъ ее. Медленно, тѣсно прижавшись другъ къ другу, они направлялись по аллеѣ Елисейскихъ полей, которая представляла какъ будто фонъ діорамы, со своимъ двойнымъ рядомъ газовыхъ канделябръ, съ Триумфальной аркой, выступавшей изъ тѣни вдали на пригоркѣ, и съ двумя-тремя звѣздами, блестящими на краю неба. На углу улицы Pergolese, за нѣсколько шаговъ до отеля, она приподняла свою вуалетку для послѣдняго поцѣлуя и оставляла Жана разстроеннымъ, съ чувствомъ отвращенія къ своей квартирѣ, куда онъ старался вернуться какъ можно позднѣе, проклиная свою бѣдность и чуть не досадуя на обитателей Кастеле за ту жертву, какую онъ приносилъ изъ-за нихъ.

Протянулось два-три мѣсяца такой жизни, сдѣлавшейся подъ конецъ рѣшительно невыносимою. Жану пришлось сократить свои визиты въ отель, изъ-за сплетень прислуги, а Фанни все болѣе и болѣе возмущалась скупостью матери и дочери Санчесь. Она подумывала про себя, какъ хорошо было бы вернуться къ прежнему уголку, чувствовала, что и любовникъ ея уже выбивается изъ силъ, но ей хотѣлось, чтобы онъ заговорилъ первый.

Въ одно апрѣльское воскресенье, Фанни пришла наряднѣе обыкновеннаго, въ круглой шляпѣ, весеннемъ, очень простенькомъ платьѣ — вѣдь она не богата! — но обрисовывавшемъ ея граціозный станъ.

— Вставай скорѣй! Поѣдемъ завтракать за городъ.

— За городъ?

— Да, въ Ангенъ, къ Розѣ... она пригласила насъ обоихъ...

Онъ сначала сказалъ было «нѣтъ», но она настаивала. Роза никогда не проститъ ему отказа.

— Вѣдь можешь же ты согласиться ради меня... я съ своей стороны, кажется, дѣлаю довольно.

Это было на берегу Ангенскаго озера, передъ громадною лужайкой, спускавшейся до небольшой пристани, гдѣ покачивались на водѣ нѣсколько яликовъ и гондолъ, — большой павильонъ, великолѣпно отдѣланный и меблированный, на потолкѣ и въ зеркальныхъ простѣнкахъ котораго ярко отражались переливы воды. Пышный грабинникъ парка пестрѣлъ ранней зеленью и цвѣ-

тущими лидіями. Чисто выметенныя аллеи, въ которыхъ не валялось ни одного сучка, дѣлали честь двойному присмотру самой Розаріи и старухи Пиларь.

Уже сидѣли за столомъ, когда они пріѣхали; неточное указаніе адреса заставило ихъ плутать цѣлый часъ вокругъ озера, по разнымъ переулкамъ, вдоль садовыхъ оградъ. Жанъ окончательно растерялся и отъ холоднаго приѣма хозяйки дома, сердившейся за то, что ее заставили ждать, и отъ необычнаго вида старухъ вѣдьмъ, которымъ Роза представила его своимъ грубымъ голосомъ. Это были три «*élégantes*», какъ называютъ другъ друга кокетки высшаго полета, три руины, фигурировавшія въ ряду знаменитостей второй имперіи, съ именами, славившимися наравнѣ съ именемъ какого-нибудь великаго поэта или побѣдоноснаго полководца—Уильки Кобъ, Сомбрезъ, Клара Дефу.

Онѣ дѣйствительно были всегда элегантны, разряжены по послѣдней модѣ, въ матеріи весеннихъ цвѣтовъ, съ изобиліемъ обольстительныхъ складокъ, начиная съ шеи и до самыхъ ботинокъ. Но какъ онѣ потерты, притерты, ретушованы! Сомбрезъ безъ рѣсницъ, съ мертвенными глазами, съ отвислой губой; она ощупью шарила рукой около тарелки, вилки и стакана. Дефу, огромная, угреватая, съ грѣлкой подъ ногами, разложила по скатерти свои жалкіе пальцы, уже скрюченные, съ подтеками, въ блестящихъ кольцахъ, снимать и надѣвать которыя было, вѣроятно, также трудно, какъ звенѣя папскаго вопроса. А Кобъ—совсѣмъ худая, съ молодежовой таліей, отъ чего казалась еще отвратительнѣе ея голова, безволосяя, какъ у больнаго клоуна, подъ гривой изъ желтой мочалы. Она уже совсѣмъ раззорилась; все у нея было описано; она ѣздилла попытать въ послѣдній разъ счастья въ Монте-Карло и вернулась оттуда безъ гроша, влюбившись въ красавца-крупье, который не обращалъ на нее вниманія. Роза пріютила ее, кормила и любила при случаѣ похвастаться этимъ.

Всѣ эти женщины знали Фанни и встрѣтили ее покровительственнымъ привѣтствіемъ.

— Какъ поживаете, милочка?

Въ платицѣ по три франка за метръ, безъ всякаго цѣннаго украшенія, кромѣ коралловой брошки Кейпера, она казалась рекрутомъ среди этихъ прелестницъ съ шевронами; онѣ смотрѣли еще болѣе похожими на привидѣнія въ этой роскошной рамѣ, подъ отблесками неба и озера, окруженныя весенними ароматами, лившимися изъ сада въ двери и окна столовой.

Тутъ же была и старая Пиларь, «*le chinge*» какъ она называла себя, коверкая произношеніе этого слова (*singe*) на фран-

цузско-испанскій ладъ, настоящая мартышка съ выцвѣтшею кожей табачнаго дыма, съ выраженіемъ хищнаго лукавства на лицѣ, вѣчно скорченномъ въ гримасу. Она была причесана мальчикомъ, сѣдые волосы висѣли въ уровень съ ушами, а на платьѣ изъ стараго чернаго атласа спускался большой синій воротникъ, какъ у рулеваго.

— А вотъ и господинъ Бичито, сказала Роза, перезнакомивъ всѣхъ гостей между собой и указывая Госсену на комокъ розовой ваты, въ которой на скатерти дрожаль³ хамелеонъ.

— А меня что же не представляютъ? замѣтилъ принужденно-веселымъ тономъ крупный малый съ сѣдьющими усами, статною, даже нѣсколько вытянутой фигурой, одѣтый въ свѣтлый пиджакъ, съ туго накрахмаленными стоячими воротничками.

— Это правда... А Татавъ? замѣтили со смѣхомъ женщины. Хозяйка дома небрежно произнесла его имя.

Татавъ—это и былъ Поттеръ, ученый музыкантъ, прославленный композиторъ «Claudia», «Savonarole». Жанъ, видѣвшій его лишь мелькомъ у Дешлетта, удивлялся, что у такого великаго артиста въ манерахъ мало гениальнаго, лице, точно деревянная маска, грубая и правильная, глаза уже поблекшіе, и все-таки запечатлѣнные безумною, неизлечимою страстью, которая уже много лѣтъ приковывала его къ этой фурин; для нея онъ покидалъ жену и дѣтей; въ домъ его любовницы, гдѣ онъ былъ постояннымъ нахлѣбникомъ, поглощались отчасти его громадное состояніе, и театральные барыши, и съ нимъ обходились хуже, чѣмъ съ лакеемъ. Надо было видѣть надменный видъ Розы, когда онъ пускался что-либо рассказывать: съ какимъ презрѣніемъ она заставляла его молчать! И поддакивая своей дочери, старуха Пиларъ также добавляла самоувѣреннымъ тономъ:

— Дай намъ покой, отстань, братецъ.

Пиларъ сидѣла за столомъ рядомъ съ Жаномъ; а три старья хрычевки, которыя ѣли съ чавканьемъ и какимъ-то ворчаньемъ, кидая инквизиторскіе взгляды въ его тарелку, подвергали настоящей пыткѣ молодаго человѣка, котораго уже шокировалъ покровительственный тонъ Розы, подшучивавшей надъ Фанни, надъ музыкальными вечерами отеля и надъ недалновидностью этихъ жалкихъ простофилей, принимавшихъ Фанни за свѣтскую женщину, доведенную обстоятельствами до несчастнаго положенія. Бывшая «колесничная дама», разползшаяся отъ нездороваго жиру, съ негранимымъ алмазомъ по десяти тысячъ франковъ въ каждомъ ухѣ, какъ будто завидовала тому обновленію молодости и красоты, которымъ ея подруга была обязана своему юному и красивому любовнику и Фанни не сердилась; напротивъ, она забавляла весь столъ, подсмѣиваясь надъ жильцами отеля—надъ перуанцемъ, ко-

торый, поводя своими бѣлыми зрачками, сообщилъ ей о своемъ желаніи свести знакомство съ «grande cousoute» (кокоткой вышаго полета); надъ молчаливыми, какъ вздохи тюленя, ухаживаньями голландца, твердившаго свою любимую фразу: «А угадайте, почему картофель въ Батавіи?»

Госсенъ не смѣялся; не смѣялась и Пиларь, зорко наблюдавшая за столовымъ серебромъ дочери. Она вдругъ порывисто кидалась на муху, которую замѣчала на своемъ приборѣ или на рукавѣ сосѣда, ловила ее и подносила съ нѣжными словами: «кушай, моя душа, кушай мое сердце», отвратительному маленькому звѣрю, который былъ посаженъ на скатерти—потертому, морщинистому, безобразному, какъ пальцы Дефу. По временамъ у стола мухъ не оказывалось, но старуха замѣчала ихъ на буфетѣ или на стеклянной двери, быстро вскакивала изъ-за стола и торжественно захватывала. Эти частыя вскакиванья надоѣли дочери, находившейся въ это утро въ очень нервномъ состояніи.

— Не вставай ежеминутно, это несносно.

— Сами лопаете, отчего же и ему не поѣсть? отвѣчала мать смущеннымъ голосомъ на томъ-же смѣшанномъ жаргонѣ.

— Уходи совсѣмъ изъ-за стола или сиди смирно... Ты намъ надоѣдаешь...

Старуха разсердилась, и онѣ принялись перебраниваться, точно испанскія богомолки, примѣшивая адъ и дьявола къ самымъ площаднымъ выраженіямъ

— Дочь демона!

— Изчадь сатаны!

— Развратница!

— Мать!

Жанъ съ ужасомъ глядѣлъ на нихъ, между тѣмъ какъ прочія гости, видимо привыкшія къ подобнымъ семейнымъ сценамъ, продолжали ѣсть спокойно. Одинъ только Поттеръ вступился, въ виду присутствія посторонняго:

— Да полно вамъ ссориться, право!

Но Роза, видѣ себя отъ гнѣва, накинулась на него:

— А ты чего лѣзешь?... вотъ еще выдумалъ!.. Развѣ я не вольна говорить у себя въ домѣ... Убирайся къ своей женѣ!.. Мнѣ надоѣли и твои глаза, какъ у жареной трески, и твои три послѣднихъ волоска... Снеси ихъ твоей индюшкѣ, пока еще время...

Поттеръ, нѣсколько поблѣднѣвъ, улыбался.

— И съ этакой приходится жить! бормоталъ онъ сквозь усы.

— Мы другъ друга стоимъ, — проревѣла она, перевѣсившись черезъ столъ всѣмъ корпусомъ.— Впрочемъ, ты знаешь... дверь открыта... ступай...

— Послушай, Роза! стали умолять его мутные глаза.

А старуха Пиларь, принявшись снова за ѣду, замѣтила съ комичной флегмой:

— Брось, брось, отстаи, братецъ.

Это было сказано такъ комично, что всѣ расхохотались, даже Роза и самъ Поттеръ; онъ принялся цѣловать свою, все еще ворчавшую возлюбленную, и чтобы окончательно примириться съ нею, поспѣшилъ поймать муху и деликатно, за крылышки, поднесъ Бичито.

И это Поттеръ, знаменитый композиторъ, гордость французской школы! Чѣмъ эта женщина приковывала его къ себѣ, какимъ колдовствомъ могла она владѣть имъ, состарѣвшаяся отъ разврата, грубая, съ этой матерью, которая удваивала ея гнусность, показывая ее такою, какою она станетъ лѣтъ черезъ двадцать?

Кофе подали на берегъ озера, въ маленькій гротъ изъ раковинъ, отдѣланный внутри свѣтлыми шелковыми матеріями, на которыхъ, какъ волны муара, отражалось движеніе сосѣдней волны. Это было одно изъ прелестныхъ любовныхъ гнѣздышекъ, измышленныхъ сказками XVIII вѣка, съ зеркальнымъ потолкомъ, отражавшимъ позы старухъ, развалившихся въ пищеварительномъ упоеніи на широкомъ диванѣ, между тѣмъ какъ Роза, съ щеками, разгорѣвшимися подъ румянами, всѣмъ корпусомъ налегала на своего музыканта, приговаривая:

— О, мой Татавъ... мой Татавъ...

Но пылъ этой нѣжности улетучился вмѣстѣ съ парами шартреза, и одной изъ дамъ пришла мысль прокатиться въ лодкѣ. Поттеръ былъ посланъ приготовить лодку.

— Лодку, слышишь, а не челнокъ.

— Я прикажу Дезире...

— Дезире завтракаетъ...

— Да вѣдь лодка полна воды; надо ее вычерпать, а это работа...

— Жаңъ вамъ поможетъ, сказала Фанни, видя, что сейчасъ опять будетъ сцена.

Усѣвшись другъ противъ друга, каждый на одной изъ скамеекъ лодки, раздвинувъ ноги, они дѣятельно вычерпывали воду, не разговаривая, не глядя другъ на друга, точно гипнотизированные мѣрными всплескиваніями воды, выбрасывавшейся изъ обѣихъ черпалокъ. Вокругъ разстилалась свѣжая душистая тѣнь высокаго дерева, отражавшагося на залитой яркимъ свѣтомъ поверхности озера.

— А вы уже давно съ Фанни? неожиданно спросилъ музыкантъ, прерывая свое занятіе.

— Уже два года... отвѣтилъ Госсенъ съ нѣкоторымъ удивленіемъ.

— Только два года!... Въ такомъ случаѣ то, что вы видите

сегодня, можетъ вамъ пригодиться. А я вотъ уже двадцать лѣтъ, какъ живу съ Розой. Двадцать лѣтъ тому назаль, вернувшись изъ Италіи, гдѣ я три года работалъ на римскую премію, я зашелъ разъ вечеромъ въ ипподромъ и увидаль ее на маленькой колесницѣ у поворота ристалища; она неслась въ мою сторону, высоко держа хлысть, въ каскѣ о восьми остріяхъ, а кольчуга золотистой чешуею обнимала ее талію... Ахъ! если бы мнѣ тогда сказали...

И принявшись снова вычерпывать лодку, онъ рассказывалъ, какъ дома сначала только смѣялись надъ этой связью, но потомъ, когда дѣло приняло серьезный оборотъ, какихъ усилій и просьбъ, какихъ жертвъ не употребляли они, лишь бы добиться разрыва! Раза два-три она уѣзжала, подкупленная ими, но каждый разъ онъ ловилъ ее.

— Попробуемъ путешествовать, говорила мать.

Онъ путешествовалъ, вернулся и опять сошелся съ нею. Тогда онъ позволилъ себя женить на хорошенькой дѣвушкѣ съ богатымъ приданымъ; въ видѣ свадебнаго подарка, ему обѣщали званіе члена Института. Не прошло и трехъ мѣсяцевъ, какъ онъ уже промѣнялъ новую семью на старое...

— Ахъ, молодой человѣкъ, молодой человѣкъ!

Онъ рассказывалъ свою жизнь сухимъ тономъ; ни одинъ мускулъ не оживлялъ маски его лица; она оставалась такой же жесткой, какъ и его накрахмаленный воротничекъ. А мимо нихъ плыли лодки, нагруженныя студентами и женщинами, откуда доносились на берегъ пѣсни, смѣхъ молодости и опьянѣнія; сколькимъ изъ этихъ необдуманно увлеченныхъ слѣдовало бы остановиться, воспользоваться ужаснымъ урокомъ!...

Въ это время въ кіоскѣ, точно уговорившись привести молодыхъ людей къ разрыву, старыя «*élégantes*» старались обратить Фанни на путь истины.

— Красивъ твой любезный, конечно, но у него нѣтъ ни гроша. Къ чему это приведетъ?...

— Но я его люблю...

Роза только пожала плечами:

— Оставьте ее... Она упуститъ и голландца, какъ упустила всѣ свои выгодныя казніи... Послѣ ея исторіи съ граверомъ Фламаномъ, она рѣшилась было сдѣлаться женщиной практической — а теперь стала глупѣе прежняго.

— Ау! *vellasa*... проворчала *matan* Пиларъ.

Англичанка, съ головой клоуна, вмѣшалась въ разговоръ съ своимъ страннымъ акцентомъ, которымъ нѣкогда славилась:

— Любовь, голубушка, дѣло хорошее, это даже очень пріятно, отчего не любить... но надо также любить и деньги. Да вотъ хоть

бы я,—будь я теперь богата, развѣ мой крупье сказалъ бы, что я уже не красива,—какъ вы думаете?

Ее взяло какое-то ожесточеніе, и рѣзко повысивъ голосъ, она продолжала:—Это, однако, ужасно!... Я была всемірною извѣстностью, знаменитостью, меня знали, какъ знаютъ бульваръ, монументы, памятники... Любой извощикъ, когда ему называли имя «Уильки Кобъ», зналъ, куда вести... У ногъ моихъ были князья, короли восторгались чуть ли не каждымъ моимъ плевкомъ — а теперь этотъ г, язый негодяй отвергъ меня, ссылаясь на то, что я некрасива...

И внѣ себя отъ мысли, что ее могли назвать некрасивой, она разомъ разстегнула платье.—Лице, да, оно потеряло красоту, но эта грудь, плечи... Развѣ онѣ не бѣлы? Развѣ не упруги?

Она съ безстыдствомъ показывала свое тѣло вѣдьмы, какимъ то чудомъ оставшееся молоджавымъ послѣ тридцати лѣтъ пребыванія въ огненномъ котлѣ, и только, начиная съ шеи, кверху истасканное и увядшее.

— Лодка готова, закричалъ Поттеръ.

И англичанка, закрывая платьемъ то, что сохраняло еще молоджавость, съ комичной нѣжностью лепетала: — Но не могу же я ходить совсѣмъ голой по площадямъ!...

Среди обстановки, достойной кисти Ланкре, гдѣ кокетливая бѣлизна виллъ сверкала въ юной зелени, съ террасами и лужайками, окаймлявшими маленькое озеро, чешуйчато-свѣтлое отъ лучей солнца, отпавленіе на прогулку этого сброда старыхъ жрицъ Цитеры являлось крайне своеобразнымъ: слѣпая Сомбрезъ, старая фигура клоуна и почти развалившаяся Дефу какъ будто оставляли въ бороздѣ воды мускусный, ароматъ своихъ притираний. Жанъ работалъ веслами, согнувъ спину, стыдясь и досадуя, что его могутъ увидать и, пожалуй, припишутъ ему низкую роль въ этой отвратительной аллегорической лодкѣ. Къ счастью, какъ разъ противъ него, какъ бы для освѣженія его глазъ и сердца, сидѣла Фанни Легранъ, близъ руля, которымъ управлялъ Поттеръ. Улыбка Фанни еще никогда не казалась ему столь юною, какъ теперь, по сравненію, разумѣется.

— Спои намъ что нибудь, душечка, сказала Дефу, которую весна разнѣживала.

Фанни своимъ выразительнымъ и глубокимъ голосомъ запѣла баркаролу изъ «Claudia»; авторъ, тронутый такимъ воспоминаніемъ объ своемъ первомъ торжествѣ, слѣдилъ за пѣніемъ, подражая губами переливамъ оркестра, что сопровождало мелодію, какъ брызги журчащей воды. Въ эту минуту, среди такой обстановки, это было восхитительно. Съ сосѣдней террасы закричали «браво»!

А провансалець, продолжая мѣрно ударять веслами подь тактъ мелодіи, жаждалъ этой божественной музыки, лившейся изъ устъ его возлюбленной, порывался прильнуть губами къ этому живому источнику и пить изъ него, опрокинувъ назадъ голову, подь яркими лучами солнца, не переставая.

Вдругъ Роза въ негодованіи прервала кантилену—ее раздражало это сочетаніе голосовъ Фанни и Поттера.

— Эй, музыка, скоро ли вы тамъ кончите ваше сладкое воркованіе?.. Неужели вы думаете, что намъ пріятенъ этотъ похоронный романсъ?.. Кажется, достаточно... Притомъ уже поздно, Фанни пора вернуться къ своей должности...—И свирѣпымъ жестомъ указывая на ближайшую пристань, она сказала своему любовнику:

— Причалъ вонъ тамъ... имъ ближе будетъ до станціи желѣзной дороги.

Это было грубо, точно ихъ прогоняли. Но бывшая колесничная дама уже пріучила своихъ знакомыхъ къ такого рода манерамъ, и никто не смѣлъ протестовать. Парочку ссадили на берегъ, сказали два-три холодно вѣжливыхъ слова молодому человѣку, отдали Фанни нѣсколько приказаній съ какимъ-то шипѣньемъ, и лодка поплыла дальше. Изъ нея слышались уже крики, начиналась новая ссора, которая закончилась оскорбительнымъ взрывомъ хохота, долетѣвшимъ до возлюбленныхъ, благодаря отраженію звука отъ воды.

— Слышишь, слышишь,—говорила Фанни, поблѣднѣвшая отъ раздраженія;—это они надъ нами потѣшаются...

При этомъ новомъ оскорбленіи, въ памяти ея ожили всѣ испытанныя ею униженія. Она стала перечислять ихъ, идя къ станціи, сознавалась даже въ такихъ вещахъ, которыя до того времени всегда скрывала. Роза только и думала о томъ, какъ бы ихъ разлучить, облегчить ей возможность обмануть его...

— Чего только она ни говорила, чтобы меня свести съ голландцемъ... Вотъ сейчасъ только онѣ всѣ это твердили въ одинъ голосъ... Я слишкомъ сильно люблю тебя, ты знаешь, и это ей мѣшаетъ—у нея вѣдь всѣ пороки, самые низкіе, самые чувственные. И, кромѣ того, я сама не хочу.

Замѣтивъ, что онѣ поблѣднѣлъ, что губы его дрожали, какъ въ тотъ вечеръ, когда онѣ жегъ письма, она сказала: — О, не бойся... Твоя любовь спасла меня отъ всѣхъ ужасовъ... Она и ея хамелеонъ—оба мнѣ одинаково отвратительны.

— Я не хочу, чтобы ты долѣе оставалась тамъ, — сказалъ Жанъ, охваченный злобной ревностью. — Черезчуръ много грязи въ томъ хлѣбѣ, изъ-за котораго ты служишь. Ты переселишься опять ко мнѣ, какъ нибудь извернемся...

Она ожидала этого призыва, уже давно вызывала его. Тѣмъ не менѣе, она стала возражать, говорила, что на триста франковъ его жалованья жить вмѣстѣ будетъ очень трудно, и снова, пожалуй, придется разстаться...

— А мнѣ было такъ тяжело покинуть нашу квартирку...

Между акаціями, окаймлявшими дорогу въ перемежку съ телеграфными столбами, гдѣ разлѣстились ласточки, кое-гдѣ разставлены были скамьи; чтобы говорить свободнѣе, они усѣлись на одну изъ нихъ, оба взволнованные и держа другъ друга за руки.

— Триста франковъ въ мѣсяцъ!—говорилъ Жанъ.—Но изворачиваются же Геттемы? У нихъ только двѣсти пятьдесятъ.

— Они живутъ круглый годъ за городомъ, въ Шавиллѣ.

— И прекрасно, мы можемъ сдѣлать тоже самое; я вовсе не дорожу Парижемъ.

— Правда?.. ты согласенъ?.. О, мой милый, милый!..

По дорогѣ шелъ народъ, проѣзжала кавалькадой на ослахъ свадебная процессія... Имъ нельзя было цѣловаться, и они сидѣли неподвижно, прижавшись другъ къ другу, мечтая о томъ, какое новое, точно помолодѣвшее счастье доставятъ имъ лѣтние вечера среди сельской тишины и теплаго покоя деревни, изрѣдка лишь нарушаемаго отдаленнымъ выстрѣломъ изъ карабина или ригурнелью шарманки на загородномъ праздникѣ.

VIII.

Они поселились въ Шавиллѣ, между плоскогорьемъ и низменностью, по старинной лѣсной дорогѣ, которая носить прозвище *Ravé des gardes*, въ старинномъ охотничьемъ домикѣ, у опушки лѣса, въ трехъ комнатахъ, ничуть не больше парижскихъ, съ той же скромной мебелировкой, съ плетенымъ кресломъ, раскрашеннымъ шкафомъ; единственнымъ украшеніемъ отвратительныхъ зеленыхъ обоевъ служилъ портретъ Фанни, такъ какъ фотографія, изображавшая видъ Кастеле, была брошена съ разбитой при перѣздѣ рамой и пылилась гдѣ-то на чердакѣ.

Уже о бѣдномъ Кастеле не было и рѣчи съ тѣхъ поръ, какъ прекратилась переписка между дядей и племянникомъ.

— Какое молодце! говорила Фанни, вспоминая, какъ Фенатъ содѣйствовалъ ихъ первому разрыву. Только дѣвочки продолжали время отъ времени сообщать брату извѣстія, но Дивонна больше не писала. Быть можетъ, она еще сердилась на племянника или угадывала, что «скверная женщина» опять около него, и готова издѣваться надъ грубымъ деревенскимъ почеркомъ ея материнскихъ писемъ.

Иной разъ они могли вообразить себѣ, что они въ rue d'Amsterdam, когда пробуждались отъ романсовъ супруговъ Геттема, опять ставшихъ ихъ сосѣдами, или при свисткахъ поѣздовъ, ежеминутно скрецивавшихся по ту сторону дороги, видимыхъ сквозь вѣтви деревьевъ большаго парка. Но вмѣсто мутныхъ стеколъ вокзала Западной желѣзной дороги, ничѣмъ не завѣшенныхъ оконъ его, въ которыя видѣлись согнутые силуэты служащихъ, и вмѣсто глухаго гула людной улицы, у нихъ предъ глазами было безмолвное пространство зелени, разстилавшееся до самаго берега, далеко за ихъ маленькимъ огородомъ, окруженное другими садами и домиками въ разнообразныхъ древесныхъ группахъ.

Утромъ, передъ отправленіемъ на службу, Жанъ завтракалъ въ ихъ маленькой столовой; открытое окно выходило на широкую мощеную дорогу, мѣстами поросшую травой, окаймленную живой изгородью изъ бѣлаго терновника съ горькимъ ароматомъ. Этой дорогой Жанъ въ десять минутъ доходилъ до вокзала, идя вдоль парка шумящаго листвою и птичьимъ щебетаньемъ, а при его возвращеніи этотъ шумъ и щебетъ затихали, по мѣрѣ того какъ изъ-за кустовъ пробирались сумерки, спускаясь на мшистую поверхность зеленой дороги, освѣщенной красными лучами заката, между тѣмъ какъ перекличка кукушекъ изъ всѣхъ угловъ роши слышалась въ перемежку съ трелями соловьевъ въ кустахъ дикаго плюща.

Но какъ только все было устроено, и миновало первое ощущеніе мирной тишины вокругъ, любовника снова охватила прежняя мука безплодной и придиричливой ревности. Размолвка его возлюбленной съ Розой, отъѣздъ изъ отеля повели къ объясненію между двумя женщинами, которое своими чудовищными двусмысленностями снова оживило его подозрѣнія, его смутныя тревоги. Когда онъ уѣзжалъ на службу и изъ оконъ вагона глядѣлъ на ихъ низкій домикъ со слуховымъ окномъ надъ единственнымъ этажемъ, взоръ его невольно осматривалъ каждый уголокъ стѣны.

— Почему знать? думалось ему, и эта мысль не оставляла его во все время, пока онъ сидѣлъ на службѣ за бумагами.

Вернувшись, онъ требовалъ у Фанни отчета о всемъ ея времени, о малѣйшихъ ея дѣйствіяхъ, о причинѣ ея озабоченности, часто воображаемой, которую онъ прерывалъ внезапнымъ вопросомъ.

— О чемъ ты думаешь?.. отвѣчай сейчасъ...

Онъ все боялся, что она сожалѣетъ о чемъ или о комъ либо изъ ея ужаснаго прошлаго, которое разоблачала она передъ нимъ все съ тою-же безшабашною откровенностью.

Прежде, когда они видѣлись только по воскресеньямъ, ему не доставало времени на эти нравственные обыски, оскорбительные и мелочные. Но сойдясь снова, въ этой совмѣстной жизни, они стали мучиться даже въ минуты ласкъ, среди объятій самыхъ горячихъ, испытывая волненіе и отъ глухой злобы, и отъ горькаго сознанія непоправимости своего положенія. Онъ изводилъ себя отъ желанія доставить ей, пресыщенной въ любви, какое-нибудь новое ощущеніе, котораго она еще не знала; она, готова была на всякія мученія, лишь бы доставить удовольствіе, котораго бы уже не знали десятки другихъ, и не успѣвая въ этомъ, плакала отъ безсильнаго бѣшенства.

Затѣмъ настало нѣкоторое успокоеніе, быть можетъ, отъ чувственнаго пресыщенія среди живительнаго вліянія природы, или, еще вѣроятнѣе, отъ сосѣдства семьи Геттема. Дѣло въ томъ, что изъ всѣхъ семей, разбросанныхъ по парижскимъ предмѣстьямъ, не было, быть можетъ, ни одной, которая бы въ такой мѣрѣ, какъ эта парочка, вкушала и деревенскую свободу, и удовольствіе отправляться на прогулку въ старыхъ платьяхъ, въ шляпахъ изъ древесной коры—она безъ корсета, онъ въ простыхъ туфляхъ, — относить послѣ стола корки хлѣба уткамъ, отброски—кроликамъ, затѣмъ полоть, подчищать, скрести, поливать. О! что это была за поливка.

Геттемы принимались за нее, едва только мужъ успѣвалъ переменить свой служебный костюмъ на робинзоновскую куртку. Послѣ обѣда они снова принимались за работу, и вечеромъ, когда давно уже стемнѣло, въ глубинѣ маленькаго сада, откуда поднимался свѣжій паръ смоченной земли, слышались скрипъ насоса, звяканье большихъ леекъ и пыхтѣнье, переносившееся по всѣмъ клумбамъ вмѣстѣ съ прерывистыми струями воды, которая будто катилась съ лица тружениковъ въ шейки ихъ леекъ. Затѣмъ раздавался по временамъ крикъ торжества:

— Я вылила тридцать двѣ лейки на горошекъ...

— А я четырнадцать на бальзаминъ...

Эти люди не довольствовались тѣмъ, что были счастливы: они хотѣли это представить наглядно; они выказывали это счастье передъ каждымъ, такъ, чтобы у того текли слюнки.

— Теперь что, а вотъ посмотрите-ка въ декабрѣ мѣсяцѣ!.. Вернешься весь въ грязи, измокшій, со всѣми парижскими невзгодами наплечахъ. А дома яркій огонь, свѣтлая лампа, суповая чаша дымится на столѣ, распространяя аппетитный ароматъ, а подъ столомъ пара деревянныхъ башмаковъ набитыхъ соломой. Нѣтъ, знаете, какъ нагрузишься блюдомъ сосисекъ, да такимъ ломтищемъ швейцарскаго сыра, выдержаннаго свѣжимъ въ холстѣ, да какъ зальешь все это литромъ добраго вина, не прошедшаго черезъ Берси, безъ

подмѣсей и слаброванія разными снадобьями — тогда и почувствуешь, какъ пріятно придвинуть кресло къ камину, закурить трубку, попивая свой кофе съ ликерцомъ и вздремнуть сладко, сидя другъ противъ друга, въ то время, какъ изморозь заволакиваетъ оконныя стекла... О, вздремнуть недолго, слегка, во время первыхъ приступовъ пищеваренія... Послѣ того сядешь, порисуеть немного, а жена тѣмъ временемъ убираетъ со стола, справляетъ свое дѣло, прибираетъ постель, согрѣваетъ ее. Какъ только она ляжетъ, мѣстечко сдѣлается теплымъ, ну и самъ тогда нырнешь въ постель, и по всему тѣлу распространится необыкновенная теплота, точно влѣзъ по горло вотъ въ эти самые башмаки, набитые соломой...

Онъ становился почти краснорѣчивымъ въ своемъ физическомъ довольствѣ, этотъ волосатый гигантъ съ массивною челюстью, обыкновенно до такой степени застѣнчивый, что не могъ произнести двухъ словъ, не краснѣя и не запинаясь.

Эта глупая застѣнчивость, составляя комическій контрастъ съ его черной бородой и размашистостью колосса, содѣйствовала его женитбѣ и спокойствію въ жизни. Въ двадцать пять лѣтъ, въ полномъ разгарѣ силъ и здоровья, Геттема не зналъ еще ни женщины, ни любви, когда однажды въ Неверѣ, послѣ полковаго обѣда, товарищи затащили его полушьянаго въ какой-то притонъ и принудили выбрать одну изъ тамошнихъ обитательницъ. Онъ вышелъ оттуда потрясенный до нельзя, вернулся туда еще нѣсколько разъ и всякій разъ выбиралъ одну и ту же, уплатилъ ея долги, увезъ ее и, страшась мысли, что ее могутъ отнять у него, что снова придется вести атаку, кончилъ тѣмъ, что женился на ней.

— Это законное супружество, мой милый,—говорила Фанни, смѣясь и глядя съ торжествомъ на Жана, который съ ужасомъ слушалъ ее...—И изъ всѣхъ, которыя я знавала, это самое чистоплотное, самое честное.

Она утверждала это со всею искренностью своего невѣднія; тѣ семьи, куда она могла проникать, не заслуживали, конечно, инаго мнѣнія. Да и все, что она знала о жизни, было въ такой же мѣрѣ и ошибочно, и искренно....

Сосѣдство этихъ Геттемовъ дѣйствовало успокоительно; расположение духа супруговъ было всегда ровное, они готовы были даже на услуги, не слишкомъ стѣснительныя для нихъ, и боялись въ особенности всякаго рода сценъ, ссоръ, гдѣ надо было брать ту или другую сторону, вообще всего, что могло нарушить хорошее пищевареніе. Жена пыталась научить Фанни, какъ надо разводить куръ и кроликовъ, заинтересовать ее цѣлительной пріятностью поливки зелени—но все было напрасно.

Сожительница Госсена, уроженка парижскаго предмѣстья, прошедшая сквозь огонь и воду художническихъ мастерскихъ, любила деревенскую жизнь лишь наѣздомъ, урывками, какъ такое мѣсто, гдѣ можно и свободно поохотать, и поваляться, и заплутаться въ лѣсу вдвоемъ. Она не любила ни усилій, ни труда. Шестъ мѣсяцевъ управленія отелемъ надолго истощили ея активныя способности; она точно размякла теперь въ какомъ-то неопредѣленномъ опѣшеніи, въ опьянѣннн благополучія на чистомъ воздухѣ, которое почти лишало ея силы, чтобы одѣться, причесаться или даже открыть фортепіано.

Всю заботу о хозяйствѣ она предоставила деревенской служанкѣ, и когда наступалъ вечеръ, и ей приходилось вспоминать, что она дѣлала цѣлый день, чтобы дать отчетъ объ этомъ Жану, она не находила ничего болѣе, какъ визитъ къ Олимпіи, сплетни, слышанныя черезъ заборъ, и истребленіе кучи папиросъ, отъ которыхъ окурки пачкали мраморную плитку передъ каминомъ. Уже шесть часовъ!.. Она едва успѣвала набросить платье и вколоть цвѣтокъ въ корсажъ, чтобы идти къ нему на встрѣчу по зеленой дорожкѣ...

Но когда начались туманы, осенніе дожди и стало темнѣть рано, у ней явилось еще болѣе предоговъ, чтобы не выходить вовсе изъ дому, и нерѣдко по возвращеніи, Жанъ заставлялъ ее въ томъ же балахонѣ изъ бѣлой шерсти, съ широкими складками, который она набрасывала на плечи, вставая съ кровати утромъ, въ той же небрежной прическѣ подъ гребенку, какъ предъ уходомъ его. Въ такомъ видѣ онъ находилъ ее прелестной; затылокъ у нея все еще былъ моложавъ, тѣло ея было попрежнему соблазнительно и выхолено. Но тѣмъ не менѣе, ея разпущенность пугала его, шокировала, какъ что-то опасное.

Онъ и самъ, послѣ усиленной работы для увеличенія средствъ, не прибѣгая къ Кастеле, послѣ ночей, проведенныхъ надъ планами, рисунками артиллерійскихъ снарядовъ, артиллерійскихъ ящиковъ, ружей новаго образца, которые онъ чертилъ по заказу Геттема, почувствовалъ вдругъ, что и его начинаетъ одолевать эта распущенность деревенской жизни въ одиночествѣ, вліянію которой поддаются самыя сильныя и самыя дѣятельныя натуры, и которая въ немъ съ самаго дѣтства, проведеннаго въ заброшенномъ уголкѣ природы, оставила свои зачатки.

Немалую роль играли въ этомъ отношеніи и сытыя наклонности ихъ тучныхъ сосѣдей; онѣ невольно сообщались при постоянныхъ взаимныхъ посѣщеніяхъ, при встрѣчахъ съ ихъ чудовищнымъ аппетитомъ, ихъ нравственной опошленностью, такъ что Госсенъ и Фанни также дошли до того, что стали обсуждать серьезно

вопросы о ѣдѣ и часѣ, когда ложиться спать. Когда Сезерь выслалъ имъ боченокъ своего лягушечьяго вина, они провели цѣлое воскресенье въ томъ, что разливали его по бутылкамъ; въ дверь ихъ маленькаго погреба заглядывали лучи послѣдняго лѣтняго солнца, а по голубому небу носились маленькія облачка, розоватія точно лѣсной верескъ. Недалекъ уже былъ день, когда предстояло набивать башмаки теплой соломой, дремать вдвоемъ передъ каминомъ послѣ сытнаго обѣда. Къ счастью, для нихъ явилось развлеченіе.

Однажды вечеромъ онъ засталъ ее очень взволнованной. Олимпія только что рассказала ей исторію маленькаго мальчика, который воспитывался въ Морванѣ у бабушки. Отецъ и мать жили въ Парижѣ, торговали дровами, не писали ни слова и уже нѣсколько мѣсяцевъ, какъ не высылали денегъ. Старуха бабушка внезапно умерла; судорабочіе привезли ребенка въ Парижъ, по каналу, чтобы сдать его родителямъ, но тѣхъ на лицо не оказалось. Дровяной дворъ запертъ, мать ушла съ любовникомъ, отецъ спился, обанкрутился и пропалъ безслѣдно. Хороши эти законныя супружества!.. И вотъ бѣдный мальчикъ, шести лѣтъ, прелестный, какъ амурчикъ, безъ хлѣба и платья, не имѣетъ, гдѣ склонить голову.

Она расчувствовалась до слезъ и вдругъ проговорила:

— А что, если бы мы его взяли... Хочешь?

— Что за глупости!

— Почему глупости?

И ласкаясь къ нему, она продолжала:

— Ты знаешь, какъ мнѣ хотѣлось имѣть отъ тебя ребенка; мы бы его воспитали, дали бы ему образованіе. Такихъ малютокъ, которымъ даешь у себя пріютъ, со временемъ можно полюбить, точно своихъ...

Она говорила и о развлеченіи, которое это ей доставить, такъ какъ она по цѣлымъ днямъ только опошливается, вращаясь въ кругу глупыхъ мыслей. Ребенокъ — это своего рода предохранительное средство. Затѣмъ, увидавъ, что онъ боится новаго расхода, сказала:

— Да какой тутъ расходъ? Подумай самъ, въ шесть-то лѣтъ... а одѣть его можно изъ разнаго старья... Олимпія, знающая въ этомъ толкъ, говорить, что мы и не увидимъ никакихъ издержекъ.

— Отчего же она сама не возьметъ его? сказалъ Жанъ, съ досадливымъ тономъ человѣка, который чувствуетъ себя побѣжденнымъ своею же собственною слабостью. Онъ, однако, пытался еще сопротивляться, прибѣгая къ рѣшительному доводу:

— А какже, когда меня не будетъ?

Онъ рѣдко говорилъ объ этомъ отвѣдѣ, чтобы не огорчать Фанни, но подумывалъ о немъ, и это нѣсколько успокаивало его насчетъ опасностей совмѣстнаго сожителства, сообщенныхъ ему въ грустной исповѣди Поттера.

— Этотъ ребенокъ только усложнитъ, твое положеніе и станетъ тебѣ въ тягость.

Глаза Фанни подернулись туманомъ.

— Ты ошибаешься, милый; напротивъ, у меня будетъ тогда живое существо, съ которымъ я могу говорить о тебѣ, моя утѣха; отвѣтственность дать мнѣ силы трудиться и снова получить желаніе жить...

Онъ съ минуту подумалъ; ему представилось, какъ она останется одна въ пустомъ домѣ.

— А гдѣ же этотъ мальчикъ?

— Въ Нижнемъ-Медонѣ, у судорабочаго, который пріютилъ его на нѣсколько дней... А то придется отдать его въ какойнибудь пріютъ...

— Ну, сходи за нимъ, если тебѣ такъ хочется...

Она кинулась къ нему на шею, и весь вечеръ была весела какъ дитя, играла на фортепьяно, пѣла, казалась вполнѣ счастливой, преображенной. На другой день, сидя въ вагонѣ, Жанъ сообщилъ объ этомъ рѣшеніи толстому Геттема, который зналъ, въ чемъ дѣло, но видимо не желалъ вмѣшиваться. Уткнувшись въ уголокъ вагона и погружившись въ чтеніе «Petit Journal», онъ бормоталъ сквозь зубы:

— Да, знаю, это все барыни... Это меня не касается... — И, вытянувъ голову надъ развернутой газетой, прибавилъ:

— Ваша жена мнѣ кажется очень романтичною...

Была ли она романтичною или нѣтъ, но вечеромъ, стоя на колѣняхъ, съ тарелкой супа въ рукѣ, она старалась приручить маленькаго мальчика, который стоялъ передъ ней въ такой позѣ какъ будто онъ пытался отъ нее, опустивъ голову, большую съ курчавыми волосами; онъ ни за что не хотѣлъ ни говорить, ни ѣсть, ни даже показать свое лицо, продолжая твердить глухимъ и однозвучнымъ голосомъ:

— Хочу видѣть Менину, Менину...

— Менина, это, должно быть, его бабушка, замѣтила Фанни.— Цѣлыхъ два часа я не могу добиться отъ него ничего другаго.

Жанъ также пытался было заставить его поѣсть супу, но безуспѣшно. И они оба стояли на колѣняхъ, чтобы быть подлостью мальчику, держа—онъ тарелку, а она ложку, точно предъ большимъ ягненкомъ, повторяя ласковыя и нѣжныя слова, чтобы уговорить ребенка.

— Сядемъ за столъ, быть можетъ, мы его пугаемъ; онъ поѣстъ, когда мы не будемъ глядѣть на него.

Но тотъ продолжалъ стоять неподвижно, озадаченный, какъ маленькій дикарь, твердя свою жалобу: «хочу видѣть Менину», терзая ихъ этимъ пока не задремалъ, прислонившись къ буфету, и задремалъ до того крѣпко, что они могли и раздѣть его, и уложить въ грузную люльку, занятую у сосѣда, не разбудивъ его ни на секунду.

— Посмотри, какъ онъ хорошъ, говорила Фанни, гордясь своимъ приобрѣтеніемъ.

И она заставляла Госсена любоваться круглымъ лбомъ ребенка, тонкими и нѣжными чертами лица подъ деревенскимъ загаромъ, прелестнымъ маленькимъ тѣломъ, съ крѣпкими суставами, пухлыми ручонками, ножками, какъ у юнаго фавна, длинными и нервными, снизу уже подернутыми пушкомъ. Она забывалась въ созерцаніи этой дѣтской красоты.

— Покрой же его, вѣдь ему холодно, замѣтилъ Жанъ, и она вздрогнула отъ его голоса, словно пробудилась отъ сна. Пока она его нѣжно прикрывала, ребенокъ во снѣ всхлипывалъ, точно въ немъ клокотало отчаяніе...

Ночью онъ принялся говорить самъ съ собой:

— *Guerlaudé mé Menine...*

— Что это онъ говорить?... послушай...

Онъ хотѣлъ быть «guerlaudé», но что это за слово?

Жанъ, на всякій случай, протянулъ руку и сталъ покачивать грузную люльку; ребенокъ успокоился и скоро уснулъ, держа въ своей пухлой ручонкѣ ту шаршавую руку, которую онъ принялъ за руку Менины, умершей за двѣ недѣли передъ тѣмъ.

Въ домѣ точно поселилась дикая кошка, которая царапалась, кусалась, ѣла всегда отдѣльно отъ другихъ, съ ворчаньемъ, когда приближались къ ея мискѣ. Если добивались отъ ребенка нѣсколькихъ словъ, то они произносились варварскимъ языкомъ морванскихъ дровосѣковъ, котораго безъ супруговъ Геттема, бывшихъ родомъ изъ того же края, никто не могъ бы понять. Тѣмъ не менѣе, благодаря хорошему уходу, ласкамъ, удалось, наконецъ, нѣсколько приручить его. Онъ согласился снять лохмотья, въ которыхъ привели его, и надѣть теплую и чистую одежду, одна близость которой въ первые дни приводила его въ ярость, точно шакала, котораго хотять одѣть въ плащикъ левретки. Научился онъ и ѣсть за столомъ, и держать вилку и ложку, и отвѣчать, когда спрашивали его имя: въ деревнѣ его звали «Жозафомъ».

Но нечего было и думать о преподаваніи ему какихъ либо

элементарныхъ познаній. Онъ выросъ въ лѣсу, подъ шалашами угольщиковъ; шелестъ и гулъ природы еще отзывались въ крѣпкой головѣ этого маленькаго лѣснаго обитателя, какъ шумъ моря въ спирали раковины; не было никакой возможности вложить ему въ голову что нибудь новое, или удержать его въ комнатѣ даже въ самую ненастную погоду. И въ дождь, и въ снѣгъ, когда обнаженные деревья серебрились инеемъ, онъ убѣгалъ, рыскалъ по кустамъ, рылся въ норахъ со всею юркостью и ожесточеніемъ хорька, а когда возвращался, загоняемый голодомъ, то въ разодранной бумазейной жилеткѣ его, въ карманѣ панталонъ, загрязненныхъ выше колѣнъ, оказывалось всегда какое нибудь замерзшее животное — птица, кротъ, или просто пучки свеклы, или картофелины, вырытыя въ огородѣ.

Ничто не могло побѣдить этихъ хищническихъ инстинктовъ. Они усложнялись еще деревенской маніей закапывать въ землю всякаго рода блестящіе предметы: мѣдныя пуговицы, черныя бусы, свинцовую обертку шоколада — все это Жозафъ подбиралъ, зажимая въ кулакъ, и уносилъ въ свои тайники, какъ сорога-воровка. Вся такая добыча имѣла на его языкѣ неопредѣленное и родовое названіе *проvizii*, и ни увѣщанія, ни щелчки не могли заставить его отказаться отъ своихъ поисковъ *за проvizией*, въ ущербъ всѣмъ и каждому.

Только Геттемы умѣла дисциплинировать его. Чертежникъ имѣлъ обыкновеніе класть вблизи себя на столѣ, къ которому подкрадывался маленькій дикарь, соблазненный видомъ готовальни и цвѣтныхъ карандашей, арапникъ, которымъ онъ щелкалъ по направлению ногъ вора. Но ни Жанъ, ни Фанни не примѣняли такого рода угрозъ, хотя по отношенію къ нимъ мальчишъ всегда былъ и лукавъ, и недобѣрчивъ, не поддаваясь даже нѣжному баловству, какъ, будто его Менина, умирая, лишила его всякой способности къ проявленію какой бы то ни было привязанности. Еще Фанни удавалось иногда нѣсколько времени удержать его у себя на колѣняхъ потому что «отъ нея хорошо пахло», за то, по отношенію къ Госсену, очень ласковому съ нимъ, онъ всегда держался, какъ и въ первое время, хищнымъ звѣремъ, съ недобѣрчивымъ взглядомъ и выпущенными когтями.

Это непобѣдимое и почти инстинктивное отвращеніе ребенка, лукавое любопытство въ маленькихъ голубыхъ глазахъ съ большими рѣсницами, а въ особенности слѣпая и внезапная нѣжность Фанни къ чужому ребенку, неожиданно попавшему въ ихъ жизнь, — смущали любовника новымъ подозрѣніемъ. Быть можетъ, это ея ребенокъ, воспитанный у деревенской кормилицы, или у ея мачихи; и полученное въ то время извѣстіе о смерти Машомъ

казалось совпадениемъ, оправдывавшимъ его муку. Иногда ночью, держа уцѣпившуюся за него маленькую ручонку—въ смутной забывчивости сна и сновидѣній, ребенокъ думалъ, что протягиваетъ ее своей Менинѣ—онъ внутренно, въ своемъ непобѣдимомъ смущеніи, спрашивалъ его: «откуда ты? кто ты?», надѣясь, по самой теплотѣ маленькаго существа, угадать тайну его рожденія.

Но тревога его разсѣялась при первыхъ словахъ старика Леграна, который явился просить о помощи ему для уплаты за ограду на могилѣ его покойницы и, увидавъ кровать Жозафа, воскликнулъ, обращаясь къ дочери:

— Какъ! Пострѣленокъ?.. теперь ты, должно быть, довольна... Тебѣ вѣдь ни разу не удавалось добыть своего собственнаго!

Госсенъ до того обрадовался, что заплатилъ за ограду, не справившись даже со смѣтой, и пригласилъ старика Леграна позавтракать.

Старый кучеръ, служившій теперь при конно-желѣзной дорогѣ между Парижемъ и Версалемъ, пропитавшійся виномъ и тронутый апоплексіей, но все еще смотрѣвшій свѣжимъ и бодрымъ подъ своей шляпой изъ лакированной кожи, обернутой, какъ и подобало, широкою креповою лентою, которая придавала ей видъ шляпы факельщица — былъ очень доволенъ ласковымъ приемомъ сожителя его дочери и время отъ времени сталъ приходить къ нимъ обѣдать. Его волосы, бѣлые, какъ у полишинеля, отбѣившіе выбритое и вспухшее лицо, его приемы, важные и грубоватые и наконецъ то, уваженіе, съ которымъ онъ относился къ своему бичу, уставляя, прилаживая его въ самый чистый уголокъ комнаты, съ заботливостью мамки—оказывали сильное дѣйствіе на мальчика, и вскорѣ ребенокъ и старикъ стали большими друзьями.

Однажды вся семья сидѣла за столомъ, когда явились неожиданно Геттемы.

— Ахъ, извините, вы по семейному, замѣтила при входѣ супруга, и эти слова бросили въ краску Жана, унижая его, какъ пощечина.

По семейному!.. Этотъ найденышъ, который храпитъ, положивъ голову на скатерть; этотъ старый няный остолопъ, съ трубкой въ зубахъ, съ сильнымъ голосомъ, въ сотый разъ твердящій, что бичъ, заплаченный два су, служить ему цѣлые полгода и что уже двадцать лѣтъ, какъ онъ не мѣнялъ кнутовища!.. И это его семья!.. Ни за что на свѣтъ!.. Не жена ему и эта Фанни Легранъ, пожилая и изношенная, протянувшая свои локти на столъ, въ облакахъ папирознаго дыма!.. Не пройдетъ и года, какъ все это исчезнетъ изъ его жизни и замѣнится неопредѣленностью встрѣчъ во время путешествій, случайными знакомствами за табльд'отомъ.

Но въ другія минуты эта мысль объ отъздѣ, пробуждавшаяся въ немъ какъ бы въ оправданіе его безхарактерности, когда онъ чувствовалъ себя нравственно падающимъ все ниже и ниже, вмѣсто того, чтобы успокоивать и облегчать его, давала ему еще сильнѣе чувствовать тѣ разнообразныя узы, какія держали его; онъ терзался, что отъздѣ его будетъ сопровождаться не однимъ, а множествомъ разрывовъ, и что ему самому уже не легко будетъ разстаться съ этой дѣтской рученкой, которая ночью довѣрялась его рукѣ, даже съ «la Value», иволгой, насвистывавшей и пѣвшей въ клѣткѣ, которую слѣдовало бы переименовать, такъ какъ птица сгибала въ ней спинку, какъ старый кардиналъ въ своей желѣзной темницѣ. Да, даже «la Value» имѣла уголокъ въ его сердцѣ, и дать опустѣть этому уголку было бы для него тяжело.

Однако время неизбѣжной разлуки приближалось. Чудный іюнь, придававшій праздничный видъ природѣ, будетъ вѣроятно послѣднимъ мѣсяцемъ, который имъ суждено провести вмѣстѣ. Быть можетъ, это дѣлало ее нервной и раздражительной, а быть можетъ это, предпринятое ею съ внезапнымъ рвеніемъ воспитаніе Жозафа, который невыразимо скучалъ, сидя по цѣлымъ часамъ за азбукой, будто не видя чернѣвшихъ передъ нимъ буквъ и ни мало не желая добиться правильнаго ихъ произношенія. Любовь его точно загороженъ былъ рогаткой, подобно птичьему двору фермы. Со дня на день характеръ Фанни портился все болѣе, выказываясь сценами, непрерывно повторявшимися, со слезами и криками, хотя Госсенъ и принуждалъ себя къ снисходительности. Но она становилась такъ назойлива, въ гнѣвѣ ея обнаруживалось столько ненависти и злости къ молодости любовника, къ его воспитанію, его семьѣ, къ той разницѣ въ ихъ судьбѣ, которая должна еще усилиться отъ разлуки, она до такой степени умѣла болѣзненно касаться его чувствительной струны, что онъ, наконецъ, выходилъ изъ себя и отвѣчалъ ей въ томъ же тонѣ.

Только въ раздражительности его видна была сдержанность, жалость человѣка, хорошо воспитаннаго; онъ воздерживался отъ моральныхъ ударовъ, слишкомъ легкимъ для него и оскорбительныхъ для нея; въ своей ярости, безотвѣтственной, безстыдной, она пользовалась всѣмъ, какъ орудіемъ, съ злорадствомъ выслѣживая на лицѣ своей жертвы признаки страданія, какое она ей причиняла, а потомъ вдругъ кидалась ему на шею, умоляя о прощеніи.

Стоило бы срисовать между тѣмъ лица супруговъ Геттема, свидѣтелей подобныхъ сценъ, обыкновенно разражавшихся за столомъ, именно въ тѣ минуты, когда надо было или снимать

крышку съ суповой чашки, или взяться за ножъ, чтобы разрѣзать жаркое. Они съ комической растерянностью переглядывались черезъ накрытый столъ. Удастся ли поѣсть, или жиго вылетитъ въ садъ вмѣстѣ съ блюдомъ, съ соусомъ и съ приправой изъ зеленыхъ бобовъ?

«Только безъ сценъ...» неизмѣнно твердили они каждый разъ, когда условливались сойтись. Этими же словами отвѣчали они въ одно воскресенье на приглашеніе, сдѣланное имъ Фанни, отправиться вмѣстѣ позавтракать въ лѣсу.

— Нѣтъ, сегодня мы ссориться не будемъ... погода такая чудесная!..—И она побѣжала одѣвать мальчика, укладывать корзины.

Все было готово, и собирались уже двинуться въ путь, когда явился почтальонъ съ денежнымъ пакетомъ. Это задержало Госсена, и онъ нагналъ компанію уже на опушкѣ лѣса.

— Письмо отъ дяди,—шепнулъ онъ Фанни.—Онъ въ восторгѣ... урожай великолѣпный, удалось продать его на корню... Онъ высылаетъ восемь тысячъ франковъ, которые ты заняла для него у Дешлетта; письмо преисполнено выраженій благодарности и признательности племянницѣ.

— Да, племянницѣ... на гасконскій манеръ... старый дурень!.. отвѣчала Фанни, у которой не было иллюзій относительно дядей съ юга. Затѣмъ она весело прибавила:—Надо будетъ эти деньги пристроить...

Жанъ съ удивленіемъ взглянулъ на нее. Она имѣла обыкновеніе относиться съ большой щепетильностью къ денежнымъ дѣламъ.

— Какъ пристроить? Да вѣдь это не твои деньги.

— Да, я и забыла тебѣ сказать...

Она покраснѣла, что съ нею случалось всякій разъ, когда слова шли въ разладъ съ истиной, и продолжала:

— Добрякъ Дешлеттъ, узнавъ, что мы такъ много дѣлаемъ для Жозафа, писалъ мнѣ, что мы можемъ употребить эти деньги на его воспитаніе. Впрочемъ, если ты хочешь, можно ему отдать... Онъ теперь въ Парижѣ...

Въ эту минуту супруги Геттема, скромно ушедшіе впередъ, закричали изъ-за деревъ:

— Направо или налево?

— Направо, направо... къ прудамъ! закричала Фанни, и затѣмъ, обращаясь къ своему любовнику, продолжала:

— Надѣюсь, ты не станешь опять грызться изъ-за вздора... Какого чорта! вѣдь ужъ мы давно съ тобой живемъ...

Она хорошо знала, что значила эта блѣдность ея дрожавшихъ губъ, этотъ взглядъ на мальчика, вопросительно озиравшій его

съ головы до ногъ. Но на этотъ разъ дѣло ограничилось только безсильной ревнивой досадой. Онъ доходилъ уже до того, что подавлялъ свои привычныя чувства, уступалъ ради сохраненія спокойствія. Да и къ чему мучиться, доходить до корня вещей? Если этотъ ребенокъ дѣйствительно ея, то весьма естественно, что, взявъ его къ себѣ, она скрываетъ отъ меня истину, послѣ всѣхъ сценъ и допросовъ съ моей стороны!.. Не лучше ли просто примириться съ тѣмъ, что есть, и прожить спокойно тѣ немногіе мѣсяцы, какіе намъ еще остались пробыть вмѣстѣ!

И онъ шелъ по кочковатымъ дорожкамъ лѣса, неся завтракъ въ тяжелой корзинкѣ, прикрытой салфеткой, сгибая спину съ видомъ покорнымъ и нѣсколько утомленнымъ, точно старый садовникъ, тогда какъ впереди шли мать и съ ней рядомъ ребенокъ. Жозафъ былъ наряженъ и неловокъ въ костюмъ, который мѣшалъ ему свободно бѣгать. Она была въ свѣтломъ пеньюарѣ; голова и шея, ничѣмъ не покрытыя, были защищены отъ солнца японскимъ зонтикомъ; талія ея нѣсколько пополнѣла, походка стала тяжелѣе, а въ прекрасныхъ волосахъ, заплетенныхъ косичками, уже проглядывала бѣлая прядь, которую она, впрочемъ, не старалась скрывать.

Впереди ихъ, на склонѣ аллеи, виднѣлась чета Геттема, въ гигантскихъ соломенныхъ шляпахъ, на подобіе тѣхъ, какія носятъ всадники у туареговъ. Мужъ, въ костюмѣ изъ красной фланели, шелъ нагруженный разной провизіей, принадлежностями рыбной ловли, удочками, корзинами для ловли раковъ, а жена, чтобы нѣсколько облегчить ношу мужа, бодро перекинула черезъ плечо ремень, на которомъ висѣлъ охотничій рогъ, безъ котораго лѣсная прогулка была немислима для чертежника. Двигаясь рядкомъ, шедшая впереди чета напѣвала:

*J'aime entendre la rame
Le soir battre les flots;
J'aime le cerf qui brame...*

Репертуаръ Олимпіи былъ неистощимъ по части подобныхъ уличныхъ сентиментальностей; если вообразить себѣ, гдѣ она ихъ подобрала, въ какомъ позорномъ полумракѣ задернутыхъ гардинъ, сколькимъ мужчинамъ она ихъ распѣвала, то ясное спокойствіе мужа, подпѣвавшаго ей, получало видъ необычнаго величія. Только слова гренадера при Ватерлоо „*Ils sont trop...*“ могли бы вполне охарактеризовать философское равнодушіе этого человѣка.

Межъ тѣмъ какъ Госсенъ задумчиво глядѣлъ на колоссальную парочку, уходившую все глубже въ лощину съ пригорка, куда и онъ спускался вслѣдъ за ними, по аллеѣ послышался скрипъ колесъ, сопровождаемый веселымъ хохотомъ и дѣтскимъ крикомъ.

Вдругъ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него, показалась англійская телѣжка съ запряженнымъ въ нее ослѣмъ, нагруженная маленькими дѣвочками съ развѣвающимися волосами и лентами. Молодая дѣвушка, нѣсколько постарше другихъ, вела осли за поводъ по трудной для проѣзда дорогѣ.

Имъ не трудно было замѣтить, что Жанъ принадлежитъ къ одной компаніи съ шедшими впереди его; видъ ихъ однородныхъ фигуръ, а въ особенности толстой дамы въ большой шляпѣ, съ перекинутымъ черезъ плечо охотничьимъ рогомъ, возбудили немолчавшую веселость дѣвочекъ. Дѣвочка постарше пыталась заставить своихъ товарокъ замолкнуть хотя на минуту. Но его новая туарегская шляпа возбудила еще болѣе ихъ веселый хохоть, и при ихъ проѣздѣ мимо Жана, который посторонился, чтобы пропустить повозочку, миловидная улыбка, нѣсколько смущенная, послужила ему извиненіемъ за всѣхъ, и улыбувшаяся наивно удивилась, видя «старого садовника» такимъ красивымъ и такимъ изящнымъ.

Онъ застѣнчиво поклонился, покраснѣлъ, самъ не зная, почему; между тѣмъ повозка остановилась на вершинѣ пригорка, гдѣ скрещивались дороги, и послышался лепетъ дѣтскихъ голосковъ, читавшихъ полустертые дождемъ надписи на дорожномъ столбѣ: *„Дорога къ прудамъ; Дубъ главною ловчаю; Обратъ отъ дождювенія; Дорога въ Велизи“*... Наконецъ, Жанъ замѣтилъ, какъ въ зеленой аллеѣ, залитой солнцемъ и устланной мхомъ, исчезла изъ виду эта шумливая бѣлокурая молодежь, повозка, полная счастливыми весенними личиками, раскраснѣвшимися отъ весенняго заразительнаго смѣха. Мечтанье его вдругъ было нарушено трубнымъ звукомъ взбѣшенной мадамъ Геттема. Они расположились на берегу и выкладывали провизію. Издали уже видна была отражаемая въ водѣ, разостланная на травѣ бѣлая скатерть, и красныя фланелевыя одежды которыя мелькали среди зелени, точно костюмы охотниковъ.

— Ступайте же скорѣе... гомарь-то вѣдь у васъ! — кричалъ толстякъ.

Фанни своимъ нервнымъ голосомъ прибавила:

— Это маленькая Бушро задержала тебя по дорогѣ?..

Жанъ вздрогнулъ при имени доктора Бушро; оно напомнило ему Кастеле и больную мать.

— Да, да, — говорилъ чертъ-женикъ, взявъ у него изъ рукъ корзину съ гомаромъ, — та, что побольше, что вела осли за поводъ, эта племянница доктора... дочь одного изъ его братьевъ; онъ пріютилъ ее у себя, и они живутъ лѣтомъ въ Велизи... Она хорошенькая...

— Ну ужъ хорошенка!—Наглая, и только...

И Фанни, нарѣзывая хлѣбъ, внимательно слѣдила за любовникомъ; ее ужъ беспокоилъ его разсѣянный взоръ.

Мадамъ Геттема, серьезная до нельзя, вынимая ветчину, весьма порицала такую манеру позволять молодымъ дѣвицамъ такъ свободно гулять по лѣсамъ...

— Вы скажете, что это англійская манера, и что эта самая дѣвушка воспитывалась въ Лондонѣ... но все равно, это неприлично...

— Конечно, за то удобно, когда ищешь приключеній...

— О, Фанни!...

— Извините, я и забыла... *Monsieur* еще вѣрить въ невинность...

— А не-пора ли завтракать? замѣтилъ Геттема, уже начавшій беспокоиться.

Но Фанни надо было выложить все, что знала она о свѣтскихъ дѣвушкахъ. А у ней по этой части былъ большой запасъ разныхъ милыхъ исторій...—Монастыри, пансіоны... вотъ гдѣ чистота-то!... Оттуда онѣ выходили надломленными, разбитыми, съ отвращеніемъ къ мужинѣ, даже не способны были производить потомство... И затѣмъ ихъ предлагаютъ вамъ, олухи! Простушка! Точно будто и бывають простушки! Свѣтскія онѣ или нѣтъ, а всѣ дѣвицы знаютъ, на чемъ свѣтъ вертится... Мнѣ въ двѣнадцать лѣтъ нечему было учиться... Вамъ тоже, не правда ли, Олимпія?

— Конечно, сказала мадамъ Геттема, пожавъ плечами; но ее занимала только участь завтрака, когда она увидѣла, что и Госсенъ начинаетъ горячиться, доказывая, что дѣвушка дѣвушкѣ рознь, что въ семьѣ...

— Да, въ семьѣ... тоже хорошая вещь ваша семья! — прерзительно перебила его любовница;—а въ особенности твоя...

— Замолчи... я тебѣ запрещаю...

— Невѣжа!..

— Тварь!.. Къ счастью, этому скоро будетъ конецъ. Ужъ не долго мнѣ жить съ тобою.

— Хоть сейчасъ... проваливай... ужъ я-то очень буду рада...

И они продолжали браниться безъ удержа; мальчижъ, растянувшись на травѣ, внимательно прислушивался къ брани. Вдругъ громкій звукъ трубы, вызвавшій звучное эхо въ лѣсной чащѣ, покрылъ ихъ ссору.

— Мало вамъ? еще хотите? кричалъ раскраснѣвшись и съ раздувшеюся отъ напряженія шеи толстой Геттема, не найдя иного способа заставить ихъ замолчать, и стоялъ предъ ними съ угрозой во взорѣ, приставивъ къ губамъ свой охотничій рогъ....

IX.

Обыкновенно они дулись другъ на друга недолго, размовки ихъ таяли подъ дѣйствиємъ нѣкоторой дозы музыки, льстиво-лукавыхъ изліяній Фанни; но на этотъ разъ онъ разсердился на нее серьезно, и нѣсколько дней сряду одна и таже складка молчаливаго неудовольствія не сходила съ его лба; тотчасъ послѣ обѣда онъ садился за чертежи, отказываясь даже отъ прогулокъ вдвоемъ.

Это явилось вдругъ, точно какимъ-то стыдомъ за уничтоженіе въ какомъ онъ жилъ, какой-то боязнью этой новой встрѣчи въ аллеѣ въ маленькой повозкой, боязнью этой свѣтлой улыбки молодой дѣвушки, о которой онъ думалъ постоянно. Впослѣдствіи, подобно путаницѣ разсѣявашагося сновидѣнія, подобно отодвинувшейся декорации фееріи, призракъ сталъ смутнымъ и исчезъ въ лѣсной дали, и Жанъ не видалъ его болѣе. Только на сердцѣ осталась у него какая-то грусть, причину которой Фанни какъ бы узнала, и ей захотѣлось провѣрить себя. Разъ какъ-то она обратилась къ Жану и веселымъ тономъ сказала;

— Дѣло сдѣлано... я видѣла Дешлетта... я отдала ему деньги... Онъ раздѣляетъ твое мѣнѣе, что это гораздо приличнѣе, а я все-таки не знаю, почему... Но дѣло сдѣлано... Впослѣдствіи, когда я останусь одна, онъ позаботится о мальчикѣ... Ты доволенъ... или еще сердиться на меня?..

И она рассказала ему подробно о своемъ визитѣ въ rue de Rome, о томъ, какъ поразило ее, что вмѣсто шумнаго и бурливаго каравансарая, гдѣ сновали разнузданныя компаніи, она нашла мирный буржуазный домъ, куда попасть очень трудно. Ни празднествъ, ни маскаратовъ уже не было тутъ. Объясненіе этой перемены она нашла въ надписи, сдѣланной на входной двери въ мастерскую мѣломъ, рукой какого нибудь паразита, не допущеннаго въ святилище и разобидѣвшагося, начертано было: «закрыто по причинѣ случки».

— И это правда, мой милый... Дешлеттъ, тотчасъ до пріѣзда, влюбился въ одну изъ прелестницъ скатинга—Алису Доре. Онъ взялъ ее къ себѣ и живетъ вотъ уже мѣсяцъ совершенно семейною жизнью... Хорошенькая женщина, мягкая, добренькая, словно красивый барашекъ... Шума у нихъ не слышать никакого... Я общалась, что мы навѣстимъ ихъ... Это немного развлечетъ насъ послѣ звуковъ охотничьяго рога и баркароль... Какъ бы то ни было, вотъ тебѣ философъ съ его теоріями... Ужъ и насмѣялась же я надъ нимъ!

Жанъ согласился побывать у Дешлетта. Онъ не видалъ его со времени ихъ послѣдней встрѣчи у церкви Магдалины. Въ то

время, если бы ему сказали, что онъ безъ отвращенія станетъ навѣщать этого циничнаго и мерзостнаго любовника Фанни и даже сдѣлается чуть не другомъ его, онъ бы, конечно, крайне удивился. Но теперь, послѣ перваго посѣщенія въ rue de Rome, онъ къ немалому изумленію чувствовалъ себя тамъ, какъ дома; его очаровала мягкость этого господина, ребяческой смѣхъ его сквозь густую бороду, вѣчно свѣтлое настроеніе, которое не нарушалось даже жестокими припадками болѣзни печени, придававшими оловянный оттѣнокъ его лицу и орбитамъ глазъ

И какъ понятно было нѣжное чувство, которое онъ внушилъ Алисѣ Доре, женщинѣ съ длинными, мягкими и бѣлыми руками, красивой, но лишенной характерности блондинкѣ, съ чисто фламандскимъ тѣломъ, такимъ же золотистымъ, какъ ея имя; золотистость эта была и въ волосахъ, и въ зрачкахъ, и въ рѣсницахъ, пробивалась даже въ кожѣ, вплоть до ногтей.

Подобранная Дешлеттомъ на асфальтѣ скатинга, среди грубостей, рѣзкостей въ обращеніи, среди столбовъ дыма, попадавшего вмѣстѣ съ деньгами ей въ лице, она была поражена и даже тронута вѣжливостью этого кавалера, она снова почувствовала себя женщиной, а не жалкимъ животнымъ для людской прихоти, какой была до сихъ поръ, и на другое утро, когда онъ, вѣрный своему принципу, хотѣлъ отпустить ее послѣ плотнаго завтрака, наградивъ нѣсколькими луйдорами, она такъ нѣжно, такъ боязливо сказала ему: «оставь меня еще», что у него не хватило мужества отказать ей. Съ того дня, отчасти вслѣдствіе утомленія, а частію изъ уваженія къ человѣческой личности, онъ держалъ свои двери на запорѣ, скрывая случайный медовой мѣсяцъ, проводя его въ свѣжемъ и мирномъ воздухѣ своего лѣтняго отеля, столь удобно обставленнаго для комфорта. Они жили тутъ въ полнѣйшемъ довольствѣ: она—окруженная такими нѣжными заботами, какихъ никогда еще не испытала, онъ—тронутый тѣмъ счастьемъ, которое доставлялъ этому бѣдному существу, и наивною его признательностью, поддаваясь впервые, самъ того не сознавая, проникающей прелести интимной близости съ женщиной, таинственному волшебству жизни вдвоемъ, при взаимности доброты и нѣжности.

Для Госсена посѣщеніе мастерской въ rue de Rome было диверсіей отъ той низменной жалкой среды, гдѣ вращалась его quasi-семейная жизнь мелкаго чиновника. Онъ любилъ бесѣду съ этимъ ученымъ, обладавшимъ артистическимъ вкусомъ, философомъ въ персидской одеждѣ, легкой и на распашку, какъ его доктрины; любилъ слушать его рассказы о путешествіяхъ; Дешлеттъ передавалъ ихъ въ самой сжатой формѣ, и они какъ нельзя

болѣе были у мѣста среди восточныхъ ковровъ, позолоченныхъ изображеній Будды, бронзовыхъ химеръ, экзотической роскоши этой обширной галереи, куда свѣтъ проникалъ сквозь высокую стеклянную раму, и притомъ свѣтъ, шедшій словно изъ глубины парка, прорѣзаемый тощею листвою бамбуковыхъ деревъ, рѣзными листьями рослаго папоротника и громадными стрелиціями въ перемежку съ филодендронами, гибкими какъ водяныя растенія, вѣчно жаждущими тѣни и влажности.

По воскресеньямъ въ особенности широкой видъ на пустынную улицу лѣтняго Парижа, вмѣстѣ съ дрожаніемъ листвы и запахомъ свѣжей земли у подножія растеній, напоминали собою деревню и опушку лѣса почти столько же, какъ и въ Шавиллѣ, но за то безъ грязи и трубныхъ звуковъ Геттема. Гостей никогда никого не бывало. Только разъ Госсенъ и его любовница, пріѣхавъ къ самому обѣду, услышали, при входѣ, оживленный разговоръ нѣсколькихъ голосовъ. День уже склонялся къ вечеру; пили ракі въ оранжереѣ, и бесѣда казалась весьма оживленною.

— И по моему мнѣнію, пять лѣтъ въ Мазасѣ, потерянное имя и разбитая жизнь—наказаніе уже весьма достаточное за порывъ страсти и безумнаго увлеченія... Я подпишу ваше прошеніе, Дешлеттъ.

— Это Каудаль... тихо сказала Фанни, вздрогнувъ.

Кто-то сухо отвѣчалъ отказомъ.

— Я ничего не подпишу, не желаю имѣть ничего общаго съ этимъ негодяемъ...

— А это Ла Гурнери...

И Фанни, прижавшись къ своему любовнику, шептала ему:

— Уйдемъ, если тебѣ непріятно ихъ видѣть.

— Отчего же? Совсѣмъ не непріятно...

Въ дѣйствительности, онъ и не давалъ себѣ хорошенько отчета въ томъ впечатлѣніи, какое произведетъ на него встрѣча съ этими людьми, но онъ только не хотѣлъ отступить передъ испытаніемъ, быть можетъ, желая даже убѣдиться, въ какой степени сильно теперь то чувство ревности, изъ котораго зародилась его злополучная любовь.

— Ну, такъ пойдемъ, сказалъ онъ.

И они вступили въ розоватый свѣтъ наступающихъ сумерекъ, освѣщавшій плѣшивые черепа и сѣдѣющія бороды друзей Дешлетта, развалившихся на низенькихъ диванахъ вокругъ вывезеннаго съ Востока стола, въ видѣ большого табурета, гдѣ въ пятишести стаканахъ плескалась анисовая молочная жидкость, разливавшаяся рукой Алисы.

Женщины поцѣловались.

— Госсенъ, вѣдь вы знакомы съ этими господами? спросилъ Дешлеттъ, продолжая покачиваться на своемъ креслѣ-качалкѣ.

Знакомъ ли онъ съ ними?.. Двоихъ по крайней мѣрѣ Госсенъ зналъ хорошо; не разъ глядѣлъ онъ по цѣлымъ часамъ на портреты ихъ въ витринахъ съ знаменитостями. Сколько онъ изъ-за нихъ выстрадалъ, какую питалъ къ нимъ ненависть, непреодолимую ненависть, злобу, доходящую до желанія броситься на нихъ, изгрызть имъ лица, когда они встрѣчались на улицѣ!.. Но Фанни недаромъ говорила, что все это пройдетъ; теперь они были для него не болѣе, какъ знакомыя лица, почти родныя, точно какіе-то родственники, опять вернушіеся издалека.

— Все такой же красавчикъ! замѣтилъ Каудаль, растянувшись во всю длину своего огромнаго роста и держа экранъ надъ глазами, чтобы защитить ихъ отъ блеска стеклянной крыши.

— А Фанни? Посмотримъ...

Онъ приподнялся на локтѣ, прищурился еъ видомъ знатока.

— Лице еще ничего... ну, а талія — хорошо, что ты крѣпко зашнурована... Впрочемъ утѣшься, моя милая, Ла Гурнери еще полѣе тебя.

Поэтъ презрительно стиснулъ свои тонкія губы. Разсѣвшись по-турецки на цѣлой колоннѣ изъ подушекъ — со времени своей поѣздки въ Алжиръ онъ утверждалъ, что иначе сидѣть не въ состояніи — тучный, разплывшійся, сохранившій разумаго лишь здоровенный лобъ подъ густыми бѣлыми волосами, да жесткій взглядъ, какъ у торговца неграми — онъ относился къ Фанни съ свѣтской сдержанностью и вѣжливостью, нѣсколько утрированной, какъ бы желая дать этимъ урокъ Каудалю.

Тутъ были еще два пейзажиста, съ лицами загорѣлыми и деревенскими. Они тоже близко знали любовницу Жана; младшій изъ нихъ, пожимая ей руку, замѣтилъ:

— Дешлеттъ рассказалъ намъ про исторію съ ребенкомъ; вы поступили въ этомъ отношеніи прекрасно, моя милая.

— Да, — замѣтилъ Каудаль, обращаясь къ Госсену, — да, усновленіе — вещь шикарная... Совсѣмъ не по провинціальному.

Ее какъ будто стѣсняли эти похвалы. Вдругъ застучала мебель въ темномъ углу мастерской и послышался голосъ:

— Никого нѣтъ?

— Вотъ и Эзано, сказалъ Дешлеттъ.

Жану ни разу еще не случалось видѣть его, но онъ помнилъ о пакѣ его писемъ, страстныхъ и увлекательныхъ, и зналъ, какую роль въ жизни Фанни Легранъ игралъ этотъ фантазеръ-богема, теперь уже женатый, ставшій человѣкомъ положитель-

нымъ и занимавшій мѣсто начальника отдѣленія въ министерствѣ изящныхъ искусствъ. Появился маленький человѣкъ, весь точно изрытый, высохшій, съ вытянутой походкой; онъ подавалъ руку издали, какъ бы держа всѣхъ въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ себя, по привычкѣ къ эстрадѣ, къ административной представительности. Онъ, повидимому, удивился, встрѣтась съ Фанни, и притомъ еще красивой послѣ столькихъ лѣтъ.

— Ва! Сафо! произнесъ онъ, и легкая краска пробѣжала по его щекамъ.

Это имя Сафо, напоминавшее ея прошлое, сближавшее ее со всѣми ея прежними поклонниками, всѣхъ нѣсколько стѣснило.

— Это д'Арманди привелъ ее къ намъ, живо перебилъ Дешлеттъ, спѣша предупредить новую выходку. Эзано поклонился. Принялись болтать. Фанни, видя, что Жанъ смотритъ на все спокойно, и гордясь имъ, его красотой и молодостью, въ особенности предъ артистами-знатоками, развеселилась и была какъ-то особенно въ духѣ. Она всецѣло поглощена была своею страстью настоящаго времени и едва помнила о прежнихъ связяхъ со всѣми этими господами; однако, цѣлые годы сожителства, жизни сообща, оставляютъ слѣды и на привычкахъ, и на склонностяхъ, приобретенныхъ отъ постоянного соприкосновенія и переживающихъ эти связи, такъ, напримѣръ, манеру скручивать папиросы она переняла отъ Эзано, вмѣстѣ съ предпочтеніемъ къ папиросной бумагѣ фирмы Жобъ и къ мариланду.

Жанъ безъ малѣйшаго смущенія констатировалъ эту мелкую подробность, которая когда-то способна была бы привести его въ отчаяніе. Сознавая себя настолько спокойнымъ, онъ чувствовалъ такое же удовольствіе, какъ плѣнникъ, которому удалось подпилить свои цѣпи и который знаетъ, что ему будетъ достаточно малѣйшаго усилія для бѣгства.

— А что, моя бѣдная Фанни,—говорилъ Каудаль насмѣшливымъ тономъ, указывая на другихъ; — какая ветошь!.. вотъ старичье-то!.. Только мы съ тобой еще держимся.

Фанни засмѣялась.

— Ну, извините, полковникъ (такъ звали иногда Каудала за его большіе усы),—замѣтила она,—это не совсѣмъ одно и то же. Я другого выпуска.

— Каудаль вѣчно забываетъ, что онъ принадлежитъ къ праотцамъ, замѣтилъ Ла Гурнери.

И замѣтивъ движеніе скульптора, котораго онъ всегда умѣлъ задѣть за живое, онъ крикнулъ своимъ пронзительнымъ голосомъ:

— У тебя медаль 1840 года; это, братъ, документикъ.

Въ обращеніи этихъ двухъ старинныхъ пріятелей всегда оста-

вались нѣсколько задираемый тонъ, какая-то глухая антипатія, никогда не разрывавшая ихъ близости, но сказывавшаяся и во взглядахъ, и въ словахъ, и такъ шло уже лѣтъ двадцать, съ того самаго дня, какъ поэтъ сманилъ любовницу у скульптора. Оба уже не заботились болѣе о Фанни, оба уже увлекались другими, узнали инныя неудачи, но злопамятство все-таки оставалось, съ годами все глубже пуская корни.

— Посмотрите-ка на насъ обоихъ, да и скажите, положи руку на сердце, кто изъ насъ похожъ на праотца?..

И застегнувши сюртукъ, который вполне обрисовывалъ его мускулы, Каудаль присанился, выставилъ грудь впередъ, потряхивая своей рыжеватой гривой, въ которой не было замѣтно ни единого сѣдого волоска.

— Медаль 1840 года... черезъ три мѣсяца мнѣ стукнетъ пятьдесятъ восемь лѣтъ... Ну, и что же изъ этого... развѣ лѣта дѣлають стариками?.. Только во французской комедіи, да въ консерваторіи бывають мужчины въ шестьдесятъ лѣтъ, которые трясутъ головой, еле-еле передвигаютъ разслабленныя ноги, согнувъ спину, съ разными старческими припадками. Въ шестьдесятъ лѣтъ—чортъ побери!—ходишь прямѣе, чѣмъ въ тридцать, потому что болѣе слѣдишь за собой; да и женщины еще могутъ вамъ довѣриться, лишь бы сердце сохраняло молодость и согрѣвало, и выпрямляло весь остовъ.

— Ты полагаешь? прервалъ Ла Гурнери, глядя съ ироніей на Фанни.

И Дешлеттъ, съ добродушной улыбкой, прибавилъ:

— Однако жъ, ты самъ вѣчно твердишь, что первое дѣло молодость; ты постоянно на это напиралъ...

— Моя маленькая Кузинарь заставила меня переѣхать мнѣніе... Кузинарь моя новая натурщица... Восемнадцать лѣтъ, вся кругленькая въ ямочкахъ... Притомъ такая простая, съ парижскаго рынка, гдѣ ея мать торгуетъ дичью... У нея вырываются иногда слова до того глупенькія, что такъ и хочешь ее расцѣловать... Такія слова... На дняхъ, въ мастерской нашла она романъ Дежуа, поглядѣла на заглавіе «Thérèse» и отбросила его въ сторону, надувъ губки. «Если бы это было *Бѣдная Тереза*, я бы читала цѣлую ночь»... Я вамъ говорю, я просто отъ нея безъ ума.

— Ты тоже, значить, по семейному?.. А черезъ шесть мѣсяцевъ опять разрывъ, полюбятъ ручьемъ слезы, явится отвращеніе къ работѣ, неукротимый гнѣвъ, готовность убить перваго встрѣчнаго.

Каудаль нахмурился.

— Да, правда, ничто не вѣчно подъ луной... Люди сходятся и расходятся...

— Такъ для чего же сходиться?

— А самъ-то ты? Ужъ не воображаешь ли ты себѣ, что по гробъ жизни проживешь со своей фламандкой?

— Ну, мы живемъ не по семейному... Не правда ли, Алиса?

— Конечно, отвѣтила нѣжно и разсѣянно молодая женщина, влѣзшая на стулъ, чтобы нарвать глициній и зелени для букета къ столу.

Дешлеттъ продолжалъ:

— Разрыва между нами не будетъ, а развѣ такъ попросту разойдемся... Мы условились провести вмѣстѣ два мѣсяца. Когда наступитъ послѣдній день срока, мы разстанемся безъ отчаянiя и безъ неожиданностей... Я вернусь въ Испанянь—я уже и мѣсто занялъ впередъ для проѣзда въ спальномъ вагонѣ, а Алиса вернется въ свою квартиру, въ улицу Лабрюэръ; квартира и теперь считается за нею.

— Въ пятомъ этажѣ всѣ удобства, чтобы броситься изъ окна.

Говоря это, молодая женщина улыбалась, свѣтлая, золотистая въ полусвѣтѣ наступавшихъ сумерекъ, съ большой охапкой цвѣтовъ въ рукѣ; но тонъ сказанныхъ ею словъ былъ до того серьезень и глубокъ, что никто не отвѣтилъ ей ни слова. Вѣтеръ свѣжѣлъ; дома на другой сторонѣ казались какъ будто выше.

— Сядемъ-ка лучше за столъ,—воскликнулъ «полковникъ»— и поговоримъ о веселыхъ предметахъ!

— Да, *gaudeamus igitur*... будемъ веселиться, пока молоды... неправда ли Каудаль? сказала Ла Гурнери со смѣхомъ, звучащимъ фальшивой ноткой.

Нѣсколько дней спустя, Жанъ снова проходилъ по rue de Rome. Мастерская была заперта; большая холщевая стора спущена; сверху до низу царствовала мертвая тишина. Значить, Дешлеттъ уѣхалъ въ опредѣленный заранѣе день; срокъ договора истекъ. И думалось ему: «Хорошо тому, кто можетъ поступать согласно своему желанiю, управлять и разумомъ, и сердцемъ... Хватитъ ли у меня когда нибудь настолько же мужества?»..

Чья-то рука очутилась на его плечѣ.

— Здорово, Госсенъ!

Дешлеттъ, видимо утомленный, желтѣе и пасмурнѣе, чѣмъ прежде, объявилъ ему, что онъ еще не уѣзжаетъ, задержавшись въ Парижѣ по нѣкоторымъ дѣламъ, и что онъ живетъ въ Grand Hôtel; мастерская опротивѣла ему послѣ этой ужасной исторiи...

— Какой исторiя?

— Да, вѣдь вы и не знаете... Алиса умерла... Она убила... Постоите, я только посмотрю, нѣтъ ли ко мнѣ писемъ...

*

Онъ почти тотчасъ же вернулся и, нервнымъ движеніемъ пальцевъ срывая бандероли полученныхъ газетъ, говорилъ глухимъ голосомъ, точно въ сомнамбулизмѣ, вовсе не глядя на Госсена, который шелъ съ нимъ рядомъ.

— Да, убила, выбросила изъ окна, какъ говорила въ тотъ вечеръ, когда вы въ послѣдній разъ были у меня... Что же дѣлать?... я не зналъ, да не могъ и подозрѣвать... Въ тотъ самый день, какъ я собрался ѣхать, она сказала мнѣ самымъ спокойнымъ голосомъ: «Возьми меня съ собой, Дешлеттъ... не оставляй меня одну, безъ тебя я не могу жить...» Это только смѣшило меня... Да и представьте себѣ меня въ обществѣ женщины, тамъ у этихъ курдовъ... степь, лихорадка, ночи на бивуакѣ... За обѣдомъ она повторяла тоже самое: «Я тебя не стѣсню, увидишь, какая я буду милая...» Затѣмъ, увидавъ, что ея настойчивость мнѣ неприятна, она перестала говорить... Вечеромъ мы отправились въ театръ «Variétés», въ бенуаръ... Это было условлено заранѣе... Она казалась довольною, все время держала мою руку и шептала: «Какъ мнѣ хорошо!...» Такъ какъ я долженъ былъ ѣхать въ ночь, то и отвезъ ее къ ней на квартиру въ каретѣ... Всю дорогу мы оба были грустны, не говорили ни слова. Она даже не поблагодарила меня за конвертикъ, который я сунулъ ей въ карманъ, на что можно было спокойно прожить годъ или два. Когда мы пріѣхали въ улицу Лабрюэръ, она попросила меня подняться къ ней. Я не хотѣлъ, «Ну, прошу тебя, только до двери.» Но тутъ, дойдя до двери, я не поддался и не вошелъ. Билетъ у меня былъ взятъ заранѣе, вещи уложены, и притомъ я уже говорилъ не разъ, что долженъ ѣхать... Спускаясь съ лѣстницы, съ грустнымъ чувствомъ, я слышалъ, что она мнѣ кричала что-то въ родѣ: «а я перегоню тебя...» Но я понялъ эти слова, только выйдя на улицу... Охъ!...

Онъ остановился, опутивъ глаза внизъ; тротуаръ напоминалъ ему теперь на каждомъ шагу то страшное зрѣлище, котораго онъ былъ свидѣтелемъ... эту неподвижную и темную массу, хрипѣвшую въ агоніи.

— Она умерла два часа спустя, не произнеся ни слова, ни жалобы, не спуская съ меня своихъ золотистыхъ зрачковъ... Страдала ли она? Узнала ли меня? Мы уложили ее на кровать, одѣли, окутавъ одну сторону головы большою кружевною мантилей, чтобы прикрыть рану на черепѣ. Очень блѣдная, съ кровью на вискѣ, она была еще такая красивая, такая нѣжная... Но когда я наклонялся, чтобы вытереть эту постоянно возобновляющуюся каплю крови, взоръ ея, какъ мнѣ казалось, выражалъ негодованіе и ужась... Бѣдная дѣвочка какъ будто бросала

мнѣ въ лице нѣмое проклятіе... Да и дѣйствительно, что бы мнѣ стоило остаться съ нею еще нѣсколько времени, даже взять съ собою ее... готовую на все, такую нетребовательную! Такъ нѣтъ же... Гордость, упрямство въ данномъ словѣ. И такъ, я не уступилъ, а она умерла... умерла изъ-за меня, который все таки любилъ ее.

Онъ горячился все болѣе и болѣе, говорилъ все громче и громче, къ удивленію прохожихъ, съ которыми онъ сталкивался, идя по rue d'Amsterdam; Госсенъ, проходя мимо своего прежняго жилища, которое онъ узналъ по балкону, по верандѣ, вспомнилъ о Фанни и началъ ихъ связи, и его невольно брала дрожь, между тѣмъ какъ Дешлеттъ продолжалъ:

— Я отвезъ ее въ Монпарнасъ, безъ друзей и родныхъ ея; я хотѣлъ одинъ позаботиться о ней. И вотъ съ тѣхъ поръ я остался въ Парижѣ, думая только о ней, не имѣя силъ уѣхать съ такою гнетущею мыслью... и бѣгая отъ моего дома, гдѣ я такъ счастливо провелъ съ нею два мѣсяца... Я живу на улицѣ, рыскаю, пробую разсѣяться, убѣжать отъ этого мертвеннаго взора, который сквозь струящуюся кровь какъ будто читаетъ мнѣ приговоръ.—И, остановившись на этомъ угрызеніи совѣсти, съ двумя крупными слезами, скользнувшими по его короткому носу, обличавшему добродушіе и любовь къ жизни, онъ добавилъ:— Ну, согласитесь, другъ мой, что я вѣдь вовсе не злой... и однако же, я поступилъ тутъ немножко жестоко...

Жанъ пытался утѣшить его, приписывая все случайности, несчастной судьбѣ; но Дешлеттъ твердилъ, покачивая головой и стискивая зубы:

— Нѣтъ, нѣтъ... никогда я не прощу себѣ этого... мнѣ хотѣлось бы наказать себя...

Это желаніе искупить свою вину не покидало его; онъ только и говорилъ объ этомъ своимъ пріятелямъ, повторилъ и Госсену, встрѣтившись съ нимъ, при выходѣ его со службы.

«Уѣзжайте, Дешлеттъ!.. Путешествуйте, это развлечетъ васъ», твердили ему Каудаль и другіе; ихъ начинала беспокоить его неотступная мысль, эта настойчивость, съ какою онъ то и дѣло увѣрялъ, что онъ не злой человѣкъ. Наконецъ, однажды вечеромъ—хотѣлъ ли онъ еще разъ взглянуть передъ отъѣздомъ на свою мастерскую, или его привела туда твердая рѣшимость покончить со своею тоской,—онъ зашелъ къ себѣ, и утромъ мастеровые изъ предмѣстья, идя на работу, нашли его съ раздробленнымъ черепомъ на тротуарѣ, передъ самою входною дверью, умершимъ также, какъ и та женщина, съ той же жаждой смерти, съ тѣмъ же взрывомъ отчаянія...

Въ полусвѣтѣ мастерской тѣснилась толпа художниковъ, на-турщицъ, актрисъ, любителей танцевъ и ужиновъ, ночныхъ и дневныхъ кутежей. Это былъ гуль толкотни и шушуканья, на подобіе суетни въ часовнѣ, при блѣдномъ пламени свѣчь. Сквозь лианы и зелень былъ видѣнъ трупъ, положенный на шелковой матеріи съ вышитыми по ней золотыми цвѣтами; онъ лежалъ съ чалмой на головѣ, для прикрытія страшной раны, вытянувшись съ выставленными впередъ бѣлыми руками, какъ бы въ знакъ безповоротной рѣшимости принять послѣднее отпущеніе, лежалъ на низенькомъ диванѣ, подъ тѣнью глициній, тамъ гдѣ Госсенъ и его любовница когда-то познакомились ночью на балу.

X.

И такъ, иногда, умирають отъ этихъ разрывовъ!.. Теперь, когда приходилось ссориться съ Фанни, Жанъ не смѣлъ уже болѣе говорить о своемъ отъѣздѣ, не восклицалъ съ отчаяніемъ, какъ бывало прежде:

— Къ счастью, всему этому скоро будетъ конецъ...

Она могла бы только отвѣтить ему: «Хорошо, уѣзжай... а я покончу съ собой... также, какъ та...» И эта угроза, проявлявшаяся, какъ ему казалось, въ меланхоли и ея взгляда, и романсовъ, которые она пѣла, и даже въ задумчивости въ минуты молчанія, смущала его до ужаса.

Онъ между тѣмъ покончилъ съ экзаменомъ, завершающимъ для готовящихся въ консульской должности періодъ службы въ министерствѣ. Какъ выдержавшаго экзаменъ по первому разряду, его должны были назначить на одну изъ первыхъ вакансій. Теперь это уже было дѣломъ нѣсколькихъ недѣль и дней!.. А вокругъ нихъ, съ концомъ солнечнаго сезона, когда дни становятся все короче и короче, все какъ-то поспѣшно готовилось къ зимней пережвѣ. Разъ утромъ Фанни, открывъ окно, сквозь которое проникъ въ комнату первый зимній туманъ, воскликнула:

— А вотъ и ласточки улетѣли!...

Одна за другою мѣстныя дачи запирали свои ставни. По дорогѣ въ Версаль тянулись безъ перерыва возы съ домашними вещами, широкіе деревенскіе omnibusы, нагруженные узлами, съ корзинами комнатныхъ растений на платформахъ; а между тѣмъ послѣдніе листья деревьевъ уносились вихремъ, улетая подъ небеса, точно бѣгущія облака, а на скошенныхъ поляхъ возвышались стоги. Позади фруктоваго сада, гдѣ все уже было обобрано, шалэ были закрыты, и только прачешныя сушильни съ ихъ

красными крышами наполняли тоскливый пейзажъ, да по другую сторону дома обнажившаяся полоса желѣзной дороги тянулась вдоль сѣроватаго лѣса черной, убѣгающей линіей.

Какъ жестоко было бы оставить ее тутъ одну, среди такой печальной обстановки! Онъ сознавалъ заранѣе, что у него на это не хватитъ духа, и никогда бы не хватило мужества сказать послѣднее прости. На это она болѣе всего рассчитывала, ожидая рѣшительной минуты, и покуда еще казалась спокойною, не упоминая ни словомъ объ отъѣздѣ, вѣрная своему обѣщанію не прятствовать разлукѣ, и предусмотрѣнною, и заранѣе рѣшенной.

Разъ онъ вернулся съ такимъ извѣстіемъ:

— Меня назначили...

— А! куда же это?

Она сдѣлала этотъ вопросъ равнодушнымъ тономъ, но губы и глаза ея сразу утратили свой цвѣтъ; по всему лицу пробѣжала такая судорога, что онъ не заставилъ ее болѣе ждать.

— Нѣтъ... нѣтъ еще... я уступилъ свою очередь Гедуэну... У насъ еще впереди по крайней мѣрѣ полгода.

Въ слезахъ, ручьемъ брызнувшихъ изъ глазъ, въ взрывахъ смѣха, въ безумныхъ поцѣлуяхъ, во всемъ этомъ слышалось:

— Благодарю, благодарю!.. Какую славную жизнь я теперь устрою тебѣ... Вотъ, видишь, это-то и дѣлало меня злою — эта мысль объ отъѣздѣ...

Теперь ей легче будетъ приготовиться, примириться исподволь. И притомъ черезъ полгода будетъ уже не осень, да и забудутся эти исторіи со смертями.

Она сдержала слово. Не было болѣе ни нервныхъ раздраженій, ни ссоръ, и даже, во избѣжаніе неприятностей, какія бывали нерѣдко изъ-за ребенка, она согласилась отдать его въ пансіонъ въ Версаль. Мальчикъ приходилъ только по воскресеньямъ, и если эта новая жизнь еще не измѣняла его неподатливой и дикой натуры, то, по крайней мѣрѣ, научала лицемѣрью. Жизнь шла спокойно, обѣды съ Геттемами проходили безъ бурь, фортепьяно снова открылось для любимыхъ мелодій. Но въ сущности Жанъ еще болѣе смущался и тревожился, чѣмъ прежде, постоянно задавая себѣ вопросъ, до чего доведетъ его слабодушіе; иногда ему приходило на мысль отказаться отъ консульской карьеры, остаться на службѣ въ министерствѣ. Это сохранило бы ему Парижъ, и семейный договоръ возстановился бы на неопредѣленное время. Но за то пришлось бы распрощаться навѣки съ мечтами юности и вмѣстѣ съ тѣмъ привести въ отчаяніе всю родню, посориться съ отцомъ, который, конечно, не проститъ ему такой слабости, въ особенности когда узнаетъ настоящую причину ея.

И изъ-за кого же? Изъ-за существа устарѣвшаго, увядшаго, не любимаго болѣе... Онъ это провѣрялъ въ присутствіи ея прежнихъ любовниковъ. Что же за колдовство удерживало его въ этой жизни вдвоемъ?

Какъ-то утромъ, въ исходѣ октября, когда онъ садился въ вагонъ, поднятый на него взглядъ молодой дѣвушки вдругъ напомнилъ ему встрѣчу въ лѣсу, дѣвическую грацію той женщины-ребенка, воспоминаніе о которой преслѣдовало его впродолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Она была въ томъ же свѣтломъ платьѣ, на которое тогда сквозь листву падали мѣстами лучи яркаго солнца, но сверху платья теперь наброшена была большая дорожная тальма. Въ вагонѣ, книги, небольшой мѣшочекъ, пукъ тростника и послѣднихъ цвѣтовъ указывали на возвращеніе въ Парижъ, на окончаніе дачной жизни.

Она также узнала его; полуулыбка скользнула въ ея глазахъ, точно по свѣтлой зыби ключевой воды. Впродолженіе одной секунды они чувствовали, что думаютъ одно и тоже.

«Какъ поживаетъ ваша матушка, мосье д'Арманди?» спросилъ вдругъ старикъ Бушро, котораго Жанъ, въ своемъ ослѣпленіи, и не замѣтилъ было въ углу, наклонившимъ блѣдное лицо и погруженнымъ въ чтеніе. Жанъ сообщилъ послѣднія извѣстія о матери. Его очень тронуло, что вспомнили объ его роднѣ и узнали его. Умиленіе его стало еще сильнѣе, когда молодая дѣвушка спросила о двухъ сестрахъ-близнецахъ, которыя написали доктору преміальное письмо въ благодарность за леченіе ихъ матери... Какъ, она ихъ знала?... Это переполнило сердце его радостью; въ этотъ день онъ былъ какъ-то необыкновенно чувствителенъ, и ему вдругъ стало грустно, когда онъ узналъ, что они возвращаются въ Парижъ, что Бушро долженъ снова начать свой курсъ преподаванія въ медицинской школѣ. Это значить, — болѣе не удастся видѣть ее... И поля, проносившіяся мимо оконъ вагона, только что приводившія его въ восторгъ, ужъ стали казаться ему мрачными, точно наступило солнечное затмѣніе.

Раздался продолжительный свистокъ: пріѣхали. Онъ поклонился, потерялъ было ихъ изъ виду, но при выходѣ изъ вокзала столкнулись снова, и Бушро посреди толпы и давки сообщилъ ему, что по вечерамъ каждый четвергъ, начиная съ слѣдующаго, онъ бываетъ дома, на Вандомской площади, и что если ему вздумается на чашку чаю... Она шла подъ руку съ дядей, и Жану показалось, что это она безмолвно приглашаетъ его...

Много разъ рѣшалъ онъ, что отправится къ Бушро, а потомъ, что не поѣдетъ туда; къ чему создавать себѣ бесплодныя печали? Онъ, однако, предупредилъ дома, что скоро предстоитъ у

министра большой вечеръ, на которомъ ему необходимо быть Фанни осмотрѣла его фракъ, велѣла выгладить бѣлые галстуки, а когда наступилъ четвергъ, онъ вдругъ объявилъ, что не желаетъ ѣхать. Но она стала урезонивать его насчетъ неизбежности этой повинности, упрекая себя, что слишкомъ удалила его отъ свѣта, черезчуръ эгоистически сохраняя его для себя одной, и убѣдивъ его, помогала ему одѣться, нѣжничала съ нимъ, поправляла бантъ галстука, приглаживала волосы, смѣялась, что ея пальцы пахнутъ табакомъ—такъ какъ она то и дѣло брала и опять клала на каминъ папироску—и что это, пожалуй, вызоветъ гримасы у барышень, съ которыми ему придется танцевать. И видя ее такою веселою и благодушной, онъ уже сталъ чувствовать угрызение совѣсти за свое лганье; онъ охотно остался бы съ ней у пылавшаго камина, если бы сама Фанни не говорила настойчиво: «Я этого хочу... это необходимо», нѣжно выпроваживая его за дверь на темную дорогу.

Онъ вернулся очень поздно. Она уже спала, и непотушенная лампа, освѣщая этотъ сонъ отъ усталости, напоминала ему подобное же возвращеніе домой, три года тому назадъ, послѣ страшныхъ разказовъ о ней въ его присутствіи. Сколько тогда выказалъ онъ низости! И какимъ образомъ именно то, что должно бы разорвать цѣпь, напротивъ сковало ее еще крѣпче?.. Какое-то омерзѣніе, тошнота охватили его... Комната, кровать и женщина были ему одинаково противны. Онъ взялъ лампу и отнесъ ее потихоньку въ смежную комнату. Ему такъ хотѣлось быть одному, думать о томъ, что съ нимъ случилось... О, ничего, почти ничего...

Онъ любилъ!..

Въ иныхъ словахъ, употребляемыхъ нами заурядъ, есть какая-то скрытая пружина, которая вдругъ раскрываетъ истинную сущность ихъ, объясняетъ ихъ исключительный внутренній смыслъ. Затѣмъ слово опять съезживается, принимаетъ свою прежнюю банальную форму и повторяется безъ значенія, смыслъ его заслоняется привычкой и машинальностью. *Любовь*—одно изъ такихъ словъ. Тѣ, кому его ясный смыслъ хоть разъ раскрылся вполнѣ, поймутъ ту сладостную тревогу, какую переживалъ Жанъ уже втеченіе часа, въ первыя минуты не отдавая себѣ отчета въ томъ, что онъ испытывалъ.

Тамъ, на Вандомской площади, въ уголкѣ гостиной, гдѣ они долго сидѣли, разговаривая другъ съ другомъ, онъ не чувствовалъ ничего, кромѣ блаженства, чарующей нѣжности, охватившей его. Но какъ только онъ вышелъ оттуда, какъ только запахло за нимъ дверь, онъ вдругъ пришелъ въ безумный восторгъ, а вслѣдъ затѣмъ въ какое то полубомжерочное состояніе, какъ будто вскрывались всѣ его жилы.

— Господи! да что это со мной?..

И Парижъ, который ему пришлось проѣхать на возвратномъ пути, казался ему совсѣмъ новымъ, волшебнымъ, раздвинувшимся, сіяющимъ. Да, въ этотъ часъ, когда выпущены и бродятъ ночныя твари, когда грязь подземныхъ клоаокъ поднимается, выставляется наружу и копошится подъ желтоватымъ газовымъ свѣтомъ, любовникъ Сафо, охотникъ до всякихъ дебошей, видѣлъ Парижъ такимъ, какимъ его видитъ молодая дѣвушка, возвращаясь съ бала, съ мелодіей вальса въ головѣ, передаваемой ею звѣздамъ подъ бѣлизной ея наряда; онъ видѣлъ этотъ Парижъ, цѣломудреннымъ, залитымъ луннымъ свѣтомъ, среди котораго раскрываются дѣвственныя души! И вдругъ, когда онъ поднимался по лѣстницѣ вокзала, на пути къ своему нечистому логовищу, онъ поймалъ себя на громкомъ восклицаніи:

— Но я ее люблю... люблю ее...

Вотъ какъ онъ узналъ про это.

— Ты здѣсь, Жанъ? Что ты тамъ дѣлаешь?

Фанни вдругъ проснулась и испугалась, не чувствуя его возлѣ себя. Надо идти къ ней, поцѣловать ее, опять солгать, рассказать каковъ былъ балъ въ министерствѣ, были ли красивые туалеты, съ кѣмъ танцевалъ. Но во избѣжаніе этихъ инквизиторскихъ распросовъ и ласкъ, которые пугали его въ эту минуту, когда онъ былъ проникнуть воспоминаніемъ о другой, онъ придумалъ сказать ей, что у него спѣшная работа, рисунки для Геттема.

— Но вѣдь каминъ погасъ; тебѣ будетъ холодно.

— Нѣтъ, ничего.

— Такъ оставь хоть дверь отворенною, чтобы мнѣ была видна лампа.

Онъ долженъ былъ выдержать ложь до конца, уставить столъ, разложить этюды; затѣмъ онъ садится и неподвижно, сдерживая дыханіе, думаетъ, припоминаетъ, и чтобъ не отрываться отъ своей мечты, рассказываетъ ее дядѣ Сезеру въ длинномъ письмѣ. А между тѣмъ ночной вѣтеръ колышетъ вѣтви деревьевъ и онѣ трещать, безъ шелеста листьевъ, и поѣзда съ своей стукотней, идутъ одинъ за однимъ и «Value», встревоженный свѣтомъ лампы, бьется въ своей маленькой клѣткѣ, перепрыгивая съ насѣста на насѣста съ робкимъ чиликаньемъ.

Онъ описалъ все: встрѣчу и въ лѣсу, и въ вагонѣ, и необъяснимое волненіе при входѣ въ гостинныя, казавшіяся ему столь мрачными и зловѣщими въ день консультаціи, съ бѣглыми шушуканьями у дверей, съ грустными взглядами, которыми обмѣнивались между собою сидящіе больные, а сегодня вечеромъ такія шумныя, оживленныя, открывавшіяся длинною, ярко освѣщенною

амфиладой. Въ лицѣ самого Бушро уже не было ничего суроваго, и въ этихъ черныхъ глазахъ, обыкновенно глядѣвшихъ изъ-подъ густыхъ шершавыхъ бровей, съ приводившей въ смущеніе пытливостью свѣтилось спокойное выраженіе благодушія отца, соглашающагося на то, чтобы у него въ домѣ веселились.

«Вдругъ подошла она, и затѣмъ я уже ничего не видѣлъ... Другъ мой, ее зовутъ Иреной. Она прехорошенькая, съ виду такая добрая, волосы золотисто-темные, какъ у англичанокъ, ротикъ, какъ у дѣтей, всегда готовый усмѣхнуться... О, это не смѣхъ безъ веселья, который такъ непріятенъ у многихъ женщинъ: напротивъ, это настоящее проявленіе молодости и счастья... Она родилась въ Лондонѣ, но отецъ ея былъ французъ, и англійскаго акцента у нея вовсе нѣтъ. Только, есть восхитительная манера произносить нѣкоторыя слова, на примѣръ, она говоритъ «unclé», что всякій разъ вызываетъ нѣжность въ глазахъ старика Бушро. Онъ взялъ ее къ себѣ, чтобы облегчить многочисленную семью брата и замѣнить сестру Ирейнъ, старшую, которая года два тому назадъ вышла замужъ за старшаго доктора его клиники. А ей вотъ врачи не нравятся... Какъ она забавляла меня разсказомъ о глупости этого юнаго ученаго, прежде всего потребовавшаго отъ своей невѣсты формальнаго и торжественнаго обѣщанія послѣ смерти предоставить ихъ тѣла въ распоряженіе Антропологическаго общества!.. Она — перелетная птичка. Она любитъ корабли, море; видъ бушприта, распущеннаго во всю ширь, вызываетъ въ ней восторгъ. И все это она говорила мнѣ свободно, по товарищески, и притомъ съ пріемами настоящей миссъ, несмотря на ея парижскую грацію, и я слушалъ ее, восхищаясь ея голосомъ, ея смѣхомъ, сходствомъ нашихъ вкусовъ, внутренней увѣренностью, что все счастье моей жизни тутъ, у меня подъ рукой, что мнѣ стоитъ лишь схватить его, унести далеко, подальше, куда бы ни забросила меня прихотливая карьера».

— Иди же спать, милый...

Жанъ вздрагиваетъ, перестаетъ писать, инстинктивно прячетъ уже написанное.

— Сейчасъ... спи, спи.

Онъ отвѣчаетъ это съ сердцемъ и, вытянувшись, прислушивается, какъ сонъ снова завладѣваетъ дыханіемъ этой женщины. Они такъ близко другъ отъ друга и въ то же время такъ далеко...

«Что бы ни случилось, эта встрѣча и эта любовь будутъ моимъ спасеніемъ. Ты знаешь мою жизнь; ты понялъ, хотя мы никогда объ этомъ не говорили, что она такая же, какъ и прежде,

что я не могъ освободиться отъ нея. Но ты не знаешь, что я готовъ былъ пожертвовать состояніемъ, будущностью, всѣмъ — той роковой привычкѣ, въ которую я день ото дня втягивался болѣе и болѣе. Теперь я нашелъ рычагъ, точку опоры, которой мнѣ не доставало; и чтобы снова не поддаться моей слабости, я далъ себѣ клятву вернуться туда не иначе, какъ свободнымъ и разлученнымъ... Завтра же убѣгаю...»

Этого не случилось ни завтра, ни на слѣдующій день. Для бѣгства нуженъ былъ и способъ, и предлогъ, какая нибудь ссора, которую можно было окончить словами: «я ухожу на всегда», — а Фанни, какъ нарочно, была весела и нѣжна, точно въ самые первые дни ихъ связи.

Написать развѣ: «между нами все кончено» безъ всякихъ дальнѣйшихъ объясненій?.. Но эта назойливая женщина такъ не сдастся, она догонитъ его, настигнетъ у дверей его отеля, его министерства. Нѣтъ, лучше повести атаку прямо, лицомъ къ лицу, убѣдить ее въ безповоротности, окончательности разрыва, выяснить ей всѣ причины безъ гнѣва и безъ состраданія.

Размышляя такимъ образомъ, онъ вспомнилъ о самоубійствѣ Алисы Доре, и страхъ вернулся къ нему. Передъ домомъ ихъ, по другую сторону мостовой, пролегалла покатая тропинка, которая вела къ линіи желѣзной дороги и загораживалась барьеромъ; сосѣди ходили обыкновенно по этой дорогѣ, въ спѣшныхъ случаяхъ, чтобы по полотну дойти прямо къ станціи. И воображеніе южанина уже рисовало себѣ, что, послѣ ихъ разрыва, его любовница тотчасъ выбѣжитъ на эту тропинку, отодвинетъ загородку и кинется подъ колеса проходящаго поѣзда. Этотъ страхъ до того завладѣлъ имъ, что одна лишь мысль о подвижномъ барьерѣ, между двумя стѣнами, обвитыми плющемъ, заставляло его откладывать объясненіе.

Если бы еще нашелся пріятель, который приглядѣлъ бы за нею, помогъ бы ей въ первыя минуты кризиса, но, зарывшись въ своею сожительствѣ, словно сурки, они не знали никого, а къ Геттема, этимъ чудовищнымъ эгоистамъ, лоснившимся и заплывшимъ жиромъ, превращавшимся въ животныхъ еще болѣе, въ виду приближенія ихъ эскимосской зимовки—къ нимъ, разумѣется, не могла прибѣгнуть несчастная въ минуту отчаянія послѣ разрыва.

Однако, надо было покончить и порѣшить скорѣе. Не смотря на данную себѣ клятву, Жанъ побывалъ еще два-три раза на Вандомской площади, и влюблялся все болѣе и болѣе. Онъ еще ничего не высказалъ, но и по радушному, чуть не съ открытыми объятіями приему Бушро, и по обращенію съ нимъ Ирены, въ которомъ къ сдержанности ея примѣшивалась нѣжность, снисхо-

дительность и точно тревожное ожиданіе объясненія — по всему этому онъ видѣлъ, что мѣшкать нечего. Да, наконецъ, что за попытка лгать, придумывать для Фанни разные предлоги и сказки, и развѣ не святотатство прямо отъ поцѣлуевъ Сафо переходить къ скромному, трепетному ухаживанію?

XI.

Мучимый этой нерѣшительностью, онъ нашелъ на своемъ столѣ въ министерствѣ визитную карточку господина, заходившаго уже два раза утромъ, какъ пояснилъ ему сторожъ, съ нѣкоторымъ подобрастіемъ къ слѣдующему титулу:

С. Госсенъ д'Арманди,

президентъ Общества затопленія Долины Роны, членъ Центрального комитета изученія и наблюденія, уполномоченный департамента и пр. и пр.

Дядя Сезеръ въ Парижѣ! Фенать уполномоченный, членъ наблюдательнаго комитета! Изумленіе Жана еще не исчезло, какъ уже дядя стоялъ передъ нимъ, такой же смуглый, какъ еловая шишка, съ вытаращенными глазами, съ выраженіемъ смѣха въ углахъ глазъ, съ бородкой временъ лиги; но вмѣсто безсмѣннаго бумазейнаго костюма, на немъ надѣтъ былъ сюртукъ изъ новаго сукна, обтягивавшій его выпятившееся брюшко и придававшій маленькому человѣчку поистинѣ президентское величіе.

Что привело его въ Парижъ? Покупка подъемной машины для затопленія его новыхъ виноградниковъ — онъ произносилъ слово «подъемной» убѣдительнымъ тономъ, возвышавшимъ его въ собственныхъ глазахъ; а затѣмъ — заказъ его бюста, который сослуживцы требовали отъ него для украшенія залы засѣданій совѣта.

— Ты видишь,—прибавилъ онъ съ нѣкоторой скромностью— они выбрали меня президентомъ... Моя идея затопленія взбудоражила весь Югъ... и подумаешь, что это я, Фенать, призванъ спасать винодѣліе всей Франці!.. Видно, только такимъ сумасбродамъ это и пристало.

Но главная цѣль его пріѣзда—это разрывъ съ Фанни. Понимая, что дѣло затягивается въ долгій ящикъ, онъ явился помочь.

— Я эти дѣла знаю, повѣрь мнѣ... Когда Курбессъ бросилъ свою, чтобы жениться...

Прежде, чѣмъ приступить къ своему разсказу, онъ приостановился и, растегнувъ сюртукъ, досталъ изъ кармана небольшой, туго набитый бумажникъ.

— Сперва освободи меня вотъ отъ этого... Да, это деньги... въ уплату за освобожденіе территоріи...

Онъ не понялъ жеста своего племянника, думая, что тотъ отъказывается изъ скромности.

— Ну бери же, бери... я горжусь тѣмъ, что могу заплатить сыну хоть частичку того, что сдѣлалъ для меня отецъ... Впрочемъ, это желаніе Дивонны... Она знаетъ все дѣло и очень довольна, что ты намѣренъ жениться и развязаться съ твоей старой обузой.

Жанъ нашель, что слова «старая обуза» немножко неумѣстны въ устахъ Сезера, послѣ услуги, нѣкогда ему оказанной его любовницей, и съ нѣкоторой желчностью отвѣчалъ дядѣ:

— Возьмите вашъ бумажникъ, дядюшка... Вы лучше, чѣмъ ктонибудь, знаете, какъ равнодушно относится Фанни къ подобнымъ вещамъ.

— Да, хорошая была дѣвушка, — проговорилъ дядя тономъ надгробной рѣчи и затѣмъ, мигая, прибавилъ: — Все-таки побереги деньги... Въ виду искушеній Парижа, онѣ цѣлѣе будутъ въ твоихъ рукахъ; притомъ же деньги нужны и при разрывахъ, и при дуэляхъ....

Съ этими словами онъ поднялся со стула, объявивъ, что умираетъ съ голода и что такой крупный вопросъ гораздо легче разрѣшить за завтракомъ, съ вилкою въ рукахъ. И тутъ сказалось насмѣшливое легкомысліе южанина въ отношеніи къ женщинѣ.

Они помѣстились за столомъ въ ресторанѣ улицы Бургонь, и дядя, подвязавъ салфетку ниже подбородка, уписывалъ за обѣ щеки, а Жанъ едва отвѣдывалъ подаваемыхъ блюдъ.

— Между нами говоря, дружище, я нахожу, что ты относишься къ этому дѣлу слишкомъ трагически. Я хорошо понимаю, что первый ударъ тяжелъ, что объясненіе весьма непріятно; но если это тебѣ ужъ такъ трудно, то не говори ничего, поступи, какъ Курбессъ. До самаго утра въ день свадьбы Морна ничего не знала. По вечерамъ, разставшись съ невѣстой, онъ отправлялся за своей пѣвицей и провожалъ ее домой. Ты скажешь, конечно, что это не совсѣмъ порядочно, да и не совсѣмъ благопристойно. Но если не выносишь сценъ... и притомъ съ такими страшными женщинами, какъ Паола Морна!.. Уже лѣтъ десять, какъ этотъ красивый малый дрожалъ передъ такой маленькой чернявкой... Чтобы отвязаться отъ нея, надо было хитрить, маневрировать... И вотъ какъ онъ устроилъ дѣло:

Наканунѣ свадьбы—это было 15 августа, день народнаго праздника—Сезерь предложилъ подругѣ пріятеля отправиться на рыбную ловлю въ Иветту; Курбессъ долженъ былъ присоединиться къ нимъ къ обѣду, и затѣмъ всѣ трое должны были вернуться въ городъ на другой день вечеромъ, когда Парижъ освѣжится и отъ запаха пыли, обожженныхъ остатковъ ракетъ, и масла

плошекъ. Такъ и сдѣлали. Они вдвоемъ растянулись на травѣ на берегу маленькой рѣчки, которая бѣжитъ и отсвѣчиваетъ между пологими берегами и отъ которой поля зеленѣютъ, а ивы покрываются густой листвою. Послѣ рыбной ловли — купанье. Уже не впервые приходилось ему и Паолѣ плавать вмѣстѣ, какъ дѣлаютъ это шалуны, по товарищески. Но въ этотъ день маленькая Морна, съ обнаженными руками и ногами, округлымъ, какъ будто отлитымъ, станомъ къ которому вплотную присталъ намокшій купальный костюмъ... а, быть можетъ, и мысль, что Курбесесъ далъ ему полную волю дѣйствовать по усмотрѣнiю... Ахъ, бестiя!.. Она обернулась и сурово взглянула на него.

— Послушайте, Сезерь, не позволяйте этого себѣ больше.

Онъ не настаивалъ, боясь испортить дѣло, и подумалъ про себя:

— Ладно, устроимъ послѣ обѣда...

Обѣдъ прошелъ очень весело, на деревянной террасѣ трактира, между двумя флагами, вывѣшенными хозяиномъ въ честь 15-го августа.

Было жарко, сѣно славно пахло, слышались барабанный бой, хлопучки и музыка шарманки на улицѣ.

— Какъ это глупо, что Курбесесъ прiдетъ только завтра!— говорила Морна, потягиваясь; глаза ея уже блестѣли отъ шампанскаго...— Мнѣ хотѣлось бы подурачиться сегодня.

— А я-то на что?

Онъ подошелъ и облокотился съ нею рядомъ на балюстраду балкона, еще горячую отъ дневныхъ лучей солнца. Осторожно, пытливо, онъ обнялъ ее за талию.

— О, Паола... Паола!

На этотъ разъ пѣвица не разсердилась, а захохотала, и притомъ такъ громко и отъ добраго сердца, что и онъ послѣдовалъ ея примѣру. Также была отвергнута вторая попытка вечеромъ, когда они вернулись съ праздника, гдѣ танцовали, стрѣляли въ пѣль на призъ миндального печенья, а такъ какъ ихъ комнаты были смежны, то она пѣла ему сквозь перегородку: «T'es trop p'tit, t'es trop p'tit», прибавляя при этомъ разныя нелестныя сравненiя между нимъ и Курбесесомъ. Онъ едва удерживался, чтобы не отвѣчать ей, не назвать ее вдовой Морна, но время еще не пришло. А на другой день, когда усѣлись за хорошiй завтракъ, и Паола стала выказывать нетерпѣнiе и беспокоиться, отчего это не ѣдетъ ея возлюбленный, онъ съ видомъ нѣкотораго самодовольства, досталъ часы и произнесъ торжественно:

— Двѣнадцать часовъ. Кончено.

— Что?

— Онъ женился.

— Кто?

— Курбесесъ.

Трахъ!

— О, мой другъ, какая пощечина!.. Никогда еще въ моихъ амурныхъ дѣлахъ мнѣ не случалось получать ничего подобнаго. И затѣмъ она хочетъ тотчасъ же ѣхать... но побѣзда ранѣе четырехъ часовъ не оказывается... А тѣмъ временемъ измѣнникъ улепетывалъ въ Италію по ліонской желѣзной дорогѣ вмѣстѣ съ женой. Тогда, въ припадкѣ бѣшенства, она опять набросилась на меня, и посыпались удары безъ конца, царапины и затрепины... Удачно я посадилъ себя съ нею! Потому она принялась за посуду и, натѣшившись вдоволь, закончила страшнымъ нервнымъ припадкомъ. Пришлось впятеромъ отнести ее на кровать, сдерживать ее. И я, весь избитый и исцарапанный, точно только что вышедшій изъ терноваго куста, побѣждалъ отыскивать доктора въ Орсе... Въ подобнаго рода дѣлахъ надо бы всегда имѣть врача при себѣ, какъ и на дуэли... Представь себѣ, меня на жарѣ, на голодный желудокъ!.. Уже стемнѣло, когда я привелъ врача... Вдругъ, подходя къ трактиру, я слышу шумъ толпы, вижу народъ подъ окнами. О, Господи! ужъ не убила ли она? Или, пожалуй, убила кого-нибудь? Съ Морна послѣднее было правдоподобіе... Я бѣгу впередъ и что же вижу?... Балконъ весь увѣшанъ венеціанскими фонариками, а пѣвица стоитъ утѣшенная и разодѣтая, обвивъ себя однимъ изъ національныхъ флаговъ и горлана «Марсельезу», въ честь имения императора, при рукоплесканіяхъ толпы. И вотъ, мой другъ, какимъ образомъ окончилась связь Курбесеса. Я не скажу, что все устроилось сразу. Послѣ десятилѣтней каторги, необходимо всегда нѣкоторое время зоркой осмотрительности. Но главные удары обрушились на меня, и я готовъ столько же вынести и отъ твоей, если желаешь...

— Нѣтъ, дядя, эта женщина совсѣмъ иного сорта.

— Рассказывай тамъ! — возразилъ Сезерь, раскрывая ящикъ съ сигарами и приближая его къ уху, чтобы убѣдиться, что сигары сухи, — ты не первый съ ней расстаешься...

— И то правда...

И Жанъ съ особенной радостью ухватился за эту мысль, которая за нѣсколько мѣсяцевъ передъ тѣмъ привела бы его въ отчаяніе. Въ сущности, дядя и его комичный рассказъ немного успокаивали его, но онъ не могъ допустить двойной лжи, въ теченіе еще нѣсколькихъ мѣсяцевъ, этого лицемерія, этого дѣла; на это онъ не могъ рѣшиться; довольно и того, что было.

— Такъ что же ты хочешь сдѣлать?

Пока молодой человек сидел в нерешительности, член наблюдательного комитета поглаживал свою бороду, пробовал улыбаться на разные лады, манерничал и наконец, спросил небрежным тоном:

— А что, он далеко отсюда живет?

— Кто?

— Да этот художник, Каудаль, о котором ты говорил мне на счет моего бюста. Можно бы, пока мы вместе, сходить к нему, пригнаться.

Каудаль, хотя и был в славе, и мотал деньги, занимал, однако, в улице д'Ассас все ту же мастерскую, которой обязан был своими первыми успехами. Сезерь доброй осведомился об его артистическом значении; он, конечно, готов был дать хорошую цену, но его комитетские товарищи хотят непременно, чтобы произведение было первоклассное.

— О! не беспокойтесь дядюшка, лишь бы Каудаль захотел взяться... И он перечислял ему титулы скульптора: член Института, командор Почетного легиона, кавалер множества иностранных орденов. Фенат совсем выпучил глаза:

— И вы приятели?

— Большие.

— Вот этот Париж! и только здесь... как тут можно свести славные знакомства!

Госсен стыдился бы, однако, сознаться, что Каудаль был прежним любовником Фанни и что она-то именно познакомила их. Но Сезерь как будто напал на эту мысль.

— Это он автор той Сафо, что у нас в Кастеле? В таком случае, он знаком с твоей возлюбленной и мог бы, пожалуй, пособить тебе в развязке. Институт, почетный легион—это всегда производит впечатление на женщин...

Жан не ответил, быть может, тоже подумывая воспользоваться посредничеством старого любовника. А дядя, добродушно смеясь, продолжал:

— Кстати, знаешь, бронзовой фигуры Сафо уже нет больше у твоего отца... Когда Дивонна узнала, когда я имел несчастье сказать ей, что это изображает твою любовницу, она не захотела держать эту бронзу на прежнем месте... Съ магиями консула, с его нелюбовью к каким бы то ни было переделкам, устроить это было не легко, в особенности не вызвав подозрения на счет повода... Ох, уж эти женщины!.. Она так ловко сумела устроить, что теперь на камин отца красуется Тьерь — а бедная Сафо валяется в пыли, на ветру, вместе со старыми каминными приборами и мебелью, негодною к

употребленію. При переносѣ, ее даже нѣсколько подшибли; отлетѣлъ шиньонъ, да и лира уже не держится. Это, вѣроятно, Дивонна принесла ей столько несчастья.

Они пришли въ улицу д'Ассасъ. По невзрачному и труженическому виду этого городка художниковъ, этихъ нумерованныхъ мастерскихъ съ широкими входными дверями, какъ у каретныхъ сараевъ, выходящими на длинный дворъ, который замыкаютъ незатѣйливыя постройки общинной школы, президентъ общества затопленія снова усомнился насчетъ таланта художника, живущаго въ такой мизерной обстановкѣ; но едва онъ вошелъ въ Каудалу, какъ тотчасъ понялъ, съ кѣмъ имѣеть дѣло.

— Ни за сто тысячъ франковъ, ни за миллионъ! завопилъ скульпторъ при первыхъ словахъ Госсена.

И приподнимая свой могучій корпусъ съ дивана, на которомъ онъ лежалъ, растянувшись во всю длину среди безпорядка и запустѣнія мастерской, онъ прибавилъ:

— Бюстъ!... Да, скажите!... Взгляните вотъ на эту кучу гипса... это фигура для будущей выставки, которую я только что разбилъ на куски молоткомъ... Вотъ что я нынче дѣлаю съ скульптурой, какъ ни соблазнительна фигура господина...

— Госсена д'Арманди... президентъ.

Дядя припоминалъ всѣ свои титулы, но ихъ было у него слишкомъ много. Каудаль прервалъ его, обратившись къ молодому человѣку:—Что вы на меня глядите, Госсенъ?.. Находите, что я постарѣлъ?

И дѣйствительно, онъ смотрѣлъ старикомъ, въ этомъ освѣщеніи, падавшемъ сверху на шрамы, впадины и рубцы много выдавшей головы, на львиную гриву, мѣстами походившую на расползшуюся поверхность стараго ковра, на отвисшія и дряблыя щеки и на усы цвѣта металла съ слѣзшей позолотой, которая уже болѣе не трудилась подкрашивать и завивать... къ чему?..

Маленькая натурщица его, Кузинаръ, ушла.

— Да, милѣйшій, ушла, съ моимъ формовщикомъ, дикаремъ, животнымъ, но за то ему двадцать лѣтъ,

Съ раздраженнымъ и насмѣшливымъ видомъ, онъ сталъ ходить взадъ и впередъ по мастерской, поваливъ на полъ ударомъ ноги скамейку, мѣшавшую ему. Затѣмъ, остановясь вдругъ передъ зеркаломъ въ мѣдной рамѣ надъ диваномъ, взглянулъ на себя, сооривъ страшную гримасу:

— Да и некрасивъ же я, и потрепанъ.... Вотъ какія-то веревки, подгрудокъ старой коровы!...

И ухвативъ себя за шею обѣими руками, онъ плачевнымъ и

комическимъ тономъ отжившаго красавца, который самъ себя оплакиваетъ, высказалъ предположеніе:

— И объ этомъ-то, пожалуй, я стану жалѣть въ будущемъ году!

Дядя стоялъ, какъ ошеломленный. Академикъ, въ зеркало высовывающій языкъ, рассказывающій свои любовныя приключенія! Значить, сумасброды есть вездѣ, даже въ Институтѣ. И уваженіе его къ великому художнику уменьшалось въ той же мѣрѣ, въ какой увеличивалась симпатія къ его слабостямъ.

— А какъ поживаетъ Фанни?.. Вы еще все въ Шавиллѣ? спросилъ Каудаль, внезапно успокоившись, сядясь рядомъ съ Госсеномъ и дружески потрепавъ его по плечу.

— Да, бѣдная Фанни! Недолго намъ съ нею придется пожить!

— Вы уѣзжаете?

— Да, скоро, но прежде женюсь... надо съ нею разстаться.

Скульпторъ захохоталъ неистово.

— Bravo! очень радъ... Мсти за насъ, мой милый, мсти этимъ негодницамъ! Бросай ихъ, обманывай, и пусть онѣ плачутъ, подлыя! Никогда не удастся тебѣ сдѣлать имъ столько зла, сколько онѣ дѣлали его другимъ.

Дядя Сезерь торжествовалъ.

— Видишь, и мосье Каудаль смотритъ на вещи не такъ трагически, какъ ты... Представьте себѣ, этотъ агнецъ... чтб именно его останавливаетъ? Опасеніе, что она убьетъ себя!

Жанъ откровенно сознался, какое впечатлѣніе произвело на него самоубійство Алисы Доре.

— Да это совсѣмъ не то!—съ живостью замѣтилъ Каудаль;— та была женщина меланхолическая, мягкая, съ опущенными руками... бѣдная кукла, въ которой не хватало отрубей... Дешлеттъ напрасно думалъ, что она умерла изъ-за него... Это было самоубійство отъ утомленія жизнью, отъ тоски... Ну, а Сафо... какъ-же! держи карманъ.... убьетъ она себя! Она слишкомъ дорожить любовью и сгоритъ до конца, до самыхъ розетокъ. Она изъ породы первыхъ любовниковъ, которые никогда не мѣняютъ ампула, и наконецъ, играютъ безъ зубовъ, безъ рѣсницъ, все въ той же шкурѣ. Посмотрите хоть на меня... Развѣ я думаю о самоубійствѣ?.. Мнѣ очень прискорбно, что одна ушла, но я отлично знаю, что возьму другую, и что мнѣ всегда нужна женщина.. И ваша любовница поступитъ по моему, какъ уже и дѣлала не разъ... Только ужъ она не молода, и теперь ей будетъ трудноѣ.

Дядя продолжалъ торжествовать:

— Ну, что же, ты вѣришь теперь?

Жанъ ничего не отвѣтилъ, но опасенія его разсѣялись, и онъ

принялъ окончательное рѣшеніе. Они уже уходили, когда скульпторъ вернуть ихъ, чтобы показать фотографическую карточку, взятую на столѣ, въ пыли и которую онъ вытиралъ рукавомъ.

— Вотъ ея портретъ... посмотрите... ну, развѣ это не прелесть, негодница!.. Хоть становись на колѣни!.. Что за ножки! А грудь!..

И страшенъ былъ контрастъ этихъ горячихъ глазъ, этого страстнаго голоса со старческимъ дрожаніемъ толстыхъ пальцевъ, въ которыхъ трясся улыбающійся портретъ маленькой модели Кузинаръ.

XII.

— Это ты?.. Какъ ты рано сегодня!

: Она шла изъ глубины сада, неся полный подолъ подобранныхъ тамъ яблокъ, и быстро входила на крыльце, нѣсколько встревоженная видомъ ея любовника, обнаруживавшимъ и какую-то неловкость, и ненатуральную развязность.

— Что случилось?

— Ничего, ничего... Такая погода, солнце... мнѣ хотѣлось воспользоваться послѣднимъ хорошимъ днемъ и прогуляться по лѣсу вдвоемъ... Хочешь?

У нея вырвался ея обычный дѣтски-радостный крикъ, повторявшійся всякій разъ, когда она бывала чѣмъ нибудь особенно довольна.

— О, вотъ прелесть!

Уже болѣе мѣсяца они не выходили никуда изъ-за дождей и ноябрьскихъ вѣтровъ. На дачѣ не всегда пріятно; иногда живешь тамъ, какъ въ Ноевомъ ковчегѣ...

Ей нужно было только сдѣлать нѣкоторыя распоряженія на кухнѣ, такъ какъ къ обѣду прійдутъ Геттемы. Поджидая ее на улицѣ, на *Pavé des Gardes*, онъ смотрѣлъ на свой домикъ, согрѣваемый мягкимъ свѣтомъ осенняго солнца, глядѣлъ на деревенскую улицу съ широкими плитами, покрытыми мхомъ, мысленно прощаясь съ этимъ, какъ прощаются съ мѣстами, когда хотятъ запечатлѣть ихъ въ памяти.

Изъ окна столовой, открытаго настежь, долетали до него переливы иволги въ перемежку съ приказаніями, которыя Фанни отдавала служанкѣ:

— Главное, не забудьте, къ шести съ половиною часамъ... Прежде всего вы подадите цецарку... Ахъ, да, вамъ надо дать салфетки и скатерть.

Голосъ ея звучалъ отчетливо, радостно, среди доносившагося изъ кухни трещанія дровъ и трелей птички, заливавшей на солнцѣ. А ему, знавшему, что ихъ сожителству оставалось не

болѣе двухъ часовъ, всѣ эти праздничныя приготовленія сжи-
мали сердце.

Онъ хотѣлъ было вернуться и сказать все сразу, но побоялся
ея крика, страшной сцены, которая слышна будетъ еосѣдямъ,
скандала, который переполонить сверху до низу весь Шавиль.
Онъ зналъ, что, когда она выходитъ изъ себя, ей все ни почемъ,
а потому и остался при своемъ первоначальномъ планѣ увести
ее въ дѣсь.

— Вотъ и я...

Она весело взяла его подъ руку, предваривъ, чтобы онъ го-
ворилъ тише и шелъ скорѣе, когда они будутъ проходить мимо
сосѣдей, изъ боязни, какъ бы Олимпія не вадумала сопровождать
ихъ и испортить этимъ ихъ прогулку вдвоемъ. Она успокоилась
только тогда, когда прошли мостовую и сводъ подъ желѣзной
дорогой и повернули влѣво къ дѣсу.

Погода стояла теплая, свѣтлая; лучи солнца смягчались се-
ребристымъ волнующимся туманомъ, который окутывалъ всю ат-
мосферу, сгущался въ просѣкахъ, гдѣ деревья еще сохранили въ
золотистой листьѣ гнѣзда сорокъ, на подобіе зеленого налета на
большой высотѣ. Слышался крикъ птицы, протяжный, похожій на
шумъ пилы, и удары клювомъ въ дерево, точно эхо отъ топора
дровосѣка.

Они шли медленно, оставляя слѣды шаговъ на землѣ, размяг-
ченной осенними дождями. Ей было жарко: она такъ торопилась;
щеки разгорѣлись, глаза ярко блестяли. Она остановилась, чтобы
снять подаренную Розой большую блондовую мантилью, которую
она прикрыла голову, выходя изъ дому, какъ непрочнымъ и доро-
гимъ остаткомъ прежней роскоши. Платье ея, неказистое платье
изъ черной шелковой матеріи, потертое и на локтяхъ и на талии,
было ему знакомо уже три года. Когда она приподнимала его,
переступая черезъ лужу, онъ видѣлъ сбившіеся на бокъ каблукки
ея ботинокъ.

И какъ весело смотрѣла она на эту полунищету, безъ сожа-
лѣнія и жалобъ, занятая имъ, его благополучіемъ, считая себя
счастливѣйшей изъ смертныхъ, когда, какъ теперь, она держа-
лась за него, обвивъ его руку своими руками. И Жанъ мысленно
спрашивалъ себя, видя, какъ она молодѣетъ подъ дѣйствіемъ
лучей солнца и прилива любви, сколько жизненности должно
быть въ подобномъ созданіи, какая должна быть въ ней изуми-
тельная способность забывать и прощать зло другимъ, если она
сохраняетъ веселость, беззаботность, послѣ столькихъ тревогъ,
неудачъ и слезъ, положившихъ на ея лицѣ свой отпечатокъ, ис-
чезающій однако при малѣйшемъ порывѣ веселости.

— Это бѣлый грибок... бѣлый, увѣряю тебя...

Она входила въ чашу, вязла по колѣна въ сухихъ листьяхъ, возвращалась растрепанная и помятая терновыми кустами и показывала ему ту маленькую ткань на корешкѣ гриба, по которой отличаютъ настоящій бѣлый грибокъ отъ поганки.

— Видишь, у него жань?—И она торжествовала.

Онъ не слушалъ, а расбѣянно спрашивалъ себя:—Не время ли теперь? Не пора ли? Но у него еще не хватало храбрости: то она слишкомъ много смѣялась, то мѣсто казалось неудобнымъ; и онъ велъ ее все дальше и дальше, какъ убійца, обдумывающій, гдѣ бы нанести повѣрнѣе ударъ.

Онъ уже было началъ, когда на поворотѣ аллеи показался кто-то и помѣшалъ ему. Это былъ мѣстный лѣсничій Гошкорнъ, котораго они нерѣдко встрѣчали. Бѣдняга, въ маленькомъ лѣсномъ домикѣ, гдѣ правительство отвело ему помѣщеніе на берегу пруда, потерялъ двоихъ дѣтей, одного за другимъ, а затѣмъ и жену—и все отъ тѣхъ же злокачественныхъ лихорадокъ. Послѣ перваго же смертнаго случая, врачъ объявилъ, что жилище это нездорово, расположено слишкомъ близко къ водѣ и ея испареніямъ; но несмотря на медицинское свидѣтельство, несмотря на просьбы, его оставили тамъ еще два года, а потомъ и третій; въ теченіе этихъ трехъ лѣтъ, ему пришлось перехоронить всю семью, за исключеніемъ маленькой дѣвочки, съ которою, наконецъ, онъ и переселился въ новый домикъ у опушки лѣса.

Гошкорнъ, съ лицомъ упрямаго бретонца, съ глазами свѣтлыми и мужественными, съ покатымъ лбомъ, подъ форменной фуражкой, былъ истиннымъ типомъ преданности начальству и суетвѣрнаго преклоненія передъ его приказаніями. На одномъ плечѣ покоился ремень его ружья, на другомъ — сонная головка ребенка, котораго онъ несъ на рукахъ.

— Какъ ея здоровье? — спросила Фанни, улыбаясь четырехлѣтней малюткѣ, блѣдной и съезжившейся отъ лихорадки. Та проснулась и вытаращила свои большіе глазенки, окаймленные розоватыми кругами. Сторожъ глубоко вздохнулъ.

— Не хорошо. Нарочно беру ее всюду съ собой, да толку мало. Теперь ничего не ѣсть, ни къ чему нѣтъ охоты; надо думать, что намъ поздно перемѣнили жилище, и она уже заразилась раньше. И какая легонькая, поглядите, совсѣмъ какъ листы!.. На-дняхъ, вѣроятно, и она отправится вслѣдъ за другими... О, Господи, Господи!.. — Это «о, Господи!», сказанное сквозь зубы, было единственнымъ проявленіемъ его негодованія на жестокосердіе канцелярій и канцелярскихъ строчиль.

— Она вся дрожить, бѣдная, ей холодно.

— Это отъ лихорадки.

— Постоите, мы ее согрѣемъ.

Она взяла мантилью, которая висѣла у нея на рунѣ, и укрыла ею малютку.

— Вотъ такъ, такъ, оставьте это на ней... Послѣ это послужить ей вѣнчальнымъ вуалемъ.

Отецъ горько улыбнулся, и взявъ за ручку ребенка, который снова сталъ засыпать, совсѣмъ поблѣднѣвъ, какъ мертвецъ подъ бѣлымъ саваномъ, велѣлъ ему поблагодарить даму за подарокъ и затѣмъ пошелъ своею дорогой, твердя свое «о, Господи!», которое заглушалось трескомъ сучьевъ подъ его ногами.

У Фанни прошло веселье; она прижалась къ Жану съ боязливой нѣжностью женщины, которую всегда сближаетъ съ любимымъ человѣкомъ волненіе, радость или печаль. Жанъ говорилъ себѣ:—«какая добрая дѣвушка!»—но не слабѣлъ въ своей рѣшимости. Напротивъ, онъ, даже укрѣплялся въ ней: на склонѣ аллеи, въ которую они входили, поднимался передъ нимъ образъ Ирены; его охватило воспоминаніе о сіяющей улыбкѣ, впервые встрѣченной, которая сразу плѣнила его, прежде даже, чѣмъ онъ узналъ глубокія чары этой улыбки, сокровенный источникъ задумчивой нѣжности. Ему думалось, что онъ выждалъ уже до послѣдней минуты, что сегодня четвергъ... «Что-жь, надо кончить!.. И увидавъ круглую площадку въ нѣкоторомъ отдаленіи, онъ назначилъ ее себѣ послѣднимъ предѣломъ.

Это была площадка среди вырубленной части лѣса; деревья лежали здѣсь среди щепокъ, остатковъ коры, хворосту, свѣжихъ угольныхъ ямъ. Нѣсколько ниже виднѣлся прудъ, съ поверхности котораго поднимался бѣлый паръ, а на берегу маленькій покинутый домикъ, съ нависшею крышей, съ окнами разбитыми и отворенными. Это и былъ лазаретъ Гошкорна. Далѣе, лѣсъ поднимался по направленію къ Велизи, крутому косогору, густо поросшему рыжими кустиками, тощими высокоствольными деревьями... Жанъ разомъ остановился.

— А не отдохнуть ли здѣсь немного?

Они присѣли на большое бревно, поваленное на землю; это былъ старый дубъ, вѣтви котораго можно было перечестъ по числу нанесенныхъ топоромъ ударовъ. Мѣсто было уютное, слабо озаренное отраженнымъ свѣтомъ и залитое ароматомъ затерявшихся тамъ и сямъ фіалокъ.

— Какъ тутъ хорошо!.. сказала она, прильнувъ къ его плечу и ища на его шеѣ мѣстечка для поцѣлуя.

Онъ нѣсколько отодвинулся и взялъ ее за руку. Тогда, замѣтивъ, что лице его приняло вдругъ жесткое выраженіе, она испугалась:

— Что такое? Въ чемъ дѣло?

— Непріятное извѣстіе, моя бѣдненькая... Знаешь, Гедуэнъ. Тотъ, что поѣхалъ на мое мѣсто...

Онъ говорилъ съ трудомъ, до того глухо, что самъ удивлялся звукамъ своего голоса; но къ концу заранѣе приготовленной исторіи, голосъ его окрѣпъ...

Гедуэнъ, только что пріѣхавъ на мѣсто, заболѣлъ, и онъ официально назначенъ для замѣщенія заболѣвшаго... Сказать такъ казалось ему легче и менѣе жестоко, нежели сказать правду. Она слушала его до конца, не прерывая; лице у нея стало сѣровато-блѣднымъ, глаза остановились.....

— Когда же ты ѣдешь? спросила она, отнимая руку.

— Сегодня же вечеромъ... въ эту ночь...

И поддѣльно грустнымъ тономъ, онъ прибавилъ:

— Я располагаю пробить сутки въ Кастеле, а затѣмъ сяду на пароходъ въ Марсели...

— Довольно, полно лгать! — вдругъ крикнула она въ порывѣ неистовства, вскакивая съ мѣста. — Не зачѣмъ лгать!.. Скажи правду, ты женишься... Семья твоя уже давно хлопочетъ объ этомъ... Они такъ боятся, что я удержу тебя, помѣшаю тебѣ ѣхать туда, гдѣ ждетъ тебя тифъ или желтая лихорадка... Ну. теперь они должны быть довольны... Надо думать, что барышня пришлась тебѣ по вкусу... А я-то еще завязывала въ четвергъ бантъ твоего галстука... вотъ дура-то была!..

Она захохотала болѣзненнымъ, злобѣщимъ смѣхомъ, кривившимъ ей ротъ, выказывая на одной сторонѣ челюсти еще не замѣченную имъ до сихъ поръ потерю одного изъ ея чудныхъ жемчужныхъ зубовъ, которыми она такъ гордилась. Этотъ недостающій зубъ, при ея испуганномъ, помятомъ и искаженномъ лицѣ, произвелъ на Госсена болѣзненное впечатлѣніе.

— Выслушай меня, — сказалъ онъ, обнявъ ее и усадивъ на сильно около себя... — Ну да, я женюсь... Отецъ этого давно хотѣлъ, ты это знаешь. Но что же тебѣ до того, вѣдь я же долженъ былъ уѣхать?

Она выпрямилась, сдерживая свой гнѣвъ.

— И для того, чтобы сказать мнѣ это, ты заставилъ меня пройти цѣлую милю по лѣсу!.. Ты подумалъ: по крайней мѣрѣ не услышать, если она начнетъ кричать... А вотъ ты видишь теперь, ни крика, ни слезинки... Во-первыхъ, ужъ вотъ гдѣ у меня сидишь ты, мой красавчикъ!.. Можешь убираться; будь увѣренъ, что я звать тебя назадъ не буду... Поѣзжай же со своей супругой, со своей милашкой, какъ говорятъ къ твоей семьѣ, на твой острова. Хороша она, должно быть, эта милашка... настоящая го-

рилла или брюхатая на снось... Вѣдь ты такой же простофиля, какъ и тѣ, чтѣ тебѣ ее подыскали...

Она уже не сдерживалась; изъ устъ ея лился неисчерпаемый потокъ ругательствъ и брани; наконецъ, у нея хватило силъ бормотать только отдѣльныя слова: «подлецъ... лгунъ... негодяй»... и она твердила это ему въ лице, съ какимъ-то вызовомъ, точно показывая кулакъ.

Теперь за Жаномъ была очередь слушать ее, не говоря ни слова, не пытаясь даже остановить ее. Ему даже легче было видѣть ее такою: бранчивою, противною, настоящей дочкой старика Леграна. Разлука покажется теперь менѣ жестокой... Поняла ли это она или нѣтъ, но она внезапно смолкла, и вдругъ, головой и грудью впередъ, припала къ колѣнямъ своего любовника, съ громкимъ рыданьемъ, которое потрясло ее всю, и среди котораго раздавалась мольба, прерываемая плачемъ:

— Извини... прости... я тебя люблю, одного только тебя... Любовь моя, жизнь моя, не дѣлай этого... не бросай меня... что со мною будетъ?..

Его уже охватывало волненіе... О! вотъ этого-то именно онъ и опасался... слезы ея словно подступали къ его глазамъ, и онъ откидывалъ голову назадъ, чтобы удержать ихъ подъ рѣсницами, пытаясь въ то же время успокоить ее разными пошлыми словами и все тѣмъ же доводомъ:

— Да вѣдь я же долженъ уѣхать...

Она вдругъ выпрямилась, съ крикомъ, обличавшимъ всю ея надежду:

— Ты бы не уѣхалъ... Я бы сказала тебѣ: «подожди, позволяй еще любить тебя...» Развѣ бываетъ два раза въ жизни, что любить такъ, какъ я люблю тебя?.. Тебѣ еще есть время жениться, ты такъ молодъ... а я скоро буду уже старуха... Я уже буду не въ силахъ... и тогда мы само собой разойдемся...

Онъ хотѣлъ встать; у него хватало на это мужества, и на то, чтобы сказать ей, что всѣ ея слова совершенно напрасны. Но она уцѣпилась за него, она тащила на колѣняхъ по грязи, не высохшей въ этой лошинѣ, вынуждала его снова сѣсть и, крѣпко прижавшись къ нему, дыханіемъ своихъ губъ, сладострастными взглядами, дѣтскими ласками, поглаживая рукой его застывшее лицо, запуская пальцы въ его волосы, она пробовала раздуть охладѣвшій пепелъ ихъ любви, шопотомъ напоминала ему всѣ прошлыя наслажденія, пробужденія съ полной утратой силъ, забытые упоенія въ былые воскресные дни. Все это ничто, въ сравненіи съ тѣмъ, что она еще доставитъ ему; она знаетъ иные поцѣлуги, она найдетъ для него иныя безумныя ласки...

И пока она шептала ему такія слова, какія мужчинамъ приходится слышать только на порогахъ ночныхъ вертеповъ, изъ глазъ ея ручьемъ катились крупныя слезы; въ лицѣ было выраженіе и агоніи, и ужаса. Наконецъ, она стала биться и кричать: «О, только чтобъ этого не было!.. Скажи, что это неправда... что ты меня не покинешь...» И снова стоны, рыданія, призывы на помощь, точно онъ стоялъ передъ ней съ ножомъ въ рукахъ.

Впрочемъ, палачъ оказался ничуть не сильнѣе своей жертвы. Гнѣва ея онъ не боялся, какъ и ласкъ ея; но онъ оставался беззащитнымъ противъ этого отчаянія, противъ этихъ криковъ, оглашавшихъ весь лѣсъ, разбѣгавшихся по стоячей водѣ прудовъ, на которую спускались угрюмые лучи краснаго солнца... Онъ ожидалъ страданій, но не столь острыхъ, и нужно было все ослѣпление его новой любовью, чтобы устоять противъ желанія поднять ее за обѣ руки и сказать ей: «Я остаюсь, успокойся, я остаюсь...»

Сколько времени терзались они оба такимъ образомъ?.. Солнце было уже не болѣе; какъ полоской, все болѣе суживаясь на закатѣ; прудъ окрасился въ сѣрый аспидный цвѣтъ, и можно было сказать, что его зловредныя испаренія наполняли и землю, и лѣсъ, и окрестные холмы. Въ сумракѣ, настигавшемъ ихъ, онъ видѣлъ лишь это блѣдное лице, обращенное къ нему, все тотъ же раскрытый ротъ съ неизсякаемой мольбой. Затѣмъ, когда пришла ночь, крики стихли... Хлынули горячія слезы, безъ конца, какъ дождь который долго идетъ вслѣдъ за шумомъ грозы—и по временамъ раздавался протяжный и глухой стонъ, какъ передъ чѣмъ-то страшнымъ, что она гнала отъ себя и что снова чудилось ей.

Затѣмъ, болѣе ничего... Конечно, горе ее доконало... Поднимается холодный вѣтерокъ, колышетъ вѣтви и доноситъ эхо отдаленнаго боя часовъ.

— Пойдемъ, не оставаться же здѣсь.

Онъ осторожно поднимаетъ ее, чувствуетъ, что она послушна въ его рукахъ, какъ ребенокъ, и только судорожно и глубоко задыхается. Точно она чувствуетъ боязнь и уваженіе къ мужчине, который выказалъ себя такимъ сильнымъ. Она идетъ рядомъ съ нимъ, въ ногу, но робко, не давая ему руки; видя ихъ такими, нетвердо ступающими и угрюмыми, въ аллеяхъ, по которымъ вель ихъ въ темнотѣ лишь желтоватый отблескъ почвы, ихъ можно было принять за деревенскую парочку, которая возвращается, утомленная, съ продолжительной работы на открытомъ воздухѣ.

На опушкѣ показывается свѣтъ; отворенная дверь Гошкорна освѣщаетъ силуэты двухъ стоящихъ фигуръ.

— Это вы, Госсенъ? спрашиваетъ голосъ Геттема, который подходитъ въ сопровожденіи лѣсничаго.

Они начали тревожиться, что сосѣди ихъ не возвращаются, и слышали притомъ какіе-то стоны въ лѣсу. Гошкорнъ уже хотѣлъ было взять ружье и идти на поиски.

— Добрый вечеръ, сударь, сударыня... А малютка ужъ какъ довольна своей шалью... пришлось и уложить ее вмѣстѣ съ нею.

Это было послѣднее ихъ дѣйствіе сообща; руки ихъ въ послѣдній разъ соединились въ милостыню, поданной бѣдному, полумертвому ребенку.

— Прощайте, дядя Гошкорнъ, прощайте.

Всѣ трое спѣшать къ дому. Геттема все еще заинтригованъ этими криками, оглашавшими лѣсъ.

— То громче, то тише, точно рѣзали какого-то звѣря. Да какъ же вы-то ничего не слышали?

Ни онъ, ни она не отвѣчали.

У начала *Ravé des Gardes* Жанъ остановился.

— Останься же хоть обѣдать...—шепнула ему Фанни умоляющимъ голосомъ. — Уже поѣздъ прошелъ... ты можешь отправиться съ девятичасовымъ.

Онъ вернулся въ домъ вмѣстѣ съ ними. Чего ему бояться? Два раза подобныя сцены не возобновляются, и надо же оказать ей хоть это маленькое утѣшеніе.

Въ столовой тепло; лампа горитъ ярко, и шумъ ихъ шаговъ въ корридорѣ предупредилъ служанку, которая уже ставитъ суповую чашу на столъ.

— Наконецъ-то!—говоритъ Олимпія, уже примостившаяся къ столу, подвязавъ салфетку подъ короткія руки. Она снимаетъ крышку съ суповой чаши, и вдругъ восклицаетъ — «Боже мой, милая моя»!

Истощенная, постарѣвшая на десять лѣтъ, съ одутлыми и налившимися кровью вѣями, все платье въ грязи, даже грязь въ волосахъ, весь туалетъ въ невообразимомъ безпорядкѣ, какъ у потаскушки, бѣжавшей отъ полицейской облавы, — вотъ какой была Фанни. Она переводитъ духъ, воспаленные глаза ея мигаютъ отъ свѣта, и мало по малу теплота маленькаго домика, весело накрытый столъ — вызываютъ въ ней воспоминація счастливыхъ дней и новый наплывъ слезъ, въ которыхъ слышатся слова:

— Онъ оставляетъ меня... онъ женится...

Геттема, жена его, служанка смотрятъ другъ на друга, глядятъ на Госсена.

— Но все-таки надо обѣдать, говоритъ толстякъ; видно, что онъ виѣ себя.

И стукъ ложекъ о тарелки смѣшивается съ плескомъ воды въ сосѣдней комнатѣ, гдѣ Фанни обмываетъ себѣ лице. Когда она возвращается, вся бѣлая отъ пудры, въ бѣломъ шерстяномъ пеньюарѣ, Геттемы слѣдятъ за нею съ тревогой, ожидая новаго взрыва, и чрезвычайно удивляются, видя, что она, не говоря ни слова, жадно набрасывается на кушанья, точно спасенный отъ кораблекрушенія, стараясь вознаградить свою потерю всѣмъ, что попадаетъ подъ руку — и хлѣбомъ, и капустой, и крылышкомъ цесарки, и картофелемъ; она ѣсть, все ѣсть...

Сперва разговоръ видимо не клеится, но потомъ становится свободнѣе, и такъ какъ бесѣда съ супругами Геттема всегда сама по себѣ очень плоская и затрогиваетъ предметы чисто матеріальные: о способѣ приготовленія блинчиковъ съ вареньемъ, или о томъ, на чемъ лучше спать, на волосѣ или на пуху — то спокойно, безъ сучка и задоринки, доходятъ до кофе, которое тучная парочка сопровождаетъ смакованьемъ карамельнаго ликера изъ маленькихъ рюмочекъ, разложивъ локти на столѣ.

Забавно смотрѣть на тѣ добродушные, довѣрчивые и спокойные взоры, которыми обмѣниваются эти грузные сотоварищи по яслямъ и по подстилкѣ. Этими-то нѣтъ охоты разставаться. Жанъ подмѣчаетъ ихъ взгляды, и подъ вліяніемъ обстановки столовой, переполненной пріятными воспоминаніями, сказывающимися во всякомъ уголкѣ, точно цѣпенѣтъ отъ утомленія пищеваренія, отъ чувства довольства. Фанни зорко слѣдитъ за нимъ, пододвигаетъ тихо свой стулъ, незамѣтно касается его ногъ, протискиваетъ подъ его руку свою.

— Слышишь?—вдругъ говоритъ онъ,—бьетъ девять часовъ... Пора. Прощай. Я тебѣ напишу.

Онъ всталъ, вышелъ, перешелъ улицу, ощупью ищетъ рогаки, чтобы пройти ближе. Двѣ руки обхватываютъ его сзади:

— Поцѣлуй же меня, по крайней мѣрѣ...

Онъ ощущаетъ, что попалъ въ разстегнутый пеньюаръ, коснулся ея наготы, почувствовалъ этотъ запахъ, эту теплоту женскаго тѣла, отуманился этимъ прощальнымъ поцѣлуемъ, оставившимъ во рту у него ощущеніе лихорадки и слезъ; она, чувствуя его безсиліе, шепчетъ ему: «еще одну ночь, всего только одну»...

Раздается сигнальный рожокъ... идетъ поѣздъ!

Какъ у него хватило силъ вырваться, добѣжать до станціи, фонари которой сверкали сквозь обнаженные отъ листьевъ кусты? Онъ самъ дивился этому, сидя, запыхавшись, въ вагонѣ, глядя въ окно на освѣщенные окна домика и на бѣлую фигуру, еще мелькавшую у барьера...

— Прощай! Прощай!

Это восклицаніе успокоивало безмолвный ужасъ, какой охватилъ его, когда онъ замѣтилъ свою любовницу на поворотѣ желѣзнодорожнаго полотна, на томъ самомъ мѣстѣ, которое чудилось ему въ призракѣ смерти.

Высунувъ голову изъ окна вагона, онъ смотрѣлъ, какъ бѣжитъ, уменьшается, исчезаетъ въ смѣнѣ полей ихъ маленькій павильонъ; свѣтъ оконъ его уже кажется заблудившейся звѣздочкой. Вдругъ онъ ощутилъ радость, невыразимое успокоеніе. Какъ легко дышется, какъ прекрасна эта Медонская долина и высокіе холмы, окаймляющіе тамъ вдали какой-то треугольникъ, искрающійся тысячами огней, разсѣянныхъ по берегу Сены правильными линіями! Тамъ ждетъ его Ирена, и онъ несется къ ней со всей быстротой поѣзда, съ желаніемъ влюбленнаго, съ новымъ порывомъ къ жизни молодой и честной.

Парижъ!.. Онъ нанялъ карету, чтобъ ѣхать на Вандомскую площадь. Но при свѣтѣ газоваго рожка онъ оглядѣлъ предварительно свою одежду: платье и обувь покрыты грязью, тяжелою, густою, грязью его прошлаго, которое еще давило его своею тяжестью и нечистотою.

— Нѣтъ, только не сегодня вечеромъ...

И онъ поѣхалъ въ свой прежній отель, въ улицу Жакобъ, гдѣ Фенать наняла ему комнату рядомъ со своей.

XIII.

На другой день Сезеръ, принявъ на себя щекотливую комисію съѣздить въ Шавилль за вещами и книгами племянника и завершить разрывъ перевозкой всего добра въ Парижъ, вернулся очень поздно, когда Госсенъ уже утомился отъ разнаго рода безумныхъ и мрачныхъ догадокъ. Наконецъ фіакръ съ рѣшеткой наверху, грузный, словно траурныя дроги, показался въ улицы Жакобъ, нагруженный перевязанными ящиками и громаднымъ чемоданомъ, который онъ призналъ за свой, и дядя Сезеръ вошелъ съ грустнымъ и какимъ-то таинственнымъ видомъ.

— Я потому пробылъ долго, что хотѣлъ забрать все сразу, чтобы не возвращаться опять.

Затѣмъ, показавъ на ящикъ, который двое слугъ вносили въ комнату:

— Это бѣлье и платье, тутъ твои бумаги, тамъ книги... Не хватаетъ однихъ только писемъ; она просила меня оставить ихъ у нея еще на нѣкоторое время, чтобы перечитать ихъ, имѣть хоть что нибудь твоего... Я нашель, что это не представляетъ ничего опаснаго... Она такая славная дѣвушка...

Онъ протяжно вздохнулъ, присѣвъ на чемоданъ, и вытеръ свой рязгоряченный лобъ шелковымъ платкомъ величиною съ салфетку. Жанъ не смѣлъ разспрашивать о подробностяхъ, о томъ, въ какомъ расположеніи онъ засталъ Фанни; а тотъ ничего не говорилъ, боясь огорчить его. И это молчаніе, тяжелое, преисполненное не высказанныхъ мыслей, они нарушали только замѣчаніями о погодѣ, которая съ вечера круто повернула на холодъ, о плачевномъ видѣ этого предмѣстья Парижа, пустынного и обнаженного, усаженного лишь трубами заводовъ, да громадными чугунными цилиндрами—кладовыми огородниковъ. Затѣмъ, спустя нѣкоторое время, Жанъ спросилъ:

— А она, дядюшка, ничего не дала вамъ для передачи мнѣ?

— Нѣтъ, ты можешь быть спокоенъ... Она не будетъ надѣяться тебѣ... Она съ большой твердостью и достоинствомъ погорилась своей участи.

Жанъ почему-то увидаль въ этихъ словахъ намѣреніе осудить его, упрекнуть за его крутость.

— Что ни говори, хотя одно другого стоитъ, — прибавилъ дядя,—а по мнѣ лучше царянины Морна, чѣмъ отчаяніе этой несчастной.

— Она много плакала?

— Ахъ, мой другъ!.. И какъ хорошо плакала, отъ чистаго сердца! Я и самъ зарыдалъ, глядя на нее, не имѣя силы...

Онъ откашлялся, стряхнулъ охватившее его волненіе, порывисто мотнулъ головой.

— Наконецъ, что же подѣлаешь? Вина не твоя... не могъ же ты пробыть съ нею всю жизнь... Все сдѣлано, какъ нельзя болѣе прилично, ты оставляешь ей и деньги, и мебель. А теперь честь и слава новой любви! Постарайся поскорѣ позвать насъ на свадьбу... Вотъ это для меня уже дѣло слишкомъ серьезное. Придется самому консулу вмѣшаться... Я же собственно годенъ только на ликвидаціи незаконныхъ союзовъ...

И вдругъ на него напалъ меланхолическій стихъ; приложивъ лобъ къ оконному стеклу, онъ сталъ глядѣть на нависшія тучи, спускавшіяся по крышамъ:

— Какъ ни какъ, а міръ становится грустенъ... Въ мое время разставались гораздо веселѣе.

Фенатъ уѣхалъ, а за нимъ слѣдомъ отправилась и подъемная машина. Жанъ, лишившись этого весельчака, подвижнаго и болтливаго, долженъ былъ провести цѣлую недѣлю подъ впечатлѣніемъ пустоты и одиночества, ощущая всю мрачную непрigлядность вдовца. Въ подобныхъ случаяхъ, даже если нѣтъ сожалѣнія о минувшей страсти, вѣчно ищешь другое лице: вамъ не хва-

гаетъ его. Жизнь вдвоемъ, сожителство и днемъ и ночью создаютъ дѣлую сѣть невидимыхъ и мелкихъ узъ, которыхъ прочность сознается только по горечи и по трудности разрыва. Вліяніе соприкосновенія и привычки до того сильно, что два существа, живущія одной жизнью, кончаютъ тѣмъ, что становятся похожими другъ на друга.

Пять лѣтъ, проведенныя имъ съ Сафо, не могли еще довести его до такого сходства съ нею, но тѣло его сохраняло слѣды оковъ, подавлявшихъ его своей привлекательностью. И нѣсколько разъ даже его ноги, по уходѣ со службы, сами собой, невольно двигались по направленію къ Шавиллю, точно также не разъ случалось, что по утрамъ онъ искалъ около себя на подушкѣ черные волосы, не сдерживаемые гребнемъ, на которые падалъ первый его поцѣлуй.

Въ особенности вечера казались ему нескончаемыми въ комнатѣ отеля, напоминавшей ему первое время ихъ связи, присутствіе прежней любовницы, изящной и тихой, визитная карточка которой пропитывала самое зеркало ароматомъ алькова и таинственностью ея имени: Фанни Легранъ. Тогда онъ уходилъ изъ дому, чтобы какъ-нибудь утомиться, шатался по улицамъ, заглушалъ свою тоску среди яркаго освѣщенія и толкотни въ какомъ-нибудь маленькомъ театрѣ; и это продолжалось до тѣхъ поръ, пока старикъ Бушро не далъ ему право проводить три вечера въ недѣлю съ невѣстой.

Наконецъ, все уладилось. Ирена любила его, «uncle» далъ свое согласіе. Свадьба предполагалась въ первыхъ числахъ апрѣля, по окончаніи курсовъ. Оставались еще три зимніе мѣсяца, чтобы видѣться, узнать другъ друга поближе, жить взаимными желаніями, заниматься любящей и чарующей перифразой перваго взгляда, который единить души, и перваго признанія, которое волнуетъ ихъ.

Въ вечеръ послѣ сговора, возвратясь домой, Жанъ вздумалъ привести свою комнату въ порядокъ и придать ей видъ рабочаго кабинета, повинувся естественному инстинкту, который побуждаетъ насъ устраивать нашу жизнь и обстановку соотвѣтственно нашимъ мыслямъ. Онъ убралъ столъ и книги, которыя оставались еще не развязанными со времени переѣзда; онъ громоздились кучей въ наскоро сколоченномъ деревянномъ ящикѣ, гдѣ томы законовъ помѣщаются рядомъ со связкой платковъ и садовымъ костюмомъ. Изъ раскрытаго словаря комерческаго права, который онъ чаще всего перелистывалъ, выпало письмо безъ конверта, писанное почеркомъ его любовницы.

Фанни предоставила это письмо на произволь случайностей

его будущихъ работъ, не полагаясь на слишкомъ мимолетное соболѣзнованіе Сезера и думая, что письмо такимъ способомъ вѣрнѣе дойдетъ по адресу. Онъ сперва не рисковалъ развернуть его, но уступилъ первымъ словамъ, очень нѣжнымъ и разсудительнымъ; волненіе писавшей было замѣтно только по дрожанію пера, по неровному расположенію строкъ. Она просила лишь одной милости, единственной — чтобы онъ по временамъ навѣщалъ ее. Она не станетъ ничего говорить ему, не упрекнетъ его ни въ чемъ — ни за женитьбу, ни за разрывъ, который, какъ она понимаетъ, уже разрывъ безповоротный и окончательный. Только бы видѣть его!...

«Подумай самъ, какой это для меня страшный ударъ, и притомъ неожиданнѣйшій, внезапнѣйшій... Я, точно послѣ смерти близкаго человѣка или пожара, не знаю за что взяться. Плачу, чего-то жду, глядя на мѣста, гдѣ была такъ счастлива. Ты одинъ въ состояніи приучить меня къ моему новому положенію... Этого я прошу какъ милостыни; навѣсти меня, чтобы я не чувствовала себя такой одинокой... я боюсь за себя»...

Такія жалобы, такой умоляющій призывъ наполняли все письмо и всегда кончались тѣми же словами: «навѣсти... приходи».. Онъ могъ еще представить себѣ, что стоитъ на просьбѣ среди лѣса, а Фанни лежитъ у ногъ его; образъ этой несчастной при свѣтѣ цвѣтущаго фиалковаго вечернемъ свѣтѣ, взывающей къ нему, разстроганной и вымокшей отъ слезъ, этотъ открытый ротъ съ криками мольбы... Это-то и преслѣдовало его въ теченіе всей ночи, именно это нарушало его сонъ, а не опьяненіе счастьемъ, съ какимъ онъ вернулся *оттуда*. Предъ нимъ постоянно мелькала эта устарѣвшая, увядшая фигура, не смотря на всѣ его усилія не думать о ней и замѣнить ее личикомъ съ чистыми, нѣжными контурами распустившагося цвѣтка, съ мелькающими въ прелестныхъ очахъ искорками, вызванными признаніемъ въ любви.

Это письмо было написано за недѣлю передъ тѣмъ; цѣлую недѣлю несчастная ожидала отвѣта или посѣщенія, поддержки для примиренія съ судьбой. Но какъ же съ тѣхъ поръ она не написала еще разъ? Быть можетъ, она больна... И къ нему возвращались прежнія опасенія. Онъ подумалъ, что легко узнать о ней у Геттема, и, увѣренный въ неизмѣнной регулярности привычекъ чертежника, пошелъ, съ намѣреніемъ встрѣтить его, къ зданію артиллерійскаго комитета.

Раздался послѣдній ударъ на колокольнѣ церкви св. Юмы Аквинскаго, когда толстякъ показался на углу площадки, съ поднятымъ воротникомъ и трубкой въ зубахъ, которую онъ держалъ обѣими руками, чтобы согрѣть себѣ пальцы. Жанъ увидалъ его

издали и очень взволновался всѣмъ, что эта фигура напомнила ему собой; но Геттема встрѣтилъ его весьма сухо и съ едва сдержаннымъ неудовольствіемъ.

— А, это вы!.. Ужь и проклинали мы васъ всю эту недѣлю!.. А еще переселились за городъ, чтобы жить спокойно...

И у двери, докуривая трубку, онъ разсказалъ Жану, что въ послѣднее воскресенье они пригласили къ обѣду Фанни и мальчика, который въ этотъ день былъ свободенъ; имъ хотѣлось нѣсколько разсвѣять ея мрачныя мысли. И дѣйствительно обѣдъ прошелъ довольно весело; за десертомъ она даже пропѣла имъ одинъ изъ ея любимыхъ романсовъ. Затѣмъ, въ десять часовъ разошлись, и они уже готовились сладко уснуть, какъ вдругъ послышался стукъ въ ставни, и раздался испуганный голосъ Жозефа:

— Идите скорѣе... мама хочетъ отравиться...

Геттема бросился туда какъ разъ во время, чтобы насильно вырвать у нея пузырекъ съ опиумомъ. Пришлось бороться, взять ее на руки, держать и защищаться отъ ударовъ головой и гребнемъ, которымъ она царапала ему лицо. Во время борьбы, пузырекъ разбился, жидкость разлилась повсюду, и на платьяхъ остались пятна и запахъ яда.

— Но вы, конечно, поймете, что такое подобныя сцены, вся эта скандальная драма для людей миролюбивыхъ... За то ужъ и конечно, я отказался отъ квартиры и въ будущемъ мѣсяцѣ переѣзжаю...

Онъ уложилъ трубку въ футляръ и, весьма спокойно простившись съ Жаномъ, исчезъ подъ низенькими арками, которыя вели на небольшой дворикъ, оставивъ Госсена совершенно пораженного тѣмъ, что онъ сейчасъ услышалъ.

Ему представилась эта сцена въ той самой комнатѣ, гдѣ они жили вмѣстѣ; онъ думалъ объ испугѣ мальчика, зовущаго на помощь, о звѣрской борьбѣ съ толстякомъ, и ему точно слышался отдающій снотворной горечью запахъ пролитаго яда. Ужасъ не оставлялъ его цѣлый день и увеличивался еще при мысли о совершенномъ одиночествѣ, въ какомъ она останется. Когда уѣдутъ Геттемы, кто удержитъ ея руку при новомъ покушеніи?

Пришло письмо, которое его нѣсколько успокоило. Фанни благодарила его за то, что онъ не такъ жестокъ, какъ хочетъ казаться, потому что еще интересуется ею, бѣдною, покинутою.

«Тебѣ сказали? да?.. Я хотѣла умереть... Это отъ чувства одиночества!.. Я пробовала, я не могла... меня остановили, а быть можетъ, и рука у меня дрогнула... меня пугало страданіе, безобразіе смерти... О, эта маленькая Доре, какъ у нея хватило му-

жества?... Сначала я стыдилась своей неудачной попытки, но потом мнѣ сладко было подумать, что я могу писать тебѣ, любить тебя издали, быть может, снова увидѣть тебя... Я все еще не теряю надежды, что ты хоть разъ навѣстишь меня, какъ навѣщаютъ несчастную подругу, когда она въ горѣ, изъ жалости, только изъ одной жалости...»

Съ тѣхъ поръ каждые два-три дня получалась изъ Шавилля корреспонденція, то длинная, то въ нѣсколько строкъ, въ своемъ родѣ скорбный дневникъ, котораго онъ не имѣлъ силы отсылать обратно и который расширялъ въ его мягкомъ сердцѣ мѣстечко, отведенное для жалости безъ любви, уже не къ прежней любовницѣ, но просто къ человѣческому существу, страдающему изъ-за него.

Въ одномъ изъ писемъ говорилось объ отъѣздѣ сосѣдей, свидѣтелей ея минувшаго счастья, уносящихъ съ собою столько воспоминаній. Теперь у нея оставались отъ этихъ воспоминаній только мебель, стѣны ихъ маленькаго домика, да служанка, бѣдное дикое существо, столь же мало интересующаяся происходящимъ вокругъ, какъ и иволга, особенно забкая зимой и грустно забившаяся въ уголъ своей клѣтки.

Другой разъ, когда блѣдные лучи солнца играли на обонныхъ стеклахъ, Фанни просыпалась съ радостной увѣренностью: «Сегодня онъ придетъ!» Почему?... Да такъ, пришло въ голову. И тотчасъ принималась прибирать домъ, и наряжаться въ воскресное платье, причесываться, какъ онъ любилъ; затѣмъ, до вечера, до послѣдней искорки свѣта она считала поѣзда изъ окна столовой, прислушиваясь къ шагамъ по *Pavé des Gardes*... Ну, не безумство ли это!

Иногда въ письмѣ была всего одна строчка:

«Идетъ дождь, темно; я совсѣмъ одна и плачу по тебѣ...»

Или она довольствовалась тѣмъ, что запечатывала въ конвертъ бѣдный цвѣтокъ, измокшій и заоченѣвшій, послѣдній изъ ихъ садика. Этотъ цвѣтокъ, добытый изъ-подъ снѣгу, лучше словъ выражалъ зиму, одиночество, разлуку; Жанъ видѣлъ то мѣсто, откуда взять цвѣтокъ въ концѣ аллеи; ему представлялось, какъ около клумбъ женская фигура съ измокшимъ подоломъ платья идетъ за цвѣткомъ и возвращается съ нимъ домой, какъ отшельница...

Это чувство жалости, отъ котораго сжималось его сердце, все еще заставляло его заочно жить съ Фанни, не смотря на разрывъ. Онъ думалъ о ней, представлялъ ее себѣ ежеминутно. Но по какому-то странному предательству его памяти, хотя со времени ихъ разлуки протекло не болѣе пяти-шести недѣль, мель-

чайшія подробности ихъ жилища воскресали передъ нимъ — и клѣтка «Value», напротивъ часовъ съ деревянной кукушкой, выигранныхъ въ лотерею на одномъ загородномъ празднествѣ, и даже вѣтви орѣшника, которыя при малѣйшемъ вѣтрѣ стучали въ оконныя стекла ихъ уборной, — но сама женщина уже не представлялась ему такъ ясно. Онъ видѣлъ ее точно въ туманной дали и только помнилъ живо одну подробность, рѣзкую и неприятную — исказившійся ротъ, улыбку, искривлявшуюся отъ недостатка одного зуба.

Состарѣвшись чѣмъ же станетъ это бѣдное созданіе, рядомъ съ которымъ онъ жилъ такъ долго? Когда израсходуются оставленныя имъ деньги, куда пойдетъ она, до какой ступени можетъ пасть? И вдругъ въ памяти его мелькнула угрюмая уличная женщина, встрѣченная имъ однажды въ англійской тавернѣ, умиравшая отъ жажды передъ своимъ ломтикомъ копченой семги... Вотъ что съ нею станется—съ этой милой, которая такъ долго окружала его и заботами, и нѣжностью, страстно и неизмѣнною... Эта мысль приводила его въ отчаяніе... Что же, однако, дѣлать? Развѣ потому, что онъ имѣлъ несчастье встрѣтить эту женщину и прожить съ нею нѣкоторое время, онъ обреченъ былъ вѣчно оставаться съ ней и жертвовать ей своимъ счастьемъ? Почему же именно онъ, а не другіе? Во имя какого права?

Запрещая себѣ видѣть ее, онъ все-таки ей писалъ, и письма его, умышленно дѣловитыя и сухія, позволяли, однако, отгадывать его волненіе, хотя оно прикрывалось совѣтами благоразумія и успокоенія. Онъ убѣждалъ ее взять Жозефа изъ пансіона, держать его около себя, заниматься съ нимъ, чтобы развлекать себя; но Фанни на это не соглашалась. Для чего этому ребенку видѣть ея горе, ея отчаяніе? Довольно и воскресенья, когда мальчикъ бродилъ отъ стула къ стулу, изъ столовой въ садъ, точно угадывая, что надъ ихъ домомъ разразилось большое несчастье, и не смѣя спросить, какъ поживаетъ «папа Жанъ», съ тѣхъ поръ, какъ ему съ рыданьями объявили, что онъ уѣхалъ, что онъ ужъ не вернется...

— Значить, всѣ мои папы уходятъ!..

И эти слова заброшеннаго малютки, писанныя какъ будто мимоходомъ въ одномъ изъ грустныхъ писемъ, запаали тяжелымъ камнемъ на сердце Госсена. Вскорѣ одна мысль о томъ, что она живетъ въ Шавиллѣ, до того стала ему тягостна, что онъ посоветовалъ ей вернуться въ Парижъ, бывать въ обществѣ. Зная по опыту и людей, и послѣдствія разрывовъ, Фанни увидала въ этомъ совѣтѣ лишь страшный эгоизмъ, желаніе избавиться отъ

нея навсегда, при помощи какогонибудь увлеченія, на какія она была способна, и откровенно высказывала ему это:

«Помнишь, что я тебѣ когда-то говорила?.. Я останусь твоей женой, во что бы то ни стало, женой любящей и вѣрной. Въ нашемъ домикѣ я точно окружена тобой и ни за что на свѣтѣ не хотѣла бы разстаться съ нимъ... Что мнѣ дѣлать въ Парижѣ? Мнѣ противно мое прошлое, которое отдалило тебя отъ меня, и затѣмъ, подумай, какому риску ты подвергаешь насъ обонхъ!.. Или ты себя считаешь ужь очень твердымъ?.. Тогда пріѣзжай сюда, злой человекъ... разикъ, только разикъ»...

Онъ не поѣхалъ. Но однажды въ воскресенье, послѣ полудня, когда онъ сидѣлъ за работой, послышались два слабые удара въ дверь. Онъ вдрогнулъ, узнавъ ея манеру давать знать о приходѣ.

Опасаясь наткнуться внизу на какоенибудь распоряженіе на случай ея прихода, она поднялась по лѣстницѣ однимъ духомъ, ничего не распрямивая. Онъ подошелъ къ двери, шаги его пропадали въ коврѣ; онъ слышалъ черезъ скважину въ двери запыхавшееся: «Жанъ, ты здѣсь?» потомъ прерываемую вздохомъ мольбу, шуршаніе письма, нѣжныя слова и звукъ прощальнаго поцѣлуя.

Она спускалась по лѣстницѣ шагъ за шагомъ, медленно, точно ожидала, что ее позовутъ. Но только когда она совсѣмъ спустилась, Жанъ поднялъ письмо и вскрылъ его. Въ то утро хоронили маленькую Гошкорнъ, умершую въ больницѣ для бѣдныхъ дѣтей. Съ отцомъ малютки и другими родными она пріѣхала изъ Шавилля и не могла удержаться, чтобы не подняться къ нему, желая или увидать его, или оставить ему нѣсколько строкъ, написанныхъ заранѣе:

«Что я тебѣ говорила? Если бы я жила въ Парижѣ, меня бы постоянно видѣли на твоей лѣстницѣ... Прощай, милый, я возвращаюсь въ нашъ домикъ».

При чтеніи этихъ строкъ, къ глазамъ его подступали слезы, и онъ вспомнилъ подобную же сцену въ улицѣ Аркадъ, горе прогнаннаго любовника, письмо, просунутое подъ дверь, и безсердечный смѣхъ Фанни. Значить, она любила его сильнѣе, чѣмъ онъ самъ любитъ Ирену. Или мужчина, занятый болѣе, чѣмъ женщина, дѣловою и жизненною борьбой, не обладаетъ такою исключительностью любви, такимъ забвеніемъ и равнодушіемъ ко всему, что не касается страсти — единственной и всепоглощающей?

Эта безпрерывная мука, это болѣзненное чувство жалости, отъ котораго онъ страдалъ, разсѣвались только близъ Ирены. Здѣсь его тревога засыпала и таяла подъ нѣжными голубыми лучами ея взгляда. У него оставалось одно лишь жестокое утомленіе; ему бы хотѣлось прикинуть головою къ плечу невѣсты и

остаться тамъ подъ ея защитой, не говоря ни слова, не дѣлая ни одного движенія.

— Что съ вами?—говорила она,—развѣ вы не счастливы?

— Напротивъ, очень счастливъ.

Да, счастливъ. Но почему же самое счастье его было соткано изъ печалей и слезъ? Бывали минуты, когда онъ хотѣлъ сказать ей все, какъ доброму и разсудительному другу, когда онъ не думалъ, безумецъ, о томъ волненіи, которое подобныя признанія производятъ въ душахъ совершенно непочатыхъ, о тѣхъ нетронутыхъ ранахъ, которыя можно нанести довѣрью привязанности. Ахъ! если бы онъ могъ увести ее, убѣжать вмѣстѣ съ нею! Онъ чувствовалъ, что это былъ бы конецъ его мученій; но старикъ Бушро не уступалъ и одного часа изъ опредѣленнаго до свадьбы времени.

— Я старъ, я боленъ... Мнѣ скоро вовсе не придется видѣть мое дитя... не лишайте же меня послѣднихъ дней...

Не смотря на жесткую наружность, это былъ добрый изъ людей. Приговоренный къ смерти неизлечимою болѣзью сердца: онъ внимательно слѣдилъ за нею, боролся съ нею, говорилъ о ней съ удивительнымъ хладнокровіемъ, продолжалъ свои курсы, задыхаясь, выслушивалъ больныхъ, мѣтѣ пораженныхъ, чѣмъ онъ самъ. Въ этомъ обширномъ умѣ была только одна слабость, въ которой сказывалось его крестьянское происхожденіе изъ окрестностей Тура: его уваженіе къ титуламъ, къ аристократіи. Воспоминаніе о маленькыхъ башенкахъ Кастеле, старинное происхожденіе рода д'Арманди оказали свою долю вліянія на ту готовность, съ какой онъ далъ свое согласіе на бракъ племянницы съ Жаномъ.

Свадьба должна была совершиться въ помѣстьѣ жениха, чтобы не возить въ Парижъ больной матеря, которая каждую недѣлю присылала своей будущей невѣстѣ письмо, исполненное нѣжности, диктованное ею Дивоннѣ или одной изъ своихъ малютокъ.

И для Жана было наслажденіемъ бесѣдовать съ Иреней обо всѣхъ этихъ дорогихъ ему личностяхъ, точно находить Кастеле на Вандомской площади, видѣть всѣ свои привязанности сближенными около милой невѣсты.

Онъ боялся лишь одного: ему казалось, что въ сравненіи съ нею онъ такъ старъ, такъ утомленъ; онъ видѣлъ, что она радуется, какъ дитя, такимъ вещамъ, которыя его уже не занимаютъ; ее веселить въ совмѣстной жизни все, что имъ давно испробовано. Однажды напримѣръ, при составленіи списка всего, что надо будетъ взять съ собою въ консульство, мебели, матерій—онъ задумался, вспомнивъ вдругъ съ испугомъ о томъ, какъ

онъ устраивался въ квартирѣ улицы Амстердамъ и какъ неизбежно было возобновленіе столькихъ счастливыхъ минутъ, изношенныхъ и уничтоженныхъ за эти пять лѣтъ въ сожителствѣ съ другою женщиной, въ этомъ сходствѣ жизни съ нею и жизни съ женой

XIV.

— Да, мой другъ, онъ умеръ сегодня въ ночь на рукахъ Розы... Я только что отнесъ его къ набойщику.

Музыкантъ Поттеръ, котораго Жанъ увидалъ при выходѣ изъ магазина въ улицѣ du Vas, уцѣпился за него, чувствуя потребность излить свою душу, что вовсе не шло къ его безстрастнымъ и жесткимъ чертамъ дѣловитаго человѣка, и сталъ рассказывать ему про мученія бѣднаго Бичито. Его убила парижская зима, извелъ холодъ, не смотря на ватныя затычки, на подогрѣваніе его гнѣздышка въ теченіе двухъ мѣсяцевъ спиртовой лампою, какъ дѣлается обыкновенно для дѣтей, преждевременно рожденныхъ. Ничто не могло прекратить его дрожи въ послѣднюю ночь, когда всѣ сидѣли около него...

— Сердце мое ноетъ, когда я думаю о горѣ моей бѣдной Розы, которую я оставилъ всю въ слезахъ... Къ счастью, Фанни при ней...

— Фанни?

— Да, давно ужъ мы ее не видали... Она какъ разъ явилась сегодня утромъ въ самый разгаръ драмы и, какъ добрая дѣвушка, осталась утѣшать свою пріятельницу.

И, не обращая вниманія на дѣйствіе, которое производили его слова, онъ прибавилъ:

— Такъ ужъ все кончено? Вы больше не вмѣстѣ?.. Помните нашъ разговоръ на Ангьенскомъ озерѣ? Вы, по крайней мѣрѣ, пользуетесь уроками, которые вамъ дають...

И въ его одобреніи звучала завистливая нота.

Госсенъ нахмурился; ему было больно подумать, что Фанни вернулась къ Розаріи. Ему досадно было на себя за такое слабодушіе; вѣдь онъ не имѣлъ уже никакихъ правъ на ея жизнь, не несъ за нее никакой отвѣтственности.

Поттеръ остановился у одного изъ домовъ, улицы Бонъ, старинной улицы прежняго аристократическаго Парижа. Тутъ онъ, жилъ или вѣрнѣе считался живущимъ, для приличія, для свѣта, такъ какъ въ дѣйствительности все время проводилъ въ avenue Вилле, или въ Ангьенѣ, и только нарѣдка показывался у семейнаго очага, чтобы жена и ребенокъ его не казались уже черзчуръ заброшенными.

Жанъ шелъ своей дорогой, намѣреваясь уже распротиться, но тотъ стиснулъ его руку своими жесткими руками, сильными отъ упражненій на фортепьяно, и безъ дальнѣйшихъ околичностей, какъ человѣкъ, который нимало не стыдится своего порока, сказалъ:

— Окажите мнѣ услугу... Зайдите ко мнѣ. Я сегодня долженъ былъ обѣдать съ женой, но, право, я не могу оставить мою бѣдную Розу одну въ отчаяніи... Вы послужите предлогомъ для моего ухода и избавите меня отъ объясненія.

Кабинетъ музыканта, въ роскошной, но холодной барской квартирѣ второго этажа, имѣлъ вполне видъ покинутой комнаты въ которой никто не работалъ. Все было слишкомъ чисто, не замѣчалось ни беспорядка, ни слѣдовъ лихорадочной дѣятельности, которая захватываетъ и всѣ предметы, и самую мебель. Ни книжки, ни бумажонки на столѣ, на которомъ величественно красовалась громадная бронзовая чернильница безъ капли чернилъ; она блестяла, какъ ва выставочномъ окнѣ магазина. На старомъ фортепьяно, въ видѣ шпинетта, на которомъ были вдохновлены первыя творенія артиста, не было и слѣдовъ нотъ...

На каминѣ красовался бѣлый мраморный бюстъ молодой женщины съ тонкими чертами лица, выражавшаго кроткость, совсѣмъ блѣдный въ наступавшихъ сумеркахъ. Бюстъ какъ будто еще болѣе охлаждалъ завѣшанный и нерастопленный каминъ и какъ бы съ грустью глядѣлъ на стѣны, разукрашенные позолоченными вѣнками съ лентами, медалями и другими подношеніями; вся эта рухлядь былой славы и тщеславія великодушно оставлена была женѣ, и она берегла ее, какъ украшенія на могилѣ своего счастья.

Едва успѣли они войти, отворилась дверь кабинета и вошла мадамъ Поттеръ.

— Это ты, Гюставъ?

Она думала, что онъ одинъ, и остановилась предъ незнакомой личностью съ видимой тревогой. Изящная хорошенькая, одѣтая съ обдуманно изысканнымъ вкусомъ, она была гораздо привлекательнѣе, чѣмъ ея бюстъ, а кроткое лицо носило выраженіе нервной и бодрой рѣшимости. Въ свѣтѣ ходили различныя мнѣнія о характерѣ этой женщины. Одни осуждали ее за то, что она переноситъ явное пренебреженіе мужа и вторую семью его, всѣмъ извѣстную, совершенно гласную; другіе, напротивъ, превозносили ея безмолвную покорность судьбѣ. А общее мнѣніе считало ее женщиной мирной, любящей болѣе всего свой покой, находящей достаточное возмездіе за свое вдовство въ ласкахъ прелестнаго ребенка и удовольствіи носить имя знаменитаго человѣка.

Но пока музыкантъ представлялъ своего спутника и бормоталъ какую-то ложь, чтобы избавиться отъ обѣда въ семьѣ. по вздрагиванію этого молодого женскаго лица, по пристальному взору глазъ, который точно ничего не видалъ, ничего не слышалъ, какъ будто поглощенный страданьемъ, Жанъ могъ понять, какое великое горе заживо погребено подъ этой свѣтской наружностью.

Она, повидимому, приняла спокойно рассказъ мужа, которому нисколько не вѣрила, и удовольствовалась тѣмъ, что тихо сказала:

— Раймондъ будетъ плакать. Я обѣщала ему, что мы будемъ обѣдать у его кровати.

— А какъ его здоровье? разсѣянно и нетерпѣливо спросилъ Поттеръ.

— Получше, но онъ все еще кашляетъ... Ты не зайдешь взглянуть на него?

Онъ пробормоталъ нѣсколько словъ сквозь зубы, притворившись, что ищетъ чего-то по комнатѣ.

— Нѣтъ, не теперь... я очень спѣшу... у меня въ шесть часовъ назначено свиданіе въ клубъ.

Онъ именно не хотѣлъ остаться съ нею глазъ на глазъ.

— Ну, такъ прощай же, — проговорила молодая женщина, вдругъ успокоившись, и черты ея лица приняли кроткое выраженіе; она какъ бы замкнулась въ самой себѣ, подобно чистой водѣ, которую замутилъ на минуту упавшій на дно камень. Она поклонилась и вышла.

— Идемте скорѣе.

И освобожденный Поттеръ увлекъ Госсена, который глядѣлъ, какъ впереди его, бодрый и статный, въ длинномъ пальто англійскаго покроя, шелъ этотъ преданный мрачной страсти человѣкъ, въ которомъ сказывалось сильное волненіе, когда онъ шелъ заказывать чучелу хамелеона своей любовницы, и который уходилъ изъ дому, не поцѣловавъ своего больного ребенка.

— Все это, любезный другъ, вина тѣхъ, кто женилъ меня, — сказалъ музыкантъ, какъ бы въ отвѣтъ на мысли своего пріятеля. — Да, ужъ точно, оказали они услугу мнѣ и этой бѣдной женщинѣ... И что за безумная затѣя — сдѣлать изъ меня мужа и отца!.. Былъ я любовникомъ Розы и остался имъ, да и останусь до тѣхъ поръ, пока одинъ изъ насъ не околѣетъ... Если порокъ зацѣпилъ насъ въ подходящее время и держитъ крѣпко, развѣ можно вырваться изъ его когтей?.. Да и вы сами, развѣ вы увѣрены, что если бы Фанни захотѣла...

Онъ кликнулъ проѣзжавшій порожнемъ фіакръ и, садясь въ него, прибавилъ:

— Кстатѣ о Фанни... знаете новость?.. Вѣдь Фламанъ помилованъ и вышелъ изъ тюрьмы... Это вслѣдствіе просьбы Дешлетта... Бѣдняга этотъ Дешлеттъ!.. счумѣлъ сдѣлать добро и послѣ своей смерти...

Окаменѣвъ на мѣстѣ, съ безумнымъ желаніемъ бѣжать, догнать эти колеса, шибко мчавшіяся по темной улицѣ, гдѣ еще только начинали зажигать газъ, Госсенъ удивлялся, чувствуя себя до такой степени взволнованнымъ.

— Фламанъ помилованъ... вышелъ изъ тюрьмы...

Онъ тихо повторялъ эти слова, видя въ нихъ причину и молчанія Фанни въ продолженіе нѣсколькихъ дней, и крутого перерыва ея жалобныхъ воплей, замолкнувшихъ, конечно, подъ ласками утѣшителя; ужъ навѣрное о ней была первая мысль освобожденнаго негодя...

Онъ припомнилъ любовную переписку изъ тюрьмы, настойчивость, съ которою Фанни всегда брала подъ защиту только этого одного, уступая всѣхъ остальныхъ; и вмѣсто того, чтобы радоваться обстоятельству, которое освобождало его отъ всякаго безпокойства, отъ всякаго угрызенія совѣсти, неизмовѣрно мучительная тоска охватила его; онъ не спалъ всю ночь и часть ея провелъ въ лихорадочномъ состояніи. Почему же? Вѣдь онъ ее уже болѣе не любитъ... Но онъ вспомнилъ о своихъ письмахъ, оставленныхъ въ рукахъ этой женщины; она, пожалуй, станетъ читать ихъ тому, другому; а почему знать? повинуюсь дурному вліянію, она, чего добраго, еще вздумаетъ когда нибудь воспользоваться ими, чтобы нарушить его покой, его счастье.

Эта тревога на счетъ писемъ, дѣйствительная или ложная, или бессознательно для него самого прикрывавшая иного сорта тревогу, понудила его на неосмотрительный поступокъ—поѣздки въ Шавилль, отъ которой онъ до сихъ поръ упорно отказывался... Но на кого-же было возложить такой интимное и щекотливое порученіе?..

Однажды въ февральское утро онъ сѣлъ на десятичасовой поѣздъ, совершенно спокойнымъ, съ ровно бьющимся сердцемъ; онъ боялся только одного — что найдетъ домъ запертымъ, такъ какъ обитательница его, пожалуй, исчезла со своимъ мошенникомъ.

Съ поворота пути его успокоили и отворенныя ставни, и занавѣски на окнахъ павильона. Вспомнивъ, съ какимъ волненіемъ онъ глядѣлъ, когда убѣгалъ позади его огонекъ, искрившійся въ ночномъ сумракѣ, онъ подсмѣивался и надъ собой и надъ устойчивостью своихъ впечатлѣній. Теперь въ немъ былъ уже иной человекъ, и, конечно и не ту женщину найдетъ онъ тамъ. Однако,

съ тѣхъ поръ прошло только два мѣсяца. Лѣсъ, мимо котораго проходилъ поѣздъ, еще не одѣлся новыми листьями; на немъ виднѣлись тѣ же осеннія ржавыя пятна, какъ и въ день разрыва, когда лѣсное эхо далеко разносило ея крики.

На станціи онъ сошелъ одинъ, среди пронизывающаго до костей холоднаго тумана, пошелъ по узенькой деревенской дорогѣ, чрезвычайно скользкой отъ гололедицы, прошелъ сводъ подъ желѣзнодорожнымъ путемъ и не встрѣтилъ ни души до *Ravé des Gardes*. Здѣсь, на поворотѣ, передъ нимъ появился мужчина въ сопровожденіи мальчика и станціоннаго служителя съ ручной повозкой, на которой нагружены были чемоданы.

Мальчикъ, плотно закутанный въ кашне, съ надвинутой до самыхъ ушей шапкой, едва удержался отъ восклицанія, проходя мимо него.

— Да это Жозефъ! сказалъ про себя Жанъ, нѣсколько удивленный и даже опечаленный неблагодарностью мальчика. Обернувшись, онъ встрѣтилъ взглядъ мужчины, который велъ ребенка за руку. Лицо умное и красивое, поблѣднѣвшее отъ тюремнаго заключенія, готовое платье, купленное наканунѣ; бѣлокурая борода, едва пробивающаяся и не успѣвшая еще отроссти со дня освобожденія изъ тюрьмы — да, это Фламанъ, а Жозефъ то и былъ его сыномъ.

Какъ молнія, блеснуло въ умѣ Жана такое открытіе. Онъ теперь перебралъ въ умѣ и уразумѣлъ все прошлое, начиная съ письма, въ которомъ красавецъ-граверъ поручалъ попеченію его любовницы ребенка въ провинціи, и до загадочнаго появленія мальчика; вспомнилъ онъ и замѣшательство Геттема въ рѣзговорѣ объ этомъ усыновленіи, и переглядыванія Фанни съ Олимпіей. Видно, они всѣ сговорились заставить его кормить сына фальшиваго монетчика... Какъ онъ былъ простъ, и какъ они, должно быть, потѣшались надъ нимъ!... Чувство отвращенія поднялось въ немъ при этомъ воспоминаніи о позорномъ прошломъ, ему захотѣлось уже вернуться и убѣжать далеко, далеко... Но его еще волновали обстоятельства, которыя ему хотѣлось непременно разъяснить. Мужчина и ребенокъ уѣхали; а она что же? И затѣмъ его письма... ему нужны его письма, ему нельзя оставлять ничего своего въ этомъ вертепѣ грязи и несчастія...

— Барыня!.. Баринъ пріѣхалъ!

— Какой баринъ?.. наивно спросилъ голосъ изъ глубины комнаты.

— Это я...

Послышались крикъ, послѣдній прыжокъ, потомъ:

— Подожди, я встаю... сейчасъ...

Еще въ постели послѣ двѣнадцати часовъ! Жанъ, конечно, догадывался почему; ему знакомы были причины утренней усталости и совершеннаго изнеможенія. И пока онъ ожидалъ ее въ столовой, малѣйшіе предметы, свистки проходящихъ поѣздовъ, дребезжащее «мэ-э» ягненка въ сосѣднемъ саду, оставленные на столѣ приборы — воскрешали въ его памяти утренніе часы былыхъ дней, легкіе завтраки, наскоро приготовленные передъ отправленіемъ на службу.

Фанни вошла и порывисто кинулась къ нему, но остановилась пораженная его холоднымъ видомъ. Съ минуту они стояли другъ противъ друга съ удивленіемъ, въ нерѣшительности, какъ бываетъ всегда послѣ такихъ порванныхъ интимностей, точно вы очутились по обѣ стороны разрушеннаго моста, на разстояніи отъ одного берега до другого, и въ промежуткѣ между вами разверзся kloчущій и всепоглощающій потокъ.

— Здравстуйте, тихо сказала она, не трогаясь съ мѣста.

Она нашла его нѣмѣвшимися, поблѣднѣвшимъ, а онъ удивлялся, что видитъ ее все такую же молодую, даже нѣсколько пополнѣвшею, какъ будто меньше ростомъ, но окутанною тѣмъ особеннымъ сіяніемъ, тѣмъ блескомъ кожи и глазъ, той мягкостью свѣжей лужайки, какія оставались у ней, послѣ ночей, проведенныхъ въ безумныхъ ласкахъ. Значить, та, при мысли о которой сердце его сжималось отъ жалости, осталась въ лѣсу, на днѣ оврага, засыпаннаго засохшими листьями.

— А позднею встаетъ въ деревнѣ, замѣтилъ онъ ироническимъ тономъ.

Она стала извиняться, ссылаясь на мигрень и, подобно ему, говорила въ формѣ безличной, не зная, обращаться ли на «ты» или на «вы». Затѣмъ, на безмолвный вопросъ его о значеніи прибора на столѣ, она отвѣчала:

— Это ребенокъ... онъ завтракалъ тутъ утромъ передъ тѣмъ, какъ идти.

— Идти?.. куда же?

Губы его выражали полнѣйшее равнодушіе, но блескъ глазъ выдавалъ его.

— Отецъ его явился... Онъ приходилъ взять его.

— Выйдя изъ Мазаса, не правда ли?

Она вздрогнула, но не стала лгать.

— Ну да... я общалась и сдержала слово... Сколько разъ хотѣлось мнѣ признаться тебѣ въ этомъ, но я не смѣла; я боялась, что ты прогонишь его, бѣдняжку.

И она прибавила робко:

— Ты былъ такой ревнивый.

Онъ презрительно усмѣхнулся.

Ревнивъ, онъ... къ этому каторжнику... вотъ еще!.. И чувствуя, что въ немъ поднимается злоба, онъ сказалъ рѣзко, разомъ, зачѣмъ онъ прѣхалъ. Гдѣ его письма?.. Почему не отдала она ихъ Сезеру? Это устранило бы необходимость свиданія, одинаково тягостнаго для обоихъ.

— Да, это правда,—отвѣчала она тѣмъ же кроткимъ тономъ.— Я сейчасъ тебѣ отдамъ ихъ, они здѣсь...

Онъ пошелъ за нею въ спальню, увидалъ, что постель въ безпорядкѣ, одѣяло наскоро наброшено на двѣ подушки; онъ почувялъ запахъ папирось, перемѣшанный съ ароматомъ женскаго туалета. Онъ узнавалъ и этотъ воздухъ, и перламутровую шкатулку съ письмами на столѣ? И обоимъ имъ пришла одна и та же мысль.

— Тутъ ихъ немного,—сказала она, открывая шкатулку,—отъ этого бы ничего не загорѣлось.

Онъ молчалъ, взволнованный, съ пересохшимъ ртомъ, не рѣшаясь приблизиться къ этой безпорядочной постели, у которой она перелистывала его письма въ послѣдній разъ, наклонивъ голову, показывая затылокъ, крѣпкій и бѣлый подъ взбитыми вверхъ волосами, и полную мягкую талию въ распашномъ шерстяномъ пеньюарѣ....

— Возьми, они всѣ тутъ.

Взявъ у нея пачку писемъ, Жанъ поспѣшно сунулъ ихъ въ карманъ; тревоги его приняли другое направленіе, и онъ спросилъ:

— Такъ онъ беретъ своего ребенка?... Куда же они отправляются?

— Въ Морванъ, на родину, чтобы пріютиться тамъ, дѣлать гравюры и высылать въ Парижъ подъ вымышленнымъ именемъ.

— А ты?.. намѣрена остаться здѣсь?

Она отвернулась, чтобы онъ не видѣлъ ея глазъ, и бормотала, что это было бы крайне грустно. Поэтому она думала... предполагала совершить небольшое путешествіе.

— Въ Морванъ, разумѣется?... Въ свою семью?..

Онъ далъ полную волю страшному припадку ревности:

— Скажи лучше прямо, что ты поѣдешь за своимъ негодяемъ, что вы станете жить вмѣстѣ... Вѣдь давно ужъ тебѣ этого хотѣлось... Съ Богомъ! Возвращайся въ свой хлѣвъ. Распутная женщина и фальшивый монетчикъ—одно къ другому подходить... И охота была мнѣ вытаскивать тебя изъ этой грязи!

Она продолжала молчать и стояла неподвижно, но изъ-подъ опущенныхъ рѣсницъ блестѣлъ огонь торжества. И чѣмъ болѣе онъ казнилъ ее жестокою и оскорбительною ироніей, тѣмъ за-

мѣтнѣе становилась ея гордость и тѣмъ сильнѣе содрогался уголокъ ея рта. Онъ говорилъ теперь о своемъ счастьи, о любви юной и честной, его единственной любви. О, какъ сладко уснуть на груди честной женщины!.. Затѣмъ, грубо понизивъ голосъ, точно стыдясь своихъ словъ:

— Я только что встрѣтилъ твоего Фламана; вѣдь онъ провель ночь здѣсь?

— Да, было поздно, шелъ снѣгъ... ему постлали постель на диванѣ.

— Ты жеишь... онъ спалъ тутъ, достаточно взглянуть на постель и на тебя поглядѣть!

— Ну, что-же дальше?

Съ этими словами она приблизила къ нему свое лицо, освѣщенное сѣрыми глазами, въ которыхъ заиграли искорки разгула.

— Развѣ я знала, что ты придешь... А потерявъ тебя, что мнѣ до всего остального?.. Я была грустна, одинока, все мнѣ было противно...

— Ну да, и при этомъ тюремные ароматы!.. Послѣ того какъ ты пожила съ человѣкомъ честнымъ... Это казалось тебѣ пріятно... да? Вотъ, я думаю, натѣшились-то вдоволь... А! гадина, вотъ тебѣ...

Она видѣла, что готовится ударъ, но не старалась избѣжать его, приняла его прямо въ лицо, и затѣмъ съ глухимъ стономъ боли, радости, торжества, бросилась на него, ухватила обѣими руками.

— Милый, милый, ты еще меня любишь... и они вдвоемъ упали на постель...

Шумъ и трескъ проходившаго экстреннаго поѣзда разбудилъ его къ вечеру. Открывъ глаза, онъ нѣсколько минутъ какъ будто не узнавалъ себя, лежа одинъ въ большой кровати. Разбитые члены его тѣла, точно послѣ утомительнаго пути, казались положенными одинъ воалѣ другого безъ взаимной связи и соотношенія. Послѣ полудня выпало много снѣгу. Среди пустынной тишины слышно было, какъ снѣгъ таетъ, струится по стѣнамъ, вдоль оконныхъ стеколъ, по желобамъ крыши, порою падая даже по трубѣ на горѣвшій въ каминѣ коксъ.

Гдѣ это онъ? что онъ тутъ дѣлаетъ? Мало по малу, благодаря отраженію изъ маленькаго садика, комната являлась ему совершенно бѣлою, освѣщенною снизу, съ висящимъ передъ нимъ портретомъ Фанни, и ему пришло на память его паденіе, но это уже нимало не изумляло его.

Съ той минуты, какъ онъ вошелъ въ спальню, увидалъ зна-

комую кровать, онъ почувствовалъ, что онъ взять ею снова, что онъ пропалъ. Онъ говорилъ себѣ: «Если я паду, то безвозвратно и навсегда».

Все было кончено. вмѣстѣ съ грустнымъ отвращеніемъ къ своей низости, онъ какъ будто чувствовалъ облегченіе при мысли, что ему ужъ не вылѣзти изъ этой грязи — плачевное утѣшеніе раненаго, который, изнемогая отъ потери крови, влача свою рану, ложится въ навозную кучу, чтобы умереть и, утомленный страданіями и борьбой, съ струящейся изъ открытыхъ жилъ кровью, сладостно зарывается поглубже въ мягкое и пахучее тепло.

То, что оставалось ему сдѣлать, было ужасно, но весьма просто. Вернуться къ Ирени послѣ такой измѣны и идти на женитьбу вродѣ Поттера?.. Какъ бы низко онъ ни упалъ, но все еще не до такой степени... Онъ напишетъ Бушро, этому великому физиологу, который первый изучилъ и описалъ болѣзни воли. изложить ему одинъ изъ страшныхъ случаевъ, исторію своей жизни со дня первой встрѣчи съ этой женщиной, когда она взяла его подъ руку, до того дня, когда считая себя спасеннымъ, среди полнѣйшаго счастья любви онъ снова поддался ей въ силу чаръ прошлаго, этого ужаснаго прошлаго, гдѣ было такъ мало любви и гдѣ царили только постыдная привычка и порокъ, проникшій до мозга костей...

Отворилась дверь. Фанни тихо ступала по комнатѣ, чтобы не разбудить его. Изъ-подъ полуопущенныхъ рѣсницъ онъ глядѣлъ на нее, бодрую и крѣпкую, помолодѣвшую, отогрѣвавшую у камина ноги, вымокшія отъ садоваго снѣга, и по временамъ взглядывавшую на него съ тою же легкой улыбкой, которая не сходила съ ея лица утромъ, во время его упрековъ. Она подошла взять пачку марианда на обычномъ мѣстѣ, скрутила папироску, закурила и хотѣла выйти, когда онъ остановилъ ее.

— Такъ ты не спишь?

— Нѣтъ... Сядь вотъ тутъ и поговоримъ.

Она осталась у края кровати, нѣсколько удивляясь его серьезному тону.

— Фанни... мы уѣдемъ.

Сперва она подумала, что онъ шутить, желая испытать ее. Но по весьма точнымъ подробностямъ, которыя онъ приводилъ ей, она увидѣла, что ошибается. Была вакансія, и именно въ Арикѣ; онъ попросится туда. Это было дѣло двухъ недѣль; оставалось только улечься.

— А твоя женитьба?

— Объ этомъ ни слова болѣе... То, что я сдѣлалъ, непоправимо... Я вижу, что все кончено, я не въ состояніи разстаться съ тобой.

— Бѣдный мальчикъ!—отвѣтила она съ нѣжной грустью, но какъ-то презрительно. Затѣмъ, выпустивъ двѣ-три струи дыма, продолжала:—А далеко то мѣсто, которое ты наваль?

— Арика? да, очень далеко, въ Перу. — И шопотомъ прибавилъ:—Фламанъ за тобой туда не прїѣдетъ?

Она сидѣла задумчивая и загадочная въ облакахъ табачнаго дыма. Онъ держалъ кисть ея руки, гладилъ руку, обнаженную выше локтя и, убажканный шумомъ струившейся вокругъ домика воды, закрылъ глаза и тихо погружался въ бездну.

XV.

Нервный, нетерпѣливый, вволнованный, какъ всякій готовящійся къ отъѣзду, Госсенъ уже два дня какъ въ Марсели, куда должна прїѣхать и Фанни, чтобы вмѣстѣ съ нимъ сѣсть на пароходъ. Все готово, мѣста взяты. Двѣ каюты перваго класса для вице-консула Арики и его «невѣстки». Онъ ходилъ взадъ и впередъ по краснымъ полинявшимъ плитамъ комнаты отеля, въ двойной лихорадкѣ ожиданіи и своей спутницы, и минуты снятія съ якоря.

Ему необходимо ходить и волноваться у себя въ комнатѣ, потому что онъ не смѣетъ выйти изъ дому. Улица пугаетъ его, какъ преступника, какъ дезертира—марсельская улица, шумная и людная, гдѣ ему такъ и кажется, что изъ-за угла появятся его отецъ и старикъ Бушро, схватятъ его за плечи и насильно вернуть его въ Парижъ. Онъ запирается, обѣдаетъ у себя, не сходя даже въ табль-д'отъ, читаетъ, ничего не понимая, бросается на кровать, старается разнообразить свой досугъ разсмотрѣваніемъ испятнанныхъ мухами картинъ, изображающихъ гибель Лаперуза, смерть капитана Кука, и по цѣлымъ часамъ стоитъ, прислонившись къ балюстрадѣ деревяннаго балкона, со спущенною надъ нимъ желтою маркизой, заплатанной, какъ парусъ рыбацкѣй лодки.

Гостинница, гдѣ онъ остановился, называется «Отель Юнаго Анахарсиса»; названіе это случайно привлекло его, когда онъ перелистывалъ справочную книгу Ботэна, условливаясь съ Фанни, гдѣ имъ сѣхаться. Это — старинная гостинница, не только не роскошная, но даже не совсѣмъ опрятная, за то почти въ гавани, у самой пристани. Подъ окнами его попугаи, какаду, тропическія птицы, съ нѣжнымъ несмолкаемымъ щебетаніемъ, цѣлая выставка клѣтокъ съ товаромъ птицелова, нагроможденныхъ одна на другую, привѣтствуютъ восходящее солнце, точно въ дѣвственномъ лѣсу. Эти звуки, по мѣрѣ того, какъ время идетъ, заглушаются

шумной работой въ гавани, какъ будто регулируемой ударами колокола на „Notre Dame de la Garde“. Тутъ смѣшеніе бранныхъ словъ на всевозможныхъ нарѣчіяхъ, крики лодочниковъ, носильщиковъ, продавцовъ раковинъ, звуки ударовъ молота при починкѣ судовъ въ докахъ, среди скрипа механическихъ крановъ, звонкой стукотни повозокъ по мостовой, звона корабельныхъ колоколовъ, свиста машицъ, мѣрныхъ звуковъ насосовъ и воротовъ, шума откачиваемой воды, пара, который вырывается на свободу, — весь этотъ шумъ усиливается и перебивается боляханьями сосѣдняго моря, откуда доносится издали глухой ревъ, дыханіе морского чудовища, большого транс-антлантическаго судна, снявшагося съ якоря и выходящаго въ открытое море. И запахи, носящіеся въ воздухѣ, напоминаютъ объ отдаленныхъ странахъ, о набережныхъ еще болѣе обжигаемыхъ и освѣщаемыхъ солнцемъ; тутъ и сандалное дерево, и выгруженный кампешъ, лимоны, апельсины, фисташки, бобовицы, арахиды; ото всего этого поднимаются рѣзкіе ароматы вмѣстѣ съ вихрями экзотической пыли въ атмосферѣ, пропитанной соленой водой, жжеными травами, дымящимися жирными веществами разныхъ «Cook-house» (рестораций).

Къ в. черу весь этотъ гулъ стихаетъ, насыщенность воздуха осѣдаетъ и улетучивается. Жанъ, болѣе спокойный въ полумракѣ, поднимаетъ стору и глядитъ на темную и засыпающую гавань подъ перекрещенными мачтами, бушпритами и снастями; тишина прерывается лишь изрѣдка всплескиваньемъ весла, отдаленнымъ лаемъ собаки на борту. А вдали, почти на горизонтѣ, Планьерскій маякъ, вращаясь во всѣ стороны, сверкаетъ продолговатымъ пламенемъ, то краснымъ, то бѣлымъ, которое точно разрываетъ сумракъ, показывая, какъ при свержаніи молніи, силуэты острововъ, фортовъ и скаль. И этотъ свѣтящійся ваглядъ, направляющій тысячи жизней на горизонтѣ — это тоже одна изъ прелестей путешествія; онъ манитъ его знаками, зоветъ и голосомъ вѣтра, и качкой открытаго моря, и глухимъ шумомъ пароходовъ, вѣчно гудящихъ и отдувающихся въ различныхъ пунктахъ рейда.

Еще сутки ждать. Фанни приѣдетъ только въ воскресенье. Онъ прибылъ въ Марсель за три дня ранѣе условленнаго срока. Эти три дня онъ долженъ былъ провести съ родными, посвятить ихъ близкимъ людямъ, съ которыми разстается на нѣсколько лѣтъ, а быть можетъ, и вовсе не застанетъ ихъ въ живыхъ; но въ тотъ вечеръ, какъ онъ приѣхалъ въ Кастеле, когда отецъ услышалъ, что свадьба разстроилась, и угадалъ причину этого разрыва, между ними послѣдовало объясненіе ужасное, бурное.

Что такое мы, что такое наши самыя сердечныя привязанно-

сти, когда гнѣвъ, вспыхивающій между двумя существами одной плоти, одной крови, уничтожаетъ ихъ нѣжность, ихъ естественныя чувства съ тонкими и столь глубокими корнями и уносить все это со слѣпою, непреодолимой силой, точно тифоны Китайскихъ морей, о которыхъ самые закаленные изъ моряковъ не могутъ вспоминать и говорить лишь, блѣднѣя: «объ этомъ лучше не поминать...» И онъ объ этомъ говорить не станетъ, но будетъ помнить всю жизнь ужасную сцену на террасѣ Кастеле, гдѣ счастливо протекло его дѣтство, передъ этимъ чуднымъ и спокойнымъ горизонтомъ съ соснами, миртами, кипарисами, которые какъ будто неподвижно жались другъ къ другу, содрогаясь отъ отцовскаго проклятiя. Вѣчно онъ будетъ видѣть передъ собою высокаго старика, съ передергивающимися щеками, пылающими отъ гнѣва; онъ идетъ на него, дыша ненавистью, съ негодованiемъ во взглядѣ, произнося слова, которыя не прощаются, отнимая у него домашнiй кровъ и честь:

— Вонъ, отправляйся съ своей негодницей, ты умерь для насъ!

Вѣчно будутъ въ его памяти и маленькiя сестры рыдающiя, ползающiя на колѣняхъ по ступенямъ, умоляя простить старшаго брата; и блѣдность Дивонны, не кинувшей ему ни взгляда, ни прощальнаго слова, въ то время, какъ наверху за притвореннымъ окномъ мелькало кроткое и боязливое лицо больной, спрашивающее, отчего такой шумъ и почему ея Жанъ такъ скоро уѣзжаетъ, не поцѣловавъ ее?.. Эта мысль, что онъ не простился съ матерью, заставила его вернуться съ половины дороги къ Авиньону; оставивъ Сезера въ каретѣ на дорогѣ, онъ пошелъ по проселочной тропинкѣ и пробрался въ Кастеле изгородью, какъ воръ. Ночь была темная; ноги его путались въ засохшихъ виноградныхъ лозахъ, и онъ даже чуть не заблудился, не зная въ потьмахъ, въ которую сторону идти къ дому, уже бывшему для него какъ будто чужимъ. Наконецъ, слабый отблескъ бѣлыхъ оштукатуренныхъ стѣнъ навелъ его на настоящiй путь. Но подъѣздъ былъ запертъ; въ окнахъ всѣ огни погашены. Какъ быть? Звонить? Позвать? Онъ не смѣлъ, боясь отца. Два-три раза обошелъ онъ вокругъ дома, надѣясь увидать гдѣ-нибудь плохо притворенныя ставни. Но вездѣ, какъ и каждый вечеръ, прошелъ фонарь Дивонны — и долго стоялъ онъ, устремивъ пристальный взглядъ на комнату матери, посылая сердечное прости колыбели дѣтства, которая теперь отталкивала его отъ себя, и убѣжалъ, наконецъ, полный отчаянiя, съ угрызениями совѣсти, которыя и теперь его не покидаютъ.

Обыкновенно при такихъ отъѣздахъ на долгое время, при отправленiи въ такую дорогу, гдѣ отдаешь себя на жертву случайно-

стямъ моря и вѣтровъ, родные и друзья провожаютъ и прощаются до самой минуты отплытія; послѣдній день проводятъ вмѣстѣ, осматриваютъ корабль и самую каюту уѣзжающаго, чтобы легче было слѣдовать за нимъ мысленно во время плаванія. Много разъ въ день Жанъ видѣлъ, какъ проходили мимо оконъ отеля подобныя компаніи провожающихъ, иногда многочисленныя и шумныя. Въ особенности интересуется его семейная группа этажемъ ниже его. Старикъ и старуха—деревенскіе жители, съ нѣкоторымъ достаткомъ; онъ въ суконномъ сюртукѣ, она въ желтомъ кембриковомъ платьѣ, провожаютъ сына и не покидаютъ его до самаго отправленія парохода. И всѣ трое стоятъ въ ожиданіи, прислонившись у окна, держа другъ друга за руку, какъ бы сомкнувшись вмѣстѣ; молодой матросъ посрединѣ между отцомъ и матерью. Они не говорятъ ни слова, они чувствуютъ близость другъ друга. Глядя на нихъ, Жанъ думаетъ о томъ, какой бы чудный отъѣздъ представлялъ и ему самому... Отецъ, маленькія сестры и, опираясь на него, слегка дрожащая рука той, живой умъ и энергія которой вдохновлялись видомъ бушпритовъ вдали... Безплодная сожалѣнія! Преступленіе совершено, судьба его уже направлена въ извѣстную сторону: остается лишь двинуться въ путь и забыть...

Какими долгими и жестокими показались Жану часы послѣдней ночи! Онъ то и дѣло ворачался на своей кровати съ боку на бокъ, сторожа разсвѣтъ въ оконномъ стеклѣ сперва по медленному переходу чернаго цвѣта въ сѣрый, а затѣмъ — по заблѣвшей на небѣ полоскѣ, съ которою соперничалъ красный огонекъ маяка, пока не погасъ, наконецъ, съ восходомъ солнца. Тогда только заснулъ онъ, и былъ разбуженъ отъ вторженія солнечныхъ лучей въ его комнату, отъ разнородныхъ криковъ въ клѣткахъ птицелова, съ безконечнымъ трезвономъ марсельскаго воскресенья, разносившимся по почти пустынной набережной, когда всѣ машины бездѣйствуютъ, а на мачтахъ развѣваются флаги. Уже десять часовъ! А экстренный поѣздъ изъ Парижа приходитъ ровно въ полдень. Онъ наскоро одѣвается, чтобы идти на встрѣчу своей любовницѣ. Они позавтракаютъ на берегу моря, потомъ отвезутъ ихъ всѣхъ на пароходѣ, а въ пять часовъ уже сигналъ.

День великолѣпный; глубокое небо, по которому бѣлыми пятнами пролетаютъ чайки; море темнолубаго металлическаго цвѣта, и на немъ все видно, все отражается, все движется на горизонтѣ — и паруса, и дымъ пароходовъ; и точно природный напѣвъ этихъ, залитыхъ солнцемъ, береговъ съ прозрачною водою и яснымъ воздухомъ, раздается подъ окнами отеля звукъ нѣсколькихъ арфъ,—исполняется итальянская арія, божественно легкая, но эти

струнные аккорды жестоко дѣйствуютъ на его нервы. Это болѣе, чѣмъ музыка, это—крылатое выраженіе радостей юга, жизни, переполненной любви и восторговъ и рыданій. И воспоминаніе объ Иренѣ проходить въ этой мелодіи печальной, слезною вибраціей. Какъ это уже далеко!... Какая чудная жизнь потеряна!.. Осталось лишь вѣчное сожалѣніе обо всемъ, что разбито, непоправимо!

Ну, нечего дѣлать!

На порогѣ, у самаго выхода, Жанъ встрѣчаетъ слугу отеля.

— Письмо господину консулу... Оно пришло сегодня утромъ, но господинъ консулъ такъ крѣпко почивали...

Именитые путешественники довольно рѣдки въ отелѣ «Юнаго Анахарсиса», поэтому марсельскіе слуги не упускаютъ случая отчеканивать титулъ постояльца.

Но кто же можетъ писать ему? Никто не знаетъ его адреса... кромѣ Фанни?.. И взглянувъ на конвертъ, онъ приходитъ въ ужасъ... онъ понялъ...

«Нѣтъ! рѣшено! я не ѣду; это было бы слишкомъ большое безуміе, мнѣ не по силамъ. Для подобныхъ переворотовъ, бѣдный другъ мой, нужна молодость, какой уже нѣтъ у меня, или ослѣпленіе безумной страсти, которой не достааетъ намъ обнимъ. Пять лѣтъ тому назадъ, въ чудные дни начала нашей любви, я по одному твоему знаку пошла бы за тобою на край свѣта; ты не можешь отрицать, что я любила тебя страстно! Я дала тебѣ все, что могла, и когда пришлось оторваться отъ тебя, я страдала, какъ никогда не страдала ни изъ-за кого другого... Но подобная любовь, ты самъ видишь, обезсиливаетъ... Знать тебя такимъ молодымъ, такимъ красивымъ, вѣчно трепетать, всего опасаться... Теперь я уже не могу этого, ты слишкомъ много заставилъ меня пережить, слишкомъ заставилъ страдать; я выбилась изъ силъ.

«При такихъ условіяхъ, перспектива далекаго путешествія, переселенія въ новыя страны, пугаетъ меня. Я такъ не люблю трогаться съ мѣста и никогда не ѣздила дальше Сень-Жермена! Подумай только! Да и женщины старѣются подъ тропиками скоро; тебѣ не будетъ еще тридцати лѣтъ, а я уже пожелтѣю и увяну, какъ тапан Пиларь. Тогда ты же поневолѣ станешь меня упрекать за свою жертву, и бѣдная Фанни должна будетъ расплачиваться за все на свѣтѣ. Послушай, есть на Востокѣ страна—я прочла это въ одномъ изъ твоихъ нумеровъ «*Tour du monde*»—гдѣ, если женщина обманываетъ своего мужа, ее живую зашиваютъ съ кошкой вмѣстѣ въ только что содранную шкуру животнаго, потомъ, на берегу подъ жгучими лучами солнца, бросаютъ этотъ мѣшокъ, который тогда начинаетъ выть и прыгать: женщина визжитъ, кошка

*

царапается, обѣ грызуть другъ друга, а кожа тѣмъ временемъ сохнетъ и сжимается надъ этой борьбой заключенныхъ, до ихъ послѣдняго хрипѣнія, до послѣдняго сотрясенія мѣшка. Это нѣсколько похоже на ту пытку, какая бы насъ съ тобою ожидала».

Онъ прервалъ на минуту чтеніе, подавленный, ошеломленный. А вдали, сколько хватало взору, искрилось синее море... А ддіо! пѣли арфы, къ которымъ присоединился и чей-то сильный, страстный голосъ... а ддіо!..

И предстала предъ нимъ вся ничтожность его жизни, разбитой, растерзанной, полной крушеній и слезъ: поле пусто, жалкая жатва извѣстна; возвратъ невозможенъ... и все для этой женщины, которая теперь покидала его.

«Мнѣ бы слѣдовало сказать тебѣ все это ранѣе, но я не посмѣла, видя тебя такимъ настойчивымъ, такимъ рѣшительнымъ. Твоя экзальтація охватила и меня; затѣмъ, присоединилось и тщеславіе женщины, весьма естественная гордость тѣмъ, что она снова завладѣла тобою послѣ разрыва. Только въ глубинѣ-то души я чувствовала, что это уже не то, что было прежде; что-то треснуло, замерло. И какъ могло быть иначе? послѣ такихъ потрясеній!.. И не воображай, пожалуйста, что тутъ при чемъ нибудь несчастный Фламанъ. Для него, какъ для тебя и для всѣхъ остальныхъ, пришелъ конецъ, мое сердце умерло. Но остается ребенокъ, безъ котораго я теперь обойтись не могу и который сведетъ меня снова съ отцомъ, съ этимъ бѣднягой, погибшимъ отъ любви ко мнѣ и вернувшимся изъ тюрьмы такимъ же любящимъ и нѣжнымъ, какъ при первой нашей встрѣчѣ. Представь себѣ, что когда мы впервые опять свидѣлись, онъ проплакалъ цѣлую ночь на моемъ плечѣ. Ты видишь,—не изъ-за чего тогда тебѣ было такъ кипаться...

«Повторяю тебѣ, дитя мое, я слишкомъ много любила, я выбилась изъ силъ! Теперь я чувствую потребность, чтобы и меня любили, чтобы и меня понѣжили, и на меня полюбовались. и меня убаюкивали. А онъ будетъ у ногъ моихъ, онъ не посмотритъ ни на мои морщины, ни на сѣдину въ волосахъ моихъ, и если женится на мнѣ, какъ предполагаетъ, то этимъ я ему же окажу милость... Вотъ и сравни... Главное—не безумствуй. Я приняла всѣ мѣры, чтобы ты не могъ отыскать меня. Изъ буфета на станціи, гдѣ я пишу тебѣ это письмо, мнѣ видѣнъ сквозь деревья тотъ домикъ, гдѣ провели мы столько и хорошихъ, и жестокихъ минутъ, и на двери его уже прибитъ ярлычекъ, призывающій новыхъ жильцовъ... Теперь ты свободенъ, и обо мнѣ ты больше не услышишь. Прощай, цѣлую тебя еще разъ — послѣдній разъ, въ твою шейку — милый другъ...

ИЗЪ „СТРАННЫХЪ РАЗСКАЗОВЪ“

ГРЭНТЬ ОЛЛЕНА.

(ПЕРЕВОДЪ СЪ АНГЛІЙСКАГО Д. А. МИХАЛОВСКАГО).

I.

Сватовство доктора Грэтрекса.

Каждый знаетъ, по крайней мѣрѣ, по имени, доктора Грэт-рекса, изобрѣтателя головоломной молекулярной теоріи взаимнаго соотношенія силъ и энергій. Онъ, сравнительно, еще молодъ для человѣка съ такою ученой репутаціей: ему едва исполнилось сорокъ лѣтъ; но, при видѣ его высокой сухощавой фигуры и его отчетливо очерченнаго умнаго, изящнаго лица, вамъ едва-ли пришло-бы въ голову, что онъ нѣкогда былъ героемъ необыкновенно странной и романтичной исторіи. А между тѣмъ жизнь не многихъ людей превосходила романтичностью жизнь Артура Грэтрекса, не много было исторій болѣе странныхъ, въ своемъ родѣ, чѣмъ исторія его помолвки. Впрочемъ, почему-бы свѣтилу науки не имѣть своего собственнаго романа, подобно другимъ смертнымъ?

Пятнадцать лѣтъ тому назадъ, Артуръ Грэтрексъ, окончивъ курсъ въ Кэмбриджѣ, пріѣхалъ въ Лондонъ, для изученія медицины, при одномъ изъ лондонскихъ госпиталей. Въ тѣ дни онъ, разумѣется, былъ такъ же высокъ, но далеко не такъ худъ и блѣденъ, какъ нынѣ; это былъ стройный, атлетически сложенный молодой человѣкъ, истинно англійскаго университетскаго типа. Онъ былъ красивъ тогда, какъ и послѣ, но въ юные годы его красота была, такъ сказать, болѣе проста и обыкновенна, чѣмъ въ эти послѣднія времена его ученой славы. Дѣйствительно, каждый, кто видѣлъ Артура въ то время, замѣтилъ-бы его просто какъ изящнаго, умнаго молодого англійскаго джентльмена, съ явною наклонностью къ свойственнымъ мужчинамъ физическимъ упражненіямъ и съ рѣшительнымъ соб-

ственнымъ мнѣніемъ относительно большинства предметовъ текущаго общественнаго интереса.

Еще въ тѣ дни этотъ молодой студентъ-медикъ былъ погруженъ въ глубокомысленныя умозрѣнія по вопросу объ энергіи. Его дѣятельный умъ, постоянно занятый широкими проблемами космическаго значенія, напалъ на зародышъ той великой революціонной идеи, которая впоследствии должна была произвести совершенный переворотъ во всей системѣ новейшей физики. Но, какъ это часто случается съ молодыми людьми двадцати-пятилѣтняго возраста, существовалъ еще другой предметъ, раздѣлявшій его вниманіе съ великой теоріей его жизни. Это была хорошенькая дочь его друга и наставника, доктора Эберри, знаменитаго авторитета по психіатріи. Въ цѣломъ Лондонѣ вы не могли-бы найти дѣвушки милѣе и привлекательнѣе Гетти Эберри. Молодой Грэтрексъ считалъ ее, кромѣ того, весьма умною и, вообще, какъ по умственнымъ качествамъ, такъ и по образованію, она, по его мнѣнію, разумѣется, весьма значительно выдавалась среди обыкновеннаго уровня лондонскихъ дѣвушекъ, хотя въ подобномъ утвержденіи существовало, можетъ быть, нѣкоторое преувеличеніе.

— Говорятъ, Артуръ, — сказала она ему на другой день послѣ ихъ формальной помолвки, — что путь истинной любви никогда не бываетъ гладокъ; однако-же, нашъ путь, повидимому, былъ выровненъ для насъ всѣми людьми и всѣми обстоятельствами. Я самая счастливая, самая гордая дѣвушка въ мірѣ, потому что я приобрѣла любовь такого человѣка, какъ вы, и сдѣлалась вашею невѣстой.

Артуръ Грэтрексъ погладилъ маленькую бѣлую руку дѣвушки своею и тихо отвѣчалъ:

— Я надѣюсь, что никогда не явится ничего такого, что могло-бы сдѣлать путь нашей любви болѣе труднымъ, такъ какъ, повидимому, предъ нами развертывается, въ высшей степени соблазнительнымъ образомъ, перспектива всевозможнаго счастья. Мнѣ почти думается, что мой рай приобрѣтенъ слишкомъ легко и что мнѣ слѣдовало-бы совершить что-нибудь потруднѣе, чтобы войти въ него.

— Не говорите этого, Артуръ, — прервала его Гетти. — Ваши слова слишкомъ отзываются предзнаменованіемъ.

— Ахъ вы, суевѣрная дѣвочка! — вскричалъ молодой докторъ, съ улыбкой. — Говорить человѣку науки о примѣтахъ и

предзнаменованіяхъ!—И онъ нѣжно поцѣловалъ ея маленькую ручку и за тѣмъ отправился домой въ свое холостое обиталище, съ тою странною веселостью въ сердцѣ и въ походкѣ, которая можетъ быть возбуждена только восторгами первой любви.

«Нѣтъ,—говорилъ онъ самъ себѣ,—усаживаясь на мягкомъ стулѣ и закуривъ сигару, — я не вѣрю, чтобы какое-нибудь мрачное облако могло когда-нибудь подняться между мною и Гетти. Все въ нашу пользу: и средства къ жизни, и любовь другъ къ другу, и взаимное уваженіе, и добрые родственники, и наши сердца, самую природою созданныя другъ для друга. Гетти, несомнѣнно, самая милая дѣвушка, какая только жила когда-нибудь; она столь-же добра, какъ и мила, и столь-же полна любви, какъ и красива. Какая ужасная вещь для влюбленнаго зубрить медицину къ экзамену!» — И онъ, со вздохомъ, взялъ съ полки какую-то медицинскую книгу и притворился глубоко заинтересованнымъ диагнозомъ скарлатины, пока не потухла его сигара. Но, сказать правду, слова расплывались въ его глазахъ, подобно туману, а всѣ буквы на страницѣ, повидимому, сговорились воспроизводить тысячу разъ одно и то-же имя: Гетти, Гетти, Гетти, Гетти. Наконецъ, онъ оставилъ чтеніе, какъ безнадежный трудъ, и задумчиво отправился въ спальню. Но онъ не спалъ и половины ночи, постоянно предаваясь размышленіямъ на одну тему — Гетти.

На слѣдующій день д-ръ Эберри читалъ свою еженедѣльную лекцію о болѣзняхъ мозга и нервной системы; и Артуръ Грэтрексъ, убѣжденный, что онъ непремѣнно долженъ сдѣлать надъ собою усиліе, пошелъ слушать ее. Этотъ предметъ всегда его интересовалъ; и частью посредствомъ усиленнаго вниманія, частью съ помощью истиннаго желанія овладѣть предметомъ, ему удалось прослушать лекцію до конца, и даже усвоить большую часть ея содержанія. Когда онъ оставилъ залу, чтобы спуститься съ лѣстницы госпиталя, его умъ странствовалъ между мыслями о предварительныхъ симптомахъ сумасшествія и мыслями о Гетти Эберри. — Существовала ли когда нибудь для влюбленнаго человѣка такая несчастная профессія, какъ медицина? — спрашивалъ онъ себя, почти съ гнѣвомъ. Почему я не сдѣлался пасторомъ или адвокатомъ, или не избралъ себѣ какого бы то ни было поприща, которое избавило бы меня отъ смѣшенія такихъ несовмѣстимыхъ представленій? Однако же, если подумать хорошенько, то вѣдь нѣтъ никакой

особой естественной связи и между трактатомъ Читти «о договорѣ» и моею дорогою Гетти.

Размышляя такимъ образомъ, онъ направился къ большой центральной лѣстницѣ госпиталя. При этомъ движеніи, его вниманіе было на одинъ моментъ привлечено какою то странною личностью, которая сходила съ противоположной лѣстницы на ту же самую площадку, на которую онъ спускался. Незнакомецъ былъ высокъ и недурень, но сходя съ лѣстницы онъ ртомъ и языкомъ выдѣлывалъ въ высшей степени странныя и отвратительныя гримасы, которыя, очевидно, имѣли цѣлью оскорбить Артура Грэтрекса. Однако же, Артуръ былъ такъ озабоченъ въ этотъ моментъ, что едва имѣлъ время замѣтить страннаго незнакомца; и, принявъ его за кого нибудь изъ безвредныхъ умалишенныхъ пациентовъ больницы, онъ продолжалъ бы свой путь, если бы не произошло страннаго обстоятельства, случившагося въ то время, когда оба они дошли до большой центральной площадки. Артуръ уронилъ книгу, которую онъ несъ подъ мышкой и инстинктивно наклонился, чтобы поднять ее. Въ тотъ же самый моментъ кривлявшійся незнакомецъ уронилъ тоже свою книгу, — не изъ подражанья, но, очевидно, по случайному совпаденію обстоятельствъ, — и съ тѣмъ же самымъ жестомъ наклонился за нею. Пораженный странностью случая, Артуръ повернулся, чтобы посмотрѣть на любопытнаго пациента. Къ его крайнему ужасу и изумленію, онъ увидалъ, что человѣкъ, котораго онъ разсматривалъ, былъ — его собственнымъ отраженіемъ.

Въ одинъ моментъ дѣйствительное положеніе вещей свернуло, подобно молніи, въ его озабоченномъ мозгу. Никакой противоположной лѣстницы не существовало, — онъ зналъ это очень хорошо, такъ какъ уже сто разъ спускался по этой лѣстницѣ прежде; тамъ было только большое зеркало, которое отражало и повторяло рядъ ступеней сверху до низу. Только задумчивость, въ которую онъ былъ погруженъ, ввела его на минуту въ заблужденіе. Человѣкъ, котораго онъ видѣлъ противъ себя спускавшимся съ лѣстницы, былъ не кто другой, какъ онъ самъ, Артуръ Грэтрексъ.

Но, понявъ это, онъ все таки не вдругъ сообразилъ всю странность сцены. Только снова начавъ спускаться съ лѣстницы, онъ еще разъ взглянулъ на свое отраженіе въ большомъ зеркалѣ и замѣтилъ, что онъ продолжаетъ дѣлать самыя

ужасныя гримасы, подобныя которымъ онъ видалъ только у обезьянъ въ Зоологическомъ саду и — что всего ужаснѣе — у самыхъ трудныхъ больныхъ въ отдѣленіи умалишенныхъ. Онъ вздрогнулъ въ безмолвномъ ужасѣ и еще разъ взглянулъ въ зеркало. Да, не было возможности ошибиться: это онъ, Артуръ Грэтрексъ, медицинскій студентъ Екатеринбургской больницы, продѣлывавшій эти отвратительныя и бессмысленныя кривлянья!

Посредствомъ страшнаго усилія воли, онъ привелъ свою фizioномію въ надлежащій видъ и снова принялъ свою обычную серьезную и спокойную осанку. Въ продолженіи цѣлой минуты онъ стоялъ и глядѣлъ на себя въ зеркало; за тѣмъ опасаясь, чтобы кто нибудь не засталъ его за этимъ занятіемъ, поспѣшилъ спуститься съ лѣстницы и кинулся вонъ, на улицы Лондона. Онъ не зналъ и не заботился о томъ — въ какую сторону онъ направился; ему было извѣстно только одно: именно, что онъ, силою мускульнаго напряженія, старается подавить страшную наклонность кривить ротъ и складывать концы губъ въ косыя гримасы. Идя по улицамъ, онъ смотрѣлъ на свой образъ, слабо отражавшійся въ оконныхъ стеклахъ и видѣлъ, что онъ сохраняетъ приличную наружность, но только съ сознательнымъ и очевиднымъ усиліемъ. На крыльцѣ одного дома маленькая дѣвочка играла съ котенкомъ. Не смотря на свою озабоченность, Артуръ Грэтрексъ, привѣтливый по природѣ, взглянулъ на нее и улыбнулся; вмѣсто того, чтобы отвѣтить ему улыбкой, ребенокъ испустилъ крикъ ужаса и бросился въ домъ, чтобы спрятать лицо въ передникъ своей матери. Артуръ истинно живо почувствовалъ, что онъ посмотрѣлъ на дѣвочку съ одной изъ своихъ страшныхъ гримасъ, вмѣсто ласковой улыбки. Это было ужасно, невыносимо, — и онъ шелъ по улицамъ и мостамъ въ постоянномъ напряженіи, пока, наконецъ, не очутился, почти безсознательно, возлѣ Пимлико, гдѣ въ то время жили Эберри.

Посмотрѣвъ вокругъ себя, онъ увидалъ, что онъ подошелъ близко къ тому углу дома, гдѣ маленькая гостинная Гетти выходила окнами на улицу. Повидимому, это хорошо знакомое мѣсто отвлекло его на минуту отъ мыслей о самомъ себѣ, и онъ вспомнилъ, что общалъ Гетти придти къ завтраку. Но можно ли ему явиться къ ней въ такомъ состояніи духа и тѣла, въ какомъ онъ находится? Гетти, конечно, ждетъ его, Гетти будетъ огорчена, если онъ не придетъ; онъ, разумѣется

не долженъ нарушить обѣщаніе, данное дорогой маленькой Гетти. Притомъ, думалъ онъ, вѣдь это ничто иное, какъ подергиваніе личныхъ мускуловъ, можетъ быть, легкое расстройство нервовъ. Говорять молодые доктора всегда бывають мнительны, они находятъ съ точностію описанными въ медицинскихъ книгахъ собственные симптомы болѣзней. Теперь въ лицѣ его уже не было подергиваній,—въ этомъ онъ былъ увѣренъ; чѣмъ ближе онъ былъ къ Гетти, тѣмъ спокойнѣе онъ становился, и тѣмъ болѣе сознавалъ, что онъ можетъ ослабить свое наблюденіе надъ собою, не рискуя увидать, что его мускулы снова продѣлываютъ надъ нимъ свои отвратительныя штуки. Онъ войдетъ и позавтракаетъ, и скоро все это выйдетъ у него изъ головы.

Гетти увидала его и побѣжала открыть ему дверь; и когда онъ сѣлъ возлѣ нея, онъ сейчасъ же забылъ совсѣмъ о своемъ безпокойствѣ и еще разъ увидѣлъ себя въ раю. Во все время завтрака они говорили о другихъ вещахъ. Это были счастливыя планы относительно будущаго, и разныя нѣжности, которыя влюбленнымъ кажутся такъ очаровательными; и прежде, чѣмъ Артуръ вышелъ отъ Гетти, подергиванія въ лицѣ совершенно перестали его беспокоить. Дѣйствительно, разъ или два въ тотъ день онъ случайно взглянулъ въ зеркало надъ каминомъ гостиной и къ великому своему облегченію увидалъ, что его лицо сохраняетъ свое обычное спокойствіе. Это была открытая, серьезная, энергичная фізіономія со всѣми задатками будущаго величія; и такъ думала Гетти, глядя на него съ низкой скамейки, гдѣ она сидѣла возлѣ него, нашептывая ему робкія признанія только что помолвленной невѣсты.

Время пить чай пришло слишкомъ скоро, и Артуръ почувствовалъ, что ему слѣдуетъ идти домой и заняться чтеніемъ. На пути ему однажды показалось, что какой-то уличный мальчишка, подойдя къ нему, вздрогнулъ отъ очевиднаго изумленія; но это могла быть просто игра воображенія; и когда мальчишка высунулъ языкъ и испустилъ насмѣшливыя крики на безопасномъ разстояніи, Артуръ подумалъ, что онъ сдѣлалъ это по примѣру всѣхъ уличныхъ ребятишекъ по ничѣмъ не вызванному нахальству. Онъ вернулся домой и усѣлся на одинъ часъ за работу; но, прочтя нѣсколько страницъ изъ книги Стэки «О подагрѣ», съ отвращеніемъ отложилъ ее въ сторону и, вмѣсто нея, взялъ Гельмгольца и Джоуля, предаваясь нѣ-

сколько отрывочному чтенію по своему любимому предмету—высшей физикѣ.

Когда онъ читалъ теорію соотношенія, великая идея относительно дѣйствительнаго свойства энергіи, ускользнувшая отъ этихъ ученыхъ физиковъ, и медленно формировавшаяся въ его головѣ, постепенно возставала все яснѣе и яснѣе предъ его умственнымъ взоромъ. Гельмгольцъ былъ не правъ здѣсь, потому что онъ не вполне оцѣнилъ разъединяющее свойство энергіи электричества; Джоуль ошибался тамъ, потому что ему не удалось уразумѣть существенную противоположность между потенциальнымъ и кинетическимъ. Артуръ оставилъ книги, началъ въ задумчивости ходить взадъ и впередъ по комнатѣ, и смотрѣлъ, какъ, предъ его глазами, видимо воплощается цѣлая конкретная теорія соотношенія. Наконецъ, онъ увлекся изумительнымъ величіемъ своей идеи, схватилъ пачку бумаги и поспѣшно сѣлъ къ столу, чтобы облечь ее въ письменную форму, блистательный призракъ которой такъ явственно носился предъ его глазами. Онъ желалъ приобрести великое имя, ради Гетти, и когда онъ достигнетъ такого имени, то величайшею его наградою будетъ сознание, что Гетти гордится своимъ мужемъ.

Часъ за часомъ онъ сидѣлъ за своимъ столомъ и писалъ, какъ бы подъ наитіемъ вдохновенія. Хозяйка постучалась въ его дверь — сказать ему, что обѣдъ готовъ, но Артуръ отказался отъ обѣда, прося только принести ему большую чашку крѣпкаго чаю и нѣсколько простыхъ сухарей. Онъ непрерывно писалъ съ лихорадочною поспѣшностью, глотая чай, чашку за чашкой, и переворачивая листъ за листомъ. Онъ просидѣлъ за этой работой далеко за полночь. Подъ вліяніемъ исключительной экзальтаціи первой любви и могущественнаго возбужденія того дня, цѣлая теорія обрисовывалась предъ его умственнымъ взоромъ такъ ясно, что онъ писалъ, точно зная ее наизусть, при чемъ опускалъ только математическія вычисленія, оставляя для нихъ пробѣлы, — не потому, чтобы эти вычисленія были не ясны въ его головѣ, а потому что онъ не хотѣлъ останавливать свое быстро бѣгавшее перо для выставленія формулъ, изъ страха потерять главную нить своей аргументаціи. Когда онъ кончилъ, около сорока небольшихъ листовъ бумаги лежали предъ нимъ на столѣ. Они были написаны наскоро и неразборчиво, но содержали въ себѣ пер-

воначальный эскизъ и центральный принципъ безсмертнаго сочиненія—подъ названіемъ «Трансцендентальная Динамика».

Артуръ Грэтрексъ всталъ отъ стола, гдѣ было въ первый разъ формулировано его великое открытіе, очень довольный самимъ собою и своею теоріей, вполне рѣшившись въ скоромъ времени подвергнуть ее критическому обсужденію Королевскаго Общества. Взявъ свѣчу, чтобы идти въ спальню, онъ, однакоже, направился къ камину, чтобы поцѣловать фотографическій портретъ Гетти, какъ это онъ дѣлалъ каждый вечеръ, передъ отходомъ ко сну. Онъ благоговѣнно поднесъ портретъ къ губамъ и только что хотѣлъ поцѣловать его, какъ вдругъ, въ находившемся передъ нимъ зеркалѣ, увидѣлъ то же самое отвратительно кривляющееся лицо, которое такъ неожиданно явилось предъ нимъ утромъ, на госпитальной лѣстницѣ. Это была не человѣческая фізіономія; это было лице средневѣковаго демона, гнусное, скалящее зубы, искривленная харя, настоящая карикатура, оскорбительная насмѣшка надъ человѣческими чертами. Въ ужасѣ, онъ уронилъ раму и фотографію и разбилъ въ дребезги покрывавшее ее стекло. Собравъ всю свою рѣшимость, онъ снова посмотрѣлъ въ зеркало. Да, не было сомнѣнья: лицо издѣвалось и глумилось надъ нимъ, съ дьявольскою изобрѣтательностью ядовито кривляющагося безобразія, — отвратительное лицо, которое, даже при такомъ очевидномъ свидѣтельствѣ своихъ чувствъ, онъ едва могъ признать за дѣйствительное отраженіе своей собственной фізіономіи. Это было невыносимо, ужасно, это было совсѣмъ невѣроятно; и совершенно уничтоженный этимъ зрѣлищемъ, онъ снова сѣлъ на свой стулъ и съ горькимъ уныніемъ закрылъ лицо дрожащими руками.

Въ эту минуту Артуръ Грэтрексъ былъ увѣренъ, что ему извѣстно истинное значеніе окружавшихъ его ужасовъ. Онъ сходилъ съ ума.

Десять минутъ или болѣе онъ сидѣлъ безъ движенія, и слезы текли у него изъ глазъ и тихо просачивались между пальцами. За тѣмъ онъ порывисто поднялся и досталъ съ находившейся за нимъ полки книгу. Это былъ трактатъ Прэнга «О фізіологій мозга». Онъ перелистывалъ нѣсколько страницъ, пока не дошелъ до того мѣста, которое искалъ.

— А, я такъ и думалъ! сказалъ онъ самому себѣ вполголоса. «Предварительные симптомы: кривлянья въ лицѣ, слабость

воли; неспособность различать мускульныя движенія». Посмотримъ, что скажетъ объ этомъ Прэнгъ. «Довольно обыкновенный симптомъ этихъ первыхъ періодовъ болѣзней» — Великій Боже! какъ спокойно этотъ человекъ говоритъ о потерѣ разума! — Довольно обыкновенный симптомъ — есть бессознательная или полусознательная наклонность производить рядъ необычайныхъ искаженій лица. По временамъ страждущій не сознаетъ этихъ движеній; иногда же онъ дѣлаетъ ихъ совершенно произвольно, и они сопровождаются жестами презрѣнія или насмѣшками надъ проходящими». — Должно быть, это самое случилось, сегодня утромъ, съ тѣмъ мальчикомъ! — «Симптомы этого рода обыкновенно происходятъ отъ чрезмѣрной дѣятельности мозга и наиболѣе часто встрѣчаются у математиковъ или ученыхъ, которые утомили свои умственныя способности чрезмѣрною работой. Эти признаки можно считать непосредственными предшественниками остраго сумасшествія». — Остраго сумасшествія! О, Гетти!.. о, Господи! Чѣмъ заслужилъ я подобный ударъ? .

Онъ снова закрылъ лицо руками и нѣсколько минутъ рыдалъ, какъ ребенокъ. Затѣмъ онъ случайно повернулся къ своей рукописи, лежавшей въ беспорядкѣ. — Нѣтъ, нѣтъ, — сказалъ онъ себѣ, успокоительнымъ тономъ. — Не можетъ быть, что бы я сходилъ съ ума. Мой мозгъ никогда не былъ яснае, чѣмъ теперь, во всю мою жизнь. Я не могъ бы написать такую хорошую вещь, испещренную уравненіями, цифрами, формулами, если бы моя голова дѣйствительно отказывалась служить. Я, повидимому, уловилъ предметъ, какъ еще ни разу въ моей жизни. Я никогда не работалъ такъ хорошо въ Кэмбриджѣ; это — открытіе, настоящее открытіе. Немыслимо, чтобы человекъ, сходящій съ ума, могъ когда нибудь видѣть что либо такъ ясно, какъ вижу я этотъ всеобъемлющій принципъ. Посмотримъ опять, что говоритъ Прэнгъ объ этомъ предметѣ.

Онъ перевернулъ нѣсколько страницъ дальше, пробѣгая содержаніе въ началѣ каждой главы, пока ему не бросилось въ глаза нѣсколько словъ, и онъ накинудся на указываемый ими параграфъ съ лихорадочною поспѣшностью. Его смущенному взору представились тамъ слѣдующія строки: «Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, особенно у людей съ необыкновеннымъ умомъ и обширными познаніями, возбужденность зарождающагося сумасшествія принимаетъ форму научнаго или философ-

скаго энтузіазма. Въмѣсто того, чтобы воображать себя обладателемъ несмѣтныхъ богатствъ или деспотическимъ повелителемъ раболѣпнаго народа, паціентъ обольщается мыслью, что онъ сдѣлалъ великое открытіе или попалъ на какое нибудь блистательное обобщеніе, имѣющее глубочайшую и всеобъемлющую важность. Онъ видитъ цѣлыя толпы новыхъ истинъ выступающими передъ нимъ съ поразительною и яркою объективностью. Онъ усматриваетъ между вещами ближайшія соотношенія, которыхъ никогда прежде не подозрѣвалъ. Онъ однимъ ударомъ разрушаетъ Ньютоновскую теорію тяготѣнія; онъ открываетъ явные промахи въ гипотезѣ туманныхъ пятенъ Лапласа и задаетъ Канту мать въ самыхъ фундаментальныхъ пунктахъ «критики чистаго разума». Чѣмъ серьезнѣе припадокъ, тѣмъ рѣшительнѣе убѣжденъ больной въ исключительной ясности своего собственного ума въ этотъ особенный моментъ. Онъ пишетъ полуфразы, которыхъ научную цѣнность забавнымъ образомъ преувеличиваетъ; и навѣрно очень разсердится на всякаго, кто, разумными доводами, попытается опровергнуть его новосозданный авторитетъ. Мыслители-математики въ особенности подвержены этой формѣ зарождающагося умственнаго недуга, которая, въ соединеніи съ упомянутыми уже въ предыдущемъ отдѣлѣ кривляньями лица, преимущественно способна перейти въ острое помѣшательство».

— Опять острое помѣшательство! — воскликнулъ Артуръ Грэтрексъ, отбрасывая отъ себя книгу, точно это была ядовитая змѣя. — Острое сумасшествіе — острое сумасшествіе — острое сумасшествіе, — все передо мною острое сумасшествіе, куда ни повернись! О, это слишкомъ ужасно! Мнѣ никогда нельзя будетъ жениться на Гетти. Великій Боже! И подобный прирѣкъ появился между мною и моимъ раемъ только съ сегодняшняго утра.

Въ отчаяніи, онъ схватилъ листы, на которыхъ былъ набросанъ эскизъ его великаго открытія и бѣшено комкалъ ихъ пальцами. — «Проклятые листы!» — бормоталъ онъ сквозь зубы, кидая ихъ съ жестомъ нетерпѣливаго отвращенія въ корзину для негодныхъ бумагъ; — какъ могъ я вообразить, что попалъ на великую истину, которая ускользнула отъ такихъ людей, какъ Гельмгольцъ, и Майеръ, и Джоуль, и Томсонъ! Это очевидно нелѣпость; я въ самомъ дѣлѣ, должно

быть, сложу съ ума; это видно уже изъ того, что мяѣ пригрезилась подобная вещь!

Онъ снова взялъ свѣчу, съ особенною горячностью поцѣловалъ много разъ портретъ въ разбитой рамѣ и за тѣмъ угрюмо пошелъ въ свою спальню. Онъ не думалъ раздѣваться, онъ стащилъ только сапоги, легъ одѣтый въ постель и поспѣшно потушилъ свѣчку. Долго лежалъ онъ, мечась и вращаясь въ невыразимомъ ужасѣ; наконецъ, примѣрно часа черезъ два, заснулъ безповойнымъ сномъ. Его мучилъ страшный кошмаръ, въ которомъ какія то темныя тѣни старались оторвать его силой, отъ блѣдной и плачущей бѣдняжки — Гетти.

Былъ уже день, когда Артуръ проснулся. Нѣкоторое время онъ лежалъ въ постели, думая о тревогахъ послѣдней ночи, которыя казались теперь менѣе серьезными, какъ это обыкновенно бываетъ при солнечномъ свѣтѣ. Черезъ нѣсколько времени его мысли обратились къ вопросу объ энергii, и когда онъ снова сталъ его обдумывать, то къ нему опять возвратилось убѣжденiе, что, въ концѣ концовъ, онъ правъ, и что если онъ дѣйствительно сходитъ съ ума, то въ его сумасшествiи есть, по крайней мѣрѣ, методическiй порядокъ. Теперь онъ такъ твердо былъ убѣжденъ относительно своего здравомыслия (хотя и признавалъ, что самая эта увѣренность могла быть симптомомъ приближающейся болѣзни), что поспѣшно всталъ, прежде чѣмъ служанка пришла убрать его маленькую гостиную, и вытащилъ помятые листы своей рукописи изъ корзины... Затѣмъ ванна и завтракъ освѣжили его настолько, что онъ смѣялся надъ своими страхами прошлаго вѣчера.

Цѣлое утро Артуръ Грѣтрексъ сидѣлъ за столомъ, дѣлая алгебраическiя вычисленiя, для которыхъ оставилъ мѣсто въ своей рукописи, и окончилъ ее вполне, какъ-бы для представленiя какому нибудь ученому обществу. Но теперь онъ не думалъ уже представлять ее никакому обществу: онъ имѣлъ въ этомъ дѣлѣ гораздо болѣе глубокой и болѣе личный интересъ. Ему нужно было прежде всего добиться рѣшенiя вопроса — сходитъ онъ съ ума, или нѣтъ. Затѣмъ будетъ довольно времени для рѣшенiя такихъ второстепенныхъ теоретическихкихъ проблемъ, какъ всеобщiй физическiй строй вселенной.

Окончивъ свои вычисленія, онъ тотчасъ взялъ рукопись и отправился съ нею сдѣлать два визита къ своимъ ученымъ знакомымъ. Прежде всего онъ пошелъ къ извѣстному специалисту, профессору Линклайту, одному изъ величайшихъ авторитетовъ своего времени по всѣмъ вопросамъ молекулярной физики. Бѣдняжка! онъ теперь почти забытъ, — онъ умеръ десять лѣтъ тому назадъ, — и его ученая репутація, сказать правду, принадлежала къ эфемерному разряду тѣхъ, которыя зиждутся, главнымъ образомъ, на задаваніи хорошихъ обѣдовъ руководящимъ членамъ Королевскаго общества. Но пятнадцать лѣтъ тому назадъ профессоръ Линклайтъ, съ его застарѣлыми догматическими идеями и мелочною техническою точностью, считался первѣйшимъ физикомъ-мыслителемъ во всей Англіи. Поэтому Артуръ, обладавшій гораздо болѣею глубиною и ясностью мышленія, съ полнымъ смиреніемъ понесъ къ нему первую рукопись о своемъ изумительномъ открытіи, — не для того, чтобы спросить, вѣрны-ли изложенныя въ ней идеи или нѣтъ, а для того, чтобы узнать, относится-ли она вообще къ области физической науки или-же представляетъ собою чистое сумасшествіе? Профессоръ принялъ его ласково; и когда Артуръ, который, конечно, имѣлъ свои причины скрыть имя автора, сталъ просить Линклайта просмотрѣть рукопись *своего друга*, въ виду предполагаемаго представленія ея Королевскому обществу, профессоръ весело обѣщалъ исполнить это насколько можно добросовѣстнѣе. «Хотя вы согласитесь, дорогой м-ръ Грэтрексъ — прибавилъ онъ, съ самою ласковою улыбкой, — что рукопись вашего друга не страдаетъ чрезмѣрною краткостью».

Отъ Линклайта Артуръ съ трепетомъ отправился къ другой ученой знаменитости, къ доктору Уорминстеру, который раздѣлялъ со своимъ другомъ и соперникомъ Эберри славу перваго, во всемъ Соединенномъ королевствѣ, авторитета по леченію умалишенныхъ. Отъ доктора Уорминстера Артуръ не пытался скрывать свои опасенія. Онъ высказалъ всѣ свои симптомы и тревоги, безъ всякой утайки, даже нѣсколько преувеличивая ихъ, какъ человѣкъ, опасующійся выставить свои страданія въ слишкомъ благопріятномъ свѣтѣ. Докторъ Уорминстеръ внимательно и съ глубокимъ интересомъ выслушалъ все, что рассказывалъ ему Артуръ, въ концѣ его разсказа, задумчиво повачалъ головою и отвѣчалъ весьма серьезнымъ и соболѣзующимъ тономъ:

— Мой дорогой Грэтрексъ, я поступилъ-бы съ вами нехорошо, если-бы не сказалъ вамъ откровенно, что сообщенное вами даетъ основаніе къ серьезнымъ опасеніямъ. Вы — человекъ молодой, и, при постоянномъ вниманіи къ цѣлебнымъ средствамъ и обстановкѣ, можетъ быть, избѣгнете угрожающей вамъ опасности. Общество, забавы, развлеченія, отдыхъ, совершенное прекращеніе ученыхъ занятій, отсутствіе, — насколько это возможно, — умственного безпокойства въ какомъ-бы то ни было видѣ, могутъ помочь вамъ благополучно пройти чрезъ поворотный пунктъ. Но, съ моей стороны, было-бы недобросовѣстно и жестоко не предупредить васъ, что опасность дѣйствительно существуетъ. Это весьма необычайный случай, что пациентъ самъ лично прибѣгаетъ къ совѣту въ подобныхъ вещахъ. Гораздо чаще не больной, а его друзья замѣчаютъ происшедшую въ немъ перемѣну. Но такъ какъ вы сами прямо спрашиваете моего мнѣнія, то я не могу не сказать вамъ, что я нахожу ваше положеніе требующимъ строжайшей осторожности и предупредительныхъ средствъ.

Артуръ поблагодарилъ его за многочисленныя указанія относительно того, что нужно дѣлать и чего слѣдуетъ избѣгать, и, совершенно разстроенный, выбѣжалъ на улицу. «Отсутствіе умственного безпокойства! какъ могу я освободиться отъ него, когда знаю, что могу, въ каждый моментъ, сойти съ ума и что этотъ ударъ положительно убьетъ Гетти? Относительно себя самого — я бы нисколько не заботился, но Гетти! Это слишкомъ ужасно».

Онъ не имѣлъ духу отправиться въ этотъ день къ Эберри, — хотя обѣщалъ придти, — и мучился мыслью, что Гетти сочтетъ его невнимательнымъ къ ней. Онъ не могъ посѣтить ее, пока длилась эта неизвѣстность; если-же самыя тяжкія опасенія его оправдаются, то онъ никогда уже не можетъ пойти къ ней опять, развѣ только одинъ разъ, чтобы проститься съ нею навсегда. Какъ ни любилъ ее Артуръ Грэтрексъ, онъ любилъ слишкомъ глубоко для того, чтобы думать о женитьбѣ на ней, если призракъ возможности сумасшествія долженъ омрачить ея будущность. Пусть она лучше перенесетъ ударъ, даже если-бы онъ убилъ ее разомъ, чѣмъ обоимъ имъ жить въ непрестанномъ опасеніи этой ужасной возможности и сдѣлаться родителями дѣтей, надъ которыми цѣлую жизнь будетъ тяготѣть наследственное проклятіе. Въ связи съ угрызениями виновной со-

вѣншій пріобрѣтать извѣстность фізіолога, спокойно
протѣвъ него на софѣ.
— Что это такое Артуръ?—спросилъ Фрилингъ, небрежно
рукопись и взглянувъ на заглавіе. Ужь не высказали-ли
наконецъ, свою блистательную идею о взаимныхъ соотно-
ніяхъ энергіи?

— Да, Гарри, и я желалъ бы, чтобы этого не случилось,
тому что все это — сумасшествіе, глупость, безуміе, без-
мыслица!

— Если такъ, то я то-же сумасшедшій, мой дорогой то-
варищъ, потому что, по моему мнѣнію въ области физики,
это самая убѣдительная, вещь, о которой я только когда либо
слышалъ. Дайте мнѣ прочесть рукопись и посмотрѣть какимъ
образомъ вы произвели эти превосходныя вычисленія относи-
тельно квадратнаго корня π. Можно взять?

— Возьмите, ради Бога, и оставьте меня, Гарри, потому
что если я не останусь на единѣ, то не выдержу и расплачусь
передъ вами.—Говоря это, онъ закрылъ лицо рукавомъ и за-
рыдалъ, какъ женщина.

Докторъ Фрилингъ зналъ, что Артуръ влюбленъ, и ему
было извѣстно, что въ такихъ обстоятельствахъ люди иногда
отличаются непостижимыми странностями; поэтому онъ сдѣ-
лалъ то, что было наиболѣе благоразумно въ настоящемъ слу-
чаѣ: онъ тихо пожалъ руку своего друга, не сказавъ больше
ни слова и, взявъ свою шляпу и рукопись, спокойно вышелъ
изъ комнаты. За тѣмъ онъ попросилъ хозяйку квартиры при-
готовить м-ру Грэтрексу чашку крѣпкаго кофе съ воньявомъ и
ушелъ, предоставивъ Артура его одинокимъ думамъ.

Вечерняя почта привезла Артуру Грэтрексу два письма,
которыя окончательно привели его въ уныніе. Одно было отъ
доктора Эберри. Онъ открылъ конвертъ съ тяжелымъ предчу-
ствіемъ и прочелъ письмо съ возрастающимъ и гнетущимъ
чувствомъ ужаса. Значить, не онъ одинъ узналъ тайну его
зарождающагося сумасшествія. Опытный взглядъ А-ра Эберри
тоже замѣтилъ появляющіеся симптомы. Докторъ писалъ то-
номъ ласки и очевиднаго прискорбія, но нельзя было обма-
нуться на счетъ рѣшительнаго смысла его дальнейшихъ на-
мѣреній. Въ это утро, въ разговорѣ его со своимъ другомъ
Уорминстеромъ, этотъ послѣдній, не называя имени, упомя-
нулъ о настоящемъ случаѣ, и Эберри тотчасъ же понялъ, что

Фрилингъ пришелъ освѣдомиться о состояніи больной, то нашелъ ее настолько оправившеюся, а Артура измученнымъ до такой степени, вслѣдствіе страха и бессонной ночи, что настоялъ на своемъ желаніи увезти его къ себѣ и подвергнуть его чѣмъ нибудь. Артуръ можетъ тотчасъ вернуться, говорилъ онъ, но прежде ему слѣдуетъ принять микстуру, стаканъ зельтерской воды съ коньякомъ и съѣсть хоть кусочекъ чего нибудь, вмѣсто завтрака.

Между тѣмъ какъ Фрилингъ откупоривалъ бутылку съ зельтерской водой, Артуръ случайно взглянулъ на обезьяну, привязанную на цѣпь къ столбику на небольшой площадкѣ. находившейся около комнаты для консультацій. Артуръ привыкъ видѣть тамъ обезьянъ, такъ какъ Фрилингъ часто бралъ больныхъ обезьянъ изъ Зоологическаго сада, чтобы наблюдать за ними бокомъ-о-бокъ съ больными людьми, своими паціентами. Но эта обезьяна, при настоящемъ разстроенномъ состояніи его нервовъ, приковала къ себѣ его вниманіе, такъ какъ въ ея лицѣ, повидимому, было нѣчто ему знакомое. Глядя на нее, онъ съ чувствомъ невыразимаго отвращенія понялъ — что именно такъ странно и ужасно напоминало ему физиономію этой обезьяны. Она дѣлала безобразныя и какъ будто насмѣшливыя гримасы, — тѣ самыя гримасы, которыя онъ видалъ на своемъ собственномъ лицѣ въ зеркалѣ, въ послѣдніе два дня! Ужасная мысль! Онъ снизошелъ до уровня обезьянъ!

Чѣмъ болѣе онъ наблюдалъ, тѣмъ болѣе безусловно тождественными казались ему гримасы обезьяны съ его собственными. Была ли то игра воображенія, или дѣйствительность? Или это не болѣе какъ заблужденіе, показывающее, что его мозгъ приходитъ теперь въ совершенное разстройство? Онъ протеръ глаза, сосредоточилъ свое вниманіе и снова съ глубочайшимъ интересомъ сталъ смотрѣть на обезьяну. Нѣтъ, онъ не могъ ошибиться. Она продѣлывала лицомъ точно такія же штуки, какъ онъ самъ!

— Гарри, сказалъ онъ тихимъ, испуганнымъ тономъ. — Посмотрите на эту обезьяну. Она сумасшедшая? Скажите мнѣ.

— Мой дорогой Артуръ, отвѣчалъ его другъ, съ нѣкоторымъ отгѣнкомъ упрека, — вы въ настоящую минуту, дѣйствительно, не въ своемъ умѣ. Нѣтъ она вовсе не сумасшедшая. Она здорова, какъ вы, и, могу васъ увѣрить, это много значить.

— Но, Гарри, вы не видели что она выдѣлываетъ. Она гримасничаетъ и кривляется самымъ необыкновеннымъ образомъ.

— Что-жь изъ этого? Обезьяны часто дѣлаютъ гримасы; развѣ не правда? холодно отвѣчалъ Фрилингъ. Выпейте коньяку, и вамъ будетъ лучше.

— Но онѣ гримасничаютъ не такъ, какъ эта, — наставлялъ Артуръ.

— Да, конечно, не такъ. Поэтому то я и взялъ ее къ себѣ. Изъ за этого, я намѣренъ сдѣлать ей операцію съ помощью хлороформа, и немедленно вылечу ее.

Артуръ вскочилъ со своего стула, какъ безумный.

— Сдѣлать ей операцію, лечить ее! вскричалъ онъ. Что вы подъ этимъ разумѣете, Гарри?

— Мой милый мальчикъ, не волнуйтесь, — отвѣчалъ Фрилингъ. Эта неизвѣстность и бессонница слишкомъ сильно по дѣйствовали на васъ. Это протестъ противъ вивисекціи, доведенный до абсурда. Не думаете ли вы сказать, что вы не одобряете операцій надъ обезьянами, сдѣланныхъ ради ихъ собственной пользы? Если я не перерѣжу ей одного нерва, то явится столбнякъ, отъ котораго она умретъ въ большихъ мученіяхъ. Выпейте-ка свой коньякъ, и вы почувствуете себя лучше отъ этого.

— Но, Гарри, что такое съ обезьяной? ради Бога, скажите мнѣ!

Гарри Фрилингъ посмотрѣлъ на своего друга въ первый разъ съ нѣкоторою подозрительностью. Не правъ ли былъ Уоринстеръ и не въ самомъ ли дѣлѣ Артуръ сходитъ съ ума? Вѣдь смѣшно, что онъ до такой степени волнуется по поводу страданій ручной обезьяны и притомъ въ подобный моментъ!

— Хорошо, медленно проговорилъ Фрилингъ. Эти подергиванія въ лицѣ обезьяны происходятъ вслѣдствіе легкаго мѣстнаго паралича задерживающихъ нервовъ, которыми снабжены щечные и гортанные мускулы, паралича, способнаго перейти въ столбнякъ. Если я перерѣжу ей маленькій нервный узелъ за ухомъ и примѣню къ дѣлу савтонинъ, то мускулы расправятся; и хотя они не будутъ дѣйствовать такъ свободно, какъ прежде, но они перестанутъ прыгать и гримасничать.

— Случается-ли это когда-нибудь съ людьми? спросилъ Артуръ.

— Съ людьми? Разумѣется! Я видалъ дюжины такихъ слу-

чаевъ. Ба! Артуръ! да это самое происходитъ съ вашимъ лицомъ, какъ разъ въ настоящую минуту!

— Я знаю это,—отвѣчалъ Артуръ, въ мучительномъ ожиданіи. Не полагаете-ли вы, что эти подергиванія моего лица происходятъ отъ мѣстнаго паралича задерживающихъ нервовъ, о которыхъ вы сейчасъ говорили?

— Извините меня, что я смѣюсь, дорогой Артуръ. Вашъ видъ комиченъ до нелѣпости. Нѣтъ, я вовсе ничего не полагаю, а знаю навѣрное.

— Значитъ, по вашему мнѣнію, Уорминстеръ ошибся, принявъ это за симптомъ зарождающагося безумія?

Теперь Фрилингъ, въ свою очередь, вскочилъ, въ изумленіи, со стула.

— Не хотите-ли вы сказать, Артуръ, что это было единственнымъ основаніемъ, по которому этотъ старый дуракъ Уорминстеръ призналъ васъ сходающимъ съ ума?

— Онъ не видалъ этихъ подергиваній самъ, — отвѣчалъ Артуръ, со вздохомъ невыразимаго облегченія.—Я только описалъ ихъ ему и онъ вывелъ свое заключеніе изъ моего разсказа. Но, Гарри, существенный вопросъ состоитъ вотъ въ чемъ: совершенно-ли вы увѣрены, что со мною не происходитъ ничего, кромѣ этого?

— Безусловно увѣренъ, мой дорогой другъ. Я могу вылечить васъ въ полчаса. Я дѣлалъ такія операціи множество разъ и знакомъ съ этими вещами столько-же, какъ вы съ обыкновенными случаями скарлатины.

Артуръ вздохнулъ снова. — И можетъ быть, — съ горечью сказалъ онъ, — эта ужасная ошибка будетъ стоить жизни дорогой Гетти.

Онъ выпилъ коньяку, проглотилъ нѣсколько кусковъ говядины и поспѣшилъ вернуться къ Эберри. Тамъ онъ узналъ отъ слуги, что положеніе больной, по крайней мѣрѣ, ни сколько не ухудшилось, и долженъ былъ покамѣстъ удовольствоваться этимъ отрицательнымъ утѣшеніемъ.

Болѣзнь Гетти была продолжительна и серьезна; но прежде, чѣмъ она прошла, Фрилингу удалось убѣдить доктора Эберри и Уорминстера въ ихъ ошибку и, посредствомъ простой хирургической операціи, доказать, что отвратительныя гримасы Артура происходили единственно отъ чисто-физической причины. Операція вполнѣ удалась; но, хотя лицо Грэтрекса съ тѣхъ

поръ уже не было подвержено страннымъ судорогамъ, ослабленіе мускуловъ дало его чертамъ то странно-спокойное и почти безстрастное выраженіе, которое каждый можетъ замѣтить у него въ настоящее время, даже въ моменты величайшаго одушевленія. Затрудненіе состояло теперь въ томъ, какимъ образомъ открыть Гетти причину временнаго недоразумѣнія, чего нельзя было сдѣлать до тѣхъ поръ, пока ея здоровье не поправится въ значительной степени. Когда, наконецъ, необходимое объясненіе произошло, и Артуръ могъ снова поцѣловать Гетти, не подвергаясь болѣе ни малѣйшей тѣни подозрѣнія съ ея стороны, онъ почувствовалъ, что, наконецъ, достигъ своего рая.

За нѣсколько дней до свадьбы, Фрилингъ явился въ гостиную доктора, гдѣ Гетти и Артуръ сидѣли вдвоемъ, и положилъ на столъ какой-то конвертъ съ французскою официальною печатью.

— Знаете-ли, — сказалъ онъ, — я нахожу, что всѣ члены Парижской академіи наукъ тоже сумасшедшіе!

Гетти слабо улыбнулась и сказала съ нѣкоторою запальчивостью: — Ахъ, докторъ Фрилингъ, этотъ вопросъ слишкомъ серьезенъ для насъ обоихъ, чтобы дѣлать изъ него предметъ шутки.

— Но посмотрите сюда, миссъ Эбери, — возразилъ Фрилингъ; — я долженъ извиниться предъ Артуромъ въ слишкомъ смѣломъ самовольномъ поступкѣ и думаю, что мнѣ лучше всего начать объясненіемъ, въ чемъ онъ состоялъ. Дѣло въ томъ, что, еще до вашей болѣзни, Артуръ написалъ трактатъ о взаимныхъ соотношеніяхъ энергіи, который онъ показалъ этому напыщенному олуху, профессору Линкляйту. Линкляйтъ, принадлежа къ разряду тѣхъ людей, которые не видятъ ничего далѣе своего носа, имѣлъ непостижимую глупость сказать ему, что въ этомъ сочиненіи нѣтъ никакого смысла. Поэтому вашъ будущій супругъ, человекъ скромный и не цѣнящій себя, какъ слѣдуетъ, вздумалъ тотчасъ-же бросить его въ корзину для негодной бумаги. Но его другъ, Гарри Фрилингъ, который льститъ себя надеждою, что онъ въ состояніи видѣть на одинъ дюймъ далѣе своего носа, прочелъ статью и призналъ, что это — блистательное открытіе. Что-же онъ дѣлаетъ? — Вотъ этотъ-то поступокъ и нуждается въ извиненіи. — Онъ даетъ перевести этотъ мемуаръ на французскій языкъ, ставитъ на немъ девизъ, запечатываетъ въ конвертъ и посылаетъ его на конкурсъ Ака-

деміи для полученія золотой медали. Странно сказать, члены Академіи сдѣлались совершенно такими-же сумасшедшими, какъ авторъ и его другъ: я только что получилъ это письмо, адресованное Артуру на мою квартиру (я позволилъ себѣ и другую вольность — распечаталъ его), письмо съ увѣдомленіемъ, что академія присудила свою золотую медаль за физическія открытія мистеру Артуру Грэтрексу, въ Лондонѣ. Это обстоятельство слѣдуетъ считать поводомъ для поздравленія всѣхъ насъ троихъ и пощечиной надутому старику Линкляйту.

Гетти схватила обѣ руки Фрилинга.

— Вы были нашимъ добрымъ геніемъ, докторъ Фрилингъ, сказала она, со слезами на глазахъ. — Я обязана вамъ Артуромъ, а Артуръ обязанъ вамъ мною, и теперь мы оба обязаны вамъ еще и *этимъ*. Чтѣ можемъ мы сдѣлать, чтобы когда нибудь отблагодарить васъ въ достаточной степени?

Артуръ Грэтрексъ давно уже женился на Гетти, и его знаменитое сочиненіе (въ расширенномъ видѣ) было переведено на всѣ языки цивилизованнаго міра, въ томъ числѣ и на нѣмецкій. Но при всемъ ихъ счастіи, вы до настоящей минуты можете видѣть на ихъ лицахъ упорные слѣды пережитой ими тревоги. Для многихъ изъ ихъ друзей описанныя выше обстоятельства казались впоследствии просто забавнымъ случаемъ, но для двухъ потерпѣвшихъ, особенно для Артура Грэтрекса, они были слишкомъ тягостны для того, чтобы они могли вспомнить о нихъ, даже теперь, безъ трепета.

II.

Эпизодъ изъ великосвѣтской жизни.

Сэръ Генри Вардонъ, командоръ ордена Бани, электротехникъ адмиралтейства, титулъ котораго былъ возвѣщенъ въ газетахъ недѣль шесть тому назадъ, въ настоящее время — самый младшій изъ живущихъ членовъ великобританскаго титулованнаго дворянства. Ему теперь только тридцать лѣтъ, и нынѣшнее высокое отличіе онъ приобрѣлъ тѣми замѣчательными изобрѣтеніями по части электрической сигнализаци и маячныхъ приспособленій, о которыхъ въ этомъ году

говорилось такъ много въ журналѣ «Nature» и за которыя онъ, въ 1881 году, получилъ золотую медаль Королевскаго Общества.

Когда, семь лѣтъ тому назадъ, Гарри Вардонъ оставилъ Оксфордъ, ни одинъ изъ его друзей не могъ понять — что побудило его отказаться отъ всѣхъ шансовъ университетской карьеры. Сынъ бѣднаго деревенскаго пастора, который на послѣднія крохи своего скуднаго дохода отправилъ его въ коллегію, Вардонъ дѣлалъ честь отцу и себѣ самому во всѣхъ школахъ. Онъ получилъ лучшую стипендію коллегіи Магдалины, былъ первымъ по классическимъ предметамъ и затѣмъ пристрастился къ изученію точныхъ наукъ, въ которыхъ сдѣлалъ громадныя успѣхи. Черезъ четыре года онъ сдѣлался членомъ Бальольскаго ученаго общества и за тѣмъ, черезъ двѣнадцать мѣсяцевъ, внезапно изумилъ оксфордскую публику, принявъ должность воспитателя молодаго графа Сэррея, которому въ то время было около шестнадцати лѣтъ.

Но Гарри имѣлъ свои весьма основательныя причины для подобнаго шага. Черезъ полгода послѣ того, какъ онъ сдѣлался членомъ Бальольскаго ученаго общества, старый пасторъ неожиданно скончался, оставивъ свою единственную дочь сиротой, безъ всякихъ средствъ къ существованію. Это было очень естественно, такъ какъ издержки на Гарри во время его школьныхъ лѣтъ совершенно поглотили скудныя сбереженія пастора, накопленныя въ теченіе двадцатилѣтняго его пребыванія въ Литль-Гинтонѣ. Чтобы доставить Эдиен каковой-нибудь пріютъ, Гарри долженъ былъ найти что-нибудь такое, что могло-бы немедленно доставить ему деньги. Школьная педагогика, это прибѣжище заштатныхъ ученыхъ, была ему не по душѣ, и поэтому, когда старшій воспитатель коллегіи Бонифація письменно спросилъ его — не желаетъ-ли онъ заняться съ однимъ барченкомъ—такова была его непочтительная фраза,—то Гарри подпрыгнулъ отъ радости и съ величайшею поспѣшностью принялъ предлагаемое вознагражденіе — по 400 фунтовъ стерлинговъ въ годъ. Этого было болѣе чѣмъ достаточно на всѣ скромныя потребности Эдиен; и притомъ онъ имѣлъ въ виду, что на этомъ мѣстѣ ему будетъ оставаться довольно времени для продолженія изслѣдованій по электричеству. Нужно сказать, что Гарри даже въ ту минуту смотрѣлъ на барченка только какъ на временный ресурсъ,

имѣя въ виду, въ концѣ концовъ, проложить себѣ дорогу тѣми блистательными открытіями въ области электричества, которыя, несомнѣнно, обезсмертатъ его имя.

Дѣло состоялось лѣтомъ, и семейство Сэрреевъ (которые были бѣдны для своего положенія въ обществѣ) только что отправилось въ Колифордское аббатство, родовое помѣстье въ долинѣ Эксъ близъ Ситона. Вы, вѣроятно, бывали въ этомъ домѣ, такъ какъ во время отсутствія владѣльцевъ онъ открытъ по вторникамъ для посѣтителей. Это—прекрасное зданіе, отчасти перестроенное на новѣйшій стиль, но все еще сохранившее нѣкоторыя черты своего прежняго характера, несмотря на опустошенія, произведенныя Айниго Джонсомъ, который превратилъ капеллу и трапезу старыхъ цистерціанцевъ въ парадную столовую и бальную залу, для перваго новосозданнаго лорда Сэррея. Гарри Вардонъ пріѣхалъ туда въ очень хорошую погоду; терраса, паркъ и прекрасная аллея представились ему во всемъ своемъ великолѣпіи. Гарри тотчасъ-же очаровался ландшафтомъ и почти влюбился съ перваго взгляда въ обитательницу этого мѣста.

Лэди Сэррей, мать, сидѣла на садовой скамьѣ противъ дома, когда экипажъ, встрѣтившій Вардона на колифордской станціи, подкатилъ къ подъѣзду. Она была гораздо моложе и красивѣе, чѣмъ ожидалъ Гарри. Онъ представлялъ себѣ эту вдовствующую леди статною женщиной лѣтъ шестидесяти, съ сѣдыми волосами и величавыми манерами; но вмѣсто того увидѣлъ передъ собою хорошо сохранившуюся, не имѣвшую еще и сорока лѣтъ красавицу средняго роста, поразительно привлекательную въ своей полнолицой, зрѣлой, но тѣмъ не менѣе изящной красотѣ. Она имѣла волнистые каштановые волосы, правильныя черты, прекрасныя, бѣлыя, какъ жемчугъ, зубы, розовыя щеки и свѣжій нѣжный цвѣтъ лица, еще совершенно нетронутый годами. Она была одѣта такъ, какъ слѣдовало быть одѣтою подобной особѣ: въ ея нарядѣ не замѣчалось никакихъ притязаній на молодость, но онъ въ наилучшемъ свѣтѣ выставялъ ея зрѣлую красоту и женственную фигуру. Гарри былъ всегда очень впечатлителенъ; и я думаю, что онъ по уши влюбился-бы въ нее съ перваго взгляда, если-бы она была одна.

Но тамъ находилось нѣчто, сохранившее его отъ подобной случайности. Этимъ «нѣчто» была дѣвушка, которая, въ полуклонномъ положеніи, сидѣла на тигровой шкурѣ у ногъ леди Сэррей, съ бюваромъ для эскизовъ на колѣняхъ. Онъ едва-ли

могъ остановить свое полное вниманіе на матери, потому что въ то-же время былъ занятъ созерцаніемъ дочери. Я не стану описывать леди Гледизъ Дьюрэнтъ: всѣ хорошенькія дѣвушки подходятъ подъ одну какую-нибудь изъ полдюжины категорій, и самое лучшее описаніе ихъ, въ сущности, не имѣетъ никакихъ преимуществъ сравнительно съ простымъ отнесеніемъ ихъ къ тому или другому классу. Леди Гледизъ принадлежала къ высокому граціозному аристократическому разряду и представляла собою хорошій образецъ этого типа въ семнадцатилѣтнемъ возрастѣ. Гарри Вардонъ не влюбился тотчасъ-же и въ нее: онъ былъ слишкомъ занятъ разсматриваніемъ обѣихъ женщинъ для того, чтобы быть способнымъ, даже мысленно, сдѣлать выборъ между ними. Мать и дочь были почти одинаково красивы, каждая въ своемъ отличительномъ стилѣ.

Графиня приподнялась, чтобы привѣтствовать его;—сколько мнѣ извѣстно, со стороны подобныхъ знатныхъ особъ считается снисхожденіемъ даже замѣтить какого нибудь воспитателя, но хотя я самъ и не любитель лордовъ, тѣмъ не менѣе, я долженъ отдать справедливость Дьюрэнтамъ: ихъ обращеніе съ Гарри было всегда самое ласковое, какого только можно ожидать отъ людей съ ихъ понятіями и традиціями.

— М-ръ Вардонъ? спросила она, протягивая руку новому наставнику. Гарри поклонился.— Я рада, продолжала графиня, что вы въ первый разъ познакомились съ Колифордомъ въ такой прекрасный день. Это очень красивое мѣсто, не правда ли? Гледизъ, это м-ръ Вардонъ, который такъ любезно согласился заняться воспитаніемъ Сэррея.

— Боюсь, что вы не знаете за что взялись, — сказала Гледизъ, улыбаясь и протягивая ему руку.— Онъ — ужасный повѣса. Были ли вы знакомы съ этими мѣстами прежде?

— Собственно съ этими мѣстами — нѣтъ; приходъ моего отца находился въ сѣверной части Девоншира, но я знаю очень хорошо большую часть графства.

— Это хорошая мѣстность, — съ живостью сказала Гледизъ; мы всѣ здѣсь девонширцы и всѣмъ сердцемъ вѣруемъ въ свое графство. Я бы желала, чтобы Сэррей заимствовалъ отъ него свой титулъ. Получить его отъ мѣста, до котораго вамъ нѣтъ никакого дѣла, единственно на томъ основаніи, что вы приобрѣли тамъ имѣніе — это такъ нелѣпо! Я люблю девонширцевъ болѣе, чѣмъ кого нибудь.

— М-ръ Вардонъ, можетъ быть, желалъ бы посмотрѣть свои комнаты, — сказала графиня. — Не проводите ли вы его туда, Парверъ?

Помѣщеніе, отведенное для Гарри, представляло собою все, чего онъ только могъ желать. Тамъ была красиво меблированная маленькая гостиная, съ передняго фасада, исключительно для него, съ видомъ на долину и на море вдаль; при ней кабинетъ, для занятій его съ питомцемъ; далѣе—веселая спальня и, наконецъ, съ задней стороны, въ нижнемъ этажѣ—большая пустая комната, относительно которой Гарри специально условился заранѣе: она предназначалась для установки тамъ электрическаго аппарата, такъ какъ Вардонъ намѣревался производить опыты и ревностно заниматься своимъ предметомъ въ свободное время. Тамъ была также особая прислуга, и, вообще, Гарри чувствовалъ, что если отношенія его къ окружающей средѣ будутъ сносны, то онъ можетъ очень удобно прожить годъ или два въ Колифордскомъ аббатствѣ.

Есть люди, которые совсѣмъ не могутъ выносить подобной жизни; есть и такіе, которые въ состояніи ее выдержать, потому что способны выносить что-бы-то ни было. Гарри Вардонъ не принадлежалъ ни къ тому, ни къ другому разряду. Онъ былъ однимъ изъ тѣхъ, которые чувствуютъ себя дома въ большей части мѣстъ и могутъ преуспѣвать во всякомъ обществѣ одинаково. Во-первыхъ, онъ былъ однимъ изъ красивѣйшихъ молодыхъ людей; онъ имѣлъ большіе темные глаза и тѣ характерные черные усыки, которымъ не можетъ противиться ни одна женщина. Далѣе, онъ былъ высокъ и представительнъ, и это производило впечатлѣніе даже на лакеевъ, этихъ опаснѣйшихъ для частнаго воспитателя критиковъ. Сверхъ того, онъ былъ уменъ, разговорчивъ и пріятенъ; и сознавалъ, — въ этомъ ему никогда не приходило въ голову сомнѣваться, — что онъ оказалъ нѣкоторую честь семейству Сэрреевъ, согласившись быть учителемъ молодого барченка; да и въ самомъ дѣлѣ это была для него весьма скромная роль.

Поѣздъ прибылъ въ исходѣ седьмого часа вечера, затѣмъ нужно было проѣхать нѣкоторое пространство отъ станціи, такъ что Гарри едва успѣлъ одѣться къ обѣду, когда прозвонилъ обѣденный колоколъ. Въ гостиной онъ встрѣтилъ своего будущаго питомца,—красиваго, смѣлаго, но, очевидно, лѣтнѣваго мальчика лѣтъ шестнадцати. Никого изъ постороннихъ

не было, и молодой графъ повелъ мать, а Гарри подалъ руку леди Гледизъ. Во время обѣда новый воспитатель снялъ точную умственную мѣрку со всего тріо. Графиня была умна, это не подлежало сомнѣнію; она интересовалась книгами и искусствомъ, могла хорошо, хѳта поверхностно, говорить о большинствѣ текущихъ вопросовъ, съ свободною блестящею манерой свѣтской женщины. Гледизъ была тоже умна, хотя не отличалась начитанностью; она бредила рисованьемъ и музыкой и была въ восторгѣ, узнавъ, что Гарри немножко занимается акварельною живописью, и, кромѣ того, имѣетъ хорошую скрипку. Что касается мальчиѳа, то его воображеніе постоянно было занято собаками, ружьями и крикетомъ, и хотя онъ былъ очень важною персоной, въ качествѣ будущаго члена британскаго законодательнаго корпуса, но, я думаю, въ цѣляхъ настоящаго разсказа, касающагося главнымъ образомъ судьбы Гарри Вардона, мы, безъ всякаго неудобства, можемъ оставить мальчиѳа безъ вниманія. Гарри училъ его, насколько можно было заставить его учиться, часъ или два каждое утро и наблюдалъ за нимъ издали въ остальное время дня, если онъ находился на разстояніи не далѣе звука человѣческаго голоса. Но такъ какъ мальчиѳъ почти постоянно былъ гдѣ нибудь далеко, занятый или съ ловчимъ, или съ конюхомъ, то, въ дѣйствительности, онъ едва ли игралъ какую нибудь роль въ теченіи жизни своего наставника, за исключеніемъ опредѣленныхъ часовъ ученья. Сказать правду, онъ никогда ни у кого не учился многому и не сдѣлалъ ничего такого, о чемъ стоило бы говорить; но въ послѣдствіи онъ женился на одной богатой наслѣдницѣ изъ Бѣрмингэма, съ милліономъ — или около того — собственныхъ денегъ, и въ настоящее время принадлежитъ къ числу наиболѣе выдающихся членовъ палаты лордовъ.

Послѣ обѣда графиня показала Гарри превосходную коллекцію произведеній Бартолоцци; и Гарри, понимавшій кое что по этому предмету, объяснилъ графинѣ, что она ошибалась относительно подлинности одного или двухъ изъ нихъ. Гледизъ довольно хорошо играла, и онъ пропѣлъ съ нею дуэтъ, — пропѣлъ такъ хорошо, что она нѣсколько устыдилась своего собственнаго пѣнія. Наконецъ, Гарри принесъ свою скрипку, что заставило графиню слегка улыбнуться, такъ какъ она считала это нѣсколько смѣлымъ для перваго вечера;

но когда онъ сыгралъ одну изъ своихъ лучшихъ пьесъ, то она улыбнулась снова, потому что она обладала хорошимъ слухомъ и большимъ вкусомъ. Послѣ этого они всѣ пошли спать, и Гледизъ въ уединеніи своей комнаты сказала своей горничной, что новый воспитатель пріятный человѣкъ и представляетъ собою облегченіе послѣ такой дубины, какъ мистеръ Уилькинсонъ.

За раннимъ завтракомъ общество было то же самое, но за позднимъ появились на сцену двѣ младшія дѣвочки, съ своею гувернанткою, миссъ Мартиндэль.

Принадлежа къ совершенно другому типу, чѣмъ Гледизъ, Этель Мартиндэль была въ своемъ родѣ не менѣ красивой дѣвушкой. Она была небольшого роста, миловидная, съ нѣжными маленькими руками, бѣлымъ, хорошенькимъ личикомъ, и не слишкомъ воздушнымъ, но весьма граціознымъ сложениемъ. На ея щекахъ и подбородкѣ видѣлись очаровательныя ямочки и цвѣтъ ея лица имѣлъ тотъ смугловатый оттѣнокъ, который въ болотистыхъ частяхъ Ланкашира такъ часто встрѣчается въ соединеніи съ свѣтло-каштановыми волосами и свѣтлокариыми глазами. Вообще она представляла собою совершенный контрастъ съ леди Гледизъ, и почти для каждаго было бы трудно рѣшить — которая изъ трехъ — мать, дочь, или гувернантка — красивѣе всѣхъ. Что касается меня, я безусловно подаю голосъ за графиню; но вѣдь я теперь нѣсколько сѣдъ и давно уже лысъ, и потому мои вкусы, естественно, обращены къ зрѣлой красотѣ. Я терпѣть не могу вашихъ самонадѣянныхъ семнадцатилѣтнихъ дѣвчонокъ, которыя только болтаютъ и хихикаютъ; мнѣ нравится женщина, которая имѣетъ что сказать о себѣ. Но Гарри Вардону только что исполнилось двадцать три года, и, можетъ быть, его выборъ, довольно натурально, обратился бы въ другую сторону.

Гувернантка говорила мало за завтракомъ и казалась вообще сдержанною и застѣнчивою дѣвушкой. Гарри съ сожалѣніемъ замѣтилъ, что она, повидимому, почти боится разговаривать съ кѣмъ нибудь, а также, что лакеи дѣлаютъ замѣтное различіе въ своемъ обращеніи съ нимъ и съ нею. Разъ или два онъ чувствовалъ желаніе поколотить этихъ людей за ихъ дерзость. Послѣ завтрака Гледизъ и младшія дѣвочки пошли гулять въ рѣкъ, и Гарри послѣдовалъ за ними съ миссъ Мартиндэль.

— Вы родомъ изъ этой части Англiи? — спросилъ онъ.

— Нѣтъ, отвѣчала Этель, — я изъ Ланкашира. Мой отецъ былъ пасторомъ небольшого прихода въ болотистой мѣстности.

Сердце Гарри сжалось. Его сестра Эднѣ могла очутиться въ такомъ же положенiи. Какая ничтожная случайность произвела все различiе!

— Мой отецъ тоже былъ пасторъ, — сказалъ онъ, — но онъ жилъ здѣсь, въ Девонширѣ. Нравится ли вамъ Колифордъ?

— О, да, — мѣсто очень нравится. Здѣсь можно дѣлать очаровательныя прогулки, и леди Гледизъ, и я много рисуемъ. И, притомъ, это очаровательная страна относительно цвѣтовъ.

«Мѣсто, но не жизнь; подумалъ Гарри. Бѣдное дитя, — ей должно быть, очень тяжело».

— М-ръ Вардонъ, подите сюда, вы мнѣ нужны, — крикнула ему Гледизъ съ маленькаго каменнаго мостика. — Вы знаете все на свѣтѣ. Не можете-ли вы сказать мнѣ — что это за цвѣтокъ? — И она протянула къ нему длинную вѣтку волнующейся зелени.

— Каперсовый молочай, — отвѣчалъ Гарри, небрежно взглянувъ на него.

— Нѣтъ, быстро возразила миссъ Мартиндэль, — это порландскiй молочай.

— Правда, — согласился Гарри, посмотрѣвъ на растение внимательнѣе. — Значить, вы немножко ботаникъ, миссъ Мартиндэль?

— Я не ботаникъ, но очень люблю цвѣты.

— Миссъ Мартиндэль постоянно набираетъ пропасть безобразныхъ растений и приноситъ ихъ домой, — замѣтила, смѣясь, Гледизъ; — не правда-ли, моя милочка?

Этель улыбнулась и кивнула головой. Они пошли черезъ мостъ на другую сторону рѣки и затѣмъ, вернулись назадъ въ паркъ.

Послѣдовавшiе затѣмъ три мѣсяца Гарри провелъ съ величайшимъ удовольствiемъ, въ разнообразной дѣятельности. Каждое утро онъ три часа училъ своего питомца, а послѣ полудня выходилъ на прогулку, или ловилъ рыбу въ рѣкѣ, или работалъ надъ своими электрическими машинами. Для жившей въ Аббатствѣ семьи подобный человѣкъ былъ совершенной находкой. Это былъ живой юноша, способный ко всякому дѣлу, а Дьюрэнты жили очень тихо и были рады, если кто-нибудь

оживлялъ ихъ домъ. Деньги приберегались ко времени совершеннолѣтія мальчика, но даже и тогда ихъ не могло накопиться много. Сэррей, посланный въ Итонъ, былъ затѣмъ, чрезъ мѣсяць или два, взятъ обратно, вслѣдствіе требованія школьнаго начальства, для предупрежденія болѣе строгихъ мѣръ. Послѣ того его два или три раза посылали въ другія школы, постоянно съ тѣмъ-же самымъ результатомъ. Тогда его оставили окончательно, чтобы поручить вразумленіямъ домашняго воспитателя. Единственною вещью, которая дѣлала его сравнительно спокойнымъ, была возможность бродить по окрестностямъ съ разными надсмотрщиками, а единственнымъ лицомъ, которое научило его чему нибудь, былъ Гарри Вардонъ, хотя и ему, признаться, не удалось напечатлѣть какіе нибудь особенно цѣнные уроки въ легкомысленномъ мозгу своего питомца. У графини было мало посѣтителей, и потому человекъ подобный Гарри былъ существеннымъ приобрѣтеніемъ для ея маленькаго семейнаго кружка. Онъ былъ постоянно нуженъ кому нибудь, гдѣ нибудь, и въ концу трехъ мѣсяцевъ сдѣлался просто необходимымъ.

Леди Сэррей постоянно совѣтовалась съ нимъ, то относительно надлежащаго мѣста для насажденія новыхъ веллингтоній, то насчетъ наилучшаго плана размѣщенія акварелей, или же спрашивала о точной датѣ постройки всѣхъ сосѣднихъ церквей. Это такъ приятно, — говорила она, — развѣзжать по окрестностямъ съ кѣмъ нибудь, кто дѣйствительно знаетъ исторію, геологію и древности страны. И она начала выказывать необычайный интересъ къ доисторической археологіи и терпѣливо выслушивать разсужденія Гарри о различіи между длинными и круглыми валами или объ истинномъ значеніи земляныхъ укрѣпленій на вершинѣ Мемберрійскаго Холма. Съ своей стороны, Гарри охотно пускался въ оживленные разглагольствованія обо всѣхъ этихъ предметахъ, потому что это былъ его конекъ—дѣлиться свѣдѣніями, которыхъ у него была цѣлая масса. Онъ любилъ бродить по странѣ, разсматривая замки и церкви, и съ большимъ авторитетомъ поучать двухъ хорошенькихъ женщинъ относительно законовъ архитектуры. Графиня заинтересовалась даже его великимъ изобрѣтеніемъ по электричеству и однажды пришла въ его мастерскую, чтобы узнать все относительно употребленія его таинственныхъ батарей. Что касается леди Гледизъ, то она постоянно нужда-

лась во мнѣніи мистера Вардона насчетъ наиболѣе подходящаго колорита для такой-то тѣни возлѣ коттеджа; въ его помощи при разыгрываніи того или другого труднаго мѣста въ пьесѣ Шопена, въ его совѣтѣ относительно примѣненія, съ декоративными цѣлями, такого то цвѣта къ такому-то хорошенькому вышиванью шерстью. Вопреки убѣдительнымъ увѣщаніямъ со стороны миссъ Мартиндэль и всѣмъ правиламъ приличія, она постоянно забѣгала въ комнату Гарри, чтобы спросить его совѣта о пяти стахъ различныхъ вещахъ, по пятисотъ разъ въ сутки.

Въ домѣ была только одна особа, которая, повидимому, совершенно чуждалась Гарри: миссъ Мартиндэль. Онъ никакимъ способомъ не могъ добиться того, чтобы она обращалась съ нимъ безъ стѣсненія. Она, повидимому, постоянно старалась быть отъ него подальше и никогда не присоединялась съ готовностью ни къ одному изъ его плановъ. Это было досадно, потому что Гарри Вардону дѣйствительно нравилась бѣдная дѣвушка, и ему было прискорбно ея одиночество. Но такъ какъ она не имѣла ничего сказать ему, то дѣлать было нечего, и онъ ограничился тѣмъ, что былъ къ ней въ высшей степени вѣжливъ, уважая ея очевидное желаніе—чтобы ее оставили въ покоѣ.

Однажды, послѣ поѣздки вчетверомъ къ старымъ развалинамъ близъ Каугейна, гдѣ Гарри вдоволь наслаждался рисованіемъ съ леди Гледизъ и лекціями, которыя онъ тамъ прочелъ графинѣ, онъ сидѣлъ на скамьѣ у красныхъ ведровъ. Вдругъ, къ своему удивленію, онъ увидалъ гувернантку, которая спокойно шла черезъ террасу, направляясь къ нему.

— М-ръ Вардонъ,—сказала она, остановившись у скамьи,—мнѣ нужно кое-что сказать вамъ. Я не рѣшилась бы высказаться, если бы не считала этого своею обязанностію. Думаете ли вы, что вамъ слѣдуетъ оказывать такое большое вниманіе леди Гледизъ? И вы, и я вошли въ семью на особенныхъ, какъ вамъ извѣстно, условіяхъ. Эти люди не считаютъ насъ принадлежащими къ тому же сорту человѣческихъ существъ, къ которому принадлежать они сами. Поэтому я опасаясь — мнѣ не хочется этого говорить,—но я думаю, что будетъ лучше, если скажу вамъ это я, а не миледи—я опасаясь, что мысли Гледизъ черезчуръ заняты вами. Чтобы она ни дѣлала, вы всегда помогаете ей. Она постоянно бѣгаетъ къ вамъ, то за тѣмъ, то за другимъ. Она очень молода, она встрѣчаетъ очень мало дру-

гихъ мужчинъ, а вы къ ней чрезвычайно внимательны. Но если люди этого разряда допускаютъ васъ въ свою семью, то они поступаютъ такимъ образомъ подъ безмолвно подразумеваемымъ условіемъ, что вы не сдѣлаете ничего такого, на что они посмотрятъ съ вашей стороны какъ на злоупотребленіе своимъ положеніемъ. Сегодня мнѣ показалось, что миледи какъ-то особенно посмотрѣла на васъ разъ или два, когда вы разговаривали съ Гледизъ, и я рѣшилась собраться съ духомъ и поговорить объ этомъ съ вами. Я подумала, что если я не сдѣлаю этого, то сдѣлаетъ она.

— Миссъ Мартиндэль, сказала Гарри, вставъ и идя вмѣстѣ съ нею къ аллеѣ изъ альпійскаго равитника,—я очень радъ, что вы облегчили вашу душу, высказавшись по этому предмету. Что касается меня, то я не признаю такого обязательства. Я женился бы на каждой дѣвушкѣ, которая бы мнѣ понравилась, каково бы ни было ея искусственно созданное положеніе; я не допустилъ бы никакихъ преградъ этого рода на моемъ пути. Но, сколько мнѣ извѣстно, я не имѣлъ еще ни малѣйшаго намѣренія когда-нибудь сдѣлать попытку — жениться на леди Гледизъ, или на какой-либо другой изъ дѣвушекъ ея круга, и поэтому, пока я нахожусь въ нерѣшимости на счетъ этого пункта, я буду поступать, какъ вы желаете. Кстати: мнѣ теперь бросается въ глаза то обстоятельство, что вы всегда старались держать ее какъ можно подальше отъ меня.

— Да. Это было моею обязанностью. Я думаю, что мнѣ слѣдовало такъ поступать.

— Хорошо, вы можете быть увѣрены, что я не дамъ вамъ болѣе повода къ безпокойству; и такъ, чѣмъ меньше мы будемъ говорить объ этомъ, тѣмъ лучше. Какое красивое заходеніе солнца и какъ великолѣпенъ колоритъ на утесахъ у Авсмаута!

И онъ два или три раза прошелъ съ нею взадъ и впередъ по аллеѣ, разговаривая о разныхъ обыкновенныхъ предметахъ. Ему еще ни разу не случилось быть съ нею на такой короткой ногѣ, какъ теперь. Она очень изящная дѣвочка, думалъ онъ, дѣйствительно очень изящная; какъ жаль, что она не обращаетъ на меня никакого вниманія! Однакоже онъ съ величайшимъ удовольствіемъ провелъ эти полчаса, и ему было очень досадно, когда появилась леди Сэррей и подошла къ нимъ, какъ будто съ намѣреніемъ прервать ихъ разговоръ. Но какъ

была красива и леди Сэррей, когда она шла через лужайку въ садовой шляпѣ и въ блѣдно голубой шали, накинутой на ея великолѣпныя плечи! Клянусь Юпитеромъ, она была такая красивая женщина, какую только онъ когда нибудь видалъ.

Въ тотъ же вечеръ, послѣ обѣда, леди Сэррей послала дочь въ комнату миссъ Мартиндэль, подъ какимъ-то предлогомъ, и затѣмъ усадила Гарри возлѣ себя на диванъ, чтобы онъ помогъ ей разобраться съ этими нескончаемыми папоротниками. Вечерній костюмъ шелъ въ графинѣ лучше всего, и она знала это. Она казалась еще болѣе красивою чѣмъ прежде, съ изящно причесанными волосами и съ простымъ ожерельемъ изъ бирюзы на бѣлой шеѣ. Она много разговаривала съ Гарри и была, въ самомъ дѣлѣ, очаровательна. Нельзя найти болѣе обворожительной женщины нигдѣ на сто миль въ окружности, подумалъ Гарри. Наконецъ, она остановилась, наклонясь надъ папоротниками, и нѣсколько повернувшись на диванѣ, сѣла противъ него въ полооборота.

— М-ръ Варденъ, сказала она вдругъ,—я хочу кое о чемъ поговорить съ вами, по секрету.

— Хорошо, сказалъ Гарри, угадывая предметъ разговора.

— Знаете ли, я думаю, вамъ не слѣдуетъ оказывать такое явное вниманіе леди Гледизъ. Два или три раза мнѣ показалось, что я замѣтила за вами ухаживанье и думала сказать объ этомъ вамъ, но, покамѣстъ, не видѣла въ томъ необходимости. Однакоже, по многимъ причинамъ я считаю наилучшимъ—не допускать этого больше. Различіе общественнаго положенія...

— Извините меня, прервалъ Гарри,—мнѣ прискорбно не согласиться съ вами, но я не признаю подобныхъ различій.

— Хорошо,—сказала графиня примирительнымъ тономъ;—при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ это, можетъ быть, совершенно правильная мысль. Молодой человекъ, въ вашихъ обстоятельствахъ и съ вашими способностями, конечно, имѣетъ предъ собою цѣлый міръ. Онъ можетъ достигнуть всего, чего только пожелаешь. Я не думаю, м-ръ Вардонъ, чтобы я когда нибудь не цѣнила достоинствъ ума, какъ слѣдуетъ. Я чувствую, что знаніе и образованность гораздо выше чѣмъ просто положеніе. Будьте ко мнѣ справедливы: скажите, правду ли я говорю о себѣ?

Гарри посмотрѣлъ на нее. Она, дѣйствительно, красивая женщина, подумалъ онъ, и затѣмъ отвѣчалъ:

— Да, я думаю, что вы несомнѣнно обладаете болѣе рациональными взглядами, чѣмъ большинство людей въ вашемъ положеніи.

— Я рада, что вы такъ думаете, — сказала графиня, съ искренностію — я совершенно равнодушна къ жизни, исполненной суетности и внѣшняго свѣтскаго блеска, каковую ведутъ другіе въ Лондонѣ. Я, по временамъ, думаю, что я совершенно отказалась бы отъ ней, если бы не Гледивъ. Знаете ли, я часто сожалью, что моя жизнь не сложилась совсѣмъ иначе; я бы желала привести ее въ средѣ людей другого класса, и не тѣхъ, среди которыхъ я вращалась постоянно. Каждый разъ, когда я встрѣчаю умныхъ людей — литераторовъ или ученыхъ — я чувствую сожалѣніе, что не проводила свою жизнь въ ихъ сферѣ. Съ одной точки зрѣнія я признаю справедливымъ то, что вы сказали сейчасъ, именно, что между людьми, равными по уму и воспитанію, эти искусственныя различія не должны существовать.

— Разумѣется, сказалъ Гарри, для котораго эта мысль была аксіомой.

— Но, что касается леди Гледивъ, я чувствую себя обязанною охранять ее, именно въ настоящее время, отъ слишкомъ частыхъ сношеній съ кѣмъ нибудь въ особенности. Ей только семнадцать лѣтъ — и она, разумѣется, впечатлительна. Вы знаете, что очень многія матери не говорили бы съ вами въ такомъ тонѣ, какъ я; но я питаю къ вамъ расположеніе, м-ръ Вардонъ, и не стѣсняюсь съ вами. Обѣщаете ли вы мнѣ не оказывать Гледивъ такъ много вниманія?

Когда она смотрѣла Гарри Вардону прямо въ лицо своими прекрасными глазами, то Гарри чувствовалъ, что въ эту минуту онъ пообѣщалъ бы ей все, что бы то нибыло. — Да, — отвѣчалъ онъ, — обѣщаю!

Благодарю васъ, — сказала графиня, — глядя на него снова; я очень много обязана вамъ. Затѣмъ послѣдовала на одинъ моментъ неловкая пауза, и оба они смотрѣли другъ другу прямо въ глаза, не говоря ни слова.

Черезъ минуту графиня заговорила снова и насказала много вещей о томъ, какую страшную пустыню дѣлаютъ обыкновенно люди изъ жизни; какая великая выгода — знакомство съ умными людьми, какъ полна ихъ жизнь реальности, цѣлей и смысла, и проч. и проч. въ этомъ родѣ. Затѣмъ произошла

другая неловкая пауза, и они еще разъ посмотрѣли другъ на друга.

Гарри считалъ графиню очень красивою женщиной, и она ему очень нравилась. Она была дѣйствительно добра, и ласкова, она интересовалась занимавшими его предметами и, притомъ, была привлекательна и еще довольно молода, по мужскому масштабу молодости, мало того, она желала нравиться. И когда она высказалась насчетъ искусственности кастовыхъ различій съ такимъ явственнымъ удареніемъ рѣчи, съ такими комментаріями въ своихъ глазахъ, то Гарри вообразилъ... впрочемъ я не вполне знаю—что именно онъ вообразилъ. При видѣ того, какъ онъ сидѣлъ возлѣ нея на софѣ, глядя прямо ей въ глаза, такъ же какъ смотрѣла и она на него, для всѣхъ моихъ читателей, вѣроятно, было бы ясно, что если бы онъ намѣревался сдѣлать ей какое нибудь специальное предложеніе относительно нѣкоего абстрактнаго предмета человѣческаго мышленія, то время для этого очевидно наступило. Но что-то непостижимое удержало его. Леди Сэррей... сказалъ онъ, и слова застряли у него въ горлѣ. — Да, отвѣчала она тихо. Будемъ ли... будемъ ли мы продолжать съ своими папоротниками? Леди Сэррей коротко перевела духъ, оторвалась отъ области грезъ и съ внезапною улыбкой вернулась къ портфелю. Правдивый историкъ долженъ признаться, что въ остальную часть вечера они оба чувствовали себя глупо. Разговоръ не клеился и я не думаю, чтобы тотъ или другой изъ нихъ почувствовалъ досаду, когда настало время разойтись.

Со стороны неуязвимаго психолога мужскаго пола было бы напрасною претензіей — воображать, что онъ способенъ читать въ сердцѣ женщины, въ особенности, когда нормальная дѣятельность упомянутого сердца усложнена такими причудливыми условностями, какими бываетъ обставлено сердце графини, которая чувствуетъ явственное влеченіе къ воспитателю своего сына. Но если бы я могъ рѣшиться на попытку совершить этотъ невозможный подвигъ, то я бы желалъ произвести діагнозъ душевнаго состоянія леди Сэррей въ то время, когда она въ эту ночь, цѣлый часъ или около того, лежитъ безъ сна въ постели и сдѣлалъ бы его примѣрно слѣдующимъ образомъ: она думала о томъ, что Гарри Вардонъ дѣйствительно очень умный и занимательный юноша. Она думала о томъ,

что мужчины, принадлежащіе въ высшему обществу, говоря вообще, страшно пустоголовы и нестерпимо тщеславны. Она думала, что важность несоотвѣтствія въ лѣтахъ, говоря вообще, громаднымъ образомъ преувеличивается. Она думала, что знатность, въ концѣ концовъ, имѣетъ гораздо меньшую цѣнность, чѣмъ она воображала въ то время, когда шла замужъ за бѣднаго дорогого Сэррея, который, въ самомъ дѣлѣ, былъ добрѣйшій изъ людей и совершенный джентельменъ, но далеко не блестящій мужчина. Она думала, что молодой человекъ съ талантами Гарри, при хорошихъ связяхъ, можетъ сдѣлаться членомъ парламента и возвыситься до какого бы то ни было положенія, подобно Биконсфильду. Она думала, что онъ очень прямодушенъ и чистосердеченъ, и обладаетъ качествами джентльмена; притомъ онъ очень красивъ. Она думала, что онъ почти готовъ былъ сдѣлать ей предложеніе; онъ колебался и затѣмъ отступилъ, по той причинѣ, что не былъ увѣренъ въ послѣдствіяхъ. Она думала, что если бы онъ сдѣлалъ ей предложеніе, то, можетъ быть... да, пожалуй это возможно, — она бы его приняла. Она думала, что онъ, вѣроятно, и рѣшится на это въ скоромъ времени, если увидитъ, что она не совсѣмъ непріязненно относится къ его вниманію. Она думала, что въ подобномъ случаѣ она, можетъ быть, выразить свое согласіе такъ сказать на время, условно и заставить его постараться достигнуть какого нибудь виднаго положенія, — она не знала какого именно, — при которомъ онъ могъ бы жениться на ней съ наименьшимъ, по возможности, рискомъ оскорбить чувства высшаго общества. Наконецъ, она думала о томъ, что въ теченіе по крайней мѣрѣ двадцати лѣтъ она не знала себя самой...

Въ слѣдующее утро, послѣ ранняго завтрака, лэди Сэррей послала просить Гледизъ въ свой будуаръ. Она усадила дочь на стулъ у окна, подвинула къ ней свой стулъ, ласково положила руку ей на плечо и тихо сказала ей:

— Моя дорогая Гледизъ, мнѣ нужно поговорить съ тобою о маленькомъ дѣлцѣ. Ты еще слишкомъ молода, и тебѣ слѣдуетъ быть очень осторожною и не допускать, чтобы кто-нибудь сознательно, или безсознательно, игралъ твоими чувствами. Дѣло въ томъ, что ты слишкомъ много прогуливаешься и разговариваешь съ мистеромъ Вардономъ. Во многихъ отношеніяхъ это хорошо. М-ръ Вардонъ очень умный, очень свѣду-

щій и, съ этой стороны, очень полезный собесѣдникъ. Мнѣ нравится, когда ты говоришь съ умными людьми или прислушиваешься къ ихъ разговору: это доставляетъ тебѣ нѣчто такое, чего никогда не дастъ тебѣ простое чтеніе книгъ. Но знаешь, Гледизъ, ты должна всегда помнить общественное неравенство, существующее между тобою и имъ. Я не отрицаю того, что во всѣхъ этихъ вещахъ есть много условнаго и нелѣпаго; но все-таки дѣвушки остаются дѣвушками, и если онѣ находятся слишкомъ часто въ обществѣ какаго нибудь молодого человѣка (леди Сэррей хотѣла прибавить: «въ особенности когда онъ красивъ и пріятенъ», но удержалась во время), то онѣ склонны почувствовать къ нему сердечную привязанность. Разумѣется, я не думаю этимъ сказать, что у тебя можетъ случиться что-нибудь подобное съ м-ромъ Вардономъ — я ни на одинъ моментъ не предполагаю этой возможности, но дѣвушка никогда не можетъ быть чрезчуръ осторожною. Надѣюсь, тебѣ слишкомъ хорошо извѣстно твое положеніе (здѣсь леди Сэррей почувствовала нѣкоторыя угрызения совѣсти); и будетъ-ли это м-ръ Вардонъ или же кто нибудь другой — ты, во всякомъ случаѣ, еще слишкомъ молода для того, чтобы наполнять свою голову подобными мыслями. Конечно, если бы тебѣ представилась какая-нибудь дѣйствительно хорошая партія, даже въ твой первый сезонъ, — напр. лордъ С-тъ Айвзъ, или сэръ Монтэгу, — то я не говорю, что было бы неблагоразумно принять предложеніе; но при обыкновенныхъ обстоятельствахъ для дѣвушки лучше всего — какъ можно меньше думать о подобныхъ вещахъ, по крайней мѣрѣ до двадцатилѣтняго возраста. Какъ бы то ни было, я надѣюсь, что съ этихъ поръ ты будешь помнить мое нежеланіе такой короткой близости въ твоемъ обращеніи съ м-ромъ Вардономъ.

— Очень хорошо, мама, спокойно сказала Гледизъ, выпрямляясь. — Я выслушала васъ и буду поступать, какъ вы желаете. Но мнѣ бы хотѣлось сказать вамъ кое-что, въ свою очередь, если вы будете такъ добры, чтобы выслушать меня.

— Разумѣется, милочка, — отвѣчала леди Сэррей со смутнымъ предчувствіемъ чего-то недобраго.

— Я не скажу, начала Гледизъ, что я интересуюсь м-ромъ Вардономъ сколько нибудь больше, чѣмъ кѣмъ-либо другимъ; я еще не настолько присмотрѣлась къ нему, чтобы знать — интересуюсь я имъ, или нѣтъ. Но если я когда нибудь заинтере-

суюсь кѣмъ нибудь, то заинтересуюсь человѣкомъ въ родѣ м-ра Вардона, а не лорда С-тъ Айвза или Монти Фидроя. Мнѣ не нравятся мужчины, съ которыми я встрѣчаюсь въ городѣ; всѣ они говорятъ съ нами въ такомъ тонѣ, какъ будто мы—вуклы или грудныя дѣти. Я не желаю выходить замужъ за человѣка, который говоритъ самому себѣ, какъ уже теперь говоритъ Сэррей: «о, я поищу какой-нибудь богатой дѣвушки и сдѣлаю ее графиней, если она окажется хорошею и подходящею мнѣ дѣвушкой». Я желала-бы лучше имѣть мужа подобнаго м-ру Вардону, чѣмъ кого-нибудь изъ тѣхъ мужчинъ, которыхъ мы постоянно встрѣчаемъ въ Лондонѣ.

— Но, моя милочка,—возразила леди Сэррей, сильно встревоженная слишкомъ серьезнымъ тономъ дочери,—вѣдь есть же, конечно, джентльмены совершенно столько же способные и умные, какъ м-ръ Вардонъ.

— Мама!—вскричала Гледизъ, вставая,—не думаете ли вы сказать, что м-ръ Вардонъ—не джентльменъ?

— Гледизъ, Гледизъ! садись, дорогая. Не волнуйся до такой степени. Онъ, конечно, джентльменъ. Я увѣрена, что я не меньше кого бы то ни было питаю уваженіе къ таланту и образованности. Но я думала сказать вотъ что: неужели тебѣ нельзя будетъ найти столько же талантливаго и образованнаго человѣка среди людей нашего круга, какъ и среди людей, принадлежащихъ къ кругу м-ра Вардона?

— Нѣтъ,—рѣшительно сказала Гледизъ.

— Право, моя дорогая, ты слишкомъ строга къ перамъ.

— Хорошо, мама, не можете-ли вы указать на кого-нибудь подобнаго изъ нашихъ знакомыхъ? спросила упрямая дѣвушка.

— Не то, чтобы именно изъ нашего собственнаго знакомства отвѣчала леди Сэрри нерѣшительно; но, разумѣется, найдутся *нѣкоторые*.

— Я не знаю ихъ,—спокойно возразила Гледизъ:—а пока не знаю, я останусь при своемъ мнѣніи. Если вы не желаете, чтобы я такъ часто видѣлась съ м-ромъ Вардономъ, то я стараюсь поступать согласно этому; но если мнѣ случится полюбить кого-нибудь—будетъ ли то пэръ или пахарь—то не въ моей власти будетъ уничтожить это чувство. Итакъ, довольно объ этомъ. И Гледизъ сдержанно подѣловала свою мать въ лобъ и величественно вышла изъ комнаты.

— Совершенно ясно,—подумала леди Сэррей, что дѣвочка

влюблена въ м-ра Вардона и что мнѣ тутъ дѣлать—это для меня тайна.

Положеніе леди Сэррей было, въ самомъ дѣлѣ, затруднительно. Съ одной стороны, она чувствовала, что какъ бы ни случилось поступить ей самой, женщинѣ зрѣлаго возраста, съ ея стороны было бы непростительно позволить молодой дѣвушкѣ, подобной Гледизъ, кинуться на шею человѣку въ положеніи Гарри Вардона,—это было естественное чувство матери изъ высшаго общества. Но, затѣмъ, съ другой стороны: какъ могла она противиться этому, если ей самой дѣйствительно приходило когда нибудь на умъ—выйти замужъ за Гарри Вардона, хотя бы и подъ извѣстными условіями? Могла-ли она выносить то, что ея дочь припишетъ ея дѣйствія эгоизму соперничества? Могла-ли она настойчиво указывать на условныя невыгоды общественнаго положенія Гарри, когда она смутно сознавала, что если-бы Гарри предложилъ себя въ качествѣ вотчима Гледизъ, то сама она была бы не совсѣмъ несклонна подумать объ этомъ предложеніи? могла ли она вмѣнить дочери въ преступленіе ту самую привязанность, которою едва не увлеклась сама? Сверхъ того, въ глубинѣ своего сердца она не могла не чувствовать, что Гледизъ, въ концѣ концовъ, права, и что враждебное отношеніе ея къ условности естественнымъ образомъ унаслѣдовано ею отъ матери? Если бы сама она встрѣтила Гарри Вардона двадцать лѣтъ тому назадъ, то она бы думала и говорила приблизительно въ томъ же родѣ, что Гледизъ; мало того—она если не говорила, то думала почти такимъ же образомъ даже и теперь. Я сожалѣю, что принужденъ набрасывать эти слабые очерки ея мыслей со всею грубою простотою рѣчи, свойственною мужчинамъ; я не въ состояніи передать всѣ тѣ тонкіе оттѣнки невысказанныхъ оговорокъ и женскихъ самообманныхъ уловокъ, посредствомъ которыхъ бѣдная графиня скрывала истинное значеніе своихъ думъ даже отъ себя самой; но, по крайней мѣрѣ, вы не будете удивлены, когда я скажу, что, наконецъ, она легла на маленькую кушетку въ углу комваты, печально закрыла лицо и горько заплакала. Спустя часъ, она встала, тщательно умыла глаза, чтобы уничтожить ихъ красноту, надѣла бѣлый утренній капотъ, съ кружевною отдѣлкой—она была восхитительна въ кружевахъ—и сошла, улыбаясь, внизъ къ завтраку, въ образѣ такой веселой интересной тридцати семилѣтней вдовы, какую

вы только когда нибудь желали видѣть. Клянусь честью, Гарри Вардонъ, я, право, готовъ считать васъ дуракомъ, если вы, въ концѣ концовъ, не женитесь на графинѣ!

— Гледизъ, — сказалъ въ тотъ вечеръ маленькій лордъ Сэррей своей сестрѣ, когда она зашла въ его комнату, по пути въ свою спальню, — я нахожу, что ты черещуръ нѣжничаешь съ этимъ Вардономъ.

— Я буду благодарна тебѣ, Сэррей, — возразила она, если ты будешь заниматься своими дѣлами и позволишь мнѣ заботиться о моихъ собственныхъ.

— О, совершенно бесполезно говорить со мною такимъ величественнымъ и внушительнымъ тономъ, могу тебя увѣрить. Поэтому оставь его. Кромѣ того, мнѣ нужно поговорить съ тобою по секрету. Я нахожу, что и миледи дѣлаетъ тоже самое что ты.

— Какой вздоръ, Сэррей! — вскричала Гледизъ, мгновенно покраснѣвъ до самыхъ бровей. — Какъ смѣешь ты говорить подобную вещь о мама? — Но тѣмъ не менѣе ее озарилъ внезапный свѣтъ и множество мелкихъ, прежде незамѣченныхъ, обстоятельствъ промелькнули въ ея памяти, съ совершенно новымъ значеніемъ.

— Вздоръ или нѣтъ, но это правда; а сказать я тебѣ хочу вотъ что: если Вардону суждено жениться на той или на другой изъ васъ, то пусть лучше онъ женится на тебѣ, потому что это спасетъ мама отъ роли сумасшедшей дуры. Что касается меня, я не желалъ бы подобнаго брака ни для одной изъ васъ, такъ какъ не вижу — съ какой стати тебѣ, или мама выходить замужъ за какого нибудь нищаго — гувернера, — глаза Гледи гнѣвно скверкнули, — хотя Вардонъ въ своемъ родѣ, довольно приличный малый, продолжалъ Сэррей. Во всякомъ случаѣ — такъ какъ та или другая изъ васъ сдѣлаетъ это навѣрняка — я не желаю его въ качествѣ вотчина. Итакъ ты видишь, что при подобныхъ обстоятельствахъ, я на твоей сторонѣ. Не говорю больше объ этомъ ни слова; отправляйся какъ добрая дѣвочка въ постель и при всякомъ случаѣ, что бы ты ни дѣлала, не забывай читать свои молитвы. Покойной ночи, дѣвочка.

— Я не желала бы выйти замужъ за кого-нибудь похожаго на Сэрри, — подумала Гледизъ, поднимаясь по лѣстницѣ; — нѣтъ, не желала бы, если бы даже онъ былъ первымъ герцогомъ Англіи!

Въ теченіе слѣдующихъ трехъ недѣль, въ Колифордскомъ

аббатствѣ разыгрывалась такая комедія ошибокъ и скрытой борьбы, какую трудно найти гдѣ-бы то ни было. Мать старалась всевозможными способами держать Гледизъ подальше отъ глазъ Гарри, между тѣмъ какъ братъ всѣми силами старался свести ихъ вмѣстѣ. Съ своей стороны, Гледизъ почти избѣгала Гарри, однакоже, болѣе чѣмъ когда-нибудь была съ нимъ коротка и сообщительна, если ей случалось разговаривать съ нимъ. Гарри чувствовалъ себя не такъ свободно съ леди Сэррей, какъ прежде; его тревожило неприятное чувство, что ему не удалось выпутаться изъ затруднительныхъ обстоятельствъ такъ, какъ бы слѣдовало; между тѣмъ леди Сэррей мучилась смутнымъ недоразумѣніемъ, что она выдала ему свою тайну слишкомъ рано и откровенно. Естественнымъ послѣдствіемъ всего этого было то, что Гарри болѣе чѣмъ когда-либо былъ предоставленъ обществу Этели Мартиндэль, съ которою онъ часто бродилъ по парку, вплоть до самаго обѣденнаго колокола. Этель не являлась къ обѣду, она обѣдала съ дѣтьми за семейнымъ завтракомъ, и это ужасное, оскорбительное различіе рѣзало Гарри по сердцу каждый разъ, когда онъ оставлялъ ее, уходя въ домъ обѣдать. Вмѣстѣ съ тѣмъ, съ каждымъ днемъ для него становилось все болѣе и болѣе яснымъ, что безсознательною причиною, недозволившею ему сдѣлать предложеніе леди Сэррей въ тотъ знаменательный вечеръ, была Этель Мартиндэль, которая наполнила собою нѣкоторое пустое пространство въ его незанятомъ сердцѣ. Она была милая, спокойная, безпритязательная дѣвушка, но такая граціозная, такая нѣжная, такая истинно-женственная, что она проскользнула въ глубину его души въ расщель, не давъ ему никакой возможности сопротивленія. Графиня была красивая и образованная свѣтская женщина и притомъ съ душой, но она не обладала тѣмъ нѣжнымъ, робкимъ дѣвичьимъ сердцемъ, котораго желалъ Гарри. Гледизъ была милая дѣвушка съ величавыми манерами и изумительно сформированнымъ характеромъ, но для Гарри она была слишкомъ аристократична и слишкомъ отзывалась благоуханіемъ свѣтскости. Онъ восторгался ими обѣими, каждою въ своемъ родѣ, но едва ли могъ бы посвятить цѣлую жизнь которой-нибудь изъ нихъ. Но Этель, дорогая, кроткая, хорошенькая, нѣжная, маленькая Этель... но я не буду пересказывать вамъ всѣ восторги, которымъ предавался Гарри на эту вѣчную и постоянно молодѣю-

щую тему. Сущность состоитъ въ томъ, что, примѣрно черезъ три недѣли послѣ вечера, когда Гарри не сдѣлалъ предложенія графинѣ, онъ сдѣлалъ предложеніе Этели Мартиндаль. Этель, послѣ множества застѣнчивыхъ протестовъ, многихъ самоуниженій и заявленій, что она совершенно не стоитъ такого человѣка, — которыя привели Гарри въ бѣшеное негодованіе, — позволила, наконецъ, ему поднести ей маленькую ручку къ своимъ губамъ и, краснѣя, прошептала нѣчто похожее на «да».

Какой я былъ глупецъ, вообразивъ хоть на одинъ моментъ, что леди Сэррей смотритъ на меня какъ-нибудь иначе, чѣмъ просто какъ на воспитателя своего сына! — думалъ въ этотъ вечеръ Гарри. Онъ ненавидѣлъ себя за свое собственное бессмысленное тщеславіе. Кто такой былъ онъ, чтобы воображать, что въ него влюбляются всѣ женщины Англіи?

Въ полученномъ на другой день номерѣ «Таймса» было помѣщено объявленіе, что правительство намѣрено учредить должность электротехника при адмиралтействѣ и приглашаетъ на нее конкурентовъ изъ извѣстныхъ людей науки. Гарри только что передъ тѣмъ усовершенствовалъ свою систему двойного коммуникатора и обратно-дѣйствующаго реостата и послалъ записку по этому предмету въ Королевское Общество, гдѣ она имѣла большой успѣхъ. Знаменитый профессоръ Брузгэй отозвался о результатахъ трудовъ Вардона, какъ о замѣчательномъ изобрѣтеніи, которое, вѣроятно, будетъ имѣть громадную практическую важность для телеграфа и для ученія объ электричествѣ вообще. Поэтому, когда Гарри увидалъ объявленіе въ это утро, онъ рѣшился тотчасъ же просить назначенія на упомянутую должность, соображая, что, въ случаѣ успѣха, онъ будетъ имѣть возможность жениться на Этели и, кромѣ того, содержать сестру съ прежнимъ комфортомъ.

Леди Сэррей тоже замѣтила объявленіе, и въ ея умѣ зародились свои собственные планы на этотъ счетъ. Это было какъ разъ тою первою ступеню, въ которой нуждался Гарри, и если онъ получитъ это мѣсто, то, вѣроятно, сдѣлаетъ предложеніе, которое онъ, бѣдняжка, очевидно боялся сдѣлать въ своихъ настоящихъ обстоятельствахъ. Она тотчасъ же послѣ завтрака отправилась въ свой будуаръ и написала двѣ записочки въ тщательно выработанныхъ и осторожныхъ выраженіяхъ. Одна была адресована доктору Брузгэю, съ которымъ

леди Сэрри была хорошо знакома. Въ этой запискѣ она сообщила ему, что авторомъ замѣчательнаго мемуара о коммуникаторахъ былъ воспитатель ея сына и что, по ея мнѣнію, онъ, вѣроятно, былъ бы какъ разъ подходящимъ лицомъ для этого поста; что, впрочемъ, относительно этого пункта самъ профессоръ есть наилучшій судья. Другая записка была адресована ея кузену, лорду Арденли, который былъ вліятельнымъ лицомъ въ тогдашнемъ правительствѣ. Здѣсь она, какъ бы мимоходомъ, просила обратить вниманіе на просьбу ея друга, м-ра Вардона, относительно назначенія его на новую должность при адмиралтействѣ.

Въ это же самое время, послѣ пятиминутнаго совѣщанія съ Этелью, Гарри тоже сидѣлъ въ своей комнатѣ, сочиняя формальную просьбу о назначеніи его на новый постъ. И въ тотъ же самый день онъ заговорилъ по этому предмету съ леди Сэррей.

— Существуетъ особенная причина, — сказалъ онъ, — почему мнѣ было бы желательно получить это мѣсто, и я думаю, что мнѣ слѣдуетъ сказать ее вамъ теперь. — У бѣдной леди Сэррей сердце затрепетало, какъ у дѣвочки. Дѣло въ томъ, что мнѣ необходимо приобрѣсти положеніе, которое дало бы мнѣ возможность жениться, — (какъ онъ грубо выражается, подумала она). Полагаю, я долженъ сказать вамъ, что я сдѣлалъ предложеніе миссъ Мартиндэль, и она приняла его.

Миссъ Мартиндэль! Боже мой, какъ заходила вся комната вокругъ бѣдной женщины, когда она стояла, опираясь рукою на столъ, стараясь удержаться на ногахъ, скрыть свой стыдъ, свое горькое разочарованіе и принять такой видъ, какъ будто это заявленіе не касалось до нея ни въ какомъ отношеніи. Бѣдная, дорогая, добрая графиня, я жалѣю васъ отъ души. Миссъ Мартиндэль! Графиня даже не думала о ней. Простая гувернантка, ничтожность, — и Гарри Вардонъ, съ его необыкновеннымъ умомъ, съ его блистательною будущностью, думаетъ жениться на этой дѣвочкѣ! Она едва могла овладѣть собою, чтобы отвѣчать ему, но съ большимъ усиліемъ воли подавила свои чувства и замѣтила, что Этель очень хорошая дѣвушка и, безъ сомнѣнія, будетъ превосходною женой. Затѣмъ она спокойно вышла изъ комнаты, поднялась по лѣстницѣ нѣсколько скорѣе, чѣмъ обыкновенно, бросилась въ свой будуаръ, заперла дверь на ключъ и разразилась цѣлымъ потокомъ жгу-

чихъ слезъ. Въ этотъ моментъ она начала сознавать тотъ фактъ, что ея чувство къ Вардону было гораздо сильнѣе простого расположенія...

Наконецъ, она встала, подошла къ пюпитру взяла двѣ, еще не отправленныя, записки, разорвала ихъ въ мелкіе кусочки и за тѣмъ тщательно сожгла ихъ лоскутокъ за лоскуткомъ. Какъ, однако, мстительна графиня! Неужели она хочетъ испортить жизнь этихъ двухъ молодыхъ людей и поставить всевозможныя преграды на ихъ пути къ супружеству? — Нѣтъ, ни мало. Едва просохли ея заплаканныя глаза, она сѣла и написала двѣ новыя записки, гораздо сильнѣе и лучше, чѣмъ прежде, такъ какъ теперь ей нечего было бояться возможности злыхъ комментарій со стороны недоброжелательнаго свѣта. Она, въ видѣ случайныхъ полунамековъ, наговорила множество вещей о достоинствахъ Гарри и упомянула о великой потѣрѣ, которую составляетъ для нея удаленіе подобнаго наставника отъ лорда Сэррея; но вмѣстѣ съ тѣмъ высказывала, что рано или поздно его таланты должны доставить ему болѣе высокое признаніе его достоинствъ, и она надѣется что д-ръ Брузгэй и ея кузень употребятъ свое вліяніе для назначенія его на просимый постъ. Затѣмъ она сошла внизъ, съ чувствомъ христіанской мученицы, поцѣловала и поздравила Этель, весело разговаривала съ Гарри о своихъ Бартолоцци и старалась всѣмъ внушить увѣренность, что она приняла эту помолвку, какъ вещь, которой слѣдовало ожидать. «Въ самомъ дѣлѣ, замѣтила она дочери, ничто не можетъ быть болѣе подходящимъ». Гледизъ закусила губы и рѣзко отвѣтила, что, съ своей стороны, она не замѣчаетъ никакого особеннаго натурального соответствія между двумя лицами четы, но, можетъ быть, ея мать болѣе свѣдуща относительно этого предмета.

Всѣмъ намъ извѣстно, что въ дѣлѣ назначенія на общественныя должности всякія постороннія вліянія, всякіе обходные пути и захожденія съ задняго крыльца гибельны для успѣха кандидата. Поэтому, вы будете удивлены, узнавъ, что когда профессоръ Брузгэй (у котораго это назначеніе находилось косвеннымъ образомъ въ рукахъ) распечаталъ письма, поданныя ему въ слѣдующее утро, то онъ сказалъ своей женѣ: «Марія, эту изумительно дѣльную записку о коммуникаторахъ написалъ воспитатель сына леди Сэррей, и она желаетъ, чтобы

онъ получилъ извѣстное мѣсто въ адмиралтействѣ. Намъ дѣйствительно слѣдуетъ подумать, не можемъ ли мы тутъ сдѣлать что нибудь? Леди Сэррей, въ качествѣ знакомой, весьма полезная особа; и, кромѣ того, для насъ весьма важно быть съ нею въ хорошихъ отношеніяхъ, потому что Паульсоны были бы не выносимы, если-бы мы не имѣли опоры въ ея аристократическомъ знакомствѣ, противъ вліянія ихъ покровителя, лорда Пудльберри. И когда, вскорѣ за тѣмъ, профессоръ упомянулъ о Гарри лорду Арденли, лордъ тотчасъ же сказалъ: «Ба, да это тотъ самый человѣкъ, о которомъ писала мнѣ Эмилиа. Онъ непременно долженъ получить это мѣсто». И они оба написали къ леди Сэррей записки съ увѣдомленьемъ, что она можетъ считать дѣло рѣшеннымъ, только не должна говорить объ этомъ Гарри, пока назначеніе не будетъ объявлено официально. Что касается меня, то мнѣ рѣдко случалось слышать о чемъ нибудь столь замѣчательномъ въ этотъ вѣкъ нравственной чистоты и неподкупности.

Леди Сэррей никогда не упоминала о своемъ участіи въ этомъ дѣлѣ Гарри Вардону, съ самаго того дня до настоящаго времени; и сэръ Гарри Вардонъ не подозрѣваетъ даже и теперь, что онъ обязанъ своимъ возвышеніемъ чему нибудь другому, кромѣ своихъ врожденныхъ талантовъ. Онъ вскорѣ за тѣмъ женился на Этели Мартиндаль, и вамъ едва-ли случилось видѣть болѣе хорошенькую, или болѣе краснѣющую невесту. Леди Сэррей была ихъ лучшимъ другомъ въ обществѣ, и до сихъ поръ вздыхаетъ, по временамъ, видя Гарри большимъ, въ своемъ родѣ, магнатомъ, и вспоминая, какъ онъ едва ускользнулъ въ тотъ памятный вечеръ въ Колифордѣ. Что касается Гледизъ, то она, въ теченіе первыхъ своихъ пяти сезоновъ, отказала многимъ наслѣдникамъ съ блестящею перспективой, по крайней мѣрѣ, двадцати младшимъ сыновьямъ, и двумъ десяткамъ богатыхъ молодыхъ людей, которыхъ отцы играли значительную роль въ Сити, и затѣмъ, къ великому ужасу лорда Сэррея, вышла замужъ за молодого шотландца изъ Глазго, который былъ просто сотрудникъ какой-то лондонской газеты и не имѣлъ ничего, кромѣ головы на своихъ плечахъ. Самъ лордъ, по его картинному выраженію, «загналъ въ лузу наслѣдницу» со многими тысячами собственнаго ежегоднаго дохода. Въ настоящее время онъ принадлежитъ къ числу наиболѣе уважаемыхъ членовъ своей пар-

ти, которая можетъ положиться на него въ томъ отношеніи, что онъ никогда не ошибется въ подачѣ голоса и не имѣетъ никогда своего собственнаго мнѣнія ни о какомъ предметѣ, исключая улучшенія англійской скаковой лошади. Онъ часто сожалѣетъ, что Гледизъ не вышла за Вардона, — который, покрайней мѣрѣ, вращается въ порядочномъ обществѣ, — вмѣсто этого взбалмошнаго шотландскаго парня; — впрочемъ, вѣдь дѣвчонка всегда была фантазерой и никогда не желала поступать, какъ другія.

Вамъ извѣстно, что я ужасный радикаль и республиканецъ и все въ этомъ родѣ, и что я питаю бѣшеную ненависть къ титуламъ и т. п., однако-же, расскажу вамъ слѣдующее. Въ тотъ день, когда Этель пріѣхала къ графинѣ съ визитомъ въ первый разъ послѣ возведенія Гарри въ званіе баронета, мнѣ случилось тамъ присутствовать (по дѣламъ) и слышать какъ было провозглашено ея появленіе: «леди Вардонъ»! Даю вамъ честное слово: я не могъ найти въ моемъ сердцѣ ни гнѣни досады на эту милую маленькую женщину за то, что румянецъ гордости вспыхнулъ на ея щекахъ, когда она вошла въ комнату въ первый разъ въ своемъ новомъ званіи. Для меня (которому извѣстна вся эта исторія), было удовольствіемъ видѣть, что леди Сэррей горячо поцѣловала маленькую эс-гувернантку въ щеку и сказала ей: «моя дорогая леди Вардонъ, я такъ рада, такъ глубоко рада». И я въ самомъ дѣлѣ думаю, что ея привѣтъ былъ искрененъ. Да, въ сердцѣ графини сохранилось еще много человѣческихъ чувствъ, не смотря на ея маленькую слабость.

III.

Таинственное приключеніе въ Циккадилли.

I.

Я никогда во всю мою жизнь не стыдился себя самого такъ глубоко, какъ въ то время, когда мой тестъ Брайсъ Мэррей, профессоръ Ориельскаго колледжа въ Оксфордѣ, прислалъ мнѣ послѣдній номеръ трудовъ «Общества для изслѣдованія сверхъестественныхъ явленій». Когда я открылъ эту

брошюру, мною овладѣло ужасное предчувствіе, что я найду тамъ разсказъ его о необыкновенномъ приключеніи, во всей подробности, съ моимъ именемъ и адресомъ, изображенными явственнымъ печатнымъ шрифтомъ (даже не въ выноскѣ). Я перевернулъ листы до 14-й страницы. Уголъ ея былъ тщательно загнуть, и тамъ я увидѣлъ замѣчательный разсказъ профессора, который, въ видѣ вступленія, привожу здѣсь въ его собственномъ превосходномъ и ясномъ изложеніи.

«Я желаю сообщить Обществу, — говорить мой почтенный родственникъ, — объ удивительномъ случаѣ появленія двойниковъ, который мнѣ пришлось наблюдать лично и относительно подлинности котораго я могу сослаться какъ на самого себя, такъ и на моего зятя, д-ра Оуэна Мэнсфильда, хранителя аккадійскихъ древностей въ Британскомъ музеѣ. Рѣдко случается, чтобы столь странный примѣръ сверхъестественныхъ явленій могъ быть одновременно засвидѣтельствованъ двумя достовѣрными учеными наблюдателями, находящимися еще въ живыхъ.

«12 мая 1873 г., (я тогда же записалъ этотъ случай, и потому теперь могу быть вполне увѣренъ въ строгой точности сообщаемыхъ мною фактовъ), около четырехъ часовъ по полудни, я шелъ по улицѣ Пиккадилли, какъ вдругъ увидѣлъ призракъ, приближавшійся съ противоположной стороны, который, по внѣшнему виду, имѣлъ точное сходство со студентомъ Ориельскаго колледжа, Оуэномъ Мэнсфильдомъ. Необходимо твердо помнить, что въ то время я не находился въ свойствѣ или въ какихъ бы то ни было близкихъ сношеніяхъ съ м-ромъ Мэнсфильдомъ, такъ какъ его женитьба на моей дочери послѣдовала одиннадцать мѣсяцевъ спустя; я зналъ его только какъ подающаго надежды студента моего колледжа. Только что я хотѣлъ подойти къ м-ру Мэнсфильду и заговорить съ нимъ, какъ произошло таинственное событіе. Призракъ, повидимому самостоятельно скользнулъ по направленію ко мнѣ, съ необыкновенно быстрымъ и неслышнымъ движеніемъ три раза махнулъ надъ моею головой тростью или палкой, бывшею у него въ рукѣ, и затѣмъ быстро исчезъ, по направленію къ отелю, который находится на углу Ольбимэрль-Стрита. Я быстро послѣдовалъ за нимъ къ двери отеля, но на мои разспросы швейцаръ отвѣчалъ, что онъ не замѣтилъ, чтобы кто нибудь вошелъ туда. Призракъ, вѣроятно, разсѣялся или сдѣлался невиди-

мымъ какъ разъ въ тотъ моментъ, когда дошелъ до стеклянной створчатой двери отеля, выходящей на Пикадилли.

«Въ тотъ же самый вечеръ, съ послѣднею почтой, я получилъ отъ м-ра Мэнсфильда наскоро набросанную записку, съ оксфордскимъ почтовымъ штепелемъ, помѣченную: Ориель-Колледжъ 5 ч. по полудни, съ изложеніемъ фактовъ, относительно видѣннаго имъ призрака съ полнымъ совпаденіемъ въ подробностяхъ. Въ тотъ самый день и часть, когда я видѣлъ двойника м-ра Мэнсфильда въ Пикадилли, самъ м-ръ Мэнсфильдъ шелъ по Хлѣбному Рынку въ Оксфордъ, въ направленіи къ институту Тэйлора. Подойдя къ углу, онъ увидѣлъ то, что онъ принялъ за видѣніе, или за мой образъ, направлявшійся къ нему моею обычною неторопливою походкой. Вдругъ въ тотъ самый моментъ, когда онъ хотѣлъ обратиться ко мнѣ съ вопросомъ по поводу моей лекціи объ Аристотелѣ, которую я долженъ былъ читать въ слѣдующее утро, привидѣніе скользнуло по направленію къ нему, три раза взмахнуло надъ его головой шелковымъ зонтикомъ съ ручкою изъ рога носорога и затѣмъ исчезло непостижимымъ образомъ сквозь дверь рандольфскаго отеля. Вернувшись въ колледжъ, въ состояніи тревоги и изумленія, по поводу того, что онъ принялъ за проявленіе моего зарождающагося сумасшествія, или же крайняго опьяненія, м-ръ Мэнсфильдъ, къ своему величайшему удивленію, узналъ отъ швейцара, что въ тотъ моментъ я находился въ Лондонѣ. Не будучи въ состояніи скрыть свое изумленіе по поводу такого страннаго событія, онъ прислалъ мнѣ подробный рассказъ объ этихъ фактахъ, пока они еще были свѣжи въ его памяти. Такъ какъ я сохранилъ его записку до сего дня, то прилагаю къ моему настоящему сообщенію копію съ нея, для напечатанія въ протоколахъ Общества.

«Въ вышеприведенномъ рассказѣ есть маленькій пунктъ, на который я бы желалъ обратить особенное вниманіе Общества. Этотъ зонтикъ во всѣхъ подробностяхъ былъ похожъ на тотъ, который я имѣлъ въ рукахъ въ Пикадилли. Но что по истинѣ замѣчательно, и что придаетъ этому происшествію признакъ подлиннаго виѣшательства сверхъестественныхъ силъ, это — тотъ фактъ, что м-ръ Мэнсфильдъ никакъ не могъ видѣть прежде этотъ зонтикъ въ моихъ рукахъ, такъ какъ я только что купилъ его именно въ тотъ самый день

въ какой то лавкѣ въ Бондъ-Стритъ. Этотъ фактъ представляется мнѣ рѣшительнымъ доказательствомъ того, что, крайней мѣрѣ въ случаѣ съ м-ромъ Мэнсфильдомъ, простая игра фантазіи или обманъ зрѣнія, основанные на какихъ нибудь предварительныхъ воспоминаніяхъ, смутныхъ или сознательныхъ, здѣсь не могли играть никакой роли. Словомъ, это было несомнѣнно объективное привидѣніе, явственно отличающееся отъ чисто субъективнаго воспоминанія или галлюцинаціи».

Со вздохомъ положивъ протоколы на столъ, я сказалъ женѣ (которая, во время моего чтенія, смотрѣла въ брошюру черезъ мое плечо): — Ну, Нора, мы попались. Какъ ты думаешь, что мнѣ слѣдуетъ дѣлать?

Нора посмотрѣла на меня глазами болѣе чѣмъ когда нибудь смѣющимися.

— Мой дорогой Оуэнъ, — отвѣчала она, быстро опуская протоколы въ корзину для негодной бумаги. Теперь не остается ничего другого, какъ только очистить свою совѣсть признаніемъ.

Я застоналъ. — Ты, пожалуй, права, сказалъ я, но это крайне неудобная и щекотливая вещь. Однакоже — пусть будетъ по твоему!

И я тотчасъ же присѣлъ къ столу, чтобы написать настоящій рассказъ о дѣйствительныхъ фактахъ «Таинственнаго приключенія въ Пиккадилли».

II.

Это было въ 1873 году. Я находился уже четвертый годъ въ колледжѣ и приготовлялся къ іюньскому экзамену. Но, по видимому, Аристотеля, Милля, и дѣла при Корцирѣ было недостаточно для того, чтобы наполнить голову молодого малаго двадцати трехъ лѣтъ, и я безумно, по студенчески, влюбился въ единственную истинно хорошенькую дѣвушку во всемъ Оксфордѣ (хотя Нора вычеркнула эти слова, но я настаиваю на ихъ помѣщеніи). Это была дочь моего наставника, профессора Брайса Меррея и называлась, какъ догадывается читатель, Норой.

Профессоръ потерялъ свою жену за нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ, и ему пришлось заботиться о воспитаніи Норы

самому, съ помощью своей сестры, миссъ Лидіи Амеліи Мёррей, извѣстной поборницы женскаго образованія, женскихъ правъ, антивакцинаціи, вегетаріанизма и психической силы. Однако же Нора не имѣла никакой склонности къ многостороннимъ интересамъ своей тетки (я имѣю основаніе думать, что она пошла въ свою родню по матери), и миссъ Лидія Амелія Мёррей очень скоро рѣшила, что дѣвочка не обладаетъ никакими интеллектуальными вкусами и что ее слѣдуетъ отдать въ школу въ Соутъ-Кенсингтонѣ, и держать ее тамъ какъ можно дольше. Въ особенности тетя Лидія считала нежелательнымъ, чтобы Нора когда-нибудь пришла въ соприкосновеніе съ этимъ неприятно-отвратительнымъ, враждебнымъ животнымъ—оріельскимъ студентомъ. Было хорошо извѣстно, что означенные студенты открыто смѣются надъ правами женщины, съ дикимъ упорствомъ пожираютъ недожаренные бифтексы и грубо издѣваются надъ психической силой.

Однако же, совершенно невозможно охранить орбиту профессорской дочери отъ случайнаго пересѣченія ея какимъ-нибудь заблудившимся метеоромъ въ образѣ студента. Нора пріѣзжала домой въ Оксфордъ только въ вакаціонное время, но въ предыдущіе каникулы я поселился въ одномъ тихомъ мѣстѣ, для моихъ занятій акадеійскими древностями и тамъ-то въ первый разъ, совершенно случайно, увидалъ Нору. Однажды я ватался въ шляпкѣ и встрѣтилъ профессора съ дочерью. Они плыли на плоскодонной лодкѣ, причемъ эта красивѣйшая во всемъ Оксфордѣ дѣвушка держала шесть въ своихъ хорошенькихъ маленькихъ ручкахъ, между тѣмъ какъ гнѣвный старикъ, съ книгой въ рукахъ, удобно сидѣлъ на кормѣ, опираясь на роскошныя подушки. Проходя мимо лодки, я, разумеется, поклонился профессору и черезъ минуту затѣмъ, оглянувшись назадъ, замѣтилъ, что шесть, бывшій въ рукахъ его хорошенькой дочери, крѣпко увязнулъ въ грязи, такъ что она никакъ не могла его вытащить. Еще минута—и она выпустила его изъ рукъ, и лодка начала дрейфовать по теченью рѣки, къ Иффлею.

Обыкновенная вѣжливость заставляла меня повернуть мою шляпку назадъ, вытащить шесть—и какъ можно граціознѣе подать его дочери профессора. Дѣлая это, я попытался осторожно приподнять свою соломенную шляпу одною рукой между тѣмъ какъ другою подавалъ шесть. Эта попытка заставила меня

положить весло на переднюю часть шлюпки, такъ какъ у меня, къ сожалѣнiю, только двѣ руки, а не четыре. Не знаю, что отвлекло мое вниманiе отъ чисто-практическаго вопроса о сохраненiи равновѣсiя: былъ ли то мой минутный восторгъ при видѣ красиваго румянца, вспыхнувшаго на щекахъ Норы, или ея собственная неловкость и застѣнчивость, когда она принимала отъ меня шестъ, или же, наконецъ, меня смутилъ ледяной взглядъ профессора, — но только, какъ разъ въ этотъ моментъ произошелъ какой-то несчастный, (или скорѣе счастливый) случай, вслѣдствiе котораго я совершенно потерялъ равновѣсiе. Каждому извѣстно, что шлюпка можетъ легко опрокинуться въ одинъ моментъ, и прежде, чѣмъ я въ точности понялъ, что со мною случилось, я увидалъ, что въ трехъ ярдахъ отъ меня плаваетъ опрокинутая шлюпка, а самъ я стою, сухой и невредимый, на плоскодонной лодкѣ своего наставника, возлѣ его красивѣющей дочери. Подавая шестъ, я почувствовалъ, что моя шлюпка опрокидывается, и инстинктивно вскочилъ на плотъ, который, по крайней-мѣрѣ, спасъ меня отъ позора — явиться передъ миссъ Норой въ некрасивомъ положенiи мокраго человѣка, карабкающагося на свою опрокинутую лодку.

Такимъ образомъ, неумолимая логика фактовъ убѣдила профессора въ невозможности держать всѣхъ студентовъ постоянно на безопасномъ разстоянiи, и теперь ему не оставалось ничего другого, какъ примириться съ положенiемъ, созданнымъ для него случайностью. Какъ бы ни было ему неприятно мое присутствiе, онъ, какъ христiанинъ и джентльментъ, едва ли могъ потребовать, чтобы я прыгнулъ въ воду и поплылъ за своею шлюпкой, или же сѣлъ въ нее на мокрую скамью, когда намъ, наконецъ, удалось притащить шлюпку къ себѣ, съ помощью шеста. Такъ какъ несчастiе случилось со мною вслѣдствiе моего старанiя оказать ему услугу, то онъ, со всею любезностью, къ какой былъ способенъ, позволилъ мнѣ освободить его дочь отъ шеста и вести его плоскодонное судно назадъ до мѣста, гдѣ стоятъ барки, таща свою шлюпку на буксирѣ.

Что касается Норы, которая такъ неожиданно очутилась въ опасномъ обществѣ этого грубаго животнаго, ориельскаго студента, то я, основываясь на послѣдующемъ опытѣ, осмѣливаюсь сказать, что она не вполне была расположена смотрѣть на это созданiе, какъ на нѣчто столь неблагоприятное и свирѣпое, какъ она воображала прежде. Мы настолько съ нею по-

ладили, что профессоръ, очевидно, начиналъ сердиться, — это я замѣтилъ по подергиванію угловъ его рта; — и когда мы доплыли до баржъ, то у него едва хватило вѣжливости — пожелать мнѣ добраго утра на прощанье.

Однако-же, начало знакомства, приобрѣтенное какимъ-бы-то ни-было путемъ, въ подобныхъ вещахъ составляетъ рѣшительно все. Пока вы незнакомы съ хорошенькой дѣвушкой, вы ее не знаете; вы не можете ступить ни шага впередъ безъ представленія ей. Но какъ только вы съ нею *познакомились*, то ни отцы, ни тетки, и никакія силы, что-бы они ни дѣлали, не въ состояніи васъ устранить. Я до того былъ очарованъ Норой, что каждый разъ, когда встрѣчалъ ее на прогулкахъ вмѣстѣ съ отцомъ и теткой, дерзновенно присоединялся къ ихъ обществу, и хотя они не колебались высказывать, что мое присутствіе далеко не приводитъ ихъ въ восторгъ, но не могли же они, въ самомъ дѣлѣ, сказать напрямикъ: «м-ръ Мэнсфильдъ, будьте такъ добры, убирайтесь и впредь не извольте съ нами заговаривать». Результатъ былъ тотъ, что, къ началу октябрьскаго семестра, Нора и я вполнѣ понимали другъ друга и даже ухитрились во время минутныхъ tête-à-têtes въ паркахъ нашептывать чистосердечные взаимные обѣты семнадцати и двадцатитрехлѣтней юности.

Когда профессоръ открылъ, что я написалъ письмо къ его дочери съ надписью: «секретно и конфиденціально», то его бѣшенство не знало границъ. Онъ призвалъ меня къ себѣ и сдѣлалъ мнѣ строжайшій выговоръ. «Я почти готовъ, Мэнсфильдъ, представить это дѣло училищному совѣту. Во всякомъ случаѣ, подобное поведение не должно повторяться. Если же оно *повторится*, сэръ...», онъ не докончилъ фразы, предпочитая устрашить меня тою эффектною фигурою рѣчи, которую ученые риторы называютъ фигурою умолчанія; и я оставилъ его съ неяснымъ чувствомъ, что если это *повторится*, то я, вѣроятно, буду подвергнутъ всевозможнымъ дисциплинарнымъ взысканіямъ, или буду повѣшенъ, или утопленъ, или четвертованъ и т. п.

Въ слѣдующій день Нора случайно встрѣтила меня въ кондитерской, гдѣ, сказать откровенно, я занимался изслѣдованіемъ относительныхъ достоинствъ малиноваго крема и лимоннаго мороженаго. Она робко подала мнѣ руку и прошептала, почти задыхаясь: «Папа страшно сердитъ, Оуэнъ, и я боюсь,

что намъ уже нельзя будетъ никогда встрѣчаться больше: онъ думаетъ сегодня-же отослать меня назадъ въ Соутъ-Кенсингтонъ и отнынѣ держать меня вдали отъ Оксфорда». Я замѣтилъ, что глаза ея красны отъ слезъ, и что она въ самомъ дѣлѣ думаетъ, что нашъ маленькій романъ совершенно кончился.

— Моя дорогая Нора, возразилъ я, тихимъ голосомъ, даже Соутъ-Кенсингтонъ находится не такъ ужъ далеко, чтобы мнѣ нельзя было видѣться съ вами; напишите мнѣ, когда только будетъ можно, и сообщите мнѣ по какому адресу я долженъ посылать вамъ письма. Дорогая миленькая Нора, если-бы даже цѣлая сотня папенокъ и тысяча тетушекъ Лидій построились противъ насъ въ каре, то неужели вы не знаете, что это не помѣшало бы намъ любить другъ друга и что мы преодолѣли бы всѣ препятствія?

Нора улыбнулась, затѣмъ, чуть не заплакала и, наконецъ чинно повернулась, чтобы велѣть подать себѣ полфунта глазированныхъ вишенъ. Это было послѣднее наше свиданіе въ Оксфордѣ, до поры до времени.

Въ продолженіе слѣдовавшихъ затѣмъ одного или двухъ семестровъ, отношенія между моимъ наставникомъ и мною были замѣтно натянуты и постоянно грозили перейти въ открытую вражду. Дѣло шло не объ одной Норѣ: профессоръ, сверхъ того, подозрѣвалъ, что я насмѣхаюсь надъ его психическими изслѣдованіями. И если сказать правду, то я готовъ допустить, что его подозрѣнія не вполнѣ были неосновательны. Какъ разъ въ это время между студентами распространился слухъ, что профессоръ и его сестра предалися столоверченію, что они задаютъ вопросы стульямъ и узнаютъ интересныя подробности относительно нынѣшняго мѣстопробыванія Шекспира или Мильтона отъ умныхъ и весьма свѣдущихъ чайныхъ столовъ. Было уже давно извѣстно, что профессора глубоко интересуютъ дома, посѣщаемыя привидѣніями, что на его взглядъ упоминаемыя Ливіемъ знаменія должны заключать въ себѣ долю истины, и что онъ объявилъ себя неспособнымъ къ скептицизму относительно фактовъ, которые оказались убѣдительными для великихъ людей, подобныхъ Платону, Сенека и Самюэлю Джонсону. Но столоверченіе было новою отраслью его вѣрованій, и мы, неугромные студенты, по временамъ составляли любительскіе сеансы, въ подражаніе профессору, и познавали психическія истины, часто излагаемыя на изумительно вульгарномъ и даже

неприличномъ жаргонѣ, какимъ нибудь очень веселымъ, но, къ величайшему прискорбію, нахальнымъ духомъ, который говорилъ съ нами чрезъ посредство матеріальнаго вмѣшательства какой нибудь расклеившейся этажерки. Но такъ какъ медумы, которыми мы пользовались, именно, два простыхъ графина съ портеромъ и хересомъ, далеко не принадлежали къ числу патентованныхъ. то профессоръ, (который былъ членомъ общества трезвости и платилъ по пяти гиней за сеансъ извѣстному психическому специалисту, доктору Греду), считалъ получаемые нами интересные результаты не достойными научнаго изслѣдованія. Мало того, онъ, въ высшей степени принудительнымъ образомъ, старался прекратить наши опыты, накрывши однажды насъ всѣхъ въ ту минуту, когда одинъ воплотившійся духъ; принявшій внѣшній образъ какого то первокурсника, громко пѣлъ комическую пѣсню при открытыхъ окнахъ, шумно аккомпанируя себѣ психическою дробью по дряхлой этажеркѣ. Профессоръ позволилъ себѣ саркастически замѣтить, что наши результаты представляются ему скорѣе *спиртными*, чѣмъ спиритическими.

11-го мая 1873 года, (я постараюсь соперничать съ профессоромъ относительно точности), я получилъ отъ моей дорогой Норы коротенькую записку, изъ Соутъ-Кенсингтона, которую я тщательно сохранилъ до сего времени. Я, разумѣется, не стану ее печатать ни здѣсь, ни въ протоколахъ Общества, по причинамъ, которыя, вѣроятно, будутъ очевидны для всякаго, кому только случалось самому бывать въ подобныхъ обстоятельствахъ. Отдѣляя ядро факта отъ его несущественной оболочки, я могу заявить, что Нора писала мнѣ вѣчто въ такомъ родѣ: въ слѣдующій день она отправится въ академію искусствъ съ родителями одной изъ своихъ школьныхъ подругъ. Не могу ли я пріѣхать къ тому дню въ Лондонъ, отправиться тоже въ академію и тамъ встрѣтить ее «разумѣется совершенно случайно», въ залѣ акварельной живописи, въ половинѣ двѣнадцатаго?

Сдѣлать это было довольно неудобно, потому что какъ разъ въ назначенный Норою день утромъ профессоръ долженъ былъ читать намъ лекцію о Геродотѣ; но обстоятельства, подобныя моимъ, въ ту минуту не подчиняются законамъ. Подъ тѣмъ или другимъ благовиднымъ предлогомъ, мнѣ удалось отговориться отъ посѣщенія лекціи, и съ 9 часовымъ утреннимъ экстреннымъ поѣздомъ я уѣхалъ въ городъ. Въ началѣ двѣнадцатаго, я

былъ уже въ академіи и съ нетерпѣніемъ ждалъ прибытія Норы. Увидавъ меня, эта маленькая лицемѣрка моментально приняла такой неподражаемый видъ дѣтскаго удивленія и невиннаго удовольствія, по случаю яко-бы неожиданнаго моего появленія, что я положительно покраснѣлъ за ея коварныя способности къ обману.

— Вы здѣсь, м-ръ Мэнсфильдъ! — вскричала она тономъ непритворнаго удивленія. — Я думала, что теперь самый разгаръ учебнаго сезона; вамъ, конечно, слѣдовало быть въ Ориель-Колледжѣ.

— Я тамъ и нахожусь официально, — отвѣчалъ я, — но, какъ частный человѣкъ, пріѣхалъ сегодня посмотреть на картины.

— Ахъ, какъ это отлично! сказала Нора съ дѣтскою, нѣжною улыбкой. М-ръ Мэнсфильдъ такой большой критикъ, миссисъ Уорпледсонъ; онъ знаетъ все объ искусствѣ, о художникахъ и т. д. Онъ можетъ намъ сказать, какими картинами мы должны восхищаться и на какія не стоитъ смотрѣть. М-ръ Уорпледсонъ, позвольте мнѣ познакомить васъ; миссисъ Уорпледсонъ, миссъ Уорпледсонъ. Какое счастье, что намъ случилось встрѣтить васъ, м-ръ Мэнсфильдъ!

Уорпледсоны тотчасъ же попались въ западню, которая такъ искусно была устроена для нихъ. Я всегда замѣчалъ, что девяносто девять процентовъ британской публики, при посѣщеніи какой-нибудь галлереи картинъ, слишкомъ рады принять на вѣру мнѣніе кого-бы то ни было, если онъ настолько смѣлъ, чтобы имѣть таковое и открыто его высказывать. Будучи, такимъ образомъ, ввергнутъ Норой въ затруднительное положеніе художественнаго критика, прикомандированнаго къ обществу Уорпледсоновъ, я докторальнымъ тономъ пустился въ разсужденія на счетъ достоинствъ и недостатковъ цѣлой выставки, и мои критическіе взгляды имѣли такой успѣхъ, что я не только произвелъ громадное впечатлѣніе на самого м-ра Уорпледсона, но замѣтилъ также, что многія находившіяся по сосѣдству дамы, внимательно глядя то на картины, то въ каталогъ, подталкиваютъ другъ друга и говорятъ одна другой явственнымъ шепотомъ: «здѣсь одинъ джентльменъ говоритъ, что тоны тѣла на этомъ плечѣ просто изумительны»; или: «вонъ тотъ художникъ за нами въ темномъ сѣютѣ находитъ небрежную отдѣлку напоротника, на переднемъ планѣ, совершенно недостойною

такого колорита, какъ Доубитонъ». Словомъ, моя критика была оцѣнена такъ высоко, что м-ръ Уорплесдонъ пригласилъ меня даже позавтракать съ Норой и съ его семействомъ въ сосѣднемъ ресторанѣ, гдѣ я провелъ самый восхитительный часть, въ легкомысленномъ обществѣ этой живой маленькой интриганки.

Около четырехъ часовъ Уорплесдоны удалились, взявшись проводить Нору до Соутъ-Кенсингтона, а я пошелъ въ направлении къ Паддингтону, думая застать вечерній поѣздъ и вернуться въ Оксфордъ. Я, не торопясь, шелъ по Пиккадилли къ парку, останавливаясь по пути предъ витринами каждаго фотографа, какъ вдругъ предо мною явилось ужасное привидѣніе. Это былъ самъ профессоръ, который выходилъ изъ-за угла, отъ Бондъ-Стрита, развертывая на ходу новый зонтикъ съ ручкою изъ рога носорога. Я мгновенно почувствовалъ, что все погибло. Я пріѣхалъ въ городъ безъ позволенія: профессоръ, конечно, увидитъ и узнаетъ меня; онъ спроситъ—какимъ образомъ и почему я отлучился изъ университета, вопреки установленнымъ правиламъ. Тогда я буду принужденъ или рассказать ему всю правду, что страшно отзовется на Норѣ, или же рисковать впасть въ немилость, что лишило бы меня возможности получить ученую степень и причинило бы моему отцу и моей матери много незаслуженнаго беспокойства.

Вдругъ въ моемъ мозгу подобно молніи, сверкнула идея. Нельзя ли мнѣ разыграть роль своего собственного двойника? Профессоръ былъ глубоко суевѣренъ относительно двойниковъ, привидѣній, выходцевъ съ того свѣта, оборотней и сверхъестественныхъ явленій вообще. Если бы я могъ на одинъ моментъ озадачить его, сдѣлавъ что-нибудь поразительно необыкновенное или эксцентричное, то мнѣ удалось бы не допустить дальнѣйшихъ разспросовъ, направивъ его на ложный слѣдъ, увлечся которымъ онъ былъ склоненъ по своей природѣ. Прежде, чѣмъ я успѣлъ подумать о послѣдствіяхъ моего поступка, дикая идея овладѣла мною вполне и выразилась въ дѣйствіи со всею быстротою безумнаго импульса. Я, какъ сумасшедшій, кинулся къ профессору, устремивъ неподвижные, бессмысленные глаза въ пустое пространство, таинственно махнулъ своей палкой три раза надъ его головой, и затѣмъ, не давъ ему времени оправиться отъ изумленія, или сказать

мнѣ хоть одно слово, помчался прочь къ ближайшему углу, съ быстротой краснокожаго индйца.

Тамъ былъ одинъ отель, который я часто замѣчалъ прежде, хотя ни разу туда не входилъ; и я бросился въ него съ цѣлю выбраться оттуда какимъ-нибудь способомъ, между тѣмъ какъ профессоръ (который очень близорукъ) шелъ по Пикадилли, розыскивая меня. Но фортуна, по обыкновенію, поблагопріятствовала смѣльчаку. Къ счастью, это былъ угловой домъ и, къ моему удивленію, когда я вошелъ туда, зала была отворена съ обѣихъ сторонъ и выходила одною дверью на боковую улицу. Когда я входилъ, швейцаръ смотрѣлъ въ другую сторону, такъ что я просто вбѣжалъ въ одну дверь и выбѣжалъ въ другую и не останавливался до тѣхъ поръ, пока мнѣ не попался кабріолетъ. Я вскочилъ въ него и велѣлъ извозчику везти меня къ Паддингтону. Я какъ разъ засталъ въ 4 ч. 35 м. поѣздъ въ Оксфордъ и въ началѣ седьмого былъ уже у себя въ Ориелѣ.

Это былъ очень дурной поступокъ съ моей стороны; я признаю это теперь; но весь планъ дѣйствія промелькнулъ въ моемъ студенческомъ умѣ такъ быстро, что я выполнилъ его прежде, чѣмъ былъ въ состояніи сознать — какое я совершаю безуміе. Ускользнуть отъ профессора и спасти Нору отъ непріятнаго свиданія съ разгнѣваннымъ отцомъ, — вотъ была единственная мысль, представившаяся мнѣ въ тотъ моментъ; но когда я началъ затѣмъ размышлять о происшествіи, то сознавалъ, что совершилъ очень грубый и дерзкій обманъ. Однако же, теперь нельзя уже было помочь дѣлу; и ѣдучи въ Оксфордъ, я чувствовалъ, что, для спасенія себя самого и Нору, мнѣ слѣдуетъ безъ колебанія довести обманъ до конца. И мнѣ пришло въ голову, что двойной призракъ находился бы въ большемъ соотвѣтствіи со всѣми признанными правилами проявленій психическаго міра, чѣмъ одиночный. Поэтому, на станціи Ридингъ я купилъ карандашъ, листъ бумаги и конвертъ, и прежде чѣмъ доѣхалъ до Оксфордской станціи написалъ профессору то, что теперь со стыдомъ признаю сплетеніемъ возмутительныхъ небылицъ, гдѣ каждую подробность моего поведенія относительно его я противопоставилъ такимъ же воображаемымъ поступкамъ съ его стороны относительно меня, перемѣстивъ только сцену дѣйствія въ Оксфордъ. Я ужасно виноватъ, это правда. Но, будучи въ то время въ сущности

не многимъ больше школьника, я смотрѣлъ на это дѣло, какъ на великолѣпную практичную штуку. Я важно увѣдомлялъ профессора о томъ, какъ я встрѣтился съ нимъ въ четыре часа на Хлѣбномъ рынкѣ, и какъ былъ удивленъ, когда онъ три раза безумно взмахнулъ надъ моею головою своимъ зеленымъ шелковымъ зонтикомъ.

Приѣхавши въ Оксфордъ, я тотчасъ же бросился на извозчикъ въ колледжъ, гдѣ взялъ у швейцара адресъ профессора въ Лондонѣ. Я узналъ отъ него, что профессоръ будетъ ночевать въ Лондонѣ, куда онъ уѣхалъ, вѣроятно, на свиданіе съ Норой, и не вернется въ колледжъ до слѣдующаго утра. Затѣмъ я поспѣшилъ въ почтовую контору, куда поспѣлъ какъ разъ во время для отправленія письма съ послѣднею ночной почтою. Какъ только письмо было опущено въ ящикъ, я раскаялся въ своемъ поступкѣ и сталъ опасаться, что зашелъ слишкомъ далеко; и когда я вернулся, наконецъ, въ свою комнату и вышелъ поздно въ залъ къ обѣду, то, признаюсь, я порядочно дрожалъ, по поводу возможныхъ послѣдствій моего слишкомъ смѣлаго и осязательнаго обмана.

На слѣдующее утро вторая почта привезла мнѣ длинное письмо отъ профессора, которое совершенно облегчило меня отъ непосредственнаго безпокойства относительно истолкованія имъ моего поведенія. Онъ попался на удочку съ очаровательнымъ простодушіемъ, которое показывало до какой степени онъ былъ въ восторгѣ отъ этого личнаго подтвержденія истины всѣхъ наиболѣе любимыхъ имъ суевѣрій. «Дорогой Мэнсфильдъ», такъ начиналось письмо, — «послушайте теперь, что въ тотъ же самый часъ и въ ту же самую минуту случилось со мною въ Пикадилли». Словомъ, онъ принялъ все за чистую монету, безъ всякаго скептицизма или колебанія.

Судя по тому, что я узналъ впоследствии, для меня было счастьемъ, что я сыгралъ съ нимъ эту возмутительную штуку. Нора думаетъ, что онъ намѣревался отправиться въ Кенсингтонъ съ цѣлюю строжайшимъ образомъ запретить ей всякія дальнѣйшія сношенія со мною. Но какъ только это таинственное событіе совершилось, его мнѣніе обо мнѣ начало радикально измѣняться. Столь замѣчательное привидѣніе не могло бы явиться безъ основательной и вѣской причины, рассуждалъ онъ, и подозрѣвалъ что эта причина, можетъ быть, имѣеть нѣкоторую связь съ моими намѣреніями относительно Норы.

Почему же въ то время, когда онъ отправлялся къ дочери, съ цѣлю именно предостеречь ее противъ меня, — это видѣніе, имѣвшее мой внѣшній и тѣлесный образъ рѣшительно загородило ему путь и сильными знаками неудовольствія старалось отвлечь его отъ задуманнаго намѣренія, какъ не потому, что для блага Норы, очевидно, не слѣдовало отталкивать моего къ ней вниманія?

Съ этого дня профессоръ сталъ приглашать меня къ себѣ и относиться ко мнѣ съ гораздо большимъ радушіемъ, чѣмъ прежде; онъ даже пригласилъ меня разъ или два присутствовать при психическихъ сеансахъ. Я долженъ сознаться, что здѣсь я рѣшительно не имѣлъ успѣха: знаменитый медіумъ жаловался, что я произвожу отталкивающее дѣйствіе на духовъ, которые, повидимому, оскорблены отсутствіемъ во мнѣ благороднаго довѣрія къ ихъ добрымъ намѣреніямъ и моею подозрительною привычкою слишкомъ пристально смотрѣть на ножки столовъ. За тѣмъ медіумъ объявилъ, что въ моемъ присутствіи комната, какъ будто, наполняется враждебнымъ вліяніемъ, вызываемымъ, повидимому, прискорбнымъ недостаткомъ во мнѣ спиритическихъ симпатій. Но профессоръ прощалъ мнѣ неудачу въ сферѣ правильныхъ психическихъ опытовъ, во вниманіе къ моему блистательному успѣху въ качествѣ лица, видѣвшаго двойники и призраки. Когда въ то же лѣто я получилъ ученую степень, онъ употребилъ все свое вліяніе для доставленія мнѣ должности хранителя аккадійскихъ древностей при музеѣ, къ которой я превосходно былъ подготовленъ моими прежними занятіями. И при его дружеской помощи, я получилъ эту должность, хотя, къ сожалѣнію, долженъ сказать, что, несмотря на его легковѣріе относительно сверхъестественныхъ вещей, онъ до сихъ поръ отказывается вѣрить въ правильность моего предположительнаго толкованія знаменитыхъ амалекитскихъ цилиндровъ, привезенныхъ м-ромъ Ананіасомъ, надписи на которыхъ я разобралъ такимъ простымъ и удовлетворительнымъ образомъ. Каждому извѣстно, что мой переводъ долженъ считаться совершенно вѣрнымъ, если только мы допустимъ скромное предположеніе, что надписи первоначально были вырѣзаны вверхъ ногами какимъ нибудь плѣннымъ ацтекомъ, который научился ломаному аккадійскому языку съ дурнымъ акцентомъ отъ какого нибудь китайскаго изгнанника, и который случайно употребилъ въ дѣло египетскіе іероглифы

въ ненадлежащихъ смыслахъ для передачи своего собственнаго весьма несовершеннаго нарѣчія и своей сомнительной орѳографіи древне-вавилонскаго языка. Единственное серьезное сомнѣніе состоитъ здѣсь въ томъ: слѣдуетъ ли считать необыкновенные знаки въ верхнемъ лѣвомъ углу цилиндра случайными царапинами, или картиной, представляющею триумфъ какого то царя надъ семью связанными плѣнниками, или наконецъ, аккадійскою фразой, изображенною клинообразными письменами, которую можно перевести или такъ: «Памяти Ома Великаго» или же такъ: «Пиеръ Верховный Жрецъ посвящаетъ жирнаго гуся для семейнаго обѣда; 25 числа мѣсяца полузимы». Каждый безпристрастный и непредубѣжденный умъ долженъ допустить, что эти маленькія несогласія или альтернативы во мнѣніяхъ экспертовъ, не могутъ бросить ни тѣни сомнѣнія на основательность употребляемаго метода вообще. Но людей, подобныхъ профессору, которые готовы принять какой бы то ни было доводъ тамъ, гдѣ дѣло идетъ объ ихъ собственномъ конькѣ, невозможно убѣдить въ истинѣ такихъ безискусственныхъ и неподдѣльныхъ утвержденій простаго научнаго знанія.

Какъ бы то ни было, но концемъ всего рассказаннаго мною было то, что не прошло и мѣсяца со времени моего поступленія въ музей, какъ я получилъ согласіе профессора на мой бракъ съ Норой, въ который мы и вступили въ первыхъ числахъ октября, въ Оксфордѣ; затѣмъ мы немедленно переселились въ Гѣмпстедъ. И такъ, тѣмъ, что я обладаю теперь самою милою женою во всемъ христіанскомъ мірѣ, я обязанъ таинственному приключенію въ Пиккадилли.

I.

Въ бессонныя, долгія ночи,
 Слетаютъ къ страдальцамъ видѣнья,
 Чаруя ихъ сказочнымъ бредомъ
 И върой въ зарю обновленья.

* * *

Но, въ морѣ грядущихъ событій,
 Таятся въ невѣдомой власти
 Побѣдные подвиги воли,
 И грозно царящія страсти.

* * *

Загадочный призракъ незванный
 Безмолвнаго горя дневного
 Тѣснить серебристыя грезы
 Изъ чуткаго сердца больного.

* * *

Надъ сонной душой наклоняясь,
 Онъ шепчетъ печальные звуки,
 И тонуть надежды на счастье
 Въ приливѣ нахлынувшей муки.

II.

Гдѣ ивы и черныя ольхи такъ густо сплелися вѣтвями,
 Гдѣ лѣсъ тростниковый привѣтно киваетъ кистями,
 Съ таинственнымъ плескомъ медлительно лодка идетъ—
 Безпечно дремавшую влагу гребцы взбороздили,
 Желтѣющихъ лилій невинную думу смутили,—
 И ожило лоно прозрачныхъ и сумрачныхъ водъ.

* * *

Съ глубокаго дна поднялся чудодѣйственный лепетъ,
 Въ отзывчивомъ сердцѣ проснулся томительный трепетъ,
 Подъ сладостнымъ гнетомъ безумныхъ, мучительныхъ грезъ.
 Въ былую годину, подъ звуки чарующей рѣчи,
 Я-бѣ жадно повѣрилъ въ блаженство невѣдомой встрѣчи,—
 Повѣрилъ въ блаженство незримыхъ, цѣлительныхъ слезъ.

* * *

Теперь-же мнѣ тяжко, что откликъ сердечный такъ страненъ.
 Я въ жизненной сѣтчѣ давно ужъ изломанъ, израненъ;
 Безкрылые сны не внимаютъ призыву небесъ.
 На ласковый голосъ боюсь я надеждой отвѣтить,
 На говоръ мечтаній отпоръ укоризненный встрѣтить,—
 Мнѣ замкнуты двери въ обитель любви и чудесъ.

Кн. Э. Ухтомскій.

ИДЕАЛИЗМЪ И РЕАЛИЗМЪ НА СЦЕНѢ.

Со всѣхъ сторонъ слышатся жалобы на упадокъ искусства въ наше время, между тѣмъ спросъ на художественныя произведенія значительно увеличился и параллельно съ нимъ растетъ число театровъ, картинныхъ галерей, музыкальныхъ и всевозможныхъ артистическихъ обществъ.

Въ связи съ увеличеніемъ спроса, необходимо развивается и техника искусства; оно не ограничивается уже болѣе или менѣе тѣснымъ кругомъ, а для однихъ превращается въ ремесло, тогда какъ для другихъ составляетъ пріятное препровожденіе времени.

Такимъ образомъ вырабатываются два типа артистовъ: ремесленниковъ и диллетантовъ; истинные художники продолжаютъ быть также рѣдки, какъ прежде, и совершенно исчезали бы въ толпѣ остальныхъ, если бы сила таланта не выдвигала ихъ высоко надъ этой толпой.

Изъ всѣхъ художественныхъ наслажденій самое доступное для большинства—театръ; живопись, скульптура, музыка и даже поэзія требуютъ значительно ббльшаго развитія вкуса, ббльшаго образованія и вниманія, нежели комедія, драма или опера. Правда, что для тонкой оцѣнки драматическаго произведенія требуется не меньшее пониманіе и развитіе, чѣмъ для такой же оцѣнки симфоніи или поэмы; но удовольствіе, доставляемое театромъ большинству, вовсе не такого рода, чтобы требовать эту оцѣнку, оно ограничивается общимъ впечатлѣніемъ, и слишкомъ развитый вкусъ въ большинствѣ случаевъ не только не содѣйствовалъ бы, а только мѣшалъ бы такому удовольствію. Задаваться проповѣдью какихъ бы то ни было ученій въ художественномъ произведеніи значить преслѣдовать двѣ цѣли разомъ, причемъ болѣею частью не достигается ни одна изъ нихъ.

Театръ для многихъ обратился уже въ потребность, но главное, если не единственное требованіе ихъ отъ пьесы состоитъ въ томъ, чтобы она не была скучной. Это требованіе не только есте-

ственно, но и законно, искусство не должно требовать со стороны зрителя особыхъ напряженій: оно само должно переносить зрителя въ другой міръ и правило:—всѣ роды хороши, кромѣ рода скучнаго,—остается вѣчною истиной.

Вотъ почему тенденціозныя произведенія никогда не могутъ имѣть прочнаго успѣха и никогда не могутъ удовлетворить первому требованію искусства—гармоніи частей; въ нихъ неизбежно, ради тенденціи, однѣ части выдвигаются на первый планъ, а другія ступшеваются, не сообразно требованіямъ художественной правды и красоты, а ради достиженія другихъ, совершенно постороннихъ цѣлей. Это одинаково справедливо относительно картины, поэмы и романа. Но на сценѣ оно чувствуется сильнѣе чѣмъ гдѣ либо, потому что требованіе драматической живости гораздо сильнѣе, и рамки гораздо опредѣленнѣе.

Тенденцію не слѣдуетъ, однако, смѣшивать съ идеею; если тенденція лишаетъ драматическое произведеніе интереса, потому что даетъ ему не надлежащее содержаніе, то отсутствіе идеи приводитъ къ тому-же результату, дѣлая его безсодержательнымъ. Не достаточно болѣе или менѣе вѣрнаго и художественнаго изображенія лицъ и положеній: необходимо, чтобы все было связано въ одно цѣлое. Мы, такимъ образомъ, естественно приходимъ къ вопросу: какого рода идеи могутъ быть предметами художественнаго произведенія вообще, и драматическаго въ особенности?

Каждое искусство имѣетъ свою сферу, болѣе или менѣе точно опредѣленную тѣми способностями человѣческаго сознанія, къ которымъ оно обращается, и тѣми физическими условіями, въ которыя оно поставлено: живопись такъ-же бессильна для воспроизведенія звука или движенія, какъ музыка для изображенія формы или краски. Несмотря на это у самыхъ талантливыхъ художниковъ встрѣчаются иногда попытки выйти изъ предѣловъ, указанныхъ самою сущностью дѣла. Яркимъ образчикомъ такой попытки можетъ служить картина Айвазовскаго, изображающая сотвореніе міра. Въ ней надо было предоставить моментъ возникновенія міра изъ бездны хаоса, но понятіе хаоса есть понятіе беспорядочнаго движенія, гдѣ нѣтъ ничего яснаго и опредѣленнаго, гдѣ формы и краски непрерывно мѣняются, а изображеніе перемѣны и движенія, какъ такового, совершенно недоступно для живописи. Точно также и музыканты не разъ брались за такіе сюжеты, которые по существу своему не могутъ быть выражены звуками.

Въ драмѣ, гдѣ главное средство изображенія есть слово, нѣтъ предѣловъ, поставленныхъ самою природою вещей для выбора сюжетовъ. Но тѣмъ болѣе остороженъ долженъ быть авторъ въ этомъ выборѣ.

Сцена есть отраженіе жизни, и это настолько справедливо, что самую жизнь нерѣдко сравнивали со сценою и людей съ актерами; но какого рода это отраженіе? Есть ли это зеркало, которое съ точностью повторяетъ безчисленныя явленія, происходящія передъ нимъ, не удерживая ни одного изъ нихъ, или это фотографія, которая, схватывая лишь одинъ моментъ, воспроизводитъ его со всѣми мельчайшими и случайными подробностями и закрѣпляетъ его; или, наконецъ, это нѣчто совершенно иное и на сценѣ отражается, правда, дѣйствительная жизнь, но не такъ какъ она течетъ, непрерывно мѣняясь, а, пройдя предварительно черезъ призму художественнаго созерцанія, выражается такъ, что отпадаетъ все временное и случайное и остается лишь существенное и типичное?

Когда вопросъ поставленъ въ этой формѣ, споръ между идеализмомъ и реализмомъ почти невозможенъ; нельзя въ самомъ дѣлѣ требовать отъ сценическаго воспроизведенія фотографической близости къ дѣйствительности, потому что такое требованіе, очевидно, неисполнимо; разница между идеалистами и реалистами состоитъ въ томъ, что для послѣднихъ она продолжаетъ болѣе или менѣе составлять идеалъ, хотя и недостижимый, тогда какъ для первыхъ такое воспроизведеніе было бы не желательно, если бы оно и было возможно. Возможность большаго или меньшаго сходства съ изображаемымъ предметомъ находится, очевидно, въ тѣсной связи съ характеромъ изображаемаго предмета.

Чѣмъ проще и ближе къ вседневной жизни предметъ драматическаго произведенія, тѣмъ легче и законнѣе его реалистическое изображеніе. Чѣмъ онъ дальше и выше, чѣмъ общѣе тѣ черты, которыя составляютъ его сущность, тѣмъ осторожнѣе надо быть въ подробностяхъ, которыя легко могутъ нарушить гармонію. Поэтому то, чтó въ комедіи или бытовой драмѣ вполне уместно, въ драмѣ исторической можетъ уже оказаться тривиальнымъ.

Историческая драма намѣренно беретъ дѣйствующихъ лицъ въ болѣе или менѣе отдаленномъ прошломъ, чтобы обособить ихъ и отодвинуть отъ текущихъ интересовъ, изображая лишь въ общихъ чертахъ человѣчскій характеръ и страсти; и здѣсь, однако, авторъ еще болѣе или менѣе связанъ тѣмъ прототипомъ, который онъ поставилъ себѣ въ лицѣ историческихъ дѣятелей: онъ не можетъ дать полнаго простора своему творчеству. Но есть еще одинъ родъ драмы; его можно бы назвать драмою человѣческаго духа, и самымъ совершеннымъ примѣромъ этого рода можетъ служить Гетевскій Фаустъ, который:

Въ древне германской одеждѣ, но въ правдѣ великой, вселенной
Съ образомъ сходенъ предвѣчнымъ своимъ отъ слова до слова.

Именно эта вселенская правда Фауста для многихъ дѣлаетъ его недоступнымъ, и они скорѣе склонны цѣнить его древне-германскую одежду, а всеобщность его содержанія готовы смѣшивать съ абстрактностью. Между тѣмъ Фаустъ (покрайней мѣрѣ, 1-я часть его) не только есть дѣйствительно драматическій сюжетъ, но можетъ быть самый драматическій изъ когда либо существовавшихъ: здѣсь мы видимъ борьбу не со случайными препятствіями, не съ внѣшними силами, даже не съ роковою необходимостью или фатумомъ древнихъ, а борьбу человѣческаго духа съ самимъ собою, со всею его сущностью, борьбу изъ которой нѣтъ исхода, кромѣ самоотреченія.

Вслѣдъ за Фаустомъ можно назвать музыкальную тетралогію Вагнера, Кольцо Нибелунга, гдѣ сюжетъ заимствованъ уже изъ совершенно миѣческаго періода, который одинъ могъ дать автору полный просторъ для воплощенія его идеи. Главное дѣйствующее лицо—Вотанъ вовлеченъ жаждою власти въ такое стеченіе обстоятельствъ, гдѣ воля его приходитъ въ противорѣчіе сама съ собою, гдѣ тайное желаніе его на одной сторонѣ, когда онъ явно долженъ помогать другой и можетъ избавиться отъ этого бѣдствія лишь отреченіемъ отъ своей личности. Вагнеръ почти во всѣхъ своихъ произведеніяхъ беретъ такое содержаніе, въ которомъ есть значительная примѣсь фантастическаго элемента. Нельзя не признать, что для музыкальной драмы, какъ онъ ее понимаетъ, такое содержаніе дѣйствительно самое подходящее, если не единственно возможное; только здѣсь авторъ можетъ пользоваться всѣми средствами сцены, только здѣсь можетъ онъ соединить обстановку фееріи со всею силою оркестра; не нарушая самыхъ законныхъ требованій реализма. Лоэнгринъ, Тангейзеръ, Нибелунги, могутъ съ поразительною мощью и правдой передать состоянія человѣческаго духа, потому что въ нихъ музыка сливается съ поэзіей въ одно цѣлое, а благодаря выбору сюжета не чувствуется той фальши, несоотвѣтствія между содержаніемъ и формой, котораго не можетъ не быть въ такой оперѣ, гдѣ дѣйствіе происходитъ въ слишкомъ близкой намъ обстановкѣ.

Въ нашей литературѣ можно указать только на одно произведеніе, подходящее къ тому типу драмъ, о которыхъ сейчасъ было говорено,—это «Донъ Жуанъ», гр. А. К. Толстого. Во многихъ страницахъ его чувствуется несомнѣнное вліяніе Фауста, но это вліяніе едва ли можно назвать недостаткомъ. Въ цѣломъ произведеніи несомнѣнно оригинально по замыслу и сильно по исполненію.

Понятно, что для исполненія тѣ драмы, гдѣ затронуты самыя сокровенныя струны человѣческаго сердца, гораздо труднѣе,

нежели тѣ, въ которыхъ драматизмъ преимущественно внѣшній и зависитъ отъ положенія; роль Отелло, конечно, легче роли Гамлета или Фауста, гдѣ, кромѣ общаго пониманія, нужно самое тонкое чувство мѣры, гдѣ каждая слишкомъ сильно подчеркнутая фраза или жестъ могутъ уже перейти въ аффектацію.

«Говорять и усиленно спорять о томъ, замѣчаетъ Лесингъ «можетъ ли актеръ имѣть слишкомъ много огня? Когда тѣ, кто утверждаетъ это, въ доказательство своего мнѣнія указываютъ на то, что драматическій артистъ можетъ быть страстенъ тамъ, гдѣ не слѣдуетъ или, по крайней мѣрѣ, болѣе страстенъ, нежели насколько этого требуютъ обстоятельства, тѣ тѣ, которые это отрицаютъ, имѣютъ право сказать, что въ такомъ случаѣ онъ обнаруживаетъ не избытокъ огня, а недостатокъ разсудка. Вообще, вопросъ состоитъ въ томъ, что мы разумѣемъ подъ словомъ огонь. Если крикъ и кривлянья — огонь, то несомнѣнно, что актеръ можетъ зайти въ этомъ отношеніи слишкомъ далеко, но если огонь состоитъ въ быстротѣ и оживленности, съ которою всѣ свойства, составляющія актера, содѣйствуютъ тому, чтобы придать игрѣ его видимость правды, то для того, чтобы въ этомъ смыслѣ онъ могъ имѣть слишкомъ много огня, нужно было бы не желать доведенія такой видимости правды до крайняго предѣла иллюзій. Поэтому, рѣчь не можетъ идти о такомъ огнѣ, когда Шекспиръ требуетъ умѣренности даже во время потока и бури разыгравшейся страсти: онъ долженъ разумѣть подъ этимъ только чрезмѣрные порывы голоса и движеній. И легко найти основаніе того, почему даже тамъ, гдѣ авторъ не сохранилъ ни малѣйшей умѣренности, ее долженъ сохранять исполнитель».

«Есть мало голосовъ, которые, при ихъ крайнемъ напряженіи, не становились бы непріятны; слишкомъ быстрыя и бурныя движенія рѣдко бываютъ благородны, а ни нашъ слухъ, ни наше зрѣніе не должны быть оскорбляемы». Вотъ мотивъ, который выставляется Лесингомъ, для требованія сдержанности отъ исполнителя.

«Если ты будешь кричать», говоритъ Гамлетъ, «какъ многіе изъ нашихъ актеровъ, это будетъ мнѣ такъ же непріятно, какъ если бы стихи мои расплывались разнощикъ. Не пили слишкомъ усердно воздуха руками, будь умѣреннѣе. Среди потока, бури и, такъ сказать водоворота страсти, ты долженъ сохранить умѣренность, которая смягчаетъ ихъ рѣзкость. О, мнѣ всегда ужасно досадно, если какой-нибудь дюжій длинноволосый молодецъ разрываетъ страсть на клочки, чтобы гремѣть въ ухахъ райка, который не смыслить ничего, кромѣ неизъяснимой нѣмой пантомимы и крика?»

Требованія, предъявляемыя въ приведенныхъ строкахъ къ дра-

матическому актеру двумя величайшими знатоками сценическаго искусства, не подходят подъ шаблоны идеализма и реализма; они требуютъ только, чтобы актеръ избѣгалъ крайностей и прошелъ бы, какъ между Сциллой и Харибдой, между холодной условностью декламации и тривіальными криками и жестами ультра-реалистической игры.

Вполнѣ продумать мысль автора, вполнѣ проникнуться своею ролью, но даже въ самыхъ патетическихъ мѣстахъ при выраженіи ея сохранить достаточно самообладанія и самонаблюденія, чтобы не оскорблять ни слухъ, ни зрѣніе знатоковъ—это такая задача, которая, кромѣ большого таланта, требуетъ и большого труда; только при соединеніи этихъ двухъ условій, можно заставить зрителя забыть обманъ театра и жить жизнью дѣйствующихъ лицъ, такъ что чужія страсти и чувства почти кажутся своими.

Не дивно ли, говорить Гамлетъ:

Актеръ при тѣни страсти
 При вымыслѣ пустомъ былъ въ состоянн
 Своимъ мечтамъ всю душу покорить;
 Его лицо отъ силы ихъ блѣднѣть,
 Въ глазахъ слеза дрожить и млѣть голосъ,
 Въ чертахъ лица отчаянье и ужась,
 И весь составъ его покорень мысли.
 И все изъ ничего, изъ-за Гекубы!
 Что онъ Гекубѣ, что она ему...

Заставить человѣка на время позабыть самого себя, отказаться отъ собственныхъ интересовъ, чувствовать и жить чужими чувствами и чужими мыслями—такова задача драматическаго искусства и достиженію этой задачи въ равной мѣрѣ должны служить и авторъ, и исполнители.

Какъ только произведеніе, по содержанію или по исполненію своему, затрогиваетъ эти личныя чувства и мысли—главная цѣль становится недостижимой. Когда исполненіе слишкомъ холодно и монотонно, зритель не можетъ чувствовать того, чего не чувствуетъ и самъ исполнитель, когда наоборотъ исполненіе слишкомъ порывисто и неровно, когда возгласы переходятъ въ крики, а жесты — въ кривлянье, оскорбляется слухъ и нарушается то настроеніе, въ которомъ зритель можетъ вполнѣ отдаться содержанію пьесы.

Кромѣ той нехудожественности, на которую указываетъ Лессингъ, при слишкомъ порывистыхъ жестахъ и слишкомъ громкихъ возгласахъ, точное воспроизведеніе аффектовъ на сценѣ физически невозможно; тотъ шопотъ, на примѣръ, которымъ говорятъ на сценѣ, долженъ быть слышенъ въ заднихъ рядахъ. Никто въ

дѣйствительности не излагаетъ своихъ сокровенныхъ мыслей въ длинныхъ *монологахъ* или не передаетъ ихъ специально имѣющимся для того *конфидентамъ*, а все это въ драмѣ почти необходимо, и избѣгнуть такихъ отступленій отъ реальной правды можно было бы только цѣною искусственныхъ приемовъ и длиннотъ, которыя нарушили бы единство дѣйствія и вѣрность характеровъ.

Та художественная правда, къ которой должны стремиться и авторъ и исполнитель, не есть фотографическое сходство съ дѣйствительностью, а художественное воспроизведеніе ея также, какъ въ живописи, гдѣ въ такомъ воспроизведеніи должно исчезнуть все вульгарное, не характерное, ненужное, оставляя только существенныя черты воспроизводимого типа.

Смѣшеніе невозможной на сценѣ фотографической правды съ правдою художественной повело къ самымъ страннымъ и несообразнымъ теоріямъ; нерѣдко приходится слышать аргументы вродѣ слѣдующаго: такъ какъ въ дѣйствительности никто не говоритъ стихами, а сцена есть воспроизведеніе дѣйствительности, то слѣдуетъ читать стихи такъ, чтобы ихъ не было слышно.

Но тогда еще проще было бы автору не давать себѣ лишняго труда писать стихами, ни актеру труда скрывать ихъ.

Недоразумѣніе здѣсь очевидно,—правильное чтеніе стиховъ смѣшивается съ ихъ отчеканиваніемъ и напыщенной декламаціей; правда, что найти середину между такою декламаціей и чтеніемъ, гдѣ стихи превращаются въ рубленую, неуклюжую прозу, дѣло нелегкое и для этого, кромѣ врожденной чуткости и таланта, драматическому актеру нужна и серьезная школа, и громадный навыкъ.

Правда и то, что въ комедіяхъ и въ бытовыхъ драмахъ стихъ большею частью является формою, не соотвѣтствующею содержанию, также какъ тяжелое вооруженіе средневѣковаго рыцаря подавило бы большинство современныхъ людей. Но за то тамъ, гдѣ содержаніе взято не изъ будничной жизни, гдѣ фигуры дѣйствующихъ лицъ стоятъ высоко надъ уровнемъ посредственности, тамъ стихъ даетъ произведенію сразу тотъ колоритъ, то освѣщеніе, которое необходимо для подобной драмы, и избавляетъ чуткаго исполнителя даже отъ соблазна впасть въ тривиальный тонъ, который противорѣчилъ бы всему внутреннему содержанию драмы.

Но роль исполнителя не ограничивается болѣе или менѣе удачнымъ воспроизведеніемъ идеи автора: во множествѣ случаевъ ему приходится отыскивать эту идею, создавать роль, ему надо искать тѣ подробности исполненія, которыя, содѣйствуя живости

дѣйствія, никогда не противорѣчили бы характеру изображаемаго лица.

Для ясности я укажу на два примѣра. Въ Макбетѣ, передъ убійствомъ Дункана, происходитъ борьба честолюбія съ совѣстью: страхъ передъ преступленіемъ заставляетъ его два раза подойти къ роковой двери, и вновь отступить отъ нея, прежде чѣмъ онъ рѣшается перешагнуть черезъ порогъ. Э. Росси въ этой сценѣ въ третій разъ подходитъ къ двери, спотыкаясь, и затѣмъ уже вскакивая, врывается въ нее; такого рода изображеніе замѣчательно эффектно и въ тоже время психологически тонко: зрителю кажется, что не споткнись онъ, быть можетъ, опять не рѣшился бы исполнить задуманнаго, началась бы опять борьба страсти и совѣсти, но здѣсь роковая сила толкаетъ Макбета и, кажется, не споткнись онъ, все могло бы окончиться иначе,—до такой степени исполнитель проникся духомъ Шекспира.

Другимъ примѣромъ можетъ служить знаменитый монологъ Гамлета: «быть или не быть».

Л. Барнай въ этой сценѣ входитъ съ кинжаломъ въ рукѣ и произноситъ монологъ такимъ тономъ, какъ будто сейчасъ готовъ покончить съ собой; у Шекспира нѣтъ прямыхъ указаній ни за ни противъ такого исполненія но общій характеръ Гамлета и даже самый монологъ, указываетъ, мнѣ кажется, на это. Мысль о самоубійствѣ далеко не новость для Гамлета; не неожиданно для него и то, что онъ не рѣшится на него: онъ самъ себя слишкомъ хорошо знаетъ. Это не есть моментъ дѣйствія, а моментъ размышленія.

Быть или не быть? вотъ въ чемъ вопросъ!
 Что благороднѣе: сносить ли громъ и стрѣлы
 Враждующей судьбы, или возстать
 На море бѣдъ и кончить ихъ борьбою?
 Окончить жизнь—уснуть
 Не болѣе—и знать, что этотъ сонъ
 Окончитъ грусть и тысячи ударовъ—
 Удѣлъ живыхъ... такой конецъ достоинъ
 Желаній жаркихъ. Умереть—уснуть;
 Уснуть?
 Но если сонъ видѣнья посѣтять?
 Что за мечты на смертный сонъ слетать,
 Когда стряхнемъ мы суету земную?

«Мать его описываетъ Гамлета», говоритъ Гервинусъ, «съ внѣшней стороны, какъ человѣка полного и страдающаго одышкою». Согласно съ этимъ указаніемъ его матери, самъ Гамлетъ говоритъ, что дядя его не болѣе похожъ на его отца, чѣмъ самъ онъ на Геркулеса; ему не хватаетъ поэтому, какъ замѣ-

часть Гёте, силы нравственнаго героя, или, сказать проще, силы практической дѣятельной натуры; его темпераментъ спокоенъ, флегматиченъ, тихъ, безъ жолчи. Понятно, что при такомъ пониманіи характера Гамлета, монологъ «быть или не быть», получаетъ уже значеніе размышленія, а не порыва, который постепенно успокоивается.

Если даже въ столь извѣстномъ произведеніи, какъ Гамлетъ, возможны такія различныя, даже противоположныя толкованія, въ самыхъ существенныхъ мѣстахъ, что же сказать о такихъ драмахъ, гдѣ характеры иногда не вполне выяснены, недостаточно ясно очерчены? Тамъ артисту приходится уже въ самомъ дѣлѣ создавать роль; въ текстѣ онъ находитъ только намеки, только ту канву, по которой онъ долженъ изобразить живой образъ лица.

При этомъ созданіи роли артистъ долженъ пополнить всѣ тѣ пробѣлы, которые оставлены авторомъ, но пополнить такъ, чтобы ни одна изъ передаваемыхъ имъ подробностей не только не противорѣчила изображаемому характеру, но и находилась бы въ согласіи съ общимъ ходомъ пьесы. Стремленіе артиста искусственно выдвинуть свою роль въ ущербъ остальнымъ не только вредитъ пьесѣ, но нерѣдко и его собственной роли. Лаконическія, выраженія:—«падаетъ, умираетъ» и т. п., могутъ быть переданы на сценѣ самымъ различнымъ образомъ, и нѣтъ, быть можетъ, сферы, гдѣ бы реализмъ оказывалъ такое анти-художественное вліяніе въ стремленіи передавать какъ можно точнѣе физическія страданія. Извѣстно, что современные артисты отправлялись въ госпитали наблюдать за умирающими, чтобы потомъ переносить свои наблюденія на сцену. Нѣтъ ничего болѣе фальшиваго; физическая сторона смерти не можетъ быть предметомъ художественнаго изображенія; тамъ гдѣ смерть требуется драматическимъ дѣйствіемъ, она должна происходить или почти моментально, или за сценою. Изображеніе умиранія, не говоря о томъ, что оно почти всегда нарушаетъ эстетическія требованія, неизбѣжно вызываетъ въ зрителѣ такой порядокъ мыслей и такое настроеніе, которое можетъ только помѣшать ему слѣдить за общимъ ходомъ драмы.

Точно такжѣ въ изображеніи грязи или опьяненія реализмъ, доведенный до крайнихъ предѣловъ, вмѣсто эстетическаго наслажденія, способенъ вызвать лишь отвращеніе. Сцена въ Аuerбаховскомъ погребѣ, куда ведетъ Фауста Мефистофель, и гдѣ дѣйствительно, по его выраженію, должна «блистательно проявиться животность», если провести ее въ духѣ крайней реальности, можетъ обратиться въ нѣчто совершенно невозможное. Хотя, конечно, въ Аuerбаховскомъ погребѣ бывали оргіи не чище, чѣмъ

въ какомъ бы то ни было другомъ казать, но едва ли достаточно только такого изображенія, которое выдѣляло бы смыслъ этой оргіи, и нѣтъ надобности налегать на подробности.

Не только въ трагедіи, но даже въ бытовыхъ и народныхъ пьесахъ, стремленіе къ слишкомъ близкому подражанію внѣшней сторонѣ народа не приближаетъ, а удаляетъ автора отъ народнаго духа.

Истинно народное искусство по существу своему идеалистично. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только припомнить тѣ эпитеты, которыми народный эпосъ сопровождаетъ своихъ героевъ и всю ихъ обстановку, «сѣдельце черкасское», «золоченое стремя» и т. п. Народъ требуетъ отъ искусства не того, что даетъ ему всѣдневная трудовая жизнь, онъ хочетъ забыть ее хоть на время, и истинно народный художникъ былъ бы тотъ, кто сумѣлъ бы воспользоваться кругомъ вполне доступныхъ ему идей, заставляя бы его чувствовать и жить другою, высшею духовною жизнью, а не навязывалъ бы ему тѣхъ или другихъ, хотя бы даже весьма нравственныхъ или полезныхъ идей.

Искусство не проповѣдь, и требуетъ отъ него чего либо, кромѣ правды и красоты, значить дѣлать его средствомъ, и притомъ средствомъ совершенно непригоднымъ для достиженія иныхъ цѣлей.

Правда, что для многихъ и, къ сожалѣнію, даже для многихъ критиковъ и художниковъ, такого рода искусство кажется совершенно бесполезнымъ и они готовы изгнать его, даже не увѣнчавъ пѣвца, какъ предлагалъ Платонъ. Но необходимо, чтобы по крайней мѣрѣ, истинные художники нашли въ себѣ достаточно силы и вѣры въ свое призваніе, чтобы не поддаться минутнымъ теченіямъ и постороннимъ вліяніямъ, необходимо, чтобы они сознавали, что они могутъ приносить людямъ тотъ лучъ свѣта, который можетъ хоть нѣсколько озарить ихъ будничную жизнь, чтобы они даже тогда, когда искусство заслоняется ремесломъ и тенденціей, могли сказать себѣ:

Правда все таже! средь мрака ненастнаго,
Вѣрьте чудесной звѣздѣ вдохновенія,
Дружно гребите, во имя прекраснаго,

Противъ теченія!

Други, гребите! напрасно хулители
Мнятъ оскорбить насъ своею гордынею:
На берегъ вскорѣ мы, волнъ побѣдители,
Выйдемъ торжественно съ нашей святынею!
Верхъ надъ конечнымъ возьметъ безконечное,
Вѣрю въ наше святое значеніе
Мы же возбудимъ теченіе встрѣчное

Противъ теченія!

И. Д. Цертелевъ.

Ч У Д А К Ъ .

Разсказъ Элизы Орнеско.

(ИЗЪ ЗАПИСОКЪ АДВОКАТА).

Я не артистъ, даже не знатокъ и не любитель искусства: отъ этого сначала отвлекали меня науки, а потомъ занятія, связанные съ моими служебными обязанностями. Вслѣдствіе того, мнѣ нерѣдко приходилось жалѣть, что, въ извѣстныя минуты, я не могъ сдѣлаться, хоть на время, художникомъ, чтобъ перенести на холстъ впечатлѣнія залы суда, въ которой помѣщалась главная канцелярія нашего города. Это была-бы оригинальная картина, — сѣренькій клочокъ какого-то пространства помѣщеннаго въ рамку стѣны кирпичнаго цвѣта, голыхъ — какъ нужда, грязныхъ — какъ лохмотья нищаго, и изуродованныхъ временемъ — какъ лицо старца. Надъ стѣнами, точно тяжелое облако, возвышался потолокъ, покрытый толстымъ слоемъ пыли и копоти. Посреди потолока находилось пятно, похожее на гигантскую розетку, или большой снопъ восточныхъ арабесокъ, который одни могли принять за летающаго нетопыря, другіе — за морского осьминога, третьи — за дракона. Что касается лично меня, мнѣ кажется, это былъ осьминогъ. Когда-бы я ни встрѣтился съ нимъ взглядомъ, онъ производилъ на меня такое впечатлѣніе, какъ будто хотѣлъ сразу протянуть всѣ свои ноги и захватить ими тружениковъ чернильнаго царства, какъ въ извѣстной сказкѣ французскаго поэта, охватывалъ ими тружениковъ моря.

Труженики этого чернильнаго царства сидѣли вокругъ желтыхъ столовъ, разставленныхъ у стѣны и посреди залы, по два, по три и болѣе у cadaго стола. На право отъ нихъ, въ перспективѣ, видѣлась амфилада комнатъ, такихъ же чер-

ныхъ и грязныхъ, какъ и первая. Лѣвѣе, расположены были окна, выходившія во дворъ, мощный булыжникомъ и обнесенный высокимъ заборомъ. сквозь который солнце никогда не заглядывало въ мутныя стекла зданія. Дворъ, заваленный почернѣвшими дровами и, съ колодцемъ посрединѣ, вокругъ котораго возвышались валы мусора и разныхъ нечистотъ, походилъ на помойную яму.

Если-бы все это перенести на полотно—вышла-бы интересная картина; это было бы нѣчто похожее на психиатрической этюдъ. Въ этихъ неприглядныхъ фигурахъ, одѣтыхъ почти въ нищенскія лохмотья, блѣдныхъ, съ мутными взорами, худыхъ и сгорбленныхъ, казалось, жили души, имѣющіе каждый свою исторію скромныхъ надеждъ и ужасныхъ разочарованій, мелкаго удовлетворенія и колоссальной нужды, скрытыхъ вздоховъ, частыхъ слезъ и рѣдкаго смѣха.

Кто станетъ смотрѣть на ползаніе ничтожнаго червя, кромѣ этой горсточка тружениковъ чернильнаго моря и немногихъ совѣстливыхъ педантовъ? Гораздо пріятнѣе и веселѣ слѣдить за полетомъ орла подъ небесами или смотрѣть на брызги морскихъ волнъ, разбивающихся объ утесы громаднхъ скалъ!

По натурѣ, я не принадлежу къ тому большинству смертныхъ, которые обращаютъ вниманіе на всякую складку шелковаго платья, любятъ каждымъ движеніемъ граціозной фигуры и прислушиваются къ замирающимъ вздохамъ роскошной груди. Однако, я признаюсь, что, занимаясь около десяти лѣтъ разными дѣлами, почти каждый день посѣщая канцелярію нашего города, я никого не зналъ изъ этихъ тружениковъ, даже не пытался завести съ ними другого знакомства, кромѣ того, которое требовалось по дѣлу.

Вслѣдствіе того-же я не зналъ и Іоакима Чинскаго, и не только не зналъ, но никогда не останавливалъ своего взгляда на его головѣ, покрытой длинными волосами и склоненной надъ кипюю бумагу. Густота и длина этихъ волосъ, въ которыхъ замѣтна была сѣдина, были единственнымъ признакомъ, по которому можно было отличить эту голову отъ другихъ головъ, точно также склоненныхъ надъ бумагами. Желтовато-блѣдный лобъ этого труженика съ нѣсколькими скрещивающимися морщинами, провалившіяся и старательно выбритыя щеки и тонкія губы, опустившіяся внизъ,—я увидѣлъ въ первый разъ только

тогда, когда онъ поднялся со стула, на которомъ постоянно сидѣлъ и смиренно сказалъ:

— Еслибъ вы пожелали, милостивый государь... еслибъ позволили,.. я съ удовольствіемъ взялся бы переписывать ваши бумаги!...

Это былъ отвѣтъ на мой вопросъ, сдѣланный столоначальнику: нѣтъ ли между подчиненными ему писцами хорошаго человѣка, который бы согласился переписывать бумаги, касающіяся различныхъ моихъ дѣлъ въ судахъ. Вопросъ этотъ я сдѣлалъ достаточно громко, чтобы всѣ писцы, сидѣвшіе на своихъ мѣстахъ, слышали его.

Никто, однако, кромѣ старика съ тонкими губами, не отозвался на мое предложеніе. Повидимому, всѣ были заняты слѣшными дѣлами или, быть можетъ, не нуждаясь въ средствахъ, не желали обременять себя кропотливымъ трудомъ.

— Ни одинъ изъ нихъ не можетъ быть вамъ полезнымъ, замѣтилъ мнѣ столоначальникъ, маленькій, румяный человѣчекъ съ овальной фізіономіей, имѣвшій привычку приходить въ канцелярію послѣднимъ и, подписавъ бумаги замысловатымъ почеркомъ, уходитъ первымъ. Все это лѣнтан, лежебоки!...

Видя, что на мое предложеніе не находится охотниковъ, я ужь намѣревался уйти въ другую комнату съ тѣмъ же предложеніемъ, когда сказанная выше фраза вырвалась изъ устъ старика.

— Вы можете положиться на Чинскаго!—сказалъ столоначальникъ. — Это нашъ лучшій каллиграфъ и ореографъ во всей канцеляріи; онъ трудится, какъ волъ, и аккуратенъ, какъ часы! Но я не знаю, можетъ ли онъ осилить принимаемый на себя трудъ? Нужно замѣтить, что онъ, кромѣ службы въ канцеляріи въ качествѣ моего помощника, переписываетъ бумаги двумъ — тремъ вашимъ коллегамъ... Будь я на твоёмъ мѣстѣ, Чинскій, я никогда не обременялъ бы себя такою массою работы; впрочемъ, заработокъ — соблазнительная вещь, тѣмъ болѣе для любителей отрѣзывать купончики отъ выигрышныхъ билетовъ, чтобы потомъ приобрести на нихъ новыя,— съострилъ столоначальникъ. Этотъ человѣкъ ужасный скряга и богатъ, какъ Крезъ! прибавилъ онъ, обращаясь ко мнѣ.

Я съ большимъ любопытствомъ посмотрѣлъ на рекомендованнаго мнѣ такимъ образомъ человѣка, который стоялъ въ какой то нерѣшительности, опершись одною рукою объ столъ

и держа въ другой перо, обмакнутое въ чернила. По наружности, онъ далеко не походилъ на Креза. Перпендикулярно его мѣсту, гдѣ онъ сидѣлъ, протягивалась одна изъ длиннѣйшихъ ногъ нарисованнаго на потолокъ осьминога, который, казалось, впился въ его тѣло и высасывалъ изъ него всю жизненную силу, высушивалъ его и безъ того уже сухую фигуру, обтянутую сѣрымъ скотукомъ. Рядомъ съ отпечаткомъ долгихъ и тяжелыхъ, какъ сама жизнь его, трудовъ, въ безкровномъ лицѣ его просвѣчивало глубокое спокойствіе. Изъ подъ выпуклыхъ сѣдыхъ бровей, провалившіеся глаза его неувѣренно блуждали по моему лицу, а въ глубинѣ черныхъ зрачковъ блестѣлъ однообразный, но живой огонекъ. Не былъ ли то огонь страшной жадности, разжигавшій внутренность усталыхъ глазъ и освѣщавшій мертвенно-блѣдныя черты стараго канцеляриста? Мнѣ, кажется, нѣтъ. Я видѣлъ только въ этомъ огонькѣ мерцающемъ, какъ звѣздочка на черномъ фонѣ неба, и во всей его почти аскетической фигурѣ, — больше мечтательности, чѣмъ страстности, больше отчужденія отъ земныхъ благъ, чѣмъ жажды ихъ. Однако, я ошибался. Видно было, съ какимъ безпокойствомъ онъ ждалъ моего отвѣта, и какъ горячо желалъ, чтобы условіе, обезпечивающее за нимъ извѣстный доходъ, заключено было между нами. Онъ видимо желалъ денегъ; но зачѣмъ? для какой цѣли? Вѣроятно, подумалъ я, этотъ человѣкъ обремененъ большою семьею, — и въ нѣсколькихъ словахъ объяснилъ ему мои условія, родъ и количество занятій. Онъ понялъ меня и выразилъ свое согласіе легкимъ кивкомъ головы. При разставаньи, Чинскій поклонился мнѣ съ неловкостью, присущею нерѣшительнымъ людямъ, затѣмъ сѣлъ и углубился по прежнему въ свою работу. Надъ согнутою его головою, казалось, спускалась съ потолка нога длинноногаго чудовища; но онъ не обращалъ на нее вниманія, также какъ и на остроты своихъ товарищей, и быстро скользилъ перомъ по бумагѣ.

— Нашъ Самсонъ взвалилъ на свои плечи еще одинъ камень, замѣтилъ вполголоса одинъ изъ писцовъ съ желтымъ ехиднымъ лицомъ, сидѣвшій у сосѣдняго стола.

— Денежки, милыя денежки чудеса творять! сказалъ другой.

— Чикъ, чикъ! произнесъ третій, подражая пальцами отрѣзыванію ножницами купоновъ отъ выигрышныхъ билетовъ.

— О, купончики—прекрасная вещь, отозвался писецъ съ желтымъ лицомъ.—Но пусть бы онъ попробовалъ отрѣзывать ихъ, имѣя жену, трехъ дочерей да двухъ сыновей, какъ я напримѣръ. Посмотрѣлъ бы я тогда, какъ бы онъ собралъ хоть одну сотню рублей.

— И удивительно, право! Зачѣмъ только старику деньги?... замѣтилъ молодой человекъ, по одеждѣ похожій на помѣщицкаго сына, вынужденнаго обстоятельствами занимать должность писца, чтобъ заработать себѣ кусокъ насущнаго хлѣба. Ахъ, господинъ Чинскій, въ шутовомъ тонѣ продолжалъ писецъ, лицо котораго не успѣло еще потерять здоровый видъ родной деревни; — деньги сыпятся въ вашъ карманъ, точно изъ рога изобилія... Вотъ теперь и г. Ролицкій будетъ платитъ вамъ ежемѣсячно кругленькую сумму за переписку бумагъ, а между тѣмъ, на прошлой недѣлѣ, вы отказались одолжить мнѣ двадцать рублей!... А какъ я васъ просилъ объ этомъ!

Я стоялъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ мѣста, на которомъ сидѣлъ Чинскій, и занятый пересмотромъ врученныхъ мнѣ бумагъ, слышалъ всѣ остроты, посылаемыя по его адресу. Влекомый любопытствомъ, я нѣсколько разъ взглядывалъ на моего новаго переписчика, съ цѣлью подмѣтить впечатлѣніе, производимое на него остротами сослуживцевъ. Не думаю, чтобы онъ не слышалъ этихъ остротъ, хотя они и произносились вполголоса; однако, въ лицѣ его не дрогнулъ ни одинъ мускулъ. Видно было, что онъ привыкъ къ этимъ шуткамъ и не обращалъ на нихъ ни малѣйшаго вниманія. Наконецъ, задѣтый, повидимому, за живое, онъ въ первый разъ поднялъ глаза и, не отнимая пера отъ бумаги, нерѣшительно, какъ говорилъ и со мною, сказалъ:

— Извините, панъ Леонъ, мнѣ было очень непріятно отказать вамъ въ этой бездѣлицѣ... но, не знаю, не хуже ли я поступилъ бы, давъ вамъ эту сумму на покупку лайковыхъ перчатокъ и конфектъ для барышень....

Слова эти могли бы показаться педантичными, невѣжливыми и неумѣстными, еслибъ они были произнесены другою интонаціей; но въ нихъ не было и тѣни сарказма, а тѣмъ болѣе злобы. Напротивъ, кротость, неувѣренность, доходящая до крайняго предѣла были такъ благодушны, что въ нихъ нельзя было замѣтить даже слабой нотки раздраженія.

— Было бы смѣшно, еслибъ всѣ ходили безъ перчатокъ

и бѣжали отъ женщинъ, какъ вы, любезный Чинскій, воскликнуть молодой писецъ.

— И пили ромашку вмѣсто чая! сказалъ кто-то.

— И спали по четыре часа въ сутки, а двадцать часовъ работали ради презрѣннаго металла! закончилъ третій, съ апатичнымъ лицомъ и лѣнивыми жестами.

— Перестаньте, пожалуйста, г. Чинскій, отозвался столоначальникъ, — ну, можно ли говорить въ лицо такую правду, какую вы сейчасъ сказали пану Леону?...

Отвѣтивъ молодому человѣку, Чинскій продолжалъ писать, но, при замѣчаніи столоначальника, онъ опять поднялъ голову, и на этотъ разъ уже смущенно спросилъ.

— Да развѣ я сказалъ что-нибудь нехорошее?... Извините, пожалуйста, я никакъ не думалъ оскорбить васъ.... напротивъ, мнѣ казалось такъ натуральнымъ...

— Что, натуральнымъ? спросили хоромъ писцы.

— Сказать правду.

Въ этомъ отвѣтѣ было что-то до того дѣтски наивное, что всѣ писцы разсмѣялись хоромъ; я тоже не могъ не улыбнуться. Громче всѣхъ, однако, смѣялся писецъ съ желтой фізіономіей и, моргая своими злыми глазами, желчно замѣтилъ:

— Господи! да я никогда не надѣваю перчатокъ, кромѣ официальныхъ визитовъ или вечеровъ у моихъ знакомыхъ, на которые хожу иногда съ женою и дочерью; конфетъ тоже не покупаю, что засвидѣтельствуетъ и моя жена, однако, любезный Чинскій, вы отказались одолжить мнѣ сто рублей, которые я просилъ у васъ осенью....

Чинскій видимо хотѣлъ возразить, объясниться, но какъ будто боялся попасть во второй разъ въ просакъ и поэтому замѣтно боролся съ собою, открывалъ ротъ.... и молчалъ. Наконецъ, вооружившись смѣлостью, онъ произнесъ самымъ кроткимъ голосомъ:

— Богъ свидѣтель, панъ Винцентій, что я не пожагѣлъ бы для васъ этой суммы... еслибъ... еслибъ былъ увѣренъ, что вы употребите ее на обмундированіе вашего Стаса и помѣщеніе его въ гимназію...

При уменьшительномъ имени сына сослуживца, первый разъ улыбка мелькнула на его губахъ.

— Знаете ли, панъ Винцентій, вашъ мальчикъ очень спо-

собный... о! какой способный... и красивый, какъ херувимъ... и еслибъ вы только пожелали...

Писцы не дали ему докончить и засмѣялись хоромъ, но на этотъ разъ смѣхъ ихъ касался отца Стаса, который,— сколько я могъ понять изъ нѣсколькихъ словъ, сказанныхъ писцами,—не особенно заботился о своихъ дѣтяхъ и объ ихъ будущемъ.

Слова эти произвели большую переменъ въ лицѣ Чинскаго. Глубокія поперечныя морщины какъ-будто дрогнули у него на лбу, и искра, мерцавшая въ глубинѣ зрачковъ, вспыхнула сильнѣе. Однако, въ этой вспышкѣ не замѣчалось ни малѣйшаго признака гнѣва, нетерпѣнія или выраженія непріятнаго чувства. Напротивъ, мнѣ показалось, что слова, сказанныя имъ съ какимъ-то ироническимъ отголоскомъ, случайно затронули его слабыя струны, глубоко затаенныя отъ взгляда людей, дорогія ему по воспоминаніямъ, желаніямъ, мечтамъ или надеждамъ; лицо его вдругъ просіяло, точно предвкушая какое то грядущее блаженство. Не отвѣчая на ироническій смѣхъ сослуживцевъ и даже какъ-будто забывъ о немъ, Чинскій поднялъ глаза къ потолку, точно искалъ на немъ хоть клочекъ голубаго неба, чтобы на минуту отдаться какимъ-то радостнымъ мечтамъ; но, встрѣтившись съ осминомомъ, взглядъ его медленно опустился на бумаги, лежавшія передъ нимъ.

Въ эту минуту меня позвали въ судъ, гдѣ я долженъ былъ защищать сложное дѣло одного изъ моихъ кліентовъ. По истеченіи двухъ часовъ, забывъ уже о существованіи Чинскаго, мнѣ пришлось проходить черезъ ту же комнату, въ которой, казалось, происходило нѣчто необыкновенное. Занятія кончились, чиновники уходили изъ канцеляріи. Въ передней я замѣтилъ Чинскаго, накидывавшаго на свои плечи старенькую шинель. Онъ держалъ подъ мышкою изношенный портфель, наполненный бумагами. Не обращая ни на кого вниманія, Чинскій направлялся къ выходу, гдѣ стоялъ съ товарищами его сослуживецъ, панъ Леонъ, одѣтый въ щегольское пальто. Замѣтивъ идущаго Чинскаго, онъ улыбнулся и, мигнувъ товарищамъ, ловкимъ движеніемъ руки, двинулъ подъ ноги Чинскаго скамью, стоящую у стѣны; послѣдній зацѣпился за нее своею старенькой шинелью и чуть не упалъ; и только благодаря близости дверей, онъ успѣлъ схватиться за ручку и спастись отъ паденія.

Сослуживцы съ трудомъ сдерживали смѣхъ, вызванный про-
дѣлкой молодого щеголя и комическимъ положеніемъ жертвы,
запутавшейся въ складкахъ своей шинели.

Я думалъ, что на этотъ разъ Чинскій вспыхнетъ справедли-
вымъ гнѣвомъ, но онъ даже не оглянулся, точно это произошло
съ нимъ случайно, и съ спокойнымъ лицомъ вышелъ на улицу.

Ясный зимній день располагалъ къ прогулкѣ; морозный
воздухъ дѣйствовалъ отрезвляюще. Вышедшіе изъ канцелярн
чиновники выпрямляли свои члены послѣ продолжительной
работы и сидѣнья въ канцелярской пыли. Всѣ были болѣе или
менѣе веселы и болтали о способѣ препровожденія времени
наступающаго вечера. Чинскій шелъ одинъ. Видно было,
что онъ не имѣлъ ничего общаго съ ними. Какой-то остра-
кизмъ, казалось, тяготѣлъ надъ этой фигурой, одѣтой въ
допотопную шинель и движущуюся по тротуару въ строгомъ
молчаніи...

— Повидимому, Чинскій не пользуется среди васъ ничьей
симпатіей, замѣтилъ я столоначальнику, который, догнавъ
меня на улицѣ, старался завязать разговоръ.

— Чудакъ, несообщительный и недружелюбный, возразилъ
онъ. Корпитъ надъ работой по цѣлымъ ночамъ, ради возможно
большаго заработка денегъ, которыя прячетъ въ сундукъ,
отказывая при этомъ въ малѣйшемъ одолженіи своимъ това-
рищамъ. Это въ своемъ родѣ Крезъ!...

— Сколько же у этого Креза денегъ?

— Кто знаетъ? Онъ нѣмъ, какъ рыба... Однако, насколько
намъ извѣстно отъ мѣняль, у которыхъ онъ покупаетъ билеты,
вѣроятно, онъ имѣетъ порядочный капиталъ; во всякомъ слу-
чай не менѣе шести или восьми тысячъ рублей. Дѣйстви-
тельно, для простого писца, получающаго менѣе 30 руб. въ
мѣсяцъ, это большая сумма!

— Быть можетъ, онъ обремененъ большимъ семействомъ
и поэтому старается обезпечить его будущность?

— О, нѣтъ. Еслибъ это было такъ, то навѣрно никто не
сталъ бы удивляться... Онъ не женатъ и живетъ только съ
сестрой... но сестра эта... Прости Господи!...

При воспоминаніи о сестрѣ Чинскаго, столоначальникъ
опустилъ глаза, какъ бы стыдясь произнести ея имя.

— Кто-же она, эта сестра Чинскаго?

— Право, стыдно и говорить о подобныхъ личностяхъ...

Это погибшее созданіе, которое онъ бережетъ, точно золото...
 Это позоръ всего города; за нее стыдно и намъ, его товарищамъ...

— Неужели она такъ испорчена?

— Она стара теперь и отвратительна, какъ семь смертныхъ грѣховъ, но въ молодости, повидимому, имѣла ужасныя исторіи, о которыхъ даже неловко говорить. Будьте увѣрены, что никто изъ насъ не подастъ руку его сестрѣ, и ни одна изъ нашихъ женъ и дочерей не поклонится ей на улицѣ. Надѣюсь, вы поняли, что это за женщина, и каковъ братъ, который живетъ съ нею подъ одной кровлей!...

Мои отношенія съ Чинскимъ продолжались уже около года, но я не пытался узнать объ его характерѣ и домашней жизни, и не думалъ даже объ этомъ. Онъ заходилъ ко мнѣ два-три раза въ недѣлю, чтобъ захватить бумаги или возвратить переписанныя. Чинскій былъ пунктуаленъ, какъ часы; входя около полудня въ мой кабинетъ, онъ неуклюже кланялся мнѣ и, въ ожиданіи моихъ распоряженій, садился у дверей. Получивъ бумаги, онъ опять кланялся и уходилъ такъ же тихо, какъ и входилъ. Лицо его оживлялось только тогда, когда, по истеченіи мѣсяца, онъ получалъ отъ меня вознагражденіе за свой трудъ. Тогда огонекъ, который свѣтился подъ мутною поверхностью зрачковъ, разгорался ярче, и на губахъ его появлялась едва замѣтная улыбка. Онъ казался смѣлѣе и даже вступалъ въ разговоръ. Однажды, отдавъ ему жалованье, я задержалъ его на минуту, чтобы вручить ему нѣкоторыя срочныя бумаги; онъ сѣлъ на стулъ и началъ разсматривать стоявшія на конторкѣ двѣ мраморныя вазы.

— Извините пожалуйста, робко спросилъ онъ почти шепотомъ:— что это такое?

— Это вазы, въ которыя лѣтомъ ставятъ цвѣты.

— Цвѣты? сказалъ онъ тономъ такого удивленія, какъ будто забылъ значеніе этого слова. Цвѣты! повторилъ онъ тихо и, не спуская глазъ съ мраморныхъ вазъ, разсматривалъ ихъ со всѣхъ сторонъ.

— Извините, пожалуйста, началъ онъ и остановился...

— Что вамъ угодно, г. Чинскій?

— Сколько, примѣрно, стоятъ эти вещи?

Я назвалъ ему довольно значительную цѣну, которую заплатилъ за эти предметы, такъ сильно заинтересовавшіе его. Удивленіе его возросло, когда я сказалъ цифру.

— А! воскликнулъ онъ.

— Вы находите, что это дорого? спросилъ я, желая продолжать разговоръ, такъ какъ лицо его приняло какое то курьезное выраженіе.

— Не знаю, рѣшительно не знаю... Меня удивляетъ только, какъ это люди могутъ тратить столько денегъ на подобныя вещи.

Мнѣ вспомнился выговоръ, данный имъ въ канцеляріи пану Леону за покушку перчатокъ и конфетъ, и я внутренно разсмѣялся.

— Да есть люди, которымъ нужно, чтобы передъ ихъ глазами стояли красивыя вещи...

— Красивыя! повторилъ онъ тѣмъ же тономъ, какъ минуту назадъ слово «цвѣты». Развѣ это красивыя вещи? кивнулъ онъ головою въ сторону стоявшихъ вазъ.

Не желая вступать съ нимъ въ эстетическіе споры, я сказалъ просто:

— Развѣ вы находите, что эти вазы неприятны для глазъ?

Онъ взглянулъ на меня широко раскрытыми глазами, въ которыхъ виднѣлось болѣе чѣмъ наивное выраженіе. Кажется, онъ какъ-будто разсердился или опечалился.

— Не знаю, сказалъ онъ, подумавъ и пожимая плечамъ, — не знаю, нуждаются ли наши глаза въ подобныхъ бездѣлкахъ?

Тонъ его рѣчи сдѣлался ворчливымъ и недовольнымъ.

— Есть много ртовъ, которые требуютъ пищи, и мозговъ, которые нуждаются въ просвѣщеніи, но для глазъ... я не знаю... зачѣмъ имъ подобная забава?

Сказавъ это, онъ поклонился и тихо вышелъ изъ комнаты.

Часто потомъ я замѣчалъ, что онъ съ большимъ вниманіемъ прислушивался къ моему разговору съ титулованными кліентами. Когда я произносилъ «графъ» или «князь», онъ раскрывалъ глаза и поочередно обращалъ ихъ то на меня, то на титулуемаго. Я убѣжденъ, что еслибъ онъ былъ посмѣливе, то непременно спросилъ: зачѣмъ людямъ титулы?—подобно тому какъ говорилъ о бесполезности для глазъ красивыхъ вещей.

Самой забавной и характерной чертой его была боязнь женщинъ, присутствіе которыхъ смущало его. Нерѣдко, входя въ кабинетъ, онъ заставалъ у меня женщинъ и, на усиленные мои просьбы сѣсть, колебался, не зная, куда дѣвать глаза. Однажды, когда Чинскій пришелъ ко мнѣ за бу-

магами, въ кабинетъ вбѣжала моя младшая сестра и, шума крахмальными юбками и кисейнымъ платьемъ, напѣвала какую то арію. Чинскій попятился назадъ и уперся спиной въ стѣну, точно хотѣлъ пробить въ ней отверстіе и скрыться въ него. При видѣ этой худой, высокой фигуры, жавшейся къ стѣнѣ, 18-ти лѣтняя дѣвушка съ трудомъ сдержала смѣхъ. Я съ молюбою взглянулъ на нее и, желая прекратить непріятную для Чинскаго сцену, сказалъ:

— Моя сестра желаетъ познакомиться съ вами...

— Познакомиться!.. со мной... прошепталъ онъ съ ужасомъ, какъ будто это знакомство могло принести ему величайшее несчастіе.

Однако, онъ пристально смотрѣлъ на молодую дѣвушку, которая, съ своими золотистыми волосами и въ бѣломъ кисейномъ платьѣ, похожа была на весенній цвѣтокъ. Глаза его часто моргали, и рѣсницы подергивались. Молодость, здоровье и веселость въ соединеніи съ изяществомъ туалета, по видимому, подѣйствовали на него такъ же, какъ дѣйствуетъ свѣтъ на рудокоповъ, когда глаза ихъ, послѣ усиленныхъ трудовъ въ подземельи, встрѣчаются съ блескомъ солнца.

— И у меня есть сестра, сказалъ онъ, наконецъ, опуская глаза... Только она совсѣмъ не такая... моя сестра уже старуха... только на три года моложе меня... Когда то... когда то тоже была... но теперь... совсѣмъ иная... совсѣмъ иная...

Сказавъ это, онъ взялъ бумаги и поклонясь, неловче чѣмъ когда либо, вышелъ изъ комнаты.

— Чудакъ! замѣтилъ я.

— Бѣднякъ! поправила сестра.

Впечатлѣніе, которое произвела на него моя сестра, было ничто въ сравненіи съ тѣмъ, какое онъ испыталъ, заставъ однажды у меня г-жу Тронскую. Эта дама была давно знакома со мной и пріѣхала теперь по дѣлу о крестьянахъ, на которыхъ жаловалась, и просила совѣта. Въ это время пришелъ Чинскій, съ портфелемъ подъ мышкой. При видѣ его, изъ розовыхъ губъ г-жи Тронской вырвалось удивленіе, точно предъ нею явился призракъ давно умершей особы. Блѣдное лицо Чинскаго покрылось вдругъ яркимъ румянцемъ, затѣмъ поблѣднѣло; глаза заморгали и губы дрогнули, морщины на лбу сильно скрестились, точно при воспоминаніи о грустныхъ, давно минувшихъ дняхъ. Онъ остановился въ дверяхъ, какъ

скую. Повидимому, онъ не зналъ, что дѣлать съ собою—идти ли впередъ или вернуться назадъ.

— Боже! воскликнула дама, заметавшись на диванѣ и расправляя свое шелковое платье;—живой характеръ ея былъ мнѣ хорошо знакомъ:—видно, это правда, что только гора съ горой не сходятся, а человекъ съ человекомъ, хоть бы ихъ раздѣляли горы и моря, всегда сойдутся. Мнѣ и во снѣ не снилось, чтобы я когда нибудь увидѣлась съ вами, однако, я вижу васъ... но вы, кажется, не узнаете меня?

Чинскій поднялъ голову и сдѣлалъ шагъ впередъ.

— Я не узнаю васъ? прошептала онъ обыкновеннымъ тономъ,—можно ли не узнать васъ?...

Дама засмѣялась, но смѣхъ ея былъ замѣтно принужденный, и голубые глаза, когда-то красивые, заволоклись слезою.

— Но кто же я? — воскликнула Тронская голосомъ, въ которомъ прозвучала грустная нотка, — скажите мое имя, и я повѣрю, что вы меня узнали.

— Руза!.. — шепнулъ писецъ, и дрогнувшею рукою прижалъ къ мышкѣ портфель.

— Дѣйствительно, узналъ!—воскликнула дама и, обращаясь ко мнѣ, прибавила, — вы не знаете, что я знакома съ г. Чинскимъ съ незапамятныхъ временъ, и если-бы не обстоятельства... но что было, того не воротить... Скажу только, что если я полюблю кого-нибудь, то ужъ никогда не измѣню и остаюсь вѣрной ему до гроба. Увидѣвъ г. Чинскаго, я вдругъ вообразила себя 18-лѣтней дѣвушкой, въ розовомъ платьицѣ, какъ я сижу въ гостиной моей покойной тети, а г. Чинскій приглашаетъ меня танцовать.

Мысль о томъ, что неуклюжій Чинскій когда-нибудь приглашалъ танцовать дѣвушекъ, показалось мнѣ такъ комична, что я невольно улыбнулся и взглянулъ на то мѣсто, гдѣ стоялъ Чинскій.

— Но куда же онъ исчезъ?—воскликнула дама.

Дѣйствительно, его ужъ не было въ кабинетѣ и, черезъ открытую дверь, я замѣтилъ, какъ онъ, согнувшись въ дугу, поспѣшно надѣвалъ свою старую шинель. На конторѣ лежали переписанныя бумаги, которыя онъ только-что положилъ тамъ. Не смотря на свое волненіе, онъ положилъ бумаги съ образцовою аккуратностью на то же мѣсто, куда клалъ всегда. Че-

резъ минуту открылась выходная дверь, и его сторбленная фигура исчезла за нею.

— Сбѣжалъ!—проговорила Тронская, съ какимъ-то сожалѣніемъ въ голосѣ.— Правда, что онъ и всегда былъ не особенно смѣлымъ, но теперь ужасно перемѣнился.— Я едва узнаю его!— Вы не знаете, что двадцать лѣтъ тому назадъ, онъ былъ очень недурень собой.— Только лицо его было и тогда немного желто, движенія неуклюжи, но за то глаза были прелестные, выразительные, голосъ тихій, но пріятный.— Словомъ, когда онъ объяснился съ мамой насчетъ моей руки...

Тронская оборвала свою рѣчь и залилась смѣхомъ.

— Вотъ и проговорилась! — воскликнула она, опуская глаза.— Но что дѣлать, разъ ужъ слово сорвалось,—дѣло кончено; впрочемъ, это было такъ давно, что не грѣшно вспомнить прошлое.— Нужно сказать вамъ, что Чинскій въ первый разъ встрѣтилъ меня у моей тетки и сразу влюбился въ меня.— Танцевалъ онъ, дѣйствительно, плохо, былъ слишкомъ не разговорчивъ, но, при всемъ этомъ, онъ былъ какъ-то особенно пріятенъ и даже понравился мнѣ.— Отецъ мой въ то время, какъ вамъ извѣстно, былъ столоначальникомъ въ той же канцеляріи, гдѣ служитъ Чинскій, и имѣлъ о немъ хорошее мнѣніе.— Насъ было четыре сестры, и намъ трудно было рассчитывать на богатыхъ жениховъ.— Когда Чинскій объяснился, родители мои безпрекословно согласились выдать меня за него.— Я тоже не отказывалась.— Мы были обручены, мать начала готовить приданое, и все шло очень хорошо, но вдругъ Чинскій исчезъ на нѣсколько дней изъ города и возвратился съ какою-то сестрой...

Тронская вдругъ закашлялась и, посмотрѣвъ съ минуту на складки своего шелковаго платья, продолжала:

— Вы слышали что-нибудь о сестрѣ Чинскаго? — спросила она.— Мнѣ говорили про нее ужасныя вещи, при встрѣчѣ на улицѣ ей никто не хотеть кланяться... но я вамъ не стану рассказывать, что это за женщина; я мать семейства и мнѣ не слѣдуетъ говорить такія вещи о женщинахъ; достаточно сказать, что моя мать, узнавъ о ней, сказала, что ни за какія деньги не позволитъ мнѣ жить подъ одной кровлей съ его сестрой и просила отца переговорить съ Чинскимъ.— Дѣйствительно, отецъ предложилъ ему выбрать меня или сестру.— Обѣ,—сказалъ онъ,— не могутъ ужиться въ одномъ

домѣ. — Отправь сестру и женись, или сними съ пальца обручальное кольцо — и съ Богомъ! — Когда они разговаривали, я смотрѣла въ замочную скважину въ двери и думала, что Чинскій упадетъ въ обморокъ: онъ былъ блѣденъ и дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ. — Ну-съ, — повторилъ отецъ, — выберите: жена или сестра? — Чинскій долго молчалъ и, наконецъ, тихо отвѣтилъ: «сестра!» Отецъ мой разсердился. — Сейчасъ же свими кольцо! — крикнулъ онъ; но Чинскій стоялъ, какъ истуканъ. — Я самъ отдамъ его Рузѣ! — возразилъ онъ... Это былъ судный день въ нашемъ домѣ. — Я плакала, мать тоже, отецъ сердился и кричалъ, что онъ скомпрометировалъ его, но Чинскій настаивалъ на томъ, чтобы отецъ позволилъ ему объясниться со мною. — Наконецъ, видя, что Чинскій не уходитъ, мать спряталась въ другую комнату, а отецъ ушелъ изъ дому, и я съ Чинскимъ осталась одна. — Онъ взялъ меня за руку и взглянулъ такимъ пронизывающимъ взглядомъ, что дрожь пробѣжала у меня по кожѣ. — Неужели и вы, Руза, желаете также, чтобы я прогналъ изъ дому мою сестру? — спросилъ онъ меня. — Въ первое время я готова была броситься ему на шею и сказать: «дѣлай, что хочешь, я ни за что не покину тебя!», но потомъ какая-то тревога овладѣла мною, и я прошептала: «когда отецъ и мать находятъ, что нельзя, то...» Чинскій до боли сжалъ мою руку. — Руза! — воскликнулъ онъ, — сестра моя погибнетъ безъ меня, и я буду очень несчастливъ, если это случится!.. Сердце мое рвалось на части, но что я могла сдѣлать? Трудно было идти противъ воли родителей, да и я была горда по своему. Если онъ предпочитаетъ меня какой-то тамъ... то пусть и живетъ съ той!.. Какъ мнѣ ни было больно, но я отвѣтила ему: «я скажу точно также, какъ мать и отецъ... если вы разстанетесь съ сестрою, тѣмъ лучше, а если нѣтъ, то не взыщите!» Онъ выпустилъ мою руку. Потомъ, отойдя къ дверямъ, онъ еще разъ взглянулъ на меня и въ нерѣшительности произнесъ: «Руза!..» Еслибъ я послушалась тогда своего глупаго сердца, то непременно-бы бросилась къ нему и крикнула: «не уходи!» но я, во-первыхъ, боялась, а во-вторыхъ, чувствовала себя оскорбленной. Я стояла посреди комнаты, и Чинскій еще разъ повторилъ: «Руза!» Я не отвѣчала... Потомъ, поднявъ глаза, я увидѣла, что его уже не было въ комнатѣ. Такъ мы разстались и не видѣлись до сегодняшняго дня.

— Вѣроятно, вы много перечувствовали, разставшись съ человѣкомъ, который, повидимому, обладалъ вашимъ сердцемъ?

— О, сколько я перенесла въ жизни, одному Богу извѣстно! Но Всевидящее Око бодрствуетъ надо мною. Я вышла за помѣщика, очень лѣниваго, но добраго человѣка. Люди говорили, что я сдѣлала прекрасную партію, и не ошибались; жаль только, что Господь часто испытываетъ меня... Вотъ, хотя бы и теперь, напримѣръ, эти мужики,—развѣ это не испытаніе? Лѣсъ рубать, на лугахъ пасуть скоть, мало ли все это стбитъ?— въ особенности, когда я сама нуждаюсь... Ужасное злоупотребленіе! Пограничные столбы поставлены, и планы я привезла съ собою, чтобы показать вамъ...

Подъ впалой грудью Чинскаго, покрытой грязной сорочкой и грубой клѣтчатою жилеткой, билось когда то молодое сердце, и ему нравились дѣвушки съ голубыми глазками и круглыми румяными щечками! Въ головѣ его, наклоненной теперь надъ кипами канцелярскихъ бумагъ, обрѣталась когда то здоровая мысль и желаніе счастья! Жизнь этого человѣка, идущая спокойно и тихо, была полна бури и борьбы, боли сердца и торжества справедливости.

Разсказъ г-жи Тронской и, главное, сильное душевное волненіе, которое испыталъ Чинскій въ ея присутствіи, раскрыли мнѣ истинную жизнь его, болѣе похожую на правду, чѣмъ та, которую я зналъ до сихъ поръ. Мрачная картина раскрылась предо мною и обнаружила жертвы, принесенныя имъ на алтарь самоотверженія. Жертва эта была тяжела для него,— въ этомъ я не могъ сомнѣваться, зная по опыту, какъ необходимы подобнаго рода труженикамъ, не обладающимъ высокими умственными способностями, самолюбіемъ и прочими дарами духа,—спокойствіе и поэзія домашняго очага.

Бѣдный Чинскій! Какъ должно быть, скучно монотонно тянется его одиночество! Какъ нескончаемо долги кажутся ему ночи, проводимыя въ трудахъ, плоды которыхъ никто не раздѣляетъ съ нимъ, кромѣ сундука, служащаго лишь предметомъ насмѣшекъ и зависти сослуживцевъ! При мысли о сундукѣ и богатствѣ, я невольно улыбнулся. Удивительная вещь,— подумалъ я,—какими темными закоулками двигаются иногда наши чувства! Обманутый въ справедливыхъ желаніяхъ сердца, удрученный тяжестью принятой на себя службы, человѣкъ

этотъ полюбилъ деньги! Однако, онъ не расходуетъ ихъ на улучшение своего существованія! Какую же пользу приносятъ ему деньги? Встрѣчаютъ ли онѣ его на порогѣ съ нѣжной улыбкой, когда онъ возвращается домой съ портфелемъ, наполненнымъ до краевъ разными бумагами? Бодрствуютъ ли онѣ надъ нимъ во время его болѣзни? Занимаютъ ли онѣ мѣсто за его обѣдомъ? Разговариваютъ ли съ нимъ въ долгія зимнія ночи, проводимыя имъ безъ сна? Утѣшаютъ ли онѣ его въ скорби и сожалѣннн о потерянномъ счастьѣ?...

Вопросы эти слишкомъ отзываются иронией, чтобъ отвѣчать на нихъ, но я не сомнѣвался, что на нихъ когда нибудь получится отвѣтъ, что всѣ вообще вопросы, кажущіеся намъ дикими и неправдоподобными—очень естественны и правдивы. Вскорѣ я узналъ, какую роль играли для него деньги, и день этотъ запечатлѣлся въ моей памяти...

Я вышелъ прогуляться послѣ обѣда и направился въ самую убогую часть города, гдѣ находилось жилище моего переписчика. Признаться, туда влекло меня не одно любопытство, но отчасти и дѣло. Поспѣшно уходя отъ меня въ этотъ день, Чинскій позабылъ бумаги, которыя безотлагательно нужно было переписать. Я рѣшился снести ихъ къ нему и вмѣстѣ съ тѣмъ взглянуть на его домашнюю жизнь и окружающихъ его лицъ.

Это былъ бѣдный, маленькій деревянный домикъ, грязныя окна котораго выходили съ одной стороны на узенькую улицу, а съ другой—на тѣсный дворикъ, обнесенный разными старенькими строениями. Лѣтомъ—тамъ не было и помина ни о зеленой травѣ, ни о цвѣтущихъ деревьяхъ; зимою—снѣгъ перемѣшивался съ грязью, а грязь расплзалась въ большія лужи воды.

Я вошелъ въ маленькія темныя сѣни и засталъ дверь открытой. Въ помѣщеніи, расположенномъ на право, слышался пискъ дѣтскихъ голосовъ, лѣвѣе же—царствовала мертвая тишина. Я повернулъ налево и постучался въ дверь.

— Кто тамъ? окликнулъ меня голосъ изнутри, по тону не особенно вѣжливый и какъ будто женскій.

Я сказалъ свое имя и тотчасъ услышалъ сниманіе съ дверей крюковъ и задвижекъ. Черезъ секунду я стоялъ лицомъ къ лицу съ отворившей мнѣ дверь высокой широкоплечей женщиной.

Я догадался, что это была обезславленная сестра Чинскаго, но не успѣлъ я пристально взглянуть на нее, какъ изъ угла комнаты, изъ за стола, заваленнаго бумагами, поднялась фигура хозяина дома, который, по обыкновенію, нерѣшительно подошелъ ко мнѣ. Онъ одѣтъ былъ, какъ и всегда, въ поношенный сѣрый сюртукъ и въ клѣтчатый, малиноваго цвѣта, жилетъ.

— Вѣроятно, я плохо переписалъ прошеніе, которое отнесъ вамъ сегодня? спросилъ онъ, смотря на меня удивленными глазами.

Я отвѣтилъ ему, что на этотъ разъ, какъ и всегда, я доволенъ его трудомъ и что просто пришелъ навѣстить его, и за одно привезъ ему новую работу.

Онъ тревожно и неувѣренно осмотрѣлъ свою комнату и придвинулъ мнѣ кресло.

— Прошу покорно... запинаясь произнесъ онъ.

Приходъ мой замѣтно привелъ его въ замѣшательство: онъ не привыкъ къ подобнымъ визитамъ; однако, онъ чувствовалъ, припомнивъ, вѣроятно, прошлое время, что гостя, прежде всего, слѣдовало занять разговоромъ.

— И вы рѣшаетесь прогуливаться въ такую скверную погоду... началъ онъ.

Желая избавить его отъ хлопотъ свѣтскаго разговора, я началъ говорить о томъ, о семъ, о канцелярскихъ занятіяхъ, о знакомыхъ мнѣ начальствующихъ лицахъ и т. д. Въ доказательство вниманія, съ какимъ онъ слушалъ меня, Чинскій, время отъ времени, качалъ головою или произносилъ односложное: «да» или «нѣтъ», а иногда четырехсложное: «неужели?»

Я не могъ не замѣтить, что въ наружности его произошло въ этотъ день значительное измѣненіе: на худыхъ щекахъ его образовалось два пятна темнаго румянца; глаза казались болѣе грустными и ввалившимися, а углы губъ опущенными и заостренными. Мертвенное спокойствіе лица какъ будто всколыхнулось, и въ его взглядѣ, и въ морщинахъ, я въ первый разъ замѣтилъ выраженіе глубокой боли, затаенной въ глубинѣ сердца. Войдя въ домъ, я тотчасъ замѣтилъ, что онъ сидѣлъ въ бездѣйствіи, съ опущенною на руки головою; траурныя пряди его волосъ рассыпались въ беспорядкѣ. Я не сомнѣвался, что грусть его, вырывавшаяся наружу, была

ни чѣмъ инымъ, какъ слѣдствіемъ сегодняшней встрѣчи его съ госпожей Тронской.

Помѣщеніе Чинскаго было гораздо лучше, чѣмъ я воображалъ, судя по его одеждѣ и, въ особенности, по описанному мнѣ скряжничеству его. Оно состояло изъ большой комнаты и очень чистенькой и просторной кухни. Въ комнатѣ, кромѣ дивана и нѣсколькихъ ясеневыхъ стульевъ, стояли два-три сундука, покрытыхъ дешевыми ковриками, большой письменный столъ, заваленный бумагами, и кровать съ твердымъ матрацомъ, застланная хотя бѣднымъ, но чистенькимъ одѣяльцемъ. Ни на бѣломъ полу, ни на стѣнахъ, выкрашенныхъ желтою краскою, ни на мебели, обитой дешевенькимъ ситцемъ, нельзя было подмѣтить ни малѣйшаго пятнышка, ни пылинки. Зеленая изразцовая печь блестѣла, какъ зеркало. Въ кухнѣ, внутренность которой была видна чрезъ открытую дверь, также не замѣчалось неопрятности, и хотя стѣны и потолокъ нѣсколько закоптились отъ дыма, но полъ былъ выметенъ, столы и табуретки вымыты, а кухонная посуда, разставленная на полкахъ въ систематическомъ порядкѣ, блестѣла какъ золото. Въ наружной чистотѣ и педантическомъ порядкѣ, который украшалъ этотъ убогій уголокъ, дѣлая его уютнымъ и почти веселымъ, видна была старательная рука женщины, заботящейся о благосостояніи своего жилища.

Женщина эта, отворивъ мнѣ дверь, тотчасъ ушла въ кухню, гдѣ сѣла у окна и занялась шитьемъ. Я сидѣлъ какъ разъ противъ нея и могъ отлично ее видѣть. Она была висока, и, повидимому, сильна; на ней была ситцевая юбка и темный суконный кафтанъ. Изъ подъ ситцеваго же платка, красноватаго цвѣта, повязаннаго въ видѣ чепца, пробивались черные волосы, перемѣшанные, какъ и у брата, сѣдиною, и падали на высокій лобъ, изборожденный мелкими, но глубокими морщинками. Лицо ея, опущенное надъ работой, было необыкновенно смугло. Она ни разу не подняла его, въ продолженіе моего разговора съ братомъ, и, казалось, ей не было никакого дѣла до насъ.

Я уже хотѣлъ закончить мой разговоръ и уйти, какъ вдругъ Чинскій поднялся съ мѣста и, съ обыкновенной своей нерфшительностью, сказалъ:

— Не будете ли такъ любезны выпить съ нами чашечку кофе?...

Здѣсь я вспомнилъ, что гостепрѣимство требуетъ не только занимать гостя разговоромъ, но и угощать его. Я хотѣлъ отказать и поблагодарить, но женщина, сидѣвшая у окна, встала и, положивъ работу на столъ, рѣзко отозвалась:

— Сейчасъ кофе будетъ готовъ...

— Пожалуйста, Марыся... панъ адвокатъ такъ добръ, что всегда потчуетъ меня чаемъ, когда я, по утрамъ, прихожу къ нему...

— Ну, ну!.. ворчливо продолжала старуха, — я только и ждала, что бы ты пригласилъ ихъ на кофе... Я думала, что ты, по обыкновенію, будешь молчать, какъ медвѣдь...

— Моя сестра, шепнулъ братъ едва слышно, — немного вспыльчива... но если бы вы знали ея прошедшее, то навѣрно нисколько не удивились бы ея характеру... Когда то и она была очень ласкова и вѣжлива... но люди сдѣлали ей много зла... и по этому...

Спустя десять минутъ, сестра Чинскаго внесла въ комнату облѣзлый подносъ, на которомъ стояли два стакана кофе со сливками и лежала разрѣзанная булка. Поставивъ подносъ на столъ, она взглянула на меня своими огромными черными глазами, глубоко сидѣвшими въ орбитахъ и опущенными черными же бровями. Казалось, въ этихъ глазахъ вѣчно царствовала ужасная буря. Повидимому, она была въ свое время красивой женщиной; теперь же, въ неисчислимыхъ морщинахъ, покрывавшихъ ея лобъ, въ горячечномъ блескѣ глазъ, въ выраженіи постоянного раздраженія, въ угловатыхъ движеніяхъ и рѣзкомъ звукѣ голоса, легко можно было прочесть длинную трагическую исторію страданій, паденія, безконечной подавленности и неугаемой скорби.

— Марыся! шепнулъ несмѣло Чинскій, — нельзя ли пирожнаго... знаешь? изъ той булочной...

Сестра взглянула на него съ острымъ укоромъ.

— Пирожнаго? раздражительно переспросила она. Нужно идти за нимъ, а ты вѣдь знаешь, какъ мнѣ пріятно проходить чрезъ этотъ проклятый дворъ, когда всѣ вѣдьмы дома.

— Моя сестра говоритъ о нашихъ сосѣдкахъ... объяснилъ мнѣ потихоньку Чинскій. Это какія-то ужасныя женщины... право, ужасныя... никому не дадутъ пройти спокойно...

Чинскій не успѣлъ еще докончить, какъ Маріанна, набросивъ на себя платокъ, направилась къ дверямъ.

— Постой, Марья!.. остановилъ ее братъ. Лучше не ходи...

— Не трудитесь, пожалуйста, отозвался и я.

— Ну, ну! возразила она, — не беспокойтесь; я съумѣю защитить себя. Вы такъ добры и любезны съ Іоакимомъ, и я не хочу, что бы вы подумали, будто мы не умѣемъ цѣнить вашей доброты... Пусть себѣ эти вѣдьмы трещать 'сколько угодно... Вѣдь не оторвутъ же онѣ мнѣ голову, если до сихъ поръ она осталась на моихъ плечахъ...

Съ этими словами она ушла; Чинскій опустилъ глаза и молчалъ.

— Ахъ! воскликнулъ онъ внезапно, поднявъ дрожавшую руку, — что дѣлать? Такіе улье люди... не могутъ забыть... простить... И, право, не понимаю, почему не простить человѣку, который вернулся на путь истины и ни кому больше не мѣшаетъ?.. Такъ нѣтъ-же, не прощаютъ... но въ этомъ, впрочемъ, они не виноваты... они не знаютъ, какъ все это случилось...

Онъ умолкъ, но видно было, что онъ хотѣлъ еще что то сказать, но боялся или не умѣлъ выразить своей мысли. Наконецъ, онъ поднималъ на меня свой тревожный взглядъ и нерѣшительно продолжалъ:

— Мнѣ бы очень хотѣлось знать, какъ вы думаете объ этомъ?... Мнѣ кажется, что... что если бы люди побольше знали... то были бы несравненно лучше...

— Вы правы, отвѣтилъ я. Лучшее средство для искорененія чувства ненависти—это просвѣщеніе человѣческаго ума.

При этихъ словахъ, глаза канцеляриста заблестѣли живымъ огнемъ.

— Благодарю васъ! сказалъ онъ смѣлѣе, чѣмъ обыкновенно,—очень благодаренъ, что вы мнѣ объяснили это... Мнѣ кажется еще... что люди, зная и разумѣя больше, были бы не только лучше, но и счастливѣе.

— Непремѣнно, потому что въ просвѣщеніи болѣе всего нуждаются тѣ, которые не обладаютъ еще источникомъ свѣта, счастья и радости...

— Да, да, да! повторялъ Чинскій за каждымъ словомъ. Лицо его воспламенилось глубокимъ чувствомъ внутренняго удовлетворенія.

Я смотрѣлъ на него съ любопытствомъ и скрытой улыбкой. Живое увлеченіе абстрактными мыслями объ источникахъ, изъ

которыхъ вытекаетъ добро или зло, счастье или несчастье людей, казалось мнѣ въ этомъ непросвѣщенномъ человѣкѣ, копящемъ деньги и находящемъ въ нихъ счастье,—одною глупостью больше.

Однако, я не могъ не замѣтить, что фигура его при этомъ выпрямилась, лицо приняло благородный оттѣнокъ, и онъ, съ выраженіемъ тайной радости во взглядѣ и улыбкѣ, сказалъ:

— Еще разъ приношу вамъ мою глубокую благодарность за то, что вы мнѣ сказали.—Бѣдному неучу пріятно слышать, когда человѣкъ, умнѣе его, высказываетъ то, о чемъ бѣднякъ можетъ только думать...

Въ эту минуту послышались голоса трехъ ссорящихся женщинъ. — Выраженіе лица Чинскаго моментально измѣнилось. Онъ безпокойно посмотрѣлъ на дверь, за которою раздавалась площадная брань женщинъ.

— Всегда вотъ такъ, шепнулъ Чинскій,—никогда не дадутъ пройти спокойно... трогаютъ ее ни за что, ни про что... пользуются всякимъ ничтожнымъ случаемъ, чтобы надругаться надъ нею... Повѣрите-ли, я прежде каждый годъ мѣнялъ квартиру, думая, что найду лучшихъ людей... милосерднѣйшихъ сосѣдей... но увы! Всѣ уже знаютъ и не могутъ простить... Злопамятный народъ... прибавилъ онъ, помолчавъ и грустно качая головой. Однако, болѣе двадцати лѣтъ, какъ она страдаетъ и кается за свои грѣхи...

Дверь съ трескомъ отворилась, и Маріанна влетѣла въ комнату съ побагровѣвшимъ лицомъ; глаза ея метали молніи. Изъ подъ платка, которымъ была покрыта ея голова, волосы вырвались и растрепались. Въ рукахъ у нея была тарелка, съ нѣсколькими штучками пирожного.

— Что тамъ опять, Марыся? грустнымъ голосомъ спросилъ братъ, не поднимая на нее своихъ глазъ.

— Тоже, что и всегда! крикнула она, швырнувъ тарелку на столъ. Эти вѣдьмы поставили мнѣ кувшинъ съ водою у самаго порога, ну, я и опрокинула его!.. Онѣ нарочно ставятъ мнѣ всякую гадость у порога, чтобъ имѣть случай поругаться со мной... Это такія фуріи, какихъ мало!..

— Если-бъ ты постаралась промолчать... не обращать на нихъ вниманія, быть можетъ, было-бы лучше... и онѣ отвязались бы отъ тебя... нерѣшительно замѣтилъ братъ.

— Что-бы я когда-нибудь смолчала передъ этими вѣдьмами!

*

да провались онѣ всѣ къ лѣшему!.. огрызнулась Маріанна и, повидимому, стѣсняясь моимъ присутствіемъ, сдержалась отъ дальнѣйшаго гнѣва и ушла въ кухню. Поставивъ со стукомъ табуретку у окна, она опять принялась за работу. Однако, я видѣлъ, какъ рука ея, державшая иглу, замѣтно дрожала, и грудь, скрытая подъ суконнымъ кафтаномъ, высоко и часто поднималась.

— Если-бъ она сама была добрѣе... шепнулъ Чинскій, быть можетъ, онѣ скорѣе оставили бы ее въ покоѣ, но ея вспыльчивый характеръ возбуждаетъ всеобщее неудовольствіе... За-мѣчали вы когда-нибудь,—вдругъ спросилъ онъ меня, поднимая голову, — что когда человѣкъ очень несчастливъ, то ему сдѣлаться добрымъ ужасно трудно?..

Нѣсколько минутъ спустя, я распрощался съ Чинскимъ, который проводилъ меня до порога и, остановившись у дверей, съ замѣтнымъ колебаніемъ спросилъ:

— Извините, пожалуйста... г-жа Тронская часто бываетъ у васъ?.. Мнѣ хочется знать это, продолжалъ онъ, не дожидаясь отвѣта, — потому что особа эта интересуется меня... Когда-то... очепь давно... я былъ знакомъ съ нею...

— Я знаю все, прервалъ я Чинскаго. Г-жа Тронская говорила мнѣ, что вы были обречены.

— Говорила?.. воскликнулъ старикъ съ удивленіемъ. Значить, еще не забыла, тихо прибавилъ онъ.

Губы его дрожали, и темныя пятна румянца снова появились на его желтомъ лицѣ,

— Скажите, пожалуйста, продолжалъ онъ, помолчавъ,—меня очень интересуется... мнѣ хотѣлось-бы знать... счастлива она?

Я сказалъ ему, что, насколько мнѣ извѣстно, положеніе ея, какъ семейное, такъ и матеріальное, не оставляетъ желать ничего лучшаго.

— Слава Богу! шепнулъ онъ съ такимъ горячимъ чувствомъ и выраженіемъ такой радости въ глазахъ, что я не могъ удержаться отъ сильнаго пожатія его большой и худой руки.

Я проходилъ уже грязный дворикъ, на которомъ играло нѣсколько дѣтей, когда у воротъ услышалъ за собою тяжелые, но быстрые шаги и грубый голосъ женщины, окликавшей меня.

— Извините, пожалуйста, будьте добры, остановитесь на минутку...

Я оглянулся и увидѣлъ передъ собою Маріанну.

— У меня къ вамъ есть просьба, сказала она своимъ обыкновеннымъ раздраженнымъ тономъ.

— Къ вашимъ услугамъ.

— Братъ мой, продолжала она болѣе мягко, питаетъ къ вамъ величайшее уваженіе. Онъ говорилъ мнѣ, что не видалъ лучшаго и добрѣйшаго человѣка, чѣмъ вы.

— Очень радъ, что заслужилъ расположеніе вашего брата.

— Не въ томъ дѣло, прервала она нетерпѣливымъ движеніемъ; я знаю, что для васъ не дорого расположеніе такого бѣдняка, какъ мой братъ. Но я хотя рѣдко говорю съ людьми, однако, слыхала о вашемъ добромъ сердцѣ. Правда, я ужъ разувѣрилась въ этихъ добрыхъ сердцахъ, но, быть можетъ, вы такое же исключеніе, какъ мой братъ... По этому, если вы дѣйствительно добры и сострадательны, то навѣрно умилосердитесь и надо мною, потому что я, право, ничего не могу съ нимъ сдѣлать.

— Съ кѣмъ? спросилъ я, не понимая ея словъ.

— Да съ Іоахимомъ! крикнула она полузлбно и полуласково; онъ, право, убиваетъ себя работой и бессонницей... Повѣрите-ли, сударь, онъ спитъ не болѣе четырехъ-пяти часовъ въ сутки, и все остальное время пишетъ то дома, то въ канцеляріи... по цѣлымъ недѣлямъ ничего не ѣстъ, вмѣсто чая, пьетъ ромашку, и говоритъ, что это для него здорово; но я ужъ знаю, какое тутъ здоровье: все это дѣлается ради того, чтобы скопить лишнюю копѣйку... Вы думаете, быть можетъ, что онъ скрига?—нѣтъ; онъ готовъ отдать послѣднюю копѣйку, чтобы только я ни въ чемъ не нуждалась. Для меня должно быть каждый день и мясо, и чай, и булки, а самъ, между тѣмъ, ѣстъ постный супъ и готовъ жить цѣлый годъ на сухомъ хлѣбѣ, только бы поменьше раскодовать на себя... Ну, если бы ужъ не было денегъ—дѣло другое!—а то вѣдь есть,—болѣе чѣмъ надо, и кому же они останутся? Дѣтей у него нѣтъ, а для меня... не стоитъ и говорить!.. Послѣ его смерти, мнѣ самой нужно ложиться въ могилу. Хоть бы у него стояли мѣшки золота...

Все это она говорила быстро и желчно, но, при послѣднихъ словахъ, голосъ ея дрогнулъ, а въ черныхъ горѣвшихъ глазахъ, которые она вперила въ мое лицо, показалась крупная слеза. Однако, она живо смигнула ее и, какъ бы стыдясь своей минутной слабости, почти со злостью прибавила:

— Будьте-же такъ добры и скажите ему, что бы онъ хоть немного поберегъ себя, отдохнулъ и позволилъ мнѣ готовить ему каждый день вкусную и здоровую пищу. Я ужъ говорила ему, просила, умоляла, бранилась и даже ругалась съ нимъ; но ничто не помогаетъ... Только недавно я, наконецъ, заставила его пить кофе... Прежде, когда онъ былъ моложе, трудъ для него былъ безвреденъ, но теперь... если только это самоубійство продолжится, мы не успѣемъ оглянуться, какъ онъ свалится въ могилу.

Разговоръ ея принималъ желчный характеръ; за каждымъ словомъ, она оглядывалась въ сторону дѣтей, которыя, шумя на дворѣ, все ближе подходили къ ней и дѣлали вызывательныя мины. Она, повидимому, предвидѣла атаку, которую приходилось ей отражать каждый день, каждый часъ, на каждомъ мѣстѣ, и глаза ея начинали горѣть.

— Не обращайтесь вниманія на этихъ дряней, сказала она, мотнувъ головой на дѣтей, они смѣются надо мной и показываютъ мнѣ то кукиши, то языки... Это матери научили ихъ надѣдать мнѣ... я ужъ и такъ стараюсь порѣже выходить изъ дому... за провизіей хожу очень рано, когда спать эти вѣдьмы и ихъ щенки, или вечеромъ, когда темно... Теперь я вышла только по необходимости, потому что давно ужъ собиралась къ вамъ съ этою просьбою..

Двое мальчишекъ съ неприятными фізіономіями дѣлали другъ другу знаки и подкрадывались къ ней. Маріанна наблюдала за ними и заговорила еще быстрѣе; легко было замѣтить въ эту минуту, какъ вокругъ ея губъ появилась какая-то горькая улыбка, и морщинки на лбу сдѣлались глубже.

— Будьте добры, сдѣлайте для меня то, о чемъ я васъ прошу... Еслибъ я была менѣ несчастна, быть можетъ, и его жизнь была-бы лучше... но отъ меня несчастье перешло и къ нему. Очень жаль, что я не утопилась, прежде чѣмъ поселилась у него, и связала его по рукамъ и по ногамъ... но это было трудно, потому что тогда я еще была молода... Позже, я хотѣла оставить его и идти, куда глаза глядятъ... но побоялась... и осталась... Охъ, люди, люди!.. свѣтъ широкій!.. кого онъ употчивалъ такъ, какъ меня, тотъ долженъ его бояться!

Она позабыла о приближающейся опасности; крупная слеза повисла на ея рѣсницахъ и затѣмъ медленно скатилась по щекамъ, а взоръ ея устремился въ далекое пространство, гдѣ

она, повидимому, замѣчала тотъ призракъ свѣта, о которомъ только что говорила.

— Я постараюсь исполнить вашу просьбу и склонить брата... словомъ, сдѣлаю все, что отъ меня будетъ зависѣть.

Не успѣлъ я вымолвить послѣдняго слова, какъ двое мальчишекъ, давно уже стоявшихъ за плечами Маріанны, воспользовавшись минутой ея задумчивости, стащили съ нея платокъ и, съ громкимъ хохотомъ, бросились бѣжать, волоча за собою по грязи стащенный предметъ; за ними побѣжали и остальные ребяташки; босая растрепанная дѣвчонка бѣжала позади платка и топтала его въ грязь. Я сдѣлалъ нѣсколько шаговъ въ погоню за мальчишками, съ цѣлью отобрать отъ нихъ предметъ насмѣшки, но Маріанна предупредила меня, и, какъ раненная львица, съ искрящимися глазами, бросилась за ними; въ минуту, она схватила своими большими руками одного за волосы, другого за воротникъ.

— Ахъ, вы негодяи! крикнула она, — оставите-ли вы меня въ покоѣ? Что я вамъ сдѣлала, разбойники вы эдакіе! Грабители!..

Каждое слово она сопровождала пинками и дерганьемъ мальчишекъ за уши и за волосы; мальчики кричали отъ боли, какъ оглашенные. На порогъ показались двѣ женщины въ юбкахъ и передникахъ, съ засученными по локоть рукавами рубахъ. Закипѣла драка. Крики женщинъ и дѣтей, брань и проклятiя достигали высшаго апогея, когда въ дверяхъ своей квартиры показался братъ Маріанны.

— Марыся! позволь онѣ сестру.

Раздраженная женщина бросила на него мимолетный взглядъ, не переставая кричать и жестиковать на своихъ сосѣдокъ.

— Маріанна! повторилъ Чинскій, — поди домой!

На лицѣ его выразилось состраданіе и глубокая боль; голосъ его звучалъ не то повелительно, не то просительно. Сестра снова посмотрѣла на брата и замолкла; еще черезъ секунду, быстрымъ движеніемъ, она вырвала платокъ изъ рукъ сосѣдки и, покраснѣвъ, молча вошла въ домъ.

Сцена эта произвела на меня удручающее впечатлѣніе. Какъ-бы ни былъ непонятенъ мнѣ характеръ Чинскаго, какое-бы ни было прошлое его сестры, жизнь этихъ людей, — устранныхъ отъ свѣта, оскорбленныхъ, осмѣянныхъ, пренебре-

женныхъ, влачащихъ мрачное, безцвѣтное, жалкое существованіе,—была слишкомъ печальна и не могла не возбудить глубокаго состраданія.

Воспользовавшись первымъ удобнымъ случаемъ, я исполнилъ желаніе Маріанны и представилъ Чинскому все неблагоуразуміе его чрезмѣрнаго трудолюбія.—Сначала онъ слушалъ меня съ удивленіемъ, потомъ съ грустью, наконецъ, улыбнулся и, пожавъ плечами, сказалъ:

— Вѣроятно, это все идетъ отъ Маріанны.... Я видѣлъ, какъ она вышла за вами, и зналъ, что она будетъ говорить съ вами!... Но вы не вѣрьте ей... мнѣ это нисколько не вредно.... и сестра напрасно беспокоится.... Дѣйствительно, она часто надѣдается мнѣ своими: «пожалуйста, кушай, пожалуйста, спи!... Перестань писать ...» Все это для меня неисполнимо.... Но иначе оно и быть не можетъ.... вѣдь насъ только двое на свѣтѣ!...

Я зналъ раньше, что слова мои не повліяютъ на него, и онъ останется тѣмъ же, какимъ былъ до тѣхъ поръ, будетъ жить по прежнему и мучить себя непосильнымъ трудомъ, душевными и физическими натугами.

Меня сильно обезпokoило, когда онъ, вопреки своей педантической аккуратности, однажды не пришелъ ко мнѣ въ назначенный часъ.—Я думалъ, что онъ заболѣлъ, и догадка моя была довольно вѣрна, такъ-какъ, пріидя въ канцелярію, я не засталъ его на своемъ мѣстѣ.

— Не знаете-ли господа, что случилось съ Чинскимъ? спросилъ я двухъ-трехъ, болѣе знакомыхъ мнѣ лицъ.—Сегодня онъ не былъ у меня, и здѣсь я, его не вижу.—Не заболѣлъ-ли онъ?

Къ моему удивленію, и даже огорченію, я, вмѣсто отвѣта, услышалъ сдержанный смѣхъ и веселое перешептываніе.

— Это препотѣшная исторія, сказалъ, переставая смѣяться, писецъ съ желтымъ лицомъ, который больше всѣхъ ненавидѣлъ Чинскаго.

— Тсъ!... панъ Винцентъ! также хохоча и сдерживаясь, шепнулъ молодой плечистый юноша, сидѣвшій рядомъ съ сыномъ помѣщика.

— Вы ужъ готовы все разболтать! окрысился на писца панъ Леонъ, но, по его фізіономіи, видно было, что онъ былъ героемъ дня и торжествовалъ.

— Расскажите же сами пану Ролицкому; иначе онъ можетъ подумать, что съ *нимъ* случилось чтонибудь ужасное, — сказалъ столоначальникъ, поднимая свою овальную физиономію.

Панъ Винцентъ не заставилъ себя просить. — Онъ вытеръ перо, сдунуль съ бумаги песокъ и, моргая злыми глазами и прерывая свой рассказъ смѣхомъ, рассказалъ мнѣ, что въ молодомъ сынѣ помѣщика, видно, самъ чертъ сидитъ, потому что никто не умѣетъ такъ хорошо напроказничать, какъ онъ. — «Рѣшившись напугать Чинскаго, панъ Леонъ въ полночь забрался съ своими товарищами на маленькій дворикъ, гдѣ живетъ Чинскій съ сестрою. — Когда всѣ уже заснули и кругомъ воцарилась глубокая тишина, проказникъ отворилъ ставню и началъ открывать окно. — Чинскій еще сидѣлъ и писалъ. — Услышавъ шумъ за окномъ, онъ вскочилъ съ мѣста и однимъ прыжкомъ очутился у сундука. — Потѣшный видъ онъ представлялъ въ эту минуту!.. Когда Леонъ, измѣнивъ голосъ, сказалъ за окномъ: «жизнь или деньги!» Чинскій не тронулся съ мѣста. — Онъ, казалось, остолбенѣлъ, но тотчасъ бросился на сундукъ и обнялъ его руками! Товарищи его — настоящіе проказники, — начали потрясать окномъ, но вдругъ изъ кухни выбѣжала большая Марыся....»

Рассказъ былъ прерванъ общимъ взрывомъ смѣха.

— Здѣсь началась настоящая трагедія!... сказалъ одинъ изъ писцовъ съ апатичнымъ лицомъ.

— Тс!... не мѣшайте!... Продолжайте, панъ Винцентъ.

— «Конецъ вѣнчаетъ дѣло!» воскликнулъ рассказчикъ, хлопнувъ рукою по колѣну. — Марыся, точно фурія, подбѣжала къ окну и, быстро раскрывъ его, ловко погладила кого то изъ проказниковъ по головѣ.... и, кажется, поймала...

— Не правда! не правда! — откликнулся плечистый юноша, компаньонъ пана Леона, — никого не поймала, всѣ убѣжали!

— Однако, мы порядкомъ таки напугали этого скрагу! Ручаюсь, что у него до настоящей минуты волоса еще стоятъ дыбомъ!

— Вѣроятно, — вы слишкомъ жестоко обошлись съ нимъ, если онъ не явился сегодня на службу!

— Ему стыдно!

— Лихорадка трясетъ отъ испуга!

— Сколько мнѣ помнится, Чинскій только одинъ разъ не былъ въ канцелярія... Этому ужъ лѣтъ десять прошло...

Помните, когда Липскій отрѣзалъ полу у его шинели... Тогда онъ не сказалъ никому ни слова и на третій день пришелъ въ новой шинели, въ которой ходить и теперь.

Я выслушалъ рассказчика и сильно возмутился.

— Меня удивляетъ,—сказалъ я тихо столоначальнику,— что вы потакаете вашимъ подчиненнымъ и допускаете оскорблять пожилого человѣка, не дѣлающаго никому и никакого зла.

— Пустяки!—съ нѣкоторымъ замѣшательствомъ, отвѣтилъ мнѣ столоначальникъ.—Извѣстное дѣло—молодежь... любить повеселиться! Притомъ, признаюсь, что если бы смѣялись надъ кѣмънибудь другимъ... А надъ такимъ скрагой не грѣшно и пошутить немного!

Я подошелъ къ столу, у котораго сидѣлъ сынъ помѣщика съ своими компаньонами ночной экспедиціи, и, возвысивъ голосъ, сказалъ настолько громко, чтобы слышали всѣ его товарищи:

— Мнѣ очень непріятно выразить вамъ порицаніе и указать на неблаговидность вашего поступка съ Чинскимъ.—Я привязанъ къ нему и нахожусь съ нимъ въ хорошихъ отношеніяхъ, и поэтому, на будущее время, предупреждаю, что если ктонибудь изъ васъ осмѣлится сдѣлать ему какуюнибудь непріятность, тотъ будетъ имѣть дѣло со мной.

— Позвольте, милостивый государь! попробовалъ окрыситься молодой человѣкъ, но, встрѣтившись съ моимъ взглядомъ, сразу умолкъ.

Въ этотъ же день, послѣ обѣда, я намѣренъ былъ навѣстить Чинскаго, какъ вдругъ, онъ самъ, по обыкновенію тихо, вошелъ въ мой кабинетъ, съ своимъ неразлучнымъ портфелемъ подъ мышкой.

— Вѣроятно, вы сердитесь на меня, что я утромъ не доставилъ вамъ работу... но... но я провелъ безпокойную ночь... я былъ нездоровъ...

Я думалъ, онъ не знаетъ, что ночными его посѣтителями были сослуживцы, и, желая пощадить его, сказалъ, что слышалъ о нападеніи на него какихъ то мошенниковъ. Онъ грустно улыбнулся, но въ улыбку этой не было ни злобы, ни сожалѣнія.

— О, нѣтъ!—отвѣтилъ онъ,—это не мошенники... это панъ Леонъ, панъ Петръ и панъ Еразмъ... Сестра узнала ихъ

всѣхъ... Разбойники эти разбили у меня два стекла, и я вынужденъ былъ вставить новыя, прибавилъ онъ, помолчавъ.

Я смотрѣлъ на него съ удивленіемъ. Во всемъ этомъ, уничижающемъ его приключеніи хуже всего было то, что онъ израсходовалъ какихъ нибудь два золотыхъ на вставку новыхъ стеколъ! Какая бессмысленная скупость, какое отсутствіе самолюбія, какая ужасная привычка къ оскорбленіямъ!..

— Ваши сослуживцы безчестно поступили съ вами... началъ я, но онъ остановилъ меня жестомъ руки, выражающимъ снисхожденіе.

— Я вовсе не удивляюсь, что меня не любятъ; я живу совсѣмъ иначе, чѣмъ другіе... зарабатываю больше... и, конечно, всѣ завидуютъ и укоряютъ меня тѣми грошами, которые мнѣ удалось скопить мозольнымъ трудомъ... О, если бы они знали, на что я собираю эти гроши... быть можетъ... можетъ быть, они смотрѣли бы на меня другими глазами... но что дѣлать...!

Слова «на что» живо заинтересовали меня.

— Въ такомъ случаѣ объясните вашимъ сослуживцамъ цѣль, ради которой вы такъ усиленно трудитесь, и я ручаюсь, что они измѣнятъ свой взглядъ на васъ.

— Объяснить цѣль! воскликнулъ онъ удивленно. — Нѣтъ, этого я никогда не сдѣлаю.

Онъ помолчалъ съ минуту, опустивъ глаза.

— Нѣтъ, говорилъ онъ, — рѣшительно не могу, хотя, правду сказать, и самъ не знаю почему... Быть можетъ, когда нибудь и, вѣроятно, скорѣе, чѣмъ я думаю, настанетъ день, когда я прежде всего объясню вамъ... потомъ ужъ узнаютъ всѣ, но только не отъ меня... И знаете ли...

Онъ прервалъ себя на минуту, поднялъ голову и, сдѣлавъ энергичный жестъ, положилъ руку на столъ и докончилъ:

— И знаете ли?.. это будетъ счастливѣйшій день въ моей жизни...

Послѣднія слова онъ сказалъ почти шепотомъ, но въ глазахъ его блеснулъ яркій огонекъ, на устахъ мелькала улыбка восторга, и на лицѣ отразился нѣмой экстазъ...

На этотъ разъ я не могъ назвать его ни чудакомъ, ни скрягой; я почувствовалъ инстинктивное уваженіе къ неизвѣстной мнѣ идеѣ, которая жила въ немъ, хотя тихо, но настойчиво, время отъ времени бросала на его исхудалыя щеки краску горячаго увлеченія и была главною осью, около ко-

торой вращались дни, часы и минуты его жизни. Я давно уже догадывался, что онъ любить деньги не для самихъ денегъ, не ради удовольствія ихъ копить... Теперь его слова подтвердили мою догадку, но о самой тайнѣ его я не рѣшался спросить, зная, что признаваться въ благородныхъ побужденіяхъ для многихъ натуръ бываетъ труднѣе, чѣмъ признаться въ самыхъ тяжкихъ прегрѣшеніяхъ.

Прошло еще нѣсколько мѣсяцевъ. Я вернулся изъ далекаго и продолжительнаго путешествія; дома мнѣ сказали, что Чинскій около недѣли не показывался ни у меня, ни въ канцеляріи.

— Знаете ли? встрѣтилъ меня столоначальникъ, когда я зашелъ въ канцелярію. — Сестра Чинскаго опасно заболѣла, и онъ на нѣкоторое время получилъ отпускъ. Первый разъ въ жизни онъ не приходитъ на службу въ продолженіи цѣлой недѣли... Вчера, какъ я слышалъ, нѣсколько докторовъ были на консилиумѣ

Я воспользовался первой свободной минутой, чтобъ навѣстить Чинскаго. Дѣйствительно, Маріанна лежала въ горячкѣ на кровати, поставленной противъ двери и закрытой въ видѣ ширмы, коврикомъ, снятымъ съ сундука. Чинскій стоялъ у кровати и давалъ больной лекарство съ ложки. Услышавъ, что я вошелъ, онъ отвернулся и, кивнувъ головою на мое привѣтствіе, указалъ глазами на стулъ.

Маріанна, слышавъ необычное движеніе въ комнатѣ, старалась повернуть голову въ мою сторону.

— Марыся, милая! прими лекарство! просилъ братъ.

— Что ты меня мучаешь своими лекарствами? огрызнулась на него сестра. Оставь меня, пожалуйста, въ покоѣ!

Она отстранила ложку, которую Чинскій держалъ у ея рта, и съ усиліемъ приподнялась на кровати.

— Кто это? спросила она, устремляя на меня свои воспаленные глаза.

— А! прибавила она, послѣ долгаго усилія и напряженія памяти, — кажется, панъ адвокатъ... это хорошо... очень хорошо...

Она, видимо, приводила въ порядокъ свои мысли, а затѣмъ заговорила съ привычною ей грубостью, которая еще усиливала горячечную торопливость и затрудненность дыханія.

— Хорошо, что вы пришли... я все время лежу, да думаю, какъ бы васъ попросить... о чемъ это я хотѣла васъ просить?.. Да! если умру, будьте такъ добры, приходите иногда къ нему побесѣдовать, развлечъ его... вѣдь потомъ къ нему не заглянетъ ни одна живая душа... присмотрите, пожалуйста, за нимъ, чтобы онъ ѣлъ хорошую пищу, пилъ кофе... какъ я умру, онъ непременно уморитъ себя голодомъ...

— Марыся! прервалъ ее Чинскій; лицо его, когда она говорила, какъ то странно подергивалось и мѣнялось: — зачѣмъ говорить о такихъ вещахъ? Ты выздоровѣешь и будешь жить...

Въ голосѣ его слышался какой-то необыкновенно боязливый тонъ.

Маріанна упала на подушки...

— Только ты ужь, пожалуйста, не плачь! прикрикнула она на брата. — Чего ты плачешь? Умру, такъ умру!.. Много я нагрѣшила, а выстрадала—еще больше!.. Слава Богу, что, наконецъ, все кончится. Въ могилѣ тихо, и нѣтъ ни людей, ни этихъ вѣдьмъ, которыя... что я хотѣла сказать? А!.. И тебѣ легче будетъ... Только ты возьми себѣ прислугу, чтобы убирала твою комнату... Жаль, что я не умерла раньше... быть можетъ, ты бы еще женился...

Она опять обратилась ко мнѣ и продолжала:

— Будьте такъ добры, уговорите его, чтобы онъ не писалъ по ночамъ... онъ васъ уважаетъ... очень любитъ... и послушаетъ...

Она не могла говорить больше. Память окончательно оставила ее. Схватившись руками за голову, она застонала и начала говорить какія то несвязныя слова.

На слѣдующій день, я пришелъ въ ту же пору, какъ и вчера. Маріанна лежала безъ движенія, съ закрытыми глазами и со сложенными на груди руками.

— Докторъ сказалъ, что нѣтъ никакой надежды на ея выздоровленіе, шепнулъ мнѣ Чинскій. Она только что причастилась....

На лицѣ Чинскаго не видно было никакого напряженнаго чувства; только губы и вѣки, время отъ времени, нервно вздрагивали, и на щекахъ то появлялись два темныхъ пятна, то опять исчезали.

Губы Маріанны пошевелились.

— Боже! слабо произнесла она, ударяя себя въ грудь,— буди милостивъ ко мнѣ грѣшной!

Изъ подъ сомкнутыхъ рѣсницъ выступили двѣ крупныя слезы и скатились по ея исхудалому лицу.

— Будь милостивъ ко мнѣ грѣшной! повторила она и глубоко вздохнула.

Чинскій нагнулся надъ кроватью и прижалъ свои губы ко лбу больной.

— Богъ милостивѣе, чѣмъ люди, сказалъ онъ, — и давно уже тебя простилъ!...

Черезъ два дня, изъ деревяннаго домика, четыре человѣка церковной прислуги вынесли на маленькій дворикъ красный гробъ, въ которомъ покоились бранные останки Маріанны. Передъ гробомъ шелъ ксендзъ съ крестомъ, позади гроба — Чинскій и я... и больше никого. Пока скромный печальный кортежъ подвигался по городскимъ улицамъ, орошаемымъ весеннимъ дождикомъ, Чинскій ни разу не поднималъ головы, опущенной на грудь и полной тяжелыхъ думъ; онъ даже не замѣчалъ, что я иду подлѣ него. Только выйдя за городъ, онъ поднималъ свои красные глаза и очень удивился, увидѣвъ меня возлѣ себя; затѣмъ онъ снова опустилъ глаза и не поднималъ ихъ до тѣхъ поръ, пока груди желтаго сырого песку не покрыли красный гробъ его сестры.

— Благодарю васъ! сказалъ онъ мнѣ дрогнувшими губами.

Чинскій хотѣлъ еще что-то сказать, но, повидимому, не рѣшился, и опять опустилъ голову и ушелъ съ кладбища черезъ калитку, въ поле, на тропинку, которая вела въ городъ. Я шелъ за нимъ вдали, не желая быть въ эту минуту его навязчивымъ спутникомъ. Вѣтеръ раздувалъ капишонъ его шинели и брызгалъ въ глаза холоднымъ дождемъ. Я слѣдилъ за худою фигурою, одиноко движущеюся по сѣрому фону мглы и сумерекъ, пока она не исчезла въ глубинѣ шумной и людной улицы.

Исполняя послѣднюю просьбу бѣдной Маріанны, я старался, по возможности чаще, навѣщать ея брата и бесѣдовать съ нимъ по долго, насчетъ перемѣны образа его жизни, изъ опасенія, чтобы силы его не надломились.

— Пустяки! возразилъ онъ, — я здоровъ, какъ рыба... никогда и ничего у меня не болѣло и не болитъ...

Однако, онъ работалъ уже съ меньшею энергіей и часто задумывался, держа по получасу перо надъ бумагою и глядя

стекляннымъ взглядомъ въ пространство. Дома я нерѣдко заставлялъ его дремлющимъ среди бѣлаго дня или сидящимъ въ бездѣйствіи надъ разложенными бумагами. Нѣсколько разъ я замѣчалъ, что взглядъ его былъ устремленъ въ кухню по направленію къ столу, гдѣ обыкновенно сживала его сестра. Вѣроятно, глазами воображенія, онъ видѣлъ тамъ призракъ женщины, изъ-за которой такъ много страдалъ и съ которой провелъ рядъ длинныхъ, монотонныхъ и грустныхъ лѣтъ. Теперь они уже не были «двое на свѣтѣ». Онъ, какъ птица, отбитая бурей отъ своей стаи, отсталъ отъ всего человѣческаго міра, и единственное существо, которое пеклось о немъ, исчезло навсегда. Тосковалъ ли онъ? Чувствовалъ ли свое одиночество? Не знаю. Онъ не жаловался. Иногда вздыхалъ, но очень рѣдко и тихо. Только сѣдя пряди его волосъ сдѣлались бѣлѣе, лицо желтѣе, поступь слабѣе и неувереннѣе, зрѣніе потухало. Вскорѣ слѣды упадка силъ оказались и на работѣ, которую онъ все еще старался исполнять съ прежнею аккуратностью, но ужъ былъ не въ силахъ. Въ переписанномъ имъ появлялись грубыя ошибки. Онъ сдѣлался разсѣяннымъ и не помнилъ о срокѣ, назначаемъ ему для окончанія работъ. Вслѣдствіе того, двое моихъ коллегъ, которымъ онъ также переписывалъ бумаги, отказали ему въ работѣ.

— И вы тоже откажете? грустно спросилъ онъ меня, рассказавъ объ отказѣ моихъ коллегъ.

Конечно, я и не думалъ причинять ему новой непріятности, хотя тайно отъ него имѣлъ уже другого переписчика, который исполнялъ мнѣ то, чего онъ не въ силахъ былъ сдѣлать.

Съ каждымъ днемъ для меня становилось яснѣе, что жизненная карьера Чинскаго приближалась къ концу, хотя нельзя было сказать, чтобы онъ былъ боленъ. Это было простой упадокъ силъ, медленное угасаніе ихъ...

Однажды мнѣ пришло въ голову, что продолжительный отдыхъ на чистомъ воздухѣ и здоровая деревенская пища могли бы отчасти возвратить ему утраченныя силы. Я сказалъ ему, что еслибъ онъ пожелалъ, то могъ-бы получить отпускъ отъ предсѣдателя суда, на два на три и болѣе мѣсяцевъ, и провести ихъ въ фольварѣ моей сестры, находящемся вблизи города.

— Какъ! Мнѣ ѣхать въ деревню? сказалъ онъ съ удивленіемъ. Зачѣмъ?

— Вѣдь вы бывали въ деревнѣ, и знаете, какъ лѣтомъ тамъ хорошо зелено, свѣжо и здорово?

— Я родился въ деревнѣ и тамъ провелъ все свое дѣтство, но это было такъ давно.

— Но, вѣроятно, вы, живя въ городѣ, ѣзжали-же въ деревню, ходили въ окрестности города, дѣлали прогулки...

— Дѣлать прогулки!.. Зачѣмъ?.. Впрочемъ, помню, какъ-то разъ, загородомъ... Я тогда былъ обрученъ съ Рузей и ходилъ вмѣстѣ съ нею. Но это было давно... лѣтъ двадцать семь тому назадъ...

— Неужели послѣ того вы ни разу не были въ полѣ?

Онъ призадумался.

— Потомъ?.. Да, былъ... мѣсяца три тому назадъ... когда хоронилъ сестру...

И этотъ человѣкъ, въ продолженіи двадцати семи лѣтъ, ни разу не оставлялъ душевной атмосферы города и его мостовыхъ; онъ уже забылъ каковъ прекрасный Божій свѣтъ, въ своемъ прозрачно-голубомъ величіи неба, зелени полей, пѣніи птицъ и блескъ солнца! Нужно показать ему этотъ забытый имъ свѣтъ, подумалъ я.

Однажды я сказалъ ему, что онъ непременно долженъ съѣздить со мною въ фольварокъ моей сестры, хотя на одинъ день. Это не доставило ему удовольствія. Во первыхъ ему было лѣнь, во вторыхъ не хотѣлось оставлять канцелярскихъ занятій, а главное, онъ боялся бросить на цѣлыя сутки безъ охраны свое жилище, въ которомъ находился весь его скарбъ.

— Мы тщательно запремъ вашу квартиру, сказалъ я, — а начальство не разсердится за то, что вы не придете одинъ день на службу. Поѣдемте.

Со дня смерти сестры, я имѣлъ на него нѣкоторое вліяніе; онъ привязался ко мнѣ, какъ къ единственному человѣку, который не отталкивалъ его отъ себя. Наконецъ, онъ согласился, и на слѣдующее утро мы выѣхали изъ города въ легкомъ открытомъ фаетонѣ.

Теплый, ароматный іюньскій день царствовалъ во всемъ своемъ блескѣ и величіи. Посреди зеленѣющихъ полевовъ и пышно одѣтаго лѣса, мы незамѣтно пронеслись нѣсколько верстъ, отдѣлявшихъ городъ отъ фольварка. Я пристально наблюдалъ за нимъ, какое впечатлѣніе производитъ на него забытая имъ природа. Но, къ моему величайшему сожалѣнію,

я замѣтилъ, что онъ оставался ко всему равнодушнѣе. Единственный признакъ чувства, который я подмѣтилъ въ немъ— это была боязнь. Слишкомъ давно ужъ онъ не вѣдилъ на лошадахъ, и каждый толчокъ фаетона, о камень приводилъ его въ трепеть. Необыкновенно выносливый и спокойный по отношенію къ нравственнымъ страданіямъ, онъ былъ лишень физической отваги. Онъ сильно вздрогнулъ и поднялъ руку, какъ будто защищая себя, когда какая-то птица вдругъ пролетѣла надъ его головою.

Въ фольваркѣ никто не жилъ, кромѣ офиціантовъ и дворни. Приѣхавъ на мѣсто, я повелъ моего товарища въ тѣнистый и прекрасно содержимый садъ и, посадивъ его подъ тѣнью развѣсистыхъ цвѣтущихъ каштановъ, попросилъ его подождать меня, пока я сдѣлаю нѣкоторыя хозяйственныя распоряженія, порученныя мнѣ сестрою. Я пробылъ въ отсутствіи около получаса и, возвратясь, засталъ его на томъ-же мѣстѣ и въ томъ-же положеніи, въ какомъ оставилъ. Онъ не вставалъ даже съ мѣста, не повернулъ головы, чтобы осмотрѣться вокругъ.

На фонѣ зелени, цвѣтовъ и голубого неба, онъ казался засохшей былинкой, окруженной золотомъ и алмазами. Вокругъ его исхудалой фигуры, недвижимо сидѣвшей на скамейкѣ, дрожали, мелькали, переливались ослѣпительныя блестки и прозрачныя узорчатая тѣни; у ногъ его, среди пушистой муравы, цвѣли маргаритки и гвоздика; надъ головою спускались тяжелыя кисти цвѣта каштановъ и радостно чиркали рои мелкихъ птиць.

Узкій лучъ золотистаго солнца падалъ на его исхудалыя руки и на малиновыя клѣтки его жилета. Въ ту минуту, когда я подходилъ къ нему, мотылекъ, распутивъ свои широкія крылья, прильнулъ къ одной изъ клѣтокъ жилета. Чинскій подпрыгнулъ отъ страха и этимъ движеніемъ согналъ мотылька, и въ то же время зацѣпилъ головою тяжелую вѣтку каштановъ, которая заколебалась и обдала его дождемъ цвѣточныхъ лепестковъ и пыли.

— Что? уже ѣдемъ? спросилъ онъ меня, когда я подошелъ къ нему.

— Нѣтъ еще, возразилъ я. Мы должны здѣсь пообѣдать.

Нѣсколько времени спустя, подъ каштаны принесли накрытый столъ, заставленный настоящимъ деревенскимъ обѣ-

домъ, состоящимъ изъ дыпльть, салата, сметаны, яицъ, молока и ягодъ. Чинскій взглянулъ на все это и съ улыбкой недоувѣрiя спросилъ:

— Это обѣдъ?

Блюды этихъ онъ не видалъ съ тѣхъ поръ, какъ пересталъ выходить за городъ, и все, что отличалось отъ городской жизни, удивляло его. Онъ ѣлъ очень мало, хотя дорогою жаловался мнѣ на свой аппетитъ. Но дыпльта, молоко и ягоды, повидимому, пришлись ему не по вкусу, и онъ навѣрно промѣнялъ-бы этотъ обѣдъ на какую-нибудь похлебку и подгорѣвшее жаркое, которое со дня смерти Марианны принесли ему изъ кухмистерской.

Послѣ обѣда я пошелъ съ нимъ погулять въ березовую рощу, къ крутому берегу ручья, журчащаго по камнямъ среди олешиника и плакучихъ березъ. Проникаясь чувствомъ состраданiя, я все хотѣлъ заинтересовать его деревенскими красотами, чтобы понудить его провести между ними лѣтнiе мѣсяцы и подкрѣпить свои силы и здоровье. Но, къ величайшему моему огорченiю, я замѣтилъ, что природа оставляетъ на немъ лишь слѣды усталости и апатiи. Вѣки глазъ жоргали отъ яркости свѣта, грудь, слишкомъ слабая для свѣжаго, ароматнаго воздуха, тяжело поднималась... Вернувшись съ прогулки, я началъ собираться домой.

Солнце уже почти закатилось; красныя облака сливались съ темно-фиолетовымъ и прозрачно-голубымъ небомъ; среди деревьевъ шумѣли рои оводовъ, въ воздухъ распространялся опьяняющiй запахъ скошенной травы. Передъ отъѣдомъ, я вернулся къ Чинскому и спросилъ:

— Ну, что? Не согласитесь-ли вы пробыть въ деревнѣ хоть два мѣсяца?..

— Нѣтъ, отвѣтилъ онъ, отрицательно покачавъ головою. Я предпочитаю мою избушку въ городѣ. Здѣсь какъ-то слишкомъ свободно и свѣтло. У меня разболѣлись глаза, да и въ ушахъ шумить!

Легкiй фаетонъ быстро катился по гладкой торной дорогѣ; на небѣ звѣзды начинали мерцать; надъ полемъ воцарилась глубокая тишина, и бѣлый паръ поднимался надъ зелеными лугами. Но Чинскiй не смотрѣлъ ни на звѣзды, ни на уснувшiя поля, ни на волны вечерней мглы. Проѣхавъ нѣсколько верстъ, я замѣтилъ, что онъ уснулъ. Повидимому, онъ утратилъ чувство красоты природы, забылъ даже, что такое цвѣты...

Пользуясь вакаціоннымъ временемъ, я отправился въ мое обыкновенное ежегодное путешествіе, необходимое мнѣ, какъ для нравственнаго, такъ и для физическаго здоровья. Когда я вернулся, мои домашніе сказали мнѣ, что Чинскій, въ продолженіе двухъ недѣль, приходилъ каждый день и справлялся, когда я вернусь, но вотъ уже прошла недѣля, какъ онъ больше не появлялся ни у меня, ни въ канцеляріи. Я догадался о причинѣ грустнаго исчезновенія его, и, справившись со спѣшными дѣлами, пошелъ навѣстить его. Лучъ радости мелькнулъ на его лицѣ, когда онъ увидѣлъ меня. Онъ лежалъ одѣтымъ на постели, и я замѣтилъ, что онъ съ трудомъ приподнялся, чтобы поздороваться со мною.

— Я ужь думалъ, что не увижу васъ, — сказалъ онъ съ блѣдной улыбкой.

— Вы нездоровы?

— Нѣтъ, этого нельзя сказать!.. Такъ что-то пеловко!.. Ничего не болитъ, но я чувствую слабость. Каждый день одѣваюсь, чтобы идти на службу или писать дома, но мнѣ не достаетъ силъ.

Спустя еще недѣлю, онъ уже не могъ вставать съ постели. Я приходилъ къ нему довольно часто, но, будучи всегда занятымъ, не могъ раздѣлять съ нимъ его тяжелаго одиночества. Видно было, однако, что человекъ этотъ, чувствуя въ себѣ угасаніе жизни, имѣлъ страстное желаніе общенія съ людьми. Охватывавшая его тоска наполняла его глаза какою то дѣтскою печалью. Никогда, однако, отъ него не слышалось ни одной жалобы на свое одиночество, и на лицѣ его не появлялось никакой заботы. По моей просьбѣ, сестра моя посылала ему каждый день укрѣпляющую пищу, но это не могло замѣнить ему тщательнаго и постояннаго ухода. Послѣ смерти Маріанны, въ квартирѣ все измѣнилось. Воздухъ былъ затхлый и душенъ, толстый слой пыли покрывалъ стѣны и мебель; соръ, сметенный съ середины комнаты, наполнялъ углы. Онъ ни за что не хотѣлъ нанять прислуги, изъ опасенія быть ограбленнымъ, и ограничивался услугами дѣвушки, которую посылала къ нему домовая хозяйка два-три раза въ день. Ночью онъ оставался одинъ, и я не могъ думать безъ содроганія о томъ, что онъ можетъ каждую минуту угаснуть среди темноты и тишины ночи безъ слова утѣшенія и одобренія, безъ послѣдняго дружескаго пожатія руки. Однако, этого не случилось.

Однажды, во время обѣда, ко мнѣ прибѣжала прислуга домо-
вой хозяйки и объявила, что Чинскій немедленно желаетъ ви-
дѣться со мною. Я пошелъ въ ту же минуту. Онъ привѣтство-
валъ меня яснымъ взглядомъ и улыбкой, какихъ я давно не ви-
далъ у него. Протянувъ мнѣ свою сухую руку, онъ произнесъ:

— Благодарю васъ, что вы пришли. Два часа тому на-
задъ я причастился и думаю, что сегодня я разстанусь со
свѣтомъ.

Я хотѣлъ ободрить его, но онъ сдѣлалъ слабый жестъ,
чтобъ я замолчалъ.

— Да,—продолжалъ онъ,—я едва могу дышать и, мину-
тами, дѣлается темно въ глазахъ... да и докторъ, котораго вы
посылаете ко мнѣ, не скрываетъ, что у меня полный упадокъ
силъ... да, силы совсѣмъ упали!.. Однако, прибавилъ онъ, отдох-
нувъ и снова улыбаясь,—ихъ еще достаточно для того, чтобы
поговорить съ вами.

Онъ приподнялся и, опершись локтемъ на подушки, опу-
стилъ голову на ладонь.

— Помните ли вы, началъ онъ сначала тихо, а по-
томъ громче, — я сказалъ вамъ — не помню ужъ, когда
это было,—что настанетъ такой день, когда я открою вамъ
свой секретъ... И, вотъ, онъ насталъ. Я хочу просить васъ,
чтобы вы, прежде всего, выслушали меня, а потомъ посовѣ-
товали и помогли... Но прежде чѣмъ начать мой рассказъ, я
долженъ объяснить вамъ, какъ было дѣло; иначе вы не пой-
мете меня... да, дѣйствительно, не поймете ни того, о чемъ
думаю, ни того, чего хочу...

— Я опасюсь только,—прервалъ я,—чтобы продолжи-
тельный разговоръ не утомилъ васъ.

— Это ничего, только вы не прерывайте меня, потому
что времени остается мало, а работы у меня много... Видите-ли:
я и Марианна родились въ деревнѣ въ маленькомъ отцов-
скомъ фольваркѣ. Матери своей мы оба не помнимъ—она
умерла, когда мы были крошечными дѣтьми; отецъ нашъ лю-
билъ выпить—вѣчная ему память — и не очень заботился о
насъ. Однако, онъ отдалъ меня въ школу, а Марианну къ
теткѣ, которая учила ее рукодѣлю. Когда я шестнадцати
лѣтъ окончилъ курсъ въ четырехклассномъ училищѣ, отецъ
нашъ умеръ, фольварокъ продали за долги, и я поступилъ въ
канцелярію...

— Въ шестнадцать лѣтъ въ канцелярію! невольно воскликнулъ я.

— Да, теперь такихъ не принимаютъ, но прежде принимали. Въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, я получалъ жалованье въ размѣрѣ четырехъ-пяти рублей въ мѣсяцъ и не имѣлъ средствъ взять къ себѣ сестру, потому что и самъ былъ голоденъ и ходилъ въ дырявыхъ сапогахъ. Она жила сначала у тетки, а потомъ пошла служить горничной къ какой то богатой госпожѣ, съ которою уѣхала куда то очень далеко, и я долго не зналъ—жива ли она. Наконецъ, я прослужилъ ужъ десять лѣтъ и началъ получать жалованья двадцать рублей и былъ увѣренъ, что въ недалекомъ будущемъ буду получать больше. Я познакомился съ панной Рузей и полюбилъ ее; дальше вамъ извѣстно. Въ это время я получилъ письмо отъ Маріанны. Я поѣхалъ за нею, и нашелъ... о, Боже!.. гдѣ я нашелъ ее!..

Здѣсь онъ остановился; едва замѣтно дрогнули у него губы; затѣмъ онъ продолжалъ:

— «Это обыкновенная исторія бѣдныхъ и красивыхъ дѣвушекъ, служащихъ камеристками у господъ. Барченокъ полюбилъ ее, а она его. Кто-то другой подцѣпилъ ее и опять бросилъ... Потомъ... потомъ она очутилась ужъ тамъ... въ томъ вертепѣ...

Онъ опять замолчалъ, сложилъ руки и прошепталъ нѣсколько невнятныхъ словъ.

— «Я взялъ ее къ себѣ. Сначала я думалъ, что все, происшедшее съ нею, останется въ тайнѣ; но, увы! Люди ѣздятъ по свѣту и любятъ болтать... вскорѣ все стало извѣстно... Все это было-бы сносно, еслибъ панна Рузя... но вы ужъ знаете эту исторію, и я не хочу говорить о ней; для нея я готовъ былъ идти въ огонь и въ воду, но вытолкать сестру все-таки не могъ.

Онъ помолчалъ еще минутку и продолжалъ.

— «Въ моей жизни солнце свѣтило только одинъ разъ, когда я былъ обрученъ съ панной Рузей... потомъ погасло навсегда... Скоро я совсѣмъ пересталъ думать объ этомъ, но за то началъ мечтать о другомъ. Я не умѣю вамъ рассказать... Не помню ужъ, какъ я додумался до этого, но я началъ усиленно трудиться и копить деньги... не для себя... не для людей, нѣтъ! Знаю только, что былъ такой день, когда я сказалъ себѣ, что у меня никогда не будетъ дѣтей, и горько заплакалъ надъ

своимъ одиночествомъ и старостью, которая меня ждала. Поэтому я рѣшился сдѣлать что нибудь для чужихъ дѣтей, которые бы были счастливѣе, чѣмъ я и Марианна, и которыхъ бы не постигла такая участь, какъ насъ... Я трудился и копилъ по грошамъ.. вамъ извѣстенъ мой трудъ, и вотъ его результатъ... въ этой шкатулкѣ восемь тысячъ рублей въ билетахъ и нѣсколько мелкихъ ассигнацій и серебряной монеты.

Съ этими словами, онъ съ усиленіемъ вынулъ изъ подъ подушки маленькую шкатулку, которую, повидимому, положилъ туда въ послѣднее время, доставъ ее изъ сундука.

— Будьте любезны, откройте ее и пересчитайте все, что тамъ есть, — просилъ онъ меня, снимая съ шеи маленькій ключикъ, висѣвшій на шнуркѣ.

— Что же вы думаете сдѣлать съ этимъ капиталомъ, любезный другъ? спросилъ я, невольно пожимая его руку.

— Въ томъ то и дѣло, что я не знаю, какъ поступить, — замѣтно слабѣя, проговорилъ Чинскій, — но вы сами знаете... Мнѣ хотѣлось бы, чтобы на проценты изъ этого капитала... понимаете меня?.. воспитывались одинъ мальчикъ и одна дѣвочка... можно-ли такъ?..

— Ничто не можетъ препятствовать этому, такъ какъ капиталъ достаточно великъ, чтобы на его проценты учредить двѣ стипендіи, возразилъ я съ волненіемъ.

Слова мои произвели на него глубокое впечатлѣніе, и лицо его просіяло.

— Слава Богу! прошепталъ онъ, складывая руки. Но, мнѣ кажется, это слѣдуетъ изложить на бумагѣ...

— Дѣйствительно, слѣдуетъ, и я попрошу васъ продиктовать мнѣ вашу послѣднюю волю, потому что вы сами не въ силахъ писать.

— Пишите... вы вѣдь знаете какъ написать, а я подпишу.

Я сѣлъ у стола и написалъ актъ, соотвѣтствовавшій его желанію, потомъ призвалъ двухъ свидѣтелей, — мѣщанъ, которые подписали актъ, а съ ними виѣстѣ и лекарь, пришедшій навѣстить больного.

Все это заняло не болѣе часа, впродолженіе котораго Чинскій живо интересовался и слѣдилъ за всѣмъ, что происходило вокругъ него. — Когда, наконецъ, шкатулка съ деньгами и актъ были опечатаны, и три свидѣтеля ушли, Чинскій поднялъ дрожащую руку и слабымъ голосомъ воскликнулъ:

— Благодарю Тебя, Боже!

Послѣ этого онъ обратился ко мнѣ и, съ радостною улыбкою, прибавилъ:

— Опять солнышко засвѣтило для меня....

Онъ закрылъ глаза и, казалось, заснулъ, но, спустя нѣсколько минутъ, опять открылъ ихъ и слабо сказалъ:

— Чтобы вы знали, какъ я думалъ всегда о томъ.... и въ канцеляріи, и дома, и днемъ, и ночью, все время, когда я писалъ, пока не затекала рука и я не могъ двигать ею... Я думалъ, что двое малютокъ, благодаря мнѣ... благодаря моему труду... получать образованіе и будутъ счастливѣе меня съ Маріанной... потомъ опять двое... и опять двое... долго, долго... Люди не любили меня и насмѣхались, преслѣдовали меня и Маріанну, а я между тѣмъ думалъ, что дѣти этихъ людей, благодаря мнѣ, будутъ немного умнѣе.... такъ я думалъ и утѣшалъ себя надеждою, что эти камни, которые они бросали въ меня, я возвращу имъ хлѣбомъ....

Чинскій замолчалъ, потомъ прибавилъ:

— Хотѣлось сдѣлать больше, но уже не могъ.... Слава Богу и за то!...

Я сидѣлъ у кровати, держа его руку въ своей рукѣ, и не спускалъ глазъ съ его лица, тихаго и спокойнаго, желтизна котораго выдѣлялась на бѣлизнѣ подушекъ, пока улыбка не замерла на его устахъ. — Въ комнатѣ становилось темно; наступалъ осенній вечеръ. — Онъ еще разъ открылъ глаза и, встрѣтаясь съ моимъ взглядомъ, прошепталъ:

— Слава Богу!

Я увѣренъ, что, еслибъ у него было больше силъ, онъ навѣрно-бы прибавилъ: слава Богу, что не умираю въ одиночествѣ. — Глубокая благодарность свѣтилась въ его глазахъ, когда, усиливаясь стиснуть мою руку, онъ едва слышно прошепталъ.

— Какой вы добрый!... Благодарю васъ...

Послѣднимъ чувствомъ этого бѣднаго, пренебреженнаго чловѣка было чувство признательности, и послѣднимъ словомъ — слово благодарности!

Чинскій больше не открывалъ глазъ. — Ни одно конвульсивное движеніе не потрясло его тѣло, ни одинъ хриплый вздохъ не поколебалъ груди. — Онъ умеръ такъ, какъ жилъ безъ шума, стона и жалобы, среди глубокой тишины сумерокъ.

Когда въ борьбу съ судьбой вступа впервые,
 Въ чаду несбыточнаго бреда,
 На битву рвутся силы молодья,
 Легка имъ кажется побѣда.

* * *

И жаль мнѣ ихъ огня и ихъ порыва:
 Я вижу витязя другого,
 Что вызывалъ когда-то горделиво
 На бой Владыку Неземного.

* * *

Я вижу: полонъ силы и отваги
 Онъ наклонился надъ сумою;
 Но не поднять ему земныя тяги
 И богатырскою рукою;

* * *

Онъ гибнетъ, стонуть стени и дубравы,
 Дрожать отъ тяжкаго напора,
 И на землю, какъ-будто, дождь кровавый
 Струятся слезы Святѣгора!..

Ци. Д. Цертелевъ.

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

I

РЕЛИГИОЗНАЯ ВОЙНА ВЪ СУДАНѢ ¹⁾.

Мало кто въ Европѣ не интересуется Суданомъ, его настоящимъ положеніемъ, его прошлымъ и будущимъ, и въ особенности его знаменитымъ героемъ и предводителемъ Махди. Внезапно и неожиданно возникъ этотъ интересъ. Всего года три тому назадъ массѣ публики эта часть Африки извѣстна была только по имени. Едва ли мы ошибемся, если скажемъ, что немногіе даже отдавали себѣ отчетъ въ томъ, что собственно такое Суданъ: государство, горное пространство, или бесплодная и безлюдная пустыня въ родѣ Сахары, по сосѣдству съ которой онъ кстати и обозначенъ на картахъ. Кордофанъ и Дарфуръ, Берберъ, Сенааръ, Хартумъ, Суакимъ—всѣ эти названія провинцій и городовъ вѣдомы были и повторялись только учениками гимназій и англійскими купцами, ведущими торговлю съ неграми. Ихъ, и только ихъ, достояніемъ была вся эта часть Африки. Да и изъ нихъ первые, т. е. ученики гимназій, имѣли о ней весьма смутное понятіе, какое, впрочемъ, только и могли получить изъ своихъ учебниковъ и географическихъ картъ. Передъ нами лежатъ въ настоящую минуту двѣ далеко не старыя карты, одна французская, другая—нѣмецкая. На первой Хартумъ обозначенъ чуть не на самомъ берегу Краснаго моря, а «Négritie ou Soudan» (это названіе выведено огромными буквами въ разбивку) занимаетъ

¹⁾ «Der Sudan und der Mahdi». Das Land, die Bewohner und der Aufstand des falschen Propheten; von Richard Buchta. 1884.

«The wild Tribes of the Sudan». By F. L. James. 1884.

«Le désert et le Soudan». Lauture.

сплошь всю центральную Африку и клиномъ упирается въ Атлантическій океанъ. На другой Суданъ скромно помѣщенъ между 18 и 38° в. д. и далеко не доходитъ съ одной стороны до Гвинейскихъ горъ, съ другой — до Дарфура, который такимъ образомъ изъ Суданскаго плоскогорья исключенъ. По этимъ картамъ легче всего судить, какъ хорошо извѣстенъ былъ Суданъ и насколько интересовалъ онъ европейскую публику, съ учеными географами включительно. И вотъ теперь все это измѣнилось. Суданъ сдѣлался предметомъ общаго вниманія; о немъ пишутся большія сочиненія на всѣхъ языкахъ; вышепоименованныя и множество другихъ названій ежедневно печатаются во всѣхъ газетахъ и повторяются всѣми читателями въ мѣрѣ. Но особенно возбуждаетъ интересъ личность Махди. Да и какъ не заинтересоваться странною и человѣкомъ, своимъ движеніемъ сдѣлавшимъ то, что оказывалось не по силамъ самымъ могущественнымъ государствамъ, самымъ искуснымъ дипломатамъ: поставившимъ въ тяжкое затрудненіе, вынудившимъ къ стоворчивости самую гордую и самовластную имперію въ мѣрѣ, Англію. Давно ли первымъ правиломъ лицъ, руководящихъ внѣшней политикой Европы, было: «никогда не вступать во враждебныя отношенія съ Англіей?» Бисмаркъ, этотъ великій дипломатъ, — герой Бисмаркъ говаривалъ не разъ и преподавалъ своимъ ближайшимъ помощникамъ въ дипломатіи, какъ основной принципъ политики, слѣдующее: «имѣть Англію на своей сторонѣ — залогъ успѣха для всякаго крупнаго политическаго дѣла; имѣть ее противъ себя — залогъ неуспѣха. Какъ бы дѣло ни казалось блестяще и твердо, но оно не прочно, если Англія принципиально враждебна ему. Съ Англіей можно вздорить, можно ей во многомъ противиться и добиваться отъ нея уступокъ, но только до извѣстной границы. Вступать съ нею въ смертельную вражду, въ такую вражду, для которой нѣтъ примиренія — нельзя, и этого дѣлать никогда не слѣдуетъ». И эта-то столь для всѣхъ опасная вершительница судебъ каждаго дѣла, гордая «владычица морей», Англія, вынуждена теперь смиряться передъ всѣми, брать назадъ свои требованія, просить извиненія, искать помощи и поддержки... Всѣ и вездѣ, во всѣхъ частяхъ свѣта, предпринимаютъ что-либо такое, чему Англія именно «принципиально враждебна», что-либо такое, что ужъ не въ горделивой фантазіи англичанъ только, а въ самомъ дѣлѣ существенно нарушаетъ, или грозитъ нарушить современемъ, самые жизненные «англійскіе интересы», а она не въ состояніи этому воспрепятствовать. Она можетъ только протестовать и протестуетъ, но протестуетъ платонически, не смѣя не только перейти отъ словъ къ дѣйствию, но даже и говорить

съ той спокойной энергіей, къ которой привыкла сама и приучила другихъ. Еще менѣе трехъ лѣтъ тому назадъ отвергшая и не допустившая вмѣшательства всей Европы въ египетскія дѣла, она вынуждена теперь съ радостью принять военную помощь Италіи,—Италіи, слабѣйшей изъ всѣхъ европейскихъ державъ. Всѣ ея карты спутаны, всѣ расчеты поколеблены и будущее представляется въ весьма мрачномъ свѣтѣ. И почему все это? Потому между прочимъ, что на ея дорогѣ, загораживая ей путь встали полудикіе обитатели Судана и Нубіи съ своимъ, Богъ знаетъ откуда взявшимся, предводителемъ Махди. Но вѣдь это варвары, жалкіе, не имѣющіе понятія о цивилизаціи дикари, многія племена которыхъ не дошли еще даже до осѣдлаго состоянія, а ведутъ кочевую жизнь. Справиться съ ними, покорить ихъ ничего не стоитъ. Это можетъ быть сдѣлано и сдѣлается въ нѣсколько недѣль, много-много мѣсяцъ, двумя-тремя полками хорошо обученной, хорошо вооруженной европейской арміи. Да, англичане думали такъ. Но они очень скоро увидали, что это легче сказать, чѣмъ сдѣлать. Варвары не поддались ни ихъ войскамъ, ни другому оружію, которое они издавна привыкли и мастерски умѣютъ употреблять,—деньгамъ. Попытки подкупа остались такъ же безуспѣшны, какъ и военныя дѣйствія. Не помогло и третье средство, казалось, обѣщавшее если и не полный, то все же значительный успѣхъ: подставленіе другаго пророка, вступившаго въ религіозное состязеніе съ Махди, котораго онъ уличалъ во лжи и предавалъ проклятію. Варвары и вниманія не обратили на этого подставнаго пророка и съ неудержимой силой, племя за племенемъ, присоединялись къ Махди, покауда возстаніе не сдѣлалось, наконецъ, всеобщимъ. Въ чемъ же сила этихъ варваровъ? Чѣмъ они движимы? Къ чему стремятся? Что такое ихъ Махди? Кто онъ? Откуда? Что это за личность, завѣдомый ли обманщикъ, хитрый шарлатанъ или, въ самомъ дѣлѣ, убѣжденный пророкъ? И что такое вообще это суданское возстаніе, чѣмъ оно вызвано, какой его характеръ? Есть ли это проявленіе религіознаго фанатизма, новое воинствующее движеніе мусульманскаго міра? Или это, въ болѣе широкихъ размѣрахъ, но все та же обычная война цвѣтныхъ племенъ между собою, одна изъ тѣхъ кровопролитныхъ, но не имѣющихъ для Европы никакого значенія, войнъ, которыя столько разъ уже потрясали сѣверо-восточную часть Африки, а въ центральной никогда и не прекращаются? Почему, наконецъ, зло въ такой сильной степени отражается на Англии, что кажется, будто почва колеблется подъ ея ногами и вся она обезсилена, ошеломлена, готова упасть? Положимъ, суданское возстаніе непосредственно касается Египта, который Англія при-

няла подъ свое покровительство. Но вѣдь, при всей важности Египта для владычицы морей, не въ немъ же одномъ ея сила. Почему же она такъ напугана, такъ очевидно сбита съ толку и растеряна? Это тѣмъ менѣе понятно, что, подавляя суданскихъ повстанцевъ матеріально, она морально въ сущности поддерживаетъ ихъ противъ египтянъ, такъ какъ англійскіе министры съ самаго начала возстанія и по сей день высказываютъ, что Суданъ необходимо отдѣлить и сдѣлать независимымъ отъ Египта. Въ чемъ же дѣло, слѣдовательно? Почему не вступить въ соглашеніе съ Махди вмѣсто того, чтобы, во что бы то ни стало, стараться уничтожить его? Или въ его дѣятельности есть что нибудь, что грозитъ большей опасностью, чѣмъ потеря нѣсколькихъ подвластныхъ Египту провинцій, а съ личностію его связаны такіе интересы, которые не могутъ быть обезпечены ничѣмъ, кромѣ безусловнаго устраненія этой личности и ея вліянія на соотечественниковъ и братьевъ по религіи?

Вотъ вопросы, которые невольно и все чаще и чаще представляются уму тѣхъ людей въ средѣ европейской публики, которые не безучастно смотрятъ на совершающіяся передъ ними историческія событія, и не мудрено, что всюду выходятъ книга за книгой, посвященныя Судану и Махди. Мы думаемъ, что общій интересъ къ нимъ раздѣляется и русскими читателями, особенно теперь, когда и у Россіи тоже начались недоразумѣнія съ Англійей, которая, если и будутъ улажены въ настоящее время, все же не устранятся вполнѣ и рано или поздно приведутъ, или по крайней мѣрѣ, могутъ привести къ столкновенію съ нею. Правда, театромъ нашихъ недоразумѣній служитъ Азія, тогда какъ Махди дѣйствуетъ въ Африкѣ. Но то и другое связано между собою гораздо тѣснѣе, чѣмъ это кажется съ перваго взгляда и суданскія событія тѣмъ именно и важны, потому и тревожатъ такъ Англію, что могутъ имѣть рѣшающее вліяніе на ее положеніе въ Азіи. Съ этимъ, мы увѣрены, согласятся и сами читатели, пробѣжавъ предлагаемый краткій очеркъ, составленный нами по названнымъ въ примѣчаніи книгамъ трехъ авторовъ различныхъ національностей: нѣмца, англичанина и француза. Всѣ они вдоль и поперекъ извѣздили Суданъ, гдѣ оставались довольно долго, всѣ изучали весьма тщательно страну и ея населеніе и всѣ, подчасъ, расходясь во взглядѣ на различныя вещи и въ оцѣнкѣ разныхъ личностей, сходятся безусловно въ одномъ: что возстаніе вызвано нестерпимымъ и необыкновенно грубымъ, по формамъ своего проявленія, гнетомъ египтянъ и что оно носитъ отнюдь не религіозный, а чисто политическій характеръ. Особенно ярко выступаютъ причины возстанія въ книгѣ Джемса, хотя онъ

и ѣздилъ съ пріятелями въ Суданъ не съ научной цѣлью, а для охоты. Въ книгѣ его масса разсказовъ, очень живо изложенныхъ, о разныхъ охотничьихъ приключеніяхъ, о томъ, сколько и какъ убито тигровъ и львовъ. Эти разсказы, по количеству, составляютъ даже большую часть содержанія книги. Но именно потому, что авторъ видимо не имѣлъ предвзятой мысли выставить темныя пятна египетскаго управленія и горькой жизни туземцевъ, а говорить о нихъ лишь кстати, эпизодически, именно потому его свидѣтельство особенно важно, и мы не могли не воспользоваться имъ, говоря о Суданѣ. (Здѣсь кстати будетъ объяснить, что выраженіе *Суданъ* употребляется нами въ смыслѣ не строго географическомъ, а скорѣе въ политическомъ; мы подразумѣваемъ подъ нимъ всю ту область, которая объята нынѣ войною, хотя въ нее, съ одной стороны, входятъ и Нубія, и Кордофанъ, съ нѣкоторыми другими провинціями, не принадлежащими собственно къ географическому Судану, а съ другой не входитъ западная часть географическаго Судана. Словомъ, мы говоримъ объ «египетскомъ Суданѣ», которое названіе, впрочемъ, принято вообще и многими въ послѣднее время употребляется).

Слѣдующія цифры, заимствованныя нами изъ книги Бухты, показываютъ, какъ велико пространство земель, находящихся въ открытомъ возстаніи и въ настоящую минуту уже фактически потерянныхъ для Египта. Нубія, представляющая большую частію пустынную, почти необитаемую землю, между Ливійской пустыней и Краснымъ моремъ, имѣетъ 864,500 квадратныхъ миль; собственный Суданъ, провинціи Кордофанъ и Дарфуръ на западѣ, Сенааръ, Така, Сенгитъ и приморскія области Суакимъ и Массана на востокѣ и мудиріи Фашода, Баръ, Газитъ и Готь-ель-Эсдива на югѣ, простираются вмѣстѣ на 836,500 кв. миль. Итого, значить, въ общемъ 1.701,000 кв. миль, т.-е. пространство, почти втрое превосходящее нынѣшнюю германскую имперію. Населеніе этого громаднаго пространства, далеко не соответствуя ему густотой, все-таки весьма значительно и по племенному составу разнообразно. Но опредѣлить въ точности расовое происхожденіе всѣхъ этихъ племенъ и въ особенности географическую черту, отдѣляющую одно отъ другого, не легко, почти невозможно. Направляясь вверхъ по Нилу, изъ Каира въ Суданъ, кавказская раса постепенно переходитъ въ эфіопскую, но градаціями такими незначительными, что невозможно уловить, гдѣ кончается одна и начинается другая.

Чѣмъ ближе къ экваторіальнымъ провинціямъ, тѣмъ темнѣе становится цвѣтъ кожи людей, покуда, наконецъ, на крайнемъ югѣ страны являются племена ужъ совершенно черной, чисто

негритянской расы, безъ всякой посторонней примѣси. Бухта раздѣляетъ суданцевъ на четыре главные группы: 1) *нубійцы*, или *барабра* (которыхъ не слѣдуетъ смѣшивать съ сѣверо-африканскими берберами); 2) *арабы*; 3) *беджасы* и 4) *негри-нуба*. Нубійцы, населяющіе Нубію и восточныя провинціи Судана (именно намѣстничество Донгола, Берберъ, Сенаръ, Таку и Сенгитъ), несмотря на очень темный цвѣтъ ихъ кожи, не имѣютъ ни одной изъ отличительныхъ чертъ негритянскаго типа, напротивъ и въ лицѣ и въ строеніи тѣла носятъ рельефный отпечатокъ кавказской расы. Типичнѣйшимъ образцомъ этой группы племень могутъ служить жители Донголы. Роста они средняго, или немного выше средняго, тѣлосложенія красиваго и чрезвычайно пропорціональнаго; форма лица у нихъ нѣсколько удлинненная, овальная, носъ съ горбинкой, съ немного закругленнымъ кончикомъ, губы полныя, но не выдающіяся, на подбородкѣ слабая растительность, глаза темные, живые и блестящіе, кожа очень темная, но не чернаго, а бронзоваго цвѣта, волоса вьющіеся, иногда совсѣмъ курчавые, но никогда того шерстеобразнаго вида, какимъ отличаются волоса негровъ. Къ этому племени принадлежит Махди, (настоящее имя его Магометъ-Ахметъ), плотный, здоровый и красивый человекъ лѣтъ сорока отъ роду. Бухта посѣтилъ его въ апрѣлѣ 1880 года. Въ то время онъ былъ еще только факиромъ, т.-е. законовѣдомъ, объяснителемъ корана. Онъ жилъ на островѣ Аба, что на бѣломъ Нилѣ, и на этомъ островѣ и его ближайшихъ окрестностяхъ пользовался, за свою аскетическую жизнь, славой святого человека. Но дальше его извѣстность не шла и никто ни въ средѣ соотечественниковъ его, ни въ Египтѣ не воображалъ, что этотъ аскетъ скоро сдѣлается предметомъ вниманія всего міра.

Арабы слывутъ за потомковъ тѣхъ кочевыхъ племень, которые перекочевали сюда изъ Геджаса и Йемена и здѣсь поселились, со времени завоеванія Египта Амру-Ибнъ-Ази, въ 638 г. по Р. Х. Суданъ сдѣлался вторымъ отечествомъ этихъ арабовъ, но они сохранили въ чѣлости весь бытъ, весь образъ жизни и все міросозерцаніе своихъ азіатскихъ предковъ. Они и по сей день живутъ не иначе, какъ въ легкихъ палаткахъ, сооружаемыхъ изъ пальмовыхъ цыновокъ, поддерживаемыхъ шестью изъ пальмоваго же или бамбуковаго дерева. Единственное достойное по ихъ мнѣнію мужчины занятіе есть скотоводство; земледѣльцевъ и горожанъ они въ равной степени и отъ всей души презираютъ. Лопата почему-то пользуется особеннымъ ихъ презрѣніемъ. Этотъ инструментъ въ ихъ глазахъ—символь грубости понятій и низменнаго образа жизни. Нужно ли говорить, что это племена кочевья?

Переносясь съ своими стадами съ одной луговой мѣстности въ другую, смотря потому, гдѣ лучше пастбища, они безпритязательны, скромны и умѣренны въ своихъ потребностяхъ, но непокорны и свободолюбивы до крайности. Весь ихъ кодексъ нравственности и всѣ правила жизни заключаются въ слѣдующихъ несложныхъ понятіяхъ: всякаго врага непременно грабить и обворовывать; за всякое оскорбленіе мстить; за смерть, причиненную хотя бы нечаянно, оплачивать смертью же убійцѣ или его ближайшему родственнику; всякаго друга охранять и защищать до послѣдней капли крови. Этимъ исчерпываются всѣ ихъ понятія о правахъ и обязанностяхъ человѣка. Кто этихъ правилъ не придерживается, тотъ въ ихъ глазахъ трусъ и презрѣнная дтварь. Среди этихъ арабовъ, Махди нашелъ первыхъ и наиболѣе преданныхъ и вѣрныхъ послѣдователей. Бухта, видимо не особенно благоволящій къ арабамъ, наружный видъ ихъ описываетъ лишь въ самыхъ короткихъ и общихъ словахъ. Онъ говоритъ: «по цвѣту кожи арабовъ едва можно отличить отъ нубійцевъ. Они выше ростомъ, лобъ у нихъ выпуклѣе, ротъ пропорціональный, растительность на лицѣ довольно значительная, волоса иногда волнистые, но никогда курчавые». За то Лотюръ, который, въ противоположность своему нѣмецкому собрату, очевидно, въ восторгѣ отъ арабовъ, рисуетъ портретъ ихъ такими блестящими красками, что его трудно не заподозрить въ пристрастіи. «Наружность чистокровныхъ арабовъ, говоритъ онъ, необыкновенно привлекательна и красива. Лицо представляетъ правильный овалъ. Глаза имѣютъ форму миндаины; носъ небольшой и изящный, губы тонко очерченныя, а зубы замѣчательной бѣлизны, ровности и крѣпости. Эту красоту и крѣпость зубовъ они сохраняютъ до глубокой старости, что, по собственному ихъ увѣренію, происходитъ отъ того, что они рѣдко курятъ табакъ, очень мало пьютъ кофе и вообще употребляютъ относительно немного горячей пищи. Голосъ у арабовъ нѣженъ и музыкаленъ, тѣлосложеніе чрезвычайно благородное. Но что больше всего придаетъ имъ видъ истинно аристократическаго изящества, это миниатюрность ихъ рукъ и ногъ и высокой подъемъ ноги. Ихъ походка, всѣ ихъ движенія эластичны и граціозны. Женщины отличаются такою же красотой, какъ и мужчины. Формы ихъ удивительно пропорціональны и симметричны, манера держать себя полна горделиваго достоинства. Любо смотрѣть, съ какимъ видомъ нравственной чистоты и съ какой граціозной любезностію они принимаютъ посѣтителей въ своихъ палаткахъ. Къ сожалѣнію, на нихъ лежатъ всѣ домашнія работы, вслѣдствіе чего онѣ не могутъ быть такъ опрятны, какъ это было бы желательно; но все же онѣ безъ всякаго сравненія

чистоплотнѣе, чѣмъ арабскія женщины Сирии или Алжира, которыя, впрочемъ, и наружностью далеко не такъ хороши и привлекательны». Какъ видятъ читатели, описаніе вполне восторженное. Справедливо оно или нѣтъ, это мы оставляемъ на отвѣтственности автора. Арабы, или какъ ихъ часто называютъ и какъ въ особенности они сами любятъ называть себя, суданскіе бедуины распадаются, подобно своимъ аравійскимъ, сирійскимъ и мессопотамскимъ братьямъ-кочевникамъ, на множество племенъ (кабилъ) и родовъ (фандовъ или феркаховъ). Эти большіе и малые племенные союзы составляютъ массу кочующихъ поселеній, бродящихъ съ своими стадами верблюдовъ, рогатаго скота, козъ и овецъ въ извѣстныхъ, строго опредѣленныхъ границахъ, малѣйшее нарушеніе которыхъ неминуемо влечетъ за собою войну. Каждый мужчина, членъ такого поселенія, совмѣщаетъ въ одной своей особѣ война и пастуха. Всѣ племена имѣютъ, разумѣется, каждое свое названіе, но многіе такъ малы и ничтожны, что именъ ихъ никто, кромѣ ихъ ближайшихъ сосѣдей, не знаетъ. Наиболѣе значительные по численности—населяющіе Кордофанъ, *богары* и *гассани*; они же и главные участники возстанія. Самые могущественные—*кабабиты*, приставшіе къ Махди лишь весьма недавно, уже послѣ паденія Хартума.

Третью группу суданскихъ народовъ составляютъ, какъ выше упомянуто, *беджасы*. Эта группа тоже распадается на нѣсколько племенъ. Одни изъ нихъ, именно живущіе на востокѣ отъ Нила *абабды*, осѣдлые и занимаются земледѣліемъ, другіе, къ которымъ принадлежатъ *бешары*, *гадендры*, *бени-амеръ*, *галети*, *шункури*, *гамадибы*, *abu-нуфы*, *кунамы*, *горамы* и др., кочевые, какъ и арабы. Къ книгѣ Бухты приложены двѣ карты, одна географическая, другая этнографическая, на которыхъ въ точности обозначены границы владѣній каждаго племени. Англійскіе военные корреспонденты всѣхъ бѣджасовъ безразлично называютъ «арабами». Бѣджасы и сами по большей части присваиваютъ себѣ это названіе, потому что въ тѣхъ странахъ считается за особенную честь принадлежать къ арабскому племени, и несомнѣнное присутствіе арабской крови въ жилахъ какого-либо племени, или отдѣльнаго рода, составляетъ само по себѣ право ихъ на общее уваженіе. Однако, большинство этнологовъ считаетъ доказаннымъ, что бѣджасы никакихъ правъ на арабское происхожденіе не имѣютъ, что, впрочемъ, нисколько не мѣшаетъ имъ вести чисто бедуинскій образъ жизни. Иностранцу рѣшительно невозможно подмѣтить хотя бы самаго малѣйшую разницу между кочевымъ населеніемъ бѣджасовъ или арабовъ: до того тѣ и другіе схожи между собою во всѣхъ чертахъ, тѣмъ болѣе, что первые сплошь да рядомъ и говорятъ по арабски.

Но знаніе арабскаго языка, которому всѣ они старательно обучаются съ дѣтства, не заставило ихъ забыть свой родной языкъ, и между собою, въ домашнемъ кругу, каждое племя употребляетъ большей частію свое баджасское нарѣчіе. Происхожденіе ихъ покрыто туманомъ. По всѣмъ вѣроятіямъ, они принадлежатъ къ первоначальнымъ аборигенамъ восточной Африки. Разумѣется они, какъ и всѣ обитатели Судана, темнокожіе. Тѣлосложеніемъ и чертами лица они родственны нубійцамъ. По свидѣтельству Роберта Гартмана, они по типу напоминаютъ древній восточно-африканскій народъ *рему*. Они широкоплечи; грудные мускулы, большіе, хорошо развитые, пластически выдаются; спинной хребетъ имѣетъ красивый, правильный изгибъ; бедра стройныя, не слишкомъ выдающіяся и не слишкомъ плоскія; мускулистые члены, тонкія кости и небольшія руки и ноги. Въ чертахъ лица особенно бросается въ глаза лобъ, высокій, отклоненный назадъ. Черепъ удлиненный и вся голова имѣетъ долихоцефальную форму. Глаза миндалевидные, темносиніе, окаймленные длинными, красиво и нѣжно загнутыми рѣсницами, придающими выраженіе, которое у насъ характеризуется словами—глаза съ поволокой. Носъ большой, широкій въ основаніи, съ легкой горбинкой и съ широкими, чрезвычайно подвижными ноздрями; ротъ не великъ, но губы мясистыя, сладострастныя, всегда толстыя, часто какъ бы вспухшія; щеки широкія, скулы нѣсколько выдавшіяся, за то подбородокъ небольшой, нѣжный, округленный; уши правильной формы, но помѣщаются выше обыкновеннаго и гораздо дальше назадъ.

Четвертая и послѣдняя группа, *негри-нуба* или нубасы населяютъ южный Кордофанъ. Эти, въ противоположность баджасамъ, красивымъ тѣлосложеніемъ напоминая европейцевъ, чертами лица и строеніемъ головы представляютъ чистый негритянскій типъ, а также и въ образѣ жизни придерживаются негритянскихъ обычаевъ, хотя и исповѣдуютъ магометанскую религію. У многихъ племенъ волоса, даже у женщинъ, короткіе, сильно курчавые, раздѣленные въ отдѣльные завитки, какъ шерсть у молодыхъ ягнятъ, вслѣдствіе чего любящіе образность выраженій арабы называютъ ихъ «гхильфиль», т. е. стручковый перецъ. Къ неграмъ-нуба принадлежатъ *бертасы*, *шылуки* и *динки*. Къ этимъ же нубасамъ должно быть отнесено и чисто негритянское племя *базасы*, живущее вдоль абиссинской границы, въ бассейнѣ рѣки Гошъ. Это совсѣмъ дикое и очень бѣдное племя, которое не держитъ никакого скота, кромѣ козъ и ословъ, и до сихъ поръ не научилось и не почувствовало потребности строить себѣ хижины для жилья, а живетъ хотъ и не въ пещерахъ, какъ увѣряютъ его сосѣди, арабы, но въ родѣ искусственныхъ гротовъ, которые эти негры устраиваютъ себѣ изъ камней.

Большую часть для этого употребляются ими колоссальныя глыбы гранита, которыя они складываютъ такимъ образомъ, чтобы четыре глыбы, съ однимъ узкимъ отверстіемъ для прохода, составляли стѣны, а пятая, положенная сверхъ этихъ четырехъ—крышу. Какой траты силъ, какого страшнаго труда стоитъ сдвинуть эти громады съ мѣста и уложить ихъ въ должномъ порядкѣ! Построить какой угодно домъ безъ всякаго сравненія проще и легче, не говоря ужъ объ удобствахъ жилья. Но такъ низменна та ступень умственнаго развитія, на которой стоятъ несчастныя базасы, что они и первобытнаго искусства устраивать палатки, или глинобитныя хижины, не переняли еще у своихъ сосѣдей. Съ послѣдними они, впрочемъ, не поддерживаютъ почти никакихъ сношеній, да и тѣ интересуются ими лишь постольку, поскольку можно ловить ихъ для обращенія въ рабство. Вообще базасы ведутъ чисто животную жизнь, исключительную даже въ Африкѣ, гдѣ большая часть негритянскихъ племенъ все таки выработала у себя кое-какіе, хотя у нѣкоторыхъ и очень слабые еще, признаки цивилизаціи. У базасовъ же нѣтъ никакой. Они, какъ и всѣ негры, раздѣляются на множество клановъ и кланы эти рѣдко сообщаются между собою, а нѣкоторые и вовсе не сообщаются, живя отдѣльными, скорѣе надо сказать, стадами, чѣмъ группами. Понятія о національныхъ обязанностяхъ, родства, у нихъ нѣтъ никакого, равно какъ и никакихъ слѣдовъ религіозныхъ представленій. Женщина занимаетъ положеніе рабочаго скота и разсматривается исключительно, какъ собственность. Нищета этого племени неопишима, и она то вѣроятно и является причиною того, что египетское правительство никогда не считало нужнымъ распространять на базасовъ благодѣянія своей цивилизаціи. Оно и не пыталось даже обложить ихъ податями. Этимъ все сказано и это лучше всего рисуетъ и культурное и экономическое положеніе базасовъ, потому что жадность египетскаго правительства такъ феноменальна, что гдѣ можно надѣяться взять хоть комокъ шерсти или зернышко дурро, туда оно непременно протягиваетъ руку.

Вообще обложеніе податями и налогами и выжиманіе ихъ изъ населенія представляетъ единственную форму проявленія благодѣтельной заботливости египетскаго правительства о своихъ суданскихъ подданныхъ и единственный же видъ благъ цивилизаціи, которымъ оно награждаетъ ихъ. Обложено рѣшительно все. За каждую бездѣлицу, которой владѣетъ или которую производить суданецъ, за каждый свой шагъ, за каждое движеніе, за воздухъ, которымъ дышетъ, онъ вынужденъ платить. Бухта даетъ такую по-истинѣ ужасающую картину грабежа, систематически про-

изводиимаго среди населенія, что просто непонятнымъ кажется, какъ оно сохранило еще способность жить и размножаться, какъ не перемерло погодовно отъ голода и страданій. Мало того, что безусловно каждый предметъ обложенъ такой или иной таксой, но хитрымъ сплетеніемъ и комбинированіемъ налоговъ земельныхъ, потребительныхъ, вывозныхъ, ввозныхъ и торговыхъ, многіе предметы подвергаются обложенію четырьмя и даже пятью налогами различныхъ наименованій. Вотъ примѣръ, изъ котораго лучше всего можно видѣть, какъ ведутъ я эти дѣла въ Египтѣ. Положимъ, земледѣлецъ, обитатель верхняго Дендера, везетъ произведеніе своей жатвы, свое дурро, на рынокъ въ Каркодье. Прежде всего онъ можетъ вывезти свой товаръ съ мѣста не иначе, какъ уплативъ сполна в ю причитающуюся съ него поземельную подать, всю падающую на него и на членовъ его семьи подушную подать и, наконецъ, всѣ налоги на домъ, на различные предметы хозяйства и на орудія производства. Если хоть одна изъ этихъ уплатъ не сдѣлана, или сдѣлана не сполна, земледѣлецъ не смѣетъ и тронуть свой товаръ. Послѣдній долженъ лежать неприкосновеннымъ, подъ присмотромъ нарочно для того приставленныхъ людей, (какихъ именно будетъ сейчасъ объяснено). Кромѣ того, онъ—тоже прежде вывоза товара—долженъ уплатить за *сакиа*. т. е. за колодезь и вообще за водопроводъ, или лучше сказать орошеніе. Такъ какъ въ такой жаркой странѣ орошеніе составляетъ вопросъ первостепенной важности, безъ удовлетворительнаго состоянія котораго земледѣліе вообще невозможно, то, разумѣется, египетское правительство не могло упустить такого удобнаго случая выжать лишній грошъ изъ народа. Арабы устраиваютъ у себя орошеніе на манеръ того, какъ дѣлаютъ это горцы у насъ на Кавказѣ, т. е. проводятъ, куда имъ нужно, воду изъ колодцевъ, или иныхъ резервуаровъ, черезъ грубо сдѣланныя трубы, или, гдѣ можно, черезъ канавы, въ которыя накачиваютъ воду колесами, приводящими въ движеніе наносъ. Каждая такая труба, каждая канава и каждое колесо обложены таксой сами по себѣ, независимо отъ общаго налога на колодезь. Но, наконецъ, злополучный земледѣлецъ уплатилъ всѣ эти безчисленные налоги, получилъ право распорядиться своей собственностью и довезъ ее до рынка. Тутъ ждетъ его новый рядъ налоговъ, которые онъ опять-таки долженъ уплатить, прежде чѣмъ въ глаза увидитъ покупателя. Именно, съ него взимается плата: 1) за право ввоза товара въ городъ; 2) за право занять мѣсто на рынкѣ; 3) за право производить торговлю. Соответствующимъ образомъ подвергается обложенію все, какъ въ городахъ, такъ и въ деревняхъ, осѣдлыхъ и кочевыхъ, и даже въ пустынѣ. Одна изъ важнѣйшихъ.

т. е. приносящихъ наиболѣе дохода казнѣ податей, есть подушная подать, «газда». Легко представить себѣ, что при такихъ порядкахъ промышленность не могла бы развиваться и процвѣтать, даже будь населеніе во сто разъ образованнѣе суданскаго. Поэтому ничего нѣтъ удивительнаго, что главный доходъ казны составляютъ такіе первобытные налоги, какъ подушная подать и т. п..

«Газда» взимается со всего населенія поголовно, но съ кочеваго, съ котораго иначе немного можно взять, въ большемъ размѣрѣ, чѣмъ съ осѣдлаго. По установленному закону, низшій размѣръ этой подати 30 піастровъ (піастръ равняется 5 коп.) съ головы, но ее почти всегда взимають вдвое, а зачастую и болѣе того. Такъ какъ кочевники никогда и ничего не уплачивають добровольно, то взиманіе съ нихъ производится при помощи иррегулярныхъ войскъ, т. е. баши-бузукоевъ. Каждому кочевью, или лагерю, объявляется общая цифра суммы, которую оно должно заплатить въ данное время въ видѣ подушной подати, и вмѣстѣ съ тѣмъ въ немъ поселяется соотвѣтствующее указанной суммѣ количество баши-бузукоевъ, которые и остаются тамъ до дня уплаты послѣдней копѣйки, все время живя и продовольствуясь на счетъ населенія. Подать, самимъ правительствомъ взимаемая въ двойномъ противъ установленнаго размѣрѣ, благодаря способу взиманія обходится населенію въ двадцать и въ тридцать разъ болѣе. Пользуясь своимъ официальнымъ положеніемъ, баши-бузуки требуютъ отъ своихъ хозяевъ и, разумѣется, добиваются самаго роскошнаго содержанія; какое только мыслимо при тамошнихъ условіяхъ, да, кромѣ того, еще и отнимають у нихъ все, что имъ приходилось по вкусу изъ вещей, изъ скота и пр. Излишне прибавлять, что женъ и дочерей кочевниковъ они третировали, какъ свою собственность. Первымъ средствомъ понужденія къ уплатѣ служить бичъ изъ жилъ гиппопотама, (въ Турціи, гдѣ гиппопотамовъ нѣтъ, для бичей, которыми неизмѣнно вооружены всѣ низшіе представители власти, употребляются воловьи жилы). Когда «курбоджи» (такъ называется сказанный бичъ) не дѣйствовалъ, тогда пускались въ ходъ болѣе энергическія средства, а именно: неисправному плательщику обвязывали веревками пальцы и, соединивъ эти веревки вмѣстѣ, вѣшали его за нихъ на болѣе или менѣе продолжительное время, или же, связавъ по рукамъ и по ногамъ, въ полуденные часы, т. е. значить въ самое пекло, клали голаго и съ непокрытой головой на раскаленный песокъ, да притомъ еще выбирали мѣсто похуже, помучительнѣе, напримѣръ, высушенное отъ солнпека русло ручья, или рѣки, гдѣ таковое находи-

лось поблизости и т. п. Да не подумаетъ читатель, чтобы эти безчеловѣчія совершались безъ вѣдома правительства. Отнюдь нѣтъ. Повторяемъ, это мѣры, официальные мѣры, взысканія пода-тей. Нетрудно представить себѣ, что дѣлали ужь отъ себя чиновники, исполнители велѣній правительства, считавшаго подобныя мѣры вполне позволительнымъ средствомъ воздѣйствія на под-властное населеніе. Произволъ самый безграничный, самый варварскій въ формахъ своего проявленія, царилъ всюду и вездѣ. Грабили безжалостно и вмѣстѣ беззащитно до наглости всѣ, отъ высшихъ сановниковъ до самыхъ мельчайшихъ сошекъ управленія, причеиъ трудно сказать, кто неистовствовалъ болѣе и кто болѣе приносилъ вреда, гражданская администрація, или военная. Чтобы дать понятіе объ образѣ дѣйствій тѣхъ и другихъ представителей египетской власти, мы заимствуемъ нѣсколько образчиковъ ихъ дѣятельности изъ книги Джэмса. Когда этотъ англійскій путешественникъ прибылъ съ своими семью прія-телями въ Суакимъ, (а они именно оттуда начали свое охот-ничье странствованіе, такъ что это былъ, значитъ, первый ихъ шагъ), то, явившись съ визитомъ къ *вали* (губернаторъ) Риза-пашѣ, первое что они увидали при входѣ во дворецъ, были по-саженные въ загородку сорокъ бедуиновъ въ цѣпяхъ. По справ-камъ (на которыя, нужно замѣтить, вопрошаемые отвѣчали, ни-мало не скрываясь, совершенно спокойно, какъ бы о дѣлѣ какъ нельзя болѣе законномъ и естественномъ) оказалось, что эти бедуины ужь годъ какъ сидятъ здѣсь въ плѣну и не по другой причинѣ, какъ только вслѣдствіе желанія Риза-паши вытянуть изъ нихъ деньги. Вся вина этихъ бедуиновъ заключалась въ томъ, что они за нѣсколько времени передъ своимъ аресто-мъ получили отъ бывшаго губернатора Судана, нынѣ убитаго повстанцами въ Суакимѣ генерала Гордона, значительную сумму, присужденную имъ въ вознагражденіе за убытки, которые они и ихъ племя понесли во время предшествовавшей войны. Назначенный управлять Суакимомъ, Риза-паша узналъ объ этомъ и потребовалъ деньги. Когда Бедуины отказались ихъ отдать, онъ велѣлъ схва-тить и заковать ихъ въ цѣпи и такъ держалъ открыто у себя на дворѣ, ничуть не стѣсняясь тѣмъ, что это видѣли и знали всѣ въ городѣ. Несчастные внесли ему двѣ тысячи долларовъ, но онъ хотѣлъ непременно всю сумму сполна и не отпуская плѣн-никовъ, заставляя ихъ, въ довершеніе всего, кормиться на соб-ственный счетъ. Тотъ же Риза-паша и такъ же открыто бралъ съ торговцевъ рабами по 2 наполеондора съ головы каждаго негра, привозимаго въ Суакимъ, или только провозимаго черезъ него. Когда, еще при хедивѣ Измаилѣ, находившіяся у него на службѣ,

кажется—нѣмецъ, Мунцингеръ-бей завоевалъ для Египта провинцію Богосъ и городъ Сангитъ, онъ велѣлъ вырубить всѣ деревья, а камни съ надгробныхъ памятниковъ и фамильныхъ склеповъ, которые арабы окружаютъ особеннымъ благоговѣйнымъ почтеніемъ, употребить на постройку форта. Теперь Сангитъ стоитъ посреди безплодной и безводной пустыни. Совершенно въ такомъ же духѣ поступали и нисше подчиненные этихъ достойныхъ сановниковъ. Издавна привыкшіе бояться Англіи и уважать англичанъ, всѣ власти, въ мѣстностяхъ, по которымъ проѣзжали Джэмсъ и его спутники старались оказывать имъ возможныя почеть и покровительство и, между прочимъ, навязывали имъ своихъ солдатъ въ провожатые. Англичане всячески отдѣлывались отъ этой чести, но въ Кассалѣ вали такъ настаивалъ на необходимости конвоя, что имъ поневолѣ пришлось уступить и взять въ свою свиту нѣсколькихъ солдатъ. Поведеніе этихъ людей до того возмущало ихъ всю дорогу, что они проклинали свою уступчивость и ждали не дождались, когда, наконецъ, придутъ въ Гайкоту и освободятся отъ своихъ непрошенныхъ защитниковъ. «Эти солдаты, говоритъ Джэмсъ, не умѣли управляться какъ слѣдуетъ съ своими ружьями, но за то безсовѣстно грабили всякій встрѣчный караванъ и всѣхъ мирныхъ путниковъ, какіе попадались на дорогѣ». Вступивъ въ какое нибудь поселеніе, они немедленно принимались бѣгать изъ палатки въ палатку, обшаривали всѣ углы, отыскивая прежде всего денегъ, и присвоивали себѣ оружіе, какое лучше, платье, словомъ все что вздумается. А вотъ образчикъ судопроизводства. Однимъ изъ лучшихъ, нанятыхъ уже въ Суданѣ слугъ Джэмса былъ нѣкій арабъ, по имени Дра. Этотъ несчастный былъ рабомъ одного богатаго сангитскаго купца и вотъ какимъ образомъ попалъ въ рабство. За много лѣтъ передъ тѣмъ отецъ его укралъ у своего сосѣда корову. Послѣдній уличилъ его и судья велѣлъ ему возратить украденное. Но такъ какъ онъ давно ужъ успѣлъ корову продать, а деньги, за нее полученныя, издержать, то тотъ же судья присудилъ възыскать съ него, въ наказаніе, двѣ коровы, или стоимость ихъ деньгами и сверхъ того еще $\%$ и проценты на $\%$ до тѣхъ поръ, пока вся сумма не будетъ уплачена. Несчастный собиралъ деньги, но такъ какъ онъ былъ бѣднякъ и къ тому же имѣлъ большую семью, то уплатить постоянно нарастающую сумму долга ему не было никакой возможности. Время шло, долгъ росъ съ едва постижимой для незнакомыхъ съ тамошними законами быстротой, и скоро достигъ невѣроятной цифры 100 коровъ. Опять възысканіе, опять судейскій приговоръ, гласящій на этотъ разъ, что воръ и несостоятельный должникъ съ сыновьями своими долженъ

сдѣлаться рабомъ своего кредитора, а его жена и дочери отнынѣ заниматься проституціей. Одна изъ сестеръ Дра, чтобы избѣжать такой горькой участи, вышла замужъ за европейца. Но такова неумолимая жестокость тамошняго закона, что, когда мужъ ея умеръ, она вынуждена была снова обратиться къ тому же судебнымъ порядкомъ навязанному ей, позорному ремеслу. Англійскіе путешественники выкупили Дра и всю его семью, но эпизодъ этотъ, говоритъ Джэмсъ, произвелъ на всѣхъ самое тяжелое впечатлѣніе. Не страшно ли подумать, что есть уголки земного шара, гдѣ человѣческія существа живутъ при такихъ условіяхъ и терпятъ такой гнетъ. Не страшно ли подумать въ особенности, что правители этихъ уголковъ утопаютъ въ роскоши и тщеславіи "передъ міромъ тѣмъ, что ввели въ своемъ государствѣ послѣднія блага цивилизаціи, въ видѣ палаты депутатовъ, отвѣтственнаго министерства и т. п. Справедливость требуетъ замѣтить, впрочемъ, что варварскіе законы, на основаніи которыхъ произнесены были судьей только что упомянутые приговоры надъ семьей Дра, введены не египетскимъ правительствомъ. Это законы туземные, суданскаго, или лучше сказать, арабскаго обычнаго права. Но таже справедливость обязываетъ сказать, — и всѣ цитируемые нами авторы согласно и весьма энергично высказываютъ это, — что египетское правительство не сдѣлало съ своей стороны никогда ни малѣйшей попытки измѣнить эти варварскія законы, какъ равно и не пыталось положить предѣлъ беззаконію и произволу своихъ чиновниковъ. Послѣднихъ оно, напротивъ, поощряло къ этимъ беззаконіямъ, ставя въ обязанность вымогательство отъ населенія большаго количества податей, чѣмъ слѣдовало по имъ же установленной нормѣ.

Удивительно ли, что и арабы и негры питали равно непримиримую, беззавѣтную, равно пламенную и страстную ненависть къ египтянамъ? Эта страстная ненависть явствуетъ изъ каждаго слова Вухты и Лотюра, красной ниткой проходитъ черезъ каждую страницу книги Джэмса. Возстаніе еще не началось, когда послѣдній былъ съ товарищами въ Суданѣ, но оно уже чувствовалось въ воздухѣ, слышалось въ голосѣ туземцевъ, когда они говорили о своихъ мучителяхъ, читалось на ихъ лицахъ, когда они смотрѣли на нихъ. Ни къ европейцамъ вообще, ни къ англичанамъ въ частности они не выказывали ни ненависти, ни недовѣрія. Послѣднее проявлялось лишь въ самомъ началѣ, при первомъ появленіи путешественниковъ, когда туземцы еще не знали навѣрное, кто это такой, и опасались, не новые ли это чиновники, высланные для новыхъ взысканій и поборовъ съ нихъ. Но разъ успокоенные на этотъ счетъ, они принимали путниковъ очень

дружелюбно и охотно помогали имъ во всемъ. Случалось, что цѣлыя сотни арабовъ и негровъ присоединялись къ ихъ свитѣ и охотились вмѣстѣ съ ними по цѣлымъ недѣлямъ, съ благодарностію принимая, если имъ давали за это что-нибудь, но не требуя никакого вознагражденія. Если вѣрить Бухтѣ, нравственность всѣхъ вообще туземцевъ Судана стоитъ на весьма низкой ступени. По Лотюру, они, напротивъ, чрезвычайно нравственны, во всякомъ случаѣ, гораздо выше въ этомъ отношеніи, чѣмъ можно бы ожидать отъ народа, поставленнаго въ такія условія жизни, какія господствовали доселѣ въ Суданѣ. По свидѣтельству Джэмса, они въ отношеніи нравственности не выдаются особенно ни въ хорошую, ни въ дурную сторону. Негры вороваты немножко, но добродушны и услужливы; арабы не прочь нажитыя больше, чѣмъ слѣдуетъ, при каждой торговой сдѣлкѣ, но внѣ торговли честны и умѣютъ держать себя съ достоинствомъ. Между собою они не ладятъ. Негры не любятъ и боятся арабовъ, арабы презираютъ негровъ и, въ случаѣ столкновенія съ ними, относятся къ нимъ съ безпощадной жестокостію. Джэмсу привелось быть свидѣтелемъ одного такого столкновенія. Именно, когда они прибыли въ Гайкоту, нѣсколько негровъ учинили набѣгъ на землю арабовъ изъ племени бени-амерь, у которыхъ убили 27 мужчинъ и мальчиковъ, пасшихъ стадо и угнали 3,000 штукъ скота. Англичане еще не успѣли изготovitъся въ дальнѣйшій путь, какъ уже бени-амерь выступили въ походъ для отмщенія дерзкимъ неграмъ. Тѣ, какъ только узнали объ этомъ, всѣ поголовно убѣжали въ горы и засѣли въ неприступныхъ пещерахъ. Арабы и не подумали слѣдовать за ними, а окружили со всѣхъ сторонъ высоты, гдѣ ютились пещеры негровъ и стали спокойно ждать, пока голодъ вынудитъ*осажденныхъ показаться на свѣтъ божій. Четыре дня сидѣли негры въ своихъ тайникахъ, не подавая признака жизни, на пятый—стали одинъ за другимъ выползать, осторожно пробираясь между камней. И по мѣрѣ того, какъ они появлялись, слѣдившіе за ними арабы ловили ихъ и тутъ же безъ милосердія и пощады, хладнокровно убивали ихъ. До трехъ сотъ человѣкъ, т. е. всѣ, до послѣдняго, сколько ихъ спряталось въ пещерахъ, были такимъ образомъ зарѣзаны, а женщины, приблизительно около 160, и дѣти уведены въ плѣнъ. Но какъ ни велика рознь между неграми и арабами, какъ ни сильно расовое отвращеніе послѣднихъ въ черной расѣ, которую они считаютъ неизмѣримо ниже себя и презираютъ гораздо глубже даже, чѣмъ южане Соединенныхъ Штатовъ, есть два фактора служащіе крѣпкой связью между ними и настолько сильно вліяющіе на все население Судана, что оно, при всемъ расовомъ различіи и пле-

менномъ разнообразіи, можетъ быть разсматриваемо какъ единый народъ. Эти два фактора, дѣйствующіе не съ одинаковой силой, но въ одномъ направленіи, суть — ислаимзмъ и вышеупомянутая уже ненависть къ египтянамъ.

Печать ислаимзма лежитъ здѣсь на всемъ населеніи. Ея глубокой—и до послѣдняго времени казалось — неизгладимый слѣдъ явственно выступаетъ въ каждой мельчайшей чертѣ быта. Въ свое время, когда арабы, послѣ завоеванія Амру, внесли его въ Суданъ, ислаимзмъ явился тамъ могучимъ цивилизующимъ началомъ. Онъ уничтожилъ господствовавшій въ странѣ фетишизмъ и поставилъ на его мѣсто возвышающую человѣческой духъ вѣру въ единого, невидимаго Бога. Если смотрѣть на ученіе Магомета съ высоты міровой исторіи, исторіи всего человѣчества въ цѣломъ, то, имѣя въ виду, что оно явилось цѣлыхъ пятьсотъ лѣтъ послѣ божественнаго ученія Христа, его надо счесть несомнѣннымъ шагомъ назадъ. Но если разсматривать его съ точки зрѣнія исторіи лишь той части человѣчества, среди которой ислаимзмъ восторжествовалъ, его нельзя не признать шагомъ впередъ и притомъ значительнымъ шагомъ. Въ Европѣ, среди народовъ фізіологически высшей расы и въ то время умственно и нравственно уже довольно высоко развитыхъ, магометанство не нашло себѣ послѣдователей. Отдѣльныя личности, немногочисленные общественные элементы, принявшіе его на Балканскомъ полуостровѣ, сдѣлали это очевидно изъ одной лишь корысти, а отнюдь не по внутреннему убѣжденію, не по увлеченію самимъ свойствомъ религіи. Этимъ ничтожнымъ и прямо противъ него говорящимъ обращеніемъ только и ограничился успѣхъ ислаимзма, какъ ученія, въ Европѣ. Еслибъ тутъ, въ этой такъ сказать привилегированной, аристократической части свѣта ислаимзмъ оказался не безсильнымъ въ борьбѣ съ распространившимся уже христіанствомъ, это было бы дѣйствительнымъ шагомъ назадъ, печальнымъ историческимъ явленіемъ, которое нельзя было бы даже и объяснить. Но въ Азіи и въ Африкѣ, среди тамошнихъ народовъ, которые и въ силу того, что они фізіологически принадлежать къ низшимъ расамъ, и въ силу окружающихъ ихъ, неблагоприятныхъ для сильной и напряженной умственной дѣятельности климатическихъ условій, и, наконецъ, въ силу хода исторической жизни своей, не были подготовлены къ воспріятію слишкомъ для нихъ, въ тогдашнемъ ихъ состояніи, возвышеннаго ученія Христа, хотя смутные слухи о немъ и доходили до нихъ—для тѣхъ народовъ исламъ былъ безспорнымъ прогрессомъ; среди нихъ онъ долженъ былъ восторжествовать, потому что являлся морализующей силой и не опускалъ, а поднималъ ихъ до себя. Онъ тамъ и восторжествовалъ и пустилъ

такіе глубокіе корни, что въ теченіе долгихъ вѣковъ казалось, будто эти народы никогда больше не пойдутъ дальше въ своемъ развитіи. Мертвенная и мертвящая неподвижность составляетъ къ сожалѣнію, органическое свойство ислама. Совершенно справедливо говорить о немъ англійскій писатель Пальгрэвъ: «Исламъ безжизненъ и, по причинѣ своей безжизненности, онъ не можетъ ни расти, ни двигаться впередъ, ни измѣняться. Неподвижность его пароль и самое существенное его условіе. Коранъ устанавливаетъ прочныя, разъ навсегда неизмѣнныя формы общежитія. Въ немъ заключается подробнѣйшее и рѣзко определенное какъ церковное, такъ и свѣтское законодательство. Онъ регулируетъ безусловно всѣ отношенія своихъ послѣдователей къ Богу, къ властямъ, къ семьѣ, къ рабамъ, къ ближнимъ, ко всему остальному человѣчеству правовѣрному и неправовѣрному, опредѣляетъ подати и милостыню, права и обязанности князей и влстителей. Словомъ, нѣтъ той жизненной сферы, нѣтъ того мельчайшаго проявленія человѣческой дѣятельности, которыхъ Коранъ не касался бы и для которыхъ не предписывалъ бы строжайше определенныхъ правилъ. Самодѣятельности человѣка онъ не предоставляетъ рѣшительно ничего и, напротивъ, подавляетъ умъ, уничтожаетъ волю. Безукоризненное слѣдованіе предписаніямъ Корана — это вѣчное прозябаніе, вѣчная, непробудная, граничащая со смертію умственная и нравственная спячка. Къ счастью магометанскихъ народовъ, то самое, что составляло доселѣ источникъ невыразимыхъ страданій для нихъ:—ихъ печальное, безотрадное политическое положеніе, породило новую для нихъ, могучую силу, которая подкопала и продолжаетъ подкапывать крѣпкіе корни исламизма и въ настоящее время уже начинаетъ постепенно обнажать и расшатывать ихъ». Мы сейчасъ вернемся къ этой благодѣтельной силѣ и ея дѣйствию на магометанскіе народы Азии и Африки, а теперь займемся, для сохраненія связи изложенія, социальнымъ строемъ жизни суданскихъ обитателей и обусловливаемымъ ихъ невѣжественной темнотой всемогущимъ вліяніемъ факировъ среди нихъ.

Факиръ (по арабски въ Суданѣ это слово произносится *факит*, во множественномъ *факим*) соединяетъ въ одномъ своемъ лицѣ духовнаго пастыря, учителя, судью и врача. Онъ повѣренный и неизмѣнный участникъ всѣхъ, какъ крупныхъ, такъ и мельчайшихъ событій жизни каждаго члена своей общины. Что бы ни случилось съ магометаниномъ—суданцемъ, намѣренъ ли онъ что нибудь предпринять, или потерялъ что, достигъ-ли успѣха, или потерпѣлъ неудачу, постигли-ли его радость или горе, хочетъ онъ жениться или потерялъ жену, предпринимаетъ ли какую нибудь

куплю или продажу, познакомился ли онъ съ чѣмъ нибудь особеннымъ, поссорился ли съ женою, съ родными или съ пріятелемъ, случилось ли какое нибудь семейное событіе, въ родѣ рожденія или смерти ребенка, заболѣетъ ли самъ или кто изъ близкихъ, встрѣтится ли какое затрудненіе, посѣтитъ ли какое сомнѣніе, религиозное или иное, увидитъ ли онъ какой знаменательный сонъ,—со всѣмъ и всегда обращается суданецъ къ своему факиру. У него онъ ищетъ и помощи, и совѣта, и поддержки, и утѣшенія. Да и къ кому ему обратиться, кромѣ него? Школьнаго учителя нѣтъ и въ поминѣ—имъ является опять таки тотъ же факиръ;—власть представлена ненавистнымъ племенемъ. А главное, развѣ не одинъ факиръ умѣетъ читать и знаетъ Коранъ, развѣ не онъ одинъ можетъ растолковать его, найти въ немъ правильное указаніе на всякій случай въ жизни, утѣшеніе для всякаго горя? Онъ излюбленный слуга Аллаха, представитель его пророка Магомета — кому же и быть руководителемъ бѣдныхъ, темныхъ смертныхъ, какъ не ему. Наконецъ, и могущество, которымъ, волею Аллаха, лично одаренъ каждый факиръ, это могущество таково, что его нельзя не уважать и нельзя не бояться правовѣрному мусульманину. По глубокому убѣжденію суданцевъ да и всѣхъ вообще мусульманъ,—только у суданцевъ этотъ предразсудокъ укорененъ сильнѣе,—существуютъ невидимые духи, *джинны* или *джешмы*, обладающіе способностью вселяться въ человѣческое тѣло, причѣмъ оно становится чѣмъ то среднимъ между обыкновеннымъ человѣкомъ и духомъ, т. е. душа человѣка пріобрѣтаетъ свойство безплотнаго гения. Духи эти бывають добрые и злые. Первые очищаютъ душу человѣческую и ведутъ ее прямо къ Аллаху. Вторые, напротивъ, губяють ее безвозвратно и въ этой и въ будущей жизни. Но и не вселяясь въ тѣло человѣка, духи могутъ причиняють ему массу зла. Именно, они соблазняютъ его, нашептываютъ всякія дурныя желанія и нечестивыя мысли, возбуждаютъ въ немъ зависть къ богатымъ и счастливымъ, прививаютъ ему разныя болѣзни и немочи; но хуже всего—и это ихъ любимый и самый злокозненный приѣмъ—они внушаютъ ему сомнѣнія въ существованіи загробной жизни, заставляють думать, что на томъ свѣтѣ нѣтъ ни рая, ни ада, и что всѣ обѣщанія пророка на этотъ счетъ ложь и обманъ, которыми онъ старался увлечь бѣдныхъ людей. Вотъ этихъ то духовъ факиры имѣють власть устраняють своими заклинаніями, какъ они же одни могутъ и разобрать безошибочно какой именно духъ, добрый или злой, овладѣлъ душою человѣка въ данное время. Но этого мало, что они умѣють распознавать и устраняють духовъ, они могутъ еще и насылать ихъ, когда и на кого вздумаютъ, какъ равно могутъ излѣчивать или насылать и

болѣзни, которыя тоже, волею Аллаха, подчинены власти факировъ. Понятно, что при такихъ условіяхъ жизни и при такихъ понятіяхъ, господствующихъ въ населеніи, вліяніе факировъ среди него безмѣрно и безгранично. Они могутъ заставить своихъ соотечественниковъ сдѣлать все, что захотятъ. Могутъ однимъ словомъ взволновать или успокоить ихъ, приказать имъ двинуться впередъ или смиренно сидѣть по мѣстамъ. И не одинъ суданецъ не осмѣлится противиться своему факиру, ни тѣмъ менѣе какъ бы то ни было оскорбить его. «Ничто, говоритъ Бухта, не можетъ подвинуть истиннаго правовѣрнаго на враждебный поступокъ противъ святаго человѣка, предъ таинственнымъ могуществомъ котораго онъ съ трепетомъ преклоняется. Святые люди пользуются этимъ. Сила ихъ вліянія зависитъ отъ степени ихъ хитрости и ловкости». Вообще, Бухта считаетъ факировъ поголовно обманщиками и плутами, хотя самъ же признаетъ, что образъ жизни ихъ таковъ, что людямъ простымъ и наивнымъ, каковы ихъ соотечественники, не трудно увѣривать въ ихъ святость и уважать ихъ за нее. По его рассказамъ, суданскіе факиры никогда не прибѣгаютъ къ тѣмъ нелѣпымъ самоистязаніямъ, какими прославились факиры индійскіе, но ведутъ жизнь почти аскетическую и, по наружности, безусловно честную, вполне соответствующую ихъ обязанностямъ, какъ духовныхъ лицъ, судей и законоучителей. Роскоши они себѣ не позволяютъ никакой, живутъ въ бѣдности, довольствуясь лишь самымъ необходимымъ для поддержанія жизни, но всегда спѣшатъ на помощь всякой нуждѣ и страданію, всегда стараются выпросить у богатыхъ милостыню для бѣдныхъ, примирить ссорящихся, защитить рабовъ отъ жестокости хозяевъ. Последнее, впрочемъ, имъ не часто приходится дѣлать, потому что хотя рабство господствуетъ во всемъ Суданѣ, какъ и во всемъ Египтѣ вообще, и рабамъ здѣсь, какъ и вездѣ, приходится много и сильно страдать, но не отъ мусульманъ. Когда слышишь или читаешь возмущающіе душу рассказы о звѣрскомъ обращеніи торговцевъ рабами съ ихъ живымъ товаромъ, о страшныхъ мученіяхъ, протерпѣваемыхъ злосчастными неграми между поимкой ихъ и продажей въ Дарфуръ, Донголѣ и пр. рынкахъ этого рода,—когда слышишь подобные рассказы, то можно быть увѣреннымъ, что рѣчь идетъ не о мусульманахъ. За весьма рѣдкими исключеніями, мусульмане хорошо обращаются съ своими рабами, и послѣдніе считаютъ за счастье, за особенное благоволеніе Божіе попасть къ хозяину-мусульманину. На этотъ счетъ показанія всѣхъ путешественниковъ вполне согласны. Да оно, впрочемъ, такъ и быть должно, потому что, по отношенію къ рабамъ и обращенію хозяевъ съ ними, предписанія Корана весьма

опредѣленны и строги, и истинный правобѣрный скорѣе обманетъ родного брата, или убьетъ свободнаго ближняго, чѣмъ тронетъ пальцемъ раба. По увѣренію Лотюра, суданскіе бедуины и беджасы относятся даже «къ рабамъ, какъ бы къ пріемнымъ дѣтямъ своимъ. Разъ купивъ, ихъ никогда болѣе не продаютъ, но принимаютъ въ свое племя, или общину и обращаются какъ съ полноправными членами оныхъ». При этомъ, къ чести мусульманъ надо замѣтить, что они обращаются такъ не съ единовѣрцами, а съ язычниками, ибо, въ Суданѣ по крайней мѣрѣ, негры—мусульмане очень рѣдко попадаютъ въ рабство. Коранъ безусловно воспрещаетъ продажу мусульманина и потому суданскіе послѣдователи ислама не только никогда сами не продаютъ и не покупаютъ своихъ единовѣрцевъ, но и защищаютъ послѣднихъ отъ тѣхъ выродковъ человѣческаго рода, которые въ той несчастной части свѣта устраиваютъ на людей такія же охоты, съ облавами, жогоней и пр., какъ на дикихъ звѣрей. Охотятся, вообще, только на негровъ-язычниковъ и ихъ однихъ покупаютъ мусульмане-арабы въ рабство; но, купивъ, обращаются съ ними, какъ выше сказано, и прежде всего стараются обратить ихъ въ мусульманство; а разъ это обращеніе состоялось, рабъ ео ipso становится свободнымъ человѣкомъ. За это негры, попавшіе въ рабство къ арабамъ-мусульманамъ, проникаются глубокой благодарностью и такъ привязываются къ своимъ хозяевамъ, что становятся самыми вѣрными и преданными на жизнь и смерть слугами ихъ. Даже не принимая ислама — къ чему мусульмане, какъ извѣстно, силою никого не принуждаютъ, они во всемъ стараются подражать хозяевамъ, усваиваютъ всѣ обычаи и манеры и очень скоро проникаются даже ихъ чувствами. Другъ хозяина дѣлается ихъ другомъ, его врагъ — ихъ врагомъ. На войнѣ они являются болѣе рьяными и не только безъ всякаго сравненія болѣе свирѣпными — это ужъ само собою разумѣется—но и болѣе храбрыми бойцами, чѣмъ сами, вообще отличающіеся неустрашимостью, бедуины и громче ихъ выкрикиваютъ извѣстный боевой кличъ арабовъ: «мщеніе, мщеніе, кровавое мщеніе!»

И такъ, факирамъ не часто приходится защищать рабовъ отъ жестокости хозяевъ, но когда изрѣдка представляется такой случай, они никогда не упускаютъ его и въ особенности не пропустятъ ни одного раба безъ того, чтобы не попытаться обратить его въ исламъ, хотя это и не всегда соответствуетъ матеріальнымъ интересамъ хозяевъ. Все это Бухта признаетъ и, тѣмъ не менѣе, считаетъ факировъ плутами. Къ этому, по нашему, не всѣмъ справедливому мнѣнію привели его заклинанія факировъ и тѣ безспорно шарлатанскіе приемы, съ которыми они изгоняютъ

злого духа, лечать больныхъ и т. п. Сравнивая показанія различныхъ путешественниковъ, мы скорѣе склонны раздѣлить мнѣніе Лотюра, увѣряющаго, что если и есть факиры завѣдомые обманщики, то въ самомъ ничтожномъ количествѣ, не болѣе одного на тысячу (ихъ вообще страшное множество въ Суданѣ. Въ городахъ и въ деревняхъ, въ осѣдлыхъ и въ кочевыхъ общежитіяхъ факиры насчитываются десятками и нѣтъ того самаго крошечнаго поселенія, хотя бы въ нѣсколько палатокъ, гдѣ бы не было своего факира). Огромное же большинство ихъ глубоко и твердо вѣрятъ сами въ свою, отъ Аллаха посланную силу, и въ дѣйствительность своихъ чаръ. Кромѣ того, въ дѣлѣ леченія именно они дѣйствуютъ далеко не однимъ шарлатанствомъ. Правда, они сопровождаютъ все это нелѣпыми заклинаніями, нашептываніями и т. п., но вмѣстѣ съ тѣмъ употребляютъ и лекарства, преимущественно растительныя, съ которыми почти всѣ факиры знакомы очень хорошо. У каждаго имѣется непремѣнно запасъ цѣлебныхъ травъ и многіе обладаютъ такими рецептами, съ которыми не худо бы познакомиться и евронеискимъ врачамъ. Это знаніе медицины много содѣйствуетъ усиленію вліянія факировъ на ихъ единовѣрцевъ, и если бы англичане мало-мальски болѣе тактично дѣйствовали въ Суданѣ, они сьумѣли бы воспользоваться этимъ вліяніемъ въ свою пользу. Что касается до египетскаго правительства, то оно имѣло и имѣетъ въ факирахъ самыхъ злыхъ и непримиримыхъ враговъ, усиленно подстрекающимъ народъ къ возстанію. Опять-таки въ противность мнѣнію Бухты и согласно съ мнѣніемъ Лотюра, мы думаемъ, что это явленіе вполнѣ естественное и что особенно глубокая ненависть факировъ къ египтянамъ служить неизбѣжнымъ слѣдствіемъ занимаемаго ими положенія въ народѣ, а вовсе не корыстности ихъ. Сравнительно болѣе образованные (нѣкоторые изъ факировъ не грамотны; но если не всѣ въ состояніи читать коранъ, то всѣ до одинаго знаютъ наизусть и умѣютъ толковать его), они должны были яснѣе другихъ видѣть и сильнѣе чувствовать всю несправедливость и все безобразіе окружающихъ ихъ условій. Чѣмъ умнѣе и развитѣе нравственно былъ факиръ, тѣмъ больше должна была поражать его рѣзкая несообразность страшной дѣйствительности съ тѣмъ царствомъ божіимъ, котораго желалъ Магометъ; чѣмъ добрѣе и мягче было его сердце, тѣмъ больше должно оно было обливаться кровію, при видѣ невыносимыхъ страданій его угнетенныхъ братьевъ и единовѣрцевъ. Какъ могъ онъ не страдать постоянно, онъ, самъ суданецъ и подданный египтянъ, на себѣ выносившій всю тяжесть ихъ господства, когда Джэмсъ, человекъ посторонній, пріѣхавшій въ Суданъ ради удовольствія, говоритъ, что все это удовольствіе было ему отравлено

видомъ неисходныхъ нищеты и горя, который встрѣчалъ его повсюду. «Нигдѣ», объясняетъ онъ, «не видалъ я довольнаго, счастливаго лица, даже лица дѣтей носятъ характеръ постоянной тоски, постояннаго страха, я и не могу выразить, какое тяжелое впечатлѣніе это производитъ на душу». А когда его бѣдныя, невѣжественныя единовѣрцы приходили къ факиру жаловаться на свою горькую судьбу и спрашивать его, знающаго законъ пророка, согласны ли съ этимъ закономъ тяжести, возлагаемыя на нихъ, бѣдняковъ, чужеземцемъ, какъ могъ онъ не проникаться злобой къ этому чужеземцу, ненавидѣть всюю силою души и власть, и все племя, своимъ грубымъ тираническимъ деспотизмомъ не только въ конецъ раззорявшихъ, но и развращавшихъ его братьевъ? Развращавшихъ тѣмъ, что они убивали въ нихъ всякія нравственныя понятія, заставляли поневолѣ утрачивать всякое сознание различія между добромъ и зломъ, правомъ и произволомъ, моимъ и твоимъ, и, лишая ихъ этихъ понятій, этого сознания, отличающихъ человѣка отъ животнаго, тѣмъ самымъ ввергали ихъ въ бездну безнравственности, въ которой они должны погибнуть безвозвратно, если какое-либо чудо не спасетъ ихъ. А разъ эта мысль о необходимости спасенія овладѣвала его душою, гдѣ ему было искать средствъ этого спасенія, этого чуда, какъ не въ Коранѣ, который одинъ составлялъ почти всю сумму знаній факира, и не въ томъ, въ чемъ и пророкъ искалъ въ свое время опоры, въ силѣ самого народа, въ его вѣрѣ и его воинственномъ духѣ. Принимая все это во вниманіе, нельзя не видѣть, что факиры не могли не явиться агитаторами и подстрекателями народа къ возстанію, тѣмъ болѣе, что Коранъ допускаетъ и судъ надъ неисполняющими своихъ обязанностей властелинами, и осужденіе и даже лишеніе ихъ власти. Слѣдовательно, проповѣдывая возмущеніе, факиры не нарушали буквы ученія пророка. Правда, онъ не говоритъ о вооруженномъ возстаніи и таковаго своимъ послѣдователямъ не разрѣшаетъ, но въ виду безчеловѣчнаго отношенія египетской власти къ суданцамъ, у кого хватить духу поставить въ вину ихъ факирамъ то обстоятельство, что они въ этомъ случаѣ позволили себѣ натяжку въ толкованіи Корана. Не были ли бы они презрѣнными людьми, а ихъ народъ окончательно выродившимся, если бы этого не случилось?..

Однимъ изъ такихъ факировъ былъ и Махди прежде, чѣмъ выступилъ пророкомъ и вождемъ своего народа. У авторовъ, сочиненіями которыхъ мы пользуемся, находимъ, къ сожалѣнію, мало данныхъ о Махди, или, правильнѣе говоря, мало личнаго о немъ сужденія авторовъ, освѣщенія его личности и дѣятельности и мотивовъ послѣдней. Это въ значительной степени объясняется

конечно тѣмъ, что въ то время, когда всѣ они были въ Суданѣ, возстаніе, уже подготавливавшееся, еще не разразилось, и Махди, хотя и пользовался большимъ уваженіемъ, большимъ вліяніемъ и славой среди своихъ, ничего еще не совершилъ такого, что заставило бы европейцевъ обратить на него особенное вниманіе. Особенно понятно такое умолчаніе со стороны Лотюра, посѣтившаго Суданъ гораздо ранѣе Джамса и Бухты, когда грядущее возстаніе можно было лишь предчувствовать, но еще не предвидѣть въ ближайшемъ будущемъ. Совершенно понятно оно и со стороны Джамса, у котораго изученіе и описаніе политической жизни Судана, настроенія и стремленій его населенія и т. п. не входило даже въ планъ произведенія, имѣющаго характеръ записокъ туриста, а вовсе не ученаго изслѣдованія. Но умолчаніе это со всѣмъ непонятно со стороны Бухты, который именно съ ученой цѣлью изучалъ страну и касается всѣхъ сторонъ жизни и всѣхъ явленій въ ней, всѣхъ—кромѣ мощной центральной фигуры возстанія, фигуры человѣка, увлекшаго за собою все населеніе, сгруппировавшаго вокругъ себя всѣхъ его дѣятелей и вождей. А между тѣмъ, Махди безспорно заслуживалъ болѣе серьезнаго къ нему отношенія. Во всякомъ случаѣ это человѣкъ замѣчательный, необыкновенный, представляющій въ полной мѣрѣ тотъ типъ великихъ реформаторовъ, которые, можетъ быть, въ наше время только и могутъ появляться въ мусульманскомъ мірѣ. Уже по этому одному человѣкъ этотъ представляетъ значительный психологическій и историческій интересъ и тѣмъ, повторяемъ, удивительнѣе невниманіе къ нему Бухты. Онъ, впрочемъ, признаетъ его геніальность; только, предубѣжденный противъ факторовъ вообще, онъ и Махди причисляетъ къ сонму плутовъ и обманщиковъ. Онъ выражается о немъ такъ: «Это геніальный шулеръ, который мечет свои фальшивыя карты съ видомъ честнаго человѣка». Отзывъ, какъ видятъ читатели, по меньшей мѣрѣ странный, ибо ничто, рѣшительно ничто въ теперь уже достаточно извѣстномъ образѣ дѣйствій Махди не даетъ права счесть его не только обманщикомъ, но и просто не вполне искреннимъ человѣкомъ. Онъ, очевидно, честолюбивъ, видимо издавна уже стремиться занять первое мѣсто въ своей странѣ, среди своего народа и издавна составилъ планъ дѣйствія; но чтобы онъ дѣлалъ это все не по глубокому убѣжденію, не ради общаго блага, а изъ узко-эгоистическихъ, корыстныхъ цѣлей, этого нѣтъ ни малѣйшихъ основаній предположить. Какъ ни мало прямыхъ данныхъ о немъ содержится въ цитируемыхъ нами сочиненіяхъ, но изъ однихъ ужъ сообщаемыхъ ими біографическихъ подробностей, особенно если сблизить ихъ съ разсказами англійскихъ и въ осо-

бенности французскихъ корреспондентовъ, лично познакомившихся съ Махди, частью передъ самымъ возстаніемъ, частью уже во время его, можно составить достаточно ясное представленіе о личности новаго мусульманскаго пророка. И надо сознаться, что представленіе это ни одной чертой не напоминаетъ тотъ нелестный портретъ, который такъ рѣшительно и смѣло, нѣсколькими штрихами набрасываетъ Бухта. Въ судьбѣ Махди много общаго съ судьбою Магомета и, какъ читатели увидятъ, есть также нѣкоторыя общія черты и въ личностяхъ обоихъ пророковъ. Тотъ и другой люди низкаго происхожденія и дѣти очень бѣдныхъ родителей. Магометъ сынъ пастуха, самъ бывший въ ранней юности пастухомъ, а въ молодости верблюдовожатымъ; Махди сынъ плотника, къ дѣтству помогавшій отцу въ его ремеслѣ и ходившій съ нимъ изъ города въ городъ на поискахъ работы. Оба рано осиротѣли и должны были собственными силами пробивать себѣ дорогу въ жизни. Оба, несмотря на труды и лишенія, ревностно учились всему, что могла дать имъ ихъ среда. У обоихъ съ молодыхъ лѣтъ умъ принялъ серьезное направленіе, оба любили останавливаться мыслию надъ отвлеченными предметами и выказывали склонность къ критикѣ существующихъ порядковъ и господствующихъ понятій. Магометъ охотнѣе всего задумывался надъ различными религіозными ученіями того времени, съ которыми знакомился въ своихъ многочисленныхъ путешествіяхъ съ караванами; Махди изучалъ Коранъ. Оба любили уединяться отъ людей и въ тиши уединенія предаваться собственнымъ глубокимъ размышленіямъ и планамъ. Оба долгое время вели суровый, почти аскетическій образъ жизни, и у обоихъ нервная система, глубоко потрясенная, дошла до одинаковаго состоянія болѣзненности. Извѣстно и нынѣ уже исторически доказано, что Магометъ страдалъ галлюцинаціями; Махди тоже часто говоритъ о голосахъ и видѣніяхъ, которые представляются ему, и нѣтъ никакого фактическаго основанія утверждать, чтобы это была неправда. Конечно, можетъ быть (особенно если хоть отчасти принять на вѣру характеристику Бухты), что онъ умышленно сочиняетъ эти голоса и видѣнія, частью для произведенія большаго впечатлѣнія на суевѣрные умы своихъ единовѣрцевъ, частью для усиленія собственнаго своего сходства съ Магометомъ, которое онъ, очевидно, знаетъ и давно оцѣнилъ. Но также возможно, что онъ и въ самомъ дѣлѣ тоже подверженъ галлюцинаціямъ, хотя, можетъ быть, и не въ такой сильной степени, какъ Магометъ. Это тѣмъ болѣе вѣроятно, что этого рода болѣзненные нервныя явленія часто являются слѣдствіемъ аскетической жизни, соединенной съ чрезмѣрнымъ напряженіемъ умственной дѣятельности, въ

особенности когда умъ постоянно направленъ на одну и ту же мысль. Оба, и Махди и Магометъ, до сорока лѣтъ оставались почти въ полной неизвѣстности и только, перейдя за этотъ возрастъ, выступили на арену общественной дѣятельности. Наконецъ,—и въ этомъ можетъ быть самая знаменательная черта сходства ихъ и ихъ судьбы — оба нашли въ окружающей ихъ средѣ почву, вполне готовую для воспринятія ихъ завѣтныхъ идей, оба явились высшими, типическими выразителями стремлений своего народа, еще не формулированныхъ, но несомнѣнно существующихъ уже въ зачаточномъ состояніи мыслей и желаній. Сила обоихъ этихъ пророковъ Ислама и залогъ ихъ успѣха именно въ томъ и заключаются, что каждый изъ нихъ лучше и раньше всѣхъ своихъ современниковъ понялъ духъ своего времени и первый сталъ во главѣ движенія, которому не хватало только предводителя, чтобы неудержимымъ потокомъ ринуться впередъ.

Въ самомъ дѣлѣ, когда Магометъ выступилъ съ своимъ ученіемъ, лишенное идеала, бессмысленное идолопоклонство не удовлетворяло болѣе арабовъ. Они уже презирали своихъ идоловъ, глумились надъ ними, дѣлая ихъ предметомъ грубаго издѣательства. Еще темный, но уже до нѣкоторой степени развитый постоянными общеніями съ евреями, умъ народа волновался отвлеченными вопросами религіи, душа народа жаждала вѣры, но вѣры возвышенной, вѣры въ силу, передъ которой она могла бы преклониться, а пошлое язычество было ей противно, и она отъ него отвернулась. Безвѣріе порождало безнравственность, и лучшие люди страны глубоко скорбѣли, ища выхода изъ гибельнаго положенія. Они искали, и надѣялись, и ждали провозвѣстника истины, а вмѣстѣ съ ними ждалъ его народъ. Арабы отъ медискихъ евреевъ слышали о пророчествахъ, обѣщавшихъ скорое пришествіе Мессіи, долженствующаго освободить людей отъ рабства, отъ всѣхъ гнетущихъ ихъ золь и сомнѣній. Сами находившіеся, такъ сказать, на распутьи, не зная, куда идти и что начать, они съ жадностью ухватились за это пророчество, приняли его какъ относящееся и къ нимъ, и съ твердымъ убѣжденіемъ ждали и своего Мессію. Вотъ при какихъ условіяхъ явился Магометъ, явился съ ученіемъ, вполне соотвѣтствовавшимъ характеру и духу народа, какъ разъ по плечу ему въ тогдшнемъ состояніи умственнаго развитія. Успѣхъ былъ ему обезпеченъ заранѣе, и ничего нѣтъ удивительнаго, что онъ въ противоположность нѣкоторымъ другимъ, несравненно выше его стоявшимъ, великимъ реформаторамъ этого рода, успѣлъ еще при жизни своей довести свое дѣло до конца и умеръ, окруженный благоговѣннымъ поклоненіемъ

Всего народа. Таково же приблизительно, (за несущественнымъ въ этомъ случаѣ отсутствіемъ пророчествъ), и положеніе Махди. Для него тоже готова была почва и успѣхъ обезпеченъ предшествующимъ развитіемъ народной жизни. Мы уже упоминали выше, что самая глубина несчастія суданскихъ арабовъ породила въ нихъ силу, которая не только воодушевила ихъ и подвинула къ самозащитѣ, но и пробила ту мертвящую броню умственной неподвижности, въ какую на цѣлые вѣка заковалъ ихъ Магометовъ Коранъ. Эта сила — политическая мысль, пробудившаяся въ массѣ арабскаго народа, критическое отношеніе къ существующимъ порядкамъ, стремленіе исправить ихъ, освободиться изъ подъ ихъ гнета и двинуться впередъ. *Mutatis mutandis* повторилось то самое, что было передъ появленіемъ Магомета. Настоящее его положеніе не удовлетворяло народа. Гнетущая дѣйствительность слишкомъ тяжелымъ бременемъ лежала на немъ и заставляла работать его мысль на этотъ разъ въ сферѣ не религіозныхъ, а политическихъ и экономическихъ идей и работать самостоятельно, не взирая на всѣ предписанія корана. Кромѣ нестерпимаго гнета египтянъ, этому не мало способствовало и влияніе европейцевъ, которые, какъ коршуны, слетались отовсюду въ quasi-независимый Египетъ и естественно проникали оттуда и въ Суданъ, по крайней мѣрѣ въ ближайшія къ Египту и къ морю провинціи его. Эти европейцы были по большей части людьми въ нравственномъ отношеніи весьма невысокаго разбора. Они являлись къ цвѣтнымъ расамъ съ цѣлью эксплуатировать ихъ и, по возможности, сосать изъ нихъ кровь, но вмѣстѣ съ тѣмъ они вносили съ собою свои европейскія идеи и понятія, и эти идеи и понятія незамѣтно прокрадывались въ душу туземцевъ и будили въ ней такія чувства, которыхъ, казалось, тамъ и не было совсѣмъ. Подъ влияніемъ этихъ двухъ факторовъ: египетскаго гнета и дѣйствія европейскихъ идей, вносимыхъ иностранцами, сознаніе и чувство національности появилось въ арабахъ, т. е. именно то сознаніе и чувство, которыя совершенно отсутствовали доселѣ во всѣхъ народахъ, исповѣдующихъ Исламъ. Единовѣріе, а не единство происхожденія и крови стояло у нихъ всегда на первомъ планѣ. Братомъ имъ былъ не сынъ одной съ ними земли, говорящей съ ними однимъ языкомъ, а мусульманинъ, къ какой бы націи онъ ни принадлежалъ, какимъ бы языкомъ ни говорилъ, въ какой бы части свѣта ни обиталъ. Султанъ турецкій, падишахъ, повелитель правовѣрныхъ всѣми одинаково признавался за главу мусульманскаго міра и никому изъ его подданныхъ, фактическихъ или номинальныхъ, не приходило въ голову протестовать противъ этого главенства, тѣмъ

изъ него, но только тѣ мѣста, гдѣ повѣствуется о героическихъ подвигахъ; догматическая часть книги не представляетъ для нихъ никакого интереса и они съ ней даже мало знакомы. За то они болѣе всѣхъ другихъ свободолюбивы и горды и чуждая корану идея національности и прирожденныхъ правъ каждой націи привилась къ нимъ очень сильно и пустила глубокіе корни...

Бухта даетъ въ своей книгѣ очень интересныя подробности о началѣ возстанія, о первыхъ военныхъ дѣйствіяхъ и о мѣропріятіяхъ и ошибкахъ египетскаго правительства, ошибкахъ совершенныхъ болѣею частію по внушенію англичанъ. Но такъ какъ почти всѣ эти подробности извѣстны читателямъ изъ газетъ и притомъ не входятъ въ планъ нашего очерка, то мы и считаемъ излишнимъ приводить ихъ.

Н. С.

II

Н О В Ы Я К Н И Г И.

Вѣчно-наслѣдственный наемъ земель на континентѣ Западной Европы. Н. Карышевъ. С.-Петербургъ. 1885 г.

Книга г. Карышева принадлежитъ къ числу тѣхъ экономическихъ изслѣдованій, которыя, не смотря на свой специальный характеръ, представляютъ значительный интересъ и для неспеціалистовъ. Причина тому — жизненность предмета, изслѣдованію котораго посвящена книга. Дѣйствительно, изученіе явленій вѣчно-наслѣдственнаго найма земель, будучи въ высшей степени интересно само по себѣ, представляетъ еще особый интересъ для русскаго читателя въ виду существованія въ Россіи многочисленныхъ классовъ вѣчно-наслѣдственныхъ арендаторовъ (бывшіе государственные крестьяне, чиншевики, хизаны и т. д.).

Въ книгѣ г. Карышева содержится описаніе формъ вѣчно-наслѣдственной аренды въ двухъ французскихъ провинціяхъ Пикардіи (*droit de marche*) и Бретани (*domaine congéable*), въ Португаліи (*afogamento*), въ Италіи (*contratto di livello*), въ голландской провинціи Гронингенъ (*beclerping*) и Мекленбургъ-Шверинѣ (*Erbpacht*); можно пожалѣть только, что г. Карышевъ ограничился континентомъ Западной Европы и не прибавилъ къ приведеннымъ формамъ еще описанія «ульстерскаго обычая» (въ Ирландіи): тогда имъ были бы, кажется, вполне исчерпаны формы вѣчно-наслѣдственной аренды, существующія въ западной Европѣ.

Изслѣдованіе г. Карышева представляетъ еще особый интересъ въ томъ отношеніи, что оно составлено почти исключительно по *мѣстнымъ* источникамъ. До сихъ поръ явленія вѣчно-наслѣдственнаго найма въ Западной Европѣ были извѣстны русскою публикѣ по классической работѣ Лавелла, да по краткимъ рецензіямъ относящагося къ данному предмету труда Дженкинса.

Но работы Лавелэ и Дженкинса разсматривали предметъ въ самыхъ общихъ чертахъ, оставляя безъ вниманія существеннѣйшія въ практическомъ отношеніи детали, и представляли не мало неточностей. Поэтому мысль г. Карышева обратиться для изученія предмета къ мѣстнымъ изслѣдованіямъ, въ которыхъ предметъ разработанъ подробно и въ которыхъ свѣдѣнія о предметѣ всего скорѣе могутъ быть точны, нельзя не признать въ высшей степени удачною. Приведеніе этой мысли въ исполненіе могло, однако, встрѣтить значительныя, трудно устранимыя препятствія, состоящія въ недоступности мѣстныхъ литературъ, въ родѣ голландской или португальской. Г. Карышеву удалось избѣжать этихъ препятствій, благодаря любезности голландскихъ и португальскихъ ученыхъ и дѣятелей, практически знакомыхъ съ вопросомъ, сдѣлавшихъ для г. Карышева важнѣйшія выборки изъ посвященныхъ вопросу мѣстныхъ работъ, переведшихъ таковыя на французскій языкъ и даже составившихъ специально для работы г. Карышева особыя записки по данному вопросу. Такимъ образомъ, книга г. Карышева представляетъ собою сводъ имѣющагося въ мѣстныхъ литературахъ фактическаго матеріала о существующихъ въ Западной Европѣ формахъ вѣчно-наслѣдственнаго найма и мнѣній мѣстныхъ изслѣдователей о значеніи этихъ формъ.

Описанныя г. Карышевымъ формы вѣчно-наслѣдственнаго найма представляютъ собою глубоко-жизненныя явленія, выработанныя многовѣковою жизнью западно-европейскихъ массъ, безъ участія и чаще при прямомъ противодѣйствіи законодательства, и только въ новѣйшее время отчасти признанныя и закрѣпленныя закономъ. Только одна изъ описанныхъ формъ, *Erbpacht* въ Мекленбургѣ - Шверинѣ, является исключеніемъ, представляя собою продуктъ единственно государственной дѣятельности новѣйшаго времени. Какъ первыя формы вѣчно-наслѣдственнаго найма, такъ и послѣдняя, представляютъ поэтому особую поучительность. Исторія *droit de marché*, *afogamento* и проч. показываетъ, какою живучестью отличаются обычно-правовыя формы, выработаемыя самой жизнью народныхъ массъ, и какую энергію обнаруживаютъ эти массы при отстаиваніи подобныхъ формъ. Не менѣе поучительно отношеніе новѣйшаго португальскаго и голландскаго законодательства къ явленіямъ вѣчно-наслѣдственнаго найма, особенно для Россіи, гдѣ предстоитъ рѣшеніе вопроса о чиншевикахъ, хизанахъ и т. п., и гдѣ поднимается вопросъ объ обращеніи въ вѣчно-наслѣдственныхъ арендаторовъ всѣхъ крестьянъ. Наконецъ, исторія *Erbpacht*'а показываетъ, какъ могутъ быть благотворны государственныя мѣропріятія, когда они

Если возможно, пользуясь мимикой, отличить ложное страданіе отъ дѣйствительнаго, то, можетъ быть, возможно также опредѣлить, пользуясь тѣмъ же средствомъ, силу извѣстнаго душевнаго аффекта. А можетъ быть удастся найти въ мимикѣ и въ анатоміи лица критерій, по которому могутъ быть опредѣляемы характерныя умственныя способности человѣка. Можно сказать, что практическая примѣнимость нѣкоторыхъ наукъ есть ихъ критерій, и не напрасно король Гумбертъ распрашивалъ Мантегацца—нашелъ ли онъ средство опредѣлять по внѣшнимъ признакамъ умъ человѣка? Королю подобная наука, конечно, была бы весьма небезполезна.

Вотъ анатомическіе признаки лица интеллигентнаго и лица глупаго:

перваго—	втораго—
большая голова, красивый овалъ	голова маленькая или неправильная,
лобъ широкій, высокій, выступающій,	лобъ узкій, «убѣгающій»,
глаза въ большинствѣ случаевъ большіе,	глаза въ большинствѣ случаевъ маленькіе,
уши маленькія или среднія и красивыя,	уши большія, некрасивыя,
лице маленькое и не мускулистое,	лице большое и мускулистое,
челюсти невыдающіяся,	выдающіяся челюсти,
подбородокъ большихъ размѣровъ и выступающій	подбородокъ убѣгающій и маленькій

Изъ этого краткаго отчета о книгѣ Мантегацца, видно, что, несмотря на то, что она написана нѣсколько поверхностно, она весьма достойна прочтенія. Рисунки, приложенные къ тексту, не служатъ украшеніемъ книги.

Э. Радловъ.

III

НАУЧНАЯ ХРОНИКА.

Движеніе въ области практическаго знанія въ 1884 году.

Лунное затмѣніе 23 сентября 1884 г.—Комета 1812 г.—Новыя наблюденія надъ Марсомъ, Венерой, Сатурномъ и Ураномъ.—Окрашенныя сумерки въ зиму 1883—1884 г.—Необычныя метеорологическія явленія.—Феномень голу-баго солнца.—Серебристый вѣнчикъ около солнца.—Предсказаніе погоды.—Проведеніе электрическаго свѣта на большія разстоянія—Электрическіе желѣзно-дорожныя поѣзды.—Удачныя опыты управленія аэростатами.—По-леты Ренара и Кребса и братьевъ Тиссандье.—Воздушныя торпеды.—Работы на Панамскомъ каналѣ.—Положеніе проекта внутренняго моря въ Америкѣ.—Вопросъ о носгаемыхъ театрахъ.—Успѣхи китайцевъ въ артиллерійской техникѣ.—Вулканическій островъ въ Беринговомъ морѣ.—Землетрасенія въ Англіи и Франціи.—Колебаніе моря въ Монтевидео.—Новый видъ ископаемаго морскаго млекопитающаго.—Гигантское насѣкомое.—Вновь открытое насѣкомое, вредящее винограду.—Жертвы укушеній ядовитыми змѣями.—Помощія рыбы.—Экспедиція Брадцы въ экваторіальную Америку.—Мадагаскаръ, какъ будущая французская колонія.—Бура, какъ антисептическое противу-холерное средство.—Фильтрующія свѣча Шамберлана.—Холерная эпидемія 1884 г.—Значеніе дезинфецирующихъ средствъ.—Прививка яда бѣшеной со-баки.—Прививка жолтой лихорадки—Излеченіе отъ крупы.

Прошлый 1884 годъ не ознаменовался ни однимъ крупнымъ открытіемъ, составляющимъ эпоху, бросающимъ свѣтъ на послѣдующій рядъ годовъ. Работа, совершавшаяся въ теченіе его въ прикладной наукѣ, двигалась обычнымъ, спокойнымъ ходомъ. Это движеніе чувствуется однако, въ каждой отдѣльной наукѣ. Вездѣ есть «новое», вездѣ сдѣлано хотя нѣсколько шаговъ впередъ, вездѣ констатировано еще нѣсколько фактовъ, остававшихся неизвѣстными, и сдѣланы попытки къ объясненію загадочныхъ явленій, болѣе удачныя, чѣмъ въ прошломъ.

Изъ всей обширной области науки мы выбираемъ теперь область практическаго знанія, разумѣя подъ этимъ терминомъ ту сумму явленій и фактовъ, которые такъ или иначе затрогиваютъ

каждаго изъ насъ. При такомъ пониманіи области практической науки, мы не можемъ исключить изъ нея и міра небесныхъ и атмосферныхъ явленій: явленія, вродѣ затмѣній, необычныхъ свѣтовыхъ эффектовъ неба и т. п., не могутъ не останавливать на себѣ нашего вниманія и не могутъ не возбуждать вопроса объ истинномъ значеніи поражающаго насъ зрѣлища.

Вступая въ область астрономіи, мы остановимся на такихъ феноменахъ, которыя оказываютъ на насъ неотразимое вліяніе своею необычностью или таинственностью. Однимъ изъ такихъ явленій всегда были солнечныя и лунныя затмѣнія. Въ прошломъ 1884 г. самымъ любопытнымъ изъ нихъ было полное лунное затмѣніе 22-го сентября нашего стilia, которое было видимо почти во всей Европѣ.

Какъ извѣстно, полное затмѣніе происходитъ, когда земля, во время полнолунія, становится между луною и солнцемъ, заслоняя собою свѣтъ, бросаемый послѣднимъ на луну. Такимъ образомъ получается тѣневой конусъ, входя въ который, луна затмѣвается и остается темной до тѣхъ поръ, пока центры солнца, земли и луны находятся въ прямой линіи или въ близкомъ къ тому направленіи. По мѣрѣ того, какъ луна входитъ въ область тѣни, бросаемою землею, она тускнѣетъ, и свѣтлый край ея уменьшается болѣе и болѣе, покуда она не погрузится въ отѣненное пространство. Но она не кажется совершенно темной и исчезнувшей. Солнечный свѣтъ, облегающій со всѣхъ сторонъ тѣневой конусъ, все-таки настолько озаряетъ послѣдній, что луна чуть свѣтится темнокраснымъ свѣтомъ. Это и можно было замѣтить въ затмѣніи, бывшемъ 22 сентября. Вигурданъ, наблюдавшій его на парижской обсерваторіи, замѣчаетъ, что луна во время затмѣнія имѣла видъ красиваго, совершенно круглаго туманнаго пятна. Въ телескопѣ въ ней можно было различить пепельный цвѣтъ, какой бываетъ у нея на 2-й или 3-й день послѣ новолунія. Невооруженнымъ глазомъ затмившаяся луна могла быть отыскана не сразу, и казалась почти остывшимъ, чуть красноватымъ раскаленнымъ ядромъ.

Въ прошломъ году астрономы наблюдали три кометы, изъ которыхъ одна была возвратившаяся къ намъ комета 1812 г., а двѣ были видимы въ первый разъ. Первая, названная *кометой Понса-Брукса*, для невооруженнаго глаза казалась очень большой. Голова ея блестяла мягкимъ туманнымъ блескомъ, и очень замѣтный хвостъ шелъ, все расширяясь, занимая пространство около пяти градусовъ. Въ телескопѣ голова казалась шарообразной, уплотненной въ срединѣ, которая блестяла почти съ яркостью звѣзды, хотя самое ядро скорѣе можно было угадывать, нежели видѣть ясно. Хвостъ былъ видѣнъ отчетливо, и края его, хотя нѣсколько

тусклые, обрисовывались вполне опредѣленно, въ особенности край, обращенный къ югу. Срединѣ хвоста обозначалась въ видѣ болѣе яркой туманности, проходившей по всей его длинѣ, постепенно темнѣя къ концу. Самый хвостъ оканчивался не остриемъ, а былъ перерѣзанъ поперечно.

Комета появилась въ январѣ 1884 г., и хотя туманное небо мѣшало наблюденіямъ, однако, въ ней было замѣчено нѣсколько любопытныхъ признаковъ. Самое любопытное явленіе была измѣчивость наружнаго вида кометы. До 13-го января ядро кометы сверкало блескомъ звѣзды 3-й величины. Въ ночь на это число оно вдругъ увеличилось въ размѣрѣ, сдѣлалось совершенно круглымъ и окрасилось интенсивнымъ красновато-желтымъ цвѣтомъ, съ бѣлымъ туманнымъ сіяніемъ вокругъ него. На другой день комета опять приняла свою обычную форму. 19-го января это явленіе повторилось съ тѣми же характеристическими признаками, выраженными даже еще сильнѣе, такъ что комету можно было принять за совершенно новую, невидѣнную наканунѣ, а на слѣдующій день, 20-го января, комета вновь приняла свой прежній видъ. Подобныя измѣненія кометы съ нѣкоторою періодичностью были наблюдаемы еще въ первый разъ. Комета исчезла въ апрѣлѣ прошлаго года и появится чрезъ 73 года, если не потерпитъ какихъ-либо превращеній на своемъ длинномъ пути, вмѣщающемъ въ себѣ орбиту Нептуна, планеты самой отдаленной отъ солнца.

Ближайшая къ землѣ планета, Марсъ, оставалась въ прошломъ году предметомъ тщательныхъ и постоянныхъ наблюденій, какими, въ особенности, занимался Трувло на Мѣдонской обсерваторіи. Послѣднія наблюденія его въ мартѣ 1884 г. были тѣмъ интересны, что въ это время было хорошо видно сѣверное полушаріе Марса. На этомъ полушаріи темныхъ пятенъ менѣе, нежели на южномъ. Всего любопытнѣе сѣроватыя пятна, замѣчаемыя на большихъ материкахъ этой планеты. Судя по измѣненіямъ, которыя обнаруживали эти пятна, можно заключить, что это—растительность, измѣняющаяся, смотря по временамъ года.

Другой характеръ представляютъ пятна, которыя Трувло наблюдалъ на Венерѣ. Они постоянны и иногда блестятъ ярче, иногда тусклѣе. Поэтому, ихъ принимаютъ за вершины высокыхъ горъ, поднимающихся выше туманной, непрозрачной оболочки, окружающей планету.

Наблюденія открываютъ все новыя и новыя свойства въ природѣ и болѣе отдаленныхъ, и еще болѣе таинственныхъ для насъ планетъ, каковы: Сатурнъ и Уранъ. Астрономы интересуются каждымъ благоприятнымъ моментомъ для такихъ изслѣдованій. 16-е марта 1884 г. въ Ниццѣ отличалось особенною чистотою воздуха,

и въ телескопъ ясно можно было видѣть три отдѣльныя кольца во внѣшнемъ кольцѣ Сатурна. Наблюденіе показало тогда, что во внѣшнемъ кольцѣ произошли измѣненія. Наблюденія Трувло въ Медонѣ подтвердили предположенія ницскаго астронома Перротена. Трувло убѣдился, что кольца Сатурна не постоянны, а напротивъ, весьма измѣнчивы. Вслѣдствіе того, давно уже высказавшаяся гипотеза, что эти кольца состоятъ изъ множества мелкихъ спутниковъ, самостоятельно обращающихся около планеты, получаетъ значительную степень вѣроятности. Она объясняетъ также и то обстоятельство, почему до сихъ поръ не могъ быть опредѣленъ періодъ обращенія колецъ. Гипотеза, о которой мы говоримъ, замѣчательнымъ образомъ поддерживается теоретическими соображеніями Гирна. Названный ученый доказывалъ, что пояса колецъ могутъ существовать только при томъ условіи, если они образованы изъ твердыхъ осколковъ, діаметры которыхъ могутъ измѣняться въ обширныхъ предѣлахъ, но которые раздѣлены между собою значительными пустыми промежутками и движутся, каждый въ отдѣльности, вокругъ планеты. Такое совпаденіе теоріи съ результатами наблюденія позволяетъ окончательно установить ученіе о томъ, что кольца Сатурна—агломератъ отдѣльныхъ спутниковъ.

Ясная погода 18 марта прошлаго года позволила ознакомиться ближе съ пятнами Урана. Уранъ былъ очень красивъ, и края его диска обозначались особенно ясно. Въ общемъ видѣ онъ походитъ на Марсъ. На поверхности диска были замѣтны два различныхъ оттѣнка — темный оттѣнокъ на сѣверо-западномъ полушаріи и голубовато-бѣлый на юго-восточномъ. Общій видъ и неопредѣленная продолжительность явленія указываютъ, что въ настоящемъ случаѣ мы имѣемъ дѣло скорѣе съ свѣтовой полосой, чѣмъ съ обыкновенными пятнами.

Прошлый годъ ознаменовался метеорологическими явленіями исключительнаго интереса, наблюдавшимися почти повсемѣстно. Мы говоримъ о замѣчательно окрашенныхъ утреннихъ и вечернихъ зарядахъ или цвѣтномъ сумеречномъ освѣщеніи, которое можно было видѣть, между прочимъ, и въ Петербургѣ, въ началѣ 1884 г. Это явленіе занимало и публику, и ученыхъ. Послѣдніе долго спорили о причинѣ его, и споры ихъ остались еще не вполне рѣшенными.

Полагая, что описываемое явленіе занимало многихъ изъ нашихъ читателей, мы подробнѣе остановимся на немъ.

Дѣйствительно, оно не могло не удивлять и своей красотой, и своей необычностью. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ оно было особенно поразительно. Аллюаръ, директоръ обсерваторіи на Пюи-де-Домъ,

въ Оверни, описываетъ его слѣдующимъ образомъ: «Съ конца ноября 1883 г., это явленіе происходило каждый разъ, когда горизонтъ былъ чистъ, и при восхожденіи, и при захожденіи солнца. Въ утренніе и вечерніе сумерки красновато-оранжевый свѣтъ разливался на большомъ пространствѣ. 27 декабря 1883 г. описываемое явленіе заслуживало особеннаго вниманія. Въ этотъ день надъ всѣми равнинами средней Франціи простирался густой слой облаковъ около 1000 метровъ толщиною. Изъ этой густой массы поднимались только самыя высокія горныя вершины. Солнце освѣщало верхній слой облаковъ, походившій на затихшее море, усѣянное островками и залитое свѣтомъ. Закатъ былъ великолѣпнѣе, и небо было очень чисто. Оно окрасилось въ яркій, красновато-оранжевый цвѣтъ, какъ только солнце погрузилось въ облака. Свѣтъ былъ такъ ярокъ, что позволялъ читать еще черезъ полтора часа послѣ захожденія солнца.»

17-го января (нов. ст.) прошлаго года описываемое явленіе обнаружилось и въ Парижѣ съ особенной интенсивностью. Около 5 часовъ вечера, на западѣ горизонтъ окрасился по всему протяженію въ ярко-красный цвѣтъ. Солнце было закрыто густыми облаками, но это не мѣшало такому сильному освѣщенію горизонта, что оно казалось заревомъ колоссальнаго пожара. Ярко-окрашенная заря замѣчалась въ Парижѣ втеченіе всей зимы 1883—1884 г., но 17-е января это окрашиваніе, повидимому, дошло до своей крайней напряженности.

Суказъ въ Компанѣ наблюдалъ подобное явленіе втеченіе всего декабря 1883 г. Каждое утро, при восхожденіи солнца, небо на югѣ и юго-востокѣ окрашивалось въ ярко-красный цвѣтъ, и тоже происходило вечеромъ на западѣ, независимо отъ ясности неба. Когда небо было чисто, звѣзды просвѣчивали сквозь эту красную прозрачную занавѣсь. Свѣтъ былъ на столько силенъ, что довольно замѣтно озарялъ внутренность комнаты и видѣлялъ находившіеся въ ней предметы. 24-го января 1884 г. это явленіе предстало въ чрезвычайно красивомъ и величественномъ видѣ. Въ 5 час. 20 мин. небо было очень чисто, съ немногими маленькими облачками, пронизанными мѣстами фіолетовымъ свѣтомъ. На западѣ горизонтъ былъ кроваво-красный; надъ нимъ тянулись полосы оранжево-желтаго цвѣта, а выше, ближе къ западу, преобладалъ фіолетовый оттѣнокъ. Всѣ эти цвѣта сливались другъ съ другомъ и слабо отражались на противоположной восточной сторонѣ горизонта. Великолѣпіе этого зрѣлища усиливалось еще тѣмъ, что Венера, блестящая на высотѣ 30 град., казалась брилліантомъ, сияющимъ на красновато-лиловомъ, а впоследствии на красномъ фонѣ. Этотъ фонъ все блѣднѣлъ, и въ 6

часовъ планета еще отчетливо сверкала надъ самымъ горизонтомъ. На востокъ Юпитеръ ярко горѣлъ на красноватомъ отблескѣ, падавшемъ съ запада.

То же явленіе, иногда съ еще большей силой, происходило и въ другихъ частяхъ свѣта. Пелаго, находившійся въ С.-Полѣ, на островѣ Соединенія, начиная съ 8-го сентября 1883 г., сталъ замѣчать, вскорѣ послѣ захода солнца, при наступленіи сумерекъ, очень короткихъ въ тропическихъ странахъ, темно-красный, кровавый свѣтъ, обнимавшій градусовъ около 15 на западной части горизонта. На другой и на слѣдующіе дни это явленіе стало еще замѣтнѣе и распространеннѣе. Черезъ часъ послѣ заката, яркое освѣщеніе медленно угасало и наступала темная тропическая ночь. Около конца сентября окрашиваніе зари стало еще интенсивнѣе. Въ теченіе октября и ноября оно представляло совершенно волшебное зрѣлище. Солнце садилось, день быстро угасалъ, но затѣмъ вдругъ разноцвѣтныя вертикальныя полосы освѣщали горизонтъ до самаго зенита. На томъ мѣстѣ, гдѣ скрылось солнце, сперва появлялось зеленоватое окрашиваніе, потомъ желтое, оранжевое, и, наконецъ, темно-красное, сливаясь съ глубокою лазурью неба. Это продолжалось полчаса или три четверти часа, затѣмъ краски блѣднѣли и постепенно гасли. По утрамъ замѣчалось то же явленіе, но съ меньшей силой. Съ половины декабря, оно стало ослабѣвать, и 31-го декабря совсѣмъ исчезло.

Сопоставляя наблюденія Пелаго съ подобными-же наблюденіями, сохранившимися въ корабельныхъ журналахъ, мы замѣчаемъ, что описываемая яркая заря была видна въ извѣстномъ поясѣ, распространявшемся въ конической формѣ отъ юго-запада къ сѣверо-западу, съ о. Соединенія въ центрѣ его. Перенося этотъ поясъ на карту, мы замѣчаемъ, что ось его тянется отъ Зондскаго пролива къ южной оконечности Мадагаскара и совпадаетъ съ линіей движенія циклоновъ.

Свѣтовое явленіе, исчезнувшее 31 декабря 1883 г., вновь появилось передъ глазами Пелаго 14 апрѣля 1884 г. Тогда оно имѣло новую особенность—перемежаемость, то исчезая, то опять появляясь на другой день.

Научныя лѣтописи сохраняютъ для насъ отчеты о подобныхъ явленіяхъ, происходившихъ въ 1831 г. Тиссандье указалъ на эти совпаденія въ запискѣ, присланной имъ въ Парижскую академію наукъ. Съ первыхъ чиселъ августа въ 1831 г., по всему югу Европы, въ Одессѣ, въ южной Германіи, въ Римѣ, Генуѣ, Мадридѣ были наблюдаемы такъ называемыя «цвѣтныя сумерки».

Замѣчательно, что какъ въ 1831 г., такъ и въ 1884 г., явленіе окрашенныхъ сумерекъ совпадало съ сильными вулканиче-

скими изверженіями. Въ первые дни іюля 1831 г. произошло значительное вулканическое изверженіе въ Сицилійскомъ морѣ. Среди массы огня и пепла, тамъ появился даже новый островъ Джулія, потомъ исчезнувшій. Въ началѣ августа, громадный столбъ пыли носился въ атмосферѣ, распространяя яркій свѣтъ. 5 августа вѣтеръ разносилъ массу почти неосязаемой пыли. Медленное изверженіе продолжалось нѣсколько мѣсяцевъ, и съ первыхъ дней августа, въ той полосѣ, гдѣ Сицилійское море занимало мѣсто центра, было замѣчаемо явленіе окрашенныхъ сумерекъ. Такое же явленіе 1883 г. совпало съ громаднымъ вулканическимъ процессомъ, совершившимся на о. Явѣ, при изверженіи вулкана Крокота. Повидимому, сходство условій, въ которыхъ появлялись окрашенные сумерки и въ 1831 г. въ 1883 г., даетъ полное основаніе связать это явленіе съ предшествовавшими вулканическими процессами и объяснить ихъ свѣтовыми эффектами, производившимися массой носившейся въ воздухѣ вулканической пыли. Это объясненіе настолько напрашивается само собой, что многіе ученые приняли его безъ труда и на немъ остановились. Но многіхъ оно не удовлетворило. Существуютъ факты меньшей продолжительности описываемаго явленія, но несомнѣнно указывающіе, что мы имѣемъ дѣло съ однимъ и тѣмъ же феноменомъ. Такъ 1 января 1877 г. Ламэ наблюдалъ въ Дижонѣ солнечный восходъ рѣдкаго великолѣпія, который былъ видѣнъ и въ трехъ сосѣднихъ департаментахъ. 27 декабря 1876 г. надъ восходящимъ солнцемъ поднимался красный вертикальный столбъ. Въ ночь съ 29 на 30 декабря шелъ ярко-красный дождь. Вообще первые и двадцатые числа января 1877 г. ознаменовались ярко-красной, далеко необычной зарей. Между тѣмъ, въ то время не было никакого крупнаго вулканическаго изверженія, остаткамъ котораго, носящимся въ воздухѣ, могло быть приписано это явленіе.

Уже независимо отъ этихъ фактовъ, многіе наблюдатели описываемыхъ яркихъ окрашиваній неба искали для нихъ другихъ источниковъ, кромѣ вулканической пыли. Аллюаръ, наблюденія котораго на Пюи-де-Домѣ мы описали выше, высказалъ предположеніе, что, по крайней мѣрѣ, въ тѣхъ мѣстахъ, съ какими онъ имѣлъ дѣло, т. е. въ тѣхъ слояхъ воздуха, гдѣ образуются облака, причинами открывавшагося передъ нимъ свѣтового явленія могутъ быть микроскопическія ледяныя частицы, носящіяся въ воздухѣ. Естественнѣе всего для нихъ образоваться передъ восхожденіемъ солнца, когда происходитъ наибольшее пониженіе температуры; по той-же причинѣ онѣ могутъ образоваться и при захожденіи солнца, составляя облака, невидимыя для глаза, вслѣдствіе крайняго разсѣянія вещества, изъ котораго они состоятъ.

Это должно происходить въ особенности при большой сухости воздуха и значительномъ охлажденіи его, какъ это и было 27 декабря 1883 г. на вершинѣ Пюи-де-Дома.

Гирнъ, резюмируя метеорологическія наблюденія, сдѣланныя имъ въ 1883 г. въ четырехъ пунктахъ Верхняго Рейна и Вогезовъ, приходитъ къ заключенію, что мелкія частички, въ формѣ пара или пыли, освѣщаемыя солнцемъ, производятъ явленіе окрашенныхъ сумерекъ, въ особенности на большихъ высотахъ.

Приблизительное исчисленіе количества пепла, извергнутаго Кракатоа, сдѣланное на мѣстѣ голландскими учеными фанъ-Зандикомъ и Фербекомъ, заставляетъ сильно усомниться въ томъ, чтобы вулканической пыли, попавшей послѣ изверженія въ атмосферу, было достаточно для описываемаго явленія на такое продолжительное время и на такомъ обширномъ пространствѣ. Кромѣ того, подобное явленіе, требуя мельчайшихъ частицъ, носящихся въ атмосферѣ, легче объяснить, если эти частицы встрѣчаются въ видѣ пара, а не видѣ пыли. Аналогичныя физическія явленія, получаемыя опытнымъ путемъ, всегда имѣютъ мѣсто съ газами, а газы ближе подходятъ къ пару, нежели къ пыли. Поэтому многіе физики высказались за предположеніе, что цвѣтныя сумерки обязаны своимъ происхожденіемъ мельчайшимъ отдѣльнымъ кристалламъ, образующимся изъ водяного пара, замерзающаго на большихъ высотахъ. То обстоятельство, что феноменъ окрашенныхъ сумерекъ происходилъ въ особенной силѣ въ зиму 1883—1884 г., объясняется сравнительно мягкой температурой этой зимы, способствовавшей образованію избытка пара въ это время года. Ледяныя иглы, носящіяся въ высокихъ пространствахъ, представляютъ всѣ нужныя физическія данныя для того, чтобы могли получаться поразительные свѣтовые эффекты, наблюдавшіеся въ упомянутую зиму.

1884 годъ сопровождался и другими исключительными метеорологическими явленіями — сильными атмосферными теченіями, огибавшими весь земной шаръ, странными окрашиваніями неба, возвышенной температурой во время зимы, оригинальнымъ характеромъ солнечныхъ пятенъ и многими трудно объяснимыми возмущеніями магнитной стрѣлки. Всѣ эти явленія принято объяснять такъ называемыми космическими вліяніями. Извѣстный астрономъ Фэ справедливо замѣчаетъ, что пора бы поискать для нихъ болѣе опредѣленныхъ и осязательныхъ причинъ. И движенія планетъ, и даже падающія звѣзды достаточно изучены, чтобы предвидѣть тѣ атмосферическія явленія, какія онѣ могутъ вызывать. Поэтому, явленія необычныя,

непредвидѣнные, должны имѣть и особую причину, покуда еще ускользающую отъ насъ.

Точно также еще ждетъ для себя объясненія любопытный феноменъ голубого окрашиванія солнца, замѣченный въ Венесуэли 2 сентября прошлаго года. При своемъ восхожденіи, солнце явилось красиваго голубого цвѣта; свѣтъ его былъ очень мягкій, похожій на свѣтъ луны. Въ полдень оно блестяло ярче, но все еще голубоватымъ свѣтомъ. При закатѣ, когда уже можно было смотрѣть на него, около диска были замѣтны синія горизонтальныя полосы на свѣтлоголубомъ фонѣ. По мѣрѣ того, какъ солнце исчезало голубой цвѣтъ превращался въ сѣроватый, а когда оно закатилось совсѣмъ, вспыхнула великолѣпная огненная заря, продолжавшаяся до 8 ч. вечера. Облака отливали различными цвѣтами радуги и вносили еще болѣе красоты въ это зрѣлище.

Весной и лѣтомъ 1884 г. въ высотахъ, гдѣ воздухъ совершенно чистъ, какъ, напр., на альпійскихъ вершинахъ, можно было видѣть любопытное явленіе бѣлаго, серебристаго вѣнчика, окружающаго солнце. Фюль, видѣвшій это явленіе, описываетъ его слѣдующимъ образомъ: «Солнце окружено серебристобѣлымъ сіяніемъ, очень яркимъ и блестящимъ, похожимъ на своеобразный блескъ перваго періода окрашенныхъ сумерекъ зимы 1884 г. Около этого сіянія видѣны еще широкій красный вѣнчикъ, съ неясно очерченными краями и оранжевыми, и фіолетовыми оттѣнками, которые сливаются на внутренней сторонѣ съ серебристымъ вѣнчикомъ около диска, а на вѣншной съ лазурью неба. Ширина этого краснаго вѣнчика была почти такая же, какъ и ширина серебристаго. Небо было синѣе, темнѣе своего обыкновеннаго цвѣта. Можно было бы подумать, что солнце было прикрыто облакомъ пыли, но оно блестяло съ обычною яркостью, небо было чисто, и прозрачность его, повидимому, ничѣмъ не нарушалась. Это явленіе достигло особенной силы 23 іюля, но оно, болѣе или менѣе ярко, замѣчалось каждый день втеченіе всего лѣта».

Вѣнецъ около солнца былъ замѣченъ и въ Палермо. Рикко свидѣтельствуешь, что, во время своеобразнаго свѣта зари въ концѣ 1883 г., о чемъ мы говорили выше, небо кругомъ солнца обнаруживало помутнѣніе, какъ будто отъ легкаго тумана. Въ этомъ туманѣ часто обрисовывалось кольцо или большой красноватый вѣнецъ. Съ наружной стороны, онъ переходилъ въ нѣжный лиловатый оттѣнокъ и сливался съ синевою неба; внутренняя часть его блестяла яркимъ голубоватобѣлымъ свѣтомъ. Когда облако закрывало солнце, цвѣтъ вѣнчика становился мѣдно-краснымъ, съ наружной стороны переходившимъ въ фіолетовый. Когда солнце подвигалось къ горизонту, кольцо принимало

форму овала, въ которомъ солнце занимало эксцентрическое положеніе, приближаясь къ нижней его части. А когда солнце опускалось ниже горизонта, кольцо имѣло видъ арки или громаднаго готическаго моста. На вершинѣ солнечнаго вѣнца начали появляться красноватые цвѣта, которыми отличались описанныя выше окрашенныя сумерки. Весьма вѣроятно, что оба эти явленія происходятъ въ извѣстной связи между собой.

Отыскивая объясненія для явленій неожиданныхъ, поразительныхъ, метеорологія все еще далека отъ истолкованія самыхъ обычныхъ явленій, входящихъ въ ея область—именно той суммы атмосферныхъ явленій, которую мы называемъ погодой. Повсюду и въ Англии, и во Франціи, продолжаютъ выходить и распродаются въ большихъ количествахъ календари для предсказанія погоды. Не далѣе, какъ въ 1884 г., о которомъ мы говоримъ, какой-то капитанъ Делонэ въ газетѣ «Figaro» предсказывалъ погоду за двѣ недѣли впередъ, и, безъ сомнѣнія, многіе читатели газеты вѣрѣли, что капитанъ Делонэ дѣйствительно можетъ предсказывать погоду. Такіе факты указываютъ, что метеорологія еще не вышла изъ того донаучнаго періода, въ какомъ была астрономія, когда она носила названіе астрологіи и занималась опредѣленіемъ вліянія созвѣздій на человѣческую судьбу.

Въ томъ состояніи, въ какомъ мы застаемъ теперь метеорологію, она можетъ позволить себѣ только весьма ограниченныя предсказанія погоды, идущія немногимъ далѣе тѣхъ наблюденій и сопоставленій, какими руководятся люди, для которыхъ погрда имѣетъ важное практическое значеніе. Такъ повышение и пониженіе барометрическаго столба, указывая ббльшую или меньшую влажность воздуха, служитъ въ тоже время указателемъ большей или меньшей ясности ожидаемой погоды. Вѣтры извѣстнаго направленія дѣйствуютъ на уровень столба барометра, поэтому и они служатъ предвѣстниками яснаго или пасмурнаго времени, принося съ собою ббльшую или меньшую влажность. По указанію Гаспареня, вѣтеръ, направляющійся изъ теплыхъ влажныхъ странъ, присоединяясь къ пониженію минимумовъ температуры, почти всегда предвѣщаетъ дождь въ тотъ же или на слѣдующій день. Если минимумъ температуры повышается въ то время, когда дуютъ холодные и сухіе вѣтры, можно ожидать ихъ окончанія; если явится южный вѣтеръ, могутъ тотчасъ же пойти дожди. Постепенное повышение максимумовъ температуры указываетъ, что воздухъ постепенно насыщается парами, и вслѣдъ за тѣмъ можетъ настать дождливая погода. Если послѣ дождей, появившихся вслѣдъ за южными или югозападными вѣтрами, опять, съ переменною вѣтра на западный или сѣверозападный, наступаетъ

хорошая погода, а термометръ стоитъ еще слишкомъ высоко, хорошее время будетъ непродолжительно; слѣдуетъ ожидать югозападныхъ вѣтровъ и дождей. Розовый цвѣтъ неба при закатѣ служитъ предвѣщаніемъ хорошей погоды. Бѣловатое, мутное небо обѣщаетъ вѣтеръ или дождь. Сѣрое небо утромъ служитъ признакомъ хорошаго дня. Если первые лучи солнца появляются надъ слоемъ облаковъ, это даетъ возможность ожидать вѣтра; если они прямо выступаютъ надъ горизонтомъ, это признакъ хорошей погоды. Легкія облачки, съ неопредѣленными очертаніями, предвѣщаютъ хорошую погоду и умѣренный вѣтеръ. Густыя облака, съ рѣзкими очертаніями, служатъ предвѣстниками сильнаго вѣтра. Вообще чѣмъ облака легче, тѣмъ вѣтеръ будетъ слабѣе, и наоборотъ. Можно ожидать вѣтра, когда небо темноголубого цвѣта. Предвѣстникомъ вѣтра можетъ считаться и ярко-желтое небо при солнечномъ закатѣ; блѣдно-желтое небо есть признакъ дождя. Блѣдный свѣтъ солнца служитъ такимъ же признакомъ, такъ какъ это явленіе происходитъ отъ избытка паровъ въ атмосферѣ. То же можно сказать, когда воздухъ удущливъ, когда, слѣдовательно, онъ слишкомъ насыщенъ парами, и потому легче нагрѣвается. Такія же указанія, въ смыслѣ предвѣстія дождя, представляетъ блѣдный цвѣтъ луны, темноватые концентрическіе круги около нея и т. п. Звѣзды также блестятъ менѣе ярко отъ приближенія дождя. Туманъ, разсѣивающійся и не превращающійся въ облака, есть указатель хорошей погоды. Послѣдовательные туманы, сопровождаемые пасмурнымъ небомъ, ведутъ за собой дождь, и т. д.

Изъ всѣхъ отраслей физики наибольшій интересъ для публики представляютъ теперь работы въ области электричества, превращаемаго въ свѣтъ и движущую силу; поэтому мы на нихъ и остановимся. Въ прошломъ году обращаютъ на себя вниманіе работы, цѣлью которыхъ было проведеніе электрическаго свѣта на большія разстоянія. На выставкѣ въ Туринѣ, Голаръ и Джиббсъ устроили проводъ, имѣвшій въ окружности до 80 километровъ между станціей Ланцо и промежуточными станціями. Проводъ состоялъ изъ проволоки, сдѣланной изъ хромированной бронзы и предназначался для индуктивнаго тока, развивавшагося электродинамической машиной Сименса въ 30 лошадиныхъ силъ, такимъ образомъ, что токъ могъ быть утилизированъ для различныхъ способовъ освѣщенія на самой выставкѣ, на станціи въ Туринѣ, на конечной станціи въ Ланцо и на промежуточныхъ станціяхъ. Главная цѣль, достигавшаяся этимъ опытомъ, заключалась въ доказательствѣ возможности распредѣленія разныхъ способовъ освѣщенія на пространствѣ 40 километровъ.

Электрическія желѣзныя дороги приобрѣтаютъ все болѣе и бо-

лѣе значенія, благодаря работамъ Сименсовъ. Можно уже не сомнѣваться въ ихъ будущности, и болѣе или менѣе скорое примѣненіе ихъ на практикѣ зависитъ теперь не отъ двигательныхъ приспособленій, а отъ формы рельсовъ и вагоновъ. По выраженію Стифенсона, рельсы и локомотивъ составляютъ двѣ части одной машины; отсюда слѣдуетъ, что примѣненіе двигателей новаго типа, доставляемыхъ электричествомъ, потребуеетъ новаго рода путей и вагоновъ. При паровомъ двигателѣ, наиболѣе значительная и выгодная работа получается при одномъ локомотивѣ на цѣлый поѣздъ, такъ какъ движеніе паромъ не даетъ возможности устройства неподвижныхъ машинъ и распредѣленія механической силы на разстояніи. Электричество даетъ эту выгоду, недостижимую для паровой силы, распространяясь на любое протяженіе. Въ системѣ электрическаго передвиженія Флемингъ-Дженкина, Эйтона и Перри перемѣщеніе вагоновъ производится автоматически, безъ всякаго управленія ими. Электрическій токъ позволяетъ вызывать одну, двѣ, три лошадиныхъ силы во множествѣ различныхъ пунктовъ на линіи, въ нѣсколько километровъ длиною. При этомъ достаточно прервать токъ, чтобы остановить дѣйствіе движущей силы, т. е. достаточно закрыть двигатель, чтобы онъ пересталъ работать. Такимъ образомъ примѣненіе электричества къ желѣзнымъ дорогамъ допускаеетъ раздѣленіе перевозимыхъ тяжестей и распредѣленіе ихъ на множество легкихъ вагоновъ, часто слѣдующихъ одинъ за другимъ, вмѣсто нынѣшней нагрузки ихъ на тяжелые поѣзда съ большими промежутками. Уменьшеніе тяжести и груза, и самихъ вагоновъ позволитъ употребленіе болѣе легкаго, а слѣдовательно, и дешеваго рельсоваго пути, по которому будутъ слѣдовать другъ за другомъ маленькіе поѣзды, управляемые автоматически и независимо одинъ отъ другого. Упомянутые изобрѣтатели отдають предпочтеніе металлическимъ канатамъ, положеннымъ на подставкахъ на извѣстной высотѣ сравнительно съ обыкновенными рельсами, уложенными на землѣ.

Изъ всѣхъ проблеммъ практической механики наибольшее количество изобрѣтательныхъ силъ привлекають къ себѣ аэростаты. Главная задача — управленіе воздушнымъ шаромъ давно и упорно преслѣдуется аэронавтами. Въ 1852 г. Анри Жиффаръ поднимался на шарѣ, къ которому онъ примѣнилъ паровой винтовой двигатель. Въ 1872 г. Дюшюи де Ломъ представилъ нѣсколько весьма интересныхъ проектовъ по этому предмету. Наконецъ, въ 1883 г. Гастонъ Тиссандье сдѣлалъ нѣсколько замѣчательныхъ опытовъ, замѣнивъ паровую машину Жиффара электрическимъ двигателемъ. Однако, всѣ эти попытки, разъяснивъ нѣкоторыя стороны вопроса, не привели ни къ какому положительному, прак-

тическому результату. Въ августѣ 1884 г. въ Парижской академіи наукъ разсматривался новый проектъ управленія воздушнымъ шаромъ, представленный Эрве-Мянгономъ. Онъ объяснилъ, что 9 августа 1884 г. изъ воздухоплавательной станціи въ Медонѣ поднялся баллонъ, на которомъ находились два французскихъ офицера Ренаръ и Кребсъ. Этотъ баллонъ былъ особой формы и былъ снабженъ электрическимъ двигателемъ, винтомъ и рулемъ. Электрическій двигатель составляетъ секретъ изобрѣтателя. Была тихая погода; баллонъ поднялся метровъ на 30, винту было придано вращательное движеніе, и аэростатъ направился къ заранѣ указанному пункту. Его ходъ, сперва медленный, постепенно ускорился, и онъ поднялся, наконецъ, надъ медонскимъ лѣсомъ. Вѣтеръ дулъ съ востока съ силою 5 метровъ въ секунду; баллонъ шелъ противъ вѣтра. Оба аэронавта исполняли различныя функціи. Одинъ управлялъ рулемъ, другой слѣдилъ за направленіемъ вѣтра. Наконецъ, достигли назначеннаго пункта; теперь предстояло возвратиться назадъ. Тогда аэростатъ описалъ полукругъ съ радіусомъ въ 300 метровъ и направился къ Медону. Достигнувъ лужайки, откуда совершилось отправленіе его, онъ постепенно сталъ спускаться, наклонился на бокъ, далъ задній и затѣмъ передній ходъ и присталъ на избранномъ имъ мѣстѣ. Пространство, пройденное имъ въ ту и въ другую сторону, равнялось $7\frac{1}{2}$ километрамъ, и продолжительность полета равнялась 23 минутамъ.

Спеціалисты Парижской академіи наукъ высказались за весьма важное значеніе опыта Ренара и Кребса, но, тѣмъ не менѣе, предстоитъ еще много труда и потребуются не мало изобрѣтательности для того, чтобы управленіе аэростатами могло оказывать дѣйствительную услугу. Какъ замѣчаетъ Вильфридъ де-Фонвіель въ «Spectateur militaire», аэронавтамъ не только нужно будетъ умѣть удерживать газъ, но имъ предстоитъ заняться формою баллона, нарушеніями равновѣсія, какія могутъ произойти отъ дождя, града, дѣйствія солнца, облачности и лученспусканія въ небесное пространство. Имъ нужно будетъ выучиться опредѣлять свое направленіе по небесному своду, потому что земля часто будетъ отъ нихъ скрыта. Имъ необходимо защитити себя отъ молніи, тѣмъ болѣе опасной, что она будетъ притягиваться движеніемъ воздушнаго корабля или металлическими предметами, заключающимися въ большомъ количествѣ въ челнокѣ». По мнѣнію Фонвіеля, опытъ 9 августа 1884 г. имѣетъ, однако, то важное значеніе, что онъ долженъ уничтожить предрасудокъ, будто вопросъ объ управленіи аэростатами принадлежитъ къ числу такихъ же неразрѣшимыхъ задачъ, какъ квадратура круга или *perpetuum mobile*. Очевидно, предположенная цѣль лежитъ въ

предѣлахъ знанія и опытности обыкновенныхъ инженеровъ и механиковъ. Тѣмъ не менѣе, практическое и окончательное разрѣшеніе вопроса едва ли можетъ заключаться только въ удлиненной формѣ баллона и въ двигателѣ, принятомъ Ренаромъ и Кребсомъ; по крайней мѣрѣ, оба эти условія должны еще пройти много стадій, прежде, чѣмъ цѣль будетъ достигнута.

12-го сентября опытъ Ренара и Кребса былъ повторенъ, но съ меньшимъ успѣхомъ. При этомъ былъ вѣтеръ силы 25 километровъ въ часъ. Баллонъ въ то же время проходилъ 26 километровъ. Воздухоплататели удачно спустились на указанномъ ранѣ мѣстѣ, не возвратившись, однако, назадъ. Они объясняютъ эту сравнительную неудачу случайностью и порчей электрическаго аппарата, увѣряя, что вѣтеръ не могъ бы помѣшать имъ вернуться. Впрочемъ, Ренаръ и Кребсъ исправили неблагоприятное впечатлѣніе этого неудачнаго полета, совершивши 8-го ноября полетъ, увѣнчавшійся полнымъ успѣхомъ.

Поощряемые удачей названныхъ воздухоплатателей, братья Гастонъ и Альберъ Тиссандье повторили 26-го сентября опытъ полета на аэростатѣ ихъ системы, которою они пользовались еще въ 1883 г. Ихъ опыты были въ такой-же мѣрѣ интересны и убѣдительно, какъ и полеты Ренара и Кребса. Въ запискѣ, представленной Парижской Академіи, братья Тиссандье объясняютъ, что опыты 26-го сентября представляютъ наглядное подтвержденіе пригодности удлиненныхъ, симметрическихъ аэростатовъ съ винтомъ позади. Ихъ система весьма содѣйствуетъ устойчивости аэростата, не исключая возможности построенія еще болѣе длинныхъ и обширныхъ аэростатовъ, въ которыхъ, несомнѣнно, заключается будущность воздухоплаванія.

Хотя скептическія воззрѣнія на аэронавтику далеко еще не уничтожены удачнымъ опытомъ упомянутыхъ офицеровъ и братьевъ Тиссандье, однако, нельзя отрицать, что эти опыты имѣютъ большое значеніе и позволяютъ ожидать отъ нихъ дальнѣйшихъ успѣховъ.

Въ то время, когда французы, которые справедливо называютъ аэронавтику французской наукой, занимаются дальнѣйшимъ, вполне безобиднымъ развитіемъ ея, нѣмцы пытаются воспользоваться ею для военныхъ, разрушительныхъ цѣлей. Они проектируютъ устройство воздушныхъ шаровъ, съ которыхъ торпеды падали-бы на непріятельскую армію. При этомъ баллоны могли-бы обходиться безъ воздухоплатателей, и торпеды могли-бы низвергаться съ нихъ помощью часового механизма.

Изъ грандіозныхъ техническихъ сооружений, въ 1884 году дѣятельно велось продолженіе Панамскаго канала. Эта работа

интересна по примѣненію къ ней новыхъ техническихъ способовъ. Ходъ и распредѣленіе ея зависятъ отъ состоянія почвы и климата. Въ этой мѣстности два опредѣленныхъ времени года: сухое время и дождливое. Сухое время начинается обыкновенно въ декабрѣ и кончается въ концѣ апрѣля, или началѣ мая, продолжаясь отъ 5 до 5¹/₂ мѣсяцевъ. Сезонъ дождей былъ весьма обилень водою, и изъ него только четырнадцать дней могли быть употреблены въ дѣло. Кромѣ того, на двѣ трети приходилось работать съ мѣстными горными породами; поэтому главный руководитель работъ Данглеръ установилъ такой пріемъ, что въ сырое время производится какъ можно меньше земляныхъ работъ и преимущественно обращается вниманіе на горныя породы, для того, чтобы въ хорошее время года, отъ декабръ до мая, ничто уже не мѣшало выемкѣ земли. Судя по ежемѣсячной выемкѣ отъ 600 до 700,000 куб. метр., это количество можетъ быть утроено. Инженеры утверждаютъ, что его можно довести до 2.000,000 куб. метровъ въ мѣсяць, въ виду усовершенствованія аппаратовъ для извлеченія земли и примѣненія динамита. Самой интересной стороною этой работы является почти полное замѣщеніе ручной работы машинною; кромѣ того, новыя и новыя усовершенствованія вводятся въ нее: такъ при земляныхъ работахъ примѣнена гидравлическая система, въ углубленія вводится вода и вычерпывается вмѣстѣ съ землею особыми машинами. Дневныя работы, вѣроятно, въ скоромъ времени будутъ усилены ночными. Изъ всего этого можно предположить, что работы будутъ окончены гораздо скорѣе предназначеннаго срока. Примѣненіе динамита окажетъ важную услугу дѣлу; какъ полагаютъ инженеры, съ горными породами они будутъ справляться также легко и быстро, какъ съ мягкой землею. Одинъ изъ путешественниковъ, осматривавшій работы въ октябрѣ 1884 года, по его словамъ, былъ удивленъ и методами, и машинами, примѣняемыми къ дѣлу. Онъ говоритъ, что прорытіе долины Шагры будетъ стоить дешевле, чѣмъ это исчислено международною коммисіею. По соображеніямъ Фердинанда Лессепса, въ его отчетѣ, представленномъ акціонерамъ 23-го іюля 1884 года, даже въ томъ случаѣ, если работы на сухомъ пути начнутся 1-го января 1885 года, а водяныя работы 1-го января 1886 года, каналъ будетъ непремѣнно оконченъ къ 1-му января 1888 года.

Въ нынѣшнемъ 1885 году работы вступаютъ въ періодъ наиболѣе быстрого выполненія, и можно надѣяться, что расчеты Лессепса окажутся вѣрными, и открытіе Панамскаго канала вскорѣ произведетъ такое же превращеніе въ торговыхъ дѣлахъ, какое произошло, благодаря открытію Суэзскаго канала.

Еще болѣе грандіознымъ представляется проектъ Рудера отно-

сительно образованія внутренняго моря въ Африкѣ. Въ прошломъ году продолжалась борьба за существованіе этого проекта, начавшаяся уже ранѣе.

Главная идея Рудера состоитъ въ обводненіи обширныхъ углубленій или хоттъ, встрѣчаемыхъ на югѣ Алжира и Туниса на высотѣ залива Габеса. Уже многіе, между прочимъ Мартинъ, Виль, Ларигъ и др. замѣчали, что эти хотты находятся ниже уровня Средиземнаго моря и что, соединивъ ихъ посредствомъ канала съ моремъ, можно достигнуть обводненія страны и выполнения проекта внутренняго моря.

Полковникъ Рудеръ, состоявшій въ 1864 г. при геодезическихъ работахъ въ Алжирѣ, остановившись на той же идеѣ, какъ и его предшественники, не зная, впрочемъ, ихъ соображеній. первый доказалъ, что хотты дѣйствительно ниже уровня моря, и опредѣлилъ протяженіе и глубину водной поверхности и въ тоже время культивированное и бесплодное пространства, какія покроетъ море. Этихъ хоттъ три: хотта Мильрирь, наиболѣе удаленная отъ залива Габеса, хотта Джеръель, наиболѣе близкая къ нему, и хотта Райза, находящаяся въ срединѣ между обѣими. Осматривая ихъ, нельзя не остановиться на той мысли, что эти углубленія составляютъ высохшее ложе древняго моря и омывавшихся имъ береговъ, какъ это подтверждаютъ между прочимъ мѣстныя арабскія преданія и остатки римской галеры, недавно открытые тамъ, а въ особенности толстый слой соли, покрывающій ихъ дно и достигающій мѣстами отъ одного до полутора метровъ.

Полковникъ Рудеръ, занятый прежде всего установленіемъ границъ для французской африканской колоніи, рѣшилъ воспользоваться всѣми этими данными для того, чтобъ выработать вполне основательный и обдуманый проектъ внутренняго африканскаго моря.

Съ 1874 до 1883 года были произведены нивелировочныя работы почти на пространствѣ 1770 километровъ, которыя захватили всѣ три выше названныя хотты. Въ тоже время было произведено разслѣдованіе, чтобы опредѣлить, съ какого рода почвою придется имѣть дѣло при прорытіи предположеннаго канала. Въ настоящее время всѣ изысканія окончены. Академія наукъ въ Парижѣ и высшая коммисія, установленная для этой цѣли, должны были признать ихъ полную точность. Глубина и границы бассейновъ, поддерживающихъ обводненіе, установлены съ большею опредѣленностью и доказано, что хотты Мильрирь и Райза лежатъ ниже уровня моря и только хотта Джеръель, совершенно неожиданно, оказывается выше. По этому расчету, внутреннее море должно имѣть поверхность въ 820 километровъ, т. е. оно будетъ отъ 14 до 15 разъ больше Женевскаго озера. Такъ какъ

на всемъ этомъ протяженіи не встрѣчается возвышенностей, то это море будетъ вполнѣ благопріятно для мореплаванія. Новое море окажетъ большія услуги и колонизаци, и торговлѣ, не говоря уже о политическомъ значеніи его для Франціи, такъ какъ оно представляется наилучшей границею, каковую давно отыскиваетъ французское правительство. Что касается до его метеорологическаго значенія, то испаренія его дадутъ облака, горячія, движимыя югозападными вѣтрами, преобладающими въ этихъ мѣстахъ, будутъ осаждаться на высокихъ и холодныхъ горахъ Ауреса, нѣкоторые пункты которыхъ возвышаются до 250 метр. Отсюда происходитъ новое скопленіе облаковъ и дождь, могущій сдѣлать плодороднымъ глубокій слой отъ 12 до 15 метровъ, встрѣчающійся въ этихъ мѣстахъ и остающійся бесплоднымъ вслѣдствіе сухости.

Съ точки зрѣнія чисто физической, внутреннее море будетъ содѣйствовать оздоровленію страны, затопивъ болота, дающія вредныя испаренія, и будетъ способствовать растворенію солянаго слоя мѣшающаго плодородію всѣхъ мѣстностей, соединенныхъ съ хоттами. По этому исчисленію, хотта Джерель сдѣлаетъ пригодными для культуры болѣе 500,000 гектаровъ.

Противъ этого проекта было высказано много возраженій. Прежде всего утверждали, что вода будетъ испаряться по мѣрѣ того, какъ будетъ приливать въ хотты, но ближайшія исчисленія показали неосновательность этого мнѣнія. Точно также полагали, что облака будутъ въ избыткѣ двигаться къ Провансу и могутъ производить тамъ неблагопріятныя климатическія измѣненія. Полковникъ Рудеръ опровергъ это послѣднее возраженіе, доказавши, что южнымъ вѣтрамъ придется пробѣгать тогда по 740 километрамъ воды, между тѣмъ какъ въ настоящее время они пробѣгаютъ 650 километровъ, и что эта разница не можетъ вызвать существенныхъ измѣненій въ количествѣ воды, падающей въ Провансѣ. Нѣкоторое возростаніе влажности, какое можетъ произойти, можетъ быть только благотвѣтельнымъ для названной мѣстности, такъ какъ она сильно нуждается во влагѣ. Но и это едва ли возможно, такъ какъ облакамъ придется встрѣчаться съ достаточной преградой, представляемой горами. Французскіе инженеры возражали еще, съ патріотической точки зрѣнія, что подобное сооруженіе будетъ выгоднѣе для мальгійцевъ и испанцевъ, нежели для французовъ, но съ этимъ слѣдуетъ мириться, такъ какъ всѣ такіе проекты неизбѣжно должны имѣть международное назначеніе.

Самый яростный и упорный противникъ проекта внутренняго африканскаго моря—членъ Института ботаника Коссонъ. Фердинандъ Лессепъ, присоединившись къ проекту Рудера, отвѣчалъ

на возраженія Кассона, поддерживаемаго нѣкоторыми изъ академикомъ, что группа основателей общества, добивающаяся осуществленія проекта, намѣрена принять на себя всѣ расходы по предварительнымъ изысканіямъ, и желаетъ и дальше вести дѣло безъ всякой правительственной поддержки, въ виду чего устраиваетъ портъ при устьи Уадъ Меллахъ, куда впослѣдствіи будетъ открываться каналъ.

Громадные пожары театровъ, происшедшіе въ 1882 году, направили технику на изысканіе средствъ, какіе могли бы придать театрамъ возможную огнеупорность. Однако, въ виду пожара театра въ Кливлендѣ, въ Америкѣ, слѣдуетъ признать, что эта задача еще далека отъ своего разрѣшенія. По описанію Делага, театръ въ Кливлендѣ сгорѣлъ въ три четверти часа, хотя весь состоялъ изъ негоряемыхъ матеріаловъ, и сила пламени была такъ велика, что оно уничтожило и сосѣднюю церковь. Театръ открылся только за два мѣсяца предъ тѣмъ. При постройкѣ его были приняты всѣ мѣры предохраненія, считавшіяся необходимыми. Для обезпеченія его отъ пожара, сцена была отдѣлена отъ зала кирпичною стѣною, возвышавшеюся на два метра надъ крышею. Безъ сомнѣнія, былъ устроенъ и негоряемый занавѣсъ. Кирпичъ и аміантъ повсюду замѣняли дерево, гдѣ это только было возможно. Всѣ внутреннія лѣстницы были изъ камня или желѣза. Кровля надъ заломъ была изъ желѣзнаго толя, и, согласно указаніямъ новѣйшаго времени, была сдѣлана стеклянная кровля для того, чтобъ въ случаѣ пожара дать выходъ пламени и дыму внѣ залы. Кромѣ того, водопроводъ имѣлъ краны въ различныхъ пунктахъ залы и сцены. Пожаръ произошелъ вслѣдствіе взрыва газовой трубы около счетчика. Взрывъ произошелъ въ то время, когда сторожъ отворилъ дверь, гдѣ помѣщался счетчикъ, и пламя, вырвавшись оттуда, зажгло легкія деревянныя вещи. Механикъ былъ на своемъ мѣстѣ, онъ подбѣжалъ къ водопроводу и открылъ кранъ, но въ нѣсколько минутъ сцена и декораціи были въ огнѣ, и зрителямъ пришлось спасаться. Тревога была сообщена очень быстро: помощь поспѣла безъ замедленія со всѣхъ сторонъ города, но всѣ усилія остались тщетными, и чрезъ часъ остался только фасадъ и стѣны, сохраненныя природою своего матеріала отъ разрушительнаго дѣйствія огня.

Такое примѣненіе техническихъ усовершенствованій, оказавшихся безуспѣшными при дѣйствіи огня, должно разочаровать многихъ, говорить Делаго. Однако, если зданіе и не уцѣлѣло, благодаря имъ, то безъ сомнѣнія имъ обязана своимъ спасеніемъ публика; кромѣ нѣкоторыхъ незначительныхъ потерь вещей, никто ничѣмъ не пострадалъ.

Въ виду участія китайцевъ въ войнахъ послѣдняго времени, не безъинтересно взглянуть на техническія усовершенствованія, которыя они заимствуютъ у европейцевъ и удачно примѣняютъ у себя. Изготовленіе пушекъ происходитъ у нихъ въ довольно значительномъ количествѣ, и калибръ этихъ пушекъ все увеличивается. Эти пушки приготавливаются по системѣ Армстронга, и изготовленіемъ ихъ заняты исключительно китайцы, — только контръ-мастеръ у нихъ европеецъ. Металлъ для нихъ до сихъ поръ привозился изъ Англии, но, повидимому, скоро онъ будетъ доставляться самимъ Китаемъ.

Въ настоящее время китайцы примѣняютъ къ дѣлу каменный уголь, находимый у нихъ. Китайскіе работники оказываютъ много способностей и умѣнія въ механическомъ дѣлѣ. Нѣкоторыя машины, выходящія изъ ихъ рукъ, сдѣлали бы честь любой европейской мастерской. Такъ китайскими рабочими былъ построенъ пороховой заводъ. Не говоря уже о многихъ вещахъ въ арсеналѣ Кіангъ-Нанъ, китайцы оказываются искусными морскими техниками. Въ 1884 году было положено основаніе желѣзному корвету, которыхъ предполагается къ постройкѣ до десяти; каждое изъ этихъ судовъ будетъ на 1700 тоннъ водоизмѣщенія, и всѣ десять будутъ построены и снаряжены въ Китаѣ китайскими рабочими; даже машины и паровые котлы будутъ сдѣланы и собраны на мѣстѣ по новѣйшимъ образцамъ. Все это показываетъ, что Китай вовсе не отсталъ въ энергіи отъ Европы и обѣщаетъ принять болѣе видное участіе въ будущихъ политическихъ событіяхъ.

Изъ явленій геологическаго характера, происшедшихъ въ 1884 г., наиболѣе замѣчательно появленіе новаго вулкана на Беринговомъ морѣ. Капитанъ Гили прислалъ донесеніе сѣверо-американскому правительству, изъ Уналашки, отъ 23 мая 1884 г., относительно экспедиціи, предпринятой офицерами его корабля, съ цѣлью изслѣдованія вулкана, возникшаго вновь на Беринговомъ морѣ, на сѣверной оконечности Богословскаго острова. Этотъ вулканъ находится въ состояніи непрерывной и усиленной дѣятельности. Онъ представляетъ собой гору въ 500 футовъ вышины въ видѣ конуса неправильной формы; по всѣмъ его сторонамъ видны расщелины, изъ которыхъ вырывается паръ, какъ будто отъ дѣйствія паровой машины. Осмотрѣть внутренность кратера нѣтъ возможности вслѣдствіе облаковъ дыма и пара, которыми онъ наполненъ. Самымъ любопытнымъ фактомъ представляется здѣсь то обстоятельство, что при этихъ изверженіяхъ нѣтъ ни лавы, ни пеплу. До сихъ поръ въ этомъ вулканѣ не было усмотрѣно ни одного изъ характерныхъ явленій, принадлежащихъ вулканамъ Алеутскихъ острововъ.

1884 годъ былъ ознаменованъ вулканическими явленіями, крайне необычными для тѣхъ мѣстностей, гдѣ они происходили. Такъ, напримѣръ, довольно значительное землетрясеніе испытали нѣкоторыя мѣстности въ графствѣ Эссексъ, въ Англии. Оно произошло 22-го апрѣля 1884 года около 9¹/₂ часовъ утра. Графство Суффолкъ и самый Лондонъ испытали на себѣ послѣдствія землетрясенія: стѣны большихъ зданій на Стрэндѣ колебались такъ сильно, что жильцы домовъ боялись разрушенія стѣнъ. Въ Кольчестерѣ глухой подземный шумъ предшествовалъ сотрясенію, колебавшему дома и опрокидывавшему мебель. Шпигъ колокольни вышиною въ 150 футовъ былъ опрокинутъ и своимъ паденіемъ повредилъ крышу зданія. Продолжительность сотрясенія была около полуминуты. Населеніе города было такъ испугано, что вышло на улицу, боясь новыхъ колебаній. Всѣ стѣнныя часы остановились на 9 часахъ 20 минутахъ. Въ окрестностяхъ, строенія многихъ фермъ были разрушены. Населеніе Лондона было взволновано, узнавши, что подземные удары, ощущавшіеся въ графствѣ Эссексъ и въ Суффолкѣ, произвели значительныя поврежденія. Хотя Англія и испытывала нѣсколько незначительныхъ сотрясеній земли, но уже болѣе двадцати лѣтъ, въ ней не было такого сильнаго колебанія. Центромъ движенія былъ Кольчестеръ; отсюда оно распространялось въ Вульвичъ и Рочестеръ, направляясь отъ юга-востока къ сѣверо-западу. Въ Лендженгокѣ церковь была опрокинута и превращена въ груды развалинъ. Точно также и Франція 30-го декабря 1883 года испытала колебаніе земли въ Дориньи въ Сѣверномъ департаментѣ. Шапель указываетъ, что такое же колебаніе, хотя менѣе сильное, чувствовалось и въ другихъ мѣстахъ; поэтому онъ утверждаетъ что они имѣли общее вулканическое происхожденіе.

Въ Монтевидео имѣлъ мѣсто весьма любопытный феноменъ, который можетъ быть названъ колебаніемъ моря. 14 января 1884 г., около 4¹/₂ часовъ, въ то время, когда множество лицъ купались въ морѣ, купавшіеся замѣтили, что уровень воды вдругъ значительно опустился, такъ что въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ было не менѣе 2 метровъ воды, они стали доставать дно. Въ то же время изъ открытаго моря стала надвигаться длинная полоса воды, въ нѣсколько километровъ ширины, которая съ большою силою неслась къ берегу. Черезъ нѣсколько минутъ промежутка, слѣдомъ за нею, принеслась еще другая такая же полоса. Черезъ нѣсколько минутъ, море опять пришло въ спокойное состояніе. Погода была тихая и до этого явленія, и послѣ него. До настоящаго времени мы не имѣемъ никакихъ ближайшихъ разъясненій этого страннаго феномена.

Изъ интересныхъ геологическихъ находокъ 1884 года, мы можемъ указать на замѣчательный экземпляръ морского млекопитающаго добытый при постройкѣ желѣзной дороги, соединяющей Сень-Клу съ Марли около Парижа. Шуке нашелъ тамъ замѣчательное ископаемое остатки, которые представлены имъ Естественнo-историческому музею въ Парижѣ. Онъ въ особенности обращаетъ вниманіе палеонтологовъ на остатки громаднаго морскаго млекопитающаго, самаго большого, какое когда-либо было открыто въ окрестностяхъ Парижа. Это—14 реберъ новаго вида галитеріума, перемѣшанныя между собою. Эти ребра до 43 сантиметровъ въ ихъ внутренней окружности. Замѣчательнѣе всего, что ихъ толщина равняется ихъ ширинѣ. Въ срединѣ они имѣютъ до 59 миллиметровъ въ томъ и въ другомъ направленіи. Трудно даже представить себѣ животное, имѣвшее такую тяжелую грудную кѣтку. Носить ее, вѣроятно, было очень тяжело, потому что ребра галитеріума не только широки и толсты, но и очень плотны. Судя по ихъ сочлененіямъ, они, вѣроятно, были малоподвижны. Слѣдуетъ предполагать, что они были связаны съ позвонками посредствомъ очень сильныхъ сухожилій. Галитеріумъ долженъ былъ переплывать море, нѣкогда покрывавшее то мѣсто, гдѣ находится Парижъ, потому что въ Парижскомъ музеѣ находятся четыре остатка его реберъ, найденные въ Бельвилѣ. По замѣчанію Дельфортри, галитеріумъ долженъ былъ водиться въ миоценовую эпоху.

Броньяру удалось сдѣлать весьма любопытную палеонтологическую находку, въ видѣ гигантскаго ископаемаго насѣкомаго, длина котораго доходить до 25 сант. и которое представляетъ самое крупное изъ перепончатокрылыхъ насѣкомыхъ. У этого насѣкомаго было четыре крыла, если судить по слѣдамъ прикрѣпленій на груди; этихъ слѣдовъ достаточно для того, чтобы возстановить форму крыльевъ и представить себѣ общій видъ насѣкомаго. Описываемое насѣкомое должно было принадлежать къ каменноугольной эпохѣ и представляло собою соотвѣтствіе громаднымъ растеніямъ этого періода. По замѣчанію Броньяра, нѣкоторыя изъ экземпляровъ его могли достигать 50 сант. длины.

Въ настоящее время, впрочемъ, вниманіе энтомологовъ привлекаютъ къ себѣ болѣе мелкія насѣкомыя, приносящій жестокій вредъ винограду.

Французскій ученый Ленъ открылъ насѣкомое рода *Calocoris* изъ семейства безкрылыхъ.

Изъ описанія Патрижана, занимавшагося его изученіемъ, мы узнаемъ, что это черноватый клопъ, длиною до семи миллиметровъ и шириною до двухъ. Каликорисъ нападаетъ только на

молодой виноградъ, пронизывая своимъ жаломъ пестикъ растенія и цвѣточные покровы; при этомъ растеніе желтѣетъ, лоза перестаетъ развиваться, и виноградъ пропадаетъ. Въ настоящее время множество виноградниковъ въ комунѣ Шабри, въ департаментѣ Эндры, опустошены этимъ насѣкомымъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ оно являлось въ такомъ количествѣ, что имъ было уничтожена значительная часть сбора 1884 года. Оно было замѣчено уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ, но въ прошломъ году значительно размножилось и представляетъ въ настоящее время язву, съ которой приходится вести упорную борьбу.

Для того, чтобы судить, насколько человѣчество страдаетъ отъ опасныхъ животныхъ, съ которыми борьба, повидимому, легче, чѣмъ съ животными микроскопическими или едва замѣтными для глаза, мы приведемъ количество жертвъ укушеній ядовитыми змѣями въ Азіи, Африкѣ и Америкѣ, заимствуя ихъ изъ доклада Уруэты въ Парижскомъ медицинскомъ факультетѣ. Онъ приводитъ статистическія данныя, сообщаемыя индійскимъ правительствомъ, по которымъ въ 1880 году 19,060 человѣкъ умерло отъ укушенія кобры; въ 1881 г. эта цифра доходила до 18,610. Тоже самое встрѣчается въ Соединенныхъ Штатахъ Колумбіи, въ Бразиліи, въ Венесуэлѣ, въ Австраліи и въ Африкѣ. Ферье считаетъ, что съ 1870 года по настоящее время въ Индіи погибло отъ 150 до 200,000 человѣкъ.

Вмѣсто того, чтобы отыскивать противоядіе укушенію ядовитыхъ змѣй, индійское правительство нашло болѣе практичнымъ опѣивать голову каждой змѣи. Такимъ образомъ въ 1880 году было уничтожено 212,676 змѣй, а въ 1881 году 214,966. Въ Бевгаліи выдается награда каждому туземцу, убивающему змѣю. Раскрашенныя литографіи даютъ возможность полицейскимъ или санитарнымъ агентамъ отличать видъ убитой змѣи. Въ Индіи даже образовалась особая каста «канджаровъ», избравшихъ своею специальностью охоту за змѣями. Въ Колумбіи приняты мѣры къ разведенію птицъ, уничтожающихъ змѣй. Изъ этихъ птицъ особой славою въ этомъ отношеніи пользуются калаберро и гуакабо. Кромѣ того сильными истребителями змѣй оказываются свиньи и кошки. Хотя онѣ и не могутъ считаться неуязвимыми, но укушеніе змѣи для нихъ не бываетъ смертельно.

Несмотря на то, что теорія и практика заставляютъ насъ считать знакомство съ наиболѣе характерными свойствами животныхъ законченнымъ, мы все еще встрѣчаемся съ фактами, могущими поразить многихъ. Такъ одна американская газета описываетъ, что французскіе моряки на Формозѣ слышали однажды поющихъ рыбъ. Въ сущности, тутъ нечему удивляться. Прѣсноводныя

рыбы всѣ нѣмы, но морскія рыбы имѣютъ возможность производить звуки съ помощью плавательнаго пузыря и прилежащихъ къ нему мускуловъ, О нихъ можно сказать, что они имѣютъ голосъ и въ этихъ звукахъ видѣтъ нѣкоторую музыкальность. Такія морскія рыбы извѣстны даже въ Марсели. Пользуясь этимъ свойствомъ, нѣкоторые рыболовы думали даже организовать ловлю ихъ, въ родѣ охоты на птицъ, подманиваніемъ другихъ рыбъ «на голосъ». Однако, эта охота за рыбами слишкомъ хлопотлива и даетъ слишкомъ мало результатовъ для того, чтобы выйти изъ предѣловъ простой забавы.

Изъ ученыхъ экспедицій прошлаго года самой значительной остается экспедиція Брацца, цѣлью которой было открытіе для Франціи пути въ глубину экваторіальной Африки. Въ то время, когда Стенли отыскивалъ Ливингстона, Брацца, оставшійся въ Гвинейскомъ заливѣ, предположилъ, что въ центральную Африку возможно проникнуть, поднявшись по Огоуэ, рѣкѣ, впадающей, подобно Конго, въ Атлантическій океанъ. Въ обществѣ Марша и доктора Баллея, онъ поднялся вверхъ по рѣкѣ до Оканги, на сѣверъ отъ экватора, и долженъ былъ остановиться, въ виду враждебнаго настроенія туземцевъ. Однако, онъ прошелъ достаточно далеко, чтобы увѣриться въ возможности проникнуть этимъ путемъ внутрь, страны. Но послѣ путешествія Стенли, онъ пришелъ къ убѣжденію, что Конго представляетъ наилучшій путь въ Среднюю Африку. Поэтому, ему предстояло найти такое сообщеніе, которое позволяло бы направляться прямо къ морю съ того пункта, гдѣ плаванье по Конго становится невозможнымъ. Съ этой цѣлью, Брацца вновь выѣхалъ изъ Франціи въ 1879 году и, пользуясь скромнымъ пособіемъ правительства, два раза поднялся по Огоуэ, основалъ въ 1880 году станцію Франсвилль, и раньше Стенли достигъ до Нтамо на правомъ берегу Конго, гдѣ эта рѣка становится судоходной, пройдя около 500 километровъ по неизвѣстнымъ мѣстностямъ. Тогда Брацца, хорошо принятый туземцами и ихъ королемъ Макоко, заключилъ съ послѣднимъ договоръ, въ силу котораго Макоко отдавалъ свою територію подъ покровительство Франціи и уступалъ нѣкоторое пространство земли въ Нтамо. Этому мѣсту Парижское географическое общество дало по справедливости названіе Браццавилля. По возвращеніи Браццы во Францію, въ іюнѣ 1882 года, ему былъ открытъ кредитъ въ 1,275,000 франковъ и была снаряжена подъ его официальнымъ руководствомъ новая экспедиція. Въ мартѣ 1883 года Брацца выѣхалъ изъ Франціи съ званіемъ правительственнаго комиссара на африканскомъ западѣ и съ тѣми полномочіями и средствами, какихъ ему не доставало въ двухъ преж-

нихъ экспедиціяхъ. Вотъ послѣднія официальныя данныя объ его дѣйствіяхъ. Цѣль его заключалась въ томъ, чтобы открыть путь отъ моря и Конго чрезъ Огоуэ и Алимю, притокъ Огоуэ. Эта часть задачи можетъ считаться разрѣшенной, потому что Алима изслѣдована, по всему ея протяженію, на паровомъ суднѣ до Конго, самимъ Браццой, прежде всего обезпечившимъ свободу сообщенія по всему этому пути посредствомъ договоровъ, заключенныхъ съ прибрежными племенами. На этомъ обширномъ протяженіи, было учреждено до девяти постовъ или станцій. Отъ устья Огоуэ до пункта, называемаго Ньоле, возможно плаванье на пароходѣ, но далѣе является необходимость пересаживаться на гребныя суда. Отъ Франсвила нужно пройти 25 километровъ сухимъ путемъ, до рѣки Мкони, верхняго притока Алимы, гдѣ возможно уже безпрепятственное плаванье на паровыхъ судахъ. Длина всего пути, включая Конго отъ устья Алимы до Брацавила, равняется приблизительно 1,500 километровъ.

Кромѣ того, Брацца убѣжденъ, что возможно найти третій путь, болѣе короткий, чѣмъ путь на Огоуэ, и болѣе удобный, чѣмъ тотъ, который указанъ Стенли вдоль нижняго теченія Конго, усѣяннаго водоворотами. Для этого слѣдовало бы направиться къ западу чрезъ долину Ндуо, примыкающую къ Ніари, большой рѣкѣ, изливающей свои воды въ Атлантическій океанъ, подъ именемъ рѣки Килью, между Лоандо на югѣ и Лонгобенде на сѣверѣ. Французскій путешественникъ занялъ на берегу всѣ пункты, казавшіеся ему важными для его предпріятія, и устроилъ станцію на Килью. Въ силу трактата съ королемъ Лоанго и начальниками нѣкоторыхъ племенъ, вся страна между рѣкою Масаби на югѣ и Килью на сѣверѣ, находится въ настоящее время подъ покровительствомъ Франціи. Въ тоже время экспедиція сдѣлала много интересныхъ научныхъ изслѣдованій и собрала интересныя коллекціи флоры, фауны и ископаемыхъ этой страны.

Однако, задача Браццы не можетъ еще считаться вполне исчерпанною. Ему предстоитъ еще найти и опредѣлить путь, какой онъ предвидитъ въ долинѣ Ніари, и изслѣдовать судоходныя части Конго и его притоковъ.

Рѣка Огоуэ, о которой мы только что говорили, стоитъ на очереди для того, чтобы занимать путешественниковъ и ученыхъ. Относительно ея, между географами существовало до сихъ поръ большое разногласіе: нѣкоторые предполагали, что это притокъ Конго; другіе—что источникъ ея находится въ Хрустальныхъ горахъ, а третьи принимали ее за истокъ озера Вадаи. Докторъ Баллей, послѣ трехлѣтняго путешествія, представилъ Парижскому географическому обществу результаты своихъ изслѣдованій рѣки Огоуэ.

Забуре, пользуясь его данными, называетъ эту рѣку исключительно экваторіальною, такъ какъ четвертая часть ея пути идетъ параллельно разрѣзу земного шара. Въ настоящее время и истокъ Огоуэ перестаетъ уже быть тайною.

Французское правительство вознамѣрилось присоединить къ себѣ, въ видѣ колоніи, и островъ Мадагаскаръ. Поэтому мы обладаемъ теперь новыми географическими изслѣдованіями этого острова, сдѣланными французскими учеными. Нѣкоторые энтузіасты описывали этотъ островъ, какъ новую Яву, и считали будущую колонію Франціи весьма богатымъ приобрѣтеніемъ. Но, повидимому, эти похвалы преувеличены. Въ особенности, климатъ Мадагаскара вреденъ для бѣлыхъ. Этотъ островъ считается однимъ изъ самыхъ опасныхъ для здоровья и получилъ даже прозванье «кладбища европейцевъ». Величайшее препятствіе для распространенія бѣлой расы по всему земному шару, — вредный климатъ, на Мадагаскарѣ, повидимому, является въ одной изъ своихъ самыхъ опасныхъ формъ; по крайней мѣрѣ, колонизація европейцевъ на берегу мало общается успѣха, такъ какъ бѣлая раса можетъ уцѣлѣть тамъ лишь въ видѣ исключенія. Плодородность Мадагаскара, о которой было говорено такъ много, также оказывается достаточно условной. На сѣверѣ острова встрѣчается черноземъ, а на берегу — полосы песчаной земли, и растительность приобрѣтаетъ силу только на разстояніи двухъ миль отъ моря. Слѣдуетъ признать почву весьма благопріятной для растительности около форта Дофина и залива св. Августина. Внутри страны почва содержитъ въ себѣ много желѣза и охры, а въ странѣ гавасовъ попадаетъ много гранита. Вообще всѣ возвышенности тамъ бесплодны, и плодородными могутъ быть названы только долины.

На Мадагаскарѣ растительность достигаетъ чисто тропической силы: тамъ много лѣсовъ, хотя они разрѣжены за послѣднее время. Большая часть деревьевъ даетъ хорошій матеріалъ для кораблестроенія. Тамъ встрѣчаются пальмы, мимозы, ліаны и, какъ увѣряютъ, въ странѣ сакалавовъ, находятъ много сандалнаго дерева. Изъ пряныхъ веществъ Мадагаскаръ обладаетъ мускатомъ, перцемъ, гвоздикомъ и имбиремъ. Тамъ находятся банановыя, апельсинныя и лимонныя деревья, также какъ и кокосовыя пальмы, ввезенныя туда лишь два вѣка тому назадъ; хлѣбное дерево, ввезенное еще позднѣе, принялось очень хорошо; табакъ и ваниль также общають хорошіе результаты, но культура сахарнаго тростника не удастся, и тоже можно сказать и о кофе.

Если прибавить къ этому списку растительныхъ продуктовъ Мадагаскара, рисъ, мансъ, просо, бобы и т. п., то мы получимъ

почти все, что почва этого острова может производить и чего может ожидать от него колонизация. Но, какъ мы уже говорили, колонизация на Мадагаскарѣ можетъ быть только весьма ограниченной, и поэтому будущей французской колоніи едва-ли удастся сдѣлаться новой Явою. Главное значеніе ея, повидимому, будетъ заключаться въ удобной морской станціи.

Развитіе холеры въ 1884 году вызвало на свѣтъ множество новыхъ дезинфицирующихъ средствъ. Между ними слѣдуетъ различать такія, которыя только маскируютъ вредные міазмы, отъ тѣхъ, которыя непосредственно дѣйствуютъ на нихъ. Изъ всѣхъ способовъ дезинфекціи, наиболѣе цѣлесообразнымъ слѣдуетъ признать вентиляцію, замѣняющую испорченный воздухъ совершенно чистымъ, но этотъ способъ не вездѣ примѣнимъ и не вездѣ дѣйствителенъ. Когда идетъ вопросъ объ уничтоженіи вредныхъ веществъ въ стѣнахъ зданій, мебели, платьѣ и т. п., тогда прибѣгаютъ обыкновенно къ уксусной, сѣрнистой, азотной кислотамъ и къ парамъ хлора. Такія средства болѣе дѣйствительны, нежели ароматическія обкуриванія различными смолистыми веществами. Извѣстна способность щелочныхъ растворовъ поглощать угольную кислоту жилищъ; поэтому вѣдой известью пользуются для обсыпанія труповъ, и на томъ же основаніи бѣлятъ известью стѣны и потолки, чтобы уничтожить вредную пыль. Но всѣ эти средства слишкомъ слабы, когда вопросъ идетъ объ уничтоженіи міазмовъ во время эпидеміи. Всѣмъ извѣстны употребляющіяся въ такихъ случаяхъ дезинфицирующія вещества. «*Moniteur des produits chimiques*» перечисляетъ ихъ въ слѣдующемъ порядкѣ: 1) феноловая кислота, употребляющаяся въ пропорціи $\frac{1}{40}$, $\frac{1}{50}$, $\frac{1}{100}$; этимъ растворомъ опрыскиваютъ стѣны жилищъ и разливаютъ ее по улицамъ; 2) хлористая известь, употребляемая въ сухомъ состояніи; впрочемъ, рѣзкій запахъ ея дѣлаетъ ее непримѣнимою къ частнымъ жилищамъ; 3) желѣзный купоросъ, употребляемый въ растворѣ; 4) мѣдный купоросъ употребляется въ связи съ цинковымъ купоросомъ отъ 3 до 10 частей на 100 частей воды; тотъ способъ дезинфекціи почти оставленъ теперь; 5) цинковый купоросъ самъ по себѣ дѣйствуетъ сильнѣе желѣзнаго, хотя цѣна его гораздо выше; 6) феноловый порошокъ употребляется также, какъ и хлористая известь, но обладаетъ гораздо меньшею энергіею и гораздо дороже; 7) хлористо-водородная кислота употребляется при промываніи отводныхъ трубъ, стѣнъ, столовъ въ бойняхъ въ пропорціи $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{15}$. Сюда надо причислить еще дезинфицирующее средство, называющееся въ Парижѣ, Сенльюзъ основой котораго служатъ хлористый цинкъ, борная кислота и глицеринъ; это средство

предпочитаютъ всѣмъ остальнымъ, вслѣдствіе постоянства его дѣйствія и незначительныхъ хлопотъ, требуемыхъ при его примѣненіи. Мы сейчасъ укажемъ сравнительное достоинство, какое оказалось за нимъ при повѣркѣ ихъ дѣйствія во время холерной эпидеміи.

Изъ внутреннихъ антисептическихъ средствъ, полезныхъ при эпидеміяхъ, изслѣдованія Ціона, развивающаго мысль знаменитаго Дюма, указали на буру. Ее можно принимать до 15 гр. безъ малѣйшаго вреда для организма. Такимъ образомъ мы получаемъ весьма сильное антисептическое средство, могущее быть безнаказанно вводимымъ въ организмъ. Обыкновенныя дезинфицирующія средства употребляются только снаружи и принимаются внутрь уже послѣ того, какъ болѣзнь обнаружилась, когда это бываетъ поздно. Но въ бурѣ мы находимъ такое средство, которое можетъ быть употребляемо во все время эпидеміи безъ всякаго вреда для здоровья. Ціонъ еще въ 1879 году рекомендовалъ его для Россіи, и особая коммиссія подъ предсѣдательствомъ доктора Пеликана указала на пользу этого средства. Однако, эпидемія скоро окончилась, и оно не могло быть испытано у насъ. Съ тѣхъ поръ Ціонъ, втеченіе шести послѣднихъ лѣтъ, много разъ имѣлъ случай убѣждаться въ полезныхъ антисептическихъ средствахъ буры и борной кислоты во всѣхъ болѣзняхъ, происходящихъ отъ паразитовъ или микробовъ.

Докторъ Ціонъ замѣчаетъ, что обыкновенно дѣлаютъ большую ошибку, когда судятъ о дѣйствительности дезинфицирующихъ средствъ по степени ихъ ядовитости для человѣческаго организма. Нѣкоторыя антисептическія средства, считаемыя безспорно дѣйствительными, оказываются бессильными противъ невидимыхъ паразитовъ, уступающихъ нѣсколькимъ грамамъ буры и борной кислоты.

Польза буры ясно видна изъ факта, часто наблюдаемаго во время холерной эпидеміи: болѣзнь всегда падаетъ рабочимъ, занятыхъ фабрикаціей борной кислоты. Принимаемая въ количествѣ отъ 5 до 6 граммовъ въ день, бура не только дѣйствуетъ непосредственно на микробовъ, находящихся въ кишечномъ каналѣ, но переходя въ кровь, поражаетъ бациллъ, проникшихъ туда.

Со времени работъ Пастера и вызваннаго ими движенія въ наукѣ, ученіе о живыхъ организмахъ, служащихъ причинами различныхъ болѣзней, приобрѣтало все болѣе и болѣе значенія. Изученіе свойствъ микробовъ и условій распространенія причиняемыхъ ими болѣзней указываетъ, что болѣзнетворные микробы не находятся въ воздухѣ или, по крайней мѣрѣ, являются въ немъ лишь въ исключительномъ состояніи. Мѣстопробываніемъ для

нихъ, главнымъ образомъ, служить вода, и это легко понятно, если обратить вниманіе на то, что продукты всѣхъ процессовъ броженія и всѣхъ разложеній, посредствомъ дождя и посредствомъ всасыванія, попадаютъ въ почву или, наконецъ, прямо вводятся туда отводными трубами. Поэтому вода считается въ настоящее время однимъ изъ главныхъ агентовъ для распространенія заразныхъ болѣзней. Съ точки зрѣнія общей гигіены, является весьма важнымъ обстоятельствомъ найти такой фильтръ, который освобождалъ бы воду отъ всѣхъ содержащихся въ ней микробовъ и давалъ совершенно безвредный напитокъ. Шамберланъ, одинъ изъ учениковъ Пастера, достигъ этого результата, заставляя проходить воду чрезъ пористый неглазированный фарфоръ. Вода, даже самая нечистая, будучи профильтрована чрезъ такого рода сосудъ, не содержитъ въ себѣ ни микробовъ, ни какихъ-либо зародышей. Послѣ подобной фильтраціи, самая нечистая вода можетъ быть прибавляема въ любой пропорціи къ жидкостямъ, наиболѣе способнымъ къ помутненію, не вызывая ни малѣйшаго измѣненія.

Аппаратъ Шамберлана соединяется непосредственно съ водопроводомъ и дѣйствуетъ, благодаря давленію, существующему въ водопроводѣ. Подъ давленіемъ около двухъ атмосферъ, получается, съ помощью одной пористой трубки или фильтрующей свѣчи, до 26 литровъ воды въ день, которой вполне достаточно для обычныхъ потребностей средняго хозяйства. Увеличивая число фильтрующихъ свѣчъ, соединяя ихъ въ видѣ батареи, легко получить достаточное количество воды для школъ, больницъ, казармъ и т. д. Чистка этихъ фильтровъ крайне проста: достаточно вытереть щеткою внѣшнюю поверхность свѣчи, и, кромѣ того, ее можно погружать въ горячую воду или прямо подогрѣвать на огнѣ для того, чтобы уничтожить органическую матерію, осѣвшую на ее поверхности; при этомъ ей вполне возвращается ее первоначальная пористость, и каждая свѣча можетъ служить неограниченное количество времени.

Холера, бывшая въ 1884 году, охватила югъ франціи, часть Италіи, Испанію и проникла въ Парижъ. Мы резюмируемъ здѣсь въ нѣсколькихъ словахъ данныя относительно этой болѣзни, быть можетъ, снова угрожающей Европѣ. Прежде всего, она является уже съ гораздо меньшей силою, чѣмъ въ прежнее время. Очевидно, акклиматизировавшись въ Европѣ, она много утратила своей страшной интенсивности.

Холера появилась въ первое время въ іюнѣ въ Тулонѣ. 1 іюля множество посѣтителей собралось въ залѣ Медицинской академіи въ Парижѣ, гдѣ докторъ Бруардель долженъ былъ сооб-

щить медицинскому міру результаты своей поѣздки, съ цѣлью ознакомиться съ санитарнымъ положеніемъ Прованса. Холера обнаружилась первоначально на двухъ судахъ, и морскіе врачъ опредѣлили въ ней признаки индійской холеры. Адмиралъ Крапцъ удостовѣрялъ, что всѣ прѣвила, предписываемыя санитарнымъ уставомъ, были соблюдены на судахъ, гдѣ обнаружилась болѣзнь. Такимъ образомъ азіатская холера могла появиться въ Тулонѣ только вслѣдствіе какихъ либо пробѣловъ въ санитарныхъ правилахъ. Но докторъ Бруардель не могъ указать, въ чемъ именно заключаются эти пробѣлы, такъ какъ всѣ указываемыя мѣры были исполнены съ точностью. До 23 іюня существовало еще сомнѣніе относительно характера эпидеміи, когда стало извѣстно, что холерою заболѣлъ одинъ изъ воспитанниковъ тулонскаго лицея. Затѣмъ по наблюденіямъ докторовъ Пру и Бруарделя въ Марсели не оставалось уже никакого сомнѣнія, что предъ ними была азіатская холера. Тѣмъ не менѣе, путь, которымъ она прѣникла въ Европу, все еще остается не яснымъ. Начиная отъ 15 іюня, холера въ Тулонѣ стала развиваться быстро. Въ среднемъ, количество заболѣваній считалось отъ 80 до 100 въ день, а число смертныхъ случаевъ отъ 15 до 20 въ день. Съ половины августа, эпидемія стала поражать множество жертвъ въ Марсели: тамъ насчитывалось ежедневно отъ 50 до 60 смертныхъ случаевъ. Эпидемія распространилась по всему югу Франціи, хотя съ большими промежутками и въ слабой степени. Наконецъ, она ослабѣла и въ Тулонѣ, и въ Марсели. 11 сентября въ Тулонѣ былъ только одинъ смертный случай отъ холеры; въ то же время и въ Марсели она почти исчезла. Въ другихъ мѣстностяхъ юга Франціи было, однако, еще нѣсколько случаевъ и послѣ того.

Въ Испаніи и Италіи она въ то же время производило опустошенія, крайне устрасавшія населеніе. Въ Италіи она достигла Генуи, гдѣ, впрочемъ, число смертныхъ случаевъ не превышало 12 въ день, и продолжительность ея была не болѣе мѣсяца. Къ несчастію, въ Неаполѣ болѣзнь оказалась гораздо сильнѣе, и въ теченіе нѣсколькихъ дней ежедневно насчитывалось отъ 300 до 400 жертвъ. 12 сентября санитарный бюллетень Неаполя отмѣтилъ 848 случаевъ заболѣваній за однѣ сутки, а изъ числа этого числа до 386 смертей, изъ которыхъ только 109 было изъ заболѣвшихъ ранѣе того. Тѣмъ не менѣе, эпидемія несомнѣнно теряла свою силу. 15 октября во всей Италіи было только 192 смертныхъ случая.

Возможность изученія холеры съ точки зрѣнія микробовъ, которыхъ можно было бы признать причиною этой ужасной болѣзни, безъ сомнѣнія, не была упущена изъ виду. Пастеръ съ

этой цѣлью отправилъ въ Марсель и Тулонъ двухъ своихъ учениковъ. Къ несчастію для науки и человѣчества, эти изслѣдованія были безплодны; ученики Пастера вернулись въ Парижъ и должны были сознаться, что ихъ усилія не привели къ разъясненію паразитныхъ причинъ развитія болѣзни. Имъ не удалось произвести холеры, прививая продукты, собранные отъ больныхъ.

Германскій ученый, отправившійся въ Индію съ такою же цѣлью, д-ръ Кохъ успѣшилъ пріѣхать въ Тулонъ, чтобъ заняться подобнаго-же рода изслѣдованіемъ. Было время, когда всѣмъ казалось, что докторъ Кохъ открылъ, наконецъ, давно ожидаемаго микроба; но эта надежда оказалась неосновательною. Кохъ призналъ въ холерныхъ изверженіяхъ существованіе организма, который онъ назвалъ *бацилою* и который получилъ специфическое названіе «бацилы въ видѣ запятой», вслѣдствіе своей искривленной формы. Исключительное мѣстопробываніе этой бацилы, по указаніямъ доктора Каха, есть кишечный каналъ и въ особенности нижній конецъ тонкой кишки. Эти бацилы при развитіи болѣзни значительны; когда же дѣло идетъ къ выздоровленію, бацилы почти исчезаютъ. Въ смертельныхъ случаяхъ, ихъ оказывается громадное количество. Они развиваются невѣроятно быстро на бѣлѣ, запачканномъ холерными изверженіями, чѣмъ и объясняется сильная заразность бѣлья холерныхъ больныхъ. Докторъ Кохъ находилъ ее въ кишкахъ всѣхъ умершихъ отъ холеры и никогда не встрѣчалъ въ случаяхъ диссентеріи, кишечныхъ изъязвленій или въ какой либо гнилостной матеріи. Только холерной бацилѣ принадлежитъ ея характерная форма—форма запятой. Она скорѣе умираетъ отъ засыханія, чѣмъ другія бацилы, и можетъ жить только въ щелочной средѣ, какава оказывается въ кишкахъ, и гибнетъ въ кислой средѣ, т. е. въ желудкѣ. Но если пищевареніе не удовлетворительно, она можетъ пройти безъ вреда чрезъ желудокъ и попасть въ кишки. Всѣ эпидеміи указываютъ, дѣйствительно, что холера въ особенности поражаетъ лицъ съ дурнымъ пищевареніемъ. Но въ настоящее время доказано, что этотъ первичный организмъ вовсе не служитъ причиной болѣзни. Напрасно докторъ Кохъ и его единомышленники старались о размноженіи запятообразныхъ бацилъ. Не было найдено ни одного способа сохранить ихъ въ жидкости, и всѣ опыты прививки ея къ животнымъ не производили холерныхъ припадковъ. Поэтому ни ученики Пастера, ни Кохъ не опредѣлили причины болѣзни, которая осязательно указывала бы на микроскопическіе организмы.

Страшная болѣзнь вызвала множество ученыхъ споровъ въ Медицинской академіи въ Парижѣ, въ ученыхъ обществахъ и

на страницахъ медицинскихъ журналовъ. Самымъ существеннымъ вопросомъ казался вопросъ: дѣйствительно ли холера должна быть занесена изъ Индіи или Египта? Докторъ Жюль Геренъ доказывалъ въ Медицинской академіи, что холера можетъ появляться сама собою, что вовсе нѣтъ надобности вывозить ее изъ отдаленныхъ странъ; она всегда должна проявляться, когда мѣстные условия въ состояніи вызвать ея развитіе, т. е. при дурномъ санитарномъ положеніи мѣстности, и при благопріятномъ для болѣзни состояніи организма. Дальнѣйшій вопросъ заключается въ томъ — какимъ путемъ могутъ переноситься болѣзнетворныя вещества: воздухомъ, водою, изверженіями или одеждою? Не смотря на множество оживленныхъ дебатовъ, вызванныхъ этимъ вопросомъ, онъ до сихъ поръ еще далекъ отъ своего разрѣшенія. Даже относительно пользы карантинныхъ мѣръ расходятся. Всѣмъ извѣстно, какой строгости подвергались путешественники прошлымъ лѣтомъ на границахъ Италіи, Испаніи и Швейцаріи. Несчастныхъ путешественниковъ запирали въ особыхъ залахъ и подвергали насильственнымъ обкуриваніямъ хлоромъ и сѣрнистой кислотою. Одинъ старикъ, при вѣздѣ въ Италію, умеръ отъ такого рода дезинфекціи. Даже самыя дезинфицирующія средства подвергались дезинфекціи, и тѣмъ не менѣе, въ тѣхъ странахъ, гдѣ всѣ подобныя мѣры отличались строгостью, болѣзнь распространялась съ наибольшею силою. Однако, сомнѣнія въ данномъ случаѣ нисколько не поколебали вѣры въ карантинныя и, очевидно, всюду гдѣ будутъ бояться холеры, карантинныя будутъ въ полной силѣ.

Во время холерной эпидеміи, въ 1884 году, было предлагаемо множество медицинскихъ средствъ, предохраняющихъ отъ нея и излечивающихъ ее. Однимъ изъ этихъ средствъ было леченіе мѣдью, предложенное докторомъ Боркомъ, хотя оно вызвало множество возраженій. Другіе предлагали подкожныя впрыскиванія щелочной или соленой воды, или же молочной и хлористоводородной кислоты. Одинъ врачъ рекомендовалъ паровыя ванны, другой салициловую кислоту; прописывался азотноватокислый висмутъ, назначались растиранія, чтобы возстановить кровообращеніе, и приемы опиума, еще указанные Вельпо. Но никакой мотивированной системы въ леченіи не было; не было общаго прѣлесообразнаго метода, такъ что вопросъ о леченіи холеры остается въ настоящее время въ томъ же состояніи, въ какомъ онъ былъ въ 1832 г. Точно также и изъ множества антисептическихъ средствъ ни одно не получило положительнаго перевѣса. Пастеръ рекомендовалъ азотноватную кислоту. Но полученіе и употребленіе этого раздражающаго, труднаго для вдыханія газа, представило бы слишкомъ много хлопотъ. Давнишняя слава феноловой кислоты также

пострадала при этихъ испытаніяхъ. Пастеръ высказалъ даже, что она самое неудачное изъ всѣхъ дезинфицирующихъ средствъ.

Гигиеническій комитетъ во время эпидеміи въ Парижѣ составилъ изъ докторовъ Бруарделя, Пру, Фовеля, Петера, Легуэ и др. особую комиссію, на которую была возложена обязанность выработать предохранительныя правила въ случаѣ холерной эпидеміи. Комиссія только подтвердила давно извѣстныя правила относительно режима, какому нужно слѣдовать во время или въ ожиданіи эпидеміи. Мы перечислимъ ихъ вкратцѣ, какъ послѣднія данныя научной гигиены по вопросу о предохраненіи отъ холеры.

Слѣдуетъ избѣгать чрезмѣрнаго утомленія, какъ физическаго, такъ и психическаго, продолжительнаго бдѣнія, однимъ словомъ, всего, что вызываетъ истощеніе организма. Слѣдуетъ заботливо оберегать себя отъ простуды. Особаго вниманія требуетъ вода, употребляемая для питья, такъ какъ она служитъ главной средой распространенія заразы. Слѣдуетъ предпочтительно употреблять кипяченую воду, или слабый настой чая, какихъ-нибудь ароматическихъ травъ, и прибавлять къ нимъ вина. Вода можетъ быть также профильтрована черезъ уголь. Естественныя минеральныя воды могутъ съ большою выгодой замѣнять простую воду за столомъ. Фрукты, если они совершенно спѣлы, вреда причинить не могутъ; но еще лучше, изъ предосторожности, ѣсть ихъ вареными. Тоже можно повторить и о зелени; поэтому сырой зелени—салата, рѣдиски, огурцовъ лучше избѣгать въ холерное время. Неумѣренность въ пищѣ и, въ особенности, въ потребленіи спиртныхъ напитковъ весьма опасны въ это время. Тоже можно повторить и о замороженныхъ, ледяныхъ напиткахъ, могущихъ причинить расстройство желудка, и т. д.

Если научная борьба съ холерой покуда еще оставляетъ ожидать положительныхъ результатовъ, изслѣдованія Пастера и его школы гораздо успѣшнѣе въ борьбѣ съ другой страшной болѣзью, не подававшейся до сихъ поръ никакому леченію. Мы говоримъ объ укушеніи бѣшеными животными, вызывающими такъ называемую водобоязнь. Съ незапамятныхъ временъ и народная, и ученая медицина ищутъ средствъ отъ водобоязни, и ни одно изъ этихъ средствъ не можетъ считаться ни специфическимъ, ни общимъ лекарствомъ. Пастеръ подошелъ къ задачѣ съ другой стороны. Онъ ищетъ возможности прививать животнымъ ядъ бѣшеной собаки, для того, чтобы онъ проявился въ слабыхъ припадкахъ и затѣмъ уже обезпечивалъ животныхъ отъ послѣдствій укушеній. Опыты прививки яда отъ одного животнаго къ другому, и притомъ различныхъ порядковъ—напр., отъ обезьяны къ кроли-

ку, отъ кролика морской свинкѣ, отъ послѣдней собакѣ и т. д. дали блестящій результатъ. Ядъ при этомъ несомнѣнно ослабѣваетъ, какъ ослабѣваетъ оспенный ядъ, пройдя черезъ тѣло теленка. Коммисія изъ профессоровъ Беклара, П. Бера, Вюльпіана и др., приглашенныхъ Пастеромъ провѣрить его работы, пришла къ убѣжденію, что прививка ослабленнаго яда вполне спасаетъ собаку отъ послѣдствій укушенія бѣшенными животными. Остается теперь найти возможность ослабить дѣйствія яда въ организмѣ укушенной человѣческой или животной особи. Въ случаѣ удачнаго разрѣшенія вопроса, это будетъ одна изъ самыхъ блестящихъ, безсмертныхъ работъ Пастера.

Такой-же удачей сопровождались и опыты прививки микроба желтой лихорадки. Эти опыты были произведены докторомъ Домингосомъ въ Рио-Жанейро, съ помощью молодого французскаго врача Шово, ученика Пастера. Опыты можно считать вполне успѣшными. Микробъ сперва вводится въ тѣло морской свинки и потомъ прививается человѣку. Домингосъ произвелъ этотъ опытъ надъ самимъ собой и надъ своими учениками съ полнѣйшей удачей. Насколько важно это открытіе для акклиматизаціи бѣлой расы въ обширномъ кругѣ мѣстностей, поражаемыхъ желтой лихорадкой, можно судить изъ того, что изъ числа 25 французскихъ врачей, отправленныхъ въ Сенегаль для борьбы съ желтой лихорадкой, умерло 23. Въ настоящее время въ Бразиліи прививка желтой лихорадки распространяется все болѣе и болѣе, и опыты свидѣтельствуютъ, что тѣ лица, которымъ прививается микробъ желтой лихорадки, противустояли ея дѣйствию, убивавшему субъектовъ, которымъ этой прививки не было сдѣлано.

Изъ успѣховъ медицины, связанныхъ съ прошлымъ годомъ, слѣдуетъ отмѣтить еще удачные опыты излеченія крупы д-ра Дютиля. Докторъ Дютиль зажигаетъ около постели больного ребенка деготь, облитый скипидаромъ, въ простомъ глиняномъ сосудѣ. Комната наглухо запирается и наполняется густыми, ѣдкими парами, которыя ребенокъ жадно вдыхаетъ, инстинктивно чувствуя, какъ только могутъ чувствовать дѣти, что въ этомъ заключается его изцѣленіе. Парь, проникая въ дыхательныя пути, заставляютъ ложныя перепонки отдѣляться, и ребенокъ свободно откашливаетъ ихъ.

За недостаткомъ мѣста, новости по сельскому хозяйству и технологіи мы должны отложить до другого времени.

Д. Королчевскій.

IV

МЕЙНИНГЕНСКАЯ ТРУППА ВЪ ПЕТЕРБУРГЪ.

О мейнингенской труппѣ, до прїѣзда ея въ Петербургъ, слышали у насъ немногіе и знали о ней немного. Широковѣщательныя рекламы не предшествовали ея прїѣзду; наша ежедневная печать оповѣстила своихъ читателей о предстоящихъ гастролѣхъ весьма сдержанно, повторивъ лишь афишу театральнаго дирекціи объ открытіи абонементовъ. Изъ сообщенныхъ подробностей о труппѣ большинство нашей публики наиболѣе заинтересовало извѣстіе о томъ, что мейнингенцы везутъ съ собой 28 вагоновъ съ декораціями, костюмами и аксессуарами. Безъ всякаго преувеличенія, можно сказать, что добрая половина публики, явившейся на первое представленіе нѣмецкихъ гостей, явилась смотрѣть на содержимое этихъ пресловутыхъ 28 вагоновъ, а не на исполненіе Юлія Цезаря. Между тѣмъ, съ перваго же представленія, мейнингенцы показали нѣчто болѣе цѣнное, чѣмъ всѣ ихъ вагоны, взятыя вмѣстѣ: они показали невиданную до сихъ поръ стройность исполненія *тессы*, красоту исполненія, соединенную съ строгою историческою вѣрностью и полною реальностью воспроизведенія на сценѣ драматическихъ произведеній, составляющихъ репертуаръ ихъ гастролей. Благодаря такому исполненію, мы не только впервые видѣли трагедіи Шекспира и Шиллера, какъ *чуждыя тессы*: мы всѣ присутствовали, какъ бы очевидцами, при всѣхъ историческихъ событіяхъ, которыя послужили имъ сюжетомъ. Предъ нашими глазами, убили великаго Цезаря, шумѣлъ и волновался римскій форумъ, закатилась военная звѣзда Валленштейна, Швейцарія подняла знамя свободы и шла на казнь несчастная Марія Стюартъ. Такая полная сценическая иллюзія, очевидно, не можетъ быть достигнута одними только декораціями и костюмами,—для этого нужно кое что другое, чего мы не видали до сихъ поръ ни въ одной труппѣ, съ такой силой и яркостью, какъ у мейнингенцевъ.

Всегда и вездѣ, стройность, гармонія исполненія, такъ называемый ансамбль, признавались необходимыми условіями хорошей сцѣны. Парижскій театръ Comédie Française представляетъ собою одинъ изъ блестящихъ примѣровъ такой стройной труппы, неуступающей въ этомъ отношеніи мейнингенской, а количествомъ и качествомъ единичныхъ дарованій своихъ артистовъ далеко превосходящей ее. Изящество и соотвѣтствіе костюмовъ, декорацій и вообще внѣшней постановки пьесъ, также признаются однимъ изъ могущественнѣйшихъ средствъ для достиженія сценической иллюзіи, и въ этомъ отношеніи парижскіе театры достигли почти крайнихъ предѣловъ сценической роскоши. Явилось даже опасеніе, какъ бы эта сторона не поглотила внутреннюю сторону сценическаго исполненія, и по этому предмету возникла весьма оживленная полемика между такими знатоками дѣла, какъ Перренъ, директоръ Comédie, Франсискъ Сарсе и А. Дюма. Наконецъ, всегда и вездѣ признавалось, что историческія пьесы должны быть по возможности вѣрны въ археологическомъ отношеніи, и если это условіе не всегда соблюдалось, то никакъ не изъ за принципіальнаго отрицанія необходимости исторической точности, а или по незнанію, или по невозможности соблюсти это условіе.

Такимъ образомъ, всѣ достоинства мейнингенскаго театра, взятыя сами по себѣ, не представляютъ ничего такого, что не было бы признано и примѣнено другими сценами, обладающими еще, кромѣ того, и крупными артистическими дарованіями. Между тѣмъ ни одна сцена, не исключая и парижской Comédie Française, не въ силахъ разрѣшить такія сложныя задачи и достигнуть такой полной сценической иллюзіи, какъ мейнингенская труппа, въ которой нѣтъ ни крупныхъ дарованій, ни безумныхъ по роскоши внѣшнихъ средствъ, ни какихъ либо новыхъ сценическихъ приемовъ или эффектовъ.

Сильное и полное впечатлѣніе, какое выносить зритель изъ спектаклей мейнингенцевъ, производится прежде всего тѣмъ, что труппа исполняетъ *не роли* пьесы, а самую *пьесу*, какъ *цѣльное произведеніе*. При этомъ исполненіе отдѣльныхъ артистовъ сливается въ стройный оркестръ, въ которомъ слышны не солисты, а одинъ гармоничный аккордъ, остающійся въ памяти зрителя долго послѣ паденія занавѣса. Внѣшней стороны постановки отведено мѣсто ровно настолько, чтобы она служила рамой, въ которую заключены отдѣльныя фигуры, образующія одну общую картину.

До сихъ поръ заботы о внѣшней сторонѣ *общаго* исполненія пьесы уступали мѣсто заботамъ о внутренней силѣ исполненія главныхъ ролей, и даровитое исполненіе роли Гамлета.

Отелло или Лира въ большинствѣ случаевъ заставляло снисходительно смотрѣть на исполненіе остальныхъ лицъ пьесы. Нѣтъ сомнѣнія, что талантливое воспроизведеніе великихъ образовъ оставляетъ въ душѣ сильное чувство, производитъ то впечатлѣніе, которое должно произвести задуманное гениальнымъ авторомъ лицо. Правда, мы видѣли Макбета, Отелло, Гамлета въ лицѣ такихъ даровитыхъ истолкователей, какъ Сальвини и Росси,—но нельзя не сознаться, что шекспировскихъ трагедій мы не видали. Въ мейнингенскомъ же исполненіи, если мы и не видали Юлія Цезаря, Карла Моора или Марію, то мы смѣло можемъ сказать, что видѣли трагедію Шекспира «Юлія Цезарь» и Шиллеровскихъ «Разбойниковъ» и «Стюартъ». Мейнингенская труппа не только представила намъ эти произведенія, какъ *пьесы*: она заставила насъ присутствовать *при событіяхъ*, послужившихъ для нихъ сюжетомъ, и въ живомъ, гармоничномъ дѣйствіи показала, какъ *авторъ обращается съ сюжетомъ*, которымъ ссудила его исторія или современная ему эпоха. Благодаря такому всестороннему исполненію, напримѣръ, «Зимней сказки», мы видѣли не только самое *сказку* въ лицахъ, но и *пьесу* «Зимняя сказка» и именно пьесу *Шекспира*, со всѣми особенностями его обработки сюжета, съ его смѣлыми приемами, несообразностями, анахронизмами и пр. Большаго требовать отъ труппы едва ли возможно.

Такимъ образомъ, сфера мейнингенцевъ, въ которой они не имѣютъ себѣ равныхъ, это—*внѣшняя сторона общаго исполненія пьесы*. Насколько важна эта сторона театральнаго искусства—доказываетъ та полнота впечатлѣнія, которую производитъ мейнингенская труппа, обратившая все свое вниманіе и усиліе именно на эту сторону.

Подъ внѣшнею стороною общаго исполненія пьесы, мы понимаемъ не одну лишь матеріальную, обстановочную часть монтировки пьесы, но все, что образуется совокупностью *сценической оптики и режиссерскаго дисциплинированія исполнителей*. Подъ этими выраженіями, мы подразумѣваемъ всѣ тѣ внѣшнія условія сценическаго исполненія, которыя дѣйствуютъ непосредственно на глазъ и ухо зрителя, какъ-то: соотвѣтственныя пьесѣ декорации, костюмы и аксессуары, освѣщеніе и сценическіе эффекты, сопровождающіе дѣйствіе, позы и жесты отдѣльныхъ лицъ, группировку ихъ въ сценахъ, общія картины народныхъ массъ, движенія и переходы, чередованіе и согласованіе между собою репликъ въ общихъ сценахъ, строгое соблюденіе сценической *перспективы въ исполненіи* и приведеніе въ гармоническое цѣлое игры всѣхъ исполнителей, изъ которыхъ каждый *сознательно* занимаетъ то мѣсто въ общемъ исполненіи, какое отведено авторомъ его роли, соотвѣтственно

*

довѣ публики на задачи сценической постановки—то и въ этомъ уже не малая польза. Если же нашъ театръ, начавъ съ мелочныхъ, и нѣскольکو забавныхъ, можетъ быть, по началу, подражаній мейнингенцамъ, вступить на путь болѣе серьезнаго вниманія къ общему исполненію пьесъ, на путь изученія и труда въ дѣлѣ сценическихъ постановокъ—то это уже крупная заслуга.

Поняла-ли, однакоже, наша публика достоинства мейнингенской труппы? Матеріальный успѣхъ мейнингенцевъ былъ весьма значительный. Наша публика ходила смотрѣть ихъ очень усердно; но, приглядываясь въ составу этой публики, прислушиваясь вокругъ къ ея сужденіямъ и разговорамъ, нельзя было не вывести заключенія, что «мода дня» для многихъ была причиною ихъ стремленій въ Александринскій театръ, не смотря на высокія цѣны, и что почти для $\frac{3}{10}$ всѣхъ зрителей мейнингенское исполненіе имѣло значеніе исключительно какъ внѣшнее зрѣлище, какъ рядъ красивыхъ живыхъ картинъ. «Succés de tapisserie!»—выразился одинъ изъ артистовъ (1) и многіе подхватили этотъ приговоръ. «Актеровъ у нихъ въ труппѣ нѣтъ», глубокомысленно замѣтила одна изъ газетъ, и публика сейчасъ же усвоила себѣ мнѣніе, что у мейнингенцевъ хороша постановка, но «труппы нѣтъ». Казалось-бы, что задача печати, театральной критики, разъяснить неосновательность такого поверхностнаго сужденія, указать, что главныя достоинства мейнингенской труппы въ ея цѣлостномъ воспроизведеніи классическихъ произведеній, въ поразительной стройности исполненія и полнотѣ достигаемой ею иллюзій; что глубокое впечатлѣніе, производимое ею, не можетъ быть результатомъ однихъ только красивыхъ декораций и костюмовъ; что актеръ одинаково типично, правдиво и продуманно исполняющій такіе разнообразныя типы, какъ Брутъ, Изолани, Шпигельбергъ (г. Арндтъ) или какъ Кассій и Капуцинъ, Бутлеръ и Антоликъ, Гесслеръ и Роллеръ (г. Теллеръ)—не можетъ быть плохимъ актеромъ, и труппа, вся почти составленная изъ такихъ умѣлыхъ, разнообразныхъ актеровъ, не можетъ быть признана плохой труппою. Но и на этотъ разъ наша газетная критика оказалась не выше самаго поверхностнаго дилетантизма. Странно и даже неловко читать, напримѣръ, разсужденіе о томъ, что при исполненіи 2-го акта «Маріи Стюартъ», въ сценѣ приѣма французскаго посла, мейнингенская труппа «довольно близко» воспроизвела этикетъ бывшій при дворѣ Елизаветы: остается предположить, что развязному рецензенту ближе извѣстенъ этикетъ двора англійской королевы, чѣмъ мейнингенской труппѣ, ставившей эту сцену послѣ изученія, навѣрно болѣе глубокаго и добросовѣстнаго, чѣмъ приведенное сужденіе.

Какъ-бы то ни было, но для истинныхъ цѣнителей театра гастроли мейнингенской труппы надолго останутся въ памяти, какъ свѣтлый образецъ тѣснаго союза искусства съ наукой, таланта съ знаніемъ. Успѣхъ мейнингенцевъ, блестящіе художественные результаты ими достигнутые, являются новою побѣдою принципа необходимости изученія, труда, въ сферѣ театральнаго искусства. Если посѣщеніе Петербурга этою образцовой труппою хотя сколько нибудь двинетъ насъ на пути серьезнаго изученія родной старины, внимательнаго отношенія къ театральнымъ постановкамъ и возможно большаго развитія, въ нашихъ театрахъ, *школахъ*, въ широкомъ смыслѣ слова, — то ужь и за это одно большое спасибо нашимъ мейнингенскимъ гостямъ!

Д. Н—въ.

НОВЫЕ ПУТИ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ.

Эстетическія идеи и потребности —
этотъ цвѣтъ образованности распро-
страняется въ массѣ публики всего мед-
леннѣе и труднѣе, и лишь при дружномъ
содѣйствіи многихъ.

(Эдельсонъ, Предисловіе къ Лакобону).

Давно уже ни одно художественное произведеніе не порождало въ нашемъ обществѣ такой сенсаціи, какъ картина Г. Рѣпина *Иванъ Грозный и сынъ его Иванъ*. Выставка художниковъ — передвижниковъ, въ общемъ, въ этомъ году мало интересная, привлекла народу почти 45000—болѣе, чѣмъ когда либо во всѣ тринадцать лѣтъ своего существованія. Публика цѣлыми массами толпилась у картины. На выставкѣ одни безусловно восхищались картиной; другіе же, напротивъ, не стѣсняясь, ее бранили... «Новое Время» провозглашаетъ ее шедевромъ не только всей выставки, но и, вообще, всей русской живописи, а г. Боборыкинъ—крупнѣйшимъ вкладомъ въ русское искусство. Г. Аверкиевъ въ своемъ «Дневникѣ писателя» пробуетъ выразить взглядъ совершенно противоположный, но его голосъ, вмѣстѣ съ нѣсколькими другими робкими голосами противъ картины, едва слышенъ въ хорѣ хвалебныхъ журнальныхъ голосовъ. Въ результатѣ, успѣхъ увѣнчивается и золотыми лаврами: картина покупается за большую сумму Третьяковымъ и поступаетъ на вѣчныя времена въ его великолѣпный музей отечественной живописи. Это ли не торжество художника, въ полномъ развитіи своего таланта написавшаго такую картину,—торжество, поощряющее великій талантъ идти по новому пути въ томъ же духѣ и далѣе? Это ли не великій соблазнъ и для молодыхъ талантовъ пойти по стопамъ учителя по прямой дорогѣ въ храмъ славы и, пожиная лавры, получить за свой трудъ и хорошую матеріальную мзду?

Этотъ громадный, неслыханный, успѣхъ картины, приобретенный такъ быстро, можно сказать, сразу, въ нашемъ, совсѣмъ

слажденія въ комнатахъ скелетовъ, не кладуть на столъ, вмѣсто альбомовъ, анатомическихъ атласовъ? Если намъ скажутъ, что въ эстетическихъ цѣляхъ мы требуемъ отъ искусства однихъ веселыхъ, успокоивающихъ, но не волнующихъ душу сюжетовъ, мы отвѣтимъ, что вовсе не противъ сюжетовъ даже самыхъ, такъ сказать, кровавыхъ; какой любитель искусства откажется украсить свой кабинетъ такими, напримѣръ, вещами, какъ *Петръ Арбуэзъ* (Каульбаха) *приговаривающій къ смерти семейство еретиковъ*, обѣ картины Пилотти *Смерть Валленштейна*, или *Кромвелъ у гроба Карла I* Поля Делароша? Значить, дѣло тутъ не въ кровавости сюжета, а въ чемъ-то другомъ, составляющемъ величіе этихъ безсмертныхъ произведеній искусства, которыми наслаждается весь образованный міръ, между тѣмъ какъ картина г. Рѣпина, при всѣхъ своихъ достоинствахъ, неприятна. Разсмотримъ-то этой послѣдней картины, въ связи съ другими шедеврами живописи, а также по отношенію къ нѣкоторымъ общимъ законамъ искусства, мы теперь и займемся.

Вообразите себѣ иностранца, совсѣмъ незнакомаго съ событіемъ 16 ноября 1581 года; что представить его чувству и уму картина? Посреди азіатской обстановки царскихъ хоромъ, въ комнатѣ, гдѣ, судя по опрокинутой скамьѣ, валяющемуся валику и желѣзному посоху, сбитому коври, происходила борьба за жизнь, на первомъ планѣ, на колѣняхъ, какой-то отвратительный старикъ съ рѣдкими, поднявшимися отъ ужаса дыбомъ волосами, съ лицомъ, перепачканномъ въ крови, съ глазами совсѣмъ безмысленными, на выкатѣ, съ остановившимися зрачками. Въ этомъ лицѣ съ горбатымъ носомъ, лицѣ вовсе не интеллигентномъ, а только свирѣпомъ, обнаруживающемъ одни животные инстинкты, одно только выраженіе крайняго ужаса. Не то цѣлуетъ, не то сосетъ онъ, какъ вампиръ, свою жертву, совсѣмъ юношу, истекающаго кровью. Онъ поддерживаетъ юношу своей рукой, сквозь которую видна въ обилии запекающаяся кровь; слѣды ея и на коврѣ, и на парчевомъ платьѣ жертвы, находящейся въ предсмертной агоніи. Глаза юноши совсѣмъ потухаютъ; рука судорожно оперлась въ полъ—общее жалкое выраженіе умирающаго животного,—то выраженіе агоніи, когда уже нѣтъ мѣста ни мысли, ни чувству. Отвратительный старикъ убилъ юношу и испугался до того, что, кажется, сейчасъ умереть ударомъ самъ, или совсѣмъ сойдетъ съ ума. Какую же мысль вынесетъ изъ созерцанія этой картины иностранецъ, пораженный невиданнымъ дотогѣ въ художественныхъ произведеніяхъ реализмомъ въ изображеніи патологическаго состоянія предсмертной агоніи и сумашествія? Мысль

о томъ, что для человѣка убить другого есть дѣло противоестественное, могущее повергнуть самого убійцу въ ужасъ? Вѣдь человѣческаго-то въ лицѣ убійцы уже вовсе не видно за этимъ ужасомъ. Въ одной изъ восторженныхъ рецензій авторъ видитъ въ убійцѣ выраженіе *«рева льва передъ задуманнымъ львенкомъ»*. Можетъ быть, оно и вѣрно; но на сколько чувство ужаса животного передъ задуманнымъ дѣтенышемъ (если только такъ у звѣрей бываетъ) можетъ интересовать человѣка, желающаго видѣть въ художественномъ произведеніи *человѣчскія* чувства? Между тѣмъ тутъ только одно животное, и въ убійцѣ, и въ убитомъ — моментъ полнаго обезумѣнія и наступающей смерти, когда за физическимъ нѣтъ уже ничего психологическаго, и когда передъ нами только одни страшные патологическіе процессы. Зритель также можетъ не знать исторіи инквизиціи; но довольно взглянуть на этого разсвирѣпѣвшаго каульбаховскаго Петра Арбуэса, направившаго было желѣзный посохъ въ затылокъ несчастной женщинѣ, заподозрѣнной въ ереси, но во время удержаннаго монахами, чтобы понять всю силу гнѣва этого человѣка, полнаго сознаніемъ своего величія. Можно не знать исторіи Кромвеля и Карла I, но довольно всмотрѣться въ это умное, глубоко сурьезное, лицо человѣка, приподнимающаго крышку гроба съ трупомъ обезглавленной жертвы, къ которой потомъ уже представлена голова, чтобы понять выраженіе и торжества побѣды, и глубокаго раздумья... На такія картины будешь смотрѣть долго, независимо отъ историческаго сюжета, и возвратишься къ нимъ много разъ; на картинѣ же Рѣпина передъ нами одна только патологія базумія и смерти, отвратительная для живыхъ, и только одна фантазія рецензента можетъ приписать картинѣ то, чего въ ней нѣтъ, и быть не можетъ по самому выбору момента, исключашающаго свою животность все человѣческое. Прибавьте къ этому, что вниманіе зрителя, неразвлекаемое никакими другими лицами, сосредоточивается только на этихъ двухъ страшныхъ фигурахъ; что моментъ исчерпываетъ все, не давая мѣста ничему въ фантазіи зрителя, кромѣ смерти жертвы и сумашествія, а, можетъ быть, и близкой смерти самого убійцы, — и вы должны будете сознаться, что мысли и чувству картина не даетъ ничего. Гдѣ-то въ похвалу ей говорилось, что она тѣмъ именно и хороша, что заставляетъ васъ самихъ во очію присутствовать при убійствѣ (прибавимъ отъ себя — отвратительномъ и бессмысленномъ); но избави Богъ, быть бесполезнымъ свидѣтелемъ такихъ сценъ, и неужели нынѣшняго человѣка нужно воспитывать подобными зрѣлищами? Вѣдь искусство должно воспитывать идеями и чувствами, а не запугиваніемъ и отвращеніемъ. И такъ, въ психоло-

гическомъ отношеніи, картина, въ погонѣ за голымъ реализмомъ, не даетъ зрителю рѣшительно ничего, кромѣ элементарной мысли объ отвратительности звѣрсваго убійства.

Но, можетъ быть, это — картина историческая, освѣщающая эпоху и самого грознаго царя? Да, костюмы въ ней и обстановка дѣйствительно, историческія; но что же даетъ намъ художникъ по отношенію къ Грозному, — этому, по объясненію покойнаго Костомарова, большому духомъ, чисто патологическому субъекту? Представленіе *нечаяннаго* убійства, въ самодурной запальчивости, — убійства, за которымъ послѣдовалъ такой же бессмысленный ужасъ (на картинѣ видимъ только такой ужасъ обезумѣвшаго звѣря), какъ былъ бессмысленъ самый порывъ къ убійству. Звѣрь, только звѣрь, и звѣрь съ противными, искаженными, чертами, рисуется здѣсь въ Иоаннѣ. А вѣдь въ жизни этого царя сьумѣлъ же Антокольскій подмѣтить моментъ, когда грозный царь, задумавшійся надъ синодикомъ, вовсе не возбуждаетъ въ насъ одного только ужаса; — напротивъ, показываетъ намъ, что и у Грознаго были минуты глубокаго раздумья надъ своей жизнью... Изобрази г. Рѣпинъ этого же Иоанна, но уже послѣ убійства, когда прошелъ моментъ бессмысленнаго ужаса, — изобрази въ раздумьѣ и скорби надъ трупомъ своего единственнаго наслѣдника, — и мы удивились бы такту и уму художника, какъ удивляемся Деларошу въ его Кромвелъ, Пилотти, нарисовавшему астролога Сени у трупа Валленштейна, или Смерти Цезаря, Жерома. Но г. Рѣпинъ, по выраженію одного изъ его хвалителей, «искалъ *новыя пути, новыя впечатлѣнія для зрителя, новаго поученія*», и создалъ дѣйствительно вещь, совсѣмъ у насъ неслыханную — создалъ картину, въ которой нѣтъ ничего ни *психологическаго*, ни *новаго историческаго*, а одно только *патологическое, физиологическое, пожалуй, психіатрическое*, но уже никакъ не художественное. Впечатлѣніе, благодаря таланту переносить на полотно дѣйствительность, вышло въ самомъ дѣлѣ поразительное, да только не то, какое производятъ всѣ, дѣйствительно великія, картины; — оно вышло поразительно до того, что на картину нельзя долго смотрѣть.

Ввиду того, что на счетъ художественности существуютъ у насъ слишкомъ неопредѣленные и неясныя понятія, при которыхъ какъ самое творчество, такъ и оцѣнка его публикою становятся произвольными, иногда даже доходящими до абсурда. припомнимъ нѣсколько главнѣйшихъ положеній старика Лессинга, ученію коего, въ общемъ, остались вѣрными и до сихъ поръ всѣ великіе европейскіе художники.

Въ своемъ знаменитомъ трактатѣ о границахъ живописи и

поэзии Лессингъ беретъ точкою отправленія извѣстную группу *Лаокоона*, которая, изображая страшныя физическія страданія, вовсе не производитъ впечатлѣнія отталкивающаго. И это потому, что художникъ, помня, что конечная цѣль искусства есть наслажденіе красотой, намѣренно избѣжалъ въ своей группѣ всего того, что могло-бы возбудить въ зрителѣ одинъ нѣмой ужасъ или отвращеніе. Великій творецъ Лаокоона зналъ, что искусства пластическія имѣютъ свои, совсѣмъ особыя, границы, чѣмъ поэзія, и не все то, что можно описать или рассказать, съ тѣмъ же успѣхомъ, въ смыслѣ впечатлѣнія на зрителя, можно изобразить въ мраморѣ или краскахъ. «Есть, говоритъ Лессингъ, страсти и такія степени страстей, которыя выражаются въ лицѣ самыми отвратительными чертами, и все тѣло ставятъ въ насильственныя положенія, при которыхъ изящныя линіи, обрисовывающія его въ спокойномъ состояніи, совершенно исчезаютъ. Изображенія такихъ страстей *избѣгали* древніе художники, или *изображали ихъ съ той мѣрой*, въ которой *допускали извѣстную степень красоты*. Ярость и отчаяніе не безобразятъ ни одного изъ ихъ произведеній. Самый гнѣвъ ослабляли они до строгости, отчаяніе же смягчали и низводили до степени простой скорби, всегда стараясь дѣйствовать на мысль и чувство зрителя».

Этотъ основной законъ чувства мѣры подтверждаетъ Лессингъ цѣлымъ рядомъ произведеній древнихъ художниковъ. «Такъ Тимантъ, въ своей картинѣ *Принесеніе въ жертву Иоаннису*, давъ всѣмъ дѣйствующимъ лицамъ приличную имъ степень горести, совсѣмъ закрылъ лицо отца, котораго горе выше всякаго выраженія. По мѣрѣ возрастанія степени какого нибудь нравственнаго потрясенія, усиливается и соответствующее ей выраженіе лица; высочайшая степень представляетъ самыя рѣзкія черты, и нѣтъ ничего легче для искусства, какъ изобразить эти послѣднія. Но Тимантъ *зналъ предѣлы, предписываемые искусству*. Онъ зналъ, что *горесть*, приличная въ такую минуту Агамемнону, какъ отцу, *должна была бы выразиться въ такихъ чертахъ, которыя всегда отвратительны*. На сколько позволяли ему красота и достоинство, онъ эту горесть и выразилъ. Этотъ художникъ представляетъ намъ прекрасный примѣръ именно не того, какъ выраженіе можетъ переходить за предѣлы искусства, а того, какъ должно подчинять его первому закону искусства, — требованію красоты. Подобный же примѣръ видимъ мы у древнихъ на изображеніяхъ Аякса, мрачно сидящаго посреди изрубленныхъ имъ жертвъ, въ глубокомъ душевномъ сокрушеніи, или — Медине тогда, когда она колетъ дѣтей, а за нѣсколько минутъ прежде, когда материнская любовь еще борется въ ней со злобой». «Съ

другой стороны, — продолжаетъ Лессингъ, — художникъ, имѣющій въ своемъ распоряженіи всего только одинъ, какъ бы застывшій, моментъ, долженъ быть очень остороженъ въ самомъ выборѣ момента. Онъ обязанъ знать, что его произведенія назначаются не для одного только мимолетнаго взгляда, но для внимательнаго и неоднократно разсматриванья; слѣдовательно, этотъ моментъ долженъ быть сколько можно плодотворнѣе. Но плодотворно только то, что оставляетъ воображенію свободное поле. Чѣмъ болѣе мы глядимъ, тѣмъ болѣе мысль наша добавляетъ къ видимому, и чѣмъ сильнѣе работаетъ мысль, тѣмъ болѣе возбуждаетъ наше воображеніе».

Лессингъ приводитъ примѣры великихъ художниковъ древности: возьмемъ нѣсколько новыхъ европейскихъ художниковъ, не пренебрегая и нашими русскими. Какъ поступали они, останавливаясь такъ же, какъ и г. Рѣпинъ, на сюжетахъ ужасныхъ, кровавыхъ, потрясающихъ? Мы упоминали уже о Петрѣ Арбузѣ, Смерти Валленштейна и Кромвелъ; но чего, кажется, ужаснѣе картины Поля Делароша *Казнь Иоанна Грей* — а между тѣмъ, сколько даетъ она мѣста и глубокому сочувствію жертвѣ, которую, повидимому, жалѣетъ самъ палачъ, стоящій тутъ же съ съкирой, и раздумью надъ ея прошлой и настоящей судьбой! А какъ хороши эти двѣ фигуры ея прислужницъ — одна въ обморокъ отъ ужаса; другая отвернувшаяся и прислонившаяся къ колоннѣ! Но всего обдуманнѣе сама жертва, намѣренно представленная съ завязанными глазами, со всей своей осунувшейся фигурой, съ руками, будто невольно ищущими опоры, съ выраженіемъ ужаса въ одной только нижней части лица. Все это ужасно, но, въ то же время, такъ хорошо, что, кажется, никогда не устанешь любоваться картиной! Какъ ни страшень, ни отвратителенъ, самъ по себѣ, моментъ казни, которая вотъ-вотъ сейчасъ совершится; но за процессомъ казни ни на минуту не забываешь о самой жертвѣ и объ этихъ людяхъ, свидѣтеляхъ страшнаго дѣла.

«Сцена изъ *Варроломеевской ночи*», того-же Делароша, еще ужаснѣе. Предъ вами маленькая площадь стараго Парижа. Разсвѣтъ. Изъ за какого то памятника, на заднемъ планѣ, и справа, сбоку картины, торчатъ голыя ноги труповъ; на первомъ планѣ два богато одѣтыхъ-трупа одинъ на другомъ. Изъ подъ одного, съ выраженіемъ ужаса и мольбы въ лицѣ, вылѣзаетъ какимъ то чудомъ уцѣлѣвшій ребенокъ. Его, сына убитаго барина, гугенота, нашель слуга-католикъ. Чувство человѣка побѣдило фанатизма. Онъ приложилъ палецъ къ губамъ, какъ-бы въ чему то прислушиваясь, запрещая ребенку кричать, чтобы ихъ не накрыли като-

либи, а то слуга не успеетъ спасти мальчика. Пусть тутъ и трупы, но не на нихъ однихъ сосредоточивается вниманіе зрителя: эти двѣ живыя фигуры, слуги и ребенка, такъ много даютъ мысли и чувству ¹⁾).

Рядомъ съ этими настоящими трагедіями живописи, поставили бы, мы, для сравненія по впечатлѣнію съ картиной г. Рѣпина, картины Ге-«Петръ I и царевичъ Алексѣй», «Екатерина II у Гроба Елизаветы», «Послѣдняя весна» и «Успокоилась», М. П. Клодта, наконецъ «Утопленница», Перова. Все это сюжеты потрясающіе, ужасные, ото всѣхъ ихъ вѣетъ смертью, гибелью человѣка; но какъ всѣ эти произведенія искусства, вполне вѣрныя теоріи Лессинга, полны глубокаго, идейнаго, человѣчнаго содержанія, отнюдь не возбуждая притомъ ни малѣйшаго отвращенія, — напротивъ, все болѣе и болѣе раскрывая передъ нами глубину своего смысла и обдуманность во всѣхъ деталяхъ, по мѣрѣ того, какъ мы въ нихъ всматриваемся.

Говорятъ, что, создавая свою, безспорно высокѣ талантливую по письму и силѣ экспрессіи, картину, въ которой художникъ пренебрегъ законами эстетики, г. Рѣпинъ открылъ *новые пути, новыя впечатлѣнія для зрителя*. Это не совсѣмъ такъ. Еще у грековъ встрѣчались новаторы-художники, выбиравшіе, именно, самое дурное, отвратительное. „Наклонность къ хвастовству своимъ жалкимъ умѣньемъ, не облагороженнымъ достоинствомъ самого предмета—говоритъ Лессингъ,—слишкомъ естественна, если и греки имѣли своего Павсона и Пирейба, которыхъ низкій вкусъ съ особенной любовью выражалъ въ образовательныхъ искусствахъ одно уродливое и гнусное человѣческой природы, за что порицали ихъ Аристофанъ и Плиніи“ (Лаокоонъ, стр. 9).

Въ концѣ XVII вѣка въ Гамбургѣ съ большимъ успѣхомъ давалась опера — *Смерть Иисуса*, въ которой представлялось во очію, какъ удавился Іуда, а дьяволъ собиралъ въ корзину его внутренности, причѣмъ распѣвалъ арію (Handbuch der Geschichte der Musik, Argey von Dommer.) Отвратительные сюжеты, во всей наготѣ голой правды, безъ малѣйшаго идеализма, очень любили брать художники XV, XVI и XVII вѣка (напр., Аполлонъ, сдирающій кожу съ Марсіаса, Св. Себастьянъ, казнь Св. Стефана и др., также скульптурное изображеніе Христа, въ нѣмецкихъ католическихъ церквахъ, гдѣ Христосъ представленъ послѣ истязаній, въ самомъ отталкивающемъ видѣ). Были попытки и у насъ выдвигать въ живописи именно бьющую на нервы кровавость, напр.,

¹⁾ Отсылаемъ читателей къ картинамъ Делароша—Христіанская мученица, Иродіада, Убіиство Гиза, Дѣти Эдуарда, а также Жерома—Убіиство Цезаря.

нѣкоторыя баталическія картины Верещагина;—словомъ, новыя пути по пренебреженію старой эстетикой уже пробовались. Одного только еще не было, чтобы на этотъ скользкій путь вступилъ такой великій, можетъ быть, величайшій изъ всѣхъ живыхъ русскихъ художниковъ по таланту и силѣ реализма, какъ авторъ *Бурлаковъ*—г. Рѣпинъ. Успѣхъ его громаденъ; онъ польстилъ грубому вкусу толпы, звонко ударивъ по нервамъ людей, и безъ того слишкомъ развинченнымъ въ настоящее тревожное время. Но законы эстетики, которые, въ сущности, тѣ же законы чело-вѣческой природы, не попираются безнаказанно даже величайшими талантами. Уже и теперь, кое гдѣ, начинаютъ у насъ раздаваться голоса противъ черезчуръ большой реальности въ искусствѣ. Въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» уже заявила объ особенной наклонности нашихъ художниковъ ко всякимъ ужасамъ такая писательница—художница, какъ Крестовскій-псевдонимъ, и въ той же самой газетѣ, которая съ такимъ энтузіазмомъ отнеслась къ картинѣ Рѣпина, также раздался голосъ критика противъ особенной симпатіи въ искусствѣ къ «*свѣжей кровушкѣ*». Это тѣмъ знаменательнѣе, что въ поэзіи кровь далеко не такъ бьетъ на нервы, какъ въ живописи, на что указываетъ и Лессингъ. Картина г. Рѣпина дѣйствительно поучительна; и хорошо, что ее приобрѣлъ г. Третьяковъ для своего публичнаго музея; но только не «*о ростѣ русскаго искусства, о выразительности его, смѣлой и безстрашной, бурно переходящей общепринятыхъ условій живописи и громко и гордо говорящей: это—русская живопись, русская школа, русское искусство*», — будетъ говорить эта картина современникамъ и потомству. Напротивъ того, *Иванъ Грозный и сынъ его Иванъ* всегда будетъ показывать, какъ наше русское искусство блуждало, ища какихъ то особыхъ, новыхъ, русскихъ, путей, совсѣмъ закрывая глаза на великіе европейскіе образцы и игнорируя труды глубокихъ критиковъ мыслителей въ родѣ Лессинга. Въ этомъ смыслѣ, картина глубоко поучительна для молодыхъ русскихъ художниковъ, если только примѣръ великаго соотечественника—учителя, и особенно его успѣхъ, не соблазнятъ ихъ пойти по той же дорогѣ, и съ меньшимъ талантомъ, чѣмъ онъ, произвести на свѣтъ цѣлый рядъ отвратительныхъ изображеній явленій патологическихкихъ и психіатрическихкихъ.

Викторъ Острогорскій.

VI

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Группировка державъ послѣ Берлинскаго конгресса.

Годъ тому назадъ, весною 1884 года, какъ и теперь, весною 1885 года, Европа была встревожена ожиданіемъ европейской войны. Цивилизованный міръ тогда боялся большой войны между Россією и Германією, въ которую могли быть вовлечены почти всѣ европейскія державы, какъ союзники той или другой стороны. Австрія, Италия, Франція, Испанія, Турція, Балканскія государства, Данія — словомъ, вся Европа, кромѣ, быть можетъ, Англии, могла опасаться, что силою вещей будетъ призвана къ оружію и должна будетъ участвовать въ ужасной борьбѣ, исходомъ которой могло быть совершенное измѣненіе карты Европы, а всѣхъ послѣдствій и предвидѣть было бы невозможно. Это тревожное ожиданіе, томившее Европу уже лѣтъ пятнадцать, стало особенно тяжелымъ къ концу зимы 1883—1884 гг. Катастрофа казалась близкою и неизбежною, и народы со страхомъ и недовѣріемъ ждали лѣта, этого сезона военного столько же, сколько и земледѣльческаго. Наступило лѣто, но оружіе, къ счастью, осталось празднымъ въ арсеналахъ, а резервисты продолжали свои мирныя занятія. Въ это то время состоялось Скерневицкое свиданіе трехъ Императоровъ, послужившее для Европы ручательствомъ мира и спокойствія. Едва ли когда-либо народы Европы такъ единодушно радовались свиданію монарховъ, какъ это было лѣтомъ прошлаго года. «Миръ, миръ» — вотъ былъ выводъ этого свиданія и «сохраненіе status quo, отсрочка всякихъ рѣшеній и катаклизмовъ». Люди вздохнули свободно, обрадовались спокойствію и миру и даже не задавались вопросами — надолго ли? и хороши ли будутъ послѣдствія этого сближенія трехъ государствъ, еще вчера считавшихся противниками, только ожидающими удобнаго часа, чтобы нанести ударъ.

На долго ли? Хорошо ли? Не опасно ли сугубо? Всѣ во всей Европѣ какъ бы намѣренно отстраняли отъ себя эти докучные вопросы. Всѣ, молчаливо, согласились ихъ не поднимать.

*

Всѣ только радовались и ликовали, что завтра пройдетъ мирно, что сегодня не заговорятъ пушки и митральёзы. Истомленный тревожными ожиданиями, истерзанный страхомъ передъ невѣдомымъ будущимъ, передъ наступающею всемірною катастрофою, цивилизованный міръ и не могъ иначе отнестись къ факту сближенія между великими державами. То обстоятельство, что сближеніе это не было облечено въ форму какого-либо опредѣленнаго соглашенія и союза, а было лишь устраненіемъ антагонизма и знаменовало лишь сохраненіе status quo, могло только усиливать это успокоительное и умиротворяющее впечатлѣніе. Послѣдовавшее вслѣдъ за Скерневицкимъ свиданіемъ сближеніе между Германіей и Франціей на почвѣ колониальной политики закрѣпило настроеніе Европы. Миръ въ ближайшемъ будущемъ уже не подлежалъ сомнѣнію, и народы не особенно даже волновались затѣяннмъ Германіей осенью 1884 года дипломатическимъ походомъ противъ Англіи, сгруппировавшимъ на время вокругъ Германіи всю континентальную Европу. И однако этотъ походъ былъ повидимому лишь маневромъ искуснаго руководителя, измѣнявшимъ въ пользу Германіи шансы той борьбы, которая, казалось устранялась Скерневицкимъ свиданіемъ и франко-германскимъ соглашеніемъ. Но не будемъ забѣгать впередъ и прослѣдимъ всю эту довольно сложную цѣпь политическихъ событій и отношеній, которая тянется черезъ отчетный годъ и влечетъ Европу къ новой группировкѣ силъ и интересовъ.

Франко-прусская война 1870 г. была событіемъ международной европейской исторіи по меньшей мѣрѣ столь же важнымъ, какъ война 1812—15 гг. и Крымская война. И войны, закончившіяся Вѣнскимъ и Парижскимъ конгрессами, имѣли своимъ послѣдствіемъ совершенное измѣненіе въ группировкѣ державъ и интересовъ; и войны 1866 и 1870 гг. имѣли тотъ же результатъ. Каждая изъ этихъ трехъ группъ войнъ отмѣняла болѣе или менѣе рѣшительно господствовавшій до нея порядокъ международныхъ отношеній. Вѣнскій конгрессъ выдвинулъ на первый планъ Священный Союзъ съ Россіей во главѣ, и этотъ режимъ продержался до Крымской войны, которая его совершенно уничтожила и установила преобладаніе Франціи, основанное на союзѣ съ Англіей и опирающееся на Италію и многія мелкія государства. Австрія, хотя и воевавшая съ Франціей въ 1859 году, тяготѣла къ этой же группѣ державъ, руководимыхъ Франціей. Вспомнимъ ея роль въ Крымскую войну и на Парижскомъ конгрессѣ; ея сепаратное соглашеніе съ Франціей и Англіей, облеченное въ формальный трактатъ объ охраненіи Турціи отъ Россіи; вспомнимъ и ея роль во время Польскаго возстанія, когда она, вмѣстѣ съ западными державами, обращалась къ Россіи съ нотами. Турція, конечно, тоже вращалась въ орбитѣ того

же французскаго свѣтила. Только Россія и Пруссія стояли въ сторонѣ, составляя какъ бы молчаливую оппозицію. Ихъ роль въ это время очень напоминала положеніе Франціи и Англій въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, когда господствовалъ Священный Союзъ, группировавшійся вокругъ Россіи, а въ сторонѣ отъ него стояли лишь западныя державы. Война 1866 года, нанесшая такой ударъ Австріи, сама по себѣ еще очень мало измѣнила международныя отношенія. Австрія даже тѣснѣ примкнула къ Франціи и помирилась съ Италіей. Россія и Пруссія (теперь уже преобразовавшаяся въ Сѣверо-Германскій союзъ) тоже какъ будто сплотились еще тѣснѣ въ ожиданіи, казалось, неизбежной борьбы съ Франціей и ея союзниками. Война, дѣйствительно, разразилась, но общеевропейскаго столкновенія не вышло; борьба была локализована. Германія восторжествовала, и французская группа разсыпалась въ 1870 г., какъ раньше она же была уничтожена въ 1815 г., а русская группа въ 1855 г. Но тогда сразу послѣ упраздненія прежняго международнаго строя воцарялся новый. Священный Союзъ былъ заключенъ въ эпоху самаго Вѣнскаго конгресса, какъ англо-франко-австрійское сепаратное сближеніе состоялось на самомъ Парижскомъ конгрессѣ, на которомъ впервые появилась и Италія. Не то вышло послѣ войны 1870 года. Не сразу измѣнились отношенія и не сразу вырисовалась новая группировка державъ, центромъ котораго должна бы явиться Германія, какъ до 1815 года и въ періодъ 1855—1870 гг., была такимъ центромъ Франція, а съ 1815 по 1855 годъ—Россія.

Князю Бисмарку, повидимому, сразу представилась довольно ясно эта группировка, и онъ пошелъ къ ней твердымъ шагомъ, хотя Европа долго не сознавала, куда онъ идетъ, а державы и силы, предназначенныя сгруппироваться вокругъ Германіи, и не думали предлагать свои услуги или искать сближенія. Бисмаркъ не могъ не понять сразу, что Франція и Россія не могутъ войти въ эту группировку. Обѣ эти державы уже по тому одному, что представляютъ безспорно первоклассныя могущества, не могутъ играть роль вторыхъ величинъ. Всегда онѣ, дѣйствительно, и были или во главѣ преобладающей группы державъ, или въ члѣ оппозиціонной группы. Если Германія хотѣла теперь, въ свою очередь, стать во главѣ преобладающей группы, то совершенно очевидно, что и Россія, и Франція для нея не годились. Англія и Австрія, по своему старому антагонизму съ Россіей, а Англія и по колониальному соперничеству съ Франціей—естественно представляли главныя силы, опереться на которыя должна была искать Германія. Турція, конечно, вошла бы, само собою, въ эту группу. Логика историческихъ отношеній указывала подобную груп-

пировку совершенно такъ же, какъ логика событій сгруппировала въ 1815 г. вокругъ Россіи Австрію, Пруссію и мелкія государства Германіи и Италіи, въ 1855 г. вокругъ Франціи,—Англию, Австрію, Германію и Турцію. Германскій канцлеръ хорошо понималъ эту логику событій,—но не сразу это было понято въ Вѣнѣ и Лондонѣ.

Австрія, униженная Пруссіей въ 1866 г., еще продолжала питать затаенныя надежды на возобновеніе борьбы, а въ Лондонѣ продолжали держаться дружбы съ Франціей. Италія тоже сохранила на нѣкоторое время свои французскія тяготѣнія. Вслѣдствіе этого, нѣкоторое время въ Европѣ и послѣ 1870 года продолжалась какъ бы прежняя группировка державъ. Германія, къ которой не спѣшили новыя союзники, должна была держаться Россіи, хотя не могла не тяготиться этимъ союзомъ, не дававшимъ желательнаго простора германской гегемоніи. Бисмаркъ началъ осторожно эволюцію въ сторону отъ этого союза. Начались попытки привлечь Австрію. Подъ видомъ охраненія status quo, созданъ былъ союзъ трехъ императоровъ; стѣна австрійской вражды была пробита, но брешь все еще была занята антипруссскими тяготѣніями. Идеи Бейста о союзѣ съ западными державами очень нравились, повидимому, въ Вѣнѣ и только опасенія передъ подавляющей силою соединенныхъ Россіи и Германіи сдерживали Австрію, и вынуждали ее держаться тройственнаго союза. Замѣчательно, что для Россіи союзъ этотъ былъ вовсе не нуженъ, для Австріи онъ былъ антипатиченъ, но выгоденъ онъ былъ для одной лишь Германіи, которая, пугая Австрію союзомъ съ Россіей, вовлекала ее въ союзъ съ собою, приучала къ мысли о возможности общаго дѣйствія съ Пруссіей, словомъ привязывала къ себѣ ею же обиженную Габсбургскую державу. Германія только ждала случая оказать услугу Австріи и закрѣпить союзъ. Случай этотъ скоро представился, когда вспыхнула восточная война. Сдѣлавъ Австріи услугу на счетъ Россіи, подаривъ ей Боснію и Герцеговину, и сдержавъ Россію на Балканскомъ полуостровѣ, Бисмаркъ открылъ глаза Австріи на значеніе германскаго союза и вотъ на мѣсто тройственнаго союза возникъ двойственный союзъ, уже совсѣмъ иного характера. Тотъ былъ строго оборонительнымъ союзомъ, хотя и нѣльзя было предвидѣть нападенія на кого-либо, кромѣ Германіи. Этотъ же союзъ явно наступательный. Расширеніе австрійскаго владычества и вліянія на Балканскомъ полуостровѣ—поставлено почти явною цѣлью. Видъ на Польшу и союзъ противъ Россіи долгое время почитался всею Европою основой союза. Такъ совершилась важная эволюція въ международной жизни Европы, благодаря которой Австрія примкнула къ Германіи и послѣдняя нѣсколько высвободилась отъ крайней необходимости держаться русскаго союза, равноправнаго и потому стѣснитель-

наго для государства, стремящагося, какъ Германія, къ преобладанію, и желающаго перестроить въ свою пользу карту міра, размежеванную когда то безъ участія нѣмцевъ.

Однако одной Австріи для преобладанія, конечно, мало. Англія представлялась вторымъ естественнымъ союзникомъ. Старое традиціонное соперничество между Англіей и Франціей открывало, повидимому, путь къ сближенію. Англія, продолжающая свою прежнюю, такъ называемую «имперскую» политику, основанную на политикѣ захватовъ и монополюной колонизаціи, и желающая по прежнему поддерживать свою всемірную державу; *не возлагаая на гражданъ тягостей военной обязательной службы*, а опираясь исключительно на горсть наемниковъ и подкупъ варваровъ и дикарей,—эта историческая Англія не могла не относиться съ ревностью и къ Россіи, угрожавшей въ Азіи ея индійской имперіи, и къ Франціи, развившей свое морское могущество до возможности соперничать съ Англіей. Ясно, что, не измѣняя основъ своей внѣшней политики, Англія не могла бы ничего иного придумать, какъ сойтись съ Германіей и Австріей и этимъ вынудить Россію и Францію къ отступленію по всѣмъ пунктамъ, интереснымъ для союзниковъ. Дизраэли, горячій сторонникъ именно традиціонной британской политики, такъ и понялъ свою задачу и самъ первый пошелъ на встрѣчу этому сближенію. Результатомъ явился берлинскій конгрессъ, лишившій Россію плодовъ войны 1877—78 гг. Германія, казалось, достигла намѣченной ея канцлеромъ цѣли. Она стала въ центрѣ могущественнаго союза; ея преобладаніе опиралось на Австрію, Англію и Турцію, подобно тому, какъ на ту же группу опиралось и преобладаніе Франціи до 1870 г. Оставалось привлечь Италію и второстепенныя государства, чтобы оставить антигерманскую оппозицію (Россіи и Франціи) столь же одинокою, какъ сѣверная оппозиція (Россіи и Пруссіи) были одинокою до 1870 г., а западная (Франція и Англія) до 1855 г. Еще на берлинскомъ конгрессѣ кн. Бисмаркъ пытался перессорить Италію съ Франціей, внеся формальное предложеніе о присоединеніи къ Франціи Туниса, на который имѣла виды Италія. Тогда, въ 1878 г., Франція уклонилась отъ этого шага, но логика историческихъ событій привела Францію къ необходимости занять Тунисъ, а это бросило Италію въ объятія германской политики. Италія явно примкнула къ Германіи и заключила даже съ нею, подобно Австріи, формальный оборонительный союзъ.

Но именно приблизительно около этого времени, когда цѣль союза была искусно замкнута присоединеніемъ Италіи, она разомкнулась съ другой стороны. Англійскіе избиратели рѣзко осудили имперскую политику тори и передали власть въ руки партіи,

которая, казалось, хотѣла отказаться отъ традиціонной политики. Либералы съ Гладстономъ во главѣ немедленно отшатнулись отъ Австро-Германіи. Знаменитое «руки прочь», обращенное Гладстономъ къ Австріи, было цѣлою новою программою англійской политики. Сближеніе съ Россіей и Франціей было средствомъ ея осуществленія; однако, нѣкоторая естественная холодность между монархическою Россіей и республиканскою Франціей препятствовала этому сближенію обратиться въ союзъ, по крайней мѣрѣ столь же опредѣленный и интимный, какъ Австро-Итапо-Германскій. Во всякомъ случаѣ преобладаніе Германіи становилось весьма проблематичнымъ съ того момента, какъ Россія, Франція и Англія соединились въ оппозиціи этой гегемоніи. Вѣрность Турціи становилась ненадежною, а враждебность Даніи совершенно несомнѣнною. Германія искала противувѣса въ сближеніи съ Испаніей, въ привлеченіи Сербіи,—но и за всѣмъ тѣмъ Европа была раздѣлена на двѣ равносильныя стороны, изъ которыхъ одна, впрочемъ, была связана формальнымъ союзомъ, а другая ограничивалась лишь нѣкоторою взаимною поддержкою въ международныхъ дѣлахъ.

Такое внезапное колебаніе германскаго преобладанія, обязанное преимущественно переходу власти въ Англіи въ руки оппозиціи, было повидимому мало предвидѣно кн. Бисмаркомъ. Соотвѣтствіе англійскихъ интересовъ, какъ они понимались Англіей въ продолженіи уже нѣсколькихъ столѣтій, съ политикою германской,—а не русско-французской группы державъ,— было совершенно очевидно. Такого внезапнаго переворота въ пониманіи своихъ интересовъ, который обнаружила англійская нація, пославъ Гладстона, послѣ его образцовыхъ политическихъ рѣчей, въ руководители правительства, никакъ Бисмаркъ не могъ и не долженъ былъ предвидѣть. Послѣдствія показали, что дѣйствительно ошибался не Бисмаркъ, а сама англійская нація. Одобривъ новые принципы международной политики, англійскій народъ не могъ отречься отъ массы преданій, мнѣній и стремленій, кои выросли на почвѣ старой политики и были вполне несомнѣнными съ новымъ направленіемъ. Отсюда та непоследовательность британской политики, которая такъ ярко выступаетъ въ настоящее время и въ которой напрасно винять графа Грэнвилля. Нельзя требовать отъ министра, чтобы онъ держался новыхъ началъ международной политики и новыхъ союзовъ, а результаты этого направленія были совершенно прежнія. Новыя начала даютъ и новыя послѣдствія.

Одобривъ политическіе принципы Гладстона, англійскій народъ нежелалъ однако отречься отъ прежней политики, по которой въ Африкѣ, Азіи, Австраліи, Америкѣ дозволялось жить, приобретать и гос-

подствовать только англичанамъ. Остальные народы должны были почтительно уступать первое мѣсто Англiи и довольствоваться тѣми кусками и объѣдками, которыя британцы великодушно бросаютъ имъ отъ своей колониальной трапезы. Обобравъ послѣдовательно колонiи Португалiи, Италiи, Голландiи, Франціи, англійская политика зорко слѣдила за возрожденіемъ колониальнаго развитiя этихъ странъ и всегда ставила ему преграды, снова и снова отбирая въ свою пользу лучшія мѣста и даже просто не допуская на мѣста, никѣмъ незанятые. Необходимость одно время держаться французскаго союза ради борьбы съ Россiей заставила Англiю допустить нѣкоторое колониальное возрожденіе Франціи. Приобрѣтеніе Алжира и Кохинхины были плодами этой англійской снисходительности. Французы дорого заплатили за эту снисходительность, проливая свою кровь за англійскіе интересы и въ Россiи, и въ Китаѣ. Немудрено поэтому, если французы употребили большія усилія и принесли большія жертвы для возрожденiя своего морского могущества, которое могло бы эмансипировать ихъ изъ-подъ надзора англійской морской полиціи. Однако, пораженiя, понесенныя Франціею на континентѣ, и заставившія ее искать англійской дружбы, не даютъ ей пользоваться по отношенію къ Англiи своею морскою силою. Опасеніе передъ Германіею заставляетъ покуда Францію не настаивать на своей морской равноправности съ Англiею. Новыя начала, которыя одобрилъ было англійскій народъ для руководительства, требовали, чтобы Англiя добровольно признала эту равноправность,—и не для одной Франціи.

Старая англійская политика на востокъ была издрегле антагонична Россiи и становилась поперекъ самыхъ справедливыхъ ея стремленій. Происходило это потому, что, держась постоянно политики неравноправности народовъ, и не желая потерять свое право на эту неравноправность, Англiя видѣла въ Россiи единственную державу, которая способна современемъ сокрушить ея монополію, приблизившись къ ея индiйскимъ владѣніямъ или, послѣ овладѣнiя проливами, ставъ въ возможность атаковать сообщенiя съ Индiей во флангъ. Отсюда это настойчивое стремленіе закрыть для Россiи проливы и сохранить неприкосновенною Турцію, принося ей въ жертву европейскія и христіанскія народности Востока. Но опять-таки, политика эта и естественна, и необходима, покуда Англiя думаетъ сохранить свою морскую монополію и настоятельно для того нужную свою неуязвимость. Разъ же она становится на новый путь признанiя и за другими народами права жить и развиваться, весь *raison d'être* этой традиціонной восточной политики самъ собою рушится. Нѣтъ никакой болѣе надобности становиться поперекъ осуществленiя всякаго русскаго интереса.

Но не утопія ли эта политика, основанная на новыхъ началахъ полюбовнаго размежеванія международныхъ интересовъ? Быть можетъ, она еще и мало осуществима во всемъ ея объемѣ, но вѣдь покуда требовалось не этого, а гораздо болѣе скромнаго и осуществимаго. Требовалось размежеваться интересамъ Россіи, Франціи и Англіи. Вѣдь сьумѣли же размежеваться Германія, Австрія и Італія! Къ тому же такое размежеваніе было бы и выгодно даже для самой Англіи. Вѣдь, какъ ни есть, а нынѣ Англія уже уязвима и притомъ именно со стороны Франціи, благодаря ея морскому могуществу, и со стороны Россіи, благодаря ея положенію въ Средней Азіи. Если же Англія уязвима, то невыгодно ли ей выработать именно съ этими то державами *modus vivendi*? Именно теперь Россія и Франція очень нуждаются въ Англіи и за искреннюю англійскую дружбу и за самое скромное признаніе ихъ интересовъ гарантировали бы Англіи ея всемірную державу отъ всякихъ опасностей. Повидимому, либеральная партія это и повнимала теоретически, но на практикѣ оказалась безсильною отстать отъ прежнихъ привычекъ и средствъ,—и, въ результатѣ, разстроились до послѣдней степени отношенія съ Франціей и дошло чуть не до войны съ Россіей. Мы относимся съ глубокою симпатіею къ великому государственному человѣку, стоящему нынѣ во главѣ англійскаго правительства, но не смотря на это не можемъ не признать, что внѣшняя политика Гладстонскаго кабинета была столь же несогласима съ провозглашенными имъ же принципами, сколько по существу своему воплнѣ соотвѣтствовала торійскимъ традиціямъ. Разница оказалась лишь въ томъ, что торія хорошо знали, какой они политики держатся, и потому и выбрали германскую группу державъ; между тѣмъ либералы, справедливо осуждая принципы торійской политики и германской международной программы, избрали русско-французскую группу, но не захотѣли понять, къ чему ихъ обязываетъ эта эволюція. Въ сущности, они продолжали держаться прежней политики, и естественное сближеніе съ Франціей и Россіей оказалось воплнѣ эфемернымъ и отъ него не осталось и слѣда. Пришлось же рядомъ политическихъ униженій купить прощеніе Германіи. Англія еще не вошла формально въ составъ германской группы, но она уже несомнѣнно разорвала съ русско-французскою и близка къ совершенному единенію съ Германіей. Это важное событіе именно и составляетъ главное политическое событіе прошедшаго года.

Охлажденіе съ Франціей началось впрочемъ еще раньше. Уже оккупация Туниса была встрѣчена въ Англіи съ неудовольствіемъ и изъ Лондона было дано знать въ Парижъ, что дальнѣйшее расширеніе

французскихъ колоній въ сѣверной Африкѣ не можетъ быть допущено. Попытки французовъ утвердиться на сѣверо-восточномъ берегу Мадагаскара были встрѣчены въ Англіи столь враждебно, что охлажденіе сказалось уже тогда совершенно ясно. Таже исторія поднялась между Франціей и Англіей изъ-за Конго. Нѣтъ сомнѣнія также, что Англія сдѣлала все отъ нея зависящее, чтобы создать Франціи затрудненія въ ея стремленіи умиротворить Тонкинъ. Еще недавно одна лишь Англія затрудняла Францію блокаду китайскихъ береговъ. Встрѣчая столь враждебно всякія попытки Франціи расширить свою колониальную систему, попытки весьма скромныя и совершенно несоотвѣтствующія широкой колониальной системѣ самой Англіи, британское правительство въ это же время захватило Египетъ, т. е. цѣлую, богатую, густо населенную имперію, Суэцкій каналъ, этотъ созданный французами всенародный путь на Востокъ, Нубію, Суданъ, архипелагъ острововъ у Кореи и т. д. Ясно, что Англія по прежнему держалась политики колониальной монополіи, хотя теоретически и думала отречься отъ нея. Захватъ Египта и Суэцкаго канала не могъ не вызвать сильнаго неудовольствія во Франціи и не могъ быть встрѣченъ равнодушно и въ Россіи. Этотъ шагъ окончательно охладилъ англо-французскія отношенія и положилъ начало охлажденію отношеній англо-русскихъ. Германія, слѣдившая со вниманіемъ за этими событіями, не могла не воспользоваться плодами непослѣдовательной политики Гладстона, приведшей Англію къ потерѣ всѣхъ искреннихъ друзей.

Нельзя не удивляться той искусной дипломатической игрѣ, которую обнаружилъ кн. Бисмаркъ за этотъ годъ. Правда, обстоятельства сами слагались въ его пользу, но съумѣть ими воспользоваться въ такой мѣрѣ является уже чертою политическаго генія. Германія давно желаетъ создать и свою колониальную систему, но создать ее, вопреки Англіи, можно лишь при дѣятельной поддержкѣ именно Россіи и Франціи. Съ другой стороны, для Германіи было крайне нужно ввести Англію въ свою группу державъ, чтобы этимъ закрѣпить свое преобладаніе. При помощи Россіи и Франціи вынудить у Англіи уступки, а затѣмъ при помощи Англіи смирить Россію и Францію, — такова удивительная программа, половина которой уже осуществлена, а для другой многое подготовлено. Заносчивая и эгоистическая политика Англіи, ея захваты въ свою пользу и систематическія затрудненія, которыя она ставила колониальной политикѣ другихъ державъ, — естественно изолировали ее и подготовили почву для политической коалиціи противъ Англіи. Первымъ шагомъ къ этому было Скерневицкое свиданіе и укрѣпленіе мира съ Россіей. Успокоенная Россія могла

скорѣе предоставить Англію собственной участи. Есть основаніе думать, что на Скерневицкомъ свиданіи Россія не была вовлечена ни въ какое предпріятіе противъ Англіи, да Бисмарку этого и не было нужно, ибо ему нужнѣе была свобода во всякую минуту повернуть фронтъ. Но нейтральная Россія, дорожившая солидною дружбою Германіи, еще не все, что нужно, чтобы смирить Англію. Надо было вовлечь Францію въ активное дѣйствіе противъ Англіи, ибо только при союзѣ съ Франціей континентальная Европа могла диктовать Англіи условія. Англійская политика, систематически враждебная французской, подготовила возможность этой комбинаціи. Итакъ, Бисмарку удалось соединить всю Европу противъ Англіи и добиться ряда колониальныхъ уступокъ. Международная торговля и колонизація бассейновъ Конго и Нигера были регулированы на началахъ полной равноправности; въ Египтѣ Англія въ принципѣ признала европейскій контроль; въ Новой Гвинее и Ангрѣ-Пеквениѣ признала права Германіи; по берегамъ Гвинеи допустила Францію и Германію занять нѣсколько пунктовъ; Италія занесла свою руку на берега Краснаго моря у Абиссиніи. Все это было бы невозможно безъ всеевропейскаго соглашенія и безъ активнаго давленія соединенной Европы. Все это, однако, было очень умѣренно, что, конечно, входило въ виды кн. Бисмарка: доказать Англіи свою силу, но не возстановлять ее противъ себя безповоротно. Англія поняла урокъ и пошла на сближеніе съ Германіею. Времена Биконсфильда возродились и Англія примыкаетъ къ Германской группѣ съ анти-русскою столько же, сколько и анти-французскою программю.

Исторія охлажденія съ Франціей, вышенаброшенная — весьма поучительна, но едва ли даже не поучительнѣе еще исторія охлажденія съ Россіей, которая, повидимому, долше другихъ континентальныхъ державъ старалась сохранить англійскую дружбу. Мы выше уже указали, что первое неудовольствіе возникло изъ-за Египта, такъ дерзко захваченнаго Англіею вопреки всѣмъ трактатамъ и конгрессамъ. Англія отказывала даже допустить русскаго представителя въ составъ контрольной европейской комиссіи и уступила только въ виду единодушнаго требованія всѣхъ державъ. Затѣмъ, еще недавно, среди полного мира, Англія протестовала противъ провоза чрезъ проливъ на коммерческихъ судахъ русскихъ солдатъ, направляемыхъ въ Владивостокъ. Трактаты воспрепятствуютъ проходъ чрезъ проливы военныхъ судовъ; Англія заявила требованіе о распространительномъ толкованіи этого договора и настояла на немъ. Турція закрыла проливы для провоза русскихъ солдатъ даже на коммерческихъ судахъ. Это безцѣльное враждебное толкованіе, наносящее прямой матеріальный ущербъ Россіи,

(ибо изъ Балтійскаго моря отправлять войска гораздо дороже), и стѣсняющее и безъ того стѣсненную свободу проливовъ,—едва ли даже разумно, потому что все сильнѣе и сильнѣе заставляеть Россію желать отмѣны порядка вещей, установленнаго Англіей, на этомъ пути изъ самыхъ богатыхъ русскихъ провинцій. Но такова сила монополюной традиціи, что даже при дружественныхъ отношеніяхъ къ Россіи и безъ всякой реальной пользы для себя, Англія не могла не стать поперекъ самымъ скромнымъ колоніальнымъ интересамъ Россіи. Сугубо это настроеніе проявилось въ послѣднее время, послѣ занятія русскими Мерва. Россія сама предложила, чтобы Англія участвовала въ опредѣленіи границъ ея новой территоріи. Россія могла этого не сдѣлать, но приглашеніе, очевидно, исходило все изъ того же стремленія сохранить хорошія отношенія съ Англіей и не толкать ее въ объятія Германской группы. Всѣмъ извѣстно, что отъ этого вышло. Въмѣсто скромной разграничительной комиссіи, призванной къ тихой и некрикливой работѣ и опредѣленію, какое наилучшее направленіе границы для соблюденія интересовъ русскихъ съ одной стороны и афганцевъ съ другой, Англія пожелала воспользоваться приглашеніемъ Россіи для поднятія того, что она называетъ «престижемъ» и для убѣжденія туземцевъ въ превосходствѣ англійскаго могущества передъ русскимъ. Въмѣсто дѣла полюбовнаго размежеванія, причемъ обнаруженіе искренняго согласія между Россіей и Англіей было бы лучшею гарантіею для обѣихъ державъ въ вѣрности ихъ полудикихъ подданныхъ, и слѣдовательно вполне соответствовало бы интересамъ и Англіи и Россіи, вышло дѣло раздора и соперничества, причемъ обнаруженіе вражды можетъ возбудить опасныя ожиданія у подданныхъ той и другой державъ, особенно у той, которая уступить и какъ бы признаеть свою относительную слабость. Когда Англія стремится къ «престижу» въ ущербъ русскому престижу, то тѣмъ самымъ и Россія вынуждается къ тому же, и дѣло по необходимости обостряется такъ, какъ оно и обострилось нынѣ. А между тѣмъ, именно въ этомъ дѣлѣ Англіи было бы очень нетрудно проявить новыя принципы своей политики—«будемъ жить сами и будемъ давать другимъ жить»,—но традиціи сильнѣе принциповъ, и Англія слѣдовала своей старой политикѣ основывать свои успѣхи не на солидарности съ другими народами, а на монополіи и униженіи.

Мы не будемъ входить далѣе въ разборъ довольно темнаго дѣла о томъ, кто виноватъ, что Афганцы заняли спорную территорію Пенде, ибо подобная случайность, еще не характеризуетъ всей политики. Но снаряженіе чисто-военной экспедиціи подъ видомъ разграничительной комиссіи, но военныя демонстраціи, свиданія съ эмиромъ, дурбаръ въ Равуль-Пинди и т. д., все это уже проявленія по-

русскаго, на униженіе Россіи. Унижать дружественную державу для того, чтобы самой съ меньшими силами поддерживать свое всемірное господство—это старый традиціонный приѣмъ англійской политики. Къ нему то и прибѣгло нынѣ британское правительство; ближайшее будущее покажетъ,—насколько удачно.

С. Ю—въ.

VII

† Н. И. КОСТОМАРОВЪ.

Въ началѣ прошлаго апрѣля мѣсяца русская историческая наука понесла тяжкую, трудно замѣнимую потерю: скончался Н. И. Костомаровъ. Можно смѣло сказать, что покойный, вмѣстѣ съ сошедшимъ ранѣе его въ могилу С. М. Соловьевымъ, создали русскую исторію, какъ она нынѣ понимается. Если Карамзинъ положилъ основаніе русской исторической наукѣ, написалъ, такъ сказать, предисловіе и введеніе, то Соловьеву и Костомарову принадлежитъ самое сочиненіе, обширное и правдивое повѣствованіе о судьбахъ русскаго народа и государства. Далекое неодинаково смотрѣли два нашихъ знаменитыхъ историка на смыслъ и значеніе этихъ прошлыхъ судебъ, но одинаково добросовѣстно и правдиво воссоздавали ихъ фактическія основы изъ документовъ и памятниковъ, сохранныхъ временемъ. Самое разнообразіе взглядовъ ихъ лишь содѣйствовало лучшему и болѣе всестороннему освѣщенію предмета. Теперь, когда уже оба творца русской исторической науки сошли въ могилу, наступаетъ время для безпристрастной оцѣнки ихъ великихъ трудовъ и заслугъ передъ родиною и наукою. Нѣтъ надобности одного возвеличивать на счетъ другого, ибо оба честно потрудились и многое заслужили. Зданіе, воздвигнутое руками этихъ мастеровъ, велико и прекрасно, и неизвѣстно, скоро-ли увидимъ мы зодчаго, который бы могъ продолжать его столь же полно и всесторонне, столь же художественно, осмысленно и цѣлесообразно?

Глубоко философскій взглядъ на историческія событія, художественное ихъ изображеніе, тщательная неллицеирятная обработка матеріала, многосторонность трудовъ, объемлющихъ всѣ эпохи и всѣ стороны народной и государственной жизни, — таковы несомнѣнныя и общепризнанныя достоинства историка, нынѣ утраченнаго Россіей. Костомаровъ обладалъ тѣмъ свойствомъ истиннаго ху-

дожника, которое вѣрно указываетъ перспективу событій и связь историческихъ отношеній. При громадномъ фактическомъ матеріалѣ его сочиненій, онъ никогда не терялся въ подробностяхъ настолько, чтобы за частностями нельзя было видѣть общаго, чтобы въ разнообразіяхъ читатель не могъ замѣтить единства. Единство русской жизни и исторіи на Руси Великой, Малой и Бѣлой, при разнообразіи формъ, — такова картина, рисуемая нашимъ историкомъ, который всегда былъ чуждъ близорукости, неспособной возвыситься, за разнообразіемъ формъ и частныхъ, до высшаго пониманія исторической идеи всея Руси. Въ этомъ отношеніи дѣятельность Костомарова, была въ особенности драгоценна по тому авторитету, съ которымъ покойный — самъ малороссъ по происхожденію — являлся воплощеннымъ отрицаніемъ того страннаго направленія, которое развитіе областной литературы и мѣстнаго языка стремится сдѣлать орудіемъ къ обособленію членовъ одной и той же великой и нераздѣльной народности. Разнообразіе въ единствѣ и единство въ разнообразіи — такъ понималъ Костомаровъ смыслъ русской исторіи и русской жизни, и это пониманіе завѣщалъ русскому обществу, какъ лучшій выводъ своихъ многолѣтнихъ трудовъ и изслѣдованій. Смерть прервала въ буквальномъ смыслѣ слова эти труды: ибо даже въ самые послѣдніе дни передъ кончиной Николай Ивановичъ еще трудился надъ своей «Русской исторіей въ біографіяхъ», и диктовалъ жизнеописаніе Миниха, — но знаменитое имя русскаго историка и совершенное имъ громадное дѣло останутся жить на вѣки, и трудъ его принесетъ плодъ сторицею, ибо сѣятель зналъ, что сѣялъ, и сѣмя имъ брошено въ плодородную русскую почву съ любовью взлелѣванное, и съ любовью же всему народу русскому посвященное.

И. Д.

СОДЕРЖАНІЕ.

1. ЛѢТО ВЪ ДЕРЕВНѢ. Разсказъ. (Окончаніе) Н. Р.
2. САФО. Романъ А. Доде. (Окончаніе).
Переводъ съ французскаго. Ф. И. Булганова.
3. ИЗЪ «СТРАННЫХЪ РАЗСКАЗОВЪ»
ГРЭНТЪ ОЛЛЕНА: 1) Сватовство доктора Грэтрекса. 2) Эпизодъ изъ велико-свѣтской жизни. 3) Тайнственное приключеніе въ Пиекадилли.
Переводъ съ англійскаго Д. Л. Михаловскаго.
4. СТИХОТВОРЕНІЯ: 1) «Въ безсонныя долгія ночи...» 2) «Гдѣ ивы и черныя ольхи такъ густо сплелися вѣтвями...» Кн. Э. Э. Ухтомскаго.
5. ИДЕАЛИЗМЪ И РЕАЛИЗМЪ НА
СПЕНѢ Кн. Д. Н. Цертелева.
- 6 ЧУДАКЪ. Разсказъ. (Переводъ съ польскаго). Элизы Ормешко.
- 7: СТИХОТВОРЕНІЕ «Когда въ борьбу съ судьбой вступаю впервые...» Кн. Д. Н. Цертелева.

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

8. РЕЛИГИОЗНАЯ ВОЙНА ВЪ СУДАНѢ. Н. С.
9. НОВЫЯ КНИГИ: *Н. Кармшевъ*. Вѣчно-наслѣдственный наемъ земель на континентѣ Западной Европы. С.-Петербургъ. 1885 г.—*Г. Блюменфельдъ*. О формахъ землевладѣнія въ древней Россіи. 1884 г.—*Мантегацца*. La physionomie et l'expression des sentiments.
10. НАУЧНАЯ ХРОНИКА. Движеніе въ области практическаго знанія въ 1884 г.
 - Лунное затмѣніе 23 сентября 1884 г. — Комета 1812 г. — Новыя наблюденія надъ Марсомъ, Венерой, Сатурномъ и Ураномъ.—Окра-

шения сумерки въ зиму 1883—1884 г.—Необычныя метеорологическія явленія.—Феноменъ голубаго солнца.—Серебристый вѣчикъ около солнца.—Предсказаніе погоды.—Проведеніе электрическаго свѣта на большія разстоянія.—Электрическіе желѣзно-дорожныя поѣзда.—Удачныя опыты управленія аэростатами.—Полеты Ренара и Кребса и братьевъ Тиссандье.—Воздушныя торпеды.—Работы на Панамскомъ каналѣ.—Положеніе проекта внутренняго моря въ Африкѣ.—Вопросъ о несгораемыхъ театрахъ.—Успѣхи китайцевъ въ артиллерійской техникѣ.—Вулканическій островъ въ Беринговомъ морѣ.—Землетрясеніе въ Англіи и Франціи.—Колебаніе моря въ Монтевидео.—Новый видъ ископаемаго морскаго млекопитающаго.—Гигантское насекомое.—Вновь открытое насекомое, вредящее винограду.—Жертвы укушеній ядовитыми змѣями.—Поюція рыбы.—Экспедиція Браццы въ экваторіальную Африку.—Мадагаскаръ, какъ будущая французская колонія.—Бура, какъ антисептическое противухолерное средство.—Фильтрующая свѣча Шамберлана.—Холерная эпидемія 1884 г.—Значеніе дезинфицирующихъ средствъ.—Прививка яда бѣшеной собаки.—Прививка желтой лихорадки.—Излеченіе крупа Д. А. Королчевскаго.

11. МЕЙНИНГЕНСКАЯ ТРУППА ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ Д. К—ва.
12. НОВЫЕ ПУТИ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ. В. П. Острогорскаго.
13. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ. Группировка державъ послѣ Берлинскаго конгресса. С. Юманова.
14. † Н. И. КОСТОМАРОВЪ. (Некрологъ). И. Д—о.

ОБЪЯВЛЕНІЕ: Объ изданіяхъ Ф. Павленкова.

431-18
of

This book should be returned to
the Library on or before the last date
stamped below.

A fine is incurred by retaining it
beyond the specified time.

Please return promptly.

